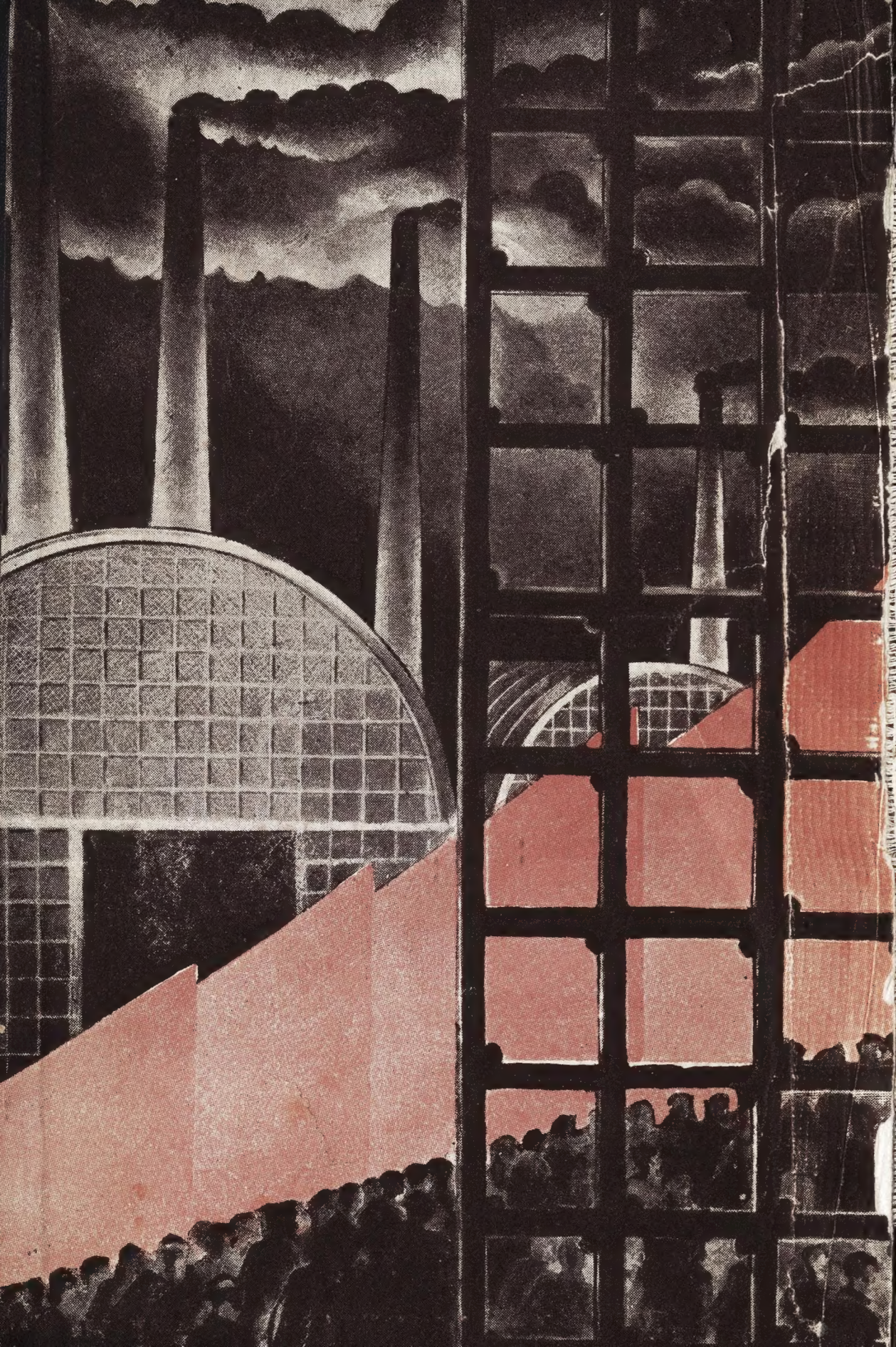
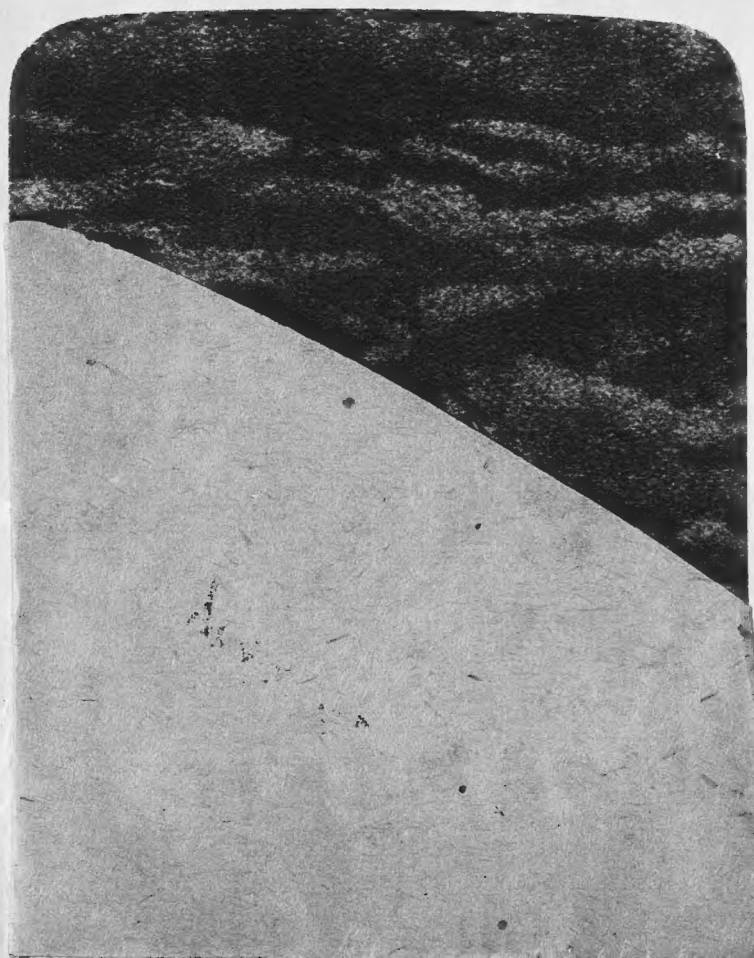
Ш-24

Е. ШАПОВАЛОВ

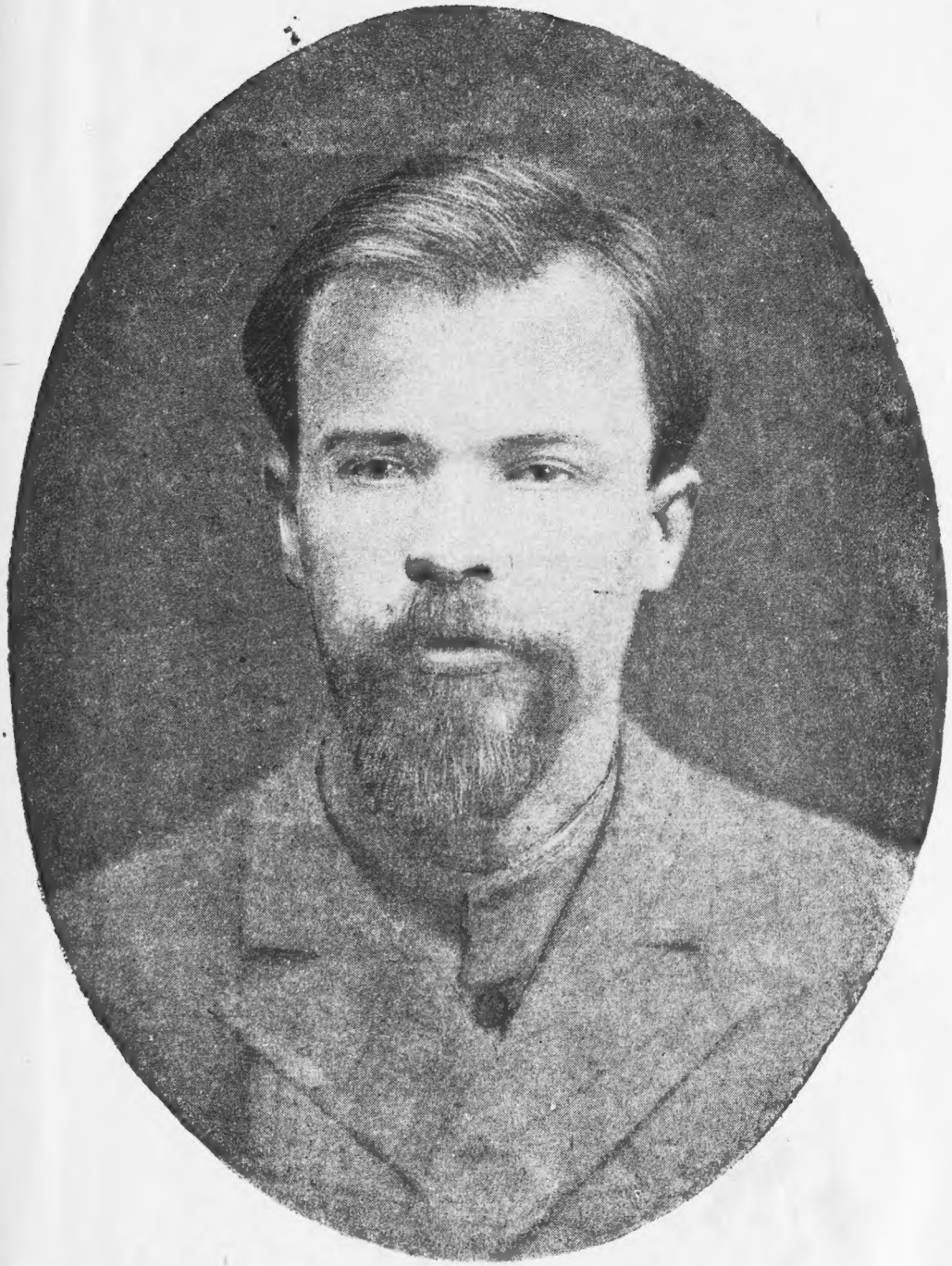
В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ

СТАРЫЙ БОЛЬШЕВИК





[illegible] БЫТЬ
ВС[illegible]ЗЖЕ



А. С. ШАПОВАЛОВ.
1898

СТАРЫЙ
БОЛЬШЕВИК

А. С. ШАПОВАЛОВ

В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО
БОЛЬШЕВИКА-ПОДПОЛЬЩИКА

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.
183499

Государств публичная Историческая библиотека РСФСР
183499

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАРЫЙ БОЛЬШЕВИК
МОСКВА 1934

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПО ДОРОГЕ К МАРКСИЗМУ

В золотую пору малолетства
Все живое счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радостей берет.

Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим, вертим, вертим.

Н. Некрасов

ДЕТСТВО

Хотя я родился на юге, в бывшей Полтавской губернии, но своей настоящей родиной я могу считать лишь наш северный, горячо любимый Петербург (теперь Ленинград). В самом деле, мое детство, моя юность, мои лучшие годы прошли в этом великом городе, в этом умственном центре России, где зародилась и откуда разлилась по всей стране великая русская революция и где с развитием промышленности как бы проснулся дух древнего вольнолюбивого Новгорода Великого. И действительно, издавна все вольнолюбивые мечты зарождались и крепли главным образом среди передовой интеллигенции и среди передовых рабочих на заводах и фабриках Петербурга.

Мои самые ранние воспоминания связаны с заводом. Я, можно сказать, вырос на заводском дворе, в каморке своего отца—заводского сторожа. Я пробуждался утром и засыпал вечером под шум и грохот заводских машин. Протяжные, заунывные заводские гудки, тяжелые удары молотов, бесконечные толпы рабочих, живой бурливой рекой вливавшиеся в прожорливое чрево завода,— все это являлось своеобразной стихией, накладывавшей на меня свой отпечаток.

Получая суровое воспитание на обширном дворе паровозных и вагонных мастерских Петербургско-Варшавской железной дороги, преимущественно в среде мастеровых, как звали тогда рабочих-металлистов и вообще квалифицированных рабочих, я невольно сроднился с мыслью, что и мое естественное призвание быть таким же мастеровым. Подрастая, я, как и все дети, невольно подражал взрослым, в данном случае рабочим-мастеровым. Очень рано я от них усвоил жившее тогда в рабочей среде ироническое, насмешливое отношение к «деревенщине». Металлисты отделяли себя от пришедших из деревни чернорабочих и называли их «рабочими», «серыми», «лапотниками» и т. п.

Мой отец Сидор Семеныч не избежал общей участи выброшенных из деревни в город и также подвергся со стороны мастеровщины едким насмешкам. Но в свою очередь и он не питал особого уважения к мастеровым, не давал им пощады, накрывая их на мелких кражах. Свои обязанности сторожа он исполнял неукоснительно. Он был прямодушен, честен и любил разводить цветы. Как пришедший из деревни он обладал примитивным мировоззрением. Он полагал, что земля в виде огромного четырехугольника покоится на трех китах, как только киты начинали шевелиться, тотчас на земле, по этой теории о мироздании, происходили землетрясения. Гром начинал греметь тогда, когда, по этой же теории, пророк Илья совершал по небу свое путешествие в огромной колеснице. Несмотря на то, что мой отец был неграмотен, темен, он все-таки уже слышал о «сицилистах», правда, из уст врагов народа. Как и большинство рабочих, он поверил пущенной в то время, в конце семидесятых годов, гнусной клевете на революционеров-народовольцев и не считал социалистов друзьями угнетенного народа, призывавшими народ к восстанию, но наоборот самыми страшными его врагами, подкупленными помещиками и якобы мстившими «доброму» царю за освобождение крестьян от крепостного права. Таким образом судьба революционеров-народовольцев, гнивших в каменных мешках, не лишена была своеобразного трагизма: их образ в глазах народа и в моих глазах с детских лет вставал искаженный, не с лицом борца, несущего освобождение и жизнь, а с лицом древней Медузы, сеющей гибель и смерть.

Мать моя Александра Андреевна, от природы очень не глупая женщина, самоучкой выучившаяся читать, любила во время моего детства рассказывать сказки. По временам она погружалась в воспоминания о крепостном праве. Тогда передо мной проходили картины тяжелого положения крепостных. Моя мать была «дворовой», т. е. самой обездоленной из крепостных, и помнила то ужасное время, когда баре меняли по своей прихоти людей на собак, заводили из крепостных женщин гаремы и засекали крепостных на конюшнях. Но, говоря о страданиях крепостных, о зверстве и крутых расправах господ, она не возмущалась всем этим. Царя она уважала и считала «освободителем народа», а бывшую свою барыню даже любила. Последняя тоже якобы, по словам матери, относилась к ней хорошо и после отмены крепостного права оставила краснощекую веселую хохотушку Сашу, как она называла мою мать, у себя в горничных и увезла в Петербург. Иначе моя мать относилась к блестящему гвардейскому офицеру из остзейских дворян, у которого во время военной службы мой отец служил денщиком.

— Послала меня однажды моя барышня рано утром с письмом к этому самому барину. После бала это было... Барышня-то наша всю ночь танцовала с этим барином. Ну вот, бегу я... Темно еще... Только фабричные шли толпой на работу. Ну, прихожу, вижу дверь-то не заперта. Вхожу я и слышу крики. Отворила дверь и замерла на пороге. Барин-то разгневаться изволил, кричит на Сидора Семеныча-то и знай его бьет по лицу, по зубам, да и в бок норовит заехать. А он-то, Сидор-то Семеныч, стоит, сердешный, руки по швам, глаза устремил на барина и только одно говорит: «Ваше благородие, простите, больше не буду!» А барин не унимается. «Ах, ты,— говорит,— скотина, такой сякой! Я тебе покажу, как спать, когда меня нет дома, и махорку в моем кабинете курить. Так вот же тебе!». Да как ударит Сидора Семеныча в бок, да так сильно, что Сидор Семеныч упал сердешный. Ну, думаю, убьет он его. Подскочила я и говорю: «Здравствуйте, барин, вот вам письмо от нашей барышни». Ну, оставил он Сидора Семеныча, взял письмо, а я бросилась к Сидору-то Семенычу, жалко мне его стало. Но вижу он и встать больше не может. Пришлось отправить его в больницу. Долго он там пробыл. Уж очень избил его барин. А я его в больнице-то все навещала.

Таким образом хохотушка Саша явилась спасительницей моего отца. Он ее полюбил, и у Саши жалость незаметно перешла в любовь. Ей понравился этот высокий и чернобровый «хохол». По окончании военной службы отец на ней женился и увез к себе на родину, в Полтавскую губернию. Но жизнь в украинской деревне не пришлась по душе моей матери.

Село Чернеча слобода оказалось одним из самых обездоленных в этой хлебородной губернии. Крестьяне буквально задыхались от малоземелья. Микроскопические наделы все целиком были заняты под пашни и огороды. Так как лугов не было, а солома уходила на топку печей, крестьяне-черно-слободцы не держали коров. Дети вырастали без молока и масла. На почве малоземелья, общей нужды, скудости и лишений вырастала своеобразная вражда на селе между крестьянами и в семьях, особенно среди женской половины населения. Среди них процветала зависть. Стиснутые на маленьких клочках земли, в маленьких хатах с глинобитным полом женщины завидовали друг другу, завидовали страстно, яростно. Многим женщинам на селе, которым завидовали, приписывали уменье летать на помеле, оборачиваться в кошек. Этих предшественниц современных пилотов называли ведьмами. В этот котел всеобщей мелкой вражды и зависти должна была с головой окунуться моя мать по приезде в Чернечу слободу.

Ненависть, озлобление, зависть, которыми жили многочисленные невестки в доме, обрушились на «чужую», «кацапку» Сашу. Особенно не взлюбила ее одна из невесток, которая усмотрела в ее лице свою соперницу и про которую ходили слухи, что она ведьма. Она преследовала Сашу по пятам, и скоро жизнь моей матери превратилась в пытку. Она потеряла сон. Мысль о ведьме, обернувшейся в кошку, не давала ей покоя. В тишине ночи ей казалось, что она слышит шипение кошки-ведьмы, ей представлялось, что она видит сверкающие фосфорическим светом во тьме ее глаза. Она дрожала от страха, убежденная, что ведьма вот-вот прыгнет на нее и вопьется в ее горло своими острыми зубами. Так продолжалось, пока я не родился.

Когда я появился на свет, страх за свою жизнь усилился еще опасением за мою жизнь. Возможности вредить людям, по представлению моей матери, у ее соперницы-ведьмы были неограничены. Если она не сможет сосать по ночам кровь у ее малютки-сына, она сможет извести его просто наговором, дурным глазом и т. п. Дольше терпеть, по мнению матери, не было никакой возможности, и она перед мужем поставила со всей определенностью вопрос о немедленном от'езде. Она с такой энергией приставала к моему отцу, она осыпала его таким градом упреков за то, что он завез ее в такую страшную страну, полную ужасов, что отец принужден был сдаться. Он распродал свое крестьянское хозяйство, которым только что путем упорного труда успел обзавестись, и собрался в дорогу. Уложив меня в возрасте нескольких месяцев в корзинку, он вернулся с моей матерью обратно на берега Невы, в Петербург.

Мои родители обитали, собственно говоря, не на самом берегу красавицы Невы, а довольно далеко от нее, в южной окраине Петербурга, на берегу Обводного канала, между Варшавским и Балтийским вокзалами, в фабрично-заводском районе. Обводный канал входил в ту сеть каналов, рек и речек, которые вместе с многочисленными рукавами Невы делали Петербург похожим на северную Венецию.

На берегах Обводного канала, как и на набережных других петербургских каналов и рек, кипела всегда во время навигации оживленная деятельность. Здесь разгружались товары, приходившие с востока и запада. Тяжелые баржи, медленно двигавшиеся по каналам, подвозили сюда каменный уголь с английских морских пароходов, дрова, лес и хлебные грузы, приходившие с востока России. Множество матросов, называвшихся попросту «барочниками», занимавшихся разгрузкой и нагрузкой барок, толпилось на набережных Обводного канала, наполняя воздух криками и крепкой, ядови-

той руганью. Тут же, на берегу или на баржах, матросы-бурлаки ели и спали. После получки, подвыпив, они нередко вступали в ожесточенные драки. Драки переходили временами в побоища, усмирявшиеся полицией и казаками. Бурлаки, ходившие в деревенских рубахах и портках, обнаруживали все черты «деревенщины» и представляли особый мир, отличный от мастеровщины, которой отчасти уже коснулась здесь западно-европейская культура. Таким образом на берегах Обводного канала сталкивались между собой Восток и Запад. И уже с детского возраста все говорило мне о преимуществах западно-европейской культуры.

В 1879 году, когда мне исполнилось восемь лет, мои родители переселились в самую южную, выходившую к Митрофаньевскому кладбищу часть обширной территории мастерских Варшавской железной дороги. Здесь для железнодорожников были выстроены три длинных двухэтажных казарменного вида здания, названные флигелями. В среднем из этих флигелей мой отец и получил квартиру, окна которой выходили на кладбище. Местность здесь казалась очень пустынной. На север от флигелей тянулись обширные дровяные склады. За складами возвышались корпуса паровозного и вагонного заводов. С востока пролегала железнодорожная насыпь Варшавской железной дороги, с запада вонючий пруд и зловонная свалка нечистот и мусора. За кладбищами Митрофаньевским и Громовским начинались пустыри, огороды и обширное «Горячее поле». Здесь город терялся в пространстве.

Тотчас по переезде сюда началась моя трудовая жизнь. С восьмилетнего возраста, с ранней весны до поздней осени, я на заводских пустырях пас двух коров, которых, как это было в обычае у сторожей, завел мой отец, чтобы несколько улучшить свое тяжелое материальное положение. Мой рабочий день длился с 4 часов утра до 10—11 часов вечера. Глубокой осенью и зимой мне не позволяли сидеть сложа руки. Работа около коров требовала тяжелого, неустанного труда. На меня возложили новую обязанность — носить в ведрах воду для питья коровам, очищать хлев от навоза, задавать коровам корм и пойло и разносить по городу молоко.

Но моему отцу, получавшему всего 15 рублей жалованья, не повезло с коровами. В хлеву, который отец выстроил сам из старых железнодорожных шпал, не было достаточно света и воздуха. Кроме того хлев не содержался в надлежащей чистоте. От грязи, недостатка света и воздуха животные подвергались заболеваниям и дохли. Родители, приписывая свои постоянные несчастья «дурному глазу» завистливых соседей, бились, как рыба об лед, но концы с концами сводили

плохо. Часто мы сидели на одном черством хлебе и картошке. Когда мы с матерью изнемогали и начинали робко жаловаться, а это происходило тогда, когда корова «падала» и отец начинал копить деньги на покупку новой коровы, он, обыкновенно, говорил:

— Нехай брюхо не зеркало: напхай его хоть сеном — все равно. Вот купим новую корову, будет полегче!

Таким образом в непрестанном труде и в постоянной нужде мы продолжали жить. С чувством физической усталости я познакомился очень рано. Обычно, встав с петухами, когда все кругом было погружено в сон, я отправлялся в коровник, очищал его от навоза, делал коровам новую подстилку, наваливал им сена, отправлялся за водой и готовил им пойло. Вернувшись домой и наскоро поев, я снова одевался и нагруженный тяжелыми кувшинами с молоком проходил длинную заводскую территорию. Свалка издавала невыносимое зловоние; тяжелые кувшины оттягивали руки. Пройдя с ними еще около пяти верст по городу, подымаясь по лестницам домов на верхние этажи, я приходил в школу уже утомленный часто до изнеможения. В школу я приносил с собой запах коровьего навоза и черный хлеб с песком, который отец, не знавший на чем только сэкономить, покупал обычно подешевке у солдат в казарме.

В школе я натолкнулся на тяжелые нравы испорченных и развращенных, казалось, со дня рождения уличных мальчишек и с классовым неравенством. Первое, чему меня научила школа чуть ли не со дня вступления в нее, это бояться и остерегаться людей и главным образом своих же школьников-мальчишек. Не было кажется такой пакости, на которую они не решились бы по отношению друг к другу. Лучшим удовольствием известной части учеников было спровоцировать таких простаков, каким, например, был я, на какое-нибудь нарушение школьной дисциплины, на какое-нибудь озорство по отношению к учителю и затем самим же торжественно перед учителем разоблачить доверчивого простака, донести на него учителю, а затем издеваться над ним, когда учитель присуждал его к наказаниям. В школе я рано узнал чувство зависти, которое возникало во мне при виде других, более счастливых детей, каким являлся, например, мой сосед Фридька, всегда хорошо одетый, причесанный, приглаженный, пахнувший духами, приносивший в школу такие лакомства, как белые сладкие булочки, пирожное, бутерброды со сливочным маслом, ветчиной, сыром и т. п.

— Попотчуй, — обращался я к этому счастливчику. При виде этих сладостей и этих лакомств у меня текли, что называется, слюнки...

— На-ко, выкуси! — отвечал обыкновенно счастливчик, показывая фигу. — Уходи подальше: от тебя коровой пахнет. Получив такой ответ, я обыкновенно уходил в какой-нибудь угол. Горькое чувство обиды, сознание отверженности закрадывалось в душу, и я рано начал себя чувствовать каким-то парием среди более счастливых людей.

В это время, научившись читать, я пристрастился к чтению. Преподавание в школе по методу педагога Ушинского вероятно способствовало этому. Но хотя я и читал с увлечением, однако, не научился самостоятельно извлекать из прочитанной книги самое существенное и запоминать при помощи особых записей содержание прочитанной книги. Умение читать книги дается не сразу, и я должен признаться, что во всю свою жизнь не обладал им. В детстве же, конечно, я читал без всякой системы и совершенно беспорядочно, проглатывая книгу за книгой. У меня родилась самая настоящая страсть к чтению. Очень часто я просиживал за книгами целые ночи и доставлял матери немало хлопот, гоняя ее по всем соседям за книгами.

— Мама! Поди, попроси мне книжку почитать, — обыкновенно приставал я к ней.

— Вот покоя от тебя нет, греховодник! — кричала на меня мать. — Ведь вчера я тебе достала книгу!

— Но я уже ее прочитал, мама, — отвечал я.

Так как библиотек тогда не было и на покупку книг денег не оставалось, я приставал к матери до тех пор, пока она не отправлялась к кому-нибудь из машинистов выпрашивать книги. Я читал все, что попадало под руку: «лубочную литературу», как сказки про Бову Королевича, Еруслана Лазаревича, жития святых, сонники, переводные романы, путешествия и т. д. Мне очень нравились описания путешествий, рыцарские романы и повесть «Тарас Бульба» Гоголя. Чтение развило у меня наклонность к мечтательности. Идя утром, нагруженный кувшинами с молоком, смотря по характеру прочитанной книжки, я представлял себе, что буду рыцарем, который защищает невинных, или путешественником, испытывающим невероятные приключения, или мучеником, который умирает за идеалы христианства, или русским богатырем, удалым добрым молодцом, который убивает Змея Горыныча.

Пройдя длинное расстояние от Митрофаньевского кладбища до Обводного канала, против Варшавского вокзала, я натыкался на тяжелые сцены большого ночлежного дома. Обыкновенно с весны до поздней осени набережная Обводного канала и весь отлогий берег его почти до самой мутной воды были покрыты группами ночлежников. Оборванные,

старые и молодые, они производили очень тяжелое впечатление. Дрожащие от пьянства их руки и ноги, наглое и жалкое выражение лиц, багрово-синие от спирта носы, площадная ругань и драки — все вызывало ужас, отвращение и жалость. Иностранец, приехавший в Питер к Варшавскому вокзалу, еще не встретив ни одного представителя «великого русского племени» и натолкнувшись на эти картины человеческого падения и нищеты, при въезде в столицу выносил, вероятно, самое невыгодное впечатление о России.

Босяков и нищих в Петербурге в те времена было особенно много. Хищническая хозяйственная политика царско-помещичьего правительства заставляла разорившихся крестьян искать заработка в городах. Выбитые из деревенских условий жизни и попав в непривычную обстановку, предоставленные самим себе, многие из них, не найдя работы, опускались, деморализовывались и попадали в «Вяземские» и другие «лавры», как назывались тогда некоторые ночлежные дома. Особенно зимой, в двадцатиградусный мороз, было тяжело смотреть, как они в одних рваных «пинжаках» или в одних рубашках и в «опорках» на босу ногу, дрожащие и окоченелые, вприпрыжку перебегали из кабака в кабак. Кабаков и трактиров было великое множество.

В Петербурге денег много,
Только даром не дают;
Кабаков, трактиров много—
Чаем голову хоть мой! —

говорит одна из частушек того времени.

Как ни тяжела была моя жизнь, более всего я боялся ослабеть настолько, чтобы не очутиться в Вяземской или другой «лавре», в этом своего рода Дантовом аде, откуда не было возврата, где человек оставлял всякую надежду.

Оставаясь до самой смерти неграмотным и набожным, отец заставлял меня молиться и брал с собой в церковь. Я, машинально крестя лоб, совершенно ничего не понимал, что читают и поют на непонятном, мертвом церковно-славянском языке. Хождение в церковь, долгие стояния были для меня сначала непонятной и тяжелой обязанностью. Слушая, как дьячки на клиросе гнусавят, я или рассеянно зевал по сторонам или порывался уйти совсем домой. Только получив от отца зуботычину, когда он меня рвал за ухо или за волосы, я отстаивал до конца скучные церковные службы. Попов я не уважал. С раннего детства слышал множество самых неприличных, оскорбительных, осмеивающих попов, дьяконов, архиереев и архимандритов рассказов, которые обрисовывали в самом непривлекательном свете это сословие. В большие праздники, когда попы обходили наши флигеля с креста-

ми, на похоронах, крестинах, свадьбах они часто напивались до такой степени, что, случалось, теряли даже камилавки и кресты.

Особенно строго отец заставлял соблюдать посты. На последней неделе великого поста говели. На другой или третий день после исповеди шли обыкновенно в Новодевичий монастырь к причастию. Возвращаясь домой, православные никак не могли удержаться от соблазна, чтобы не зайти в кабак. Дверь в последний не переставала хлопать; клубы серого, сивушного пара вырывались наружу вслед за входящими туда только что причастившимися православными. Отец не выдерживал.

— Не говори маме! — бросал он мне, и сам скрывался в грязном вонючем кабаке...

Так как дорога до дому была длинная, а кабаков было много, то, выпивая в каждом по «шкалику», отец приходил домой с «полштофом» водки в кармане в таком виде, что мне перед матерью нечего было скрывать.

— Ах ты, скотина, бессовестная свинья! — обыкновенно кричала на него мать. — Пьяница, опять нализался!

Благочестивое настроение последних дней поста, кануна большого праздника таким образом нарушалось. Мой отец никогда не дрался с матерью. Молча опускался он на табуретку, облокачивался на стол. Голова его бессильно свисала. Его начинало рвать на пол, в грязное ведро, куда из желудка вместе с выпитой водкой выбрасывалось и «святое причастие», «тело христово» (это почему-то не считалось святотатством).

Значительную роль играло в моем детстве соседнее Митрофаньевское кладбище. Осенью отсюда вместе с воем ветра доносились заунывные похоронные напевы, говорившие о бренности всего земного. Весной и летом оттуда слышались красивые трели соловья. На кладбище было много зелени; оно походило на небольшой лесок и для городских жителей служило местом гулянья и отдохновения по праздникам. Старинный обычай славян праздновать тризну проводился в больших размерах здесь в день храмового праздника 7 августа. С утра дороги на кладбище переполнялись торговцами и становились похожи на ярмарку. Множество народу переполняло в этот день кладбище. Верные завету «святого» князя Владимира, что «веселие Руси есть пити», приходившие в этот день православные ухитрялись, несмотря на сильные наряды полиции, отбиравшей бутылки с водкой и пивом, проносить хмельное питье в большом количестве.

Окрестные кабаки, пивные, ренсковые погреба хорошо торговали в этот день; вся масса православных перепивалась, пела песни на могилах, плясала, играла в горелки и поздно

вечером возвращалась домой, едва держась на ногах. Частенько возникали ссоры, переходившие в жестокие драки. Пьяных было до того много, что казалось, что вся толпа качается из стороны в сторону... Упавших, которых не выдерживали ноги, подбирала полиция. К вечеру все окрестные участки оказывались набиты пьяными. Те, которые сваливались по обеим сторонам совершенно пустынной дороги и оставались неподобранными между могил, подвергались ночью ограблению «стрюцкими» и «посацкими»; со стороны этой дороги и с кладбища после полуночи слышались глухие, сиротливые призывы о помощи: «караул, грабят!».

На другой день на рассвете я с мальчишками направлялся на кладбище. После «тризны» на могилах многие из верующих оставляли пустые бутылки; мы продавали их и покупали недоступные для нас булки, пирожные, леденцы и даже книжки. Начав с бутылок, мы кончили тем, что стали срывать с крестов литые из бронзы иконки и крестики. Набрав по нескольку фунтов таких иконок и крестов, мы молотками на рельсе били до тех пор по лицу Христа и других святых, пока барельефное изображение не расплющивалось. Затем с помощью зубила эти иконки и кресты рубились на куски и под видом собранных на свалке отбросов — медных обрубков завода — продавались по 15 коп. за фунт в так называемые железные лавки, которых было много вокруг заводов.

Бывали моменты, когда кладбище, дававшее возможность покупать шоколадки, леденцы и другие сладости, внушало мне ужас. Это бывало тогда, когда в той или иной его части находили удавленника или когда отец осенними или зимними вечерами командовал:

— Сашка! Беги за сороковкой!

Дорога в ренсковый погреб лежала через кладбище. Я был тогда убежден, что удавленники и вообще мертвецы по ночам встают из могил и охотятся за детьми, из которых пьют кровь.

Только угроза наказания розгами и привычка повиновения старшим заставляли меня решаться на столь «опасное» путешествие. С сильно бьющимся сердцем и холодея от ужаса, вступал я на страшную территорию, где из-за каждого креста, как казалось, подстерегали вставшие из могил мертвецы в белых саванах. Тропинка вела между могил и крестов. Опасность была со всех сторон. Завывание осеннего ветра, скрип деревьев, крики ночных птиц, ночные шорохи — все в моем разгоряченном воображении рисовало одну картину страшнее другой. Закрыв глаза, спотыкаясь о могилы, падая, я пробегал, покрываясь холодным потом, эту населенную призраками, выходцами с того света, чертями и лешими местность. Совершая такие экскурсии за водкой довольно ча-

сто, я привыкал презирать опасность, и у меня стала вырабатываться сила воли.

Позднее на кладбище Новодевичьего монастыря я, читая могильные надписи, наткнулся на памятник писателю Некрасову, и отрывок из его стихотворения, вырезанный на памятнике, произвел на меня потрясающее, неизгладимое впечатление:

Сейте разумное, доброе, вечное!
Сейте — спасибо вам скажет сердечное
Русский народ.

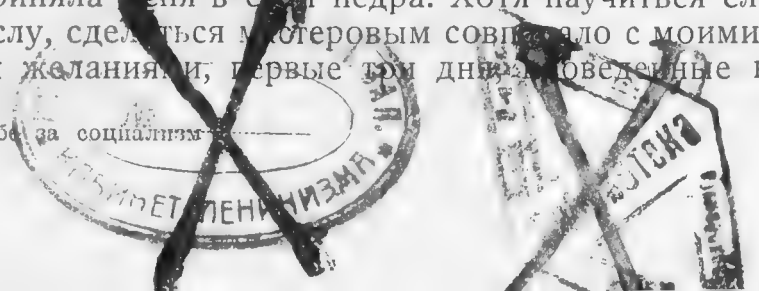
Лазая с ловкостью обезьяны через кладбищенские заборы, копаясь в отбросах на вонючей свалке, я всегда был оборван, перепачкан и очень походил на маленького нищего.

Вырастая на окраине города, будучи плохо одет, даже оборван, встречая глубоко презрительное отношение, чувствуя на себе как бы печать отвержения, я добровольно причислил себя к низам человеческого общества, к черной кости, и относился с большим почтением к хорошо одетым людям. Они все более казались мне представителями высшего, блестящего, счастливого и недоступного для меня мира. Этот мир был для меня долгое время образцом для подражания, возвыситься до которого, казалось мне, нет возможности.

Чем дальше шло время в школе, тем больше я свыкался с ее порядками, нравами и с ее беспокойным населением — школьниками. Среди последних у меня завелись даже друзья, с которыми я бродил по кладбищу и совершал набеги на соседние поповские огороды. Когда мы окончили школу, перед каждым из нас встал вопрос, что нас ждет в будущем, какой нам избрать жизненный путь. Немногие, у которых родители были посостоятельнее, решили продолжать учение. Большинство — дети бедняков — давно свыклось с мыслью о необходимости немедленно начать зарабатывать на жизнь: одни надеялись найти работу в какой-нибудь конторе, другие намечали себя в мальчики где-нибудь в лавке у купца, третьи устремляли взоры на завод. К числу последних принадлежал и я. Я давно уже решил начать работать на заводе. Через несколько месяцев после окончания школы моему отцу удалось устроить меня заводским учеником в железнодорожном депо, в мастерской среднего ремонта паровозов.

УЧЕНИЧЕСТВО НА ЗАВОДЕ

Мне было 13 лет, когда мастерская среднего ремонта паровозов приняла меня в свои недра. Хотя научиться слесарному ремеслу, сделаться мастеровым совпадало с моими сокровенными желаниями, первые три дня, проведенные в ма-



стерской под командой медника Алексея Игнатьевича Соколова, вызвали во мне желание бежать из нее. Переходя порог мастерской, я ожидал, что меня тотчас впрягут в работу, что я немедленно начну учиться ремеслу. Но вышло наоборот: медник не дал мне никакой работы и заставил провести эти три дня в такой томительной бездеятельности, что мне стало казаться, что я совершенно незаслуженно зарабатываю в день 30 копеек. Той притупляющей человека физической усталости, от которой я никогда не мог освободиться во время работы на заводе, я еще не испытывал. Точно солдат перед битвою, я желал ринуться на трудовое поле сражения, а вместо обучения ремеслу меня с первого же дня начали гонять за водкой. Правда, я не был новичок в этом деле. Я хорошо знал, где находится ренсковый погреб, ибо мой собственный отец заставлял меня туда бегать за той же водкой. Но для меня явилось новостью, что беганье за водкой представляет собой заводское крещение для заводских учеников того времени.

Как ни тяжело мне было проходить через это своего рода чистилище, пришлось подчиниться. Я столкнулся с общим убеждением всех пьяниц мастерской, что моей самой священной обязанностью на новом поприще является роль поставщика для них водки. Если бы вздумал сопротивляться, я совершил бы в их глазах, как и в глазах всех рабочих мастерской, своего рода святотатство. Все рабочие за редким исключением любили выпить. Медник, седой бородач, оказался самым первым пьяницей в мастерской. В его «медницкую» сходились все слесаря, жаждавшие «промочить горло», обсуждали вопрос, где бы достать денег, чтобы опохмелиться, и как только деньги отыскивались, медник кричал:

— Сашка, беги за полштофом! — и прибавлял вслед. — Смотри не нарвись на сторожей.

Не нарваться на сторожей значило обмануть их бдительность. Так как они внимательно следили, чтобы водка не проносилась на завод, надо было прибегать к всякого рода хитростям: приходилось привязывать бутылки с водкой в надлежащие места или укрывать их на голом теле, за пазухой.

Особенно туго приходилось мне в мороз. Ренсковый погреб находился на расстоянии версты.

Если бы я одел пальто, я тотчас раскрыл бы свои тайные намерения перед сторожем, охранявшим выход из мастерской. Так как я принужден был пробегать длинный путь в одной рабочей блузе, с бутылками водки, спрятанными на голом теле, я дорогой ценой покупал роль спиртоноса, которая тогда входила в обязанности заводского ученика. В жестокие морозы я простуживался, схватывал воспаления лег-

ких и т. п. Особенно часто принужден был я бегать в ренсковый погреб после получки, когда у Соколова и у других пьяниц, его приятелей, ежедневно «болела голова», и они испытывали непреодолимую потребность опохмелиться. Выпивки, впрочем, устраивались при всяком удобном и неудобном случае. Рождение ребенка, крестины, свадьбы, похороны — все эти события в жизни рабочего ознаменовывались особой выпивкой на заводе. Не упускали случая выпить, когда рабочий поступал на завод и когда он уходил с завода — брал расчет. В первом случае ставилось так называемое «привальное», во втором «отвальное». При всех событиях и обстоятельствах я несколько раз в день слышал приказ: «Сашка, беги за водкой!».

В день молебна святому, в честь которого в каждой мастерской висела икона, устраивали складчину, закупали закуски и заготовляли четверти две водки и соответствующее количество пива. После ухода попа рабочие, одетые по-праздничному, усаживались здесь же в мастерской за приготовленный стол и начинали пиршество. Последнее сопровождалось пением песен и оканчивалось всеобщим опьянением: напивались, как говорили, «до положения риз». На другой день после такой попойки в карманах у пьяниц не оставалось ни полушки. Если выяснялось, что денег хватит лишь на закуску, но никак не будет достаточно на покупку водки, медник все-таки отдавал команду:

— Сашка, беги за треской!

Пока я собирался в путь за этой соленой рыбой, продававшейся в мелочных лавочках на том же Митрофаньевском шоссе, где находился и ренсковый погреб, я слышал, как медник поручал кому-нибудь из слесарей изловить крысу или по крайней мере мышь. Когда я возвращался с треской, пойманную мышь старательно укладывали между слоями трески. Когда это было сделано, кто-нибудь из заговорщиков-слесарей говорил:

— Сашка, идем со мной.

Как только мы приходили на Митрофаньевское шоссе, слесарь спрашивал:

— В какой ты лавке покупал треску?

— Вон в той, — отвечал я, указывая на лавочку. Тотчас, приняв грозный, нахмуренный и даже свирепый вид возмущенного чем-то человека, слесарь с шумом вваливался в мелочную лавку.

— Так это у вас Сашка купил эту треску?! — грозно спрашивал он лавочника.

— У меня-с,— отвечал встревоженный торговец.— Что же-с, треска-то ведь хорошая, первый сорт! Треска такая, что

сама в рот просится. Сам бы ел, да деньги надо! А вам собственно, что угодно?

— Как что угодно? — накидывался слесарь на лавочника. — Вы говорите треска первый сорт. А на самом деле она гнилая и с крысой!

— Как так с крысой? Вы с ума сошли! Какая там может быть крыса?

— Да так и есть с крысой. Ты смотри у меня, борода. Чем ты торгуешь? Во пошлю Сашку за полицией. Пусть составят протокол. Узнаешь тогда, где раки зимуют!..

— Погоди, погоди, дружок, — убеждал обыкновенно перепуганный лавочник и начинал переговоры, которые обыкновенно кончались тем, что лавочник во избежание скандала шел на мировую и давал отступного иногда даже на четверть водки и с закуской в виде свежей трески в придачу.

Такая жизнь в медницкой мастерской с постоянным беганьем за водкой продолжалась у меня целый год. Но однажды после простуды и долгой болезни я вырвался из-под власти медника Соколова и перешел в слесарную мастерскую. В медницкой мастерской, наполненной постоянным угаром отгоревших на горне древесных углей и испарениями кислот, я десятичасовой рабочий день проводил в обществе одного только медника Соколова. В слесарной мастерской я столкнулся с мастеровыми, число которых колебалось от 20 до 40 человек. Вместе с ними под высокими сводами обширной слесарной мастерской я провел ряд лет и должен сказать о них несколько слов.

Описывать представителей старых классов, в том числе и крестьян, по моему мнению, гораздо легче, чем рабочих. Старые классы существовали веками. Новый класс рабочих не так давно появился. Характерные, типичные черты представителей старых классов отстоялись, определялись, повторялись и даже примелькались для внимательного наблюдателя. Но рабочие только что выступили на историческую арену. В каждом рабочем восьмидесятых годов можно было подметить очень много крестьянского, ремесленного. Новое в нем едва еще намечалось. Оно не выступало в нем резкими, заметными черточками и часто было закрыто от пытливого взора пеленой старого. Может быть поэтому писателям-художникам более удавались описания представителей старого общества.

В 80-х годах бросалась в глаза в рабочем какая-то неопределенность и даже бесформенность. Например, сторож Шестаков сохранил в себе даже характерные черты старого солдата эпохи Николая I. Кузнец Кудимыч представлял собой мастерового с обликом человека настолько старых времен, что, глядя на него, можно было создать себе представление о

кузнецах времен московских царей. Значительная часть слесарей, прошедшая в свое время суровую школу ученичества, продолжавшегося не менее пяти лет, пришла на завод с обликом рабочего ремесленного производства. Когда у меня вырывались жалобы на тяжелую жизнь ученика, которого то и дело гоняют по морозу за водкой, они с нотками презрения, как к представителю нового, слабого поколения, говорили:

— Ты еще не знаешь, Сашка, кузькину мать; у тебя не жизнь, а малина. А вот в наше время с ученика пять шкур рвали, лупили каждый день шпандырем и рвали за уши и пять лет ничего не платили и кормили впроголодь.— Слушая эти речи, я должен был считать себя даже счастливчиком.

Самыми отсталыми рабочими являлись кочегары из паровозных бригад и чернорабочие. Они жили скученно и грязно в помещении казарменного типа. Сначала все они были из крестьян Псковской губернии, пока старший кочегар псковитянин не был заменен крестьянином из Витебской губернии. Под его руководством псковичи были после жестоких драк вытеснены, как своего рода нежелательные иностранцы, крестьянами из Витебской губернии. И псковичи и витебские мало отличались друг от друга. Все они представляли собой людей, только что оторванных от сохи, очень выносливых, приехавших в Питер, чтобы подработать немного денег, необходимых в крестьянском хозяйстве. Прожив год-два в Питере, приобретя тройку-костюм, сапоги с лакированными блестящими голенищами, пунцовую рубаху с поясом, гармонику «тальянку», такой кочегар неизменно кончал тем, что возвращался в деревню. В праздники кочегары бродили толпой по улице кругом флигелей и под аккомпанемент гармошки пели частушки вроде следующих:

Я во Питере живал,
Воду пил да хлеб жевал,
Носил тройку, сапоги,
Вприпляс пускался в три ноги.

Ой, дирбинь, дирбинь Калуга.
Тула родина моя!

Чорт попутал, я свихнулся:
Я с копорочкой столкнулся...
Стал с копоркой я гулять,
Пришлось тройку продавать.

Ой, дирбинь...

Как женился на копорке,
Остались одни опорки,
Нету денег ни гроша,
Заедает меня вша...

Ой, дирбынь...

Прямым доказательством влияния на рабочих старых неизжитых еще традиций являлись кулачные бои. Из года в год осенью и зимой в 80-е годы рабочие образовывали два враждебные лагеря и шли друг против друга — стенка на стенку. В сражение, начатое таким образом подростками, постепенно втягивались взрослые рабочие, и бой в таких случаях принимал жестокий характер. С поля сражения расходились с окровавленными лицами, с синяками под глазами, с выбитыми зубами и с переломанными ребрами. В пылу одного такого столкновения я получил настолько жестокий удар в спину, что остался лежать на месте и затем, с трудом поднявшись, едва нашел силы вернуться домой.

Выше я говорил о наклонности к выпивке, замечавшейся у рабочих. Я должен сказать, что пили далеко не худшие рабочие. Даже, наоборот, выпивавшие мастеровые оказывались почти всегда лучшими рабочими, хорошо знавшими свое ремесло. К сожалению, постоянные выпивки не доводили их до добра. Некоторые из них до того спивались, что впадали в состояние галлюцинаций. Один старый рабочий финн говорил:

— Если бы мне дали целую бочку водки, я выпил и помер бы!..

Как видно из всего предыдущего, состав рабочих на нашем заводе далеко не был однороден. Слесаря, другие квалифицированные рабочие, помощники машинистов и сами паровозные машинисты составляли как бы аристократию рабочих. В состав последней входили и квалифицированные рабочие из западных нацменьшинств: финны, поляки, латыши и эстонцы и в особенности иностранцы-немцы.

Германское влияние проявлялось довольно сильно. Начальник всех главных мастерских Курц происходил из немцев. Помощником начальника железнодорожного депо являлся немец по фамилии Вагнер Карл Иванович. Больше половины лучших паровозных машинистов носило немецкие фамилии. Даже запись в книгу ремонта паровозов заносилась долгое время только на немецком языке. Русские коренные рабочие, входя утром в мастерскую, незаметно для самих себя приобрели привычку говорить не здравствуйте, а «морген».

В разговоре с мастером-немцем коренные русские рабочие как-то невольно коверкали свою русскую речь. Не раз мне приходилось слышать следующие диалоги:

— Это не ваш телал эта проба,—выражал мастер-немец какому-нибудь новому слесарю сомнение, что он лично так хорошо сделал пробную работу.

— Што ви, Карл Ваныч, как это можно! Будьте покойны:

это мой сама эту пробу делал, вот провалиться мне на этом месте; мой сама эту пробу делал.

Большинство иностранцев устраивалось в России очень хорошо. Переходя на русскую почву, они почти мгновенно забывали прекрасную привычку западно-европейского трудового населения обходиться без личных услуг, обходиться без прислуги и заводили у себя и кухарок и горничных. Случалось, что какой-нибудь сапожный подмастерье выдавал себя в России за инженера, управлял заводом и превращался тотчас в барина. Рабочие-иностранцы относились к русским рабочим брезгливо, со скрытым, а то и явным презрением. Они считались лучшими рабочими. С начальством они держали себя с большим достоинством, одевались вполне по-европейски. Им, пересаженным с другой почвы, все русское казалось странным и даже диким, варварским. Иностранец, попадая в другую страну, скорее, чем местный житель, замечает ее недостатки. Ему надо прожить в чужой стране, особенно без знания языка, долго, чтобы научиться находить и хорошие качества в чужом народе, в страну которого закинула его судьба. Иностранец, приезжавший в Россию при царях Александре II или при Александре III, наталкиваясь на каждом шагу на варварство, азиатчину, хамство и некультурность, не мог вынести благоприятного впечатления от России. Рабочие поляки, финны и эстонцы, тянувшиеся за иностранцами, одевавшиеся по-европейски, тоже старались держаться большей частью в стороне от русских. Втайне они тоже презирали и ненавидели русских. Но иногда, особенно у поляков, эта скрытая ненависть ко всему русскому прорывалась неожиданно ярко и сильно. В таких случаях передо мной вставал вопрос, почему они нас не любят, за что презирают. И этот вопрос явился первым из ряда вопросов, которые с течением времени вставали передо мной, заставляли задуматься над нашей русской действительностью и вызывали к ней критическое отношение.

Такие мысли возникали во мне, когда я шел на работу. Так как при общей бедности у нас не было ни карманных, ни стенных часов, я подходил к заводу, чтобы не опоздать, минут за двадцать до гудка.

У ворот завода летом или в будке сторожа Шестакова я уже встречал собравшихся рабочих. Только по поношенности, подчас ветхости одежды, которая облекала тела пришедших, да по бледности и изнуренности их лиц можно было судить, что этим рабочим живется не легко. Меня поражало, что эта толпа не любила задумчивых и печальных лиц. Когда я еще подходил к толпе рабочих, меня поражали всегда

взрывы хохота, которые непрерывно раздавались то в одной, то в другой кучке рабочих. Всегда находились зубоскалы, которые своими бесконечными прибаутками и рассказами вызывали взрывы хохота и создавали в толпе самое неподдельное веселье. Беда было кому-нибудь явиться в этот момент с грустным лицом. На него сейчас же набрасывались. Зубоскалы тотчас, как на своего рода мишень, направляли на него стрелы своих острот. Его заклевывали и не давали прохода, пока не отворялись ворота завода. Вероятно подобное же настроение царило и среди рабов древности. Только когда эти рабочие становились к тискам, многие из них не могли побороть озабоченность, грусть и страх перед жизнью, которые отражались в этот момент на их лицах. Свое горе и свое негодование каждый из них носил в себе. Их печальные мысли, родившись и не находя выхода, глохли, не выливаясь наружу.

Часто общим вниманием овладевал или сторож Шестаков или кузнец Кудимыч. В какую бы одежду ни были они одеты, они всегда выделялись в толпе своим особенным молодецким, бравым видом, приобретенным в эпоху Николая I, который говорил: «Девять убей, а одного выучи». Шестаков представлял собой этого «выученного» десятого, но он невольно вызывал мысли о тех девяти солдатах, забитых по приказу жестокого царя. К моему удивлению, Шестаков не только не питал никакой ненависти к этому царю-палачу, но даже любил его. Он с увлечением рассказывал о героической обороне Севастополя и о торжественных военных парадах, в которых он участвовал. И Шестаков и Кудимыч, как это ни странно, являлись сторонниками крепостного права и защитниками наказания розгами. Когда сообщали о каком-либо рабочем, который был изобличен в краже заводского имущества или напивался на заводе мертвецки пьяным, они кричали, что все оттого, что получивший волю народ развратился, что если бы такому молодцу всыпать двадцать пять горячих, как было при помещиках, он не стал бы ни пьянствовать, ни воровать.

Такого рода защитники крепостных порядков и телесного наказания среди рабочих не были единичными явлениями. В банях, где рабочие иногда вели разговоры на общие темы, очень часто встречались отсталые рабочие, защищавшие и то и другое.

В то время, когда раздавались подобные речи, я увлекался слесарно-токарным ремеслом. Во мне незаметно для меня самого зарождалась своеобразная поэзия труда. Лучшей музыкой для меня было визжание напильников, стук молотов, шум машин, дребезжание железа. Лучшими ароматами стали

для меня не запахи полей и лесов, не изделия косметики, а запах машинного масла и запах дыма из горна кузницы, наполнявший все углы мастерской. Я с удовольствием, забывая о еде, пилил напильником, ковал у кузнечного горна, сверлил на сверлильном станке, точил на токарном.

Меня не удовлетворяла наша сравнительно маленькая мастерская. Я мечтал о переходе на большой завод, я предавался мыслям о жизни в большом фабрично-заводском городе, среди леса заводских высоких труб, где фабрика следует за фабрикой, где завод идет за заводом, где гул фабричных гудков заглушает человеческую речь на улицах. В это время мне особенно было неприятно слышать от немцев и финнов, что русские не умеют строить машины, изготовлявшиеся за границей, и я мечтал о том времени (которое уже к счастью при советской власти наступило), когда мы начнем строить свои машины.

Так как, по мнению большинства рабочих, овладению ремеслом сопутствовало и помогало уменье пить, я не забывал и последнего и во время «привальных», «отвальных» и т. п. выпивок я так же, как и взрослые рабочие, выпивал залпом налитый мне полный чайный стакан водки. «Молодец, Сашка, — слышал я при этом от взрослых рабочих, — хорошо пьет, хороший из него мастеровой выработается».

Ведя такого рода жизнь, работая со сверхурочными часами от 7 часов утра до 10 часов 30 минут вечера, я понемногу забросил книги и незаметно для себя начал тупеть. Ни мой отец, ни другие рабочие не вспоминали больше о социалистах. И я с течением времени совершенно забыл о них.

Старые рабочие уходили с завода и уезжали умирать в деревню. На их место принимали новых. Таким образом появились в нашей мастерской котельщик Семенов и кузнец Кусов. Последний часто всматривался в меня, работавшего против него на токарном станке. Однажды он подошел ко мне и спросил:

— Эй, круглило, ты все точишь?! А книжки ты любишь читать?

— Любил когда-то, а теперь с тех пор, как работаю на заводе, перестал их читать, — отвечал я.

Кусов, поругав меня, что я забросил книгу, обещал принести, по его мнению, очень интересную книгу. Я прочел ее и пришел в недоумение. Автор, фамилии которого я, к сожалению, не запомнил, рисовал в этой книге несколько картин из пугачевского бунта, перекинувшегося на Волгу. Яицкие казаки, пытавшиеся поднять крепостных крестьян, были пойманы и беспощадно утоплены. Восстание улеглось. Через сто лет идеи Пугачева были восприняты социалисти-

ческим кружком учащейся молодежи. Главарь кружка в дубовой роще на берегу Волги пытается распропагандировать своего друга студента, сторонника либеральных идей, но противника социализма. Главарь социалистического кружка рисует перед своим другом тяжелое положение русского крестьянина и подкрепляет свои слова стихотворением Некрасова. Он декламирует следующий отрывок из стихотворения «У парадного под'езда»:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется—
То бурлаки идут бичевой!..
Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.

Студент-либерал не поддается пропаганде. Он предсказывает, что из «затеи» его друга ничего не выйдет. Действительно крестьяне остаются глухи к социалистической пропаганде.

Не ограничившись этим, они выдают властям членов социалистического кружка и сами, связав их, стерегут. Повесть оканчивается указанием, что арестованные социалисты пропадают без вести в далекой Сибири. Студент-либерал беспрепятственно оканчивает университет, обзаводится семьей и благоденствует, купаясь в мещанском благополучии. Таково было содержание этой книги, название которой я не запомнил.

— Как же так? — спрашивал я Кусова, возвращая ему книгу. — Я считал социалистов злодеями, подкупленными помещиками. Я был убежден, что социалисты отомстили царю Александру II и убили его за то, что он освободил крестьян от крепостной неволи. А по книге выходит наоборот, что именно социалисты желали добра народу: они, как там говорится, намеревались дать ему и землю и волю.

— Да, Сашка, ты ошибался. Социалисты не враги народа, а друзья угнетенных крестьян и рабочих. Они хотели только хорошего. Если ты думал иначе, то только потому, что социалисты были оклеветаны. Ты подумай обо всем этом, Сашка.

Но я очевидно не был еще в состоянии обдумать и понять поставленный передо мной вопрос. Мне насчитывалось всего 16 лет. Я увлекался трудовыми процессами. Не сознавая себя несчастным, я был далек от мысли о тяжелом положении рабочего класса. Тщетно Кусов знакомил меня с одной курсисткой и напевал около моего станка песенку:

Ой, горюшко, горе,
Великое горе!
Начальник приедет,
По морде заедет.
Начальству на ужин
Баран целый нужен,
Ведерочко водки,
Гусей и селедки.
Ему же на ночку
Мужик готовь дочку...
Ой, горюшко, горе,
Великое горе!

Кусов не достиг цели. Его воодушевленная, но осторожная речь не затронула в моей душе тех струн, которые зазвучали лишь много позднее. Его слова, как снаряды, делавшие то перелет, то недолет, не достигали цели. Я, как недозревшее семя, очевидно не годился для посадки. Я не понимал Кусова, и он сам остается до сих пор для меня загадкой. Он слишком выделялся из рабочей среды и своей культурностью, и своей гордостью, и независимостью, и сознанием человеческого достоинства. Кто был он? На этот вопрос я до сих пор не могу ответить: я по своей неразвитости не мог его понять и выяснить его политическую физиономию. Он являлся человеком, которому все человеческое не было чуждым. Но у него скрывалась какая-то и другая цель, высшая. Вероятно он был революционер. Ему удалось сколотить кружок рабочих, в который входили: токарь Егор Яковлев, котельщик Семенов и еще двое слесарей.

Однажды, придя в медницкую, я застал там Семенова беседующим с медником Соколовым. Медник жаловался на тяжелое житье, на прижимки начальства. Когда он кончил, Семенов, быстро взглянув на меня, вдруг сказал:

— Да, тяжело живется! Эх, скорей бы вспыхнула революция!

— Какая такая революция? — переспросил я, не понимая Семенова.

— Да такая, какая уже была во Франции сто лет назад, великая Французская революция!

— Что ты, что ты! — вдруг зашептал, побледнев медник.— Молчи, Молчи!

Семенов замолчал, я вышел из медницкой, думая о непонятных словах. «Что они значили? — приходило мне в голову. — Отчего так побледнел медник». Но понемногу я начал вспоминать. Прошедшее, как горный высокий хребет, освобождавшийся от обволакивавших его туч, вставало передо мной.

Я сижу в классе начальной городской школы. Во время урока как-то необычно торопливо вошел учитель из соседне-

го класса, одетый, как и все учителя, в черную сюртучную пару. Он быстро подошел к нашему учителю, вопросительно смотревшему на него, и что-то шепнул ему на ухо. Наш учитель дрогнул и, ничего нам не сказав, торопливо вышел вместе с пришедшим к нам учителем. Мы сидели и против обыкновения не шумели: мы ждали, ибо какая-то тревога, как-то невидимо охватила весь класс. Скоро учитель вернулся и заявил нам, чтобы собирали книги и расходились по домам. Когда он говорил, нельзя было понять, большая ли радость или большое горе встревожили его. Одно я прочел на его лице, оно как бы говорило, что что-то случилось. То же самое мы заметили и на улицах. Оно отражалось на лицах прохожих и на движениях приказчиков, торопливо, по распоряжению полиции, запиравших лавки. Пока я успел дойти до дома, весь город замер. Тревога и страх, как черная тень, нависли над огромным городом. Только полицейские мрачно оглядывали редких прохожих.

— Что случилось? — спрашивала мать отца, только что вернувшегося домой.

— Царя убили, — ответил мрачно отец.

— Кто же убил? Кто этот злодей, у которого могла подняться рука на царя-освободителя, на помазанника божия?

— Кто? Известно кто. Студенты, социалисты, богоотступники. Это они все время бросают бомбы. Они подкуплены помещиками и мстят доброму батюшке-царю за то, что он освободил нас, крестьян, от власти помещиков. Что с нами будет без царя?..

Мать, слушая отца, заплакала, а я выскочил на двор гулять. День выдался теплый, снег таял; небо синело ясное; какая-то радость была разлита кругом. Она слышалась в крике воробьев, галок, ворон, чувствовавших приближение весны, возрождение природы. Природа, спокойная и величавая как всегда, не разделяла настроений людей.

У меня тем не менее из головы не шли слова отца об убитом царе, и почему-то я вспомнил, что было три года назад, в 1878 г., во время торжественного парадного вступления гвардейских полков в Петербург. Нарядные войска, с песнями проходили через красивую колоннаду московских Триумфальных ворот. Взоры всех были обращены на них. Но вдруг в толпе полицейские кого то схватили. Отец, перепуганный, говорил, как и сегодня, о студентах-социалистах, бросающих бомбы.

Я жил просто, не отдавая себе отчета в окружающей меня жизни. Человека со всей сложностью его психологии я не понимал. Страх, этот верный слуга капиталистического об-

щества и тирании, пока жив был мой отец, еще не нависал надо мной, как тяжелая скала, готовая упасть и раздавить меня. Увлекаясь работой на токарном станке, я был по-своему счастлив. Поэтому и последняя попытка кузнеца Кусова «сделать, — как он выражался, — из меня человека» не привела ни к чему. Однажды Егор Яковлев пригласил меня к себе на вечеринку. «Вот мы там и потолкуем»,— многозначительно заметил Кусов.

Собираясь на вечеринку, я волновался. Я вычистил старательно с ваксой свои штиблеты, оделся в новую тройку. Но с крахмальным воротничком и галстуком не ладилось: первый не застегивался, а второй не завязывался. Как я ни бился, он у меня не завязывался тем изящным бантиком, какой умели завязывать молодые слесаря. Запоздав, я несся на всех парусах к квартире Яковлева. Войдя в ярко, по моему мнению, освещенную комнату, я смутился и упал духом. И было отчего. В комнате находилось уже довольно много разряженных девиц. А перед моими же приятелями, одетыми в новые сюртучные пары, я, облаченный в тройку, показался себе таким же неинтересным и невзрачным, какими казались мне чернорабочие перед приобревшими петербургский лоск мастеровыми. Растерявшись и покраснев до ушей, я нечаянно наступил на ногу одной девице. Девица завизжала, а я готов был провалиться сквозь землю. Вспомнив, что в обязанности кавалеров входит приглашать их на танцы, я немедленно постарался сделать это. До этого знание людей и женщин у меня оставалось на таком незначительном уровне, что я не умел различать в женщинах их индивидуальные особенности. Но во время танцев, когда я еще несколько раз отдавил ногу своей даме, я заметил, что в девице есть что-то особенное. Я так увлекся ею, так усердно приглашал ее то на кадриль, то на польку, что не заметил, как Кусов делал мне знаки, чтобы я шел в другую комнату, куда он провел пришедшего интеллигента и куда удалились все мои знакомые. Я заметил свою ошибку лишь тогда, когда интеллигент уходил и когда кавалеры в сюртуках вернулись в общую комнату и приняли участие в танцах. Кусов и другие товарищи окинули меня косыми, недовольными взглядами, но они прошли мимо моего сознания.

Увлечение девицею оказалось так велико, что я отправился ее провожать. Если бы я проявил больше необходимой в таких случаях решительности, дело окончилось бы обычным путем: я обзавелся бы женой и погрузился бы, как лягушка, в тину семейного счастья и может быть нашел бы в этой жизни свое счастье. Ведь счастливы же, должно быть, лягушки, погруженные в свое болото?

Но меня на этот раз спас недостаток, так роняющий мужчину в глазах женщин. Этим недостатком явились моя робость и нерешительность перед женщинами. Провожая ее, тщетно пытался я заговорить, рассказать об охвативших меня к ней чувствах. Но у меня даже нехватило решимости сказать ей, что страстно хочется ее снова увидеть. Я не мог решиться пригласить ее куда-нибудь, чтобы встретиться с нею хотя бы на улице. Все оказалось потеряно. Моя нерешительность погубила меня в глазах девицы, и она вскоре вышла замуж за более смелого молодого человека.

В то время во мне наблюдалась своеобразная двойственность. Если я проявлял нерешительность и робость в одном, то в другом наоборот я находил в себе и смелость и решительность. В общем мое поведение в этот вечер решило мою судьбу: Кусов не приглашал меня больше на собрания кружка. Он махнул на меня рукой, придя к мысли, что я вероятно решил жениться. На деле же все члены этого кружка обзавелись женами гораздо раньше меня и отстали от революционной деятельности, если только они всерьез ею занимались. Они продолжали ко мне относиться хорошо.

Егор Яковлев советовал не раз мне переговорить со старшим кочегаром Петровым, с которым обычно советовались при выборе молодых слесарей для поездок на паровозах, когда являлась необходимость заменять кого-либо из помощников машинистов. Обычно, кто попадал на паровоз, тому открывалась карьера паровозного машиниста. Старший кочегар Петров отличался особым уменьем составлять расписание паровозов и паровозных бригад, назначаемых в поездки. Отличаясь выдающимися способностями, он поставил себя так, что начальство с ним обо всем советовалось. Сложилось все так, что судьба молодых слесарей и паровозных бригад находилась в руках этого выдающегося человека. Слухи ходили, что он брал взятки. Он будто бы не брезгал, если к нему посылали молодых жен и взрослых дочерей. Так как я не обращался к нему ни с какой просьбой, то не попал на паровоз. Но меня не очень привлекала карьера машиниста на паровозе. Как настоящий моряк в открытом море предпочтет большой корабль маленькой лодке, так и я, вступая на широкое поприще жизни, предпочел большую токарную мастерскую в главном паровозном заводе нашей маленькой мастерской.

НА БОЛЬШОМ ЗАВОДЕ

Одной из причин, толкнувших меня в токарную мастерскую большого завода, было сознание, что в старой мастер-

ской трудно было научиться хорошо работать и слесарю и токарю. В этом меня убеждали приходившие к нам время-от-времени мастеровые, работавшие в главном паровозном заводе. «Что это? — говорили они, указывая на наших лучших слесарей. — Разве это мастеровые? Когда-то они ими может быть и были, а теперь они совершенно отстали. А научиться работать у вас совсем нельзя». Такие речи оказывали на меня свое действие. Кроме того во мне появилась благодаря беседам с Кусовым какая-то неудовлетворенность. Мне стало тесно в старой мастерской. Единственным выходом оставалось — уйти в помощники машиниста или перейти на большой завод. Большинство молодых слесарей предпочитало первый путь. Но я пошел не по избитой тропинке. Это был довольно рискованный шаг; на него решались лишь немногие. Отец до самой своей смерти был против этого шага. Моя мать держалась мнения отца. Но я все-таки решился на этот переход.

Мое желание осуществилось: я у ворот большого завода. Как запертое чудовище, пыхтели и ухали за его стеной машины, гремели и визжали вертевшиеся трансмиссии и шестеренки. Когда я вошел в токарную мастерскую, меня оглушил шум и грохот машин, обдало с ног до головы спертым, терпким запахом машинного масла. Очень длинная мастерская уходила куда-то вдаль, вся уставленная токарными, строгальными, долбежными и сверлильными машинами.

Над станками виднелись освещенные колеблющимся желтоватым пламенем газовых рожков фигуры мастеровых. Все это были обученные рабочие. На их лицах, в осанке, в уменье себя держать замечалось что-то, что их выгодно отличало от придавленного русского обывателя и от чернорабочих, недавних выходцев из деревни. Наблюдая, как они умело управляют токарными машинами, как эти машины, словно выдрессированные животные, покорно повинуются им, как стальной, закаленный резец, умело ими заточенный и умело установленный, режет в их руках самую твердую сталь, как самую мягкую глину, придавая ей формы и размеры, указанные на чертежах, я понял, что мне, пришедшему из отсталой мастерской, трудно будет состязаться в работе с ними.

Когда же мастер, иностранец, швейцарец Небель, подвел меня к токарному станку незнакомой мне конструкции со множеством ручек, зажимов и рычажков, употребления которых я еще хорошо не знал, я на миг совершенно растерялся. Почва заколебалась подо мной, и мне показалось, что я очутился в положении моряка, погибающего на утлом судне среди раз'яренной водной стихии. Но как у моряка на тонущем корабле, у меня в минуту опасности проснулась реши-

мость во что бы то ни стало избежать гибели. «Эй, — говорил я себе, — не теряй времени, торопись: еще момент и все окажется потеряно!». Собрав все свое мужество и всю свою находчивость и полагаясь на русскую смекалку, я, чувствуя, как взгляды множества глаз, устремленных с любопытством, кололи меня, как острия стрел, принялся за работу. Скорее руководствуясь инстинктом, с каким одержимый сомнамбулизмом идет по краю крыши и не падает, чем сознанием, я двигал рычажки и поворачивал ручки и зажимы в ту сторону, куда требовалось и, не поломав сразу станок, как это бывает с неопытными токарями, овладел им. В общем все кончилось благополучно. Мне положили 80 копеек с правом зарабатывать на сдельной работе до рубля в день. Заводские пьяницы во главе с токарем Сыроегиным потребовали от меня «привальное».

Как будто все пошло гладко, как по маслу, но разница между старой мастерской и новой оказалась большая. Как там, так и здесь на главные роли выдвигались иностранцы и западные нацмены. Как в той, так и в другой мастерской руководителями являлись не русские — в старой мастерской немец Янике, в новой швейцарец Небель. Существенная разница заключалась в том, что в старой мастерской работали всегда поденно, а в новой всегда сдельно. В старой мастерской смотрели на плохо исполненную работу в общем сквозь пальцы, в новой требовали, чтобы работа исполнялась безукоризненно: брак не допускался.

В момент прихода начальства Янике мгновенно преображался: чуть не с пеною у рта он набрасывался на слесарей и на меня, суетился, бегал, кричал: «Давай, давай скорее, паровоз ждет!» Но как только начальник депо, обычно ничего не понимавший в деле ремонта паровозов, уходил с убеждением, что все обстоит благополучно, Янике с той же быстротой успокаивался, медленно подходил к своему шкафчику, наливал рюмку водки и, крякнув, выпивал. Рабочие, глядя на него, тоже сбавляли пыл. Портил я там работу ужасно.

Помню Янике, поставив меня во главе целой бригады молодежи, поручил покрыть обшивкой котел только что отремонтированного паровоза. Обшивку под моим руководством наложили из рук вон плохо. Паровоз в ней выглядел безобразно, листы обшивки вместо того, чтобы лежать гладко, раздувались, как животы беременных женщин, но ничего не понимавшее начальство все-таки приняло паровоз. Еще хуже обстояло дело с «свинцовой пробкой» в потолке паровозной топки. Я так нарезал винтовую нарезку на этой пробке, что высота ее и форма не совпадали с винтовой нарез-

кой, сделанной метчиком в потолке топки. Сделанные мной с таким успехом пробки всегда «парили», заливали огонь в топке, машинисты с трудом делали пар и после первого обратного рейса ставили паровоз в ремонт и снова требовали ремонта свинцовой пробки.

Янике считал виновником во всем котельщика, завинчивавшего в потолок эти пробки. Выходило так, что машинист кричал на Янике, Янике кричал на котельщика, котельщик чесал затылок, но никто вместе со мной не понимал, в чем дело. А прекрасный паровоз из-за такого пустяка, как пробка или поршневые кольца в сальнике, из-за которых выдувало паром всю набивку, выходил из строя, об'являлся инвалидом и отправлялся в ремонт. Все это происходило оттого, что в старой мастерской не была еще проведена установка на точность выполняемой работы. Сам Янике, парикмахерский подмастерье в Германии, занявший без труда в отсталой России место мастера паровозоремонтной мастерской, не понимал этого. Наоборот, смотря на дело с точки зрения деревенского кузнеца, он был даже убежден, что исполняемая нами работа производится очень точно.

Совсем другое я встретил на большом паровозном заводе. Во главе мастерской находился бывший швейцарский рабочий, слесарь Небель. Предприняв путешествие в Германию по обычаю всех странствующих ремесленных подмастерьев Западной Европы, он двигался на Восток, пока не добрался до России и здесь быстро при директоре Курце занял место мастера токарной мастерской. Он хорошо знал машиностроение и с мелочностью швейцарского часовщика требовал от мастеровых точного исполнения работы. Кроме того под давлением нового директора Рицони он неустанно проводил в жизнь постоянную сбавку расценок.

Хотя точность работы под руководством Небеля могла считаться только относительной, но по сравнению с допотопными приемами работы под руководством Янике мне она давалась с огромными трудностями. И вообще, пока я работал в маленькой мастерской среднего и текущего ремонта, я мог создавать в своих мечтах романтику производства. Там старые рабочие меня любили. С их стороны я частенько встречал самое, особенно со стороны Кусова, участливое отношение. Хотя красный, как кумач, от выпитой водки, Янике кричал на меня: «Сашка, майн либер гот, Сашка русский швайн, давай скорее, паровоз ждет!», все-таки там и мне перепадали крупицы человеческого счастья.

Не то я встретил на большом заводе. Здесь я узнал, что такое «кузькина мать», из-за которой «небо в овчинку кажется». Все представление о жизни у меня перевернулось, как

только я столкнулся с суровыми условиями сдельной заработной платы и с требованиями точной работы. Как известно, на снижении расценков зиждется вся система капиталистической эксплоатации. Там где она проводится относительно умеренно, она вызывает технический прогресс. В этом случае положение рабочего может ухудшаться только относительно, но не абсолютно. В России же, где буржуазия, беря готовые образцы техники, не работала самостоятельно на пути улучшения техники, снижение расценков, проводимое безудержно, вызывало почти всегда и абсолютное ухудшение положения рабочих.

Но как ни тяжело живется людям, в каких унизительных условиях они ни живут, они всегда в конце-концов приспособляются к этим условиям. И среди рабочих всегда находится небольшая часть способных, одаренных рабочих, которые ухитряются при всяких расценках выработать ту норму, которая для этого устанавливается и за которой часто безуспешно тянется вся остальная масса. Эта часть рабочих, это меньшинство их, благодаря своему высокому умственному уровню и способностям, сравнительно легко получает тот максимум жизненных благ, который капиталист может предоставить при данных условиях в распоряжение рабочего. Но кроме меньшинства, находящегося всегда в авангарде, рабочие делятся еще на большинство середняков и на меньшинство, плетущееся всегда в арьергарде. Если это большинство рабочих попадает в положение обездоленных людей, что же остается на долю меньшинства в арьергарде, которое, как ни напрягает усилия, всегда остается позади? На него-то в первую голову сыплются все неудовольствия, все преследования, все кары, на которые так обыкновенно падки мастера, эти, по выражению Маркса, унтер-офицеры капитала.

Так как я пришел в большую токарную мастерскую с навыками отсталого рабочего, у меня не было никаких данных занять место среди меньшинства в авангарде. У меня не было выработано навыков высококвалифицированного рабочего, и волею судеб я очутился почти-что в хвосте середняков. Судьба-злодейка перебрасывала меня временами и в арьергард, и скоро небо мне показалось в овчинку. Малопомалу я начал на себе самом понимать тяжелое положение рабочих.

Состав рабочих паровозного завода представлял собой людей различных национальностей. Лучшими рабочими, как и самыми культурными, были немцы. Русские ненавидели немцев, финнов, поляков как занимавших лучшее положение на заводе. Немцам поручали самые ответственные рабо-

ты. Мастера в мастерских и сам директор Курц были немцы. Рабочие-немцы держались между собой сплоченно и в стороне от русских. Русские наоборот держали себя очень разрозненно, враждовали между собой и даже дрались. За исключением небольшой, насчитывавшей единицы кучки русских рабочих, остальная масса их поражала иностранцев своею некультурностью и подчас и дикостью.

На заводе процветали кражи. На честного, правдивого, кто не лгал и не крал, смотрели, как на глупца. Нередко воровали и друг у друга, особенно у точила. Когда кто-нибудь из токарей, обнаружив исчезновение своего резца, спрашивал: «кто взял мой резец», он в большинстве случаев никогда не находил его. Как брошенный в воду камень, он исчезал бесследно. Самого хозяина резца встречали обычно хохотом и говорили: «Не зевай, смотри в оба! На то и щука в море, чтобы карась не дремал». «Нравы, — по выражению Островского, — были жестокие».

Если новый рабочий отказывался ставить «привальное», его немилосердно сживали с завода: ему устраивали различные пакости. Обычным приемом была порча станка. С этой целью отвинчивали какие-нибудь винты или гайки, подсовывали в шестерню кусок железа. Обычно этот подлый прием достигал цели: шестеренки ломались, машина портилась; токаря обвиняли в неуменьи работать и прогоняли.

Часто развлекались тем, что зазевавшемуся рабочему незаметно привязывали хвост из грязных тряпок и забавлялись, как большие дети, видя, что он ходит по заводу, не замечая хвоста. Иногда находились такие молодчики, которые считали необходимым усилить впечатление, для чего этот хвост поджигали. Создавалось своеобразное зрелище. Невольным актером являлся несчастный рабочий с горящим хвостом, который он, обжигая руки, торопливо срывал при общем хохоте мастерской. Довольно невинной шуткой считалось незаметно подойти сзади и увлеченному работой мастеровому изо всей силы обхватить лицо грязными, замасленными ладонями и крепко придавить ему средним пальцем нос.

Сознание собственного достоинства замечалось только у иностранцев, а у русских оно считалось редким явлением. На заводе процветало хамство и наушничество. Мастер на заводе или начальник успевал настолько крепко держать рабочего в своих руках, что невольно казался ему «царем и богом». Обыкновенно ему было хорошо известно не только то, что делалось на самом заводе, но и в семьях рабочих.

Внешне рабочие держали себя по отношению к мастеру с известной долей подобострастия.

Каждое утро можно было видеть, как рабочие при обходе мастером мастерской, не дожидаясь приветствия с его стороны, сами первые торопливо снимали шапки и заискивающим тоном говорили: «Здрасте, господин мастер».

Рабочий был придавлен. Время надвигалось мрачное. Царское правительство торжествовало победу над революционной партией «Народная воля». Голос друзей народа и таких передовых рабочих, как Кусов, замер. Подобные рабочие, поскольку они уцелели от общего разгрома, замкнулись и временно ушли в себя. Профсоюзов тогда не существовало. О забастовках, о рабочем движении я, например, ни от кого ничего не слыхал. Касс взаимопомощи не существовало. Слово «товарищ» носило лишь личный характер.

Ежедневно рано утром я приходил на работу и с каждым днем все более стал замечать, что я тупею. Тяжелая работа, длинный рабочий день делали свое дело. Как и все рабочие-подростки, я не избег общей развращенности. Я курил, ходил со всеми рабочими пить «привальные». Я грубо и похабно ругался и цинично, низменно относился к женщинам. Мне уже стали известны во всех подробностях самые интимные стороны жизни человека. Разбуженная было во мне потребность читать снова, как костер под дождем, погасла. На меня как бы надвинулась глубокая ночь, и я погрузился в тот глубокий сон, в котором спали тогда рабочие.

Но всему приходит конец. И на большом заводе, куда я так стремился перейти, мне стало душно, как в тюрьме. Во всех бедах, вылившихся на мою голову, я должен был, по мнению окружающей меня среды, винить только самого себя. «Сам справляйся со своей бедой, выворачивайся, как знаешь», — таково было общее мнение. Если ты попал в арьергард, са мвиноват: значит, не умеешь работать. Положение рабочих, тянувшихся в хвосте, ухудшалось тем обстоятельством, что их-то именно мастер избирал жертвами, которым сбавляли расценки. Рабочего, допустившего понижение расценков, всегда презирали, а иногда и избивали. Не согласиться на сбавку расценков могли лишь хорошие рабочие. В таких случаях они гордо заявляли расчет и уходили с завода. Но на такой шаг могли решиться лишь те рабочие, которых особенно ценили, которые всюду и быстро находили работу. Но бросить завод для рабочего, еще не искушенного в ремесле, для рабочего, на плечах которого оставались мать, сестра и два брата, было бы равносильно прыжку в пропасть. И я частенько попадал в положение, из которого нет выхода, когда мне сбавляли расценки, и я принужден был оставаться на заводе. Под давлением пре

зрения, которым меня окружали в таких случаях хорошие рабочие, я с'еживался в комок, уходил в себя, искал выхода и не находил.

СЕТИ РЕЛИГИИ

Настала весна 1887 года. Мне исполнилось 17 лет. В пасхальную теплую ночь я отправился с куличом, пасхой и крашеными яйцами к заутрени. Церковь была уже набита молящимися, и я поместился на улице. Множество молящихся стояло кругом церкви; всюду горели пасхальные огни; в небе ярко сверкали звезды; кладбищенский лес сейчас же за деревянной церковью обступал молящихся темной, непроницаемой стеной. Такой стеной, казалось мне, окружена моя жинзь. Между тем пасхальные напевы и колокольный звон, таявший в глубине неба, что-то будили во мне и куда-то звали. Казалось, что еще не все потеряно, что где-то там, за этой стеной скрываются моя доля, мое потерянное счастье. Я становился своебразным мечтателем, который, страдая сам, начинает искать спасения не только для себя, но и для всех. Мысли мои, однако, уносились не вперед, а назад, к идеалам, оставленным первоначальным христианством.

— Никак Сашка? — услышал я знакомый голос. Я оглянулся и узнал котельщика Антона, когда-то входившего в кружок Кусова. — Здравствуй, Сашка, — продолжал он. — А меня, знаешь, мамаша моя прогнала куличи эти святить. Знаешь, какова моя мамаша... от нее не отвяжешься. Довольно, говорит, тебе, пьянствовать. Иди богу помолись. А где он бог-то, знает она? Нет, и я не знаю. Где ты работаешь, Сашка? Все на Варшавке. Я, брат, на Путиловском. Только пьянствовать я стал...

— Да замолчи, дылда! — послышался ропот молящихся. — Куда ты пришел? В кабак, что ли? Сам не молится и другим не дает. — Антон замолчал. Я стал снова прислушиваться к церковным напевам. «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, — слышались из церкви слова Иоанна Златоуста, — придите все, богатые и бедные: Христос победил!»

— Сашка, — вдруг снова услышал я Антона, — смотри, Сашка, долгогривые идут. Гляди, какое у дьякона пузо-то. А морда, гляди, какая красная и толстая у попа. Гляди, как его разнесло! Прямо боров. Вот так жеребячья порода!

Антон определенно портил мне и другим окружающим поэтическое настроение пасхальной ночи, с наивной верой полящихся «воскресшему» богу.

— Кладите, православные, кладите, — слышался голос дьякона, вместе с попом обходившего бесконечные ряды куличей и пасок, которые верующие принесли святить. — Кладите,— продолжал он,— рука дающего не оскудеет!—Но слова Антона все-таки делали свое дело. Может быть, под их влиянием мне бросилась в глаза жадность, с какой поп и дьякон смотрели на кучу денег, которые верующие набросали на ряд церковных блюд, которые несли дьячки.

— Заходи ко мне, Сашка, заходи непременно, — говорил мне Антон, когда после окончания заутрени мы с завернутыми в салфетки куличами возвращались домой. Я обещал. Но осуществить обещание я мог лишь в конце пасхальной недели, ибо последствия крутого перехода от суровой постной диэты в течение семи недель великого поста к скромной пище после пасхальной заутрени вызвали у меня болезнь желудка. Чувствуя себя еще не вполне оправившимся, я пришел к Антону. Он мне передал новости о Кусове.

— Он уже не тот, что прежде. Да и я уже не такой, как прежде. Кусов женился, ездит машинистом на паровозе. Баба у него красивая. Она и забрала его в руки. Теперь он от всего отстал. Знаешь, Сашка, — продолжал Антон, — пойдем-ка в портерную... Там поговорим и выпьем по кружке.

— Зачем в портерную? — протестовал я. — Можно ведь и здесь посидеть и побеседовать.

— Ну, не будь бабой! Какой же ты мастеровой, если боишься водки или пива стакан выпить. Что ты, красная девица? А я еще намеревался тебя на Путиловский завод перетащить. Идем, Сашка!

Трактиры и портерные привлекали к себе рабочих не только возможностью выпить, но и чистотой и нарядностью помещения, газетами и иллюстрированными журналами, а главное, пожалуй, изысканной вежливостью обращения, с каковой их обыкновенно, как и в магазинах и в лавках, встречали приказчики и купцы. «Пожалуйте, мастер, — обращались они обычно, расшаркиваясь перед рабочим. — Садитесь, мастер. Что вам угодно, мастер? Пива? Сию минуту. В один момент принесу. Садитесь, пожалуйста».

Также встретили нас и в портерной, куда меня привел Антон. В принесенное пиво Антон незаметно от меня влил полсороковки водки. Отвратительная смесь двух напитков сразу ударила мне в голову. Организм, ослабленный тяжелой работой, длинным рабочим днем и главное болезнью, не выдержал. По мере того, как опьянение овладевало мной, я переставал совершенно понимать, что говорит Антон с подошедшим к нему товарищем. Когда Антон, расплатившись за выпитое пиво, поднялся с места, я последовал за ним, как ша-

тающаяся тень. Я не желал немедленно возвращаться домой из боязни огорчить мать нелепым видом опьяневшего человека. Я следовал за Антоном шаг за шагом, пока он не свернул в одну из «рот» Измайловского проспекта. Здесь в одном из деревянных домов, в нижнем этаже жил Антон со своей старушкой-матерью. Она встретила нас на пороге и очень косо с недовольным видом взглянула на меня и закричала:

— Как тебе не стыдно, Антон! С какими пьяницами ты знакомство водишь!

Услышав эти упреки по адресу Антона, я решил избавить его от своего присутствия: мне стало совестно; пошатываясь, я вышел в переднюю. Оглядевшись, я наклонился, как мне показалось, над помойным ведром. Со мной началась мучительная рвота. В это самое время отворилась дверь из другой квартиры, и показалась фигура сапожника в переднике. Прокричав что-то, он скрылся. Я был в таком состоянии, что ничего не понимал. Через минуту выскочило целых четыре сапожника, и я, не помню как, очутился на дворе... Что-то ревело и гудело кругом меня. Я падал, поднимался, снова падал... Я потерял сознание... Когда очнулся, лежал на полу, растерзанный и окровавленный. Мать Антона тихо плакала в углу. Сам Антон, размахивая ружейным стволом, отбивался от толпы, которая ревела и лезла в окно. Он кричал:

— Отойди, расшибу!

— Давай нам его сюда, мерзавца! — слышалось из окна, — он нам чистую кадку с водой опоганил. Ее теперь святить надо!

— Ну, Сашка,— сказал Антон, увидев, что я очнулся,— надо бежать, плохо дело! Я тебя едва от них за ноги вытащил... Иначе тебя убили бы!

Хотя у меня болело и ныло все тело, хмель прошел. С помощью Антона, который отбивался ружейным стволом, мы пробили себе после долгого боя путь; я был спасен и вне опасности. Но вернувшись домой, я тотчас слег и был болен около двух месяцев. После жестокого избиения, которому подвергся, я был на краю могилы. Был в полузабытье, не мог говорить и, как сквозь сон, слышал, как вернувшийся из больницы отец говорил матери:

— Сашка умирает. Ноги уже похолодели. Как дойдет до сердца, так и умрет.

Я слышал, как он заплакал, как послал за попом, а матери пришла счастливая мысль напоить меня сладким горячим чаем. Я относился равнодушно ко всему, что делалось кругом, и меня интересовал лишь вопрос, как, каким образом я буду переходить на «тот свет». Несколько ложек чая, который мать влила в рот, раскрыв ножом судорожно сжатые

зубы, произвели чудесное действие. Тотчас сведенные судорогами руки и ноги распрямились, зубы разжались; одновременно я получил способность речи. Но так как в этот самый момент пришел священник и причастил меня, все окружающие меня и я в том числе вслед за ними приписали выздоровление чудесному действию причастия. Как человек, бывший на пороге смерти, я возродился, но уже для другой жизни. Я как-то невольно поддался влиянию сверхестественного и чудесного.

Вскоре умер мой отец. Умирая, осенью 1888 г., он призвал меня к своей постели и, указывая на икону, заклинал меня твердо верить в бога, покорно выносить тяжелую жизнь, быть покорным начальству. После смерти отца я потерял право, как не штатный служащий, а рабочий, оставаться в квартире отца. Продав за бесценок отцовских коров, которые меня тяготили, я переехал из митрофаньевских флигелей на набережную Обводного канала.

Предсмертные наставления отца не прошли для меня бесследно. Окружающая жизнь рабочих-подростков с ее грубостью, развращенностью, наклонностью к выпивкам, танцам и мелкому воровству на заводе все более начинала казаться мне серой, неинтересной, однообразной до одурения и невольно начал я рисовать себе картины другой жизни, вечной жизни на небе, в садах рая, среди святых и мучеников. Но, если я в поисках иной, лучшей жизни взял ошибочное направление, это не значит, что я находился под сильным влиянием своего отца. Я не знаю, любил ли я его так сильно, как полагается сыну любить отца. Еще с детского возраста, когда при мне мастеровые осыпали его насмешками, как одного из деревенщины, я приучился смотреть на отца глазами мастеровых. Мастеровые не любили моего отца, как сторожа и как человека, который не шел ни на какие компромиссы с ними и беспощадно боролся с их наклонностью к мелким кражам. Когда хоронили отца, я следовал за гробом, не испытывая никакой тоски по умершему. Мне было досадно за себя. Мне хотелось ощутить в своем сердце большое горе, но тщетно: во время похорон я не испытывал этого чувства.

Сквозь религиозный дурман, который, как туман, обволакивал меня, я смутно вспоминал слова Кусова о социалистах, которые в борьбе за счастье народа не побоялись ни тюрьмы, ни ссылки, ни смертной казни. Такой борец за счастье народа, как Кусов, начинал казаться мне дубом, который не могли сломить ни ветры, ни бури, в то время как я, как тростинка склонялся до самой земли и отдавался во власть ядовитого дыхания, которым отравляла народ религия.

При Александре III, когда голос революционеров заглох в каменных мешках, в ледяных пустынях Сибири и на виселице, попы, архиереи, монахи — вся православно-византийская церковь, подталкиваемая обер-прокурором синода Победоносцевым, стала проявлять большую активность. Попы произносили проповеди. Стали появляться «чудотворные» иконы и фабриковаться« чудеса». Был сфабрикован и «святой» поп — Иоанн Кронштадтский.

Среди рабочих ходили слухи о чудесах у мощей*, у икон и у Иоанна Кронштадтского. Поп Слепян, крещеный еврей, кажется английский подданный, принявший православие и сделавшийся миссионером православия и студентом Духовной академии, организовал при новой бумагопрядильне общество трезвости. Здесь на деньги рабочих была заложена и выстроена церковь.

Другой поп, Григорий Петров, позднее основал общество трезвости среди рабочих городской скотобойни. Это было время, когда Победоносцев насаждал церковно-приходские школы и пытался вдохнуть жизнь в разлагавшуюся и гнившую православную церковь. Поп Петров шел дальше и пытался внести в мертвую догму православия элементы учения Л. Толстого. Было образовано также «Общество распространения христианства в духе православной церкви» на Стремянной улице.

Победоносцев, как верный пес царизма, чувствовал и понимал, что самодержавию грозит опасность; и он мобилизовал всю черную рать тех, кого русский народ по справедливости назвал «жеребячьей породой и долгогривыми». Долгогривые принялись «уловлять» души, начались проповеди о терпении, воздержании, покорности и награде, которая ждет всех верных в раю. Я был увлечен этим мутным, грязным потоком.

Попав в большую токарную мастерскую, столкнувшись с самой бесстыдной, беспощадной эксплоатацией, с постоянным понижением расценок, не встречая никакого сочувствия у так называемых хороших рабочих, для которых нипочем были эти понижения расценок, склоняясь ежедневно, как под гнетом судьбы, при колеблющемся желтом свете газовых горелок над станком, я почувствовал себя неудачником.

Та жизнь, которую я вел, стала казаться однообразной до утомительности: один день был похож на другой, и она

* Уже тогда подготовляли слухи о чудесах у гроба старца Серафима. В целях борьбы с революцией мощи этого старика были открыты в торжественной обстановке в 1905 г. После революции когда мощи были вскрыты они оказались на деле кусками ваты и картона.

перестала давать мне удовлетворение. Я чувствовал себя, как птица, запертая в клетку. Жизнь стала казаться тюрьмой, в душе появились смутные желания — желания простора, воздуха.

И вот в это-то время я услышал голос, который обещал избавление и спасение. Это не был голос друга, товарища, который указал бы, как угнетенному рабочему выйти на широкую дорогу из леса сомнений, в котором я запутался. Это был голос змеи, очаровывающей свою жертву, прежде чем ее с'есть, это был голос Иуды, голос попа.

«Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»,—услышал я и пошел. Меня прельстила идея общества трезвости, с которой выступили попы Слепян и Петров.

Раз'единение среди рабочих было так велико, ночь была так темна, что общество, хотя поповское, казалось лучом света среди мрачной ночи. Только полным отсутствием агитации и пропаганды на заводах в это время, когда не было ни партий, ни союзов, ни кооперативов, ни касс взаимопомощи, я могу до известной степени об'яснить себе такое сильное увлечение той западней, которую в угоду царю, помещикам и капиталистам расставляли для рабочих попы. Пролетарский инстинкт не выносил изолированности рабочих и требовал об'единения.

Сделавшись членом общества, я стал среди рабочих вербовать членов. Увлекаясь этой идеей, я дал себя обмануть надеждой, что возможно еще и в настоящее время осуществление древне-христианских идеалов без богатых и бедных. Старое поколение рабочих отнеслось довольно равнодушно к новой идее общества трезвости, но среди молодых рабочих я очень быстро нашел сторонников.

Косолобов, Купцов, Дрожжин, Андреев, Экстрем составили группу и одни из первых записались в члены этого общества. В виду того, что общество трезвости основано было попом Слепяном на Боровой улице около новой бумагопрядильни, старое поколение рабочих окрестило меня в насмешку «Боровой». Но по сути дела я и мои товарищи попали под тлетворное влияние православной церкви, которая проповедует бессмысленную покорность властям и старое византийское отречение от жизни.

Обольщенные попом, я и мои товарищи все свободное время посвящали посещению церковных служб, чтению библии и жития святых. Мы строго исполняли посты, а все свои деньги — гроши, которые могли уделить, — отдавали на иконы, на церкви. В субботу мы шли на Ново-Афонское подворье, где всенощная с 6 часов вечера длилась до полуночи. В воскресенье в 4 часа утра мы подымались к заутрени.

Темно. Сверкали звезды. Снег скрипел под ногами. В воздухе таяли первые удары колокола. Как тени, проскальзывали редкие, принадлежавшие к беднякам богомольцы.

Я часто находился в числе этих жалких, умственно порабощенных людей. Под церковными сводами, в полумраке, который не рассеивался от мерцающего света лампад и трехкопеечных свечей, склонялись они, похожие на стадо, на холодные плиты, касаясь их лбами. После окончания заутрени мы шли к 6 часам утра к ранней обедне, затем к 10 часам утра к поздней обедне. В 4 часа пополудни мы направлялись к вечерне, после которой попы начинали беседы. Кроме этого, вместе с членами общества трезвости мы совершали пешком верст за 20—30 паломнические походы в Колпино и Сергиевскую пустынь. Так под гнетом царя и капитала, оглушенные стуком молотов и машин в течение длинного дня работы на заводе, мы давали себя одурманивать еще религиозным поповским обманом.

Лучшими рабочими считались в нашей пригоночной мастерской машинист Николаев и токарь Сыроегин. Обоих их рабочие звали «глотами» за то, что они любили, чтобы их приглашали выпить. Такая простая вещь, как расчет зубчатых колес для нарезки винтов, «резьба», не была известна всем рабочим. Молодые токаря затруднялись в расчете и обращались к Николаеву или Сыроегину. Но за услугу нужно было их позвать в портерную и угостить. Искусство быстро находить «шестерни» для нарезки винтов они ревниво хранили про себя и не сообщали другим.

Оба они заинтересовались моей агитацией, подошли к моему станку и, послушав, что я говорил, дали совет:

— Брось, «Боровой», не проповедуй, не дури! Начал ты за здоровье, а можешь кончить за упокой. Говоришь ты теперь о боге, а там, гляди, и социалистом сделаешься.

— Как так социалистом? — спросил я.

— Да так, — продолжал уравновешенный, спокойный Николаев, — в прежние времена они были здесь. Ты вот начал читать книги и зачитаешься... Лучше брось, а то арестуют и повесят...

Я действительно начал читать так называемые священные книги: библию, жития святых, «творения» Ефрема Сирина, Иоанна Богослова. Знакомство с ними мне было необходимо для того, чтобы давать ответы на хитро поставленные вопросы, которые мне предлагали староверы и штундисты. Знакомство с священным писанием сделало из меня своего рода начетчика — я сыпал текстами. Староверы и пашковцы частенько не находились, что мне ответить, и уходили. Круг слушателей у моего станка увеличивался. Увеличива-

лось все больше число желающих записаться в члены общества трезвости.

Но сам я начал становиться другим человеком, когда некоторые рабочие стали задавать мне вопросы, что такое наша земля, шар ли она или плоская, стоит ли она на месте или вертится кругом солнца.

Католическая церковь недаром не разрешала простым смертным чтения библии. Библейские рассказы и так называемые жития святых вообще полны таких противоречий, что более или менее внимательный читатель наталкивается на мысль, что в них кроется огромный, ужасный обман для людей.

Всякий раз, когда я брал в руки библию, я вспоминал слова отца, что безумцы — студенты, нигилисты или социалисты — не верят в бога, но чем более я читал библию, тем более сомнений в существовании бога возникало во мне. Помню, в большое смущение привела меня Соломонова «Песнь песней» — эта настоящая любовная поэма, в которой воспевается земная любовь к прекрасной женщине.

Мне казалось, что меня искушает дьявол, как пустынника на берегу Нила. Я старался уединяться, уходил от толпы. Первые, особенно сильные, сомнения в существовании бога я испытал в день праздника, который Александр III давал в годовщину франко-русского союза французским морякам. Нарядные толпы народа направлялись в Петергоф. Быть может, вид этой бегущей толпы, будящие и зовущие звуки «Марсельезы», которую разрешено было играть и которую я слыхал впервые, почему-то властно поставили передо мной вопрос: есть ли бог?

Мучимый этой мыслью, я бежал от толпы к устью Невы, к взморью и, смотря на широкую водную гладь, слушая, как набегает волна, задавал себе вопрос: а есть ли бог на самом деле? И ужасная мысль, что бога нет, что мы, бедные рабочие, являемся жертвою огромного, наглого обмана, сфабрикованного попами, все более овладевала мною.

С раннего утра до 7 часов по окраинам Петербурга громко гудели заводские гудки, звавшие на работу. Громче и звучнее всех кричала сирена Путиловского завода. Руководствуясь свистками, ежедневно, как заведенная машина, ходил я на работу. Я был болен, изнурен, нервы были взвинчены. Еще подходя к мастерской, где машины пыхтели и ухали, я уже чувствовал усталость. Тяжелая работа, долгое стояние на церковных службах, соблюдение постов — все утомляло меня. Против воли я начинал ненавидеть мастера Небеля, мастерскую и завод, который стал мне казаться чудовищем, пасть которого, поглотив меня на целый день, выбрасывала к вечеру измученным и усталым на улицу.

Занятый агитацией, я мало заботился о той работе, которую он мне давал для исполнения. Небель гордился своим западно-европейским происхождением. Он отличался от русских мастеров поразительной честностью, тем, что не брал взяток. Но ремесло унтер-офицера капитала, в которое входит и организаторская и полицейская роль, заставляло его, по предписанию самого директора Рицони, постоянно сбавлять расценки.

Я казался ему, очевидно, чудаком или глупым. Он как-то намекнул мне на возможность хорошо зарабатывать; но я должен был доносить ему обо всем, что делается в мастерской. Какой-то тайный голос останавливал меня от этой подлой роли, на которую в то время находилось много охотников. За мой отказ, очевидно, он мне мстил тем, что часто сбавлял расценки. К тому же работа моя вследствие того, что я, как говорили рабочие, «проповедывал», нередко бывала недостаточно хорошо исполнена.

Меня, как и всякого рабочего в капиталистическом обществе, и утром, и вечером, и даже ночью давали и преследовала одна мысль: как бы не оказаться без работы, вне фабрики, на мостовой. Мастер Небель всегда мог меня выбросить на улицу, как говорили рабочие, «гранить панель». А у меня на руках были мать, сестра и два брата, которые жили на мой заработок. Зарабатывал я в то время рубль в день. Мастера, от которого я зависел, который мне делал замечания, «пушил», как говорили рабочие, и который постоянно сбавлял расценки, я начал очень бояться. До того велик был мой страх, что через десять лет спустя, когда меня уже не было в Петербурге и я его потерял из виду, грозная фигура его во сне заставляла меня вздрагивать, покрываться потом, просыпаться. В конце-концов я и его, как и завод, возненавидел скрытой, глубокой ненавистью, которая не знает пределов.

Меня особенно мучили постоянные сбавки расценок. Как сторонник учения Христа о непротивлении злу, я должен был бы охотно им подчиняться, но сознание, что отсутствие протеста, молчаливая покорность религиозного рабочего приводят к тому, что вследствие этого ухудшается положение сотен и тысяч рабочих, заставляло меня приходить к ужасной мысли, что не непротивление злу Христа и Толстого, а борьба со злом может улучшить положение рабочих. «Я очень плохо делаю,— думал я,— что, как тростник под ветром, склоняюсь перед волею мастера. Я должен поднять голову, распрямить согнутую спину, быть твердым и прямым, как дуб, который не склоняется перед бурей».

Все христианское учение, всякая религия — и православная, и католическая, и иудейская, — как проповедующие покорность и непротивление злу с точки зрения положения рабочего класса начинали мне казаться страшным и гнусным обманом. Но по инерции я продолжал ходить по церквам, собирать толпу и «проповедывать». Я бледнел, худел. Видя, что я мало внимателен к работе и что веду агитацию, мастер Небель все чаще качал головой.

Я получал паспорта ежегодно через полицию. Фамилия отца была Шаповал. В полку его переделали в Шапавалова. Волостной писар стал мне писать Шаповал или Шапувал. Из-за недоразумения с фамилией или может быть потому, что моя агитация начинала возбуждать подозрение у полиции, меня ежегодно, а то и два раза в год вызывали в участок, к приставу. Однажды меня вызвали к железнодорожному жандармскому ротмистру, так как почему-то требовалось, чтобы я через него послал заявление о высылке нового паспорта. Паспорта высылали сроком на год, а то и на шесть месяцев.

В полицейских участках обращались очень грубо с рабочими и вообще с плохо одетыми людьми. Еще в приемной у пристава, где приходилось ждать часа по два, бросалась в глаза неодинаковость в обращении с посетителями. Перед хорошо одетыми господами полицейские чиновники ходили на задних лапках, предлагали стул и говорили «вы». Рабочему говорили «ты», на него кричали, топали ногами, грозили «холодной» * и т. д. Из «холодной» почти всегда слышались крики — это дежурный городовой, какой-нибудь держиморда с огромными кулаками, давал «леща».

Я всегда дрожал при мысли очутиться в «холодной» вместе с пьяными, ворами и с проститутками. Входя к приставу, я испытывал страх перед начальством. Оттого ли, что я был плохо одет и имел смирный и забитый вид, пристав всегда на меня кричал, ругаясь самой непечатной бранью.

Вследствие такого грубо-оскорбительного обращения, повторявшегося из года в год, я начал терять уважение к начальству. При виде городовых, околоточных, приставов у меня невольно поднималась острая ненависть к ним. Подобное же возмутительное надругательство приходилось выносить и от жандармского ротмистра.

— Говори, как тебя зовут? — сказал он строго.

— Шаповалов, Александр Сидорович, — ответил я.

— Не Сидорович, а просто Сидоров! Ты ведь не дворянин, а мужик, осел ты этакий, невежа, елки-палки, печенки-

---

* Холодная—тюрьма при полиции.

селезенки...— кричал он. — Болван! Как ты стоишь перед начальством? Держи руки по швам, елки зеленые! Лопни твоя утроба!.. Почему это тебе присылают паспорт то на имя Шаповалова, то Шаповал, то Шапувал?

— Не знаю, господин офицер, — ответил я.

— Высокоблагородие! Не умеешь разговаривать с начальством, ракалья ты этакий! Никифоров! — кричал он. — Покажи этому болвану, как нужно говорить и стоять перед начальством, и напиши ему требование на паспорт.

Я молчал не потому, что я не хотел ответить, а потому, что в голове у меня все путалось. От грозного вида жандармского офицера, от его ругани, криков у меня парализовались мыслительные способности. Я сжимался, как собака, которая ждет удара ногой от грозного, жестокого хозяина, и в то же время я не спускал глаз с бесновавшегося жандармского офицера. Я бросал на него взгляды загнанной, забитой собаки, взгляды, в которых в одно и то же время отражались и страх, и покорность, и мольба, и собачья преданность начальству.

— Отчего же ты молчишь? — уже тихим тоном спросил жандармский офицер. Он убедился очевидно, что стоявший перед ним жалкий, дрожавший от страха молодой рабочий совершенно не опасен существующему порядку.—Ничипоренко,— обратился он к стоявшему здесь же высокому жандармскому унтер-офицеру,— напиши ему требование на паспорт.

Раз как-то я вышел из участка усталый, покрытый потом, как будто я таскал целый день непосильные тяжести. В это время на площадь перед вокзалом черной лентой выливалась из заводских ворот толпа рабочих, недалеко от ворот наблюдал, «чтобы не безобразила мастеровщина», высокий городовой. Что-то поднялось во мне, когда я проходил мимо, и вдруг вылилось в чувство обиды, в глухой, неосознанный протест. Я почувствовал ненависть к полицейскому.

— Фараон! — сказал я ни с того ни с сего.

— А! Оскорблять полицию! — закричал городовой. — Стой! Вот составлю протокол, отцу и матери закажешь наносить оскорбления полиции при служебных обязанностях!

В тот момент, когда он протянул руку, чтобы меня схватить, я успел скрыться в толпе рабочих.

Слово «фараон» считалось у полицейских оскорбительным. Слово, которое в древнем Египте произносили с уважением и трепетом, у нас почему-то произносилось внасмешку.

Радуясь, что избежал задержания при полиции, вероятного избиения, я весело шел домой. А в моей душе незаметно, но неизменно и все более нарастали протест и глухая ненависть к начальству.

«К праву и равенству взывают только слабые; сильные же о таких вещах совсем не думают».

Из Аристотеля.

«ВОЛОСАТЫЙ ДЬЯВОЛ»

Рабочие в токарной мастерской в большинстве были набожные. Входя в мастерскую утром, они снимали фуражки и крестились, проходя мимо иконы. Они строго соблюдали посты и в среду и пятницу не ели скоромного, в понедельник, придя на завод, делились впечатлениями о церковных службах. Часто по воскресным и праздничным дням они шли в Исакиевский собор послушать церковное пение и протодьякона Малинина, отличавшегося могучим басом. Иногда православные вступали в спор о вере с раскольниками. Сторонники протопопа Аввакума не считали себя побежденными, ждали момента и еще надеялись на реванш. Иногда они так прижимали православных, что последние прибегали за помощью ко мне. Иван Сыроегин, пьяница и глот, любил поспорить со старовером Куроедовым и не раз обращался ко мне за советом и помощью. Однажды в рождественский пост он подошел ко мне. С первого же взгляда на него я понял, что он с похмелья, что у него по этому случаю болит голова и плохое настроение.

— Что скажешь, Иван Сергеевич? — спросил я.

— Да что, «Боровой», ты вот проповедуешь: «и водку не пейте, и церковь посещайте, и в общество трезвости записывайтесь». Да. Вот, например, я. Я и посты соблюдаю и в церковь не забываю заглянуть, да что из этого толку? А вот Кожевников... Я его весь пост наблюдаю. Ведь он никогда лба не перекрестил и в постные дни, как нарочно, скоромное трескает. Вот я сейчас проходил мимо него, а он сидит на сундуке да, знай, ветчину уписывает. И все ничего. Бог-то его ведь не карает. А ведь он наверно социалист. Николай, машинист, мне сказывал, что он наверно из нигилистов. А он уж знает... Его не проведешь.

— Ну, и оставьте его в покое.

— Да как оставлять-то. Ведь если бы он один сидел у нас, как бельмо на глазу, а то ведь еще один волосатый дьявол появился.

— Это кто? Новый токарь-то? А что он тоже в пост скоромное ест?

— Вот то-то и есть. Он и скоромное жрет в среду и пятницу, и в церкви не заглядывает, и лба не крестит перед иконой. Но этого мало, Кожевников хоть молчит, а этот

нет. Этот огрызается... Я ему говорю: ты что посты не соблюдаешь? Вот бог-то тебя покарает, а он мне в ответ: а где твой бог? Что-то я его никогда не видел. Как, говорю, не видел и указал на икону Николая угодника. А он, как захохочет. Да это, говорит, доска. Каков? Настоящий волосатый дьявол... Он на Путиловом работал. Наши шепелевские говорят, что он социалист.

— Откуда вы знаете про все это с Николаем, машинистом? Просто вы злитесь на Кожевникова, что он никогда не приходит на «привальное», которое вы, пьяницы, норовите содрать с каждого, как шкуру с барана. А новому длинноволосому токарю Федорову вы не можете простить, что он вам, заводским глотам, «привального» не поставил. Вот в этом вся и причина...

— Знаю, знаю, «Боровой», что ты как общество трезвости против «привальных» и что ты будешь защищать всех, кто не ставит «привального». Да ты посмотри на его гриву... Такие волоса только у попов да у студентов-нигилистов.

Действительно новый токарь Дмитрий Федорович Федоров в мягкой шляпе, с длинными волосами почти до плеч очень походил на студента и может быть и на нигилиста. Для полноты картины нехватало пледа, который носили студенты до введения обязательной формы. Личность Федорова очень выделялась из среды мастеровых, и я стал искать случая познакомиться с ним.

Кожевников тоже выделялся среди рабочих и своей внешностью и по своему внутреннему содержанию. Был ли он только рабочий или в лице его среди нас работал один из опростившихся интеллигентов-народников — трудно сказать. Он ни с кем не сближался, ни с кем почти не говорил. Единственный человек, с которым он время-от-времени вступал в беседу, был немец Поппе, лучший токарь в мастерской. Но Поппе, с которым не мог вступить в соперничество на токарном станке ни один токарь в мастерской, никогда не проявлял интереса к политике, в праздник одевался, как буржуа, отправлялся в немецкую кирку, а вечером в немецкий клуб, где проводил время за кружкой пива и за танцами. Я лично делал несколько попыток заговорить с Кожевниковым — ни одна из них не привела ни к чему.

Но однажды в летний день после обеда торопливо с вытянутой вперед рукой подбежал высокий плешивый строгальщик, строгавший паровозные цилиндры, к станку Кожевникова. За ним следом шел с важной надменной миной на лице жандармский полковник и жандармский унтер-офицер.

— Здесь, ваше высокоблагородие, — сказал строгальщик, ненавидевший социалистов, как «убийц доброго царя».

Он указывал на сундук Кожевникова, где последний хранил инструмент. Сейчас же к жандармам подбежали и машинист Николай и Сыроегин. Наблюдая, как они льстиво, униженно снимали перед жандармским полковником фуражки, как вместе с высоким строгальщиком предупредительно расступались и помогали вскрывать замок на сундуке Кожевникова, я понял, что жандармы обладают огромным значением и властью в России.

Они долго рылись в сундуке, но, не найдя, повидимому, ничего кроме записной книжечки, которую они забрали, удалились. Николай, машинист, и два его друга, подобострастно кланяясь, провожали полковника до ворот мастерской, затем все трое подошли к моему станку.

— Видел, «Боровой»?

— Видел, — ответил я. — А вам-то что?

— Как что? Да слава-те, господи! — произнес торжественно Николай. — Ведь начальство-то снова за ум взялось. Скоро опять вешать начнут, как Желябова и Кибальчича. Да и ты, Сашка «Боровой», прекрати лучше проповедывать. Брось ты это свое общество трезвости. Ты вот все говоришь против «привального», а как русскому человеку без рюмки водки? Боюсь, как бы и ты социалистом не об'явился. Повесят тогда тебя, мошенника. Брось, говорят тебе, проповедь эту.

Он отошел, бросая на меня гневные, предостерегающие взгляды. Николай, машинист, считался самым способным и даже талантливым мастеровым. Когда вводился воздушный тормоз Вестингауза, он вместе с другими самыми способными слесарями был послан под руководством немецких инструкторов на монтаж и испробование этих только что привезенных в Россию из-за границы тормозов. К сожалению, он оставался ярым монархистом и вероятно позднее считался черносотенцем.

Через несколько дней после обыска у Кожевникова заболел и свезен был в психиатрическую больницу токарь Алексей Корнеев, по прозвищу Алексей Ягода. Прозвали его Ягодой из-за множества прыщей, покрывавших его лицо. Он болел фурункулезом, организм его был истощен неумеренной и пожалуй развращенной жизнью в юношестве. Пьянство, половой разврат и тяжелая работа вызвали в нем истощение организма. Чтобы поправить здоровье, он отправился в свою деревню. После женитьбы на молодой, здоровой крестьянской девушке обнаружилось, что он кроме всего прочего болен и импотенцией. Это явилось ударом, заставившим его задуматься над безвыходным положением. Придя к мысли, что импотенция послана ему богом в на-

казание за грехи юношеской жизни, он по возвращении в Петербург немедленно вступил в общество трезвости и посещал вместе со мной все церковные службы и являлся самым преданным членом моего религиозного кружка. Врачи обнаружили у него еще болезнь табес-дорсалес, которая, прогрессируя, довела его до идиотизма. Когда выяснилось, что болезнь его безнадежна, меня мастер Небель перевел на его станок. Судьба мне благоприятствовала: мой станок оказался рядом со станком нового токаря — «Волосатого дьявола».

Известие о болезни Алеши Ягоды из узко семейного круга проникло и на завод. Принесли эту новость два молодых рабочих, которые «утешали» по-своему жену Алеши. Печальный исход болезни Алеши очень повредил и обществу трезвости и моей религиозной пропаганде. Пьяницы и глоты об'яснили эту болезнь по-своему и об'явили виновным во всем меня. «Боровой» виноват,— заявили они,— говорили ему, не читай книги, не читай библию, зачитаешься, с ума сойдешь. Так и вышло. Алеша Ягода читал библию и зачитался и сошел с ума. Жена-то Алеши сказывала: «Мой-то Алешка на меня не глядит, не ест, не пьет, не спит, только молится да библию эту читает». Прибежал к моему станку и Николай машинист.

— Ну вот, вы теперь рядом, два друга — колбасник и супруга. Один из вас божественный, верит в бога, читает библию, другой бога не признает, жрет в пост мясное, в церковь не ходит, «привальное» не ставит. Ну, Сашка «Боровой», Алешку ты с ума свел. Теперь тебя с ума сведет этот «Длинноволосый дьявол». А затем вас обоих дураков на одной осине повесят. Повесят вас, мерзавцев! И хорошо сделают!

— Верно! — ответил ему «Длинноволосый дьявол»,— по крайней мере больше места в бане будет, особенно для тебя, Николай. Ты так на «привальных» разжирел, что тебе одному на полке места мало. А «привального» от меня не жди! Не дождешься, глот ты окаянный!

Николай ушел, бросая сердитые взгляды. Я, пораженный судьбой Алеши, симпатичного и скромного молодого токаря, заинтересованный личностью «Длинноволосого дьявола», познакомился с ним и завел спор о существовании бога. Наш спор с внешней стороны окончился вничью: как я не мог привести в пользу существования божества веских данных, так и он, как казалось, не мог меня переубедить, доказать, что бога не существует. Но по сути дела я должен был себе самому сознаться, что он меня разбил вправах. Мое верование в бога похоже было на положение человека, сброшенного с какой-нибудь вершины в обрыв и повисшего над

пропастью. Оно, как этот человек, едва держалось на краю обрыва, ухватившись за нависшую над пропастью ветку, но еще одно дуновение бури, и ветка надломилась, и мое верование в бога покатилось в пропасть.

Беседуя с Д. Ф. Федоровым, я поражался его уму и знаниям. Как токарь-мастеровой он выделялся своим уменьем работать на токарных станках. Ему были нипочем пониженные расценки: он всегда вырабатывал тот максимум, который выпадал на долю рабочего меньшинства, стоящего в авангарде. Кроме того он вообще представлял собой талантливого самородка. Он обладал пытливым умом, даром убежденья и холодным, спокойным темпераментом скептика. Но у него не было данных, необходимых для энтузиаста и фанатика какой-либо идеи.

Читая реакционную газету выкреста Окрейца «Луч» и газету князя Мещерского «Гражданин», он заинтересовался писателями, которых эти газеты ругали. «Раз ругают — значит, читай их»,— думал он. Прочитав Достоевского «Братья Карамазовы», он начал сомневаться в существовании бога. Те же газеты сослужили службу, указав на Дарвина. Познакомившись с последним, он окончательно укрепился в мысли, что бога не существует. Идя тем же путем, он докопался до Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Тургенева. Познакомившись с поэзией Пушкина и Лермонтова, он сам научился писать стихи. В стихах он высмеивал тех, кто, стоя у власти, дал яд Сократу, кто распял Христа, кто бросил в сырую тюрьму Галилея. Немудрено, что его беседы были полны интереса и привлекали к себе.

Я не мог больше противиться «искушениям дьявола», как я думал тогда, и все чаще приходил к станку этого волосатого безбожника, слушая его рассказы и песенки, которые он тихонько напевал, пока станок шел «самоходом».

Чем-то новым, необыкновенно прекрасным, заманчивым и щемящим за сердце пахнуло на меня от его речей и песенок. Величавая фигура Степана Разина, положившего свою голову на плаху за угнетенный народ, вера поэта Надсона, что на землю «вернется святая любовь», «печальные и гневные» напевы музы Некрасова — все находило отклик в моей душе. Начали раскрываться широкие горизонты. Вставало новое солнце, в свете которого старый бог с его святыми и чортом, адом и раем все более отходил на задний план, все более начинал казаться смешным призраком, выдумкой прошлого, пока не исчез из глаз и не провалился в пропасть забвения, куда история сметает все устаревшее и негодное.

Я бросился с головой в новый для меня мир. Астрономия, геология, великие русские писатели, вечерняя школа — всем этим я жил. В то же время я еще не находил в себе сил порвать со старым. Древний бог со своими святыми и дьяволами толпою окружал меня и грозил адом. Я переживал внутреннюю борьбу. Рабочие, которых я втянул в общество трезвости, в духовное рабство, особенно Косолобов и Купцов, были недовольны моей дружбой с безбожником Федоровым. Но мертвая обрядность православия все сильнее отталкивала меня: чудотворные иконы и мощи все более начали казаться в свете науки, с которой я познакомился, старыми, глупыми суевериями, которым могли верить лишь обманутые попами люди и полоумные, выжившие из ума старики и старухи.

Особенно тяжелое впечатление произвел на меня «паломнический поход» в Сергиевскую пустынь. Весенняя ночь севера с редкими звездами, с полусветом вместо мрака уступила место серому утру. Всю ночь, когда я шел с этой толпой, покрытой пылью, усталой, в поту, нескладно гнусавившей молитвы, мне бросалось в глаза то, чего не замечал раньше: секретарь общества трезвости, обращенный Слепяном молодой еврей, был совершенно пьян, регент хора, студент духовной академии, всю дорогу «щупал» молодых ткачих и уходил с ними в кусты. К утру небо покрылось тучами. Заморосил дождь. Ярко зеленели трава и листья распустившихся деревьев. Дождевая вода, смешавшись с пылью, насевшей в изобилии в течение ночи на непокрытые головы богомольцев, стекала теперь в виде грязных ручейков по их изнуренным лицам. Некоторые из них, доведенные постоянной работой на заводах и фабриках и длинным переходом до усталости, граничившей с тупостью, спотыкаясь и шатаясь от чрезмерного утомления, машинально, почти не владея собой, размазывали рукой эту грязь по лицу.

Когда совсем рассвело, вся эта толпа жалких, усталых вопящих церковные гимны людей произвела на меня тяжелое, жалкое впечатление. Такой же взгляд любопытства, недоумения, смешанного с состраданием и презрением, как я заметил, бросила проезжавшая компания «господ» — молодых женщин и мужчин, возвращавшихся в Петербург из загородного ресторана.

«Жалкая толпа рабов, жалкие обманутые люди,— думал я,— к чему эти хоругви с крестом, символом рабства, эти иконы, когда «его» нет, когда мы обмануты!».

— Что с вами? Вы не отвечаете на вопросы, не слушаете, что вам говорят! — говорила мне сестра одного токаря, нарядная, красивая портниха, которая, заинтересовавшись

рассказами рабочих обо мне, познакомилась со мной и от самого Путиловского завода шла рядом со мной; мое равнодушное отношение к ней видимо обижало ее.

Погруженный в мысли, есть ли бог или нет, я совсем забыл о ее существовании. Она еще более обиделась, когда по прибытии в монастырь, увидев пьяных по случаю пасхи, красномордых, с толстыми пузами монахов, увидев попа Слепяна (приехавшего по железной дороге), я один, не сказав никому ни слова, с чувством глубокого разочарования вышел на паперть собора.

— Как это зазорно, — услышал я негодующие голоса паломников, толпившихся на дворе, — мы шли сюда всю ночь, устали, измучились, думали встретить здесь, в святом месте, благолепие и благочиние; на деле же мы натолкнулись здесь на пьяных бесстыдных монахов.

— Да что с монахов спрашивать, — заявил один из путиловских рабочих, — если сам здешний архимандрит почти открыто с любовницей живет.

— Верно, — подтвердил другой рабочий, — у каждого монаха здесь в поселке живет любовница.

— Ах, какой срам! — негодовала одна из паломниц.

— Да неверно все это! — взвизгнула одна из богомолок. — Все это навождение дьявольское — и пьяные монахи и другое. Все неправда, все ложь.

— Какая там ложь. Вон, смотри, идет монах красномордый и совершенно пьяный. Что ты скажешь?

— Скажу, что это навождение и все тут. На самом деле нет пьяных монахов. Все свято здесь.

«Какое там свято,— думал я,— проходя через толпу богомольцев по направлению к вокзалу: здесь кабак и дом терпимости!» С мыслями о монастырях, превратившихся в вертепы разврата и человеческой глупости, я вышел из монастыря, добрался до вокзала, сел в вагон отходившего поезда и вернулся в Петербург.

Когда я, задумавшись, выходил из здания Балтийского вокзала, кто-то взял меня за плечо и удивленно вскрикнул:

— Никак Сашка? Школьный товарищ! Не узнаешь?

Услышав когда-то знакомый голос, подняв глаза, я увидел перед собой красивого, хорошо одетого, что называется с иголочки, незнакомого мне, пышущего здоровьем, упитанного молодого человека. Вглядевшись, я узнал в нем бывшего «Фридьку», с которым учился в былое время в начальной городской школе, с которым бегал среди могил Ми-

трофаньевского кладбища. Слово «Фридька», готовое было сорваться, замерло у меня на устах: я не осмелился назвать таким именем этого, как мне казалось, важного господина.

— Как же ты живешь? — продолжал он спрашивать. — Ты плохо одет, весь в пыли. У тебя нездоровый вид. Ты такой худой, что можно сказать кожа да кости. Сколько ты зарабатываешь?

— Я мастеровой, токарь по металлу. Работаю на Варшавке. Зарабатываю двадцать пять рублей в месяц. На эти деньги приходится содержать мать, двух братьев и сестру.

— Двадцать пять рублей в месяц на пятерых! — воскликнул он удивленно. — Я не представлял себе, что вам, мастеровым, так плохо живется. Да я один, случается, проживаю в один день больше, чем вы пятеро в месяц. Я лично вряд ли вынес бы такую жизнь. Пожалуй я застрелился бы. Двадцать пять рублей в месяц на пятерых, ведь это ужасно! Как же вы живете?

— Как живу? — ответил я. — Известно, плохо. Едим картошку да черный хлеб. Денег у меня нет. «В одном кармане смеркается, в другом заря занимается». Вот так и живу. День да ночь — сутки прочь. А откуда у вас деньги? — осведомился я.

— У меня дело другое, — отвечал он. — Окончив университет, я получил хорошее место. Я хорошо зарабатываю. Затем я удачно женился; жена очень богата. Я тебе помог бы, да жаль: вчера в карты проигрался, двести рублей проиграл. В кармане ни копейки. До свидания!

— До свиданья! — ответил я, направляясь к дому. Какое-то тяжелое чувство овладело мной. «Хорошо богатым,—думал я.—Этот Фридька всегда был каким-то баловнем судьбы. В детстве он приходил в школу надушенный. В школе он ел хлеб с маслом, белые булки с швейцарским сыром, паюсной икрой, колбасой, ветчиной, пирожное, фрукты, в то время как я там же глодал черные корки хлеба и холодную картошку с солью. Затем, так как мой отец был бедняк, я не мог продолжать ученье, и мне оставалась одна дорога — делаться мастеровым. Благодаря тому, что его отец был богат, имел деньги, этот Фридька, который не был способней меня, сумел окончить гимназию и университет. Теперь он господин Ветцель и проживает в один день больше, чем я зарабатываю тяжелым трудом в течение месяца. Как несправедливо устроен этот мир!»

Как несправедливо устроен мир, я убедился еще раз на следующий день. Мастер Небель опять сбавил мне расценку.

Когда я рассказал об этом Федорову*, он посмотрел на меня, подумал и промолвил:

— Да кому же ему и сбавлять, как не вам.

— Как так? — переспросил я удивленный.

— Да очень просто, он хорошо знает ваш образ мыслей, он знает, что вы не только просто религиозный человек, но что вы активно религиозный человек, что вы член общества трезвости. Почему же вам не сбавить расценку, если он знает, что вы активный сторонник непротивления злу, что вы исповедуете православное христианское вероучение. Вот шепелевские ** они тоже верующие. Но они держаться сплоченней, стоят друг за друга. Кроме того христианство у них смешано с остатками язычества. Благодаря такой двойственности шепелевец как христианин стерпит, а как язычник из-за станка гайкой запустит. А вы одинокая овечка. Вас стричь безопасно. Поэтому он и наваливается на вас.

— Что же мне делать? — спросил я.

— Что вам делать? Здесь трудно будет изменить создавшиеся отношения. Для того, чтобы сделаться орлом, у курицы должны отрасти когти и острый клюв. На это нужно время. Вам надо уйти с завода и на другом месте сразу поставить себя иначе. Здесь можно было бы отказаться принять это новое снижение расценок, если бы остальные рабочие вас поддержали. Но на это надеяться сейчас невозможно.

— Уйти, — говорите вы, — но куда? Когда за моей спиной больная мать, сестра и два брата в школьном возрасте, уйти, это значит попытать счастье, не умея еще плавать, переплыть широкую реку. Решиться на такой шаг мне трудно. Когда я вспомню, в каком положении останутся мать, сестра и братья, меня охватывает настоящий ужас.

— Странно устроен человек, — заметил Федоров, — вы, как мореплаватель, намереваетесь взять курс на новые неизвестные еще страны: вы хотите плыть к социализму, а ведь всякого, кто решится встать на этот путь, ждет впереди тюрьма, Сибирь, эшафот. Иногда мне кажется, что вы человек такого склада, что вы не побоитесь ни того, ни другого, ни

---

* Дмитрий Федорович Федоров, несмотря на свои 70 лет, продолжает работать на государственном артиллерийском заводе, что по Северной ж. д. за станцией Мытищи. В 1896 г. принимал активное участие в организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», по проведению всеобщей стачки текстильщиков в Петербурге. Всю свою жизнь он вел агитацию на различных заводах Петербурга и оказывал всяческое содействие революционному движению. В 1907 г. был арестован. Избирался в выборщики в Государственной думе в 1906 г. и в члены Совета рабочих депутатов в 1905 г., но по болезни был заменен т. Комаром.

** Рабочие ведшие свое происхождение от бывших крепостных рабочих заводчика Шепелева.

третьего, а в то же время вас разбирает страх перед мастером, вы не решаетесь отказаться принять пониженную расценку.

— Что же мне делать? Я еще на распутье, я еще не определился: я верю в бога и не верю, я люблю царя и даже мастера Небеля, когда он не теснит меня, но после сбавки расценок я начинаю ненавидеть и мастера, и директора, и самого царя. Вы говорите, что я не побоялся бы виселицы. Вы правы. Но я и здесь колеблюсь: я и ненавижу социалистов старой ненавистью, к которой приучил меня еще мой отец, и в то же время, когда слушаю вас, я начинаю их любить. Но для того, чтобы им поверить, надо их встретить, узнать их лично и выяснить их веру. Где их найти?

— Поверить? — как-то странно заметил «Волосатый дьявол».— Зачем поверить? Нужно узнать, изучить. Можно верить слепо и совершенно не знать, во что ты веришь. Тертулиан говорил: «Верю, ибо это нелепо». Говорят, существует целая литература о социализме. Я с социалистами не знаком. Никогда их не встречал. Вам надо завести знакомство со студентами. Это не так легко. Они теперь бегут от рабочих, как черти от ладана. Попробуйте поступить в вечернюю техническую школу для рабочих.

— А где такие школы? — перебил я его.

— Где? Да вот на Петергофском проспекте. Как раз для вас подойдет. Начинайте, там познакомитесь с математикой, научитесь понимать хорошо чертежи, сами начнете их чертить. Одновременно авось как-нибудь и социалиста там встретите. А если встретите, расскажите мне. Может и я заинтересуюсь этим вопросом. Но только должен сказать, какая между нами разница: вы не побоитесь ни тюрьмы, ни казни за ваши убеждения, но боитесь взять расчет и перейти на другой завод, а я нисколько не питаю страха перед расчетом — я всегда и везде место найду; поэтому я и не боюсь мастеров, а вот тюрьмы, Сибири и эшафота я, наверно, испугаюсь.

— Чорт идет,— раздался предостерегающий голос одного из шепелевцев. Показался мастер Небель. Я отскочил к своему станку.

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

Работа на токарном станке частенько требует большой интеллигентности, понимания технических чертежей и знания арифметики. Некоторые работы, как, например, обточка конусов, вызывают необходимость также небольшого знакомства с геометрией, алгеброй и тригонометрией. Для получения этих знаний и со смутной надеждой, что в школе более определенно выясню вопрос о существовании бога, я на-

чал посещать вечернюю школу императорского технического общества на Петергофском проспекте.

Революционеры-интеллигенты в то время работали в воскресных и вечерних школах Петербурга в качестве учителей, чтобы легче знакомиться с рабочими и привлекать их к революционной деятельности. Народоволка Софья Перовская, погибшая в 1881 г. на эшафоте, была учительницей в одной из таких школ за Невской заставой. Позднее в этой же фабрично-заводской окраине Надежда Константиновна Крупская (Ульянова) в 90-х годах работала также в подобной школе.

Потому ли, что район, где была расположена вечерняя школа, в которой я учился, не пользовался такой известностью, как знаменитый Шлиссельбургский тракт, или по каким-либо другим причинам, но в течение трех лет моего пребывания в школе я не только не встретил среди преподавательского персонала личностей, сочувствовавших революционному движению, но, напротив, всегда сталкивался среди них с такого рода учителями, которые на уроках проводили даже мысль, что в России для развития промышленности необходимы и длинный рабочий день и низкая заработная плата.

Как позабывший почти все, чему учился в низшей городской начальной школе, я поступил во второй класс. Вошел я в эту скромную школу без преувеличения, как в храм науки, относясь к ней, как к источнику знания. Учителя, представители интеллигенции, казались людьми какого-то другого, высшего, недоступного для меня мира. С необыкновенным уважением к ним и почти-что с благоговением приходил я на уроки. Но школа обнаружила мое невежество по многим предметам. По сравнению с учителями, приходившими сюда из гимназии и из рального училища, я показался себе слишком незначительным и даже ничтожным человеком, чтобы осмелиться ставить такие проблемы, как проблема о социализме. С «Волосатым дьяволом» я редко сталкивался. Его Небель перевел на другой, лучший станок в противоположный конец мастерской.

Задавшись целью восстановить самые элементарные знания и почерпнуть новые, увлекаясь школой, я на время отодвинул все «проклятые вопросы». Вслед за мной в ту же школу поступили мои товарищи по религиозному кружку: Александр Косолобов, Василий Купцов, Иван Игнатьевич Дрожжин, Павел Андреев и другие. Школа отнимала все свободное время. Даже по воскресеньям мы занимались в ней с 8 часов утра до 3 часов пополудни. На чтение других книг, не относящихся непосредственно к школе, не остава-

лось времени. У меня школа кроме того сокращала заработок. Занятия в школе лишали меня возможности оставаться на сверхурочные работы — «вечера», как называли их рабочие. Работы на заводе накопилось много, и потому рабочие под страхом «расчета» принуждены были оставаться на вечерние работы.

Для получения возможности посещать вечернюю школу я должен был обратиться за разрешением сначала к Небелю, а затем и к директору Рицони. Разрешение не работать «вечера» я получил. И Рицони и Небель видимо упивались огромной властью над рабочими. Если Рицони замечал какой-нибудь беспорядок в мастерской, немедленно громко распекал Небеля. Последнему особенно доставалось, если директор замечал, что рабочие на сдельной работе работают с прохладцей. Небель в свою очередь обрушивался на рабочих и неукоснительно сбавлял расценки Я, получив возможность уходить с вечерних работ, чувствовал себя счастливым.

Ученики в вечерней школе делились на учеников из рабочих и на учеников «забулдыг», т.-е. сыновей мелкой или средней буржуазии и интеллигенции, которых выгнали из учебных заведений или за неуспеваемость или за нежелание учиться. Один из подобных учеников, сын пристава, однажды, возвращаясь вместе со мной из школы, задал мне вопрос:

— Шаповалов, откуда у вас такое усердие к школе? Ведь вы, как мне говорил директор школы (он мне вас ставил в пример), всегда приходите в школу, а ведь вы и живете далеко от школы и целый день проводите на заводе. Я удивляюсь вам, откуда у вас такое желание учиться? У меня вот нет никакого желания учиться. Я прихожу в школу только под давлением отца, который зовет меня «забулдыгой».

Несмотря на все усердие, с каким я учился, я не был первым учеником. Косолобов и Дрожжин шли впереди меня и овладевали знаниями с большей легкостью, чем я. Я не могу считать себя баловнем судьбы, которому все в жизни дается легко, почти без труда. Наоборот, все на моем жизненном пути — и рабочая выучка на заводе, и ученье в школе, и чтение книг, и все знания, которые я приобрел в жизни, и сама революция позднее — все доставалось мне после тяжелого труда.

Кроме школы я время-от-времени посещал музеи, в особенности Эрмитаж. Я бродил один по бесконечным залам последнего, всматриваясь в художественные произведения, в картины, в статуи. Во мне что-то накапливалось, зрело... Я должен был на что-то решиться, куда-то повернуть, но куда, я еще окончательно не знал.

Однажды утром весною я был разбужен далеким криком первой сирены. В крике сирены было что-то зовущее, увлекающее. В нем мне слышался рассказ большого морского парохода о далеком плавании, об иных землях, людях, об иной жизни. Я с трудом окончил рабочий день. Потолок, стены завода особенно давили меня и казались тюрьмой. Вечером я долго гулял по Обводному каналу. Вид барочников, плохо одетых, скверно питавшихся, спавших тут же на берегу или на барже, вид босяков и дешевых проституток, крутившихся около барочников, навел меня на мрачные мысли. «Довольно колебаться,—думал я,— бога нет, надо приниматься за дело. Надо разыскивать социалистов». С такими мыслями я отправился вечером в вечернюю школу, где начались экзамены.

Меня вызвали на экзамен закона божьего. Этот предмет считался особенно важным. Председательствовал в этот день за столом экзаменаторов член императорского технического общества директор огромной резиновой Российско-американской мануфактуры немец-лютеранин, тщедушный, бледный старик с большой седой бородой. У священника-законоучителя я считался на хорошем счету как один из лучших учеников. Желая очевидно подчеркнуть благонадежность мыслей своих учеников, поп, когда, казалось, все его вопросы были исчерпаны и я стоял в ожидании, когда мне разрешат уйти, вдруг ни с того ни с сего спросил:

— Скажи нам, Шаповалов, как ты думаешь, кого здесь на земле нужно почитать за бога?

Будучи достаточно находчив, я этим вопросом был, казалось, поставлен в тупик. Я напрягал свою память и никак не мог вспомнить, кого на земле надо считать богом. Настало томительное молчание; члены экзаменационной комиссии начали многозначительно переглядываться, а я в это время краснел, пыхтел, нервно перебирал в руках фуражку, желая провалиться сквозь землю, и все не находил ответа на поставленный вопрос. В тот самый момент, когда директор резиновой фабрики вскочил со стула, поп, чтобы прекратить тяжелое молчание, вдруг подсказал мне: «Да царя, государя-императора надо на земле за бога почитать»... «Царя»,— повторил я за ним машинально. «Ну вот,— продолжал поп,—давно бы так». Затем, обернувшись к экзаменторам, он добавил, указывая на меня: «Да, он у нас хороший». Из-за своей ненаходчивости, проявленной мной на этот раз, я не получил серебряных часов, которые раздавал ученикам, хорошо знающим закон божий, директор резиновой фабрики.

Но избрал иную долю.
Как узник, рвался я на волю.
Упрямо цепи разбивал.
Я света, воздуха желал.

В моей тюрьме мне было тесно.
Ни сил, ни жизни молодой
Я не жалел в борьбе с судьбой.

И. С. Никитин.

РАЗРЫВ С РЕЛИГИЕЙ

После экзаменов и перехода в последний, четвертый, класс занятия в вечерней школе прекратились до осени. С наступлением каникул я использовал свободное время на знакомство с астрономией, геологией и учением Дарвина. Книги эти достал где-то Федоров, с которым я время-от-времени встречался. Хотя знакомство с этими тремя науками у меня получилось поверхностное, но его было достаточно, чтобы произвести окончательную, как мне казалось, революцию в моей голове.

Наша земля гораздо старше, чем полагает библия, наша солнечная система в бесконечном мировом пространстве представляет собой лишь пылинку по сравнению с гигантами-солнцами, разбросанными в пространстве вселенной; человек на нашей земле происходит от какого-то низшего существа. Все говорит за то, что не бог создал человека, а человек наоборот в своей фантазии создал представление о духах и божествах, населяющих якобы нашу землю. Философы, одухотворявшие природу и об'яснявшие с этой точки зрения мир, превратились мало-помалу в мракобесов-попов. Создалась религия, которую господствующие классы с помощью попов использовали для угнетения низших классов. Этого было достаточно, чтобы, по моему мнению, притти к окончательному убеждению, что бога нет.

Евангельское и толстовское учение о непротивлении злу, о любви к врагам, не только бесполезно, но и вредно. «Не любовь к богатым, к хозяевам, к врагам рабочих нужно проповедывать, а ненависть к ним. Борьба со злом,— думал я,— вот благо. Надо ненавидеть тех, кто нас угнетает; надо с ними бороться»... С этой поры я перестал колебаться: я возненавидел со всей страстностью своей души царя, которого поп на экзаменах предлагал почитать за бога, попов, монахов, архиереев, которые держат рабочих и крестьян в умственном рабстве, и всех богатых, живущих за счет рабочих и крестьян.

Погруженный в эти мысли я вышел из мастерской и направился мимо заводских зданий к Обводному каналу. Поток рабочих, выбрасываемых после окончания рабочего дня из мастерских, лился с шумом кругом меня. Не слушая, о чем гудит этот человеческий муравейник, я продолжал свой путь. Вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся, передо мной стоял Косолобов.

— Что с тобой? — спросил он меня. — Где ты пропадаешь? Тебя не видно в обществе трезвости, ты перестал ходить на беседы. Отец Григорий (Петров) спрашивал про тебя, не болен ли ты.

— Нет, я не болен, — ответил я, — наоборот я только-что освободился от болезни, которой болен ты и которая, как кошмар, нависла над миром. Знаешь, Саша, я тебе признаюсь, я решил прекратить посещение собраний общества трезвости, я решил больше не ходить в церковь. К чему это, скажи? Ведь бога нет, как нет и дьявола. Все это выдумка и выдумка попов. К счастью, существует наука, опровергающая все эти басни и все эти поповские хитросплетения.

Я первый раз ставил с такой определенностью перед Косолобовым вопрос о боге. И теперь, когда я наблюдал его лицо, я поражался происшедшим в нем изменениям. Если бы я сказал ему, что я заражен такой прилипчивой, неизлечимой и опасной болезнью, как проказа, чума или еще что-нибудь подобное, он не нахмурился бы так и не потемнел, как ночь, и не отскочил бы от меня с такой стремительностью, как это он сделал, когда услышал от меня, что, по моему мнению, бога нет.

Когда он ушел, сказав, что я с ума сошел, я почувствовал, что потерял его как друга и что я одинок. Но я уже освоился с мыслью об одиночестве. Когда я начал агитацию об обществе трезвости, я столкнулся с косностью масс. «Лишь бы быть правым, лишь бы обладать истиной, — думал я, — а остальное не страшно». И я приготовился к тому, что от меня все отвернутся.

Когда на другой день я шел на работу, Косолобов догнал меня и к моему удивлению сказал:

— Ты знаешь, Александр, я целую ночь думал о том, что ты сказал вчера, что бога нет. Ты прав. После того, что мы прочли из астрономии и геологии, библейские рассказы кажутся бабьими сказками. Ты прав: нет бога!

Я просиял от этих слов моего славного товарища. Итак, я уже не одинок. Если нет бога, надо искать социалистов или нигилистов. Надо бросать бомбы в царей, в попов, взрывать церкви. Но как найти социалистов? Федоров помочь не мо-

жет. Он много знает, много понимает, но бомбу взять откажется. На виселицу не решится пойти.

Я резко изменил свою жизнь: перестал совершенно посещать церкви, молиться, снимать шапку и креститься перед иконами. Вид церквей, часовен, попов, монахов стал внушать мне отвращение.

Члены общества трезвости, которых я сам завербовал, заметив, что меня никогда не видно в церквах и что я сторонюсь их, стали приходить ко мне и спрашивать:

— Что с тобой, «Боровой», отчего ты не ходишь в церковь?

— Оттого,— ответил я,— что бога нет. Его не существует, все это выдумки попов. Попы нас обманывают.

— Как бога нет? — сказал мне Павел Андреев. — Ты с ума сошел.

— Увы, я прочел ветхий и новый заветы, а затем астрономию и геологию и убедился, что все рассказы о боге — поповские басни.

Вся небольшая кучка членов общества трезвости, во главе с П. Андреевым, отшатнулась от меня, как от зачумленного, а я, полный глухой ненависти к попам, кричал им вслед:

— Нет бога! Нет его, нас попы обманули!

Весть, что Сашка «Боровой», основатель общества трезвости, молившийся богу, ходивший по церквам, сделался безбожником, а значит и социалистом, с быстротою молнии разнеслась по заводу. Толпы рабочих стали осаждать меня. Старые полагали, что я сошел с ума, молодые ставили вопрос, почему я думаю, что бога нет. Пользуясь знанием так называемого священного писания и знаниями, почерпнутыми из научных книг, я доказывал всем, что попы наглые обманщики, что бога и дьявола нет. Я чувствовал, что у меня как бы выросли крылья, что я стал головой выше. Я видел свет, который в виде научных данных как бы прорезал темную тучу поповской лжи. С тем же энтузиазмом, с каким я ссылался раньше на священное писание, теперь я стал говорить против великого, страшного векового обмана.

Переменой, происшедшей со мной, все рабочие были страшно поражены. Если бы с неба упал огромный метеор, он, казалось, не поразил бы их так, как их изумили мои слова. Один старик, любивший меня и ходивший со мной по церквам, подошел однажды ко мне и при всех громко сказал:

— Сашка, раньше, когда ты верил в бога, ты был похож на ангела, лицо у тебя было светлое, глаза добрые. Теперь же, с тех пор, как ты перестал верить в бога, лицо у тебя почернело, твой взгляд стал мрачный и ты стал похож на дьявола. Будь ты проклят, Сашка!

Многие старые рабочие вообще находили, что было бы очень хорошо, если бы мне, по старому русскому обычаю, всыпали пятьдесят горячих для вразумления. Все в один голос советовали:

— Если уж ты не веришь, — не верь, но не ругай священников, а то повесят тебя, Сашка, дуралей ты этакой. Право слово, повесят!

Приходил и машинист Николай:

— Говорил я тебе, «Боровой», не дури, не проповедуй, не читай книги, вот и вышло, что ты стал безбожником, нигилистом. А теперь тебе дорога одна: повесят тебя, Сашка, мерзавца.

Видя, что только небольшая часть молодежи мне сочувствует, я с Косолобовым и Купцовым решил, что необходимо воздержаться от резких выступлений против религии перед массой отсталых рабочих и что нужно вести агитацию среди рабочей молодежи, выискивая отдельных личностей. Главное, на чем мы сошлись, это то, что нам необходимо найти социалистов. Этот путь одобрил и Федоров. Но он откровенно заявил, что связей с революционными организациям у него нет, что они у него утеряны и что помочь нам в этом деле он не может.

— Но, — заявил он, — если вам удастся с ним и встретиться, я тоже буду рад познакомиться с ними.

Я покорный верил в бога,
Полагал в уничиженье
У небесного порога
Заслужить себе прощенье...
Долго жил я, как в тумане,
Но помог мне ум пытливый
Распознать, что на обмане
Весь построен мир счастливый...
Помогли мне размышленья;
Мне пришли на помощь книги;
И пришел я к убежденью:
Бога нет! Долой вериги!
Мы отбросим катакомбы
И покорность и смиренье:
Мы готовить будем бомбы
Для восстанья и для мщенья!

Автор

ПОИСКИ СОЦИАЛИСТОВ

Узнав о существовании социалистов из рассказов отца, из предостережений машиниста Николая и из романа Достоевского, я с А. Косолобовым, начиная с лета 1892 г., начал поиски этих легендарных борцов и мстителей за угнетенный

Перед поркой. (С картины худ. Орлова).

народ. Бродя по улицам, площадям, скверам, вокзалам, мы приглядывались к студентам, так как были уверены, что именно среди студентов скрываются эти опасные для царей люди.

В одно из воскресений, встав по привычке, вырабатывавшейся у рабочих, рано, в 6 часов утра, напившись кофе, которое моя мать сама молола и заваривала в кофейнике по петербургскому обычаю через мешочек, опущенный в кофейник, я отправился пешком на набережную Фонтанки, где тогда жил Косолобов. Проходя мимо гвардейских казарм на Измайловском проспекте, мимо рядов солдат, выливавшихся из казарм, я думал о том, как сильна еще власть царя и как ничтожны мы с Косолобовым, мы, замышлявшие восстание против этой власти. Сомнение на миг зародилось в моей душе, но через минуту я с прежней решимостью шел к Косолобову. Он был способным молодым рабочим. Отец его давно умер, и он жил один со своей старушкой-матерью. Когда я пришел к нему, он, напившись кофе, распевал потихоньку: «Укажи мне такую обитель» Некрасова, «Утес Разина» Навроцкого и «Дубинушку». Эти песни для нас заменили старые молитвы.

— Довольно петь, — сказал я и предложил ему пойти опять поискать социалистов.

— Не надо петь эти песни, — подтвердила мать Косолобова. — Эти песни запрещенные. Раньше эти песни певали студенты и их всех арестовали. Не к добру вы их поете. Как бы и вас не арестовали.

— Ничего, мама, авось не арестуют. Куда пойдем? — обратился он ко мне.

— Пойдем туда, где можно встретить студентов.

Мы отправились в путь, вглядываясь в одухотворенные, как нам казалось, знаниями, высокой культурой, умственными занятиями лица студентов. Нас влекло к ним: от них, как нам казалось, шло избавление и спасение от нашей тяжелой доли. Мы пробовали заговаривать с ними, но они, подозрительно оглядев нас, отделывались короткими ответами, быстро уходили с явным нежеланием продолжать с нами разговор.

Не теряя надежды и не отчаиваясь, мы шли дальше и, наконец, очутились около здания Балтийского вокзала. В толпе народа, которая шла к вокзалу, виднелось много студентов. Мы шли с толпой, намереваясь проникнуть внутрь вокзала, в зал I и II классов. Лишь только мы вошли внутрь, неожиданно сторож-придверник преградил нам путь и остановил нас грубым криком:

— Стой! Назад! Куда прешь, мастеровщина грязная. Назад, здесь не для вас, а для господ место. Назад, я вам говорю!

На лице сторожа написано было величайшее к нам, как к представителям «черной кости», презрение. Если на лицах проходившей так называемой «хорошей публики» можно было прочесть известную долю сожаления к нам, то он, как настоящая сторожевая хозяйская собака, яростно лаял на нас и искренно презирал. Остолбенев, мы остановились в нерешительности. Мы согнулись и с'ежились. Нас придавила эта тяжесть презрения. Но новые крики, новый поток ругательств заставил притти в себя и немедленно повернуть обратно.

Мы вышли на улицу и переглянулись. У обоих глаза загорелись мрачным огнем. Не встретив ни в ком ни сочувствия, ни участия, мы удалялись от вокзала, как оплеванные, чувствуя на себе какую-то печать отвержения. Я думал о том, что мастера на заводах и фабриках, швейцары, сторожа и лакеи находили какое-то удовольствие, подобное садизму, огорошивать нас подобными криками, наносить нам оскорбления. На Митрофаньевском шоссе, куда мы повернули, у входа на кладбище мы неожиданно встретили молодого слесаря Ямбурского. Он шел согнувшись. Он ничего не замечал, шел машинально и на его лице отражалась глубокая тоска.

— Что с вами? — спросил я его, когда мы шли по кладбищенским деревянным мосткам.

— Опять меня отец в деревню возил. Опять там надругались надо мной. Опять пороли: двадцать пять «горячих» всыпали. И за что? Отец спит с моей женой, а я не смей сказать. Тут как-то поймал его с женой, задал ей волосянку, а ему в морду заехал, он в деревню, мужикам четверть водки поставил: «Не слушает, — говорит, — меня мой Ванька. Вы, старички, поучили бы его маленько». А те и рады стараться, лишь бы водка была. Вызвали меня, ну и всыпали...

— Да как же так? На каком основании? Жаловались вы на отца?

— Как не жаловался — жаловался, — ответил Ямбурский. — Земскому начальнику жаловался. Он выяснил, что меня наказывали розгами на законном основании, по постановлению сельского схода, которому закон дает право наказывать розгами своих порочных членов. Выходит, я порочный. Отец свез меня раз в деревню да там и женил на деревенской девице. Ну, известно, свадьбу сыграли, выпили. Я прожил в деревне с женой всего неделю. Собрался, было, с ней в Питер, да не тут-то было. Отец против: «Работница в деревне при доме нужна». Я, было, на дыбы. Говорю: «Моя

баба; я с нею хочу в Питере жить». Отец тогда заорал да мне в волосы вцепился. Я его звездонул. Он с копыток. Встал, да и говорит: «Я покажу тебе, Ванька, как отца родного бить. Будешь помнить»... Он побежал в волость. Поставил ведро старикам: «Не слушает,— говорит,— меня мой Ванька, поучите его, старики». Ну, сход и постановил: «Дать Ваньке Ямбурскому за ослушание родного отца и за нанесение ему увечья двадцать пять розог». Ну, выпороли меня, опозорили. Я смирился. Вернулись в Петербург. Я работаю, а отец мой и начал ездить в деревню. Зачастил. Баба моя одна осталась. Он стал приставать к ней. В конце-концов он добился своего и стал с ней жить... Меня зло разбирает: для чего я женился, для чего жену завел? Думал отучить отца-снохача от своей жены: побью его, синяков наставлю ему, а он в деревню старикам жаловаться, ведро водки им ставит, а они постановляют: «Всыпать Ваньке двадцать пять». Меня вызывают и порят. Пробовал я жаловаться — никакого толку: сделано все на законном основании. Отец имеет право жаловаться на сына сельскому сходу и земскому начальнику, а сход имеет право всыпать непокорным сыновьям «горячих».

Я слушал рассказ Ямбурского. Мне казалось, что он попал в тупик. Правительство Александра III не стеснялось в отношении крестьян мерами воздействия. При невзносе податей крестьян наказывали розгами. Старое поколение крестьян не возмущалось этим позором. Наоборот, оно видело в нем спасительную меру для тех, кто собьется с правильного пути. Молодое поколение уже начинало возмущаться позором телесного наказания.

— Что же мне делать? — спрашивал меня Иван Ямбурский.

— Что делать? — отвечал я. — Порвать с отцом, не жить с ним в одном доме, в одной и той же квартире, взять расчет с Варшавки и перейти на другой завод, взять и жену с собой из деревни.

— Нет, не могу,— уныло заявил Ванька и понуро, свесив голову, пошел своей дорогой.

— Придется нам во что бы то ни стало найти социалистов и с бомбами в руках завоевать счастье народу! — воскликнул я, когда Ямбурский скрылся.

— Да, — подтвердил Косолобов, — видно, нет иного пути. Если эти Ваньки не решаются начать борьбу с отцом-снохачом, отнимающим от них их жен, то как же они поднимутся на борьбу с царем?

Расставшись с Ямбурским, мы решили пройтись по аллеям кладбища. Высокие старые вязы, ясени, березы с белыми

стволами, изредка попадавшиеся дубы почти заслоняли над головами светло-голубой свод небес. Раскидистые старые плакучие ивы смотрелись в красновато-ржавую воду сточных канав. Среди стволов осины, ольхи, рябины и кустов бузины, черемухи, сирени скрывались бесчисленные кресты. Здесь в почти непроницаемой зелени щебетали многочисленные певчие птички. Слегка пахло сладковатым, присущим кладбищам запахом. В высокой траве, скрывавшей могильные холмики, прыгали стрекозы, ползали муравьи и летали кузнечики. Кладбище являлось любимым местом наших прогулок. Немудрено, что, свернув с главной аллеи, мы вдруг заметили на скамейке под высокой рябиной нашего товарища Купцова, читавшего какую-то книгу.

— Ты в такую глушь забрался, что тебя и не найдешь, — начал я.

— Да я сюда часто прихожу читать. Здесь тихо, никто не мешает кроме ворон, которые иногда очень кричат там, вверху,— говорил Купцов, указывая рукой на многочисленные вороньи гнезда, черневшие на вершинах высоких деревьев.

— Что читаешь? — спросил Косолобов.

— Достоевского, «Записки из Мертвого дома». А вас какой ветер занес сюда?

— Мы искали социалистов. Нас постигла обычная неудача. Дорогой сюда мы встретили Ямбурского. Его опять выпороли в волости. Мы ему предлагали бросить отца, но он никак не может выйти из повинове́ния отцу, который отнял у него жену. Мы вот и говорили, что он как бы воплощает в себе вековую покорность русского народа. От него отнимают свободу, которая когда-то шумела на вечах Великого Новгорода; его лишают воли, жизни, отбирают его жену; самого его секут розгами, а он не находит в себе мужества сбросить с себя этих пиявок, сосущих его кровь.

—Ничего, — заговорил после меня Косолобов. — Лишь бы нам найти социалистов, мы громкими, оглушительными взрывами наших страшных бомб, брошенных рукою рабочего, разбудим вековой сон русского народа.

— Да, вот, где же их искать-то этих социалистов? — заговорил Купцов. — Вчера вечером я зашел в трактир на Забалканском проспекте. Заказал пару чаю в чистой половине, куда заходят студенты. Думал знакомство завязать. И удалось, было, мне завести разговор. Только что начал я, было, речь о книгах, как вдруг наш же брат, мастеровой, и помешал. Пришла компания кузнецов с Варшавки и начали скандал с этими студентами. Ссора перешла в драку. Вышли

на улицу. «Бей студентов! — слышу, кричат. — Эй, бульонные ноги! Синяя говядина! Тухлый жир, выходи». Точь в точь как в романе Чарльза Диккенса «Давид Копперфильд». Там нарисован молодой мясник, вызывающий на драку студентов института Стронга, а здесь молодые мастеровые, кузнецы с Варшавки, дерутся со студентами. Да разве после этого они захотят знакомиться с нашим братом мастеровым? Ни в жизнь! Вот вся и беда. Вот я пришел сюда: дома не дают читать: «Зачитаешься,— говорят,— Васька, с ума сойдешь. Брось, не читай». Здесь же никто не мешает. Я читаю и все более нахожу доказательств в книгах, что бога нет и что необходимо поэтому нам, мастеровым, искать выхода из той тюрьмы, в которую обращен для нас весь мир.

Мы оставили Купцова с его книгой, а сами двинулись к выходу с кладбища. Купцов на самом деле редко гулял с нами. Он проводил время за чтением книг. Следуя указанию Д. Ф. Федорова, он заинтересовался теми писателями, которых ругали реакционные газеты «Гражданин» и «Луч». Следуя правилу, читать тех писателей и те издания, которые ругали газеты князя Мещерского и Окрейца, он докопался до журнала «Русское богатство» и «Мир божий» и особенно интересовался вопросами о художественной литературе и вопросом об искусстве. Как Д. Ф. Федоров, так и он и одного и того же источника узнали о существовании сочинений великих русских литературных критиков, дававших ответ на вопрос, что такое художественное произведение.

Овладеть этим вопросом означало для нас найти путь к хорошей книге. Насколько это важно для читателя из рабочих, видно из предисловия Л. Толстого к роману Фон-Поленца «Крестьянин». Хорошая книга тонет в массе дурных книг. Наталкиваясь только на бульварные романы, читатель может настолько испортить свой вкус, что, прочитав, наконец, хорошее художественное произведение, попавшее в его руки совершенно случайно, скажет, что оно ему не понравилось. Это наблюдалось, например, в Западной Европе, где часть рабочих получала воспитание на бульварной литературе. Найдя путь к хорошей книге, Купцов научился читать и понимать таких писателей, как Гоголь, Достоевский, Тургенев, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Любопытно, что на первых порах понятней и ближе всех поэтов для нас был поэт Некрасов. Его муза, преисполненная печали и гнева, находила доступ к нашему сердцу. Но чем больше мы читали, тем больше начинали нам нравиться Пушкин, Лермонтов, Тургенев и Толстой.

Вообще же каждый из нас на себе самом испытал, что начинающему читателю из рабочих на первых порах было не

по плечу понимание художественных произведений. Читателю из рабочих нужно было поработать над собой, подняться, расширить свой горизонт, возвыситься до понимания художественных работ. Предоставленные самим себе мы приходили к хорошей книжке, к художественным произведениям длинным, обходным путем, через чтение надписей на кладбищенских памятниках на могилах писателей и через чтение реакционных газет. Этим же путем мы пришли и к безбожию и к революции.

Заинтересовавшись художественной и критической литературой, мы не могли обойти вопрос об искусстве. Нам нравились такие поэты, как Некрасов, стих которого говорил ярко и сильно о страданиях народа, будил дремавшие силы, заставлял дрожать струны нашего сердца. Мы не знали личной жизни, лично счастья, и потому, быть может, нам были непонятны или мало понятны поэты, воспевавшие любовь к женщине. Отчасти поэтому и главным образом потому, что вопрос об искусстве есть вопрос настолько большой и сложный, приходится сознаться, что нам, конечно, не удалось разрешить этот вопрос. Ведь дорасти до понимания искусства, это значит подняться до такого высокого культурного и интеллектуального уровня, до которого очень трудно и почти невозможно дорасти человеку, изнуренному тяжелым физическим трудом, никогда не освобождающемуся от чувства постоянной физической усталости. Наше понимание искусства принадлежало, конечно, социалистической интеллигенции, от которой оно просачивалось к нам, рабочим, несмотря на все преграды, различными невидимыми каналами и путями. Само собой понятно, что в связи с понятием об искусстве вырастает и понятие о красоте.

Я проходил равнодушно мимо красивых пейзажей; меня не влекли к себе сияющие дали; я не упивался роскошью красок восхода и захода солнца; я не сознавал, что Петербург необыкновенно красивый город. В женщине я ценил вдумчивость, серьезное выражение лица. Отпечаток страдания, горя, печали на женском лице говорили мне бесконечно больше, чем женская красота. «Кто несчастлив,—думал я,— кто испытал страдание и горе, тот скорее и легче поймет социалиста, стремящегося освободить всех несчастных и угнетенных».

Пробудившись от сна, освободившись от религиозного дурмана, я ужаснулся суровой действительности, которая окружала меня. Православие, самодержавие царя, великорусский шовинизм, русские восточного типа длиннополые поддевки и полушубки, длинные бороды, волосы в кружок,

даже скуластость лиц у русских как признак примеси монгольской крови, влившейся в славянскую кровь, — все это стало мне более или менее ненавистно. Восток предстал перед моим взором, как воплощение всего косного, отсталого, неподвижного. «Все новое и хорошее,— думал я,— должно притти к нам и должно быть взято у Запада, который далеко, более чем на целое столетие, опередил нас».

Но и из туманной дали веков выплывало перед моими глазами нечто хорошее, дорогое для нас, русских, — это древняя свобода господина Великого Новгорода и Запорожская сечь. принимавшая в свою среду всех бежавших от гнева царей, бояр и панов. При воспоминании о них у меня сильнее билось сердце, и мне страстно хотелось в тишине ночи, охватившей Россию, услышать звон вечевого колокола, призывавшего к борьбе за свободу, и шумное народное вече. Из этого далекого прошлого как бы раздавался для меня громкий призыв подняться на борьбу за старую свободу.

Жажда свободы не охватывала меня, пока я верил в бога, пока я жил мечтою о будущей вечной жизни, я мирился с суровой действительностью и склонен был не замечать, проходить мимо ее темных сторон; когда же я освободился от веры в бога, я как бы прозрел и как бы внезапно увидел темные стороны русской жизни, народное бесправие, отсутствие свободы, вековую покорность и грубость. Все это так поразило меня, что жизнь как бы скрыла от меня свои хорошие стороны, она перестала привлекать меня до того, что мне захотелось умереть, но умереть мстителем. Я начал искать социалистов, чтобы отомстить за позор, за унижение, за вековой обман и гнет. С мрачной ненавистью смотрел я на мир богатых и счастливых, и мне все сильнее хотелось умереть с бомбой в руке, умереть в блаженстве, с сознанием, что я отомстил и за себя и за других.

Но время шло. Снова настала осень 1894 года. Мы, перейдя в четвертый класс, снова начали учиться в вечерней школе. По вечерам мы занимались в ней от 8 часов до 10 часов, в воскресенье — с 10 часов утра до 3 часов пополудни. Кроме того мы усиленно читали. Чтобы понимать газетные статьи, изобиловавшие множеством непонятных иностранных слов, я принужден был купить карманный словарь иностранных слов.

Обогащая свой ум почерпнутыми из книг знаниями, мы не прекращали нашей антирелигиозной агитации. Когда сбавляли расценки, мы во всем винили попов, внушающих рабочим покорность. В это время один из молодых слесарей, Павел Андреев, завербованный мною в общество трез-

вости и затем в вечернюю низшую техническую школу, не мог переварить происшедшей со мной перемены и рассказал обо всем попу. Служитель Христа, чтобы выяснить характер «ереси», в которую я впал, посоветовал Павлу Андрееву притти ко мне на квартиру в мое отсутствие, узнать от моей матери, какие книги я читаю, и принести их ему в школу. П. Андреев исполнил все в точности. Явившись, когда меня не было дома, он повел такую речь:

— Вы знаете, Александра Андреевна, что ваш Сашка с ума сошел, перестал верить в бога, не посещает церковные службы, не верит в чудеса, происходящие у чудотворных икон и у святых мощей.

— Как, не может этого быть?! Чтобы мой Саша, мой любимый Саша, не верил в бога. Как же это так? Не поверю этому.

— Да сами вы наверно уже заметили, что он богу не молится и лба не крестит. На Варшавке он всем направо и налево говорит, что никакого бога нет. Мне самому он это говорил. Покажите, какие книги он читает. Я боюсь, что он зачитался...

С этим словами П. Андреев бросился к полке, где лежали мои книги. С моей матерью в это время сделалось дурно. С криком «ах» она упала на пол. Пока моя сестра приводила ее в чувство, Павел Андреев, найдя купленную мной на толкучем рынке книгу «Тайные общества всех времен и всех народов», схватил ее и немедленно принес к священнику.

Просмотрев книгу, продержав ее у себя несколько дней, поп убедился, что книга дозволена цензурой, следовательно легальная и посоветовал ее вернуть мне.

— Я сам, — заявил он Андрееву, — постараюсь поговорить с ним и сделаю все, чтобы снова вернуть эту заблудшую овцу христову стаду.

Вернувшись домой, я не заметил исчезновения книги: мне было не до этого. Я нашел свою мать в состоянии какого-то бреда. Вся в слезах она поминутно схватывала полотенце и с криком: «Боже мой, мухи! На твоем лице мухи, черные мухи», начинала меня изо всей силы хлестать полотенцем по лицу, сгонять воображаемых черных мух. Пришлось позвать доктора.

— Что с вами? — обратился он к матери.

— Да все вот он наделал, — заговорила моя сестра Даша, указывая на меня. — В бога он перестал верить, не молится богу, лба не крестит, говорит бога нет, ну, вот мамочка с горя и рехнулась. Вы хоть бы ему сказали, чтобы перестал дурить.

— Кому сказать? Что? — спрашивал доктор.— Да ведь он здоров, я вот больной вашей мамашей займусь.

Осмотрев мою мать, он прописал ей, кажется, бром и ушел со словами:

— Не волнуйтесь! Ваша матушка скоро успокоится и будет опять здорова. Только вы уж, — обратился он ко мне, — постарайтесь ее не огорчать.

— Хорошо, господин доктор, — ответил я, — я постараюсь ее не огорчать и не раздражать. — С этими словами я протянул ему рубль, который ему полагался за визит. Но к моему удивлению он от денег отказался.

Я с этой поры старался при беседах с матерью не обострять вопросов о религии, и она мало-помалу примирилась, что ее самый любимый сын оказался безбожником.

Так как книги, которые потихоньку от меня, но с согласия моей матери Павел Андреев приносил на осмотр священнику, законоучителю школы, оказались все дозволенными цензурой, школьное начальство решило замять всю эту историю и поручило попу сделать внушение.

На одном из первых уроков закона божия служитель церкви заявил, что ему стало известно об антирелигиозной пропаганде, которая ведется в школе. Он дал совет совершенно прекратить ее и пригрозил в противном случае передать все это дело властям. Как-то вскоре после этого, вечером, часов около одиннадцати, я, совершив длинный путь из вечерней школы и подходя к дому, неожиданно встретился с нашим священником. Я поклонился ему.

— А, Шаповалов, — заговорил он. — Откуда ты? Из школы? Ты здесь живешь? Далеко от школы. Целый день работаешь, а вечером в школу и такую даль и туда и обратно пешком. Похвально! Похвально! Ну, а как же дальше? Кончишь школу, получишь диплом. А потом что?

— Не знаю, батюшка.

— Ну, вот что, — продолжал он. — Я знаю. Мне Андреев говорил. Ты переживаешь период сомнений. Это в тебе молодая кровь играет. Тебя считают способным учеником. Будь рассудителен. Брось эту ересь. Окончишь школу, приходи ко мне. Я тебя устрою на казенный счет в семинарию. Оттуда для тебя с твоими способностями дорога открыта в в Духовную академию. Будешь ты тогда православным учителем. Понял?..

— Понял. Я подумаю, батюшка.

— Ну то-то, подумай!..

Мы расстались. Я был очень смущен и испуган этим пред-

ложением. Меня перепугал донос Андреева. Я ненавидел попов. Все, что шло от духовенства, было мне противно. Но меня прельщала возможность получить среднее и даже высшее образование. Во мне началась борьба. Я плохо спал эту ночь. Во сне я видел себя студентом, идущим по широкой дороге от знания к знанию. Утром с больной головой я пришел на работу на завод. Я хотел посоветоваться с Федоровым, но это мне не удалось. Он уходил с Варшавки. Он отживал две недели, полагавшиеся по закону, и в последний день пришел только за получкой. Он подошел ко мне на одну минуту. Прощаясь со мной, он и меня уговаривал взять расчет:

— Уходи, Сашка, с Варшавки. Тебе надо усовершенствоваться в токарном ремесле. На Варшавке работа грубая. Надо тебе уйти на завод, где производится не ремонт паровозов, а где строятся новые машины. Бросай Варшавку, Сашка, работать научишься, приобретешь больше опыта, сделаешься хорошим мастеровым, научишься быть смелым, перестанешь бояться мастеров, выкуешь у себя волю, будешь презирать опасность очутиться без работы, приобретешь более широкий взгляд на жизнь. Видишь, я ухожу и мне плевать на мастера Небеля и на директора Рицони.

— Не знаю, — ответил я. — Мне как-то страшно уйти. Бросить Варшавку, искать работу, сдавать пробу на новом заводе — все это мне кажется каким-то плаванием на утлой лодке по бурному житейскому морю к неизвестным берегам. Не забывай, что у меня на шее мать, два брата и сестра.

— Ну, как хочешь! И у меня на шее старик-отец с матерью, но я не боюсь. Я не могу мириться с произволом. Когда-нибудь и тебе станет поперек горла эта Варшавка, и ты уйдешь. До свиданья!

— До свиданья, — ответил я, с завистью глядя на уходившего Федорова.

Я остался на Варшавке еще в большем смущении: мысль покинуть завод не оставляла меня с тех пор. Чем дольше шло время, тем ненавистнее становился для меня завод, особенно грубость некоторых мастеров. Я знал, что Д. Федоров ушел с Варшавки из-за грубого обращения. Надо признаться, что мастер Небель, как выходец из Швейцарии, был вежлив в обращении с рабочими и говорил им «вы», но директор Рицони, родившийся и воспитавшийся в России, частенько обращался к рабочим на «ты». Раз он обрушился на Федорова за прогульный день:

— Почему ты не пришел вчера на работу? Ты будешь оштрафован.

Федоров, остановив станок, ответил:

— Я штраф не приму. Запишите мне расчет: я ухожу от вас из-за грубого обращения: слово «ты» мне ненавистно; ведь я не крепостной ваш.

И мне слово «ты» стало ненавистно. Я с завистью смотрел на таких рабочих, как Федоров, которые в ответ на несправедливость мастера или грубость директора заявляли о расчете и уходили с завода. Своим уходом с завода гордые рабочие, знающие свое дело, протестовали против порядков на заводе. О забастовках не помышляли. Но время-от-времени вспоминали, когда особенно туго приходилось, о «бунте» на заводе Семянникова, за Невской заставой, когда «даже двуглавый орел, висевший над воротами завода, мастеровые сшибли». Сам я о стачках рабочих, о социалистических партиях Западной Европы имел самое туманное представление. Но бросить всем вместе работу, хотя бы на нескольких заводах Обводного канала, казалось заманчивым, но неосуществимым, ибо я не питал еще веры, что русские рабочие при своей отсталости и забитости смогли подняться до организованной стачки.

Не довольно ли вечного горя.
Встанем, братья, повсюду зараз,
От Днепра и до Белого моря
И Поволжье и дальний Кавказ
На воров, на собак, на богатых
И на злого вампира-царя!
Бей, губи их, злодеев проклятых!
Засветись новой жизни заря!
Из русской „Марсельезы" П. О. Лаврова

НАРОДОВОЛЬЦЫ

Стояла глухая осень 1894 года. Дул холодный ветер, срывавший последние желтые листья с деревьев. Над городом по небу низко, медленно ползли темно-серые тучи. Моросил дождь. Дождевые капли стучали в крыши и окна. Почему-то в эту ненастную пору я всегда чувствовал прилив бодрости и энергии. Я вспоминал Федорова и, как и он, не хотел мириться с положением рабочего, прикованного, как каторжник к тачке, к станку и к заводу и все копил в себе решимость при сбавке расценок заявить расчет и перейти на какой-нибудь другой завод. Одновременно я не терял надежды встретить когда-нибудь социалистов.

На предложение священника учиться по окончании вечерней школы в духовной семинарии я решил не откликаться. С большею, чем раньше, осторожностью я продолжал вести борьбу против религии. Учеников четвертого, послед-

него, класса, которые уже знали меня, я решил оставить в покое и обратил все внимание на новых учеников первых классов. Так, я познакомился с учеником, носившим фамилию Борисов. Моя попытка завербовать его в антирелигиозный кружок успеха не имела. Однажды он сказал:

— Знаете, я раздумал. Я побаиваюсь приходить в ваш кружок, собираться для чтения книг. Я боюсь последствий и ареста. А я вас познакомлю с новым учеником, с Михаилом Тулуповым. Он учится во втором классе. Он читает книги. Он говорит и против царя, и против богатых, и против духовенства. Он как раз вам подойдет, а я, знаете, побаиваюсь, как бы на самом деле фараоны не пронюхали. А у меня отец, мать и кроме того я жениться собираюсь. Да вон и сам Миша Тулупов. Пойдемте к нему.

Портной Михаил Ефимович Тулупов с первого взгляда произвел на меня невыгодное впечатление. Одет он был в какой-то сюртук с закругленными полами. В крахмальном воротничке и галстуке он производил впечатление «полового» из хорошего трактира или официанта из ресторана. Взглянув на него, я вспомнил, что уже видел его во втором классе. Ученики выходили из класса. Но учитель задержался у классной доски с Тулуповым, который никак не мог понять об'яснений учителя. Бросалось в глаза, что учился он плохо, хотя и был старателен. Мне он показался сразу недалеким, каким-то вертлявым, суетливым, но в его серых глазах светилось что-то честное, прямое, искреннее. Это подкупало, и я успокоился.

— Позвольте познакомиться. Я портной, работаю дома. Я люблю читать книги и вести образ жизни разумного индивидуума. А вы, я слышал от Борисова, тоже любите книги читать?

Я слушал Тулупова, и мне казалось, что ему трудно удержаться, чтобы мне, еще незнакомому ему человеку, не выболтать все свои секреты.

— Да, — ответил я. — Я люблю читать книги. Но жаль у меня мало времени. Целый день работаешь на Варшавке. Вечером школа. Дома надо зубрить уроки. В четвертом классе учиться очень трудно. Одно черчение сколько отнимает времени.

— Да на что она вам, школа? — сказал Тулупов. — Я вот хочу ее бросить. Из книг можно гораздо больше узнать, читая книги можно гораздо большему научиться, чем в стенах школы, где программа становится тормозом знанию. Приходите к нам, то есть, поправился он, ко мне. У меня собирается кружок самообразования. Мы читаем Бокля «История цивилизации в Англии», Тургенева, Гончарова, Достоев-

ского — это вот школа. Приходите. Вы у меня познакомитесь с моими друзьями. Один из них портной, как и я, другой наборщик, работает в типографии, третий, мой родной брат, слесарь. Приходите завтра. Я давно многое о вас слышал от здешних учеников. Вы идете против бога, мы тоже. Вы не любите попов, мы тоже питаем к ним те же чувства, что и вы. Вы ищете другой, лучшей жизни, а мы ее уже нашли...

Из серых глаз Тулупова, когда он говорил, лился какой-то свет, голос его звучал неведомым мне убеждением, он меня куда-то звал. Казалось, там, куда он меня зовет, и скрывается то, что я искал.

— Хорошо,— произнес я,— я приду к вам завтра.

— Только вот что,— заметил Тулупов.— Не нужно забывать, что пить водку, играть в карты и тому подобное считается обычным, чтение же книг, кружки самообразования, стремление к иной, лучшей жизни — все это наоборот в среде мастеровых, к сожалению, покажется необычным, поэтому будем держать в секрете наш разговор и ваш визит, который вы собираетесь нанести мне. Понимаете?

— Понимаю: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами,— ответил я.— Значит, до завтра!

— До свиданья. До завтра!

Домой я возвращался задумчивым. Мне не нравился мой новый знакомый и нравился. Не нравилась мне в нем какая-то наклонность к болтливости, какая-то близорукость и какое-то упадочничество; не понравилось мне, что он рабочий. Можно ли было узнать что-нибудь нового у рабочего? Рабочих я знал, изучил. Я знал, что скажет каждый из них. Другое дело студенты. Среди студентов я искал социалистов — носителей высшей истины, проповедников новой жизни. Личность студента была окружена для меня тайной, авторитетом и ореолом мученичества. «Только от студента,—думал я,— можно узнать то новое и заманчивое, что обновит нашу жизнь и даст нам свободу и счастье». Поэтому кружок, о котором говорил мне Тулупов, терял в моих глазах большую часть того обаяния, которое произвел бы на меня кружок студентов. Но в самом Тулупове, в этом сереньком, невзрачном человечке, было что-то, что влекло меня к себе и что-то ебещало, и это мне нравилось. «А может,—вспомнил я,— в этом кружке таятся такие сильные личности, как Кусов и Федоров? Кто знает, быть может этот кружок таит в себе под видом рабочих тех же студентов?».

Какой-то внутренний голос подсказал мне, что в нем я непременно встречу социалистов. В этом убеждала меня некоторая таинственность, которую тщетно напускал на себя

М. Тулупов, и его просьба держать в секрете наш разговор и мое намерение побывать в кружке. С такими думами я лег в постель. Я плохо спал. Когда я забывался коротким сном, мне снились социалисты в студенческих фуражках, с глазами, горевшими мщением. С бомбой в руках я шел вместе с ними, я шел против бога, царя и богатых. Когда я проснулся, умывался, пил чай, работал на заводе за станком, я переживал состояние какой-то торжественности, важности и таинственности того будущего, которое меня ожидает и в которое я собирался окунуться. С нетерпением я ждал, когда окончится рабочий день, казавшийся мне необычно длинным. Я горел от нетерпения и считал часы и минуты. Наконец загудел долгожданный гудок. Одним из первых я выскочил из завода.

— Куда ты торопишься? — спросил догнавший меня Косолобов.— Ты какой-то особенный. С тобой что-то произошло. Это написано на твоем лице. Мой отец, покойник, сказал бы, что ты вероятно нашел клад.

— Да, — ответил я. — Ты прав. Все говорит, что я повидимому нашел наконец то, что мы с тобой так долго и так тщетно искали.

— Ты говоришь загадками, и я не могу тебя понять.

— Молчи, никому ни слова; кажется, что я натолкнулся на нигилистов. Сегодня иду знакомиться.

— Что ты? Неужели? Значит?

— Да, сегодня все выяснится. Может быть с завтрашнего дня мы начнем новую жизнь.

— В добрый час. Я тебе сказал, Саша, что ты какой-то стал особенный. Ты с такой ненавистью смотришь на толстых богачей на улицах, что они наверно тебя пугаются.

— Вот как? Спасибо, что сказал. Надо владеть собой: не годится показывать другим свои чувства. Ну, до свиданья. Я спешу. Мне надо побывать дома, вымыться, переодеться, поужинать. Если уйдешь без ужина, мать насторжится, будет подозревать что-нибудь недоброе.

Когда, наконец, выбравшись из дома, я шел к М. Тулупову, мне казалось, что я как бы перехожу ту пустыню, описанную в одном из рассказов («Без заглавия») А. Чехова, перейти которую решались люди, презиравшие жизнь и не боявшиеся смерти. Дорогою я вспомнил слова Косолобова, что при встречах на улицах с богатыми и счастливыми на моем лице невольно вспыхивала мрачная ненависть.

Действительно, я жил в это время ненавистью. Я ненавидел служителей церкви, всех богатых и счастливых и, наконец, начал ненавидеть царя, которого раньше боготворил. Живя жизнью рабочего, я как-то обостренно чувствовал, в

каких ужасно тяжелых условиях живем мы, рабочие, и какому страшному обману о небесном рае с его мнимым блаженством, которое нам обещают за земные страдания, мы подвергаемся. При виде какого-нибудь толстого купца или при встрече с каким-нибудь упитанным, пышущим здоровьем гвардейским полковником я вспоминал отца, которому такой полковник переломал ребра и выбил зубы, и свою сестру, которая, работая на богатых, умерла от туберкулеза, я не мог бороться со своим настроением, со своими чувствами, и мрачный огонь ненависти вспыхивал в моем взоре.

Не веря больше сказкам о рае на небе, я не знал, как построить рай на земле. О социалистах я узнал, как о мстителях за угнетенный, страдающий народ. Я искал их, искал долго и вот, кажется, нашел. Теперь исполняются мои заветные мечты. Перестав верить в бога, я ушел слишком далеко от рабочей массы, продолжавшей в России коснеть в духовном рабстве. Мне оставалось одно — отомстить, умереть с бомбой в руках.

Выйдя из дома я уносил с собой уверенность, что нигилисты или социалисты, между которыми я тогда еще не видел различия, тотчас предложат мне бомбу. Я уже прощался с жизнью, которая, как мне тогда казалось, ничего мне не дала. Я уже видел себя в роли мстителя за угнетенный народ, мстителя за унижения, слезы, за оскорбления, которые суждено было пролить на земле беднякам-рабочим. Я видел уже себя бросающим бомбу и я видел ужас, сведенные от страха лица богачей и министров при известии, что от руки мстителя-рабочего погиб земной бог-царь. Затем я видел себя в руках толпы приспешников царя, которая меня жестоко избивает, ведет в тюрьму и затем и на эшафот. Но я иду на смерть счастливый, я умираю в блаженстве и в предсмертный миг восклицаю: «Да здравствует месть!».

С такими мыслями я шел все вперед, к набережной Крюкова канала, где вдали при слабом свете керосинового фонаря я заметил фигуру прогуливавшегося в ожидании меня М. Тулупова.

— Здравствуйте! Вы уже здесь? — говорил я, здороваясь.

— Я уже давно вас жду. Идемте! Как будто никакой слежки нет.

Мы двинулись в путь. Исколесив ряд улиц, приняв ряд предосторожностей «против шпиков», как выражался Тулупов, мы, наконец, вышли на набережную Фонтанки и подошли к квартире Тулупова.

— Пройдемте еще один квартал, — шепнул мне Тулупов.— Так, для предосторожности.

Когда мы шли, нам повстречался прохожий. Он, как мне

показалось, внимательно осмотрел меня с головы до ног. Его внимательный острый взгляд, казалось, пронизал меня насквозь. При свете газового фонаря я успел рассмотреть очень интеллигентное, очень одухотворенное, умное, бледное с продолговатым южным носом, очень выразительное, привлекающее к себе внимание лицо. Если невзрачное лицо Тулупова терялось в толпе подобных ему, лицо повстречавшегося прохожего и вся его фигура как-то невольно выделялись среди других людей. Мне показалось, что Тулупов обменялся с ним взглядами и еле уловимыми жестами. От меня не укрылось, что М. Тулупов как-то повеселел и, повернув обратно, сказал:

— Ну, идемте. Можно. Никто за нами не следит.

Когда мы поднимались по лестнице, нас обогнал какой-то человек.

— Коля, это ты? — вдруг спросил Тупулов.

— Я,— ответил прохожий.— Ха, ха, ха. Я, Мишель, своей собственной персоной. Ха, ха, ха...

Вся лестница, как мне показалось, наполнилась здоровым молодым смехом, веселостью, молодостью, задором.

— Тише, ты! — бросил ему многозначительно Мишель, подымаясь со мной вверх по лестнице.

А раскаты молодого смеха, молодого, зычного голоса все еще раздавались где-то вверху над нами, пока не заглохли под крышей. Когда мы вошли в квартиру и затем в маленькую комнатку Мишеля, она оказалась наполнена звуками того же молодого голоса и тем же громким заразительным смехом. Смеялся белокурый крепкий малый Николай Белов, наборщик. За столом за самоваром сидел молчаливый и серьезный Григорий Тулупов. На столе кроме самовара, который кипел и пел какую-то песню, кроме стаканов, окружавших его, лежал очень белый ситный, чайная колбаса и масло, принесенные Беловым.

— Ну, Гриша, наливай нам чаю. А вот и новый наш приятель,— говорил Мишель, указывая на меня.— Знакомьтесь. Он тоже любит читать. Гриша, — обратился он к брату, — что будем читать, Флеровского, Бокля или Тургенева?

— Давай для начала Тургенева, «Новь», — заметил многозначительно Гриша.

— А может начнем сразу? — спрашивал Мишель, направляясь к полке, на которой виднелось довольно много книг.

Он взял в руки том Тургенева и еще какую-то маленькую брошюрку. Но в тот же момент он как-то остолбенел, брошюрка выскользнула из его рук и упала на пол. В дверях стоял внезапно вошедший тот самый бледнолицый молодой человек, которого мы только-что встретили. Под его нас-

Народовольцы. Вверху слева направо: Е. А. Иогансон и В. П. Приютов. В середине слева направо: А. И. Косолобов и И. Е. Белов. Внизу слева направо: И. Е. Смирнов и М. Е. Тулупов.

мешливым взглядом, в котором сквозило и презрение и опасение, Мишель оторопел до того, что уронил и Тургенева.

— Мишель,— произнес вошедший,— как же тебе не стыдно: у тебя дверь не заперта, а ты держишь так небрежно литературу, что она у тебя валяется на полу.

Он тотчас поднял упавшую на пол брошюру и я успел прочесть ее название: «Хитрая механика».

— Эх, Мишель, — говорил он садясь за стол. В тоне его голоса слышался упрек. — Давайте познакомимся и поговорим, а читать еще успеем, — обратился он ко мне. Его лицо сделалось снова добрым, а глаза так и засияли умом.— Я слышал много о вас от Мишеля, который учится в одной с вами школе и который изучал там вас. Он мне рассказывал, что вы не любите попов, не верите в бога и что вы, как своего рода Диоген, который днем с фонарем среди людей искал человека, разыскиваете социалистов. Расскажите нам о себе, о заводе, где вы работаете, и о рабочих, которые вас окружают. Мы тоже все рабочие — я, как и Мишель, портной, Коля у нас наборщик, Гриша слесарь.

«Притворяется, — думал я, вглядываясь в его тонкие изящные черты.—Какой он рабочий. Это переодетый студент и социалист». Тотчас огромное доверие к нему охватило меня, и я начал свой рассказ. Я изложил перед собравшимися историю моих переживаний. Я говорил, что однажды, живя среди людей, я вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким, что серая, тусклая жизнь рабочего опротивела мне до того, что я начал искать выхода. Выход я нашел в вере в бога — отца всех, в христианском братстве, в непротивлении злу, в вербовке членов общества трезвости, в посещении церковных служб. Сомнения в существовании бога, мысль о том, что непротивление злу, положенное в основу учения Христа, ведет лишь к сбавке расценок и следовательно к ухудшению положения рабочих, их детей, у которых отнимают последнюю каплю молока, и стариков, у которых вырывают из рта последнюю корку хлеба, — все это привело меня к сознанию необходимости борьбы со злом. Исходя из этого, надо притти к заключению, что причина тяжелого положения рабочих не в нас самих, как учит христианская церковь, а наоборот вне нас, в окружающих нас условиях. Остановившись на такой мысли, я со своими товарищами по антирелигиозному кружку пришел к неоходимости искать социалистов, которые с бомбами в руках борются за счастье народа. Я долго искал нигилистов или социалистов и, наконец, в лице вашем кажется нашел их.

Пока я, захлебываясь, говорил, бледнолицый человек не спускал с меня глаз. Лицо его в то же время все светлело;

на изгибах тонких губ, изобличавших в нем властного, самолюбивого человека, играла тонкая усмешка.

— Ну, ты, скала, — обратился он вдруг к веселому блондину, хлопнув его по плечу,— слышал? Каковы у нас рабочие? А? Как ты думаешь?

Белов в ответ только крякнул и кивнул головой в знак одобрения. Но ничего не сказал.

— Вася, — заговорил вдруг Мишель, — я говорил же тебе, что Саша Шаповалов парень сознательный. С ним нечего в прятки играть. Я и хотел ему дать «Хитрую механику» для начала.

— Мишель, — строго одернул Василий Петрович Приютов (такова была его фамилия) говоришего,— ты всегда лезешь в воду, не спросив броду. Ты каждую курсистку готов снабжать литературой и каждого студента тащить в свой кружок. Поспешишь, брат, людей насмешишь.

Мишель, закусив губы, обидчиво замолчал, а Приютов, обернувшись ко мне, спросил:

— Скажите, Саша, мы вас так будем звать, а меня вы зовите просто Вася, так вот скажите, сколько лет прошло покамест вы освободились от пут религии, от поповской лжи и пришли к выводу, что зло, с которым вы решили бороться, что это зло лежит вне нас, в условиях, которые нас окружают, значит в бесправии народа и в самодержавии царя?

— Не меньше трех, а может и больше лет.

— Вот видите,— продолжал Приютов,— если мы будем в отдельности каждого рабочего развивать покамест он дойдет до сознания необходимости борьбы с самодержавием царя и за социализм, пройдут десятки лет. Это будет настоящая сизифова работа. Нам нет возможности ждать. Нам необходимо немедленно действовать. Для этого вполне пригодны отдельные личности из рабочих, как вы, Саша, которые самостоятельно пришли к мысли о мщении и борьбе. Отдельных личностей сравнительно легко завербовать в боевые отряды. Они, эти личности, жертвуя своей жизнью за будущее счастье народа, бросая бомбы, убивая министров и, наконец, царей-деспотов, заставят правительство пойти на уступки.

— Дайте мне бомбу, — сказал я, — погибнуть с бомбою в руках за счастие народа — это моя мечта. Раньше, слушая попа Палисадова и убежденья моего собственного отца, я считал, что нигилисты или социалисты не что иное, как злодеи, агенты помещиков. Но уже давно я разобрался в этой хитрой лжи. Для меня теперь ясно, что они не зло-

деи, а герои, друзья народа, которые борются за счастье народа и гибнут в неравной борьбе.

— Тише, Саша, — сказал вдруг поднявшийся Белов. — Вася! — обратился он к Приютову, — не пойти ли нам погулять? Здесь становится неудобным вести разговор: нас могут подслушать.

— Кто там подслушает? — возражал Мишель. — Продолжай, Саша.

— Не мели вздор, Мишель. Как ты думаешь, Гриша? — обратился он к Григорию Тулупову.

— Коля прав: лучше пойти погулять. Идемте! — Он поднялся и стал одеваться.

— Только вот что, — заметил Приютов, — установим правило, выходить по-одиночке, чтобы не бросалось в глаза шпикам.

Я вышел вместе с Гришей. Приютов догнал нас, когда мы повернули на Садовую улицу. Мишель шел вместе с Николаем Беловым. Когда мы поровнялись, до нас долетели слова:

— Настоящий деспот этот Вася. Не дает мне шагу ступить, будто я малый ребенок. А ведь я же привел Сашу Шаповалова.

— Не оправдывайся, — отвечал Белов, — ты совершенно порой забываешь правила революционной конспирации.

— Не берите с него пример, — заметил мне сухо Приютов, указывая на Мишу Тулупова. — Он хороший малый, но болтлив, как женщина, и неосторожен, как малый ребенок. Я серьезно побаиваюсь, как бы он нас не провалил.

Продолжая нашу прогулку, мы свернули с Садовой улицы на Вознесенский проспект и вступили на Синий мост. В темноте перед нами выросла громада Исаакиевского собора, выстроенного при Николае I.

Мы прошли мимо памятника Николаю I. Обойдя собор, мы вышли на Сенатскую площадь.

— Здесь стояли когда-то вооруженные части декабристов во время восстания, — сказал Приютов.

Дойдя до Дворцового моста, выстроенного из дерева и покосившегося на больших барках, мы свернули на Дворцовую набережную. Взглянув на памятник Петру I, стоявший на берегу Невы по другую сторону Исаакиевского собора, я вспомнил двустишье, слышанное мной от Д. Ф. Федорова:

Глупый умного догоняет,
Да Исакий мешает!

Мы стояли, облокотившись на толстые каменные перила Невы, закованной в гранит. Но в этот час и она возмущенно

бунтовала. Вода бурлила внизу. Волны с ревом налетали на холодный гранит. С моря дул ветер. Скрипели и стонали стоявшие на якорях баржи-пристани. Было уже поздно. Вода в Неве поднималась, грозя обычным наводнением, в первую голову Галерной гавани. Слева от нас высилась громада Зимнего дворца, заслонившая собой Исаакиевский собор. Чем-то жутким веяло от мрачной реки, которая, как и мы, как будто собиралась порвать свои оковы. За водным пространством, за бурлившими волнами, покрывшимися белой пеной, мрачным силуэтом выделялась Петропавловская крепость. Чем-то жутким веяло и от мелодии колоколов, наигрывавших в этот момент «Коль славен». Думая о тяжелой участи тех, кто там, за Невой замурован под каменными сводами крепости, я слушал Приютова. Повернувшись спиной к дворцу, где живет деспот-царь, угнетающий народ, он приподнятой в мрачном пафосе рукой как бы указывал на крепость, где томились те, которые пытались освободить угнетенный народ.

При колеблющемся свете газовых фонарей я видел, как в глазах Приютова вспыхивал мрачный огонь мщения и ненависти к царю и к богачам. Мы стояли и смотрели на мрачное пятно крепости, а Приютов говорил, обращаясь главным образом ко мне.

Он начал с того, что нигилистов нельзя смешивать с социалистами. Нигилизм 60-х годов представлял собою особое течение среди русского образованного общества. Нигилизм в России не признавал авторитетов, звал молодежь к знанию и поднимал женщину до одного уровня с мужчиной. Под влиянием нигилизма молодежь добивалась самостоятельности. Многие девушки глухой провинции и медвежьих углов покидали родительский дом и шли в университеты. Но только крайние из нигилистов были настроены непримиримо к правительству Александра II. Они признавали, что крестьянская реформа 1861 г. не принесла крестьянам никакой пользы, и образовали даже в 1863 г. тайное общество под названием «Ад» вокруг Ишутина, Юрасова, Ермолаева и других. Но нигилист, по П. Л. Лаврову, ищет преимущественно личного счастья. Социалист, наоборот, ищет счастья народа и жертвует для блага его своим собственным счастьем.

— Мы — социалисты,— говорил Приютов.— Мы те, кого вы искали. Но мы носим название народовольцев. Мы члены партии «Народная воля». Так как мы террористы, так как мы намереваемся бросанием бомб в царя и его министров завоевать свободу и счастье народу, мы должны быть особенно самоотвержены, мы должны свою свободу, свое личное счастье, свою жизнь отдать за счастье народа. Но каж-

дого из нас, кто пожелает последовать примеру таких великих народовольцев, какими были бесспорно Желябов, Гриневицкий и Софья Перовская, царские палачи-жандармы могут бросить в тот каменный мешок, который, как мрачное пятно, чернеет за рекой.

— Вся моя жизнь,— заговорил я,— была сплошной тюрьмой. Она мало привлекает меня. Я давно решил погибнуть за счастье народа. Дайте мне бомбу, я не испугаюсь ни тюрьмы, ни пыток, ни казни. Но я знаю о социалистах очень мало. Скажите откуда взялись народовольцы?

— Коротко говоря, до образования «Народной воли» у нас в России существовала социалистическая народническая партия. Все теоретические обоснования дал партии великий русский ученый Чернышевский. До него называл себя социалистом Герцен. Вождями народничества надо считать Лаврова и Бакунина. Лавров не мечтал о скорой революции в России и призывал русских социалистов вооружаться знаниями, почерпнутыми из науки. Он звал учиться и революцию отодвигал на отдаленное будущее. Бакунин наоборот полагал, что все в России готово для немедленной революции. Он призывал к восстанию, к бунтарству. К видным революционерам надо отнести Нечаева и Ткачева. Народники издавали газету «Земля и воля». Сначала они были настроены в отношении правительства сравнительно мирно, но когда царское правительство, испугавшись движения учащейся молодежи в народ, ответило репрессиями, арестами, каторжными приговорами по суду, часть народников решила изменить тактику. Та часть народников, которая решила бороться с правительством с бомбами в руках, самоопределилась на липецком с'езде в 1879 г. На воронежском с'езде, последовавшем в том же 1879 г., народничество раскололось на две партии: на партию «Народной воли» и на партию «Черный передел». Последняя партия, отрицавшая террор, давно исчезла. Партия «Народная воля» вела долго героическую, неравную борьбу, но была разгромлена после казни царя Александра II. Теперь эта партия возродилась и скоро вновь начнет великую борьбу с бомбами в руках.

— Если вы хотите принять участие в этой славной борьбе, вступайте в наши ряды, но помните, что всем нам придется пойти на виселицу,— говорил Приютов.

Когда я еще раз подтвердил, что я готов на все, было решено, что я вступаю в партию «Народная воля» и что и мои товарищи Купцов и Косолобов и другие, поскольку Приютов признает их годными для революционной деятельности, тоже вступят в ряды этой партии.

— Неудобно стоять на месте, — сказал вдруг Белов, — городовой на нас обратил внимание. Пойдемте обратно.

— Да пора уже и по домам, — заметил Гриша. — Завтра ведь на работу.

Мы попрощались. Счастливый возвращался я, не слыша ног под собой. Я не чувствовал усталости. Я пересек весь город от реки Невы до Обводного канала. Было около трех часов утра, когда я подошел к воротам дома, где я жил. Несмотря на позднее время, я заметил около дома темную фигуру. Это был Косолобов, который меня ждал.

— Как ты поздно. Я начинал думать, что с тобой что-нибудь случилось, что ты уже не вернешься, что ты уже погиб. Ну, как, нашел нигилистов?

— Да, Саша, я их встретил. Но только эти люди не нигилисты, которых давно уже нет, — они называют себя социалистами-народовольцами. Только я тебя предупреждаю, ты должен все это хранить в самой строгой тайне. Ни матери, ни вообще родне, ни близким — никому ты не должен рассказывать о нашем открытии. Ты должен обо всем этом молчать, как будто ты набрал воды в рот. Пока мы бродим на воле, ты должен молчать, если тебя арестуют, будут пытать — резать, жечь на огне, ты не должен об этом говорить. Даешь слово?

— Даю. А как они насчет бросания бомб?

— Они ученики народовольцев — Желябова, Гриневицкого, Софьи Перовской и других. Как и эти старые народовольцы, они — террористы. Они собираются бросать бомбы в царей и министров. Готов ли ты взять бомбу и, конечно, затем погибнуть на виселице?

— Я, как и ты, давно готов. Я очень рад, что ты нашел этих смелых, благородных людей, которые, не задумываясь, жертвуют своею жизнью за угнетенный народ. Я уверен, что и Купцов то же самое скажет.

— В таком случае я познакомлю тебя и Купцова с этими людьми. Мы вместе начнем новую жизнь, полную опасностей и заманчивую по обстановке. За нами будущее. Это важно. Теперь уже поздно. Пора спать. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи!

— Где ты был? — спросила меня тревожным тоном мать. — Я видела тревожный сон. Я проснулась, тебя нет. Где ты пропадал всю ночь?

— Гулял.

— Наверно с барышнями? Ты мне покажи свою девицу.

— Ладно мама. Пора спать.

Лишь только я прикоснулся головой к подушке, я забылся во сне. Мне снились народовольцы. Они мне дали бомбу.

Я ее бросил. От происшедшего взрыва все задрожало. Огромный жандарм схватил меня за плечо со словами: «А, попался», и стал меня трясти. Я проснулся. Надо мной стояла моя мать, трясла меня и говорила:

— Саша, вставай. Боже мой, как он спит. Да вставай, на работу пора!

Я встал, торопливо умылся. На столе уже шумел самовар, лежал хлеб трех сортов: черный, пеклеванный и ситный, стояло масло и на противне лежала вчерашняя жареная вкусная корюшка. Разливая горячий чай, мать вопросительно смотрела на меня.

— Что ты так торопишься, Саша? — вдруг спросила она меня.— Неужели она тебя где-нибудь ждет? Эх, молодость, когда-то и я так-то выбегала навстречу Сидору Семеновичу.

— Да, мама, — сказал я, выходя из дома. Я решил отвлечь ее внимание от опасных новых знакомых.

Было еще темно, когда я шел по набережной Обводного канала. Ветер, дувший всю ночь, стих. Молчание раннего утра нарушали заводские гудки, звавшие разными голосами рабочих на работу. Когда я перешел Варшавский мост и направился вдоль фасада Варшавского вокзала, здесь по направлению к проходной конторе валила толпа рабочих. В это утро я чувствовал себя головой выше этой серой толпы, еще молча и терпеливо влачившей свои цепи рабства. С удвоенной ненавистью я вошел в закопченные мастерские завода, стены которого содрогались от вращавшейся с грохотом паровой машины. Каждый день с этой поры с нетерпением ждал я вечера. Когда двери завода раскрывались, я опять торопился к своим новым знакомым. До прихода Приютова первую скрипку брал всегда Михаил Тулупов. За внешностью серенького, незначительного человечка у него скрывались способности к словоговорению. После я узнал, что у него скрывались и литературные способности. Когда я вошел к братьям Тулуповым, Мишель с возмущением, негодующим видом, весь возбужденный говорил брату:

— Ты должен же, наконец, понять, Гриша, что Вася был совсем неправ, упрекая меня, что я дал этой курсистке почитать «Подпольную Россию». Я ведь не мальчишка, Гриша, я не его сын, чтобы каждый шаг, который я делаю, делать только с его разрешения, я, наконец, взрослый человек. Это возмутительно!

— По-моему, Вася прав. Ты поступил, пожалуй, легкомысленно. Вчера познакомился только с этой недурненькой девицей, а сегодня даешь ей читать нелегальщину, — говорил спокойно Григорий Тулупов. — Кроме того Вася намеревался «Подпольную Россию» предложить читать Саше

Шаповалову. Да вот и он сам. Я поставлю самовар, а ты беги за ситным и колбасой.

Михаил бегал за ситным и колбасой, а Гриша возился с самоваром, я рассматривал книги, стоявшие на полке и валявшиеся в беспорядке на столе и на кроватях. Мне бросились в глаза томы сочинений Бокля, Спенсера, Дарвина, Белинского, Чернышевского, Писарева, Глеба Успенского, Салтыкова-Щедрина, Флеровского, Омулевского, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Шпильгагена. Когда я смотрел на эти томы, которые усиленно поглощались братьями, особенно Мишелем, у меня явилась мысль, не образовалась ли в голове у последнего своеобразная мешанина, мешавшая ему успешно заниматься в школе. В то время как я предавался этим размышлениям, дверь с шумом отворилась, и на пороге с веселым лицом и с сиявшей на нем улыбкой появился Николай Белов.

— Драсте, друзья, — говорил он. — Ха! Ха! Ха!

В комнате с его приходом стало тотчас как-то светлее. Улыбка появилась и на лице Гриши.

— Ну что, опять принес? — задал несколько таинственным тоном вопрос Гриша.

— Принес, как не принести. Смотри! Ха! Ха! Ха! — С этими словами, он вытащил из оттопыренного кармана небольшой, но увесистый мешочек, наполненный типографским шрифтом.

— А где же Мишель? — спросил он, высыпая шрифт на газетную бумагу.

— Миша ушел за хлебом, — ответил Григорий, ставя самовар на стол. — Ну, давайте чай пить! — обратился он ко всем нам. — Только что же это Миша застрял там с хлебом. Ты не сбегаешь ли, Коля? Мы на углу тут в булочной ситный берем. Он наверно там.

Пока Белов бегал за Мишей Тулуповым в булочную, мы с Гришей уселись за стол. Вскоре явился и Белов, но один. Он принес и ситный и колбасу и заявил, что Миши в булочной нет и что приказчик его уверял, что он даже не заходил в булочную. Недоумевая, куда он делся, и предполагая, что уж не арестован ли он, мы принялись за чай, ситный и колбасу.

Чай пили по-старому русскому обычаю — «до девятого пота», с полотенцем. Выпили один самовар, согрели второй. Когда принялись за второй, в дверь постучали. Когда Гриша открыл ее, на пороге появился Приютов. За ним с виноватым видом следовал Миша Тулупов.

— Ты где же это пропадал? — набросился на него Гриша. — Ушел за ситным и колбасой и как будто в воду канул.

Без малого два часа, как тебя нет, как нет. Мы уже два самовара чаю успели выпить.

— А вы знаете, где я его нашел? — вмешался в разговор Приютов. — У фотографии на Садовой улице. Там выставлен увеличенный портрет одной красавицы. Миша влюбился в эту волшебницу, изображенную на портрете, стоит и глаз не может отвести. Я прохожу, говорю: «Мишель, ты что здесь делаешь?». А он не слышит и не видит, смотрит на портрет и глаз не может отвести. Вот так любовь! Ай да, Мишель! Вы его ждете: «где Мишель, отчего его долго нет», а он у портрета своей Сильфиды. Вот какова теперь молодежь!

Мишеля подняли на смех. Особенно громко хохотал Коля Белов. Для меня стало ясно, почему Приютов держит Мишеля в ежевых рукавицах.

«Любовь,— думал я.— Как-то трудно совместить два противоположных чувства — любовь к женщине и желание умереть. Ведь всякий, готовящийся взять бомбу в руки, должен готовиться к смерти. В решительную минуту, когда смерть будет смотреть в глаза взявшему бомбу, не заколеблется ли его воля и не дрогнет ли его рука, если он любит и если у него есть любимая женщина?»

В то время как я сидел, погрузившись в думы, ко мне подсел Василий Приютов. Еще раз он меня расспросил о моих товарищах, и мы условились, что я познакомлю их с ним каждого в отдельности.

С этой поры я чаще всего приходил по вечерам и по воскресеньям к Приютову. Миша Тулупов часто отсутствовал. Над ним смеялись, говоря, что он попрежнему продолжает простаивать у портрета молодой женщины. Однажды он вместо хлеба и колбасы, за которыми пошел, принес этот самый портрет, на покупку которого истратил все деньги. Коля Белов по этому поводу сказал, что так, пожалуй, будет лучше: вместо того, чтобы простаивать часами на улице перед портретом и обращать на себя внимание полиции, Миша будет любоваться пленившим его портретом у себя дома.

Кроме этого случая с Мишелем любовь к женщине была очень редко предметом наших бесед. Мы всегда говорили только о революции. Революция, как самая ревнивая из женщин, не допускала с нашей стороны никаких других увлечений, овладевая всецело нашим вниманием, нашей волей и нашими чувствами. Особенно казался верен предмету своей страсти Приютов: он жил только революцией. Время-от-времени с его уст срывались жалобы и упреки, сыпавшиеся по адресу Мишеля, продолжавшего увлекаться то

одной, то другой курсисткой, с которыми он вел знакомство.

Выяснив, что в голове Мишеля царствует мешанина, что от него нельзя добиться ясных, четких ответов на интересовавшие меня вопросы по разным отраслям знания, главным образом по истории, истории культуры и по истории революции, я обращался за всем этим к Приютову.

Почти всегда я заставал Приютова за чтением статей «Русского богатства», ежемесячного толстого журнала, где между прочим помещались статьи народников: Южакова, Николая-Он'а В. В. Юзова, Михайловского — редактора журнала. Приютова, как и других народовольцев, интересовал вопрос, по какому пути пойдет развитие России: по пути ли развития капитализма, по которому шла Западная Европа, или по какому-то другому, самобытному пути, о котором говорил еще Герцен. Говоря о статьях народника, кажется В. В., писавшего о «Мертворожденности капитализма в России», Приютов проговорился, что существуют какие-то марксисты, которые утверждают, что Россия пойдет именно по пути развития капитализма. Но теорией Приютов не очень любил долго заниматься: он быстро переходил к вопросам практики. Он воспитывал в нас дух героизма, вызывал желание подражать уже погибшим великим народовольцам. Слушая его, каждый из нас желал походить на Желябова, Гриневицкого, Халтурина и т. п.

— Как узнать прошлое революции? — спросил я однажды.

— Читайте Туна, «Историю русских революционных движений», перевод с немецкого. Также прочтите «Подпольную Россию» Степняка-Кравчинского, «Календарь Народной воли». Знакомьтесь с историей вообще. Многие хорошие книги можно читать в читальне Публичной библиотеки. Например, вам необходимо познакомиться с историей великой французской революции.

Благодаря чтению и беседам я узнал имена Герцена, Чернышевского, Лаврова, Бакунина, Кропоткина, Ткачева, Сергея Нечаева, будивших уснувшую мысль и боровшихся за свободу. Первое время в своем представлении об этих людях я уловил лишь то, что их всех об'единяло, что делало их похожими один на другого; то, что их отличало одного от другого, долго не привлекало моего внимания и стало мне более или менее понятно лишь много позднее. Одновременно из туманной дали прошлого передо мной вырисовывались величественные фигуры деятелей великой французской революции и слышался их призывный клич: «Да здравствует республика! Да здравствует свобода! Долой тиранов!».

Соединив свой кружок с кружком Приютова, вступив таким образом в рабочую группу партии «Народная воля», я окунулся, как мне казалось, в совершенно новый для меня мир. Новые ощущения, новые радости, новые надежды — все это охватило меня целиком. Особенно приятно мне было сознавать, что я не одинок, что я не был уже той песчинкой, которая терялась среди бесчисленного множества подобных песчинок на морском берегу, что у меня были товарищи, на которых я мог положиться. Меня поражало и трогало до глибины души чувство братства, которое царило в кружке Приютова.

Казалось, мои мечты о человеческих отношениях, о братстве, осуществлялись в этом кружке, который напоминал собою маленькую коммуну. То хорошее, о чем я мечтал, здесь осуществлялось на деле. Чувствовалось, что здесь заботятся о товарище больше, пожалуй, чем о себе. Жизнь у членов кружка была наполнена интересами умственными, высшими, духовными. Приютов был конечно душой кружка.

Я хорошо сознавал, какая опасность ожидала меня со дня вступления в террористическую группу «Народной воли». Я хорошо помнил глухие, передававшиеся шепотом слухи, ходившие среди части рабочих и вообще среди низов народа о той участи, которая ждет арестованного социалиста, которого бросали в каменный мешок Петропавловской крепости: камера наполнялась водой, затем пол помещения, где погибал социалист, раздвигался, и его труп падал в Неву. Войти в среду социалистов, значило согласно этой молве обречь себя на верную и ужасную гибель.

Но постоянная опасность ареста, которая нас всегда подстерегала, не действовала на меня подавляющим образом. Наоборот, эта опасность и вместе с ней эта необычайная таинственность, которой окружались наши встречи, возбуждали меня, приучали презирать опасность, выковывали во мне и в товарищах смелость, отважность и презрение к смерти. Сознание, что я ниспроверг в себе самом не только авторитет бога, но и авторитет царя, перед которым склонялись все в прахе, поднимало меня. Завод с его грохочущими машинами, работа на токарном станке, вечерняя школа с ее математикой, физикой, химией, заботы о матери, — все побледнело в моих глазах, отошло на задний план по сравнению с теми огромными целями, которые ставила перед собой революция.

По воскресеньям мы отправлялись иногда бродить по окрестностям Петербурга. Идя по берегу Большой и Малой Невки, мы доходили до взморья. Под ногами шуршали последние падающие с деревьев желтые листья, короткий

осенний день проходил, а я все слушал повесть о великих деяниях русских революционеров. Говорили о Герцене, свободное слово которого прозвучало по всей Руси как призывной колокол; о Чернышевском, о его надеждах на великорусскую общину; о Бакунине, о его призыве «в народ», о его проповеди немедленного восстания, к которому всегда якобы готов народ; о Лаврове, звавшем революционеров бороться и учиться; вспоминали Каракозова и Соловьева, стрелявших в Александра II, Веру Засулич, стрелявшую в градоначальника Трепова; говорили о судебных процессах, на которых прославились своими речами революционеры Мышкин, Бардина, Петр Алексеев; переходили к липецкому и воронежскому с'ездам, на которых образовалась террористическая партия «Народная воля». Когда я слушал рассказ о Желябове, мне казалось, что его огромная тень встает над Петербургом и угрожает скорой гибелью старому, гнилому миру.

Чем более я сближался с новыми товарищами, тем более они становились мне по душе и тем более я убеждался в необходимости разрушить этот старый, гнилой мир. Какой будет новый мир — никто из окружавших меня новых друзей не мог сказать. Об этом новом мире у нас складывались самые туманные представления. Но мы все были убеждены, что новый, построенный другими поколениями мир будет походить на своего рода земной рай. В этом убеждало нас все, в особенности прочитанные книги, как утопия Беллами «Через сто лет» и т. п., и слова поэтов, например, Надсона, говорившего, что в новом мире

«не будет ни слез, ни вражды,
Ни бескрестных могил, ни рабов,
Ни нужды, беспросветной мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорных столбов...»

С той поры, как я узнал о былом движении в народ русской передовой интеллигенции, у меня упорно засела в голове мысль, что Василий Приютов не кто иной, как переодетый студент, интеллигент, ушедший в народ. На самом же деле он был очень развитый интеллигентный рабочий — портной-закройщик, и работал у портного Блаушвельда по Вознесенскому проспекту. Он был портным высшей марки, который снимает мерку и от которого зависит, чтобы заказанное платье было сделано хорошо. Сам я, как и прочие рабочие, не дорос до мысли носить костюм, сделанный на заказ. Впрочем то, что было доступно западно-европейским рабочим, было еще совсем недоступно русским рабочим: мужское платье, исполненное на заказ, стоило много доро-

же; поэтому я, как и все рабочие, покупал готовые «тройки» и пальто, которые поэтому никогда не сидели хорошо на мне: они всегда были или слишком длинны, или коротки, или широки, или узки. Свой первый костюм, сделанный на заказ, я получил возможность носить лишь по переезде за границу.

Окончательно убедился я, что Приютов, как и я, рабочий, когда я у него познакомился с интеллигентами-народовольцами. Однажды, придя к Приютову, я встретил у него Александра Александровича Ергина. Вскоре я познакомился с женой последнего Любовью Владимировной, а еще через несколько времени с Александрой Львовной Катанской, с Екатериной Александровной Иогансон и с Федуловым. Первые же встречи с ними показали мне их превосходство перед нами, рабочими. Они быстро находили дорогу к моему сердцу и своими словами будили в моей душе то, что в ней дремало, что лишь временами пробуждалось, готовое снова погрузиться в глубокий сон. Встречи с ними были мимолетные, но они оставляли впечатление.

Мне очень понравились интеллигенты-народовольцы, эти чрезвычайно симпатичные люди с одухотворенными лицами, на которых лежал отпечаток мысли; они понимали и чувствовали страдания миллионов бедняков и по-своему желали их освободить. Они пылали ненавистью к царю, капиталистам и кулакам. Они не только искренно и глубоко любили угнетенный русский народ, под которым подразумевали рабочих и крестьян, но и боготворили его. Ради этого божества они одевали армяк и лапти, шли в цепях на каторгу и на виселицу. Я ловил каждое слово этих необыкновенных людей, которые внесли такую яркую страницу в нашу историю. С глубоким уважением я вспоминаю их всех и говорю им, как рабочий: «Низкий поклон вам!»

Каждый раз, когда к Приютову, переехавшему на Звенигородскую улицу, приходил кто-нибудь из интеллигентов-народовольцев, Приютов резко менялся. Из сурового учителя, заставлявшего постоянно повиноваться себе таких несуразных учеников, каким, например, к его огорчению оставался Михаил Тулупов, он превращался до известной степени в ученика, благоговеющего перед учителем. Интеллигентов-народовольцев Приютов очень уважал; он благоговел перед ними, молился на них. Интеллигенция это — та среда, тот источник, из которого народовольцы, по его мнению, могли без конца черпать своих последователей, готовых всегда пожертвовать своею жизнью во имя своего божества, которым был угнетенный народ.

Мы долго гуляли по аллеям Крестовского и Елагина островов. Вершины столетних дубов, буков, ясеней смотрели на нас сверху. Еще выше над нами сияло светло-голубое небо наступившей весны. На моей душе было также ясно и светло. Я слушал Приютова, которому вторили Миша Тулупов и Белов. Я шел слепо за ними и пошел бы беспрекословно и безоговорочно, куда бы Приютов меня ни послал.

— Друзья, — предложил он, — едемте на лодке!

Мы не возражали. Приютов оставил в залог за лодку свои карманные серебряные часы. Мы взялись за весла. Николай Белов сел у руля. Миновав Стрелку, мы выбрались из устья Невы и очутились на взморье. Как только широкий простор взморья охватил нас со всех сторон, мы запели революционные песни, которые перемежались народными великорусскими и украинскими напевами.

День между тем приближался к вечеру, солнце, похожее на огромный, раскаленный, красный шар, медленно погружалось в море, краски заката разгорались в небе. Я чувствовал, что вместе с ненавистью к старому миру во мне росло и понимание красоты природы. В то время как все мое внимание было поглощено красотой солнца и красок заката, мимо нас промчалась лодка со студентами, шедшая на парусах. Лишь только она обогнала нас, как один из студентов поднял на ней флаг с надписью «Свобода».

— Свобода! Свобода! Свобода! — вскрикнул Приютов. — Видите? — обратился он к нам, — мы не одиноки. Идея свободы живет в сердцах у многих мыслящих людей России. Ведь деспотизм, угнетающий все, не может мириться даже со свободным научным исследованием. Всякая свобода и особенно свобода народа ему ненавистна. Поэтому мы, народовольцы, должны немедленно ринуться в бой с гидрой самодержавия и раздавить ее. Клянетесь ли вы, что вы согласны пожертвовать своей жизнью в борьбе с тиранией царя?

— Клянемся! — воскликнул Николай Белов.

— Клянемся! — ответили мы все вслед за ним хором.

— В таком случае с завтрашнего дня мы начнем подготовку казни царя Александра III.

— Вот это дело! Наконец-то! — заявил Гриша Тулупов. В том же духе с просиявшими лицами высказались все мы.

— В таком случае, — продолжал Приютов, — удвоим нашу осторожность. Каждому из нас нужно помнить, особенно это должен намотать на ус Мишель, что «ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами». Хождение к знакомым, у которых можно захватить слежку, необходимо прекратить. Саше Шаповалову придется прекратить пропаганду и в

школе и на заводе. Благоразумнее всего ему было бы перейти на другой завод, где его не знают, и быть может бросить и школу.

— Я уже бросил учиться в школе, — заявил Мишель, — я оставил ее почти на другой день после того, как завербовал там Сашу Шаповалова. Да для чего эта школа, если завтра быть может мы выступим с бомбами в руках и завтра же быть может нам придется отведать крепость казенной веревки?

Огненно-красный шар солнца давно уже погрузился в море; давно уже погасли краски вечерней зари; в небе зажглись звезды; выплыла из-за тучи луна; мы возвращались в серебряной полосе лунного света, мы ежились от ночного холода и говорили о нашей мести тиранам России и о скорой гибели, которая, неизбежная, как рок древних, ожидает всех нас.

Приютов посвятил нас в свой план покушения на жизнь царя.

Александр III, приезжавший из Гатчины, где он, по словам Карла Маркса, так долго был пленником русской революции, обычно проезжал по сравнительно узкому Вознесенскому проспекту. Мастерская портного Блаушвельда по Вознесенскому проспекту в доме № 41 была расположена как раз как бы для организации покушений, для террористических планов Приютова. Бомбометателю, пришедшему в мастерскую под видом заказчика, очень легко было в нужный момент выскочить из мастерской и бросить бомбу *.

— Я постараюсь задержать, — говорил Приютов, — этого товарища, который придет в мастерскую под видом заказчика, разными разговорами и, как только царь покажется, мы вдвоем с бомбами в руках выскочим на улицу, прорвемся сквозь толпу зевак и бросим в нужный момент бомбы.

Нам казалось, что осуществить этот план очень просто: кто-нибудь из нас, оставшись на улице в виде одного из зевак, даст сигнал о приближении царя, и дело кончено. В случае неудачи другие члены кружка, оставшиеся на улице с бомбами в руках, докончат дело.

---

* На жандармском следствии, как видно из дела Лахтинской типографии, Михаил Тулупов показал, что 12 февраля 1897 года члены народовольческой организации, Екатерина Иогансон и Василий Приютов, на собрании народовольческой организации доказывали и отстаивали необходимость террористических выступлений, которые должна подготовить и проводить партия «Народной воли». В том же деле собраны указания, что Екатерина Иогансон сговари алась в Москве с членами московской террористической группы Оленина об организации покушения на царя Александра III.

— Но трудновато будет все это провести на деле, — сомневался Григорий Тулупов, — нужно считаться с быстротой, с которой царь мчится на своих великолепных рысаках.

— Да, — подтвердил Белов, — я видел, как царский кучер с необыкновенно толстым задом и красным затылком гонит лошадей. Летят стрелой. Кроме того, нельзя обойти молчанием усиленную охрану царя; весьма возможно, что переодетые охранники, шпионы занимают в этот момент сплошными шпалерами по обе стороны Вознесенского проспекта всю длину его.

— Ну что ж, — возразил Приютов, — во всяком деле есть свои трудности, которые необходимо преодолеть. Мой хозяин Блаушвельд не представляет себе, что я революционер-народоволец, — наоборот, он считает меня, во-первых, религиозным, а во-вторых, преданным «царю-батюшке» человеком. От полиции, с которой он в хороших отношениях, он узнает заранее о дне и даже часе проезда царя и, ничего не подозревая, сообщает мне все это. Сколько раз, наблюдая проезд царя к Варшавскому вокзалу, я с огромным трудом удерживал себя: признаюсь, мне трудно удержаться от желания немедленно выскочить на улицу и простым портновским утюгом убить царя. Ведь при уменье можно и с утюгом в руках уничтожить тирана, а с бомбами... стыдно нам будет, если мы не уничтожим этого вампира, сосущего кровь русского народа.

Следуя указаниям Приютова, в ожидании дня, когда партия «Народной воли» снабдит нас бомбами, мы устраивали в дни проезда царя пробные мобилизации, заходили в мастерскую к Приютову «насчет заказа» и толкались в виде уличных зевак по Вознесенскому проспекту. Время шло, мы очень жалели, что нам не дают взрывчатых снарядов, ибо мы упустили благоприятные случаи, когда, по нашему мнению, было легко бросить в проезжавшего царя смертоносную бомбу. Однажды, придя к Приютову на Звенигородскую улицу, я по обыкновению спросил его, когда же мы выступим с бомбами в руках. Приютов, читавший журнал «Русское богатство», сердито бросил его на кровать и забегал по комнате.

— Вы говорите, когда же мы, наконец, выступим как борцы и мстители. Да разве с этим народом что-нибудь сделаешь! Вот Мишель на-днях встретился со своим однодеревенцем. Вы представляете, что значит крупа! Солдафон, морда красная и толстая. Еще не успев выяснить, что он за человек, он дает сразу же, едва перекинувшись двумя-тремя словами, подпольную революционную книгу. Так поступают члены нашего рабочего кружка! Что же, по вашему, те, ко-

торые состоят во главе организации, этого не замечают? Как же нам дать бомбы и поручить уничтожить царя, если мы не исполняем самых элементарных правил конспирации?

— Так-то так, — заметил, сидевший у Приютова Белов, — а время-то уходит. Сколько благоприятных случаев мы упустили. Кроме того наш порыв, наше желание отдать свои силы на самых опасных постах революции, наша энергия уходят, так сказать, на воздух, пропадают неиспользованными.

— Я начинаю жалеть, что не привел своего намерения в исполнение, — заговорил дрогнувшим голосом Приютов. — Просто нам надо было бы с утюгами и молотками наброситься на деспота и убить его, как гадину. Теперь может быть момент и упущен. Царь застрял в Крыму, в своем дворце в Ливадии. Блаушвельд слышал от пристава, что он захворал.

С этого времени на Приютова нашла мрачная полоса: он нервничал, подсмеивался над новым товарищем Колей Черным, обрушивался на Мишеля и, наконец, однажды принес известие, поразившее нас, что партия «Народная воля» сняла вопрос о терроре, что она пришла к заключению, что момент для применения террора неблагоприятен, что она откладывает террор до более благоприятного времени. После я узнал, что в народовольческом центре восторжествовало мнение Белевского. Если Приютов и Екатерина Иогансон высказывались за террор, за личное самопожертвование, которое могло пробудить революционную энергию в народе и поднять волну революционного движения, Белевский, являвшийся в этот момент вождем народовольцев, энергично возражал против террора. Белевский находил, что одного личного самопожертвования еще недостаточно, необходимо, чтобы оно было поддержано рабочими, войском и крестьянством. А для этого необходима работа среди тех, других и третьих. Вместо фабрики бомб надо создать хорошую подпольную типографию. Приютову и другим рабочим его кружка предстоит не менее славное поприще, чем смерть с бомбою или с утюгом в руках, это поприще — создание подпольной типографии.

Причина отказа от террора у народовольцев заключалась в том, что, не находя той поддержки, на которую они рассчитывали среди студенчества, они встретили сильного противника в лице нарождавшегося в России революционного марксизма, который пользовался несомненным успехом. Выбиваемая из седла последним партия «Народной воли» заколебалась и, высказавшись против террора, занялась пропагандой и агитацией, созданием подпольной типографии.

Мы долго не могли примириться с мыслью об отказе от террора. Особенно мы негодовали в наступившие дни похорон царя, умершего от болезни почек в Ливадии. В течение трех суток толпа верноподанных, желавших проститься с умершим, осаждала Петропавловскую крепость.

— Посмотрите на этих баранов! — указывал Приютов. — Как их много! Они заполнили не только весь крепостной двор, но и на улице образовали хвост длиною в версту. А рабочих-то ваших сколько пришло! Вот и надейся на рабочее движение. Жаль, что я не убил этого деспота своим портновским утюгом!

Приютов привел при этом обычные доводы о косности масс, которые можно разбудить лишь взрывами бомб, брошенных в царей.

В день похорон царя заводы не работали, улицы были запружены толпами зевак. Когда показалась похоронная процессия, в которой участвовало много коронованной сволочи, у нас чесались руки и мы очень жалели, что у нас нет бомб.

«Трудно себе представить другой более благоприятный случай, при котором так легко уничтожить десяток другой коронованных палачей и тиранов народа»,— думал я.

Приютов, который как будто угадал наши мысли, еще раз подтвердил, что вопрос о немедленном терроре решительно снят с очереди и что все внимание партии «Народной воли» обращено теперь на создание хорошей подпольной типографии, где будут печататься преимущественно брошюры и листки для рабочих и крестьян.

ЛАХТИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ

Знаменитая Лахтинская типография была поставлена Ергиным, Александром Александровичем, еще в 1893 г. в Петербурге, на Васильевском острове, 11-я линия, в квартире Федора Ергина, при помощи А. Ю. Фейта и Долинина, предоставивших ей принадлежности. В этот период своего существования она выпустила, повидимому, всего два или три листка, которыми группа партии «Народная воля» извещала о своем существовании и о своем решении продолжать настойчиво борьбу с царизмом, начатую партией «Народная воля» в конце 70-х годов. Вскоре Федор Ергин, смалодушничав, отказался от роли хозяина квартиры типографии. Вследствие этого ее временно ликвидировали.

Типография была приспособлена для более широкой деятельности и стала по-настоящему работать лишь после то-

го, как перешла в руки нашей рабочей группы Приютова. Вторыми после Приютова по организации типографии надо считать безусловно Григория Тулупова и Николая Белова Это были товарищи, не умевшие говорить на собраниях, но необыкновенно хорошие организаторы. Мало высказываясь, они много делали. Необыкновенно преданные делу революции, они, не задумываясь, пошли бы на самое опасное дело, где нужно было пожертвовать жизнью.

Осмотрев типографский станок, на котором до сих пор народовольцы-интеллигенты печатали прокламации и который с большим трудом был получен из-за границы, Г. Тулупов его забраковал и предложил сделать новый из железа, более приспособленный для большой работы и переноски. Чтобы придать типографии легальный вид, чтобы отвлечь подозрение полиции, он предложил открыть слесарно-портняжную мастерскую.

С этой целью была снята квартира на набережной Крюкова канала, д. № 4 23, кв. № 20, братьями Тулуповыми. Дворник, пришедший посмотреть, как живут новые жильцы, увидел, что в передней комнате Гриша на привернутых к верстаку тисках чинит замки и что другой брат, Миша, сидя на столе по-портновски, подогнув под себя ноги, усиленно работает иголкой. Время-от-времени какие-то люди приходили к братьям и уходили.

— Заказчики, — об'яснил М. Тулупов дворнику.

Дворник, получивший на-чай, был далек от подозрения, что в квартире новых жильцов затевали что-нибудь недоброе. Слыша часто удары молота по железу и визг напильника, он ограничивался тем, что говорил М. Тулупову:

— Скажите брату-то, пущай не очень-то стучит по утрам, когда господа еще спят.

Удары молота и визг от напильника слышались потому, что Гриша торопился окончить новый типографский станок из железа. Старый был изготовлен из стекла и дерева. Работая день и ночь без надлежащего инструмента, проявляя много усердия и изобретательности, Гриша очень быстро соорудил тот типографский станок, на котором было за короткое сравнительно время отпечатано очень большое для нелегальной типографии количество брошюр и листовок. Наборная касса, шрифт, разбиравшийся и складывавшийся типографский станок, — все легко укладывалось в ящик комода. При малейшей тревоге комната принимала самый невинный вид. Приходивший время-от-времени к братьям дворник всегда замечал, что Миша усиленно кроит и шьет, а Гриша стучит молотком, пилит напильником и лу-

дит, и, получив на-чай, при виде приходивших заказчиков уходил, думая: «Здорово наши ребята работают, молодцы».

Метранпажем и наборщиком являлся Николай Белов. Днем он работал в какой-то большой типографии, из которой каждый вечер приносил полные карманы шрифта. Вся техника типографии лежала на нем. Под его главным и непосредственным руководством Гриша, Миша, Настя, приехавшая с юга сестра Приютова, и, наконец, «Крупа»—тов. С. С., завербованный братьями Тулуповыми, все учились набирать шрифт. Доставлять шрифт из типографии нужно было с большой осторожностью. Помимо того, что метранпажи и хозяева типографии очень следили, чтобы шрифт не воровали, заподозренный или замеченный в хранении шрифта мог провалить все дело.

Работа в подпольных типографиях тяжела. Ее работник, кто бы он ни был, обречен на полный отказ от заманчивой жизни, протекающей за порогом типографии. Чем реже он встречается с товарищами, тем больше уверенности, что типография не провалится. Постоянная необходимость в течение долгих месяцев находиться в двух низких, душных комнатах, невозможность иметь общение с миром, что за пределами их, постоянное однообразие типографской работы, вдыхание свинцовой пыли, — все это делает из работника подпольной типографии своего рода отшельника, мученика и героя. Выйти даже вечером, когда на улицах темно, пойти в театр, — все это рискованно. Работник подпольной типографии, подвергаясь постоянной опасности ареста, ведя самую суровую отшельническую жизнь, лишен тех радостей, тех красочных сторон, которыми бывает временами полна жизнь революционера-агитатора или пропагандиста. Как ни были мужественны наши товарищи, но они с трудом выносили новую затворническую жизнь. Более стойкими оказались: Николай Белов («Коля Белый») и Григорий Тулупов. От них нельзя было услышать ни одной жалобы. Более всех ослабел было и заскучал, как говорил мне неоднократно В. П. Приютов, о внешнем мире тов. С., «Тяжелая артиллерия» *, прозванный так тем же Приютовым. Тов. С. только-что окончил военную службу, где был, кажется, писарем. Однажды он заявил Приютову:

— Я не могу больше оставаться: пошлите куда угодно, только освободите на время от работы в типографии.

Приютов, призвав меня, предложил мне устроить С. на

* Приютов прозвал Колю Черного «Тяжелой артиллерией», «Кислой шерстью» и «Крупой» за то, что последний очень медленно втягивался, по его мнению, в революционную работу, производя ошибочное впечатление даже тяготившегося ею.

заводе. В виду заявления «Тяжелой артиллерии», что он за время военной службы совершенно забыл слесарное ремесло, которое и знал-то плохо, но так как в то же время он был молод и здоров, я пришел к мысли поместить его через старшего Матрехина молотобойцем в большой кузнице. Мастер кузнечной мастерской, немец Браун, принимал молотобойцев только через его посредство. Так как Матрехин, любивший выпить, отказал мне на первую мою просьбу, пришлось принести ему два полуштофа водки. При виде двух бутылей, которые я поставил в угол в его каморке, Матрехин смягчился и сказал:

— Ну, пусть твой приятель приходит завтра.

В это время я снимал подвальную комнату у одного рабочего на набережной реки Таракановки. Теперь эта речка, название которой говорит, что ее мог перешагнуть таракан, уже засыпана, и на ее месте образовалась довольно широкая Таракановская улица. Эта набережная находилась в центре рабочего квартала. Напротив, за Обводным каналом, с 6 ч. до 8 ч. вечера горела огнями и гудела Митрофаньевская ткацкая фабрика, теперь уже не существующая, за ней начиналась огромная Российско-американская резиновая фабрика, на большом пространстве отравлявшая всю округу удушливым запахом жженой резины. Дальше шли еще разные фабрики и заводы и, наконец, за Екатерингофским парком, на Вольном острове, находилась ткацкая фабрика Воронина и костеобжигательный завод искусственного удобрения. Большое число барж с костями, с загнившим на них мясом, и заводские печи, обжигавшие кости, издавали настолько невыносимую вонь, что я не мог гулять в Екатерингофском парке, я задыхался и никак не мог понять, как рабочие Воронина и других фабрик выносят этот смрад.

Так как работа на заводе утром начиналась рано, чтобы не опоздать, С. пришел ночевать ко мне в подвал.

В утренние и вечерние часы набережные Обводного канала были покрыты толпами рабочих. Ночлег у меня в душном и сыром подвале, раннее вставание — в 5 часов утра, серо-зеленые лица проходивших мимо ткачей, сгорбленные фигуры металлистов, лица, выражавшие покорность судьбе, торопливость, с которой рабочие бежали, боясь опоздать на работу, — все это произвело тяжелое впечатление на С., тяготившегося, по словам В. П. Приютова, после военной службы положением рабочего и мечтавшего о конторских занятиях*. Задумчивый вошел он в кузницу и

* С. действительно 30 июля 1896 г. нашел место конторщика в бухгалтерии Петербургского порта (дело Лахтинской типографии).

подошел к горну, к которому его подвел Матрехин. Последний гудок еще не свистел, но молотобойцы наваливали уже на горны смоченный водой каменный уголь, делали так называемые «печи». Как только завертелись трансмиссии и задул вентилятор, горны загорелись, и вся огромная кузница наполнилась едким, густым дымом. Начал вскоре бить и паровой молот, от ударов которого сотрясалась земля. От каждой наковальни, от раскаленного добела железа посыпались искры. Молотобойцы сгибались и разгибались, нанося огромными молотами мощные удары по раскаленному железу.

— Бей лучше, мать честная, дубина ты стоеросовая! — послышались крики Матрехина, ибо выяснилось, что С. владеть молотом разучился.

— Не держи молот за горло! Ишь, морда толстая, совсем молотом бить не умеет. Я тебе покажу кузькину мать...

Чтобы не смущать С., я ушел. Когда я пришел навестить С. через три часа, он был покрыт сажей и мокрый от пота. От усталости у него дрожали руки и ноги, и на ладонях появились водяные нарывы.

— Как ты выносишь такую жизнь? — спросил он меня, показывая ладони, растертые до крови.

— Эй, ворона, не зевай, — крикнул на него в это время кузнец, державший в клещах сверкавший искрами кусок металла.

— Бей по железу, а не по наковальне!

Проработав до обеда, С., не сказав мне ни слова, сбежал с завода. Он умирал от усталости. У него подгибались колени и ныли руки и спина.

— Где же твой товарищ? — спросил меня прибежавший к моему станку рассвирепевший Матрехин.

— Как это ты, чтобы тебе чорт приснился, выпрашиваешь на работу лодырей, которые и молотом бить не умеют и на работу не являются?

— Разве он не пришел? — спросил я.

— Конечно нет, лопни твоя утроба! — кричал Матрехин.

— Ну, ладно, Матрехин, не кричи, я тебе сегодня вечером полштоф поставлю.

Матрехин любил выпить, и это его усмирило. Отправившись к Приютову, С. рассказывал, что он пришел в ужас от того, что видел и испытал в кузнечной мастерской. Вернувшись в подпольную типографию, он больше не ворчал и молчаливо исполнял все работы.

Я лично сравнительно редко бывал в типографии, потому что был оставлен для работы среди рабочих. Я встречался только с Приютовым. Лишь изредка, когда в этом чувство-

валась острая нужда, приходил помогать нашим затворщикам. Впрочем иногда я был принужден работать в типографии ежедневно. Дворник при виде товарищей, приходивших нагруженными бумагой и уходивших с отпечатанной литературой под видом заказчиков, делал заключение: «Здорово работают ребята, зашибают деньгу».

Иногда я по целым часам бродил по противоположной стороне Звенигородской улицы, где жил Приютов и где находился склад бумаги и отпечатанных брошюр, наблюдая по поручению Приютова, как входили и уходили товарищи, приносившие бумагу и уносившие брошюры.

Однажды, когда я прогуливался, посматривая, что делается кругом и нет ли какой опасности для приходивших и уходивших товарищей, а в связи с этим для нашей типографии, живший на углу этой улицы молодой полковник гвардейского полка усаживался с женой в санки. Красивый экипаж, откормленные лошади, толстый кучер, хорошо одетая, выхоленная молодая, красивая барыня, жена полковника, — все говорило, что он и она принадлежат к числу очень богатых людей. Их счастливый, беспечный смех, здоровый вид бросились мне в глаза. Невольно закипела злоба. Я вспомнил отца, которому такой же полковник переломал ребра, мать, молодость которой прошла в ухаживании за такими барынями, и мою полную лишений, тяжелую жизнь и не мог удержаться, чтобы не бросить на счастливую парочку взгляд, полный самой мрачной ненависти. Под взором, который был необычен со стороны молодого рабочего, но который не предвещал ничего доброго, мгновенно оборвался счастливый смех молодой женщины; с выражением ужаса она прижалась к своему мужу, как бы невольно ища у него защиты от грозившей ей опасности; муж, растерявшись, повторял:

— Не бойся, не бойся!

Поняв, что я напрасно дал волю нахлынувшему на меня чувству, я, воспользовавшись замешательством полковника, юркнул в первый проходной двор и скрылся прежде, чем он мог притти в себя и позвать полицию.

Прежде, чем войти в типографию, если это было в часы церковных служб, мы временами заходили в соседнюю церковь. Туда же в эти часы приходили Гриша или Миша. Узнав от них, что никакой опасности нет, мы шли смело в типографию.

— Что, богу молились? — спросил раз дворник, заметив Гришу и Мишу выходившими из церкви. — Хорошее дело-с! Вы люди богомольные, трезвые, работящие. Только вот одно, больно рано начинаете молотом стучать и допоздна

утюгами шарпаете. Кабы маненько потише, а то господа-жильцы из соседнего жалуются. Днем хоть на голове ходи, а ночью-то и самим надо отдохнуть и другим покой дать. Всех денег все равно не заработаете.

Приняв во внимание заявление дворника, мы старались с этого времени работать преимущественно днем, производя как можно меньше шума. В виду того, что слежки не наблюдалось, решено было остаться на старой квартире, на Крюковом канале. Здесь типография развернула свою работу. Были напечатаны брошюры: «Царь Голод», «Что должен знать и помнить каждый рабочий», «Ткачи» Гауптмана, «Иван Гвоздь», «О штрафах» Ленина и другие.

Здесь работали: Григорий и Михаил Тулуповы, Приютов, его сестра Настасья Петровна Приютова, Николай Белов, С., Василий Купцов. Во время особенно спешной работы приходили помогать: Косолобов Александр и я. Квартиру убирала — мыла полы и т. д. — сестра Тулуповых, Аграфена Ефимовна. После ареста Александра Ергина в этой квартире жил затворником интеллигент-народоволец Федулов. Женатый на дочери миллионера, владельца шахт, он приехал сюда из Донбасса. По внешнему виду он очень походил на барина — одевался в черный сюртук и по старой студенческой привычке частенько носил плед. Это был настоящий интеллигент-народоволец, упорно отстаивавший старые народнические позиции. Он исполнял обязанности редактора и корректора. Сюда заглядывала «Любочка» — Любовь Владимировна Ергина, Катанская, Екатерина Иогансон и другие. Мартов в своей книге «Записки социал-демократа» упоминает Федулова, как одного из самых выдающихся представителей русской социалистической интеллигенции. Высокого роста, обрамленный большой бородой, задумчивый, с темными кругами под глазами он поражал своей эрудицией, многогранностью своей психики, тонкостью суждений и большим умом, но в нем чувствовалось что-то надломленное. С рабочим лицом к лицу, в обыденной жизни он, очевидно, столкнулся лишь в первый раз в жизни. Мне казалось, что он сошелся далеко не со всеми из них. Его недолюбливал М. Тулупов и С. Побеждающую марксистскую идеологию он ставил на ряду с концом героического периода русской революции. В общем к рабочим он только-что присматривался и говорил, что в случае победы революции партия «Народная воля» начала бы с того, чтобы устроить рабочим хорошие бесплатные бани. Некоторые суждения его были нам непонятны. Так, когда я по обычаю резко выступал против религии, говоря словами К. Маркса, что религия — опиум для народа, он задумчиво говорил:

«Но религия по сути дела есть прекраснейшая мечта человечества!»

На его задумчивое тонкое лицо часто набегала, как облачко, тоска. Может быть его тяготила работа в типографии, может быть его тянуло к жене в Харьков или Екатеринослав, откуда, по словам Приютова, Е. А. Иогансон с большим трудом вытянула его в Петербург. Может быть уже тогда у него начиналась душевная болезнь — мания преследования, которой он позднее страдал. Другого теоретика народовольцев, Белевского, я никогда не встречал.

Уйти с завода, бросить старые надоевшие стены, брюзгливого мастера, перейти на другой завод, о чем мечтали все молодые рабочие, очень трудно, особенно в первый раз. Это все равно, как мне казалось, если бы я решился перейти широкое и глубокое озеро и по первому тонкому и гнувшемуся под ногами с характерным треском льду. Между тем для того, чтобы избавиться от унижений, всяких придирок, для того, чтобы сохранить свое человеческое достоинство, наконец, для того, чтобы освежиться, набраться новых впечатлений, выковать в себе волю, энергию, не позволить себя оскорблять, необходимо было в те времена при самодержавии и капитализме, угнетавших рабочих, перейти Рубикон, бросить завод. Мне это было необходимо и потому, что этого требовали интересы революции. На Варшавке, где я был слишком на виду как свободомыслящий рабочий, мне оставаться было уже неудобно, особенно когда я оказался связан с подпольной организацией «Народной воли». Приютов говорил, что было бы желательно, если бы я ушел на другой завод. Однако мне очень трудно было заявить расчет. Дома я встретил очень сильное сопротивление моей матери. Мое желание уйти с завода она рассматривала, как роковой, безумный шаг, который поставит в безвыходное положение всю нашу семью.

— Не уходи с Варшавки, я заклинаю тебя всем святым. Возьми пример с твоего отца Сидора Семеновича. Он как начал служить сторожем, так и служил до самой смерти. А ты что делаешь? Подумай обо мне, о твоих братьях, сестре.

Будущее представлялось мне самому в самых мрачных красках, когда я решился на этот шаг. Я видел себя, мать, сестру, двух младших братьев без крова и голодающими. Немудрено, что мне казалось, что к моим ногам привешены пудовые гири, когда я шел к конторке мастера. Тем не менее, преодолев все, я переступил порог и, не снимая шапки, заявил: «Дайте мне расчет, я буду отживать две недели».

Уйдя с Варшавки, из главных мастерских Варшавской ж. д., я довольно долго оставался без работы. Процедура

поисков последней носила очень унизительный и тяжелый характер. Вместе с толпой безработных нужно было осаждать ворота завода.

— Господин мастер, — обращались рабочие, сняв шапки, просительным и часто униженным тоном к быстро проходившему с гордым и презрительным видом тому или иному мастеру, — возьмите токаря! Не нужно ли слесаря?

Но время стояло очень глухое, и редкий счастливец поступал на работу. Большинство же без работы, без денег, без надежд на лучшее будущее, уныло склонив голову, направлялось домой. Вставая ежедневно в 5—6 часов утра, я возвращался к себе, ничего не найдя. Я начинал уже раскаиваться, что ушел с Варшавки, но об обратном приеме туда нечего было и думать. Последнее время я не только не допускал сбавки расценок, но требовал даже повышения их. Перед уходом настолько повздорил с Небелем и с помощником Витковским, что они не скрыли своей радости, когда я заявил о расчете.

Свободное время, которое у меня оставалось, я старался использовать для чтения революционной и легальной литературы, полученной от народовольцев. Очень сильное впечатление произвела на меня первая нелегальная брошюра, которую я прочел: «Хитрая механика». Очень понятное и умелое об'яснение косвенных налогов, посредством которых обираются правительством крестьяне, удачные иллюстрации, представляющие царя, генералов и министров в виде главных грабителей, а царицу в виде проститутки с короной на голове, — все это произвело на меня необыкновенно сильное впечатление. Накануне только я посетил картинную галлерею, но произведения Ван-Дика, Рембрандта, Рубенса и других художников бледнели перед тем впечатлением, которое произвели на меня довольно грубо изготовленные картинки из «Хитрой механики». Как только мать уходила из подвала, я открывал мой шкапчик и впивался глазами в смелый рисунок. Смотрел на него часами и не мог насмотреться. Особенно импонировало, что автор не боялся изобразить царя в виде вора и этим сказать правду про человека, личность которого тогда для большинства считалась священной и которого попы учили почитать за бога на земле.

Читая «Подпольную Россию» Степняка, календарь «Народной воли», «Вестник Народной воли», «С родины на родину», я все более укреплялся в мысли, что единственное, что я могу сделать, это погибнуть после взрыва бомбы, брошенной моей рукой в какого-нибудь деспота. Но мне все менее начинала нравиться скромная роль, отводимая «На-

родной волей» рабочему классу. Главное внимание народовольцы обращали на крестьянство, считая его в то же время, как всякую толпу, косным. Герои-революционеры вербовались из «общества», которое давало средства, квартиры, скрывало от полиции революционеров.

ВСТРЕЧА С МАРКСИСТАМИ

Придя однажды к Приютову, который был знаком с интеллигентами-марксистами, я встретил у него одного из этих последних. Присутствуя при их споре, я невольно заинтересовался новой, неизвестной до тех пор мне социалистической теорией, которая на первое и главное место в истории будущего ставила рабочий класс. Приютов презрительно отзывался о социал-демократах, как о сухих материалистах, отодвигающих на очень, по его мнению, долгий срок низвержение главного врага народа — самодержавия. Я познакомился с этим интеллигентом и с этого времени помимо народнической стал читать также и марксистскую литературу. Приютов, заметив, что я заинтересовался марксистской теорией, сказал мне:

— Остерегайся социал-демократов*. Это узкие, сухие люди с ограниченным кругозором. Они откладывают дело свержения царизма в долгий ящик. Они, борясь за пятачок, ограничиваясь одними рабочими, игнорируя крестьянство и общество, суживают кроме того сферу своей деятельности. Сознавая, что их агитация не так опасна для правительства, как народовольческая, они невольно неконспиративны. Будучи знаком с ними, ты можешь легко захватить слежку.

— Зачем же ты позволяешь им приходить к тебе? — возразил я.

Интеллигент, с которым я познакомился у Приютова, был Иван Андреевич Шестопалов, студент лесного института. Он работал в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса».

— Я хотел бы разобраться, в чем разница между вами, социал-демократами, и нами, народовольцами, но только боюсь с вами встречаться; говорят, что вы мало обращаете внимания на конспирацию, — начал я, когда мы вышли от Приютова.

— Я к вам пришлю товарища, за которым нет никакой слежки, — ответил Иван Андреевич, — и который вам все раз'яснит и принесет литературу.

---

* Марксисты называли себя в 90-е годы социал-демократами.

С этого времени начались мои знакомства с марксистами. Ко мне в подвал приходил бледный, худой интеллигент Иван Митрофанович Евсенко, студент-лесник. Я получил от него брошюру Плеханова «Русский рабочий в революционном движении», «Речь коммунара Варлена», «Речь рабочего Петра Алексеева». Раз начавшаяся работа мысли искала выхода, не могла остановиться. Когда я был сторонником религии — все было ясно. «Что значило для меня печальное однообразие жизни на этой скучной земле по сравнению с вечной жизнью в садах рая»,— думал я тогда. Будучи религиозным, я искал не жизни, а смерти. Но сомнения в существовании бога, искания мысли привели меня к сознанию, что ни бога, ни чорта, ни ада, ни рая не существует. Жгучее чувство обиды, сознание того, что мы, рабочие — жертвы страшного обмана, вызвало у меня прилив отчаяния. Сделавшись народовольцем, по сути дела я искал тоже не жизни, а смерти. «Как прекрасна смерть», говорил я себе в это время словами поэта Шелли; смерть с бомбой в руках, смерть мстителя, как протест против обмана, против гнета. Будущий социалистический строй, о котором говорила программа «Народной воли», представлялся мне как нечто неясное, неоформленное, далекое... Я был молод, но я был измучен тяжелой, полной труда жизнью, и тот порыв, на который способна молодость, звал меня лишь к смерти. Вступив в партию «Народная воля», я был по-своему счастлив. Я ждал того момента, когда отомщу и умру.

Но как раньше сомнения в существовании бога, так теперь сомнения в непогрешимости, верности народовольческой догмы, снова выбили меня из колеи. Я хотел погибнуть, протестуя против обмана, жертвою которого являются рабочие, но в теоретических построениях партии «Народная воля» я почувствовал новый, не менее ужасный, но более тонкий обман. Сам Приютов соглашался, что во время великой Французской революции массы, которые поднялись, низвергли французский царизм и боролись за свободу, равенство, братство, были самым наглым образом обмануты, и обманутым оказался больше всего рабочий класс.

Как химия разлагает органическое и неорганическое вещество на их первоначальную сущность, на элементы, так и марксизм разложил понятия, выдвигаемые народовольцами — народ и крестьянство. Народ — это бог, на которого молились народовольцы, но в понятие народа входят различные классы. Народ состоит из богатых и бедных, из трудящихся пчел и ничего не делающих трутней, из помещиков, буржуазии, крестьян и рабочих. Народовольцы хотят заменить волей народа произвол царя. Но кто поручит-

ся, что воля народа не будет волей буржуазии и помещиков, как это случилось во Франции?

— Интересы рабочих и буржуазии противоположны, — говорят марксисты.

— Если вы хотите, чтобы не повторился тот же обман, который имел место во Франции, — как бы говорил марксизм рабочим, — создавайте партию рабочего класса и боритесь за интересы последнего.

Народ состоит из классов. Буржуазия и помещики стремятся поработить рабочих. Рабочий класс имеет целью освободиться от гнета буржуазии. Народовольцы пытались опираться на крестьянство, но марксизм указывает, что само крестьянство состоит из деревенской буржуазии, среднего крестьянства и сельского пролетариата.

— Ваши рабочие тонут в миллионном крестьянстве, — говорил Приютов.

Но экономическое развитие страны приводит к тому, что средняя и мелкая буржуазия пролетаризуется, класс пролетариев все увеличивается в числе и становится со временем самым многочисленным классом. Его партия, значит, есть партия большинства угнетенных.

Марксизм таким образом низвергал старого бога народовольцев — «народ» и понятие «крестьянство», как однородное целое. Самый вопрос об осуществимости социалистического строя, окутанный народовольческой туманной фразой, в об'яснении, даваемом марксистами, выступил в более ясных, отчетливых формах, как высшая стадия экономического процесса, на основах развития техники машинного производства.

В России развивается капитализм. Это прогрессивное явление. Железные дороги, телеграф, телефон, технические школы — все это идет вслед за ним. Он вызывает к жизни самый обездоленный из классов — класс пролетариев, который, все увеличиваясь в числе, сплачивается в борьбе с буржуазией. Он является могильщиком и буржуазии и всего старого общества, основанного на делении на классы. Все это выступает отчетливо и ясно по сравнению с туманной и неясной программой «Народной воли».

— Что же такое эта последняя? — являлся у меня вопрос.

— Это партия буржуазии, крупной или мелкой — все равно, которая, став у власти, начнет угнетать рабочих, — отвечал марксизм.

Если это так, значит это не та партия, которая нужна нам, рабочим. Хотя народовольцы отрицают религию и бога, хотя они имеют большие революционные заслуги, хотя они дали пример величайшего революционного героизма, но

все-таки не им суждено будет стать во главе восставшего рабочего класса и совершить победоносную революцию.

ВСТУПЛЕНИЕ В «СОЮЗ БОРЬБЫ»

— Знаешь, Василий Петрович, — сказал я однажды Приютову, — ты не обижайся, но мне кажется, что социал-демократы-марксисты более правы, чем народовольцы-народники. Марксисты называют народовольцев партией мелкой буржуазии. Если это так, мы, рабочие, совершим историческую ошибку, если признаем за ними право по руководству во время революции. Это в лучшем случае слепые вожди, которые заведут нас в болото. Только марксисты, раскрывая глаза рабочим, создавая рабочую социалистическую партию, направляют рабочих по широкой, прямой дороге в царство социализма.

— Те, которых ты только-что назвал партией мелкой буржуазии, каждый миг готовы на деле доказать свою преданность угнетенным рабочим. Они уже доказали это; история вписала их деяния золотыми буквами на мраморной доске: они уже пожертвовали свою жизнь, — ответил мне Приютов. — По-моему, твоих марксистов скорее можно назвать обманщиками. Они ставят на первый план борьбу за пятачок и отодвигают до бесконечности вопрос о низвержении самодержавия и на самое отдаленное будущее, которого ты никогда не дождешься, вопрос о самом социалистическом строе. Народовольцы, наоборот, полагают, что с их победой возможен в ближайшем будущем социалистический строй.

— Нет, — ответил я, — ты меня не переубедил. Идейно я становлюсь все более на сторону марксистов и буду вести среди рабочих пропаганду, излагать им идеи научного социализма, призывать их к борьбе с капиталистами.

При помощи Федорова мне удалось найти работу на заводе Семенова *. Переход на другой завод, как предсказывал Федоров, произвел на меня воспитывающее действие. Я стал смелее смотреть на жизнь. Презирая пьяниц, ненавидя кабаки и тех, которые спаивают народ, я при поступлении отказался поставить «привальное». Я шел напролом против всех предрассудков и вредных для рабочих обычаев. Поступая так, я был не понят отсталой массой. Окружающие меня рабочие, большие сторонники выпивки и старых порядков, начали меня «с'едать», т.-е. вести против меня

* Завод Семенова — теперь завод им. Макса Гельца

подпольную борьбу. Старый обычай рабочих говорил, что тот, кто не хотел ставить «привальное», должен быть изгнан с завода. В этой борьбе я оказался побежденным и принужден был уйти с завода Семенова, не найдя здесь ни одного сторонника социализма. Заставить меня уйти было легко, ибо я пришел на этот завод тонкой точной механики с железнодорожных мастерских, где токарная работа более груба и менее точна.

Косолобов, работавший в это время на заводе Франко-русского общества на реке Пряжке, у «Берда», как говорили рабочие, распропагандировал там двух токарей: Петра Виноградова и Михаила Паянена. При помощи финна Паянена я, бросив заводик точной механики Семенова, поступил на этот большой завод.

Завод инженера Семенова производил маленькие машины для изготовления папиросных гильз, завод же «Берда», наоборот, строил огромные броненосцы и крейсера и соответственно такие же мощные, огромные паровые машины для этих морских гигантов. Завод «Берда» являлся одним из самых старых механических заводов Петербурга. По преданию, жившему среди рабочих, он был основан еще будто при Петре I. Во время крепостного права рабочие здесь были крепостные. Если на других заводах сказывалось немецкое или финское влияние, то здесь, наоборот, чувствовался русский дух. Не питая симпатии к последнему и относясь отрицательно к великорусскому шовинизму, я любил повторять с поэтом: «Русский ум и русский дух зады твердит и лжет за двух». На этом заводе старый обычай ставить «привальное» господствовал во всей силе. Против ворот завода, на другой стороне речки Пряжки, по обеим сторонам улицы гостеприимно раскрывали свои двери два кабака. Несмотря на целый ряд сторожей, подвергавших рабочих при выходе грубому и унизительному обыску, заводские пьяницы прибегали ко всевозможным хитростям, чтобы выносить медные стружки. В день получки спившийся и опустившийся до «Вяземской лавры» токарь «Петух» приходил к заводу и, выпрашивая двугривенный на сороковку, униженно пел «кукуреку» и кричал:

— Бертовские, бертовские, не забудьте «Петуха», дайте «Петуху» на водку!

Находились рабочие, которые, давая ему двугривенный, говорили:

— А, «Петух», ну-ка попляши да спой!

— Кукуреку, кукуреку! — кричал «Петух», размахивая руками, тряся своим красно-сизым носом, принявшим такие яркие оттенки от многолетнего пристрастия к водке.

Отравленный алкоголем, с помутившимися глазами, с отекшим лицом, с сине-багровым носом, одетый в лохмотья, бывший токарь «Петух» наводил на горькие мысли. Он как бы олицетворял собою безнадежное мрачное будущее, которое ждет каждого рабочего, когда капитал, высосав из него все силы, выбрасывает его, как негодную вещь на улицу.

Старые бердовские паровые машины русского производства гремели и стучали так же сильно, как и на Варшавке. Токарные станки похожи были на старые изъезженные телеги. Как только я сдал пробу, ко мне подошли старики и задали обычный вопрос:

— Когда же?

Как и у Семенова, я гордо отказался следовать обычаю ставить «привальное».

— Ну, хорошо же, вспомнишь ты нас! — грозили мне заводские глоты.

Но на этом заводе я не особенно боялся их. У меня были друзья: Паянен, Виноградов и Косолобов.

К этому времени я прочел «Эрфуртскую программу» К. Каутского и его же «Краткое популярное изложение теории Маркса». Я успел прочесть «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса. Все более убеждаясь, что революционный марксизм является тем учением, которое не только об'ясняет мир, давая рабочим понимание исторических законов развития человеческого общества, но и самым отточенным против буржуазии оружием, с помощью которого рабочий класс освободит не только самого себя от оков нищеты и рабства, но и все страдающее человечество, я заявил, наконец, В. П. Приютову:

— Я пришел сказать, что я разочаровался в «Народной воле» и что я перехожу в «Союз борьбы».

— Хорошо, — заметил холодно Приютов, — но я не советую тебе совсем разрывать с нами. Группа «Народной воли» вошла как раз в соглашение с «Союзом борьбы», и в нашей типографии мы начнем печатать брошюры по заказу «Союза борьбы», и вообще народовольцы, отказавшись от террора, обратив большое внимание на работу среди рабочих, сдают свои позиции и приближаются к марксизму.

В таком же духе высказывался и интеллигент Федулов. Признавая, что марксизм одерживает одну победу за другой на легальной почве, он, вздыхая, говорил:

— С отказом от террора и переходом на работу среди масс заканчивается героический период русской революции.

Перейдя окончательно на точку зрения социал-демократов и вступив в 1895 г. в «Союз борьбы», я не порывал связей с народовольческой типографией, ибо Приютов и вся груп-

па «Народной воли» под влиянием, очевидно, успехов легального марксизма, роста стачек в России и рабочего движения в Западной Европе, казалось, все более шла навстречу социал-демократам-марксистам.

На Франко-русском заводе заканчивались в это время постройки новых огромных машин для броненосца «Севастополь», который только-что был спущен в воду. Сдельные работы прекратились, работали поденно; рабочие, недовольные сокращением заработка, послали делегата к помощнику директора с просьбой удлинить рабочий день, назначив сверхурочные часы до 9 часов вечера. Чтобы немного больше заработать, рабочие таким образом сами добровольно удлинили рабочий день. По этому поводу наш кружок, куда входили А. Косолобов, П. Виноградов, И. И. Дрожжин, М. Паянен, обсудил вопрос о выпуске прокламации. «Союз борьбы» составил и напечатал нам листовку о значении короткого рабочего дня с другими экономическими требованиями.

В стране, где не было политической свободы, посредством листовок, об'яснявших классовые интересы рабочих и указывавших, что рабочим нужно требовать в данный момент, «Союз борьбы» нашел путь к широким массам рабочих. Листки раз'ясняли, что интересы рабочих противоположны интересам хозяев, что рабочим необходимо требовать короткого рабочего дня и высокой заработной платы, что им необходимо об'единиться в союзы и т. д. Когда рабочие приходили на работу, они находили на своих машинах, верстаках и т. д. положенные неизвестно кем эти листки. Подобные прокламации мы распространяли и на броненосце «Севастополь», где котельщики заканчивали клепку водонепроницаемых перегородок и где слесаря устанавливали фундамент для больших машин.

Разбрасывать листки было не так легко, как может показаться. Завод часто открывался лишь минут за 15—25 до начала работ. За это время, обманывая бдительность сторожей и заводских шпионов, нужно было обежать все мастерские, раскладывая и разбрасывая эти листки. Распространяли прокламации очень ловко и Петр Виноградов и Михаил Паянен. Но П. Виноградов после появления прокламаций на «Севастополе», где находилась и военная команда, был немедленно рассчитан с завода. Начальство перепугалось, что листки могут найти дорогу к матросам военного флота.

Михаил Паянен был финн, родился в Петербурге. Он долго находился под влиянием буржуазной младо-финской партии. Он противопоставлял умеренность финнов радикализму

русских и считал последний особенностью русских, чем-то присущим их характеру.

— Вы, — говорил он, — своею синицей хотите зажечь море и одним ударом сбросить бога с неба и царя с капиталистами на земле. Так нельзя; нужно понемногу, по кусочкам завоевывать свободу. Вы, русские,— жадный народ. Вы захватили чуть не пол-земного шар и задыхаетесь от нищеты и в данном случае вы ставите себе непосильные задачи...

В агитации листками на почве экономических требований он увидел практический подход к рабочим и мало-помалу втянулся в нашу работу.

Сделавшись марксистом, он распропагандировал и своего старика-отца, который работал на этом же заводе и который перебрался в Петербург из г. Сердоболя еще при Николае I во время большого голода в Финляндии. И сын и старик оказывали нам большие услуги.

Сам Михаил Паянен уже после моего ареста погиб каким-то странным образом за ст. Белоостров на финской территории. Его нашли раздавленным поездом. Некоторые товарищи допускали мысль, что его во время хода поезда столкнул с площадки вагона его дядя, который был весьма неравнодушен к жене Михаила — очень красивой финке. Дядя этот действительно женился вскоре на этой финке.

Заводом «Берда» управлял директор-француз, носивший пенснэ, цилиндр и обладавший огромным животом, толстой красной физиономией и шеей и большим крючковатым носом. Таких толстых французов я потом, когда судьба меня забросила во Францию, никогда там не встречал. Очевидно, он от'елся на вольных русских хлебах и на эксплоатации покорных русских рабочих. Он очень любил почет, и рабочие при встрече с ним предупредительно и часто даже подобострастно снимали шапки и кланялись. Я избегал встречи с ним, но иногда, выходя с толпой рабочих завода, нечаянно натыкался на него. При виде его толстого брюха и красного здоровенного лица я не только не снимал шапки, но в моих глазах, против моей воли, когда я глядел на него, вспыхивал мрачный огонь ненависти. У меня являлась безумная мысль схватить его за горло, свалить на землю и топтать ногами толстый живот.

Еще в то время от котельщиков, которые были очень недовольны сильным понижением расценок, я слышал, что на многих русских военных судах водонепроницаемые перегородки из-за низких расценок заклепаны так плохо, что в случае, если снаряд пробьет внешнюю стенку, судно должно потонуть. Примером такой плохой работы как бы служил

броненосец «Гангут», который не выдержал даже учебной стрельбы и затонул где-то у берегов Финляндии.

После того, как на броненосце «Севастополь», несмотря на всю охрану, появился наш последний листок, в котором было и политическое требование — свержение самодержавия,— начальство завода окончательно всполошилось.

— Никогда еще нога изменника не вступала на борт русского военного судна, — говорил на другой день морской офицер, — а теперь кто-то разбрасывает на корабле его величества эти листки.

Помощник старшего мастера, добродушный немец Карл Иванович, получив выговор, что он набирает таких рабочих, после поступления которых на завод появляются прокламации, сообщил по секрету старику Паянену, что «лучше этому Шаповалову уйти по-добру, по-здорову с завода». Оба Паянена посоветовали мне покинуть завод. Тот же Карл Иванович дал мне рекомендательное письмо к своему приятелю-шведу, мастеру на заводе Лесснера.

Переход на этот завод сделал мою жизнь еще более суровой и тяжелой. Завод находился на Выборгской стороне, у Сампсониевского моста. Я жил на углу Забалканского проспекта и Обводного канала. Чтобы попасть на Выборгскую сторону, надо было до 6 часов утра перейти через Неву, по Литейному мосту, который для прохода судов разводился от 6 час. до 7 час. утра. Так как конка начинала движение с 8 утра, я, как и другие рабочие, лишен был возможности пользоваться этого рода транспортом и должен был отправляться на завод пешком. Я вынужден был вставать ежедневно в 4 часа утра, чтобы успеть пройти все огромное расстояние, отделявшее меня от завода, и еще до 6 часов утра перейти Литейный мост. Возвращался на конке в 9 часов вечера. Едва поужинав, я снова спешно уходил по революционным делам. Домой возвращался обыкновенно очень поздно. Едва успевал заснуть, как должен был снова вскакивать, торопливо одеваться, пить чай и снова бежать на работу во всякую погоду.

Каждому рабочему известны те чувства, когда, оторвавшись от сна, ранним утром в сыром холодном сумраке через спящий еще город он спешит пешком на работу. Пусто все кругом. Тихо. Постоянный шум большого города замолкает в этот час. Все спят. Только городовые, как верные псы богатых, стоят на своих постах, охраняя их покой. Старая, злобная ненависть поднималась во мне, когда я проходил через спящий город, когда, потный и усталый, приближался к Неве, вдоль которой тянулись дворцы богачей и князей, когда вглядывался в Петропавловскую крепость,

темным пятном простиравшуюся на противоположной стороне Невы, где, я знал, томились борцы за свободу. Сознание несправедливости, царящей кругом, особенно остро чувствовалось, когда в эти ранние часы мне встречались или меня перегоняли компании ночных кутил, возвращавшихся в экипажах из ночных ресторанов. В то время как я погибал за тяжелым трудом, когда изнемогал от постоянной усталости, они, молодые, здоровые, женщины и мужчины, превращали жизнь в сплошной праздник.

Хотя во мне и горела злобная, непримиримая, жгучая ненависть к богачам и попам, но мне в то же время светила звезда надежды. Благодаря знакомству с теорией марксизма я был убежден, что настанет день, когда поднявшийся «мститель суровый» — рабочий класс — положит конец глумлению капиталистов над рабочими.

Перейдя через Неву на Выборгскую сторону, я в ожидании, когда загудит свисток у Лесснера, обыкновенно засыпал на какой-нибудь скамейке.

— Эй, ты, вставай! — часто кричал мне проходивший городовой, тряся меня за плечи.— Здесь нельзя спать.

Возвращался я с завода уже на конке, которая оканчивала движение в 11 часов вечера. Поужинав, направлялся по революционным делам. Домой приходил в час и в два ночи, а через два часа должен был вставать, чтобы бежать на работу. Так проходила моя жизнь. Она не казалась мне тяжелой и суровой, наоборот, заманчивой и интересной. Сознание, что я работаю над созданием кружков из рабочих для великой грядущей революции, поднимало меня и помогало переживать все тяжести жизни.

Собрания наших кружков не носили современного характера с парламентскими приемами, выбором председателя, выработанным порядком дня. О выборе председателя собрания и т. д. мы в это время еще и понятия не имели.

Мое пребывание на заводе Лесснера осталось довольнотаки безрезультатным. Рабочие в подавляющем большинстве финны, находившиеся под влиянием финской шовинистической партии, ненавидели все русское. Бросалось в глаза, что на заводе не было места таким кражам, как на других заводах, где работали русские рабочие. Сплоченность финских рабочих и их взаимное доверие было большое. Они не воровали друг у друга резцов, молотков, сверл и т. д., инструмент здесь даже не запирался. Как только я входил на завод, я чувствовал себя как бы перенесенным в Финляндию. Всюду слышалась финская речь, царили финские нравы. Если финны, пропитанные до мозга костей шведской культурой, не любили русских, то последние так-

же не очень любили работать на этом заводе, где среди этих положительных и суровых с виду людей их вз'ерошенные и растерянные фигуры производили несколько смешное впечатление.

Встав утром, почти каждый рабочий-финн в стакан черного крепкого кофе-мокко наливал русской водки, которую финны очень любили. Так как курение на заводе запрещалось, финн, с'ев утром на заводе свой хлеб с маслом, закладывал за обе щеки большие порции русского обыкновенного нюхательного табака и, не отходя от станка, упорно работал до самого обеда. Старший мастер, швед, и его помощник внимательно следили за немногими русскими, к которым принадлежали главным образом рабочие невысокой квалификации — чернорабочие, сверловщики и болторезы, которые, несмотря на все запрещения, все-таки ухитрялись курить в мастерской, хотя бы под станком. Старший мастер, обладавший очень хорошим обонянием, издалека чувствовал, откуда несет запахом махорки и, накрыв кого-нибудь из русских, изрыгал на него поток матерной ругани и беспощадно штрафовал. Если случались кражи, первым делом искали виновников среди русских рабочих. Несмотря на листок, который я здесь распространял, моя агитация не имела успеха.

Мое знакомство с членами «Союза борьбы» продолжало расширяться. Кроме двух интеллигентов, фамилии и прозвища которых я позабыл, я познакомился с тт. Гофманом * и Сильвиным. По желанию последнего, Косолобов, Купцов, Виноградов, Паянен и Дрожжин в моей маленькой комнате на Дворянской улице ** Петербургской стороны, где я жил в это время, присутствовали на раз'яснениях, которые давал Михаил Александрович Сильвин по вопросу интересовавших нас разногласий между марксистами и народовольцами. После краткой речи т. Сильвина и небольшого обмена мыслями все присутствовавшие подтвердили, что они идейно порывают с народовольчеством и становятся на точку зрения «Союза борьбы». Из рабочих, примыкавших к «Союзу борьбы», в это время я был знаком с тт. Желябиной и Антушевским. Последние оба меня знали под фамилией Шапувал.

Мое знакомство с марксистской литературой все расширялось. Я прочел «Манифест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, Волгина *** «Обоснование народничества» и Бельтова «К вопросу о развитии монистического

* Прозвище — «Иван Федорович».
** Ныне улица Дерезенской бедноты.
*** Волгин, как и Бельтов, псевдоним Г. В. Плеханова.

взгляда на историю». Последние две книги произвели огромное впечатление на ту часть интеллигенции, которая интересовалась политикой и рабочим движением. Влияние Н. Михайловского и других народников видимо ослабело. После появления этих книг и малоубедительных ответов Михайловского группа «Народной воли» круто повернула на сближение с марксистами.

От т. Антушевского я получил один номер марксистского журнала «Социал-демократ». Статьи Г. В. Плеханова по поводу произведений Г. И. Успенского имели на меня большое влияние. Приютов особенно рекомендовал Г. И. Успенского, но рассказы последнего служили только лишней иллюстрацией, доказывавшей то глубокое разложение русской общины, на которое ссылались марксисты. Произведения великого сатирика Салтыкова-Щедрина только еще больше развенчивали в моих глазах общество, на которое возлагал такие надежды т. Приютов и другие народовольцы. Его «Коняга», «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» и другие рассказы укрепляли в мысли о необходимости свержения самодержавия.

Хотя я редко виделся с Желябиной и Антушевским, но от них много слышал о таких рабочих, как Фишер, Бабушкин, Шелгунов, Полетаев, Фунтиков и другие. Предупрежденный Приютовым, что социал-демократы не конспиративны, я избегал частых встреч с ними. Антушевский также говорил об их интеллигенте (высокий блондин, т. Лепешинский), который бывал на их кружке *.

Хотя группа «Народной воли» и заключила соглашение с «Союзом борьбы», но некоторые ее члены, в особенности Приютов, в спорах со мной, как казалось, упорно не хотели расстаться с основными положениями народовольчества; с этой целью они цеплялись, как утопающие за соломинку, за первые попавшиеся доказательства. Так, мы однажды стояли в толпе народа, наполнявшего Невский проспект по случаю восшествия на престол Николая II. Мимо проехал целый ряд карет с царем и его дворцовой челядью. Сзади всех мчался градоначальник фон-Валь. Обернувшись с выражением страха и презрения, он бил кулаком прямо по лицу прицепившегося к его санкам молодого рабочего. Этот наивный рабочий, только-что кричавший царю «ура» и на-

* Упоминаемый здесь т. Лепешинский в 1895 г. не был еще социал-демократом, а примыкал к народовольцам. Арестованный 8 декабря 1895 г. по подозрению в принадлежности к группе с.-д. он самоопределился как марксист уже в тюрьме и примкнул к с.-д. при отправке его в Восточную Сибирь. (См. его воспоминания «На повороте»).

ходившийся в глупом телячьем восторге, что видел «батюшку-царя», очевидно, не понимал, почему этот генерал так усердно лупит его, разбивая лицо в кровь и выбивая зубы. От неожиданной и крутой расправы он оцепенел. Его лицо выражало полное недоумение. Он продолжал держаться за санки, и только подбежавшие городовые оторвали его и поволокли в участок.

— Ну, дадут ему там, — сказал Приютов, — будет помнить как ходить смотреть царя. Но каковы ваши хваленые рабочие! Вот и сделай из него социалиста! Он будет целовать руку, которая его бьет.

В действительности В. П. Приютов и другие рабочие народовольческой типографии переживали тогда сильные колебания. Их безусловно увлекал революционный марксизм, открывавший такие широкие перспективы для рабочего класса, но их в то же время отталкивали личные качества интеллигентов-марксистов того времени, с которыми им приходилось сталкиваться. Последние производили на них впечатление до известной степени отказывавшихся от прежних славных революционных традиций людей с известной долей узости и сухости, лишенных душевности.

Несмотря на это, В. П. Приютов и другие рабочие несомненно оказали положительное влияние на интеллигентов-народовольцев при так называемом повороте группы народовольцев Лахтинской типографии в 1896 г. в сторону революционного марксизма *

СТАЧКА ТКАЧЕЙ

Мои знакомые народовольцы частенько меня уверяли, что надежды марксистов, что русские рабочие в конце-концов начнут организованную борьбу по западно-европейскому образцу, тщетны и ни на чем не основаны. В подтверждение своих взглядов они указывали на отсталость, невежество и некультурность русских рабочих и на примеры вроде приведенного выше. Но они не понимали, что старая трава может только временно заглушить молодые, зеленые всходы, но помешать их росту она не в состоянии.

Как только началась весна 1896 г., я взял расчет с завода

---

* На самом деле уклон народовольцев в сторону марксизма носил окраску лавризма. Как Лавров, они в философии оставались идеалистами. При определении класса продолжали смешивать пролетария с мелким собственником. В своих работах они не ссылались на К. Маркса. Вообще их идеология страдала неустойчивостью, неопределенностью — от старого они не отстали и к новому не пристали.

Лесснера. Я чувствовал себя совершенно утомленным, измученным. Мне нужен был отдых. Я не высыпался. Глаза сделались красны, в ушах шум и в спине чувствовался холод. Но было не до отдыха. Листки, которые в громадном количестве «Союзом борьбы» были распространены и расклеены на большинстве заводов и фабрик Петербурга, делали свое дело. Вместе с весной стало замечаться пробуждение рабочих. Требования на листки шли отовсюду. «Связи»* у нас появились на многих заводах и фабриках. Уйдя с самого утра из дома по революционным делам, я лишь поздно вечером, часто глубокой ночью, возвращался домой.

Начавшиеся аресты показали, что большинство арестованных рабочих не выдерживало тюремного заключения и на втором, третьем допросе ослабевало и выдавало жандармам своих руководителей, которыми являлись преимущественно интеллигенты. Каждый рабочий, прежде чем вступить в кружок, переживал борьбу с самим собой. Старики, попы, начальство говорили, что социалисты злодеи, обманщики, даже подкупленные помещиками или «англичанкой, которая гадит».

Из прокламаций, брошюр, книг, особенно из личных впечатлений рабочий выносил от социалистов самое лучшее впечатление. Но, попав в тюрьму, в лапы к хитрому и ловкому жандарму, он часто не выдерживал. Желябина и Антушевский мне часто жаловались, что среди арестованных рабочих попадаются такие, которые не выдерживают тюрьмы и выдают. Конечно, и среди интеллигентов встречались люди слабые и предатели, каким был, например, зубной врач Михайлов. Это было время, когда в организации на десять интеллигентов приходился всего один рабочий. Рабочие, за исключением отдельных личностей, только начинали принимать участие в революционном движении, и они не успевали с той быстротой, какая была бы желательна, вырабатывать в себе те высокие моральные качества, которые уже приобрели целые поколения интеллигентов-революционеров и которые необходимы, чтобы выдерживать тюремное заключение и не дать себя обмануть на допросах жандармам.

Вследствие всего этого вербовка молодых рабочих, новых членов организации, представляла большие трудности и требовала большой осмотрительности. С таким молодым рабочим, который отличался не только умом, но был способен понимать и откликаться на страдания своих братьев рабочих, заводили знакомство, вступали с ним в дружбу, приобретали его доверие. Еще задолго до того, чтобы предло-

* «Связи» — знакомства с рабочими.

жить ему какую-нибудь нелегальную брошюру, снабжали его произведениями легальной литературы, как «Спартак» Джованиоли, «Жакерия» Проспера Мериме, «93-й год» В. Гюго, «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана, «Тяжелые времена» Диккенса, «Шаг за шагом» Омулевского, «Хроника села Смурина» Засодимского и т. д. Приобретать доверие в то время, особенно у рабочего, который привык к тому, что окружающие норовят его надуть, было чрезвычайно трудно. Почти каждому рабочему приходилось содержать мать, старика-отца или малолетних сестер и братьев, которые жили на его заработок. Вступить в революционную организацию, согласиться разбрасывать листки, это значило обречь себя на тюрьму, на Сибирь, а их на произвол судьбы, на голод. Организация в то время была так бедна, что едва хватало средств на выпуск листков. Поддерживать семьи арестованных рабочих из средств организации не было возможности. Только благодаря более или менее продолжительному личному влиянию и дружбе товарища, который знакомился с ним, который делился с ним последним из своего заработка, отдавал ему свои сапоги и пальто, если у него их не было, молодой рабочий вырабатывал у себя те высокие индивидуальные моральные черты, которые так присущи русским социалистам.

На каждого нового рабочего затрачивалось очень много труда и энергии, о которых не подозревали вожаки движения, к которым приводили нового товарища. Очень часто все эти труды не приводили ни к чему. В решительную минуту тот или иной рабочий отказывался вступить в организацию, распространять листки и вести агитацию. Очень часто причиной отказа являлась женитьба рабочего. Долго еще и позднее карьера рабочего-революционера заканчивалась женитьбой, как студента-революционера — окончанием курса. Пожилые, семейные рабочие только в очень редких случаях примыкали, и то позднее, к движению. Вообще наша партия была очень долгое время партией революционной молодежи. Все члены организации, интеллигенты и рабочие, должны были проявлять в это время лучшие черты коммуниста. Передовые рабочие вербовались преимущественно из металлистов. Последние в Петербурге представляли собой лучше всего оплачиваемую часть рабочих. Потребности у них были выше, чем у других рабочих, например, ткачей. Они были культурнее и по внешности, по костюму, отчасти, хотя очень немного, походили на западно-европейских рабочих. Каждый токарь или слесарь снимал квартиру или маленькую комнату. Это были рабочие предприятий, работавших на военные нужды и на государство. Но все-таки масса

металлистов была погружена в это время еще в довольно глубокий сон.

Совсем другую картину представляли рабочие текстильных фабрик, работавших большей частью не на государство, например, ткачи. Их положение было несравненно хуже, чем положение металлистов. На механических заводах рабочий день равнялся 10 часам, а на ткацко-прядильных фабриках он тянулся 13 и более часов. Текстильные фабрики начинали работать обыкновенно в 6 часов утра и заканчивали рабочий день в 8 часов вечера, с перерывом на обед в один час. Зарабатывали ткачи вдвое меньше металлистов. Жили они артелями в фабричных казармах или снимали так называемые «углы». Одежда их мало отличалась от крестьянской. Отличительной чертой их рабочего костюма являлся белый передник, который они одевали на фабрике поверх красной кумачевой рубахи. Только молодежь не подстригала волос в скобку и по праздникам носила пиджак. При выходе с фабрики они поражали своим нездоровым, серо-зеленым цветом лица. Может быть связь с деревней, которая у них была большей чем у металлистов, — они уезжали почти ежегодно на полевые работы — спасала их от окончательного вырождения.

В то время как мои знакомые народовольцы доказывали, что надежды марксистов на пробуждение рабочих масс к сознательной борьбе за свое освобождение тщетны, именно эта, на первый взгляд, такая отсталая, некультурная, забитая масса ткачей проснулась раньше, чем масса металлистов, и первая доказала стачкой летом 1896 г. в Петербурге, что в России возможно рабочее движение, подобное западно-европейскому.

Весной 1896 г. заговорили о готовящейся коронации царя Николая II в Москве. Жандармы принимали меры, чтобы перед коронацией ликвидировать и «Союз борьбы» и народовольческую типографию. Один из самых видных членов партии «Народная воля» А. А. Ергин был в 1895 г. арестован еще зимой. По словам Приютова, имелись признаки, что жандармы вообще напали на след типографии. Это известие, необычайно всех встревожившее, заставило искать выхода из создавшегося тяжелого положения. Было постановлено, что Приютов, Купцов и М. Тулупов уедут из Питера. Типографию на Крюковском канале в апреле 1896 г. спешно ликвидировали. Приютов просил меня и Косолобова принять участие в переводе типографии в безопасное место, пока не будет разыскана новая подходящая квартира. Было решено также, что Настя, сестра Приютова, поселится в типографии под видом прислуги.

В виду того, что с от'ездом Приютова все успокоилось, и слежки никто не замечал, была нанята в мае 1896 г. небольшая дача № 10 в дачной местности Лахта. Григорий Тулупов, Николай Белов, Белевский под видом дачников поселились на этой даче. Федулова, который тоже уехал, заменила Екатерина Александровна Иогансон.

Пробродив около месяца без работы, я получил ее при содействии знакомого М. Паянена, токаря-металлиста на С.-Петербургском металлическом заводе на Выборгской стороне *. Чтобы не возбуждать недовольства сторонников старых обычаев, я решил попробовать пойти на компромисс и на этот раз, когда заводские глоты спросили: «Когда же?» ответил: «Когда хотите», и отсчитал им два рубля на «привальное». Пропив в портерной мои деньги, глоты оставили меня в покое, и я всеми силами души отдался революционной работе.

Приближалась коронация. Царь уехал в Москву. Газеты были полны сообщениями о больших торжествах в Москве, об иллюминации Кремля, о торжественных приемах царя во дворце и о патриотическом настроении, охватившем население Москвы.

Но радостное настроение верноподданных было омрачено глухими слухами о страшной катастрофе на Ходынском поле: говорили, что погибло около 10 000 человек, которые были каким-то образом раздавлены толпой.

Рабочие, узнавшие, что погибло не менее пяти тысяч человек, прочитали также известие, что только-что короновавшийся царь в тот же вечер, когда еще корчились от мук раздавленные жертвы, танцовал на роскошном балу с фрейлинами в своем Кремлевском дворце.

Обращала на себя внимание речь на коронации харьковского архиепископа Амвросия. Этот служитель церкви с торжеством указывал царю, что, несмотря на все попытки внутренних врагов, русский народ остается попрежнему верен самодержавному царю.

Как бы в ответ на эту речь в Петербурге началась поразившая всех своей неожиданностью стачка 35 тысяч ткачей и прядильщиков. Радость царя и всех палачей народа была омрачена: на историческом горизонте показались тучи и ударил первый гром, предвестник будущей, еще отдаленной, но страшной грозы.

Такая дружная, организованная забастовка, необычная для России, непохожая на прежние бунты, являлась полной неожиданностью не только для правительства, жандармов, по-

---

* Ныне Ленинградский металлический завод втуз им. Сталина.

лиции, буржуазии, но и для «Союза борьбы», не говоря уже о группе «Народной воли». Хотя замечались признаки пробуждения сознательности рабочих, увеличивались требования на листки, на фабриках усиливалось недовольство, однако, никто не предполагал, что ткачи и прядильщики окажутся способными проявить такую выдержанность и стойкость, какие необходимы для проведения массовой стачки.

Знакомые мои прядильщики и ткачи уверяли, что у забастовщиков был свой подпольный стачечный совет * представителей от фабрик, который организовал и об'явил забастовку.

Очень тяжелыми условиями подпольной работы и очень малым количеством спропагандированных рабочих-текстильщиков, которые только начали входить в кружки «Союза борьбы», об'ясняется в значительной степени факт, что забастовка началась не по сигналу со стороны «Союза борьбы». Ткачи и прядильщики пользовались уроками, которые получали из многочисленных листовок, распространяемых на фабриках «Союзом». Влияние последнего на рабочих было так велико, что фактическое руководство стачкой вскоре перешло в его руки.

Эта необыкновенная для того времени стачка, поскольку она перепугала правительство и буржуазию, постольку же окрылила надеждой марксистов и всех революционеров вообще и даже либералов. Были мобилизованы все силы «Союза борьбы», были пущены в ход все подпольные гектографы и мимеографы.

Заявив на заводе, что я болен, и временно прекратив работу на нем, я, не обращая внимания на усталость и болезнь, посвятил все силы работе по проведению стачки. Я бегал по фабричным районам с утра до вечера. Нужно было собирать сведения о ходе забастовки, проводить собрания, поддерживать бодрое настроение забастовщиков, распространять по квартирам рабочих листовки и делать попытки снять те фабрики, которые продолжали работать. Дмитрий Федорович Федоров, Иван Игнатьевич Дрожжин, Петр Виноградов, Михаил Паянен, Александр Косолобов и другие приняли также в этой работе самое деятельное участие. Во время одного такого собрания я чуть было не был арестован.

Я с моим кружком обслуживал районы Обводного канала и Выборгскую сторону. Когда я пришел в казарму фабрики Чешера на Сампсониевском проспекте на Выборгской стороне, товарищи-прядильщики сейчас же принесли две бу-

---

* Ныне Ленинградский металлический завод-втуз им. Сталина.

тылки водки. На мой вопрос, к чему эта водка, член нашего кружка с этой фабрики Антон Ладонкин шепнул мне:

— Выпить непременно надо: иначе другие могут догадаться, что мы социалисты, и донесут.

Хотя водка была мне противна и не подходила к моменту, пришлось выпить «для отвода глаз», как шептал нам товарищ. Затем по-одному ткачи и прядильщики — человек 15— ушли из казармы и собрались на огороде за фабрикой. Я прочел принесенную мною прокламацию, которая была одобрена, и произнес небольшую речь о забастовке и о необходимости продолжать ее как можно дольше. Было постановлено держаться до конца и выработаны требования для нового листка.

Петр Виноградов продекламировал стихотворение:

ТКАЧИ

Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка,
Маслом прогорклым воняет удушливо...
Да, жизнь ткача не легка!
Мучит, терзает головушку бедную
Грохот машинных колес,
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез.
Эх, да зачем же вы льетеся,
Горькие, горькие слезы, из глаз?
Делу помеха; основа испортится,
Быть мне в ответе за вас...
Как не завидовать главному мастеру?
Вишь, на оконце сидит,
Чай попивает да гладит бородушку —
Видно, душа не болит!..
Ласков на вид, а приди к нему вечером, —
Станешь работу сдавать, —
Он и работу бранит и ругается,
Все норовит браковать.
Так вот и гнет, чтоб поменьше досталося
Нашему брату, ткачу.
Эх, главный мастер, хозяин, надсмотрщики,
Жить ведь я тоже хочу!

Второе стихотворение, «Ткачи» Гейне, Виноградову не удалось окончить. Когда он дошел до слов:

Проклятье тебе, о, наш край лицемерный.
Где царствует стыд и позор беспримерный,
Где в миг увядает цветок полевой,
Где кормится тленьем червяк пробовой,
Старой России мы саван соткем... —
Мы ткем неустанно, мы ткем...

раздался крик нашего сторожевого:

— Спасайтесь, полиция!

Мы мигом рассыпались по кустам. Когда я оглянулся, на огороде никого уже не было; лишь группа конных городовых рыскала по грядам. На этот раз всем удалось спастись. Никто арестован не был. И на другой день по квартирам Сампсониевской фабрики были распространены листки.

Когда началась забастовка, ее успех лишний раз говорил мне, как я был прав, оставив группу «Народная воля» с ее неясно-туманными целями. Вся ее программа определенно представлялась мне полной недоразумений, неясности, противоречий. «Каким путем возможно осуществить народовольческий социализм?» — задавал я себе вопрос. В развитие капитализма в России они не верят. Рабочему классу они отводят самую скромную роль, отодвигая его на самый задний план. Крестьянская община, на которую они хотят опереться, по свидетельству Глеба Успенского, уже разложена. В самодеятельность масс как рабочих, так и крестьянских они не верят. Совсем другое дело — марксистская теория. Все неясное, в ее освещении, в глазах рабочего становится ясным; все неопределенное, бесформенное начинает принимать вполне законченные формы. Горизонты расширяются перед рабочим. Он видит себя идущим по широкой дороге, ведущей к освобождению всех угнетенных, к уничтожению строя, основанного на угнетении человека человеком.

Первые и огромные шаги сделаны. То, о чем я не смел и мечтать два года назад, осуществилось. Волей рабочего класса остановлены каменные гиганты. Замолкли фабричные корпуса; не стучат машины, не горят фабричные огни.

Стачка ткачей 1896 г. на деле подтвердила теоретические предпосылки марксистов и свидетельствовала о том, что в России на историческую арену выступает рабочий класс. Нельзя забывать, что в этой стачке приняли участие самые угнетенные, задавленные рабочие. Для многих, особенно для иностранцев, было непонятно, каким путем дошли эти рабочие до мысли об организованной, планомерной стачке.

— Кто вас научил устраивать стачки? — удивленно спрашивал директор-англичанин одной большой петербургской фабрики у пред'явивших ему экономические требования рабочих.

— Жизнь научила, господин директор, — отвечали рабочие.

Но директора, как говорили, этот ответ не удовлетворил. Как гордый англичанин он презирал все русское и русских рабочих в особенности. Ответ, который он получил от рабочих, оставил его в недоумении: он никак не мог понять, каким образом эти забитые с виду, некультурные русские рабочие могли найти в себе столько духовных сил, чтобы

так быстро возвыситься до западно-европейских форм рабочего движения.

Стачка, так хорошо начатая и проводимая, подняла очень высоко в глазах рабочих авторитет «Союза борьбы», прокламации которого всегда призывали рабочих к об'единению, забастовкам и борьбе. Она в первый раз воочию показала, какую силу представляет рабочий класс, если он выступает организованно. Требования на листки и на марксистскую литературу увеличились.

Чтобы не умереть с голоду, мне, у которого на плечах были мать и два брата, пришлось вернуться на металлообрабатывающий завод *. Как только вечером гудел гудок, я стрелой летел с завода домой, наскоро ужинал и бежал то в один, то в другой конец города по делам организации, по обслуживанию забастовки. Иногда приходилось проводить всю ночь где-нибудь на огородах, где устраивались встречи, проводились собрания, передавалась литература. К счастью, работа на заводе у меня была крупная. Я забирал резцом стружку, а большой токарный станок продолжал двигаться автоматически. От напряженно-нервной жизни, от беготни, от переутомления у меня звенело в ушах. Как только я садился на скамейку при виде медленно вращающегося огромного круга патрона я начинал клевать носом, засыпал. Монотонный гул машин и стук молотов выливались в речь или стихи, которые говорил или декламировал П. Виноградов, М. Паянен и другие.

Однажды, когда я невольно таким образом задремал, я был разбужен внезапно подошедшим мастером.

— Эй, — кричал он, тряся меня за плечо, — ты что это спать вздумал, дохлую крысу с чертями тебе в рот, скот ты паршивый! Смотри: что ты наделал?

Я вскочил, протирая глаза. Когда пришел в себя, увидел, что во время сна стальные лезвия резца врезались в поверхность большого медного шара, который я обтачивал для минной пушки, глубже, чем это нужно. Мастер, принимавший шары, был русский. Он был груб, брал взятки. Обругав меня еще раз самым отборным словом, он незаметно для других, но сильно снизу вверх ударил меня кулаком в живот.

Что мне было делать? Мои руки судорожно сжимали рукоятку ручника **. Первой моей мыслью было размозжить ему молотом голову. Но я вспомнил, что у меня нет денег заплатить за комнату, что у меня на руках мать и братья,

---

* Ныне Ленинградский металлургический завод-втуз имени т. Сталина на Выборгской стороне.

**Ручник — молоток.

что я связан с революцией, с «Союзом борьбы» и что вечером сегодня ко мне принесут прокламации для нашего завода, которые я должен завтра распространить. Эти соображения, как и старая привычка переносить оскорбления и тяжелую участь, заглушили проснувшийся во мне голос взбунтовавшегося человека. Парижский рабочий, француз, по крайней мере кулаком ударил бы на моем месте мастера и отомстил бы за обиду, а я стерпел жестокое оскорбление, опустил молот, но мрачный огонь ненависти, блеснувший в моих глазах, не ускользнул от зорких глаз унтер-офицера капитала.

— Ну, ладно, — сказал он, — на первый раз прощу.

Движимый злобою против хозяев, мастеров, правительства, я на другой день очень ловко успел разбросать прокламации на верстаках, у станков, на всех местах, где работают рабочие, во всех 12 мастерских завода.

После того, как за Приютовым и другими народовольцами началась слежка, и они во избежание ареста раз'ехались из Петербурга, а типография переехала в дачную местность Лахта, я больше с ними не виделся. Поэтому я был чрезвычайно удивлен, увидев у ворот завода С., державшего связь с внешним миром.

— Вы зачем здесь? — спросил я.

— Вас непременно хочет видеть Екатерина Александровна. Приезжайте непременно, если за вами не следят.

В больших городах Западной Европы встречаются люди, которые почти не выходят за пределы своего квартала. Я носил в себе черты этой ограниченности. Я прожил до 25-летнего возраста в Петербурге и ни разу не бывал ни в Петергофе, ни в Царском селе, ни в Кронштадте, ни на Лахте. Это произошло не потому, что у меня не было любознательности, а потому, что постоянная нужда не позволяла затрат на поездки в окрестности Петербурга.

Так как я был конспиративен и не замечал за собой слежки, то я решил поехать на Лахту. У меня не было желания туда ехать. Я знал, что начнутся споры, и мне не хотелось встречаться с Екатериной Александровной. Будучи замужем за каким-то большим чиновником в провинции, она не вынесла мещанской, обывательской обстановки, разошлась с мужем и окунулась с головой в революцию. Будучи интеллигенткой в полном смысле этого слова и довольно красивой женщиной, она казалась человеком из высшего и недоступного для меня мира людей. Хотя я, как мне казалось, был обречен на смерть, на гибель, но я был молод, и может быть потому, что эти женщины принадлежали к другому для меня

миру, при виде их у меня просыпалось какое-то неясное стремление, манящее и зовущее к жизни.

В ближайший день с помощью Виноградова, который купил для меня железнодорожный билет, я сел в поезд. Я шел на вокзал обходным путем, прошел к поезду не через главный вход и последним вскочил в поезд. Ни я, ни Виноградов никакой слежки не заметили *.

Я приехал на Лахту. Народовольческая типография, получившая известность благодаря этому дачному поселку, просуществовала на Лахте не более одного месяца. Наибольшую активность и производительность в работе она проявляла на набережной Крюкова канала, в доме № 23/4, где просуществовала больше года. Выбор места для типографии в виде дачного домика № 10, где все обитатели вели образ жизни, далекий от трудового, вряд ли можно было считать удачным. Работники типографии, чтобы не возбуждать подозрений, принуждены были принять вид отдыхающих дачников, днем гулять по парку, проводить известное время на пляже. Работа при таких условиях могла производиться лишь ночью. Хотя дача была изолирована, но шум от типографского станка, производимый прокаткой, мог возбудить подозрение.

Только еще раз удостоверившись, что я не привез за собой шпика, я решил зайти на дачу, где помещалась типография. Я обрадовался, увидев старых друзей, с которыми разошелся по теоретическим вопросам. Так же, как и прежде, в комнате стоял комод и шкап, где скрывались от нескромных глаз типографский станок, типографский шрифт, отпечатанные брошюры и бумага. Попрежнему Белов и Гриша набирали на верстатке, Екатерина Александровна Иогансон исполняла обязанности Федулова, т.-е. была редактором и корректором; но чувствовалось, что нехватает Василия Петровича Приютова, который создал эту знаменитую Лахтинскую типографию и был душой ее.

Все обступили меня, когда я вошел, и засыпали вопросами о стачке. Особенно Е. А. Иогансон интересовалась всеми ее перипетиями. Правда ли, на самом деле, что эти рабочие, которые казались такими забитыми, такими деморализованными, ругавшиеся такой отборной крепкой руганью, валявшиеся пьяными под заборами и отличавшиеся такой покорностью, правда ли, что они проявляют, наконец, черты сознательного рабочего, поднявшегося за свое освобождение?

* Слежка, но только очень искусная, наверно была, ибо по книге охранника Меньшикова А. П. «Охранка и революция» наблюдением над деятелями народовольческой типографии занимались по распоряжению Зубатова, кроме петербургских шпиков, еще пятнадцать лучших московских филеров.

Только два года, как Е. А. Иогансон принимала участие в революционном движении, но она являлась уже одним из вождей движения. Как и многие революционеры-интеллигенты, она была честолюбива и любила повелевать. Она была сторонницей освобожденной, гармонично развитой личности. Ей более всего не нравилось, что у нас в России задавлена личность

— Падение самодержавия, — говорила Иогансон, — к которому мы стремимся, должно освободить личность. Почему Англия так выгодно отличается от России? Потому что каждый англичанин кроме обязанностей обладает еще и правами. Не то у нас! У нас нет ни закона, ни прав. Еще Герцен писал в своей книге «С того берега», что «у нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступать. Человек пропадал в государстве, распускался в общине. Свобода лица — величайшее дело. На ней и только на ней может вырасти действительная воля народа». Герцен был прав. До сих пор у нас нет личности. Все у нас на одно лицо, все сделаны по одной мерке, подогнаны под одну колодку. Поэтому, чем скорее падет самодержавие, тем быстрее будет расчищено поле для развития личности. И вот есть люди, которых я люблю, люди, с широкими взглядами, которые не мирятся с шаблоном и которые готовы за эти цели пожертвовать своей жизнью. А ваши социал-демократы очень отличаются от них: социал-демократы — узкие и неинтересные люди, ибо они сводят революционную борьбу к борьбе за пятачок и таким образом отодвигают на далекое время вопрос о свержении самодержавия. Теперь вы говорите, что всеобщая стачка ткачей оправдала ваш прогноз. Но не будьте так самонадеянны: еще неизвестно, кто окажется прав — вы, марксисты, или мы, народовольцы. Тот же Герцен говорил, что «человек будущего в России — мужик, как во Франции — рабочий». Тот же Герцен высказывал мысли, что русский по природе своей, ближе подходит к новому социальному устройству. Живя в огромной стране, которой, как морю, нет конца и краю, русский народ скорее способен понять социалистический идеал, ибо он выработал в себе такое ценное качество, как широкий размах...

Воцарившееся молчание нарушалось лишь жужжанием мух и криками торговцев-разносчиков, доносившимися с улицы. Первая очнулась от задумчивости Екатерина Александровна.

— Мы начали нашу беседу о стачке рабочих и незаметно, как увлекшиеся дичью охотники, свернули в сторону, заблудились и не можем выбраться из густого леса трудно разрешимых вопросов. Перейдемте снова к стачке. Эта забастовка

и сознательное поведение рабочих вскружило вам, социал-демократам, голову. Вы себя так держите, как будто вам неожиданно свалилось огромное наследство. Но и мы, народовольцы, не хотим пройти мимо этого многознаменательного явления. Мы намерены выпустить листок к бастующим рабочим. Согласились ли бы вы помочь мне в составлении листка и распространить его затем на заводах, если мы не ограничимся, как это делаете вы, одними экономическими требованиями. Например, я хотела бы вписать в число требований, которые будут внесены в листок, требование о свержении самодержавия.

Так как Е. А. Иогансон ссылалась на состоявшееся соглашение между марксистами и народовольцами, на основании которого народовольческая типография печатала марксистские брошюры, я не возражал против желания выпустить подобный листок.

— В таком случае доставьте нам как можно скорее все материалы, необходимые для выпуска листка. Но как нам их получить? — задала вопрос Иогансон. — Может, вы их сюда завтра привезете?

— Я возражаю против этого, — заявил Коля Белов. — Достаточно и одного раза, что Саша сюда пришел. Если он, сталкивающийся сейчас с рабочими в местности, наводненной шпиками, будет к нам приходить часто, мы провалим типографию.

— Как же быть? — спрашивала Иогансон.

— Нет ничего проще, — вставил Коля Черный, — устроим свидание с Сашей на нашей старой квартире, которая числится за мной.

На другой день я запоздал. Меня задержала срочная работа на заводе. Едва умыв руки, не успев толком переодеться, в рабочей блузе, я спешил к Крюкову каналу. На этой старой квартире продолжал жить т. С. Отсюда он увозил в типографию бумагу и сюда привозил отпечатанные издания. Встретив меня как всегда спокойный и уравновешенный, писавший, как и Д. Ф. Федоров, стихи, он сказал, что опасности нет и что Екатерина Александровна ждет. Сделав еще крюк, пройдя через проходной двор, проверив, что шпионов нет, я вошел в дом и в квартиру, где раньше помещалась типография.

Извинившись (по обычаю петербургских рабочих, я был вежлив) за опоздание, я сообщил, что стачка идет на убыль, происходят аресты, но что листок еще можно выпустить. Иогансон опять говорила, что партия «Народная воля», войдя в соглашение с «Союзом борьбы», солидаризуясь с ним по вопросу о роли рабочего класса в революции, от-

казывается временно от террора и переносит главное внимание на работу среди рабочих, и показала проект прокламации к рабочим, где среди ряда экономических требований было выставлено и требование свержения самодержавия.

Я с своей стороны указал, что необходимо выбросить все иностраннные слова, которые были непонятны тогдашней массе рабочих, и более простым языком об'яснить, почему необходимо низвергнуть царизм.

Мы едва успели закончить деловой разговор и сидели по обеим сторонам стола. Между нами лежали исписанные клочки бумаги. Вдруг раздался резкий звонок...

С., стоявший у дверей, от неожиданности растерялся и прежде, чем мы успели спрятать проект листка, открыл дверь. Вошел дворник дома в сопровождении другого рыжеватого человека в костюме дворника.

— Здрасте, — сказал он, — вот новый старший к нам в дом поступил и пришел осмотреть квартиры.

— А вы-то что же? — спросил С.

— А я в деревню еду-с и вот нынче сдаю все дело новому-с.

Очень внимательный, проницательный взгляд, который бросил на меня и на Е. А. Иогансон новый дворник, его бегающие глаза, искусственная торопливость в движениях — все говорило, что это, пожалуй, не дворник, а агент охранки.

Мы сидели, как оцепенелые, пока он осматривал все углы, со словами: «Да, рамы у вас плохи и стены надо было бы снова оклеить». Окончив осмотр, он обернулся к нам, ехидно улыбаясь. Я едва успел закрыть проект прокламации листом газеты.

Как только он ушел, мы очнулись, как от летаргического сна. Было решено, что типография должна принять все меры предосторожности, включительно до перевода ее в другое, безопасное место *.

Единственная прокламация, выпущенная к рабочим во время стачки народовольцами, была мной разбросана на металлообрабатывающем заводе **. После этого я больше не встречался с народовольцами. У меня осталось о них воспоминание, как об искренних, симпатичных людях, не останавливавшихся перед тем, чтобы пожертвовать своей жизнью за счастье народа. Но их теория страдала туманностью, неясностью, недоговоренностью. Как мыслители и политические вожди, они должны были уступить место марксистам.

Из всех членов моего кружка т. Дрожжин более всего по-

* Потом Иогансон очевидно решила, что это была лишь ложная тревога, и типография осталась на Лахте.

** См. примечание на стр. 124.

ходил на т. Федорова. Он был очень неглуп, с успехом окончил вечернюю школу, из которой я ушел ради революционного движения. Хорошо разбираясь во всех вопросах, он не был увлекающимся энтузиастом. Революция не так захватывала его, как наука. Не выпуская тяжелого кузнечного молота из рук, он отдался научным занятиям, сумел самостоятельно пробить себе дорогу к знаниям и получить звание учителя математики. Но необходимо сказать, что и в эпоху увлечения народовольчеством, и во время перехода на сторону марксизма, и в момент всеобщей стачки текстильщиков он, как и Дмитрий Федорович Федоров, всегда откликался на призывы революции.

Стачечная волна между тем уже спадала. Разбушевавшееся море протеста и возмущения входило в свои берега. Некоторые фабрики возобновили работу. И на лицах всех рабочих стало заметно охлаждение, упадок духа. Всюду приходилось подогревать товарищей, поднимать их революционное настроение.

Когда стало ясно, что забастовка пошла на убыль, министр финансов Витте выпустил обращение к рабочим. Витте видел причины, повлекшие за собой стачку, не в тяжелом положении рабочих, а во вредной деятельности рабочих-агитаторов. Последние, по его словам, переходя в поисках работы с фабрики на фабрику, с завода на завод, сеяли всюду семена возмущения. Министр призывал не слушать этих агитаторов и всем снова возобновить работы на фабриках.

«Союз борьбы» не переставал усиленно работать. В последние дни стачки я познакомился и встречался с Зинаидой Павловной Невзоровой (Кржижановской). Она, обыкновенно, приносила ко мне прокламации. Я через М. Паянена, П. Виноградова, И. Дрожжина, Философова, Ильина, П. Ладонкина, Михайлова, Ф. Галактионова, Царькова, Мишу (Сангалевского), Гаделинова, Петрова и Д. Федорова, слесарей с Сан-Галля Королева, Соколова, Давыдова, Чеснокова и Антона Ладонкина распределял их на фабриках Выборгской стороны и Обводного канала.

В головах рабочих во время стачки шла упорная борьба старого с новым. Старые привычки в виде почитания царя, начальства, хозяев-капиталистов приказывали вернуться к вековой покорности, к ужасной доле раба. Новое, необычайное звало разбить цепи рабства и рисовало заманчивыми красками будущую осмысленную жизнь, когда падут стены тюрьмы и взойдет новое солнце...

Но старое еще слишком было сильно. Особенно тяжелое впечатление производили женщины-работницы. Многие из

них, выбитые из деревенских условий жизни и не приспособившиеся к новым городским фабричным порядкам, не могли избежать известной степени деморализации.

Получив от З. П. Невзоровой прокламации, я направился на Вольный остров, где находилась фабрика Воронина. Молодой хозяин этой фабрики Воронин играл видную роль в «Обществе фабрикантов и заводчиков» Петербурга. Общие тяжелые условия жизни ткача у него ухудшались благодаря соседству завода искусственного удобрения из костяной муки, распространявшего невыносимое зловоние.

Чтобы из Екатерингофского парка попасть на Вольный остров, нужно было переехать через довольно широкую Черную речку. Хотя эта река, называемая теперь Екатерингофской, шире многих западно-европейских рек, у нас она, очевидно, по сравнению с широкой Невой, носила скромное название речки.

Когда я сел в ялик, в него набралась целая партия ткачих, спешивших на работу, на ночную смену. Воронинцы уже не выдержали и стали на работу. Я вез прокламации, призывавшие их снова бросить работу и продолжать стачку. Я присматривался к работницам. Они мирно беседовали о платьях, которые они собирались сшить к Троице. Но вот мирное добродушное настроение сменилось бурным, циничноуличным. Они заспорили. Меня вдруг поразила бесстыдная матерная брань, которой, как бы хвастаясь, перебрасывались между собой эти молодые работницы.

— Эй, Васька, волк тебя с'ешь! — кричали они с озорством,— отваливай скорее, а то опоздаем!..

Это было время, когда из-за очень низкой заработной платы известная часть работниц опускалась до морального уровня проституток. Заметив, что я один только после яличника мужчина в лодке, они подняли меня на-смех, начали подталкивать.

— Растормоши его, Танька! — послышались голоса,— что он стоит, как пень, и молчит.

Так как я очень боялся за судьбу прокламаций, которыми был нагружен и которые непременно выпали, если бы Танька серьезно взумала меня тормошить и щекотать, на что подстрекали ее подруги, я, как только ялик ударился о берег, выскочил из него и пустился со всех ног наутек, тем более, что я слышал, как ткачихи кричали:

— Держи его, Танька!

На фабрике Воронина я был знаком еще по вечерней школе с ткачом Черкуновым. После того, как его по окончании низшей технической вечерней школы Воронин назначил в разряд низшей фабричной администрации, он из фа-

бричной казармы перебрался в каморку и, видимо, меня сторонился, как человека, который может его скомпрометировать.

Но когда началась забастовка, он охотно согласился распространять прокламации.

— Как живешь, Черкунов? — спросил я его.

— Да ничего,— ответил он.— С клячей живу,— подразумевая под словом «кляча» женщину, жившую с ним вне брака.

Сама «кляча», выглянувшая из-за перегородки, оказалась очень миловидной, симпатичной молодой женщиной, ткачихой.

— Агафья! — тихо сказал ей Черкунов, когда я об'яснил ему цель моего прихода,— возьми вот блины у товарища. Надо их разбросать на фабрике. Понимаешь?

Оказалось, что эта скромная, безвестная Агафья оказывала большие услуги революции, исполняя такую опасную работу, как распространение и расклейка прокламаций.

В 1890-х годах, когда только зарождалось рабочее движение, в рабочей среде очень часто сказывалось грубо-презрительное отношение к женщинам. Рабочие говорили о «присухе», о том, что такая-то «приколдовала» такого-то. Не говорили: «он ухаживает» за такой-то, а он «прикороводил» такую-то. Красивая девушка называлась «куском».

— Ну, и «кусок» же ты «прикороводил»,— говорили кому-нибудь, кто ухаживал за красивой девушкой.

Так как я много читал, то со словом «любовь» я познакомился только в романах.

В эту ночь, возвращаясь домой, я как-то невольно думал об этих молодых ткачихах. Мне сделалось вдруг грустно, и появилась мысль: «Отчего я одинокий? Почему по жизненному пути со мной не идет такая красивая женщина, как эта Агафья?.. И по какой причине он, Черкунов, зовет ее так грубо клячей?»— думал я.

А в северном небе над Петербургом утренняя заря сливалась с вечерней. Волнами июньского полусвета была залита земля. Она казалась прекрасной... Но скоро мысли о забастовке, революционной работе снова целиком захватили мое внимание.

Ходынская катастрофа, с так трагически погибшими тысячами людей, первая так хорошо организованная стачка 35 тысяч ткачей.— эти события, происшедшие во время коронации, были так необычны, что заставляли меня, как и многих, задуматься; они как бы предвещали царствование, полное кровавых жертв и восстаний.

Я мало жил и жил в плену,
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одну лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

Лермонтов.

Страшно вмасты у кайданы,
Умереть в неволи, —
А ще тирше — спаты, спаты
И спаты на воли...

Тарас Шевченко.

АРЕСТ

Понимая всю важность момента, мы работали, не покладая рук; мы распространяли прокламации, собирали собрания. Под'ем масс охватил меня. Я почти не ел, не пил, не спал; я все время был на ногах, отдавая движению все свои силы, свою энергию.

Жандармы, полиция, охранка и ее многочисленные ищейки выбивались из сил, чтобы ликвидировать «Союз борьбы» и группу «Народная воля».

Я, выходя из дому, принимал, как мне казалось, все меры предосторожности. Я наблюдал, нет ли слежки. Мне казалось, что ее нет, а в действительности она была. Последние дни стачки за мной следили очень искусно, шаг за шагом. Никто не стоял против ворот дома, где я жил, никто не следовал за мной тотчас же по выходе моем из дома. Но я не замечал, что как раз против ворот дома, где я жил, из окна противоположного дома, из квартиры второго этажа, все время за мной наблюдали агенты охранки. Как только я выходил из дома № 2/4 и, не замечая ничего, шел спокойно, в это же самое время агент-филер выходил на параллельную (с моей Астраханской) Саратовскую улицу и догонял меня или на Финляндском проспекте, если я шел влево, или на Клинической улице, если я направлялся направо. Эта слежка за мной была настолько искусна, что, несмотря на всю осторожность и хитрость, которым меня обучил Приютов и к которым я прибегал, я ничего не замечал *.

---

* Имеющиеся при деле о Лахтинской типографии дневники шпиков охранки позволяют сделать заключение, что за мной, как и за другими, незадолго до ареста следили московские и петербургские филеры буквально по пятам. Эти донесения шпионов говорят также о чрезвычайно большой осторожности товарищей и с моей стороны, вследствие которой наблюдение временами теряло нас из поля зрения.

Будучи принужден ежедневно бегать из одной рабочей окраины в другую, я имел обыкновение заходить в трактиры, которых имелось большое множество в Петербурге. В каждом трактире помещение делилось на две половины: «дворянскую», или «чистую», и «черную». Половые подавали «пару чая», яйца, варенье и т. п., булочник в большой корзине предлагал калачи, сайки, слоенки, французские булки, крендели и т. д. Здесь можно было пообедать и вообще закусить за 12 и 6 копеек. Этими трактирами мы пользовались для устройства свиданий с товарищами. Иногда даже удавалось передавать в них прокламации. Когда гремела так называемая «машина», фальшиво наигрывая какой-нибудь мотив, совершенно не было слышно, о чем мы говорили.

Однажды, к вечеру, когда я на набережной Невы, недалеко от Сампсониевского моста, оживленно передавал т. Шестопалову сведения о ходе стачки, оглянувшись, я вдруг заметил за высокой железной решеткой, на которую я опирался и которая окружала сад и особняк какого-то богача, грузную фигуру переодетого жандарма, который на корточках пробирался между кустов и деревьев, отделявших его от нас, с явным намерением подслушать наш разговор. Местность была здесь довольно пустынная. Прохожих почти не замечалось. Мы все время стояли спиной к решетке, и он, очевидно, рассчитывал нас подслушать.

Его смущение и страх, отразившиеся на лице, как пойманного на месте преступления, его поза подкрадывавшегося к нам человека, его стремительное бегство, когда он понял, что он раскрыт, — все это яснее ясного говорило о том, что этот тип являлся агентом охранки, и не менее красноречиво говорило также, что за нами установлено наблюдение.

Дело принимало плохой оборот. Торопливо передав т. Шестопалову последние сведения и взяв от него целую кипу только-что отпечатанных прокламаций, мы разошлись в разные стороны, обещав предупредить всех об обнаруженной слежке и принять все необходимые меры.

День клонился к вечеру. Возвращаться с прокламациями домой было бы безумием; их необходимо было как можно скорее кому-нибудь сдать, где-нибудь спрятать.

Быстрым шагом направился я в противоположную сторону, к устью Невы, где за широкой в этом месте гладью реки виднеются эллинги Балтийского казенного завода. Я подошел к тоням, где закидывали в воду сети и вытягивали их, наполненные рыбой, при помощи ворота. Сюда же к пристани на яликах по высоким гребням волн возвращались пошабашившие рабочие Балтийского завода. Солнце уже закатилось совсем, угасал яркий, розово-красный закат, ко-

гда на одном из последних челнов я заметил среди группы рабочих Петра Виноградова, который стоя размахивал руками и, повидимому, по обычаю агитировал.

— Эй, Петька, что руками машешь? — раздался голос с берега.

Это кричал один его знакомый. Петька оглянулся и оборвал свою речь. И было во-время: когда ялик врезался в придорожный песок, из-за угла появился конный раз'езд казаков.

— Эй вы, расходись, не толпись! — закричал старший городовой, командовавший отрядом. Толпа рабочих, повинуясь приказу городового, тотчас рассеялась в разных направлениях.

— Петя! — говорил я Виноградову, когда мы спрятались от казаков за забор Франко-Русского завода, — дела плохи, за мной слежка. Может, сегодня вечером меня арестуют. Вот возьми эти прокламации. Надо их спрятать, а затем передай Фельдшерову или Ильину, или Ладонкину для новой бумагопрядильни.

— Знаешь, и мои дела не важны, — отвечал мне Виноградов, пряча прокламации здесь же на дворе в куче старых кирпичей, — мне мастер сегодня записал расчет. Буду отживать две недели. «Говорй спасибо, — сказал мне мастер, — что не арестовали тебя. Больно много ты проповедуешь»... Как ты думаешь? Я хочу поехать в Одессу, в Екатеринослав. Буду там работать, а то, если тебя арестуют, и мне не миновать тюрьмы.

Казаки давно проехали; мы вышли опять к тоням. Было пусто. Вечерние тени сгущались. Подошедший М. Паянен рассказывал, что забастовка везде кончается, но что рабочие начинают работу, не чувствуя себя окончательно побежденными. Они поняли свои силы и нащупали при помощи «Союза борьбы» тот путь, который должен вывести их на широкую дорогу.

— Если тебя арестуют, — говорил Паянен, — то и со мной случится то же. Прощай, Александр. Теперь вечер, а мне кажется, что мы переживаем утро. Даже мой старый отец говорит, что он не ожидал такой стачки от русских рабочих. Эта стачка для нас, рабочих, начало новой жизни.

И мы долго еще беседовали о рабочем революционном движении, о могучей, непреодолимой силе, которая таится в рабочем классе, и о славном, великом будущем, которое ждет нас при торжестве социализма.

Уже к ночи я переезжал Неву на ялике. Я решил вернуться домой другим путем, через Васильевский остров.

Слушая, как скрипят уключины, как плещутся волны, ударяясь о лодку, о весла, находясь на середине реки, откуда открывалась водная даль на взморье, над которым всходила луна, я испытывал щемящую грусть. «Скоро, скоро,— думал я,— тюрьма, как эта водная мрачная пучина, захватит меня в свои недра, и я может быть больше не увижу ни этой водной шири, ни простора полей. и не увижу вас, товарищи... Но ведь я давно решил пожертвовать всем и погибнуть, — в тюрьме ли или на виселице, не все ли равно?»

Пока я держал длинный путь мимо Балтийского завода и вышел, наконец, на Николаевскую набережную, прошел Николаевский мост и сел усталый на гранитную скамью против Академии художеств, ночь давно уже спустилась на землю. Крепостные часы пробили полночь. Будучи очень утомлен, я чувствовал шум в ушах и холод в спине. Задумавшись, я молча и долго глядел на небо, где чуть мигали звезды, на луну и на загадочное лицо сфинкса, которое смотрело на меня сверху.

Это лицо как бы говорило о длинном ряде веков, когда египетская цивилизация сменилась греческой и римской, а затем феодальной, когда свистел бич надсмотрщика, когда закованный в цепи раб строил пирамиды, греческие и римские храмы и готические соборы. Под гнетом рабства будущее для мыслителя казалось таким же загадочным, как загадочно это лицо.

Мне, когда я отрешился от веры в бога, жизнь представлялась такой же таинственной, как этот сфинкс. Но учение Маркса дало возможность понять смысл жизни. Наша стачка показала, что подымается новый класс, который разрушит все старое, гнилое, который отомстит за страданье миллионов угнетенных и построит новое общество, при котором больше не будет рабов.

Я, простой рабочий, должен считать себя счастливым, что живу в эпоху, когда начинается ломка старого. Пусть арестуют меня! Поднялся он, мститель суровый, и наше дело не пропадет!

Придя домой во втором часу ночи, я заснул тяжелым свинцовым сном. В полусне смутно слышал, как раздался резкий звонок, как толпа охранников ворвалась в комнату, как толстый околоточный схватил меня в охапку с кровати и поставил в угол с криком:

— Стой, не шевелись, мерзавец!

Городовые и агенты начали перерывать комнату. Мать в углу плакала. Брат Павел, 11 лет, вопросительно смотрел и на меня и на полицию...

— Как ваша фамилия? — спросил жандармский полковник, руководивший обыском.

— Если вы будете меня держать так в углу, в одном белье, и если ваши подчиненные не перестанут меня оскорблять, я не отвечу ни на один ваш вопрос, — сказал я.

— Будьте повежливей с арестованным, — сказал полковник, — а вы, господин Шаповалов, одевайтесь: мы принуждены вас арестовать.

Меня свезли в охранку. Утром, когда совсем рассвело, перевезли в Петропавловскую крепость. Тяжелые тюремные двери захлопнулись за мной на два года. Впереди ждали три года Сибири...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В ЦАРСКИХ ТЮРЬМАХ

Я умру. На позор палачам
Беззащитное тело отдам.
Равнодушно они для забавы детей
Будут жилы мои отдирать от костей,
Обругают, убьют и мой труп разорвут.
Но стерплю. Не скажу ничего.
И как дуб вековой, неподвижный от стрел,
Неподвижен и смел, встречу миг роковой.
Полежаев („Из песни пленного ирокеза")

ТРУБЕЦКОЙ БАСТИОН ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Если бы кто-нибудь ухитрился в те мрачные времена, когда Россия стонала еще под игом последнего из царей, пробраться незаметно от стражи в коридоры тюрьмы для государственных преступников в Трубецком бастионе, он поразился бы могильной тишиной, царившей там, — так тихо бывает только в гробу.

Редко, редко звякнут шпоры жандарма, медленно крадущегося по коридору от двери к двери; случайно забренчат у него ключи; застучат тяжелые засовы отворяемой двери, и затем опять все погружается в безмолвие могилы.

Но тем не менее тюрьма полна своеобразной жизни, протестующей против неволи. Приложите ухо к двери камеры, приподнимите «глазок», и вы услышите и увидите, как заключенный быстро шагает и бегает из угла в угол по своей камере. Так бьется птица в клетке. Так мечется зверь в неволе.

Недаром казематы Петропавловской крепости сравнивали с могильным склепом, с гробом. Как душно в этом каменном мешке, как тяжело... Как гнетут эти стены, как давит этот сводообразный потолок! Как ненавистна эта железная, ржавая решетка! «Эх, скорее бы наступил желанный социалистический строй! Тогда не будет ни судов, ни тюрем, ни армий, ни войн, ни угнетения человека человеком». — Так думал я, мечась по камере. Я задыхался... Меня охватывало отчаяние. Страшно хотелось разбить эти ненавистные стены, вырвать решетку и снова очутиться на воле. Но крепки стены. Толсты решетки. Зорка стража. Все бесполезно. Нельзя отсюда вырваться.

Невольно я начал вспоминать, как все произошло. Коротка питерская летняя ночь. Кончился обыск. Жандармский полковник дописал протокол. Подписались понятые.

И уже забрезжило опять ясное утро. Лучи солнца проникли через стекла в комнату и осветили лица моей матери-старушки и моего брата, пытливо и вопросительно смотревших на меня, жандарма, толстого околотка и шпиков. В их глазах я заметил недоумение, ужас перед будущим, упрек и покорность неизбежному, что обрушилось на них вдруг, так неожиданно. Но вот все кончилось, и меня повели на двор. Я порывисто обнял брата, поцеловал мать.

— Прощай, мама! Что делать! Не я покидаю тебя. Меня отрывают от тебя.

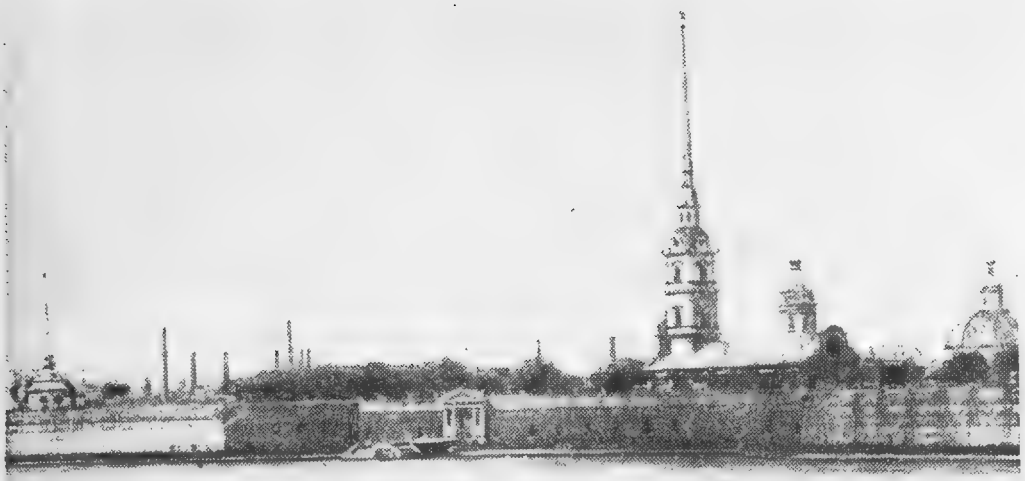
И вот я на улице, где нас ждала пролетка. Дома, двор, улицы — все уже было залито золотым светом раннего утра. Последние минуты на воле, проникнутое печалью серо-голубое небо Питера, бегущие облака, широкая гладь Невы, струи и волны, которые катила река, залитая солнцем земля, дома, крыши — все казалось бесконечно прекрасным. Не хотелось от всего этого отрывать глаз. Хотелось еще и еще раз взглянуть в светлую синеву неба, на солнце и вздохнуть, вздохнуть всей грудью в последний раз вольным воздухом. Потрясенный всем происшедшим я в этот миг прощанья ощутил всем своим существом красоту земли, на которой до сих пор ходил свободно.

А в воротах раздавались плач и вопли моей матери, прощавшейся со мной. Я видел, как дворники насильно уводили ее обратно в комнату.

Я потерял свободу. Жестом руки толстый околоток указал мне на дрожки. Я уже сидел на них. Но я должен был подвинуться на самый край: околоток был так толст, что занимал почти всю пролетку. Чтобы я не упал и не убежал, его рука с короткими толстыми пальцами крепко прижимала меня к себе. Другой рукой он придерживал револьвер и «селедку» *. Мы проехали по Клинической улице, по набережной Невы, к Литейному мосту. Околоток молчал. На его красном, толстом лице не заметно было никакого сочувствия. Оно было тупо и жестоко. Проведя бессонную ночь за обыском, он торопился, видимо, меня отвезти и сдать в тюрьму. Он сознавал, очевидно, что я его ненавижу, ибо постоянно отворачивался, когда я на него взглядывал. Мы сидели рядом и казались совершенно противоположными людьми — насколько он был дороден и толстокож, настолько я был худ, поджар, и у меня были взвинчены нервы. Меня все время мучила мысль: «А, что, не нашли ли у меня какой-нибудь забытый клочок бумаги с записанным адресом, с фамилией — чего-нибудь такого,

---

* «Селедка» — шашка.



Вверху: вид Петропавловской крепости; внизу: вид двора и бани Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, место прогулки заключенных.

что может навести охранку на след, что может повредить тем товарищам, которые оставались на свободе и продолжали борьбу, которую мы так успешно начали?».

Я не мог также забыть лиц матери и брата, их взглядов, полных недоумения и упрека. Что ждет их? Какова будет их жизнь без меня? Может быть, уже через месяц нужда принудит их просить милостыню, и перед ними встанет во всем своем ужасе призрак голодной смерти. Ведь мать уже старая и с больными ногами, а брату Павлу всего одиннадцать лет. Работать они не могут.

«Эх, если бы убежать»,— сверлила мой мозг мысль. Мы проезжали через длинный и высокий Литейный мост. Внизу струились волны; рыбаки закидывали сети; буксир пронзительно свистел и тащил длинный караван барок; маленькие пассажирские пароходы «Финляндского общества» бороздили и пересекали Неву в разных направлениях; по мосту шли пешеходы; со скрипом проезжали тяжело нагруженные возы. Я оглянулся кругом. Но толстый околоток, как бы угадав мое намерение, еще крепче сжал меня рукой. Невозможно было соскочить с пролетки, укрыться за этими возами, смешаться с толпой. Везде на углах улиц стояли городовые, готовые в любой момент притти на помощь околотку.

Вот мы уже свернули на гранитную набережную Невы, мимо дворцов, окаймлявших ее берега. Надежды убежать становилось все меньше. Рука околотка сжимала меня все крепче. Наконец, мы выехали на Гороховскую улицу, к зданию охранки.

«Значит, все кончено,— думал я.— Сомнений больше нет. Я выбыл из строя и, как солдат на поле битвы, взят в плен».

Два здоровенных городовых стояли у под'езда охранки. Несколько шпиков в штатском прогуливались перед зданием. Как только пролетка остановилась, они окружили нас. С любопытством и злорадством смотрели они на меня. Их наглые, нахальные глаза ищеек, продавшихся за деньги царю и капиталистам, как бы говорили: «Ага, попался! Будешь вот возмущать и бунтовать рабочих, тебе припомним забастовки. Теперь ты в наших руках. Теперь мы тебе покажем».

Околоток между тем тяжело слез с пролетки и со словами «надо встать» повел меня в охранку.

Мы прошли проходную комнату, где дежурил отряд городовых, поднялись во второй этаж и вошли в канцелярию. Из-за стола поднялся высокий чиновник с бледным, очень

неглупым лицом, которое портили наглые, бегающие глаза*

— А, наконец-то! — воскликнул он, просматривая бумаги. — Попались-таки! Давно пора! Долго мы за вами следили. Мы все о ваших похождениях знаем.

Я угрюмо молчал.

— Что нашли у него при обыске? — обратился он к околотку, который стоял, почтительно вытянувшись в струнку. — Так, так, — продолжал он, выслушав ответ. — Ну, в седьмой номер его... Ничипоренко, проводи!

В сопровождении двух городовых я направился по коридору. Мы прошли мимо большого зала, слева от коридора, со столами для игры в шашки, наполненного шпиками. Последние, очевидно, в ожидании «работы», продежурив всю ночь, ходили взад и вперед по залу, курили, играли в карты или шашки. В воздухе плавали облака табачного дыма.

Я был введен в крошечную без стола, стула и кровати комнату. Как только захлопнулась за мной дверь, щелкнул запор замка, я почувствовал, что потерял что-то страшно дорогое, главное, без чего нельзя жить, без чего я задыхаюсь, — свободу.

Несмотря на то, что чувствовал себя разбитым, раздавленным, я сейчас же стал обдумывать, нельзя ли убежать. Постучал в дверь.

— Что вам? — спросил отворивший ее городовой.

— До ветру, — отвечал я.

Городовой повел меня по коридору и указал на маленькую дверь.

— Вот нужник, — сказал он.

Я слышал, как удалялись его шаги. Потрогал дверь. Она не заперта. У меня забилось сердце... Я осторожно приотворил ее и выглянул. Приведший меня городовой ждал в углу, а по коридору ходили взад и вперед шпики и жандармы. Нет, убежать нельзя.

Прошло не меньше двух часов после того, как меня снова заперли. Вдруг снова щелкнул замок, отворилась дверь, и меня повели обратно мимо зала с шпиками во внутренний двор, где у кареты ожидал жандармский офицер в светлом офицерском пальто и высокого роста, по виду и выговору украинец, жандармский унтер-офицер. Тотчас открылась дверь кареты. Первый в нее влез жандармский унтер-офицер. Меня посадили рядом с ним. Он обхватил меня сейчас же рукой за талию. Офицер сел напротив. Задернули занавески у окон, и карета покатила, застучала ко-

* У него было большое сходство с фотографической карточкой Зубатова.

лесами по мостовой. Жандармский офицер, молодой человек, лет тридцати, с добродушным лицом, на котором еще не отразился отпечаток позорного ремесла, открыл портсигар, взял папироску и со словами:

— Не желаете ли? — предложил мне.

— Нет, благодарствуйте. Я не курю.

И тотчас невольно вырвалось у меня то, что думал в эту минуту:

— В какое гнусное время мы живем!

Огромный жандармский унтер, очевидно, пораженный моим смелым тоном, удивленно и многозначительно взглянул на меня.

— Почему гнусное? — не менее удивленно переспросил жандармский офицер.

— А потому, — ответил я, — что арестовывают вот таких рабочих, как я. За что? Что я сделал? Разве я преступник? И разве я похож на него? Я не только никого не ограбил, не убил, но вы при всем желании не найдете в моем прошлом ни одного пятна, которое бы вам позволило сказать, что я не честный рабочий. Я стремился лишь к хорошему, к одному хорошему!..

Ничто так не ведет к победе, как беззаветная преданность великим целям освобождения рабочего класса и всего человечества, которому посвятили себя уже павшие в схватках с царизмом поколения русских социалистов. И борьба их, борьба уже погибших привела к тому, что жандармы в царских тюрьмах не всегда могли себе все позволить. Они принуждены были в то время, часто против воли, склоняться перед высокими моральными качествами русских революционеров.

Я невольно вспомнил, как такой же жандармский офицер, еще так недавно, когда меня вызвали в железнодорожное жандармское управление, без всякого повода оскорблял меня и глумился надо мной самым грубым образом. Он мог себе это позволить. Он это понимал и чувствовал. Я тогда был одинок и беззащитен. Теперь уже не то. Теперь я революционер. Я принадлежу к тем, за кем жандармы охотятся, как за зверями, кого хватают, бросают в тюрьмы, но кого боятся и в глубине души быть может уважают. И я видел, как сидевший против меня жандармский офицер не только не осмелился наброситься на меня со свирепой, площадной бранью, а наоборот, заговорил вкрадчивым, ласковым тоном. Заметив, что я стараюсь смотреть в угол окна, оставшийся незавешенным, он отдернул всю занавеску.

— Вы слишком идеализируете наш русский простой люд, — начал он, — и нашего сиволапого мужика. Ведь он

еще почти-что дикарь: он ковыряет пальцем в носу, чешет себе пузо пятерней, сморкается пальцем на землю, говорит: «чаво»; а нашего пьяницу-фабричного, валяющегося в пьяном виде под забором, вы принимаете за каких-то парижских рабочих. Разве можно такому отсталому, почти полудикому народу конституцию дать? Нет, этого никак нельзя!

Я не ответил ни слова. Спорить с ним было неумно и небезопасно. Палачи-застенщики ведь выведывают показания или пыткой да мучениями или выжимают их, притворившись добрыми, ласковыми и вежливыми.

Не отвечая жандарму, молча смотрел я в окно. Карета продолжала катиться. Мы свернули с набережной Невы на длинный, деревянный, тогда лежавший на баржах Троицкий мост и повернули к Кронверкскому проспекту. Я понял, что меня везут в Петропавловскую крепость, о которой и об ужасах, творящихся там, я слышал столько рассказов от рабочих. Я знал от Приютова и от других, что там томятся брошенные в застенки все смелые и гордые, начавшие борьбу за свободу, за освобождение рабочего класса, за установление социалистического строя.

Мы уже въезжали в ворота, над которыми сохранилась старая надпись: «Иоановские ворота», как память жестокости царей, которые в борьбе между собою за престол, т.-е. за право угнетать и грабить русский народ, сажали друг друга в казематы крепости. Я невольно вспомнил трагическую судьбу замореного в застенке Иоанна VI. А карета уже катилась по двору крепости, мимо выбегавших из казарм и строившихся в ряды солдат, мимо Петропавловского собора, где хоронили царей-деспотов, затем влево мимо Монетного двора, рабочие которого равнодушно и вяло проходили в это время через крепостной двор на работу, и повернула направо.

Наконец, карета остановилась перед железной решеткой караульного помещения. Часовой преградил нам путь, но, проверив пропуск, пропустил. Мы прошли по узкому проходу в караульное помещение; там на нарах по обе стороны прохода лежали одетые солдаты крепостного гарнизона, поднявшиеся при виде офицера. Воздух был тяжелый. Густо пахло жильем, избой, «висел топор», как говорит пословица. «Отсюда не убежишь, если приходится проходить через караулку, где не менее двадцати солдат караулят проход»,— явилась у меня мысль. Миновав его, мы очутились перед дверьми тюрьмы. Они открылись с шумом и, как кровожадное чудовище, поглотили меня на долгие месяцы. Продолжая путь по нижним коридорам, я

задрожал при мысли, что меня могут посадить в камеру нижнего этажа. Все они были открыты. Здесь царствовала вечная сырость погреба и полумрак, ибо окна упираются в крепостную стену, из-за чего сюда почти не доходил никогда луч солнца.

Но, к счастью, мы поднялись на верхний этаж, где было более сухо и сравнительно светло. Здесь тоже, видимо, не все еще камеры были заняты. Так, между каждыми двумя занятыми камерами оставалась промежуточная незанятая, с открытой дверью. В одну из свободных камер ввели меня. Вместе с начальником тюрьмы, высоким седобородым (по фамилии Лесник), вошли привезший меня жандармский офицер, два надзирателя и два тюремных жандарма.

Мне бросилось в глаза, что у одного из последних постоянно тряслась голова, как будто ужасы, виденные им здесь, поразили настолько его нервную систему, что вызвали у него эту болезнь. Уже после от известной революционерки, народоволки Людмилы Волкенштейн, переведенной в Петропавловскую крепость из Шлиссельбургской перед отправкой на поселение на Сахалин, я слышал, что это тот самый жандарм, который мучил заключенных, заглядывая в «глазок» их камеры. Его прозвали «Дурным-заглядывателем». Еще от других я слышал, что он так сильно влюбился в одну политическую заключенную, что передавал ей письма с воли. Сообщали, как весьма вероятное, что известие о ее казни на виселице так подействовало на него, что вызвало у него эту болезнь.

Надзиратели, одетые в темно-зеленые мундиры крепостной пехоты, носили при себе ключи от тюремных дверей, отворяли и запирали двери и форточки в камерах. Они караулили заключенных. Жандармы в свою очередь приносили кипяток, обед, ужин, книги, письма и т. д. и разговаривали с заключенными, когда это было необходимо. На их обязанности лежало следить, чтобы «птица в тюрьму не пролетела, чтобы ни одна весть не донеслась с воли к заключенному».

Кроме железной кровати, вделанной наглухо в пол, с двумя матрацами, соломенным и волосяным, и железного стола перед ней, тоже неподвижно торчавшего из стены, никакой другой мебели в камере не полагалось.

Войдя в камеру, которая должна была надолго стать моим жильем, движимый желанием отдохнуть, я машинально сел.

— Встать! — тихо и строго сказал начальник тюрьмы. — Вы не у себя дома. Здесь не гостиница. Здесь тюрьма. Вы

теперь арестант. И по тюремным правилам вы не имеете права сидеть, вы должны стоять перед начальником тюрьмы. Снимите свою одежду. Вам дадут все казенное.

Как только я разделся и стоял голый перед ними, один из жандармов и надзиратели начали внимательно осматривать мою одежду и сапоги, разыскивая, не спрятано ли там что-нибудь вроде записки, куска карандаша, пилки для перепиливания тюремных решеток. Двое других внимательно осмотрели меня всего с головы до пят — мои волосы, рот и т. д. Один из них, схватил меня необыкновенно ловко, перевернул совершенно неожиданно для меня ногами кверху и внимательно осмотрел, не скрываются ли в том месте, на котором сидят и которое он быстро ощупал, какие-либо из вышепоименованных «опасных» предметов. Только после такого тщательного телесного осмотра мне отдали приказ:

— Оденьтесь во все казенное!

Как только я одел белье, чулки, огромные стоптанные туфли и синий заношенный халат, бывшие все не по росту и валившиеся с меня, я тотчас почувствовал себя уже ошельмованным в этой тюремной одежде и всей обстановке. Начальник тюрьмы, став в позу и подняв правую руку, строго произнес:

— Здесь крепость, тюрьма. Вы здесь арестант. Здесь правила: громко не говорить, не стучать, не шуметь, не свистеть, не петь, на стенах не чертить, в книгах из библиотеки не писать. За нарушение этих правил — взыскание: лишение книг, свиданий, переписки с родными, прогулок. Если этого окажется мало, и вы будете продолжать нарушать правила, мы применим карцер, смирительную рубашку, кандалы и так далее. Надеюсь, что вы будете вести себя здесь хорошо и не доведете до этого! До свидания!

— До свидания, — ответил я скорее машинально; и после того, как за ними с шумом и грохотом захлопнулась дверь и затихли их шаги в глухом коридоре, меня охватила та гнетущая могильная тишина тюрьмы, которой так отличалась Петропавловская крепость.

Я еще долго стоял, как в столбняке, и смотрел, не спуская глаз, на запертую дверь, на форточку в ней, через которую подавали заключенным пищу, на «глазок» вверху, через который стража наблюдала за заключенным, — я стоял пораженный и ошеломленный всем происшедшим со мною.

Вскоре я почувствовал, как потянулось здесь время страшно медленно, томительно, однообразно. Каждая минута казалась часом, час — вечностью. И вдруг мне представилось, что уже давно, очень давно я стою и изнемогаю

от усталости в этой, похожей на погреб, со сводообразным потолком камере.

Я начал быстро бегать, метаться по камере. Но вскоре мною овладела сильнейшая усталость. Напряженная нервная жизнь, которую я вел последние два года, особенно последние месяцы во время всеобщей стачки ткачей, ночи без сна, революционная работа, упорное чтение книг, тяжелая работа на заводе, плохое питание, — все это сказалось в этот миг. Я бросился было на кровать, но заснуть не мог. У меня шумело и звенело в ушах, и из головы не выходила мысль о тех, кто остался на воле, продолжал борьбу, оставался на трудном посту революционера. Чувствуя, что я не засну, несмотря на усталость, я поднялся с кровати и стал осматривать камеру.

Первым долгом я подошел к стене, где почти под самым потолком было пробито небольшое окно с толстой железной решеткой. Через него виднелись толстые, массивные верхи крепостной стены, которая была много выше окна. Но смотря снизу вверх, через окно, все-таки можно было видеть клочок серо-голубого неба. Там, высоко-высоко вверху бежали облака. Там, в этом серо-голубом просторе реяли ласточки, быстро разрезавшие воздух крылом. Там пролетали голуби, галки и неуклюже хлопали крыльями вороны. Оттуда доносились, хотя и неясно, звуки жизни. Там воля, свобода, простор!..

Отраженные от крепостной стены лучи солнца светились в виде ярко золотистого пятна на стене камеры. В решетке паук раскинул свою сеть. Слышно было, как беспомощно жужжала попавшая в паутину муха. Мне стало ее жаль, явилось желание ее освободить: она ведь тоже узник. Но окно было слишком высоко. Я поднялся на цыпочки. Нет, не достать. Тогда я начал подпрыгивать, чтобы ухватиться за решетку. Но вдруг я почувствовал, что на меня сзади смотрят. Оглянувшись, заметил человеческий глаз в «глазке» тюремной двери. Тотчас же с грохотом, от которого я весь вздрогнул, застучал засов отворяемой форточки и раздался строгий окрик жандарма:

— Это что такое? Прыгать у окна нельзя. Иначе переведем в темную камеру!

Сознание, что за каждым моим шагом наблюдают, еще более усилило во мне тяжелое чувство. Я не пытался более прыгать у окна. Оно все равно было очень высоко. Любоваться же клочком неба днем, когда все сияет в лучах солнца, и ночью, когда в темно-голубой и почти черной бездне вверху мигают и искрятся звезды, когда земля вре-

менами тонет в волнах волшебного лунного света, сделалось единственной радостью моей жизни.

Потекли томительные часы и дни. Каждые четверть часа громко били крепостные часы, нарушая могильную тишину, каждый час они наигрывали мелодию «Коль славен». Звуки боя этих часов, эта мелодия производили убийственное впечатление на заключенного. Как будто нарочно их придумали, чтобы сделать пребывание заключенного в тюрьме еще более тягостным, чтобы время тянулось там для него еще томительно-медленней. Я не выносил этого боя часов. Но зато, когда форточка в окне была открыта, я упивался звуками, доносившимися с воли. Звонки конки, гудки буксиров, крики и возгласы матросов, управлявших барками и плотами, — я ими заслушивался. Ночью, когда воцарялась тишина, моему обостренному слуху казалось, что я даже слышу, как плещет речная волна у крепостных стен, стремясь дальше на запад, в Финский залив и Варяжское море.

Отдавая себе отчет во всем, что произошло во время обыска, ареста, поездки в охранку и из охранки в крепость, я сказал себе:

— Будь настраже. Остерегайся. Ты один, совершенно один, среди лютых врагов, которых много. Они — эти враги рабочего класса — страшно хитры, смотри в оба. Не проговорись. Не плошай. Они пойдут на все, чтобы выведать от тебя все, что можно.

И тотчас в моем воображении как наиболее стойкие товарищи, которые не выдадут, на которых можно положиться, которые будут держать себя на допросах твердо, как скала, предстали т.т.: В. Приютов, Е. Иогансон, А. Ергин и другие и мгновенно при мысли о них вдруг выплыло, как из тумана, красивое лицо Иогансон, и я вспомнил ее слова о гордом, смелом человеке, которого не устрашат все ужасы, творящиеся в тюремных царских застенках.

ДОПРОС

Тяжелые условия на заводе, у станка, отравленный металлической пылью и спертый воздух душной мастерской так влияли на меня, что я обычно терял аппетит. Наоборот, при безработице, когда я проводил много времени на воздухе в поисках работы, он у меня усиливался. Но по иронии судьбы большей частью это имело место в такое время, когда у меня денег не было и приходилось жить впроголодь. Кроме того великорусский рабочий и крестьянин питались в то время однообразнее и хуже,

чем его собратья на юге России. Все это усугублялось неумением моей матери хорошо приготовить то или иное блюдо. Котлеты и другие тому подобные кушанья я видел, лишь проходя мимо окон ресторанов, когда ими обжирались богатые.

Немудрено, что тюремная пища Петропавловской крепости оказалась много лучше той, которая была в то время доступна питерскому рабочему. Суп приносился во много раз вкуснее тех щей, которые приготовлялись моей матерью, а две плававших в жиру котлеты так подействовали на меня, что, лишь только я сдал жандарму обеденную посуду, как тотчас же почувствовал непреодолимую потребность ко сну. Эта сытная пища так влияла на мой истощенный организм, что почти каждый раз после обеда я как бы пьянел и не мог противиться охватывавшей меня потребности заснуть: голова сама собой склонялась на подушку.

Однажды я заснул так крепко, что совершенно не слыхал, как растворилась с обычным шумом дверь и как жандарм громко сказал:

— Встать! Встать!

Проснулся лишь тогда, когда он, устав, наконец, кричать, взял меня за плечо и стал трясти изо всей силы. С трудом поднявшись в полусне и услышав: «пожалуйте», я машинально, спросил:

— Куда это?

Не получив, как всегда, ответа, я зашагал, как в полусне, за надзирателем, придерживая полы халата, чтобы они не волочились. В голове у меня шумело; нервы напряжены, как струны. Шествие замыкал жандарм. В совершенно противоположном углу тюрьмы, в дальнем ее коридоре, в такой же камере, как моя, за столом с зеленым сукном сидел товарищ прокурора Кичин и жандармский полковник Шмаков. Первый носил бороду и очки; ему было на вид года тридцать два; на лице и в глазах лежал отпечаток хитрости. Второй — пожилой, уже седой, лет 55. У него было широкое лицо и лоб и серые злые глаза. Он не ответил на мой поклон, когда я, входя, сказал: «Здравствуйте».

Сразу стало не по себе под его внимательным тяжелым взглядом. Мне казалось, что он хочет загипнотизировать, подчинить во что бы то ни стало своей воле. Я тотчас же почувствовал в нем заклятого врага рабочего класса. И я не ошибся. Это был тот самый Шмаков, о котором вспоминает в своей брошюре т. Бахарев *, как об ученике прокурора варшавской судебной палаты Широда. Он замучил не одного революционера. Не отрывая своего взора, в ко-

---

* Бахарев. «Как себя держать на допросе».

тором сквозила жестокость и безграничное презрение ко мне, как к низшему существу, как к рабочему, он, видимо, изучал меня. Начало не предвещало ничего хорошего.

— Ну, держись! — сказал я себе и, посмотрев на того и на другого, приготовился к сопротивлению.

— Здравствуйте, Александр Сидорович, — начал Кичин своим приторно вежливым голосом, пронизывая меня своими хитрыми глазами, — садитесь, пожалуйста. — Он указал на кресло.

У себя дома я знал до этого лишь обыкновенные стулья и табуреты. На заводе, когда мастер не наблюдал за рабочими, я отдыхал на простом, жестком полене. Это показавшееся мне роскошным обитое кожей мягкое кресло, виденное мною в первый раз в жизни, внушило мне какое-то подозрение; я невольно усмотрел скрытую западню.

Сидя в нем в арестантском халате, под ехидным взглядом Шмакова и хитрым взглядом Кичина, я старался быть настраже, ибо видел перед собой царских опричников, ненавидевших революционеров. Допрашивал Кичин. Это был типичный чиновник. Шмаков молча давил меня тяжелым, мрачным взглядом. Начался допрос:

— Ну, скажите нам, — начал опять Кичин, — вы знаете, в чем вы обвиняетесь?

— Нет, не знаю, — ответил я, стараясь придать себе наивный, даже равнодушный вид, — понятия не имею, за что меня взяли.

— Вот как? Вы не знаете? — говорит он, переглядываясь со Шмаковым. — Ну, мы вам скажем. Вы обвиняетесь в тяжелом государственном преступлении — в принадлежности к партии «Народная воля», в участии в создании запрещенной типографии и в принадлежности к «Союзу борьбы», в распространении преступных прокламаций, вызвавших забастовку ткачей. Признаете вы себя виновным?

— Нет, не признаю, — ответил я.

— Так-с, — процедил Кичин, — виновным, значит, себя не признаете. Так-с. Ну, а Ергина вы, конечно, знаете? Это вам нечего скрывать! Вы знаете также Приютова и Екатерину Иогансон?

— Нет. Этих лиц я совершенно не знаю и в первый раз о них слышу от вас.

— Как? Вы не сознаетесь? Вы все это отрицаете? Да ведь нам все известно: как вы познакомились с Михаилом Тулуповым в вечерней технической школе и как через него затем с Василием Приютовым и как вы вступили в партию «Народной воли». Ведь нам все про вас известно! Напрасны,

напрасны ваши уловки! Согласитесь сами, это даже ведь глупо!

— Нет, все это я слышу в первый раз. Я понятия не имею ни о партиях, ни о типографиях, ни об этих лицах. Я их не знаю!

— Ха, ха, ха, он не знает! Он не виновен! — захохотал Кичин.

— Но позвольте, — прервал я его. — Могу я узнать, кто вы и как вас зовут?

Мой вопрос и нотки решимости, зазвучавшие в нем, видимо, не понравились ни тому, ни другому. Лицо Кичина сделалось еще более хитрым и злым. Шмаков молчал. Но его молчание не предвещало ничего доброго.

— Что же, я вам скажу, — продолжал он. — Вот господин полковник Шмаков — следователь, ведущий ваше дело, а я — императорский прокурор Кичин — «око царево!». Придется нам, видно, вас помариновать здесь в крепости. Вот посидите еще здесь, тогда заговорите с нами иначе!.. Пишите!

Когда я записал, что виновным себя не считаю и вышеупомянутых лиц не знаю, Кичин сказал:

— Можете итти!

Я поднялся с кресла и направился к двери.

— Стойте, — произнес повелительно и резко неожиданно для меня Шмаков, хранивший до этого молчание. — А скажите-ка нам, где вы встречались в последний раз с Екатериной Иогансон: на Лахте, в типографии или на старой квартире, где раньше, как вам хорошо известно, помещалась типография, на Крюковом канале?

Вопрос был убийственен. Он был как бы рассчитан на то, чтобы дать мне понять, что жандармам известно действительно почти все.

— Я же вам сказал, — ответил я Шмакову, внутренне задрожав при его вопросе, — что я не знаком с этой особой, как не знаком и с другими. Я понятия не имею о типографии.

— Да полно вам отпираться. Ведь типография, то-есть «Тетка», как вы ее называли, арестована на Лахте.

— Я первый раз слышу о типографии и об этих лицах, о которых вы меня спрашиваете. Это, очевидно, недоразумение.

Мне бросилось в глаза, как вдруг исказилось злобой лицо Шмакова. Он, потеряв терпение, топнул ногой, отчего громко зазвучали его шпоры, и закричал:

— Так знайте! За ваше упорство я не дам вам свидания с матерью, которое она просила. А вы раскаетесь после!

Ведь вам грозят или каторжные работы лет этак на двадцать или даже виселица.

— Слушайте, Александр Сидорович, — снова начал Кичин, — вы ведь хорошо поняли, что нам все известно о вашей деятельности, вам бесполезно упорствовать. Нам жаль вас, я предлагаю вам сознаться. Ведь вы не старик, которому уже нечего терять, вы молодой; перед вами целая жизнь; зачем же вам запирать себя под тюремными сводами.

— Нет, нет, я ничего не знаю и о типографии ничего не слыхал.

— Ну, как хотите, мы же вам хотели добра. Тем хуже для вас. Запомните это. Можете итти,— сказал мне Кичин.

Я встал с кресла. Почтительно, на вытяжку из уважения перед начальством стоявшие и ждавшие у дверей в коридоре жандармский унтер-офицер и надзиратель повели меня обратно в камеру.

Вернувшись в нее, я долго никак не мог успокоиться.

Я проверял себя, не сказал ли чего лишнего. Вспоминал, не дрогнуло ли у меня лицо в то время, когда Кичин и Шмаков задавали мне вопросы, и не выдал ли я этим себя? Я совершенно не был доволен собой. Казалось, что плохо держался на допросе. Вне себя я бросился ходить из угла в угол, почти бегать, как раненый зверь. Итак, им, похоже, все известно. Типография арестована. Приютов, Иогансон и другие тоже арестованы. Это ужасно!.. И все сверлила в голове мысль, хорошо ли я держался на допросе. А вдруг я в чем-нибудь проговорился? Может, они догадались по выражению лица, по глазам. Они так упорно смотрели мне в глаза. О, их глаза! Глаза Кичина — это глаза хитрой змеи. А холодно-тяжелый взгляд царского опричника Шмакова? О, эти жестокие царские палачи! «Око царево», как сказал Кичин. И если даже первая атака отбита в этом неравном поединке, это не значит, что можно успокоиться,— наоборот, мне необходимо, как гарнизону осажденной крепости, готовиться к новым нападениям и помешать попытке взять меня измором.

«ДОШКУРИМ»

Я продолжал сидеть в Петропавловке. Тянулись дни за днями однообразно и тоскливо. Я начал терять им счет. Чтобы не забыть, сколько времени я сижу в тюрьме, я стал ставить маленькие черточки на стене. Но жандармы, следившие за мной в глазок, заметили это и стирали их.

На воле я много бегал из одного конца города в другой. Привыкнув к движению, чувствовал, как постепенно гнетет тюрьма и ее могильное безмолвие. Ее убивающее влияние сказалось в том, что я стал как будто постепенно, медленно, все больше тупеть. Напряженное состояние, в котором я находился, как затравленный зверь, действовало на нервную систему, как сильно действующий яд. При внезапно раздававшемся треске, стуке двери я невольно сильно вздрагивал. Охватывал ужас, что я опять увижу ненавистно-наглое лицо Шмакова, его синий мундир, жандармский шнур, увижу его входящим со звяканьем шпор, как олицетворение безжалостно-жестокой царской власти.

Когда внезапно отворялась дверь и ко мне обращались с вопросом, я начинал впадать в своего рода столбняк и ловил себя на том, что не мог уже так быстро и скоро, как раньше, отвечать на вопросы.

По мере того, как я продолжал сидеть, толстые и жесткие мозоли с моих рук сошли, и руки стали мягкими, как будто я никогда не знал физического труда. Следуя привычке рабочего, я вставал рано, часов в шесть утра, пил чай, много читал книг, получаемых из тюремной библиотеки. Что-то надоумило меня заниматься гимнастикой.

Так как я продолжал чувствовать после обеда потребность ко сну, то понемногу натолкнулся на мысль: а что, если они, аспиды, мне сонного порошка подсыпают? Раз возникшее подозрение росло и переходило в уверенность. Так как после мяса меня непреодолимо одолевал сон, я решил, что именно в него тюремщики подсыпают снотворные порошки, и стал оставлять его нетронутым.

— Почему вы не едите мяса? — спросил меня однажды начальник тюрьмы. — У нас офицерский стол, и я лично наблюдаю, чтобы все было хорошо и вкусно приготовлено.

— Я вас очень прошу не давать мне мяса и заменить его лишним фунтом хлеба. Я привык к нему. Эта — пища рабочих, а мясо мне не по вкусу!

Начальник тюрьмы был очень удивлен этой просьбой. Порцию хлеба мне увеличили, от мяса я продолжал отказываться. Перемена пищевого режима привела к тому, что меня не стало до такой степени клонить ко сну после обеда, как раньше.

Вскоре после допроса один молодой жандармский офицер и врач подвергли меня новому осмотру и произвели так называемое антропометрическое измерение. Это лишний раз подтвердило, что мое положение довольно серьезно и что жандармы еще, наверное, долго продержат меня за решеткой. Несмотря на это, во мне жила какая-то надежда,

что двери тюрьмы раскроются и что я скоро увижу свободу.

Первый месяц заключения прошел, сравнительно, легко. Но следующие стали отражаться очень тяжело на мне. Тюрьма разрушает и тело и, особенно, психику арестованного. Но я, стараясь не поддаваться губительному влиянию одиночного заключения, продолжал много читать. Я поражался плохим состоянием выдаваемых мне книг: целые слова, целые строчки, не говоря об отдельных буквах, были безжалостно вытерты чьим-то пальцем; не только не видно было букв, слов, но бумага была протерта почти насквозь. Скоро я догадался, что это прежние заключенные революционеры, может быть еще эпохи 70-х и 80-х годов, вели переписку через книги, ставя над буквами точки, и жандармы не находили никакого другого средства с этим бороться, как портить великие произведения Гоголя, Пушкина, Тургенева, Шекспира и так далее.

Полковник Шмаков, между тем, не оставлял меня в покое. Он появлялся на пороге камеры всегда, как казалось, в такие минуты, когда я меньше всего его ожидал. Приходил без церемонии один, не в сопровождении товарища прокурора, как это требовалось по закону. Не здороваясь, гордо выпятив грудь, увешанную орденами, громко звеня шпорами и вперив в меня свои серо-стеклянные тяжелые глаза, он прямо приступал к делу.

— Ну, что, — начинал он по обыкновению, — теперь вы скажете или нет, что вы знаете о Приютове, о Купцове, о Косолобове, о Тулупове, Е. Иогансон и так далее?

После того, как я отвечал: «Нет! Не знаком! Не знаю!», к нему на помощь приходил начальник тюрьмы Лесник. Он распространялся на ту тему, что жандармы жалеют меня, зная, что признанием я улучшил бы свою участь, что упорством, наоборот, я ее лишь ухудшаю.

— Да и к чему вся эта пропаганда, эти листки, этот социализм? Россия — страна настолько молодая, что совсем не доросла ни до конституции, ни, тем более, до социализма. Все это на пользу врагам России, англичанке, которая нам гадит и орудием которой являются все эти социалисты. Россия — страна особая. В ней народ кровно связан с «батюшкой-царем»! Если вы русский — а вы русский — вы должны желать счастья России. Россия без царя не может существовать, вы должны это понять, и отсюда само собой вытекает, что вы обязаны все нам рассказать и во всем откровенно признаться! Ведь вы участвовали в организации Лахтинской типографии на Крюковом канале? Ведь вы же знакомы с А. Ергиным, Иогансон, Катанской, Прию-

товым, — напирал на меня вслед за ним Шмаков, — что вы на это скажете?

— Я скажу, — ответил я, однажды, потеряв терпение, — что все это наглая ложь: ни в какой типографии я не работал. В организации ее я не принимал участия. Лиц, которых вы упомянули, я совершенно не знаю. Говорю я это вам раз навсегда и прошу меня оставить в покое!

— А, вот как! — вскричал Шмаков. — По-вашему, это ложь! Значит я, прослуживший верою и правдою государю-императору тридцать лет, я лгу? Но это наглость! Какой-то мальчишка, неуч, рабочий, не умеющий связать двух слов, осмеливается мне говорить, что это ложь. О, это вам даром не пройдет! Ваша мать все время просит у меня свидания с вами, но свидания вам я не разрешу, пока это дело в моих руках. А вас в наказание на первый раз лишаю права получать книги. Знаем мы вас! Мы вас д о ш к у р и м!

— Что это значит «дошкурим»? — переспросил я.

— Это глагол такой. Это значит, как посидите в этих стенах без книг, без свиданий месяцев восемь или с год, тогда запоете вы не так, не тем голосом... Знаем мы вас! Все вы первое время ершитесь. Все вы гордые первые месяцы. А через месяцев восемь, через годик, все вы делаетесь шелковые и покорные. Спесь-то мы с вас умеем сбить!

И щелкнув шпорами, еще более выпятив грудь, он вышел из камеры. На его лице царского палача отражалась уверенность, приобретенная долгим опытом тюремщика, что ему наверное удастся, как он говорил, «дошкурить» врага царя. Через минуту снова отворилась дверь. Молча вошел жандарм-трясучка и также молча взял со стола и унес книгу. Без чтения книг время стало тянуться еще томительнее. Единственным удовольствием оставались прогулки на тюремном дворе, кругом тюремной бани. Я брал с собой кусок хлеба и бросал голубям и воробьям, которые здесь не боялись людей, бегали по двору, ворковали, чирикали и клевали у самых ног крошки хлеба. Жандарм и гарнизонный сидели, покуривая трубки, на тюремном крыльце, не спуская с меня глаз. Я быстро ходил кругом пятиугольного двора, бросал голубям и воробушкам кусочки хлеба и старался надышаться свежим воздухом. А из-за тюремных стен доносились во время прогулки звуки жизни большого города, казавшиеся какими-то особенно заманчивыми. Звонки конок, пароходные свистки, крики продавцов-разносчиков, говор толпы, стук пролеток и непрерывный шум большого города — все это говорило о другой, увлекательной жизни на воле.

Возвращаясь с прогулок, длившихся не более 5—10 минут, я замечал, что отворенных камер становилось все меньше.

Скоро все они оказались закрытыми. Это означало, что число невольных обитателей этого мрачного места увеличилось. Значит, были новые провалы, новые аресты или в самом Петрограде, или в других местностях России.

БИБЛИЯ

Я был одинок. У меня не было невесты, любимой девушки. Никто не тосковал обо мне за стенами тюрьмы, кроме моей матери. Она являлась единственной связью с внешним миром. Жандармы выполнили свою угрозу: мать, все время мною ожидаемая со дня ареста, не получила ни одного свидания со мной. Я попросил разрешения написать ей письмо.

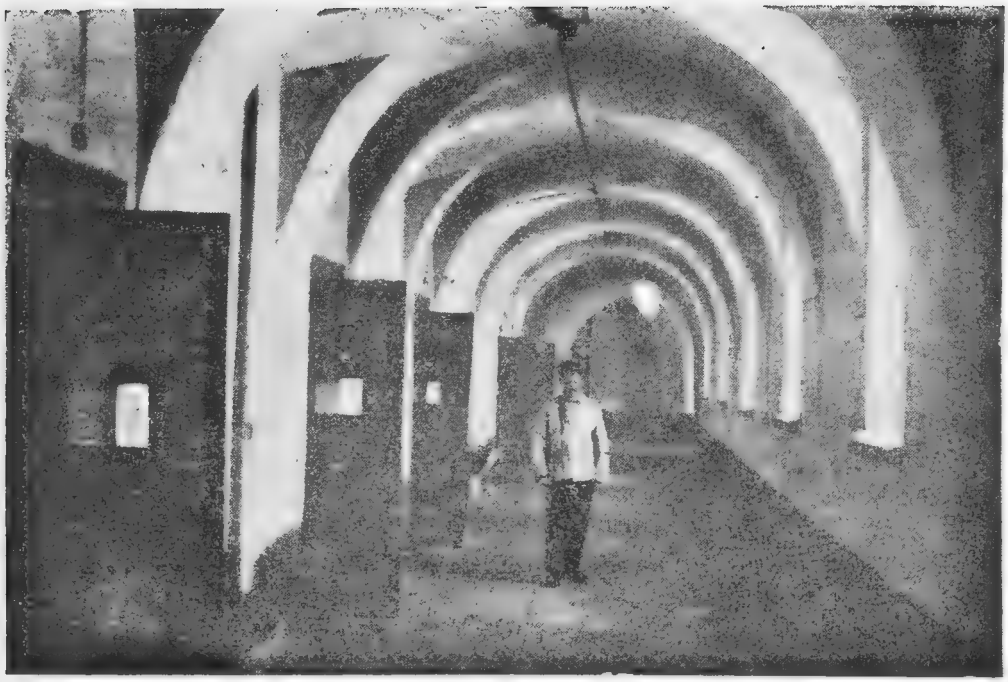
«Моя милая, дорогая мама, — писал я, — после ареста я был перевезен в Петропавловскую крепость. Здесь, в одиночном заключении, я нахожусь до сих пор. Я знаю, что для тебя этот арест и его последствия — все это очень тяжело. Я был единственной для тебя опорой. Мой заработок на заводе был единственным источником твоего существования. Но я не перестаю думать о вас. Милая мама, тебе нужно будет пойти на Санкт-Петербургский металлический завод на Выборгской стороне, где я работал, ты получишь жалованье. Возьми его себе. Тебе хватит на известное время. Мне ничего не посылай. Мне ничего не нужно. Кланяйся Павлуше. Я очень люблю мою дорогую маму. Пиши. Проси свидания со мной.

Саша».

Получен был ответ: «Милый Саша, — писал мне брат Павел под диктовку матери, — мой милый, мой любимый Саша! За что наказал меня бог? Я не могу забыть тебя и я не перестаю плакать. Мне кажется, что я ослепну от слез и горя. Я получила на заводе твое жалованье. Но я должна была уплатить то, что задолжала, и у меня осталось всего денег на неделю, не более. Из комнаты, где мы живем, хозяин квартиры нас выгнал. Я не могла платить. Я переселилась в грязный сырой угол. Я не знаю, что будет со мной и Павлушей. Придется, видно, просить милостыню. Очевидно, бог наказал за грехи. Молись ты господу-богу, авось он смилостивится и нас и тебя не оставит. Я прошу свидания с тобой, но мне его не дают. И мне сказали, что ты так плохо ведешь себя, что мне его никогда не дадут.

Твоя мать».

Письмо это разорвало мое сердце. Царевы палачи бросили меня в тюрьму, меня, рабочего, восставшего против старого



Вверху: корридор тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.
Внизу· Вход в тюрьму Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

гнета. Освободившись от власти попа, я попадал теперь в цепкие лапы жандарма. Но старая больная мать рабочего, единственным кормильцем которой он был, и его одиннадцатилетний брат обречены на ужас нищеты и на голодную смерть!

«Опять этот ненавистный бог, на которого ссылается моя мать, — думал я, — но он ей не помогает; она и мой брат Павел осуждены на все ужасы нищеты». У меня обливалось кровью сердце при мысли, что они гибнут, что положение их безнадежно, что оставленные на произвол судьбы они находятся на краю пропасти. Я не мог успокоиться от этой гнетущей мысли и быстро бегал по камере под впечатлением известий от матери. Сумерки тем временем все больше сгущались. Становилось темно. Но еще мрачнее становилось у меня на душе. Меня охватили тоска и отчаяние. Стало особенно душно, как в могиле, под каменными сводами... Эти стены давят будто тисками. «Разве покончить с собой?» — является мысль. Но в стенах тюрьмы нет ни гвоздя, ни крючка. Окно и решетка высоки. Нельзя прицепить петлю. Начальство тюрьмы, зная, какое настроение может охватить заключенного, не дает ему ни ножа, ни вилки. И для супа и для мяса, разрезанного на куски, дается лишь одна деревянная ложка. Нет ни осколка стекла, ни черепка посуды. Остается удариться головой об стену. В отчаянии, охватившем меня, с разбегу, с размаху я бросаюсь головой об стену и падаю бессильно на пол.

Когда я пришел в себя, я лежал на полу с тупой болью в голове. Высоко надо мной в окне виднелась узкая полоса темно-синего неба. Уже зажглись вечерние звезды. Они мигали, искрились, как бы улыбаясь мне сверху, говорили:

— Что значит твое горе по сравнению с огромным горем и ужасными страданиями миллионов угнетенных рабочих. Ты погибнешь за великую идею в гнилой тюрьме! Твоя мать и твой брат умрут с голоду! Но дело, за которое ты борешься, освободит миллионы страдающих и гибнущих в нищете. Оно собьет с них оковы рабства, утрет слезы миллионам матерей рабочих, разрушит тюрьмы, уничтожит братоубийственные войны. Подымись! Встань крепко!

И опять я поднялся с прежней и еще большей ненавистью к царю с его министрами, к буржуазии, к крепостникам-помещикам, ко всем богатым и счастливым, к попам — этим служителям лжи.

На другой день я вздрогнул от потрясшего всю тюрьму выстрела с крепостной стены. Один за другим раздались с крепостных батарей сто один выстрел по случаю какого-то торжества во дворце. Вся тюрьма дрожала от них, а я,

слушая их, посылал проклятье рабочего, брошенного в эту тюрьму, царю-палачу, капиталистам, помещикам, попам, всем богатым! О, будьте вы прокляты!

Через несколько дней, придя с прогулки, я нашел у себя на столе библию и житие святых.

— Строптивым арестантам, — об'яснил мне вошедший в этот день в камеру ротмистр, новый начальник тюрьмы, — по тюремному уставу полагается выдавать для чтения здесь лишь книги духовного содержания. Но если вы исправитесь, — добавил он, — и дадите показания, мы вам начнем выдавать и светские книги.

Это был молодой жандармский офицер, по фамилии Подаревский *, сменивший старого Лесника. У него была наружность фата: выхоленные руки, не знавшие мозолей, нафабренные усы. Он мне показался не совсем далеким. Поскольку я как-то невольно смущался в присутствии старого полковника Шмакова, перед этим хлыщом я чувствовал себя смело. Я его возненавидел с первого взгляда. Слишком он напоминал того барина, которого так привык ненавидеть русский рабочий и крестьянин. Я почувствовал в нем врага, и не напрасно.

От томительной скуки, овладевшей мной, я принялся вновь за чтение книги, которая вызывала у меня в то время чувство омерзения. Ведь это была та самая книга, которая оправдывала рабство и освятила насилие над бедными и угнетенными. Она враждебна нам, рабочим, как враждебны нам и другие произведения жрецов-попов. Но для борьбы со старыми предрассудками, в которых коснеют массы, ее надобно нам, рабочим, прочитывать и даже изучать.

Религия, какая бы она ни была — наша православная, иудейская, римско-католическая, магометанская, — пошла на службу к капиталистам. Она является в их руках своего рода уздой для управления массами угнетенных.

Но помимо небылиц и сказок, опровергаемых современной наукой, вроде басни о сотворении мира богом и т. д., в библии есть кое-что, подтверждающее революционное учение К. Маркса. Читая ее, вы видите, как с изменением экономических условий менялась и политическая надстройка у евреев. Пока они являлись пастухами-скотоводами, у них не было царской власти. Но как только они осели на землю и стали вести войны, у них явились цари. Тотчас религия и ее служители попы-раввины явились им на помощь. Они

---

* По словам Александры Львовны Катанской, он был изгнан из одного гвардейского полка за растрату казенного имущества. После этого начал карьеру жандарма.

совершают помазание царя на царство, то-есть на грабеж народа.

Бросается в глаза, что все эти святые патриархи и благочестивые библийские цари с точки зрения современной морали могут быть рассматриваемы лишь как обманщики, подлецы и преступники. Святой царь Давид, псалом которого намекает на то, что он был повидимому заражен сифилисом, вероломно убивает своего генерала (военачальника), чтобы овладеть его красавицей-женой. Его сын, Соломон, представляет собой образец развратника и торговца рабами, у которого было несколько тысяч женщин-рабынь, томившихся в гаремах. Святой патриарх Иаков надувает своего брата и отца, чтобы обманом получить первородство. Святой патриарх Авраам, придя в Египет и зная, что его красавицу-жену будут насиловать развратные богатые египтяне, не только не является рыцарем своей жены, готовым умереть, защищая ее честь и жизнь, но сам, чтобы спасти свою подленькую жизнь, подговаривает жену отдаваться богатым египтянам и себя называть не женой, а его сестрой.

Авраам в Египте не только спас свою жизнь, отдав жену в любовницы властителю Египта, фараону, но нажил на этой сделке капитал и утешался в отсутствии жены, по всем данным, рабынями, что видно из следующего отрывка из библии:

«10) И был голод в земле той и сошел Авраам в Египет пожить там. 11) И было, когда он подошел близко к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Я знаю, ты женщина прекрасная на вид. 12) И когда египтяне увидят тебя, то они скажут: это жена его и убьют меня, а тебя оставят в живых. 13) Скажи же, что ты сестра моя, чтобы мне хорошо было из-за тебя. 14) Увидели ее вельможи фараона и взята была эта женщина в дом фараона. 15) Аврааму он сделал добро из-за нее. Был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни».

Подобные библейские повествования вроде вышеприведенного рассказа о любовных приключениях еврейской аристократки, жены Авраама, в Египте поучительны тем, что, отражая в себе невысокую мораль господствующих классов, они ни в коем случае не могут послужить историческим документом, подтверждающим, что библейские патриархи и великие святые, как например Авраам, Исаак, Иаков и даже основоположник иудейской религии Моисей в действительности когда-либо существовали на земле. Библия интересна тем, что она представляет собой книгу, каждому слову которой миллионы верующих в течение веков верили, как в непогрешимую истину, но которая на самом деле наполнена многочис-

ленными вставками, исправлениями текста, грандиозными подлогами и рассказами о легендарных никогда не существовавших лицах. Так, по мнению знатока еврейской истории Велльгаузена, ряд библейских книг, приписываемых перу Моисея, жившего по библии в 1250 году до нашей эры, как «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», написаны какими-то неизвестными авторами и много позднее, т.-е. около 537 г. до нашей эры, после возвращения из вавилонского плена. В это время библия подвергалась особенно большим переделкам и подлогам. Что заставило еврейских интеллигентов-патриотов, уведенных в VI века до нашей эры халдеями в Вавилон, решиться на такую меру? Они испугались, что иудейский народ, оставленный халдеями в Палестине, испытает на себе судьбу Израильского царства, которое перестало существовать как нация после того, как ассирийцы увели в плен в VIII веке до нашей эры верхушку израильского народа. Еще в Вавилоне, где иудеи подпали под влияние высокой вавилонской культуры, для национального возрождения Иудеи еврейские патриоты задались целью создания совершенно новой религии по вавилонскому образцу. Эта затея после возвращения из плена увеньчалась полным успехом. Более возвышенное представление о боге, легенды о сотворении мира, о блаженстве в раю, о грехопадении и изгнании из рая, о всемирном потопе, о Вавилонской башне и даже обычай празднования субботы — все это, приписываемое библией Моисею, на самом деле заимствовано спевшейся кучкой иудейских раввинов-патриотов из Вавилона. После вавилонского плена, можно сказать, библия была написана заново.

В это же время очень талантливым автором были подделаны книги пророка Исаия. Оставшегося неизвестным этого писателя-подделывателя Ю. Велльгаузен называет «великим анонимом». Интереснее всего то, что иудейским попам удалось созданную таким образом новую иудейскую религию выдать за древнюю еврейскую религию, забытую по склонности людей к греху. Старую же еврейскую религию, священную тысячелетием, им удалось при помощи государственной власти об'явить за сравнительно недавнюю ересь, за опасное заблуждение, заимствованное иудеями у соседей-язычников. Сфабрикованная таким образом на обмане и подделке текста священного писания, вынесенная из Вавилона, содержащая сказания о никогда не существовавших легендарных личностях вроде пророка Даниила и самого Моисея и привитая при помощи насилия новая религия сохранилась среди верующих иудеев до сих пор.

Известно, что из иудейской религии родились, как от од-

ной матери, христианская и магометанская религии. Обе они, как две вонючие реки, вытекают из одного сомнительного источника. Поэтому священное писание христиан и магометан страдает теми же недостатками. Например, исторической наукой установлено, кто ни одно из евангелий, ни одно из других ранних христианских сочинений не принадлежит современникам Христа. Выяснено, что только очень немногие из ранних христианских сочинений принадлежат перу тех авторов, которым они приписываются, обнаружено, что написаны они на самом деле гораздо позднее той даты, которая значится на них, и что первоначальный текст их искажался иногда самым грубым образом. Если патриархи Авраам, Исаак, Иаков и даже Моисей считаются легендарными личностями, то и существование личности самого Христа историк Эдуард Гиббон в своем сочинении «История упадка и разрушения Рима» ставит под сомнение. Он обращает внимание читателей, что никто из историков-современников Христа не упоминает о нем в своих произведениях. Исследователь Бруно Бауер идет гораздо далее: он отрицает существование Христа, как исторической личности.

Мусульманство, зародившееся много поздней, именно в VII веке нашей эры, из иудейской и христианской религий, является своеобразным выкидышем от больной матери. Сам основатель этой религии, Магомет, являлся нервно больным человеком, страдавшим по мнению доктора Шеренгера «мускульной истерией», был подвержен падучей и галлюцинациям. Магометанство, получившее наследство от иудейства и христианства, попало в положение банкира, доллары которого оказались поддельными. Если священные книги иудейской религии и священные книги христиан представляют собой лишь нагромождение грандиозных подделок текста и говорят о легендарных личностях и ни в коем случае не могут служить историческими источниками, то еще в большей степени страдает теми же болезнями и священная книга магометан «Коран». Так называемые священные книги в свете научного исследования теряют в глазах мыслящих людей всякую ценность.

Чтение библии не надломило меня, как быть может надеялся жандарм Шмаков. Я все более укреплялся в мысли, что не бог человека, но, наоборот, человек создал бога в своем воображении.

Само собой разумеется, что чтение такой книги, как библия, не очень привлекало меня, и большую часть времени я бегал взад и вперед по своей камере. Иногда мне казалось, что я похож на зверя, который мечется в запертой клетке. Временами на меня налетало, как ветер в поле, гне-

тущее тяжелое настроение. Тогда ко мне подкрадывалось малодушие. Оно повергало меня на землю, и я временами казался себе жалким и ничтожным червяком. Но скоро я справлялся с собой, и тогда мне становилось стыдно себя и я снова становился тем стойким рабочим, который вызвал на борьбу весь старый мир.

Дважды в месяц меня, как и всех заключенных в крепости, водили в крошечную баню посредине двора. Баня всегда натапливалась очень жарко. Присылавшийся сюда для надзора за заключенными солдат обычно раздевался донага. Так как заключенным запрещалось самим брать и холодную и горячую воду, на обязанности солдата лежало наливать ее и подавать заключенному. Кроме того солдату вменялось в обязанность следить, чтобы не было попыток к побегам и к самоубийствам. Сколько раз я ни заговаривал с этими солдатами, они всегда отвечали молчанием, но однажды к концу следствия один из солдат сам спросил меня:

— За что вас посадили здесь и по какой причине вас здесь держат?

Хотя я и думал, что он мог быть шпионом, я все-таки ему ответил:

— За то, что мы, социалисты, стремимся открыть глаза народу на неправду, которая царит кругом; за то, что мы стоим на стороне рабочих и крестьян против помещиков, капиталистов, против самого царя, и за то, что мы хотим свободы и ставим себе целью установить на земле социализм, то-есть такой строй, при котором не будет ни бедных, ни богатых, когда всем людям будет житься хорошо и все люди будут, как братья.

Ушло незаметно между тем лето с его зорями, солнечным блеском и теплыми ночами. На его место подкралась дождливая питерская осень. Дни укоротились, а ночи делались все длинней и мрачней. Время тянулось, и прошло больше двух месяцев, как я сидел за библией. Срок очевидно прошел достаточный, по мнению жандармов, чтобы повлиять на ход мыслей рабочего. Однажды ротмистр Подаревский зашел ко мне в камеру и с хитрой улыбкой завел речь:

— Здравствуйте. Хорошо ли вам? Довольны ли вы?

Как всегда в таких случаях я вздрогнул; я ждал нападения; всегда с приходом жандармов начинался своеобразный поединок с неравными силами. На меня нападали с полным сознанием превосходства своего оружия. Защищаясь голыми руками, я забивался в угол своего внутреннего я, сжимался в комок и выглядывал оттуда пришибленный, ощетинившийся, но не добитый, готовый при случае перейти и к нападению.

Подарьский стоял и ждал. Он находился, видимо, в какой-то нерешительности и несколько раз оглянулся на запертую за ним дверь.

— Что же вы молчите? Я вас спрашиваю, довольны ли вы?

— Извините, пожалуйста. Но когда вы приходите, со мной почти всегда что-то делается. Я никак не могу собрать мыслей. Вы спрашиваете, доволен ли я. Но чем же может быть доволен человек, посаженный в тюрьму, где ему не дают свиданий даже с матерью, где его лишили чтения книг и посадили на библию?

— Позвольте, но разве вы не замечаете наших забот о вас? Подумайте, камеру у вас содержат в чистоте, она сухая и светлая, воздух ежедневно проветривается, еженедельно вы получаете чистое белье, два раза в месяц вы моетесь в бане, стол у нас превосходный, офицерский. Чего же вам еще? Вам надоело быть в тюрьме? Но вас держат здесь не без причины. Вот, если бы вы сознались в тех преступлениях, которые совершили и против государя-императора и против родины, — это облегчило бы вашу участь и вас быть может выпустили бы на свободу.

— Но мне не в чем сознаваться: меня обвиняют в таких невероятных вещах, которые мне и не снились.

— Я вижу, что вам не пошло на пользу чтение священного писания. Вы попрежнему ожесточены и упорно не хотите сознаться в том, что нам уже давно все известно. Говоря по совести, мне вас жаль: ну зачем вы ввязались в это дело? Жили бы себе мирно. Служили бы; вот я, например, служу родине.

— Большая разница между вами и мной. Вам достаются розы жизни, а таким людям, как я, — одни шипы. Вы говорите, что вы служите родине. Но положа руку на сердце, еще не известно, кто из нас служит родине, — это еще докажет история!

Я замолчал; мне послышался легкий стук в дверь, как будто сигнал какой-то. Ротмистр стоял в нерешительности. Он надулся, повернулся к двери и сказал:

— Из того, как вы мне отвечали, можно вывести одно заключение: вы не воспитаны и вы живете не своим умом. Вы даже о священном писании выразились непочтительно. Вы сказали, что я вас «посадил» на библию. Библия священная для нас, православных, книга. На ней, милостивый государь, не сидят, ее читают с благоговением. А я поступаю с вами и буду поступать по закону.

В ТЮРЕМНОМ КАРЦЕРЕ

Изо дня в день лил мелкий, холодный, осенний дождь. Дни становились все короче, а ночи длиннее. Временами об обычной угрозе наводнения говорили со стен крепости пушечные выстрелы. Все реже выводили на прогулку. И днем в камере было сумрачно, холодно и сыро. Топить печи еще не начинали. Настало невеселое осеннее время. Жандармы и тюремщики продолжали творить свои мрачные дела. Они охотились за революционерами, как за зверями, а с теми из них, которые уже томились под тюремными сводами, расправлялись, «дошкуривали» и доводили до самоубийства. Однажды к вечеру я был поражен необыкновенным шумом и беготней по коридорам. В них раздавались громкие голоса. Слышались торопливые выкрики, глохнувшие в тюремных коридорах.

Все это было необычно для Петропавловской крепости, где в камерах и коридорах царствовала могильная тишина.

«Что-то произошло особенное», — думал я, и тревога, как холодная змея, заползала на сердце, и было отчего. Уже позднее, когда я был на свободе, я узнал, что в то время в Петропавловске сожгла себя, облив керосином, заключенная Ветрова. Она покончила с собой не первая: история Петропавловской крепости насчитывает много случаев самоубийств заключенных *.

Время шло, наступила зима. Форточки в окне были закрыты. Еще меньше извне доносилось звуков. Тюрьма еще более походила на глухую могилу. Накануне рождества стоял лютый мороз; в камере было очень холодно: прислонившись к нагретой от печки стене, я все же ежился от холода. Я прислушивался, как гудел глухо доносившийся сюда колокольный звон.

«Когда-то, — думал я, — этот звон на Руси был вечевой и будил, звал на борьбу против власти князей и царей. Теперь он — орудие в руках попов для закабаления нас, рабочих и крестьян. Как все изменилось, превратилось в свою совершенную противоположность».

Мне все же было приятно слушать эти могучие плавные звуки, доносившиеся с воли. Я ими заслушивался. Думы уносили далеко... Но вдруг я вздрогнул и отскочил от стены.

Внезапно громко щелкнули тюремные замки, с грохотом открылась дверь, и на пороге, как ужасное приведение, поя-

* На воле ходили слухи, что Ветрова была изнасилована в тюрьме. По поводу ее смерти петербургским студенчеством была устроена демонстрация протеста на улицах Петербурга.

вился ненавистный полковник Шмаков в сопровождении своего достойного соратника, начальника тюрьмы.

Полковник Шмаков, как я уже говорил, любил приходить на допрос, нацепив на себя все царские кресты и ордена, все эти побрякушки, выданные за верную службу, за удушение в застенках революционеров — врагов царя. И в этот вечер он вошел, гремя шпорами и сияя этими блестящими царскими цацами.

Прошло уже полгода. Все участники дела, которое он вел, как потом выяснилось, так или иначе подчинились его воле и дали показания *. И его раздражало, что нашелся один из заключенных по его делу, упорство которого его выводило из себя. Ему тем более было досадно, что это не был студент или, вообще, интеллигент, прошедший среднюю или высшую школу, а обыкновенный рабочий. Старый холоп царя учуял в сознательном рабочем врага. И он решил меня доканать, «дошкурить», как он говорил. Он знал, что от меня он не узнает ничего нового. Все, что ему необходимо было знать, он получил из показаний других участников дела еще в июле и августе.

Весьма возможно, что его самолюбие ищейки, старого жандарма, видевшего много на своем веку, раздражала пролетарская стойкость, бывшая во мне.

Лучшего времени для приведения в исполнение своего плана он не нашел, как канун рождества. Я весь задрожал, когда он вошел, не знаю, от холода ли или от ожидания моральной пытки, которой обычно сопровождался допрос, или от его взгляда.

— Ну, — начал он, не здороваясь, — пора вам во всем сознаться. Надеюсь, теперь вам нечего скрывать, что вы знакомы и с А. Ергиным, и В. Приютовым, и Катанской, и Е. Иогансон, и Косолобовым, и Купцовым и т. д.

— Нет, — последовал мой ответ, — нет, не знаю!

— Он не знает! — обернулся Шмаков к ротмистру. — Опять не знает! Ну, это мы дошкурим! Да вы знаете, что нам все о вас известно, как на ладони, а за нежелание давать показания вы пойдете на виселицу, в каторжные работы! Такое ничтожество! — продолжал он, обращаясь к ротмист-

---

* Все привлеченные по делу Лахтинской типографии и народовольцы и даже марксисты, за очень редкими исключениями, дали к концу осени более или менее подробные показания. Например, Е. А. Иогансон показала, что я руководил распространением в рабочей среде революционных изданий, и дала мне следующую характеристику: «На основании слов Приютова, у меня о Шаповале создалось представление, как о человеке, который, взяв на себя известное дело сознательно, отнесется к нему вполне добросовестно».

ру. — Полуграмотный рабочий, верхогляд, заучивший и повторяющий, как обезьяна, как попугай, чужие слова, и вдруг... осмеливается заявлять, что «история нас с ним рассудит». Много чести! Да кто вы, студент, литератор, ученый? Ведь вы простой полуграмотный мастеровой, рабочий, мужик. Ведь я все знаю: в тот вечер, когда вы говорили эти возмутительные слова, я стоял за дверью вашей камеры и слушал. Отказаться вы от ваших слов не можете. А вы вашими словами честь мундира оскорбили. Понимаете ли вы, дурак, значение ваших слов?

По мере того, как он говорил, ротмистр молчал, а во мне что-то накипало. Когда я услышал оскорбление, брошенное мне полковником, я не мог больше себя сдерживать и сказал:

— Вы сами!

Слово «дурак» я уже не мог произнести. Полковник побагровел от гнева. Топая ногами, он вскричал:

— Как, дерзости говорить? Да я вас!..

— Но ведь вы сами меня оскорбили, — говорил я. И вдруг, освободившись от боязни, охватившей было меня, я сказал, — а ведь суда-то истории вы все-таки побаиваетесь!..

Но я вдруг замолчал, увидав, какое впечатление произвели мои слова на Шмакова.

В полумраке сводообразной камеры, который не рассеивался от тусклого света маленькой керосиновой лампы, видно было, как побагровело от гнева его лицо.

— Как, дерзости говорить? Да я вас!.. — закричал он, топнув ногой. — Так знайте, я теперь хотел ради великого праздника, рождества христова, дать вам свидание с матерью, но после ваших дерзких слов я лишаю вас свиданий и совсем до окончания следствия. А сейчас вы пойдете в темный карцер! Господин ротмистр, — обратился он к начальнику тюрьмы, — распорядитесь, чтобы этого мужика, этого грубияна посадили на трое суток в темный карцер на хлеб и воду!

И он, высоко подняв голову и выпятив грудь, с лицом, на котором еще были видны следы гнева, громко звеня шпорами, вышел из камеры.

Тотчас тюремная стража, взяв мой соломенный матрац, вывела меня из камеры. Уже выйдя в коридор, я почувствовал холод этого вечера. Но как только я вошел в карцер и очутился в полной темноте, я испытал настоящий, адский, пронизывающий холод — такой, что меня тотчас начало всего трясти от озноба.

В этом карцере, очевидно не топленом целую зиму, который весь промерз, впору было сидеть лишь в полушубке,

шапке и валенках, а я остался здесь почти голый, в одном нижнем белье и тонком халате.

— Скажите вашему начальству, что они разбойники! — крикнул я вне себя, возмущенный, тюремной страже, принесшей мне хлеб и воду.

— Хорошо, скажем, — ответили унтер-офицеры, жандарм и надзиратель и ушли.

Через минуту опять загремела дверь карцера, они вернулись с фонарем, забрали мой матрас и ушли.

— Это за разбойников! — бросили они мне уходя. — Чтобы вам было мягче спать здесь.

Дверь с шумом захлопнулась, и меня охватил черный мрак и лютый холод. Но сквозь толщину стен тюрьмы еще доносился извне глухой колокольный звон, который, казалось, хоронил меня здесь. Чтобы согреться, я начал быстро взад и вперед мерить ногами карцер, но тотчас, потеряв в темноте направление, ударился со всего маху лбом об стену. От боли у меня искры из глаз посыпались. Оправившись, я опять начал ходить, но тотчас сильно ударился о железный переплет кровати уже ногою, как раз тем местом, которое издавна перешиблено у меня было ударом дубины в кулачном бою, когда я был еще несознательным. От невыносимой боли в ноге я опустился на асфальтовый пол, но свалившись на него, немедленно должен был вскочить, как от ожога: пол был холоден, как лед. Итак, нельзя ни ходить, ни сидеть, ни лежать на полу. Попробовал лечь на кровать, но холодные, круглые головки железных заклепок, которыми, как орехами, было усеяно полотно кровати, состоявшее из железных полос, переплетающихся вдоль и поперек и скрепленных этими заклепками, заставили меня тотчас вскочить. Холод железа был еще чувствительнее, чем холод асфальтового пола и кирпичной стены. Круглые головки заклепок впивались в тело и производили впечатление настоящего ожога. Я отскочил также от стен, к которым вздумал прислониться: и они были холодны, как лед.

В бешенстве я начал стучать в дверь.

— Что стучите? Что нужно? — строго спросил жандарм, когда гарнизонный отворил дверь.

— Здесь невыносимо холодно. Я почти голый и замерзаю.

— Хорошо, мы сейчас протопим печь, — последовал ответ.

Снова настала мертвая тишина. Я весь трясся от холода. Зуб у меня не попадал на зуб. Казалось, что холод медленно, но верно проникает во все мои кости... Я начал замерзать... Но вот опять послышались шаги и стук отворяемых дверей. Загремела сброшенная с плеч вязанка дров. Слышно

было как заполняли печку дровами, как ее разжигали, как затрещал огонек, как запылало с шумом и засвистало пламя. Дрова разгорелись. Через час или два закрыли заслонку. Ухо различало, как мешали кочергой угли и как с шумом задвигали заслонку. «Ну, — думаю, — сейчас нагреется карцер, и мне станет тепло». И я терпеливо ждал. Прошло долгих, как мне показалось, часа три, карцер должен был бы нагреться. Но вместо этого в нем становилось еще холоднее. Я весь дрожал и, как мне казалось, костенел, коченел: у меня продолжали стучать зубы, как в сильной лихорадке. Я попробовал прислониться к стене, примыкавшей к печи, но тотчас опять отскочил: она была попрежнему холодна. И я снова начал стучать в дверь.

— Что стучите, хотите, чтобы сумасшедшую рубашку одели? — послышался сердитый голос жандарма.

— Вы наверно забыли закрыть заслонку. Карцер нисколько не нагрелся. Стена, что со стороны печки, так же холодна, как и до топки.

— Ну, ладно, — сказал жандарм, — протопим еще раз. Но больше не просите. Сегодня топить больше не будем. А если будете стучать, наденем сумасшедшую рубашку и закуем в кандалы.

Снова загремела брошенная на пол вязанка дров, опять запылала печь. Еще раз слышно было, как загребали жар в печи и стучала закрываемая заслонка. Я потрогал стену, что у печки, она оставалась такой же холодной, как прежде. Я стал ощупывать стену. Внизу холодно, посредине также холодно, холодно вверху. Но, став на железную спинку прикованной к полу кровати, я дотронулся до стены под самым потолком и тотчас отдернул от нее руку, обжегшись самым настоящим образом. Узкая полоска стены вверху под потолком была так накалена, что при прикосновении обжигала, как огонь. Но это не помогало делу и немогло согреть комнату, ибо по законам физики, как известно, теплые частицы воздуха, нагреваясь, поднимаются лишь вверх, а не опускаются вниз. Итак, эта карцерная печь устроена инквизиторски, таким образом, что она не нагревает карцер, нагревая лишь потолок.

«Бесполезно стучать в дверь. Когда они топят, они издеваются надо мною, — думал я. — Остается одно — медленно замерзать в этом погребе».*

Долго тянулась для меня эта рождественская ночь. Я тряс-

---

* Осмотрев карцер в феврале 1924 г., я установил факт, что печь в карцере была так устроена, что действительно могла нагревать только потолок.

ся от холода, протянув вперед руки, как слепой, и еле двигаясь по комнате.

Наконец, после долгих мучительных часов засерело, забрезжило зимнее, позднее утро. Третий раз уже донесся глухо колокольный звон. Стало светлее и в карцере. Я хотя с трудом уже мог рассмотреть, что он представлял собой половину обыкновенной камеры, окно которой наверху было наглухо закрыто железным щитом. Так как последний прилегал не вполне плотно к стене, сквозь эти щели просвечивали, чуть-чуть пробиваясь извне, боковые полосы света; как они ни были малы, они помогли мне разглядеть, где стена, где кровать, где дверь. Мои глаза освоились с полумраком. Я начал быстро ходить взад и вперед, чтобы согреться. Понемногу прошел озноб и перестали стучать зубы. Затем стал проделывать гимнастику. Это меня еще больше согрело. У дверей форточки я рассмотрел на маленькой полке большую кружку с водой и краюху черного хлеба.

Такова природа человека! Несмотря на все пережитое, несмотря на все огорчения, мне все-таки захотелось есть. Хлеб — привычная еда русского. Он мне показался вкуснее всех заморских блюд. Когда я с'ел почти всю краюху и выпил воду, то почувствовал себя еще бодрее.

Человек — животное, привыкающее ко всему. И я, к удивлению, как будто стал свыкаться с карцером и его адским холодом. Пока мой глаз различал в нем предметы, я бодро и быстро делал три шага вперед и три шага назад. Но короток зимний день в Питере в конце декабря. Скоро мрак опять начал сгущаться, и снова темная ночь охватила меня. Я снова больно стукался лбом об стену или ногой о перекладину кровати. И если двигался, то очень медленно, протянув вперед руки, что меня не согревало. Стража принесла снова охапку дров, краюху хлеба и кружку воды. Я слышал, как потрескивали поленья и гудело пламя. Наконец, все затихло. Снова озноб начал охватывать меня и снова начали стучать зубы. Так прошло еще двое мучительных суток.

Еще вчера и позавчера мне слышались какие-то шорохи по обе стороны за стенами моего карцера. Но я не обратил на них достаточного внимания. Оттого ли, что мое ухо прислушалось, но сегодня я явственно различал шаги по ту и по другую сторону. Очевидно, там сидят.

Еще до ареста В. Приютов выучил нас тюремному телеграфу — разговору посредством стука в стену. Двадцать восемь букв азбуки делятся на шесть строчек, по пяти букв на каждую. Первый стук означает строку, второй — букву по порядку. Я начал стучать. Один сосед, прекратив ходьбу, оче-

видно, прислушиваясь к стуку, не ответил на него. Второй к моей радости стал отвечать.

— Кто вы? — последовал от него вопрос.

— Я Шаповалов, — ответил я, — сижу рядом с вами в темном карцере на хлебе и воде.

— За что посадили? Я — Катанская.

— Посадил полковник Шмаков, следователь, за отказ давать показания. Я сказал ему, что они — разбойники. И они отняли и матрас. Здесь адский холод. Я буквально замерзаю. Знаете, мне кажется, что-то много известно жандармам. Не С. ли это проболтался? *.

— Нет, товарищ Шаповалов, это не С., а Екатерина Иогансон еще в июле-августе дала самые подробные показания. Жандармам, действительно, все известно до малейшей детали. А затем вслед за ней все дали показания. И я тоже их давала, и Василий Приютов, и Ергин, и все.

— Но что заставило Иогансон дать показания? Что она — предательница?

На этот вопрос ответа не последовало. Стук прекратился. Вошедшие в ее камеру жандармы оборвали его. Сквозь стену глухо доносились голоса споривших. Затем все затихло. Моя соседка перестала отвечать.

Я отскочил от стены, объятый ужасом и отчаянием. Как, Екатерина Александровна, эта гордая народоволка, эта женщина, так презиравшая и ненавидевшая жандармов и царскую власть, мечтавшая о гордом, свободолюбивом человеке, которую так высоко ставил сам Приютов, — это она оказалась такой слабой и жалкой, что не выдержала даже одного месяца тюрьмы, выболтала все и сделалась чуть ли не предательницей!** Если бы мне сказали, что под нашими печальными северными небесами вдруг началось страшное землетрясение, я этим поразился бы меньше, чем только-что сообщенным известием: ведь она еще на Лахте опасалась, что кто-нибудь из рабочих на допросе не выдержит и проговорится. Относясь к ней с уважением, я имел все данные полагать, что она окажется той скалой, о которую разобьются все попытки жандармов вызвать ее на показания.

К мукам физическим присоединились муки душевные. Ужасно, находясь в плену у безжалостных врагов, в глухой тюрьме, в холодном карцере, где все напоминает могилу, ужасно потерять веру в людей и в каких людей — в вождей!

---

* С. на жандармском следствии проявил себя не хуже и не лучше других рабочих-народовольцев. Вышеупомянутое ошибочное мнение о С. у меня сложилось главным образом на основании отзывов о нем В. П. Приютова.

** Предательницей Е. А. Иогансон никогда не была.

Если я разочаровался в идеях народовольцев-народников, то я продолжал видеть в их героизме, в их стойкости, в их преданности, в их готовности за идеалы социализма итти на лишения, на муку, на страдание, на пытки и на эшафот образец, достойный для подражания нам, рабочим.

«Мы, рабочие, сторонники революционного марксизма, должны усвоить все то хорошее, что есть в представителях других революционных партий, особенно высокие качества человека, — думал я. — Мы должны внедрить в себя их героизм, проникнуться им, сделаться такими же стойкими, гордыми, непоколебимыми!».

Когда по прошествии трех суток отворили карцер, и я вышел в светлый коридор, я зашатался и упал бы от бессонницы, изнурения и душевной муки, если бы меня не поддержал жандарм. Но я все-таки не был побежден, сломлен карцером. Бросившись в кровать, я заснул глубоким сном человека, не спавшего трое суток.

Проснувшись при дневном свете, вспомнив, что я узнал от т. Катанской, я решил, что это наверное какая-нибудь ошибка, а может быть провокация: это было бы слишком чудовищно.

Арестованный и оторванный от внешнего мира я ничего не знал. А на самом деле произошло следующее.

ПОКАЗАНИЯ НА ДОПРОСАХ

Лично я, находясь в рабочей группе партии «Народная воля», переживая разочарование в теории народовольчества, не мог не обратить внимание, что все рабочие нашей группы до известной степени являлись моими союзниками и невольно симпатизировали революционному марксизму, как учению своего класса. Эти симпатии были до того сильны, что до известной степени не без их влияния весной 1896 года народовольческая интеллигенция сделала известный шаг в сторону победоносного марксизма.

Самый выдающийся рабочий, народоволец В. П. Приютов, менее охотно шел на это сближение и склонен был видеть в этом нежелательную уступку духу времени. Будучи человеком с сильным характером, он делал все, чтобы не выпускать нас из-под своего влияния. Особенно он старался удержать в своих руках М. Тулупова и Белова. Но сильные характеры очень часто ошибаются и переоценивают свое влияние на более слабых людей. То же самое произошло у него по отношению к Тулупову; мне казалось, что последний часто тяготился его суровой опекой.

Приютов идеализировал так называемое «общество», как среду, из которой главным образом вербовали народовольцы революционеров, и познакомил Михаила Тулупова еще до начала активной революционной деятельности со студентами и курсистками. Последние произвели впечатление на Михаила Тулупова, находившегося под влиянием теории Михайловского, личностей, принадлежавших к какому-то особому, высшему, блестящему миру.

Но за учащейся молодежью в то время особенно следила охранка, и потому, как только Приютов через три года, в 1894 г., приступил к активной революционной деятельности, а в 1895 г. к организации типографии на Крюковом канале (в д. № 23/4, кв. № 20), он не только запретил Тулупову навещать студентов, но ругательски ругал его, если ловил на попытках посетить их.

Тулупов, не замечая за собой никакой явной слежки, малопомалу, повидимому, пришел к ложному выводу, что все опасения о возможности попасть под наблюдение охранки преувеличены и являются не чем иным, как плодом разгоряченной фантазии Приютова.

Тяжело было ему, молодому жизнерадостному человеку, проводить все время в тяжелой обстановке подпольной типографии. Приютов на основании завещания народовольца Александра Михайлова запрещал не только посещение знакомых курсисток и студентов, но не позволял даже ходить на собрания кружков рабочих, ни в театры, ни на концерты, ни на лекции. Всюду там подстерегала работника подпольной типографии, как заразная, прилипчивая болезнь, опасность захватить шпика.

Не отдавая себе вполне ясного отчета, как легко провалить подпольную организацию, М. Тулупов невольно возмущался суровой опекой Приютова. Наружно подчиняясь ему, внутренно он, как все слабые люди, возмущался им и находился в состоянии как бы постоянного скрытого бунта. Увлекающийся, добрый, нежный, но безвольный, он не находил в себе достаточно сил, чтобы бороться с одолевавшим его искушением, и, давая слово Приютову исполнять его приказания, все-таки не исполнял их. Он оправдывал, утешал себя тем, что видимой слежки ни за ним, ни за другими работниками типографии никто не замечал.

Несмотря на то, что Приютов строго-настрого запрещал записывать даже адреса при исполнении революционных поручений, он все-таки начал писать свой дневник. Пойманный раз Приютовым, он дал слово не писать дневника, но, как школьник в отсутствии учителя, прячась от Приютова, продолжал его писать.

Бегая из подпольной типографии к курсисткам и студентам, ведя недопустимые для революционера записи о всех событиях жизни подпольной типографии в виде дневника, он подвергал опасности провалить все дело и ставил на карту жизнь и свободу товарищей. Потребность писать у него являлась особенно остро, когда он чувствовал себя очень возмущенным и обиженным товарищами по типографии и в частности Приютовым, осыпавшим его упреками. Его легкомысленное отношение к мерам революционой предосторожности доходило до того, что даже в тот момент, когда Приютов, действительно, заметил за собой и за другими явную слежку и настоял на ликвидации типографии на Крюковом канале в апреле 1896 г., Тулупов не только не сжег своего дневника при от'езде вместе с Приютовым на юг, в Аккерман, но взял половину его с собой. Там во время ареста с 23 на 24 июня 1896 г. жандармы нашли у него этот дневник.

Дневник М. Тулупова, находящийся ныне в революционном архиве в Москве в одном из шести томов жандармского дознания по делу о Лахтинской типографии, производит двойственное впечатление. Насколько подкупает он читателя искренностью и живостью описания положения рабочих вообще и переживаний самого автора подпольной типографии в частности, настолько же, с другой стороны, возмущает самым фактом своего составления, как пример колоссальной глупости, проявленной автором его.

В дневнике все лица, работавшие в типографии, выведены у него то под псевдонимами, то под настоящими фамилиями. То он описывает, как собирались товарищи у «Тетки», т.-е. в подпольной типографии, то прямо называет вещи своими именами, говоря, что они работали в подпольной типографии.

Дневник * Тулупова, предательство провокатора Гуровича, или Гурвича, бабья глупость жены Федора Ергина, выдавшей из желания спасти мужа жандармам шифрованную переписку стойкого революционера Александра Ергина с Федором Ергиным, наконец очень откровенное показание самого Федора Ергина, подавшего даже унизительное прошение царю о помиловании,— все это раскрыло жандармам картину возникновения типографии и работ в ней и послу-

---

* Тетрадь в синей обертке с заголовком «Перед потомством и перед собою», представляющая начало дневника М. Тулупова, была отобрана при его аресте в Аккермане. Продолжение его было найдено в Питере, по Крюкову каналу, при обыске у Аграфены Тулуповой, которой автор отдал его, очевидно, на хранение.

жило превосходным материалом для раскрытия деятельности каждого участника.

Екатерина Иогансон имела много симпатичных черт* —, но, будучи сторонницей теории Михайловского о «героях и толпе», она могла мнить себя героиней, наподобие великих русских революционерок, как Софья Перовская и Вера Фигнер. Эта мысль могла льстить ей и опьянять ее. И в этом ничего не было дурного. Наоборот, еще не одна женщина будет подражать великому примеру русских социалисток, отдавших свою жизнь за освобождение угнетенных. Но худо было то, что презренный жандарм Шмаков, заметив эту склонность у Е. А. Иогансон, использовал ее в интересах охранки. В этом ему особенно помог дневник М. Тулупова. Если Шмаков был груб и суров со мной, как с рабочим, то настоящей хитрой змеей он вползал в камеру к Иогансон, талантливой, многогранной интеллигентке, относясь к ней как к героине, которая находилась в центре организации и держала в руках все нити дела; он мог нашептывать ей о ничтожестве и глупости рабочих-революционеров, которые, мол, в условиях подпольной работы проявляют такое легкомыслие, что ведут подробные дневники о товарищах по работе и о самой работе, давая таким образом возможность следствию раскрыть всю картину организации. И честолюбивая Иогансон, ненавидевшая жандармов, как слуг ненавистного ей царизма, благодаря этому дневнику, поддавшись нашептываниям Шмакова, несмотря на завещание одного из самых преданных революции народовольцев Александра Михайлова («Завещаю вам, братья, отказывайтесь от всяких об'яснений на дознании, как бы ясны оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от многих ошибок»), написала самые обширные показания, целые томы их**. Хитрый

---

* Е. А. Иогансон ко дню ареста в 1896 г. была в возрасте 24 лет. Как видно из дела о Лахтинской типографии, охранка проследила Белевского при сзидании его с Е. А. Иогансон еще в 1893 г. После этого и сама Е. Иогансон находилась под наблюдением шпиков охранки и специально привлеченных из Москвы Зубатовым пятнадцати испытанных московских филеров.

** По словам А. А. и Л. В. Ергиных, А. Л. Катанской, М. Е. Тулупова, кроме вышеупомянутого дневника, причиной, побудившей Е. А. Иогансон давать показания, могли быть следующие обстоятельства: поступок жены Федора Ергина, выдавшей жандармам шифрованную переписку Александра Ергина; предательство провокатора Гурвича или Гуровича, агента охранки, у которого Иогансон достала паспорта на имя дворянина Веймара и Анны Чимиревой, по которым она и ее муж Белевский жили на Лахте в типографии, и подробные показания Федора Ергина.

Шмаков принес ей, как говорили, из архива департамента полиции показания великой народоволки Веры Фигнер. Эти последние, как мне говорили, хотя были обширны, не давали никакого материала для обвинений. Но показания Иогансон привели ее к большим ошибкам. Произошло это, конечно, не по злой воле Иогансон, а как это всегда бывает: начав давать показания, особенно такие пространные, она запуталась и стала игрушкой в руках Шмакова. Очевидно такова судьба многих революционеров, попавших в тюрьме в руки ловкому следователю; ее не избежала и народоволка Иогансон.

Напугав ее, что все участники дела, на основании материала, даваемого дневником Тулупова, по суду получат высшее наказание — до 20 лет каторжных работ и т. д., он обещал ей, что если она осветит деятельность каждого в своих показаниях, то все ограничится административной высылкой на короткие сроки в Сибирь. Начав писать свои показания, Екатерина Александровна проводила, как говорили участники дела, за ними целые ночи, истерически хохоча. Этот хохот, мне говорили, был слышен товарищам, сидевшим рядом с ней: «Пишет, пишет она и затем целыми часами хохочет. И опять пишет и хохочет!». Истерический хохот, которым сопровождала Иогансон писание своих показаний, наводит на мысль о нервной болезни — истерии, которой очевидно страдала в тюрьме Е. Иогансон.

Показания Иогансон*, прочитанные Шмаковым некоторым арестованным по этому делу, произвели впечатление катастрофы; почва уходила из-под ног, как будто во время начавшегося землетрясения. Казалось, запираться невозможно, и участники Лахтинской типографии вслед за Иогансон стали в свою очередь давать показания еще в августе 1896 года.

Жандармский полковник Шмаков, служивший верой и правдой трем царям, замучивший в застенках немало и русских и польских революционеров, был обозлен, встретив в моем лице неожиданное сопротивление. Как же, все дали показания, даже лица, руководившие движением. Всех он сломил, а этот один не сдается. В нем проснулось самолюбие жандарма-палача, и он решил посадить меня в этот холодный и темный карцер. И только в карцере я узнал, через семь месяцев после ареста, в конце декабря 1896 года, о поступке Иогансон, который показался мне чудовищным. Вре-

---

* Иогансон об'яснила свой поступок желанием снять висевшее над участниками типографии подозрение в терроре и придать делу вид, что организация занималась лишь печатанием брошюр для рабочих.

мя в крепостной тюрьме двигалось медленно. Ежедневно я ожидал, что меня за что-нибуь снова посадят в карцер. Одновременно внутри меня шла глухая борьба; безграничная вера в личные качества революционеров-интеллигентов сменялась каким-то подозрительным, глухим недоверием к ним. Для меня начались мучительные часы, дни и ночи; как-будто известие о показаниях на следствии Иогансон надломило во мне веру в человека.

Вскоре после карцера я услышал в коридоре молодой, звучный, сочный голос женщины — она видимо спорила упорно с жандармом. Сразу я составил себе представление, что это молодая курсистка лет двадцати, которая, будучи полна энергии и жизни, не мирится с гнетущей обстановкой тюрьмы. Ее посадили рядом со мной. Я сделал попытку перестукиваться с ней через стену. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это была не кто иная, как известная народоволка Людмила Волкенштейн. Очевидно, долгое сиденье в Шлиссельбурге не сломило энергии этой удивительной женщины.

Ее перевезли из Шлиссельбургской крепостной тюрьмы. Она сообщила, что она едет с мужем на Сахалин на поселение. Через ряд лет, читая газеты, я узнал, что в 1905—1906 году она была убита предательской рукой казака во время демонстрации во Владивостоке.

Я сообщил ей, наивно представляя себе, что она, просидевшая столько лет в Шлиссельбурге, ничего не знает, что делается на белом свете, что она и ее товарищи не напрасно томились и погибали в тюрьмах, что новая общественная сила — рабочий класс — вступил теперь на борьбу с самодержавием, и что я уверен, что он — рабочий класс — сломит самодержавие и отомстит за все страдания, которые она и ее товарищи перенесли в глухих тюрьмах. Я просил ее узнать, можно ли верить известию о поступке Иогансон.

Так как Л. Волкенштейн ежедневно имела свидания с мужем, она ухитрилась передать ему мою просьбу. Через несколько дней я получил ответ, что — увы! — все это верно. Я был убит этим известием. Но опять льстил себя надеждой, что это неверно, что тут кроется какая-либо ошибка.

Вскоре меня перевели в другую камеру. Услышав шаги нового соседа по камере, я начал перестукиваться и узнал, что он политический, и что он тоже привлекается по делу «Союза борьбы».

Я увидел в нем единомышленника. Вскоре я открыл, что возможно, встав на ящик, куда помещалось ведро параши, переговариваться через отдушник, соединявший обе камеры.

Прислонив ухо к отверстию отдушника, можно было превосходно слышать, что говорил мой сосед. Он поразился, узнав, что меня держат уже восьмой месяц без свиданий, без книг, что меня сажали в холодный и гемный карцер.

— Это настоящая инквизиция, — сказал он.

Ему, по его словам, давали и свидания раз в неделю и разрешали получать книги не только из тюремной библиотеки, но и с воли. Рассказал, что он студент, что его родственники владеют известной словолитней в Питере, и какими-то предприятиями в Баку.

— Моя родня — все буржуи! — сказал он.

— А как они живут? — поинтересовался я.

— Только и делают, что едят, пьют и предаются наслаждениям. Каждый день начинается и кончается обильной и разнообразной едой. Зимой по театрам, по концертам, а с весны направляются на дачу, затем летом на берег моря, на пляж и осенью в горы и ездят за границу!

Вспоминания о соседе в одиночке, я думаю, что он в то время представлял собою совершенно неопытного революционера, потому что не только отдельные личности, неорганизованные массы, но даже значительная часть вождей, как свидетельствует история рабочего движения и в России и в Западной Европе, проявляет склонность уходить от суровой действительности к отвлеченно надуманным представлениям о жизни, не лишенным так называемой маниловщины. Немногим удается освободиться от косности и рутинности, в которые были погружены массы народа. Известная часть, называющая себя марксистами, мыслит все-таки метафизически, а не диалектически.

Увлечение парламентаризмом, легализмом зиждется не только на неверии, что рабочий класс действительно способен на такие же и большие проявления революционной стойкости, какие проявила буржуазия в эпоху Великой французской революции, но и на самообольщении, что можно перейти к социалистическому строю без страшных потрясений, без ужасных жертв, без мучительных страданий переходного времени, мирным путем.

Часть марксистов после ареста группы Ильича в 1895 году до известной степени невольно ударилась в эту маниловщину. Будущее было закрыто от взора. Никто не знал, как пойдет развитие русской революции. Как ученики, склонные только подражать таким недосягаемым, как казалось, успехам, каких достигла в 90-х годах германская социал-демократия со своими 2 000.000 голосов, русские марксисты не представляли себе, что мы, русские рабочие, можем не

только догнать, но и перегнать германское рабочее движение. Многим казалось, что мы пойдем не по французскому пути в революции, а по германскому. Часть марксистов оказалась склонной к рутине и к сужению и искажению марксизма и опошлению его, что вылилось в уклоне к экономизму.

Мне кажется, что этот сосед по одиночке представлял собою подобного марксиста, сужающего и самоограничивающего теорию марксизма. Я никогда не встречался с своим соседом по одиночке, о котором говорит в своих воспоминаниях Мартов, что он был арестован в конце лета 1896 года и посажен в Петропавловскую крепость. Я поэтому до сих пор не знаю, сидел ли он рядом со мной в крепости и он ли разговаривал через отдушину и дал мне определенный совет окончить беспощадную борьбу со Шмаковым и дать показания, или это был ловкий жандарм, подделавшийся под соседа по одиночке.

Но все говорит за то, что это был настоящий политический. Очень характерен для марксистов с уклоном в экономизм того времени его совет — изменить тактику, которой я держался на следствии, т.-е. не отказываться от показаний, как я делал это неуклонно до сих пор, а наоборот, дать их следователю, стараясь не проговориться ни о чем лишнем и вредном для других товарищей. Это не был совет представителя революционных марксистов. Это было советом и могло быть советом только представителя того течения, которое стремилось направить движение рабочих России на узко-экономический путь, а руководство политической борьбы стремилось передать в руки представителей либеральной буржуазии.

Уже тогда я на себе испытал, как опасно рабочим слушать таких советников, какими являются сторонники одного парламентаризма и лишь экономической борьбы рабочих.

Конечно, с точки зрения революционного марксизма, нет преступления, если тот или иной товарищ захочет дать на следствии в тюрьме показания. Все зависит от конкретной действительности: сумеет ли данный товарищ обмануть жандармов, или последние надуют его. Но для среднего человека, особенно для неискушенного рабочего того времени, конкретная действительность одиночного заключения при самодержавии, полная оторванность от внешнего мира, отсутствие высоких моральных качеств у революционеров из рабочих, которые тогда только приобретались,—все это говорило за то, что лучше не давать совсем показаний, чем давать их, лучше держаться той тактики, которой держался я семь с половиной месяцев, отказываясь давать показания.

На эту точку зрения стал и наш II с'езд партии в 1903 году. Он принял резолюцию, гласившую:

«Принимая во внимание, что всякие показания, даваемые революционерами на жандармском следствии, независимо от воли революционеров, служат в руках следователя новым материалом обвинения и привлечения к следствию новых лиц, что отказ от показаний, если он широко применяется, будет содействовать в сильной степени революционному воспитанию пролетариата, второй с'езд РСДРП рекомендует всем членам партии отказываться от каких бы то ни было показаний на жандармском следствии».

Все лахтинское дело народовольцев и мои переживания служат ярким доказательством, как существенно необходима была эта резолюция.

Поддавшись совету соседа по одиночке, я изменил в конце концов своей непримиримой тактике, которая сводилась к полному отказу признаний в знакомстве с тем или другим товарищем по делу. Решение с виду невинное рассказать лишь то, что уже было выяснено из показаний других привлеченных по делу, имело все-таки на меня самое гибельное влияние.

Однажды меня, через восемь месяцев со дня ареста, повели на первое свидание с матерью. Долго шел я по коридорам, пока не вышел из здания тюрьмы и не вошел в помещение, сделанное в крепостной стене. Через окно виднелась занесенная снегом равнина реки Невы. Еще стояла суровая зима, но уже в природе чувствовалось смутное дыхание новой жизни — приближение весны. Солнце конца февраля освещало закованную льдом, широкую реку, дорогу через нее, по которой шли пешеходы, двигались тяжелые обозы и обгоняли всех извозчики-лихачи.

«Жизнь! Жизнь! Сколько жизни!» — являлась у меня мысль.

На реке выкалывали лед в виде продолговатых длинных брусков толщиной в аршин. Лучи солнца ярко отражались в этих зеленовато-синеватых огромных льдинах. Вдали, в туманной морозной дымке, на противоположном берегу высилась громада Зимнего дворца, где жил деспот-царь. А против меня стояла старушка-мать, которую по одежде можно было бы принять за нищую, какие встречаются на паперти церквей. Видно было, что нелегко ей живется. Глаза ее были красны от слез. Хватаясь судорожно за решетку, она поправляла свои поседевшие волосы, все вздыхала и тихо плакала, придавленная огромным горем, обрушившимся на нее. Я был самым любимым ее сыном, ее Сашей. Слушая ее, я вспомнил и о своей сестре и о своих двух братьях.

Моя сестрица Даша, отданная ею в так называемую «патриотическую школу», получила чахотку над вышиванием белья для богатых. Она умерла. Брат Егор погибал в ужасной школе кантонистов кирасирского полка, где его «лупили» дядьки и где он получил также туберкулез, от которого впоследствии умер.

Герцен с ужасом вспоминал о школах кантонистов при Николае I, где гибли еврейские дети. Но и при праправнуке его, Николае II, еще существовали эти ужасные школы, где гибли пролетарские дети. Я согласился отдать сестру Дарью в «патриотическую школу», а брата Егора — в школу кантонистов в Царском селе в то время, когда еще был несознательный, когда находился в руках попа, когда всецело верил и царю и попу. Младший мой брат Павел принужден был начать работу в типографии. Скоро, отравившись свинцовой пылью, он тяжко заболел и превратился в калеку. Всех раздавила нужда, капитализм, остатки крепостничества в школе. Всех погубил самодержавно-царский порядок на Руси.

При виде плачущей матери, ее нищеты и горя я вспомнил, что уже я давно решил вопрос — виноват я или не виноват, что моя мать погибает вследствие моего ареста в тисках нищеты. Я решил, что я не виноват; потому что, рассуждал я, человек, заботящийся о своей семье, о матери, братьях, сестре, выше эгоиста, думающего только о личном счастье. У пролетария идеал выше; он переходит границы родины, отечества, ибо у пролетария нет отечества, как сказал К. Маркс, он борется за освобождение всех угнетенных. Его идеал совпадает с общечеловеческим. За освобождение из когтей нищеты и голода всех несчастных матерей, плачущих о своих сыновьях, которые гибнут, как погибла моя сестра и как гибнут мои братья, боремся мы, рабочие.

Но я не мог сказать ей всего этого. Между нами стоял жандармский офицер и не пропускал мимо своих ушей ни одного слова. Он мешал быть откровенным. Да она и не поняла бы. Она находилась в тисках старых понятий, старого уклада, старого рабства и во власти религии. Но мне было тяжело, невыносимо тяжело смотреть на ее лохмотья, на вшей, ползавших по ней, на печать нищеты и страданий, лежавшую на ней, и более всего на ее слезы, лившиеся ручьями.

Наконец, молодой жандармский офицер, равнодушно смотревший на эту сцену, произнес:

— Свиданье кончилось.

* * *

Однажды меня вызвали в город в жандармское управление. Допрашивал меня по делу «Союза борьбы» другой жандарм, полковник, еще не старый, чернобородый, с красным лицом. После того, как я ответил на все его вопросы отрицательно, он отдал распоряжение отправить меня снова в крепость. Два молодых жандармских офицера сопровождали меня обратно. Напрасно я искал на их лицах хоть тень сочувствия. Они были наглы и нахальны. На них уже лег отпечаток ночных кутежей и разврата. «Они продались, — думал я о них, — служат Мамоне. От них нечего ждать пощады и сочувствия».

В то время я был простой, неискушенный рабочий. Я еще не приобрел той железной стойкости, какой отличались наши вожди-интеллигенты, казавшиеся мне стоящими неизмеримо выше меня. Несомненно, сведения, которые я получил посредством перестукивания от т. Катанской, от Л. Волкенштейн, от соседа по одиночке, и особенно совет последнего до известной степени произвели тяжелое впечатление и повлияли на меня деморализующе. Они надломили мою стойкость, убили на время веру в людей. Совет соседа по одиночке толкал меня на своего рода скользкий путь для заключенного, на наклонную плоскость, очень опасную для революционера, брошенного в тюрьму. Многие, скатившиеся к ней, никогда больше не поднялись.

«Если они, вожди, стоящие во главе дела, решили дать показания, то почему мне не дать их»,— что-то говорило во мне.

В тюрьме у заключенных постоянно происходит борьба с самим собой. Не всегда человеческая сторона побеждает низменную, животную. Борьба эта бывает жестока, и достаточно может быть пустяка, чтобы победила не первая, а последняя. Совет, данный соседом по одиночке, явился каплей, перетянувшей чашу весов в сторону компромисса, в сторону дачи показаний. Последовав его совету, дав показания, я измучил себя морально; я создал себе этим самым ежедневную настоящую пытку. Она, как надвинувшийся на меня тяжелый ужасный кошмар, началась тотчас, как только я вернулся от следователя в свою камеру.

ПРЕДВАРИЛКА

Я написал заявление, что желаю дать показание. И тотчас изменилось отношение ко мне со стороны тюремной администрации. Мне предложили остричь волосы и ногти, от-

росшие за 8 месяцев. Мне снова предложили получать книги по выбору из тюремной библиотеки. Те лица тюремной стражи, которые смотрели на меня с холодной жестокостью, теперь стали приторно любезны, особенно был любезен жандармский ротмистр Подаревский. И тотчас я почувствовал, что я побежден, раздавлен этими тюремщиками, я потерял уважение к себе. Мне сделалось противно. И я стал ужасно мучиться душевно.

Почти на другой день после моего заявления принесли мою одежду и сказали:

— Одевайтесь!

— Пожалуйте! — услышал я, когда оделся.

Меня повели по длинным коридорам крепостной тюрьмы. Наконец, меня вывели через караульное помещение к выходу, где за решеткой ожидала на дворе Трубецкого бастиона карета.

Меня перевезли два унтер-офицера из крепости в предварилку. Я приехал туда в подавленном мрачном настроении. Хотя предварилка представляла собой образцовую, но менее суровую, чем крепость, тюрьму с четырьмя-пятью этажами чугунных галлерей, с черными чугунными лестницами, здесь не было такого строгого надзора и той мертвящей тишины, как в Петропавловке, но это не подействовало улучшающим образом на мое самочувствие.

Заключенных политических сажали там в камерах между двумя уголовными камерами. Уголовные помещались как в одиночках, так и в общих больших камерах. При большом количестве арестантов последние выпускались на прогулки десятками и больше. На одной части большого двора большими группами гуляли уголовные из общих камер.

Для прогулки политических и подследственных уголовных устроено было особое прогулочное помещение здесь же, на другой части тюремного двора. Посредине его сооружена была вышка — род каланчи, откуда ходившие по площадке с перилами два надзирателя сверху могли наблюдать за заключенными, гуляющими внизу, в клетках, отделенных заборами одна от другой. В таких клетках под каланчей гуляло одновременно не менее двадцати арестованных. Как приводили их одного за другим, так и уводили в таком порядке. Они не могли ни встретиться, ни увидеть друг друга. Как в камерах в предварилке, так и на прогулках между двумя политическими находился один уголовный.

Гуляя по этим клетушкам, представлявшим собой огороженные заборами треугольники, острия которых упирались в вышку, и попадая сегодня в одну, завтра в другую, я за-

метил, что одною и тою же рукою всюду на заборах написано: «Иогансон — предатель» *. Эта надпись, как ножом, врезывалась в сердце. Но я отказывался ей верить. «Не может быть! Это — неправда! Это жандармы сами написали».

«Но здесь, в этих клетушках, гуляют же наши товарищи»,— думал я. Поскольку это неверно, они могли написать: «Ложь, ложь! Это неверно!» И невольно вкралось подозрение, что в этом есть доля правды, что нет дыма без огня, что если она не предатель, то наверно дала такие показания, которые могли показаться кому-нибудь, кто сделал эту надпись, предательством.

Хотя я и написал под влиянием соседа по одиночке заявление, что желаю дать показания, но я еще колебался. Но когда я прочел надпись, написанную, очевидно, чуть ли не полгода назад, которую никто не опровергал, последние мои колебания прошли.

— Но лучше бы тебе, товарищ Шаповалов, не писать этих показаний! Лучше бы тебе оставаться тем гордым рабочим, каким ты был под сводом Петропавловской крепости, в холодном темном карцере! Ой, остановись, пока не поздно, — что-то говорило во мне.

Но было уже поздно. Меня вызвал Кичин на допрос, и я написал показание. Хотя я никого, как мне казалось, не выдал, но все-таки, как после выяснилось, я наделал ошибок... Когда я написал эти показания, когда вернулся в свою камеру, я находился, как в полусне.

Когда же пришел в себя, я понял, что совершил ошибку. Стал вспоминать то, что написал, и к стыду своему не мог в точности восстановить в памяти написанное. Тотчас меня охватил ужас, похолодело на сердце; явилась мысль: быть может я проговорился, быть может наделал против воли ошибок. Правда, я исходил из того, что уже все известно жандармам, и в виду их тенденции менее строго наказывать социал-демократов, чем народников-народовольцев, что имело место еще в 1897 г., когда правительство еще не разглядело, какую опасность для него представляет социал-демократическое движение, я подчеркивал свое расхождение и свой переход от народовольчества к марксизму, тем не ме

---

* Предательницей Е. А. Иогансон никогда не была, но, давая обширные показания, она просто запуталась и наделала много ошибок, что подтверждает и П. Ф. Куделли в статье «Народовольцы на перепутье» («Красная летопись», 1924 г., № 2 (11): «К сожалению, ее показания свидетельствуют против нее. Она блещет перед жандармами своей осведомленностью в революционных делах вообще и широтой революционных знакомств, на допросе она говорит: «Из с.-д. я знаю Плаксина, Сильвина, Гофмана, сестер Невзоровых, Крупскую, Агринских» и т. д.

нее сознание, что я поступил скверно, дав показания, не покидало меня а, наоборот, стало все более казаться мне большим преступлением против революции.

И целые четырнадцать месяцев я испытывал самое угнетенное состояние духа. Машинально я вставал утром, ел, пил, ложился спать, ходил на прогулку и на свидания с матерью и братом. Я жил, как во сне; я стал думать, что я не нужен больше ни для жизни, ни для революции, и мне хотелось умереть.

Когда меня перевели из первой моей камеры в предварилке в другую и когда я опустил вечером кровать, подымавшуюся на шарнирах, я обратил внимание на огромное пятно серозеленовато-желтоватой мокроты. Оно уже засохло. Нет сомнения, здесь жил уголовный в последней стадии чахотки. Очевидно, он потерял в тюрьме настолько силу воли, что ему не хотелось вставать и плевать в раковину, и он лежа плевал прямо против себя на стену. Увидев эту кучу заразы, засохшей на стене, я не только не стал ее соскабливать и смывать горячей водой, наоборот я обрадовался ей. Я ложился лицом к стене против этого пятна шириною в фут, вдыхал микробы и думал: «Пусть! Я заражусь туберкулезом и умру! Это будет лучше, это будет мне наказанием за малодушие».

Я переживал душевный кризис, и во мне шла глухая борьба. То старое в виде бога, царя, капиталиста, религии и попа, против которого я восстал, что было мною заглушено, раздавлено, начало, как мне казалось, снова, как змей на дне того ада, который выдумали попы, шевелиться и злобно мне шептать в уши: «Какое ты имеешь право,— говорило оно, — ты, безумец, восстать против векового порядка, освященного тысячелетиями, против царя, бога земного и бога небесного и против богатых? Зачем нарушаешь ты и тебе подобные покой миллионов? Они привыкли молча носить свои цепи. Смотри, как непреодолимо сильна власть царя, попов, дворян и капиталистов! Она так же прочна, как пирамида Хеопса, покоясь на широком фундаменте покорности рабов. Разве не из рабочих и крестьян набраны армии, готовые по мановению руки царя ринуться на вас, безумцев и безбожников? Разве не из рабочих и крестьян набрана тюремная стража, не выпускающая тебя отсюда, стража, которая мучает тебя? Даже главари ваши, как Е. Иогансон, которая говорила тебе: «Ни под каким видом не поддавайтесь ни лести, ни угрозам жандармов-тюремщиков и не давайте показаний!», даже она не могла устоять. Она сама, стоявшая во главе, что она сделала! Она первая дала показания на следствии. Оставь! Брось! Покорись! Не свалить

таким, как ты, безумцам власть царя и богатых! Ты будешь раздавлен, как червяк, на дороге пышного и победоносного шествия царизма и богатства. Оставь, брось борьбу, смирись!»

«Нет, нет! Не поддавайся угрозам этого старого и гнилого», — говорило все, что было во мне хорошего, что подняло меня, что возмутило меня, что восстало во мне против царя, против всего старого мира с его несправедливостью и гнетом. «Сильна наука. Разве не доказала она, что все библейские сказания о сотворении мира, о всемирном потопе и т. д. наглая выдумка попов? Разве великий Чарльз Дарвин не доказал в своей книге «Происхождение видов», что человек не сотворен богом, а происходит от обезьяны, от низшего животного, что он постепенно, в течение сотен тысяч лет развился до современного человека? Разве великий Карл Маркс не раскрыл тайну капиталистического накопления, доказав, что богатство происходит от украденного у рабочих, от прибавочной ценности? Разве он не дал действительных указаний, не опровергнутых буржуазными лжеучениями, что капитализм сменится социализмом? Вспомни, сколько уже погибло героев и мучеников и за дело науки и за дело социализма. Нельзя отделить науки от социализма, как нельзя отделить религии от капитализма. Наука за нас, за рабочих! Вспомни Галилея, замученного католическими попами-ксендзами. Измученный, больной, ослепший в тюрьме, он пал духом, как ты теперь падаешь духом, но в последнюю минуту он нашел в себе силы сказать: «А все-таки она вертится!»* Подымись и ты, встань крепко. Брось снова вызов всем этим друзьям тьмы и гнета».

«Разве ты первый разочаровался? — снова упорно шипело старое и гнилое. — Вспомни серба Юрия Крыжаныча, он говорил: «Умы русских тупы и косны!» Он разочаровался тогда в России. А разве что изменилось с тех пор? Разве это не видно, не бросается в глаза до сих пор? Что говорил Чаадаев: «История других народов — повесть их освобождения! Русская история — развитие крепостного состояния и самодержавия!» Как же ты хочешь, чтобы этот народ, который «туп и косен», по Крыжанычу, и история которого есть история развития гнета, по Чаадаеву, чтобы этот народ мог подняться и сбросить царизм, который он сам создал!»

«Не верь, не верь этому, — говорило во мне все поднявшее меня на борьбу, — уже пробуждается этот русский рабочий

* Смелые, мужественные слова эти, приписываемые Галилею, относятся очевидно, к сожалению, к области легенд.

народ. Доказательством являешься ты сам. Ты вышел из самых низов его, из самых задавленных и угнетенных слоев русского народа. Но ты нашел мужество восстать и против бога, и против царя, и против капитализма. Но чем ты лучше других? Ты только раньше проснулся. Смотри! Хотя еще ночь на Руси, но уже поют предрассветные петухи, и уже брезжит рассвет и уже задрожал мрак. Скоро утро. Эй, встань! Подымись! Держись крепко! Что значит, что ты погибнешь в тюрьме, в кандалах! Ты — ничтожная песчинка на нашей планете, вращающейся кругом себя и кругом солнца. Скажи, где написано в ветхом завете, в этой Библии, с которой носятся попы, что наша земля шар и что она вращается кругом солнца, что она, как учит Гершель, несется в пространстве вместе с нашим солнцем и всей солнечной системой к созвездию Геркулеса. И как редеет темный лес, когда к нему приближаются, редеют звезды и не имеют больше вида туманных пятен. Наука опровергла все басни попов, что наша земля — плоская и четырехугольная. Но наука победит лишь тогда окончательно, когда победит социализм. Пока последний не сразит тупого и жадного капиталиста и помещика,— до той поры Прометей, несущий с неба огонь познания и науки, будет всегда пригвожден к скале, и кровожадный коршун — капитализм и монархизм — когтями и хищным клювом будет терзать и рвать его грудь и сердце. Если ты погибнешь, ты погибнешь почетною смертью героя и мученика. Встань! Подымись! Бросься снова в борьбу! Что обещает в будущем самодержавие? Один беспрерывный гнет и рабство. Оно враждебно относится к той свободе, которая светит нам ярким пламенем в З. Европе. А что обещает социализм? Всеобщее освобождение и изобилие, красоту жизни, наслаждение жизнью, трудом и наукой, царство свободы, по Ф. Энгельсу, с освобожденной личностью!»

Как солдат, взятый в плен на поле битвы, падает духом, считая сражение проигранным, так и я при известии, что Е. Иогансон, которая, едва заглох за ней стук тюремной двери, оказалась такой слабой, что все рассказала Шмакову, и из сознания, что я тоже дал показания, — я пал духом.

Великая российская пролетарская революция, раздавившая всех, боровшихся с нею, вымела жесткой метлой все остатки крепостничества и феодализма и расчистила путь к великому славному будущему. И уже народился на Руси гордый и смелый отважный человек, который перестроит жизнь по-новому. Но я принадлежал к старому поколению рабочих, выросших в традициях рабства. Я нашел силы подняться, но пал духом в глухой тюрьме.

И я стал казаться себе жалким и ничтожным. Значит, я не избежал участи тех, про которых говорил Шмаков: «Все вы сначала держите себя гордо; а как посидите в одиночке месяцев восемь или год, так делаетесь шелковыми!» В этих словах — ужасная правда. Тюрьма, одиночное заключение убивают людей. Она убила и меня. И я страшно жалел о том времени, когда я целых семь месяцев гордо отвергал предложение жандарма дать показания. «Как счастлив тот товарищ, который не идет на компромисс, остается твердым, как скала, до конца», — думал я.

В глубине души я все-таки не верил, что Иогансон могла дать такие показания и что Тулупов написал дневник.

«Просто, вероятно, — продолжал я думать, — это «Тяжелая артиллерия» * не выдержал. Он всегда был слабым».

И поэтому я еще более падал в своих глазах оттого, что дал показания.

Когда сидишь в одиночке, всегда хочется вскарабкаться, влезть к тюремному окну и взглянуть, что делается за ним. Я не мог противиться этому желанию и однажды, вскарабкавшись, ухватился за решетку, влез наверх и увидел А. Ергина, гулявшего внизу, на дворе в клетушке. У меня тотчас явилось желание сообщить ему самое главное, что по моему мнению среди нас есть болтунишка, рассказавший все жандармам, и что это не кто иной, как т. С. **. Я стал «телеграфировать» ему, махая носовым платком.

— Нет, — ответил мне А. Ергин, «телеграфируя» ладонью.— Я не думаю, что С. оказался болтунишкой на следствии. Это совершенно неверно. Но Е. Иогансон дала самые подробные показания благодаря дневнику М. Тулупова. А лично мне про вас прокурор Кичин говорил, что вы проявили себя самым стойким и что вы самый последний дали показания.

В ту же минуту, услышав стук отворяемой двери, я соскочил с окна. Было уже поздно. На пороге камеры стоял маленький помощник начальника тюрьмы со злыми глазами и сердито кричал:

— Это что такое! В карцер на сутки на хлеб и воду! Но если еще будете в окно кричать или переговариваться зна-

---

* Как показало дело о Лахтинской типографии, С. оказался не слабее и не сильнее других рабочих-народовольцев.

** Н. Е. С. никогда в борьбе за свободу не был предателем. Но колеблющийся, боявшийся ареста, тяготившийся положением революционера-работника подпольной типографии, он вставал в моем воображении, как нестойкий, слабый; он казался мне в тюрьме именно неспособным выдержать борьбу с жандармами .Такое, наверно, мнение о С. создалось во мне под влиянием оценки, которую давал о нем в беседах со мной В. Приютов; и я и он — мы оба ошибались.

ками, то мы лишим вас права получения книг из библиотеки и лишим свиданий.

Сообщение А. Ергина, что я лишь последний стал давать показания, немного успокоило меня и подняло в собственных глазах. Я стал бороться с охватившим меня мрачным настроением. Меня снова охватила жажда жизни. Вернувшись из карцера, я соскреб туберкулезную заразу, вымыл стену горячей водой и набросился на книги, благо в предварилке находилась превосходная библиотека.

И чем более я читал, тем более еще раз убеждался, что мы, рабочие, являемся жертвами ужасного, страшного обмана. Попы всех религий и исповеданий, продажные писаки, наглые палачи-жандармы,— все составляют одну шайку, подкупленную капиталом, прилагающую все усилия, чтобы убедить рабочего, что в этой жизни ему необходимо терпеть и покоряться и надеяться лишь на блаженство в будущей жизни, в так называемом раю. Но последнего нет, как нет бога и дьявола.

Мои прежние товарищи «молодые» народовольцы, с которыми я идейно разошелся еще в 1895 году, но которых я уважал и уважаю за их героизм, за преданность, за готовность погибнуть за идею, теперь еще раз упали в моих глазах. Нет, они, молодые народовольцы, мало похожи на тех великих и гордых старых деятелей «Народной воли», которые уже сложили свои головы в борьбе за свободу. Нет, не им победить в той гигантской борьбе, которую вызовет революция. Не случайность, что я, замученный тяжелым трудом рабочий, оказался более стойким и крепким, чем они. Меня поддержала та могучая сила рабочего класса, которая руководит им, когда он идет на борьбу за социалистический строй, подняв знамя революционного марксизма. Нет силы, которая бы померилась с ним.

Читая книги в тюрьме, интересуясь всеми открытиями науки, днем, когда я бегал по камере, вечером, когда сидел за столом с книгой в руках, ночью, когда ложился спать, утром, когда вставал, — всегда я думал о том, как прекрасна будет жизнь будущих поколений при социалистическом строе. Этот новый идеал, идеал угнетенных и гибнущих, все более очаровывал меня. Я чувствовал, что у меня растут силы, вырастают крылья. Я испытывал два чувства. Чувство любви к угнетенным и страдающим трудовым классам и чувство суровой ненависти, не знающей пощады и примирения ко всем паразитам, пьющим нашу кровь.

Я снова чувствовал себя тем рабочим, который восстал против векового страшного обмана, против бога, против царя и капитала. Жгучая ненависть клокотала во мне огнем!

Меня охватывала жажда мщения. «Придет день возмездия,— говорил я себе,— когда победит восставший рабочий».

Так прошла весна 1897 года, лето, осень, зима. В течение последней мне об'явили приговор: ссылка на три года в Восточную Сибирь. Я получил от матери на свидании сведения, что Красный революционный крест, присылавший мне деньги на чай и сахар и помогавший ей немного, купил мне овчинный полушубок, щиблеты и главное, о чем я просил, — первый том «Капитала» К. Маркса. Но я не знал, когда меня отправят.

ПЕРЕСЫЛЬНЫЕ ТЮРЬМЫ

В предварилке, как и в Петропавловке, не было обыкновения говорить арестованному, куда его отправляют. Верный этому правилу надзиратель, вошедший в камеру, ограничился лишь словами:

— Соберите ваши вещи и пожалуйте в контору!

На мой вопрос, куда и для чего, он ничего не ответил. Но по всем данным я догадался, что меня переводят куда-то — по всей вероятности для отправки в Сибирь. В конторе мне выдали находившиеся там несколько рублей, присланные через мать из революционного Красного креста, и предложили расписаться в получении их. Затем меня сдали под расписку двум конвойным.

Они повели меня во двор предварилки. Отсюда пролетка повезла нас троих. Куда — я определенно еще не знал. Конвойные, бывшие очень вежливыми со мной, тем не менее не ответили на мои вопросы, куда они меня везут.

На улицах светило февральское солнце. Снег уже начал таять. С крыш капало. Падали и разбивались ледяные сосульки. У стен домов, где особенно пригревало солнце, весело чирикали воробьи. Галки, вороны, грачи перелетали с громким карканьем с места на место. Все говорило, что приближается долгожданная весна. Я внимательно смотрел на все, что происходило вокруг меня. По улицам шла озабоченная толпа. Никто не обращал внимания, кого везут под конвоем. «Мало ли теперь всякого жулья возят», — можно было прочесть в равнодушных взглядах, которые люди бросали на меня и на конвойных солдат, торопливо проходя мимо.

Когда мы в'ехали на Казачий плац, я понял, наконец, что меня везут в пересыльную тюрьму. Мы проехали через всю площадь мимо возов с сеном и мимо крестьян в армяках, в полушубках. Покупатели сена с усилием запускали поглуб-

же руки в туго уложенный воз и, вытащив из самой середины клок сена, рассматривали его внимательно, спорили, торговались с продавцами-крестьянами. Некоторые, окончив торг, взявшись за полы кафтанов, хлопали руками и отправлялись в трактир напротив пить чай. Из «казенки» поминутно появлялись грузчики, босяки и рабочие с бутылочками водки в руках. Выбив ловким ударом руки в донышко пробку, они здесь же, у под'езда, пили из горлышка хмельную влагу.

Мы проехали мимо этих людей, хохотавших и матерно бранившихся, и очутились, наконец, перед воротами пересыльной тюрьмы. Когда меня привели в контору, мне бросилось в глаза, что здесь перед этим повидимому что-то произошло. Начальник тюрьмы сердито взглядывал на надзирателей. Последние, явно смущенные, тянулись перед начальством изо всей силы. Осматривая мою одежду, мои сапоги и все мои вещи, они проявили такое старание, словно решали вопрос, не нужно ли распороть все швы моей одежды и отодрать обе подошвы от ботинок.

— Все они прячут свои пилки в подошвы, — говорил один из них.

— Как случится что, не дай боже, опять начнет он нас пушить... Уж как он сегодня нас чистил. Я даже взопрел, — говорил другой.

— Это уж так, — продолжал первый, — хочешь, чтобы не было побегов, держи ухо востро с арестантом, не верь ему, распори ему все швы на его одеже и оторви подошвы на его сапогах: там ведь они прячут эти пилки.

— Что и говорить, — соглашался второй, — беда с этими арестантами: нельзя им доверять, смотри в оба!..

— Да, только опять, — возражал первый, — нельзя у каждого из них подошвы рвать, надо разбираться... Вот, например, у этого, — он указал на меня, — совсем не нужно отдирать подошвы. Он на короткий срок идет: ему нет никакого расчета устраивать побег. Вот что...

Из разговора надзирателей, долго споривших о том, нужно ли отрывать подошвы от сапог, я понял, что в тюрьме только-что произошел побег через подпиленные решетки и что начальник тюрьмы распек надзирателей, ругая их похабной, матерной бранью и обещая то «набить им морды», то отдать их под суд и так далее.

Когда надзиратели, перевернув все вверх дном в моей корзине, пересмотрев все швы и повертев в руках много раз мои сапоги, решили, наконец, оставить их в покое, они повели меня из конторы по коридорам тюрьмы. Тотчас меня

охватил тот невыносимо тяжелый, особенный запах, та ужасная вонь, какие присущи тюрьме.

Из-за решетчатых дверей общих камер на меня были устремлены десятки любопытных глаз уголовных в арестантских куртках. Наконец, меня заперли в одиночку. Я вздрогнул от отвращения. В ней царствовал полумрак. Стены были липки от сырости. Кровать грязна. Под полом пищали мыши и крысы. Пахло клопами. Та же вонь, что наполняла коридоры, проникала и сюда. Было душно. Я немедленно стал стучать в дверь.

— Начальника хочу видеть!—сказал я надзирателю, спросившему, почему я стучу.

— Зачем вам начальник? — переспросил он.

— Пусть переведет в другую камеру, — ответил я. — Куда вы меня посадили?

— Успокойтесь, завтра в другую камеру переведем, сегодня нет места.

Пища тоже оказалась отвратительной. Хлеб был с песком, непропеченный, походил на клейстер и вместе с тем подгорелый. «Баланду» принесли такую вонючую и противную на вкус, что я долго не решался до нее дотронуться.

Вечером пришел надзиратель, закупавший для арестантов в городе продукты.

— Завтра вас отправят в Москву, в московскую пересыльную тюрьму, — сказал он, — не желаете ли чего купить на дорогу?

Я заказал трески и ситного.

— Зачем вы заказали все это себе? — говорил другой надзиратель, принеся заказанные мною полфунта трески и два фунта ситного. — Ведь ваши товарищи все закупили!

— Какие товарищи? — возразил я, подозревая обман. — У меня здесь никого знакомых нет!

— Да что и говорить! Пожалуйте на прогулку, — сказал мне надзиратель, как бы желая дать ответ на мои слова.

Лишь только я вышел в коридор, я был поражен и долго не мог притти в себя от неожиданности. Ко мне подходил со словами «здравствуйте Александр Исидорович», Михаил Александрович Сильвин. Около него еще стояли трое незнакомых молодых людей; он меня тотчас же познакомил с ними; это были товарищи: Фридрих Вильгельмович Ленгник, Константин Константинович Бауэр и Моисей Лурье. Тотчас же полные восторга от первой после долгого сиденья встречи все пошли на тюремный двор на прогулку.

До сих пор мое знакомство с товарищами-интеллигентами было самое мимолетное — это были короткие деловые встречи на улицах или в кружках. Все мы знали, что за нами

могла быть слежка, что каждая лишняя минута, проведенная вместе, могла повести к аресту. Поэтому, переговорив о самом необходимом, товарищ-интеллигент, переодевшийся на этот случай рабочим, спешно уходил. Только теперь в тюрьме, по дороге в Сибирь и в самой Сибири я получил возможность быть вместе с этими необыкновенными, как мне казалось, людьми. Они не были похожи на тех интеллигентов-оппортунистов, которые приходят к рабочим в Западной Европе, движимые лишь честолюбием и возможностью занять выдающееся положение и в парламенте и в государстве. Это были, наоборот, люди, давшие себе на самом деле обещание посвятить свою жизнь освобождению рабочего класса, не извлекавшие никаких личных выгод и жертвовавшие всем для рабочего класса.

Я внимательно присматривался к ним. Все они были молоды, как и я. Выражение их лиц, глаз, всего их существа говорило, что они переживают радость встречи после долгой разлуки. Они были полны жизни, веселья, молодого задора. Очутившись на тюремном дворе все вместе, они дали волю после стольких долгих месяцев вынужденного молчания потребности поделиться мыслями и шумно выражали свой восторг, в особенности М. Лурье и Бауэр. Все они отчасти напоминали школьников, вырвавшихся из школы, из-под зорких глаз учителя.

Находясь в строгом одиночном заключении почти два года, я представлял себе мою будущую жизнь и по дороге в ссылку и в самой Сибири как продолжение того же гнетущего одиночества. Поэтому эта неожиданная встреча с товарищами-марксистами совершенно ошеломила меня. Слушая их рассказы о долгих месяцах в одиночке, я понял, что их не подвергали такому суровому режиму, как меня. Почти ко всем им приходили девушки-невесты на свидание; их не лишали чтения книг; они получали письма с воли — все это вносило известную отраду и скрашивало их жизнь в тюрьме.

Это, конечно, об'ясняется тем, что, как я уже упоминал выше, правительство не успело в достаточной степени в марксистах рассмотреть своих самых непримиримых врагов и видело последних только в народниках.

Я, страдавший в тисках нищеты, под гнетом капитала на воле, попав в крепостную тюрьму, испытал и там всю тяжесть и горечь полного одиночества. У меня не было ни жены, ни невесты, ни друга, которые пришли бы ко мне. Свидания с матерью не только не давали мне никакой радости, но, наоборот, в конец измучивали меня. Я знал, что мать неспособна была меня понять, возвыситься до социализма и меня одного считала виновником ее горя, страданий, ужаса

перед будущим. В ее глазах я читал немой упрек: «Зачем ты сделался безбожником-социалистом, зачем бросил нас, предпочтя революцию матери? Зачем не послушал меня и ушел с Варшавки»?

Я вспомнил Е. Иогансон. Она тоже была интеллигентка. Но сколько ужасных переживаний связано было с ее поступком! Как отравленный ядовитыми газами вытащенный из шахты углекоп не скоро приходит в себя, так я, отравленный недоверием к людям, к вождям, к интеллигентам, поразил всех товарищей своим мрачным видом. В то время, когда они испытывали восторг встречи, были веселы, делились впечатлениями, я один молчал, испытывал гнетущую тоску. Она отражалась на моем лице и сквозила из глаз.

Меня тяготило сознание, что я дал показания, что я не выдержал борьбы со Шмаковым, что я не устоял, пал в своих глазах, как и другие, привлеченные по делу партии «Народная воля». Поэтому первым делом я самым подробным образом рассказал товарищам обо всем, что я вытерпел и пережил за восемь месяцев заключения в крепости и какие испытывал страдания из-за того, что, поддавшись совету соседа в одиночке дал показания.

Я ожидал, что товарищи отнесутся ко мне с осуждением, отвернутся от меня, как от прокаженного, с презрением, но они, наоборот, признались, что тоже давали показания, и не нашли в моем поступке ничего дурного. Но я не находил себе оправдания. Я думал: «Е. Иогансон и другие — народовольцы. Они вышли из мелкобуржуазной и буржуазной среды. Ты среди них настоящий рабочий. Что дала тебе твоя жизнь на воле? Ничего кроме гнета, страдания и нищеты. Ты не знал радостей жизни. Поэтому тебе нечего было терять, попав в тюрьму. Ты должен был быть твердым, как дуб, не сгибающийся под грозой, тверд, как скала, о которую разбиваются свирепые волны. В своей твердости, в презрении к страданиям ты должен был бы, как рабочий-марксист, превзойти всё. Твое назначение быть борцом и мучеником за социализм. Ты, — говорил я себе, — ты при первом же испытании не устоял, склонился, как скошенная трава».

Вот что думал я, когда ходил по двору и молча слушал, как, перебивая друг друга, говорили товарищи.

На другой же день нас отправили с партией уголовных на Николаевский вокзал. Я был помещен в одну карету с Ф. В. Ленгником. На вокзале нас ожидала группа родных и знакомых товарищей. Среди них я заметил высокого с бледным лицом интеллигента и очень красивую барышню: пер-

вый был знаменитый легальный марксист Петр Струве*, он пришел проститься со своим знакомым К. К. Бауэром; вторая была невеста товарища Лурье, «кузина», как он ее называл.

Но среди провожавших не было моей матери. От'езд произошел скорее, чем предполагалось, и она не успела получить моей открытки, в которой я извещал об от'езде из Питера.

«Пожалуй, это будет лучше, — думал я. — Иначе и ей и мне было бы очень тяжело это прощание»

Конвойный офицер давно уже, казалось, устал говорить:

— Пожалуйте, господа, в вагон. На платформе разговаривать не полагается.

Товарищи, видимо, не слышали его. Особенно М. Лурье не мог наговориться и оторвать своего взора от красивого лица «кузины». Наконец, кончилось это прощание.

Мы вошли в арестантский вагон, с железными решетками на окнах. Родные и знакомые товарищей, оттесненные от нас конвойными, долго махали платками, пока поезд, громыхая цепями, не тронулся с места и не скрылся из их глаз.

Задумчивы и грустны сидели товарищи. Все хранили молчание, смотря через железные решетки окон на удаляющийся великий город. Вот уже исчезли из виду дома, постройки, кресты церквей. Долго маячили лишь высокие фабричные трубы, изрыгавшие черные полосы дыма. Потянулась унылая, однообразная, бедная равнина, покрытая снегом. Бросались в глаза очень большие пространства вырубленного леса по обеим сторонам железной дороги. Всем сделалось грустно. «Прощай, Петербург! Прощай надолго!» — казалось, думали все.

Офицер, начальник конвойной команды, сопровождавший партию арестантов до Москвы, нарушил молчание:

— Господа, — обратился он к нам, — я не могу разговаривать со всеми. Выберите себе старосту и получите кормовые деньги.

Тотчас М. Сильвин указал на К. К. Бауэра. Все единогласно подтвердили выбор. Первой его заботой было лучше разместиться в нашем купе. Скамейки у входа в вагон были заняты конвойными солдатами, приходившими с дежурства. У дверей стоял часовой. Остальную часть вагона занимали уголовные. Когда приходившие конвойные отворяли дверь, видно было, что вагон набит ими до пределов возможного.

К. Бауэр, выбравший себе место над конвойными, часто вскакивал с верхней полки, говоря, что невозможно лежать,

---

* Теперь П. В. Струве в лагере самых отчаянных черносотенцев и контрреволюционеров и находится вне пределов Советской России.

что в воздухе «топор висит». Лучшее место мы дали т. Любови Владимировне Ергиной (до замужества — Лазарева). Переезд из Питера до Москвы совершился благополучно. Только в Твери, где пришли к т. Бауэру его знакомые из тверского земства и просили свидания, он ссорился с офицером, не дававшим свидания без разрешения. Кончилось тем, что свидание это, несмотря на ночь, он получил.

Но вот мы стали приближаться к Москве. Это был город, к которому я, будучи еще народовольцем, одно время относился с презрением. Ведь Москва раздавила древние русские республики — Великий Новгород и Псков. Здесь, в Москве, окрепло царское самодержавие. Это была та самая Москва, которая не знала слез и которая издавна гнула в бараний рог. Это была колыбель царизма, город, откуда пошел гнет на всю Россию.

— Спит Москва! — сказал М. Сильвин, когда нас конвойные посадили в кареты, и мы покатили в Бутырскую тюрьму.

Он намекал на то, что массы погружены еще были в глубокий сон, и наш приезд не вызвал ни дружеского, ни враждебного отношения к нам. Но ведь то же самое наблюдалось и в Питере.

Массы инертны и равнодушны. Нужна усиленная работа, чтобы раскачать их. Это работа годов, десятилетий и может быть нескольких поколений, особенно в таком отсталом городе по сравнению с Петербургом, каким была Москва в 1898 г. Мне казалось еще невозможным, чтобы рабочие массы при их тогдашней отсталости могли встретить, как друзей, нас, шедших в Сибирь. «Нет, это почти недостижимо, этого надо еще очень долго ждать», — думал я, когда мы в'езжали в ворота Бутырской тюрьмы. Здесь нас посадили в «Часовую башню». Я узнал, что другая подобная башня называлась Пугачевской, по имени вождя крестьянского восстания при Екатерине II уральского казака Емельяна Пугачева, сидевшего в этой башне.

Как только мы вошли в большую круглую комнату верхнего этажа башни, я вздрогнул от удивления и радости, увидев в ней старых товарищей: Косолобова, Купцова и Белова. Я заметил в них большую перемену — они уже не были теми восторженными юношами, какими я их знал. Страдания, перенесенные в одиночках Петропавловской крепости, положили на них отпечаток зрелости и мужества. Предоставленные самим себе, они научились действовать самостоятельно.

Но показания Е. Иогансон и глупый дневник М. Е. Тулупова отразились, видимо, на них самым деморализующим

образом. Они пережили первое жестокое разочарование в людях и в особенности в своих вождях. Они около месяца пробыли вместе с Приютовым и Белевским. Последние, эволюционировав опять в сторону народовольчества, порвали со всеми уступками марксизму и стали в непримиримую позицию к последнему. Влияние их явно отразилось на моих прежних товарищах.

Раньше, до ареста, я был проводником влияния марксизма на них. При моем содействии и моем влиянии они отрешились от веры в бога, как и я, они восстали против бога и растоптали, умертвили в себе гнусный обман — религию. Вместе со мной они искали два года социалистов. Так же со мной вступили в партию «Народная воля». Как и я, они пылали стремлением умереть с бомбой в руках. Вместе со мной порвали с народовольчеством и перешли на сторону революционного марксизма. Но из них я один остался неуклонно верен последнему. Они поспешили мне заявить, что они теперь народовольцы. Особенно непримиримым оказался Купцов. Наморщив свой высокий белый лоб, он сказал мне:

— Мы страдали в тюрьме как народовольцы и как народовольцы мы идем за Урал в далекую ссылку на пустынные берега Лены!

Еще новую черту я заметил у своих товарищей: они уделяли часть времени разговорам о красоте женщин и о любви.

У товарищей-интеллигентов эта сторона жизни, видимо, играла еще большую роль. Они говорили между собой о невестах, приходивших к ним на свидание, и посмеивались над М. Лурье, который стал заметно скучать после от'езда из Питера, расставшись с «кузиной».

До ареста я видел лишь одну сторону, лучшую, в товарищах. Я наблюдал их на революционной работе в подполье. Последняя их захватывала целиком. И немудрено, такой огромной работы, незаметной, неизвестной, какую проделала наша партия в это время, как и позднее, не было, по всем данным, проделано нигде на земном шаре. Нужно ведь было поднять русского рабочего, почти дикаря, до высот социализма. Немудрено, что товарищ должен был отдаться весь целиком этой работе. Все его слова, поступки, дела,— все говорило, что он живет не для себя, а для идеала, для той великой цели, к которой социализм зовет рабочий класс.

Такой человек не был похож на обыкновенного человека.

В моих глазах он был окружен как бы ореолом: «У меня одна невеста, одна жена, одна мать, — как бы говорил он, — это революция!»

Но в тюрьме, и особенно в ссылке, в вынужденной бездеятельности выступала и обратная сторона человека, то, что было скрыто, заглушено. Это личная жизнь. Эта сторона жизни часто здесь выдвигалась на первый план.

Природа, изгнанная в дверь, шумно и дерзко врывалась в окно...

До ареста мы пели лишь революционные песни, зачитывались стихотворениями, где говорилось о страданиях масс, которые звали к красоте подвига. Теперь здесь, в тюрьме, я был удивлен, что мои товарищи уделяют также много времени романсам и песенкам, где говорится о любви к женщине. Косолобов, Купцов и Белов любили петь:

Мы случайно с тобой повстречались,
Много, много было в обоих огня
Мы недолго в сомненьи терялись,
Полюбила ты скоро меня!

Об атмосфере влюбленности говорит и Л. Толстой, описывая социалистов, идущих на картогу и ссылку в Сибирь в своем романе «Воскресенье».

Почти у всех товарищей-интеллигентов были невесты, которые приходили к ним на свидание и которые должны были приехать к ним в Сибирь.

К рабочим, как я заметил, на свиданья приходили большей частью лишь их матери. Многие из передовых рабочих того времени, поднявшись на неизмеримую высоту, по сравнению с тем уровнем, на котором находилась еще спящая масса рабочих, склонны были увлекаться интеллигентками,* но революционная работа, захватывая их целиком, не позволяла им думать о личной жизни. Они были одинокими. Матери, которые приходили на свиданье, еще долгое время не разделяли увлечения социализмом своих сыновей. Лишь позднейшая эпоха, всколыхнув массу, дала возможность Горькому написать такое произведение, каким является его «Мать».

Видя, как сияют от счастья глаза Лурье, получившего письмо от «кузины», наблюдая, как у товарищей этой стороне жизни невольно отводится огромное место, я испытывал двоякое чувство: с одной стороны, я завидовал им, с другой стороны, вспоминал, что я принадлежу к тому слою рабочих, которым как бы суждено страдать и гибнуть. Счастье, личное счастье, недоступно для меня. Я обречен

---

* Сто лет назад во Франции у французских рабочих-революционеров замечалась подобная же черта. См. Жорж Занд, роман «Земля Вильпре».

на гибель в суровой борьбе! Самым последовательным было бы прорваться сквозь запоры и решетки и снова ринуться в неравный бой. Но последнее было еще невозможно. Партия была слишком слаба, чтобы содержать нелегальных. «Было решено, — как вспоминает об этом Ю. О. Цедербаум (Мартов),—итти в Сибирь и выждать там лучшего времени». Оттого и я должен был оставаться целых три года в ссылке. Таким образом пропадало желание и искренний порыв молодости — погибнуть в борьбе за освобождение рабочего класса.

Я ненавидел старую Россию с ее царем, попами, жандармами. Я ненавидел капиталистический строй. Я находил наслаждение в усталости, которая охватывала меня после дня работы на заводе и после революционной работы. Каждый день поднимать молот и бить им в стену царизма и капитала, бить беспощадно, без перерыва, это доставляло наслаждение. Так хотелось бить, наносить удары ежедневно, все время, пока не рухнет эта стена, пока не будет добито чудовище царизма и капитала.

— Отчего вы такой грустный и такой мрачный? Мы все смеемся, все веселы, у вас у одного на лице написана глубокая печаль, — спрашивали меня Лурье и Бауэр.

— Мне стыдно перед самим собою, что я не устоял в борьбе со Шмаковым, что я не выдержал тюрьмы...

— Полно, полно! — говорил мне Лурье. — Подумайте, какой почет для революционера побывать в Сибири, за Уралом! Это значит понюхать пороха. Вы очень скромного мнения о себе. Но вы ошибаетесь. Вообразите только: ведь вы уже не простой рабочий, вы революционер, вам выпала завидная участь в борьбе за великую идею перешагнуть через Урал.

Как бы в ответ на его слова раздалась песня:

Дружно, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Ее пели Косолобов, Белов и Купцов на мотив студенческой песни:

Медленно движется время,
Веруй, надейся и жди;
Зрей, наше юное племя:
Путь твой широк впереди.

Она только-что была сочинена одним товарищем. К сожалению, его фамилия мне неизвестна *. Товарищи перея-

*По словам т. Бонч-Бруевича, автором этой песни был Леонов Петр (Радин) (см. «Пролет. рев.», № 2 за 1921 г.).

ли ее от только-что прошедшей партии ссылаемых в Сибирь. Я ее слышал в первый раз, и она меня и всех нас пленила и привела в настоящий восторг.

Кроме этой революционной песни я услышал также в первый раз очень красивый торжественный гимн: «Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами» и «Вихри враждебные воют над нами». Оба эти гимна написаны т. Кржижановским Глебом Максимилиановичем. Музыка взята, как известно, из польских повстанческих гимнов.

На внутренних досках столов я случайно заметил надписи латинским шрифтом: Чекальский, Ковалевский, Проминский. Петрашек, Кулик и т. д. Это товарищи-поляки, ранее нас прошедшие через Москву в Сибирь, записали здесь свои фамилии.

Я должен познакомить читателя с товарищами, с которыми шел в Сибирь и находился теперь в Часовой башне Бутырской тюрьмы.

О товарищах Косолобове, Купцове и Белове я уже говорил достаточно ранее. О Михаиле Александровиче Сильвине я упоминал лишь мельком. На воле наши встречи были мимолетны. Только в тюрьме я познакомился ближе. Он представлял собой увлекающегося жизнерадостного человека. Он происходил из мещанской семьи Нижнего-Новгорода. Ему удалось окончить реальное. Как и многие, он учился и зарабатывал уроками. Еще в Нижнем-Новгороде он заинтересовался рабочим движением. В Петербурге поступил в университет. Здесь он вошел в «Союз борьбы».

Он очень любил художественную литературу и, по его словам, ежегодно перечитывал и «Евгения Онегина» Пушкина и «Мертвые души» Гоголя. Его выступление на нашем кружке против народовольчества в защиту марксизма произвело на всех нас сильное впечатление.

Он подавал большие надежды, принимая видное активное участие в работе по организации в России групп старой «Искры» и в борьбе с экономизмом. Арестованный он, по несчастной случайности, не успел бежать вместе с другими искровцами из Лукьяновской тюрьмы в Киеве во время знаменитого побега искровцев. Просидев в тюрьме около трех лет, он после раскола партии в 1903 г. попал за границу. В настоящее время он беспартийный однако, пользуется большим доверием со стороны советской власти и работает в наших советских учреждениях. Он был одет в серо-желтую охотничью куртку и брюки. Этот костюм очень шел к нему. Он был друг Фридриха Вильгельмовича Ленгника.

Но последний очень отличался от М. Сильвина. Насколько у Сильвина можно было усмотреть элемент непостоянства

и даже до известной степени ветренности, настолько Ф. В. Ленгник производил впечатление человека сурового, строгого и стойкого в привязанностях. Он носил рабочую блузу и черную бороду. Внешность его была настолько серьезна и строга, что я его в первое время даже побаивался. Но Ленгник обладал чрезвычайно нежной душой. Он был замечательно добрый и мягкий. Он производил впечатление человека, который будет верен до конца тому делу, которому он посвятил жизнь.

В Петербурге т. Ленгник вступил в «Союз борьбы». Арест его последовал, когда он уже успел окончить Технологический институт. Таким образом в ссылку он ехал, будучи уже инженером-технологом. Он очень много читал, в особенности в предварилке, где он вставал в пять часов утра и, начиная работать, брался за книги.

М. Сильвин и Ф. Ленгник очень часто в разговоре с Бауэром и Лурье говорили о «старике», об «Ильиче». Из их разговоров я понял, что этот неизвестный еще мне Ильич был особенно выдающимся человеком и являлся главою «Союза борьбы». Характерно, что, вспоминая Мартова, они никогда не приравнивали его к Ленину. Уже тогда, на заре деятельности нашей партии, в глазах всех знавших Владимира Ильича и Юлия Осиповича личность первого вырисовывалась как личность вождя.

Константин Константинович Бауэр был типичнейшим интеллигентом, лет двадцати семи-восьми, среднего роста, блондин с серыми глазами, очень живой и неглупый. Будучи юристом по образованию, разойдясь со своей буржуазной аристократической родней, он примкнул к революционному марксизму. Но ему еще не удалось получить боевое крещение.

У него оставался нетронутым огромный запас энергии, который он не успел израсходовать на революционной работе. Он не приходил в непосредственное соприкосновение с рабочими и не занимался в рабочих кружках. Так как он играл видную роль в «Вольном экономическом обществе» и по другим его личным данным, как человека выдающегося, его жандармы считали главою «Союза борьбы».

Вероятно, вследствие этого, его загнали в Верхоленск, Иркутской губ., на четыре года. Он оказался образцовым старостой в тюрьме и все время чрезвычайно настойчиво и умело отстаивал перед тюремным начальством наши интересы.

Самым молодым из выехавших со мной из Москвы товарищей был М. Лурье. Родом из Вильны, он являлся учеником Мартова. Он то погружался в задумчивость, скучая по

«кузине», то вскакивал в экстазе и пел революционные песни, то прыгал, говоря:

— Ведь мы едем за Урал, за Урал!

Он и другие товарищи очень много говорили о книжке Ф. Нансена о путешествии на Северный полюс.

В Часовой башне мы встретили т. Винокура. Это был полуинтеллигент, окончивший среднюю школу экстерном; родом из Одессы, он представлял собой типичного экономиста в смысле уклона в сторону лишь экономической борьбы. В Вилюйске он один из первых поддался агитации анархиста Махайского и повлиял в отрицательном смысле на Колбасова и Купцова, вернувшихся из Вилюйска махаевцами.

Старший надзиратель в Часовой башне, высокий плешивый старик, называвшийся «Акимыч», обладал необыкновенной памятью: он узнавал тех из политических, которые проходили через Бутырскую тюрьму лет двадцать назад в ссылку или на каторгу.

В Часовой башне я познакомился впервые с игрой в шахматы. Шахматная доска была нарисована чернилами на листе толстой оберточной бумаги. Фигуры были слеплены из мякиша черного хлеба. Лучшим игроком, насколько я помню, был Ф. В. Ленгник.

Сойдясь вместе в одной камере, интеллигенты и рабочие старались наверстать упущенное время. Усиленно читали. Образовались кружки по всем отраслям знания. Шум, смех, частое пение революционных и других песен,— все это говорило о неугомонности обитателей Часовой башни. Большинство надзирателей, убедившихся, что ничего с политическими не поделаешь, махнуло рукой и позволяло нам шуметь, кричать и петь сколько душе было угодно. Но был один надзиратель, боявшийся начальства. Он чуть не плакал, умоляя нас не петь громко.

Особенно хорошо пел Ф. В. Ленгник украинские народные песни. Несмотря на протекшие столетия, в них можно было уловить отголоски великой борьбы украинских угнетенных крестьян против польской шляхты и магнатов-помещиков.

Когда я слушал его песни, в моем воображении вставали южно-русские степи, Днепр, курганы-могилы, воспетые Шевченко, Гоголем и Короленко.

С особым чувством он пел «Сижу за решеткой в темнице сырой» Пушкина и «Гой ты, Днепр, ты мой широкий, лейся быстрою волной» из оперы «Аскольдова могила», «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова, «Вниз по Волге реке» и студенческую «Проведемте, друзья, эту ночь веселей!».

Михаил Сильвин очень хорошо декламировал, например,

«На смерть жандармского полковника Мезенцева», убитого народовольцем Степняком-Кравчинским.

Камера нижнего этажа Часовой башни все время пустовала. На праздниках пасхи там появился жилец, какой-то провороваВшийся чиновник-взяточник.

В то время, как мы сидели, главным образом, на тюремной баланде, он был завален куличами, пасхами, тортами, окороками, присылаемыми его родными и знакомыми.

Однажды он прислал с надзирателем часть этих лакомств нам. Тов. Бауэр, узнав, что эти лакомства от чиновника, обвиняющегося во взяточничестве, отказался принять их и велел надзирателю отнести все обратно.

Здесь, в тюрьме, столкнулись два образа жизни: один, трудовой, отстаиваемый рабочими, которые привыкли рано ложиться и рано вставать; и другой интеллигентский, заимствованный у русских бар. Последние любили превращать ночь в день и день в ночь. К сожалению, наша интеллигенция прививает и рабочим этот обычай ложиться поздно и поздно вставать. Рабочие, подражая во всем интеллигентам, взяли с них пример и стали просиживать до двенадцати часов ночи или до двух утра и спали до десяти-одиннадцати часов утра. Этот барский обычай был мне всегда не по душе, и я с трудом с ним мирился и постоянно вел борьбу. Но заснуть нормально с вечера все равно не удавалось. По вечерам, как и днем, до глубокой ночи наша Часовая башня шумела и гудела. Шли несмолкаемые разговоры и споры. Разрешались все мировые вопросы. Особенно неутомим был К. Бауэр. Когда уже все засыпали, он подходил к кому-нибудь, например, к М. Сильвину, и, став на колени перед его кроватью, шептал ему на ухо, продолжая говорить о Канте, о «вещи в себе» и т. д. и т. д., и уходил только тогда, когда М. Сильвин, вне себя, вскакивал и кричал:

— Да уйди, ты, наконец, к чорту!

Только после этого — часа в два утра — т. Бауэр, глубоко вздохнув и ворча, что товарищи ложатся спать вместе с курами, отправлялся к своей кровати.

Вскоре по приезде мы все из Часовой башни направились в тюремную контору. Нас поразила огромная масса уголовных, ждавших отправки в каторгу и на поселение. Звон ножных и ручных кандалов, головы, наполовину выбритые, желтые тузы на спине и невыносимая вонь, наполнявшая камеру и тюремные коридоры, — все это заставило меня содрогнуться. Среди уголовных были представлены все народности России: великороссы, украинцы, белоруссы, поляки, кавказские горцы, татары и т. д.

Почти всегда какой-нибудь Ноздрев в чине помощника начальника тюрьмы распекал какого-нибудь уголовного. Слышалась матерная ругань:

— Ракалия, сукин сын, в карцер прикажу тебя посадить, всыпать двадцать пять... и т. д.

Мы только-что прочли Мельшина «Из мира отверженных», где автор совсем не идеализирует обитателей тюрьмы, но действительность, которую мы увидели, казалось, превосходила все описания. Во время раздачи пищи нас поражало, с какой стремительностью, чтобы не прозевать «порцию», тюремные обитатели, особенно кавказцы, выскакивали в коридор с бачками за баландой и кашей.

Прошла страстная неделя, и настала пасхальная ночь. Я не любил христианских, как религиозных, праздников и как бы из протеста против них рано лег в эту ночь. Несмотря на шум и крики товарищей, я заснул. От странных звуков, которые казались мне то гулом набегавших морских волн, то мелодией огромного гигантского оркестра, я проснулся. Была полночь. В открытые окна искрились звезды и лились волны необычайного, который я слышал в первый раз, колокольного звона. Звонили на своих колокольнях все «сорок сороков». От этого звона стоном стонала Москва. Этот звон и разбудил меня, и я видел, как все товарищи прислушивались к нему. Под эти плавные звуки, вспоминая былой вечевой звон Великого Новгорода, я снова заснул.

На другой день вошедший надзиратель сказал мне:

— Пожалуйте на свидание.

В то время, как товарищ М. Лурье не шел, а летел на свидание со своей «кузиной», я, едва поспевая за ним, задавал себе вопрос:

— Кто мог здесь, в Москве, где у меня никогда не было ни души знакомых, притти ко мне на свидание?

Совершенно неожиданно я увидел свою убитую горем и плачущую мать.

Письмо, посланное мною из петербургской пересыльной тюрьмы с извещением об отправке в Сибирь и с просьбой притти проститься, видимо, провалялось около недели в тюремной конторе и у прокурора. На другой день после моей отправки из Питера мать, ничего не подозревая, как всегда, в день свиданий, пришла в предварилку. Она долго сидела, дожидаясь, что ее вызовут. Наконец, старший надзиратель обратил на нее внимание и сказал:

— Вы чего ждете? Ваш сын уже отправлен в Сибирь. Теперь вы успеете еще, может быть, догнать его в Москве.

Ошеломленная этим известием, убитая горем, она упала в обморок. Пришедшие на свидание к сидевшим товарищам родственники приняли в ней участие. Кто-то сказал, что она может выхлопотать у прокурора свидание, поехать в Москву и там увидаться со мной. Когда она вполне пришла в себя и поняла, что ее сына, «самого любимого» и, как она говорила, «самого хорошего», уже здесь нет, ее охватило непреодолимое желание поехать в Москву, чтобы еще раз увидать его и проститься с ним. При помощи родственников и товарищей, давших ей денег на дорогу, получив от прокурора разрешение на свидание со мной, она одна, несмотря на болезнь ног, поехала по железной дороге в Москву. Прямо с Николаевского вокзала, в совершенно незнакомом городе, направилась она пешком к Бутырской тюрьме. Дорогой городовые, приняв ее за нищую из-за ее плохой, потрепанной одежды, несколько раз хотели ее арестовать. Но разрешение на свидание, данное ей прокурором Петербургской судебной палаты, спасало ее.

Дойдя, наконец, до Бутырок и убедившись, что уже поздно просить свидание, она направилась на постоялый двор. Но там она всю ночь не могла заснуть. Ее беспокоили клопы, тараканы, шум и крики из соседней комнаты. Лишь забрезжило утро, как она, не имея сил больше ждать, побрела к тюрьме. Здесь ей пришлось просидеть несколько мучительных часов, пока ее не позвали на свидание.

С лицом, на котором как бы застыло выражение огромного безысходного горя, она порывисто обняла меня и залилась слезами. До сих пор она еще в глубине души надеялась, что ее сын вернется к ней. Теперь при виде тюремных решеток, надзирателей, позвякивавших ключами, уголовных арестантов, гремевших кандалами, услышав разговоры о предстоящей нашей отправке в Сибирь, она поняла, что все ее надежды разлетелись как мыльные пузыри.

Заливаясь слезами, она говорила и не могла наговориться, смотрела на меня и не могла насмотреться. Как один миг, казалось пролетели для нее тридцать минут, полагавшиеся на свидание. Старший надзиратель давно несколько раз уже говорил:

— Свидание кончилось, господа.

Но она не уходила и не хотела уходить. Она все целовала меня и смотрела мне в глаза, а слезы текли ручьем. Надзиратель, которому надоело ждать, наконец, подошел к ней и, взяв ее за руки, оттащил от меня. Безумно рыдая, пробовала она вырваться.

— Прощай, прощай, мама! — говорил я, уходя обратно в Часовую башню.

— Прощай, Саша, прощай, милый! — доносилось ко мне.

Сумрачный вернулся я со свидания. Счастьем блестели глаза т. Лурье.

Какое-то равнодушие и безразличие к своей судьбе овладело мной после свидания с матерью. Я замкнулся в себе и ждал дальнейшего путешествия в Сибирь.

Товарищ Бауэр принес, наконец, из тюремной конторы известие, что нас в ближайшую очередь отправят с партией арестантов в Сибирь. Начались деятельные сборы к от'езду. Стояли те бодрящие дни ранней весны, когда дотаивают последние остатки снега, когда бегут веселые ручьи, когда от оголенной, черной, еще не покрытой зеленым ковром земли идет пар и все кругом покрыто не то мглой, не то туманом. В это время мы ехали на вокзал.

— Прощай, Москва!

Никто из нас не ожидал, идя в Сибирь, что ты так скоро восстанешь против векового царского гнета.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ

ДОРОГА В СИБИРЬ

Очевидно с целью затруднить для нас, политических арестантов, возможность побега и изолировать от возможных встреч с рабочими нас отправили на Казанский вокзал не с партией уголовных, а отдельно от нее, в каретах, под конвоем солдат.

Прошло более часу, пока, наконец, уголовные вслед за нами подошли к вокзалу. В серых длинных халатах, в блинообразных без козырьков шапках, с головами, наполовину гладко выбритыми, с бубновыми тузами на спинах они производили чрезвычайно тяжелое впечатление.

Окрики солдат, ругань, визг женщин, звон цепей — все слилось на площадке вокзала в один общий гул, продолжавшийся и в вагонах. Последние были набиты арестантами до такой степени, что не только лавки, но и все места на полу, в коридоре и между лавками были заняты. Кислая, тошнотворная вонь, принесенная как будто в складках одежды арестантов вскоре пропитала вагоны и проникла в наше отделение.

Как только поезд тронулся, послышались плач, причитания, вопли и крики жен, матерей, сестер, прощавшихся с теми, кого, по их мнению, гнали на верную гибель в безвестную отдаленную Сибирь. Видно было, как провожавшие, впиваясь глазами в удалявшийся поезд, посылали последнее прости, махая платками.

Поезд между тем, ускоряя ход, уносился вдаль. Товарищами овладело раздумье. Они молча смотрели в сторону города, как будто прощаясь с ним. Понемногу они начали приходить в себя и делиться впечатлениями. М. Сильвин, как и при приезде в Москву, сетовал, что наш от'езд остался незамеченным, не вызвав ни дружеских, ни враждебных демонстраций. Я рассеянно слушал его. Мое внимание отвлекли картины русской природы.

Снег уже стаял. Над полями тучами носились вороны, галки, грачи. Еще недавно здесь бушевали мятели, снеж-

ные бури и трещал мороз, а теперь виднелся то здесь, то там пахарь, понукавший коня, взрывавший сырую землю. На деревьях уже наливались почки; пробивалась трава. На остановках доносилось пение первого жаворонка... Всюду на земле пробуждалась неукротимая жажда жизни. Наш поезд быстро двигался на восток, врезывался в развертывавшееся перед ним пространство. Иногда казалось, что он стоит на месте и что, наоборот, поля, леса, деревни, города стремительно проносятся перед нами.

Простор, среди которого мчался наш поезд, захватывал меня, возбуждал, волновал. Передо мной вставала наша страна, которую я видел впервые, огромная, молчаливая, таинственная... и вызывала мысль о Сибири, с ее необ'ятными пространствами, морозами, снегами и льдами.

Приблизившись к Волге, я обратил внимание на сравнительно малое количество лесов. Совсем иной представлялась наша земля мне, выросшему в Петербурге. Я вспомнил, что леса безумно и беспощадно вырублены, и предо мной тотчас предстала картина хищнического хозяйства капиталистов, дворян и царских чиновников.

Около Сызрани я с любопытством смотрел на расположенные на правом берегу Волги великорусские деревни с красивыми резными украшениями у окон, косяков и крыш.

Удаляясь на восток, мы скоро миновали Самару, Заволжье, Уфу. Характер местности изменился; началось предгорье Уральского хребта. Я, житель равнины, не мог оторвать взора от необычных, поражавших меня картин горных видов.

— Мы за Уралом! за Уралом! — кричал т. Лурье, когда мы достигли Челябинска.

Отсюда начались уже сибирские порядки. Поезд двигался заметно медленнее. Остановки были более продолжительны. Когда мы проехали Иртыш, по обе стороны железнодорожного пути стояла стеной, как мрачное войско, тайга.

Она охватила нас со всех сторон и, простираясь далеко во все стороны, тянулась до самого Красноярска. Лишь впереди и позади поезда, как узкая лента, вилась просека, по которой двигался поезд. Сосна, ель, пихта, кедр, лиственница протягивали нам свои вечно зеленые ветви. Стало заметно холодней. В тайге еще лежал снег. Мы вступили в область, где держалась еще зима.

На узловой станции «Тайга», откуда начиналась ветка на Томск, М. Сильвин и Ф. Ленгник рассказали нам целую историю о печальных последствиях взяточничества железнодорожных строителей-инженеров. Так, один из главных

центров Сибири, университетский город Томск, был благодаря им обречен на замирание только потому, что город отказал в требуемой ими взятке.

Наконец, мы доехали до Красноярска и водворились в Красноярской пересыльной тюрьме в ожидании дальнейшей участи. Это было в половине апреля 1898 г.

Губернская деревянная тюрьма, ныне не существующая, расположена была за городом, занимала довольно большое пространство и была обнесена высокой стеной из круглых заостренных кверху бревен *. Эти бревна лиственницы, врытые в землю и плотно прилегавшие друг к другу, назывались «пали». С внешней стороны в этой старой деревянной тюрьме можно было найти много общего с острогом, описанным Достоевским.

Лишь только конвой сдал нас в тюремной конторе, и мы прошли через тюремный двор мимо построек из толстых бревен в нашу довольно большую камеру, как началась борьба с тюремным начальством.

— Вот ваша камера, — произнес старший. — Располагайтесь!

Мы оглянулись. Окна, нары, пол — все было страшно грязно.

Мы, рабочие, привыкшие ко всему, готовы уже были устроиться и на этих нарах, покрытых от времени и сырости даже какой-то слизью.

— Подождите, — шепнул мне т. Бауэр. — Вот что, — обратился он решительно к старшему, — скажите начальнику тюрьмы, что мы требуем выдачи нам мыла, мочалок и горячей воды. Мы сами вымоем нары. Мы не будем спать на голых досках и требуем, чтобы пол и окна были вымыты, иначе пусть пришлют сюда санитарного врача.

— Хорошо, — ответил старший, — я передам его благородию, что вы просите, но я удивляюсь: с той поры, как выстроена эта тюрьма, никто никогда не мыл ни нар, ни пола и не обращался с подобной просьбой. Помилуйте, для арестанта да еще нары, окна и пол мыть!..

Так как камера была невероятно грязна, и начальство, очевидно, не хотело доводить дело до жалоб и прихода санитарного врача, оно пошло на уступки.

Весть, что политические моют нары, показалась событием настолько необыкновенным, что старший, надзиратели и уголовные, приносившие нам горячую воду, стояли буквально, вытаращив глаза, глядя как мы, вооружившись мо-

---

* В настоящее время на ее месте стоит выстроенная до революции каменная тюрьма.

чалками, мылом и горячей водой, смывали с нар грязь целыми потоками грязной воды.

— Должно быть большие господа они? — спрашивали уголовные надзирателей. — Из дворян, небось?

Начав борьбу по инициативе интеллигентов, обладавших более высокими потребностями и умением отстаивать свое человеческое достоинство, мы добились очень многого.

Так, мы получили право не запирать наши две камеры в течение дня от утренней до вечерней проверки, удлинения прогулки до нескольких часов в день, возможности выхода в контору для нашего старосты во всякое время и других существенных уступок, которые не разрешались уголовным, например: возможности петь в камерах днем и читать при лампе после 9 часов вечера, ежедневных, неограниченных во времени свиданий с приходившими в тюрьму товарищами-ссыльными.

— Ну, а в баню когда же нам можно будет пойти? — спросил у старшего т. Бауэр, после того как мы покончили с мытьем нар.

— В баню? — ответил тот, — да вот в первую субботу и пойдете. Кстати, палача нашего посмотрите, он у нас банщик.

Палач, к моему удивлению и вопреки моему ожиданию, не представлял собой с внешнего вида ничего ужасного. У него было самое обыкновенное лицо белорусского крестьянина. Ожидая получить от нас на-чай, он даже заискивал перед т. Бауэром.

— А ну-ка, покажи нам твой кнут! — обратился к нему Бауэр, когда мы вымылись и оделись.

— Сию минуту. Только за это придется с вашей милости на-чаек попросить.

— Ладно, получишь; показывай кнут, — говорил Бауэр.

— Сию минуту для вашей милости принесу, — отвечал палач.

Через минуту он появился с кнутом.

Мы были поражены при виде этого настоящего орудия пытки, позорного остатка средних веков. Длиною почти в сажень, кнут был сплетен не без искусства из тонких, длинных, сыромятных ремешков; прикрепленный к толстой, короткой, деревянной палке, толщиною с человеческую руку, он книзу постепенно суживался и оканчивался лишь несколькими тонкими ремешками. Один вид этого кнута должен был приводить в ужас арестанта, особенно когда палач, по старому обычаю людей своей профессии, кричал:

— Берегись, ожгу!

— Часто ты мучаешь этим кнутом арестантов? — спросил т. Ленгник.

— Што вы, ваша милость. Какое часто! Когда начальство прикажет. Разве таких господ, как вы, мы наказываем? Это челдонов желторотых. Это точно, да абормотов * там разных. Так, слава одна, что мы порем. Да разве это порка! Народ теперь слабый пошел. Жигани его — он и умер!.. Начаек с вашей милости, — обратился он к т. Бауэру.

* * *

Весна, которую мы уже видели в России, догнала нас, наконец, и в Сибири. За эти три недели, прошедшие со дня нашего выезда из Москвы, и за две со дня прибытия в Красноярск, огромные снежные сугробы, загромождавшие тюремный двор, растаяли и бесследно исчезли, лужи и грязь высохли. После туманных и сырых дней засияло солнце. Хотя ночью и по утрам слегка морозило, днем было очень тепло, и у тюремных стен показалась молодая зеленая травка.

Томительная тишина, почти не нарушавшаяся в длинные зимние месяцы, уступила место нараставшим звукам жизни, неясным шорохам, стуку, шуму, крикам, которые весной на прогулках и в раскрытые окна доносил ветер. То вдруг раздастся веселое ржание сибирских коней, то людской говор, крик детей и заразительно веселый смех молодых девушек, гулявших неподалеку от тюремной стены.

С весной еще более опостылели зловонные камеры тюрьмы. Заключенные изнывали и с нетерпением ждали, когда, наконец, наступит время прогулки. С шумом и гамом выбегала тогда на тюремный двор «кобылка» **, гулявшая под особым присмотром отдельно от нас.

Я присматривался к этому совершенно новому для меня миру. Часть уголовных ничем не отличалась от «стрюцких», «посадских», «жуликов» (босяков) Питера. Придавленность, беспомощность, сознание безвыходности своего положения, в соединении с бесстыдством, безволием и мутным взглядом — все это общее типичным босякам — отличало известное меньшинство слабых людей среди середняков-арестантов.

На противоположном полюсе еще одно меньшинство резко выделялось от первого своею решимостью, энергией и готовностью на все ради достижения своих целей. Эта

---

* Абормот — значить жулик, оборванец.

** «Кобылка» — уголовные арестанты.

часть уголовных не теряла надежды, не останавливаясь ни перед какими трудностями, выкарабкаться в один прекрасный день из ямы, куда бросила их судьба. Между двумя этими меньшинствами стояла масса середняков-арестантов, соединявшая в себе черты первой и второй группы.

— За что вы здесь сидите? — задавали мне некоторые из них вопрос, когда им удавалось незаметно от зазевавшегося надзирателя приблизиться к нам. В таких случаях мы шли им навстречу и старались об'яснить им, что мы за люди.

Самые простые об'яснения, которые мы успевали наспех дать им, видимо, их не удовлетворяли. Все они, за очень малым исключением, представляли собой чистой воды индивидуалистов, и им трудно было понять людей, боровшихся не из-за личных целей, а за какие-то непонятные для них общие цели, не дававшие участникам в них никаких непосредственных выгод и повлекшие за собой, наоборот, арест и ссылку в Сибирь.

Надзиратели и презирали их и побаивались.

— Разве это люди! — говорили они. — Попадись им на большой дороге или в тайге отец родной, так они его не пощадят. Украсть, убить человека — это их дело. Или вот Бутылкин, что парашу у вас убирает, восьмой раз бежит с поселения и восьмой раз его порят. Какая цена ему!

* * *

Однажды гуляя на тюремном дворе, подняв голову, я увидел высоко в небе перелетных птиц.

— Журавли, журавли! Смотри, журавли летят! — услышал я в тот же момент крик уголовных.

— В самом деле, взаправду это журавли летят! — подтвердил Купцов, гулявший неподалеку от меня.

Мгновенно смолкла «кобылка». Затихли грубая брань, шутки и звон цепей. Подняв головы, вперив взоры в небо, все внимательно следили за полетом направлявшихся на север гордых птиц.

Даже надзиратели, не отличавшиеся особой чувствительностью, казалось, в эту минуту забыли службу, арестантов, строгое начальство и думали о чем-то другом, более значительном и важном, чем серая тюремная жизнь.

Оттого ли, что это были первые перелетные птицы, оттого ли, что они, свободно летевшие в глубокой выси, представляли собой слишком большой контраст с нами, заключенными, но их вид привлек всеобщее внимание и произвел почти потрясающее впечатление на гулявших арестантов.

В этот короткий миг на лицах всех легло что-то общее всем — человеческое.

А сверху доносился громкий, властный крик свободных птиц, как бы звавших на волю, на простор.

«Эх, убежать бы», — блеснула, повидимому, мысль у немногих из каторжан, осужденных на долгие сроки и закованных в кандалы.

Взгляды их уже направились в сторону надзирателей, оставшихся попрежнему в своего рода забытье, и мерили расстояние, которое оставалось пробежать от места прогулки до тюремной стены.

Уже один из них сделал невольное движение в сторону стены, но внезапно раздавшийся звон его цепей вернул его к действительности и вывел из раздумья и забытья надзирателей.

Первым пришел в себя старший. От его взора не укрылась попытка кандальника шагнуть в сторону стены.

— Назад! — закричал он. — Куда прешь, рвань таежная! Ты знаешь, что к стене запрещено приближаться.

— Трубка у меня выпала, господин старший. Трубку я ищу.

— Знаем мы, довольно нагулялись, марш назад, пшол в камеру! — закричал старший.

— Пшол, пшол, пшол в камеру! — подражая ему, загорланили и другие надзиратели.

Как бы очнувшись от волшебного сна, понурившись, похожие на стадо овец, погоняемых кнутом, сежившись, возвращались арестанты в камеру.

Воцарилось тягостное молчание. Все чувствовали себя неловко. Еще ненавистнее и постылее стали казаться нары, стены, решетки и промозглый запах тюрьмы.

Вдруг кто-то отвратительно, похабно и громко выругался, и тотчас, как горох из мешка, как грязный поток, прорвавший плотину, начала литься матерная ругань, в которой, как это ни странно, арестанты искали и видимо находили облегчение и удовлетворение.

Вернувшись в камеру и лежа на нарах, я долго думал о смелых птицах. Передо мной вставал их треугольник с одной короткой и другой длинной стороной, похожий на боевой строй. В моих ушах раздавался их крик. Я завидовал им, и невольно приходила в голову мысль: «Отчего я не вольная птица? Отчего я не могу взмахнуть крылами, подняться выше ненавистных тюремных стен?».

Еще раз и еще раз отчетливо и ясно понял я, что попрежнему остаюсь жалким, искалеченным рабом капитала. Мне сделалось тоскливо и горько, и я почувствовал острое жела-

ние, чтобы скорее наступил тот строй, когда освобожденный человек, развивший все свои способности, порвет все цепи и разрушит тюремные стены.

* * *

В один из настоящих весенних теплых дней нас отправили под конвоем в город в фотографию сниматься. За рублевку, предложенную нашим старостой унтер-офицеру, нам удалось пробыть в фотографии целый день, до самого вечера.

Мы не могли наговориться с товарищами ссыльными, жившими в Красноярске и пришедшими к нам на свиданье. Когда лишь к вечеру т. Скорняков, живший в Красноярске, снабдил нас полученной из Питера нелегальной литературой, которую взял М. Лурье, мы вдвоем с ним под охраной одного из солдат, оставив остальных товарищей в фотографии, уже в сумерках подошли к воротам тюрьмы. У ворот ждал старший.

— Долгонько-таки снимались. Я думал, уже не решились ли заночевать в городе. А где же остальные?

— Идут вслед за нами, — ответил М. Лурье.

— Так, а ну-те-ка, дайте я вас обыщу, — произнес старший и уже протянул было руку к Лурье, шедшему первым.

— Ни за что! — энергично и строго, тоном, не допускавшим возражения, вскрикнул Лурье, — мы не уголовные и ни в коем случае не позволим себя обыскивать.

— Я тоже не позволю себя обыскивать, — заявил и я не менее решительно.

После некоторых споров и пререканий старший, очевидно, уже привыкший итти на уступки политическим, пропустил нас без обыска.

Это для тюрьмы, где находились каторжане (правда, из уголовных), была редко удавшаяся победа. Нельзя забывать, что мы очень рисковали, так как при входе в тюрьму у нас могли найти литературу.

* * *

Становилось все теплее. На утренних поверках старший рассказывал, что лед на Енисее посинел, вспух, покрылся трещинами и что со дня на день ожидается ледоход.

— Как только пойдет лед, так и отправка ваша близка.

Наконец, он принес весть, что Енисей тронулся.

— Такая шуга * идет, — говорил он, — что старики не запомнят.

---

* Шуга — ледоход.

В начале мая на прогулке ко мне подошел один из надзирателей.

— Ваша фамилия Шапувал!

— Да, — ответил я.

— Вас в контору требуют, пожалуйте.

В тюремной конторе стояли конвойные солдаты.

— Вот он! — произнес дежурный помощник, указывая на меня начальнику, унтер-офицеру.

— Сейчас же соберите ваши вещи, — обратился он ко мне, — вас отправят на пароходе в село Тесинское, Минусинского уезда. Пароход уже готов к отправке.

— Ну, что, зачем звали? — засыпали меня вопросами товарищи.

— Отправляют меня в село Тесинское, Минусинского уезда. Надо торопиться собирать вещи и немедленно отправляться. Пароход ждет.

И я побежал в камеру укладываться. Осмотрев, все ли в порядке и лежит ли в корзине первый том «Капитала» К. Маркса, который я вез с собой, я вышел к товарищам прощаться.

— Ну, и очень хорошо, что вы едете в село Тесинское, — говорил Сильвин. — Я очень рад за вас, вы едете к хорошим товарищам. Как раз в Минусинском уезде, в селе Тесинском, живут наши «декабристы» Кржижановский и Старков — все наши лучшие товарищи, а в селе Шушенском находится сам «старик»*. Вам можно позавидовать! Вы будете жить в такой хорошей среде!

— Да, да, непременно познакомьтесь с Владимиром Ильичем! — говорил мне т. Ленгник.

— Передайте ему и всем товарищам поклон от нас, — говорили товарищи, прощаясь и целуясь со мной.

— Прощайте, товарищи, — говорил я, — прощайте!

— Прощай, Саша! Пиши нам, — говорили со слезами на глазах Косолобов, Купцов и Белов.

— Пора уходить, господин Шапувал, — торопил меня надзиратель. — Пароход ждет: спешите.

— Прощайте, товарищи, — говорил я, уходя, — не будем терять друг друга из виду, будем переписываться, чтобы по окончании ссылки снова вместе начать революционную борьбу!

Я вышел за ворота тюрьмы. Уголовные уже стояли, выстроившись в шеренги по-военному. Меня случайно поставили рядом с Бутылкиным.

---

* «Старик» — ходячее в то время прозвище Ильича.

Смутно у меня было на душе. Грустно было расставаться с товарищами, о которых оставались такие хорошие воспоминания. Пока унтер-офицер пересчитывал арестантов, сбиваясь и снова начиная считать, воспоминания о прожитом проходили чередой предо мной. Начиная с прогулок в Питерской пересыльной тюрьме, железнодорожного вагона и кончая Красноярской тюрьмой, — всюду я научился уважать товарищей социал-демократов-интеллигентов.

Носители знаний, люди с высокими духовными чертами, порвавшие с буржуазией, из которой многие из них вышли, они протянули нам, рабочим, руку помощи. Никто никогда до этого не относился ко мне так дружески, с таким участием и так заботливо, как они. В их кругу я уже чувствовал себя стоящим как бы одной ногой в преддверье того идеального строя, за осуществление которого мы начали борьбу.

Братство, дружба, забота друг о друге, товарищеская любовь, которые лягут в основу жизни будущего человечества при социалистическом строе, казалось, осуществились уже в этом небольшом кругу людей, шедших в сибирскую ссылку. Они не были похожи на людей, с которыми я до тех пор встречался. Они жили не только для себя, но главным образом для того будущего, за осуществление которого они готовы были пожертвовать своей жизнью.

— Перейдемте на ты, — предложил мне как-то М. Лурье.

Помню, я не мог решиться на это. С одной стороны он и другие товарищи казались головой выше меня, с другой я не мог еще отрешиться от заблуждения, что я принадлежу к своего рода черной кости, и от мрачного настроения, навеянного Петропавловской крепостью. Я стоял в строю с уголовными арестантами, погрузившись в думы: на сердце щемила тоска: «Что-то ждет меня,— думал я,— в этой глуши, в этом сибирском селе?»

Вдруг я вздрогнул, услышав резкую команду унтер-офицера, заставившую притти в себя.

— Смирно! — кричал он. — Равняйсь! Направо!

Арестанты двинулись в путь.

Заходившее вечернее солнце золотило пыль, поднимавшуюся из-под ног небольшой партии уголовных, с которой я шел по немощеной улице Красноярска к пароходной пристани. Уже пароход дал второй протяжный свисток, заканчивалась последняя нагрузка. На баржу, прицепленную к пароходу, грузчики вкатывали бочки, носили тяжелые ящики и т. д. Торопливо прощались пришедшие проводить уезжавших на пароходе. Уже снимали сходни, пароход шумел под разведенными парами, готовясь к отплытию, когда нас стали сажать не на пароход, а на грязную прицеплен-

ную к пароходу баржу. Подражая непримиримости интеллигентов, я шумно запротестовал.

— Почему это нас отправляют не на пароходе, а на этой барже? — спросил я начальника конвоя, унтер-офицера.

— Не могу знать, — ответил он, — извольте спросить у его высокоблагородия, господина офицера.

Я вызвал офицера. Это был высокий рыжеватый, довольно добродушный с виду человек.

— Здравствуйте, зачем вызвали? Чем могу служить? — спросил он.

—Мне сказали, что меня отправят на пароходе, между тем нас сажают, как скот, на эту грязную баржу. Я требую, чтобы нас отправили на пароходе.

Я долго и энергично отстаивал наше право на поездку на пароходе.

— Пошто задерживаете отправку! — вмешался подошедший капитан парохода. — Все места заняты пассажирами. Где же мы вас поместим?

Так как в этом долгом споре я оказался совершенно одинок и меня никто не поддержал, да и некому было бы меня поддерживать: на уголовных нельзя было рассчитывать, пришлось согласиться с этими доводами.

Пароход, дав третий протяжный свисток, зашумел, забурлил водой и, грузно отвалив от берега, потянул за собой баржу.

Мы шли вверх по реке. Уже заметно темнело. Вечерние тени все гуще ложились на землю. Вскоре сумерки сменились совсем темной ночью.

— Мы вас выбрали в старосты, — заявил мне Бутылкин, — вы так смело говорили с офицером, как никто из нас не решился бы. И деньги кормовые у вас целее будут.

Согласившись после долгих отказов взять на себя функции старосты, я, найдя себе местечко, где палуба не была залита нефтью или машинным маслом, стал укладываться спать, и в конце-концов улегся на спину, подложив под голову мой вещевой мешок.

Вверху в темном небе необычно ярко горели звезды. При свете звезд в ночном сумраке, который все сгущался, глаз еще различал причудливые очертания горных берегов. Дул свежий ветерок. Стало холодно. Я поворачивался с боку на бок, но заснуть не мог.

Видя, что я замерз, унтер-офицер предложил мне погреться в его каморке.

— Сразу видно, что вы политический, сицилист, — сказал он мне. — Как вы спорили с офицером и как вы не боитесь? Вы, сицилисты, мне нравитесь. У нас в Тесинской

волости жили они прежде. Хорошие были люди! Напрасно только вы согласились быть старостой! Главное, кормовые деньги они ночью, когда вы заснете, непременно украдут. Я этот народ знаю. Чистое мучение с ними! Вы и за вещами своими ночью посматривайте, а кормовые советую отдать мне. Я буду их расходовать только с вашего распоряжения.

Уйдя от него позже, я свернулся между ящиками и бочками в комок и заснул под монотонное хлопание пароходных колес, под ритмический стук машин парохода и под журчанье речной волны, которую разрезал неуклюжий, тупой нос баржи.

Ночью, проснувшись от резкого холода и прикосновения чьей-то руки, я вскочил и увидел Бутылкина, развязывавшего мой мешок.

— Ты что делаешь? — вскричал я. — Как тебе не стыдно! Ведь мешок-то мой!

— Ах, простите, ради бога... спросонья я, не разобрамши, ошибся я... не говорите конвойному, а то беда мне будет.

— Ну, ладно, Бутылкин, на этот раз прощаю тебе, но если еще раз что-нибудь подобное замечу, ну тогда, кончено.

— Вот провалиться мне на этом месте, вот лопни моя утроба! Да што вы! Не сумлевайтесь. Будьте покойны!

Еще засыпая, при свете взошедшей луны, я заметил, что мы плывем между двумя высокими обрывистыми горными берегами. Проснувшись при свете солнца, я был поражен и очарован представившейся мне вдруг необыкновенной картиной.

По обеим сторонам красавицы-реки вздымались горы, почти отвесные скалы, метров полтораста и выше. Они изумительно походили на крепостные стены, с их зубцами и бойницами. Пробившая себе путь среди этих скал могучая река гордо несла свои холодные воды. Высоко вверху виднелся пахарь, налегавший на самодельный сибирский плуг, доносилось пение птиц, чувствовалась крепящая свежесть, присущая русским равнинам и особенно русским рекам, как говорил Тургенев. Ветерок доносил с берега аромат цветов и трав и ласкал лицо. Сверху слышалась песня, отражавшая в себе тоску и молодецкую удаль. Она прерывалась понуканием четверки впряженных в плуг по-сибирски в один ряд коней. Вверху, в голубом небе, высоко парили и медленно кружились орлы. Изредка доносился их крик.

Красив Рейн между Кобленцом и Висбаденом в Германии, но он впоследствии не произвел на меня такого сильного впечатления, как тогда Енисей. Только не улавливает взор на вершинах этих гор развалин средневековых замков и сохранившихся стен и башен, которых так много встречает путешественник по Рейну, которые так оживляют картину,

Минусинск. Вверху: вид на одну из улиц. Внизу: музей им. Мартьянова.

переносят мысль в историческое прошлое и придают ей особенную прелесть. Здесь нет также легенды о Лорелее. Но если быстрые воды Рейна уже мутны и грязны, то воды Енисея, несущиеся с большой быстротой, поражали своей необыкновенной прозрачностью и чистотой. Вместо песни Гейне о сказочной Лорелее в Сибири поют еще поэтическую песню о славном море Байкале.

Но откуда-то доносится колокольный звон, выводящий меня из раздумья.

Мы плывем мимо красивой впадины между гор, в глубине которой, как видение прошлого, показался скит монастыря с церковью и восьмиконечным крестом на колокольне.

На берегу стоял толстый и приземистый архимандрит монастыря, с крестом в руках.

«Крест! — думал я при виде попа.— Когда-то ты в древнем Египте являлся символом жизни, исходящей от солнца. Затем ты был орудием пытки и смертной казни у древних римлян. На кресте распинали преступников и восставших рабов. То, что представляло собой позор для гордых патрициев Рима, сделалось со временем олицетворением избавления и спасения для рабов обширной римской империи. Но крест превратился со временем в свою собственную противоположность. Из орудия спасения он преобразован в орудие умственного порабощения. Так менялось его значение».

С ненавистью глядел я на крест, который архимандрит то поднимал, то опускал над проходившим пароходом. Все обнажили головы и крестились. Один я из протеста против религии не снял шапки и с презрением смотрел на этого долгогривого толстого жреца.

Пароход, тяжело пыхтя, шлепая колесами, прошел, наконец, мимо скита. Колокольный звон затих. Снова охватило меня величие сибирской природы. Изломы, изгибы гор, ущелья и долы, леса, журчание речных струй — все казалось чем-то особенным, чего я никогда до сих пор не видел и не испытывал.

— Не желаете ли вы прогуляться, сойти на берег,— сказал мне на первой же остановке, где пароход грузил дрова, начальник конвоя. Я был удивлен этому. Мне казалось, что все время в Сибири я буду под суровой охраной. Я изъявил согласие, и мы тотчас по перекидному мосту сошли на берег.

Перед нами лежало ущелье, заросшее лесом. От берега, как лента, вверх, вела дорога. Мы поднялись по ней, прошли зарослью тальников *, черемухи, мимо многочисленных тополей и белых стволов берез и, поднявшись выше, где

* Растение в виде кустов.

росли сосны и ели, наконец, вышли на самую вершину горного берега, и перед нашими взорами открылась новая чудесная картина. Все кругом было необычно красиво и чаровало взор.

Но воздух — этот воздух полей, лесов и гор! После Петербурга, душного завода, двух лет тюрьмы он казался мне напоенным необычайным ароматом. Я вдыхал его полной грудью и не мог надышаться.

Чем дальше мы двигались на юг к Минусинску, тем уже становилась река и заметно мельчала. Через три дня пароход, не доехав до Минусинска, остановился у какой-то деревни. Дальше нельзя было плыть из-за мелководья. Переночевав в этой деревне, мы двинулись далее на подводах.

Стоял май. Весна была в полном расцвете. Всюду оканчивалась пахота. Мы ехали по холмистой местности, среди невысоких гор, склоны которых были запаханы и зеленели всходами. По обеим сторонам дороги видно было много голубоватых сибирских цветов.

Было 10 мая. Жарким днем, около полудня, прибыли мы в Минусинск к полицейскому управлению. Когда партия остановилась у деревянного здания полиции, из окна послышались возгласы полицейских:

— А, Бутылкин! Бутылкин! Здравствуй, здравствуй, ты опять в наши края!

Меня и приехавших со мною уголовных переписали и указали на довольно грязную камеру в полиции, называвшуюся «каталажка». Через полчаса пришел так называемый надзиратель за политическими ссыльными. Он, осмотрев мои бумаги, сказал:

— Вы свободны, можете итти и гулять куда хотите. Ночевать можете здесь или, если хотите, у политических в городе. Но лучше всего вам отдохнуть у меня на квартире. Пойдемте ко мне!

Отказавшись итти на квартиру к надзирателю, этому новому тюремщику, и спросив, где живут политические, я отправился их разыскивать, оставив в полиции мои вещи.

МИНУСИНСК

Железнодорожной ветки до Минусинска*, которую достроили лишь в наши дни, в 1897 г. и в помине не было. Сравнительно быстрое пароходное сообщение по реке

* Так как до сих пор через реку Енисей не выстроен железнодорожный мост, который соединил бы Минусинск, непосредственно с железной дорогой, растет в настоящее время поселок Абакан. Что касается Минусинска, оставшегося в стороне от железнодорожного пути, то он стал заметно хиреть.

Енисею, имевшее место в течение лета, прекращалось с наступлением холодов еще до «шуги» (осеннего ледохода) на долгие зимние месяцы. Связь между Красноярском и Минусинском в это время могла поддерживаться лишь старым, медленным способом, т. е. на лошадях, «от станка к станку». Вследствие этого Минусинск и его уезд, отдаленный от железной дороги на 400 верст, продолжал при царском правительстве служить лишь местом ссылки для уголовных и государственных преступников.

Но Минусинский край с его здоровым, сухим климатом и черноземной, плодородной почвой, на которой произрастают кроме ржи, овса, ячменя, гречихи, проса также пшеница, свекловица и т. д., с его степями и превосходным лесом, с его подземными богатствами в виде пластов угля, железной и медной руды, золота, серебра, асбеста, ртути и т. д. заслуживает лучшего будущего, чем служить местом ссылки, на которое обрек его царский режим.

Выйдя из полицейского управления после разговора с надзирателем, я очутился на очень большой, совершенно немощеной площади. При малейшем ветерке здесь, как и в Красноярске, поднималась невыносимая пыль, слепившая глаза и забивавшаяся в нос и в рот. Посредине площади виднелась кирпичная, выбеленная мелом, довольно неуклюжая церковь. На краю площади за лужами, никогда видимо не просыхавшими, и лужайками с потоптанной травой стояли лавки и магазины местных купцов, торговавших преимущественно золотыми приисками, Минусинский музей и трехэтажная деревянная гостиница.

Владелец последней, один из польских повстанец, с годами примирившись с царизмом, занялся мирными прозаическими делами, превратился в трактирщика, сдавал комнаты приезжающим и держал колбасную. Молва гласила, что он продавал колбасу из сомнительного мяса и что он не брезгал оказывать приезжим из тайги золотоискателям еще кое-какие услуги... Но мало ли что говорят злые языки про почетных обитателей города, успевших разбогатеть. Тем более, что услуги такого рода приискателям оказывали и другие жители Минусинска, в том числе и вышеупомянутый надзиратель. Это нисколько не мешало. конечно, последнему считаться у исправника, болгарина Стоянова, человеком строгой нравственности и на таком хорошем счету, что ему даже доверялось наблюдение за поведением политических ссыльных.

На базарной площади и на улицах, по которым я проходил, мне бросилось в глаза значительное количество свиней. Парами, окруженные многочисленным потомством, и

целыми стадами, как полноправные граждане города, они прогуливались всюду, нежились в грязи луж, отдыхали в тени заборов и хрюкали. Кроме этого из каждого двора слышалось пение петухов, кудахтание кур, гоготание гусей и крякание уток. Изредка доносилось ржание лошадей и мычание коров.

Дома жителей представляли собой обыкновенные бревенчатые крытые досками крестьянские избы, какие встречаются во всех окружных селах и деревнях. К каждому дому примыкал двор больших или меньших размеров, окруженный забором (заплотом), с амбарами для зерна, муки, с сараями для сена, постройками для лошадей и коров. Все это говорило, что жители Минусинска продолжали еще заниматься, как и крестьяне окрестных деревень, земледелием. Крепкие ворота, маленькие окна, запиравшиеся на ночь деревянными ставнями с железными болтами, свирепые собаки, просовывавшие злые морды в подворотни и злобно лаявшие на прохожих,— все это наводило на мысль, что живется здесь не вполне безопасно, что здесь временами «пошаливают».

Немощеные улицы и площади, отсутствие водопровода, канализации, газового и электрического освещения, деревенского типа дома, тишина и безлюдие — все это придавало Минусинску вид большого сибирского села. От последнего он отличался тем, что в нем было почтовое управление, казармы, больница, полицейское управление, несколько церквей, тюрьма и, наконец, то, что не всегда можно встретить и в губернских городах России, знаменитый Минусинский музей, помещенный вместе с библиотекой в большом каменном здании.

Проплутав значительную часть времени на улицах города, в виду полного отсутствия названий на углах их и номеров на домах, я, наконец, нашел одного за другим политических ссыльных.

В Минусинске в это время жили следующие политические ссыльные: Тырков Аркадий Владимирович, народоволец, участник дела 1 марта 1881 г., по счастливой случайности и по ходатайству своих родных из влиятельной аристократии, выдавших его за ненормального, избегнувший виселицы. Уже 16 лет он томился в Сибири. Принадлежа к высшему обществу, он по поручению исполнительного комитета «Народной воли» следил за царем Александром II и своими указаниями, очевидно, способствовал казни царя от руки народовольца Гриневицкого. Кроме того он являлся одним из активных участников казни царя 1 марта: он был

одним из сигнальщиков. Феликс Яковлевич Кон, осужденный на каторжные работы по делу польской социалистической партии «Пролетариат». Отбыв каторгу и поселение в Якутской области, он был переведен в Минусинск. В настоящее время он один из видных членов ВКП(б). Мельников Сергей, народоволец, еще в России во время своей революционной деятельности при попытке избавиться от шпика, продолжавшего преследовать его по железной дороге, неудачно выскочил из поезда на всем ходу, повредил себе при падении позвоночник и, страдая в ссылке от мучительной боли в спине, проводил время, не вставая с кровати. Стояновский, народоволец, самый молодой из минусинских народников, студент, привлекался в 1890 г. по делу С. Гинзбург, был на каторге вместе с Якубовичем-Мельшиным и затем в Якутской области на поселении. Его не очень долюбливали народовольцы, упрекавшие в подаче прошения о смягчении участи. Вообще он считался у них случайным элементом в революции, будучи использован своей двоюродной сестрой Софьей Гинзбург. По мнению т. Барамзина и других, такое отношение к тов. Стояновскому не было вполне заслуженным и возникло на почве якобы личных столкновений. Алексей Орочко пришел по делу Софии Гинзбург и в ссылке занимался сельскохозяйственной культурой.

Кроме вышепоименованных народовольцев и Егора Филатова (по процессу 50), занимавшегося сельским хозяйством, в Минусинске жили два члена колонии политических ссыльных либерально-буржуазной партии «Народное право»: Яковлев и Тютчев. Первый представлял собой молодого человека лет 24-х, бывшего студента, довольно неглупого. Второй бывший старый народник. Он больше, чем кто-либо из старых ссыльных народовольцев возмущался побегом представителя новой ссылки, рабочего, марксиста Семена Григорьевича Райчина. Побег этот имел место против воли старой ссылки незадолго до моего прибытия в Минусинск.

Тютчев умер в Ленинграде. Будучи дворянином и аристократом по происхождению, исповедовавший народническо-социалистические идеи, вступивший в 1874 г. в партию «Земля и воля», был арестован в 1878 г. Был осужден на каторгу и ссылку, пробыл в ссылке 18 лет (раз бежал). Пережив общее народовольцам разочарование в народе, он перенес его и на рабочий класс и принадлежал к числу лиц, не веривших, что рабочий класс в России может найти в себе столько духовных и умственных сил, чтобы подняться на борьбу за свержение царизма и за социалистические идеалы.

Он полагал, что только интеллигенция находит в себе достаточно сил и энергии, чтобы вызвать и революцию и падение старого строя. Причисляя себя к числу этих избранных интеллигентов-героев, он, как аристократ ссылки, смотрел с известной долей презрения на рабочий класс вообще и на его представителей, передовых рабочих, начавших приходить в ссылку. У него проскальзывал взгляд на нас как на своего рода дурное общество.

— Теперь улица пошла в ссылку, — говорил он в Минусинске в 1897 и в 1898 гг.

Ко времени моего приезда отношения между старой политической ссылкой, находившейся в Минусинске, и новой, размещенной по деревням, из-за этого побега были настолько натянуты, что грозили полным разрывом. Старая народовольческая и народоправческая ссылка обиделась, что Райчин, подготовляя побег, как бы не доверяя им, посвятил в него лишь своих товарищей-марксистов В. В. Старкова и Г. И. Окулову.

К этому примешалось проскальзывавшее особенно у Тютчева презрительное отношение старых народовольцев-интеллигентов к рабочим-марксистам. Старая ссылка в лице народоправца Тютчева, до известной степени Ф. Кона, не скупясь по части резких выражений, требовала признать поступок Райчина неморальным, а Старкову, как не предупредившему о побеге, вынести порицание. Самую непримиримую позицию по отношению к старой ссылке по вопросу о побеге т. Райчина занял В. И. Ленин. В то время как Старков с свойственной ему мягкостью характера склонен был итти на уступки, к которым видимо склонялась и Г. И. Окулова, Ленин не остановился перед полным разрывом.

Первым я встретил Е. К. Яковлева, ссыльного, уже одетого и спешащего на урок для заработка. Извинившись, что ему некогда, он повел меня к Тыркову.

— По какому делу вы привлекались? — задал он мне вопрос, когда мы подходили к дому, где жил Тырков.

Из-за громкого рычания и лая собак, набросившихся на нас, когда мы вошли на двор дома, он успел уловить из моего ответа, что я привлекался по делу народовольческой типографии. Когда мы вошли в квартиру Тыркова, у последнего сидела почти вся колония ссыльных. Отрекомендовав меня как народовольца, Яковлев поспешно ушел. Прощаясь, он пригласил меня к себе вечером на чай. И другие, сидевшие у Тыркова ссыльные собирались уходить на уроки, но их удержало на миг любопытство познакомиться с вновь прибывшим товарищем.

— Так вы народоволец? — спрашивали они, пожимая мне руку. Лица их сияли от удовольствия и сознания, что, значит, «еще есть порох в пороховницах», выходит, что еще не пропала надежда, если там, в России, находятся люди, которые с достойным старых деятелей революции мужеством продолжают дело партии «Народная воля». И они смотрели на меня с восторгом и радостью.

— Как хорошо, что вы народоволец и в то же время рабочий! — говорили мне. — А то здешние социал-демократы, впервые перешедшие Урал, бросили нам упрек, что рабочие якобы не идут за народовольцами. Вы, надеемся, и здесь станете на нашу сторону? Мы ведь с ними уже порвали.

Слушая их, я недоумевал. Я не понимал, в чем дело, и мне не хотелось вводить их в заблуждение. Каково же было их разочарование, когда я им раз'яснил, что вот уже три года, как разошелся идейно с народовольцами. Я видел, как темнели их лица, когда я им раз'яснял, что на самом деле я социал-демократ, привлекавшийся по делу тайной типографии «Народной воли», что я очень уважаю и ценю живущих в Минусинском округе социал-демократов, что я с нетерпением жду момента, когда, приехав в село Тесинское, познакомлюсь лично с «декабристами».

— С какими это декабристами, позвольте узнать? — спросил меня Тютчев.

— Да вот с Кржижановским и Старковым в селе Тесинском и с Ульяновым в селе Шушенском. Мы их зовем декабристами потому, что они были арестованы в декабре 1895 года.

— Ну, далеко кулику до Петрова дня! — ехидно заметил Тютчев. — Еще пороха революционного, можно сказать, не нюхали. В первый всего раз, как перешли Урал, а гонору-то сколько! Ну, мне пора, — заявил он и, отвесив общий поклон, вышел. И другие понемногу уходили. От всех их повеяло на меня холодком.

— Я ничего не понимаю, — заявил я Тыркову, собираясь уходить.

— Вечером Евгений Константинович Яковлев вам все расскажет. А мне, признаться, надоела эта история, — говорил он мне.

Мы распрощались. Тырков, как и все политические ссыльные интеллигенты, подрабатывал себе на жизнь уроками, которые он давал детям местных купцов и чиновников, приготовляя их к поступлению в гимназию и т. п. Он повернул в одну сторону, я в другую. Направляясь к Минусинскому музею, осмотреть который мне посоветовал Е. К. Яковлев,

я старался понять причину, приведшую политических ссыльных к ссоре.

Я не приобрел еще опытности старого ссыльного и не знал, что истории, ссоры между ссыльными на всем протяжении политической ссылки были самым заурядным явлением, омрачавшим жизнь политических ссыльных, но повторявшимся с такой же непреложностью, как повторяются времена года. И здесь причины, приведшие к разрыву, не представляются настолько серьезными, чтобы их нельзя было при желании избежать. Примирение стало невозможным лишь после того, как представители старой ссылки при переговорах по делу т. Райчина повели себя так, что Владимир Ильич усмотрел в их поведении оскорбительное отношение к ссыльным рабочим социал-демократам.

К моему приезду история эта зашла так далеко, что дипломатические сношения между двумя враждующими сторонами были уже прерваны. В поведении Владимира Ильича в этой истории можно усмотреть симптоматическое значение. Его поведение как бы говорило, что в будущей борьбе за интересы рабочего класса Владимир Ильич всегда будет отстаивать интересы рабочего класса и не будет в этой борьбе останавливаться перед расколом с теми, кто осмелится выступать против рабочих.

Старые ссыльные действительно позволили себе в разгар ссоры некоторые неосмотрительные, неосторожные выражения, обычные впрочем в подобных, постоянно повторявшихся ссыльных историях. Несмотря на это, эти старые ссыльные производили впечатление симпатичных и интересных много испытавших людей. Судьба значительного числа их полна трагизма. Они жили в то время, когда зарождалась и крепла героическая партия, вызывавшая удивление и восхищение у таких людей, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. На их глазах совершался ее рост. Они были свидетелями того времени, когда их партия достигла апогея величия и славы, гремевшей по всему миру. Но они помнили и тяжелые времена, когда кучка героев изнемогала в борьбе против превосходных сил, выставленных против них царским самодержавием. Потемневшим взором они смотрели на гибель своих товарищей на эшафоте и в глухих казематах Шлиссельбургской крепости. Затем пришло еще более худшее. Они пережили позор своей партии, когда судьба ее временно оказалась в 1883 году в руках провокатора Дегаева и жандарма Судейкина и когда еще позднее один из самых видных вождей партии Лев Тихомиров в 1888 году изменил революции и перешел на сторону самодержавия. Но они, загнанные в пустыни отдаленной и холодной Сиби-

ри, не пали духом и сохраняли верность революционным традициям. Но история, не щадившая седых ветеранов суровой борьбы, сыграла с ними еще одну шутку: столкнувшись в Минусинском округе с социал-демократами, опиравшимися в спорах с ними на новую революционную теорию, они не разгадали ни в них, ни в Владимире Ильиче новой силы, которой суждено было выйти победителем из той борьбы, в которой они сами потерпели поражение. Кроме того в самом Владимире Ильиче они не поняли будущего вождя и российской и мировой революции. Надо признаться, что будущее было закрыто завесой не только от народовольцев в Минусинском округе, но и от всех нас и от ближайших товарищей Владимира Ильича и от него самого.

Осмотрев знаменитый, приобревший мировую известность Минусинский музей, основанный и собранный при посильном участии некоторых ссыльных Мартьяновым, я отправился к Яковлеву пить чай. Он меня встретил уже не с таким радушием, как несколько часов назад. От него повеяло тем же холодком, который я заметил у других старых ссыльных. Понемногу он оживился, особенно, когда я стал его расспрашивать о прошлом Минусинского края и о его будущей книге.

После чая Яковлев отправился снова на уроки, а я направил стопы за город. Должен признаться, что с самого момента, как мне сказали: «Вы свободны и можете итти, куда угодно», я чувствовал себя как-то неловко. Нечто подобное, вероятно, испытывает лошадь, долго ходившая в упряжке, возившая тяжелые клади и вдруг выпущенная хозяином на луг, на свободу. Ей все кажется, что ее вот-вот снова поймают, взнуздают и введут в оглобли, и она вздрагивает, пугливо озирается и убегает при приближении человека. И я, переходя с одной улицы на другую, с одной площади на следующую, чувствовал нечто подобное. Мне представлялось, что свобода, предоставленная мне, это сон, который вот-вот кончится, и что за мной по пятам следит кто-то, что этот кто-то вот-вот подкрадется ко мне, схватит и поведет опять в тюрьму. И мне было не по себе на пыльных улицах Минусинска и вдруг захотелось очутиться на просторе, и я повернул в сторону Енисея.

Солнце склонялось к закату, запад неба розовел от разгоравшейся зари, а я уходил все дальше от города. Мысли теснились в голове и большие и малые. Я вспоминал, что говорил мне Е. К. Яковлев о крае. Минусинский край, по его словам, представляет собой огромную котловину, окруженную со всех сторон горными хребтами, размыкающимися к северу. Река Енисей прорезает Минусинский округ с юга

на север и течет по своего рода расщелине, образовавшейся в древние геологические эпохи. Слово Енисей русские, занявшие сначала среднее и нижнее течение этой реки, заимствовали от тунгусского слова «Ионесси» (Большая вода). В своих верховьях Енисей носил другое название — «Улу Кэм» (Большая вода), который образуется от слияния двух рек — Бей-Кэма и Хуа-Кэма. Первая река берет начало с хребта Ергик-Аргак-Тайга, вторая, Хуа-Кэм, вытекает из хребта Хонтейского в Монголии. Енисей прорывается через круто спускающиеся вниз высокие горы и отвесные скалы и, обладая очень быстрым течением, несется вниз, стиснутый отвесными скалами (щеками). Местами, например, ниже своего притока — Ус, Енисей мчится с ужасающим шумом со скоростью 60 верст в час. Но, вырвавшись из суровых горных об'ятий, Енисей меняет характер. В этом своем плесе он течет по долине, расширяющейся в степь, с прекрасными лугами, плодородной почвой и хорошими лесами на правом берегу его. Приближаясь к Минусинску, разливаясь многочисленными рукавами, образуя множество островов, на которых еще не так давно росли прекрасные тополя, Енисей мелеет и делается несудоходным. Но, приняв в себя множество рек, Енисей ниже Минусинска превращается снова в огромную величественную судоходную реку.

«И у человека,— думал я,— так же, как у этой могучей реки, может меняться характер. В бурной молодости он прерывает все преграды на своем жизненном пути, а затем успокаивается и часто мелеет, затем снова становится глубоким и течет ровной покойной струей до океана забвения».

Вечер по мере того, как я удалялся от города, все более вступал в свои права: небо темнело и разгоревшаяся ярко заря гасла. «Пора и обратно», — решил я. «Но что это такое»? вдруг спросил я себя, охваченный изумлением перед представившейся передо мной, как по мановению волшебного жезла, величественной картиной. Весь горизонт, когда я поднял голову, повернув в сторону города, оказался охваченным колоссальной линией движущихся огней. Смотря по рельефу далеких гор, эта огненная линия то взметывалась вверх в виде гигантских зигзагов и кривых, то бежала вниз. Огни то угасали, то снова и еще ярче вспыхивали. И я стоял как зачарованный и у меня нехватало сил оторвать свой взор от вольшебного зрелища. Мне казалось, что передо мной гигантская иллюминация неведомого города с его стенами, башнями и бойницами.

— Что это за огни? — спросил я возвращавшегося в город минусинского мещанина.

— А ты, парень, разве не знашь?

— Если бы знал, то не спрашивал бы.

— То-то, я вижу, ты не здешний. Много вас здесь российских, как блох, развелось. Это палы, парень. Прошлогоднюю сухую траву крестьяне жгут, чтобы новая трава лучше росла. Запрещает теперь начальство палы пускать, да видишь, все равно их пускают. Ох, и разгорелось же! Страсть лесу пожгут. Каждый год у нас от палов этих леса горят. Беда!..

— Ннно! — крикнул он на лошадей. — Нно! Язви вас!

Телега его застучала и скрылась в наступившем сумраке. Было уже поздно, когда я вернулся в город. Итти к Яковлеву ночевать я не решился.

Вдруг вспомнив о своем чемодане, оставленном мной в полицейском управлении под присмотром уголовного арестанта, обеспокоившись за судьбу его, я зашагал в сторону полицейского управления. «Где у меня голова! — думал я. — ведь еще так недавно уголовный Бутылкин пытался обокрасть меня». Ставни всех домов и ворота их были уже заперты, когда я спешил по улицам города. На небе горели мириады звезд. Там вверху все было тихо и торжественно, внизу, на земле, слышался лай собак да трещотки сторожей. Но вот и полицейское управление; торопливо я вбегаю по ступенькам крыльца, вхожу в помещение, торопливо зажигаю спичку и облегченно вздыхаю: оправдалась моя вера в человека — уголовный, взявшийся караулить мой чемодан, спал на грязном заплеванном полу возле моего чемодана, положив себе под голову свой мешок.

Мне ничего другого не оставалось, как последовать его примеру. Засыпая, я слышал, как пищали у моих ног крысы. На другой день, лишь только я проснулся, в полицейское управление пришел Е. К. Яковлев.

— Что же вы не пришли ко мне ночевать? Неужели вам пришлось спать на этом отвратительном грязном полу? Пойдемте ко мне чай пить.

За чаем он повторил свой упрек.

— Не пришел я к вам, — об'яснял я свое отсутствие, — и потому, что было уже поздно, и потому, что не желал вас стеснять, особенно после этого разрыва. Дело зашло так далеко, что нельзя даже надеяться, что вы откликнетесь на ту или иную мою просьбу.

— Пустое,—отвечал он,—мне самому до чортиков надоела эта история. Да я надеюсь, что и всем. Тяжело и так нам живется в ссылке, а тут еще, извольте радоваться, этот разрыв. Вот вы только-что приехали, вы не знаете, какая тоска охватывает здесь нашего брата. Я вот и мы все стараемся забыться за работой. Я даю уроки и пишу книгу. Но несмо-

тря на это, тоска такая, особенно зимой, что просто глаза на лоб лезут... Мы с Тютчевым пьем крепкий чай, после которого делается немного веселей. Недаром чай хорошего качества называют «веселящим напитком». Вот в эту ночь напала на меня тоска, и я почти совсем не спал.

— Да и я тоже жалею теперь, что не пришел вчера к вам. Раз вы пишете, интересно узнать у вас кое-что о прошлом края.

Яковлев охотно пошел мне навстречу и долго говорил о географии, этнографии и истории Минусинского округа. Прощаясь с ним, я заявил о своем твердом намерении уехать в этот же день в село Тесинское. Когда я шел по улице, я заметил толпу, которая шла мне навстречу, подымая страшную пыль. Оказалось, что это партия уголовных арестантов, которых «гнали» в Красноярск. Конвой оказался тот же, с которым мы ехали на барже. Пробегая мимо меня, старший унтер-офицер улыбнулся мне, как старому знакомому, и бросил налету: «Не забудьте, однако, поклон-то Авдотье Арсентьевне передать, в Теси там».

ИЗ МИНУСИНСКА В ТЕСИНСКОЕ

Расписавшись, что мне были прочитаны, по распоряжению минусинского исправника Стоянова, особые правила для политических ссыльных, и узнав из них, что политическим ссыльным запрещались почти все роды человеческой деятельности и какие бы то ни было отлучки из села Тесинского без его, исправника, разрешения, я собрался в дорогу. Когда я вышел с мешком и чемоданом в руках, то увидал, что перед крыльцом полицейского управления пара лошадей уже стояла в запряжке, а в коробке сидел и ждал меня жандармский унтер-офицер. «Спутник не из приятных», — подумал я.

— Садитесь, садитесь, — вдруг заговорил он, — здравствуйте, вы не подумайте, что я вас сопровождаю до Тесинского. Нет; просто совершенно случайно еду по казенным делам в том же направлении. Садитесь, пора и в дорогу!

С большой неохотой и с недоверием к жандарму я взобрался в тот же коробок и сел рядом с жандармом. Ямщик, молодой малый из деревни Самодуровки, уже сидел на облучке и, как только я уселся в коробке, гикнул и крикнул: «Нно! Эх, вы милые, язви вас!» И тотчас коренник Мухортый и пристяжка Соловой подхватили и покатили нашу телегу по песчаной немощеной дороге. Завертелись некованные колеса телеги, поднимая облака пыли. Минусинские соба-

ки долго провожали нас с лаем, наконец, отстали. «Прощай, Минусинск», подумал я.

Я оглянулся: его едва можно было различить из-за облаков пыли. Наконец, он исчез из вида. Минусинская степь охватила нас кругом. За деревней Самодуровкой степь скоро кончилась и начался незаметный на неопытный глаз очень пологий под'ем на гору Тараску. Почуяв под'ем, Мухортый тотчас пошел шагом. Ямщик и жандарм соскочили с телеги и пошли пешком, я последовал их примеру.

Колеи немощеной дороги разбегались по довольно широкой дороге. Сейчас же за дорогой начинались пашни, кое-где росла трава, цвели полевые цветы и росли небольшие березы. Было очень пустынно. Я смотрел на многочисленные склоны гор, которые вырисовывались из мглы по мере того, как мы поднимались все выше. Минусинска давно уже не было видно за этими горами.

Медленно подымаясь по пологому склону, я незаметно погрузился в задумчивость. Я вспоминал, что говорил мне Яковлев. Он провел параллель между названием большинства рек в России и словом Минусинск. Как слова Нева, Волга, Ока, Москва, Кама финского происхождения и этим самым дают доказательство, что когда-то территория России населена была финскими племенами, так и слово Минусинск, оказывается, тоже финского происхождения. Это наводит на мысль, что финны прежде чем осесть на равнинах России побывали и в Минусинском крае. В подтверждение этого мнения Яковлев ссылался на финского ученого Кастрена (Castren'a), посетившего Минусинский край в 1847 году. Он находит, что старое название города «Минюса», когда Минусинск был еще только селом или деревней, безусловно финского происхождения. По его мнению, слово Минюса (Minusa или Min-usa) тождественно с финским Minun-osa. Ученый Кастрен полагает, что существует легенда, об'ясняющая происхождение этого слова. Когда-то два финских князя оспаривали друг у друга территорию Минусинского округа. В разгаре спора один из них заявил: «Min-usa» (минюса) — это моя доля. Другой в свою очередь кричал: «Min-usa!» — это моя доля. Так с той будто поры и привилось это название образовавшемуся здесь поселку.

Пока я вспоминал слова Яковлева о прошлом края, Мухортый и Соловой мужественно тащили повозку все выше к вершине Тараски. Маленькие, но необычайно выносливые и крепкие, они представляли собой вероятно прямых потомков минусинских коней, бродивших табунами в полудиком состоянии по Абаканской и Сагайской степям по левому берегу Енисея.

С громким ржанием, изогнув шеи, с хвостами и гривами, развевавшимися по ветру, быстро убегали в глубь степи при виде человека эти свободные, гордые и красивые животные. Они жили особой жизнью: летом и зимой жеребцы охраняли сами косяки кобылиц на привольной траве и среди сугробов снега; при приближении волков становились все взрослые и сильные кони в круг, защищая оставшихся в середине круга жеребят и жеребых кобыл и били безжалостно сильными ударами задних ног осмелившегося напасть на табун волка. Но как ни страшен волк, опаснее всего человек. От него нет спасения. Попадет такой дикий конь в руки человека, и тогда прощай свобода. Но еще долго такой пойманный в степи и об'езженный конь гордо отказывался от обычного лошадиного лакомства — от овса и кусков хлеба. Он предпочитал лишь сено, запах которого вероятно будил в нем смутные воспоминания о былой свободе. И так до конца жизни возит такой порабощенный конь человека, пока смерть не свалит его где-нибудь на горном склоне. Тогда хозяин оттащит ее за хвост с дороги и снимет с нею шкуру, как это делали два крестьянина со своей павшей лошадью на вершине Тараски, когда мы, наконец, добрались до нее. Здесь под сенью берез они ловко работали двумя короткими дорожными ножами над теплым еще трупом лошади.

— Ну, вот и сарафан сняли, — говорил один из этих крестьян, свертывая в один комок только-что содранную шкуру и отирая о траву окровавленные руки и нож.

При виде этого я догадался о происхождении такого множества лошадиных скелетов, валявшихся по обеим сторонам дороги.

Не успели мы от'ехать и ста шагов, как на красную еще теплую тушу прилетела одна ворона, затем другая, третья. Вслед за воронами появились сороки. Начался пир, сопровождаемый карканьем и сорочьими криками. Вскоре налетят коршуны и орлы, а ночью прибегут на даровой ужин волки из логов. Дожди закончат их работу. И будет этот костяк лежать и белеть около дороги.

Гора Тараска, как и все отроги Саяна, очень пологая к юго-западу, оканчивалась крутым обрывом на северо-восток. Прежде чем начать спуск, я оглянулся на юг. Передо мной развертывалась красивая панорама гор. Местность походила на огромное море, гигантские волны которого вдруг застыли. Эти волны, эти горные кряжи, чем дальше на юг, тем становились все выше. В хорошую погоду иногда видны сверкающие белизной снеговые хребты Саяна. А еще дальше целая сеть отрогов покрывает собой бывший Усинский

край *, до самого хребта Тоннау-Ола, образуя запутанный лабиринт с узкими и глубокими долинами, ущельями, горными озерами, болотами и глухими непроходимыми лесами. Отсюда берут начало многочисленные притоки главной артерии края — реки Енисея.

Эти горные реки с очень крутым под'емом воды несутся вниз по юго-западному склону Саяна и по северо-восточному склону Алтая. Главные реки с правой стороны: Голубая, Сизая, Шуш, Оя, Лугавская, Туба, Сыда, Ком, Сисим; с левой стороны: Кантегир, Джай, Абакан, Кокса, Ерба. Село Тесинское, куда я ехал вместе с жандармом, расположено на левом берегу горной многоводной реки Тубы. Река Туба, образуется из рек Кызыра и Кизира и, принимая слева реку Амыл, сама впадает в Енисей с правой стороны, верст на двадцать пять ниже Абакана. Притоки реки Кизиря: Тибиркуль и Мажар интересны тем, что они протекают через горные озера Тибиркульское (длиною 15 верст) и Мажарское (длиною 10 верст).

Как я уже говорил, гора Тараска обрывалась на северовосток на Тесинскую степь. Мухортый и Соловой усиленно упирались ногами, медленно спускаясь по крутому обрыву. Телега без тормозов, столь обычных в странах Западной Европы, наседала на них. Ямщик, осторожно ступая по камням, вел Мухортого под уздцы. Но вот, наконец, мы внизу. Мухортый и Соловой, чуя близкий конец путешествию, понесли нас быстрее.

Слева виднелись две горы: Еловая и Георгиевская. Они смотрели на степь своими крутыми обрывами. Справа степь оканчивалась пологим под'емом горы Убруса. Чем дальше мы удалялись от Тараски, тем явственней доносился до нас характерный, никогда несмолкающий шум реки Тубы, с которым она своими холодными и прозрачными струями катила по дну гальку.

— Ну, скоро и Тесинское! — заявил, оборачиваясь к нам, ямщик.

— А это что такое? — спросил я, указывая на два разрытых огромных кургана.

— Да, сказывают, здесь большой клад нашли и в Минусинск увезли. А вон там смотри, парень, сколько их, — говорил ямщик, указывая кнутом на юго-западный склон горы Егорьевской.

Я тотчас вспомнил бронзовые стремена, удила, наконечники «поющих стрел», бронзовые наконечники копий и другие орудия бронзового века, завалившие тогда все

* Тану-Тувинская народная республика.

полки Минусинского музея. Попросив, чтобы меня подождали, я вышел из коробка и направился к подножию Георгиевской горы. Зрелище, которое здесь представилось мне, поразило меня. Вся степь у подножия горы с юго-западной стороны ее была усеяна курганами. Я начал считать и насчитал их более сотни. Но раньше их насчитывалось по всем данным много больше. Плуг земледельца не щадил курганов и мало-помалу многие из них сравнялись с землей. «Но что же означает это своеобразное кладбище с громадными могилами?» — спрашивал я себя. И тотчас я вспомнил, что рассказывал о прошлом края Е. К. Яковлев.

По его мнению, Минусинский край и вообще верховья Енисея служили в древности одним из путей, по которому прошли боковые волны великого переселения народов. Об этом красноречиво говорят предметы, найденные во время раскопок в местных курганах. Какая-то катастрофа, возможно начавшая возрастать из года в год засушливость почвы, наблюдающаяся, по мнению таких исследователей, как Пржевальский, до сих пор в Монголии, двинула финнов, гуннов, венгров, тюрок, татар, а еще раньше, весьма возможно, и германцев и славян с востока на запад.

Минусинский край, богатый лесами, таивший в своих недрах разнообразные минералы, обладавший черноземной почвой, на которой произрастали всевозможные хлебные злаки, с могучими судоходными реками, изобиловавшими рыбой, вполне естественно привлекал к себе издавна взоры и аппетиты кочевников. И действительно, судя по китайским летописям, в начале нашей эры один народ сменял другой народ в Минусинском крае.

В первые века нашей эры по обе стороны Саянского хребта, как свидетельствуют китайские летописи, обитал народ «гянь-гунь». Одновременно на склонах Тянь-Шаня и Южного Алтая жил народ «усуни». Этот последний отличался высоким ростом, голубыми глазами, светлым лицом, светлыми и даже рыжими волосами. Потесненные с Тянь-Шаня и Алтая могучим народом «хион-ню», усуни напали на гянь-гунь и вытеснили его с верховьев Енисея. Укрепившись в IV веке по обе стороны Саянского хребта, усуни не устояли, когда на них напал народ тюркского происхождения «жуан-жуаны» (повидимому авары или обры), оказавшийся настолько сильным, что он овладел не только Саянами и Алтаем, но и государствами Средней Азии «Согдианами». Но в VI веке нашей эры жуан-жуаны потерпели поражение от тюркских народов: народ «тюкуа» разгромил их в Средней Азии и «уйгуры» сломили их на Алтае. Разгромленные жуан-жуаны видимо двинулись на Запад и по всем данным проникли в

Вверху: дом крестьянина Зырянова, где была квартира В. И. Ленина. (Минусинский округ, село Шушенское).
Внизу: дом, где жил в ссылке А. С. Шаповалов и ночевал В. И. Ленин летом в 1899 г. (Минусинский округ, село Тесинское).

южно-русские степи. Раньше их тюркское племя, «хозары», основалось в низовьях Волги, со столицей Итил, около нынешней Астрахани. На средней Волге другой тюркский народ, булгары, построил столицу Великие Булгары. Тюкуа (видимо турки) усилились настолько, что даже византийская империя вынуждена была заискивать перед ними и посылала на Алтай в тюркский город Эктел посольство во главе с послом Зимархом. Но и могуществу тюкуа пришел в свою очередь конец. В VIII веке нашей эры они были разгромлены в Средней Азии арабами, а на Алтае — уйгурами. Халифат арабов продвинулся вследствие этой победы до самого Каспийского моря. На Верхнем Енисее в VIII-IX веках основывается тюркское государство «хакассов», называемых также «кыргызы» или «киликидзе». Орхонские надписи на скалах называют хакассов-кыргызов «кок-тюрками», т.-е. голубыми турками.

Хакассы отличались сравнительно высокой культурой. Они культивировали пшеницу, просо, гречиху, ячмень и гималайское жито. Земля запахивалась у них бревном с суком («обыл») и боронилась вершинами сосны. Такой способ пахоты и бороньбы сохранился у тувинцев (сойотов, Танну-Тувинская республика). В земледелии хакассы применяли сложную систему орошения посредством каналов. Хакассы знали горное дело, умели извлекать медную руду из недр земли. Литейное дело поставлено у них было относительно высоко, ибо их изделия из бронзы отличаются хорошим качеством и изяществом обработки. Между прочим они обладали искусством производства «поющих стрел», пробивавших панцыри и шлемы и наводивших, вероятно, на врагов своим свистом такой же ужас, какой вызывала осадная тяжелая артиллерия германской армии. По всем данным хакассы занимались и торговлей. Их караваны вьюком на лошадях и верблюдах проникали в Китай, в Индию, пробирались в Дамаск, в Тибет и на Волгу. Обладая воинственностью, хакассы создали одно время сильное государство со сложным бюрократическим управлением. Государственная власть сосредотачивалась у них в лице правителя, носившего титул «а ж о»; чиновники назывались зейсанами, яргучами и есаулами и т. п. Принужденный считаться с военным могуществом хакассов Китай заключал с ними торговые и военные договоры и вступал в союз. Разгромив в союзе с ним уйгуров, хакассы принудили Китай выплачивать себе дань. Но завладев на короткий срок северным Китаем, хакассы начали слабеть и разлагаться. Начинавшийся упадок и пришедшее за тем разорение и обеднение верховья Енисея может быть об'яснено до известной степени падением двух торговых пу-

тей в Средней Азии, смыкавшихся в торговом центре Кашгаре. Новые торговые пути прошли через древнюю Русь, вызвав к жизни Великий Новгород на Волхове, Киев на Днепре и Великие Булгары на Волге. В IX веке хакассы занимали оба склона Саянского хребта.

С юга на север их государство простиралось от хребта Тонау-Ола до реки Чулыма и с востока на запад от озера Косогола до Иртыша. В XII-XIII веках в эпоху походов Чингис-хана, этого величайшего из полководцев Востока, хакассы упоминаются в китайских летописях, как жители Тянь-Шаня и верховьев Енисея. Ко времени прихода в Минусинский край русских, в начале XVII века, хакассы оказались уже настолько ослаблены, что принуждены были платить дань монгольскому Алтын-хану и джунгарскому Контайше. Хотя представитель Контайши и находился в Хакассии, за отдаленностью он не имел большого значения и фактическая власть находилась в руках Алтын-хана, под властью которого находилась территория, вмещавшая в себя Минусинский округ, куда входила нынешняя Тану-Тувинская народная республика и часть Монголии. Хакассы, оказавшиеся одним из самых упорных племен в борьбе с русскими, не выдержали их напора и после смерти своего князя Иренек были побеждены. Самое сильное из хакасских племен — кыргызы, — непожелав подчиниться русским, покинуло край и ушло в Китайский Туркестан.

Таким образом привлекаемые богатствами края народы один за другим устремлялись в верховья Енисея. Захват края сопровождался кровавыми битвами, после которых побежденные или оттеснялись далее на запад или смешивались с победителями или, наконец, поставленные в очень тяжелые условия, попросту вымирали. Такова история многих народов, в том числе и хакассов. Может быть одна из этих кровавых битв произошла когда-нибудь и в окрестностях села Тесинского у подножия Георгиевской горы. Если это так, смерть когда-то пожала здесь свою обильную жатву.

Курганы, эти свидетели прошлого, поскольку они еще пощажены плугом землепашца, встречаются всюду по Минусинскому краю. Но особенно много их сосредоточено у села Тесинского. «Все проходит», — вспоминал я древнюю пословицу; народы живут, гибнут и исчезают с лица земли. Почему-то мне вспомнился попугай из романа Купера «Последний из могикан». Один из индейских народов был сметен с лица земли, исчез, вымер, как вымерли народы, населявшие когда-то Минусинский край. Только попугай пережил всех, и он один говорил на языке этого народа, который уже никто не понимал.

Погрузившись в думы о трагической судьбе народов, я вернулся к нашей телеге, молча сел в коробок, рассеянно слушал, что мне говорил жандарм. Я пришел в себя лишь тогда, когда мы миновали степь и въехали в маленький борок под Тесью. Потом мы проехали поскотину *, ворота которой заботливо открыл и затем закрыл наш ямщик. Мы покатили мимо деревянных, бревенчатых, похожих одна на другую изб, заплотов, огородов, по безлюдной улице большого села.

СЕЛО ТЕСИНСКОЕ

Проехав по длинной улице и широкой площади с церковью посередине, мы свернули налево и остановились на «земской квартире», где обычно останавливаются должностные лица.

— Ну, вот вам и Тесинксое, — произнес жандарм. — Приехали, наконец. Мне сюда, а вам советую поискать себе квартиру где-нибудь у крестьян, а лучше всего обратитесь к вашим товарищам: они вам помогут устроиться; здесь живут политические ссыльные.

— Да ты, парень, — обратился ко мне слушавший нас крестьянин, хозяин земской квартиры, — иди вот туда прямо. Пройдешь мимо скопца, что вот сейчас налево, затем мимо школы, а там напротив немца как раз и живут ваши сицилисты.

Оставив свой чемодан и мешок на с'езжей квартире, я отправился по указанному направлению. Не успел я сделать нескольких шагов по пустынной улице, как был атакован множеством огромных собак, с рычанием и лаем выскакивавших из-под каждой подворотни. В один миг, не успев опомниться, я был окружен этими животными, обычно мирно посматривавшими из-под каждой подворотни, а в данный момент превратившимися в необычно злобных и кровожадных, выражавшими явное намерение, как мне представлялось, разорвать меня. Я беспомощно оглянулся. Но увы! Надеяться было не на кого: улица оставалась пустынной, и даже жандарм и хозяин земской квартиры давно исчезли. Между тем положение становилось безвыходным: собачий круг, в центре которого я находился, все суживался; свирепый лай этих псов меня оглушил, а вид множества разинутых пастей с блестевшими в них белыми острыми клыками не предвещал мне ничего утешительного.

* Поскотина — ворота изгороди, отделяющей село и выгон, на котором пасется крестьянский скот, от полей. В летнее время поскотины заботливо закрывают.

Еще мгновение, и, как мне казалось, я буду разорван. В отчаянии я, как утопающий, который, чтобы спастись, хватается за соломинку, машинально нагнулся в надежде найти на земле камень. Камня я не нашел, так как почва была черноземная, но лишь только я нагнулся, псы, как стая воробьев, рассыпались по своим подворотням. Я облегченно вздохнул, отер пот, которым я весь покрылся в момент опасности и оглянулся кругом. На улице ни души. Собаки спрятались. Повсюду царила тишина. Я продолжал свой путь. Дом скопца, мимо которого я проходил, оказался самым лучшим с солидными пристройками для скота, с крепкими воротами и с самыми злыми собаками, к счастью привязанными на день на цепи. Через приотворенную калитку на меня на миг взглянуло желтое, обрюзгшее, лишенное растительности бабье лицо скопца. Увидев незнакомого человека, он торопливо запер калитку на крепкий засов. Встретив скопца, я невольно задумался об этом странном религиозном течении, доведшем свой оригинальный религиозный радикализм до примитивной крайности, до уродства.

«Есть ли, существует ли еще среди какого-нибудь другого народа, — спрашивал я себя, — добровольное скопчество? Кажется, нет,—отвечал сам себе,—только русские способны доходить до таких крайностей». С мыслями об этих людях, позволивших себя ради религиозной идеи изувечить, я дошел до дома, где жили наши товарищи. Напротив через улицу на площадке перед домом сидел немец с большой в аршин длиною трубкой. С невозмутимым видом он, казалось, слушал визгливые женские крики, доносившиеся из дома, где жили ссыльные: «Ах, пропади ты пропадом, — кричала хозяйка дома. — Опять Фингал говядину сожрал. Ну, погоди же ты, — пригрозила она в сторону собаки, — вспомнишь меня. Я покажу тебе, как воровать мясо!»

Подойдя к воротам дома, что насупротив «немца», я сделался свидетелем следующей сцены.

— Фингалушка, Фингалушка, — с притворной ласковостью приговоривала хозяйка дома, сибирячка лет тридцати, подманивая собаку к дверям амбара, у которых, видимо, наготове к чему-то стояла девушка, лет шестнадцати-семнадцати. — Поглядывай, Манюрка, зевка не дай! Как только я ево подманю, ты дверью раз...

— Ладно мамонька, уж я постараюсь.

Как только Фингал, прельщенный запахом куска жареного мяса, который держала в руке хозяйка, очутился у амбара и его хвост стал колотиться о порог, Манюрка сразмаху закрыла амбарную дверь. Фингал взвизгнул от

боли, заревел от ярости и бросился было на хозяйку, но дверь, как капкан, крепко держала его.

— Держи, Манюрка, дюжей держи дверь-то. Не выпущай. Больно лют пес-то!

— Ладно, мамонька, не сумлевайся, держу.

Хозяйка с сухим энергичным лицом сибирячки, подняв с земли кнут, начала избивать собаку. Не удовлетворившись кнутом, она схватила вожжи, затем толстую палку.

— Вот тебе, — кричала она, — будешь мясо у меня воровать!

Я попытался войти во двор, но не мог, ибо другой Цербер, в виде большой дворняжки, преградил путь и не пускал во двор. А со двора продолжали слышаться глухие удары, рев и лай рассвирепевшей от боли собаки, крики хозяйки:

— Вот тебе, не воруй, не воруй!

Расправа закончилась появлением двух женщин интеллигентного вида, выбежавших на крыльцо второй, находящейся в этом дворе, избы.

— Что вы делаете? — воскликнули они. — Ах какой ужас! Зачем вы так мучаете собаку?

— Она опять мясо с кухни у меня утащила. Што по-вашему по головке ее гладить. Вот придет муж, скажу штобы стрелил ее...

— Вам кого? — спросила она, заметив, наконец, меня. — Пошла вон, Черня! — крикнула она на собаку.

Я назвал В. В. Старкова и Г. М. Кржижановского.

— Это к нам! — радостно промолвила молодая женщина. — Идемте! Василий Васильевич — это мой муж, а Глеб Максимильянович — мой родной брат. Они будут вам очень рады. А это моя мама Эльвира Эрнестовна. Познакомьтесь.

— Какой ужас! Какой безжалостный народ. Как она собаку мучит, — говорила Эльвира Эрнестовна.

— Вася, Глеб! Идите сюда, новый товарищ, Александр Сидорович, в Тесь приехал.

На зов Антонины Максимильяновны Старковой навстречу мне вышли два товарища, чрезвычайно симпатичные с виду.

— Что за нравы! — говорил я, входя в их избу, — и что это за собака?

— Сибирь, Александр Сидорович, и нравы здесь, говоря словами Островского, «жестокие».

— Этот Фингал, — добавил В. В. Старков, — интересный пес. Он знал лучшие дни в Иркутске у купца. Его оттуда украли, и он попал в деревню на положение простой двор-

няги, которую не пускают в комнату, которую не кормят и бьют. А он прекрасная охотничья собака; хозяйка его действительно никогда не кормит. Он забирается к ней на кухню и ворует мясо. Она же, поймав его, поступает с ним предательски. В результате он озлобился, и каждого, кто говорит ему: «Фингалушка» и пытается потрепать по шее, норовит искусать.

Мы сидели за самоваром, который, успев остыть, напевал свою последнюю песенку. Наступил вечер. Гасли краски зари, золотя крест сельской колокольни. Поднимая пыль, прошло стадо коров с мычаньем, а я все рассказывал о рабочем движении в Петербурге, о большой стачке ткачей, революционной работе, моем пути к марксизму, народовольцах и тюремных переживаниях.

В. В. Старков, в то время молодой человек лет 26, крепкого сложения, с добродушным русским лицом, внимательно слушал, почти не перебивая. Его же друг Г. М. Кржижановский, приблизительно одного с ним возраста, с высоким лбом, тонкими чертами лица, шатен, худощавый и крепкий, напоминавший наружностью свою сестру Антонину Максимильяновну, наоборот, часто меня прерывал вопросами. По мере того, как они слушали мой рассказ, в глазах обоих загоралась надежда на возможность, правда в отдаленном будущем, славной победы. Иногда оба друга обменивались мнениями и вспоминали Ильича, к которому относились с огромным уважением.

Внимательно слушала и Антонина Максимильяновна. Лишь одна Эльвира Эрнестовна, видимо, не разделяла увлечения своих детей революцией. Старушка тратила последние гроши, чтобы дать детям образование. Когда сын окончил Технологический институт в Питере с отличием и получил место инженера, она вздохнула свободнее. Ей казалось, что черные дни прошли навсегда. Заметив таинственность, с которой Глеб Максимильянович с известного времени стал запираться у себя в комнате, и, отворив однажды внезапно дверь, она пришла в ужас, увидев, что сын ее, ее гордость, занимается самым ужасным, что только она могла себе представить: именно фабрикует «преступные» прокламации к рабочим.

Если бы она открыла, что он печатает фальшивые кредитки, это поразило бы ее, вероятно, меньше. Прощай навсегда надежда на мирную, спокойную жизнь! Она тотчас поняла, какой опасности подвергается ее сын. Каждый стук в двери, каждый шорох в ночной тиши заставлял ее вздрагивать и ждать внезапного визита жандармов. Затем

пришел неизбежный арест *, хлопоты о свидании. Старушка, целуя, сына, из его рта принимала себе в рот записки тщательно завернутые в оловянную бумагу от чая. Обманывая тюремную стражу, она внутренно всегда трепетала, боясь, что ее поймают на месте преступления. Но на что не пойдет мать ради любимого сына? Она решилась сопровождать его в отдаленную Сибирь.

Ее дочь, Антонина Максимильяновна, жена В. В. Старкова, учась на высших курсах в Питере, под влиянием брата и жениха разделяла взгляды революционного марксизма и оказывала содействие революции. Когда т. Старков был арестован, она приходила к нему в тюрьму на свидания и затем не побоялась поехать вместе с матерью к любимому человеку в пустынную, далекую, холодную Сибирь.

Антонина Максимильяновна, чрезвычайно добрая, симпатичная и отзывчивая, взялась помочь мне найти в Теси комнату у кого-либо из крестьян. Она также заботилась о больном Михаиле Дмитриевиче Ефимове и просила меня поселиться вместе с ним в одной комнате, находя, что совместная жизнь со мной отразится на нем самым благоприятным образом.

— Да вот он и сам вместе с Николаем Николаевичем Паниным, — сказала она, выглянув в окно.

Действительно, сопровождаемые собачьим лаем и криками хозяйки, отгонявшей собак, в комнату вошли два новые товарища.

Оба были небольшого роста. Как я впоследствии убедился, они резко отличались один от другого. Панин переживал двадцать первую весну, прибыл он из Петербурга, любил общество крестьян, ездил с ними на пашню и на рыбную ловлю, обладал цветущим здоровьем, крепостью рук и ног, был выносли в, ездил верхом на полудиких конях, приударял за деревенскими красавицами и пользовался у них несомненным успехом. У Панина спорилась всякая физическая работа, но он не мог похвалиться усидчивостью за книгами.

Ефимов, екатеринославский рабочий, около 28 лет от роду, поражал болезненным видом, вялостью и слабостью. У него валилась из рук всякая физическая работа, но он был вдумчив, любил книги и стремился к знанию. С крестьянами

* Вследствие провокации зубного врача Михайлова и других вся группа Ленина (группа так называемых «старых социал-демократов» или иначе «декабристов», в которую входили В. И. Ульянов, Г. М. Кржижановский, Анатолий Александрович Ванеев, Петр Кузьмич Запорожец, Александр Леонтьевич Малченко, Василий Васильевич Старков) была арестована 9 декабря 1895 г. Член этого же кружка Ленина Юлий Осипович Цедербаум (Мартов) был арестован позднее.

он не мог сблизиться: они ценили физическую силу и посмеивались над ним, как над человеком, который не может вскочить на коня, запрячь его в телегу и взять в руки косу. Если у Панина набегавшая грусть быстро сменялась веселым настроением, Ефимова, кажется, никогда не покидала какая-то тайная печаль, отражавшаяся в его вдумчивых глазах.

При такой разнице в характерах оба эти товарища не могли ужиться в одной комнате, начали ссориться и кончили тем, что раз'ехались по разным квартирам. Когда я приехал в село Тесинское, Антонина Максимильяновна, присмотревшись ко мне, заявила однажды и своему мужу и своему брату, что если «Кола», как звали Панина, не мог ужиться с Михаилом Дмитриевичем, то совсем другое дело «Сидорыч», как начал меня называть Кржижановский; он подойдет для такой роли и уживется с больным Ефимовым.

— Ведь Михаил Дмитриевич, — заявляла она, — так нуждается в обществе и участии к себе.

— Сомневаюсь, чтобы и у Сидорыча что-нибудь вышло из этой затеи, — возражал ее муж.

— Но почему же? — недоумевающе спрашивала его жена.

— Да просто потому, что Михаил Дмитриевич нуждается в женском участии и в женском обществе, но не в мужском. Вот, если бы ему удалось жениться, все пошло бы, как по маслу.

— Ну, когда-то он еще женится. Если женится, тогда и разговор будет другой, а сейчас ничего не остается, как просить Александра Сидоровича попытать счастья поселиться вместе с Михаилом Дмитриевичем в одной комнате. Все равно ведь ему нужно отыскать комнату. Вот и снимет комнату, где он и поселится с ним.

«Так вот она сибирская глушь, куда я сослан и где должен промаячить три года», — думал я, идя по широкой, немощеной пыльной улице села Тесинского.

Сурово смотрели на меня бревенчатые стены изб. На улицах в лужах, не просохших после дождей, белели стада гусей, крякали утки, валялись в грязи те же многочисленные свиньи, которых я встретил в Минусинске и Самодурове. Нигде не видно ни кустика, ни деревца — всюду полное отсутствие зелени.

Это как бы говорило о суровой борьбе, которую веками вел великорусский крестьянин с лесом, вырубая деревья, выкорчевывая пни, чтобы засеять новину, собрать урожай и через год-два опять итти дальше против дремучего леса, покрывавшего тогда Россию. «Русский, — говорит писатель

Мельников-Печерский, — природный враг леса». У украинского крестьянина, которого тяготила голая, безлесная украинская степь, выработалась, наоборот, любовь к зелени, садочкам, вербам, дубам, которые окружают украинские хутора и отдельные хаты.

С такими мыслями я направился к дому лавочника Луки Терентьевича, к жене которого я шел с письмом от Антонины Максимильяновны и дом которого выделялся по всей Теси, как единственный выложенный из камня. Лука Терентьевич, или «Лучка», как его окрестили коренные сибиряки, был крестьянин-поселенец. Он пришел в Сибирь по суду за изнасилование женщины.

Надо отдать справедливость коренным сибирякам. Они держат себя очень тактично и не упрекают пришельцев из бывших уголовных за их более или менее темное прошлое, с нем не напоминают. Оно считалось канувшим в Лету забвения. «Лучка» работал усердно сначала простым работником у крестьянина. Затем на кирпичном промысле разбогател настолько, что выстроил вышеупомянутую большую каменную избу с помещением для торговли, завел пасеку, пробовал сооружать водяную мельницу и т. д.

Почесывая живот, он торговал керосином, солью, постным маслом, сахаром, чаем, ситцем и т. д., оставаясь поклонником женщин, изменял чуть ли не каждый день своей Авдотье. Про него прошел слух, что он якобы сошелся в конце-концов с родной сестрой, выписанной им из России, красивой, но туповатой украинкой.

Авдотья Арсеньевна, неглупая рябоватая сибирячка, работавшая, как лошадь, и помогавшая «Лучке» упорным трудом добиться известного благосостояния, была, конечно, несчастлива с ним. Ее невольно потянуло к новым людям, приехавшим в Тесь. таким душевным, симпатичным, хорошим, так не похожим на суровых и жестких челдонов. Она очень подружилась с Антониной Максимильяновной Старковой и помогала политическим ссыльным всем, чем могла.

При ее содействии я поселился у «Милешихи».

Дом последней представлял собою типичный дом богатого сибирского крестьянина. Изба состояла из двух светлых «горниц» и кухни с большой русской печью. Стены и потолки были начисто выбелены известью. Вымытый с дресвой * пол устлан домотканными половиками. В обширный двор вели крепкие, всегда запертые ворота. Окна на ночь запирались деревянными ставнями с железными болтами. На дворе, где стояли амбары, набитые зерном, мукой и всякой

* Дресва — особый песок, получающийся из обожженного булыжника.

лопотью * и добром, хлеб и конюшня, за которой лежал второй двор для ночевки скота и овец, был вырыт глубокий колодезь с журавлем. Перед колодцем лежало длинное корыто, куда Милешиха, старуха лет 60, и ее внучка Анка выливали свиньям простоквашу после снятия с горшков сметаны.

Последнее обстоятельство показывало наглядным образом, что крестьяне в Теси еще не умели использовать как следует молочные продукты, которые при большом количестве скота были в изобилии.

Сам Милешин, относившийся к нам хорошо, старик лет 75, удивительно сохранившийся для своих лет, жил с сыном, хитрым и несимпатичным челдоном лет 40, невесткой и старшей внучкой на заимке, на плоской вершине Убруса, где последний обрывался в Тубу. Здесь, эксплоатируя труд двух-трех работников, он засевал преимущественно «ярицей» **, а также для приисков рожью, овсом, просом, гречихой и т. д. не менее 40 десятин.

На острове перед Тесью, на берегу реки Тубы, он, как и все кулаки, ежегодно весною строил из пригнанного из тайги плотами леса крепкую плоскодонную баржу с широкой кормой и тупо заостренным носом. Материалом служили длинные лесины, распиленные каждая на две половины. Из этих половин и сколачивался крепкий остов баржи. Дно ее сооружалось из цельных пихтовых бревен. На носу, на корме и с обоих боков судна прилаживались устои — уключины — для колоссальных весел-гребей длиной каждое по восьми саженей, вытесанные из цельного бревна. Гребли служили смелым рекоплавателям и веслами и рулем. На случай посадки на мель, что случалось очень часто в верховьях Енисея, судно снабжалось одной или двумя «оплеухами». Каждая «оплеуха» представляла собой род узкого плота из двух-трех бревен, крепко прикрепленных друг к другу. «Оплеуха» ставилась одним концом к судну под известным углом и помогала, используя силу быстрого течения реки, сниматься с мели. На такой барже и сплавлял он хлеб во вторую большую воду вниз по Енисею в приисковые города.

Богаты были Милешины, хотя сын их и прокучивал каждый раз в Енисейске и Красноярске не менее половины выручки. Крепко берегла старуха Милешиха кубышку, хранившуюся в доме в Теси. Пытливым взором прощупывала она всех, приходивших ко мне, и не любила пускать их в дом.

---

* Лопоть — по-сибирски — одежда.

** Ярица — яровая пшеница.

— Нетути дома, — обманывала она товарищей, — ушел в прогулку Ликсандр Сидорович.

В большие праздники вся семья наряжалась: женщины в теплые шерстяные толстые «шали», мужчины в не менее теплые и толстые армяки, в которых они, несмотря на жаркую, сухую погоду, отправлялись в церковь, одев предварительно зимние резиновые калоши.

— Калоши-то для чего одеваете? — спросил как-то я. — Ведь нет дождя и сухо и жарко на дворе.

— А как же? — ответил мне молодой Милешин. — Для ча они куплены, не на пашню же в них ездить? Все у нас справные крестьяны их в церкву одевают.

Молодежь водила хороводы и танцовала проникшую и в Сибирь «кадрель». Раздавалась веселая песня проходивших с гармониками парней:

По Сибири я шатаюсь,
Поселенец молодой,
Полюби меня, челдонка,
Я живу здесь сиротой.

Она иногда сменялась песней, в которой сквозила грусть. Ее распевали чаще осенью.

Не от радости, а с горя да с печали,
Не от радости, а с горя да с тоски
За рекою паренечки разгулялись,
Разгулялись за рекою пареньки...
Эй, гуляй, пока широкое раздолье!
Эй, поди-ка, пропляши-ка трепака!
В буйном говоре, да в песенке веселой,
Даже в песенке доносится тоска...
Скоро смолкнет у нас песенок веселье,
Будут песни петь, да только уж не нам:
Мы растанемся на долгое прощанье,
По чужим по дальним сторонам.
За рекою у околицы прощанье,
За рекою разгулялись пареньки...
Только звонкая гармоника в тумане
Про последние печалится деньки...

После обеда все село в праздники выходило на улицу. Старик Милешин каждый раз задавал мне один и тот же вопрос:

— Скажи, Ликсандр Сидырыч, с кем таперича наш государь воюет?

Старик Милешин с самого обеда стоял в лавочке *, выпивая шкалик за шкаликом, и ночью пьяный возвращался домой к старухе, на которой он в таких случаях вымещал свои обиды.

---

* Лавочка — кабак.

Вскоре старуха с криком:

— Ой, спасите, люди добрые, припекарчил меня мой варнак, ой, совсем припекарчил, медведь заимочный! — выбегала в одной рубашке на улицу, спасаясь от пудовых кулаков старика. Погоня старика кончалась обыкновенно тем, что он, свалившись, засыпал тут же на улице до утра.

А в доме тревога...

— Где Аленка? — приставал Милешин к старухе Милешихе. — Опять сбежала к этому голоштаннику? Который раз она бегает к нему! Ведь чуть не десятый. Смотри, старая! Не посмотрю, что ты мне мать. Плохо караулишь ты девку...

— Как же мне ее укараулить? И за коровами смотри и за свиньями смотри, овцами, за всем хозяйством. Да все девки одинаковы! Смотри, не иголка! Найдется, — возражала Милешиха.

— А вот придет завтра, я ей тогда покажу, я ей спущу шкуру, с суки.

— Твое дело: ты отец.

На другое утро, когда Аленка явилась домой, началась расправа отца над провинившейся дочерью. Послышались вопли, стоны и призывы о помощи избиваемой девушки. Понадобилось постороннее вмешательство, при помощи которого вырвали несчастную девушку из рук озверевшего отца.

— Будешь еще путаться с этим голоштанником? — кричал на всю улицу отец.

Аленка как-то странно взглянула на отца и, как-будто вспомнив что-то, сказала:

— Не буду, тятенька, ни за что не буду!

— Ну, ладно, прощаю на этот раз. Но если еще раз убежишь к нему, берегись, убью!

Но через неделю Аленка опять бежала с заимки. На этот раз ей удалось перевенчаться с тем, кого она так сильно любила.

Живя в доме у Милешихи, я старался по возможности избегать услуг со стороны хозяев. Так, услышав голос Анки, хозяйской внучки, кричавшей обыкновенно в приотворенную дверь:

— Ликсандр Сидорович, бабонька тебя зовет, самовар скипел.

Я сам приносил его к себе в комнату и заваривал кирпичный чай. К чаю Милешиха обыкновенно пекла шанешки *,

---

* Или шаньги — слово очевидно тюркского или монгольского происхождения — пшеничные лепешки.

к которым подавала целую тарелку сметаны, блинчики с творогом или пирожки с печенкой, буквально плававшие в растопленном масле. Обед состоял из довольно невкусных, из-за отсутствия в Сибири необходимых овощей, щей с солониной и двух-трех каш, сваренных на молоке. На ужин давали хлеб с творогом и молоко. Хлеб, хотя темного цвета, испеченный из свеже-смолотой пшеницы, был очень вкусен и душист. За все это и за комнату я платил Милешихе 5 рублей в месяц. Три рубля, остававшиеся от казенного пособия, шли на керосин, чай, сахар, стирку белья и т. д. В горнице четыре окна; кроме великорусских лавок вдоль стен и стола посредине стояло несколько простых городских стульев. На стене висели старинные часы с кукушкой и большое, необыкновенно кривившее зеркало. В углу комнаты виднелись неизбежные иконы. Милешиха наотрез отказалась вынести их из горницы. На стенах висели лубочные картинки, изображавшие Афонскую гору и т. п.

Сибиряки, как вообще великорусские крестьяне, любят париться и мыться в бане. Почти в каждом доме, в том числе и Милешихи, была маленькая пристройка-баня с полком. На раскаленную поверхность печи лили воду и под потолком, на полку, секли себя распаренными вениками. Некоторые из крестьян по старому русскому обычаю разгоряченные, совершенно голые прямо с полка, при 30° мороза выскакивали на двор, в снег. Повалявшись в нем, снова бежали на полок париться в высокой температуре. Воду разогревали примитивным способом в деревянной кадке, набрасывая в нее раскаленные докрасна булыжники. Меня особенно удивляло, что крестьяне еженедельно меняли белье, что не часто наблюдалось в России среди рабочих.

Как ни тяжела была жизнь питерского заводского рабочего, она все-таки давала мне возможность жить в своей комнате и располагать после окончания рабочего дня свободным временем для чтения книг и для революционной работы.

Не то я встретил здесь, в сибирской деревне. Работник у богатого крестьянина-мужика в летнее время работает без ограничения рабочего времени — «от зари до зари», проводя целые месяцы на дальних пашнях, ночуя или прямо на земле, под телегой, или в наскоро сложенных из жердей и сучьев «балаганах».

Хозяина он должен называть «дядей», а хозяйку — «тетой». «Дядя» и в особенности «тета» заставляли его работать без отдыха и срока. При этом не только не могло быть и речи об отдельной комнате для работника у крестьянина, но даже своего отдельного угла ему не полагалось. Он укла-

дывался спать, где заставала его ночь: на полу в избе, с лошадьми в конюшне или на сеновале.

При такой жизни, конечно, нечего было и думать о систематическом чтении, о занятиях и трудно было заняться подготовкой к будущей революционной деятельности.

Еще дорогой в Красноярскую тюрьму я слышал от товарищей, что царское правительство, ссылая политических преступников в отдаленные глухие места Сибири и запрещая им всякого рода деятельность, выдает, чтобы они не умерли с голоду, небольшое казенное пособие. Но уже ко времени моего приезда в ссылку в выдаче последнего начали проводиться меры ограничения. Лишая в первую голову пособия рабочих, правительство пыталось достигнуть двух целей: с одной стороны, ухудшить общее положение политических ссыльных, а с другой раз'единить сплоченную среду политических ссыльных. Оно делило последних на «привилегированных интеллигентов», получавших казенное пособие, и непривилегированых рабочих, лишенных его. Этот провокаторский, хитро задуманный план раз'единения ссылки на два враждующих лагеря надо считать все-таки неудавшимся. Подавляющее большинство сознательных передовых рабочих в ссылке не пошло на жандармскую провокацию, а товарищи-интеллигенты, поскольку они были поставлены в лучшие материальные условия, делились по-товарищески с рабочими всем, чем могли, и устраивали кроме того кассы взаимопомощи. Но в некоторых местах эта провокация ,этот жандармский прием все же вызвал частичное расхождение между рабочими и интеллигентами. Часть рабочих, правда, небольшая, заразилась там так называемым интеллигентоедством, раздался призыв: «Долой интеллигентов и да здравствует чисто рабочая без интеллигентов партия». Не отдавая себе ясного отчета, как трудно было рабочим в то время, когда рабочие еще не выработали из своей среды кадров сознательных борцов, без помощи извне, со стороны интеллигентов — сторонников марксизма, создать грозную для самодержавия и буржуазии действительно революционную рабочую партию,— эти рабочие-интеллигентоеды невольно толкали партию в сторону, куда желала ее направить мадам Кускова, жандармский полковник Зубатов, поп Гапон и наши меньшевики. Зародыши чисто рабочей оппозиции имелись у нас в ссылке еще в то время среди некоторой небольшой части рабочих, не замечавших, что они были лишь игрушками в руках жандармов-провокаторов, агентов самодержавия и буржуазии.

У нас, в Минусинском уезде, к счастью, до этого дело не дошло. Все недоразумения между рабочими и интеллиген-

тами разрешались полюбовно. Минусинский исправник Стоянов, разозленный на нас, рабочих-марксистов, за побег Райчина, пробовал было применять эту меру в Минусинском уезде, отказывая рабочим в пособии.

* * *

Приехав в Тесь и столкнувшись с невозможностью найти там работу, я последовал примеру всех товарищей, уже получавших пособие, и написал о нем губернатору соответствующее заявление.

Поселившись у Милешихи, я тотчас же решил засесть за книги, за первый том «Капитала» Карла Маркса, и начать заниматься. Я обратился с просьбой взять на себя руководство моими занятиями по теории революционного марксизма к т. Кржижановскому, который производил впечатление выдающегося и очень симпатичного человека. Действительно, трудно было себе представить человека с более ярко выраженными чертами интеллигента, умственная жизнь у которого господствует над физической.

Если бы ему и его другу Старкову, как Святославу в древности, предложили всякого рода подарки, то они от всего отказались бы и выбрали не оружие войны, подобно Святославу, а оружие ума — книгу.

Любопытно было смотреть на него, на Старкова и на З. П. Невзорову в день прибытия в Тесь почты. Как голодный на хлеб, как пьяница на водку, так они набрасывались на газеты, журналы, книги, забывая все на свете. Разговоры мгновенно прекращались. Собеседник, видя, что его все равно не слушают, уходил с недоумевающим видом. Если почта прибывала во время обеда или чая, то поднятая ложка с супом тотчас же опускалась в тарелку, а взятый стакан ставился обратно на стол. Эльвира же Эрнестовна, мать Кржижановского, и Антонина Максимильяновна волновались, не переставая повторять:

— Вася, Васенька, ешь, говорят тебе. Уморишь ты меня; опять голодный встанешь из-за стола! — взывала Антонина Максимильяновна.

— Глеб, Глебася, да ешь же ты — обед совсем простыл, ах ты, боже мой, — говорила Эльвира Эрнестовна,

Но оба они, как бы в полусне, лишь на мгновенье, подымая голову от книги и не вполне сознавая, где они и что с ними, отделывались односложным: «а, что» и снова погружались в чтение.

Правда, гнетущая обстановка ссыльной жизни, оторванность от умственных центров, невозможность отдаться лю-

бимому делу — все это вызывало более острую потребность в чтении газет, толстых журналов и новых книг. Но все-таки я поражался той быстроте, с какой прочитывались, и очень обстоятельно, самые толстые тома. Сравнивая способность наших тесинских товарищей-интеллигентов быстро прочитывать и усваивать прочитанное, я находил, что она во много раз превосходила ту, которая была у нас, передовых рабочих того времени. Для меня, например, чтение, особенно чтение научных книг, являлось очень трудной работой. Лишь сознание, что пролетариат, чтобы добиться своего освобождения от ига капитализма и установить социалистический строй, должен овладеть знанием, заставляло меня (и я замечал то же и в других рабочих) делать большие усилия над собой, чтобы принудить себя заниматься умственной работой и усиленно читать. Но Кржижановский, Курнатовский и др. читали научные книги, как мне казалось, не только без всяких усилий: наоборот, чтение, повидимому, доставляло им наслаждение. Конечно, эта привычка к чтению у них выработалась долгими годами, с гимназической скамьи.

Глеб Максимильянович был родом с Волги, из Самары, где он окончил реальное училище. Он любил тогда все русское и называл себя русским: ему без труда удалось окончить в Петербурге Технологический институт в качестве инженера-химика. И в реальном училище и в Технологическом институте он зарабатывал на жизнь себе, матери и сестре уроками. Ему, инженеру, превосходно окончившему высшее учебное заведение, предстояло бесспорно блестящее будущее, но он предпочел ему служение делу освобождения рабочего класса.

Обладая поэтическим дарованием, он написал в Часовой башне Бутырской тюрьмы в Москве в ожидании отправки в Сибирь революционный гимн: «Вихри враждебные воют над нами» и «Тираны» *.

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами:
Грозите свирепо тюрьмой, кандалами, —
Мы вольны душой, хоть телом попраны,
И т. д., и т. д.

Первый перевод с польского «Красного знамени» был им написан в Теси. Затем он написал на мотив песни галицийских горцев (гуцулов) следующие слова:

---

* Небольшое участие в сочинении этих стихотворений падало и на Ю. О. Мартова (Цедербаума.)

Полные отваги, полны сил кипучих,
За тебя мы встали, народ!
Враг сулит нам злые муки,
Дверь тюрьмы нас ждет!
На борцов отважных руки
Цепь Сибирь кует.
Грянем, братья, грянем смело!
В боевых трудах
Лишь окрепнет наше дело
Враг наш сгинет в прах.
И т. д.

Он, видимо, томился и тосковал особенно до приезда в Тесь Зинаиды Павловны, его невесты. Просыпаясь и выходя на улицу, он видел всегда одни и те же две горы — Егорьевскую и Еловую, как стражи, вздымавшиеся своей громадой над селом и напоминавшие ему, что он брошен в сибирскую глушь, оторван от живого мира, и он начал их в конце-концов ненавидеть. Это настроение выявилось у него в стихотворении, переложенном В. В. Старковым, обладавшим музыкальными способностями, на музыку:

Всех, как былиночек в поле,
Буйный нас вихрь разметал.
Эх, как бы друг мой на воле
Чаще меня вспоминал.
Сосны кругом здесь да ели
Нас, как в тюрьме, стерегут.
Только бы другу не смели
Дать они мрачный приют.
Злобные вьются мятели,
След заметая людской,
Только бы ярче горели
Чувства в душе молодой.
Вот, словно хор над могилой,
Ветер печально завыл,
Эх, не беда, лишь бы милый
Друг мой меня не забыл.

Когда мы, рабочие, приходили к нему, обыкновенно после обеда (до обеда время посвящалось главным образом чтению), т. Кржижановский, бросая книгу, обыкновенно кричал:

— Васька, бери гитару!

И начинал петь под аккомпанемент Старкова: «Беснуйтесь тираны», «Вихри враждебные», «Замучен в тяжелой неволе», «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и переложенное на музыку Старковым стихотворение Якубовича-Мельшина «Мать», которое начиналось словами:

Скажи, мой желанный, скажи, дорогой,
Дождусь ли тебя я, соколик, домой...

и другие песни.

Он обладал молодым, звучным голосом и пел с чувством:

За тяжким трудом в доле вечного рабства
Народ угнетенный вам копит богатство.
Но рабство и муки не сломят титана
На страх, на страх, на смерть вам, тираны!

Или «Замучен в тяжелой неволе» (написано на смерть Чернышова), которое оканчивалось словами:

Настанет счастливое время,
Когда из погибших костей
Поднимется мститель суровый
И будет он нас посильней!..

Также он любил петь песню ткачей, приведенную в первой части моей книги, написанную, очевидно, еще народниками, ибо содержание ее и мотив проникнуты народническим настроением.

Когда человек поет искренно, особенно песни и гимны, говорящие о страданиях и гибели угнетенных трудовых масс, или когда слушает музыку, в его лице, в глазах, в звуках его голоса отражаются наилучшие человеческие чувства, часто заглушенные прозой жизни, как бывают заглушены пеплом угли костра.

Оба друга, Кржижановский и Старков, как будто сами переживали и чувствовали тяжелое, безысходное положение миллионов рабочих и крестьян, о котором говорит поэт Некрасов. Им невыносимо было жить в стране, превращенной царским самодержавием в огромную тюрьму. Глаза их загорались огнем; песнь неслась в высь; гитара под гибкими пальцами В. Старкова стройно, вдохновенно пела, и мне казалось, что оба они в эти прекрасные моменты готовы были броситься тотчас же в кровавый бой с царизмом и капитализмом за освобождение рабочего класса и пожертвовать за него своей жизнью.

Василий Васильевич Старков умер от «удара» 2-го апреля 1925 г. в Берлине. В течение ряда лет он там напряженно работал на посту заместителя торгпреда СССР в Германии. В личных отношениях и в работе он представлял собою человека с лучшими чертами народолюбивого интеллигента и коммуниста. По определению врачей, смерть произошла от слишком тяжелой работы, какую собой представляет совершенно новое дело создания внешней торговли социалистического государства. Хотя он умер беспартийным, но лично мне в 1923 г. в Берлине он говорил, что он разделяет все положения революционного марксизма. Совершенно очевидно, что только смерть помешала ему вступить в ряды нашей партии.

* * *

Живя в селе Тесинском, я стал понемногу осваиваться с новым для меня бытом сибирских крестьян.

Приглядываясь к сибирским крестьянам в течение моей безвыездной трехлетней жизни в селе Теси, я был очень приятно поражен, ибо нашел в них гораздо больше хороших человеческих сторон, чем ожидал. Правда, прошло около недели со дня моего приезда, пока я научился различать в них их индивидуальные черты: до такой степени они казались похожими друг на друга в одинаковой одежде, в длиннополых армяках, с одинаковыми, как мне казалось, большими бородами. Также и все остальное: избы, сложенные из бревен, одежда, земледельческие орудия, телеги, сбруя, домашняя посуда — все, казалось, было исполнено, сделано, выстроено по одному раз навсегда данному образцу. Невольно приходило в голову, что все новое должно с большим трудом пробивать здесь себе дорогу. В остальном это был тот же великорусский крестьянин. Только он не носил лаптей, а «бродни» *. Избы были внутри начисто выбелены мелом. Полы до белизны вымыты «дресвой» и устланы домотканными половиками. Соломенных крыш не было видно: они были покрыты досками.

Вскоре мне бросилось в глаза, что крестьянин Минусинского уезда отнюдь не производил впечатления того жалкого, забитого существа, каким казался русский мужик, попавший впервые в Питер на заработки.

Наоборот, на него можно было засмотреться, когда он рано утром, напевая грустную или веселую песню, шел полосою за четверкой лошадей за плугом или работал на пашне, с косой на сенокосе или ехал верхом на коне. Как красиво сидел он на лошади без седла, подложив одну лишь кошму ** и составляя как бы одно целое. Какие красивые, уверенные, могучие движения! «Лицо бородатое и мощь исполина», — невольно думал я словами поэта Огарева.

Все мы, направляемые в Сибирь, знали, что царское правительство в течение столетий населяло эту страну преступным элементом из России. Иногда дорогой, когда я думал о Сибири, мне казалось, что эта страна населена почти исключительно преступниками. Ходили всякого рода преувеличенные слухи о жестокости сибирского крестьянина по отношению к бродягам. Настигнув бродяг в тайге, сибирский челдон будто бы кричал:

---

* Бродни — сапоги с мягкими голенищами и с гладкой без каблуков и подметок подошвой. Подобная обувь была очевидно заимствована русскими крестьянами после занятия края у местных тюркских племен.

** Кошма — войлок.

— Эй, варначье, становись, язви вас, в ряд под одну пулю.

И убивал их одним выстрелом. Передавали, что в действительности сибиряк-крестьянин сравнительно редко проявлял страшную жестокость по отношению к бродяге. Если же она случалась, то последний платил крестьянину той же монетой.

Но несмотря на одуряющее однообразие деревенской жизни, господство сложившихся веками обычаев, на враждебность всему новому, на отрицательное влияние вливавшейся сюда в течение веков уголовной ссылки и на удаленность от умственных центров, сибиряк-крестьянин Минусинского уезда выгодно отличался некоторыми чертами не только от своего собрата, русского мужика и рабочего, но даже до известной степени от массового западно-европейского жителя.

Везде, где я ни жил впоследствии во время долгих годов скитания, — и в России и за границей, — я всюду наталкивался на более или менее жестокое обращение с детьми.

Если царь Александр III держал в своем письменном столе в Летнем дворце, в Ливадии, нагайку, которой он «лупил» во время отдыха в Крыму, по словам дворцовых сторожей, и свою собаку и своих сыновей, если это передано действительно верно, то что можно было спросить с рабочих и крестьян!

К великому моему удивлению, за три года безвыездной жизни в селе Тесинском я ни разу не видел, чтобы крестьянин или крестьянка били детей и подростков.

Вторая черта, бросившаяся мне в глаза, — это отсутствие культивированного и нашего русского доморощенного шовинизма — ненависти к представителям других наций в такой степени, как это можно встретить во всех странах Западной Европы.

Сибирский крестьянин Минусинского уезда относился одинаково радушно как к поляку, сосланному в Сибирь, так и к великороссу, украинцу или белоруссу, благодаря чему у многих ссыльных поляков здесь, в Сибири, гасла жгучая ненависть ко всему русскому.

Что касается сибирских крестьян, я думаю, что не ошибусь, сделав предположение, что самым благотворным образом на них повлияло отсутствие в Сибири класса дворян-помещиков и многовекового крепостного права с его ужасными последствиями; другой, может быть меньшей, причиной являлось сравнительно высокое материальное благополучие. Самый бедный крестьянин владел четырьмя-пятью лошадьми и запахивал пять-шесть десятин земли. Земельный простор (когда при мне топографы производили изме-

рение Минусинского и Усинского краев, они, по словам товарища Курнатовского, нашли в глуши целые села, не занесенные на карту, неизвестные начальству, не платившие податей, «самоуправлявшиеся»), большое количество лошадей, скота и овец, обилие продуктов — молока, мяса, хлеба, яиц — все это было обычным явлением в течение довольно долгого времени.

Большинство крестьян было переселенцами из России или прямыми потомками этих последних. Отсталый способ обработки земли, как известно, гнал русского крестьянина в Сибирь в поисках за землей. Не удовлетворившись сибирским простором, в погоне за вольными землями, русский крестьянин не побоялся моря — переплыл Берингов пролив и в свое время занял Аляску (в С. Америке). Многих, как староверов, пригнало сюда преследование за религию. Последние в поисках сказочного Беловодья проникли в таежные места по обе стороны Саянского хребта. Далее, русского поселенца издавна привлекала Сибирь своим золотом. Золотые прииски, разбросанные по тайге, способствовали развитию капитализма и имущественного неравенства. Если Сибирь не знала власти дворянина, то она испытала на себе тяжелую власть купца-капиталиста.

Здесь можно было заметить существовавшее своеобразное право капиталиста на женщин. Женщина, попавшая на прииски, делалась неизбежно добычей как самого хозяина, так и его служащих. Эти же нравы распространялись по окрестным деревням. В каждой деревне можно было найти одного-двух купцов-кулаков, всеми правдами и неправдами надувавших и обиравших бедных и средних крестьян, не говоря уже об «инородцах», живших в тайге, которых они спаивали и грабили. Они распространяли на красивых женщин своего рода право первой ночи. В деревне Кочергиной, например, жил один купец. Мой знакомый сибиряк и знавший всю подноготную местной жизни, передавал мне, что почти все красивые девицы, чтобы заработать себе на приданое, проходили своеобразную повинность любовниц этого купца.

На мукомольных мельницах, чтобы получить работу на дому — шитье мешков—молодые женщины и девушки должны были предварительно заплатить натурой тому или иному служащему и управляющему. В Теси это право на женщин довольно широко распространяли в окрестных деревнях местный поп и кулак.

Как почти все переселенцы, великорусские крестьяне пришли сюда более или менее свободными от человеконенавистнических традиций крепостного рабства и шовинизма.

Крестьянин Минусинского уезда держал себя более независимо и с большим сознанием человеческого достоинства, чем крестьянин коренной России. Он не любил торговаться и сразу назначал определенную цену. Был очень трудолюбив. Наклонности к лени и пьянству, в чем так любили и любят упрекать русского мужика наши дворяне-белогвардейцы, в нем не замечалось. Крестьянин любил выпить, но осенью по окончании полевых работ или по большим праздникам и на свадьбах. В последних случаях можно было наблюдать гомерические пирушки, длившиеся дня по три.

Женщина там пользовалась большей свободой и независимостью, чем в России. Но можно было еще иногда встретить крестьянку, жаловавшуюся, что муж ее недостаточно любит, ибо никогда не потаскает за косу и не побьет.

Подтверждением моих слов может служить известный рассказ В. Г. Короленко «Убивец», рисующий на ряду с отрицательными чертами сибирского крестьянина его положительные стороны — высокие душевные черты.

Любимым развлечением крестьян по окончании летних работ являлись конские бега. Сходились за «поскотину» всей деревней смотреть на «бегунцов».

В конце зимы, когда солнце начинало пригревать, устраивались охоты на волков с палками. Вытянувшись в линию в направлении, откуда уехавшие загонщики выгоняли залегшего в овраге волка, они гнались за ним на своих маленьких лошадях. Волк, проваливаясь сквозь отвердевшую от солнца и утреннего мороза корку толстого слоя снега, о которую он царапал и резал себе лапы, скоро уставал. Тот крестьянин, которому удавалось после долгой гонки догнать его, ловким ударом по переносью наповал убивал его своей длинной палкой.

На охоту на уток крестьянин отправлялся, держа ружье за спиной дулом вниз, с собакой-дворнягой «Черней» * в то время, когда утки, линяя, не могли летать и прятались по кустам тальника и в тростниках озер, или когда молодые утки еще не успевали выучиться летать. В таких случаях хищные «Черни» во множестве душили и старых и молодых уток, и лишь половину из них, лазая по кустам и тростникам вслед за «Черней», успевал подбирать охотник. После такой охоты на уток и охоты с сетью на тетеревов крестьяне возвращались с целыми мешками уток и тетеревов, которых засаливали впрок в той же кадке, что и мясо.

В Минусинском уезде не культивировались фрукты **. Ни

---

* Наиболее распространенное собачье имя.

** Открытия советского ученого Мичурина позволяют надеяться развить культуру яблок и в Минусинском округе.

яблоки, ни груши за исключением вишни здесь не вызревали. Поэтому большим лакомством являлась черемуха. С сибирской жадностью собирали ее парни и девицы еще незрелую. Летом так об'едались черемухой, что при мне были даже случаи смерти. У одного умершего парня вынули при вскрытии из желудка целых полведра черемуховых ягод с косточками.

Местный учитель, хотя избегал водить знакомство с нами, но при встречах раскланивался.

— Отчего это, — спросил раз т. Старков, встретив этого учителя, — у вас на селе, расположенном на берегу такой красивой реки, улицы ни главные, ни второстепенные не проложены по самому берегу Тубы? Отчего это происходит, оттого ли, что у жителей совершенно заглушено эстетическое чувство и нет потребности любоваться красивой горной рекой, или от чего другого? Ведь обратите внимание, все решительно избы повернулись к реке спиной, выходят к ней своими задами, со своими пристройками, огородами, конюшнями и хлевами. Эти же избы выходят лицом, т.-е. окнами, на пыльные, грязные улицы. Можно сказать или подумать, что крестьяне предоставили возможность любоваться обрывистыми берегами Тубы лишь своим лошадям, коровам и овцам, а сами они остаются глухи к красотам природы.

— Это, я думаю, — отвечал учитель, — везде здесь в Сибири, даже в самом Красноярске. Об'яснить это можно лишь потребностью, которая зимой стоит на первом плане, борьбы с холодом. Ведь зимою с ледяных просторов здешних рек веет таким лютым холодом, что поневоле избы повернулись к ним своими задами и защитили себя от мороза стеною хлевов и конюшен.

— Да, так-то так, — возражал Старков, — а все-таки было бы очень приятно подойти к окну и вдруг увидеть не хрюкающих хавроний, а водяной простор реки и ее скалистые высокие берега.

— Этого хочется вам, — отвечал опять учитель. — Это вполне понятно: вы сидите целыми днями за книгами в своей комнате и у вас рождается невольно желание увидеть эту красавицу Тубу. А у крестьянина другое положение. Он дома не сидит. Он то на поле, то на сенокосе, то на огороде у самой этой реки что-нибудь делает. Он целый день среди самых что ни на есть красот природы, которые ему так примелькались в глазах, так в зубах навязли, что он их склонен и не замечать. Может быть поэтому он и проходит мимо них, как вы говорите, совершенно равнодушно,

и выходит, что печной горшок ему дороже, чем Аполлон Бельведерский.

— Ну, при социализме, — заметил Старков, — я думаю, все будет иначе. У крестьянина, работника земли, разовьется вкус к изящному, и дома тогда будут настроены такие теплые, что нипочем станет зимний холод, и окна домов тогда, надеюсь, здесь обернутся к реке, и жители этого счастливого века не будут проходить равнодушно мимо красот природы.

— Вашими бы устами да мед пить! — заметил с хитрой улыбкой учитель и, попрощавшись, ушел.

Весна между тем победила суровую сибирскую зиму с ее морозами, пургой и, вызвав пробуждение новой жизни, как юная прекрасная невеста, очаровывая взор, царила в природе. Все румянее становились утренние зори, все ярче и гуще краски вечернего заката, воздух прозрачнее, небо выше и синее. На островах Тубы цвели черемуха, липа и шиповник. Они казались белыми от цвета, и воздух был напоен благоуханием. Туба немолчно звенела своей струей. В траве стрекотали и жужжали всевозможные жучки и насекомые, а высоко в небе перекликались орлы.

Приехала, наконец, невеста Г. М. Кржижановского — Зинаида Павловна Невзорова. Она была поражена красотой южно-сибирской природы и восхищенно повторяла:

— Я переживаю здесь весну второй раз.

Она вскоре вышла замуж за Глеба Максимильяновича Кржижановского. Таким образом в Теси образовались две парочки, переживавшие счастливое время.

Для семейных товарищей еще острее, чем для нас, одиноких, встал вопрос о заработке, вследствие чего они предприняли шаги к переводу в Минусинск, где легче можно было достать уроки.

Слыша их разговоры о предполагаемом недалеком уже от'езде, я, боясь потерять в них руководителей моих занятий и учителей, старался, сидя в доме Милешихи, как можно больше прочесть, пока они здесь.

Однажды, когда я таким образом сидел за книгой, Милешиха, подойдя к моему окну, сказала:

— Ревут тебя у ворот, Ликсандр Сидырыч.

— Кржижановский вас зовет к себе, — заявил мне Н. Н. Панин, ждавший меня у ворот. — Ну, и ведьма же у вас хозяйка эта Милешиха, чтоб ей пусто было. Так и не пустила к вам в комнату.

У Кржижановского и Старкова сидели в комнате сестры Окуловы, приехавшие познакомиться со мной из деревни Шошино в 18 верстах от Теси, куда они были высланы из

Москвы к родителям за участие в студенческих беспорядках. Старшая Екатерина Ивановна, жившая за границей, еще там заинтересовалась марксизмом; младшей Глафире Ивановне уже в Сибири пришлось сделать выбор между марксизмом и народничеством. Она примкнула к первому и с тех пор работает в рядах нашей партии. В то время ей было не более 18 лет. У ней было очень миловидное, симпатичное лицо. Умная, интересная, красивая, подававшая большие надежды, Глафира Ивановна всем нам нравилась как хороший товарищ и очень симпатичная девушка. На некоторых товарищей она произвела весьма сильное впечатление и сыграла в их жизни в ссылке очень большую роль.

Рабочих-революционеров, к которым в числе прочих принадлежал и я, нюхавших порох и сидевших в такой тюрьме, как Петропавловская крепость, сестры Окуловы, особенно Глафира Ивановна, видели впервые.

Сестры пригласили всех товарищей, и меня в том числе, к себе в Шошино. Через несколько дней мы всей компанией отправились к Окуловым. Глафира Ивановна, поджидая нас, стояла на высоком крыльце дома. Завидев нас еще издали, она, искренно радуясь нашему приезду, говорила своей матери:

— Мама, мама, тесинцы едут, как я рада! Тесинцы едут.

С любопытством смотрел я на огромный, выстроенный из толстых лиственничных бревен «окуловский дом». Расположенный на мыске при слиянии Протоки с Тубой, недалеко от деревни Шошино, он очень походил на один из помещичьих домов, описанных Тургеневым. В нем так же, как в тех, протекала жизнь, совершенно отличная от жизни крестьян.

Основатель его И. И. Окулов, переселившийся из Пермской губ., много читал и научился на основании самостоятельных геологических изысканий почти безошибочно определять местонахождение золотого песка. Выйдя из простых крестьян, он быстро разбогател, сделав очень много заявок на золотые прииски, выстроил паровую мельницу — «завод», как ее звали в округе, и вышеупомянутый огромный дом, но внезапно вследствие промышленного кризиса разорился и уехал в поисках за капиталами в Россию, а затем и за границу.

Его жена, Екатерина Никифоровна, испытавшая в молодости много горя и неудач, не стесняла свободы своих детей, предоставляя им возможность учиться в России и за границей. Постепенно, под влиянием своих дочерей, главным образом Глафиры Ивановны, она превратилась из властной хозяйки дома и золотых приисков в человека, не

только симпатизировавшего революционному движению, но и оказывавшего, особенно во время колчаковщины, содействие красным партизанам.

Окуловская семья принадлежит к числу революционных семей России. Кроме Е. И. Окуловой и Г. И. Окуловой, Владимир Иванович Окулов, брат Глафиры Ивановны, был расстрелян Колчаком, как коммунист; А. И. Окулов принял участие в революционном движении 1905 года, а затем (после долгого перерыва в работе) во время Октябрьской революции и гражданской войны работал на южном фронте и в Сибири.

Старику Окулову не удалось достроить свой огромный дом в Шошине, который так и остался неотделанным снаружи и неоштукатуренным изнутри. Второй дом, меньших размеров, оставался лишь в виде сруба с возведенной на нем крышей. Неудачи продолжали преследовать Окуловых. Вскоре после отъезда хозяина сгорела паровая мельница, но огромный дом, несколько лошадей, два оставшихся небольших золотых прииска, штат служащих — все продолжало напоминать о недавнем благополучии.

В описываемое время семья Окуловых, за исключением двух старших сестер-революционерок, представляла собой образец сибирской просвещенной буржуазии. Хозяйка дома, Екатерина Никифоровна, относилась к нам, как к единомышленникам ее старших дочерей, очень тепло. Ее дом был для нас всегда открыт, и мы встречали у нее самое широкое русское гостеприимство. Окуловский дом оживал летом, когда в Шошино с'езжалась окуловская молодежь.

Гуляя по берегу реки Тубы недалеко от стоявших заколоченными после пожара зданий паровой мельницы, Глафира Ивановна указала мне на большой старый тополь, на стволе которого неизвестный рабочий ее отца вырезал ножом следующие слова, навеянные на него, очевидно, заводом:

Все колеса да пружины,
Лишь умей их заводить.
Не придумают машину,
Штоб работника кормить.

Эти слова как бы говорили, что и на пустынных берегах Тубы, куда начинал проникать капитализм, мысль рабочего уже пыталась разрешить вопрос о бедности и богатстве среди людей.

Все мы, политические ссыльные-марксисты, очень часто приезжали или попросту приходили сюда пешком и гостили иногда по нескольку дней.

В один из приездов в Шошино мы отправились всей компанией за Тубу на лежавшую на противоположном ее бе-

регу высокую гору Ойку. Среди нас находились, кроме членов окуловской семьи: Н. Н. Панин, В. В. Старков, З. П. Невзорова, Г. М. Кржижановский, А. М. Старкова. Товарищи-охотники взяли с собой и злого пса Фингала. Эта охотничья собака, как я уже говорил, очень отличалась от обыкновенных дворняг «Черней», устраивавших, вероятно с голоду, в долгие зимние вечера и ночи настоящие собачьи концерты. Обыкновенно такой собачий вой сливался в зимние ночи с завыванием пурги.

При возвращении с горы Ойки (названной так потому, что всякий взобравшийся на ее вершину, невольно вскрикивал: «ой», когда, подойдя к ее крутому обрыву, взглядывал вниз, в смотревшую оттуда бездну), т. Старков случайно посадил около меня в лодке Фингала.

Когда лодка, которую страшно сносило вниз чрезвычайно быстрое течение, достигла середины реки, у меня явилось довольно легкомысленное, пожалуй, безумное желание потрепать Фингала по шее.

Мне почему-то казалось, что на воде, на самой середине широкой, быстрой реки он наверно потеряет свои привычки и позволит себя потрогать.

Панин подзадаривал меня.

— Где вам, — говорил он, — вы не решитесь погладить Фингала по шее.

— Я? — отвечал я, — ошибаетесь: вот смотрите.

Но я жестоко ошибся. Когда я, не удовлетворившись одной попыткой, несмотря на сердитое рычание пса, служившее как бы первым предостережением, дотронулся до его шеи вторично, он, злобно зарычав и свирепо сморщив морду, оскалил зубы и бросился на меня.

Все ахнули и невольно оцепенели. Все ожидали увидеть меня через несколько секунд искусанным или с переломанной рукой. Дело осложнялось тем, что на середине быстрой и глубокой реки мне в переполненной донельзя лодке некуда было укрыться от рассвирепевшей собаки, тем более, что плавать я не умел. Но произошло то, чего никто не ожидал. Н. Н. Панин, вскочив с невероятной быстротой, сильными руками рабочего, рискуя сам быть искусанным, подхватил Фингала под брюхо и с силой бросил его в воду. Все это совершилось в несколько секунд.

Наклонившаяся от его движения лодка зачерпнула воды. Женщины в испуге завизжали. Грузно хлопнулся, обрызгав всех, Фингал в воду, но тотчас же, не считая себя очевидно побежденным, гребя сильными лапами, бросился обратно к лодке. Он вскочил бы в нее, если бы ему не помешал Панин. Собаке даже удалось ухватиться своими крепкими зу-

бами за борт лодки так, что доска затрещала, и лодка опять накренилась. Панин опять спас положение.

Ловким ударом весла по голове Фингала Панин сбросил последнего опять в воду.

Не сдававшийся, возмущенный против человека пес успел ухватить зубами на этот раз конец весла и расщепить последнее. Только получив еще несколько ударов другим веслом, Фингал признал себя побежденным в борьбе с человеком и поплыл за лодкой, следуя за ней на почтительном расстоянии.

Лишь после всего этого товарищи пришли в себя и поняли, от какой опасности я избавился благодаря смелому поступку т. Н. Н. Панина.

В сумерках, когда потухла вечерняя заря, облепленные комарами вернулись мы в окуловский дом. За ужином и чаем, которым угощала нас гостеприимная хозяйка дома Екатерина Никифоровна, товарищи рассказали о проявленном мною в лодке легкомыслии по отношению к Фингалу, об опасности, которой я подвергался, и о смелом поступке товарища Панина, который, рискуя быть искусанным раз'яpившимся псом, смело и необыкновенно ловко выбросил его из лодки.

«Если бы мы были такими непримиримыми, как этот пес, — думал я, — если бы мы научились так отстаивать свои права человека».

Н. Панин был в этот вечер героем дня. Питерский рабочий, родом из Романова-Борисоглебска, Ярославской губернии, он был выслан в 1897 г. из Питера за участие в большой стачке питерских ткачей 1896 года. Переведенный в село Ермаковское, он окончил там ссылку в конце 1900 года. После этого он работал с успехом в Иваново-Вознесенске и принимал энергичное участие в подавлении белогвардейского ярославского восстания и в восстановлении революционного порядка и до сих пор продолжает работать в рядах нашей партии на ответственных постах.

* * *

Вернувшись в Тесинское, я снова засел за книги. Помимо знакомства с произведениями К. Маркса, с политической экономией и историей я старался пополнить свои пробелы и в других областях знаний. Я читал книги по астрономии, физике, химии и т. п. Попрежнему любил читать нашу и западно-европейскую художественную литературу. Около этого времени я прочел «Войну и мир» Л. Н. Толстого и только-что вышедший тогда в свет его роман «Воскресе-

ние». В это время всходила новая звезда в нашем литературном мире. Появились первые произведения нашего великого писателя Максима Горького. В журнале «Русское богатство» были напечатаны его рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и «Челкаш». Большое впечатление произвел на меня «Фауст» Гете и поэзия Гейне.

Кржижановский и Старков, выяснив, что все свои знания я получил преимущественно путем самостоятельного чтения, решили, что и впредь для меня будет полезнее работать самостоятельно над «Капиталом» К. Маркса и другими книгами и лишь время-от-времени обращаться к ним за об'яснениями непонятных мест.

Кружковых занятий в виде устного изложения предмета перед слушателями в Теси не велось, так как М. Д. Ефимов не мог заниматься вследствие болезненного нервного состояния, а Панин, примкнувший к движению еще очень недавно, не успел за это время выработать в себе привычки к систематическому чтению и был неусидчив. Я принялся за чтение с похвальным упорством, но должен признаться, что только сознание, что «Капитал» К. Маркса имеет для нас, рабочих, бо́льшую ценность, чем евангелие для христиан или коран для магометан, — только это сознание заставляло меня преодолевать встречающиеся в нем трудности.

Надо согласиться, что необыкновенно трудный язык, которым написаны произведения К. Маркса, является безусловно одним из препятствий для распространения идей революционного марксизма среди рабочих. Да, вероятно, и не мне одному приходилось таким путем преодолевать эти трудности...

Еще дорогой в Сибирь я слышал от товарищей рассказ о разговоре т. Ленина с выдающимся марксистом Франции Полем Лафаргом. Привожу его, как он передан Ю. О. Мартовым.

Узнав от Ленина, что в России партии в западно-европейском смысле этого слова еще не образовались и что есть лишь рабочие кружки, Поль Лафарг спросил:

— Чем же вы занимаетесь в этих рабочих кружках?

— Читаются популярные лекции, а затем в кружках из более способных рабочих штудируют Маркса, — ответил Ильич.

— И они читают Маркса? — спросил Лафарг.

— Читают.

— И понимают?

— И понимают.

— Ну, в этом-то вы ошибаетесь, — заключил ядовитый француз. — Они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает *.

То, что мы, рабочие в России, при зарождении движения у нас, брались сразу за первоисточник — за «Капитал» К. Маркса, может быть является одной из причин необыкновенных успехов марксизма в России. В. И. Ленин не только не возражал против самостоятельного чтения рабочими «Капитала» К. Маркса, но всячески поощрял это. На себе самом я убедился, однако, что одного чтения произведения К. Маркса еще далеко недостаточно, чтобы научиться самому главному — внедрению его революционной теории в жизнь. Это искусство дается с большим трудом одновременно с теоретическим изучением марксизма путем практической работы в рядах партии, при работе среди рабочих. Коммунистическое сознание не возникает по Ленину в рабочем классе стихийно, само собою. Оно приходит в рабочую среду извне через партию рабочего класса, и умению внедрять теорию революционного марксизма в жизнь нужно много и долго учиться на самой практике классовой борьбы пролетариата. Наиболее совершенно усвоил себе это искусство наш учитель В. И. Ленин.

С первых же шагов при чтении «Капитала» я понял, как важно для сторонника революционного марксизма уметь отличать друзей рабочего класса от его врагов, надевающих часто личину марксизма, клянущихся К. Марксом. Я лично уже приобрел известный навык и чутье, когда, разочаровавшись в народовольцах и поняв ошибки их теорий, перешел к марксизму. Я умел до известной степени разобраться в учении К. Маркса о прибавочной ценности, как источнике накопления богатства капиталистов, и в материалистическом понимании истории. Но, когда один из товарищей, кажется З. П. Невзорова, привезла литературу типа «Рабочей мысли», я оказался не в состоянии дать надлежащую оценку этого ошибочного и гибельного для партии и русского рабочего класса направления.

Видя мою усидчивость за книгами, Антонина Максимильяновна не раз говорила своему мужу:

— Хорошо было бы, если бы Сидорыч приготовился здесь в Сибири на аттестат зрелости.

Предложение это было довольно заманчиво, но в нем таилась своего рода большая опасность. Это значило уйти из рабочей среды и превратиться в оторванного от рабочей

---

* Ю. Мартов. «Записки социал-демократа», книга первая, изд. З. И. Гржебина, стр. 264, 1922.

массы плохого интеллигента, как это и случилось с некоторой частью передовых рабочих. Эту склонность широко использовала европейская буржуазия, выкачивая посредством профессиональных школ для руководства промышленностью лучших рабочих. На нее же указал мне тогда и Г. М. Кржижановский.

— Было бы печально, — говорил он, — если бы такие рабочие, как вы, Сидорыч, стали уходить из рабочей среды.

Учтя все это, я отказался от возможности готовиться на аттестат зрелости в Сибири в период от 1897 г. по 1901 г. и позднее в Бельгии в 1906—1911 гг. Совет Г. М. Кржижановского имел огромное значение для меня. Оставаясь в среде рабочего класса у станка, я остался верен большевизму и не отходил от партии даже временно, как это случилось с другими товарищами. За все это я питаю чувство большой благодарности к Г. М. Кржижановскому.

* * *

Во время совместной жизни в одной комнате с М. Д. Ефимовым чтение книг и вообще занятия не пошли. Михаил Дмитриевич оказался болен более серьезно, чем предполагала Антонина Максимильяновна, и нуждался в очень продолжительном отдыхе и лечении. Вопреки мнению Антонины Максимильяновны, мое присутствие не только не оказывало на него благотворного и успокаивающего влияния, а наоборот, раздражало его. Стоило, например, мне взяться за книгу, как Михаил Дмитриевич раздраженно замечал:

— Что вы это все читаете, пойдемте-ка гулять.

Я откладывал книгу, и мы выходили на улицу. Повернув налево из дома Милешихи, затем направо мимо «губернаторского» дома кулака Алексеева, где проездом останавливался губернатор, мы выходили к рукаву Тубы (Протоки), на берегу которой стояла Тесь. Выйдя за село, мы поворачивали налево вдоль Протоки по ее течению. Здесь на самом берегу, удаленная от деревянных построек деревни, стояла деревенская кузница. Немного далее за ней был устроен примитивный маслобойный пресс, работавший посредством вбивавшихся большим молотом деревянных клиньев. Пройдя мимо общественного хлебного магазина — «мангазея», мы попадали в тень Егорьевской горы.

Могучий, производивший весной после ледохода и во вторую большую воду величественное впечатление поток в середине лета пересыхал настолько, что, идя на острова Тубы, мы переходили ее по камням, между которыми струилась вода, не замочив подошвы сапог.

Когда мы добирались до огромных глыб глинистого сланца, свалившихся с Егорьевской горы и лежавших у ее подножья, являлось всегда острое желание забраться по крутому склону на самую вершину горы. Но Михаил Дмитриевич не только не находил сил совершать этот под'ем, — он едва доходил до ее подошвы. Жалуясь на холод, несмотря на жаркое южно-сибирское лето, он упрекал меня и т. Панина, если тот был с нами, что мы идем слишком быстро.

— Куда это вы торопитесь? Куда это вы торопитесь? — кричал он издали.

Вернувшись домой, он садился всегда на одно и то же место у стола и курил не переставая, свертывая папироску за папироской. От пепла к вечеру образовывалось довольно большое пятно серого цвета, при виде которого хозяйка Милешиха начинала кричать:

— Ах вы, табачники, язви вас, никониане, варнаки вы таежные, опять нагрезили. Анка, Анка, — обращалась она к своей внучке, — глянь-ка, севодня нам будет нужно с дресвой пол-то мыть. Пошто вы, табашники, курите? Аж тошнит и нутро переворачиват, как войдешь к вам в горницу-то, от чортова-то от зелья от вашего! Никониане вы клятые!

Очень способный, но физически слабый Михаил Дмитриевич принадлежал к тем самородкам-рабочим, которые без помощи партии и организации самостоятельно стали искать выхода из тяжелого положения рабочего и нашли его в борьбе против самодержавия и буржуазии. Усвоив твердо революционные традиции и революционный ригоризм народников и народовольцев, требовавший полного отречения от личной жизни в интересах революции, он проводил его в жизнь. Он был одинок. У него не было ни жены, ни невесты. Как большинство передовых рабочих того времени, он находил, что почти невозможно рабочему-революционеру жениться, обзавестись семьей. Ежедневный опыт давал достаточно указаний, что женатые товарищи и уделявшие много времени ухаживанию за женщинами похожи на евангельского пахаря, взявшегося за плуг и оглядывавшегося назад. Революция, как ревнивая женщина, как бы говорила: все или ничего.

Но потребность в женской любви и дружбе так велика у каждого человека, что напрасно боролся с ней суровый революционер. Голод и любовь, по Бебелю, играют наибольшую роль в жизни людей. То, что было заглушено в нем в обстановке революционной деятельности на воле после двух лет полной самозабвения работы, начало мало-помалу

напоминать о себе, когда он попал в тюрьму, а затем в Тесь.

Приезд в Тесь и знакомство с одной девицей заставило его вдруг к ужасу своему почувствовать, что все то, что незаметно тлело у него в душе, как уголек, покрытый толстым слоем пепла, теперь вдруг разгорелось в пламя. Всему этому способствовала общая картина семейного счастья и увлечение любовью, замечавшееся в Теси и в других селах у большинства товарищей. Как умный человек, Михаил Дмитриевич понимал, что эта сторона жизни ему почти недоступна. К тому же эта курсистка, казалась звездой слишком блестящей и для него недосягаемой. Отсюда возникла трагедия. Михаил Дмитриевич понял, что нужно вытравить это чувство. Если бы он мог уехать из Теси, бежать отсюда немедленно, перемена места, новые лица, впечатления помогли бы ему, но ни уехать, ни бежать из Теси возможности не было. Принужденный оставаться, он переживал тяжелые дни. Борьба, происходившая в нем, кончилась почти трагически в последнюю ночь, проведенную нами вместе под одной крышей. Он решил мне отдать для передачи ей записку. Но как только я заснул, он разбудил меня словами:

— Отдайте мне записку, я сам передам ее ей.

Вернув ему записку, я опять укладываюсь на пол (за неимением кроватей у Милешихи, мы спали прямо на полу). Михаил Дмитриевич опять будит меня. Передав мне записку, через час он снова будит, требуя ее обратно. Так продолжалось всю ночь. Наконец, под утро, взяв у него записку, я так крепко заснул, что совершенно не услышал, как Михаил Дмитриевич, толкая меня, кричал:

— Александр Сидорович, отдайте мне записку!

Мне вдруг приснилось, что кто-то, схватив меня за горло, начал меня душить. Задыхаясь и защищаясь, я во сне схватил душившую меня руку и с силой дернул. Тотчас же, проснувшись, я услыхал стук падающего на пол тела, звои разбитой лампы, крики и стоны. Пока я выбегал на улицу отворять ставни, чтобы при слабом свете сереющего утра рассмотреть, что произошло в комнате, в нашу горницу на крики Михаила Дмитриевича прибежала сама Милешиха. Вернувшись, я застал Михаила Дмитриевича лежащим на полу с ушибленной до крови головой. Лампа была разбита вдребезги. Милешиха в виде старой свирепой ведьмы в ночной сорочке, с растрепанными седыми космами волос кричала:

— Вон! Штоб духа твово не было! Табашник! Варнак, вон из мово дома! Что за варнаки таки, прости господи.

Пошто ревете и деретесь ночью? То и меня еще припекарчите ночью!

Оказалось, что, наскучив кричать и звать меня, Михаил Дмитриевич решил встать, зажечь лампу и найти у меня под подушкой написанную записку. На беду в темноте он нечаянно наступил мне ногой прямо на горло и чуть было не задушил меня; спасаясь от удушения, я во сне сильно дернул его за ногу, и он упал.

Так как Милешиха определенно заявила, что она не согласна больше держать у себя в доме Михаила Дмитриевича, который очень грезит (пачкает пол) и дерется по ночам, пришлось о случившемся рассказать на другой день товарищам. На общем совете было решено, что Г. М. Кржижановский с Н. Н. Паниным свезут его в Минусинск и посеветуются там с доктором. Доктор, осмотрев Михаила Дмитриевича, предложил отправить его в Красноярск. После продолжительного пребывания в красноярской психиатрической больнице Михаил Дмитриевич не вернулся в Тесь, оставшись в Минусинске. Здоровье его частично улучшилось. Маленького роста, тщедушный, с задумчивыми серыми глазами и симпатичным умным лицом, он производил впечатление серьезного, вдумчивого человека. В Минусинске он вел пропаганду среди населения. Так, он распропагандировал супругов сапожников Деминых *. Оба они еще молодые, симпатичные под влиянием Михаила Дмитриевича примкнули к нашей партии. Летом 1900 года Михаил Дмитриевич Ефимов ** окончил ссылку и уехал в Россию опять на юг с твердым намерением продолжать прерванную тюрьмой и ссылкой революционную работу. К сожалению, со дня своего от'езда он совершенно исчез с моего горизонта, и о дальнейшей его судьбе я не знаю.

Раза два в месяц на дворе дома Кржижановского и Старкова происходили деятельные приготовления к охоте. Засидевшись за книгами, оба друга ощущали острую потребность очутиться на просторе полей, потребность в быстрых движениях, в усиленной ходьбе на свежем воздухе. Сидя во дворе на скамье, они внимательно осматривали свои двустволки, чистили их, набивали и укладывали в сумки патроны. Затем, одев охотничьи сапоги и желто-коричневые куртки, обсуждали вопрос, к каким озерцам, ручьям и болотам лучше отправиться на охоту. Фингал, предвкушая

---

* Демины в 1905 г. в Севастополе организовали побег т. Фельдмана, принявшего активное участие в руководстве восстанием на броненосце «Потемкин».

** М. Д. Ефимов привлекался по делу кружка рабочих на Брянском заводе в Екатеринославе.

удовольствие от предстоящей охоты, совершенно менял свой свирепый нрав: вилял усиленно хвостом, бегал по двору, весело лая, готовый ежеминутно выскочить за ворота, чтобы бежать впереди охотников.

Охотничья страсть всецело овладевала друзьями. Непосвященных в таинство охоты простых смертных, каким был я, брать с собой они не любили. Оба они обыкновенно бежали вслед за Фингалом так быстро, что я едва поспевал за ними. Иногда к тт. Кржижановскому и Старкову присоединялся приезжавший в Тесь В. К. Курнатовский. В один из его приездов я с ним и познакомился.

В. К. Курнатовский настолько увлекался охотой, что даже завел охотничью собаку Дианку и очень любил охотничьи рассказы. Увлекаясь, он договаривался до того, что его двустволка стреляла у него три раза под ряд. Как истый охотник кроме того он не любил, чтобы кто-нибудь трепал по шее и ласкал его собаку, но В. К. Курнатовский был не только хорошим охотником, это был товарищ из всей минусинской ссылки (не беря в счет, конечно, Владимира Ильича) наиболее преданный делу революции и с ярко выраженными чертами революционера. Он был отважен, смел, полон революционного энтузиазма, всегда готовый на самые опасные дела, что он доказал всей своей тяжелой, полной лишений и мученичества жизнью. Любимой его поговоркой было: «свобода не дается, а берется».

Свою революционную карьеру он начал еще в партии «Народная воля». Сосланный в Шенкурск, Архангельской губернии, в 80 гг., по окончании ссылки он уехал в Западную Европу. В Швейцарии, в Цюрихе, он окончил политехникум как инженер-электрик. Живя за границей, он интересовался ростом рабочего движения в Западной Европе, особенно германской социал-демократией. Вступив в заграничную организацию «Группы освобождения труда», он принимал деятельное участие в постановке революционной работы в России, направляя туда товарищей на работу и переправляя при помощи германских социал-демократов транспорты нелегальной, подпольной социал-демократической марксистской литературы.

Между тем из России стали приходить вести одна другой заманчивее, говорившие о росте стачечного рабочего и революционного движения. Как только он узнал о первой, поразившей всех в России и за границей (а также и его, в том числе) стачке питерских ткачей в 1896 г., он не мог усидеть за границей, тотчас же собрался и поехал на революционную работу в Россию. Но ему, как он говорил, отчаянно не везло. При переезде русской границы прослежен-

ный царскими шпионами он был арестован, отправлен в Питер в предварилку и после года одиночного заключения сослан в Минусинский край. Здесь он познакомился с Владимиром Ильичем, которого он тотчас оценил как самого выдающегося революционера из всех, кого он встречал, и теоретика, обещавшего выработаться в вождя партии, и был от него в полном восторге.

Сам он, высокого роста, стройный, красивый, с лицом украинско-польского типа, представлял собой чрезвычайно симпатичного человека, образованного, говорившего на нескольких европейских языках, но большого неудачника в жизни вообще, в личной в особенности. Будучи несчастлив в личной жизни, обладая в то же время нежной, отзывчивой, мягкой душой, которая чувствовалась в звучной музыке его голоса и отражалась в его выразительном лице и глазах, он перенес на рабочий класс всю свою потребность в любви. Он жил в селе Курагинском на правом берегу Тубы. Если ехать вверх по этой реке, по левому ее берегу, на котором было расположено село Тесь, то, миновав деревню Шошино, село Кочергинское и переехав реку на пароме и затем миновав заросли тальника и черемухи, вы в'едете в длинное растянувшееся по берегу село Курагинское. Голые бревенчатые стены здесь смотрели на широкие улицы еще угрюмее, чем в Теси. Отсутствие на улицах зелени делало это село более суровым, чем Тесь.

Кроме него здесь с женой и сыном Стасей жил т. Ковалевский, рабочий социал-демократ из Жирардова из Польши и до переезда в село Ермаковское П. Н. Лепешинский с женой Ольгой Борисовной, следовавшей за ним добровольно в Сибирь.

Так как в жизни семейных товарищей было что-то, что, казалось, засасывает их и не дает возможности жить только для одной резолюции, В. К. Курнатовский недолюбливал бывать у семейных товарищей. Когда во время моих приездов в Курагинское, я звал его навестить кого-нибудь из семейных товарищей, он почти всегда отказывался, говоря:

— Нет, не пойду. Иди один. Я люблю его он очень хороший человек, хороший революционер и товарищ, но я не выношу семейной обстановки; очень уж у них пеленками пахнет; да и супруга у него очень мещанистая.

Он предпочитал общество нас, рабочих, так же, как и он, одиноких. Говоря о тяжелой одинокой жизни холостяка, которую он вел, он любил декламировать стихотворение Гейне:

Когда тебя женщина бросит,
Проворней влюбляйся опять,
Но лучше по белому свету

С котомкой отправься гулять.
Ты синее озеро встретишь,
Над озером липы растут,
Свое небольшое страданье
Ты может все выплакать тут.
На горы крутые взбираясь,
Заохаешь ты, как старик,
Но если достигнешь вершины,
Орлиный услышишь ты крик,
И сам ты в орла превратишься;
Почуяв, что силен ты стал,
Узнаешь, что очень немного
Тогда ты внизу потерял.

Он любил также декламировать стихотворение Гейне «Ткачи», начинающееся словами:

Глаза их сухие не блещут слезами,
Стоят за станками, скрежещут зубами,
Германия, саван тебе мы соткем,
Туда мы проклятье тройное вплетем.
Мы ткем, неустанно мы ткем.

Это стихотворение ему нравилось тем, что в нем выведена психология пролетария.

Виктор Константинович любил, как многие, прекрасную женщину, образ которой создало его воображение и которой он или никогда не встречал, или, если и встречал, как случилось в Сибири, то не нашел ответного чувства. Как у одного из героев Бальзака прекрасная женщина была его химерой, к которой он стремился и которая всегда от него убегала *.

Открывая перед нами, рабочими, свою душу, он нам также декламировал следующее стихотворение Гейне:

СТАРИННАЯ СКАЗКА.

Красавицу юноша любит,
Но ей полюбился другой.
Другой этот любит другую
И назвал своею женой.
За первого встречного замуж
Красавица с горя идет,
У бедного юноши сердце
Тоска до могилы грызет.
Старинная сказка, но вечно
Останется юной она...
Но лучше б тому не родиться,
С кем сбыться она суждена.

Виктор Константинович заметно тосковал в ссылке. Его тяготило одиночество, заброшенность и начавшая уже тогда развиваться ушная болезнь, полученная им еще в тюрьме.

---

* Бальзак, «Шагреневая кожа», стр. 37.

Когда по целым неделям дул западный ветер, стуча ставнями, когда хором выли сибирские собаки, наводя тоску, он запирался в своей комнате и неделями ни к кому не выходил. Виктор Константинович признавался, что иногда он запирался с бутылкой водки, но никогда никто не видел его на улице не только пьяным, но даже выпившим. Ссыльная жизнь, тоска, одиночество, оторванность, болезнь — все это надламывало даже таких сильных людей, каким был безусловно В. К. Курнатовский — этот революционер до мозга костей.

В его рассказах о германской социал-демократии уже тогда, задолго до империалистической войны, можно было заметить ноткн скептицизма и разочарования в ней. Он не скрывал того мещанства, которому подвержены были до известной степени германские рабочие и в особенности германские женщины. Жены даже социалистов, по его словам, напоминали собой очень часто больше кухарок, чем сознательных социалисток. Меня поразил и смутил также его рассказ о нравах в редакции «Форвертса». Можно было понять, что германские социал-демократы давно перестали быть пламенными революционерами, какими рисовало их мое воображение, и что мещанство и пошлость наложили уже на них свой отталкивающий отпечаток. Рабочие, по его словам, посещали без всякого энтузиазма партийные собрания и охотно и массами приходили слушать лишь таких вождей, как Август Бебель, который, как они верили, приведет их к социалистическому строю.

Несмотря на все эти теневые стороны, которым я как-то не придавал особого значения, я упивался рассказами о германской социал-демократии, которая была и оставалась долго для меня, как и для всех сознательных русских рабочих того времени, образцом, достойным подражания, и явлением, почти недостижимым для нас, русских рабочих.

В начале 1899 г. Виктор Константинович получил разрешение на переезд в село Ермаковское, Минусинского уезда, куда к этому времени также были переведены Н. Н. Панин, М. А. Сильвин и П. Н. Лепешинский. Здесь жил и окончил свои дни т. Ванеев и имело место совещание семнадцати социал-демократов-марксистов, которое высказалось против «Credo» Кусковой и Прокоповича. Последние месяцы ссылки Виктор Константинович провел в Минусинске. Прощаясь в Теси летом 1900 г. с т. Барамзиным и со мной, он усиленно приглашал меня для революционной работы на Кавказ, куда он направлялся. Он уехал в Россию веселый, бодрый, полный надежд на будущее. Но проработав

немного в Воронеже и приняв затем в течение короткого времени участие в революционной работе в Тифлисе, он был весной 1901 года снова арестован и брошен в Метехский замок, в котором просидел без малого три года. Царское правительство умело преследовать и мучить своих наиболее опасных врагов.

Сосланный в Якутскую область, в глухой отдаленный улус, в непроходимую глушь, где ему, больному, не было никакой возможности даже достать необходимые лекарства, он не угасил в себе огня борца. Он принял участие в известном протесте политических ссыльных в Якутске, вылившемся в вооруженное сопротивление царским войскам в феврале 1904 года, в доме купца Романова, где забаррикадировались ссыльные товарищи. Тов. Курнатовский был при этом одним из инициаторов протеста и самым активным участником сопротивления.

14 дней, как в осажденной крепости, продержались товарищи. Из земли, насыпанной для тепла на всех чердаках якутских домов, кирпичей, сломанных печей и поленьев дров, они построили «блиндажи» вдоль стен дома. Их пытались поджечь, дом подвергался повторному сильному обстрелу, но эти «блиндажи», в которых застревали пули, спасли жизнь осажденным: из 59 человек убитым оказался лишь один товарищ Юлий Машлахов и несколько раненых. Наконец, они принуждены были сдаться.

За это дело т. Курнатовский был осужден на каторжные работы и пробыл в Акатуе семь месяцев. В начале 1905 года он бежал с каторги и работал нелегально в читинской организации нашей партии. Это время надо считать самым блестящим и удачным в его жизни. Он проявил необычайную активность и энергию, работая среди рабочих, крестьян, казаков и возвращавшихся с русско-японской войны солдат разбитых царских армий. Являясь членом областного комитета Забайкальской области нашей партии, он работал в городах: Чите, Благовещенске и Харбине. В Чите он организовал совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов и издавал газету «Забайкальский рабочий». Он писал статьи, был редактором и успел выпустить девять номеров. Как инженер-химик он был организатором изготовления взрывчатых веществ в Чите и деятельно готовился к вооруженному восстанию против царского самодержавия. После того, как царский генерал Холщевников ответил отказом на требование читинских рабочих освободить осужденных на каторжные работы четырнадцать матросов военного судна «Прут», т. Курнатовский по поручению местной организации предпринял ответственное и опасное дело освобожде-

ния этих товарищей. Всего с семью вооруженными, решительными, готовыми на все товарищами он отправился в путь. Смелое предприятие удалось вполне. Товарищи-матросы были освобождены. Все ликовали. Ликовал и т. Курнатовский. В революцию он окунулся с головой, как в свою стихию.

Это было необыкновенное для России время. Все выше вздымались волны народного гнева. Казалось, что они скоро достигнут такой высоты, что смоют навеки царское самодержавие. К рабочим стали примыкать уже солдаты. Крестьяне начали проявлять признаки возмущения и поджигать помещичьи усадьбы.

Одним из лучших товарищей Курнатовского по работе в Чите был знаменитый рабочий кружка Ленина эпохи 1894—1895 гг. И. В. Бабушкин. Тов. Курнатовский отзывался о нем с величайшей похвалой, как об одаренном и необычайно преданном революции товарище. Тов. Бабушкин был расстрелян царскими палачами в январе 1906 года на станции Слюдянка или Мысовой, Сибирской железной дороги.

Вооруженные восстания рабочих в 1905 году в Москве и других местах России, как известно, окончились неудачно. Также неудачны они были и в Сибири. После того, как до Читы дошла печальная весть о поражении восставших мужественных рабочих Красноярска, было принято решение воздержаться на время от восстания.

В это время карательные экспедиции Ренненкампфа с востока и Меллера-Закомельского с запада двигались в Сибирь, предавая военно-полевому суду и расстреливая захваченных революционеров. Стараясь скрыться от них, Виктор Константинович направился через Иркутск на Красноярск. Все шло хорошо. Виктору Константиновичу удавалось обмануть бдительность жандармов. Он достиг уже Нижнеудинска и надеялся пробраться дальше в еще более безопасные места, но его погубила его глухота, о которой знали жандармы. Во время разговора с одним рабочим, с которым Виктор Константинович делился впечатлениями о происшедших событиях, переодетые агенты генерала Закомельского, заметив, что он глухой, арестовали его и отправили в Читу. Установив там его личность, они передали его отряду Ренненкампфа.

Военно-полевой суд приговорил Виктора Константиновича и других членов совета рабочих депутатов к смертной казни, но так как они не были арестованы с оружием в руках, суд постановил ходатайствовать о замене им смертной казни пожизненной каторгой.

В ожидании решения участи т. Курнатовского и других товарищей возили в вагоне смертников карательного поезда 17 дней. Пьяные солдаты, спаиваемые офицерами, ежедневно приводили новых арестованных и уводили на расстрел старых.

Так как т. Курнатовскому грозил тоже расстрел, молодой т. Голиков, очень привязанный к нему, предпринял шаги к его освобождению. Он переоделся гимназистом, выдал себя за родственника Курнатовского, пробрался к его вагону и, передавая бритву и другие принадлежности для бритья, предложил ему переодеться в его одежду и бежать. Сам он хотел остаться в вагоне смертников вместо него. Не желая подвести других товарищей, которых за этот побег могли расстрелять, т. Курнатовский отклонил это предложение. Через 17 дней пришло из Петербурга постановление заменить смертную казнь т. Курнатовскому и другим товарищам, членам совета рабочих депутатов, пожизненными каторжными работами.

Через 18 дней после ареста т. Курнатовский был отправлен в нерчинскую каторжную тюрьму Акатуй. Заболев дорогой и продолжая симулировать болезнь при содействии врача Зензинова, он был помещен в городскую больницу, из которой через два месяца бежал. Прожив три-четыре дня в Акатуйской тайге, где он скрывался в болотах и лесной чаще, и получив от товарищей, поддерживавших с ним связь, необходимую одежду для замены арестантской, он совершил пешком в течение двух месяцев опасный переход в 450 верст через непроходимую тайгу из Акатуя в Харбин. Оттуда он через Шанхай проехал в Японию. Там написал ряд интересных статей для владивостокской газеты, которая называлась, кажется, «Приморье». В конце-концов он перебрался из Японии в Австралию. Работая там как дровосек на лесных работах, он промок под проливным холодным дождем и простудился. Это еще более усилило его болезнь. Окончательно свалившись, совершенно разбитый недугом, он совершил длинное путешествие из Австралии сначала в Италию, а затем осенью 1911 года прибыл в Париж. Очень содействовала его приезду в этот город переписывавшаяся с ним и жившая в то время в Париже Е. И. Окулова.

Особенно много заботливости проявил по отношению к Виктору Константиновичу Ленин, живший в то время в Париже. Он сам лично разыскивал для него хороших врачей-специалистов, устраивал его в комнату, лечебницу, снабжал его средствами. Тов. Курнатовский был очень тронут таким отношением к нему со стороны Владимира Ильича и часто говорил:

— Зачем он тратит на меня свое время? К чему так заботится обо мне! Ведь я совершенный инвалид и не сегодня-завтра должен умереть.

Большую заботливость о Викторе Константиновиче проявили и его сопроцессники по якутскому романовскому делу, а также товарищи Рузер, А. П. Невзорова и другие. К этому времени он уже совершенно оглох и на другое ухо.

В 1911 году он еще мог принять участие на похоронах знаменитого революционера, марксиста Франции, Поля Лафарга. На них выступали с речами Ленин, Каутский и Колонтай. Мы вместе с Виктором Константиновичем шли за гробом П. Лафарга. Видя, как сравнительно немного рабочих пришло на похороны знаменитого пролетарского вождя, указывая на небольшое количество красных знамен и всего лишь на один жалкий оркестр, Виктор Константинович вздохнул и сказал:

— Да, всегда так во Франции, социалисты здесь никогда ничего не умели как следует организовать.

С осени 1911 года его болезнь начала усиленно прогрессировать. Подвергаясь мучительным операциям выскабливания гноя ушной полости, он дотянул до осени 1912 года, испытывая ужасные страдания от постоянной головной боли. Он осунулся, похудел, пожелтел. Только живые глаза его, искрившиеся умом, блестели, но в них отражалась ужасная, невыносимая тоска. Он умер в Париже в больнице Lariboisière от воспаления уха. Вся колония политических эмигрантов в Париже провожала его до могилы.

— Прощай, славный товарищ! — говорил я себе, уходя с кладбища. — Ты отдал всю свою жизнь до конца рабочему классу, ты до конца остался верен ему. Ты умер почти в нищете, мучеником, в страданиях, но рабочий класс России не забудет твоего имени.

Вот что писал мне в Бельгию Фридрих Вильгельмович Ленгник по поводу смерти Виктора Константиновича Курнатовского:

«Дорогой Александр Сидорович!

Получил вчера твое печальное письмо. Итак, его не стало; кончилась эта красивая, красочная жизнь, вся отданная на служение высокому идеалу. Следовало бы непременно собрать данные о его биографии — они, вероятно, есть у кого-нибудь, — снабдив их описанием отдельных наиболее выдающихся моментов его жизни, издать это вместо памятника ему.

Если б ты не был так занят борьбой за существование, то наиболее подходящим человеком для составления этой

биографии я считал бы тебя, который его больше всех других любил, знал и ценил.

16/29 сентября 1912 г.»

* * *

Время шло. Прошла чарующая взор весна. Давно настало спокойное и жаркое лето. Цвела гречиха. Села и деревни Минусинского уезда стояли пустыми. Все взрослое население, мужчины и женщины, с весны жило на полях. Дома оставались только старики и дети. Лишь те крестьяне, поля которых были расположены совсем недалеко от села, приезжали на ночевку к себе домой.

Оторванность от жизни больших городов, к которой привыкли товарищи, необходимость прозябать целые годы в сибирской глуши — все это наводило тоску на многих.

Лично я довольно долго не испытывал в Теси чувства тоски. Жизнь сибирской деревни, совершенно отличная от городской, привольный Минусинский край, величавая природа, горы с их обрывами, быстрые реки с необыкновенно прозрачной водой, степи, поля — все привлекало мое внимание, и мне долгое время было недоступно чувство тоски и хандры. Когда надоедало сидеть за книгами, я принимал предложение Н. Н. Панина совершить прогулку. Мы отправлялись в тесинскую степь, к могилам-курганам, взбирались на Егорьевскую и Еловую горы или переправлялись на острова Тубы и на противоположный обрывистый ее берег.

Веселые и бодрые, крепнувшие с каждым днем возвращались мы с Н. Н. Паниным с прогулок, и нам долгое время казались непонятными печаль и грусть, лежавшие на лицах товарищей, прибывших раньше нас в ссылку. Мы не понимали также, как можно было тосковать по любимой девушке. К любви, описываемой в романах, мы относились скептически, как к чему-то выдуманному, напоминавшему барскую блажь. Время ли заниматься всем этим суровому революционеру: может быть завтра царские палачи пошлют его на виселицу; при первой забастовке он может пасть от шальной пули казаков, — так думали мы, наблюдая атмосферу влюбленности, которой, казалось, была охвачена всецело часть товарищей. Нас смущало то, что случилось и с М. Д. Ефимовым. Значит, и рабочий может поддаться этой слабости и полюбить чуть ли не до потери рассудка. Все-таки я был далек от мысли, что нечто подобное может случиться со мной.

В себе самом с течением времени я стал все более замечать нечто новое, что началось еще в Петербурге, но в слабой

степени. У меня как будто открылись глаза, и в окружающем меня мире я стал замечать и видеть много чарующей красоты, мимо которой я проходил до сих пор, не замечая ее. Мне казалось странным, почему я, прожив в Петербурге целых 25 лет, не знал и ни от кого из окружающих меня рабочих не слыхал о существовании «красных зорь», любоваться которыми буржуазия ездила на острова. Здесь в Сибири я упивался красотой природы.

Лето уже приходило к концу. Давно окончился сенокос; на лугах стояли наметанные стога душистого сена, а на пашнях сложенные большие «клади» хлеба. Стало свежеть по утрам. Листья на деревьях пожелтели.

В это время товарищи стали раз'езжаться из Теси. Первыми уехали получившие, наконец, разрешение Старковы и Кржижановские в Минусинск. За ними Г. И. Окулова переехала в Красноярск, где ей губернатор разрешил оканчивать срок ссылки. Курнатовский нашел как инженер-химик временную работу на сахарном заводе в Абаканской волости. Лишь Е. И. Окулова оставалась пока с матерью, но и она томилась тусклой, серой, неинтересной жизнью в Шошине и ждала с нетерпением возможности снова окунуться в кипучую жизнь большого города. Окуловский дом опустел и заглох.

* * *

И вот наступила осень, но не наша сырая, дождливая, мокрая, русская осень, а южно-сибирская сухая, бодрящая с яркими зорями и холодными утренниками. Давно уже улетели на юг ласточки, стрижи, жаворонки, дикие утки и другие перелетные птицы. Ветер сорвал последние желтые и красно-желтые листья с деревьев. Трава пожелтела и посерела от ночных морозов. Земля все более твердела и звенела под ногами. От реки Тубы во всю ее длину и ширину вздымался кверху пар. На скоте, на коровах, на лошадях отросла длинная зимняя шерсть, какой я не замечал в России.

Осень, вид умирающей природы, наступившие холода отбивали всякую охоту удаляться даже за пределы села, а не только на дальние прогулки.

Оставаясь все время дома, я все сильнее начал ощущать неизвестную для меня до сих пор тяжесть одиночества, заброшенности и оторванности от живого мира.

— Купите ружье, ходите на охоту, и всякую тоску как рукой снимет, — советовал мне в Минусинске, куда я пришел пешком, чтобы повидать товарищей, т. Чекальский.

«Чекальского», как звал его т. Кржижановский, был тоже рабочий. Он был страстный охотник, и день, который он проводил не на охоте, он самым серьезным образом считал вычеркнутым из своей жизни. Весьма возможно, что он искал забвения на полях, в тайге, на склонах гор, под голубым сводом неба, чтобы заглушить скрытое горе. Он завидовал русским товарищам, к которым приезжали из России кены и невесты. Его поражало, что они решаются ехать к мужьям и женихам в Сибирь. Вспоминая свою жену, работницу из Лодзи *, приходившую к нему, на свидание в течение долгих трех лет его тюремного заключения, но которая в последнюю минуту все-таки отказалась ехать с ним в Сибирь, он говорил: «русские бабы удивительные, они, кажется, самого чорта не побоятся».

Соблазненный рассказами т. Чекальского об удовольствиях, которые ему доставляет охота, я попросил его купить мне дешевое ружье. В тот же день, когда почтарь привез мне его, я отправился на охоту.

Еще не было никаких признаков снега. Земля лежала печальная, обнаженная, черная... Заяц, сменивший летнюю темно-серую окраску на белоснежную зимнюю, стал особенно заметен. Когда он, выскочив из-под кустов, бежал по опушке леса или через поля, казалось, будто белый ком быстро катится по черной земле. Вступив на остров, я тотчас наткнулся на зайца. Оцепенев от ужаса, этот трусливый зверек сидел в густой сухой траве, всего в десяти шагах от меня. «Какая удача», — решил я, сделав в него один за другим целых три выстрела. Заряжая каждый раз ружье, я стучал прикладом о сухую мерзлую землю в полной уверенности, что заяц убит от трех выстрелов, от грома которых он даже не шелохнулся. Я шагнул в его сторону и нагнулся уже, чтобы взять его за длинные уши. Каково же было мое удивление и досада, когда заяц, встрепенувшись и насмешливо, как мне показалось, оглянувшись на меня, вскочил, сделав три больших прыжка, исчез в зарослях тальника. Побродив еще немного по острову, я вернулся в Тесь, как говорится, не солоно хлебавши.

После этого первого неудачного дня я, несмотря на все советы охотников, настолько охладел к охоте, что охотника из меня никогда не выработалось, и я брал ружье лишь

---

* Польские рабочие, сосланные в то время в Минусинский край, хотя и считали себя социал-демократами и не любили пепеэсовцев, все-таки несколько отличались от петербургских рабочих. Они приближались скорее к типу западноевропейских рабочих и сравнительно мало были знакомы с теорией социализма.

весной, как предлог в глазах «сотских» * для отлучки на дальние озера и острова.

Между тем за осенью пришла ровная, сухая, ясная, но суровая сибирская зима.

Мороз со дня на день крепчал. Над Тубой поднимался пар, и по поверхности реки неслись густой массой сначала мелкие льдинки, а затем показались и огромные льдины. Туба ломала и крошила ледяные оковы, но мороз заковывал ее, как жестокий неумолимый тюремщик, в еще более толстые цепи. Река, казалось, изнемогала в этой борьбе. Все медленнее становилось движение изломанных льдин. Все предвещало скорый неизбежный конец борьбы.

Придя однажды утром на ее берега, я увидел мертвую равнину там, где еще вчера слышались треск и шорох. Только нагроможденные друг на друга огромные льдины напоминали собой как бы покинутые баррикады и говорили о недавней борьбе. Лишь на быстрине, где поднимался столбом пар, в полынье, не замерзавшей в самый сильный мороз, метались запоздавшие с отлетом дикие утки, обреченные на неизбежную гибель.

Установился санный путь. Завыла пурга. Крестьяне поставили телеги, рыдваны и «коробки» в угол двора на долгую зиму, запрягли в сани подкованных на зиму коней. Сами они оделись в черненные сверху бараньи шубы с воротниками такого же покроя, как и озямы. Шапки они носили старого русского образца, с мягким верхом. Подпоясавшись кушаком яркого цвета, они надевали на ноги «пимы» (валенки), а на руки «мохнатки» (рукавицы с мехом внутри и снаружи). В дальнюю дорогу они надевали поверх шубы еще доху.

В это время я получил письмо от В. К. Курнатовского с извещением, что в село Курагинское прибыл новый товарищ. Я воспользовался случаем рассеять тоску одиночества, нанял лошадь и отправился в Курагинское. Новым товарищем, о котором писал т. Курнатовский, был Пантелеймон Николаевич Лепешинский. Хотя мы встретились с ним впервые, он мне обрадовался, как старому знакомому:

— А, это вы, Сидорыч, — говорил он мне, — я много слышал о вас от Фрица (Ленгника).

Из разговоров с Пантелеймоном Николаевичем я выяснил, что он тот самый бледнолицый интеллигент, ходивший в Питере к рабочим, о котором мне много рассказывал товарищ Антушевский еще до ареста. Высокий, стройный, с одухотворенным лицом он произвел на меня очень хорошее впе-

---

* Сотский — сельский полицейский, на обязанности которого лежало наблюдение за политическими ссыльными.

чатление, и мне всегда было чрезвычайно интересно и приятно встречаться с ним.

Тов Лепешинский был сослан в село Казачинское, Енисейского уезда, откуда он перевелся в с. Курагинское. Глубокой осенью, когда наступили холода и по реке уже бежали маленькие льдинки, признаки близкой «шуги», пароход, на котором он ехал, наскочил на подводные скалы порогов. Корму отрезало, как ножом. Пароход, севший на острые скалы, накренился. Пассажирами овладел ужас. Капитан и команда растерялись. Началась обычная в таких случаях паника. Но Пантелеймон Николаевич сохранил полное присутствие духа и хладнокровие и этим способствовал спасению и быстрой посадке людей, в первую очередь женщин и детей, на подоспевшие лодки крестьян из окрестных деревень. Сам он сошел одним из последних с погибавшего судна.

Эти высокие человеческие черты, присущие всем людям, но у многих заглушенные, очень характерны для Лепешинского, как для человека и коммуниста.

Знакомство с теорией революционного марксизма, приобретенное им здесь, в ссылке, под руководством такого гениального учителя, как Ленин, выработало у Пантелеймона Николаевича стойкое марксистское мировоззрение. Когда корабль революции налетал на подводные камни и мели, как это было во время империалистической войны и еще раньше в годы реакции, когда многими овладевали уныние и паника, Пантелеймон Николаевич сохранял среди немногих спокойствие и оставался верен революционному марксизму, хотя случалось, что временами он активно не работал, так как материальная необеспеченность, забота о семье отнимали у него много времени.

Его жена, Ольга Борисовна, еще в 90-х годах была рядовым членом марксистского кружка т. Чуцкаева. В ссылке в Сибири она работала как фельдшерица и вообще принуждена была отдавать очень много времени вопросу о заработке для семьи. Оказывая в течение долгой скитальческой жизни, которую она вела вместе с Пантелеймоном Николаевичем, большие услуги нашей партии, она не только не была сломлена этой суровой беспокойной жизнью, но нашла еще время и силы, чтобы заниматься и партийной работой и наукой.

П. Н. Лепешинский очень увлекался своей дочуркой, лежавшей и пищавшей в люльке. Он и его жена представляли собой настоящих заправских семьянинов. Если дочурка была здорова, не плакала, спокойно лежала, улыбаясь, на своих подушечках, улыбка счастья сияла и на лицах обоих супругов. Когда же она заболевала и начинала реветь, оба они забывали все на свете, терялись, и на Пантелеймоне Нико-

лаевиче тогда что называется лица не было. Встретившись с ним через 22 года в Москве, я нашел у них ту же обстановку, как и в Сибири: кроме их дочери у них был, по их обычаю, еще приемыш.

Вскоре, почти одновременно с т. Курнатовским, он получил возможность переехать в село Ермаковское, где принимал участие в с'езде ссыльных марксистов против «Кредо» Кусковой и Прокоповича.

Пантелеймон Николаевич любил в часы досуга играть в шахматы. Он слыл в товарищеской среде за одного из лучших шахматистов и часто сражался с Владимиром Ильичем, приезжая в село Шушенское, или играл с ним путем переписки по почте.

Свой талант карикатуриста он проявил еще в селе Курагинском. Он очень удачно изобразил В. К. Курнатовского в виде Дон-Кихота Ламанчского, спотыкнувшегося о свою собаку Дианку во время общего катанья на коньках. На карикатуре были изображены кроме Курнатовского Е. И. Окулова, т. Ковалевский и я.

Срок ссылки Пантелеймон Николаевич окончил 29-го января 1900 года, но уехать вместе с Владимиром Ильичем ему не удалось. Он вез дочурку и жену в особо-заказанном в селе Ермаковском возке. Несмотря на все предосторожности, дочурка неожиданно захворала в Минусинске, что задержало на некоторое время его от'езд.

К моему великому удовольствию я встретил Пантелеймона Николаевича на подпольной работе весной 1905 года в Екатеринославе.

Вторая встреча произошла уже в Москве через 15 лет, в 1920 году. Он уже был покрыт сединой, но производил впечатление молодого душой человека, а стойкое марксистское мировоззрение, помогшее ему оставаться верным большевизму в самые тяжелые для нашей партии годы, сделало его одним из лучших представителей нашей старой народолюбивой революционной интеллигенции; таким он остается до сих пор.

* * *

После томительно длинной зимы 1899 г. повеяло, наконец, снова живительным теплом. Озера растаяли на островах Тубы и в бору.

Ручьи со звоном бежали с гор. Лед на Тубе покрылся трещинами и полыньями и день ото дня становился все более рыхлым. Реке, в которую влилась масса растаявшей снеговой воды, сделалось как бы тесно и душно в холодных

об'ятиях льда, и по мере того, как солнце топило и разрыхляло новые массы снега, она, собрав все силы, сбрасывала его со своей груди.

— Ледоход! Ледоход на Тубе, — радостно говорил мне т. Панин, — идемте смотреть!

Я не пропускал ни одного случая полюбоваться ледоходом в Сибири и принял предложение т. Панина.

С восторгом смотрел я, как ломала и крошила Туба огромные, толстые льдины. «Так и мы, рабочие, — думал я,— в один прекрасный день, сбросим, как эта река, оковы рабства и установим новый, более счастливый строй».

* * *

С наступлением теплых солнечных дней становилось трудно усидеть в душной комнате, и я уходил с утра на острова Тубы, к озерам. С захватывающим восторгом наблюдал я, как наливаются почки на деревьях, смотрел на первую зелень на лугах, на диких гусей, уток, высоко в небе летевших на север. Возвращаясь вечером в сумерках с прогулки в Тесь, я любовался картиной горевших вдали на изломах гор палов.

Однажды вечером, вернувшись по обыкновению забрызганный грязью, я заметил у дома Ветвиновой, где я жил, остановившуюся телегу с коробком. Из нее выходил только что приехавший новый ссыльный Барамзин. Ему на вид было лет 35. Он прибыл в ссылку из Воронежа. Это был очень серьезный с виду и очень образованный интеллигент в очках с темнорыжеватой бородкой и усами. На голове его уже образовалась небольшая лысина. Жизнь, видимо, порядочно потрепала его. Ко времени своего приезда в Тесь он не представлял собой еще вполне установившегося марксиста, иногда колебался и еще разделял до известной степени народнические воззрения насчет крестьянской общины и т. д., а также не расстался еще с неверием интеллигента-народника в способность русского рабочего к революционным действиям. Приехал он в Тесь, когда там оставались лишь Н. Н. Панин и я. Мы оба сразу как-то учуяли его народнические тенденции. Особенно Н. Н. Панин, человек прямой и резкий, с первой же встречи не взлюбил его. В лице Панина выступала на первый план молодость, дерзко и смело смотревшая вперед, по пути к победам. Я, только-что разошедшийся с народничеством, относился в свою очередь с рев-

ностью прозелита к новому учению — марксизму. Всякие уклоны в сторону от него казались мне непоследовательностью и ересью. Сам Егор Васильевич здесь, видимо, впервые столкнулся в нашем лице с сознательными рабочими, представителями питерского борющегося пролетариата.

Оба мы не поняли, что Е. В. Барамзин находился тогда на распутье. Как заблудившийся в лесу, не знал он, какую из открывшихся перед ним дорог избрать. Ему, пережившему уже разочарование в людях, нужна была рука помощи. Таковую протянул ему Ф. В. Ленгник, приехавший немного позднее Барамзина в Тесь.

Еще в Минусинске товарищи Кржижановский и Невзорова произвели на него огромное впечатление как представители революционного марксизма. Ошеломленный сначала довольно суровой встречей со стороны нас, рабочих, он под влиянием товарища Ленгника стал определенно все более склоняться в сторону революционного марксизма. Окончательный переход его в нашу партию решил приезд в 1899 г. Ленина в Тесь. Ф. В. Ленгник быстро сдружился и сошелся с Е. В. Барамзиным.

Егор Васильевич обладал мягкой, художественной натурой. Он любил цветы, которых развел целый сад на огороде у своей хозяйки. Он их очень красиво раскладывал на тарелке с водой. Каждый день, приходя к нему на уроки русского языка, я находил в его тарелке все новые рисунки, совершенно иное сочетание красок цветов. Ф. В. Ленгник, вместе с ним гуляя в тесинской степи или на озерах в бору, когда гас багровый закат, пел украинские и другие песни. Сам Е. В. Барамзин любил следующую песнь «О соколе», видимо, им самим сочиненную:

Как на дубе на высоком,
Над бурливою рекой
Одиноко думу думал
Сокол ясный, молодой.
Что ты, сокол быстрокрылый,
Призадумавшись сидишь,
Что ты грустными очами
Вдаль задумчиво глядишь?
Или скучно тебе стало
На родных твоих скалах,
Или нет тебе простора
В темно-серых облаках?
И поднялся сокол ясный
К морю синему лететь,
На родимую сторонку

Он последний раз глядел.
Буря воет, гром грохочет,
Волны хлещут к облакам,
И летит мой сокол ясный,
Крылья мочит по волнам.
А на утро буря стихла,
Солнце ясное взошло,
И волною по утесам
Тело сокола несло.

Эта песнь, которую пел Барамзин вместе с Ленгником печально-грустным мотивом, мне особенно нравилась. В ней под видом ясного, смелого сокола очень верно изображалась гибель обреченного на смерть революционера. Как сокол к синему морю, так и революционер стремится к идеалу, такому же широкому, как море, и, как тот сокол, погибает в борьбе.

Егор Васильевич Барамзин, интеллигент-учитель, родился в 1867 г. По очеркам т. Невского, он еще в Казани в 1892 г. входил в кружок смешанного, переходного типа от народничества к марксизму. Таким же кружком переходного типа с марксистами, как Н. А. Ряховский, и народниками, как, например, Иван Павлович Росляков, руководил в 1897 г. в Воронеже Е. В. Барамзин. Сам Е. В. Барамзин, как этому я был лично свидетель, окончательно определился как марксист лишь в ссылке, в Минусинском уезде в 1899 г. под влиянием тт. Ленина, Курнатовского, Кржижановского, Ленгника, Старкова и других.

В 1919 г. Ф. В. Ленгник и я встретили Е. В. Барамзина в Москве седым, как лунь, и совершенно дряхлым стариком. В это время он был беспартийный, но говорил, что разделяет идейную позицию нашей партии. Умер он в 1919 г. Перед смертью, как меня уверяли, он очень жалел, что болезнь помешала ему снова вступить в нашу партию *.

Вскоре после приезда Е. В. Барамзина мое внимание привлек опять коробок, остановившийся у дома Ветвиновой. Кто-то меня спрашивал. Выйдя за ворота, я с удивлением и радостью узнал во вновь приезжем Ф. В. Ленгника. По-прежнему суровый с виду, печальный и задумчивый, он мне рассказал, что его выслали из села Казачинского и водворили на жительство в Тесь.

Хозяева дома в Теси, где он поселился, маленький крестьянин с черной бородой и его жена, высокая, хитрая баба, узнав, что его зовут Фридрих Вильгельмович, попросили перевести его имя, как они говорили, «по-нашенски», по-

* Правильность моего указания о Е. В. Барамзине подтвердили тт. Николай Николаевич Панин и Николай Андреевич Ряховский

русски, и звали его Федор Васильевич. Ленгник был добрейшим, симпатичнейшим и очень образованным, подававшим большие надежды революционером-марксистом. Читатель уже знаком с ним из второй части моих воспоминаний. По происхождению русский немец, родившийся в 1873 г. в Гробине, Курляндской губ., быв. Остзейского края, он приехал в Екатеринослав 11-летним подростком, не зная ни слова по-русски. Его дед принимал участие в германской революции в 1848 г., за что потерял место чиновника. Отец, хотя далекий от политики, едва удержался, чтобы не схватить винтовку и не перестрелять жандармов, наглость которых при обыске и аресте Фридриха Вильгельмовича его возмутила. Арест его сына, Фридриха Ленгника, долгое сидение последнего в предварилке, обвинение его в участии в революционно-марксистской партии — все это свело в могилу бедного старика, так и не дождавшегося освобождения сына.

Ленгник, научившись русскому языку в Екатеринославе, где отец его был преподавателем в реальном училище, окончил последнее с большим успехом. Но он не обособился, как большинство иностранцев, от русских, которых они обыкновенно с презрением называли «варварами и дикарями», а, наоборот, учась еще в реальном училище, сроднился с новым для него русским народом. Ему пришлись по душе мелодические, полные глубокой печали и задумчивости южнорусские народные песни. Он вошел в кружок учеников-любителей этих песен. В Питере он окончил с большим успехом Технологический институт, как инженер-технолог, и вступил там в организацию нашей партии еще студентом, но уже после ареста Владимира Ильича. Поработав в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», он был арестован в конце 1896 г. в Екатеринославской губернии, куда он приехал к родителям. Его мать была так же, как и отец, родом из Германии. Она, живя в России, хранила немецкие семейные традиции и после ареста сына, смерти мужа, оставшись еще с двумя дочерьми, очутилась в Екатеринославе в очень тяжелом материальном положении. Сам Ф. В. Ленгник в это время представлял собой очень крепкого, с черной бородой и усами, сурового по внешнему виду молодого человека. Он производил впечатление человека, занятого чем-то бесконечно более важным, возвышенным, чем та суетная мелкая жизнь, которая нас окружала в деревне. Его взор, казалось, был устремлен часто в глубь надзвездных высот, а его ум занят разрешением самых сложных мировых проблем. Будучи образованнейшим человеком, он обладал большим, чем кто-либо из всех нас, знакомством с немецкой философией. Он знал также основательно русскую и иностран-

ную литературу, увлекался «Фаустом» Гете и был чрезвычайно хорошим математиком.

С Владимиром Ильичем он познакомился лично впервые в Теси в начале лета 1899 года, во время приезда последнего сюда с Надеждой Константиновной. Но по переписке с ним по вопросам теоретического и философского характера, которыми Владимир Ильич особенно интересовался, он был с ним знаком и раньше. Заработанные деньги (он давал уроки и писал корреспонденцию) он отсылал своей матери и сестрам, которые испытывали в это время большую нужду в Екатеринославе. Я уже упоминал, что он очень любил петь украинские и великорусские народные песни. В числе последних: «Сижу за решеткой в темнице сырой» Пушкина; «Белеет парус одинокий», «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова; «Гой ты, Днепр, ты мой широкий, лейся быстрою волной» из оперы Глинки «Аскольдова могила».

Со мной он занимался ежедневно математикой, немецким языком и прочими науками и имел на меня очень большое и хорошее влияние. Когда надоедало сидеть за книгами, мы седлали маленьких, быстрых сибирских коней и уезжали на тесинскую степь, в Шошино или в Курагинское к В. К. Курнатовскому, П. Н. Лепешинскому и Ковалевскому. Проехав верст пять рысью, соскочив с седла, мы подтягивали подпруги и, вскочив на коней, снова пускались в путь, но давая пройти коням версты две шагом, чтобы их «не запалить», мы снова мчались вперед, подставляя лицо свободному ветру степи.

С приездом Ленгника в Тесь снова начались экскурсии на острова Тубы, Егорьевскую гору, в Шошино. На двух или трех подводах с приехавшими из Минусинска Кржижановским и Старковыми, из Курагинского Курнатовским мы однажды выехали на озеро, в бор. Выбрав место около группы высоких берез, белые стволы которых ярко выделялись на общем красновато-золотистом фоне стволов высоких сосен, все соскакивали шумно с телег. Березы, как уверяют местные жители «татары» *, появились в Минусинском уезде сравнительно недавно, в XVIII веке, вместе с появлением в крае русских.

Бор, где лежало озеро, представлял собой остатки дремучей тайги, покрывавшей еще не так давно всю тесинскую степь и склоны окрестных гор. Старожилы-старики показывали еще мне в Теси старые избы, срубленные из необыкновенно толстых бревен этой тайги.

---

* Остатки хакасских тюркско-монгольских племен, которых русские крестьяне всех огулом называли «татарами».

Безжалостный топор крестьянина, дикое распоряжение минусинского исправника лет 100—120 назад вырубить тесинскую тайгу — все это привело к тому, что ряд волостей вместе с городом Минусинском совершенно лишены леса. Тайга лежит от здешних мест на расстоянии ста и больше верст, в верховьях Енисея, Тубы и ее притоков. Каждое лето сверху из тайги сплавляются плоты леса для постройки барж, для сплава вниз в Красноярск, Енисейск и на прииски северной тайги пшеничной, ржаной и другой муки.

Огромное количество грибов, черной смородины и малины, брусники, клюквы, земляники растет по склонам гор и в долинах Казыря, Кизиря, Амыла и т. д. Медведь, бродя по тайге, лакомится малиной, сжимая лапами красный от множества ягод весь куст и обсасывая сочные сладкие ягоды. Крестьяне добывают в тайге местное лакомство — кедровые орехи, пихтовую смолу, а весной болотное луковичное растение «черемшу». Она издает очень острый запах, подобный чесноку. Как только появляются возы этого растения по деревням и раздается крик продавцов «черемша, черемша», все минусинское население бросается покупать ее и обедается ею. В эти дни совершенно невозможно ни к кому из сибиряков прийти в дом от необыкновенно вонючего запаха, распространяемого этим растением. Чтобы не чувствовать его, надо самому поесть черемши. В тайге на золотых приисках она считается лучшим средством от цынги. Весной приисковые рабочие, обессиленные за зиму этой болезнью, выползают прямо на болото, где она растет, и быстро излечиваются, питаясь ею. Пихтовая смола «сера», которую жуют здесь все, является превосходным дезинфицирующим средством для зубов.

Но в бору, за Иней, в озере уже не растет ни кедров, ни лиственниц, ни пихт, и вековые сосны в два обхвата насчитывались единицами. Грибов, ягод встречается значительно меньше. Медведь сюда уже не заглядывает. Можно еще встретить волка, но чрезвычайно редко, ибо он прячется в лесной чаще, избегая встреч с человеком.

Все-таки этот бор был достаточно велик, чтобы доставить нам огромное удовольствие от пребывания под тенью его вечно зеленых ветвей. Воздух в нем был напоен смолистым ароматом хвои.

Тотчас по приезде все любители охоты, схватив двустволки, исчезали в лесной чаще, в поисках куропаток, тетеревов, зайцев, уток и т. д. Я, не питая особой склонности к охоте, сравнительно редко уходил с ними и чаще всего оставался с лошадьми, распрягая их, собирая сучья и валеж-

ник для костра, а часа через два вел коней к озеру поить, давать им корм, прислушиваясь к голосам и жизни леса.

Вернувшись с охоты, товарищи начинали обыкновенно петь хором революционные и другие песни. С наступлением сумерек они опять брали двустволки и стреляли в возвращавшихся на ночлег на озеро уток. С характерным свистом, вытянув шеи и поджав лапки, низко летели птицы, не подозревая опасности, но вот раздаются выстрелы. Большинство уток благополучно избегало опасности и исчезало в зарослях тростников, но некоторые из них, настигнутые зарядом, грузно перевернувшись несколько раз в воздухе, с шумом падали или в воду или на берег. Еще теплые, красивые их тела приносил Фингал, получая в награду лапки.

До наступления вечера мы разводили огромный костер и кипятили чай из озерной воды, пахнувшей болотом. Быстро тускнела вечерняя заря, сгущались сумерки и надвигалась темная ночь. Сквозь густые ветви сосен и берез сверху смотрели на нас звезды.

Обыкновенно товарищи засыпали не сразу, ежась от вечернего холода. Они говорили о новых открытиях и завоеваниях науки, о будущем русского и международного рабочего движения, о грядущей, великой русской революции. Величие окружавшей нас природы настраивало их на торжественный лад. Они говорили, что они любят рабочий класс и никогда не изменят ему. Когда, наконец, настанет революция, которую они ждут с таким нетерпением, которую совершит рабочий класс и которая может быть жестокой и кровавой, они останутся в рядах рабочего класса, разделят его судьбу и победят вместе с ним или погибнут в борьбе, на виселицах или в ледяных пустынях в Сибири.

— О, мы побываем еще в Якутской области у полярного круга, — восклицал В. В. Старков.

— Свобода не дается, а берется, — повторял свою любимую фразу В. К. Курнатовский.

— Самая лучшая смерть для революционера-марксиста, — добавлял Е. В. Барамзин, — это смерть от царской веревки.

— Когда настанет, наконец, революция, на первом фонаре мы повесим царя Николая II и его министров, — произносил мрачно Ф. В. Ленгник.

Но мало-помалу затихали их голоса. Они засыпали. А ночь чудная, таинственная спускалась на землю. Тишина и мрак все более охватывали густой лес, широкое озеро и тростники. С усилием, как казалось, боролся огонь костра

с охватывавшей его со всех сторон, как вражеской темной силой, надвигавшейся ночью. По мере того, как замолкали, засыпая, товарищи, я опять прислушивался к звукам леса. Давно смолкла выпь, крик которой раздавался из-за озера, как из глухой трубы. Замолкали кукушка, скворцы, дрозды, синички. Но в сумерках и даже ночью неслышно прорезали светлую полосу от костра летучие мыши, совы и другие ночные птицы. Молчаливо освещенная пламенем костра глядела на нас черная гладь озера. Внезапно крякала проснувшаяся утка в тростниках. Слышался всплеск большой рыбы. Спугнутая светом костра, торопливо прыгала с дерева на дерево белка, мелькая в воздухе своим пушистым хвостом. Когда тишина ночи охватывала все, когда все погружалось в безмолвие, я вдруг вздрагивал от совершенно неожиданно раздававшегося резкого жалобного крика зайца или какого-нибудь другого зверька, попавшего в лапы хищника. Ежась от наступившего ночного холода, я подбрасывал кучу сухих смолистых сучьев и веток сосны в костер. Быстро вспыхивало опять пламя, и окрестные деревья принимали в колеблющемся освещении фантастические формы. На миг выглядывали из освещенного пространства головы лошадей, фыркавших и жевавших сено. Вспыхнувшее на миг пламя озаряло товарищей, спавших вповалку вокруг костра. И опять погружалось все во мрак, сон, пока опять какой-нибудь резкий крик в лесу не заставлял настораживаться. Уже к утру, когда доносилось глухое пение последних петухов из далекой отсюда деревни, я засыпал, да и то не надолго. Я просыпался от резкого утреннего холода. Большая Медведица стояла, опустив свой хвост вниз. Тускнели звезды. Серело в воздухе. Все предвещало наступление утра. Начинал шуметь тростник от налетевшего вдруг ветерка. Зашевелились, заколебались, как бы затрепетали от радости при наступлении ясного утра листья березы. А восток начинал алеть, и загоралась прекрасным светом утренняя звезда. Закуковала кукушка. Закричала опять глухо и протяжно выпь. Запрыгали белки по вершинам сосен. Туман над озером уходил в высь. Утки стаями вздымались из тростников и улетали на маленькие озерца, ручьи и на поля. Ежась от холода, просыпались товарищи. Мы с Н. Н. Паниным вели поить на озеро коней, запрягали их, завязывали вожжи татарским узлом и всей гурьбой возвращались обратно в Тесь.

Последний год ссылки Ф. В. Ленгник прожил на Сибирской железной дороге, куда перебрался, как инженер-железнодорожник. Приехав в Красноярск по окончании ссылки в 1901 г., он вместе со мной вернулся в Россию, в Петербург.

ЗНАКОМСТВО С ВЛАДИМИРОМ ИЛЬИЧЕМ

Хотя я и работал в Петербурге с 1895 г. по 1896 г. в организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», основание которому было заложено еще Владимиром Ильичем, но лично с ним на революционной работе в те годы мне встречаться не приходилось. Даже о существовании его благодаря условиям подпольной работы я узнал лишь дорогой в Сибирь и в Теси из рассказов о нем товарищей.

— Эх, что-то скажет по этому поводу наш «старик»! — восклицал обыкновенно в пути М. А. Сильвин, когда возникал какой-нибудь трудный теоретический спор.

— Да, наш Владимир Ильич работяга,—говорил В. В. Старков, слушая в Теси рассказы товарищей о необыкновенной работоспособности и трудолюбии Владимира Ильича, которые он проявлял и которыми он удивлял всех еще в то время.

— Ну, поверь мне, — не раз слышал я, как говорил Г. М. Кржижановский, обращаясь к своему другу В. В. Старкову, — поверь, что заткнет Владимир Ильич за пояс самого Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода!

— Владимир Ильич Ульянов, о, это министр по уму, — таков отзыв о Владимире Ильиче одного из столпов самодержавия, по словам К. К. Бауэра.

Уже этих отзывов было вполне достаточно, чтобы составить заранее представление о Владимире Ильиче, как о человеке на целую голову выше других.

Познакомился я с Владимиром Ильичем в конце декабря 1898 г. на рождественских праздниках в Минусинске. Политические ссыльные-марксисты с'ехались в Минусинск по инициативе Владимира Ильича для обсуждения вопроса об основании товарищеской кассы взаимопомощи.

Еще за неделю до этого события тесинский крестьянин, возвратившись с базара из Минусинска, привез в Тесь Н. Н. Панину и мне письмо от З. П. Невзоровой с приглашением приехать в Минусинск к ним в гости на рождественские праздники.

Н. Н. Панин успел уехать в Минусинск вместе с хозяином-бондарем, и так как на его розвальнях, перегруженных до пределов возможного новыми кедровыми бочками, кадками, боченками, ведрами и т. д., не нашлось для меня места, то я принужден был, наняв «Голубка», запрячь его в санки и выехать рано поутру уже один.

Стоял сибирский мороз градусов сорок. Несмотря на то, что я был одет в овчинную короткую шубу с воротником,

татарскую шапку с мехом внутри, валенки и рукавицы с мехом внутри, я порядочно промерз, «заколел», как говорят сибиряки, едва успев выехать в степь, за Тесь. Вообще же в Минусинском крае 30-градусный мороз благодаря сухому горному климату переносился легче, чем 10-градусный в сыром Петербурге.

Мороз так пронизывал меня, что я, чтобы не замерзнуть, принужден был время-от-времени выскакивать из санок и припрыжку бежать рядом с ними, пока не уставал. Дыхание вырывалось у меня изо рта в виде длинной белой струи пара, как-будто из паровоза. Борода и усы быстро превратились в сплошной кусок льда. «Голубка» я принужден был несколько раз останавливать, чтобы он не задохнулся, и выковыривать у него из «норок», ноздрей, куски льда, образовавшиеся на таком морозе.

Невольно вспомнил я письмо товарища Косолобова из Вилюйска, Якутской области.

«Якут, — писал он мне, — тогда лишь говорит, что мороз хорош, когда, выйдя из юрты и плюнув, он замечает, что его плевок падает на землю в виде кусочка льда».

Поднявшись по крутому под'ему на вершину горы Тараски, я, остановив «Голубка» и прочистив «норки», несмотря на холод, залюбовался развернувшейся передо мной картиной. Горы и низины, деревья и кусты, ветки деревьев, одним словом, вся земля, как невеста, была одета в белую одежду. При блеске проглянувшего зимнего солнца все, в особенности деревья, покрытые инеем, вдруг засияло, засверкало, будто унизанное бриллиантами. Хорошо на таком морозе. Силы крепнут. Лицо загорается румянцем, дышится легко.

Уже надвигались сумерки, когда я прибыл в Минусинск и, распрягши «Голубка» и поставив его выстаиваться в сарай, поднялся в квартиру во втором этаже, где жили Кржижановские и Старковы.

В клубах белого пара, который ворвался вслед за мной в теплую комнату, среди собравшихся товарищей, я сразу заметил Владимира Ильича. Хотя я его видел в первый раз, я его тотчас узнал по известной фотографии, на которой он снят по выходе из предварилки с Ванеевым, Кржижановским, Мартовым, Запорожцем, Старковым и Мальченко и которая в Теси всегда стояла на столе у Г. М. Кржижановского.

Владимиру Ильичу исполнилось уже 28 лет. Он был полон сил и жизни. Наружностью он походил на молодого крестьянина. Лицо у него было простое, мужицкое, русское. Но глаза его сразу обличали необыкновенного человека. Они

сияли умом. На губах играла характерная для него усмешка. Он производил впечатление человека, любящего не фразы, а дело, у которого интеллект господствует над чувством.

Засмотревшись на него, я совершенно забыл плотно захлопнуть двери, и белый пар и холод наполняли комнату.

— Да закрывайте, наконец, дверь, Сидорыч! Экий вы мямля! Дверей затворить не можете. Батюшки, холоду-то напустил. Да снимайте ваш полушубок, шапку и рукавицы. Знакомьтесь с Владимиром Ильичем и садитесь обедать. Экий вы, право, — кричала на меня Зинаида Павловна, которая представляла полную противоположность со своей приятельницей Надеждой Константиновной Крупской. В то время как последняя, бледная и скромная, чаще всего сидела молчаливо или тихо с кем-нибудь беседовала, первая, краснощекая, неугомонная, не могла спокойно усидеть на месте. Силы у нее переливали по жилкам, не находя приложения в сибирской глуши. Казалось, они клокотали в ней, как в паровом котле клокочат вода и пар, грозя взорвать котел. Срываясь поминутно с места, она говорила громче всех и мелькала повсюду.

И теперь, видя, что с окоченелыми руками очень мешкотно закрываю двери, она, нетерпеливо оттолкнув меня от двери, ловко и быстро захлопнув ее, громко закричала:

— Экий медведь, право, этот Сидорыч. Да идите же к столу. Мы еще не обедали, поджидая вас.

Владимир Ильич сидел в центре за столом, потирая руки и лукаво щуря глаз, наблюдал эту сцену.

— Мне много о вас рассказывали, — сказал он, когда я познакомился с ним, — и Глеб и Зинаида Павловна.

Несмотря на единогласные отзывы о Владимире Ильиче, как о бесспорно самом выдающемся из всех известных нам в то время товарищей, никто из нас не мог предполагать той огромной роли, которую суждено было ему сыграть в русской и мировой революции, как никто не мог предвидеть такого быстрого и успешного хода русской революции.

Когда я думаю о Владимире Ильиче, у меня всегда является вопрос, что толкнуло его к революции. Он окончил гимназию, как юноша с исключительными способностями, как подающий большие надежды в будущем. Характерно, что гимназическое начальство дает ему высшую отметку за поведение. Очевидно в это время он был еще далек от мысли о революционной деятельности. Но в этом году трагически гибнет его брат Александр Ильич — народоволец, уже интересовавшийся марксизмом, изучавший его и посещавший в Питере рабочий кружок в Галерной гавани.

Выстрадав гибель брата, Владимир Ильич изучает марксизм, как единственное учение, которое дает надежду свалить не только ненавистный ему царизм, но и капитализм, воплощая учение Маркса в жизнь своей кипучей революционной деятельностью. Г. В. Плеханов, основоположник марксизма в России, не сумевший довести дело революционного марксизма до конца, говорил, что в России революционное движение восторжествует лишь как рабочее движение или совсем не восторжествует.

В декабре 1887 г. Владимира Ильича исключают из Казанского университета за участие в студенческих волнениях и высылают в деревню Кокушкино, Казанской губернии. Находясь в сношениях с кружком студентов, в том числе с Федосеевым, он, как известно, зимой 1887—1888 г. усиленно изучает произведения К. Маркса. Полиция, преследуя его, не дает ему ни поступить обратно в Казанский университет, ни сдать там экзамен и не выпускает его за границу. В 1891 г. он сдает экзамен экстерном в Петербургском университете. В 1893 г. он состоит членом группы марксистов в Самаре. В 1894 году вступает в петербургскую «Центральную группу» для руководства рабочим движением, работает в рабочем кружке в Галерной гавани и пишет свой первый труд: «Что такое «друзья народа»?.

Привожу заключительные слова из этой брошюры Ленина, найденной мной в 1922 году в архиве русской революции в редакции «Форвертса» в Берлине, написанные в 1894 г. и представляющие исключительный интерес.

«На класс рабочих и обращают социал-демократы все свое внимание и всю свою деятельность. Когда передовые представители его усвоят идею научного социализма, идею исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат рядом с пролетариатом всех стран прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции».

Эти заключительные слова явились безусловно пророческими для русской революции. В них уже в 1894 г. он определяет роль русского рабочего класса, как гегемона в революции. Они также доказывают, насколько Владимир Ильич овладел уже тогда марксистским методом, умея применять его к конкретной русской действительности того

времени. Уже тогда он говорил о коммунистической революции.

Несмотря на то, что я находился в ссылке с самыми близкими соратниками и учениками Владимира Ильича, которые должны были знать и читать это его произведение, я совершенно не помню, чтобы кто-нибудь из них, В. В. Старков или Г. М. Кржижановский, или З. П. Невзорова, или, наконец, М. А. Сильвин, говорили о нем и делали соответствующие выводы. Сам Владимир Ильич, начертавший путь, по которому должна была пойти наша революция, точно так же наверно не мог предполагать таких быстрых успехов революции под его руководством.

Основные черты его характера: огромную любовь к рабочему классу, непримиримую ненависть к царизму и буржуазии, выдающиеся способности, намекавшие уже тогда на гениальность, необыкновенное упорство, настойчивость в работе, трудоспособность, скромность и простоту, можно было заметить у него тогда в Сибири, в ссылке. Еще в ссылке в селе Шушенском, получая газеты кипами два раза в неделю, он не набрасывался на них, как Кржижановский, Старков и Невзорова, и не пожирал их все сразу в один день, а откладывал по одной на каждый день, прочитывая лишь тот номер, который приходился ему в этот день на очередь. Эта черта его характера в соединении с громадной силой воли, настойчивостью, с огромными природными способностями, дала ему возможность преодолеть ту титаническую работу, которую он совершил и свидетелями которой мы были. Еще в Сибири Владимир Ильич давал всем нам пример работоспособности. Единственным человеком в ссылке, который не ныл, который вполне использовал все время ссылки в интересах русской революции, был Владимир Ильич.

Никто также не умел себя держать так просто и сердечно с рабочими и внушать им такое доверие к себе, как к вождю рабочих, как он.

Но все эти черты вождя и борца проявлялись в нем более ярко во время гигантской борьбы, которую он взял на себя и выносил в течение трех десятков лет. Он, конечно, не родился с ними, а приобрел их долгой борьбой. Гениальность каждого выдающегося человека обычно слагается из трех-четырех десятых прирожденных способностей и шести-семи десятых упорства и настойчивости в достижении намеченных целей.

Поэтому было бы ошибкой сделать поспешный вывод, что и тогда, 34 года назад, он обладал всеми теми достоинствами и качествами, что и позднее, в расцвете своей дея-

тельности. Во всяком случае, придя раз к нему много лет спустя в Париже на rue Marie-Rose, 4, в 1912 г., накануне его от'езда в Галицию, я был поражен той переменой, какая, как мне показалось, произошла в нем за эти годы. Когда зашел тогда разговор о меньшевиках-ликвидаторах, об эсерах — этих скрытых врагах рабочего класса и революции, — Владимир Ильич вдруг весь встрепенулся, как орел перед битвой. Он забегал по комнате. Смотря на него, на его грудь, которую он, будучи по-домашнему без пиджака, выставил вперед, как бы приготовясь встретить удары социал-предателя, на мускулы его рук, проступавших сквозь материю рубашки, на его походку, на выражение его лица, слушая его речь, в которой сказывалась твердая воля, непреодолимое желание довести борьбу до конца, — невольно я думал: «Как изменился за эти годы Владимир Ильич, как вырос. Это необыкновенный человек. Это богатырь. Скала из гранита, о которую разбиваются все попытки врагов рабочего класса, как разбиваются об утесы морские волны. Это человек из железа».

Такой же приблизительно отзыв о Владимире Ильиче дал эсер профессор Агафонов. Это было весной 1917 г. после мартовской революции в России. Французское правительство проявило тогда упорное нежелание выпустить рвавшихся в Россию политических эмигрантов. Отправившись к министру французского правительства Альберу Тома на переговоры по этому поводу, Агафонов между прочим сказал: «Вы не выпускаете нас, политических эмигрантов, вы боитесь, что мы будем против войны и что мы повлияем в нежелательном для вас направлении на ход войны. Но что значим мы, политические эмигранты, все вместе взятые, по сравнению с Лениным? Он безусловно будет против войны, и вы его ничем не удержите, никакими запрещениями, никакими препятствиями. Он проедет в Россию против вашей воли, несмотря ни на что. Это человек из железа». Таким был Владимир Ильич накануне Октябрьской революции по отзыву представителя враждебной нам, большевикам, партии.

В тот день в Сибири, в Минусинске, у Кржижановских, знакомясь с новыми товарищами, Владимир Ильич принял участие в обсуждении вопроса об организации товарищеской кассы взаимопомощи. Все товарищи, имевшие, кроме казенного пособия, побочные заработки, были обложены особым процентом отчисления в пользу кассы. Присутствовали на этом собрании, насколько я помню: Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, А. М. Старкова, З. П. Невзорова,

Н. К. Крупская, В. И. Ленин, В. К. Курнатовский, Н. Н. Панин, М. Д. Ефимов, Оскар Энгберг и я.

Владимир Ильич подолгу разговоривал с каждым из рабочих и вообще с каждым новым товарищем, очевидно, изучая их удельный вес в будущей революционной деятельности. Любопытно, что у всех нас, особенно у меня, осталось с того времени большое доверие к нему, как к вождю партии.

Выслушав рассказ о моем революционном прошлом, узнав из него, что я принимал участие в подпольной народовольческой типографии, Владимир Ильич заинтересовался вопросом об устройстве наиболее идеального типа подпольного типографского станка, который обладал бы максимальной производительностью и в то же время был бы легок для переноски, мал размерами и удобен для прятания. И он одобрил тип типографского станка, разработанный Г. Е. Тулуповым, и забраковал мой собственный проект, не поскупившись по своему обыкновению на резкие выражения. Присутствовавшая при этом Зинаида Павловна выразила это словами:

— Больно уж вы фантазируете, Сидорыч.

Типографский станок, изобретенный и построенный из железа Г. Е. Тулуповым, был действительно единственным в своем роде. Даже жандармский полковник Шмаков, ненавидевший рабочих, говорил, что Г. Е. Тулупов, его строитель, был одаренной личностью.

Владимир Ильич оказался хорошим охотником. В этот свой приезд в Минусинск он принимал также участие вместе с другими товарищами, к которым присоединилась и Зинаида Павловна, не желавшая отставать от компании, в охоте. Он проявил также большое искусство в катаньи на коньках на «наледи» *.

Вечером устроен был шахматный турнир, и Владимир Ильич, лукаво посматривая на своих обоих противников и предоставив им шахматную доску, играл на память со своей обычной усмешкой, и давал им часто мат.

Вообще, за что ни брался Владимир Ильич, шел ли он на охоту, катался ли на коньках, играл ли в шахматы, правил ли лошадьми — все он делал умело, обстоятельно и все у него спорилось.

Я слишком мало знал Владимира Ильича, чтобы правильно судить о нем. Если в то время я вообще преклонялся перед личностью интеллигента-революционера, то тем более

---

* Наледь — вода, выступившая на реке сквозь трещины льда, замерзшая в виде гладкой поверхности по реке Енисею и его притокам

перед Владимиром Ильичем. Здесь я передал лишь те впечатления, может быть и ошибочные, которые я вынес из знакомства с ним.

ПРИЕЗД ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА В ТЕСЬ

В ссылке, когда особенно сильно начинала чувствоваться оторванность от всего живого мира, у каждого возникало сильное желание получить весточку от того или другого товарища. Обыкновенно еще с вечера накануне я начинал думать: «что-то принесет завтрашняя почта», приходившая дважды в неделю. Обычно ночью мне снился почтарь, погонявший ямщика с кошовкой, доверху наваленной письмами. Проснувшись рано, я выходил на улицу. Обыкновенно только что начинало светать, тускнели и гасли звезды. Томимый жаждой писем, я с нетерпением ждал приезда почтаря. Заслышав его колокольчик, спешил в волость.

Однажды утром летом 1899 года почта запоздала, и я уже второй раз прибегал в волость. Почтарь, тот самый крестьянин из деревни Кочергино, о котором я уже упоминал, сидел за столом и откладывал казенные пакеты от частных писем с видом человека, которому до тошноты надоело это занятие. На мой вопрос, нет ли нам писем, он устало ответил:

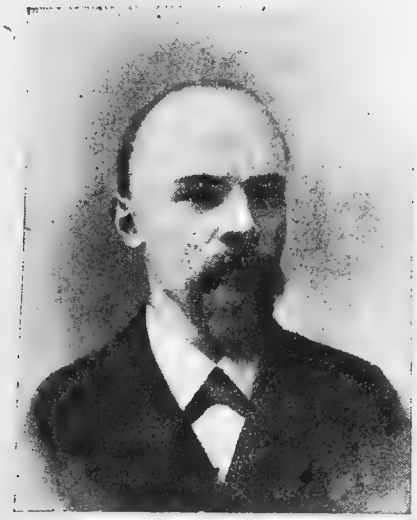
— Да, ничаво нет, ни для тебя, Ликсандр Сидорыч, ни для твоих товарищев.

Видя, что я повернулся, чтобы уходить, он добавил:

— Да пошто ты, однако, уходишь, пошто так торопишься? Сял бы рядом со мной да покалякал, каки-таки у вас, сицилистов, новости.

Хотя я очень любил беседовать с крестьянами, но сообщение почтаря, что писем нет, так тяжело на меня подействовало, что мне было совсем не до разговора с ним. Попрощавшись, я вышел из волости, прошел мимо «каталажки» и начал было спускаться по скрипучим ступенькам крыльца волости.

Стояло чудное летнее утро. Избы, волостная площадь, церковь посредине ее — все тонуло в золотистых лучах солнца. Высоко в синем небе в погоне за мошками летали ласточки и стрижи. Над лежащими за селом полями, захлебываясь от радости жизни, пели в воздухе жаворонки. Доносился аромат степных трав. Я невольно задержался на



Социал демократы в 1898 г. Вверху слева направо: В. И. Ленин и Н. К. Крупская, в середине слева направо: Г. М. Кржижановский и Ф. В. Ленгник, внизу слева направо: В. К. Курнатовский и А. А. Ванеев.

крыльце волости. Мое внимание вдруг привлекла к себе одноколка, показавшаяся из-за угла улицы, ехавшая мимо заплотов, богадельни и волости. Кто бы это мог быть?

Седоки — мужчина и женщина — не могли быть крестьянами. Оба были одеты в городской костюм. А молодая женщина с миловидным бледным лицом носила на голове даже городскую шляпу. «Не новые ли это ссыльные?» — явилась у меня мысль, но всмотревшись внимательнее в них, я торопливо побежал навстречу одноколке. В седоке я, к своей радости, узнал Владимира Ильича, а в его спутнице Надежду Константиновну.

Очень часто товарищи своим неумением управлять лошадьми вызывали со стороны крестьян улыбки.

Нечто подобное я ожидал встретить и по отношению Владимира Ильича со стороны крестьян, но при виде того, как он умело правит лошадью, должен был приятно разочароваться.

Первой меня узнала Надежда Константиновна.

— Володя, — услыхал я, — ведь это Александр Сидорыч.

У Надежды Константиновны было необыкновенно милое, симпатичное лицо, которое делалось еще привлекательнее, когда она улыбалась.

— Здравствуйте, Александр Сидорович. Как хорошо, что мы вас встретили. Куда это вы?

— Едемте ко мне, — сказал я. — Во-первых, это в двух шагах отсюда, во-вторых, у меня хозяйка свой человек и лошадь у меня уже не украдут и, наконец, Фридрих Вильгельмович и Егор Васильевич ушли еще вчера с вечера на охоту и вернутся вечером.

Я жил в это время у крестьянки Ветвиновой на другом конце той же площади, где находилась волость.

Переехав наискось площадь, я ввел Владимира Ильича и Надежду Константиновну в свою комнату, указал им воду для умыванья, чистое полотенце, заказал чаю и «шаньги», а сам вышел распрягать коня. Привязав его в углу двора выстаиваться и откатив одноколку в сторону, чтобы не мешала на дворе, я сбегал в квартиры товарищей Ленгника и Барамзина и оставил у каждого в комнате по записке с извещением о приезде Владимира Ильича и Надежды Константиновны.

Когда я вернулся в свою комнату, хозяйка уже вносила кипящий самовар и большое блюдо с только что испеченными горячими румяными «шаньгами». Владимир Ильич и Надежда Константиновна, умывшись с дороги, сидели перед столом и рассматривали мои книги и тетрадь, в которую я вносил свои заметки, выдержки из прочитанных книг, ци-

таты, цифровой материал и прочее. В той же тетради было переписано множество революционных гимнов и стихотворений наших русских поэтов.

Заваривая кирпичный чай, настолько твердый, что его приходилось крошить предварительно большим ножом и даже топором, я заметил, что на лице Владимира Ильича показалась обычная улыбка удовольствия, когда он увидел у меня первый том «Капитала» Карла Маркса, «Происхождение семьи, собственности и государства» Ф. Энгельса, «К развитию монистического взгляда на историю» Бельтова (Плеханова) и др., которые я читал и перечитывал.

Просматривая мою тетрадь и наткнувшись в ней на стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая...», он вдруг сказал:

— Как, и это стихотворение у вас записано? — в его голосе слышался оттенок удивления и легкой иронии.

— А это что? — переспросил он вдруг, указывая на другую тетрадь, где был переписан от руки «Манифест коммунистической партии». — Это вы сами переписали? Откуда достали перевод?

— Нет, не я, — ответил я. — Это перевод Старкова и его жены.

— Вот как! Это интересно, — сказал Владимир Ильич.

— Володя, Водоля, — произнесла Надежда Константиновна, — смотри, Александр Сидорович немецким языком занимается, даже «Neue Zeit» читает. Скажите, — обратилась она ко мне, — ведь вы часто в немецко-русский словарь заглядываете?

— Нет, — ответил я, движимый каким-то ложным стыдом, мешавшим мне сознаться, что немецкий язык мне дается с чрезвычайным трудом и что, если я и читал «Neue Zeit», то почти не выпуская из рук немецко-русского словаря. И я сказал неправду, — нет, не часто. При этом мне сделалось так совестно, что краска стыда залила мне лицо. Я покраснел до ушей.

— А я, — ответил в свою очередь Владимир Ильич просто, но с оттенком грусти, — я так часто прибегаю к помощи словаря.

От этих слов, в которых сказалась свойственная Владимиру Ильичу его необыкновенная скромность, я еще больше смешался и покраснел. Я желал бы провалиться сквозь землю. К счастью для меня вошла хозяйка и вслед за ней только что вернувшиеся из поездки на озера тт. Ленгник и Барамзин.

Мы направились к Егору Васильевичу Барамзину, у которого комната была больше и изолированнее от посторон-

них ушей и вообще удобнее для разговора. В то время и в ссылке нужно было прилагать все старания, чтобы речь революционера не доходила до ушей жандармов.

Оживленный обмен мнений, начавшийся у Владимира Ильича с Ф. В. Ленгником и Е. В. Барамзиным, продолжался все три дня, до самого от'езда Владимира Ильича в село Шушенское.

Поговорить, конечно, было о чем. Лично я, перейдя на сторону марксизма, все же не представлял себе, что и в самой среде последнего могут появиться течения, такие же чуждые пролетариату и ошибочные, как и народовольчество.

Хотя германская социал-демократическая рабочая партия и в то время оставалась верна марксизму и являлась как бы носителем его и примером для подражания нам, русским марксистам, тем не менее там, на родине марксизма, появилось в это время направление, известное под именем бернштейнианства.

Правда, большинство германских социал-демократов высказалось тогда резко против Бернштейна и его поправок к марксизму, осудив таким образом это ревизионистское течение. Но обольщенная ложной надеждой захватить политическую власть в стране мирным путем, посредством парламентского большинства, и вытекавшей отсюда погоней за голосами на выборах в рейхстаг, она совершила ошибку, оставив Бернштейна и его единомышленников в рядах марксистской партии. Вследствие этого постепенно бернштейнианство раз'ело партию и фактически сделалось господствующим течением, несмотря на революционную фразеологию. В момент об'явления империалистической войны оно превратило германскую социал-демократию в передовой отряд буржуазии, прихвостнем которой она остается и в настоящее время.

Та часть русской буржуазно-либеральной интеллигенции, которая хотя и называла себя социалистической, но на деле лишь представляла собою наших временных попутчиков, тотчас почувствовала у себя родственные связи с бернштейнианством.

Кроме того часть русских марксистов в борьбе с народовольчеством, противополагая его учению о роли личности в истории марксистское материалистическое понимание истории, говоря совершенно справедливо, что «не сознание определяет бытие, а, наоборот, бытие определяет сознание», заходила в этом отношении слишком далеко, перегибая палку в противоположную сторону, и сводила часто на-нет ту творческую роль и отдельной личности и коллектива лично-

стей — партии, на которой, собственно, зиждется партийная работа.

Часть марксистов к тому времени страдала до известной степени фатализмом и преклонением перед стихийностью. Во всем этом сказалась склонность многих наших товарищей интеллигентов мыслить не диалектически, а метафизически и предпочитать отвлеченную истину конкретной.

Немудрено, что исключительно экономическая агитация листовками, которая являлась лишь временным подходом к рабочим, после ареста Владимира Ильича стала выливаться в опасное для революции течение.

Сам Владимир Ильич, как свидетельствуют Шелгунов и статьи в нелегальных газетах: «С.-Петербургский рабочий листок», «Рабочая газета», осенью 1897 года всегда высказывался против увлечения одной экономикой и говорил о необходимости выдвижения и политических требований.

Самое опасное в партии — создание традиций самоограничения марксистов. Быстро эти последние освящаются временем и становятся тем тормозом, который губит все дело революционной борьбы пролетариата. Печальным примером служит нам некогда грозная для буржуазии германская социал-демократия.

Большой заслугой Владимира Ильича надо считать, что он первый понял и сумел убедить в этом товарищей, что теорию самоограничения марксизма надо раздавить в самом начале, не дав ей развиться и превратиться в опасную традицию партии.

Конечно, удивительная тактика нашей партии, умение разбираться в конкретной действительности, умение во-время дать сигнал к наступлению и отступлению приобретены были нашей партией и главным образом самим Владимиром Ильичем в результате глубокого изучения международного опыта пролетарской классовой борьбы. Затем наша партия с самого начала была вооружена таким превосходным оружием, каким является теория революционного марксизма, и умела ее претворять, внедрять в жизнь.

Мы брали то, что было достойно подражания. То отрицательное влияние, которое шло к нам из Германии, как: нейтральность профсоюзов, нейтральное отношение к религии, иллюзии, что можно мирным путем, через парламентское большинство, перейти к социализму в стране, где царит кайзер, юнкера, милитаризм, полицейщина, чем страдала германская социал-демократия, — всего этого мы сумели избежать, усвоив сильные ее стороны.

Но в 90-х годах никто не знал, как пойдет развитие нашей революции: по французскому пути или по германскому.

Никто и во сне не представлял себе того поистине сказочного шествия от победы к победе, от успехов к еще большему успеху нашей революции и роли в ней рабочего класса и нашей партии.

Особенно никто не предполагал, что мы не только догоним, а и перегоним германское рабочее движение.

От очень многих, очень ученых товарищей в 1898 г. я слышал, что очень хорошо было бы, если бы мы при ограниченной русской монархии достигнем таких успехов, каких достигла к этому времени германская социал-демократия.

Владимир Ильич понял тогда, что и в ссылке пришла пора действовать, подбирать товарищей для грядущей недалекой уже борьбы. Действительно, оставалось немного времени, всего год и даже меньше, до окончания срока ссылки Владимира Ильича. Приехав в Тесь, он решил, очевидно, столковаться с новыми выдающимися товарищами, жившими в Теси, с Ф. В. Ленгником и Е. В. Барамзиным, особенно т. Ленгник подавал тогда большие надежды как революционер.

Полная продуманность теории революционного марксизма приобреталась, очевидно, не сразу. У Егора Васильевича Барамзина (Е. В. Барамзин представлял собой, как и очень многие, до известной степени неустойчивую натуру; в его жизни можно найти колебания от народничества к марксизму и обратно, разочарование в последнем), как и у Ф. В. Ленгника, были свои влечения, уклоны в сторону неокантианства.

Насколько я помню, в разговорах, продолжавшихся у Владимира Ильича в Теси с товарищами целых три дня, пришлось начать с вопроса о народничестве, которое, как известно, утверждало, что капитализм в России невозможен, что он «мертворожденный».

Егор Васильевич Барамзин принадлежал, очевидно, к той категории народников, которые, как говорится в книге тов. Сергиевского Н. Л. «Партия русских социал-демократов», совмещали народничество с марксизмом. Тов. Барамзин в то время не видел большой разницы между городским рабочим и русским обездоленным, доведенным до нищеты крестянином. Обоих он считал одинаково доступными социалистической пропаганде. В подтверждение он ссылался на Герцена и на Чернышевского. Он приводил мнение Герцена, что человек будущего в России это—мужик, как в Европе—рабочий. Он указал на Чернышевского, который отстаивал русскую общину как такую форму владения землей, которая не только в России будет иметь блестящее будущее, но и как высшую форму отношения человека к земле. Он допускал при условии

захвата власти революционерами возможность перехода при помощи государства от низких форм социальной жизни к высшим, т. е. к социалистическим формам.

Кроме того, Е. В. Барамзин отдавал должное народничеству, как сумевшему за сравнительно короткий срок своего существования наложить свой народнический отпечаток на русское искусство. Так целый ряд больших писателей отразил народничество в художественной литературе, ряд мастеров кисти — в живописи. Не избежала влияния народничества скульптура и в особенности музыка. Ряд великих музыкантов отдал дань народничеству. Марксизм, по словам Барамзина, не может похвалиться такими победами на поприще искусства, несмотря на свои неоспоримые успехи в области теории. Революционный марксизм вышел победителем из этой борьбы с народничеством. Последнее было выбито из первенствующего положения, которое оно занимало в стране, и революционный марксизм завоевал себе право на признание и существование. Но еще в борьбе с народничеством пришлось Владимиру Ильичу отмежеваться от буржуазных попутчиков, называвших себя марксистами, как Петр Струве. Последний, как известно, в своей книге «Критические заметки» говорил: «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму».

Владимир Ильич указывал, что Струве марксист ненадежный. Став на эту дорогу, он продолжал вести упорную борьбу с людьми, называвшимися марксистами, но увлекавшими рабочее движение на узко-экономический путь, как течение «Рабочей мысли» и «Кредо» Кусковой.

Когда разговор зашел об А. Богданове, сочинения которого на философскую тему появились уже тогда, Владимир Ильич оценил его как очень крупную личность, но уже тогда указывал на некоторые его уклоны от революционного марксизма.

Определяя положение партии революционного марксизма в России во время грядущей российской революции, он указывал, что наша партия по отношению к другим революционным партиям в этой будущей революции должна занять такое же почетное место, какое занимала партия «Горы», партия якобинцев во время Великой французской революции по отношению к партии жирондистов — этих сторонников крупной буржуазии.

Много и долго спорил Ленин с Ленгником. Ленгник как-то особенно выделялся и своею индивидуальностью и своими знаниями; он любил математику, знал немецкую и вообще европейскую литературу. На его столе всегда можно было найти «Фауста» Гете, любимую его книгу. Он обладал

неоспоримым знакомством с философией. Работа Бельтова (Г. В. Плеханова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» возбудила в нем еще больший интерес к философии, и он в тюрьме, в доме предварительного заключения, в Петербурге, пользуясь библиотекой тюрьмы, усиленно занимался древней и новой философией. С рассвета он зачитывался Платоном, Аристотелем, Юмом, Кантом, Шопенгауером, Гегелем, Фихте и другими философами. Переписка Ленгника с Лениным * началась еще из села Казачинского. Ленин сам настолько интересовался философией, что чуть ли ни с первого слова, как только познакомился с Ленгником, завел с ним беседу по вопросам философии. Так как Ленгник в то время представлял собой человека очень самоуверенного, гордого, с очень развитой индивидуальностью, настойчивого, обладавшего очень большой эрудицией и страстностью темперамента, беседа нередко переходила в серьезный диспут. Ленгник Ф. В., исходя из неокантианства, подвергал сомнению возможность познать все. Соглашаясь, что идеалистическое мировоззрение неизбежно увеньчивается верой в бога, он приводил мнение одного из философов, что бог есть «извечное отрицание всех сомнений и колебаний». На основании этого он полагал, что марксисту, отрицающему существование бога и идущему в ногу с выводами науки, присуще сомнение в возможности познать все, тем более, что сомнение считается матерью всякого познания. Оба они, и Ленин и Ленгник, были в полном расцвете сил и способностей и каждый из них вполне естественно стремился победить в споре противника. Но силы оказались в конце-концов неравными. Перевес оказался на стороне Ленина, и оба его противника в споре, и Барамзин и Ленгник, торжественно признали себя побежденными.

Насколько я запомнил, после протекших тридцати четырех лет, Ленин, не отрицая за обыкновенным человеком вообще (и за марксистом в частности) права на известные сомнения и колебания, без чего невозможен никакой прогресс, отстаивал со всем присущим ему умением могущество человеческого разума. Он ссылался в подтверждение своих слов как на историю науки, так и на историю всех великих открытий, которые и доказывают, что человеческий разум, проникая в глубь веков, открывает то, что вчера еще считалось недоступным для человека, делает сегодня ясным и понятным то, что вчера еще было закутано туманом неизвестности.

---

* См. статью Ленгника «Письма В. И. Ленина по вопросам философии», «Ленинский сборник», I, стр. 194.

В общем марксист не должен говорить, что ум человека ограничен, но, наоборот, он должен утверждать, что нет никаких преград для человеческого разума, идущего в познании природы все вперед от победы к победе. Марксизм, идущий в ногу с выводами науки, отстаивающий научное познание мира, представляет собою самое жизнерадостное мировоззрение, открывающее для развития человеческой личности самые широкие перспективы, ведущее к древнегреческой (времен язычества) жизнерадостности в противовес христианскому аскетизму со средневековыми кострами и священной инквизицией. Коснувшись сомнений и колебаний, присущих «мыслящему человеку», Ленин, насколько это удержалось в моей памяти, говорил, что они не должны итти далее целостности маркистского мировоззрения и не нарушать партийной дисциплины, нуждающейся в укреплении.

Барамзину Ленин ответил, что община не может играть решающего значения в момент, когда дело идет о создании партии рабочего класса, которая поведет многочисленный и могучий рабочий класс после свержения самодержавия к захвату государственной власти для проведения в жизнь социалистического строя. Идя по этому пути, надо помнить, что искусство не цель, а лишь средство, временами очень сильное, к этой цели. Считаясь с этим надо надеяться, что пролетариат окажется в силах со временем создать свое, отличное от буржуазного искусство. Не оставляя надежды на возможность создания нового искусства, не следует забывать, что рабочему физического труда, изнемогающему от тяжелого труда под гнетом капиталистической эксплоатации, трудно выработать из себя деятеля искусства. Поэтому необходимо использовать все в буржуазном искусстве, что в нем будит угнетенного рабочего и зовет его к борьбе.

Конечно, товарищеские беседы не ограничивались лишь этими темами.

Барамзин много и долго рассказывал о своей жизни на Волге, которую он очень любил. Слушая его, я ярко представлял себе эту огромную русскую водную артерию, о которой, как о таковой, говорит и Олеарий во время своего путешествия в старую Московию в первой половине XVII века. Я видел большие американского типа пароходы, нагруженные кипами хлопка и другими товарами, с палубами, переполненными людьми, среди которых путешествовал и т. Барамзин. Мне мерещились сцены у перекатов, у которых скопившиеся пароходы различных компаний соперничали между собой в стремлении прорваться, проскочить раньше других сквозь узкий канал на перекате. Слушая Барамзина, я

живо представил себе низовье Волги, Жигулевские горы, где погуливал атаман Разин со свой вольницей; средний и верхний плесы Волги, где расположены древние русские города; берега Волги у Рыбинска, где караваны барок, ожидавшие перегрузки, скапливались на тридцать верст по обе стороны реки, — здесь перегружались товары, привезенные из стран запада по Балтийскому морю, по реке Неве и по каналам и рекам Мариинской системы, и товары, прибывшие с востока из Средней Азии, Персии и т. д. Задумчиво слушал я рассказы о Волге, и мне казалось, что я ощущал крепящую свежесть и запах Волги, что я слышу крик волжских чаек, звон цепей от опускаемых на дно реки якорей, переругивание капитанов и крепкую, сочную ругань матросов и грузчиков на волжских пристанях. И мне хотелось увидеть эту сказочную реку, на которой я до этого никогда не бывал и которую описывал в таких заманчивых красках Барамзин.

Накануне от'езда Владимира Ильича мы все взобрались на Георгиевскую гору. Отсюда, когда смотришь на восток, открывается вид на реку Тубу с ее рукавами и островами, и она кажется сверху светлой извилистой лентой между двумя грядами гор, нависшими над тубинской долиной. Когда посмотришь на юг, видишь огромное предгорье Саянского хребта. Горы, как огромные внезапно застывшие волны, становясь чем дальше, тем выше, громоздятся одна за другой и уходят в даль, где на горизонте видны иногда снеговые вершины самых высоких хребтов. Но это бывает сравнительно редко. «Как кому повезет», — сказал однажды т. Ефимов, с огромным трудом добравшийся до вершины горы. Но Владимиру Ильичу всегда и во всем видимо везло. Повезло и в этот раз. Как будто для него, когда солнце склонялось к закату, горизонт вдруг очистился, и перед нашими изумленными глазами проступили сквозь голубую мглу блестевшие снеговые вершины этих далеких гор. Я лично всегда ловил этот момент; я не отрывал глаз от прекрасной картины и, слушая, что говорят товарищи, старался представить себе Енисей, ревущий в своих порогах, среди нависших над ним диких гигантски громадных скал. Я видел, как по этому страшно крутому спаду воды, лавируя среди камней и водоворотов, плывут на плотах смелые сибирские крестьяне. Но смел рулевой: он зорко смотрит вперед... «Держись!» — раздается сигнал. Все хватаются за бревна. Плот летит вниз в водяную пропасть. На миг всех покрывает вода, на миг все прощаются с жизнью. Но через миг все опять облегченно вздыхают,— плот, как пробка, выскакивает из воды и опять все зорко смотрят вперед, ибо впереди еще пороги, еще скалы, которые при

крутых поворотах бешеной реки вдруг нависают над головой и грозят страшной гибелью смельчакам. «И революционеры такие же смельчаки, — думал я, — и их, как этих плотовщиков, каждый день ожидает гибель. Но хорош рулевой у нас, пришло мне на мысль, этот Владимир Ильич. Зорок у него глаз, верна рука, на него можно положиться».

— Ну, товарищи, — услышал я его голос, — завтра я уезжаю.

— Как жаль, — сказал с грустью Ленгник, — как миг пролетели эти три дня.

— Правильна французская пословица: «столкновение мнений рождает истину» — de choc des opinions jaillit la verité, — вставил Барамзин, — в спорах с вами мы обрели, в особенности я, истину, которой теперь мы будем служить.

На другое утро Владимир Ильич уехал обратно в село Шушенское. После его от'езда я часто вспоминал речи товарищей, что лишь марксизм выведет человечество из тупика, «из царства необходимости в царство свободы», как писал Фридрих Энгельс.

ПОЕЗДКА В СЕЛО ЕРМАКОВСКОЕ

Вскоре после посещения Владимиром Ильичем Теси все политические ссыльные марксисты с'ехались в селе Ермаковском, Минусинского уезда, где жил больной в последней стадии туберкулеза т. Ванеев, для обсуждения известного «Кредо» Кусковой и выявления своего отношения к нему.

Мы, «тесинцы», как нас называла Г. И. Окулова: Ф. В. Ленгник, Е. В. Барамзин и я, выехали сначала в город Минусинск. Здесь, получив от минусинского исправника разрешение навестить больного Ванеева, мы вместе с Г. М. Кржижановским, З. П. Невзоровой, В. В. и А. М. Старковыми направились сначала в село Шушенское, где жил Владимир Ильич.

Владимир Ильич во время нашего приезда снимал у крестьянина Петрова отдельную избу. Кроме Надежды Константиновны с ними жила мать последней Елизавета Васильевна Крупская, очень милая старушка. Насколько я помню, почти половину избы занимали огромные полки с книгами. Толстые, тонкие, переплетенные и непереплетенные книги выглядывали с полок, занимая всю стену от низу до потолка и как бы говоря, что здесь они почетные гости у хозяина, живущего умственными интересами. Остальная обстановка комнаты была обыкновенная — сибирско-крестьянская. Очевидно, чтобы избежать сомнительного удовольствия спать на скверной кровати, может быть даже с клопами, у Владимира Ильича стояла в углу новая, широкая кровать.

В селе Шушенском мы заночевали. Я провел ночь у т. Оскара Энгберга, рабочего, финна, из Питера с Путиловского завода. Он жил у крестьянина Ермолаева Ивана Осиповича, сопровождавшего Владимира Ильича на охоту. Дом помещался в «проулке», выходившем с ленинской улицы на приток реки Енисея, на берегу которого расположено село Шушенское.

Село Шушенское — старое село. Немецкий ученый Паллас, физик-натуралист, исследователь Урала, Каспия, Алтая, познакомился с Минусинским краем еще до Великой французской революции, в период 1771—1772 г., и упоминает в своих сочинениях деревню Шушенскую, насчитывавшую при нем всего 31 двор. Село Шушенское об'явлено указом в 1793 году, после сооружения в нем церкви. Характерно для прежнего режима, что начальная школа поставлена в нем была лишь через сто почти лет, а именно в 1860 году. Село Шушенское издавна служило местом ссылки. Сюда ссылались декабристы, петрашевцы, поляки за восстания 1830 и 1863 годов. Из 11 декабристов, сосланных в Минусинский край при Николае I, в Шушенском жили следующие: Кранокушский, Фролов и полковник Фалленберг. Оба последние, женившись на местных жительницах, завели собственное хозяйство. Фалленберг был известен тем, что первый в крае ввел культуру табака-махорки. Декабристы братья Беляевы проявили себя тем, что тоже впервые в крае стали вводить культуру арбузов и дынь, вызревающих, как известно под Минусинском. Те же братья Беляевы завели в Минусинске тайную школу грамоты. Из петрашевцев отбывал ссылку в селе Шушенском знаменитый Быташ-Петрашевский, по делу которого русский писатель Достоевский, приобревший мировую известность, отбывал каторжные работы в Омской крепости. Среди поляков, присланных в Шушенское за восстание 1830 года, пользовались известностью Корсак и Пржедзецкий. Поляки, пришедшие за восстание 1863 года, бунтовали в Минусинском округе и разбегались. Оставшиеся, поборов враждебное к себе отношение местных крестьян, мало-помалу завоевали себе их полное доверие и уважение, как представители более высокой культуры и как носители знаний—врачи, ветеринары, юристы и ремесленники. Вслед за поляками начали приходить в ссылку в Минусинский округ народники, народовольцы и, наконец, социал-демократы-марксисты во главе с Лениным.

На другой день я побывал у другого жившего там рабочего-поляка, ткача из Жирардова, товарища Проминского.

Длинный рабочий день на Путиловском заводе и на фабриках Жирардова и общие тяжелые условия жизни рабочего

наложили на Энгберга и Проминского отпечаток. У них не была развита привычка к систематическому чтению. Они ее только приобретали под руководством Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Вследствие этого они не могли использовать свободного времени ссылки так, как это было им необходимо. Первый посвящал большую часть времени изготовлению обручальных колец из бронзовых удил, стремян и древних наконечников стрел, которые крестьяне находили на полях. Второй обрабатывал большой огород, культивировал табак-махорку и возил его продавать на базар в Минусинск. Оба они были симпатичные и славные ребята. Им очень понравился привольный богатый Минусинский край. Оскару Энгбергу гористая местность и сильные морозы зимой напоминали его родину, Финляндию. Оба они отмечали в разговорах со мной дружеское отношение к ним, как к представителям угнетенных при царизме в России национальностей, со стороны крестьян Минусинского уезда. И финн и поляк поражались отсутствием у местных крестьян национального шовинизма, вражды к представителям других национальностей в такой степени, как это они привыкли встречать в России.

Жена т. Проминского была совершенно несознательная, не принимала участия в товарищеских беседах и проводила все время по хозяйству.

По окончании ссылки т. Энгберг вернулся в Финляндию. В 1901 году я заезжал к нему в Выборг. В 1906 году я встречал его проездом из России в Бельгию в Гельсингфорсе. Он работал в финских рабочих организациях. Товарищ Проминский, переехав на узловую станцию Сибирской железной дороги «Тайга», по окончании ссылки там и остался, не пожелав вернуться в Польшу. О дальнейшей судьбе его мне ничего неизвестно.

Переночевав в Шушенском, на другой день вместе с Владимиром Ильичем на нескольких телегах мы двинулись из степного села Шушенского в таежное село Ермаковское, где в то время жили Ванеев с женой, В. К. Курнатовский, М. А. Сильвин, П. Н. и О. Б. Лепешинские и Н. Н. Панин. После долгих сборов и обычной в таких случаях и неизбежной суеты мы, наконец, уселись на телеги и двинулись в путь по пыльным улицам села под любопытными и немного насмешливыми взглядами крестьян. Сейчас же за селом проехали широкую полосу, до 300 метров, дикого ириса, опоясывавшего почти все села и деревни в Минусинском округе. Вся эта местность кругом села казалась голубой от множества цветов ириса. За этой полосой стал попадаться мелкий лесок, в котором сосны росли вперемешку с

березами. На встречавшихся полянах цвели во множестве красивые желтые лилии, красные пионы, синели колокольчики и синевато красноватый огромный венерин башмачок. Ярко выглядывавших из травы «жарких» уже не было видно: они отцвели. Зато всюду привлекали взор душистые цветы дикого шиповника. Чем дальше мы удалялись от Шушенского, тем гуще становился лес, тем выше попадались деревья. Из-под кустов у дороги все время с шумом вылетали стада куропаток, слышались крики пестрых сорок. Изредка попадались совершенно черные минусинские вороны. Отчетливо и ясно доносилось кукование кукушек. Лошади пошли шагом. Незаметно начался пологий под'ем в гору. Все соскочили с телег и пошли шагом. Я оглянулся: внизу далеко маячило оставленное нами Шушенское, слева виднелась широкая полоса Енисея, за которым простиралась не занятая тогда еще русскими крестьянами свободная Абаканская степь с табунами диких вольных коней. Солнце жгло. На горизонте опять ясно вырисовывались изломы и пики главного снегового Саянского хребта. Я взглянул на товарищей. Все они снова сели на телеги и поглощены были, как казалось, шахматным турниром Владимира Ильича с его двумя противниками. А дорога уже привела на вершину Гладкого хребта. Уже не видно ни Енисея, ни Шушенского. За перевалом мы вступили в полосу огромного леса. Все чаще попадались навстречу гигантские в три обхвата сосны, которые своими стройными золотисто-красными стволами покрытыми вверху зеленой шапкой, уходили вверх. Где-то высоко качались от набегавшего здесь ветра их вершины. Сверху шел какой-то шум, похожий на тихий шум моря. Внизу же царствовала тишина, пахло смолистой хвоей. Над извилистой дорогой время-то-времени показывалась узкая полоса неба. В небе высоко-высоко, распластав крылья, летали орлы.

Я наслаждался красотой природы, я испытывал томительную жажду какого-то неизведанного большого счастья и желания умереть за наш великий идеал, который напоминали мне эти далекие, окутанные голубоватой дымкой, необыкновенно красивые снеговые горы.

Лучшую пору в своей жизни, когда человек бодро, уверенно смотрит вперед, видимо, переживала тогда З. П. Невзорова, которая за все время нашего пути из Минусинска до Ермаковского, казалось, только и искала случая израсходовать накопившиеся силы, энергию.

После обеда я отправился навестить больного Ванеева. Бледный, сильно похудевший, он напоминал костяк, обтянутый кожей. Он доживал, видимо, последние дни. Жизнь, ка-

залось, боролась со смертью в его печальных глазах, лихорадочно блестевших. Жена его *, в противоположность ему, была полная, пышущая здоровьем, красивая, молодая женщина. Несмотря на физическую слабость, ввалившиеся щеки, землистый цвет лица, Ванеев сохранял бодрость духа. Бросалось в глаза, что у него ум господствовал над слабым, разрушающимся телом.

Мой рассказ о переживаниях во время всеобщей стачки питерских ткачей заинтересовал П. Ванеева. Когда я сказал что-то смешное, улыбка вдруг осветила его лицо. Его жена, не выдержав, громко, весело засмеялась. При этом заразительном смехе на лицо Ванеева опять легла тень безысходной тоски. А яркие лучи солнца, врывавшиеся в его комнату через маленькое деревенское окно, вид вечно зеленой тайги, дальние горы — все говорило о вечно юной, прекрасной жизни в природе даже и здесь, в этой маленькой крестьянской комнате, на пороге смерти.

В селе Ермаковском обедали, пили чай на квартире Лепешинских, делились обычными впечатлениями. Так как их квартира находилась слишком на глазах начальства, в центре села, на Церковной площади, то для обсуждения вопроса о «Кредо» экономистов решили поискать другую. Лучшей квартирой для собрания оказалась квартира Н. Н. Панина, помещавшаяся не в центре, а на самом краю села, вдали от зоркого ока сельского начальства. Панин жил в доме крестьянина Леликова (по Большой улице, ныне улица Карла Маркса, дом № 12). Здесь нам никто не мешал. Хозяева на лето выезжали на свою заимку, оставляя дома полуглухую старуху.

Брали слово, помнится, тт. Ленгник, Лепешинский и Энгберг. В своих речах Владимир Ильич указывал на большую опасность, которая грозит рабочему движению от уклона в сторону экономизма, определенно выраженного в «Кредо» Кусковой.

Он говорил против самоограничения марксизма, против его искажения и опошления, об исторической роли русского рабочего класса, как передового борца (гегемона) в русской революции. Он повторил опять, что партия рабочего класса, партия революционного марксизма должна занять в надвигающейся великой русской революции такое же почетное место, какое занимала во время Великой французской революции партия якобинцев по отношению к партии жирондистов. К концу прений была принята известная резолюция,

---

* Жена т. Ванеева — Доминика Васильевна Труховская.

написанная Владимиром Ильичем и напечатанная в «Vademecum» Г. В. Плеханова.

В этой резолюции, написанной 34 года назад, как и в заключительных словах брошюры Владимира Ильича «Что такое «друзья народа?», напечатанных на гектографе 39 лет назад, личность Владимира Ильича встает уже во весь рост, как прозорливого гениального вождя рабочих, как бессменного часового в течение десятилетий на стороне интересов рабочего класса. Уже тогда он видел много дальше и понимал много глубже, чем большинство его современников и товарищей.

Эта резолюция Владимира Ильича указывает на огромное значение борьбы за теорию революционного марксизма для рабочего класса, говорит о необходимости умелого внедрения теории марксизма в жизнь и борьбы против ее искажения и опошления. Как на пример последнего, он указывает на бернштейнианство в Германии и на «Кредо» экономистов, Кусковой и Прокоповича, в России.

Бернштейнианство он характеризовал как попытку сузить марксизм и превратить революционную партию рабочего класса в реформистскую.

Он изобличал «Кредо» экономистов в прямой лжи, когда госпожа Кускова утверждала, что рабочие в Западной Европе никогда не принимали участия в политической борьбе; в искажении марксизма, когда она говорила, что марксизм игнорирует экономическую борьбу, и в невежестве относительно прошлого русского революционного рабочего движения, когда она утверждала, что создание в России самостоятельной политической партии рабочего класса было бы равносильно переносу на нашу почву чуждых нам задач. Он определял это течение как попытку направить российское рабочее движение по узкому экономическому руслу, оттолкнуть его от прямых исторических задач и под видом борьбы за «правовые формы» передать в руки либерально-буржуазных элементов руководство политической борьбой рабочего класса.

Итти по этому пути для русского марксизма было бы равносильно политическому самоубийству. Предостерегая от последнего и призывая на борьбу с тенденциями «Кредо», Владимир Ильич так определял задачи партии рабочего класса:

На русских революционных марксистах лежит обязанность создания самостоятельной политической, революционной партии рабочего класса. Задача этой партии заключается в захвате политической власти с целью проведения в жизнь социалистического строя. На пути к этой цели, в борь-

бе с самодержавием, рабочий класс России и его партия выступают в роли передового борца (гегемона) в демократической революции.

Партия рабочего класса, вооруженная теорией революционного марксизма, опираясь на фабричных, заводских и других рабочих, поддерживает и группирует вокруг себя революционное движение всех угнетенных классов и является защитником всех угнетенных народов.

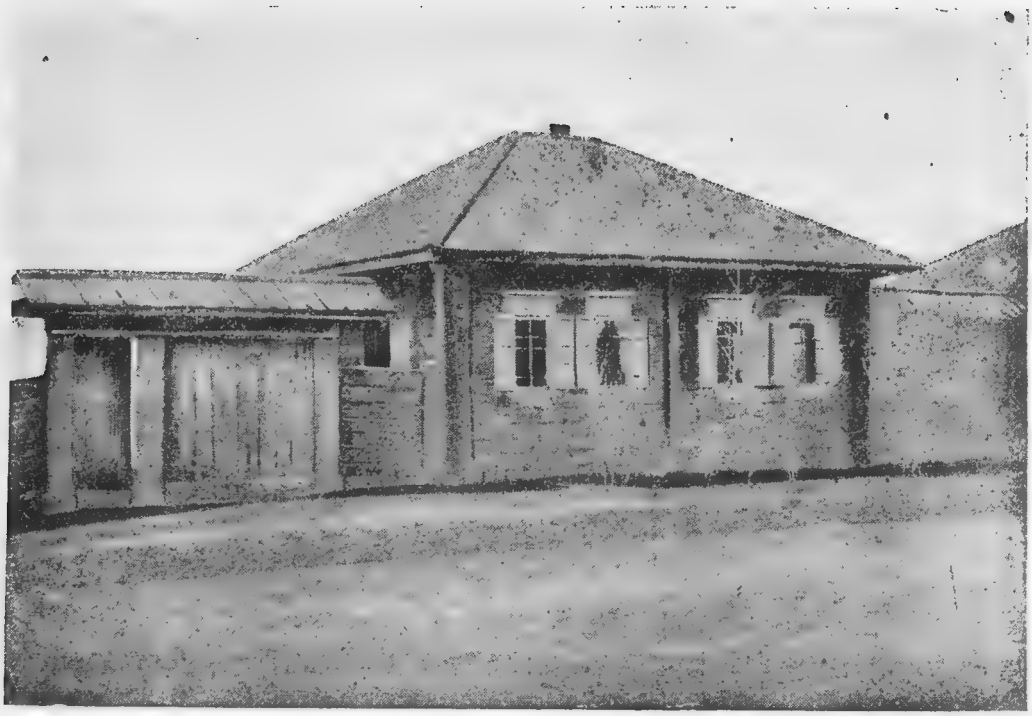
Главным союзником в этой борьбе с самодержавием у партии рабочего класса являются миллионы угнетенных и разоренных крестьян, которых партия рабочего класса привлекает в свои ряды.

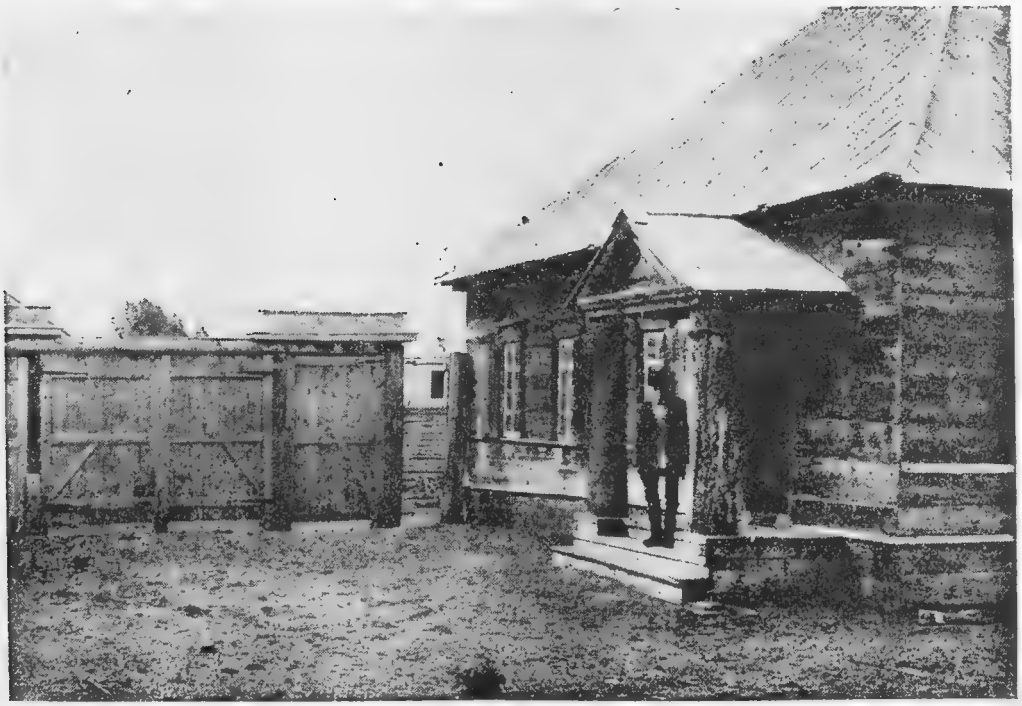
Говоря о главнейшем вопросе тактики революционного марксизма, затронутом в «Кредо» экономистов, об экономической и политической борьбе рабочего класса, он рассматривал его диалектически, говоря, что бывают времена, когда революционным марксистам приходится обратить большее или меньшее внимание то на экономическую, то на политическую борьбу. Он говорит, что в единой классовой борьбе пролетариата марксизм об'единил и экономическую и политическую борьбу.

По вопросу об экономической борьбе он вспоминал, какое огромное значение придавал ей Карл Маркс еще в 1840 г., и ссылался на резолюцию о профсоюзах и об экономической борьбе, принятую в Женеве в 1866 году под влиянием Карла Маркса, в которой говорится, что профсоюзы, руководя экономической борьбой рабочего класса в его повседневной борьбе с капиталом, не должны быть узкими, не должны уклоняться от общего социального и политического движения пролетариата, а должны стремиться к уничтожению наемного труда.

Что касается России, то самодержавный, помещичий гнет, отсутствие всякой свободы выдвигают на первый план задачи политической борьбы рабочего класса. В борьбе с самодержавием партия революционного марксизма, партия рабочего класса является прямым продолжателем дела погибших революционных поколений, главным образом, славной партии «Народная воля».

Указывая на необходимость укрепить партийную дисциплину, конспиративные навыки, Владимир Ильич призывал подражать примеру героической партии «Народная воля» и выражал твердую надежду, что революционная партия рабочего класса, опирающаяся не на относительно слабые слои русского общества, поддерживавшие героическую борьбу кучки героев «Народной воли», а на огромный, могучий рабочий класс, выйдет победителем из предстоящей ей





Вверху: квартира Н. Н. Панина, где была в 1899 г. принята резолюция В. И. Ленина против „Кредо“ экономистов. (Село Ермаковское).
Внизу: дом крестьянина Петрова, квартира В. И. Ленина. (Село Шушенское).

борьбы, достигнет тех целей, к которым стремится революционный марксизм.

Насколько я помню, в этой резолюции было одно место, где указывалось на прямое родство идей «Кредо» Кусковой с идеями, развитыми в книге Бернштейна.

Это место Владимир Ильич согласился очень неохотно выкинуть после речи Ф. В. Ленгника. Последний заявил, что, присоединяясь всецело к резолюции Владимира Ильича и разделяя безусловно его точку зрения, он находит, что было бы рискованно выносить суждение о родстве «Кредо» экономистов с Эдуардом Бернштейном, ссылаясь на книгу Бернштейна, которая тогда только-что вышла из печати и в России была известна лишь по отзывам заграничной прессы.

Ф. В. Ленгник тогда не допускал мысли, чтобы такой видный ученик Карла Маркса, знавший его лично, каким являлся Э. Бернштейн, дошел до того опошления теории своего учителя, как это случилось в действительности, полагая, что здесь могло быть преувеличение, он просил Владимира Ильича быть осторожнее в ссылках на Э. Бернштейна.

Владимир Ильич, понявший на основании отзывов заграничной прессы, что Э. Бернштейн зашел уже очень далеко в борьбе с учением К. Маркса, заявил, что, выкидывая это место по требованию т. Ленгника, он остается при своем мнении в вопросе о родстве Бернштейна с «Кредо» Кусковой.

Теперь истекло уже 34 года со времени принятия этой резолюции ссыльными революционными марксистами Минусинского уезда. Окинув взором прошедшую уже борьбу, Владимир Ильич и тогда оказался безусловно прав во всем главном и основном.

П. Струве, против которого Владимир Ильич выступал еще до своего ареста в 1895 году и ссылки, как против ненадежного марксиста, скатился в настоящее время до монархизма, боролся против советской власти в рядах белогвардейцев и ныне находится в их лагере.

Госпожа Кускова, выступавшая с своим «Кредо», против которого так резко ополчился Владимир Ильич, в настоящее время работает в контрреволюционной белогвардейской прессе в Берлине и не перестает клеветать и науськивать буржуазию на Советскую Россию.

Насколько были опасны уклоны, на которые толкало рабочий класс ее «Кредо», и насколько они были выгодны врагам рабочего класса, ясно видно из деятельности провокатора жандарма Зубатова и провокатора в рясе попа Гапона. И тот и другой пытались направить рабочее движение «по линии наименьшего сопротивления», в узко-экономиче-

ское русло. И тот и другой пытались вырвать из рук самостоятельной политической партии рабочего класса руководство политической борьбой рабочего класса России.

Наши меньшевики и эсеры обнаружили свое родство со всеми врагами рабочего класса.

Резолюцию Владимира Ильича подписали следующие товарищи: В. И. Ленин (Ульянов), Н. К. Крупская, Г. М. Кржижановский, З. П. Невзорова, П. Н. Лепешинский, В. К. Курнатовский, Н. Н. Панин, Оскар Энгберг, О. Б. Лепешинская, В. В. Старков, Анатолий Александрович Ванеев, А. М. Старкова, Е. В. Барамзин, А. С. Шаповалов, Ванеева, М. А. Сильвин, Ф. В. Ленгник. Товарищи Чекальский, М. Д. Ефимов, Проминский, Ковалевский, не присутствовавшие по тем или иным причинам при выработке ее, позднее присоединились к ней.

Ю. О. Цедербаум (Мартов) из города Туруханска сообщил Владимиру Ильичу, что он и два рабочих, тт. Мазанов и Гудимов, жившие с ним в Туруханске, всецело присоединяются к нашему протесту против «Кредо» Кусковой и Прокоповича.

Одновременно он прислал В. И. написанное им стихотворение, в котором были слова:

То не зверь голодный завывает —
Дико разыгралася пурга,
В реве ветра ухо уловляет
Хохот торжествующий врага.

Смело, други, смело
Мы над долей злой
Песней насмеемся
Удалой!

Истощают нас года лишений;
Стоит ли до старости дожить,
Чтоб у дерзких юных поколений
Чудом ископаемым прослыть...

Инвалидам лысым
Надлежит почет;
К лысине отменно
Лавр идет.

Там в России люди очень пылки;
Всем к лицу геройский наш наряд,
Но со многих муки дальней ссылки
Быстро позолоту соскоблят...

И, глядишь, плетется
Доблестный герой
В виде мокрой курицы
Домой!

Сил душевных не щадит кручина,
Холод одиночества гнетет,
И бесцельной ссыльной жизни тина
Многих слабосильных засосет...

И внесет похмелье
В горькую юдоль
Сдобренный махоркой
Алкоголь.

Пусть же, други, сей науки трудной
С полным мы успехом курс пройдем,
А творцов системы этой чудной
Словом благодарным помянем:

В день победы нашей
Отблагодарим
Виселицей знатной
Их почтим...

То не зверь голодный завывает —
Дико разыгралася пурга;
В реве бури ухо уловляет
Хохот торжествующий врага....

Смело, други, смело!
Мы над долей злой
Песней насмеемся
Удалой!

Интересно, что появление «Кредо» Кусковой вызвало такой же протест товарищей, живших в ссылке в городе Орлове, Вятской губернии. Подписан он там был: В. Воровским, А. Потресовым, И. Гуревичем, Захаровым и другими.

Таким образом, об'единение товарищей во главе с Владимиром Ильичем, создавшее через год, в декабре 1900 года, организацию «Искры», началось еще в ссылке на почве протеста против уклона в сторону экономизма.

Надо сознаться, что вряд ли кто-нибудь из нас, кроме самого автора резолюции, мог ожидать, что принятое нами решение наложит такой глубокий отпечаток на всю борьбу рабочего класса в России. Но принятая резолюция явилась по существу резолюцией революционного марксизма. В этом было ее огромное значение. Только потому, что наша партия и весь русский рабочий класс вступили на борьбу, вооруженные самым лучшим оружием против буржуазии — теорией революционного марксизма, они могли совершить тот путь борьбы и побед, который теперь кажется почти сказочным.

Наша партия, в лице ее вождя Владимира Ильича, борясь против искажения и опошления теории марксизма, в то же время обладала искусством умелого внедрения ее в жизнь. Благодаря этому, в стране, где капитализм только-что начинал развиваться и где рабочий класс составлял меньшинство населения, пролетариат и его партия могли сыграть такую огромную роль, увлечь за собой миллионы крестьян и победить в борьбе. Но основы победы и пути борьбы рабочего класса были заложены еще в тех далеких собраниях и с'ездах.

Перед от'ездом из Ермаковского я пошел на восходе солнца побродить по берегу реки Ои. Оба ее берега были покрыты вечно зеленой тайгой. Сосны, ели, кедры, пихты, лиственницы подымались по берегам реки и на дальних склонах. Солнце золотило красные стволы сосен. Глубокую тишину нарушали лишь белки с мохнатыми хвостами, прыгавшие с дерева на дерево.

Глубоко внизу виднелись зеленовато-голубые воды реки Ои, в которой, как в зеркале, отражался лес. Невольно приходила в голову мысль: «Какая роскошная, чудная природа здесь!» На двухсаженной глубине Тубы и других рек можно различать мелкие камушки и крошечных рыбок «малявок». Очевидно, всюду, где хищническое хозяйство капитализма не успело еще изгадить лоно природы, можно было встретить эти чистые прозрачные воды, эти величественные леса, слышать голоса могучей, вечно юной природы...

Уезжая из Ермаковского, я мысленно прощался с т. Ванеевым. Перед моими глазами стояло его исхудавшее лицо с ввалившимися щеками и с блестевшими лихорадочной жаждой жизни глазами. Узнав через несколько дней по возвращении в Тесь о его смерти, я невольно вспомнил стихотворение Некрасова:

Не рыдай так безумно над ним:
Хорошо умереть молодым!
Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени,
Украшай его кудри венком.

ОБЫСК У ЛЕНИНА В СЕЛЕ ШУШЕНСКОМ

Самодержавное правительство не разгадало в то время в лице Ленина своего заклятого врага. Это видно хотя бы из того, что ему было разрешено ехать в ссылку в Сибирь, как и Надежде Константиновне Крупской и З. П. Невзоровой, не в арестантском вагоне, не под конвоем солдат, а на собственный счет и свободно. Такая льгота вызвала даже некоторое недоумение у народовольцев, живших в ссылке в Сибири.

Тем не менее у Владимира Ильича в селе Шушенском жандармы произвели обыск.

— Знаете, у нас был обыск, — сказала Надежда Константиновна, когда однажды Курнатовский, Ленгник, Барамзин, Лепешинский и я приехали к Владимиру Ильичу в село Шушенское.

— Что же, нашли что-нибудь? — воскликнул испуганно Ф. В. Ленгник, зная, что у Владимира Ильича водилась запрещенная правительством нелегальная литература.

— Да нет, — радостно ответила Надежда Константиновна, — нас моя мама спасла.

— Как же это все произошло? — спросил В. К. Курнатовский. — Расскажите.

— Мы ведь поздно ложимся, — начала Надежда Константиновна. — По обыкновению Володя много читал и писал. Наконец, часа в два мы погасили свет, вдруг слышим... стучат. «Кто там?» — громко спросил Володя.

— Из волости пришли. Отворяйте сейчас. Дело есть.

— Какое такое дело?

— Да такое шибко спешное, отворяйте.

— А вдруг обыск? — сказала я Володе, — продолжала Надежда Константиновна. — Мы быстро оделись, осмотрелись. Как будто все спрятано. Так как стук продолжался, мы принуждены были открыть дверь. На пороге показался жандарм с товарищем прокурора. Сразу поняли мы, в чем дело, и в тот же момент я пришла в ужас, вспомнив, что нелегальщина осталась в горшке из-под молока, заткнутом тряпкой и стоящем на этажерке с книгами. Но моя мама нашлась. В то время, когда я стояла, оцепенев от испуга и не двигаясь, пока Володя разглядывал распоряжение жандармского управления об обыске у Владимира Ильича Ульянова, она, подойдя к полкам с книгами, на которых уже начали рыться жандармы, сказала:

— Ах, я, старая дура, ах, батюшки, горшок я свой здесь забыла. Наверно, он вам мешает. Дайте-ка мне его.

Обманутый наивностью тона, звучавшей в словах матушки Надежды Константиновны, жандарм, не подозревая обмана, отдал ей горшок. Тотчас придя в кухню, быстро разведя огонь, она немедленно сожгла все содержимое горшка.

Таким образом жандармы, ничего не найдя у Владимира Ильича, уехали не солоно хлебавши. Но если бы не она и жандармы нашли бы нелагальную литературу, срок ссылки Владимиру Ильичу наверно был бы прибавлен, и он бы не смог вернуться в Россию в 1900 г. для борьбы с поднимавшим голову экономизмом и для организации группы «Искры».

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В СИБИРИ

Прошло два года. Стояло жаркое лето южной Сибири. Дым лесных пожаров, потерявший за дальностью расстояния свою едкость и густоту, не пахнувший уже гарью, как

туман, в виде серой пелены в течение нескольких недель покрывал склоны гор, долины, острова Тубы и поля Минусинского края. Солнце, лишенное своей обычной яркости, просвечивало сквозь эту пелену в виде розового круга с темнокрасной каймой и лучами по краям.

— Что это такое? — спросил я моего хозяина-крестьянина, пораженный явлением, столь необычным для нас, петербуржцев.

— А ты не знаешь? То, парень, тайга горит!

— А где? Какая тайга? В каком месте?

— Не знаю. Должно далеко очень где-то.

Лесные пожары — это настоящее бедствие Сибири. Ежегодно там выгорают огромные площади строевого леса. Не потушенный костер, оставленный после ночлега в тайге беспечным бродягой, цигарка, зажженная спичка, брошенная на сухую хвою беззаботным курильщиком, — все это очень часто является причиной страшных лесных пожаров. Как порох, вспыхивает сухая хвоя в жаркое лето, как свечка, загораются и сгорают смолистые стволы хвойных деревьев. Едкий дым, море пламени, гонимое ветром, заставляют бежать перед собой медведя, сохатого, козулю, кабаргу, рысь, белку.

Но пламя стремится вперед и вперед, сжигая все новые площади леса, пока не встретит на своем пути естественную преграду в виде реки, болот, озер, или пока проливной дождь не зальет, не потушит его. И на этот раз, лишь после сильных проливных дождей, ливших несколько дней, остановился пожар в далекой тайге, рассеялась дымка тумана, и солнце снова засияло своим светом.

Когда туман, наконец, рассеялся, явилось непреодолимое желание выбраться после долгого сидения в горнице за книгами во время этой мглы за село, на простор полей.

Было уже за полдень, когда я, одев фуражку, вышел из избы на двор. Мое внимание было привлечено внезапно раздавшимся конским топотом. Кто-то, лихо осадив коня у наших ворот, соскочив с седла, стучался у ворот.

— Дома ли Александр Сидорович? — услыхал я знакомый голос В. К. Курнатовского.

— Дома, дома, — закричал я за хозяйку и, выскочив за ворота, действительно увидел т. Курнатовского.

— Седлай коня, — крикнул он мне. — Едем все вместе на Минусинскую дорогу встречать нашу общую знакомую.

— Жди меня у т. Ленгника. Я должен еще обегать село, нанять где-нибудь верховую лошадь. Как только я ее найду, я тотчас же приеду к Фридриху Вильгельмовичу.

Быстро наняв коня у знакомого крестьянина за 50 копеек, взнуздав и оседлав его, я под'ехал к дому т. Ленгника.

Но ни т. Ленгник, ни т. Барамзин не выразили желания отправиться с нами.

— Мы не знакомы еще с ней, — говорил Е. В. Барамзин. — Поезжайте вы втроем ее встречать. Вы уже знакомы с ней, а мы уже после через несколько дней или через неделю вместе с вами поедем знакомиться с ней в Шошино.

— Поезжай вперед, — предложил мне т. Курнатовский.— Ты знаешь дорогу, ну, и показывай нам ее.

Оставив его с ее сестрой, я поехал впереди. Миновав длинные заплоты (заборы) села, последние дома, затворив за моими товарищами тесинскую поскотину, вскочив опять на своего коня, опять опередив товарищей, миновав тесинский борок, я выехал на открывшийся передо мной простор тесинской степи.

Стоял томительный жаркий день, близившийся уже к вечеру. Склонившееся к западу солнце заливало всю степь ослепительным светом. В волнах еще тонули и ближние и дальние горы, окутанных синеватой дымкой. Воздух был неподвижен. От Егорьевской горы, по мере того, как солнце спускалось к западу, поворачивалась на степь ее огромная тень. В зное летнего дня все молчало на степи. Было пустынно; нигде не видно было человека. Голоса сестры нашей знакомой и В. К., отставших от меня, заглохли вдали. Бесшумно прыгала «кобылка» в пожелтевшей, сохнувшей степной траве. В голубом, высоком просторе неба, беззвучно, быстро реяли ласточки и стрижи. Замолк жаворонок, песнь которого обычно звенела в степном воздухе «Снурки» (суслики) поднимались на задних лапках при моем приближении и торопливо прятались по своим норкам. Тихо, почти неслышно ступал мой конь неподкованными (летом) копытами по мягкой, пыльной дороге. Только многочисленные здесь сороки с белой и черной окраской перьевь, резкими криками предупреждавшие о приближении человека, да кукование кукушки нарушали глубокую тишину. Да река Туба, не смолкая ни на минуту, продолжала шуметь и звенеть своей струей. Поддавшись обаянию природы, при виде дальних гор, могильных курганов, голубого неба, в виде огромного шатра с бегущими по нем тучками, охваченный простором и безмолвием степи, погрузился я невольно в думу.

Как в кинематографе, одна за другой стали проходить передо мной картины моей жизни на воле, в тюрьме и здесь, в ссылке. Вот я вижу мое печальное, безотрадное детство.

Юность без ее утех проходит в тяжелом труде. Замученный работой, забитый, покорный начальству, с тупым равнодушием влачил я дни своей жизни. Жалка, однообразна, сера была моя жизнь раба, и я восстал против царя, капитала и бога. С тех пор весь мир стал мне казаться огромной гнетущей тюрьмой. Я остро сознаю, что у меня нет отечества, которое мне ничего не дало. Остро чувствую и понимаю я страдания миллионов угнетенных рабов.

Воздух, которым они дышат в душных фабриках, отравлен ядовитой пылью и газами. Глубоко под землею в шахтах они не видят этого чарующего голубого неба, солнца, разливающего блеск золотых лучей, ночью сверкающих звезд и серебряного диска луны. Земля, орошенная их слезами, потом и кровью, жалобы детей рабочих, не знающих радости детства, слезы, стоны их матерей, умирающих от голода, лишений и болезней, — все говорило против царского самодержавного строя, против капитализма, все вопияло об отомщении, требовало возмездия.

И закипело во мне страшное чувство ненависти к угнетателям и чувство безграничной любви к угнетенным рабочим и крестьянам. Я бросился на борьбу против царя, капиталистов, помещиков и религии. Сказочным сном прошли эти дни борьбы. Тюрьма, как ужасное, мрачное чудовище, поглотила меня на два томительных года. За ней потянулись годы ссылки.

Но в изгнании я все более научался находить прекрасное в природе и в чтении нашей художественной русской литературы, в произведениях Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Короленко, М. Горького и т. п.

Я любил проводить целые дни на одном из отдаленных островов Тубы вдали от людей, совершенно один, в зеленой, густой траве, в тени черемухи, тальников и тополей, внимая лишь голосам природы. Я слушал, как шумит, никогда не умолкая и навевая думы, Туба, как стрекочет в траве «кобылка», как жалобно пищит в воздухе копчик, как кричит высоко в небе могучий орел. Не отрывая глаз от красоты высокого голубого неба, я смотрел часами, как бегут по небу одна за другой тучки. Взобравшись на вершину одной из окрестных гор, восхищенный, стоял я перед открывшейся передо мной величественной картиной предгорья Саянского хребта, увенчанного вдали снеговыми вершинами. Опять и опять вставал вопрос: «Земля, как ты прекрасна и весной, и летом, и осенью, и зимой, но отчего так горько и тяжело живется на тебе рабочему?».

Я вспомнил Питер, широкую гладь Невы, катившей свои волны на запад, гранитную набережную, двух сфинксов, привезенных на берега Невы из древних египетских Фив в 1832 году.

Я вспомнил питерские музеи, где находятся великие произведения искусства — картины Рафаэля, Леонардо да-Винчи, Ван-Дика, Рембрандта и других знаменитых иностранных и русских художников. Что-то подступило и щемило за сердце под влиянием этих мыслей, когда я проезжал тесинскую степь, когда я думал о нашей борьбе; слезы наворачивались на глазах. Безумно хотелось сделаться лучше, являлась жажда подвига, хотелось пострадать еще, погибнуть в борьбе за великое дело революционного марксизма. Опять очутиться на пролетарском поле битвы и испытать чувство опасности, которое дает борьба и которое испытывает каждый смелый революционер, положить голову за лучший строй золотого века, вырвать человечество из вечной нищеты, завоевать свободу — вот счастье, вот смысл жизни!

Мой конь, тихо шедший по степной дороге, вдруг неожиданно оступился, в задумчивости я чуть не вылетел через его голову из седла. Едва удержавшись, я приподнялся на стременах и оглянулся на ехавших далеко сзади меня товарищей.

Погруженный в задумчивость, я машинально соскакивал с коня (отворял несколько раз ворота поскотины, чтобы пропустить товарищей), когда, миновав степь, мы проезжали одну за другой две деревни, Малую и Большую Иню.

Проезжая через эти деревни, я не заметил в них ничего особенного. Все было, как всегда. Я только обратил внимание на их пустынность. На улицах не видно было ни души. Даже собаки Черни, уныло высунув морды из подворотен, утомленнные летней жарой, против обыкновения не лаяли. Только однажды одна старуха, высунув, было, голову из окна, быстро ее спрятала, как бы испугавшись чего-то, да какой-то мальчик, выглянув, тотчас скрылся из глаз.

Поражало полное отсутствие жизни на деревенских улицах. Сонное царство, думал я; впрочем, ведь в этом нет ничего удивительного. Все в поле. Идет жатва.

Это было время, когда в Китае началось народное движение против иностранцев-эксплоататоров китайского народа — восстание «Большого кулака». Царское правительство, конечно, не замедлило принять сторону западно-европейских и американских капиталистов, грабивших китайский

народ, и послало, по примеру других капиталистических правительств, против восставших армию. Началась война России с Китаем. Царское правительство покрыло себя в самом начале войны несмываемым позором, потопив в реке Амуре десятки тысяч мирных китайцев, живших в городе Благовещенске. Трупы утонувших плыли в это время по реке такой сплошной массой, что мешали вращаться пароходным колесам.

Минусинский край с Усинским округом примыкал к самой китайской границе, но граница точно не была обозначена.

В этом пустынном, мало населенном крае граница России считалась там, куда проникали в поисках незанятых земель русские крестьяне и золотоискатели. Ничего не было удивительного в том, что одно из кочующих монгольских племен, не имея точного представления о границах, стало станом в это время на русской территории, которую они, очевидно, считали китайской.

Перепуганное минусинское начальство, вообразив, что границу перешла целая китайская армия, отдало по волостям строгий приказ зорко смотреть за дорогами, не появятся ли где-нибудь китайские лазутчики.

Ничего не подозревая, затворив последнюю поскотину и далеко обогнав медленно ехавших товарищей, я достиг, наконец минусинской большой дороги, по которой и поехал шагом. Кругом стоял, как огормное войско, большой, молчаливый бор. Солнце, пробиваясь сквозь хвойные ветки, золотило высокие стволы сосен и ложилось яркими пятнами на землю. Густо пахло ароматом хвойного леса. Тишина и непонятная, щемящаяся, но в то же время сладкая тоска охватила меня. Впереди, у самой дороги, лежал высокий курган-могила.

Я ехал шагом. Вдруг мне показалось, что из-за кургана промелькнула фигура крестьянина, за ней другая, третья и т. д. Все они были верхом. Бросалось в глаза, что все они торопливо, наспех повскакали на неоседланных коней, положив на их спину лишь кошку (войлок). Больше всего меня поразило то, что они явно прятали за своими спинами винтовки и что среди них был перепуганный сотский с бляхой на груди и вооруженный револьвером.

«Что бы это могло значить?» — думал я, теряясь в догадках. Крестьяне между тем, быстро выехав из-за кургана, выстроились в ряд и преградили мне дорогу. Все они взяли винтовки на прицел. Раздался крик:

— Стой! Бросай винтовки. Кажь бумаги. Сказывай, язви вас, кто таки за люди. Стрелить будем.

— Да, вы что это, Иван Кузьмич, — начал я, узнав в сотском известного мне крестьянина из Большой Ини. — Что вы с ума спятили. Разве вы меня не узнаете? Ведь я социалист, ссыльный Александр Сидорович.

— Вижу, вижу, что ты Лександр Сидорыч, я чай не ослеп. Да, пошто ты, Лександр Сидорыч, китайского-то мандарина за собой по волосте ведешь? Пошто ему дороги кажешь?

— Какого мандарина? Какого китайского? — возразил я удивленно.

— Ах, якорь язви тебя, да вот позади тебя. Эфто кто? али не китайские мандарины? Вишь сел на коня и едет с тобой: да ты, парень, винтовку-то брось. А то плохо будет. Стрелить будем.

Я оглянулся, куда указывала рука сотского с револьвером, и мгновенно понял все. Одетая в темно-синий костюм амазонки, в синей куртке и штанах, в синем берете с шишкой посредине, с черной косой на спине, с лицом определенно монгольского типа, сидевшая, кроме того, на седле по-мужски, сестра нашей знакомой поразительно походила в этот миг на китайца. Остальное дополнило испуганное воображение крестьян. Так как мы, социалисты, являлись врагами царя, они сейчас же вообразили, что я и т. Курнатовский показываем дорогу китайскому офицеру для занятия Тесинской волости китайской армией.

— Опустите немедленно винтовку! — крикнул я как можно громче страдавшему уже глухотой т. Курнатовскому. — Дело серьезно. Крестьяне нас приняли за китайских шпионов. Они могут дать залп. Да вы что? — продолжал я, обращаясь к сотскому, — что это вы, Иван Кузьмич, разве вы не узнаете? Какой же это китайский мандарин? Ведь вы же ее все знаете. Ведь вы просто с ума сошли.

— Ах, якорь! Ах, елки-палки, язви вас, — вырвалось у сотского, который при этом облегченно вздохнул. — Ведь однако, на самом деле, мы ее знаем. Да што мы обалдели што ли, а мы шибко испужались, кажет это Ликсандр Сидорыч дороги мандарину. Еще бы маненечко, и мы бы стрелили, ей-богу. Ну поезжайте себе. Куда это вы, в Шошино?

— Да мы нашу знакомую барышню выехали встречать. Из Минусинска должна теперь проехать.

— Ах, штоб вас, язви вас, — продолжали говорить крестьянские парни, — как мы перепужались.

Только когда крестьяне, опустив винтовки, со смущенно радостными лицами расступились, пропуская нас, мы поняли, какой большой опасности мы избежали. Особенно опасен был момент, когда т. Курнатовский, вообразив, что на нас напали разбойники, будучи пылким и отважным, прицелившись, хотел немедленно стрелять. Более всех была смущена сестра нашей знакомой.

Молча продолжали мы путь, взволнованные происшедшим. Лошади шли шагом. Прошло с полчаса. Солнце уже опустилось за Егорьевскую гору, и его лучи золотили лишь вершины сосен. В бору, на тесинской долине повеяло прохладой. Но вот вдали послышался лошадиный топот и звук катящейся телеги. Вдали закурилась столбом пыль. Наконец, из нее ясно выступила пара коней, кошовка, кучер Кузьма и наша знакомая, улыбавшаяся из кошовки.

Но какая поразительная перемена произошла с ней. Исчезла ее недавняя наивность, на лице лежала серьезная вдумчивость. Как она выросла, как изменилась! Еще не так давно она производила совсем иное впечатление.

«Ой, не смотри так упорно на это лицо, на эти глаза, — сказал мне какой-то внутренний голос: — пропадешь!..».

С этой поры в синеве неба, в заманчивых далях, в окраске багрового заката, в мерцании звезд ночью — всюду выступало ее лицо и глаза. Я понял тогда, как были правы тт. Курнатовский и Сильвин, говорившие, что в красивой женщине воплощено все, что есть прекрасного в человеке и в окружающей нас природе. Мне казалось, что интеллигентка, вышедшая из буржуазной среды, не может полюбить простого рабочего, каким был я. Даже если она и полюбила меня, то любовь связала бы ее и меня.

Кто я такой? — задавал я себе вопрос. Я — обреченный на гибель в жестокой борьбе за будущее человечества. Я простой кирпич, из которого сложится чудное прекрасное здание будущего счастья людей. Я тот, кто погибает на баррикадах, кто устилает своими телами поля пролетарских битв за свободу, за социалистический строй. Мое назначение, как и мне подобных, биться с врагом, пока он не упадет, добить его, растоптать его и, если нужно, самому погибнуть за счастье других. Одинокий, я лучше выполню эту задачу, лишь бы скорее окончить ссылку. Тогда опять в бой!

Поэтому, когда Фридрих Вильгельмович Ленгник говорил мне:

— Александр Сидорович, едем в Шошино. Мы наняли кошовку. Егор Васильевич тоже едет, — я отвечал:

— Нет, не еду!

Но не проходило и часу, после того, как они исчезли за тесинской поскотиной, как я, как бы движимый какой-то непреодолимой силой, вставал и, как лунатик, шел пешком туда же в Шошино. Я проходил расстояние в 20 верст, не испытывая почти никакой усталости.

Все переглядывались, когда А И., вторая сестра, сидевшая обыкновенно на окне, об'являла:

— Александр Сидорович пришел.

Я отлично сознавал, что нет глупее состояния, в котором я находился. Я усаживался где-нибудь в углу, слушал ее голос, и он казался мне самой звучной и красивой музыкой в мире.

К концу лета она уехала, отдохнув, подчитав и еще более окрепнув для революционной борьбы. Уехал и Ф. В. Ленгник, поступив в качестве инженера-технолога на Сибирскую ж. д. Е. В. Барамзин получил разрешение переехать в с. Ермаковское.

После от'езда из Теси Ф. В. Ленгника, к концу 1900 г., в Тесь прибыл переведенный из Канского уезда, Енисейской губ., т. Росляков. Сибиряк, родом из города Обдорска, он был братом жены известного народовольца из кубанских казаков, Гервасия. Вскоре т. Росляков тоже уехал в Минусинск.

Перемена места, новые впечатления помогали товарищам с большей легкостью переносить ссылку.

Я оставался один на последнюю зиму в Теси, ибо исправник Стоянов, разозленный на меня за мою жалобу на него губернатору, дал слово сгноить меня в Теси.

Опустела Тесь. Опустел дом в Шошине, когда из него уехала молодежь, вносившая жизнь в его обширные комнаты. Огромный, он стал подобен мертвецу, которого покинула жизнь. Как тусклые безжизненные очи, смотрели закрытые ставнями его окна. Только западный ветер, несшийся над долиной Теси, шумел в тополях и уныло стучал ставнями.

Только оставшись один в Теси, я познакомился с чувством ужасной тоски в ссылке, о которой когда-то говорил Е. К. Яковлев. Еще когда уезжали товарищи, когда я прощался с ними, уже начинало щемить на сердце.

А ямщик, заложив удила в рот лошади, обдернул сбрую, осмотрев подпругу и крепко ли татарским узлом завязаны вожжи, замахнувшись кулаком на коренника, отчего последний начал хрипеть и пятиться назад, взбирался уже на

облучок. Вот он берет вожжи и, взмахнув бичом, гикнув, восклицает:

— Эй, вы, миленькие! Язви вас, но! но! но!.

Коренник с пристяжкой подхватывают коробок, и быстрые кони уносят его вдаль. Уже не клубится поднятая копытами лошадей и колесами телеги пыль. Уже улеглась она, стоявшая облаком, уже исчезли кони с их дугами и развевающимися по ветру гривами, уже давно заглохли колокольцы, а я все стою и, как прикованный, смотрю на эту дорогу, в эту даль, в которую лихие сибирские кони унесли дорогого мне товарища. И чувствую я, что что-то дорогое оторвалось у меня от сердца, что я что-то потерял, что мне чего-то недостает...

Грустный я возвращаюсь домой. Надвигается вечер. Пахнет осенью. Небо снизилось, посерело, обложено тучами. Не видно больше стрижей, ласточек, черным крылом разрезавших воздух. Жаворонок давно не поет; его уже нет, как нет товарища, только вороны громко каркают, летая над сжатыми полями и наводя тоску. Начинает накрапывать дождь. Еще чернее, чем эти осенние тучи, еще печальнее, чем эта осень, становится у меня на душе.

Задумавшись, я не замечаю, как попадаю с Минусинской большой дороги на узкую проселочную, ведущую в Тесь по склонам гор и логам. Проезжие избегают ее. Здесь, по слухам, шалят. По ней, особенно вечером, когда быстро густеет ночная тьма, не поедет благоразумный проезжий. Тем более, что в логах, по которым узкой лентой вьется дорога, видят часто волков. Но мне в эти минуты все безразлично.

Тихо бреду я вниз к долине Тубы, едва различая, при блеске звезд, под ногами дорогу. Наконец, по торжественно-монотонному шуму реки Тубы я узнаю, что приближаюсь к Теси.

О чем шумят волны? О той ли жизни, которая проходила встарь на этих берегах, или о чем другом?

Высоко в небе горят, ярко переливаясь, как огромные бриллианты, звезды. Я различаю Млечный путь, Большую и Малую Медведицу, созвездие Кассиопеи, Сириус. Я не могу оторвать взора от торжественной картины ночного неба. Что-то там на этих звездах? Вращаются ли кругом них такие же системы миров, как вокруг нашего солнца? Есть ли жизнь и борьба на далеких планетах? Наше солнце! Но ведь оно, по сравнению с другими открытыми наукой солнцами, не что иное как карликовое солнце, ибо существуют солнца в восемьдесят и в сто раз больше, чем наше светило. Таким образом встает вопрос о бесконечно

малых телах, видимых только в микроскоп, как и о бесконечно огромных, как солнце, гигантах.

С подобными думами я спускаюсь в серый туман, которым, как своеобразной пеленой, окутана Тесь. Туман так густ, что я с трудом различаю улицы, дома. Я слышу лай собак и стук трещеток ночных сторожей. Я иду по пустынным улицам к дому, где живу, берусь за щеколду. Черня свирепо лает, но, узнав меня, виляет хвостом и благодарная за то, что я ее погладил по шее, прыгает около меня, радостно визжит и норовит лизнуть меня в губы.

Ночи в эту последнюю зиму казались мне особенно длинными. Вместе с собачьим лаем и воем ветра заползала мне на сердце та тоска, о которой говорил Е. К. Яковлев. Безысходная, как темная осенняя ночь, схватывает она своей жесткой рукой загнанного в сибирскую глушь, давит его, как петля, и душит и зовет к реке, уже подернутой льдом, окунуться в эту холодную воду или в степь на сорокаградусный мороз, раздеться ночью донага и кататься в снегу, или подговаривает взять ружье, зарядить и пустить заряд себе в висок...

Таким образом переходя от надежды к отчаянию, я доживал последнюю зиму в селе Тесинском. Наконец, солнце и яркие зори, несмотря на снег и мороз, заговорили о том, что и зиме придет конец. Нигде в Сибири зори не казались мне такими прекрасными, как в селе Тесинском. Они так хороши там, что я назвал бы долину Тубы «долиной прекрасных зорь». Сознавая, что тоска — один из самых страшных врагов человека, я деятельно повел с ней борьбу. Наконец, пришел март и вместе с ним бумага от губернатора, извещавшая, что срок моей ссылки окончен и что я с этого момента имею право вернуться в Россию. В той же бумаге говорилось, что мне запрещены для жительства чуть не семьдесят или восемьдесят городов, в том числе Питер, Москва, все университетские и фабрично-заводские города. Мне разрешалось лишь жить на севере России, в Поволжье и на Кавказе. К этому времени и Ленгник прислал мне письмо, в котором меня звал по дороге в Россию непременно заехать в Красноярск.

Я деятельно начал готовиться к от'езду. Я склонялся к мысли о поездке на Кавказ на партийную работу, куда меня звал Курнатовский. Перейдя в последний раз по льду Тубы, я взобрался по скалам на самый верх высокого обрыва и на скале на прощанье вырубил стальным зубцом слова: «Да здравствует революция!». Наконец я тронулся в путь. В Минусинске я еще раз осмотрел знаменитый музей и 12 марта 1901 года выехал из Минусинска. Опять побежали мимо

меня невысокие телеграфные столбы по Минусинскому тракту на Ачинск. Прощай, привольный Минусинский край, с твоей очаровавшей меня суровой, но красивой природой. Прощайте горы, могучие реки с прозрачными, чистыми водами. Прощайте яркие зори! Прощай вся Сибирь! Снова я спешу принять участие в великой борьбе, спешу начать новую жизнь. Да здравствует свобода!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В ПОДПОЛЬЕ

„Труд этот, Ваня, был страшно
громаден, Не по плечу одному„.

Некрасов.

ОТ МИНУСИНСКА ДО КРАСНОЯРСКА

Под звон бубенчика, под песни ямщика возвращался я в конце марта 1901 года в санях, в крестьянской кошовке, на паре сибирских коней из сибирской ссылки. Я торопился. Стояла уже довольно теплая погода. Дорогой крестьяне поговаривали, что лед у берегов рек Енисея и Чулыма мог уже стать опасным для переправы. «Вдруг на самом деле из-за одного только переезда на другой берег реки я принужден буду задержаться на неделю и более?»,— начинал думать я.

Затем другая, еще более тревожная мысль приходила мне в голову: «А что если из департамента полиции вдруг придет приказ немедленно меня вернуть с дороги обратно в Тесь или в какую-нибудь другую глухую сибирскую дыру? Тогда пропало все. Я не встречу в России милых товарищей — Курнатовского, Ленгника и других; мне не придется принять участие в революционной борьбе русских рабочих. Я не увижу даже России. Я обречен буду снова влачить жалкое существование и изнывать в Сибири». При одной этой мысли я холодел от ужаса. Все надежды, все мечты, все желания у меня сосредоточивались на одном — немедленном от'езде из Сибири по окончании ссылки, и вдруг... То, что было мечтой моей жизни в течение трех лет, могло рушиться по капризу какого-нибудь чиновника в один миг, как карточный домик.

Мне хотелось мчаться в кошовке не только днем, но и ночью. «Скорее! — говорил я себе под влиянием этой мысли.— Погоняй, ямщик! Неситесь стрелой, крепкие сибирские кони! Звените громче, колокольцы! Быстрей! Быстрей! Пусть поднимется столбом снежная пыль! Пусть замелькают копыта коней! Пусть развеются по ветру от быстрой езды гривы коней! Эй, скорее! Только скорей!»

Поэтому я с неохотою слушал ямщиков, когда они вечером, добравшись до какой-нибудь деревни, заявляли, что нужно остаться на ночлег.

— Я дальше не еду, — заявлял мне обыкновенно ямщик, привезший меня в эту деревню. — Здешние тоже не повезут тебя ночью.

— Оставайся ночевать у нас, завтра чуть свет выедем, — говорил ямщик из этой деревни.

Я оставался и сталкивался с одним из бытовых явлений сибирской деревни того времени. Сибирская девушка и женщина пользовались большей свободой располагать собой, чем в самой России. В деревнях на проезжей дороге они любили поболтать с проезжим, посмотреть на него, а при случае, как они выражались, и «погулять».

В избу, где я останавливался, как бы мимоходом приходили они. Некоторые ограничились лишь тем, что заглядывали в дверь; другие, побойчее, войдя в избу, тотчас уходили, видя, что я не обращаю на них особенного внимания. Но находились среди них более смелые. Они подходили к столу, за которым я сидел.

— Напиши, — говорит, — проезжий, письмо мне. Говорят, грамотный ты.—А сама подсаживается ближе, плечом к плечу.

— Слышишь, проезжий, может, подаришь на платье? — шепчет она, а сама заглядывает влекущим таинственным взглядом.

Я отодвигался.

— Письмо я напишу, — говорил я. — Что касается платья, подожди другого проезжего, приискателя или купца или еще кого другого. У меня денег нет.

— Врешь ты, — говорит она. — Просто ты жадный. Все равно когда-нибудь умрешь и денег с собой в гроб не возьмешь. Прощай, язви тебя!

Наутро, чуть светало, снова запрягали коней и продолжали путь. Хороша езда на автомобилях. Но она лишена тех преимуществ, которые дает любителям красот природы поездка на лошадях. Быстро мчится автомобиль, побеждая пространство, но глаз не успевает всмотреться, запечатлеть в памяти красивые виды, которые природа рассеяла во множестве в холмистой местности. Все сливается в одну серую безличную линию бесформенного пространства. Другое дело — езда на лошадях! Мы ехали полями, перелесками, тайгой, логами, среди невысоких гор. Слушая, как весело звенят колокольцы, подставляя лицо свободному ветру, всматриваясь в очертания гор, поросших тайгой, в лога, в дали, окутанные голубоватой дымкой, отдаваясь величию природы, я подводил итоги прошлому, пережитому, передуманному. Я старался также представить себе и то будущее, которое ждет меня в России.

. . . . . .

Я примкнул к движению в самый разгар борьбы марксизма с народовольческим учением. Марксизм противополагал народовольческому учению о роли личности в истории организованное массовое рабочее движение. Невольно при этом умалялось значение роли вождей партии и их положительного и отрицательного влияния на революционное рабочее движение.

Это последнее обстоятельство и полная невозможность для того времени предвидеть, что из тов. Ленина выработается вождь не только российской, но и мировой революции, привели к тому, что многие его современники не отнеслись ни к нему самому, ни к его произведениям с тем вниманием и в той степени, как он и его произведения того заслуживали. Например, я, уезжая из Сибири, помнил резолюцию Владимира Ильича против «Кредо» Кусковой, за которую голосовал, лишь в самых общих чертах. Основные вехи его учения, как мысль о рабочем классе — гегемоне в революции, о необходимости захвата рабочим классом власти для проведения социалистической революции, о трудящейся массе крестьянства — непосредственном союзнике в борьбе, о сочетании экономической и политической борьбы пролетариата в его классовой борьбе, о роли профсоюзов, с указанием, что они не должны быть узкими по своим целям, а должны стремиться к всеобщему освобождению миллионов рабочего люда, — все это не было мною продумано, понято и усвоено так ясно и отчетливо, как это было бы необходимо для ученика Ленина.

Кроме того все это об'ясняется еще тем, что в 1901 году почти все перечисленные мною вопросы имели для рядовых работников скорее чисто теоретическое значение и в практической работе только лишь выдвигались, но для меня лично в дороге из Сибири они не вставали еще во всей своей остроте.

Роль самого Ленина, не только как превосходного теоретика, но и рулевого русской революции, усвоившего, как никто, искусство вносить сознательное отношение в стихийный процесс, умевшего применять, внедрять революционный марксизм в жизнь, в массовое революционное движение рабочего класса, вести рабочий класс через множество казавшихся непреодолимыми препятствий к победе, — эта роль мне, как и огромному большинству товарищей, в то время не была ясна.

Добравшись, наконец, до Ачинска, я на вокзале, к досаде, узнал от проходившего мимо кондуктора, что пассажирский поезд на Красноярск ушел всего пять минут назад и что следующего поезда придется ждать целые сутки.

— Как досадно! Я рассчитывал сегодня же попасть в Красноярск, — говорил я кондуктору.

— Да вы с товарным, с нами можете поехать. Самое милое дело!.. Билет не нужно брать, и у кассы стоять в очереди. Дешевле будет, и сегодня вы будете в Красноярске.

Прельщенный преимуществами езды в товарном поезде, торопясь поскорее попасть в Красноярск, я принял предложение кондуктора и поехал «зайцем».

Я влез в вагон, который мне указал кондуктор. Поезд действительно скоро тронулся. На одной из остановок к нам в теплушку поднялся сам «обер». Как только поезд опять двинулся, и тайга замелькала перед нашими глазами, он, перемигнувшись с подчиненными ему кондукторами, вдруг крикнул, обращаясь к пассажирам, которых набилась целая теплушка:

— Билеты ваши! Покажите ваши билеты!

Произошел всеобщий переполох. Пассажиры имели вид огорошенных.

— А! Без билетов едете! — закричал обер. — Я вам покажу, чалдонам желторотым, как без билетов ездить. Отцу родному закажете. Махорка,— обратился он к одному из кондукторов, — открывай-ка пошире дверь-то. А ты, Криворотов, хватай-ка за воротник чалдонов энтих, да в шею их, вон, на шпалы, в тайгу!

В вагоне начались визг, плач, стоны. Ехало много крестьянок.

— Говорила тебе я, не езди с энтим товарным поездом, — упрекала мужа одна из них. — Из-за тебя, дурака, медведя заимочного, смерть теперь принять придется.

— Это что такое? — обратился я к кондуктору, предложившему мне сесть в теплушку. — Пусть-ка он попробует меня выкинуть из вагона; как бы ему самому там не очутиться!

— Не бойтесь, — шептал мне кондуктор, — он вас не тронет. Сидите себе спокойно. Он просто хочет мало-мало чалдонов энтих попугать. Каждый, почитай, раз у нас эта комедия. У них у всех, у желторотых, мошна туга, а они всегда норовят нашармака, задаром проехать, «зайцами», значит.

Кончилось тем, что «зайцы» уплатили оберу добавочное, были оставлены в покое и благополучно продолжали путь.

Наконец, показался Красноярск.

— До свидания, — говорил мне кондуктор. — Вот и доехали. Только не через главный ход выходите, а вон через ту боковую служебную калитку.

В Красноярске я пробыл в ожидании приезда т. Ленгника несколько дней. Я здесь познакомился с женой т. Сильвина Ольгой Александровной, с т. Ряховским, Николаем Андреевичем, и его женой Марией Николаевной, а также встретил сына т. Ковалевского — Стасю, учившегося в железнодорожном училище.

— Я уже веду пропаганду среди учеников училища и даю слово посвятить свою жизнь освобождению рабочего класса, — говорил он мне.

Не знаю, сдержал ли он свое обещание. Впоследствии я его больше не встречал. В Красноярске жило довольно много политических ссыльных. К сожалению, кроме Ряховских, Николая Андреевича * и Марии Николаевны, я не помню их фамилий. На собрании ссыльных я неожиданно встретился со старым народником Тютчевым... Сохранив, очевидно, неприязнь к нам, марксистам, за историю с побегом т. Райчина, он прошел мимо, не поздоровавшись.

Сильвин «Мишка», как его звал тов. Ленгник, отбывал воинскую повинность в Красноярске и жил в казарме.

— Что ты делаешь в полку? — спросил его приехавший тов. Ленгник.

— Представь себе, мне полковник поручил полковую школу. Я учу солдат грамоте.

Как только приехал Ленгник, мы, снявшись группой в фотографии и попрощавшись с товарищами, уехали из Красноярска.

ОТ ТАЙГИ ДО ПЕТЕРБУРГА

На станции «Тайга», где жили наши товарищи — Г. М. Кржижановский, З. П. Невзорова и Проминский, мы сделали большую остановку. Здесь мы узнали все новости о Владимире Ильиче. Работая по созданию группы «Искра», В. И. был арестован в Питере весной 1900 года. Через три дня, за недостатком улик, он был освобожден и вскоре уехал за границу. В Мюнхене, в столице Баварии, он издал первый номер газеты «Искра» с девизом: «Из искры возгорится пламя!» Но мы не знали, что приезд Ленина в Мюнхен уже тогда был вызван опасением, что в Швейцарии П. Б. Аксельрод и другие, создавшие позднее вместе с Мартовым ядро меньшевизма, вызовут известное сопротивление проведению в «Искре» основной линии Ленина о роли рабочего класса, как гегемона в русской революции.

Тов. Кржижановский, введенный в русский центр организации «Искры», заявил нам, что он собирается переезжать в

* Невский В. И. Очерки по истории РКП(б), стр. 491, 492, 502.

Россию. З. П. Невзорова, помогая партиям политических, которых гнали в Сибирь, вошла в острый конфликт с жандармским ротмистром станции «Тайга». Последний писал рапорты по начальству, что ему приходится служить на станции с определенным революционером, жена которого оказывает всевозможную помощь государственным преступникам, отправляемым в Сибирь.

При от'езде из «Тайги» неугомонная Зинаида Павловна так усердно помогала нам усаживаться в поезд, что мы с Ленгником по ошибке попали в дамское купе вагона третьего класса.

Заметив свою ошибку и пересаживаясь из вагона в вагон на одной из остановок за станцией «Тайга», я вдруг увидел тов. Ковалевского, устроенного здесь Кржижановским в качестве помощника железнодорожного мастера по ремонту пути. Обрадованный встречей с товарищем, я, выскочив из поезда, бросился было к нему, но пораженный остановился на полдороге, ибо неожиданно тов. К. боязливым жестом указывал на стоящего неподалеку от него своего непосредственного начальника — железнодорожного мастера.

«Как! Он боится, он не решается подойти ко мне,— говорил я себе, — он до такой степени робеет перед начальством! Но ведь всего две-три минуты простоит здесь поезд и умчит меня дальше, и мы, быть может, более никогда не увидимся. Он упускает последний, быть может, случай пожать руку товарищу, сказать ему несколько дружеских слов».

На лице тов. Ковалевского я прочел выражение придавленности, какое я видел и у других товарищей, не пожелавших покинуть Сибирь для борьбы, и как бы сознание стыда передо мной. Мне казалось, что он завидовал мне. В его глазах я мог быть своего рода героем, который, не промедлив ни одного дня, едет туда, в Россию, на революционную борьбу, навстречу опасности. Поезд, наконец, умчал меня, и он так и не осмелился подойти ко мне, проститься со мной.

Поезд между тем уносил нас все дальше и дальше... Все вагоны были переполнены студентами Томского университета, об'явившими забастовку. Революционное движение в 1901 году начало втягивать в себя и мелкобуржуазные слои населения. Начался террор партии эсеров. Был убит Карповичем министр просвещения Боголепов. Наша партия высказалась против террора партии эсеров.

Массовое революционное рабочее движение, выразителем и передовым отрядом которого явилась наша партия, накладывало свой отпечаток и на массовое движение мелкобуржуазных слоев. Так и студенческое движение приняло форму забастовок. Студенты невольно подражали рабочим.

Студенты-забастовщики, ехавшие в одном вагоне со мною, пели революционные песни, но больше всего:

«Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!».

Но слово «товарищ» не было слышно в их среде; «коллега», — говорили они, обращаясь друг к другу.

— Как относитесь вы, — спросил я одного из них, казавшегося мне наиболее активным, — к учению Карла Маркса?

— Устарела материалистическая философия вашего Маркса, — ответил он мне. — Новейшая наука опровергла этот, теперь уже старый, хлам.

— Кто же является таким соперником Карла Маркса, которому удалось доказать, что марксизм есть не что иное, как старый хлам?

— Авенариус, — ответил он мне с апломбом, не допускавшим возражений.

Я был очень смущен словами студента. В философии я не был силен и обратился за раз'яснениями к Ленгнику, ехавшему в другом вагоне. На одной из остановок, выйдя на платформу, я заметил студента, сторонника философии Авенариуса, гуляющим и что-то живо обсуждающим в компании с сопровождавшим поезд жандармским ротмистром...

— Есть что-то странное,— говорил мне Ленгник, указывая на гулявшую парочку,— если студент не гнушается разговаривать с жандармом.

ПРИЕЗД В ПЕТЕРБУРГ И ПОЕЗДКА В ВЫБОРГ.

В Уфе, выйдя на станцию, я неожиданно встретил Леоновича, с которым я привлекался по делу Лахтинской типографии. Он с жаром начал говорить мне о партии эсеров. Мне почему-то очень не понравился сопровождавший Леоновича какой-то, показавшийся мне подозрительным с виду интеллигент, только-что завербованный им в партию эсеров. Наблюдая, как последний жадно прислушивался к словам Леоновича, говорившего, что партия эсеров готовит террористические акты, я не мог отогнать от себя мысли: «Охранник, переодетый охранник!».

— Слушайте, тов. Леонович, — не утерпел я, — что это за сомнительный тип с вами? Он так походит на шпика.

— Что вы, что вы! — вознегодовал Леонович. — Да это наш уважаемый товарищ, — и, бросив меня, он снова подошел к своему приятелю, возбудившему во мне такие подозрения.

Проехал Москву, где я в первый раз в жизни, по совету Ленгника, осматривал Третьяковскую картинную галлерею, Румянцевский музей и Кремль и я был поражен оценкой русской живописи, которую давал один профессор своим слушателям. «Существует, — говорил он, — итальянская школа живописи, французская, немецкая, фламандская и даже испанская. Но мы, русские, еще не успели создать своей русской школы в живописи, несмотря на огромные достоинства последней».

Я направился нелегально в Питер. Тов. Ленгник ехал туда же, но отдельно от меня.

Сердце забилось во мне сильнее, когда, выйдя с Николаевского вокзала, пошел я по улицам города, который будил во мне столько воспоминаний. Нева, гранитные набережные, острова, колоннады, фронтоны, золотой купол Исаакия, шпиль Адмиралтейства, египетские сфинксы, рабочие кварталы, — все увидел я снова.

В Питере я должен был скрываться.

Стояло начало апреля. Я поселился у студентов, симпатизировавших революции.

— Ты поедешь в Батум, — сказал мне Ленгник, когда я в назначенный день пришел к его хорошему знакомому — инженеру Ульману. — Сначала ты заедешь в Тифлис к Курнатовскому, от него ты получишь все указания. Тебе придется наладить транспорт «Искры», которую должны доставлять на французском пароходе из Марселя в Батум.

— Я хотел бы получить еще другие адреса, — заметил я. — Вдруг что случится!.. Ведь могут и арестовать Курнатовского. Имея только его адрес, никого, кроме него, не зная в Тифлисе, я могу очутиться там в безвыходном положении.

— Да, ты прав. Я об этом не подумал. Приходи сюда послезавтра в это же время. Кроме адресов, ты получишь и деньги на дорогу.

Попрощавшись с Ленгником, я направился в музеи — Эрмитаж и Русский музей. Вечером я разыскал старых товарищей — И. Дрожжина и Виноградова.

Дрожжин увлекался наукой. Не удовлетворившись вечерней школой, он окончил учительскую семинарию и продолжал усердно заниматься самообразованием.

Встреча со мной, видимо, доставила ему удовольствие. При воспоминании о пережитых днях его красивое лицо становилось мягче. Глаза загорались каким-то внутренним блеском. Видимо, он с удовольствием вспоминал старое и в эти короткие мгновения искренно жалел, что из-за увле-

чения наукой временно отстал от движения. Он не переставал оглядывать меня с удовольствием. После двух лет тюрьмы и трех лет Сибири он, видимо, ожидал встретить человека, разбитого тюрьмой и ссылкой и разочаровавшегося в революции. Вид человека, вернувшегося оттуда здоровым и крепким и еще более укрепившимся в мысли о необходимости продолжения революционной борьбы, удивлял его.

— Знаешь, — говорил он, — я одобряю тебя и завидую тебе: ты ведешь красочную жизнь, полную тревог и опасностей. Со временем и я постараюсь последовать твоему примеру.

Петр Виноградов после ареста жил несколько лет на юге России. Ему очень понравились южные рабочие, особенно рабочие-евреи.

— Пожалуй, они выше нас по сознательности и по подготовке, — говорил он.

Вернувшись в Питер, он женился по совету своего дяди, говорившего:

— Надо женить Петьку. Тогда он остепенится.

Женитьба на красивой портнихе начала, как он сознавался сам, его засасывать.

— Не дает мне заниматься, читать. Как я за книги, она бросается мне на шею. «Брось, — говорит, — Петя, книжки эти, зачитаешься»... Принес раз прокламации, она возьми и кинь их в печь, а сама стоит и смеется.— «Так-то спокойнее будет, Петя», — говорит. — Уйди, — говорю я ей, — от меня, ведьма. А она виснет у меня на шее, смеется и кричит: «Не уйду, не уйду. Останусь с тобой, Петя».

Вспомнив, что тов. Оскар Эндберг живет недалеко от Питера, в Финляндии, в Выборге, я решил поехать к нему. Направляясь к нему, я питал надежду вытащить его из Финляндии снова на революционную работу в Россию.

— Чем же вас угощать? — спросил он меня, когда, после долгих поисков по городу, я наконец нашел его и сидел у него в комнате.

— Да ничем, но если уж хотите, то чаем.

— Чаем? — ответил тов. Оскар. — Ну, это у нас будет потруднее.

Он ушел и долго толковал с хозяйкой, об'ясняя ей, как приготовить чай.

— Не умеют, — об'яснял он мне, — финны чай приготовлять. Они кофе пьют.

Хозяйка долго возилась на кухне. Прошло, как мне показалось, не менее часа. Наконец Оскар принес кофейник, в котором хозяйка приготовила чай. Последний был жид-

кий, от него исходил запах кофе и в довершение всего был холоден.

— Говорил я вам, что не умеют наши финки готовить чай, так и вышло, — говорил тов. Эндберг.

— Что ваша хозяйка бедная очень? У нее нет самовара? — спросил я его, удивленный, что она чай принесла в кофейнике.

— Вот чего захотели! — воскликнул тов. Эндберг. — Самовар! Да знаете ли вы, что говорят финны по поводу чая и самоваров? «Не хотим ни самоваров, ни чаю: это — русский обычай».

— А между тем здесь столько лесов, столько жгут древесного угля, что самовар как раз подошел бы. Неужели так не любят здесь все русское?

— Очень не любят. Я подозреваю, что хозяйка нарочно приготовила такой плохой, жидкий и холодный чай, только потому, что это здесь считается русским напитком.

— Вы знаете, — продолжал он, — какие у меня в этом смысле были здесь истории? Я вступил в профессиональный союз рабочих по металлу. Здесь все-таки посвободнее, чем в самой России, и здесь рабочие имеют право организовываться в союзы. Так вот, вступив в последний, я, натурально, стал приходить на его собрания. Меня они чрезвычайно интересовали. Вот прихожу я и замечаю, что косятся на меня финны. Собрания у них всегда оканчиваются танцами. Так вот вижу, что девушки, наши работницы, не хотят со мной танцовать. «Что такое? — думаю. — Сам я — финн, говорю превосходно по-фински, люблю Финляндию, и вдруг... Что такое?»,— думаю. Подхожу к рабочему-финну, начинаю говорить, он мне отвечает: «Мы с русским не желаем разговаривать». Подхожу к девушке, предлагаю ей на чистейшем финском языке потанцовать со мной, слышу: «Я с русским не хочу танцовать».

Однажды пришел я на собрание. Хожу по залу и вижу, что все от меня отворачиваются. Вдруг подскакивает ко мне секретарь союза и говорит:

— Слушайте, Эндберг, я советую вам бросить носить русскую красную рубашку, мы не любим русских обычаев. Хотите с нами жить мирно — одевайтесь, как одеваются финны, т. е. по-европейски, а не по-азиатски.

— Позвольте, — говорю я, — я считаю русскую мягкую рубашку гораздо более удобной, особенно для работы, чем эти твердые, похожие на кандалы на шее, крахмальные воротнички.

— Дело не в том, что она удобнее или неудобнее, а в том, что она — русская рубашка, что она — русский обы-

чай, что она как бы говорит о примирении с Россией, поработившей нашу маленькую родину, наш прекрасный уголок, нашу Финляндию, которую мы любим безумно. Предупреждаем вас, что если вы не перестанете ее носить, мы принуждены будем принять свои меры, вплоть до исключения вас из союза. Ведь то, что вы носите русскую рубашку, позволяет некоторым из членов союза делать предположение, что вы чуть ли не русский шпион.

Так политика угнетения, проводимая царизмом и господствующим классом старой России, вызывала у представителей малых угнетенных народностей и у рабочих, находившихся под несомненным влиянием своей буржуазии, острую ненависть ко всему, что напоминало Россию.

Простившись с Оскаром Эндбергом, решившим остаться в Финляндии, я вернулся в Петербург. Я поселился опять у интеллигента-студента одного из высших учебных заведений Петербурга. При его посредстве и по его инициативе я в первый раз в своей жизни побывал в государственных театрах, в оперном и драматическом.

Я должен сознаться, что до возвращения из сибирской ссылки ни театр, ни музыка, ни танцы в Петербурге не играли в моей жизни никакой роли. Я сложился, воспитался не под их влиянием. Об'ясняется это, вероятно, тем, что я вышел из глубоко похороненных низов рабочего класса, которым доступны были лишь водка и религия.

Судя по тому впечатлению, которое произвел на меня театр Гоголя и Островского и опера Бородина, я уверен, что при иных условиях театр и музыка, играющие такую огромную роль в развитии духовного облика человека, помогли бы мне притти к революции раньше и быть может не таким трудным путем, как это имело место на самом деле.

В указанный Ленгником день и час я позвонил у квартиры инженера Ульмана. Отворившая мне дверь горничная взглянула, как мне показалось, как-то странно. В квартире царил беспорядок. Тотчас вышла жена Ульмана, на которой, что называется, лица не было. Видимо, она была чем-то очень расстроена.

— Зачем вы пришли? — сдавленным голосом произнесла она. — У нас случилось страшное несчастье. Сегодня ночью арестовали моего мужа. Уходите скорее, а то и вас могут арестовать.

— А что с Ленгником? — спросил я, в свою очередь обеспокоенный.

— Ах, ничего я не знаю, не медлите ни минуты. Вам оставаться здесь опасно. Я предлагаю вам для вашей же безопасности немедленно уйти через черный ход, а не через парадный.

Видя, что я как бы оцепенел от неожиданного известия, она вскрикнула вне себя:

— Да уходите же, ради бога, скорее!

Ее лицо, взгляд — все говорило, что она считает меня, как и Ленгника, виновником свалившегося на них несчастья.

— Она права, — сказал наконец я себе. — Надо немедленно уходить.

Положение создавалось довольно затруднительное, особенно после того, как я узнал от встретившего меня студента, у которого я ночевал, что у него тоже, после того как я ушел, был обыск.

Без денег, которых хватило лишь на покупку ж.-д. билета до Батума, с адресом одного лишь Курнатовского я должен был собираться к от'езду в Батум. В Петербурге, среди людей, я почувствовал себя одиноким, как в пустыне. Я не мог среди них отыскать товарищей.

«Незнакомые лично мне, они, может быть, встречались со мной, может, они живут в тех самых домах, мимо которых я проходил»,— говорил я себе.

Перед от'ездом я зашел к матери. Она жила в «углу» (угол — часть комнаты).

Трудно описать ее радость, когда она меня увидала, и горе, которое отразилось на ее лице, когда она узнала, что я должен немедленно уехать. Тотчас же начала безумно рыдать. Она обхватила руками мою шею. Она смеялась и в то же время горько рыдала. Вскоре не только вся квартира, но и многие жильцы в доме узнали, что приехал из Сибири ее сын. Сознавая, что меня могут тут арестовать, я простился и направился к заводам, где я раньше работал.

Сторожа, дворники и даже собаки, выглядывавшие из подворотней, были новые. Я мог безопасно проходить мимо них, никто меня не мог узнать.

«Пять долгих лет прошло с тех пор, — думал я, — как я работал здесь на капиталистов». Я смотрел на мрачные стены заводов и чувствовал снова прилив ненависти к эксплоататорам рабочего класса.

ОТ'ЕЗД НА ЮГ

Простившись с Питером, с заводами, я уехал на юг, где до этого никогда не жил. Стоял апрель. Более мягкая природа, синее небо, необычные для меня, как для жителя севера, яркие звезды, копьеобразные тополя, — все это вызывало во мне восторг перед природой, которая весной снова расцветала во многообразии бытия. С одной стороны, я восторгался картинами южной природы, с другой — я

испытывал какую-то щемящую тоску. Смотря ночью на почти черное небо донских и кубанских степей, на звезды, необычно ярко сверкавшие в выси, на степные огни, мимо которых мы проезжали, я испытывал чувство наслаждения красотой природы. В то же время я тосковал и мне хотелось рыдать и оттого, что моя мать гибнет в тисках нищеты, и оттого, что я попрежнему одинок среди людей... Одиночество угнетало меня и ложилось на мое сердце камнем...

В то время, как я проезжал по кубанской степи, в вагон входили и выходили из него кубанские казаки в своих живописных костюмах.

— Богатый здесь край, — обратился я к одному из них. — Наверное, вам, казакам, хорошо живется?

— Эх, — ответил он совершенно неожиданно для меня, — слава-то у нас казачья, а жизнь-то наша собачья: так говорит наша пословица.

И он начал довольно яркими красками описывать, как тяжело живется бедному казаку: он должен справить за свой счет коня, седло, шашку.

— Худо то, — говорил он, — что казак должен служить всю жизнь, до смерти. Еще хуже, что, возвращаясь через год в станицу, он привязан к ней настолько, что не имеет права уехать из нее без разрешения станичного атамана дальше чем на пятнадцать верст от станицы. Это похоже на крепостное право.

Слова этого казака поразили меня. «Значит, думал я, недовольство, которое мы, революционеры, стремимся вызвать во всех слоях народа, начинает проникать и в эту среду, которая является последней опорой царизма, помещиков и капиталистов».

— Мало среди них таких-то недовольных, — заметил ехавший в том же вагоне рабочий. — Больше богатеев среди них.

Начиная со станции Минеральные воды почувствовалась близость Кавказа. Увидев раз вдали проступавшую сквозь голубоватую мглу снеговую вершину Эльбруса и сиявшие ослепительным светом изломы вершин хребта Кавказа, я чуть не заплакал от радости. Красота Кавказских гор поразила меня. Мне показалось, что я вдруг увидел какой-то иной, сказочный, волшебный мир... Я тотчас представил себе глубокие ущелья, склоны высоких гор, заросшие буковыми и дубовыми лесами, качающиеся от ветра вершины деревьев, голубые озера, горные речки и ручьи, глубоко внизу шумящие по камням мутной волной, и горца в оборванной одежде, но увешенного оружием, в красивой гордой позе сидящего на седле и едущего по горной опасной тропинке. Так я представлял

себе Кавказ по поэтическим описаниям Лермонтова и Пушкина.

На одной из станций, не доезжая до Владикавказа, итальянские рабочие-каменщики строили железнодорожное здание и рабочие-татары поправляли железнодорожный путь. Увидев западно-европейских рабочих, с внешней стороны так непохожих на нас, русских, я обезумел от радости.

«Товарищи, — говорил я себе, подходя к ним, — вот настоящие товарищи...». Но скоро, разочарованный, я должен был уйти от них, так как при незнании языка они не поняли даже, когда я пытался произносить священное, как мне казалось, слово для всех рабочих. Вместо улыбки, которую я ожидал на их лицах, я увидел недоуменное выражение лица, когда я говорил: «социалист».

Опечаленный я вернулся в вагон и, стоя у окна, смотрел на закат солнца. Как только огромный шар солнца опустился за горизонт, вся толпа рабочих татар-мусульман как по какому-то сигналу тотчас побросала кирки и лопаты и, опустившись на колени, с лицом, обращенным к востоку, с выражением искренней веры во взоре, стала молиться.

Тихий вечер, разгоравшиеся краски заката, бородатые фигуры рабочих-татар в их восточных костюмах, склонившиеся до земли,— все производило впечатление чего-то красочного, но говорило в то же время, что религия у мусульманских племен и даже у рабочих еще очень сильна.

«Здесь, на Кавказе, — думал я, — поскольку я здесь останусь, придется работать и поднимать к социализму и этих мусульман. Как хорошо, — продолжал я думать, — что мне придется работать под руководством такого опытного, знающего, образованного и преданного товарища, как тов. Курнатовский».

АРЕСТ ТОВ. КУРНАТОВСКОГО

Тотчас по приезде в Тифлис я направился разыскивать тов. Курнатовского по данному мне адресу. Я нашел улицу, дом, квартиру, где жил Виктор Константинович. Мое сердце забилось сильнее, когда я брался за ручку двери. Но что это такое? На лице хозяйки, в звуках ее голоса я прочел тот же испуг, какой так недавно видел на лице у жены инженера Ульмана. Тотчас упало у меня сердце. Мною овладела тревога.

— Где Виктор Константинович? — спросил я. — Что с ним?

Я чувствовал холод в спине. Страшное подозрение все более овладевало мною.

— Кто вы такой? — спросила меня хозяйка, внимательно оглядывая меня. — Откуда вы?

— Я его знакомый, — ответил я. — Я приехал из Сибири.

— Ах! — облегченно вздохнула она.— Так это вы! Он о вас почти каждый день вспоминал. Он все ждал, что вот-вот вы приедете. Но ведь вы не знаете, что случилось. Прошлой ночью пришли сюда жандармы, долго, почти до утра, рылись в его вещах и арестовали его. Теперь он отвезен в Мцхетский замок. Больше я ничего не знаю. А вам советую немедленно, во избежание такого же несчастья, какое случилось с ним, уходить отсюда.

Хотя ареста, как чего-то совершенно неизбежного, с своего рода фатализмом ждал тогда каждый революционер, хотя он мог случиться с каждым из нас во всякое время, но все-таки известие об аресте тов. Курнатовского оказалось подобным удару грома. Шатаясь, вышел я из дома.

У Мцхетского замка, куда я пришел, стояла большая толпа женщин в характерных туземных костюмах и в круглых низких шапочках на головах. Встретив отпор со стороны стоявшего у ворот тюрьмы надзирателя, отказавшего мне в пропуске к начальнику тюрьмы, которого я думал уломать дать мне, как приезжему, одно свидание с Курнатовским, я ушел от ворот тюрьмы и машинально направился куда глаза глядят по узкой улице в гору.

Между тем погода менялась. Темное облачко, которое я заметил на западе, выросло в огромную свинцовую тучу, заволакивавшую все небо. Внезапно подул ветер, крутя по улице пыль. Зашумели деревья. Стали падать сорванные ветром ветки. Застучали о землю крупные капли дождя. Начался дождь, вскоре перешедший в кавказский ливень. Не успел я оглянуться, как промок до костей. Через несколько минут горная, круто спускавшаяся вниз улица превратилась сначала в горный ручей, а затем в горную речку. Мутная вода, с шумом стремившаяся вниз, доходившая сначала мне до щиколоток, поднялась вскоре мне почти до колен и неудержимо тащила вниз. Чтобы не быть увлеченным потоком в какой-нибудь подвал, я, ухватившись за водопроводную трубу, а затем за стену дома, вошел в первый попавшийся по дороге «духан». Я спросил чаю. Стоявший за прилавком черноглазый грузин об'яснил мне, что чаю у него нет, но что он может предложить мне хорошего красного вина и шашлык. В духане я вспомнил, что многие питерские рабочие считали, что русский человек насытиться может лишь черным хлебом и напиться лишь водкой и что от виноградного вина никак нельзя опьянеть.

— Пьешь его, — говорили они, — оно ровно квас...

Считая, что я тоже, как русский, не охмелею от виноградного вина, которое я пробовал лишь в первый раз в жизни, так как в Питере оно являлось роскошью, недоступной для рабочих, я, ничтоже сумняшеся, выпил один за другим два или три стакана кахетинского вина. Когда я вышел из духана, я почувствовал, что я очень ошибся и что от выпитой бутылки вина я пьянею. Дождь между тем, пока я находился в духане, совсем прошел. Небо очистилось от туч, опять засияло солнце. В его лучах зелень деревьев блестела еще ярче. Громко чирикали и пели птички. В голубой выси снова летали ласточки. Я продолжал итти все вниз. Одежда на мне почти просохла. Только в ботинках еще хлюпала вода. Меня поражала необычайная для севера уличная жизнь в городе. Я прошел мимо кустарей, выделывавших кавказское оружие, чеканщиков ножен, рукояток к кинжалам и побрякушек к кавказским поясам. Меня оглушил крик уличных продавцов. Я вслушивался в непонятный для меня грузинский и армянский и в родной русский говор. Безумная мысль под влиянием легкого опьянения пришла мне в голову: итти в жандармское управление и просить свидания с Курнатовским.

«На грех и из палки выстрелит, — думал я. — Вдруг разрешат мне свидание; чем я рискую? Скажу, что только-что приехал из Сибири и хочу видеть моего старого знакомого. На свидании все-таки я, быть может, получу от тов. Курнатовского какие-нибудь руководящие указания относительно транспорта «Искры».

В доме, где помещалось жандармское управление и куда я входил, царствовала между тем мертвая тишина. Жандармы, утомленные удачной ночной охотой за революционерами, очевидно еще спали. На дворе не было видно ни души. Ничто, казалось, не указывало, что здесь помещается грозное для нас, революционеров, учреждение. Я беспрепятственно прошел двор, поднялся по обычной для Кавказа боковой наружной лестнице на веранду второго этажа. Я пошел по галлерее, но лишь только я взялся за ручку двери, как на пороге ее появился жандармский унтер-офицер.

— Вам что нужно? — спросил он, внимательно и строго оглядывая меня с ног до головы.

— Мне нужно видеть начальника жандармского управления, — сказал я.

— Для какой надобности? — допрашивал он.

— Я хочу просить свидания с арестованным вчера моим знакомым Виктором Курнатовским.

Мой ли вид человека, одетого в измятый после проливного дождя, только-что высохший костюм, вид неизвестного, покрытого до колен грязью, на которую я как-то, идя по ули-

це, не обращал внимания, произвел на него такое впечатление, показался ли я ему на самом деле человеком, который выпил лишнее, но только он вдруг, позвав еще другого жандарма закричал, на меня:

— Пошел вон отсюда! Уходи, пока цел, пока не накостыляли по шее. Насоломов, — крикнул он жандармскому унтерофицеру, — спусти его по лестнице, чтобы он помнил, как сюда ходить. Дай ему раза, чтобы выпучил глаза!..

Видя, что Насоломов на самом деле делает жест, чтобы нанести мне удары кулаком в шею и ногой в зад, я, чтобы избежать их, со всех ног бросился вниз, но, нечаянно споткнувшись, покатился вниз по лестнице.

— Ха-ха-ха! — слышал я, как смеялись надо мною жандармы. — Ишь пьяница забрался куда. Сколько этой дряни, всякой сволочи шатается. Упаси, боже! А ловко ты его Насоломов шибанул. До самого низа так и покатился...

Поднявшись, я окончательно пришел в себя. Я был чрезвычайно рад, что дешево отделался, что я не арестован и ушел без переломанных ребер и тому подобных увечий. Ругая себя за только-что совершенный безрассудный поступок, я решил, что мне не остается ничего больше, как уехать с первым поездом в Батум, тем более что у меня в кармане лежало туда письмо от Рослякова.

БАТУМ

Мысли о трагической судьбе славного товарища В. К Курнатовского не покидали меня, когда я садился в вагон отходившего на Батум поезда. Года не прошло, как он вырвался из сибирской ссылки и уже тюрьма, как ненасытное прожорливое чудовище, снова поглотила его под свои мрачные своды. «Кто знает, — думал я, — может быть и меня ожидает такая же участь; может агенты охранки едут уже в одном со мной вагоне; может тотчас по выходе из поезда меня также схватят и отвезут в тюрьму. Но не все ли равно: арест, как и смерть, неибежен...» Чтобы избавиться от тяжелых мыслей, я подошел к окну и тотчас замер от восхищения. Поглощенный навалившимися на меня мыслями, я не заметил, что мы проехали почти все расстояние от Тифлиса до Батума. Уже поезд несся по Черноморскому побережью. Черное море я видел впервые, и оно привлекло все мое внимание. Столько ярких красок, столько бодрых веселых тонов!.. Я засмотрелся на его волны, которые, набегая непрестанно на берег, с шумом разбивались о береговые скалы, я засмотрелся на его синее пространство. И чем более я смотрел на это «синее море», тем светлее и радостнее становилось на

душе, тем сильнее хотелось жить и бороться за великое будущее, которое ждет человечество при социалистическом строе. Как зачарованный глядел я на развертывавшуюся передо мною прекрасную картину, получавшуюся от сочетания красивого горного берега с бесконечной водной равниной. Синее море окаймляется грядой зеленых вздымающихся вверх гор, поросших орешником, кизелем, буком, кленом, каштаном, грабом, дубом и другими деревьями. Над горами и морем раскинулось голубое небо. Как отчетливо выделяется на фоне этих ярко-зеленых гор и сине-зеленоватого моря фигура грузина-аджарца, с зеленым флажком в руке провожающего поезд у переезда! Его голова повязана по-восточному белым башлыком. Наконец поезд остановился. «Батум», — прочел я надпись на вокзале. Я вышел из вагона. Я прошел мимо толпы амбалов (грузчиков) — армян, турок, аджарцев и грузин. Мне нужно было пройти весь город, мимо мечетей, шумного базара и новых построек в рабочий поселок в пяти верстах от Батума. Когда я проходил через город, особенно через шумный, крикливый базар, где продается обыкновенно множество всевозможных ягод и фруктов, мне показалось, что я попал в своеобразный уголок Востока со своею особенною жизнью, со своими отличными от наших обычаями. Меня поразило, между прочим, что грузины-мусульмане (аджарцы) довели жестокий, изуверский и негигиенический обычай, заставляющий женщину прятать свое лицо от мужчин, до полного абсурда. Если в Константинополе мусульманский обычай заставляет женщину закрывать от взоров посторонних проходящих по улицам мужчин только лицо, то в Батуме женщина-мусульманка принуждена была прятать на улицах от посторонних мужчин не только лицо, но и шею, и плечи, и все свое туловище до самых пят. Жестокий обычай заставлял женщину-аджарку надевать на себя, не довольствуясь чадрой, целый мешок из редкой материи. Тяжело было смотреть на этих несчастных, особенно в летнюю 50-градусную жару, как они в этих мешках, без дыр для глаз и для дыхания, задыхаются и обливаются потом. Эти мешки являются, вероятно, источником всевозможных заболеваний, в особенности туберкулезом. Завидуя, наверно, грузинкам, армянкам и русским женщинам и в то же время не решаясь, под гнетом религиозного обычая, открыть свое лицо и формы тела, они бродили по улицам города, беспомощно путаясь в длинных, доходящих до пят мешках и спотыкаясь в них *.

* Посетив через двадцать лет Батум, я убедился, что в одежде мусульманки-аджарки за истекший период произошел известный сдвиг: так, они заменили прежний мешок чадрой, покрывающей лишь лицо.

Пораженный всем виденным, я продожал путь в так называемую «Холодную слободу», построенную русскими в самой нездоровой, лихорадочной местности — в устье горных речек Барцхана и Кинтриш. Русские переселенцы в Закавказье, по обычаю жителей долин и вследствие незнакомства с местными условиями, селились у самой воды, на берегу речек, где гибли от малярии массами.

Дорогою в эту Холодную слободу я все время слышал какие-то необычные звуки, напоминавшие не то пение птиц, не то кваканье лягушек, исходивше из водосточных канав. К моему удивлению, эти звуки издавали именно кавказские лягушки *. Пройдя берегом моря заводы Манташева, Нобеля, я дошел наконец до завода Ротшильда, называвшегося сокращенно «Бнито».

Перед заводом выделялся трехэтажный чистый веселенький дом для служащих. Здесь жил один из представителей заводской администрации — заведующий лесным складом Гервасий, родом кубанский казак, интеллигент; за участие в народовольческом движении он был сослан в отдаленный город Сибири. Обдорск, лежащий в устье Оби. Как у многих революционеров, его молодость и лучшие годы жизни прошли в этом маленьком городке на краю сибирских тундр. Здесь он женился на сестре тов. Рослякова.

Гервасий принял в моей судьбе самое живое участие и предложил даже, пока я не устроюсь с работой и с квартирой, поселиться у него. На его квартире с неизбежной на Кавказе террасой, откуда открывался прекрасный вид на море, где обедали, пили чай и вообще проводили большую часть времени, я познакомился с кавказским марксистом — грузином тов. Тускиа.

Гервасий, выдававший себя за народовольца-террориста, представлял собою человека с чертами русского барина и с известной долей самодурства. Характерные особенности последнего у него сказывались в его способе обращения с рабочими лесного склада, которым он заведывал. Так как рабочие у него были главным образом турки, он изучил турецкий язык. Противопоставляя себя немцу Штубнеру, заведывавшему механической мастерской и соединявшему в себе всю утонченность эксплоататора рабочих по западно-европейскому образцу с противоестественной развращенностью кавказской буржуазии, Гервасий любил хвастать, когда бывал под хмельком, своими способностями управлять рабочими упрощенным способом.

* О подобных лягушках на Кавказе упоминается в рассказах Льва Толстого.

— Не люблю я штрафовать рабочих, — говорил он, обычно за рюмкой водки, — я не то, что Штубнер. Он так штрафует своих рабочих-грузин за всякий пустяк, что иногда на штрафы у последнего уходит почти четверть заработка в месяц. Зачем обижать рабочих? Они и так мало получают. Я иначе поступаю. Провинился турок: поймаю его за курением. Хороший он народ, честный, непьющий, а вот курит. А у нас в лесном складе строго-настрого запрещено курить. Так вот зову к себе его или, застав его на месте, так сказать, преступления, на их же языке говорю ему: «Ты что, такой-сякой, сделал?», да раз ему в ухо, раз ему в зубы, р-р-раззз ему в другое ухо. «Пошел, — говорю ему, — от меня. Чтобы этого больше никогда не было!». Очень они бывают довольны таким оборотом дела. Меня же и благодарят по обыкновению на ломаном русском языке. «Спасибо,— говорит,— паша, что не оштрафовал. Мой дурак был. Хорошо, что в зубы давал. Мой морда бил, бедный человек пожалел, с работы не прогнал и деньги в мой карман оставил. Аллах справедлив, и ты справедлив. Большое спасибо, паша».

— Но это же — самодурство! Так поступают крепостники, владельцы плантаций и рабовладельцы. Ты же с гордостью называешь себя народовольцем,— возражала его жена, симпатизировавшая социал-демократам.

— Все это слова, — отвечал Гервасий, все более пьянея. — Подумай, как мне быть. Наш директор, хотя и называет себя либералом, но отдает приказ: «Рабочих в струне держать, поваДки не давать, штрафовать, увольнять». Оштрафуй я его, уволь, прогони с работы, он же меня потом в горах подстрелит. Я не увольняю, не штрафую. У меня порядок. Все в струне ходят. Меня даже любят, так как я не позволяю рабочих обсчитывать, как это делается в других частях завода, например у Штубнера. У меня, что заработал, то и получи. То, что ты сказала мне, что я — народоволец, это верно. У меня болит душа за угнетенный народ.

Говоря последние слова, он уже был во хмелю и плакал. Слезы капали у него из глаз, голова свисала на грудь, и он засыпал.

Так как Гервасий находился со Штубнером в большой ссоре, то с просьбой принять меня на завод к Штубнеру обратился по просьбе Гервасия один из конторщиков.

— Только не показывайте вида Штубнеру, что вы знакомы со мной, иначе вы все испортите. Он немедленно вас прогонит.

БАТУМ. НА ЗАВОДЕ У СТАНКА

После пятилетнего перерыва я снова очутился на заводе. Он не был, как в Петербурге, выстроен из толстых кирпичных стен, а был сооружен из железных балок и стропил, обтянутых тонкими листами оцинкованного волнистого железа.

Как только я переступил его порог, я тотчас почувствовал себя в его власти. Я как бы перестал быть самим собою, свободным человеком, а стал его придатком, своего рода говорящим инструментом. Завод уже регулировал мою жизнь, не спрашивая моего согласия. Я вставал, шел на работу, обедал по свистку. Я снова, как раньше в Петербурге, услышал шум и лязг машин и удары молотом по металлу. Перед обедом и вечером я мыл вместе с другими руки в маленьком ведре, наполненном неимоверно грязной водой. Мыть руки до свистка не полагалось. Так как рабочие стремились уйти с завода, который им опостылел, который они ненавидели всей душой, немедленно после заводского гудка, они мыли руки украдкой до свистка и по необходимости в грязной воде маленького ведерка, которое удобнее было прятать от мастера. Постоянная необходимость украдкой от зоркого взора последнего отдыхать, когда уставала рука, начинала болеть спина и отекать ноги, украдкой курить, украдкой перекидываться словами с соседом, украдкой есть принесенный с собой хлеб, пить чай, украдкой мыть руки, постоянно торопиться не опоздать на завод утром, после обеда, торопиться обратно к станку, к тискам после того, как нужно было выйти из мастерской на двор завода, — все это, помимо придирок, всякого рода замечаний, подчас резких и даже не лишенных грубости, с первого же дня заставило и меня возненавидеть завод, его порядки и мастеров.

Мастер Штубнер по моей манере держаться и говорить сразу учуял во мне непокорного. Я не снимал перед ним шапки, не заискивал. Этого было достаточно, чтобы и он возненавидел меня с первых же минут. Унижаясь сам перед директором, заискивая перед последним, он любил лишь тех рабочих, которые отличались холопскими качествами.

Я поступил на завод на другой день по приезде, т.-е. по старому стилю 13 апреля 1901 года, цветущим, здоровым человеком. Когда я, как все вновь поступающие рабочие, разделся и стоял совершенно голый перед заводским фельдшером, производившим телесный осмотр всех вновь поступающих рабочих, он сказал заводскому табельщику:

— Ну, этого и смотреть нечего. Таких здоровяков у нас давно не поступало на завод

Сдав пробу, хотя прошло уже пять лет, как я забросил слесарное ремесло, я, вспомнив питерские нравы рабочих, процветавшие десять лет перед тем, спросил слесаря из Ростова, работавшего рядом со мной:

— Когда ставить привальные?

— Что вы, — ответил мне ростовец, бывший лучшим слесарем на заводе. — За кого вы нас в особенности меня принимаете? Это время прошло. Мы к вам, как к новому, должны были бы притти на помощь. Нет, никаких привальных ставить не следует.

Штубнер, обещавший мне платить 1 руб. 60 коп., надул меня на гривенник и положил мне жалованье 1 руб. 50 коп. в день. Первое время работать мне было очень тяжело: болели и ныли руки; на ладонях появились водяные пузыри, и во всем теле чувствовались страшная усталость и разбитость. Усталость, впрочем, меня не покидала и в праздники. Я не успевал отдохнуть за воскресенье. В конце концов я втянулся и снова, как и тринадцать лет тому назад, много и упорно работал. По совету Тускиа я поселился в рабочем предместье, так называемом «Городке». Здесь жили рабочие, к которым меня тянуло. Так как я намеревался посылать моей матери деньги, то я поселился в комнате за 4 рубля без всяких услуг. Комната имела всего 3½ арш. длины и 2 арш. ширины. Пол ее лежал прямо на земле, без всякого фудамента. Стены комнаты не были толще однодюймовой доски. Ночью по комнате бегали и пищали крысы. Жилище, словом, было самое пролетарское.

Рабочий день начинался на заводе в 6 часов утра. Я вставал в 5 часов утра.

Все в Городке, или, иначе, в Холодной слободе, зеленело и цвело. Из-за палисадников и невысоких заборов, мимо которых я проходил, видны были на фоне моря и гор в полном цвету розы, олеандры и т. д. и бутонившиеся магнолии.

Как только я входил в завод, меня тотчас оглушали визг и стук машин, вальцовавших, резавших, сгибавших, придававших устойчивую форму кускам жести, склепывавших в большие для пуда керосина коробки-бидоны. Рабочие-грузины суетились около этих машин, перебегая от одной к другой. Плоские листы жести, привозимой из Англии, машина превращала в большие прочные четырехугольные бидоны. Машина (конвейер) подхватывала их и несла через весь широкий двор в другую, наливочную мастерскую, где ма-

шина же их автоматически наполняла керосином, и другая запаивала их оловом.

Завод изготовлял в день 40 000 таким образом налитых керосином и готовых к отправке коробок. Каждая обходилась заводу вместе с керосином в 30 коп. Начиная от завода, вплоть до самого города стояли огромные круглые резервуары, наполненные керосином и нефтью. Почва в этих местах пропитана была нефтью. В некоторых местах ее стояли целые лужи.

Обедал я в духане. На полках здесь лежали «бурдюки» с вином (бурдюки — мешки для вина, сшитые из шкур мехом внутрь). Духанщик брал за обед 15 коп. Но эта плата была недоступна для большинства рабочих-грузин. Последние, купив тут же у завода у продавцов блюдечко лобио * и чурек **, обедали в самом заводе, запивая лобио и чурек простой водой.

Рабочие завода Ротшильда представляли собой почти все главные национальности России. Кроме грузин, армян, кавказских горцев, немцев, украинцев, поляков, великороссов, были здесь и турки с анатолийского побережья Черного моря. Большинство рабочих на заводе были грузины. Они подвергались самой ужасной эксплоатации.

На заводе, как и всюду в России, сохранялся унизительный для рабочих обычай обыска. Два раза в день после заводского гудка нас встречал целый ряд сторожей-турок, вооруженных палками, преграждавших нам выход. Каждого рабочего, прежде чем пропустить за ворота завода, сторожа-турки прощупывали с ног до головы, стараясь поймать рабочего, не несет ли он чего-нибудь краденого. Однажды, когда я прошел оскорбительную для человеческого достоинства процедуру обыска и приближался к выходу, у которого стоял старый сторож-турок, внимательным взором еще раз осматривавший каждого проходившего за ворота, я вдруг услышал сзади себя пронзительные крики, сопровождавшиеся сухими ударами палки. Я невольно быстро оглянулся. Передо мною представилась следующая картина. Высокий, молодой сторож-турок наносил толстой палкой удары по голове одному рабочему-грузину. Звонко отдавались страшные удары палки по плешивой голове несчастного. Его белая грузинская шляпа давно свалилась на землю. Сам он после каждого удара по голове вскрикивал: «ай-ай-ай!» и подпрыгивал на пол-аршина от земли, беспомощно размахивая руками. Я остолбенел от ужасного зрелища. Удары между тем не пере-

* Лобио — турецкие бобы, которые рабочие-грузины ели руками, не употребляя ни ложек, не вилок.

** Чурек — хлеб.

ставали сыпаться. Несчастный продолжал кричать и подпрыгивать. Связка растопок, которую он выносил под блузой для своей семьи, стоившая не более 3 или 5 коп., рассыпавшись, валялась на земле. Рабочие молча, стиснув зубы, не вмешиваясь, не протестуя против избиения их товарища, продолжали выходить из завода. На лицах сторожей лежало выражение, какое бывает у ломовиков, бьющих свою лошадь. Я сделал было движение в сторону сторожа; я хотел крикнуть: «Что вы делаете? За что так жестоко вы бьете человека? Ради кого и ради чего?»

Тускиа, шедший рядом со мной и понявший мои намерения, схватив меня за руку, сказал:

— Молчите, вас немедленно выгонят, если вы устроите скандал, а может быть, и изобьют.

— Как это ужасно! — говорил я Тускиа. — Я удивляюсь, как этот рабочий после такого избиения остался жив. Как не треснул череп у него от этой бесчеловечной расправы. Я насчитал не менее двадцати ударов.

— Мне самому ненавистно это рабство, — отвечал Тускиа, — это терпение рабочих. Надо раскачать их, как вы говорили, надо пробудить в них чувство возмущения против ужасной доли, против невыносимой эксплоатации на заводах в Батуме, против такого унижения человеческого достоинства.

Глаза Тускиа, когда он говорил, сверкали чувством возмущения и гнева. Мы давно миновали завод; мы шли по улице, усаженной копьеобразными тополями, буками, кипарисами, акациями и т. д. Мы перегнали древнего типа телеги — арбы, в которые были запряжены буйволы, отличающиеся силой и медлительностью в движениях. Так как колеса в этих арбах вращаются вместе с осью, на поворотах они сильно скрипели. Мы вышли к морю, к гавани, начинавшейся сразу же за заводом. Здесь разгружались и нагружались морские суда. Грузчики (муша)-туземцы несли на своих спинах такие огромные тяжести, что казалось, что вот-вот они их раздавят. Мы прошли улицу, населенную проститутками. Сидя и стоя у открытых дверей своих комнат, выходивших прямо на улицу, через которые виднелись кровати, они зазывали к себе посетителей, преимущественно матросов. Они начинали по своему обыкновению хватать нас за руки и тащить к себе в комнатушки.

— Пойдемте обратно, — предложил мне Тускиа, — а то от них не отобьешься.

Когда мы шли молча по берегу батумской бухты, большие черпаки машины, чистившей дно гавани, поднимались и опускались. Одновременно цепи, на которых они двигались,

скрипели и визжали так громко и тоскливо, как будто в их надорванном скрипе были воплощены все скрытые слезы и затаенные, неотомщенные рыдания, которых здесь, среди этой цветущей природы, мы встретили так много.

Мы прошли турецкий базар, мимо турецких мечетей, бань, мимо кофеен, где турки пили черный кофе без сахара в маленьких чашках, предварительно смакуя аромат, который издавала кофейная жижа. Здесь нас оглушили шум и резкие гортанные крики толпы, из'яснявшейся на множестве кавказских наречий. Нам попадались навстречу аджарцы с башлыками на головах, в коротких куртках, в поясах, за которыми торчало оружие, в штанах с широкой мотней сзади, по-турецки. Они шли в сопровождении своих жен, одетых в мешки, скрывавшие их с головы до пят. Стройные грузины и горцы в длиннополых бешметах, с огромными кинжалами, в мохнатых шапках из коричневой мерлушки, поминутно попадались нам навстречу.

— Как вам нравятся слесаря, среди которых вы работаете? — спросил меня Тускиа.

— Слесаря — довольно культурный народ. В подавляющем большинстве своем они — русские. Они не лишены даже сознания собственного достоинства. Среди них совершенно не замечается принужденности и условности, которых так много в других классах и слоях общества. Они откровенны в том, что другие лицемерно скрывают и делают потихоньку. К сожалению, великая идея освобождения рабочего класса их почти не коснулась. Все свободное время они проводят за разговорами о женщинах. Говорят о женщине большею частью грубо и цинично, но это только на словах. На деле каждый из них наверно испытывает острую потребность в нежной любви к женщине. Иначе и не может быть. Они также уделяют много времени танцам и чтению французских романов. По праздникам большинство из них, как вы это знаете, одевается настоящими джентльменами.

— А пропаганде они поддаются?

— Да, они охотно меня слушают и всегда предупреждают, когда приходит жандармский унтер-офицер. «Смотрите, — говорят они,—ваш «приятель» опять пришел, вон он стоит, притаился за той машиной и подсматривает: не ведете ли вы среди нас пропаганды».

— Да, — подтвердил Тускиа, — этот жандарм приходит раза два в неделю и все норовит застать вас врасплох. Хочет сам собственными глазами убедиться, как вы себя ведете на заводе. Это называется находиться под надзором полиции.

Мы очутились на Морском бульваре. Мы шли по пальмовой аллее. Мое лицо обвевал свежий морской ветерок,

и я вдыхал полной грудью здоровый морской воздух. Внизу морские волны с непрекращающимся шумом и брызгами набрасывались жадно на берег, как будто желая его поглотить. Сердито ворча, они отступали, скатывались вниз. Затем снова, покрытые пеной, с рокотом и ревом они набрасывались на прибрежный песок. На песке за бульваром сидели какие-то большие птицы. Они что-то кричали и как будто звали туда, где на горизонте опускался в море огромный шар солнца.

Французы, как мне говорили, называли Батум «писсуар де ла мер нуар». Здесь были не дожди, а ливни, которые сменялись страшно жаркими днями. Воздух был наполнен влагой. Было жарко и душно, как в бане. Ночи, наоборот, были холодные. Барцхана и Кинтриш вздувались от дождей и ревели, неся по камням свои мутные воды.

Желая помочь матери, жившей с братом Павлом «в углу» в Питере, и брату Егору, у которого в полку украли казенный револьвер и которого «лупил», как он мне писал, саженного роста вахмистр кирасирского полка, я ходил в ботинках, из которых видны были пальцы, не решался купить необходимый в Батуме зонтик и продолжал жить в своем ящике с окном и дверью, поставленном прямо на землю, без фундамента. Промокнув до костей, я не мог не только просушить за ночь свой пиджак и брюки, я, живя в городе с субтропическим влажным климатом, в комнате без печей, находил их утром не только сырыми, не успевшими в этом насыщенном влагой воздухе просохнуть, но даже покрытыми какой-то зеленью, появляющейся обыкновенно на гниющих растительных веществах. Револьвер, подаренный мне тов. Ленгником, через месяц жизни в Батуме превратился в кусок ржавчины, так как я позабыл его смазать салом. Живя в таких условиях в Городке, куда стекали все воды из Батума, где не были тогда осушены лежавшие неподалеку болота и где гнездилась малярия, я через месяц заболел кишечной болезнью, малярией и ревматизмом. Я заболел так сильно, что оказался в состоянии работать всего два-три дня в неделю.

Пока я находил в себе силы выходить из дома, я часто приходил к Гервасию. Сидя у него на террасе, я постоянно видел Черное море, сливавшееся вдали с горизонтом, белые паруса рыбачьих баркасов, морских птиц, взлетавших над морем и постоянно что-то кричавших. Шум прибоя заглушался стуком и визгом машин и их частыми вздохами. Я наблюдал, как они то поднимали, то опускали свои стальные руки. Из окна видны были трубы заводов с тянувшимися к небу хвостами черного дыма. Через двор пробегали две

горничные-грузинки, к которым постоянно приставали с любовными предложениями жившие здесь заводские служащие.

— О чем думаете? — спросила меня Анна Павловна, жена Гервасия. — С той поры, как вы заболели, вы такой грустный. Писем, которых вы так ждете, еще нет.

— Я думаю о том, что у вас на заводе два мира, непохожие друг на друга, что эти табельщики, конторщики, мастера, глумящиеся над рабочими, еще больше, чем капиталисты, переоценивают прочность существующих порядков. Им кажется, они совершенно уверены, что постоянно можно будет так нагло обманывать, обсчитывать рабочих, подвергать их кулачной расправе, бить их палками. Они не представляют себе, что терпение рабочих наконец лопнет и что они об'явят забастовку.

— Трудно на это надеяться. Многие из рабочих, говорящие на различных кавказских наречиях, даже не понимают друг друга. Затем грузины ненавидят армян, а армяне — грузин. Христиане не питают симпатии к мусульманам. Последние платят такой же монетой христианам. Директор завода, учитывая это, применяя принцип: «разделяй и властвуй», держит, как он говорит, в «струне» это разноплеменное человеческое стадо.

— Стадо рабов, хотите вы сказать, — возразил я. — Согласен. Но настанет день, и рабы восстанут. Внешняя покорность обманчива. Мы, социал-демократы-марксисты, уже занесли революционную бациллу на седой Кавказ. Вы думаете, мой знакомый тов. Курнатовский не поработал над этим в Тифлисе? Посмотрите, сколько сюда выслано рабочих за стачки из Петербурга и из других мест России. Все они ведут пропаганду. Семена, которые они сеют, падают на благодарную почву. Я чувствую и здесь те же признаки возмущения, которые я уже наблюдал накануне великой стачки петербургских ткачей в 1896 г. Ведь была в Тифлисе всего два месяца назад, 22 апреля, демонстрация, о которой напечатано было в газете «Новое обозрение», № 5685 от 26 апреля. На улицах столицы Кавказа в этот день появилось впервые красное знамя пролетариата. Произошло столкновение с полицией, пытавшейся вырвать это знамя из рук несшего его рабочего. Над седыми горами Кавказа повеяло свободой.

Было уже поздно, когда я возвращался от Гервасия в свой ящик. Было темно. В совершенно черном небе горели звезды.

На другой день я шел на завод обычной дорогой через Городок. Цвели розовая японская мимоза, олеандры, розы. Разливали медовый запах распустившиеся белые магнолии. Все сады, аллеи, улицы, по которым я шел, были наполнены

ароматом от множества цветов. Я шел, едва передвигая ноги от невыносимой боли в ноге, и казался самому себе пасынком среди этой роскошной природы.

— Товарищ Шапувал, неужели это вы? — окликнула меня Желабина *, жившая с мужем в Батуме. — Вы приехали сюда месяц тому назад таким крепышом, а теперь вы превратились в настоящего калеку. У меня слезы навертываются на глаза, когда я смотрю на вас. Уезжайте вы из этого проклятого Батума, от этого гнилого, сырого, лихорадочного климата!

На заводе, у входа в заводскую амбулаторию я увидел лежавшего прямо на голой сырой земле огромного рабочего-турка с анатолийского побережья, только что раздавленного одной из заводских, груженых ящиками с керосином в бидонах, вагонеткой, на которых по проложенным рельсам отвозили в порт грузить на пароход пудовые жестянки с керосином.

Он, лежа на земле, стонал и корчился от боли.

— Что такое с ним? Почему он лежит на земле? — спросил я.

— Уже два часа лежит он,—ответил рабочий-грузин.—Он упал, подталкивая по рельсам свою вагонетку. В это время на него наскочила ехавшая сзади за ним другая груженая вагонетка.

— Но почему же его не внесут туда, в амбулаторию, не положат на кровать?

— Порядок такой,—ответил мне желчно рабочий-грузин.— Нады ему очередь дожидать. Там доктор господа принимают.

В полуоткрытые двери видно было, как фельдшер очень любезно разговаривал с одной заводской дамой. Блистая белоснежными крахмальными, твердыми воротничками, прошел, брезгливо поглядев на лежавшего и продолжавшего стонать рабочего-турка, щегольски одетый инженер.

— Вы к доктору? — засуетился перед ним фельдшер, подавая стул. — Он сейчас вас примет, в первую очередь.

При виде того, как доктор и фельдшер попросту забыли про рабочего-турка, сознавая, что они его не принимают даже за человека, чувство возмущения поднялось во мне.

— Эх, что же вы молчите? — крикнул я рабочим, молча и покорно продолжавшим ждать своей очереди к доктору.

Я прошел мимо них, давших мне дорогу.

— Что у вас за безобразие творится! — громко и твердо сказал я, обращаясь к фельдшеру. — Почему вы оставляете

---

* См. Невский. Очерки по истории РКП(б), стр. 407.

рабочего-турка целых два часа валяться на земле в грязи, ровно собаку? Это же возмутительно, ведь он такой же человек, как и вы, и он заслуживает такого же внимния к себе; ведь он почти умирает. На его губах какая-то кровяная пена. Как вам не стыдно! Вы любезно разговариваете здесь, а его оставляете лежать там прямо на земле.

— А вы кто такой! — окрысился на меня фельдшер. — Кто дал вам право вмешиваться в заводские порядки? Вы думаете, что поскольку вы были в Сибири, что вы социал-демократ, так для вас все возможно здесь. Нет, руки коротки, батенька! Благодарите бога, что вас держат здесь. Не забывайте, что здесь военное положение. Если начнете мутить рабочих, здесь не будут церемониться, быстро руки к лопаткам прикрутят. Хоть бы конторщик был, а то просто слесаришка. А фордыбачит!..

— Вы что, — ответил я, — хотите на меня донести жандармам, что я в турке вижу такого же человека, как я сам? Так я этого не боюсь. Доносите!..

— А вы знаете, батенька,— начал снова фельдшер, — что такое мусульманский фанатизм? Ведь рабочий-турок до такой степени находится во власти религии, что не хочет обыкновенно обращаться за помощью к гяуру-врачу. А вы тоже говорите, что мы жестокосердны, что не понимаем, что рабочий-турок тоже человек. Ишь какой гуманист нашелся!

— Что такое, что за шум? — вмешался доктор, появившийся на пороге своего кабинета.— Какой там еще турок? Ах, да это тот раздавленный! Я действительно забыл о нем. Что же вы не напомнили мне о нем? — обратился он к фельдшеру.— Скажите, чтобы немедленно несли его сюда. Мы его посмотрим.

— Очень хорошее впечатление,— рассказывал мне Тускиа,— произвело на остальных рабочих ваше заступничество за рабочего-турка. Никто из них не знал, что вы — бывший политический ссыльный и социал-демократ. Этот дурак фельдшер так кричал, что теперь это стало всем известно. Теперь создалась опасность, что ваши дни сочтены здесь. Если русский ударит рабочего-турка или персианина, это считается хорошим тоном. Если же он, наоборот, заступается за них,— это уже никуда не годится. Вы как раз поступили наперекор всем создавшимся обычаям и традициям на заводе. Все зависит, как взглянет на это дело директор.

— Вы поступили вполне благородно,— говорил мне мой сосед, ростовский слесарь.— Вот этот никогда не решился бы на такой поступок,— говорил он, указывая на слесаря-поляка, работавшего на этом же заводе.

Захудалый шляхтич, он прибыл сюда из самой Варшавы. Он ненавидел все русское. Очевидно, он считал ниже своего достоинства быть за панибрата с нами, рабочими, которых он считал «хлопами, быдлом». Чуждаясь рабочих, редко вступая с ними в разговоры, он явно заискивал перед мастером Штубнером и его помощником. Рабочие подозревали его в наушничаньи. «Остерегайтесь этого ясновельможного пана,— говорили они мне. — Перед ним ни гу-гу... Иначе сейчас же донесет Штубнеру».

Однажды, когда артельщик вез на завод на фаэтоне * деньги для уплаты жалованья рабочим, трое грузин, в черных бурках, в меховых шапках, вооруженных винтовками, револьверами и кинжалами, спрятанными под бурками, остановили фаэтон. Нападение на экипаж, охраняемый тремя стражниками, среди белого дня в населенной местности было безумно смелым. Оно удалось благодаря своей неожиданности. Стражники, растерявшись, бежали. Им показалось, что их атаковали не менее десяти человек. Нападавшие бежали, но были настигнуты земской стражей и солдатами. Двое пали под пулями в перестрелке. Третьему удалось достигнуть крутого, почти отвесного горного обрыва, густо заросшего колючими кустарниками и деревьями, спускавшегося прямо к морю. Настигаемый погонею, осыпаемый пулями беглец остановился на краю обрыва. Выхода не оставалось: пасть под пулями, отдаться в плен или броситься с обрыва. Уже показались фигуры преследовавших его солдат. Медлить было нечего. Быстро решившись, он, окутав лицо, голову, руки буркой, держа в руках сумку с деньгами, тотчас бросился головой вниз с кручи. Никто из подбежавших солдат и стражников не решился последовать его примеру. На колючках шиповника, лиан, терновника они нашли клочки его одежды. Сам он бесследно исчез, унеся с собой деньги. На всем склоне обрыва, от вершины до самого моря, не нашли ни его, ни его трупа.

— Смелые эти три разбойника, — высказался я, выслушав рассказ тов. Тускиа.

— Вы знаете,— ответил он,— у нас, у грузин, в народе такие люди не считаются разбойниками. Содержание народных песен полно рассказами об их геройских подвигах, сводившихся к увозу невест, к угону табунов коней, стад овец и т. д.

Гервасий уверял, что у русских со времен покорения Кавказа сохранилось своеобразное уважение к горцам, к этим людям, долго боровшимся за всю независимость. Русские, начиная с казаков, перенимали костюм кавказских племен.

---

* Рессорный, дышловый экипаж.

Подражать «джигиту», т. е. быть смелым, отважным, являлось одно время модой.

В произведениях Лермонтова, Пушкина и Л. Н. Толстого отразилась эта черта непримиримости, отважности, гордости побежденных.

Лично мне очень нравились рабочие-кавказцы, среди которых большинство было грузин. Чем-то еще нетронутым, искренним, беззаветным веяло от них. Среди них наша пропаганда, видимо, имела большой успех.

Кроме турок, самыми отсталыми рабочими являлись рабочие-персы. С примитивными потребностями, они в то время ухитрялись в Батуме селиться по 15 человек в комнате для двух человек, устраивая нары по нескольку этажей, и являясь туда лишь ночевать.

У Гервасия над Батумом на горе находился небольшой участок земли и дача. Ввиду того, что моя болезнь все усиливалась, Тускиа настоял на переводе меня в одну из пустовавших комнат.

— Да вы серьезно больны, — сказал мне раз пришедший навестить меня Гервасий, — у вас 40-градусная температура. Я не знал этого и думал, что вы притворяетесь больным, переехали сюда, чтобы удобнее печатать эти ваши листовки. Теперь я убедился, что я ошибался.

Говоря это, он присел ко мне на кровать. По обыкновению он был выпивши. Говоря со мной, он навалился на меня. и придавил меня, как огромным мешком с овсом. Я задыхался и от тяжести его огромного тела и от запаха винного погреба, которым несло от него. Меня тошнило от запаха винного перегара, которым он обдавал меня вместе со своим дыханием. Очевидно, на моем лице отразилось не только страдание, но и отвращение.

Взглянув на меня с каким-то упреком, он встал, грузно сел на стул, громко вздохнул и засопел. На его глазах показались слезы, которые потекли по его суровому лицу.

— Вам противно, что я пью, что от меня пахнет водкой. Да, я пью! Я пью не только с директором завода, я пью и с начальником жандармского управления. Я вижу, вы вздрогнули. Успокойтесь, не бойтесь, не делайте, пожалуйста, поспешных выводов. Я делаю это нарочно. Я нарочно бью по зубам моих турок. Я достиг своих целей. Директор и жандарм уже говорят: «Гервасий наш: он отказался от революционных целей». А это неверно. Я только вкрался к ним в доверие. Я не отказался от революционных целей. Я хотел бы собрать всех капиталистов, царей, директоров и начальников жандармских управлений вместе и взорвать их одной и той же бомбой. Вы не знаете, как я страдаю в их обществе,

как мне нудно и тошно в их среде. Поэтому я прихожу время от времени к вам, к революционеру, чтобы побеседовать с вами и отвести душу. А вы вдруг отворачиваете от меня свое лицо.

Последние слова он произносил уже едва слышно. Усталость, видимо, овладела им. Он замолчал и вдруг громко захрапел. Он заснул.

Ночь, быстро надвигающаяся здесь, давно уже охватила землю. Студент-армянин, с которым пришел Гервасий и который все время молчал, собрался уходить. Я встал, чтобы проводить его. Я был так слаб, что зашатался. Чтобы не упасть, я ухватился за стол, за дверь.

— Вы куда ночью, Александр Сидорович?— говорил в темноте сторож дачи Герасим.— Идити обратно, а я провожу. Пожалуйте направо, — обратился он к студенту, — вот калитка.

Болезнь обострила мои чувства, особенно слух. Гулко отдавались внизу по тропинке шаги удалявшихся по направлению к Холодной слободе сторожа и студента. Я долго слушал, как сторож предупредительно, рассчитывая получить со студента на чай и в надежде на обильную выпивку внизу в духане, говорил: «Направо пожалуйте, налево» или «Осторожней, тут яма».

Наконец их голоса и шаги заглохли вдали. Тишина снова охватила меня. Внизу город, морской порт горели огнями. Вверху, в небе, в совершенно черном южном небе, необычно ярко сверкали звезды. Таких ярких огромных звезд, такого черного неба я до этого у нас, на севере, никогда не видал. Дрожа от ночного холода и трепавшей меня лихорадки, я всматривался в знакомые созвездия, стараясь разгадать их тайну.

Тишину прервали донесшиеся снизу из Холодной слободы мелодичные напевы украинской песни.

За украинскими пошли великорусские, грустные, тоскливые, хватающие за душу.

Соловьем залетным
Юность пролетела;
Волной в непогоду
Радость прошумела...

пели «Горькую долю» А. В. Кольцова.

Песни давно замолкли, а я все стоял погруженный в думу. Вдруг я вздрогнул от страшного рева. Это кричал «ишак» (осел). Вскоре послышались его шаги. Аджарец Алей, живший еще выше на горе, вез на осле навешенный вьюками в мешках купленный им в городе каменный уголь. Вдруг внизу, под горой, раздались женский визг, плач, стоны, безумный хохот и вой.

— Чекалки *,—произнес Алей, проходя мимо дачи Г. со своим ослом. — Опять проклятые завыли. Много их, очевидно, собралось.

— Что они жрут, — спросил я, — за чем они охотятся?

— Курочек, уток, гусей, собак, кошек, — все жрут, что попадется. Даже барашка и теленка, если встретят ночью в лесу, сожрут.

— А на человека они не нападают? — задал я вопрос.

— Нет, человека они боятся. Мне случалось ночевать несколько раз в лесу. Так, не поверите ли, они мне подошвы от сапог отгрызли, а меня самого даже не царапнули. Встаю, смотрю: нет подошв и ремешок кавказский, который я снял на ночь, с'еден. Только одни металлические части остались.

Простившись с Алеем, я ушел в свою комнату спать. Рано утром я был разбужен Г. Только-что начинался рассвет. Сквозь густую листву покрывавших горные вершины деревьев виднелись изумрудно-ясные пятна и полоски светлеющего неба. Полюбовавшись морем, я написал письмо в «Искру» (положение рабочих на Кавказе), которое, задержавшись долго у товарищей, было напечатано в номере 16 «Искры» от 1 февраля 1902 года.

ПИСЬМО В «ИСКРУ» А. С. ШАПОВАЛОВА

«В нашем городе около 20 заводов, из которых 11 нефтяных, приспособленных к разливке керосина, отправляемого за границу. Из заводов самыми большими по числу рабочих являются нефтяные заводы Ротшильда и Манташева. Рабочих в городе более 8 000.

У нас, как и на всех заводах Кавказа, кроме Баку, нет фабричной инспекции **.

Вследствие этого здесь нет никакого надзора над фабриками. Произволу хозяев здесь предоставлен полный простор. Они делают, что хотят, не боясь никого и ничего, и являются полными господами жизни и здоровья рабочих, а рабочие — их рабами.

При столкновениях между отдельными хозяевами и рабочими дело разбирает обыкновенно околоточный надзиратель и всегда, конечно, в пользу хозяина. Если же рабочий перенесет дело в суд, то и тут хозяин выходит правым, ибо обыкновенно задавленные нуждой и зависящие от хозяина свидетели-рабочие боятся показывать против хозяев. Рабо-

---

* Шакалы.

* Только что появилось сообщение о введении фабричной инспекции в Тифлисской губернии, причем правительство признало открыто, что к введению инспекции его побудили стачки тифлисских рабочих. (Примечание редакции «Искры»).

чие всегда бывают виноваты! Кроме того, ни одно безобразное деяние хозяев не было напечатано в местных газетах, потому что цензура позволяет только хвалить хозяев за их будто бы отеческое, хорошее отношение к рабочим.

В других городах и местах нашего обширного отечества все-таки существуют праздники, во время которых замолкает шум машин и рабочие пользуются хоть кратким отдыхом. У нас не то. Не говоря уже о воскресных днях и двунадесятых праздниках, здесь даже в первые дни пасхи и рождества не перестают гудеть фабричные гудки и не прекращаются работы. Хозяева наши хотят, вероятно, показать, что для них нет ничего святого, что они поклоняются лишь золотому тельцу и чтут голый чистоган.

В нашем городе особенно развит труд малолетних. На заводе Манташева работают 7—8-летние дети. Дети работают столько же часов, как и взрослые, а так как здесь производство отличается страшным непостоянством и во время заказов на заводе Манташева число рабочих часов доходит до 105 в неделю, то детям приходится простаивать за станком по 15—16 часов в сутки. С прекращением заказа обыкновенно рассчитывается половина рабочих.

На наших заводах господствует по отношению к рабочим кулачная расправа. Рабочих бьют надсмотрщики, заведующие, механики и сами директора. Особенным постоянством в этом отношении отличаются управляющий завода Манташева — Тер-Акопов, а на заводе Ротшильда — механик Штубнер и приказчик Файнштейн. Бьют и ребятишек, чтобы они усерднее работали. Особенно жестоко поступает с ними приказчик Файнштейн.

На заводах у нас очень часты несчастные случаи. Это происходит оттого, что хозяева нисколько не заботятся о безопасности рабочих при исполнении ими работ, а также и оттого, что пользуются дешевыми, необученными рабочими. В жестяночных и лесопильных отделениях нефтяных заводов редкий день проходит без несчастного случая. Если случится несчастье с рабочими при исполнении работ, протоколы пишут, как ни странно это, управляющие заводов. Если рабочему отрежет станком палец, пишут, что — «поранение несерьезное»; если рабочему отрежет кисть руки внезапно опустившимся ножом штампа, когда он выковыривал застрявшую жесть, которая должна была бы выбрасываться автоматически, — пишут, что поранение произошло по собственной неосторожности рабочего. Если рабочий, чтобы предупредить падение ножа, подложит под него кусок дерева и если нож опустится на это дерево,—ему пишут штраф в размере 3—5 рублей. Точно так же рабочих,

которые попадают в станок 4-й и 5-й раз, попросту выгоняют, придравшись к какому-либо пустяку, чтобы не выплачивать ему вознаграждения как неспособному к труду.

В паяльных отделениях нефтяных заводов рабочие хворают горловыми и грудными болезнями, так как воздух в этих мастерских насыщен парами разных кислот. В разливочных отделениях этих заводов у рабочих от керосина пухнут ноги и покрываются язвами. Климат здесь очень нездоровый, лихорадочный, сырой; здесь трудно найти рабочего, который не хворал бы лихорадкой и ревматизмом. Несмотря на страшную жару летом, когда рабочие буквально обливаются потом, здесь ни на одном заводе нет кубов с кипяченой водой, и рабочие принуждены пить сырую, застоявшуюся в трубах воду. Вследствие этого здесь часты заболевания, а медицинская помощь поставлена очень плохо; ни на одном заводе нет больницы, и фельдшера обращаются с рабочими очень грубо.

На заводах здесь практикуются скрадывание рабочего времени и вычеты. Часто рабочие получают лишь половину заработанных денег: остальную половину вычитают за брак, хотя рабочие не виноваты, так как причинами плохого исполнения работы являются старые, испорченные машины. А у Манташева на заводе машины пускаются в ход на полчаса, на час раньше гудка. Заработная плата за последние годы здесь сильно понизилась. Десять лет назад на заводе Ротшильда работало 4 000 человек. Рабочие получали по 2—3 рубля в день. Теперь же, после улучшения механизмов, ту же работу, даже в больших размерах, исполняют 1 500 человек. За эти десять лет 2 500 человек было выброшено на улицу, а заработная плата понижена до 60 коп. в день. Теперь мы зарабатываем лишь на хлеб и на воду, чтобы только не умереть с голоду, чтобы быть в состоянии создавать не для себя — для других богатства... Тяжело так жить, и невольно является вопрос: зачем мы так страдаем? Жизнь наша лишена всякой радости, она — лишь сплошной путь к могиле. Так не лучше ли нам умереть не за станками и не рабами, а умереть, борясь за свободу, за лучшее будущее!..» *

* * *

Почувствовав себя лучше, я направился вниз в город, на завод. Тускиа, встретивший меня, сказал мне, что из Тифлиса мне просили сообщить, что план доставки «Искры» из-за границы, вследствие ареста Курнатовского, которого не вы-

---

* «Искра», № 16 от 1 февраля 1902 года.

пускали из тюрьмы, и встретившихся неожиданных трудностей, отложен.

— Уже начало августа, — говорил мне тов. Тускиа. — Скоро у нас в Грузии начнется сбор винограда. Я вас свезу в Гурию, в наши горы, на сбор винограда. Вы познакомитесь с моими сестрами, примите с ними участие в сборе винограда. Чурека, мамалыги *, красного вина для вас хватит. Тем временем вы поправитесь. В Гурии у нас вы научитесь грузинскому языку и тогда с большим успехом начнете здесь революционную работу. Оставайтесь у нас на Кавказе навсегда.

Так как доктор, лечивший меня, настойчиво советовал мне уехать из сырого климата Батума куда-нибудь в горы, я согласился на это предложение.

Кроме Желабиной, ее мужа Левашкевича, меня, в Батуме находилось еще человек шесть рабочих, высланных из разных частей России за участие в стачечном и революционном движении. Фамилий их я, к сожалению, не помню. Часть из них с рвением принялась за революционную работу. Другие стояли в стороне. Некоторые опускались...

Уехать в Гурию, к родным тов. Тускиа, как я хотел, мне не удалось. Почти в день от'езда ко мне на дачу пришел чернобородый, энергичного вида товарищ.

— Моя фамилия Багаев **, — говорил он. — Я едва вас разыскал. Я нарочно приехал за вами и за другими товарищами с севера. Мы организовываем в северном районе, охватывающем Владимирскую, Костромскую и Ярославскую губернии, «Северный союз». Мне поручено собрать товарищей, разбросанных по разным местам России, живущих, как вы, под надзором полиции. Подумайте,—соблазнял меня т. Багаев,—вы будете работать в одном из самых промышленных районов России, пока еще не захваченном в сеть партийной организации. Вам выпадет большая честь считать себя в числе тех товарищей, которые закладывают основание партийной организации в этой местности. Затем, какой смысл революционеру жить и работать на окраине, в то время как необходимо в первую очередь поднять центр России? Если движение будет сосредоточиваться на окраинах России, а центральные губернии будут отставать, рабочее революционное движение все равно будет обречено на неуспех и будет подавлено.

Предложение т. Багеева немедленно направиться на революционную работу на суровый север, в один из главных промышленых центров, мало затронутый пропагандой, пе-

* Блюдо из кукурузной муки.

** В. И. Невский. Очерки по истории РКП(б), стр. 457, 464, 467.

ревесило предложение т. Тускиа — остаться отдыхать на юге, среди роскошной красочной природы.

— Напрасно уезжаете,— говорит мне Тускиа.— Доктор, который вас лечит, с той поры, как вы заступились за турка, почувствовал к вам симпатию. Он говорит, что вам действительно необходимо уехать из Батума, но ни в коем случае не на север. Он говорил, что вам нужен отдых в горной сухой местности Кавказа. Я думаю, что вы очень рискуете подорвать свое здоровье в суровых лишениях на партийной работе на севере, где скоро уже наступят холода. Оставайтесь здесь, где у вас есть друзья и где у вас имеется полная возможность отдохнуть и полечиться.

— Тов. Тускиа, — ответил я, — в Сибири в течение 3 лет я жил одной мечтой: это — посвятить свою жизнь революционной борьбе за освобождение рабочего класса и всего человечества. Меня революция послала сюда, но меня преследовала здесь неудача. Теперь, когда передо мною опять открылась возможность приложить свои силы на нетронутой еще ниве, обещающей богатые всходы, неужели я должен остановиться, отказаться от этой возможности только потому, что я болен? Жизнь рабочего коротка. Еще короче жизнь революционера. Лучше погибнуть в борьбе, чем влачить жалкое существование калеки.

— Так вы уезжаете от нас? — говорил Г.— Жалко. Мы уже привыкли к вам. Этот, что приехал за вами, в синей блузе с черной бородой, производит очень хорошее впечатление. Я сразу понял, что он — революционер. Видно, что он усвоил революционную технику. Конспиративен, как сам Александр Михайлов. Народовольческое наследство пошло впрок вам, социал-демократам. Ну, а деньги-то у вас есть по крайней мере, на дорогу?

— Какие деньги? Я даже не заикнулся о деньгих. Вот получу жалованье при расчете с завода, вот и деньги.

— Нет, у нас было не так. Нас партия «Народной воли» умела обеспечить для революционной работы деньгами. Ну, ладно!.. Я вам устрою проезд не по железной дороге, а на товарном пароходе «Берта» до Мариуполя. На-днях этот пароход придет с грузом леса из Александрии. Вы приготовьте вещи, перетащите их сюда и будьте готовы. Капитан, грузин-католик, не любит засиживаться здесь. Как только погрузка кончится, он тотчас дает приказ плыть дальше.

Наконец пришла «Берта». Сказав, что я уезжаю на Мариуполь по железной дороге, и тем обманув жандармов, я на самом деле, при помощи товарищей грузин, перенес свои вещи на пароход. Сам я, после того как корзина моя была

сдана товарищами грузинами туда, незаметно от шпиков, карауливших меня у вокзала, пробрался на пароход.

Начальник кутаисского жандармского управления, донося департаменту полиции о моем от'езде, говорит, что я уехал из Батума 19 августа 1901 г. по старому стилю, и продолжавшимся розыском был обнаружен лишь почти через год, т.-е. 12 мая 1902 года.

НА ПАРОХОДЕ

Густой серый туман заволакивал батумскую гавань, море, берег, когда глубокой ночью с 19-го на 20-е августа 1901 г. товарный пароход «Берта» выходил из батумского порта. Огни глохли и слабо мерцали в охватывавшей все серой пелене. В трех шагах ничего не было видно. Пароход медленно двигался по направлению к выходу в море.

— Кто идет? Эй, кто идет? Слышь, говори, кто идет? — раздались крики откуда-то из глубины тумана. Пароход молча продолжал путь, не обращая внимания на крики.

— Говори, кто идет, так-так-растак!

— «Берта», послышался, наконец, слабый, глохнувший в тумане ответ с вышины вахты.

— Что же вы молчите, дохлая собака вам в рот! — продолжал доноситься голос из тумана. — Службы не знаете. Здесь крепость, военное положение. Оштрафуем вот вас. Чтобы вас разорвало, чтобы вам ни дна, ни покрышки, чтобы вам подавиться! — продолжал слышаться голос из тумана, пока не заглох окончательно.

«Как пароход в тумане идет наугад, так и я еду куда-то в кипучее море жизни наугад и не знаю, что ждет меня на севере. Я приехал на юг, в Батум, крепышом, здоровяком, полным сил и энергии. Я возвращаюсь на север больным, ослабевшим, физически надломленным. Первый блин у меня вышел комом»,—приходило мне на мысль.

Под эти думы и под однообразный стук машин я засыпал в каюте помощников капитана. Я долго еще слышал тяжелые удары морской волны о корпус судна, пока окончательно не забылся во сне.

Проснувшись рано утром на узком ложе каюты, я увидел яркий солнечный свет, пробивавшийся в маленькое круглое окошко каюты парохода и ложившийся светлыми полосами на стенах каюты. Не слышалось больше ударов волн о стены судна. До слуха доносилось лишь приятное журчание разрезаемой носом судна волны. Меня тотчас же потянуло наверх, на палубу. Я первый раз в жизни совершал морское путешествие. Синяя морская даль влево от парохода, краси-

вые очертания кавказского берега справа, необыкновенно чистый, здоровый морской воздух, голубое небо, солнечный свет, стада дельфинов, обгонявших пароход, — все меня поражало, приковывало к себе мое внимание и вызывало чувство восторга перед красотами природы.

«Прекрасен мир, в котором мы живем, — думал я. — На земле вполне возможна иная, более счастливая жизнь».

— Хорошо на море, — сказал я подошедшему ко мне помощнику капитана, с которым я ехал в одной каюте. — Вам можно позавидовать.

— Чему? — спросил он.

— Вы постоянно на море.

— Вы ошибаетесь: нечему завидовать. Хорошо проехаться по морю раз-два и в такую хорошую погоду, как теперь. Но постоянно, всю свою жизнь совершать каботажное плавание, особенно зимой в штормы... Вот тогда в мороз, когда все на пароходе леденеет, когда идет снег, а ветер грозит вас сорвать с мостика, — вот тогда побудьте вы на вахте, особенно ночью, когда завывает метель и ни зги не видно...

— Да, бывают моменты, когда море, как сейчас, необыкновенно красиво, — продолжал он, — когда смотришь на него и не можешь насмотреться. Тогда я люблю море. Но бывают дни, когда я ненавижу его. Тяжело сознавать, что ты как бы прикован к этой старой калоше, полной крыс. Разве это пароход! Его продали за негодность в Англии нашему хозяину — одесскому еврею. Разве это жизнь! Можно опуститься, отупеть, спиться, совершая всю жизнь одни и те же рейсы.

Он замолчал. Наше внимание было привлечено страшными криками и похабной руганью, несшейся из машинного отделения.

— Опять та же история, — сказал помощник. — Послушайте, полюбуйтесь.

Я подошел к люку, ведшему к кочегару.

— Эй, раззявы,— кричал старший кочегар внизу, у паровых котлов, на пассажиров третьего класса, ехавших бесплатно и обязавшихся отработать переезд.— Эй, шуруй, открывай топку, бери кочергу, мешай уголь в топке! Бери лопату, наваливай уголь в топку! Да поживей пошевеливайся! Задаром что ли будем вас возить и кормить, лежебоки вы эдакие! Ваше дело жрать, спать да одежду рвать, а работать вы не хотите. Нет, я выучу вас, лодырей проклятых, как выпрашиваться на пароход: «Ваше благородие, господин капитан, возьмите, ради бога, доехать до Мариуполя, отработаю у вас на пароходе», — а теперь лодырничать!

Старший кочегар, похожий на Вельзевула, покрытый потом и сажей, не давал ни отдыха, ни срока, обучая нович-

ков кочегарскому делу, и попутно, как дело совершенно привычное и самое обыкновенное, давал то одному, то другому то в ухо, то в зубы. Бедные пассажиры третьего класса вертелись у него, как грешники на сковородке, мокрые от пота и покрытые сажей.

— Куда прешь? На палубу? — кричал он вдруг на кого-нибудь из них, пытавшихся вырваться из ада, который со своей невыносимой жарой от раскаленных топок представляла собой кочегарка.— На палубу захотелось? Хочешь на солнце, как боров, греться? Я тебе покажу палубу!

И он со всего маху наносил тяжеловесные удары попавшему под его власть.

Жестокая расправа, бесчеловечное избиение, к которому прибегал кочегар, совершенно терроризировали этих несчастных, попавших в своеобразное рабство. Все молча исполняли приказания кочегара, перебегая от топки к топке, то мешая горевший в них уголь, то наваливая в них новый. Только один смельчак нашелся, который в свою очередь кричал:

— Не смей драться, сволочь ты паршивая! Я капитану буду на тебя жаловаться.

— Ладно, вот проснется капитан, выйдет на палубу, я тебя самого к нему представлю. А пока что, цыц, шалишь, не смей наверх лезть, изволь работать! Как бы он сам тебе в зубы не дал, а на берег-то обязательно высадит.

Угроза оказаться высаженным на берег возымела свое действие. Последний протестант смирился и молча исполнял все приказания старшего кочегара. Бесплатные пассажиры оказывались очень выгодной статьей для капитана. Не платя им жалованья, выставляя себя перед ними благодетелем человеческого рода, он заставлял их работать без отдыха и срока.

Капитан, грузин-католик, появившись на палубе, держал себя со всеми, за исключением пассажиров первого класса, страшно надменно, гордо, настоящим царьком. Своим острым, властным взглядом сверху вниз, вызывавшим к нему невольно почтение со стороны матросов, своим обращением с матросами, с пассажирами второго и третьего классов, он как бы давал понять, что он находится от них на неизмеримой высоте, недоступной для них, простых смертных.

Все приказания, все свои распоряжения и решения он передавал через своих помощников. Вступал он с ними в разговор лишь тогда, когда нужно было их распечь.

Как только он появился на палубе в сопровождении господина с дамой из первого класса, к нему тотчас подошли помощник и старший кочегар. Первый жаловался на повара, забывшего закупить достаточно провизии, а второй — на пассажира третьего класса, пробовавшего протестовать.

— Я же тебе, сто чертей в твою глотку, говорил, чтобы ты купил провизии,— кричал он на повара.— А ты барином думал у меня на пароходе проехать? Не хочешь работать? На берег тебя высадим! — набросился капитан на пассажира третьего класса.

Тотчас пароход стал против одного из населенных пунктов черноморского побережья на якорь, была спущена матросами шлюпка, забравшая с собой повара за провизией и злополучного пассажира третьего класса, вздумавшего протестовать против избиений.

Матросы команды на пароходе «Берта» отнеслись с тупым равнодушием к произволу со стороны капитана; они очень отличались от иностранных матросов; они носили на себе особый отпечаток приниженности, были оборваны, одеты в грязные лохмотья, сквозь которые просвечивалось голое тело. Они помещались на носу парохода, на баке. Оттуда частенько доносилось их хоровое пение. Я вслушивался в их задушевные великорусские и задумчивые украинские песни. Я знал, что настанет день и они проснутся... И они мне казались выше, душевнее чем капитан, его помощники и пассажиры первого и второго классов и боцманы, резкая трехэтажная матерная ругань которых время от времени сотрясала воздух.

Мы миновали живописные берега кавказского побережья и, простившись с сине-зеленоватыми водами Черного моря, прошли через Черченский прови в желтые воды Азовского моря. На четвертый день пароход пристал к Мариуполю.

ВОРОНЕЖ, ЯРОСЛАВЛЬ, КИНЕШМА, ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК, БОБРОВ, КИЕВ

Темная ночь охватила меня со всех сторон, когда я вышел, по дороге в Центральный промышленный район, с вокзала в Воронеже. Было холодно. Лил дождь, тот осенний дождь в сентябре, который как зарядит, так и не перестает целыми неделями. Всюду кругом хлюпала и булькала вода и текла ручьями. Площадь была пустынна. При свете двух-трех фонарей, которые бессильны были рассеять надвигавшийся со всей сторон мрак, я рассмотрел несколько извозчиков, предлагавших довести меня до города. Поборов в себе желание нанять одного из них, сидевших в вывороченных мехом вверх, чтобы не попортить мездру, полушубках на козлах своих пролеток, я направился пешком в город.

Отказался я от услуг извозчика, во-первых, потому, что мой бюджет не позволял такой роскоши и, во-вторых, из соображений, что, идя пешком, я проверю, нет ли за мной сле-

жки, и если она окажется, легче могу от нее избавиться. Ночь была холодная, настоящая осенняя. Через час ходьбы под дождем, без зонтика, покупка которого представлялась для меня слишком большой роскошью, я промок до такой степени, что на мне не было, что называется, ни одной сухой нитки. Я дрожал от холода в моем тонком пиджаке, и вода лила с меня ручьями, когда я звонил у двери квартиры, где жил тов. Любимов Алексей Иванович (Марк) и другие товарищи, находившиеся в Воронеже под надзором полиции. Видя, до какой степени я промок и продрог, Марк не только не выразил сочувствия, но как будто даже обрадовался этому обстоятельству.

— Вот и хорошо, что такая погода: значит, ни одной собаки и в том числе и шпиков нет на улице. Вам нужно использовать это благоприятное для нас обстоятельство и сейчас же уходить обратно на вокзал. Вы поедете в Ярославль.

Говоря это, он сообщил мне адрес в Ярославле, куда я должен был обратиться по приезде, и пароль.

— Есть у вас деньги на дорогу? — спросил он.

— Да, я получил на заводе в Батуме получку. У меня 25 руб.

— За глаза достаточно! Мы не всегда бываем так богаты, как вы теперь. Вы — настоящий Крез с такими деньгами.

— Товарищ,— обратился я к нему,—может, можно будет у вас переменить белье? На мне нитки сухой нет, и я дрожу от холода.

— Это было бы очень желательно и даже необходимо, но совершенно невозможно. Подумайте, если менять белье, почему не выпить чаю, а затем обсушиться и даже переночевать? Каждую минуту погода может улучшиться, и тогда тотчас, как из-под земли, против нашей квартиры появятся шпики. За нашей квартирой особенно следят. Нужно выбрать одно из двух: или захватить слежку, или промокнуть на дожде еще раз и уйти свободным от нее.

Я понял, что он прав, и выбрал последнее.

Со времени приезда в Воронеж таких товарищей, как тов. Курнатовский, Ряховский Н. А. и другие, осенью 1900 года, искровское направление победило совершенно возглавляемую Махновцем рабочедельческую линию, но искровская организация была еще так слаба, что не имела возможности располагать в городе конспиративной квартирой, куда без явного риска немедленно провалиться, как это могло случиться на квартирах политических ссыльных, могли приходить ехавшие на подпольную работу товарищи.

Вняв голосу благоразумия, я, не оставаясь здесь ни минуты, вышел от тов. Любимова.

Поезд на Москву уходил рано утром. 5—6 часов необхо-

димо было провести или в гостинице, или на вокзале. В гостиницу и на постоялый двор я не пошел, так как в таком случае пришлось бы пред'явить свой паспорт и затем это было бы дорого. Я решил как можно дольше просуществовать на те деньги, которые были получены мною на заводе, не обращаясь за помощью в организацию, у которой, при отсутствии средств, каждая копейка была считана. Поэтому все говорило за то, чтобы мне остаться на ночевку на вокзале. Но, не говоря о лавках, скамейках и столах, даже все места под лавками, весь заплеванный, захарканный, загаженный пол вокзала был покрыт телами спящих крестьян и рабочих, ожидавших так же, как и я, поезда. Подобная картина каждую ночь наблюдалась по железным дорогам на всех вокзалах царской России. Случайно я нашел одно место на лавке в коридоре. Ночь была холодная. Обе двери в коридор поминутно отворялись. Все время дул холодный сквозняк. В мокром белье и одежде я лежал и коченел. Ночь, проведенная на холоде, на сквозняке, сказалась чрезвычайно неблагоприятно на моем здоровье. Чем далее ехал я на север, тем все более усиливался у меня ревматизм. Особенно остро я почувствовал свое болезненное состояние в Москве. Здесь было еще холоднее. От боли в ноге я едва вышел из вагона, чтобы пересесть в поезд на Ярославском вокзале. Иногда начинала приходить в голову мысль, не напрасно ли я не послушал совета т. Тускиа. Но было поздно раскаиваться. Выхода уже не было.

Не доезжая до станции Сергиево, за Москвой, в вагон вошел огромного роста, с звероподобным лицом монах знаменитой Троице-сергиевской лавры. Держа в руке медный обруч, к которому был привешен довольно больших размеров кожаный мешок, он густым басом возглашал:

— На свечу преподобному Сергею! На свечу! Кладите, православные, не ленитесь: рука дающего не оскудеет!..

Тяжело было смотреть на рабочих и крестьян, бросавших в мешок этому верзиле, которому впору было таскать на своей широкой спине мешки на пристанях или рубить деревья в лесу, медные, а подчас и серебряные монеты.

В Ярославле, где в то время находился центр «Северного союза», я прожил не менее двух недель, так как я заявил, что без фальшивого паспорта, под своей фамилией я ни за что не поеду на революционную работу. Здесь я встречался с Анастасией Дмитриевной Бабенко и, повидимому, с Кедровой и с Новицкой. Получив незаполненный паспортный бланк, приблизительно 15 сентября по старому стилю я выехал на пароходе в город Кинешму, тогда Костромской губ. Слушая, как матрос на носу парохода, не переставая, кри-

чал: «Четыре! четыре с половиной! не маячит, не маячит», я любовался живописными берегами верховьев Волги, где в свое время черпал свое творчество русский художник-пейзажист И. И. Левитан.

Но вот и Кинешма. Водная струя журчала, ударяя в паром, на который я перешел для переправы на другой берег Волги.

Я стоял на пароме и смотрел на удалявшийся город.

«Какая разница,— приходило мне в голову, когда я глядел на красиво расположенную на самой вершине берега Кинешму с ее домами и собором, — между этим северным пейзажем верховьев Волги, проникнутым какою-то печалью, и роскошными, сочными, яркими красками сине-изумрудного моря и покрытыми густою зеленью горами Кавказского побережья Черного моря». Я присматривался к обитателям края с волосами такого же цвета, как песок на берегу Волги, с светло-серыми глазами и думал:

«Я только что натолкнулся на страшно тяжелые условия жизни рабочих на цветущем юге. Что-то я увижу здесь, на печальном, суровом севере, в районе текстильного производства?»

Паром пристал к берегу. Я сошел на берег одним из первых и зашагал вверх по берегу Волги. Я прошел мимо корпусов текстильной фабрики, мимо лесопильных заводов, пока не дошел до химического завода Философова. Всюду на заводском дворе царила непролазная осенняя грязь. Пахло какими-то кислотами от огромных бутылей, обвернутых соломой и поставленных в особые круглые корзины. Я подошел к длинной деревянной казарме, из которой выходили рабочие деревенского типа, с волосами, остриженными в кружок, в передниках и в сапогах с длинными голенищами, с отпечатком какой-то забитости и приниженности на лице и во всей их фигуре.

Из любопытства я вошел в эту казарму. Моим глазам представились два ряда кроватей, стоявших на полтора аршина одна от другой и образовывавших узкий проход посредине. Меня поразили тяжелый запах в помещении и невероятная грязь, покрывавшая слоем не меньше чем в сантиметр, очевидно, никогда не мывшийся пол. Так как рабочие, входившие в казарму, ложились прямо в грязной одежде на одеяла кроватей, не снимая даже сапог, чтобы, передохнув немного, снова итти на работу, то кровати не отличались чистотой.

Цвет лица у рабочих был желто-зеленый, на их лицах лежала какая-то апатия. Очевидно, им было не до чистоты.

Приходя со двора, они приносили на подошвах ту же грязь, которую затем разносили по всему полу.

— Вам господина студента? Это — помощник нашего директора. Вот напротив его квартира,— указали мне, когда я вышел из казармы.

Войдя туда, я встретил добродушных старичка и старушку, допытывавшихся, откуда я и для чего мне нужен их сын — студент. Наконец, пришел и он. Поговорив при его родителях о всякого рода пустяках, какие в тот момент пришли в голову, я намекнул ему, что мне необходимо переговорить с ним наедине.

— Пойдемте погуляемте по берегу Волги, — предложил он.

Мы вышли из завода и пошли вверх по Волге. Тропинка, наконец, повела вверх по крутому берегу, заросшему лесом. Как только мы обменялись условленными паролями, и он понял, кто я, на его лице отразилось скрытое недовольство.

— Очень нехорошо, что вас направили прямо ко мне, — говорил он. — Положение здесь вот какое. У меня решительно нет распропагандированных, более или менее сознательных рабочих, хотя бы таких, на которых можно положиться, что они не пойдут и сейчас же не донесут на вас. Таких рабочих у меня нет ни здесь, ни на других окрестных фабриках.

— Но позвольте, каким же образом могло случиться, что в Ярославле меня все в один голос уверяли, что связи с рабочими у вас, наоборот, имеются? Только на основании этого меня и послали сюда. Мне поручено познакомиться со знакомыми вам рабочими, расширить через них связи с рабочими других фабрик, поставить и укрепить у вас в Кинешме организацию и расширить партийную работу.

— Лично я, — ответил он, — говорил тов. Носкову, что у меня всего один знакомый рабочий на этом самом заводе. Но вот уже две недели, как он уехал в Петербург. Остальная информация совершенно неверна. Никаких связей в настоящий момент у меня нет. Затем я также очень недоволен, что вас направили прямо ко мне: я ведь дал другой адрес в Кинешме.

— Что же мне делать? Неужели мне уехать и сказать в Ярославле, что здесь совершенно пустое место?

— Нет, мы сделаем так. Вы останетесь здесь. Поселиться в самой Кинешме не советую: вам придется ежедневно ездить на пароме туда и обратно. Все фабрики на этой стороне. Кончится тем, что вы примелькаетесь в глазах и за вами начнут следить. Я предлагаю вам поселиться здесь в лесу уединенно, в шалаше. Вы будете приходить туда только но-

чевать и уходить туда рано утром. Вам придется обойти лично все фабрики и всюду проситься на работу. Найдете здесь работу, заведете здесь сами знакомство среди рабочих, создадите среди них организацию и поставите затем работу, разовьете, значит, пропаганду, агитацию, и все. Это — путь медленный, трудный, но единственный.

Ведя этот разговор, мы все поднимались вверх по узкой дорожке. В березовом лесу, в стороне от тропинки, мы встретили сколоченный из досок шалаш, образовывавший одну комнату еще меньших размеров, чем та, в которой я жил в Батуме. В ней не было ни стола, ни стула и вообще никакой мебели. В этом шалаше летом можно было бы укрыться от жары и дождя. Жить же здесь, особенно в холодные северные ночи в сентябре, представлялось даже мне, неизбалованному, невозможным. Так как деревянного пола в шалаше не было, спать приходилось на тощем, стареньком матрасе, положенном прямо на голую землю.

— Чтобы вам было чем укрывать себя на ночь, — сказал П-в, — я вам принесу лишнее одеяло.

Мы условились, что мою корзинку с вещами и книгами, которые я привез из Сибири, он спрячет в Кинешме у одного своего знакомого гимназиста.

— Да вот что, — сказал я, — надо мне заполнить паспортный бланк. Мне его товарищи выдали в Ярославле, но заполнить отказались. Своей рукой лично мне это сделать неудобно. Не возьметесь ли вы? Напишите какую-нибудь вымышленную фамилию, например Капустин Иван Петрович.

— Как это все у вас примитивно! — ответил тов. студент с большой неохотой согласившись превратить меня из Шаповалова в Капустина.

Так как сумерки уже сгущались, наступала ночь, тов студент, принеся мне одеяло, пожелав мне спокойной ночи и преподав мне еще раз, как он говорил, необходимые инструкции, на основании которых мне запрещалось зажигать огонь, предлагалось входить в шалаш и выходить из него так, чтобы никто из случайных прохожих не замечал моего присутствия в нем, ушел. Завернувшись в тонкое одеяло, помня, что мне нельзя было ни петь, ни кашлять, ни чихать, словом, делать все то, что могло выдать мое присутствие в шалаше, я завалился на матрасик. Я долго не мог заснуть. Меня трясло от сильного холода, от которого не спасало слишком тонкое одеяло. Наконец усталость взяла свое, и я заснул. Утром, как только рассвело, я тотчас ушел, не умываясь и не вычистив зубы, за неимением воды. С этого дня начались мои поиски работы на окрестных фабриках. Я уходил из моего жилища со всеми необходимыми предосто-

рожностями. Спустившись из леса по узкой тропинке, я направлялся вниз по течению Волги к фабрикам, разбросанным здесь одна от другой верстах в 10—12. По мере того как я жил в шалаше, болезнь моя все усиливалась, прогрессировала. Обыкновенно с очень большими усилиями я поднимался утром от сильной боли в ногах. Первое время тотчас по выходе из шалаша мне было очень трудно, почти невозможно итти. Постепенно, по мере того как я удалялся от моего жилища, боль утихала. Но она еще более усиливалась к следующему утру.

Дорога к фабрикам обыкновенно шла лесом. Пройдя верст 6 или 8, а то и 10 или 12, еще издалека я среди стволов сосен или берез начинал различать высокие трубы и огромные из красного кирпича фабричные корпуса и жилые помещения для рабочих. Самая большая фабрика в то время здесь была так называемая «Томна» в 12 верстах от города Кинешмы.

Но мне не везло в поисках работы.

Везде, куда я ни приходил, мне отказывали. Всюду на мои предложения взять меня на фабрику в качестве токаря-металлиста или слесаря я получал один и тот же ответ:

— Нет, не надо.

Таким образом я обошел здесь все фабрики. На некоторых, как на Томне, побывал несколько раз. Питался я хлебом и чаем. Для этого дорогой заходил в какую-нибудь чайную. Проделав в течение дня не менее чем 40 или 50 верст, я возвращался, скорее прокрадывался, как зверь, за которым охотятся, в мой шалаш.

Дорогою я невольно предавался грустным размышлениям. Вода тихо журчала у моих ног, когда я шел берегом Волги. Какая-то, как мне казалось, меланхолическая, щемящая сердце грусть была разлита в воздухе, в лесу, среди молчаливо стоявших деревьев, на берегу Волги. Она мне слышалась в журчании и плеске волны, она мне чудилась на однообразных песчаных берегах реки.

«Как все здесь просто и бедно!» — думал я, заходя в лавчонку. Мне захотелось есть.

— Нет ли у вас чего-нибудь получше? — спросил я лавочника при виде старой запыленной колбасы и баранок, твердых и сухих, как камень.

— Получше вам? — переспросил лавочник. — Да кому здесь покупать-то? Кто у нас здесь? Мужик, крестьянин. Прядильщик да ткач, всюду он, куда ни взглянете. А для ткача и этот товар хорош. Только подавай. Он все стрескает. Вы думаете, он в товарах, в деликатесах что-нибудь понимает? Ничевохоньки. Нет надобности здесь хороший

товар держать. А вы, видно, нездешний, надо полагать — питерский, сейчас видно по разговору. Я сам в Питере живал. Жалею, что сюда опять приехал. Плохая здесь сторона: песок, вода, лес, да ткач, да мужик еще. Больше ничего нетути.

«Не оттого ли я не могу нигде найти в этих местах работу, что меня здесь по выговору принимают за питерского?» — думал я, возвращаясь к себе в шалаш.

Прошло таким образом около двух недель. По ночам становилось так холодно, что утром все деревья покрывались инеем, земля твердела от мороза, и лужи подергивались ледком. Однажды утром я почувствовал такое обострение боли в ноге, что, попытавшись встать, я тотчас опять свалился.

«Что я буду делать?» — спросил я себя. От сознания, что болезнь усиливается, что я превращаюсь в настоящего инвалида, острая тоска охватила меня.

В этот момент отворилась дверь, и на пороге моей лачуги появился студент.

— Ну, однако, батенька, вы и больны: я видел, как вы пытались подняться и не могли. Как это вы находили в себе мужество и силы каждый день проводить все время с такой болью в ногах в поисках работы? Я принес вам неприятную новость. С одной стороны, у крестьян соседней деревни украли лошадь, с другой стороны, вас случайно видела одна наша работница, живущая здесь. Теперь в деревне пошел слух, что в шалаше в лесу, что на берегу Волги, скрывается какой-то бродяга. Дело принимает таким образом неприятный оборот. Вас полиция может с минуты на минуту арестовать, как бродягу, подозреваемого в конокрадстве, или сами крестьяне, обозленные, что у них воруют лошадей, придут и расправятся с вами самосудом. Первое скверно, а второе — еще хуже. Вам немедленно придется уходить отсюда. Так как работы вы не нашли, а других связей с рабочими у нас нет, вам ничего другого не остается, как уехать отсюда снова в Ярославль.

Я спешно собрался, вышел из шалаша с тов. студентом и так же спешно уехал из Кинешмы без моей корзинки с вещами и книгами, которые пропали у гимназиста.

Товарищи в Ярославле приняли во внимание мои сообщения о неожиданных трудностях, встреченных мною при попытке начать работу в Кинешме. Так как я явился к ним совершенно больной, перед ними встал вопрос, что делать со мною.

Партия в то время не могла, не имела возможности лечить заболевших товарищей. Она была так бедна средствами, что

не могла даже в той мере, как это было необходимо, поставить партийную работу. Заболевшим товарищам ничего не оставалось, как продолжать работать, пока хватит сил. Ничего иного не оставалось и мне. С другой стороны, я сам горел желанием использовать на революционной работе накопившуюся во мне энергию. Поэтому, когда товарищи в Ярославле, достав мне поношенное теплое пальто, направили меня в Иваново-Вознесенск, я с радостью поехал в этот город.

— Вот и русский Манчестер! — громко сказал один из пассажиров третьего класса, когда показались фабричные трубы, красные корпуса фабричных зданий и колокольни церквей Иваново-Вознесенска. Среди пассажиров, высыпавших из вагонов, выделялась своим европейским видом труппа артистов, приехавшая на гастроли в Иваново, в какой-то частный театр, ибо городского театра там не было и в помине. Я с любопытством смотрел на этих людей из другого для меня мира.

Я выходил из вагона уже надломленным человеком. Я попрежнему горел желанием посвятить свои силы великому делу освобождения рабочего класса. Во мне попрежнему горел мрачный, непримиримый огонь ненависти к капиталистам и угнетателям. Я не представлял себе иной жизни, кроме жизни революционера, работающего над пробуждением классового сознания рабочего класса, над созданием партии рабочего класса, но неудачи, начавшие преследовать меня на революционном поприще с первых же шагов после возвращения из Сибири — в Питере, Тифлисе, Батуме, Кинешме, и, наконец, болезнь, превращавшая меня в инвалида, уже не окрашивали мои представления о моем, личном будущем в розовый цвет. Чаще всего я начинал думать, что моя болезнь приближает меня к последней роковой черте...

Выйдя из вокзала, несмотря на сильную боль в ноге, я, за неимением денег, пошел пешком в город. Дорогой, увидев на окне у лавочника записку о сдаче комнаты, я зашел и спросил, каково помещение и сколько оно стоит. Комната была маленькая, сырая, плохо меблированная. Хозяин, узнав, что я рабочий-металлист, ищущий работы, отказал мне.

— Нет, для вас не подойдет. Из каких средств вы будете платить мне за комнату? Помилуйте, здесь не Питер! Здесь Иваново. Здесь рабочие не избалованы настолько, чтобы снимать отдельные комнаты. Они живут здесь в фабричных казармах или по деревням или, наконец, снимают себе местечко на полу для ночлега. Вот пойдете по городу, увидите записки: «желаем квартирантов», туда и идите. Как раз будет вам по карману.

Огромные красные корпуса фабрик и казарм для рабочих, высокие фабричные трубы, изрыгавшие черные хвосты дыма, многочисленные церкви при фабриках, казенные лавки для продажи водки, речка Талка, настолько загрязненная красильными фабриками, что в ней передохла вся рыба, огороды с неснятой еще капустой, тянувшиеся вдоль течения речки, наконец, множество маленьких деревянных деревенского типа домиков, выстроенных самими рабочими, — вот что встретило меня в городе.

На многих домишках я прочел приклеенные характерные записки, гласившие: «желаем квартирантов». Это означало, что многие ивановские рабочие в то время жили на положении париев, не имеющих даже кровати. Последнюю заменял здесь войлок, расстилавшийся хозяином дома вечером, в 9 часов, прямо на полу. Квартирантов принимали ровно столько, сколько могло поместиться во всю ширину пола. Очень часто, как мне говорили, женщине-работнице приходилось укладываться рядом с совершенно незнакомым ей мужчиной. В этом отношении положение ивановских рабочих являлось даже худшим, чем положение босяков в ночлежных домах, где женщин отделяли от мужчин.

«Революционер, — думал я, — должен, приезжая в новую местность, замаскировать себя условиями жизни, общими для данной местности. Поэтому и мне придется жить жизнью, общей для местных рабочих. Мне придется также спать бок о бок на полу, на войлоке, как и другие».

Знакомство с ивановскими передовыми, сознательными рабочими произвело на меня чрезвычайно отрадное впечатление. Они поражали своей энергией, искренностью, преданностью делу, прямотой и в то же время простотой, отражавшимися на их симпатичных лицах и в их светлосерых глазах. Некоторые из них производили впечатление вполне установившихся искровцев. Значительная часть их еще переживала переходный период от традиции экономизма и рабочедельчества к искровскому направлению. Пионером последнего они считали Варенцову Ольгу Афанасьевну и до известной степени Глафиру Ивановну Окулову. Этой последней — мужественной девушке, проживавшей лето 1900 г. в маленькой избушке на краю города, под руководством О. А. Варенцовой, удалось одной из первых пробить брешь в традициях трэд-юнионизма и экономизма, во власти которых находились ивановские рабочие того времени, и завоевать этот важный промышленный центр для нашей партии. Не так легко давались эти победы, как это может теперь показаться. Им пришлось вынести немало схваток и вести самую упорную борьбу со сторонниками старой кружковщины.

Рукопись первой прокламации искровского направления, написанную ею, Г. Окулова отослала за неимением «техники» в Иванове для напечатания в Киев, где у нее сохранились связи с организацией. Отпечатанные там прокламации привезла из Киева в Иваново ее сестра Антонина Ивановна Окулова.

Живя на окраине города, тов. Г. И. Окулова переживала иногда тяжелые минуты. Случалось не раз, что какой-нибудь подвыпивший ткач, проходя мимо, вдруг сваливался, споткнувшись, и засыпал у самого ее окна, находившегося в уровень с землей и открывавшегося не внутрь комнаты, а наружу. Обыкновенно еще долго, прежде чем заснуть, такой пьяный, пытаясь подняться, скверно бранился, не подозревая, что в полуподвальной комнатке, у окна которой он лежал, живет марксистка-интеллигентка, бросившая буржуазную среду для того только, чтобы помочь рабочим освободиться от капиталистического рабства.

Появление прокламаций, начало массовой агитации среди рабочих подняло на ноги полицию. Последняя обратила в конце концов внимание на «таинственную барышню», жившую совершенно одиноко на самой окраине города в избушке на курьих ножках. Началась слежка. Шпики подходили к самому ее окну. В одну лунную ночь, когда она сидела и читала, она явственно услышала шаги крадущегося человека к ее окну. Через широкую щель в ставне она рассмотрела городового, приникшего ухом к окну.

«Подслушивают», — решила она.

— Что шпионите? — вдруг в наивном раздражении крикнула она. — Имейте смелость делать это открыто.

На другой же день она уехала.

Поселившись в Иванове, я не знал, что в этом городе принимает участие в партийной работе мой знакомый Н. Н. Панин. Он жил здесь под кличкой «Гаврилы Петровича». Он так законспирировался, что до него невозможно было добраться. Вскоре, впрочем, после моего приезда он уехал в Самару.

— Новый товарищ сюда приехал, — рассказывала ему тов. Володина, очень интеллигентная передовая работница, портниха.

— Кто такой? Что он собой представляет?

— Какой-то Капустин. Очень развитой, знающий, бывалый. Одно нехорошо: болен он. Едва ходит, опирается на палку, прямо калека. Что с ним делать? Полиция сейчас же обратит на него внимание.

— Дайте ему кружок. Пусть возится... Этим и ограничимся. А дальше посмотрим. Придется его отправить в другой

город, где условия более благоприятны для лечения, жизни и работы.

— Вы напишите в Ярославль, что вам по болезни здесь совершенно нельзя оставаться,— говорила мне тов. Володина.—Здесь слишком суровые условия жизни. Пока мы вам дадим кружок из передовых рабочих. Можете его вести?

— Конечно, могу. Относительно тяжелых условий не беспокойтесь, я привык.

— Не в том дело, а вы у нас свалитесь окончательно. Вам бы на юге нужно жить, чтобы поправиться.

На самом деле, хотя я и был болен, я нисколько не тяготился тяжелыми условиями жизни в Иваново-Вознесенске. Вареная картошка, соленые огурцы, кислая капуста, черный хлеб, ночевка на полу, где из-под двери обыкновенно дул холодный сквозняк, — все это я легко переносил, и даже мне это было по душе. Жизнь подпольщика, несмотря на все ее тяжелые стороны, доставляла мне своего рода наслаждение. Приятно было смотреть на пробуждающихся к сознательной жизни рабочих. Ивановские рабочие настолько уже были распропагандированы, что стремились подражать героизму революционеров предыдущих эпох. Так, в подражание героине повести Ежа «На рассвете», «Баба мокра», у ивановских рабочих была своя героиня — «Мокрая баба» (Ивлева Екатерина Васильевна). В ее доме, в каком-то заброшенном овраге, скрывался тов. Панин.

Неудачи продолжали между тем меня преследовать. Ночевки на полу в ноябре, когда стало особенно холодно, привели к тому, что в одно утро я не мог подняться с моего ложа.

Хотя болезнь моя была настолько очевидной и необходимость лечиться настолько неоспоримой, что меня надобно было бы совсем освободить от работы, но тов. Носков, не желая, очевидно, меня терять и надеясь, что авось болезнь скоро пройдет, направил меня на время к своему брату в Смоленск. Только после того, как через месяц его брат написал ему, что я болен более серьезно, чем предполагали, меня направили на лечение сначала в Воронеж, а затем в город Бобров, Воронежской губернии.

Накануне от'езда из Иванова я еще раз встретил Ольгу Афанасьевну Варенцову, одного из старейших членов нашей партии. Окончив ссылку, она немедленно вернулась к революционной партийной работе и приняла участие в руководстве «Северным союзом». Ольга Афанасьевна жила в Ярославле. В Иваново, откуда она была родом, она наезжала время-от-времени.

В Воронеже на этот раз я встретил тов. Носкова, Карпова Льва Яковлевича, Кардашева Николая Николаевича, Костер-

кина, Любимова Алексея Ивановича и бывшего проездом в Воронеже Н. Н. Панина.

— Я совершенно не предполагал, что Гаврила Петрович и вы — одно и то же лицо,— говорил я,— иначе я добился бы свидания с вами. Все хорошо в меру. Вы так законспирировались, что не имели представления, с кем вам приходится иметь дело.

— Да, чрезвычайно досадно, что я не догадался, что Капустин и Шаповалов — одно и то же лицо,—ответил он.

Николай Васильевич Носков, познакомившись со мной лично и поговорив с врачом, который меня осматривал, убедился, что я действительно продержался на подпольной работе в Кинешме и Иванове до той поры, пока окончательно не свалился. Видя, как я с огромным трудом передвигаюсь, опираясь на палку, и узнав от врача, что моя болезнь приняла затяжной, хронический характер, он решил наконец отпустить меня на лечение. Н. В. Носков представлял собой молодого человека лет 22, очень способного и подававшего большие надежды. Младший Носков, живший в Смоленске под надзором полиции, рассказывал мне о спорах, которые вел Николай Васильевич со своим старшим братом, фабрикантом из Иванова-Вознесенска.

— Брось ты эту дурь, — внушал он Николаю Васильевичу, — пропаганду эту, Маркса этого самого. К чему это? Блажь одна... Все одно рабочие не поймут тебя. Больно сер наш рабочий, особенно ткач.

— Наоборот, — возражал Николай Васильевич, — по-моему, дни капитализма сочтены. Если невежественный пока русский крестьянин, задавленный вековым гнетом, доведенный последним до тупости, веками молчаливо переносил свою ужасную участь, это не значит, что фабричный рабочий будет так же безропотен.

— Ты думаешь? Эх! Улита едет, когда-то будет... Больно сер наш ткач, чтобы потребовать от нас отчета. Мы еще поцарствуем вволю... А ты, дурак, за эти самые неосуществимые идеи пропадешь зря, сгниешь в тюрьме или Сибири. Жаль мне тебя: башковат ты. Хороший бы из тебя инженер и хозяин вышел. Брось эту ерунду, рабочий класс твой. Скажи слово, я шепну министру,— тотчас ты будешь в Иванове.

— Не трать слов понапрасну. Не соблазнить тебе меня. Как не потечет Волга вспять, так и я никогда не вернусь к вам. Пусть я пропаду, погибну, я погибну за великую идею...

— Не за великую идею, — пренебрежительно возражал фабрикант брату революционеру, — а за вздор, осмеянный еще две тысячи лет назад греком Аристофаном!..

— Эка куда ты хватил! — смеялся товарищ Носков. — Ты пригласил бы, в таком случае, царя Давида с его псалмами и сказал бы его словами: «Рече безумец: нет бога»... Старо, брат!

Я прожил несколько дней в Воронеже, прежде чем уехать в Бобров. Здесь я встретил рабочего Н. Д. Богданова (брусневец),* служившего в это время мастером на каком-то заводике в Воронеже или его окрестностях, и Желабина с женой, сестра которого жила с мужем на Кавказе.

Алексей Иванович Любимов брал гитару и, наигрывая на ней, напевал песенку из эпохи борьбы болгар за свое освобождение:

Их было семь. Все юных цвет!
Они погибли за восстанье...
Но гибель смелых много лет
Звала на подвиг, на страданье!..
Был жарче солнца, тверже скал
Призыв их, брошенный народу...
И пробил час... Народ восстал,
Народ добыл себе свободу!
Их было семь. Все юных цвет!
Они погибли за восстанье...
И память их уж много лет
Хранит народное преданье! **

Слушая его, я вспомнил смелого поднявшегося ввысь и погибшего сокола, сокола, о котором пел в Сибири тов. Барамзин. Мне казалось, что в моей судьбе было что-то общее со смелым соколом. Мне представлялось, что я так же гибни, как и он, гибну медленно, неизбежно.

В начале зимы 1901 года я приехал в город Бобров, Воронежской губернии. Здесь жил тов. Сергей Павлович Шестернин и его жена Софья Павловна Невзорова — сестра Зинаиды Павловны Невзоровой.

Сергей Павлович Шестернин представлял собой неоспоримого друга рабочих. Он принимал горячее участие в их судьбе. Им была написана брошюра, к сожалению, забытая теперь, о морозовской стачке 1886 года.

Шестернин, юрист по образованию, назначенный городским судьей в свой родной город Иваново-Вознесенск, строго держался законности. Так как рабочие всегда жаловались на несправедливости фабрикантов и так как Шестернин становился всегда на сторону рабочих, он возбудил к себе ненависть фабрикантов. Колупаевы и Разуваевы Иваново-Вознесенска подали жалобу министру юстиции, в которой слез-

* В. И. Невский. Очерки по истории РКП(б).
** Стихотворение Л. Ф. Шаповаловой.

но просили защитить их «сирот», и просили убрать из их города появившегося там «судью праведного», как прозвали они внасмешку тов. Шестернина.

Министр юстиции внял жалобе ивановских фабрикантов и перевел тов. Шестернина в глухую дыру земледельческого района, где не было фабрично-заводских рабочих и где, следовательно, тов. Шестернин не мог быть вреден для фабрикантов. Министр в деятельности тов. Шестернина никак не мог найти предлог для ссылки его в места еще более отдаленные.

Не найдя возможности подвести его под какую-нибудь кару, как социалиста-марксиста, министр ограничился тем, что обезвредил его, переведя в город Бобров, Воронежской губернии, что являлось равносильным ссылке. Но и здесь тов. Шестернин продолжал отстаивать интересы бедняков против богатеев и крестьян против помещиков. Его жена Софья Павловна исполняла у него обязанности секретаря. Он и она оказывали возможное содействие революционному движению.

Оба они все же изнывали от тоски и жаждали живой революционной деятельности. Они очень обрадовались моему приезду и приняли в моей судьбе самое живое участие. Устроив меня на лечение в уездной земской больнице, где главным врачом был доктор Кирсанов, ныне покойный, они время-от-времени навещали меня и окружили заботливостью, какая только была возможна в их положении. Вследствие этого я в этой больнице ни в чем не нуждался. У меня даже водились деньги, необходимые на покупку сахара и т. п.

Если С. П. Шестернин, так не пришедшийся по вкусу ивановским фабрикантам, являлся скорее марксистом правого крыла, то его жена Софья Павловна была определенной искровкой.

Я переступил порог больницы с отвращением. Со своим режимом, неизбежной вонью, серыми заношенными солдатского сукна халатами, с больными, значительная часть которых ждала смерти, как чего-то совершенно неизбежного, она напоминала мне тюрьму. Я чувствовал и сознавал, что Россия накануне больших событий, что рабочие готовятся к великой борьбе, что в их среде происходит стихийный, не осознанный еще процесс нарастания сил. Я жаждал принять участие в этой борьбе, но, выбитый болезнью из рядов борцов, превращенный ею в инвалида, сознавал свое бессилие.

Однажды ко мне в больницу вдруг явился тов. Ряховский, Н. А., окончивший ссылку и вернувшийся в Воронеж. Увидев меня в сером засаленном халате, полы которого волочились по полу, опирающегося на палку, он, видимо, не мог

притти в себя от изумления. Его лицо исказилось как бы от какой-то внутренней боли, слезы заблестели у него на глазах. Он, видимо, не верил своим глазам.

— Как вы изменились, каким вы инвалидом стали! — сказал он с выражением невыразимой жалости в голосе.

Ему, видимо, тяжело было смотреть на мой серый, похожий на арестантский халат, на мои стоптанные туфли, на палку, на которую я опирался, на всю поразительную перемену, происшедшую со мной. Пробыв со мной около часу, он, попрощавшись, ушел.

Вместе с его уходом я почувствовал, что во мне образовался какой-то надрыв, как будто во мне рвалась жизненная нить, связывавшая меня с живыми, со здоровыми.

Но жизнь была и в больнице. Я с интересом присматривался к ней. Здесь я столкнулся с крестьянами степной черноземной полосы. Влияния фабрики на них совершенно не было заметно. Живя веками в степной, безлесной стране, где нет топлива, они мало-помалу потеряли привычку великороссов еженедельно бывать в бане. Они совершенно не мылись всю зиму, лишь летом купались в речках или прудах. Вследствие этого среди них были распространены чесотка, короста, лишаи и другие накожные болезни. Все они приходили в больницу, покрытые вшами. Бросались в глаза их неумение есть с тарелки вилкой и непривычка к отдельной для каждого больного посуде.

— Иванов, — обращалась обыкновенно заведующая хозяйством больницы к какому-нибудь больному, — отчего ты не ешь мясо вилкой, которая лежит вместе с ложкой и ножом около твоей миски и тарелки?

— Я, чай, не нехристь какой-нибудь, — отвечал обыкновенно Иванов, оставляя в покое вилку и тарелку, употребление которых ему было неизвестно, и прибегая лишь к помощи пальцев, ложки, ножа.

— Разве можно православному христианину вилкой вашей, как вилами сено на сеновал, пищу в рот ширять? И от чая вашего тоже избавьте: живот дюже от него у меня болит.

— Да ведь удобнее, легче и гигиеничнее вилкой-то вынуть мясо из чашки да на тарелке и резать его, а то ты, я вижу, пальцами да зубами одними его разрываешь.

— Нет, барыня, — отвечал Иванов, — грех это. Как можно, чтобы вилкой вашей рот поганить! Грех это... Православный я!..

Заметив и узнав от других, что я никогда не молюсь богу и не верю в его существование, они смотрели на меня с каким-то нескрываемым ужасом. Увидев, что ко мне на сви-

дание приходят «господа», т.-е. Шестернины, они успокоились, решив, что и я принадлежу, вероятно, к разорившимся господам.

На земских врачах был еще заметен довольно сильный отпечаток старого народолюбия. Народолюбие, честное отношение к больному, особый человеческий подход к темному крестьянину, — все это очень выгодно отличало русского земского врача от многих его собратьев, западно-европейских врачей, отличавшихся, по всем данным, большой сухостью и своекорыстием, и помогло ему мало-помалу завоевать доверие крестьян, относившихся отрицательно и к медицине и к врачам.

Время шло. Отовсюду доходили слухи о росте революционного движения. Появилась брошюра Ленина «Что делать?», начались демонстрации, а я продолжал оставаться в том же положении. Здоровье мое не улучшалось.

Ранней весной 1902 года, когда начались красные зори, окрашивавшие степь в розовый цвет, я уехал из Боброва. Я начал задыхаться в этом глухом городке, и меня неудержимо потянуло в другие места. Я побывал в Самаре, Саратове, в Конотопе, Черниговской губернии, и наконец, осенью 1902 года попал в Киев. Я хорошо сознавал, что я у последней черты. Вследствие происшедших по России арестов я потерял связь с товарищами и не получал ответа на мои письма по адресу «до востребования». Стояла поздняя осень. Холодный ветер, срывавший с деревьев последние желтые листья и устилавший ими дорожки парков и улиц, заставлял меня ежиться от холода в моем летнем пиджаке. Я давно продал свое пальто на толчке на Подоле. Ночевать я направлялся в ночлежку в лавру. Рано утром, часа в 4, когда раздавался первый звучный удар колокола, который таял в воздухе, в ночлежку входил толстый, высокий монах с фонарем в одной руке и с палкой в другой.

— Рабы божьи! — кричал он густым басом, грубо и бесцеремонно расталкивая своей палкой спящих, — рабы божьи, в церковь, а вы, босяки, на Подол! На Подол, босяки, на Подол!

Получив удар палкой, которой монах угощал направо и налево спящих ночлежников, я выходил вместе с другими на улицу. Чтобы спастись, бывало, от проливного дождя и пронизывающего ветра, я шел вместе с другими в монастырскую церковь. Продремав, прислонясь к стенке, утреню, слушая, как монахи пели про «Феодосия, богом избранного, и Антония, богом дарованного», затем раннюю обедню, я направлялся в какую-нибудь чайную, купив где-нибудь по дороге фунт хлеба. За «парой чаю», которую я заказывал,

я сидел обыкновенно до той поры, пока половой-ярославец не подходил и не заявлял раздраженным тоном:

— Ты чаво здесь расселся? Ночевать што ль собрался? Чаю выпьет на пятак, а места норовит просидеть на целый рупь. Или снова заказывай чай, или убирайся вон отсюда!

— Ты смотри в оба, — говорил вслед мне трактирщик половому, — не стащил ли чего. За босячьем этим смотри да смотри!..

Слезы начинали душить меня, когда при выходе из трактира до моего слуха доносились эти речи. Мне было противно ночевать в монастыре, простаивать в церквах утрени и обедни. Монастыри, я это знал, давно превратились в вертепы разврата, наглого обмана и ужасных преступлений. С омерзением, для того лишь, чтобы укрыться от дождя и холода, я заходил под их своды.

Мрачные мысли все более приходили мне в голову.

«Что мне делать? — думал я. — Я потерял связь с товарищами. Я тяжко болен. Болезнь превратила меня в калеку, неспособного к труду. Я хожу, опираясь на палку, и каждый шаг, который я делаю, приносит мне невыносимую боль. Меня никто не принимает на работу. У меня нет одежды, я замерзаю в своем пиджачке. Денег в кармане всего полтинник. Его хватит всего на несколько дней. Неужели дойти до попрошайничества, до настоящего босячества, потерять облик, черты восставшего против гнета гордого рабочего?». Я невольно вспомнил босяков, с которыми ночевал бок о бок, питерских мазуриков, маляра Антона, спившегося и опустившегося, и токаря Петуха, певшего на потеху другим «кука-ре-ку». Мрачное отчаяние на миг охватило меня.

Я заковылял как можно быстрее к берегу Днепра. «Довольно, — говорил я себе, — этого жалкого существования. Прощай жизнь, борьба!..» Вдруг чья-то рука опустилась мне на плечо, и чей-то знакомый голос меня окликнул:

— Никак это вы, Александр Сидорович, что с вами? В каком вы виде!.. Вы едва идете! Вы больны?

Неожиданная надежда на спасение вдруг замелькала передо мной. Со мной говорил сибиряк Палашек Иван Константинович *. Тотчас вспомнил я горы Минусинского края, широкие, быстрые, многоводные реки, с необыкновенной прозрачной звенящей струей. Передо мной вдруг предстали острова реки Тубы, совершенно белые от множества цветущей черемухи. На этом фоне выплыло лицо знакомой из Минусинска. Жажда жизни нахлынула на меня. Мне безумно захотелось жить, вылечиться от болезни, снова броситься

---

* См. часть III. В сибирской ссылке.

в революционную борьбу, найти огромное счастье в борьбе,— и я устыдился минутной слабости.

— Иван Константинович, — ответил я, — как видите, мне не повезло. В том плавании, которое я предпринял, я потерпел кораблекрушение. Я захворал. Приехав в Киев, я попал в очень тяжелое положение.

— Где же вы живете? Отчего вы без пальто?

— У меня нет квартиры. Что касается пальто, то приехав в Киев, чтобы здесь в клинике сделать рентгеновский снимок, я принужден был продать его. Собственно говоря, нечего скрывать от вас, я очутился в совершенно отчаянном положении.

— Я сейчас должен итти на службу, — сказал задумчиво И. К. — Я живу на Тарасовской улице, в меблированных комнатах. Идите туда и скажите, что вы от меня. Затем вот вам полтинник, сходите в баню. Чистое белье у меня в комоде. Вечером я приду. Проживете у меня с неделю.

Вместо недели с перерывами, когда я уезжал в больницы, где лечился месяцами, я прожил у И. К. Палашек около года. Мы питались ситным, колбасой и чаем. В конце концов от такого режима И. К. нажил себе катар желудка. Несмотря на то, что первое время моя болезнь пошла резко на ухудшение, я поражал И. К. Палашека своим бодрым, веселым, жизнерадостным настроением. Сам Палашек, охотно приютивший меня, но ставивший условием, чтобы я, живя у него, не занимался революционной деятельностью, заражен был до известной степени скептицизмом, мало верил в возможность победоносной революции в России. Он вращался в кругу студентов, уже успевших после короткого пребывания в рядах партии охладеть к революционному рабочему движению. Они усиленно ухаживали за женщинами, пили, устраивали кутежи. Разочаровываясь в революции, они теряли бодрый взгляд на будущее. Прекрасные черты народолюбивого интеллигента и революционера, которыми, хотя на короткое время, многие из них были, все более стирались и тускнели...

И. К. Палашек находился под двойным влиянием: под влиянием, с одной стороны, революционеров, как Г. И. Окулова, Ленгник, Кржижановский, Курнатовский, которых он глубоко любил и уважал, и с другой — под влиянием этих все более заблуждавшихся студентов. Сам он не пил, или пил мало, но скептицизм к делу революции рабочего класса от этих студентов переходил и на него. Среди его знакомых выделялся ветеринарный врач Понамаренко, не пивший и чуждавшийся вышеупомянутой компании студентов. В первый же день знакомства он мне рассказал о знаменитом по-

беге искровцев из киевской Лукьяновской тюрьмы, имевшем место в конце августа 1902 года.

— Да, грандиозный побег был, — рассказывал он. — Сначала думали, что вся тюрьма бежала. Затем выяснилось, что бежало через стену всего одиннадцать-пятнадцать человек. Смелый побег! Такой переполох был у жандармов, ужас!.. Всю охранку, всех шпиков и жандармов на ноги подняли. Особенно вокзалы внимательно смотрели. Да ищи ветра в поле. Найдешь!..

— А как же был организован этот побег? Ведь без помощи со стороны невозможно устроить такой побег.

— Да как? На свидании передали в большом букете цветов железный якорь. Веревки, говорят, скрутили из простыней. Когда все было готово, связали часового, заткнули ему рот тряпкой, затем устроили у тюремной стены пирамиду и по плечам друг друга взобрались на верх тюремной стены, зацепили якорь и по веревке спустились на противоположную сторону ее. Бежали, говорят, самые видные искровцы. Великолепно было организовано; никто не был арестован. Жандармы озлились, страсть...

Вскоре после встречи с Палашеком я случайно встретил в Киеве товарища Ленгника, приезжавшего в Киев по революционным делам, который устроил меня на лечение у своего знакомого врача в местечке Ракитино, Белоцерковского уезда.

Около двух месяцев я пробыл в больнице в местечке Ракитино. По дороге туда, в вагоне ж. д. меня поразил вид старых евреев из черты еврейской оседлости, грязных, в пейсах и покрытых вшами. При этом в разговорах с ними бросалась в глаза их любовь к просвещению и музыке.

Крестьяне-украинцы, лечившиеся в больнице местечка, казались темными и забитыми. У них не было обычая мыться в бане, и потому они приходили в больницу грязные и тоже покрытые вшами. Многие мужчины на амбулаторном приеме, жалуясь на боль в животе, просили врача «вправить им матку».

— Живот, каже, пан дохтур, у мине болит, каже, пан дохтур, матку мне надо вправить.

Когда доктор, особенно его старушка-мать, полька, любившая бывать в больнице, обходили больницу, бросался в глаза обычай, привитый польскими панами, целовать у панов руку.

— Добрый день, Опанас, — говорила она, подходя к какому-нибудь больному крестьянину.

—Добрый день, добрая пани, — отвечал он обыкновенно и целовал ей руку.

То же самое происходило, когда сам доктор проходил по палатам.

— Не могу отучить их от этого обычая,—говорил он мне.

Раболепство перед начальством и богатыми, привитое тем же панством, замечалось в еще большей степени среди крестьян Подольской и Волынской губерний, которых я встретил весной 1903 г. в больнице общины Красного креста в Киеве. Меня поразило, что в большом, широком коридоре больницы эти больные крестьяне при проходе доктора или сестры обязательно так быстро и стремительно вскакивали и вытягивались в струнку по-солдатски, как будто под их сиденьем находилась какая-то скрытая, подталкивающая их пружина.

Вековая привычка унижаться, раболепствовать перед начальством, приходить в настоящий ужас при виде последнего, делала свое дело.

— Лучше перекланяться начальнику, чем недокланяться, — говорили больные крестьяне мне и одному киевскому рабочему с которым мы начали вести агитацию среди них.

В больнице общины Красного креста процветало и лицемерие.

— Дайте мне прочитать вашу книгу, — просила меня однажды одна из сестер, увидев у меня сочинения Г. И. Успенского.

— Возьмите, — ответил я. — Только это не роман, а очень серьезная книга.

Передача книги привела к совершенно неожиданным для меня последствиями. Через несколько дней ко мне подошла с очень сердитым видом старшая сестра.

— Какое вы имеете право давать нашим сестрам такие безнравственные книги? — заявила она мне с величайшим негодованием, возвращая мне том Успенского.

— Я все время слышал от людей, очень компетентных в литературе, что сочинения Г. И. Успенского как раз принадлежат к разряду наиболее нравственных книг. От вас от первой я слышу, что они безнравственны. Удивительно!..

— А это что? — и старшая сестра с торжеством показала на один рассказ, где автор рисует молодых супругов-бедняков, которых лишения и бедность приводят к мысли, что им необходимо отказаться от супружеских ласк, но у которых молодость и молодое влечение друг к другу побеждают их попытки к воздержанию от супружеской любви.

— Представьте себе, ведь теперь не найдешь у нас в общине ни одной сестры, которая не прочла бы этот рассказ. Это ужас!

—Я не понимаю, что в этой сцене безнравственного? Она

только является одним из доказательств, что бедняки, пожалуй, более нравственны, чем богатые, — ответил я.

— Нет, — возражала сестра, — я не могу с вами никак согласиться. Я запрещаю вам давать нашим сестрам эти книги. Вы развратите нам всех наших сестер. Не забывайте: у нас община и почти что монастырь.

— Если вы считаете эти книги безнравственными, вы имеете полную возможность сказать вашим сестрам, чтобы они не брали их у меня.

— Лучше будет, если и вы сами не будете их читать.

— Ну, уж совета у вас, сестра, какие книги нужно или не нужно мне читать, я не спрошу.

— Вот как, больно вы себя умным считаете! Только почему такой умник, а у нас на положении бесплатного больного?

— Не беспокойтесь, долго не заживусь у вас: уйду...

— То-то мы рады будем.

Больные в больнице разделялись на три категории: на две группы платных и третью группу бесплатную, к которой принадлежали мы. Нас кормили об'едками со стола «панычей», как говорили крестьяне. В один прекрасный день нам с вышеупомянутым рабочим все-таки удалось своей агитацией добиться таких успехов, что забитые волынские и подольские крестьяне не только отказались от об'едков, но и дошли до такой смелости, что не встали при проходе по коридору старшей сестры.

Это непочтение к начальству поразило всех в общине. Факт, что больные не встали при проходе по коридору старшей сестры и врачей, показался чуть ли не бунтом. Последствия этой «забастовки», как называли ее сестры общины, не замедлили сказаться в первую голову на мне.

Придя вскоре из горячей ванны, покрытый потом, в свою палату, где мне нужно было еще, по предписанию врача Богумила, минут двадцать потеть под одеялом, я застал старшую сестру за открыванием окон. Палата наполнилась пронизывающим больных и заставлявшим их дрожать от холода сквозняком. Так как после ванны, во время потения, доктор предписывал строго-настрого закрывать даже форточки, не только окна, я обратился к сестре со следующей просьбой:

— Сестра, будьте добры, закройте окна. Видите, я только что пришел из горячей ванны. Я весь в поту и могу простудиться.

— Я проветриваю палату и потому не закрою окна, — ответила она.

— Но ведь я могу простудиться! Доктор предписал же

закрывать даже форточки, когда больной приходит в палату после горячей ванны.

— Пожалуйста, не вмешивайтесь в мои дела,— закричала сестра,— я знаю, что делаю. Яйца курицу не учат!

— Вот как! — ответил я.— Значит, не больница для больных у вас, а, наоборот, больные существуют для больницы. Это все равно, как не суббота для человека, а человек для субботы. Я закрою окно, ибо это преступление с вашей стороны делать так, как вы делаете.

— Вот как заговорили! Закрывайте окно, но только чтобы ноги вашей больше здесь не было. Сегодня же, когда отдохнете после ванны, убирайтесь отсюда!

В тот же вечер я ушел из этой больницы, куда приходила меня проведать очень красивая девушка Анна Самойловна Левещук со своим женихом тов. Львом Яковлевичем Карповым. Он, приехав в Киев на партийную работу, был членом Киевского комитета нашей партии.

С узелком подмышкой, опираясь на палку, я шел по киевским улицам. Весенний прохладный ветерок ласкал лицо. Воздух был наполнен стуком пролеток по мостовой. Из-за ограды одного частного дома, мимо которого я проходил, на дворе которого был разведен целый сад, доносилась музыка. Решетка сада, как запретная черта, у которой я стоял, преувеличивала ценность тех благ и удовольствий, которые получали те, которые имели возможность бродить по этим дорожкам и аллеям, уходившим в глубь сада. Для всех, стоявших перед решеткой, наверное, как и для меня, казалось, что возможность гулять за этими красивыми, массивными решетками, по этим дорожкам, усыпанным песком и гравием, сидеть под развесистыми деревьями на расставленных всюду по парку скамейках доставляет особенное счастье. Особенно заманчивыми казались звуки музыки, несшиеся из-за решетки, из глубины парка.

— Хорошо богатым,— произнес проходивший мимо крестьянин в лаптях, приехавший на заработки из Средней России.

— Сколько этих кацапов оборванцев понаехало! — заметила при виде его проходившая женщина. — Куда ни повернешься, всюду кацап.

Я продолжал путь. Наконец я достиг Тарасовской улицы. Мне нужно было пройти мимо полицейского участка. Мое внимание привлекли страшные крики, которые неслись со двора, где находился участок.

— Ой-ой, не буду, не буду! — кто-то кричал и молил.

— Что это такое? — спросил я прохожего. — Кто это там кричит?

— А вы не знаете? — спросил он. — Оце кацапов бьют, кого же больше? Работают они на постройках, получают получку, перепьются вечером и валяются под забором, як свиньи. Оце кацапов, их, чертяк, лупят в полиции.

— Ой, и лупят же их! — продолжал он, слыша страшные крики, доносившиеся из-за стен полиции. — Чуете? Должно быть, здорово нашкодили... Будут теперь помнить, як горилку эту в казенке куплять, а затем нажраться, драться и под забором, як свинья, валяться.

Я продолжал путь на Тарасовскую улицу к И. К. Палашеку...

В то время, как я продолжал хворать, события развивались со стремительной быстротой. Особенно юг России был охвачен стихийным, массовым движением рабочих. Рабочее движение оказывало свое влияние и на крестьян. На подавление крестьянских волнений в Харьковской и Полтавской губерниях министр фон-Плеве получил благословение игумена Троице-сергиевской лавры.

Разросшееся стихийное революционное движение вылилось в начале 1903 года в великую южную стачку рабочих. Демонстрации, начавшиеся еще в 1902 году, в это время превращались, как это наблюдалось в Ростове, в грандиозное шествие по городу, в несколько десятков тысяч человек.

В то время, когда происходили все эти события, я вследствие болезни принужден был оставаться в стороне от движения. Встречая товарищей: Карпова, Невзорову, Крижижановского, я невольно ловил с их стороны брошенный на меня взгляд, полный сожаления ко мне, как к выброшенному тяжелой болезнью, пожалуй навсегда, из революционной борьбы. Я продолжал упорно лечиться.

Месяц спустя по возвращении из Крыма, куда я получил возможность поехать благодаря собранным тов. Пономаренко среди сочувствовавших революционному движению студентов ста рублям, после лечения в Сакской грязелечебнице, я вдруг во время одной прогулки вместе с тов. Пономаренко и с Палашеком почувствовал возможность для меня ходить уже без палки.

— Смотрите, — говорил тов. Палашек, — смотрите, Александр Сидорович выздоровел!

— Да, это верно. Идет себе, уже не опираясь на палку, как совершенно здоровый. Ну, если так пойдет дело на поправку, Александр Сидорович не удержится, чтобы не начать снова революционную деятельность.

— Когда вы почувствуете, что на самом деле поправились и настолько, чтобы начать революционную работу,— предупредил меня И. К. Палашек, — вы непременно известите

меня: в таком случае вам придется уехать от меня. Будем соблюдать этот договор: покамест вы не занимаетесь революцией, живите у меня сколько хотите, но только при таких условиях.

Решив снова приняться за революционную работу, я уехал от И. К. Палашека, снял в конце Б. Васильевской улицы, на краю города, маленькую сырую пролетарскую комнатку. Через Карпова и Анну Самойловну Левещук я познакомился с Львовым-Рогачевским. Этот последний, интеллигент-юрист, превосходный агитатор, выступал во время великой южной стачки, захватившей и Киев, перед киевскими рабочими-железнодорожниками. Когда они вышли на улицу, он произнес перед этим случайным тысячным собранием рабочих превосходную революционную речь.

В виду того, что тов. Карпов меня рекомендовал как опытного революционера, работавшего раньше в Петербурге и бывшего даже в Сибири, меня «кооптировали» в Киевский комитет партии.

— Пожалуй, будет гораздо лучше, если, прежде чем войти в комитет, я поработаю в низах организации, познакомлюсь с передовыми рабочими и вообще с настроением широких масс рабочих, — говорил я.

— Да, вы правы, — согласился Рогачевский. — Скажите, говорят, вы знакомы лично с Владимиром Ильичом Ульяновым? Вы были даже с ним в ссылке? Правда ли, что он совершенно не терпит около себя никого из равных ему по уму и способностям товарищей? Правда ли, что он — такой человек, который из-за удержания личного влияния на организацию, на партию способен не остановиться даже перед расколом в партии? Что у вас в Сибири говорили о Ю. О. Цедербауме?

— Я в первый раз слышу мнение о Владимире Ильиче, как о человеке, преследующем лишь интересы личного честолюбия, — ответил я. — От товарищей, членов его кружка, я слышал лишь противоположные отзывы. Всегда все говорили в один голос, что В. И. интересы общего порядка, интересы революции, интересы рабочего класса всегда ставит как выше своих личных интересов, так и выше интересов других личностей. Теперь вы спрашиваете, может ли он терпеть около себя лиц, равных ему по уму и способностям? Как в кружках рабочих всегда выделялся один из них, создавший этот кружок, так, мне кажется, происходило и в кружке Владимира Ильича. Все члены его кружка, жившие в Сибири, отзывались о В. И. как о главаре этого кружка. Никто никогда не говорил, что и Ю. О. Цедербаум играл в нем такую же роль, как Владимир Ильич. А к чему

вы все это спрашиваете? Разве что-нибудь произошло между ними?

— Да, приезжие из-за границы привезли как раз слухи самые тревожные... Главное их сообщение совершенно не вяжется с тем, что вы только-что мне сообщили. Они во всем винят Владимира Ильича. Впрочем, эти слухи идут из не вполне достоверных источников. Может быть, все это и не подтвердится.

Расставшись с Львовым-Рогачевским, я больше не встречался с ним в течение ряда лет. Начавшаяся, очевидно, за ним усиленная слежка со стороны полиции заставила его, как и тов. Карпова, уехать из Киева. Он едва успел передать мне необходимые связи с рабочими. Его заменил приехавший из-за границы, вскоре ставший ярым меньшевиком, некто Бердичевский. Из его слов я понял, что он, как и приехавшая вскоре после него из Швейцарии девица-пропагандистка присланы были П. Б. Аксельродом, начавшим уже с того момента, как только наметился раскол, наводнять организации в России своими сторонниками. Бердичевский всегда был настроен до известной меры недоверчиво и даже враждебно к Ленину и доброжелательно к П. Б. Аксельроду.

— Почему вы приехали именно в Киев? — спросил я Асю, как звали пропагандистку.

— Потому, товарищ Илья (моя кличка в Киеве), что в Швейцарии считают киевскую организацию самой образцовой, где можно поучиться работать.

— Странно, — ответил я. — Вероятно, судят по движению, которое имело место здесь в начале года и в особенности летом, в июле, когда всеобщая стачка охватила Киев, когда на Крещатике и в других местах города войска стреляли в толпу. Но теперь ведь не то... Вы знаете, что вся киевская организация состоит из полутора десятка уцелевших от арестов рабочих, что в массе рабочих царит, хотя временное, но очень подавленное, угнетенное настроение, что требуется новая огромная работа по собиранию сил и по поднятию настроения и воли к борьбе у широких масс рабочих. Нужно много поработать, чтобы наша организация сумела стать во главе и руководить новым под'емом массового рабочего движения, который не за горами.

На самом деле состояние киевской организации нашей партии в начале осени 1903 г. показывало, что революционное движение не всегда шло ровно. Его под'ем сменялся неизменно упадком, следовавшим за разгромом: так, за всеобщей южной стачкой, поднявшей движение на очень высокий уровень, наступил упадок движения, своего рода серые будни.

Я начал работать в Киеве в самый разгар последних. В то время как для меня и других товарищей, стоявших во главе организации, новый день на место долгой темной ночи, покрывавшей целыми веками равнины России, уже разгорался ярким красным рассветом, и надежда на великое будущее дела социализма вставала во весь свой рост, широкие рабочие массы, сумевшие впервые подняться до всеобщей стачки и проявившие колоссальное мужество, стойкость и героизм, терроризованные расстрелами, которыми сопровождалось во многих местах движение рабочих, арестами, новым нажимом фабрично-заводской администрации, переживала временный, но сильный упадок духа.

Все передовые рабочие, члены нашей организации, представляли собой молодых парней в возрасте от 17 до 22 лет. Я, которому в это время было 32 года, казался среди них стариком. От них я узнал, какая колоссальная работа была вложена членами нашей партии в проведение южной стачки, возникшей и проходившей, как стихийное движение рабочих. Вообще эта стачка как бы говорила, что каждая революционная ситуация предполагает возможность такого стихийного движения и что задача партии быть наготове, чтобы вызвать это движение, использовать и превратить в сознательное и во всяком случае влить в него элемент сознательности.

Стачечное движение на юге России, хотя и носило стихийный характер, не возникало и не проходило так легко, как это могло казаться. Обыкновенно очень часто задолго до возникновения забастовки на том или другом заводе или фабрике проделывалась большая подготовительная работа организацией нашей партии, совмещавшей в себе и партийную и профсоюзную функции. Активная кучка передовых рабочих, ничтожная по числу по сравнению с общей массой рабочих на заводе, часто играла решающую роль при возникновении забастовки.

Стачки нигде не возбуждались искусственно. Они проводились лишь там, где была об'ективная возможность забастовать. Только там, где были такие условия, их проводило активное ядро нашей партии, внося сознательное отношение в стихийный процесс, «не только об'ясняя мир, но и изменяя его». Стачки перекатывались из города в город, с фабрики на фабрику.

Когда стачка уже началась в городе или когда, под влиянием слухов о стачках и под влиянием листков, призывавших к ним, начинал замечаться на заводе среди рабочих под'ем боевого настроения, активное ядро наших рабочих очень часто, чтобы вызвать стачку, принуждено было выра-

ботать особый стратегический план воздействия на пассивное большинство рабочих.

Прежде всего один или двое смелых рабочих шли в машинное отделение. На них лежала задача во что бы то ни стало выманить машиниста подальше от кочегарки. На последнего воздействовали соответственно его личным склонностям. Если он являлся любителем женщин, ему говорили:

— Слышь, Иванов, я сейчас у ворот был, тебя там спрашивает какая-то девица. И красивая же баба! Откуда ты такую подцепил? Очень просила, чтоб ты сейчас же шел. «Скажите, говорит, чтоб непременно сейчас же пришел сюда к воротам машинист Иванов». Беги скорее! Чего ты зеваешь?

— Кто бы это мог быть? Маруська, что ль, с которой я вчера танцовал? Я пошел бы, да с машиной-то как быть? — говорил машинист.

— С машиной. Да проще простого. Я, так и быть, постою: для хорошего дружка и сережка из ушка. Беги скорее, а то еще уйдет твоя краля.

Как только машинист удалялся на более или менее приличное расстояние, наши товарищи тотчас давали тревожный гудок и останавливали машины.

Как только трансмиссии переставали вертеться и начинал гудеть заводской свисток, товарищи, оставшиеся у станков, перебегая от станка к станку, кричали:

— Бросай, товарищи работу, идем все на двор, идем все вместе, всей массой!

Как только толпа собиралась на дворе, еще в полной нерешительности, не зная, что будет дальше и что придется предпринять, в середине толпы, окруженный передовыми рабочими, членами нашей партии, находился заранее проведенный на заводской двор агитатор. Он, став на корточки, невидимый таким образом для полиции и жандармов, метавшихся по двору кругом толпы, громким голосом произносил короткую, но сильную речь, призывая бросить завод, забастовать. Рабочим очень нравилось, что жандармы и полиция, слышавшие крамольную речь, выходили из себя от злости, не видя говорившего и будучи бессильными его арестовать.

— Куда, куда прешь? — кричали они на жандармов и шпиков, пытавшихся протискаться в середину толпы.

Возбужденная речью оратора толпа выходила из завода, забастовка начиналась и, перекидываясь с завода на завод, становилась всеобщей.

Но вот волна спала. Вернувшимся к станкам рабочим, которые не находили больше на фабрике активных товарищей из своей среды, поднимавших их на борьбу, казалось, что

они снова у разбитого корыта. Этот временный период упадка, пессимизма, усталости мне пришлось наблюдать в Киеве, когда схлынула забастовочная волна и когда жандармы разгромили организации.

Немудрено, что те немногие, которые спаслись от ареста, тоже отчасти поддавались пессимизму.

— Наш рабочий,— говорили они,— похож на украинского вола. Как последний, он очень тяжел на под'ем.

Но пессимистическое настроение проходило. Все бодро впрягались в работу в ожидании новой еще высшей волны революционного движения рабочих.

Работать приходилось при самых невероятных условиях. Массовки, устраиваемые на Печерске, удавались очень редко. Обыкновенно, пройдя ряд наших патрулей, пропускавших с величайшей осторожностью от одного к другому, у последнего патруля я слышал роковые слова:

— Нельзя дальше: провал. Показались казаки. Надо спасаться.

Очень часто в том леске или овраге, который мы облюбовали, успевали прежде нас собраться так называемые «братья», т. е. штундисты-сектанты, за которыми, как и за нами, охотились казаки.

Жандармы и полиция продолжали свирепствовать. Была арестована типография в Конотопе у тов. Лысенко, где я одно время скрывался.

Хотя я, выходя из дома, проходил для проверки, нет ли слежки, по так называемой «Собачьей тропе», которая вела по малопроходимому оврагу, мимо свалки, слежка за мной, тем не менее, началась.

— Уезжать вам надо,— говорили многие товарищи.— Вы еще не оправились от болезни. Вам надо, елико возможно, избегать ареста, который последует неизбежно раз началась слежка.

Вскоре после того, как провалилась организация портных, среди которых оказался провокатор, я решил, что на самом деле пора уезжать.

— Куда вы хотите ехать? — спросили меня на явке ЦК.

— На север, — ответил я.— Север отстал от юга. Надо расшевелить север России.

ТВЕРЬ

История умалчивает, где принужден был ночевать революционер, приезжавший поздно ночью на станцию Тверь, отделенную от города пустырем, тянувшимся не менее, чем на четыре версты, с раскинутыми на нем огородами. Ехать

на извозчике немедленно в город было невозможно, так как в таком случае в гостинице или на постоялом дворе от него потребовали бы паспорт, провести ночь на вокзале тоже было нельзя, ибо, с одной стороны, вокзал в Твери запирался тотчас, как только уходил скорый поезд на север, с другой стороны, у оставшихся на перроне редких пассажиров жандармы требовали «вид на жительство».

Пройдя благополучно через пустырь, я натолкнулся на пустынных улицах на ночных сторожей с трещотками в руках, также требовавших у таких, как я, подозрительных, шатавшихся, подобно мне, на безлюдных улицах «документы».

Между тем каждому товарищу, направлявшемуся на подпольную работу, необходимо было проникнуть в город совершенно незаметно от агентов охранки и затеряться там в толпе людей, как теряется камешек, брошенный в мешок с зерном. Особенно ему было необходимо избегать прописки своего паспорта, а также опасности попасть в полицию для выяснения личности.

Чтобы миновать и то и другое, я предпочел вернуться на пустырь и провести ночь на огороде, между гряд с капустой. Правда, я рисковал столкнуться, завязать неприятное знакомство со «стрюцкими» *, грабившими ночью одиноких прохожих на этом пустыре. Но, вероятно, потому, что всю ночь накрапывал мелкий осенний дождик, они не могли себе представить, чтобы в такую погоду, когда «хороший хозяин собаку не выгонит на улицу», кто-нибудь вздумал ночевать между гряд огородов или гулять по пустырю. Поэтому все время до самого рассвета прошло спокойно, и я не услышал ни «молодецких посвистов», ни сиротливых криков о помощи.

Проведя затем остаток времени до 10 час. утра в трактирах, где я пил чай, отогревался и просушивал на самом себе промокшую за ночь одежду, я направился наконец на партийную явку, в губернскую земскую больницу, к доктору, кажется, насколько я помню, Вислоуху.

Унылый внешний вид тверских улиц, площадей, домов, некрасиво одетых обывателей, религиозность которых доходила до того, что они набожно снимали шапки и крестились перед каждой иконой и церковью, — все это заставляло предполагать, что мысль здесь спит.

Обменявшись условными паролями с доктором Вислоухом, я был направлен последним к секретарю Тверского комитета РСДРП, к тов Куделли Прасковье Францевне («Тетеньке»). Кроме нее, в Тверской комитет входили: старожил Тве-

---

* Босяк.

ри Иван Егорыч Кугушев (из захудалых князей), тов. Иван Егоров («Фома»), очень выдающийся рабочий. Тов. Наташа (К. Н. Громова-Самойлова) стояла очень близко к работе комитета.

В середине августа 1903 г. тверская организация только что пережила, вследствие предательства трех рабочих-провокаторов: Жукова, Чуркина и Москвина, страшный разгром со стороны охранки, арестовавшей почти всю организацию.

Тов. Фоме пришлось при невероятно трудных условиях собирать и налаживать организацию. Так как он, очевидно, справлялся со своей задачей прекрасно, меня направили в г. Вышний-Волочок, во второй после Твери промышленный центр Тверской губернии. На мою просьбу дать мне «очки», т.-е. подложный паспорт, мне было отказано за неимением в Тверском комитете паспортных бланков.

«Тетенька», посылая меня в В.-Волочок, была убеждена, что там можно прожить у кого-либо из товарищей без прописки. Кроме того, по ее словам, там нужны были в это время работники вследствие происшедших там арестов.

Когда я прощался, она спрашивала, что мне известно о расколе, происшедшем на II с'езде партии,—имела ли место там простая драка между перессорившимися генералами, или там кроется что-нибудь более серьезное. При этом она выразила уверенность, что, по ее мнению, тов. Ленин, наверно, был прав в этой истории.

Я ответил, что ничего кроме глухих слухов, не знаю, но что я тоже убежден, что Владимир Ильич прав, и просил немедленно известить меня, как только получатся в Твери более определенные сведения из-за границы.

ВЫШНИЙ-ВОЛОЧОК

Стояла уже осень, конец сентября 1903 г. Деревья были уже без зеленой одежды. Целые дни лил непрерывный мелкий дождь, когда я прибыл в В.-Волочок.

Город с каналами, шлюзами, садами и бульварами, с реками Тверцой, Мстой и Цной и Тверецким каналом, прорытым в 1703—1708 гг. Петром I, показался мне очень красивым.

В этом городе, выстроенном в крайне нездоровой местности, на бывшем болоте, и окруженном болотами, создались фабрики: Рябушинского — в селе Заворове (2.100 раб.), Прохорова — две фабрики: «Тоболка» (3.000 раб.) и «Волочок» (около 1.000 раб.). Кроме того, здесь были стекольные, кожевенные, лесопильные заводы Болотина, Шмидта, Проскурякова и т. п.

Невыносимо тяжелое положение вышневолоцких рабочих вызывало у тех из них, которые еще не были знакомы с революционным учением нашей партии, но которые в свою очередь не в состоянии были мириться с произволом и самодурством отдельных представителей высшей и низшей фабрично-заводской администрации, своего рода сильные приливы отчаяния, выливавшиеся даже в порыве мести над глумившимися над рабочими теми или иными унтер-офицерами и офицерами капитала. Так, в 1898 г. рабочий Стружинский, выведенный из себя гнусными поступками одного ночного мастера по отношению к женщинам и детям, работавшим на фабрике, убил последнего.

Рабочие, одобрившие его поступок, помогли ему укрыться от полиции.

Как и всюду почти в России, социал-демократические идеи были занесены сюда из Петербурга. Здесь работали народные учителя: Мельницкий, Мельницкая и Дружинин. Все трое в 1897 г. были высланы в Вятскую губ. Опустившись временно в ссылке благодаря тяжелым условиям, тов. Дружинин около двух лет босячил, подражая Максиму Горькому. Зимой он направлялся на юг; летом он снова возвращался на север.

Вернувшись в 1902 г. в В.-Волочок, бросив пить, он занялся с большим успехом революционной работой вместе с Мельницким в кружках вышневолоцких рабочих. Осенью 1902 г. Тверской комитет направил сюда же на работу И. Н. Смирнова. Сначала он пытался поступить ткачом на фабрику Рябушинского. Так как это оказалось невозможным, то он, будучи интеллигентом, работал в качестве рабочего на кожевенном заводе Проскурякова. Создав кружок из рабочих фабрики Рябушинского в 10—12 чел., он в феврале 1903 г. по доносу бывшего мастера Сладкова был арестован и просидел в вышневолоцкой тюрьме до осени 1904 г.

Тов. Голубев Иван Михайлович, работавший в кружке тов. Дружинина, после забастовки, вспыхнувшей на текстильных фабриках в мае 1903 г. и длившейся три недели, был тоже арестован.

Тов. Дружинин поселил меня у себя. Отец его был местным извозчиком, ездившим ежедневно на вокзал за пассажирами. Он кроме лошадей владел еще довольно большим одноэтажным деревянным домом в несколько комнат.

Спали мы с Дружининым прямо на полу, подстелив под себя тонкий войлок. Меня поражала в доме около печи большое количество неизбежных в России в то время тараканов-«прусаков». Последние заполняли не только все щели в стене у печки, где было потеплее и откуда они высматривали, ше-

веля усиками, но и всю стену около большой русской печи, образуя большое, не менее полутора аршина в длину и ширину, шевелящееся темно-желтое пятно.

Семья была мещанская. По воскресеньям мать пекла традиционный пирог с капустой. Когда две ее дочери, довольно красивые и любившие пофрантить девицы, возвращались из церкви, она отрезала и мне большой кусок этого лакомства.

Дружинину удалось распропагандировать лишь своего брата, слесаря, работавшего в ж.-д. депо. Что касается сестер, то тут он не успел, и они явно сторонились как брата, так и его опасного, поселившегося в их доме товарища.

Если Тверь производила впечатление захолустного города, то тем более Вышний-Волочок, уездный город Тверской губернии. Сюда не только не докатились волны разбушевавшегося моря на II с'езде партии, но еще не закончен был, казалось, вполне период борьбы с экономизмом. Вышневолоцкая организация, как и тверская, официально называла себя «искровской». На деле здесь работа велась по брошюре Некрасова (левого либерала Рубакина) под заглавием «Ничего с нами не поделаешь». Написанная талантливо, она нравилась рабочим благодаря увлекательности и легкости изложения. Она рисовала ярость и бессилие хозяина фабрики Живодерникова, жандармского полковника Змеевидова и жандармских унтеров Нососуева и Лампасова в борьбе с рабочими, успевающими, несмотря ни на что, под носом у жандармов распространять листки и вызывать забастовки на фабрике. Но эта брошюра ограничивалась лишь одной экономической борьбой рабочих и замалчивала политические задачи рабочего класса, как свержение самодержавия, ничего не говорила о передовой теории рабочего класса, о революционном марксизме, под знаменем которого должна вестись классовая борьба рабочих, умалчивала о конечной цели рабочего класса — о социалистическом строе. Забравшись куда-нибудь в глубь леса, т.т. Дружинин и Мельницкие читали эту брошюрку в кружках рабочих с фонарем в руках.

Пришлось повести борьбу как против брошюрки Рубакина, так и против фонаря, дававшего возможность жандармам накрыть кружок или массовку в лесу.

Так как тов. Дружинин очень отстаивал эту брошюрку, расстаться с которой так вдруг он считал неудобным, мы пришли к соглашению о необходимости сохранить ее лишь для первоначальных кружков и перейти к работе по раз'яснению рабочим в кружках теории прибавочной стоимости К. Маркса, материалистического понимания истории и самой революционной задачи рабочего класса в то время—необхо-

димости свержения самодержавия. Я также настоял, чтобы выдвигавшимся более успевшим на революционном поприще рабочим дали наконец возможность читать «Что делать?» Ленина и номера «Искры», попадавшие в руки лишь очень немногих рабочих.

Так как в это время, особенно на юге, выдвигалась на первый план пропаганда посредством лекций и произнесения речей, то мы перешли и в В.-Волочке к этому способу работы.

Работа в В.-Волочке протекала при очень трудных условиях. Не было денег на выпуск листовок, замечалось почти полное отсутствие квартир для собраний. Пришлось вести подготовительную работу по налаживанию организации преимущественно путем индивидуальной пропаганды. В этом маленьком городке чрезвычайно трудно было собираться незаметно от охранки. После трехнедельной забастовки в В.-Волочке в мае 1903 г., которой руководили рабочие социал-демократы: А. Медев, И. М. Голубев, Пакшин, Сладков, П. Смирнов, В. Антонов и С. Блинов, охранка не спускала глаз с Мельницкого и его сестры Ольги, с Дружинина и части оставшихся в Волочке не арестованных и не высланных рабочих социал-демократов. Каждая присланная из Твери и распространенная прокламация приписывалась им. Так как у некоторых из вышепоименованных товарищей или их родителей, как у Дружинина, были свои домики, им трудно было уйти из поля зрения полиции.

Горбатый, маленького роста ткач, у которого также имелся свой маленький деревянный домишка и которого уже не принимали нигде на работу, как социал-демократа, рассказывал мне, что как только до ушей исправника доходил слух о собраниях рабочих в его доме, он призывал его к себе и кричал:

— Ты что там, горбатый чорт, опять собрания устраиваешь, опять проповедуешь. Погоди, вот лопнет мое терпение, загоню тебя, горбатую сволочь, куда Макар телят не гонял. Будешь тогда помнить, как проповедывать!..

— Да никаких собраний у меня не было господин исправник, и ничего не проповедую. Просто у меня вечорка была с гармошкой. Барышни, значит танцовали.

— Я тебе покажу вечорки! Знаем мы вечорки эти... Сами там Маркса, поди, этого читают. Да вашего ли это рыла Маркса читать? Ступай, да смотри, попадешь ты к Макару в гости.

Этот разговор доказывал, что исправник и охранка очень усердно охраняли интересы Рябушинских и Прохоровых.

Поэтому собрания устраивались редко и лишь с целью подготовки к дальнейшим выступлениям вышневолоцких рабочих. В Твери, где земская управа была либеральная, работа облегчалась вследствие известной помощи со стороны земских служащих квартирами для собраний комитета и деньгами на издание прокламаций и т. п. В В.-Волочке же, где уездная земская управа была консервативная, работа в этом отношении затруднялась.

Так как рабочие жили преимущественно по деревням, куда уезжали каждую субботу, все говорило за то, что необходимо перенести туда же центр тяжести работы.

При таких условиях я все более приходил к выводу, что нет необходимости революционеру-профессионалу, каким был я, селиться в таком маленьком городке, как В.-Волочок, и что, пожалуй, лучше переехать в Тверь и оттуда время-от-времени приезжать для ведения работы, которую местные товарищи начали переносить в деревню. Я написал свое мнение в Тверской комитет.

Два месяца прошло незаметно. Земля успела покрыться снегом. Чтобы не возбуждать недовольства родителей и сестер Дружинина, я уже давно переехал к одной вдове, старообрядке, державшейся довольно странного правила по отношению к полиции.

— Не люблю я в енту самую полицию ходить, не пойду прописывать тебя: хочешь у меня жить, живи без прописки, или сам иди, пропишись, — говорила она.

Товарищи знали про эту ее особенность. На мою беду про эту странность, повидимому, проведал и жандармский унтерофицер в отставке, живший неподалеку. Так как в маленьком городишке каждый новый человек на примете, то он скоро меня заметил и, обратившись к соседке моей хозяйки, спросил:

— Что это за человек у Косоглазихи поселился? Наверно, опять без прописки живет?

Соседка, знакомая семье Мельницких, рассказала им обо всем этом. Товарищи, встревожившись за мою судьбу, предложили мне переехать на другую квартиру.

В В.-Волочке, кроме Мельницкого с сестрой, я встретил еще интеллигента Георгия Павловича Бутягина. Последний переживал колебания между марксизмом и эсеровщиной и предпочитал работать среди крестьян. Жандармы особенно злились на него, ибо он посвятил себя революционной деятельности, несмотря на то, что был сыном полицейского чиновника.

Здесь же в В.-Волочке я случайно встретился с Григорием

Тулуповым *. Узнав от Мельницких обо мне, он нарочно приехал из села Котлован в В.-Волочок, чтобы повидаться со мной. Он уже был без ноги, которая была вследствие костного туберкулеза ампутирована еще в Петропавловской крепости.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТВЕРЬ

Получив письмо из Тверского комитета РСДРП, вызывавшее меня в Тверь, я отправился в этот город.

Я вернулся в Тверь глубокой зимой, в конце ноября. Поля, леса были покрыты белым снежным покровом.

Меня тотчас ввели (кооптировали) в члены Тверского комитета РСДРП. Тов. Фома, скрывшийся от охранки, сдал мне всю работу «Тверского организационного рабочего комитета» и торопился уехать. Охранка напрягала все силы, чтобы арестовать его и привлечь по делу убийства рабочего Волнухина, обвиненного в провокации.

Взяв на себя постановку партийной работы среди рабочих, я столкнулся с необходимостью найти себе комнатку. Бюджет революционера, жившего на средства партии, не позволял такой роскоши, как квартира. Даже хорошую комнату нельзя было себе позволить. Нужно было ограничиться чердачной комнатой — «вышкой».

До переезда на «вышку» я временно жил на квартире у семинаристов. У них хранилась комитетская печать, и к ним на квартиру сносили отпечатанные листки. Один из них был, кажется, третий, младший брат Митягина **. Другого маленького роста семинариста звали, если не ошибаюсь, Рождественский. Оба они находились под сильным влиянием т. Фомы. Однажды вечером я застал их за штемпелеванием вновь отпечатанных прокламаций. На каждую прокламацию они ставили печать Тверского комитета РСДРП.

Во время работы оба семинариста рассказывали много из своей жизни в семинарии и о том шпионстве, которое организовали за семинаристами сам «отец» ректор и инспектор семинарии. Мелочность обоих «духовных отцов» доходила, по их словам, до того, что они не стеснялись проверять семинаристов по вешалкам. Делали это они тогда, когда надо было проверить, пришли ли ученики семинарии к церковной службе. В таких случаях «отец» ректор, архимандрит, осматривал фуражки семинаристов.

---

* Григорий Ефимович Тулупов входил в кружок В. П. Приютова и работал в подпольной лахтинской типографии народовольцев. Умер в начале 1926 г. в Тверской губ.

** А. Александров. Очерки рабочего движения в Твери.

— Да как же он может узнать по фуражкам? Ведь они же все одинаковые.

— В том-то и дело, что в каждой фуражке на внутренней стороне написана фамилия каждого. И по фуражкам действительно можно проверить, все ли ученики духовной семинарии пришли на уроки или в церковь.

Когда, наконец, мы окончили штемпелевание прокламаций, было уже поздно, и мы залегли спать.

Проснулся я рано утром от характерного звука, происходившего от удара печатью по чему-то мягкому. Ухо мое слышало этот звук вчера весь вечер. Удары печатью доносились из соседней комнаты, где спали хозяева квартиры — семинаристы.

— Неужели, — задавал я себе вопрос,—они успели за ночь еще напечатать и принести для штемпелевания прокламаций? Не может быть,—говорил я себе.—В таком случае я знал бы про эти прокламации. Что же значат эти звуки?

Рассуждая так, я встал с кровати и, подойдя к двери, отделявшей мою комнату от комнаты семинаристов, вдруг отворил ее.

Глазам моим представилась следующая картина. Оба семинариста, еще в одном белье, сидя на кровати у стола, забавлялись тем, что ставили печать комитета то на своем белье, то на внутренней подкладке своих фуражек.

— Что это такое? — спросил я строго. — Вам комитет поручил хранить свою печать. Что же вы делаете? Достаточно прачке обратить внимание на печать на вашем белье и вашему «отцу ректору» проконтролировать ваши фуражки, как первая и второй прочтут: «Тверской комитет РСДРП»». Что же произойдет тогда? Ведь сейчас же ректор духовной семинарии, ваш архимандрит, донесет на вас Уранову *. А ведь если у вас найдут печать комитета, то, значит, нетрудно будет и до самого комитета добраться.

Семинаристы казались очень смущенными.

— Мы шалили, — ответил наконец младший Митягин. — Мы не отдали себе отчета, что мы делаем. Но вы очень строги. Тов. Фома не был таким.

— Вряд ли товарищ Фома, несмотря на всю свою доброту, мог вам позволить такое легкомысленное отношение к делу. Я принужден буду взять от вас с этого дня печать комитета и передать ее тому товарищу, который отнесется с большей серьезностью к делу.

---

* Ураноз — жандармский полковник.

Семинаристы остались смущенными и отчасти недовольными, а я решил во что бы то ни стало переехать на другую квартиру.

Квартира для революционера имеет колоссальное значение. Одно дело, если хозяйка окажется сочувствующей революционному движению, или если она, по крайней мере, станет смотреть сквозь пальцы на своего квартиранта и не пойдет сейчас же доносить на него жандармам. Другое дело, когда хозяйка квартиры, где революционер снимает комнату, оказывается на службе у охранки...

Так как свободных комнат в Твери вообще было мало, приходилось не особенно разбирать, кто хозяйка, и селиться почти в первой попавшейся комнате.

Вообще же, когда я в поисках комнаты заходил в тот или другой дом, я замечал, что хозяйки отказывали мне, как лицу «без определенных занятий».

— Нет, уж, — говорили они, — не подходит. Не могу вас пустить к себе.

— Но почему?

— Да потому, что не хочу возиться с полицией. Если бы вы были торговец или чиновник — другое дело. Поселятся вот такие, как бы, «без занятий», смотришь, обыск, арест,— одна лишь неприятность. После хлопот с полицией не оберешься.

Такие разговоры имели место в домах, где еще так недавно жили и подвергались аресту товарищи. Обыкновенно безденежье заставляло революционеров селиться в самых дешевых комнатах и даже не брезговать чердаками. Мне тоже пришлось последовать общему примеру. Я поселился в одной из вышек. Она показалась мне очень подходящей. Изолированность ее от хозяйки, отдельный вход, — все это делало ее как будто очень удобной для людей, скрывающих от непосвященных свои истинные занятия и выдающих себя за кого угодно, но только не за того, кем были в действительности. Плата за вышку оказалась тоже по карману.

Первое время все шло хорошо. Я ничего подозрительного не замечал.

Однажды, увидев записку на окне одного дома на этой же улице, где я жил, подошел к этому дому и спросил у одной женщины:

— Что здесь сдается вышка?

— Да, — ответила она, — сдается. Я как раз хозяйка, а вы где тут живете? Я приметила, что вы все ходите по нашей улице.

Я назвал ей дом, где я жил.

— А, это у Криворотихи! — воскликнула она. — Нашли у кого поселиться!..

— А чем там худо? — переспросил я.

— Да там только воры да социалисты и живут. Нет, я вас не пущу: кто вас знает, может, вы тоже что-нибудь подобное. Потом хлопот с этой полицией не оберешься. Нет, не пущу!

Ответ незнакомой мне женщины по поводу жильцов на вышках заставил меня насторожиться. Выходило таким образом, что своей привычкой селиться в чердачных комнатах мы, революционеры, выдавали себя охранникам и облегчали их работу. Но так как денег на наем хорошей, дорогой комнаты все равно ни у меня, ни у организации не было, пришлось мириться с этим злом.

Приехав в новый для меня город, как Тверь, чтобы ориентироваться в нем и чтобы как можно лучше поставить партийную работу, я первым делом знакомился с положением рабочих в этом городе.

Положение рабочих в Твери было не менее тяжелое, чем в В.-Волочке. О нем можно судить, например, по прокламации Тверского комитета РСДРП, бюллетень № 3, к рабочим фабрики Берга от 20 декабря 1902 г.

«Рабочий день,—говорит эта прокламация,—равен 12 часам. Для жилья рабочий получает «каморку» длиной в 8 аршин и шириной в 5 аршин. В эту каморку набивают рабочих по 7 и 8 человек. Воздух в ней спертый, зловонный, пол каменный, сырой. Живущие простуживаются, дети мрут. Мастера и «хожалые»* бьют женщин и детей. Хожалый Василий бьет их даже плетью. Директор фабрики Кук, мастера: Бродлей, Кромтон, Дубровский, хожалый Григорий не дают проходу ни одной красивой женщине и девушке. Они смотрят на работниц фабрики как на свой гарем, и отношение их к ним самое возмутительное».

Приблизительно такое же положение рабочих замечалось и на других фабриках Твери: Морозова, Залогина и других. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, издевательство над личностью рабочего, жестокое обращение с детьми, беззащитность женщин от посягательств на них со стороны представителей фабричной администрации — все это говорило о страшном гнете, давившем рабочего и превращавшем его в раба капитала.

Насколько было ужасно положение рабочих в Твери, свидетельствует поступок Логинова, ткача фабрики Берга. Выве-

---

* Представитель фабрично-заводской администрации в жилых фабричных домах.

денный из себя постоянными притеснениями, угрозами и штрафами директора фабрики Кука, этот ткач, взяв с собой на фабрику 3 марта 1903 г. револьвер, выстрелил из него в директора Кука, когда последний проходил между станков. Ранив последнего в плечо, он сам добровольно явился в полицейский участок и заявил о своем поступке. Суд оправдал Логинова.

Тверской комитет выпустил по этому поводу прокламацию, где указывал, что не разрозненными выступлениями против капитала можно заставить последний пойти на уступки рабочим, а массовой, организованной борьбой под руководством РСДРП.

Проводниками революционных настроений, социалистического сознания в среду тверских рабочих явились преимущественно пришлые, ссыльные интеллигенты и рабочие. Тверская губерния и сам город Тверь продолжали еще быть местами для ссылки. Невежество рабочих казалось таким ужасающим и покорность их такой очевидной, что ничтожная кучка ссыльных, видимо, не представляла для самодержавного правительства никакой опасности.

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина... —

говорил Некрасов.

Немудрено, что и представители самодержавного правительства не питали больших сомнений, что город Тверь и вся Тверская губ. представляют собой именно ту глубокую Россию, погруженную в глубокий «сон», о котором говорил Тургенев, и ту «вековую тишину», на которую указывал Некрасов.

Под влиянием ссыльных, попавших сюда как из Петербурга, так и из Москвы, революционная теория, рисовавшая широкие возможности революционной борьбы даже в отсталой России, нашла себе последователей не только среди местных интеллигентов и рабочих, но и в среде, которая не только казалась недоступной для революционной пропаганды, но из которой в странах Западной Европы и Америки правительства и господствующие классы воспитывают самых ярых противников рабочего класса и социализма. Этой средой оказались в Твери семинаристы духовной семинарии. Еще полковник Зубатов указывал правительству, что в Твери в 1889 г. существовал кружок семинаристов с Е. А. Рогозиной во главе. Этот кружок вел подпольную работу среди рабочих Морозовской фабрики. Как на более активных членов этого кружка, указывалось на

братьев Митягиных. Кроме кружка семинаристов марксистского направления, существовали еще кружки гимназистов, реалистов и гимназисток.

Из выдающихся рабочих-ссыльных необходимо указать на тов. Прошина, автора одной из речей на маевке в Питере в 1891 г., высланного в Тверь в 1896 г., на Бориса Зиновьева и Петра Карамышева * (последний, впрочем, представлял собой полуинтеллигента, работавшего на заводах), рабочего Фунтикова и других.

Когда я в 1903 г. приехал в Тверь, я застал там много ссыльных. Большинство из них не принимало участия в революционной работе. Охранка не спускала с них глаз, как это я испытал на себе в Батуме. Исключение составляла тов. Куделли Прасковья Францевна. Хотя она была тоже ссыльная, она ухитрялась надувать охранку. Она возглавляла тверскую организацию с августа 1903 г. по осень 1904 г. и вела очень активную работу.

Я упомянул об охранке. Последняя работала действительно во-всю. Ее роль начиналась с воказала ж. д., на который прибывал революционер в Тверь. Не ограничиваясь внешним наблюдением, охранка косила ряды революционеров посредством провокации. Так, известно, что в кружок тов. Прошина уже в 1898 г. вошли провокаторы-рабочие Иван Лазарев и Иван Толстиков **.

Огромный провал тверской организации в августе 1903 г. был делом втершихся в доверие провокаторов-рабочих Москвина, Жукова и Чуркина, поставленных на эту гнусную работу жандармским полковником Урановым. Тов. Фома, на которого легла вся тяжесть работы по восстановлению разгромленной провокаторами организации, через три месяца работы, в ноябре 1903 г., к ужасу своему открыл в числе членов организации еще двух провокаторов рабочих Швецова и Волнухина. Насколько представлял собой злостного провокатора Швецов, несмотря на свой молодой возраст (17 лет), доказывают его слова о целях марксистов, как о «несбыточном бреде».

Тов. Фома (Иван Егоров), как все почти очень хорошие агитаторы, не обращал должного внимания на организационное укрепление партийных рядов. Считая главным делом постановку агитации и пропаганды, он не замечал также необходимости обратить большее внимание на укрепление конспиративных навыков. Кроме того, он был очень довер-

---

* Карамышев сделался агентов Зубатова. Александров. Очерки рабочего движения в Твери, стр. 28. Мартов. Записки социал-демократа, стр. 318.

** Александров. Очерки рабочего движения в Твери, стр. 47.

чив. Этим можно об'яснить, что провокаторам удалось обмануть его. Так как обнаруженные провокаторы, очевидно, знали много больше, чем это допустимо, было решено их уничтожить, чтобы спасти организацию. К сожалению, Швецов, заподозривший неладное по отношению к себе, успел избежать казни и скрыться. Один Волнухин, предательская роль которого, повидимому, была не вполне доказана, был убит на пустынной тропинке между огородами.

Так как охранка в Твери после этого поставила все на ноги и произвела новые аресты, оставаться тов. Фоме в Твери никак нельзя было. Он и тов. Громова принуждены были скрываться и уехать. Тов. К. Н. Громова-Самойлова, «Наташа», повидимому, не имела никакого отношения к делу казни провокатора.

Я еще застал в Твери как тов. Фому, так и тов. Наташу. Однажды, когда я пришел к тов. «Тетеньке», она тоже вошла в ее комнату и с большим любопытством, как мне показалось, взглянула на нового передового рабочего, представителя того класса, на служение которому она посвятила свою жизнь. У меня осталось в памяти ее простое симпатичное лицо русской интеллигентной девушки.

Кроме обнаруженных в 1903 г. провокаторов-рабочих Москвина, Чуркина, Жукова, были еще провокаторы-интеллигенты, «работавшие» среди земских служащих: Н. Казаков, чиновник земской управы, и его сын Казаков 2-й и М. Н. Петрис, служащий губернской земской управы.

После от'езда тов. Фомы я обратил внимание на ту сторону партийной работы, которую упускал тов. Фома: на укрепление организации. Деление на районы в городе еще проведено не было. Наряду с Тверским комитетом, руководившим всей работой, существовал «Рабочий организационный комитет». Получался какой-то параллелизм. Член комитета тов. Кугушев предлагал еще до моего приезда его упразднить. Фактически этот «Рабочий организационный комитет» представлял собой всего-навсего один фабрично-заводский район в Твери.

Вступив в члены Тверского комитета и взяв на себя роль ответственного организатора заводского района, я предложил Тверскому комитету на место одного заводского района образовать несколько. Насколько я помню, были созданы следующие районы: Затьматский, Заволжский и Городской. Создание этих районов дало возможность проявлять себя активно на организационной и другой работе многим товарищам, передовым рабочим, до этого остававшимся пассивными. Вообще моей целью в данном слу-

чае являлось желание пробудить к активной деятельности всех членов организации рабочих *. На каждом рабочем лежала обязанность вести непрерывную индивидуальную пропаганду среди рабочих и крестьян. Техника печатания и распространения листков была тоже улучшена. Многие рабочие нашли применение своей энергии в этой отрасли работы, имевшей громадное значение. Я поощрял также каждого рабочего — члена района — выступать на собраниях и приучал их по очереди вести собрания. Каждую субботу в Затверечье (в помещении, повидимому, уездного земства), в присутствии интеллигента с длинной черной бородой, по фамилии, кажется, Забелин, у которого хранился ключ от квартиры, происходили собрания представителей вновь организованных районов. Здесь обсуждались все предложения Тверского комитета и затем проводились уже в жизнь через районы. Обращено было внимание на постановку агитации и пропаганды. Не знаю, правы ли мы были, поведя жестокую борьбу против традиционного фонаря, с которым тверские интеллигенты отправлялись на пропаганду в окрестные леса. Правы оказались лишь потому, что этот обычай был неконспиративный. Что касается чтения и бесед с книжкой в руках, против чего мы высказывались, настаивая на лекционном способе ведения пропаганды, тут, надо сознаться, мы были не вполне правы. Чтения и беседы по книжечке имели огромное значение и облегчали ведение пропаганды. Но нашей заслугой все-таки является, что мы заставили забросить брошюрку Рубакина (Некрасова), по которой некоторые интеллигенты и в Твери, как тов. Дружинин в В.-Волочке, занимались с рабочими. Мною было обращено большое внимание на укрепление конспиративных навыков среди рабочих, что было безусловно необходимо в то время, когда охранка зорко за ними следила.

В Твери работать было легче, чем в Вышнем-Волочке, потому уже, что здесь имелись, хоть и небольшие, денежные средства на издание листков. Здесь можно было найти квартиру для собрания у кого-либо из местных либералов. В Твери находилось больше, чем в Вышнем-Волочке, интеллигенции, которая шла к рабочим в качестве пропагандистов. Но и здесь создались чрезвычайно трудные условия вследствие деятельности охранки, особенно после убийства подозревавшегося в провокации Волнухина. Как и в В.-Волочке, в Твери требовалась очень большая подготовительная работа индивидуального характера. Почти с

* Один из самых активных рабочих, при мне в Твери сомоотверженно и много поработавший, был тов. Катомкин. Фамилии других товарищей мною забыты. — *А. Ш.*

каждым рабочим приходилось тратить много вечеров на беседы на тему, почему нам необходимо создать революционную рабочую партию, идущую во главе, как говорилось в «Искре», «всего народа». Такую же подготовительную работу вели все время передовые рабочие нашей партии. Она предшествовала собранию каждого кружка, каждой массовки. Кружки и массовки собирались или в лесу, далеко за Тверью, или в середине штабелей дров. Непосвященный не подозревал, если и проходил мимо, что на вершине этих штабелей, на дровах или на опушке леса лежат и стоят за деревьями наши часовые, готовые всегда дать сигнал о надвигающейся опасности со стороны казаков и полиции, и что в середине этих штабелей в пространстве, освобожденном от дров, как в большой комнате без крыши, происходит собрание тверских рабочих. Здесь рабочих знакомили с теорией революционного марксизма, раз'ясняли необходимость создания партии, ведущей во время революции рабочий класс во главе всего народа, и предостерегали рабочих от мелкобуржуазных уклонов от марксизма. Часто у этих холодных с виду, но стойких и упорных рабочих севера загорались глаза жаждой борьбы и мщения. У них сжимались кулаки, и они давали себе вместе с оратором клятву довести дело свержения самодержавия и борьбы с капитализмом до конца. Как только показывалась полиция, собравшиеся разбегались по узким коридорам, которые образовывали во все стороны одна около другой сложенные поленницы.

Кроме работы ответственного организатора всех районов города, мне пришлось вести работу пропагандиста и агитатора.

Результаты нашей работы не замедлили сказаться. Число кружков возросло, насколько мне не изменяет память, до двадцати в городе и в деревнях. Число членов организации равнялось уже не менее как 500 человек. Когда началась русско-японская война в конце января. Тверской комитет повел энергичную борьбу против нее. Выпускались и распространялись на фабриках листки, проводились кружки и массовки, велась работа по деревням, усилена была устная индивидуальная агитация. В результате этой работы и агитации начались волнения и забастовки среди рабочих в Твери в начале 1904 г. Так, 19 февраля начался «бунт» на Морозовской фабрике, стачка, во время которой были избиты пристав Заруцкий и другие полицейские. Через два дня, 21 февраля, началась забастовка и на механическом Верхне-волжском заводе за Волгой. Обе эти стачки нельзя считать удачными, но они говорили о накопившемся недовольстве среди рабочих.

Вскоре после моего возвращения в Тверь Тверскому комитету пришлось разрешить трудный вопрос, к какому течению в партии, к большевикам или меньшевикам, он должен примкнуть.

Еще в августе 1903 г. Тверской комитет обратился в редакцию «Искры» с просьбой написать для тверской организации прокламацию для новобранцев и солдат. Ответа долго не приходило. Работы на с'езде, начавшийся раскол в партии не дали возможности редакции «Искры» удовлетворить просьбу Тверского комитета. Когда же «Искра» вместе с экспедицией после ухода Ленина из состава редакции попала в руки меньшевиков, последние, воспользовавшись адресами комитетов, прислали вместе с проектом прокламации, написанным Мартовым, и длиннейшее письмо последнего. С этого момента началась полоса писем Мартова, за которой последовало наводнение социал-демократических организаций в России меньшевиками — студентами и студентками из Швейцарии и других мест заграницы. Прокламация к солдатам и новобранцам нам понравилась. Написана она была, насколько я помню, хорошо. Письмо Мартова являлось первым сведением о с'езде. Таким образом Тверской комитет первую весть о расколе в партии получил в меньшевистском освещении. Оторванные от В. И., мы не знали, что произошло на этом с'езде. Слухи о расколе ходили самые неопределенные. Большая часть товарищей негодовала на то, что генералы, разодравшись между собой, внесли страшную дезорганизацию в партию.

Письмо Мартова составлено было с величайшим искусством. Первый пункт устава в редакции Ленина он высмеивал, говорил, что дело для марксиста не в уставе, не в букве последнего, а всегда в сути той работы, которую ведет организация. Борьбу за первый пункт устава в редакции Ленина он поэтому называл проявлением формализма и бюрократизма со стороны самого Ленина и его сторонников. Затем он обрушивался на Ленина за его попытку вытеснить «старейших и испытаннейших» членов группы «Освобождение труда», как Аксельрод и Засулич, из редакции центрального органа — «Искры», и за попытку установить в партии свою диктатуру — «осадное положение». Немало слов было затрачено в этом письме по поводу якобы стремления Ленина управлять посредством своего «кулака». Ленина обвинили, что он с этой целью об'явил всех старых влиятельных искровцев «оппортунистами», изгнал редакцию «Искры» и в ЦК партии провел «незнакомых людей», не бывших на II с'езде и не известных его делегатам. Ленина обвинили в том, что он, поставив центром тяжести «не направление и

содержание работы», а «организационный вопрос», тем самым воспитывает не марксистов, но начитанных на «Что делать?» «хранителей комитетской печати», «оторванных от рабочих масс», «авантюристов», «заговорщиков», «якобинцев», «демагогов» и что, оберегая партию от так называемого «оппортунизма», путем «осадного положения», он тем самым обрекает партию на создание в последней «чудовищного формализма» и «бюрократизма».

«Тетенька», получив это письмо, прочла его сначала лишь мне одному. Предстояло решить трудную задачу, за кем пойти — за Мартовым или за Лениным. Нельзя забывать, что меньшевики очень навредили большевикам этими письмами Мартова. Многие комитеты, особенно на юге, по получении их связали уже свою судьбу надолго с меньшевиками. Могло случиться, что и Тверской комитет РСДРП стал бы на сторону меньшевиков. Опасность была большая. Но все-таки Тверской комитет РСДРП пошел не за Мартовым и Аксельродом, а за Лениным.

Главная заслуга, что Тверской комитет сразу же стал на сторону большевиков, принадлежит безусловно П. Ф. Куделли.

— Я думаю, что мы должны отнестись с большой долей недоверия к тому, что говорит про Ленина Мартов,—говорила она мне.— Я уверена, что во всей этой истории прав именно Ленин.

— Я тоже храню в себе глубокое убеждение, что правда в этой истории не на стороне Мартова,—ответил я.

— Я предлагаю, — говорила «Тетенька», — провести решение в Тверском комитете и в районных собраниях, что мы становимся на сторону большинства партии до получения более подробного материала с обеих сторон о происшедшем на с'езде. Я постараюсь убедить в этом членов комитета, а мы должны провести это решение на собрании представителей районов и вообще среди рабочих.

Такое решение удалось провести, но не без борьбы. Многих смутил факт перехода Плеханова на сторону меньшевиков, о котором мы узнали из письма от Н. К. Крупской и из дальнейших писем Мартова.

Хотя таким образом Тверской комитет и примкнул к большевикам, но твердой уверенности, что последние были правы во всем, еще не было у значительной части товарищей, проявлявших склонность к примиренчеству. Только по мере того как начинали разбираться в оппортунистической позиции меньшевиков, все крепче и устойчивее становились товарищи на сторону большевиков.

В процессе страшной борьбы, возгоревшейся за влияние на рабочих между двумя течениями в партии, когда обе

стороны подвергались беспощадной критике, наша партия яснее увидела те ошибки и те недостатки, какие у нас были. Если бы не было этого раскола, борьбы между меньшевиками и большевиками, когда каждая сторона напрягала все свои усилия, чтобы победить противника, наша партия рисковала бы так же разложиться, как это случилось с западно-европейскими социалистическими партиями. Если наша партия училась на международном опыте, она также училась на своих ошибках, которые были выявлены во время этой борьбы.

Так как мне было известно от тов. Сильвина и других, что именно Ленин возглавлял свой кружок в Питере в 90-е годы, а не Мартов, что это он, Ленин, являлся инициатором упорной борьбы с «разбродом и шатанием» в виде экономизма и рабочедельчества, я относился очень критически к каждому слову Мартова. Особенно мне не понравилась его манера заволакивать почти каждый серьезный партийный вопрос туманом, делать его как бы запутанным.

ПОЕЗДКА НА ПРОПАГАНДУ ПО ДЕРЕВНЯМ

Красивы места в верховьях Волги. В этом я убеждался каждый раз, когда отправлялся в субботу после обеда на пропаганду в одну из деревень в окрестностях Твери. Стоял конец января. Мы ехали на дровнях с товарищем, ткачем, за которым к часу дня каждую субботу к фабрике Морозова приезжал его отец. Извилистое течение Волги, по льду которой была проложена санями дорога, оба берега которой заросли хвойным лесом, открывало один вид красивее другого. Но быстро гаснет зимний день. Солнце не золотит, как это бывает летними вечерами, желто-красные стволы сосен. Выглянув на миг, оно давно уже опустилось за лес. Давно погасла и заря. Потухла красноватая полоса на западной части неба. Вечерние тени, все сгущаясь, поглотили и ее. Темная ночь, как лес, в который мы свернули, охватила нас. Звезды, искрясь, как огромные бриллианты, смотрели на нее сверху сквозь ветви сосен и елей. Тихо кругом. Слышно в морозном воздухе, как визжат полозья саней, как фыркает лошадь, как изредка падает сосновая шишка на дорогу или прыгает с ветки на ветку вспугнутая нами белка.

Тишина леса, стоявшего кругом, как огромное войско, ночная тьма, звездное небо — все вызывало задумчивость. Молча ехал старик — отец товарища. «Как быстро прошла моя молодость, — вдруг вслух подумал он. — Еще недавно, кажись, бегал я здесь, по этому лесу, мальчонкой. Теперь

уже седина пробивается в бороде и волосах. Проходит жизнь!» Задумчив ехал его сын. Молчал и я.

— Скоро будет деревня, — заметил товарищ-ткач, нарушив мои мысли.

Действительно, за одним из поворотов дороги вдруг замелькали приветливо огоньки. Мы в'езжали на небольшую поляну, на которой была выстроена эта деревушка. Дорога вела по широкой улице между двух рядов деревянных великорусских изб. Около одной из них при свете, падавшем на улицу из окна избы, виднелась толпа парней и девиц. Один наигрывал на гармонике «камаринскую», другой напевал на этот мотив сочиненную одним из ткачей новую песню, называвшуюся «Дуда».

— Наши, морозовские, — сказал мне товарищ. — Мы, вишь, запоздали, а они успели вернуться.

Я вслушивался в слова песни:

«Собирайся-ка, ребята, поскорей,
Грянем песню мы рабочую дружней.
Полно нам под дудку царскую плясать,
Не пора ль нам на своей дуде играть?
Сколько времени на нашу на беду
Господа да кулаки дудят в дуду,
А начальство бьет по морде мужика.
«Ты пляши резвей, мерзавец, трепака!».
Семенит он, до истомы семенит,
Из кармана грош последний, знай, летит...
Чиновье да кулаки берут гроши:
Очень-де крестьянски деньги хороши.
Тут и поп, гляди, акафисты поет,
А руками те же денежки гребет.
Ах, ты, подлый долгогривый сатана,
Ведь и так, поди, полна мошна.
До каких пор нам, братцы, все давать,
Нет, давайте на своей дуде играть.
Пусть теперь попляшет это воронье,
Растрясет маненько черево свое...»

Все это было так необычно, что заслушался не только я; служали внимательно и товарищ-ткач и его отец. Лошадь, обрадовавшись остановке, стала.

— Но, но, но! — закричал, наконец, старик и дернул вожжами. Он торопился домой. Мы порядочно запоздали и продрогли дорогой. Мороз к вечеру крепчал.

— Стой, не торопись, — произнес вдруг один из парней. — Послушай еще. — И, остановив лошадь, он совершенно неожиданно продекламировал стихотворение Некрасова:

«Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!...

Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!».

При свете лампы, падавшем из окна избы, около которой они стояли, видно было, как на лице и в глазах парня, декламировавшего стихотворение, горело воодушевление. Он с чувством произнес эти прекрасные слова Некрасова. Те же прекрасные чувства воодушевления и любви к угнетенному народу отражались и на лице девушки, стоявшей рядом с ним и опиравшейся на его плечо.

Эти же чувства передались и мне. На мои глаза навернулись слезы. Еще ненавистней стали казаться гнет и тирания, против которых мы боролись.

Как только парень окончил декламировать, толпа расступилась. «Но, но»! — снова закричал на лошадь отец товарища и снова задергал вожжами. Лес снова охватил нас. Он стоял стеной по обе стороны дороги. Все произошло так неожиданно, что казалось похожим на какой-то сон наяву. Я не сразу пришел в себя.

— Что это такое, как все это об'яснить? — спросил я товарища-ткача.

— Как вам сказать, — ответил он. — Вы лучше поймете меня, если я скажу, что год всего назад эти самые парни, которых вы теперь видели совершенно трезвыми, по воскресным дням и вечерам напивались пьяными, озорничали, сквернословили и горланили частушки, вроде вот таких, послушайте:

Шел я речкой, камышом,
Милка в речке нагишом...
Шел я с милкою в лесу,
Милку дернул за косу...
С милкой я иду по полю,
Я целую милку вволю.
Встречу милку на крылечке
Подарю я ей колечко.
Заведу милку в колосья,
Милку дерну за волосья.
Я свою хорошую
Жигану калошею...

— Теперь же, — продолжал он, — они не пьют, не матюгаются или реже это делают и увлекаются даже стихотворениями Некрасова. Переменились ребята. Не узнать. Чтобы ответить яснее на ваш вопрос, скажу, что эта перемена замечается у них с той поры, как появились социал-демократы. Теперь чем они живут? Тем, что вы только что видели. Этот высокий парень знает меня, но немного. Мы встречаемся на фабрике. Но вас-то он ни в коем случае не

знает. Между тем он решил выложить перед нами свою душу.

Он замолчал. Мы продолжали ехать лесом. Ветки елей цеплялись за нас, когда мы проезжали слишком близко от деревьев. Снег, падая с деревьев, осыпал нас. Отец ткача дергал вожжами и кричал «но!». Я думал о том, что наша партия может считать себя единственной культурной силой, влияющей в России на все стороны жизни рабочего класса. Влияние нашей партии, не ограничиваясь рабочими, начинает отражаться и на крестьянах.

— Очень хорошо сделал Тверской комитет, что перенес опять, как и раньше, работу по деревням. Здесь, как вы убедились, у нас завоевана пока-что свобода слова. Полиции нет. Можно делать то, что совершенно невозможно в Твери, тем более, что большинство рабочих уезжает на воскресенье в деревню, — говорил товарищ-ткач.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Настал 1904 г. В конце января началась русско-японская война. Несмотря на неудачи и на море и на суше, которыми сопровождалось начало этой войны, правительство и шедшая за ним обывательская публика отнеслись к японцам с нескрываемым презрением. Потопление русских военных кораблей об'ясняли не плохим состоянием царского флота, а необыкновенным коварством «япошек», которые за это скоро будут наказаны. Первые неудачи на суше сразу же стали об'яснять тактикой заманивания со стороны царских генералов.

Наша партия выступала против этой войны. Тверской комитет партии вел лихорадочную работу. Воспользовавшись волнениями среди рабочих на фабрике Морозова 19 февраля и на Верхне-волжском вагоностроительном заводе 21 февраля, Тверской комитет решил призвать рабочих к демонстрации против войны и против правительства.

Горючего материала было уже достаточно. «Бунт» на Морозовской фабрике произошел 19 февраля из-за вареного картофеля, за едой которого помощник директора ситцевой фабрики поймал двух рабочих набивного отделения. Рассвирепев, он выбросил картофель из котелка на пол и растоптал его ногами. Это послужило поводом к тому, что среди рабочих началось возмущение. Хотя сознательные рабочие делали, как всегда в таких случаях, все, чтобы удержать рабочих от разгрома фабрики и от всего, что даст возможность применить репрессии, рабочие не могли удержаться: выступили против полиции с тем оружием, которое

находилось под руками, то есть с камнями и палками; был избит пристав Заруцкий, а подростки выбили стекла в механическом отделении и во всех нижних этажах фабрики. Вечером, в 8 часов, все 15 000 рабочих фабрики Морозова бросили работу. Через полчаса прибыла кавалерия, но рабочие уже разошлись. Фабрика, обыкновенно работавшая круглые сутки, стояла.

Когда районы высказались за демонстрацию, мы обсуждали, как провести ее на обычном собрании представителей от районов в Затверечье у тов. Забелина в субботу вечером 21 февраля.

Дело представлялось новым, необычным. В комитете не было полного единства по этому вопросу. Старый тверичанин тов. Кугушев был против демонстрации. За демонстрацию высказались «Тетенька» и я. На собрании представителей от районов также стали раздаваться сомнения. Город-де захолустный, демонстраций еще никогда не устраивалось. Будут-де мешать военное время, патриотический угар, особенно заметный среди обывательской, мещанской публики. Настроение в связи с забастовками было повышенное, но все же, к сожалению, по установившемуся обычаю большинство революционно настроенных рабочих уехало на воскресенье в деревню. Правда, районы приняли меры, чтобы удержать товарищей от соблазнительной поездки в деревню, но можно было рассчитывать лишь на 150—200 человек.

— Как заставить примкнуть к демонстрантам массу мещан и приехавших на базар крестьян? — ставили вопрос товарищи.

Являясь сторонником смелых, решительных действий, я выступил в защиту демонстрации. Я указывал на юг, где демонстрации проводились часто самой незначительной кучкой смельчаков-рабочих, которым удавалось привлекать к себе большую толпу. Не важно, что они собирали мало участников, что через пять минут уже налетала полиция, казаки. Демонстрация производила свое, будящее рабочих, действие. Я указал на удачный пример ростовской демонстрации в 1902 г., когда товарищи использовали скопища народа на Темернике под Ростовом, где собирались рабочие на кулачные бои.

— Если в Ростове, на юге, нашим товарищам удавалось увлечь в противоправительственную демонстрацию даже таких отсталых рабочих, которые увлекаются кулачным боем и приходят для того, чтобы принять участие в ломании друг другу ребер и в нанесении ударов «под микитку», то почему подобная демонстрация не удастся здесь на севе-

ре? — говорил я. — Нам надо использовать настроение рабочих в связи с забастовкой на фабрике Морозова. Забастовка вышла стихийной. Началась она не по инициативе комитета. Нет надежды, что она продержится долго. Ткачи говорят, что время в конце февраля для забастовки самое неудобное: «нет хлеба для себя и кормов для скота». Все они связаны с землей. Поэтому все говорит, что они в понедельник же, послезавтра выйдут на работу. Это настроение, эту вспышку очень хорошо можно использовать для демонстрации, тем более, что как раз сегодня, в субботу (21 февраля), забастовал столярный цех Верхне-волжского завода. Можно надеяться, что в понедельник весь завод станет, примкнет к забастовке.

— Я придумал, как увлечь массу в демонстрацию, — вдруг заявил тов. Никодим (Шестаков), возглавлявший один из районов, на собрании представителей от районов за Тверцой. — Здесь говорят, что нам придется считаться с патриотическим настроением мещанской базарной толпы. Согласен. Но поскольку эта толпа толкует о войне, постольку же она уверена, что в город привезли японских пленных. Так вот я предлагаю использовать эту сторону. Как только основное ядро демонстрантов соберется, как только будет выброшен красный флаг, пусть раздастся одновременно крик: «Японцы! Японцы! Японцев везут»! Поверьте, что толпа бросится вслед за нами, и демонстрация удастся.

Предложение использовать японцев, скорее слух о прибытии их в Тверь, было принято, и тов. Никодим был назначен организатором демонстрации.

В эту ночь, с 21-го на 22-е февраля, я спал плохо. Демонстрация была назначена на 10 часов. Мне не сиделось дома, и в 9 часов я вышел на улицу. Мне было приятно на воздухе; я радовался бодрящему ветру; я полной грудью вдыхал морозный воздух. На одной из улиц я увидел, как десятка два солдат выстроились перед вынесенным полковым знаменем. У меня остались в памяти резкие слова команды, вытянутые в струнку фигуры солдат с глазами, обращенными в сторону начальства. Но более всего меня поразил вид одного простолюдина, который, вероятно, в порыве религиозно-патриотического восторга стал на колени на снег и крестился на знамя, как на икону.

«Вот какую толпу придется нам втягивать в демонстрацию» — думал я. Но ничего не поделаешь. Наша попытка провести демонстрацию в этом патриархальном и отсталом городе будет подобна попытке смелого меньшинства наших товарищей на юге. Если каждая неудавшаяся стачка рабо-

чих есть победа рабочих, то и каждая неудачная демонстрация может быть такой же победой. Она даст исход накопившимся молодым силам, кипучей энергии молодых рабочих. Она необычна, опасна, но она заставит говорить о себе, пробудит у многих спящую мысль, заставит задуматься о своей судьбе, будет звать к борьбе. В монотонную, серую жизнь рядовых членов партии, этих постоянных вербовщиков социализма, как людей, инстинктивно ищущих опасности, она внесет оживление.

Я ходил взад и вперед по Миллионной ул., где мне одному из всех членов комитета разрешено было наблюдать со стороны, как пройдет демонстрация. Было уже 10 часов. Но попрежнему ничего необычного не замечалось на улицах. Даже, как мне показалось, было мало прохожих.

«Вероятно, что-нибудь задержало товарищей»,— пришла мне в голову мысль. Как противоречиво складывается жизнь. Революционер-марксист должен много читать, постоянно учиться. Это так трудно и почти невозможно, когда завален текущей партийной работой и в особенности когда ежеминутно приходится ждать обыска, ареста. Уменя было много свободного времени, когда я был очень тяжело болен. Но тогда, когда надежда на выздоровление, и в связи с тем и на лучшее будущее, казалось, навсегда оставила меня, когда я, казалось, дошел до последней черты, перейдя которую бросаются в воду или пускают себе пулю в лоб, тогда было не до чтения.

«Но что же это такое? — сказал я себе, посмотрев на часы.— Одиннадцать часов, и не заметно никаких признаков демонстрации». Взглянув на прохожих, одетых большей частью в длиннополые армяки и полушубки, я не прочел на их лицах ничего, кроме обычного равнодушия и покорности своей судьбе.

«Наверное, какая-нибудь неудача, — решил я. — Надо пойти на базарную площадь посмотреть, что произошло» Я направился туда, уверенный, что демонстрация по той или другой причине отложена.

Лишь только я очутился на базарной площади, как вдруг увидел взвившееся вверх красное знамя и кучку товарищей, сгруппировавшихся около него. Тотчас я услышал звуки песни:

«Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врага, брат голодный!».

Одновременно раздались крики: «Японцев везут! Японцев везут!». Толпа инстинктивно бросилась за красным знаменем к Миллионной улице. На базарной площади началась суматоха. Торговцы спешно запирали свои лавки, ларьки.

Некоторые крестьяне на лошадях, в розвальнях бросились вскачь из города. Мимо меня между тем пробегали наши организованные рабочие.

— Долой самодержавие! — кричал один из них. — Долой войну! Да здравствует социалистический строй!

Я невольно бросился за товарищами. Но вскоре, минут через пять, толпа шарахнулась назад к базарной площади. Как выяснилось потом, со стороны Миллионной ул. совершенно случайно показался отряд солдат.

На базарной площади между тем, как куры во время грозы, продолжали метаться торговки. На земле валялись рассыпанные в суматохе подсолнухи, орехи, яблоки. Часть крестьян продолжала торопливо увязывать возы. Некоторые собирали разбросанные по снегу прокламации.

— Что это, бунт? — спрашивал один прохожий. — Чего они хотят?

— Помазанника,— кричали они,— долой!

— Но как можно без царя? Никогда этого не было,— отвечали другие.

АРЕСТ

Видя, что демонстрация кончена, что товарищи разбегаются, что красное знамя не развевается больше над головами, а на площади показались солдаты и полиция, я повернул было с Тьмакского моста в узкий переулок. Но тотчас я почувствовал, как на мое плечо опустилась чья-то рука, и я услышал возглас:

— Стойте! Вы арестованы!

Оглянувшись, я увидел некоего суб'екта довольно невзрачной наружности, с бегающими глазами, одетого в поношенное штатское платье. Он крепко схватил меня за руку. К нему подбегало на помощь несколько городовых. Было около двенадцати часов, когда меня привезли на первом попавшемся извозчике в главное полицейское управление, где уже было 15 товарищей, попавшихся совершенно случайно. Трое шпиков разбирали подобранные на Толкучем рынке прокламации: «Для чего должен умирать русский солдат», «К русскому пролетариату», «Чего требуют рабочие Морозовской фабрики», «К товарищам». Раскладывая их на столе, они не только показывали вид перед вошедшим полицмейстером, что они не заглядывают в содержание прокламаций, но видно было, что сами с большим страхом прикасались к прокламациям, как к чему-то, что может их обжечь или заразить. На лицах некоторых из них изображался неподдельный ужас, как будто от одного прикосновения к этим «преступным» изданиям социал-демократов-большеви-

ков это «преступное содержание» листов привьет к ним пристрастие к революции. Мне послышалось, что один из них, беря в руки прокламацию, в испуге бормотал молитву: «свят, свят господь-бог саваоф», ибо в прокламациях заключалось «дерзостное порицание верховной власти и призыв к свержению самодержавия».

— Скажи, — обратился один из присутствовавших околотков к одному из шпиков, указывая на меня,—вот этот человек держал красный флаг, разбрасывал преступные листки и кричал: «долой самодержавие!»?

— Так точно, ваше благородие, он самый нес красный флаг, кидал в народ энти листки и произносил предерзостные слова против его величества, помазанника божия, и кричал «долой самодержавие!»

— Это наглая ложь! — крикнул я. — Затем не забывайте, что показания шпиона недействительны.

— Там разберут,—заметил хладнокровно полицмейстер.— Теперь отправьте арестованных в арестное помещение.

Арестованы были: Николаева Мария Федоровна, Орлова Е. А., Кузьмина Е. Н., Голубев И. М., Тихонов Т. Т., Круглов В. П., Смирнов В. П., Головин В. П., Соколов П. И., Кустов А. И., Дамаскин, Беневоленский К. А., Мальков Н. П., Рубцов И. Н., Бусаров Г. В., Павлов А. П., Минаев А. А., Григорьев М. Г. и др.

Находясь в арестном помещении при полиции, я, рассчитывая на помощь пропагандистки Николаевой, когда старший городовой, охранявший нас, уходил из помещения полиции в город и оставлял нас на попечение своей дочери, намеревался совершить побег.

Тов. Николаева, проходя мимо моей камеры, направляясь в уборную, отворяла задвижку, на которую была заперта моя камера. Но каждый раз дочь городового тотчас задвигала снова задвижку.

— Что, бежать хочешь? — говорил мне вернувшийся городовой. — Напрасно. У меня дочь вашего брата лучше меня стережет. А я вот пожаловался на вас господину полицмейстеру. Переводите, говорю, ваше высокоблагородие, этих релиционеров в тюрьму. Вот ужо вспомните, как плохо было вам здесь сидеть.

ТВЕРСКАЯ ТЮРЬМА

Тверская губернская тюрьма была ужасная. В тверской тюрьме кормили только черным хлебом и серыми щами. Кашу в очень ограниченном количестве давали лишь по праздникам. Письменные принадлежности не разреша-

ли держать. Письма заключенные писали раз в неделю в тюремной конторе. Тетрадь, карандаш для научных занятий разрешали иметь с большим трудом. Каждый вечер надзиратель все это отбирал на поверке. Два раза в сутки надзиратель обходил камеры и простукивал деревянным молотком решетки тюрьмы, подозревая, что они подпилены арестантами. Все в этой тюрьме говорило о жестокости. Но воплощенным олицетворением ее являлся сам начальник тюрьмы Зверев. В его лице, в глазах, в манере говорить отражались грубость и беспощадность.

Утром и вечером надзиратель, отворяя дверь, кричал:

— Смирно! На поверку!

Когда камеры тюрьмы обходил сам начальник тюрьмы Зверев, надзиратели к «смирно!» прибавляли: «господин начальник тюрьмы идет!»

Сам Зверев напоминал как бы воскресшего из мертвых Малюту Скуратова. К каторжному режиму он ввел еще грубое обращение с арестантом.

В пятницу надзиратель обыкновенно, отворив дверь моей камеры, заявлял:

— Пожалуйте в контору письма писать.

Так как трудно было отказаться от потребности и необходимости вести переписку, то после некоторых колебаний я все-таки шел в контору. Мне указывали стол, за которым обыкновенно арестанты писали письма.

Стол этот находился в глубине конторы. На нем уже лежали лист почтовой бумаги, конверт, ручка и стояла чернильница. Лишь только я брался за перо, отворялась дверь тюремной конторы, и грузная фигура Зверева показывалась на пороге.

Усевшись за стол, поговорив с подчиненными, он отдавал приказ:

— Позвать сюда Бокалова!

Минуты через две на пороге появлялся арестант с трясущимися руками, сине-багровым носом, мутными глазами и испитым, поблекшим лицом, словом, по всем признакам самый пропойный пьяница и босяк, потерявший после долгого пьянства образ и достоинство человека.

— А, господин Бокалов! — восклицал обыкновенно очень любезно Зверев. — Садитесь, пожалуйста! Вы желали написать письмо? Пожалуйста! Сию минуту вам принесут бумаги, чернил и все, что нужно. Садитесь, Садитесь!

Обернувшись затем ко мне, Зверев с насмешливым видом говорил:

— Слышал ты, Шаповалов? Вот господин Бокалов — дворянин, и я, поступая по закону, говорю ему «вы». Ты

Шаповалов, не что иное, как только крестьянин (мужик, значит, иначе говоря). Опять-таки по закону я говорю тебе не «вы», — на это я не имею права, — а говорю тебе «ты». Понял ты это? Или тебе еще раз все это об'яснить? Исполняя закон государев, я исполняю закон господа бога. Нарушить закон государства значит нарушить закон божий. Вот почему я, верный слуга государя и раб господень, говорю дворянину господину Бокалову «вы» и тебе, как крестьянину, «ты». Я исполняю закон!

Обыкновенно разговор такого рода кончался тем, что меня отправляли на трое суток в темный карцер. Избегал я карцера только в том случае, если я молча, не подавая реплик, выслушивал провокационную, полную оскорблений по моему адресу речь Зверева. Чтобы избежать оскорблений и неизбежного за ними карцера, пришлось в конце-концов отказаться от писания писем.

Зверев, любивший почет, был очень набожен. Он посещал тюремную церковь, простаивал там службы, слушал церковное пение и подтягивал затем арестантов.

Однажды, когда я был вызван на допрос, привезли беглого каторжника Морозова.

— Поймали-таки, — радостно говорил допрашивавший меня жандармский полковник Берг.

— Что же с ним будут делать? — спросил я.

— Д-р-р-рать! — произнес полковник с видимым удовольствием. — Да, — продолжал он, — д-р-р-р-ать! Этот народ не то, что вы, политические. Д-р-р-р-рать!..

Всем в тюрьме было известно, что после убийства с грабежом Морозов успел где-то в Тверской губ. зарыть в землю большую сумму денег, которую никто не мог отыскать.

Зверев поручил старшему надзирателю, высокому худощавому человеку, узнать во что бы то ни стало, куда Морозов спрятал деньги.

Старший, заковав каторжника в ножные и ручные кандалы, завернув ему предварительно руки за спину, спрашивал:

— Говори, куда спрятал деньги?

Так как Морозов отвечал отрицательно, его начинали сечь плетью по оголенной спине.

Несмотря на ежедневные истязания, каторжанин так и не сказал, куда он спрятал деньги, в конце-концов его оставили в покое. Прошло два-три месяца. Каторжанин, казалось, забыл про истязания, и когда старший приходил к нему в камеру, он даже шутил с ним. Однажды он попросил старшего купить ему кускового сахару. Завязав сахар в конец платка и сделав из него таким образом род кистеня, он терпеливо ждал благоприятного случая. Таковой скоро

представился. В первый же вечер, когда старший пришел на поверку, Морозов, неожиданно размахнувшись своим кистенем, с силой ударил его им прямо по голове. Удар был так силен, что старший, не пикнув, свалился мертвый, как сноп. В ужасе едва успел выскочить из его камеры помощник Виноградов. Второй удар Морозов целил в него.

Я сидел в одной камере вместе с тов. Голубевым. В мае он захворал, и мы потребовали врача.

— Сегодня понедельник, — об'яснил нам надзиратель,— врач бывает в тюрьме только по пятницам. Придется вам подождать.

— Как! — вскричал я.—Но за это время можно сто раз умереть! Скажите начальнику, что мы требуем, чтобы сегодня же прислали врача.

— Не стоит скандал устраивать: не любит этого его благородие господин начальник. Все равно ничево не будет. Были уже у нас случаи. «Отказать! — говорит обнаковенно ево благородие.— Не велики бары... Не сдохнут. Подождут! А если и сдохнут, беда невелика». Вот поэтому не любит ево благородие питенбургских. Все питерские, попав сюда, скандалют. И то нехорошо и другое нехорошо. Пишет обнаковенно ево благородие: «Прошу убрать от меня питенбургских». Вот и вы тоже, вижу я, затеваете скандал. Наверно, и вы питенбургские.

Говоря так, надзиратель невольно, сам того не сознавая, давал доказательства превосходства Петербурга, как культурного центра и рассадника более высоких потребностей, над другими городами России.

Общие условия в тверской тюрьме и пища были настолько скверные, что с ними мирились лишь местные тверские арестанты. Так как питерские обыкновенно представляли собой людей с более высокими потребностями, то даже уголовные арестанты из них не могли мириться с ужасно тяжелым режимом тверской тюрьмы.

Так как мы, по выражению надзирателя тюрьмы, продолжали скандалить, т. е. требовать врача в не положенный для этого день, начальник тюрьмы в конце-концов вызвал доктора.

— Что вам нужно? — закричал, ворвавшись к нам в камеру, тюремный врач.—Что за спешка такая? Не можете подождать до пятницы?

— Вот товарищ заболел. Будьте добры осмотреть его.

— Заболел, заболел! Да хоть бы вы все передохли здесь! — закричал врач.

В его глазах блеснула дикая ненависть к нам. Он пред-

ставлял собой великорусса-старика с седой козлиной бородой. Он кричал, махал руками и брызгал слюной.

— Если бы вы все сдохли, государь император, Россия, государство только выиграли бы!

— Простите, доктор, мы рассчитывали в вас, как во враче, встретить прежде всего человека,—сказал я ему.—Лично я теперь очень сожалею, что мы обратились к вам. Обращение, какое мы встречаем с вашей стороны, недостойно врача, недостойно человека. Мы будем жаловаться на вас.

— Жаловаться? Сколько угодно! Кому вы будете жаловаться? Никакого толку от ваших жалоб не будет. Правительству выгоднее, если вы передохнете в тюрьме. Лечить еще вас? Чорт бы вас побрал всех!

При этих словах он плюнул и ушел из нашей камеры.

Мы об'явили с тов. Голубевым голодовку.

— Напрасно вы скандалите. Вот всегда так, когда сидят здесь питенбургские. Надо бы иначе вам поступать. Начальник наш почет любит. Вы бы ему, когда он приходит, «здравия желаю, ваше благородие!» говорили. Он очень любит, если его политические так величают. Тогда он перестает «ты» говорить. Вот также хлеб у вас остается. Почему вы не хотите отдавать его свиньям начальника и в нужник выбрасываете?

— Не дождется он от нас, чтобы мы его «его благородием» величали и чтобы наш хлеб для его свиней вам отдавали. Лучше мы его в клозет выбросим, — ответил тов. Голубев.

— Что, голодаете? Скандал затеяли? — говорил пришедший в нашу камеру Зверев. — Тебе ли голодать? — обратился он вдруг с провокационными словами к Голубеву. — Мужик, рабочий, тоже голодать!

Мы продолжали голодовку.

ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ТЮРЬМА

На следующий день меня перевели в вышневолоцкую тюрьму. Два жандарма везли меня сначала на извозчике, затем по железной дороге, в вагоне 3-го класса, заняв для этого отдельное купе. Я опьянел от свежего весеннего воздуха, от вида распустившихся зеленых деревьев, от уличного шума, от толпы, свободно двигавшейся по улицам. Я смотрел сверху, с моста, когда мы его проезжали, на пароходы и баржи, плывшие по Волге. В то же время казалось странным видеть на улицах множество людей, свободно располагавших собой, которых не сопровождали, как меня, жандармы.

В купе вагона жандармский офицер, когда поезд тронул-

ся, вдруг заговорил со мной. Я был поражен пессимизмом, которым были проникнуты его слова.

— Будет ли толк с того, чего вы добиваетесь? — говорил он. — Вы возбуждаете недовольство у рабочих, в народе. Но человек никогда не бывает доволен. Дайте рабочему сегодня заработать два рубля — он завтра захочет три. Дайте ему три рубля — он потребует пять. Также дайте крестьянину пять десятин земли — поверьте, ему будет опять-таки мало, и он будет требовать или выражать желание, чтобы ему дали восемь или десять десятин земли, и так до бесконечности. Следовательно, свалив самодержавие, сбросив капиталистов, вы на другой же день вашей победы столкнетесь с ненасытной человеческой жадностью, с общим недовольством, которое вы же сами раздуваете изо всех сил, которое вы не сможете удовлетворить и которое вас самих пожрет. Исходя из этого, можно сейчас же сделать более или менее безошибочный вывод, что ваше дело, за которое вы сидите в тюрьме, за которое вы страдаете, не имеет будущего. Оно построено на песке. На другой же день, как вы возьмете власть, вы погибнете, не имея сил и возможности сделать человечество счастливее, чем оно есть теперь...

— Вы уже сами не верите в долговечность теперешнего строя,—ответил я.—Вы даже допускаете, что социал-демократы могут в скором, в недалеком будущем победить и установить свой порядок. Вы только утешаете себя надеждой, что недовольство, которое они возбуждают в угнетенных слоях народа, послужит причиною их собственной гибели. Вы жестоко ошибаетесь. Недовольство, святое недовольство в будущем, послужит не причиной гибели человечества, а наоборот, оно явится якорем спасения человечества. Оно послужит стимулом к прогрессу, не даст человечеству застыть, заснуть, окаменеть. Оно будет заставлять его итти все вперед и вперед, к новым победам, к новым завоеваниям по пути «из царства необходимости в царство свободы».

В завязавшемся споре мы не заметили, как проехали расстояние между Тверью и Вышним-Волочком, который, как знает читатель, был мне уже знаком.

В Вышнем-Волочке, куда меня привезли жандармы, я очутился в местной тюрьме перед маленьким сморщенным человечком, начальником тюрьмы. Он был поляк и держался совсем другой тактики, чем грубый Зверев. Он казался мягким, вежливым, но очень хитрым: даже пища была в его тюрьме менее грубой. В Вышнем-Волочке был ужасный бо-

лотный климат, от которого население города вымирало. Рост города шел за счет пришлого элемента.

Только здесь на допросе у жандармского полковника Берга и товарища прокурора я выяснил, что меня выдал некий «потомственный почетный гражданин» Александр Константинович Чехов * из г. Обояни, Курской губ., где он служил в воинском присутствии. Он донес, что я ему послал по почте прокламацию «К солдатам и новобранцам». Эксперты, учителя средне-учебных заведений Твери, на основании доноса этого Чехова лезли из кожи, чтобы доказать, что адрес на конверте, в котором Чехов получил прокламацию, написан был моей рукой. На основании этого жандармы пред'явили мне обвинение в распространении прокламаций среди солдат во время военных действий, в участии в антивоенной демонстрации и в принадлежности к тверской организации нашей партии.

В вышневолоцкой тюрьме сидел в это время И. Н. Смирнов. Мы вели с ним очень оживленную переписку через уборную, где на внутренней стороне доски, на которую садились, мы приклеивали закатанные в мякиш хлеба записки. По словам И. Н. Смирнова, я писал ему таким образом целые трактаты по вопросам экономическим, политическим и философским. Особенно И. Н. Смирнов интересовался причинами, приведшими к расколу в партии, и обстоятельствами, заставившими Тверской комитет партии примкнуть к большевикам. И. Н. Смирнов попал в тюрьму в тот момент, когда ничего еще не было известно о происшедшем расколе, и таким образом он почерпнул первые сведения по этому кардинальному тогда для нас вопросу от меня.

В вышневолоцкой тюрьме мы сидели только на тюремной пище и без свиданий. Единственной газетой, которую мы имели возможность читать, был «Сельский вестник». В этой газете каждое поражение царских войск на Дальнем Востоке превращалось газетными писаками очень ловко в блестящую победу. Все статьи этой газеты таким образом представляли самое бессовестное вранье. Слухи о неудачах на Дальнем Востоке тем не менее просачивались в тюрьму.

Между тем прошло короткое северное лето. Я готовился итти в каторжные работы. Здоровье мое расшатывалось.

---

* С Чеховым Александром Константиновичем из г. Обояни, Курской губ., я познакомился летом 1903 г. во время лечения в Саках, в Крыму. Я ему действительно послал по почте прокламацию «К солдатам», изд. Тверского комитета. По получении ее он тотчас донес жандармам, что, по его мнению, послать ему прокламацию мог только я.

Я чувствовал себя совершенно больным. Однажды в бане я вдруг увидел на коленях большие черные пятна.

«Туберкулез,— решил я.— Настал мой конец. Это костный туберкулез. Значит, мне ампутируют обе ноги, и я превращусь в полного калеку». Я потребовал тюремного врача.

— Это не туберкулез, к вашему счастью,—об'яснил мне последний.— У вас тюремная болезнь скорбут, иначе цынга. Посмотрите, у вас кровяные десны и шатаются все зубы. Вам я предпишу молоко и увеличение прогулки.

К сожалению, отсутствие денег не позволило мне улучшить питание на свой счет.

Между тем военные неудачи, вызванный ими рост революционного массового рабочего движения и оппозиционных настроений заставили правительство пойти на уступки. После казни Сазоновым министра фон-Плеве началась эпоха так называемой «правительственной весны».

Еще недавно жандармский полковник Берг уверял меня, что мне грозит долгосрочная каторга. Отчасти под влиянием его угроз на этот счет я подарил моему двоюродному брату, бедному крестьянину Полтавской губернии, села Черneча слобода, клочок земли не больше одной десятины, оставшийся от отца. Расставшись таким образом с последней собственностью, от которой я, впрочем, не получал никаких доходов и которая только числилась за мной, я почувствовал себя пролетарием чистой воды. Я готовился к долгим годам каторжных работ. Настроение у меня было бодрое. О нем можно судить по письму, которое я послал в это время моей матери, где между прочим говорилось:

«Милая мама, я арестован на улице в Твери и сижу в тюрьме.

А как хороша жизнь, милая мама, особенно весной. Где бы я ни жил, в Сибири, на берегу Черного моря, в Украине, на севере — везде я оживал весною. Условия заключения здесь не совсем благоприятны: библиотеки нет, письменных принадлежностей не дают, сидеть тоскливо. Впрочем, я, как всегда, духом не падаю.

Ваш Саша».

Я продолжал сидеть и задыхаться в тюрьме.

Два раза в месяц я пробуждался ночью от невыносимого смрада. Это окрестные крестьяне приезжали чистить «золото». Этот смрад, казалось, в'едался в стены камер и коридоров острога.

НА СВОБОДЕ

Совершенно неожиданно для меня полковник Берг вдруг заявил, что, если я внесу залог в двести рублей, я могу

быть освобожден до суда. Так как я категорически заявил, что такой суммы денег у меня нет возможности достать, залог понизили до 50 рублей.

Я написал письмо моей матери. Прошло около месяца, когда, наконец, через революционный Красный крест она получила письмо и прислала мне требуемые 50 рублей.

— В какой город под надзор полиции желаете ехать? — спросил меня Берг.

— В Киев, — ответил я, вспомнив, что я серьезно болен, что на юге я скорее поправлюсь и что в Киеве живет И. К. Палашек, который приглашал меня к себе, если понадобится отдохнуть.

20 октября 1904 г. после восьмимесячного сидения двери тюрьмы открылись для меня.

В тюремной конторе меня ждал городовой, отнесшийся ко мне, как мне показалось, с большим уважением. Нараставшее революционное движение, видимо, оказывало свое действие даже на полицию.

— Вы свободны! — услышал я от вышневолоцкого полицмейстера. С меня взяли только подписку, что я, не останавливаясь нигде, проеду из Вышнего-Волочка прямо на Киев.

Моросил мелкий осенний дождик, когда я вышел из полицейского управления. Над городом, его каналами, реками, шлюзами времен Петра I, над оголенными деревьями стлался густой осенний туман. Но в моей душе расцветала весна, пели соловьи. Перед моим умственным взором поднимались массы. Я слышал топот их бесчисленных ног, шелест красных знамен, вздымавшихся над их головами. Я слышал их горячее дыхание. Я видел их взор, горевший воодушевлением и желанием победы. Надвигались грохот, шум славы и дым пожаров первой революции. Я уже видел ее, чувствовал и жил постоянно мыслью о ней.

От товарищей, которых я встретил в В.-Волочке, я узнал, что, несмотря на аресты, партийная работа налаживалась, революционное настроение у рабочих повышалось, число членов организации росло. Но тов. Дружинина уже не было больше в В.-Волочке.

— Лучше было бы, если бы ты пьянствовал и бродяжил, чем занимался этим позорным делом, этой революцией. Убирайся от меня из моего дома куда хочешь, — заявил ему отец.

Тов. Дружинин куда-то уехал. Судьба меня больше не сводила с ним.

Вместо Киева я направился в г. Тверь. С величайшей предосторожностью я пробирался, зная, что за мной, быть может, охотятся агенты охранки, на квартиры товарищей.

ОТ'ЕЗД НА ЮГ

Сильная изнуренность моего организма и болезнь сказались еще в Твери, где я почти тотчас по приезде попал на реферат тов. Землячки. Это был первый доклад о II с'езде партии. Он представлял для меня и для всех большевиков огромную ценность, и я приготовился слушать его с величайшим вниманием.

Но против моей воли речь тов. Землячки превращалась в шум и жужжание машинных колес на фабрике. Я ловил себя на том, что засыпал самым бессовестным образом на ее реферате. Я щипал себя за руку, чтобы не заснуть, напрягал все свое внимание, чтобы слушать драгоценные сообщения для болъшевика, собиравшегося бороться с меньшевиками. Через несколько секунд мои веки тяжелели, смыкались сами собой, и я, сам того не замечая, погружался в сон.

Когда окончился доклад, мне было совестно признаться, что я почти ничего не понял из доклада тов. Землячки. Надеясь на то, что где-нибудь у товарищей выясню все, что мне надо знать о II с'езде партии, я сказал, что все понял.

Затем я не решился признаться, что я болен, что мне необходимо было бы, после жизни в тяжелых тюремных условиях и голодовки и полученной вследствие этого болезни, отдохнуть, прежде чем снова начать работать.

Тов. Землячка, направлявшая «Тетеньку» на партийную работу в Тулу, отнеслась с неодобрением к моему желанию поехать в Киев. Она настаивала, чтобы я ехал в Екатеринослав.

— Что вы будете делать в таком интеллигентском городе, как Киев, тов. Кирилл? — говорила она. — Вам надо ехать в Екатеринослав, в пролетарский город, тем более, что там требуются партийные работники.

Я почувствовал, что мне при ее словах сделалось совестно проявленного желания отдохнуть и лечиться. Я согласился, что надо ехать туда, куда зовет меня революция.

— Но как же мне быть с проходным свидетельством? — спросил я. — Оно у меня выдано вышневолоцкой полицией на Киев. Может, мне Тверской комитет выдаст «очки»? *

— Нет, — ответила мне «Тетенька». — У Тверского комитета нет паспортных бланков, и вам придется завтра отправиться в тверское жандармское управление и попросить полковника Уранова просто переписать вам проходное вместо Киева на Екатеринослав. Он уже делал это кое-кому из наших уезжавших товарищей.

---

* «Очки» — фальшивый паспорт.

С чувством гадливости и ненависти к жандармам входил я на другой день в здание тверской охранки.

— А, это вы? — услышал я голос одного из жандармских унтер-офицеров. — Вам что здесь нужно? Как вы сюда попали?

— Мне нужно видеть полковника Уранова, — ответил я, с удивлением слушая жандарма и недоумевая, откуда он мог меня знать.

— Его высокоблагородие еще не изволили притти. Придется вам подождать. Но что вы так удивленно смотрите на меня? Я вас знаю более хорошо, чем вы себе представляете. Вы думаете, я для вас совершенно незнакомый человек? Между тем я за каждым вашим шагом одно время следил перед вашим арестом.

Вдруг он замолчал, вскочил и, вытянувшись перед входившим Урановым, начал «есть» его глазами.

К моему удивлению, Уранов, не возразив ни слова, отдал распоряжение, чтобы мне переписали проходное по моему желанию.

Хмурая осень смотрела в окно поезда, моросил мелкий дождь, когда, миновав север России с его лесами, реками, озерами, я ехал по некрасивой осенью, черной, мокрой украинской степи, приближаясь к Екатеринославу. Мысли мои, как всегда в это время, были направлены в сторону революционной борьбы рабочих. Я вспоминал великую южную стачку, еще сравнительно так недавно перекидывавшуюся из города в город. Я вспоминал, как, работая в Твери, мы призывали подражать южным рабочим.

И тверские рабочие дружно откликались на этот призыв. Организация в Твери хотя медленно, но непрерывно росла. Молодые ткачи и прядильщики, мужчины и женщины, вступали в нашу партию и принимались за трудную работу вербовщиков социализма. Тяжелая работа по собиранию сил, борьба с косностью, во власти которой живет масса, не прошли даром. После арестов, разгромивших организацию летом 1903 г., снова окрепла организация.

В то время, когда мои мысли переносились в Тверь, перед моими глазами вставала иная картина: я видел, как над полями, мимо которых я ехал, тучами летали вороны, галки и грачи, я смотрел, как по размокшей, покрытой грязью дороге в телеге медленно двигался крестьянин. Он совсем не был похож в этот момент на гордого царя природы, каким, надо полагать, будет человек нового строя. Накинув на голову мешок от зерна, чтобы защитить себя от дождя, он беспомощно дергал вожжами. Жалкая клячонка едва везла его телегу, к ободьям колес которой прилипала толстыми

пластами черноземная грязь. Она налипала и к копытам лошади большими кусками. Лошадь, видимо, выбивалась из сил. От нее валил пар, а он безжалостно хлестал ее кнутом, дергал вожжами и, очевидно, чувствуя себя беспомощным, злобно кричал на нее: «Но, но, но!»

«Тяжелая картина, — говорил я себе. — Еще нет даже дорог в России. Рабочий и крестьянин являются рабами помещиков и капиталистов, и люди вообще не освободились еще от самой примитивной зависимости от вещей. Что-то ждет меня в Екатеринославе? — продолжал я думать. — Если Тверь с В.-Волочком были городами текстильного производства, Екатеринослав был городом тяжелой индустрии».

На другой день по приезде я был введен в состав Екатеринославского комитета РСДРП(б) и был назначен ответственным организатором заводского Чечеловского района, к которому относились и находившиеся в десяти верстах подрайоны: Нижнеднепровск и Амур. В этот район входили все большие заводы города: Брянский завод (15 000 рабочих), Трубочный завод, завод Шадуар, Гвоздильно-болтовой, Эстампажный, Днепровский, общество «Сириус», завод «Шла» и другие.

Из разговоров с товарищами и из последовавшего в этот же день знакомства с районом я вынес впечатление, что Екатеринославский комитет переживает очень тяжелые дни.

После под'ема, имевшего место год назад во время южной стачки, и последовавшего в октябре 1903 года расстрела рабочих Брянского завода рабочие не вышли еще из состояния апатии и упадка духа, охватившего их вслед за репрессиями. Как в океане во время бури, так и во время надвигавшейся первой революции волна рабочего движения временно спадала, чтобы все же с еще большей силой подняться девятым валом на огромную высоту.

Заметив особенную активность рабочей молодежи, распространявшей на заводах прокламации и державшей связь с комитетом, жандармы обратили все свое внимание на нее. Последняя стала в их глазах гораздо более опасной, чем взрослые, семейные рабочие, не бравшиеся за такие рискованные предприятия, как распространение прокламаций. Чтобы нанести самый существенный удар революционному движению, жандармы придумали своеобразное и до известной степени радикальное средство, которое сводилось к массовому расчету с екатеринославских заводов молодых рабочих. Это изгнание молодежи с заводов одно время привело к тому, что на заводах совершенно перестали появляться прокламации и порвалась связь рабочих масс с комитетом РСДРП.

Взрослые, семейные рабочие, в этот момент отличавшиеся от питерских рабочих налетом некоего провинциализма, воздерживались за редкими исключениями от активного участия в партийной работе. При мне они начинали лишь втягиваться в работу, и их можно было пересчитать по пальцам. Рабочая молодежь продолжала оставаться той средой, откуда наша партия черпала свои силы и пополняла свои ряды.

Насколько рано начинала эта молодежь свое участие в работе, видно из разговора, который мне пришлось вести с тов. «Василием», интеллигентом-учителем, руководившим до меня Чечеловским районом.

— Народ что-то все молодой больно, — говорил я ему, когда он мне сдал район.

— Что вы! — ответил он. — Вы посмотрели бы, что было месяцев восемь назад, когда я пришел сюда работать.

— Что же тогда было?

— А вот, прихожу раз я в назначенный час на квартиру, где должен был собраться район. Смотрю, что за чудо: никого нет. Жду полчаса, час, никто не показывается. Что такое? — думаю. Слышу шум и крики на дворе. Открыл я дверь и глазам своим не верю... Весь район в бабки играет. Стал спрашивать, сколько лет каждому, отобрал человек восемь, т. е. половину района, в возрасте от 14 до 15 лет. Подрастите, говорю им, и, когда будет каждому по 16 лет, приходите.

— Не поверите, — обратился он ко мне, — плакали некоторые, когда уходили; так уже сроднились с районом.

Предстояла и здесь обычная работа по собиранию сил, поднятию духа в массах и по сколачиванию организации. При этом нужно было не зевать. Охранка следила за каждым шагом организации. Как только она замечала, что работа начинает развертываться, она обрушивалась на организацию и подвергала ее разгрому. Дело доходило до того, что в Екатеринославе к приезду Н. Н. Мандельштама комитет представлял всего один человек. Как ни тяжело было при таких условиях работать, дело еще шло сносно до появления в городе меньшевиков. Меньшевики, господствовавшие на юге, занимавшие такие важные пункты, как Кавказ, Харьков, Севастополь, решили завоевать Екатеринослав.

Прошел год со времени II партийного с'езда. Как ни трудно было разбираться в причинах раскола, но уже наметился среди передовых рабочих сдвиг в сторону большевизма. К большевикам шли преимущественно те из интеллигентов и передовых рабочих, которые умели в рабочем движении

отличать и ставить на первый план основное, главное, существенное. Это были большей частью люди, уже овладевшие диалектическим методом познания, выработавшие в себе привычку все явления жизни рассматривать в их действительной, конкретной обстановке.

Наоборот, среди меньшевиков были люди, которые, несмотря на свои блестящие способности, большую эрудицию, знакомство с теорией Маркса, не отличались уменьем применять к жизни революционный марксизм. Широкие рабочие массы со своей стороны все более научались в России видеть в большевиках и в особенности в Ленине людей, которые ведут рабочий класс по верному пути.

НАПЛЫВ МЕНЬШЕВИКОВ

Мартов в одном из своих писем, которыми он наводнял комитеты в России тотчас после раскола, сетовал, что «вчера приехавшие из-за границы горланы заезживают Аксельрода, а несмыслящие девицы упраздняют Веру Засулич».

Лично я наблюдал как раз совершенно обратное. Именно осенью 1904 г. Екатеринослав оказался наводненным «горланами», но из меньшевиков: Иван Зборовский, интеллигент, превосходный агитатор, Александр, интеллигент, литератор и пропагандист, Михаил, интеллигент, агитатор, Герасим, интеллигент, выдававший себя за рабочего-печатника, и многие другие. Приехав в Екатеринослав, они начали подпольную работу против большевистского комитета. Как бы инстинктивно чувствуя, что раньше всего они могут найти себе союзников в городском ремесленном районе, они начали с завоевания последнего.

Комитеты как городские, так и районные не выбирались на конференциях, как теперь, а назначались путем введения того или иного выдвинувшегося или приехавшего товарища.

Условия революционной подпольной работы, постоянная опасность арестов, когда не изжита была зубатовщина и появлялась гапоновщина, когда полиция усердно насаждала провокацию, когда аресты до такой степени косили организацию, что в ней оставались часто лишь 15-летние ребята, затем невозможность часто созывать большие собрания и необходимость по приезде того или иного товарища немедленно давать ему возможность начинать работу не позволяли применять партийную демократию. Так как целью партии являлась революция, сначала демократическая, а затем и социалистическая, то выборное начало, партийная демократия являлись лишь средством для главной цели и потому при-

менялись, когда имелись налицо благоприятные условия. В противном случае выборное начало заменялось правом кооптации, т. е. правом ввести немедленно, как этого требовали боевые условия революционной работы, того или иного товарища в организацию.

Меньшевики воспользовались трудными обстоятельствами в партии и начали демагогическую работу, выдвигая требование немедленного применения выборного начала и бросая обвинение против большевиков, что последние якобы управляют сверху рабочим классом, «отдают команду» и, боясь провалов, ограничиваются тем, что «хранят печать» и заседают, а не работают в массах.

Большевики, учившиеся на международном опыте и на собственных ошибках, поступили правильно, приняв во внимание те промахи, на которые указывали меньшевики. В этом опять отличие большевиков от меньшевиков, не следовавших указаниям со стороны большевиков на те ошибки у них, на которые всегда указывали большевики. Потерпев поражение где бы то ни было, большевики исправляли свою линию, поскольку последняя оказывалась ошибочной, и снова брали верх над меньшевиками.

На такую ошибку и промах, вытекавшие, впрочем, из общего положения партии и страны, как отсутствие выборного начала, и напали меньшевики в Екатеринославе в описываемую эпоху.

На первом же заседании комитета, на котором я присутствовал, Н. Н. Мандельштам указал на меньшевистскую опасность в Екатеринославе.

— Меньшевики, — говорил он, — приехали, тов. Кирилл, и уже проникли, видимо, в городской район.

— Да, — подтвердил его слова ответственный организатор городского района тов. Евгений. — Поэтому вот с приездом тов. Кирилла отдайте мне в помощники тов. Василия. Меньшевики уже давно пред'явили к комитету требование введения их в районы для ведения партийной работы. Но мы, конечно, им отказали. Они обжаловали в ЦК.

Я поселился сначала в Чечеловском районе, поближе к заводам, борьбой которых против капиталистов и самодержавия партия мне поручила руководить.

Широкие немощеные улицы, стада гусей, белевших в больших лужах посредине, хрюкавшие в них свиньи, маленькие выбеленные снаружи домики с садочками около них — все это делало чечеловские улицы похожими на большое украинское село.

После разговоров с тов. Мишей, выдающимся рабочим, жившим на Керосиновой ул., и с другими членами района,

познакомившись с общим положением в Екатеринославе, я скоро убедился, что город и большевистская организация очутились на положении своего рода осажденной неприятелем крепости. Положение при этом осложнялось тем, что гарнизон, защитник крепости, стал колебаться, остаться ли ему верным старому большевистскому знамени или перейти на сторону врага.

Меньшевики не брезгали средствами. Они сначала натравляли рабочих, членов городского района, на пред'явление к комитету явно неисполнимых требований, затем уже нападали на комитет, обвиняя его, что он не в состоянии эти требования проводить в жизнь. Так, тотчас по моем приезде городской район настоял на устройстве демонстрации по поводу суда над брянскими рабочими. При том тяжелом положении, в котором находилась екатеринославская организация после разгромов со стороны жандармов, и ввиду охватившей рабочих апатии, можно было в это время задаваться лишь собиранием сил и подготовкой для будущих выступлений. Но подобного рода призыв к боевому действию в этот тяжелый для большевистской организации момент мог бы явиться рискованным покушением с негодными средствами, вылиться в демонстрацию слабости и повести к окончательному разгрому революционных рядов. И все-таки, считаясь с рабочими городского района, находившимися под влиянием меньшевиков, Екатеринославский комитет РСДРП накануне моего приезда высказался за демонстрацию.

Когда демонстрация, как и следовало ожидать, не удалась, меньшевики через городской район обвинили комитет, что он не умеет справиться с такой простой задачей, как успешное проведение демонстрации. Тов. Евгений постоянно жаловался на тяжелое положение в его районе.

— Это чорт знает что творится у меня в районе, — говорил он. — Кричат: «комитет виноват, что демонстрация провалилась. Где его руководство? Почему он нас не сумел отговорить от демонстрации? Явное безумие было ее устраивать. Где прокламации? Почему техника не работает? Если и ведет работу, то она из рук вон плоха. Комитет неработоспособен. Надо оздоровить комитет. Надо влить в него живой крови. Довольно нами командовали сверху. Мы выросли из пеленок. Надо ввести выборное начало»!

Тяжелое положение комитета об'яснялось, между прочим, и тем, что он оказался отрезанным от большевистских центров. Вследствие этого он не получал подмоги ни в виде новой литературы, ни в виде людей.

По возвращении из Сибири: стоят слева направо т.т: А. С. Шаповалов и М. А. Сильвин, сидит Ф. В. Ленгник.

Так как меньшевики отбили от нас наши денежные источники у либеральной буржуазии, охотнее поддерживавшей меньшевиков, чем большевиков, мы не могли выпускать такого количества листков, как это было необходимо для того времени.

Почти одновременно с атаками со стороны меньшевиков свирепствовали жандармы. На другой день по моем приезде тов. Н. Н. Мандельштам оказался арестованным. Одновременно началась усиленная слежка за рядом большевиков. Не получая никакой поддержки от большевистских центров, мы теряли товарищей, которых или арестовывали, как тов. Мандельштама, или которые принуждены были уехать из Екатеринослава из опасения быть арестованными. Так, почти на другой день после ареста тов. Мандельштама уехала пропагандистка Мария Антоновна Лившиц. Когда особенно начали нажимать меньшевики в городском районе, вдруг уехал из-за обнаруженной слежки тов. Василий. Перекочевал из Екатеринослава проживший там не более двух недель Черного *. Когда таким образом поредели наши ряды, положение наше еще более ухудшилось после приезда в Екатеринослав представителя ЦК РСДРП тов. Матренина **. Приехав разбирать дело по жалобе меньшевиков от имени примиренческого ЦК партии, он потребовал, чтобы мы допустили меньшевиков к работе в районы. Мы, кричавшие о подчинении партийной дисциплине, не могли не подчиниться этому решению, оказавшемуся гибельным для большевистского комитета в Екатеринославе. На основании одного документа можно вывести заключение, что меньшевики оправдывали свое нашествие на город Екатеринослав тем, что приезд их был вызван посылкой делегата от екатеринославских рабочих, по всем данным от городского района, в меньшевистский центр, где этот делегат призывал меньшевиков от имени екатеринославских рабочих завоевать у большевиков город Екатеринослав.

Допустив меньшевиков к работе в наших районах, мы очутились в чрезвычайно тяжелых условиях.

Работавшие до сих пор от нас скрытно, войдя теперь в районы на положении равноправных, они повели против нас такую атаку, что, можно сказать, распоясались. Городской район, куда вошел Иван Зборовский ***, вскоре же стал выступать как меньшевистский район. Герасим, направленный в Нижнеднепровск, вскоре же поколебал устойчивость

---

* Фамилия вымышлена.

**То же.

*** Иван Зборовский — первый председатель до Хрусталева-Носаря Совета рабочих депутатов в Петербурге.

Тентельбаума ****. Александр работал и разлагал коллегию пропагандистов. Я получил предписание от комитета допустить к работе в Чечеловском районе меньшевика-интеллигента Михаила. Меньшевики, обладавшие связями с местной интеллигенцией и либеральной буржуазией, устроились много лучше и в материальном смысле и с квартирами. Таким образом, в свободное время они могли читать. Мы, хозяева города, наоборот, во всех этих смыслах находились в очень тяжелом положении. Необходимость ежедневно менять квартиру, разыскивать ночевку, спать на полу, невозможность носить с собой литературу, особенно нелегальную, трудности, с какими сопряжено ее хранение, — все это не давало полной возможности читать. Случалось, что проходили целые недели, прежде чем я получал возможность взять книжку в руки. Читать, учиться коммунисту необходимо. Я чувствовал, сознавал, что я, например, недостаточно знаком с историей вообще и с историей французского революционного движения в особенности, чтобы более определенно судить, правы или неправы меньшевики, обвинявшие нас в якобинстве и бланкизме. Сознание, что я недостаточно знаю предмет, не давало мне такой уверенности, какая была необходима, когда я возражал Михаилу.

В виду наплыва в город меньшевиков, создавшегося вследствие этого тяжелого положения, ухудшавшегося арестами и об'ездами товарищей, тов. Нанешвили исполнявший обязанности секретаря комитета, неоднократно писал и за границу и в БКБ * о тяжелом положении большевистского комитета и просил присылки хороших комитетских работников и руководящей литературы.

Несмотря на все неблагоприятные условия, мы продолжали вести работу. По субботам мы в 5 час. вечера открывали на квартире у кого-нибудь из товарищей собрание Чечеловского района. Я держался правила — каждого рабочего приучать выступать и вести по очереди собрания. Несмотря на то, что слово у меня брали все товарищи, все вопросы порядка дня, предлагаемые от имени комитета, мы успевали обсудить и принять по ним резолюции к 11 час. вечера и самое позднее к 12 час. ночи.

Присутствие меньшевика Михаила в районе начало сказываться с того, что уже через неделю он повлиял на одного из пропагандистов района. Последний заявил мне, что переходит на точку зрения меньшевиков.

С появлением в городском районе меньшевиков, как

**** Подорганизатор Нижнеднепровского подрайона Екатеринославского Комитета РСДРП.

* Бюро комитетов большинства.

Иван Зборовский, и внезапным отъездом таких товарищей, как тов. Василий, положение наше с каждым днем становилось затруднительнее. Тов. Евгений, интеллигент, хороший агитатор, с каждым днем становился все мрачнее.

Так, случалось, что часто в воскресенье, когда я выходил на улицу, чтобы купить в булочной хлеб, я встречал его, осунувшегося, усталого и злого...

— А, Кирилл! — говорил он, встретив меня. — Вы откуда, с собрания Чечеловского района? Ну, как у вас прошло собрание? Как ваш меньшевик Михаил бунтует, а, скажите?

— Нет, товарищ Евгений, я не с района. Я окончил, как всегда, собрание к 12 час. ночи. Я уже успел выспаться и я иду в булочную за хлебом. Вы знаете, мне, наконец, удалось найти дешевую комнатку. Я рад: хоть почитаю. Пойдемте ко мне чай пить.

— Счастливый вы человек, тов. Кирилл. Вы окончили собрание еще вчера; вы выспались, идете уже пить чай и читать. А вы знаете, я... я только-что с собрания городского района.

— Что же, если вы начали его в те часы, когда мы кончали его, нет ничего удивительного.

— Нет, в том-то и беда, что я начал собрание тоже, как и вы, вчера в 6 час. вечера. Всю ночь мы без перерыва заседали и окончили, как видите, только на другой день в 8 час. утра. Замучили меня эти ремесленники городского района. Говорят и говорят без конца. Каждый вопрос жуют, жуют, и все толку мало. Ведь все в конечном счете решается вашими заводскими районами. Почти все члены городского района — бывшие бундовцы.

— Ну, как Иван Зборовский?

— Мне кажется, что он что-то выжидает. Может быть, он ждет, когда Михаил у вас на Чечеловке подготовит почву. Городской район уже меньшевистский. Я подозреваю, что члены его уже помогают Михаилу взорвать вас на Чечеловке. Когда это произойдет, тогда и мне окончательный сюрприз преподнесут. А пока меня лишь терпят и в моем лице без пощады критикуют большевистский комитет за «неработоспособность».

По мере того как меньшевики вели подрывную работу против комитета, положение становилось все напряженнее. Городской район оставался застрельщиком борьбы против большевистского комитета.

Его члены не дремали, как говорил тов. Евгений, вели работу среди членов заводских районов, рабочих. Скоро среди последних появились сначала примиренцы. Все чаще я стал слышать речи такого рода:

— Что это, товарищ Кирилл, за раскол в партии? Подумайте, самодержавие так сильно, мы, социал-демократы, так страшно слабы; нет прокламаций на заводах. Между тем начинают опять пробуждаться рабочие. Требования на листки, на постановку пропаганды огромные. Тут бы и работать вместе, а у нас вот раскол. Надо бы прекратить его, товарищ Кирилл!..

Однажды тов. Евгений заявил комитету, что дольше терпеть невозможно. Очень на него надавил меньшевик Иван Зборовский.

— Что же это такое? — говорил тов. Евгений. — Пишем, пишем, что положение у нас отчаянное, в каждом письме мы кричим: спасайте! — а толку мало. Разрешите мне самому лично с'ездить в Бюро комитетов большинства. Письма что ли не доходят? Нельзя на самом деле сидеть у моря и ждать погоды, а тем временем Иван Зборовский нас окончательно проглотит. Я лично поговорю с тов. Землячкой и сам вернусь и привезу непременно подмогу.

— А вы непременно вернетесь обратно? — спросил его тов. Н. («Филипп» или иначе «Варвара»).

— Что за вопрос? — обиделся даже тов. Евгений. — Чтобы я вас оставил в таком отчаянном положении! За кого вы меня принимаете? Конечно, вернусь, хотя мне уже надоело здесь.

Тов. Евгений уехал и не вернулся. Он не только не вернулся, но его упорное молчание производило впечатление, что он, как вырвавшийся из душного подземелья, забыл нас, оставшихся там *. Вскоре после его от'езда я выяснил, что тов. Тентельбаум, интеллигент, руководивший Амуром и Нижнеднепровском, перекочевал к меньшевикам. Ввиду создавшегося положения тов. Нанешвили начал работать в в городском районе, тов. Роман — в Нижнеднепровском и Амурском подрайонах.

Обычное недовольство рабочих, членов районов, с которым обыкновенно легко справлялись, начало принимать угрожающие формы.

— Что, тов. Кирилл, — насмешливо говорил мне, встречаясь со мной, меньшевик Герасим, — что, бегут ваши интеллигенты из Екатеринослава, бегут, как крысы с тонущего корабля? Оставляют вас, рабочего, нам, меньшевикам, на с'едение. С'едим мы вас скоро. Это верно. Скоро вам капут! То, что вы видите здесь, происходит по всей линии. Везде в России плохо приходится большевикам. Капут скоро!..

---

* Тов. Евгений был направлен для работы в Нижний.

— Если даже читать вашу новую «Искру», то окажется, что это неверно. Уезжают же товарищи потому, что за ними охранка устанавливает усиленную слежку, — отвечал я.

— И за меньшевиками не меньшая слежка.

— Может быть. Но вот вашего Ивана Зборовского арестовывали же раза два чуть не со всем городским районом, а затем опять освобождают. Хотя тут, наверно, простая случайность, но все же счастливая, исключительная случайность.

Комитет совещался о создавшемся положении. «Что делать?» — вот вопрос, который вставал перед каждым. Угроза взорвать нас по всей линии, о чем хвастался меньшевик Герасим, насколько я знал, имела достаточно оснований.

— Мы удержимся, если согласимся на выборное начало, — говорил тов. Нанешвили.

— Не слишком ли поздно это будет? Меньшевики так подготовили почву, что наша уступка еще более поднимет их в глазах рабочих, да и выбирать-то будут меньшевиков. Осталось всего неделя или две, не более, и районы вынесут постановление об избрании нового центра и об упразднении старого большевистского комитета. Затем, выборное начало это — мера общего характера, и без разрешения нашего большевистского центра проводить только в одной екатеринославской организации партийную демократию мы не можем. Надо кого-нибудь послать в Одессу. Пусть он спросит мнение хотя бы Одесского комитета по этому вопросу и потребует присылки хотя бы одного сильного комитетского работника. Мы устроили бы дискуссию. Меньшевики распространяют среди рабочих клевету, что мы, большевики, находимся на пороге смерти повсюду в России. Когда мы возражаем, нам не верят. Что, мол, вы знаете: вы сидите здесь, как кочки на болоте, и вам совершенно неизвестно, что творится на белом свете. Другое дело, если появится большевик, приехавший, положим, из Одессы. Он может сразу завоевать доверие. Если же он еще силен в партийных вопросах, наше дело будет в шляпе, — так говорил тов. Роман.

— Разрешите мне с'ездить в Одессу, — предложил я.

— Ни в каком случае, — возразил т. Нанешвили. — Во-первых, у вас на руках огромный Чечеловский район. Вы не должны его покидать. Во-вторых, я не вижу никаких гарантий, чтобы с вами не случилось то же самое, что и с т. Евгением. Я предлагаю послать т. Наташу.

— Если она хорошо исполнит поручение, мы ее выберем в комитет. Она — очень способная девушка, — сказал я.

— Это посмотрим,— холодно заявил т. Нанешвили.— Вы всегда хлопочете, т. Кирилл, за тех, которые работают в вашем районе. Вы только, покамест она не вернется из Одессы, ничего ей не говорите.

Тов. Наташа представляла собой интеллигентку-пропагандистку и являлась способным товарищем. Своей простотой обращения с рабочими, своим задушевным, звучным, мягким голосом и своею способностью говорить увлекательно она завоевала общее доверие рабочих тех кружков, которые мы ей поручали вести. Кроме того, она заведывала общественной секцией и занималась сбором средств на партию среди либеральной буржуазии, сочувствовавшей революционному движению.

Мы уже намечали ее кандидатом в комитет, но тов. Евгений, который ее хорошо знал, отклонил на этот раз это предложение.

— Молода еще она для комитетской работы. Еще девчонка. Пусть подождет.

Я был уверен, что тов. Наташа выполнит с честью данное ей поручение. Она выслушала, что говорил ей тов. Н. о тяжелом положении, в котором очутился Екатеринославский комитет, что ей поручается привезти из Одессы, под опасением, что Екатеринославский комитет будет взорван меньшевиками не позднее, чем через две недели, хорошего комитетского работника, и что она должна выяснить мнение Одесского комитета большевиков о положении в Екатеринославе в связи с требованием меньшевиков проведения в жизнь немедленно выборного начала. Тов. Наташа ответила тов. Нанешвили и мне, что она все прекрасно поняла и постарается выяснить, что должен при создавшихся условиях выполнить Екатеринославский комитет, и привезти требуемого работника.

«ЗАПАСНЫЕ»

На моей обязанности, как ответственного организатора подрайонов Нижнеднепровского и Амура, лежала необходимость бывать там не менее раза в неделю, наблюдать, как ведется работа. Кроме того, я вел там кружки. При отсутствии денег в организации и вообще тяжелом материальном положении нечего было и думать о поездках сюда на извозчиках. Помимо того, что это было дорого, это считалось неконспиративным. Среди извозчиков могли быть шпики, и нас могли легко проследить агенты охранки.

Поэтому я всегда совершал переход сюда пешком. Нередко заставала меня, когда я засиживался на кружках и со-

браниях, глухая ночь. Часто приходилось итти туда и возвращаться во всякую погоду: и в дождь, и в сильный мороз, и в метелицу. Как в каждой отдаленной, пустынной, незастроенной местности на Руси, здесь иногда поджидали путника всякого рода «жулье, мазурики и ракло», грабившие запоздалых прохожих, обиравшие их догола. При этом грабители прибегали к разного рода хитростям. То они выскакивали из-под заборов в белых саванах в виде мертвецов или появлялись преобразившимися в чертей. Встреченные такими мертвецами или чертями прохожие сперепугу лишались даже способности речи и позволяли обдирать себя, как липку.

Принимая все это во внимание, я освободил пропагандисток от необходимости работать в этих отдаленных от Екатеринослава районах. Посылал туда пропагандистов или исполнял обязанности пропагандиста сам.

Несмотря на слухи о мертвецах и чертях, грабивших за Екатеринославским мостом, я никогда не встречал этих отрицателей частной собственности. Тем не менее каждый раз, когда я возвращался из Нижнеднепровска, я бывал очень доволен, если заставал на ж.-д. станции товарный поезд. Вскочив на тормозную площадку, что не мешали делать кондуктора поезда местным жителям, я доезжал бесплатно, «зайцем», до Екатеринослава.

Однажды, в конце декабря 1904 г., когда т. Наташа уехала в Одессу, я возвращался поздно из Нижнеднепровска в Екатеринослав. Стоял сильный мороз. Днепр давно был скован льдами. Ночью пошел сильный снег, подул ветер. Началась метелица. Всматриваясь сквозь белую пелену хлопьев валившего снега, я к радости заметил на станции огни грузового поезда. Раздался уже третий звонок. У меня не было времени рассматривать, какой это поезд. Обрадованный, что мне предстоит редкая возможность проехать по железной дороге это десятиверстное расстояние, я припустился что есть мочи к поезду. Он уже трогался, когда я при помощи сидевших в вагоне каких-то людей, показавшихся мне ж.-д. рабочими, подхватившими меня подмышки, влез в вагон, который предназначался, согласно надписи, или «для сорока человек» или «для восьми лошадей».

При тусклом свете фонаря я рассмотрел в вагоне временные нары из грубых досок и лежавших и сидевших на них рабочих, очень похожих на украинских крестьян.

— Седайте, — услышал я. — Як вы запыхались, швидко бежали, — услышал я от одного молодого парня, сидевшего неподалеку от меня.

«Железнодорожные рабочие, — решил я. — Вот случай

для агитации. Только что-то серовата публика, — думал я, смотря на них. — Может, и на шахты едут?» Как всякий агитатор-большевик, я не мог пропустить благоприятного случая для агитации. Вести агитацию, поднимать отсталые рабочие массы до высот социалистического сознания, доказывать, что революция остается единственным средством для рабочих и крестьян России, чтобы выйти из того бедственного и приниженного положения, в котором они находились, словом, «бунтовать», как выражались некоторые рабочие, сделалось самой насущной потребностью моей жизни. Отказаться от благоприятного случая поговорить с рабочими на революционную тему мне становилось так же трудно, раз случай представился, как голодному отказаться от куска хлеба. Поэтому, увидев рабочих, какими мне показались эти люди, я стал искать предлога завести разговор. Предлог скоро представился.

— Вы из Екатеринослава? — спросил меня тот же рабочий, который предложил мне сесть. — Вы читаете газеты, скажите, что пишут. Не пойму я, чи наши бьют японцив, чи японци наших лупят. Наши хохлы кажут: лупять наших, и наши бегут, аж пятки сверкают. Чи правда, чи нет?

Воспользовавшись случаем, я тотчас нарисовал перед сидевшими в теплушке трагическое положение рабочих и крестьян России.

Я увлекся. Меня слушали внимательно.

— Довольно! — вдруг услышал я резкий и негодующий голос. В тот же миг чья-то рука грубо и крепко схватила меня.

Не отдавая себе еще отчета в том, что произошло со мной, я оглянулся. Я увидел перед собой человека лет сорока. На меня смотрело его лицо с тупым, жестоким выражением.

— Это что такое? Почему вы меня схватили? — закричал я, пытаясь вырваться. — Какое вы имеете право?

— Какое имею я право? — ответил он мне резким голосом. — Об этом вам скажут в жандармском управлении в Екатеринославе, куда мы сейчас приедем. Вот я вас сдам жандармам, от них все узнаете.

— Да тебе якое дело? Чево ты взявся? Нехай соби говорить! Он хорошо говорил, — кричали на него рабочие.

— А вы часом с глузу ни с'ихали? — возразил им державший меня. — Може, вин японский шпион или социалист. И тот и другой — наш «внутренный враг». Это мы все, як запасные, должны знать. Не для того же я служил верою и правдою государю-императору, не для того мне дали чин урядника, чтобы позволить ему брехать, як собаке.

— Мы вси запасные и едем на войну, а вы какие слова тут говорили? Уши вянуть, когда я вас слушал,— сказал он мне.

Так вот оно что! Теперь понятное дело. Они запасные, едут на войну. Он — бывший урядник, значит, полицейский. Дело мое оборачивается плохо.

Тотчас, как молния ночью, прорезала мою голову мысль, что ведь карманы мои, как нарочно, набиты материалом для прокламаций для солдат, что они полны нелегальной литературой. Если меня теперь арестуют, в руках жандармов окажутся все данные для создания обвинения в пропаганде среди солдат в военное время, достаточного для посылки меня на каторжные работы.

Я замолчал, стараясь найти выход из создавшегося трудного положения. Молчал и урядник, продолжавший держать меня за руку. На его тупом лице я прочел предвкушение удовольствия, которое он испытает, когда начальство будет благодарить его за задержание революционера.

«Может, и денег еще дадут»,— наверно, мерещилось ему. Поэтому он продолжал меня держать крепко.

Поезд между тем давно миновал Екатеринославский мост и приближался, громыхая цепями, к Екатеринославу. Из передних вагонов раздавалось уже громкое «ура», которым запасные приветствовали город.

— Ура! Екатеринослав! — доносились крики.

— Ура! ура! ура! — стали кричать запасные и в нашем вагоне.

Я давно уже пытался приотворить дверь вагона ногой. Урядник тотчас ее запирал.

— Отчины швидче дверь! — закричали запасные, бывшие в вагоне, и оттолкнули его от двери.

Перед моими глазами замелькали железнодорожные постройки, предшествовавшие перрону. Наставал последний и решительный момент.

«Надо принять какие-либо меры, — думал я, — иначе через две минуты я попаду в лапы к жандармам».

Свободной рукой я вдруг нащупал в кармане екатеринославскую газету «Приднепровский край». Я, недолго думая, решил прибегнуть к ней, как к последнему средству.

— Вот возьмите, — быстро сказал я уряднику и сунул ему в руку газетный листок. — Здесь как раз написано обо всем, что я вам говорил.

В ту же минуту, воспользовавшись тем, что он на миг освободил мою руку, я, вырвав ее от него окончательно, тотчас выпрыгнул из вагона на ходу поезда. В то же мгновение, как мне показалось, все завертелось в моих глазах. Я перевернулся в воздухе, ударился о железный столб,

поддерживавший навес над перроном, и растянулся на каменные плиты. Поезд тотчас остановился. Я моментально поднялся и, несмотря на то, что я больно ушибся при падении, несмотря на то, что все во мне ныло и болело, бросился бежать, но не к главному выходу, у которого стояли жандармы, а к боковому выходу, к маленькой служебной калитке, через которую я не раз уже проскальзывал, чтобы избежать слежки. Подымаясь после падения и убегая, я слышал, как урядник, не осмеливавшийся последовать моему примеру, кричал как раз перед жандармами:

— Жандарм, жандарм! Держи его, держи его!

Но жандарм стоял совершенно равнодушный к призывам урядника: крик последнего потонул в общем крике запасных:

— Екатеринослав! Да здравствует Екатеринослав! Ура, Екатеринослав! — продолжали они кричать и выскакивать на платформу, которую они быстро запрудили.

В их толпе я тотчас скрылся. Глаз урядника потерял меня. Меня в этой толпе так же трудно было найти, как рыбу в реке. Темнота благоприятствовала мне. Я старался как можно скорее достигнуть заветной калитки. Но запасные, бежавшие навстречу по платформе, часто мешали мне. Я торопился... я боялся, что калитка за поздним временем окажется запертой. К счастью, она оказалась открытой, и я только тогда вздохнул свободно, когда очутился за нею. Здесь я умерил шаг. У меня сильно билось сердце. Я был покрыт, несмотря на мороз, потом. У меня тотчас начали тупо болеть спина и другие ушибленные при падении места моего тела. Не веря своим глазам, что я свободен, что мне удалось избежать ареста, я несколько раз оглядывался.

«Наконец-то я избежал опасности, сомнения нет. Нет и погони», — думал я. Окончательно я вздохнул свободней лишь тогда, когда очутился далеко от вокзала.

ОБЫСК

Когда я вернулся домой в маленькую комнатку, которую я на этот раз снимал вместе с одним ж.-д. служащим, конторщиком, членом нашей партии, весь дом, хозяева квартиры, он сам на полу — все было уже в глубоком сне. Мой товарищ по комнате храпел, покрытый своим поношенным пальто, служившим ему и одеялом. Храп доносился и из комнаты хозяйки-польки. Осмотрев комнату и убедившись, что подпольная литература уже была спрятана товарищем на дворе, куда я снес и свою литературу, где следы заносились снегом, я, подстелив кусок войлока, выданный мне хозяйкой вместо перины, потушив лампу и покрывшись так

же, как и товарищ, своим пальто, заснул тяжелым сном. Приближался уже рассвет. В полусне я слышал, как пели петухи.

Вдруг какой-то стук в квартире заставил меня вскочить на ноги. Еще я не успел очнуться, притти в себя, как в комнату ворвалась толпа городовых, предводительствуемая околотком. Городовые, набросившись на меня и на товарища, обыскали наши карманы и перерыли все в комнате.

— Что нашли на дворе? — спросил околоток городовых, обыскивавших двор.

— Ничего не нашли, ваше благородие, — ответили последние.

— Хорошо ли искали? — переспросил их околоток.

— Хорошо, ваше благородие, будьте покойны.

— Ну, до свиданья, — обратился ко мне околоток. — Ловко вы прячете литературу. Ну, да все равно. Рано или поздно попадетесь.

СДАЧА КОМИТЕТА МЕНЬШЕВИКАМ

На другой день я узнал, что т. Н-а вернулась из Одессы. Так как я заметил за собой слежку, около трех дней я воздерживался от встреч с товарищами. Первый мой вопрос был, когда я увидел т. Н.:

— Что вышло из поездки т. Н-и?

— Представьте себе, она до сих пор не являлась в комитет. Давайте вызовем ее на следующее заседание и потребуем от нее отчета в поездке.

Я выразил согласие. Я не понимал медлительности т. Н-и, когда она знала, что от ее ответа зависела жизнь или смерть Екатеринославского комитета. Н-у вызвали.

— Говорят, что вы уже неделю как вернулись из Одессы, — говорит ей т. Н. — Почему до сих пор вы не являлись рассказать о вашей поездке?

У Н-и оказался какой-то смущенный вид.

— Оттого не приходила, что не считала нужным давать отчет в таком незначительном поручении, на которое я истратила последние деньги, находившиеся в кассе комитета, — ответила она. — Мне сказали, — продолжала она, — что референта Одесский комитет не может дать. Там даже засмеялись, когда услышали подобную просьбу: до такой степени она показалась им странной.

Случается, что умные люди совершают нелепые поступки, которые не поддаются об'яснению. К числу их я отношу поведение т. Н-и. До сих пор я не могу его об'яснить. Был страшно поражен и недоумевал и т. Н.

— Как, товарищ Н-а? Ведь мы русским языком говорили вам, что вам поручается большевистским комитетом привезти из Одессы работника комитетского масштаба и выяснить, как смотрит Одесский комитет на создавшееся положение в Екатеринославе и на вопрос об этом выборном начале, которое требуют меньшевики.

Н-а уперлась и упорно отвечала, что ей такого поручения не давали, что ее просили привезти из Одессы в Екатеринослав референта.

— Как вам нравится вся эта история? — возмущенно говорил мне т. Н. — Как же можно ставить вопрос о кооптации т. Н-и в комитет, если она настолько несерьезная девица, что не могла выполнить это важное для нас поручение? Да это равносильно тому, что если бы мы ее послали, как лазутчика, из осажденной крепости с просьбой сказать, чтобы нам прислали снарядов, а она, вернувшись без всего, стала бы уверять нас, что мы ее посылали за бенгальскими огнями для празднования победы.

— Да, товарищи, мы тоже здесь находимся, как в осажденной крепости. Мы принуждены были, по распоряжению агента ЦК тов. М., пустить врага внутрь крепости. Гарнизон теперь разложен. Один из признаков этого разложения я вижу в поведении т. Н-и, — говорил я.

Я изнемогал в огромном Чечеловском районе в борьбе с меньшевистским влиянием. Городской район и подрайоны Амур и Нижнеднепровск уже пали под напором меньшевистских сил. Кроме такого превосходного агитатора, как Иван Зборовский, бывший позднее, в 1905 г., в Петербурге в совете рабочих депутатов, Александра, Михаила, Герасима, к ним на помощь приехало еще несколько интеллигентов-меньшевиков. Чечеловский заводской район являлся как бы последним фортом, который оставался в руках большевиков, который не сдавался и который они подвергали яростным атакам и систематическому обстрелу ураганным огнем.

Я совершенно не помню, чтобы я ездил в последнюю минуту в Бюро комитетов большинства. Между тем об этом факте говорит письмо «Дяденьки» (Л. М. Книпович) на имя Н. К., напечатанное в «Пролетарской революции», № 7/42 за 1925 г., стр. 7.

Роковой день, наконец, наступил. Чечеловский район в конце-концов присоединился к меньшевикам. Тогда под влиянием меньшевиков районы вынесли решение, которым руководство всей партийной работой Екатеринослава передавалось новому избранному районами центру. Этим решением Екатеринославский большевистский комитет обрекался

на положение штаба, армия которого перешла на сторону врага.

Так как за мной началась после обыска усиленная слежка, и мне необходимо было отдохнуть, собраться с силами, выяснить положение дел в партии, я уехал в конце января в Киев.

Сдачу комитета большевиками в Екатеринославе меньшевики расценили как сильнейшую свою победу. Мартов по этому поводу об'ехал чуть не все города Западной Европы, громко трубя победу и читая рефераты.

Одновременно сдача комитета явилась тем громом, который заставил наши центры послать подмогу в Екатеринослав и в виде руководящей литературы: «Шаг вперед и два назад», «Земская кампания» и план «Искры», газету «Вперед», где обосновывалась борьба большевиков, революционная тактика рабочего класса, направленная к свержению самодержавия и установлению диктатуры пролетариата и крестьянства.

При помощи этой литературы и приехавшего тов. Лепешинского передовые рабочие Екатеринослава скоро стали замечать, что за блестящей фразой меньшевика, за красивой внешностью скрывается буржуазный подголосок, который, сам того не сознавая, осуществляет исторические задачи не пролетариата, а либеральной буржуазии.

С другой стороны, партия большевиков в глазах рабочих все отчетливее и яснее вставала как партия рабочего класса, которая, вооруженная самой передовой теорией, теорией революционного марксизма, ведет рабочий класс, как передовой отряд в революции, в союзе с крестьянством на непримиримую борьбу с самодержавием и капитализмом.

Рабочие заводских районов первые очнулись от кошмара, который на них навеяли меньшевики. Вновь возрожденный комитет большевиков получил в их лице базу и превратился снова в революционный штаб большевиков, опирающийся на армию заводских рабочих.

Тов. Лепешинский, т. Наташа, проявившая способности видного партийного работника, инженер Маковский, тт. Сергей, Роман, Н., «Немец» в комитете боролись с большим успехом против меньшевиков.

Одновременно этот процесс шел по всей линии, и большинство организаций партии мало-помалу становилось на точку зрения большевиков.

Тов. Матренин, как полагается большевику, сознал свои ошибки и направил меня из Киева опять в Екатеринослав.

Передав оставшиеся у меня связи с рабочими на Чечеловке, в Амуре и Нижнеднепровске, я в феврале 1905 г. уехал на партийную работу в Одессу.

ОДЕССА

Прошло двадцать восемь лет с тех пор, как летом 1905 г. я работал в Одессе, в большевистском комитете РСДРП. За длинным рядом протекших годов этот город вырисовывается перед моим взором, как в тумане, но все же разнящийся во многом от Иваново-Вознесенска, Твери и Екатеринослава.

В самом деле, здесь не бросались в глаза тотчас по приезде еще издалека очертания огромных красных кирпичных корпусов фабрично-заводских зданий. Черные хвосты дыма не застилали в этом городе, как тучи, неба. Высокие фабричные трубы, изрыгавшие их, стыдливо прятались кое-где на задворках. Зловещее зарево огней металлургических заводов не вспыхивало внезапно и не озаряло мрачным светом ночного неба.

Одуряющей тишине, томительному однообразию, в которых задыхался человек в провинциальных городах, затерянных в середине равнин России, здесь, в торговом портовом городе, с его кипучей жизнью, не было места.

Морской берег с красивыми, богатыми дачами на Ланжероне, Аркадии и на Фонтанах, широкие, разбитые по плану, вымощенные улицы с удобными тротуарами, с аллеями каштановых деревьев и акаций, высокие шестиэтажные дома с особой новейшей архитектурой и многочисленные торговые суда, крик сирен океанских пароходов, доносившийся издалека, — все говорило о какой-то иной, отличной от русской жизни, протекающей где-то далеко в заграничных странах.

Все казалось более ярким и красочным в Одессе, расположенной на берегу, омываемом волной чарующего Черного моря.

Однако внимательный взгляд за внешним блеском европейского города открывал в конце-концов что-то совершенно чуждое нам, русским революционерам, что-то, пропитанное мещанством. Перед более пытливым взглядом раскрывались ужасающие тайны. Время-от-времени глухие заметки в газетах намекали о сохранившейся торговле рабами, которой занималась одесская буржуазия, снабжавшая гаремы и дома терпимости Константинополя и других городов Запада и Востока женщинами из России.

Внизу под городом в морском порту, переполненном бо-

сяками, протекала другая, своя особая, отличная от города жизнь. Здесь грузчики, которых тяжелая работа обрекала на беспросветную жизнь, прозябали и медленно гибли от ужасных условий работы и жизни и от пьянства, в котором они мечтали забыться, в котором топили свое горе.

В городе под влиянием социал-демократической пропаганды передовые из еврейских рабочих-ремесленников все более приходили к выводу, что лишь в социалистическом строе, к которому стремится рабочий класс вместе со всеми угнетенными, гонимый и преследуемый еврейский народ найдет себе спасение и избавление.

За Пересыпью, в каменоломнях, под землей, где добывался «одесский камень», из которого выстроены все дома и дворцы в Одессе, среди рабочих издавна таилось и накоплялось, зрело и нарастало революционное настроение.

Сюда с моря с трупом убитого царским офицером матроса Вакулинчука в июне 1905 г. пришел первый революционный броненосец «Потемкин», наведший стальные жерла своих двенадцатидюймовых пушек на царизм, капиталистов и на помещиков.

С изумлением и необыкновенным вниманием следил весь мир за грозным броненосцем, на котором впервые матросы осуществили союз рабочего и крестьянина и доказали, какую силу может представить этот союз.

Стоял конец февраля. Снег уже сошел, но было еще холодно. Море синело и манило далью и пленяло мой взор своей красотой, когда я шел в редакцию газеты «Южное обозрение», где у тов. Соколовского была партийная явка. Выслушав от меня условленный пароль, кажется «Шах персидский», он ответил мне соответствующим образом и, удостоверившись, с кем имеет дело, направил меня к Анне Михайловне Вржосек. Через последнюю я познакомился с секретарем комитета тов. «Дяденькой» (Лидией Михайловной Книпович), а затем и с Осипом (Константином Осиповичем Левицким), главной теоретической силой комитета и руководителем всей работы по организации агитации и пропаганды, а также работы в «общественной и интеллигентской секциях», через которые комитет получал квартиры для собраний и денежные средства.

Почти в каждом городе можно было тогда встретить видных членов нашей партии, у которых постепенно вошло в привычку окружать себя товарищами, собиравшимися ежедневно на их квартире и там решавшими за чашкой чаю

все партийные вопросы. Этот обычай сложился в период борьбы с «величайшим разбродом и шатанием марксистской мысли», в виде экономизма и рабочедельчества, когда такие беседы с отдельными товарищами и с группами товарищей по вопросам теории и тактики имели огромное значение.

Но все проходит. Прошел и этот период завоевания отдельных революционеров-марксистов для организации «Искры». Искровцы давно перешли к работе в рабочих массах. При таких условиях этот обычай при слежке, неизбежной в подпольной работе, не мог быть уже полезен, наоборот, он частенько вредил делу.

«Дяденька» горько жаловалась, что многие товарищи продолжали собираться у тов. Осипа, за квартирой которого следила охранка и где товарищи по старой привычке проводили время, ели, пили, обедали, ужинали и спорили и решали все мировые вопросы. Такого рода патриархальность не нравилась вновь приезжавшим товарищам и это было одной из причин недовольства комитетом *.

ПЕРЕД ПРИХОДОМ «ПОТЕМКИНА»

Мой приезд в Одессу совпал с кризисом Одесского комитета на почве сильного недовольства комитетом. Дело дошло до того, что периферия вынесла ему недоверие **. Комитет обвиняли в том, что он не справляется с работой по постановке агитации и пропаганды и выпуску листков в том размере, как этого требовало все разраставшееся рабочее революционное движение.

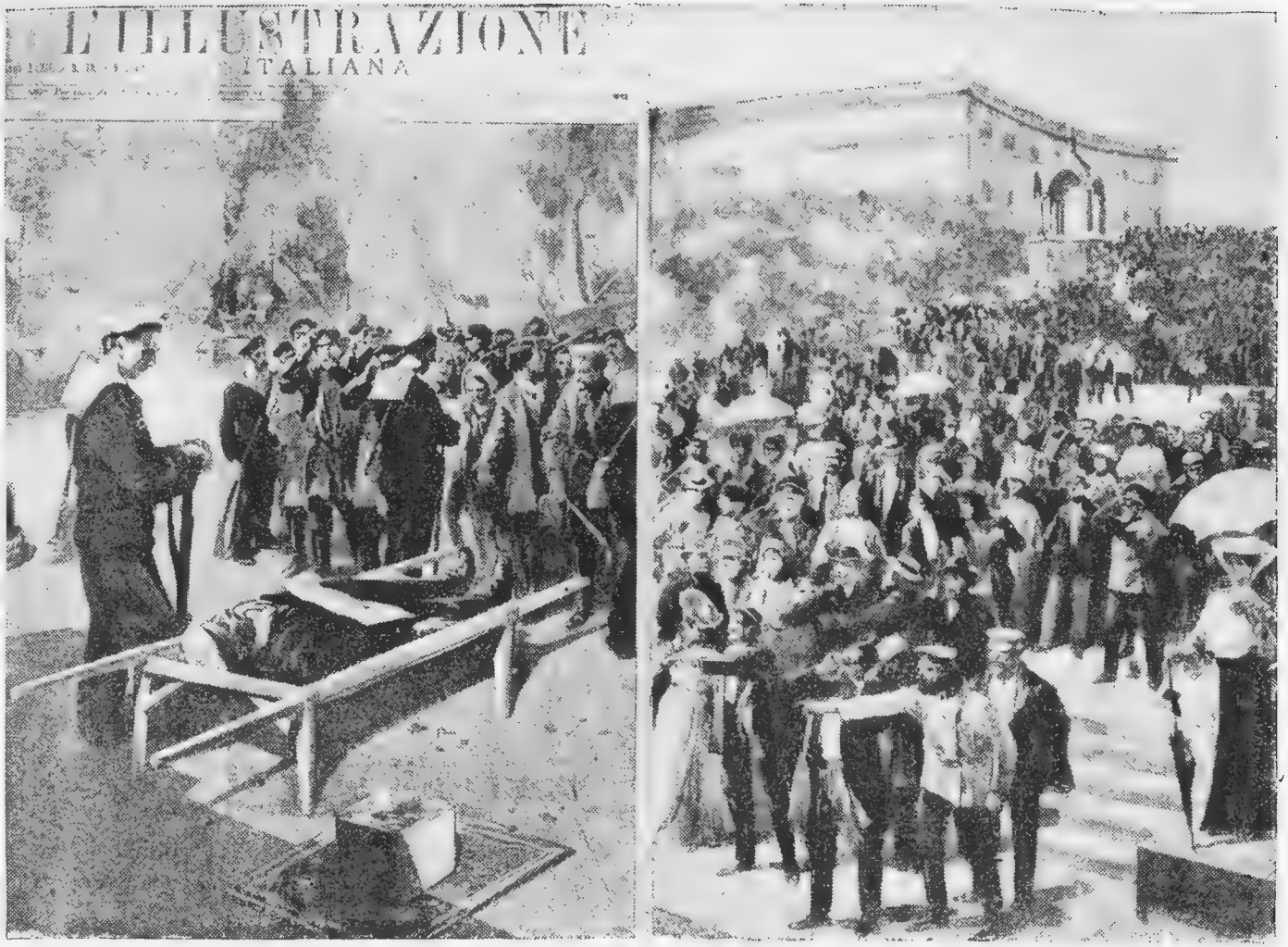
Недовольство комитетами наблюдалось в это время в России всюду. Комитеты нашей партии, бедные материальными средствами и людьми вследствие массового отхода партийной интеллигенции к меньшевикам, не имели полной возможности удовлетворить все растущий спрос на подпольную литературу, поставить агитацию и пропаганду на большую высоту.

Одесса не являлась счастливым исключением из этого правила. Одесский комитет, представлявший собой большевистскую цитадель, в этот момент (лето 1905 г.) оставался хранителем революционных традиций большевизма, но все же отставал от требований, которые пред'являло к нему растущее рабочее движение.

---

* См. приложения № 7.

** См. приложения №№ 3 6 и 7.



Слева: в 1905 г. в Одессе. У трупа Вакулинчука. Справа: в Одесском порту во время прихода броненосца „Потемкин“.

Носителями недовольства являлись главным образом товарищи, для которых неясны были причины раскола на II с'езде, которые не видели в то время большой разницы между большевиками и меньшевиками, которые при виде страшной в то время силы самодержавия и капитализма и ничтожного, в общем, количества социал-демократов-марксистов, борющихся против него, считали раскол между большевиками и меньшевиками в лучшем случае прямым безумием и определенно высказывались за примирение с меньшевиками.

К числу последних принадлежали тов. Афанасий, а затем и Михаил, члены Одесского комитета.

Общая отсталость комитета сказывалась и на районах *. Так, в Дальнике, Фонтане, Вокзале, где комитет поручил мне работу ответственного организатора, вся организация состояла из девяти человек: из шести рабочих-централистов, двух интеллигентов-подорганизаторов и меня. Не было ни общерайонного, ни заводских центров. Не имелось групп агитаторской, технической. Так называемые «связи» имелись по одному рабочему и далеко не на всех заводах района. (Письмо Мохова, «Пролетарская революция», № 12, 1925 г.).

Такая организация пригодна была для ведения массовой агитации посредством листков, для подкидывания которых достаточно было иметь и по одному рабочему на завод. Но она далеко не была достаточна для проведения массовых забастовок, демонстраций и вообще для более широкой массовой работы. Это сознавалось всеми, особенно при необходимости вести борьбу с меньшевиками, которые в отдельных случаях умели перегонять нас в технике работы. Этим также об'ясняется то недовольство комитетом, которое наблюдалось на «периферии».

Такая картина организации меня, впрочем, не удивила. Всюду, куда я ни приезжал за эти три года, т. е. 1903, 1904 и 1905 гг., я наталкивался часто на почти полное отсутствие организации, причиной были постоянные обыски, аресты, высылки, заставлявшие многих товарищей торопливо уезжать, не дожидаясь ночного визита жандармов или ареста на улице.

Приходилось снова заниматься кропотливой работой собирания, сплачивания, создавания заново организации. Очень часто плоды упорных трудов, целых месяцев работы, колоссальной затраты энергии рушились в один миг благодаря провокации и внезапному налету полиции.

Я с головой ушел в работу по воссозданию организации

**. См. приложения № 1, 2 и 3.

на Дальнике, Фонтане и Вокзале. При помощи «Миши» Земблюхтера (тогда 16-летнего юноши), З., Федора, «Столяра» (Федор Игнатьевич Сятковский) и других рабочих, фамилии которых я уже позабыл, и двух подорганизаторов-интеллигентов, Лазуркиных, Миши и Сони, пропагандиста Серговского, интеллигента, бывшего семинариста, из Твери и пропагандисток Наташи (Громовой), Горшковой, Тулячки и других, удалось к всеобщей забастовке, начавшейся в первых числах мая, создать на Дальнике, Вокзале и Фонтане «районный центр» из десяти товарищей для руководства работой всего района. В последнем создано было кроме того два центральных кружка, из которых один кружок руководил партийной работой на Дальнике, на десяти заводах, другой, центральный, кружок охватывал заводы и фабрики Вокзала и Фонтана. На каждом из заводов, поскольку мы на них укреплялись, мы создавали тоже центральный кружок, руководивший работой всего завода и совмещавший в себе и политическую и профессиональную организации.

Как видно из моего «Отчета ответственного организатора Дальника, Вокзала и Фонтана», обнаруженного в переписке Н. Ленина и Н. К. Крупской с одесской организацией, наша организация в Дальницком районе имела «связи» среди рабочих на 22 заводах и фабриках, на большинстве которых имелись центральные кружки (группы). Передовые рабочие, члены центральных кружков и групп, назывались «централистами» и «групповиками». Чтобы облегчить их работу, проведено было своего рода разделение труда. С этой целью мы сняли с централистов обязанность самим отправляться за подпольной литературой и прокламациями для распространения, освободили их от необходимости носить ее на себе, хранить и распространять, как это наблюдалось раньше, и передали это дело особой технической группе. Работа последней имела чрезвычайно важное значение для организации. Она заключалась в распространении и расклейке прокламаций и другой литературы. Эта работа часто требовала много революционной преданности и смелости и вырабатывала в участниках ее конспиративные навыки. Очень многие вновь завербованные рабочие, прежде чем сделаться «центровиками» и «групповиками», начинали свою революционную деятельность в технической группе.

Что касается «центровиков» и «групповиков», то на них лежала главным образом обязанность ведения агитации, пропаганды, завязывания связей, укрепления организации, создания «летучек», кружков, массовок, митингов, «само-

обороны» (от еврейских погромов), политических клубов и забастовок. Важное значение играли для организации «явочные» и «сносные» квартиры. Первые являлись штабом района, особенно во время забастовок. Отсюда рассылались агитаторы, отсюда рабочие направлялись снимать те фабрики и заводы, которые еще работали, здесь составлялись бюллетени, писались листовки. На сносную квартиру техника (подпольная типография) доставляла подпольные листки, откуда их забирали члены технической группы для распространения по заводам и фабрикам. Такой явочной квартирой служила квартира дантиста Соловья, врача Левинсона и тов. Васильевской.

В апреле и мае 1905 г. Дальницкий район принужден был много времени уделить, когда угрожала опасность еврейских погромов, организации «самообороны», носившей впрочем главным образом характер агитации против погромов. Недостаток оружия, неумение обращаться с последним, незнакомство с техникой военного дела — все это явилось препятствием для организации настоящей самообороны.

Недостаток квартир и временами полное их отсутствие не дали нам возможности организовать политические клубы и вообще ставили организацию и даже комитет, за невозможностью собраться, прямо в безвыходное положение *.

Но несмотря на все трудности, летом 1905 г. Дальницкий район, а за ним и другие районы переходили с большим или меньшим успехом к новым типам организации, более приспособленным для руководства начинавшимся массовым революционным рабочим движением.

Вопрос, где собраться, таким образом, очень часто вставал перед нами.

— Нет совершенно квартир, которые не были бы провалены и за которыми не было бы установлено слежки, — говорил я однажды тов. Ретхюлбмез.

— Разве на Ланжероне или на Фонтанах устроим собрание?

— Нельзя ни там, ни тут собраться. Полиция очень следит там.

— Где же, наконец, мы соберемся сегодня? — воскликнул я.

— Знаете что, пойдемте в порт. Там на молу босяки постоянно целыми кучами собираются. Попробуем собраться там.

---

* См. приложение № 2.

Мы спустились вниз по одному из спусков, по мостовой которого навстречу нам вверх, в город двигались тяжело нагруженные возы. Мы прошли мимо складов. Здесь воздух был насыщен специфическим, присущим портам, запахом смолы, пеньки, морской воды, гниющих фруктов и пылью от проезжавших возов. Здесь шумел элеватор, двигался паровоз на эстакаде, скрипели и визжали лебедки, грузчики носили на себе двадцатипудовые ящики, разгружая и нагружая корабли, приходившие сюда из всех стран света.

Мы прошли мимо всего этого движения и шума и вышли, наконец, на волнолом.

Отсюда открывался великолепный вид на море, над которым голубым шатром висело небо с бегущими по нем белоснежными облаками; слышался непрекращавшийся шум разбивавшихся о камни волн. Над синевато-зеленоватой поверхностью моря взлетали с криком белые чайки. Все было очень красиво. Я засмотрелся в морскую даль. Вдруг, оглянувшись, я увидел группу босяков. Они были оборваны, босы и отвратительно и грубо ругались. Лица многих отражали на себе последнюю степень человеческого падения. Они сидели, лежали, пили и ели, а рядом грязь и издававшие зловоние, большие кучи человеческого кала.

— Чорт знает, что такое! — выругался тов. Миша. — Тут сплошной клозет. Тут совершенно невозможно собираться.

— Вишь, барин нашелся, жидовская морда, — обругал его один босяк. — Не по ноздре, вишь, пришелся им наш мужицкий дух! Шляется тут тоже сволочь всякая! Бока наломать вам надо. Не ндравится, так не приходите сюда!

— Уйдемте отсюда, — шепнул мне Миша. — Не стоит их задирать. Начнется драка, так еще в море сбросят. С них станет...

Мы ушли, провожаемые косыми взглядами, которые бросали на нас босяки.

— Как же быть? — спрашивал я тов. Мишу. — Где же нам собраться?

Миша задумался.

— Плохо дело, — произнес он. — Квартиры все провалены. Да! да! — воскликнул он. — Я нашел выход. Я совсем было забыл. Пойдемте к Спире Магдичу. У него два рыбачьих баркаса. Придется попросить его и собраться на море верстах в пяти от берега. Мы отъедем под видом рыбной ловли.

Так сложились обстоятельства, что в назначенный час к Спире явились всего один Саша Вокзальный да я.

Тов. Спира Магдич, которого безработица заставила за-

няться рыбаченьем, видимо, полюбил это дело и проводил все время или далеко в море или на берегу в шалаше.

Отправляясь в море в поисках рыбы, Спира забирал с собой боченок с питьевой, или, как он говорил, «сладкой водой», в отличие от горько-соленой морской, и соответствующее количество провизии. В обеспечение себя от внезапных шквалов, которые переворачивали беспалубные маленькие рыбачьи баркасы, как ореховую скорлупу, в килевое отверстие, поднимавшееся до высоты борта узкой трубой, просовывалась широкая доска, сколоченная из ряда узких досок, шириной не меньше чем в аршин и длиной в сажень. Такое удлинение киля в открытом море делало лодку устойчивой, когда начиналась буря. Понемногу Спира отставал от движения, так как дальние поездки—верст за тридцать от берега на несколько дней и даже на неделю — отрывали его от революционной работы, требовавшей постоянного участия в ней. Не видя его ни на явках, ни в кружках, товарищи понемногу забывали о нем и вспомнили лишь тогда, когда требовалось на баркасе уехать в море.

— Не стойте на берегу, — сказал мне и Саше Спира. — Шпики здесь шныряют. Садитесь в баркас и айда в море! Если подойдут другие товарищи, я подвезу их на другом баркасе.

Саша Вокзальный, как все одесситы, умел хорошо управлять парусом, итти на веслах и плавал, как рыба. Отъехав версты за три от берега, опустив парус, он тотчас разделся и прыгнул в море. Он нырял, ложился на спину, кувыркался в воде, фыркал и плавал стоя.

— Раздевайтесь, прыгайте в воду! — кричал он мне. — Поплывем вместе на перегонки, кто дальше, кто быстрее, туда!.. — и он указал рукой дальше, в открытое море.

— Я не умею плавать, — ответил я.—Я останусь в лодке.

Какая-то радость, как мне показалось, на миг вспыхнула на его лице при моих словах. Но, может, мне это только показалось? Я смотрел на голубое небо, на синее море, на дельфинов, показывавшихся на поверхности воды и снова скрывавшихся в ней. Я всматривался в очертания далекого берега. Мне стало досадно, что я не обладаю уменьем плавать, плясать, играть на скрипке, на гармонике.

«Хорошо бы, — думал я, — уплыть, как он говорит, «туда», — кто дальше, кто быстрее!..»

Саша тем временем, ловким движением ухватившись за борт лодки, снова вскочил в нее. По его телу каплями, в которых отражались лучи солнца, катилась вода. Видя, что я сижу поглощенный своими мыслями, он опять как-то странно взглянул на меня. В его взоре, как мне показалось,

промелькнуло вдруг что-то черствое, жесткое, звериное... Тотчас, еще неодетый, с выражением лица, которое говорило, что он решился на что-то скверное, он вдруг схватил меня обеими руками и поднял вверх с явным намерением бросить в море. Инстиктивно я, почувствовав опасность, мгновенно одной рукой схватился за мачту баркаса, а другой вцепился в его горло.

— Брось, Наум,—прошипел он, опуская меня на дно лодки, — я пошутил, хотел поучить вас плавать. А впрочем, хорошо, что вы русский, не жид, а то, пожалуй, все-таки я вас утопил бы. Да полно, полно, я шучу, — говорил он, видя, что я больше всего рассердился не за его намерение бросить меня в воду, а за слово «жид», произнесенное им.

Думал ли он на самом деле меня утопить, остановил ли его другой баркас Спиры, отваливший в это время с подошедшими пятью товарищами и тов. Ретхюлбмез в том числе, был ли он уже в это время провакатором, — остается неизвестным.

Я не придал тогда этому серьёзного значения. Я об'яснил это все грубой шуткой. Ничто в нем в это время не говорило о его близости к жандармам, на что определенно указывает статья тов. Ачканова («Одесский сборник Истпарта», 1905 г., стр. 53), где говорится, что Иван Лазарев, железнодорожник-провокатор, раскрыт только в 1917 году. Он покончил самоубийством в Екатеринославе в 1912 году.

Когда началась забастовка в Одессе, расширенная и улучшенная организация района справлялась с работой настолько хорошо, что Дальницкий район высказался против об'единения с меньшевиками и Бундом, потому что у меньшевиков на заводах, где происходили стачки, и во всем Дальницком районе, кроме Вокзала и фабрики Вальтуха, не имелось никаких связей среди рабочих. Во время забастовки наши агитаторы принуждены были выступать почти открыто у заводов в трактирах, в Городском саду, на Балковской улице — всюду, где собирались рабочие. При строгом запрещении сходок, при яростном преследовании со стороны полиции и жандармов, охотившихся за революционерами и разгонявших собрания за городом при помощи казаков, удалось провести два митинга, насчитывавших по 200 человек собравшихся.

Таким образом одесская организация нашей партии представляла собой нечто переходное от старой организации, ограничивавшейся лишь выпуском листовок и работой в кружках, к новой организовывавшей летучки, массовки, демонстрации, митинги, ведущей работу в массах и готовящейся к вооруженному восстанию для свержения само-

державия и установления диктатуры пролетариата и крестьянства.

Организация, созданная в апреле — мае 1905 г. на Дальнике и в других районах Одессы, пригодна была все-таки, в лучшем случае, проводить всеобщие забастовки, устраивать демонстрации, организовывать летучки, массовки, митинги и кружки пропаганды и до известной степени пытаться создать так называемую «самооборону». Для проведения вооруженного восстания, особенно по использовании восставшего броненосца «Потемкин», пришедшего в Одессу вечером 14 июня, она совершенно не была готова.

Впоследствии оказалось, что даже для проведения забастовок она была недостаточно сильна, так как не смогла продолжать работу, когда еще раз организацию подкосили новые провалы и аресты, когда обнаружились отсутствие квартир и денег, как это имело место в конце мая и начале июня 1905 г.

Одесский комитет состоял из пяти лиц. Один из них руководил «техникой» (составление, печатание и распространение листовок и нелегальной литературы), второй — общественной секцией, третий — интеллигентской секцией, четвертый секретарствовал, пятый представлял собой организатора всего города и руководил пропагандой, агитацией и интеллигентско-литературной группой.

В мае 1905 года, помимо постановки агитации, пропаганды, организаторской работы, огромную роль играла так называемая «общественная секция», работавшая среди буржуазной интеллигенции. На обязанности последней лежало снабжать комитет квартирами для собраний и денежными средствами. По мере того как расширялось рабочее революционное движение, втягивавшее все большее число активных работников, не имевших возможности найти заработок, все большие суммы денег надо было добывать и для содержания этих товарищей, и на подпольные листки и брошюры, и вообще на нелегальную литературу в виду все усиливавшегося спроса на нее со стороны рабочих.

Таким образом от товарища, заведывавшего общественной, интеллигентской секцией, зависело, будет ли в распоряжении комитета такая квартира, которая еще не известна полиции, где поэтому можно было бы собраться с полной уверенностью, что не нагрянут жандармы и не переарестуют всех, будут ли у него деньги на дальнейший выпуск листовок и на содержание товарищей, лишенных возможности найти заработок.

Стачка разразилась как раз в тот момент, когда с наступлением лета раз'езжалась из Одессы та часть либеральной

буржуазии и интеллигенции, среди которой происходили сборы денег в пользу партии. Вышло так, что ряд причин, как болезнь, необходимость лечиться и начавшаяся слежка, заставили даже и тт. Левицких, в руках которых были все связи по собиранию денег, покинуть на лето город.

От'езд тов. Левицкого (Осипа), его заявление, что денег нет и не будет надолго, в то время, когда из конкуренции с меньшевиками, ухитрявшимися выпускать листок не реже раза в неделю, мы дозарезу нуждались в деньгах не только на содержание, но и на постановку новой «техники», в виду провалившейся старой, — все это поставило нас в почти безвыходное положение.

Необходимо указать, что Левицкие*, у которых постоянно товарищи пили и ели, обедали и ужинали, были настолько преданы революции, что тратили на революцию, на партийную работу, на поддержку товарищей, на содержание подпольной типографии, на печатание листков не только то, что они собирали среди буржуазии, но и большую часть своего заработка. Тем более не заслужены были упреки со стороны кое-кого из примиренцев, обвинявших в лице т. Левицкого комитет в недостаточной работоспособности. Выдержавший на своих плечах всю тяжесть борьбы с экономизмом, рабочедельчеством и меньшевиками и воспитавший в большевистском духе ряд товарищей, тов. Осип принужден был уйти из комитета* и уехать. Главной причиной его от'езда надо считать начавшуюся за ним слежку.

От'езд тов. Осипа из Одессы и замена его тов. Михаилом (Томичем) ухудшили положение одесской организации. Насколько тов. Осип представлял собой выдержанного, стойкого большевика, на которого можно было положиться, настолько тов. Михаил в тяжелые минуты жизни организации оказался дряблым, нестойким. Его склонность к примирению с меньшевиками оказалась роковой и гибельной, особенно во время прихода в Одессу «Потемкина».

Наше положение в момент сильнейшего напряжения работы, в мае 1905 года, по проведению стачки оказалось чрезвычайно тяжелым. Отсутствие квартир для собраний даже комитета, полное безденежье ставили почти непреодолимые преграды для работы, обрекали на настоящую голодовку даже членов комитета, получавших в это время по 4 коп. в день на содержание, и принудили многих рабочих-централистов и групповиков навсегда покинуть Одессу для приискания заработка в другом месте.

---

* См. приложение № 6.

Таким образом в то время как рабочее революционное движение в Одессе все более приобретало массовый характер, когда оно начинало выходить из тесных рамок кружка, в это время работа, ее размах тормозились отсутствием у комитета и денег и квартир, так необходимых для работы в условиях подполья.

Однажды во время стачки я шел по Молдаванке. Вдруг мое внимание было привлечено довольно необычной процессией. Медленно, почти шагом, мимо меня проехало около десяти извозчиков. На ступеньке пролетки каждого из них стоял огромного роста дворник и, держа левой рукой за шиворот арестованного еврея-рабочего, правой изо всей силы бил его. Видно было издали, как десять рук, как цепы на молотьбе, то поднимались, то опускались, нанося жестокие удары по лицу, по зубам, по глазам избиваемых. Тяжело было смотреть, как корчились и извивались избиваемые, издавая жалобные крики. Кровь лилась ручьем по их лицами, у многих были выбиты зубы; несмотря на это, дворники-звери продолжали без всякой жалости избивать их своими огромными пудовыми кулачищами.

— Ах, боже мой, да как их сердечных бьют, — невольно сказала стоявшая неподалеку женщина. — За что это их?

— Ничаво! — ответил ей проходивший мимо городовой. — Это им за забастовку; пусть прокламации эти не пущают! Для острастки это, чтобы другим неповадно было,— пояснил он.

Полиция действительно организовала эту ужасную процессию для устрашения еврейского населения, которое она, очевидно, считала единственно виновным в происходящей забастовке.

Создание при Александре III черты еврейской оседлости, ужасные еврейские погромы, начавшиеся еще при его отце, Александре II, ограничение приема в высшие и средние школы — все это неуклонно революционизировало еврейское население, не только еврейских рабочих, но и еврейскую интеллигенцию.

Погромы, начавшиеся в 80-х годах и сопровождавшиеся зверствами, убийствами, изнасилованиями еврейских женщин, произвели полный перелом в настроении еврейской интеллигенции.

Как страшный гнет поднял в конце-концов русского рабочего и крестьянина на борьбу против царя, помещика и капиталиста, так и ужасные, дикие, не имеющие никакого оправдания преследования евреев и бесчеловечные погромы

толкнули лучших из еврейской интеллигенции и еврейских рабочих на борьбу за строй, при котором не будет иметь места ни национальная вражда, ни угнетение человека человеком.

Тов. Михаил (Томич), заменивший т. Левицкого, был прислан из большевистского центра, как достойный доверия товарищ и как выдержанный большевик. На деле все эти характеристики его не оправдались. На практической работе он оказался плохим организатором, не сумел поставить агитацию и пропаганду на должную высоту. В идеологическом смысле он, в противоположность тов. Левицкому, занимавшему твердую позицию, когда дело шло о меньшевиках, по отношению к последним не шел дальше малосознательных рабочих, т.-е. он высказывался за примирение с ними. Это примиренчество произошло с ним не сразу, а постепенно, и в особенности в моменты напряженной борьбы, как всеобщая забастовка и приход в Одессу через месяц после забастовки броненосца «Потемкина» *.

Кроме отсутствия квартир и денег, с которым пришлось считаться после от'езда тов. Левицкого, положение ухудшилось в связи с арестом всей Дальницкой организации 2 июня и болезнью части членов комитета. Захворала «Дяденька», вообще слабая здоровьем. Приблизительно 30 мая вдруг неожиданно захворал серьезно я. У меня начался на почве изнурения организма сильный воспалительный процесс в обоих глазах, и врач посадил меня под опасением потери зрения в темную комнату **. Вследствие всего этого на оставшихся двоих примиренцев в комитете — Михаила и Афанасия, если не считать тов. Тараса, — оказался всего один большевик — рабочий Хрусталев, Василий Алексеевич (кличка — тов. Тимофей), организатор Пересыпского района.

Кроме того, положение осложнялось еще тем, что заводские районы, как Дальницкий с Вокзалом, Фонтаном, Пересыпский район, решавшие положение в Одессе, отставали по сознательности и революционному настроению от Городского района, ремесленного, и поэтому не игравшего существенной роли в движении. Среди рабочих заводских районов не изжиты были традиции экономизма и зубатовщины в виде остатков последователей Шаевича — агента Зубатова в Одессе. Надо указать также на антисемитизм, с которым приходилось считаться и который особенно силен был в порту. Так обстояло дело в Одессе.

---

* См. приложения №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9.
** См. приложения №№ 2, 5 и 8.

Вообще Одесса, как город торговый по преимуществу, с малочисленным пролетариатом, с национальной рознью среди последнего, с большим сравнительно количеством босяцкого и полубосяцкого элемента среди рабочих-грузчиков порта, не могла выдвинуть собственные революционные силы, которые позволили бы ей занять положение таких революционных центров, какими были в 1905 г. Питер, Москва, Харьков, Кавказ и Прибалтийский край.

Блеск и феерическая революционного движения в 1905 г. Одесса получила поэтому не из внутренних, собственных революционных сил, а извне, вследствие совершенно случайного прихода в Одессу восставшего броненосца «Потемкин». Как известно, революционные организации Одессы не нашли достаточно сил, чтобы во-время и умело использовать этого могучего революционного союзника для захвата Одессы, для поднятия восстания во всей Черноморской эскадре, захвата всего Черноморского побережья и установления Южно-русской демократической республики.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСТРОЕНИЕ МАТРОСОВ В СЕВАСТОПОЛЕ

Для того, чтобы понять те широкие возможности, которые безусловно открывало для революции в России удачное восстание в Черноморском флоте, начавшееся у одесских берегов, необходимо перенестись в Севастополь — базу Черноморского военного флота.

Революционное движение на юге России, стачки демонстрации, кровавое воскресение 9 января 1905 г. — все это неизменно влияло революционизирующим образом на матросов Черноморского флота. Офицерский состав последнего, во всей России по преимуществу из дворян по происхождению, не склонен был замечать несомненный рост человеческого достоинства в матросской среде, которое неизменно повышалось, поскольку росла и усиливалась пропаганда революционных идей и в особенности идей революционного марксизма.

Офицеры царского флота продолжали смотреть на матроса глазами помещика-дворянина, как на существо, стоящее во всех отношениях бесконечно ниже офицерской среды, которым можно было, по их мнению, управлять лишь при помощи кулака, кнута и палки *.

---

* См. «Потемкинские дни 1905 г.», изд. «Пролетарий», стр. 30, 32.

Характерен приказ адмирала флота во Владивостоке, как подтверждающий такое отношение офицеров к матросам: он гласил: «Вход в сад собакам, матросам и нижним чинам воспрещается!».

Адмирал Чухнин, сменивший слишком «мягкого» по отношению к матросской среде адмирала Скрыдлова, в свою очередь запретил матросам и вообще нижним чинам проходить по Морскому бульвару и по двум главным улицам Севастополя. Офицеры, ловившие матросов в запретной для них зоне, страшно издевались над ними и наказывали их.

Немудрено, что глумление над личностью матросов, избиение, калечение — все это вызывало глубокую ненависть матросов к офицерам.

Чем чернее ночь, тем сильнее жажда рассвета. Революционное настроение стало неизменно проникать и расти среди матросов. Терпение их лопалось. Как доказательство этого имел место разгром офицерских квартир в конце 1904 г., за который пошли на каторгу шесть зачинщиков.

В 1905 г. озлобление против офицерства становится в Севастополе настолько сильным, что офицеры начинают побаиваться появляться в одиночку на Корабельной стороне. Растет и сознательность матросов — настолько, что в одной резолюции, принятой матросами в Севастополе, они называют РСДРП передовым отрядом рабочих.

Революционная пропаганда между тем все расширялась. Проснувшись утром, матросы находили в казарме, у себя под подушкой, положенные неизвестно кем прокламации (слова матроса Орлова). Незадолго до восстания на броненосце «Потемкин» командир корабля Голиков, руководствуясь, очевидно, сообщениями своих агентов, которые, несомненно, имелись среди отдельных матросов, доносил жандармскому полковнику: «У нас на судне все заражены революционной пропагандой, включая и унтер-офицеров». (Кирилл, «11 дней на «Потемкине»).

РОЛЬ МЕНЬШЕВИКОВ

Резолюция III с'езда нашей партии о подготовке к вооруженному восстанию была принята в мае 1905 г., но уже в начале июня она находит прекрасное подтверждение своевременности ее даже в организации чисто меньшевистской, какой была севастопольская организация *, но преимущественно среди матросов военного Черноморского флота. При таких в высшей степени благоприятных условиях для проведения до конца революции, стучавшейся уже в дверь, при тех

возможностях, которые уже имелись у меньшевиков в Севастополе, становится ясна предательская роль меньшевиков в революции 1905 г., когда история давала им в руки небывалые возможности, которые они сознательно не хотели использовать.

Как свидетельствует сам вождь меньшевиков Мартов в своей книге «История РСДРП», меньшевики отнюдь не преследовали цели взятия на себя инициативы по общей атаке на правительство в 1905 году и ни в каком случае не стремились взять власть, хотя размах революционного движения на Кавказе, в Грузии и в Севастополе, в Черноморском флоте и в связи с этим и в Одессе давал им полную возможность довести революцию на юге России до полной победы.

Переход почти целиком некоторой части интеллигенции после II с'езда партии на сторону меньшевиков, денежные средства, которыми они располагали в большем размере, чем большевики, захват под свое влияние таких городов, как Севастополь, с таким горючим материалом, какой представляли собой матросы того времени, — все это давало меньшевикам возможность развить самое широкое движение. На деле размах последнего меньшевики намеренно суживали сокращали и даже сводили на-нет. Нечто подобное произошло в начале июня 1905 г. в Севастополе и в связи с этим и в Одессе.

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905 г. как бы наглядно подтверждало указание т. Ленина, данное еще в 1899 г. в резолюции против «Кредо» Кусковой, что движущей силой в русской революции явится не буржуазия, как было во время Великой французской революции и как ошибочно полагали меньшевики, а союз рабочего класса и крестьянства. Состав матросов каждого броненосца был на одну треть из рабочих, большей частью металлистов, и на две трети из крестьян. Как в свое время революционизирующе подействовало на русских офицеров при царе Александре I пребывание за границей, и в особенности в Париже, так в еще большей степени влияли на матросов дальние заграничные плавания. Ярко красочная жизнь, какой она казалась тогда в сравнении с жизнью в самодержавной России, в свободных странах Западной Европы казалась им

---

* В мае и июне 1905 г. в Севастополь прибыли и другие социал-демократы, главным образом меньшевики (В. Камшицкий — «1905 г в Севастополе», стр. 18). Севастопольская организация была меньшевистской, и меньшевиками были Кирилл и Фельдман («Потемкинские дни на Черном море 1905 г.», изд. «Пролетарий», стр. 15).

сказочным сном. Произвол и самодурство офицеров-дворян на родине, в России, казарменный гнет, неудачная война на Дальнем Востоке, в особенности гибель двух эскадр русского военного флота под командой адмиралов Рождественского и Небогатова у японского острова Цусимы, когда с 14 на 15 мая 1905 г. японский адмирал Того в течение нескольких часов потопил корабли эсказдры Рождественского, перегруженные углем, окрашенные в белый цвет и потому представлявшие хорошую мишень для прицела японских артеллеристов, и взял в плен без боя экскадру Небогатова, гибель при этом восьми тысяч русских матросов — все это отразилось на матросах Черноморского флота революционизирующе. Более передовые из матросов не только не уважали адмиралов, командиров судов и вообще офицеров — они презирали их и склонны были в каждом из них видеть таких бездарных тупиц, которые у берегов Англии английские рыбачьи суда приняли за японские миноносцы. Настроение передовых матросов неизменно передавалось всей матросской массе. Революционное настроение матросов клокотало, как пар в котле, и искало выхода. Большевистская резолюция III с'езда партии о подготовке к вооруженному восстанию проникла, несмотря на все меньшевистские преграды, к матросам, и матросы социал-демократы стали деятельно подготовлять вооруженное восстание.

При этом однако было то, что, воспринимая такие большевистские лозунги, как, например, лозунг о вооруженном восстании, матросы Черноморского флота организационно оставались меньшевиками. Подобные отдельные явления, впрочем, замечались и в других местах юга России во время революции 1905 г.

Севастопольский комитет меньшевиков, считаясь с ярко революционным настроением матросов, принужден был даже обсуждать план вооруженного восстания, которое должно было произойти в июне 1905 г., во время пребывания всей Черноморской экскадры у острова Тендры. Но верные своей тактике не брать на себя инициативы в таком серьезном деле, как восстание, меньшевики, хотя матросы, уполномоченые от «Потемкина», просят в письме Севостопольский комитет дать сигнал к восстанию в первые дни учебного плавания уберегов острова Тендры, на совещании с ЦК матросского совета добиваются решения, которым восстание откладывается до конца маневров у острова Тендры, а пребывание там проводится в усиленной пропаганде восстания.

Но подготовка восстания во всем Черноморском военном

флоте вызвала бы, в свою очередь, подготовку к захвату всего Черноморского побережья и никак не могла бы миновать Одессы и Кавказа, где в Грузии власть в деревнях фактически была уже захвачена крестьянами. Если бы севастопольские меньшевики серьезно думали по окончании маневров у острова Тендры итти на восстание, они должны были бы осведомить хотя бы свои меньшевистские организации в Одессе и в других портовых городах по Черноморскому побережью, ибо победносное восстание в военном Черноморском флоте означало бы образование Южно-русской демократической республики. В таком случае восставший броненосец, неожиданно пришедший 14 июля в Одессу, не застал бы врасплох прежде всего меньшевистскую группу, на явку к которой, как мне лично говорил один из видных участников восстания на «Потемкине», тов. Василий Кулик, поздно вечером с 14 на 15 июня явились делегаты от «Потемкина».

Поэтому об'яснять неудачу восстания на броненосце «Потемкин» тем, что вообще план восстания всей Черноморской эскадры у острова Тендры был нарушен преждевременной вспышкой на самом «Потемкине» не приходится, и попытку дать такое об'яснение вообще надо считать неудачной. Тем более, что со стороны севастопольского комитета меньшевиков, державшего в своих руках нерв восстания, не делалось и не сделано было никаких серьезных приготовлений к восстанию. Вся беда и заключалась в том, что сердце восстания находилось в руках тех, которые совсем не имели в виду серьезно доводить дело восстания до конца. Говоря об усиленной пропаганде восстания, меньшевики в то же время не предпринимали никаких попыток создать из матросов соответствующую железную организацию, которая могла бы это восстание довести до конца. Если командиру «Потемкина» еще до ухода в море были известны план и детали восстания на «Потемкине», трудно себе представить, чтобы все это не было известно также и Севастопольскому меньшевистскому комитету. Словом, деятельность меньшевиков в это время позволяет сделать более или менее верное предположение, что она сводилась к попыткам развеять по мелочам, свести на-нет, вытравить вкорне революционное настроение матросов.

В общем меньшевики в Севастополе и Одессе поступили в 1905 г. точно так же, как германские социал-демократы в Германии в 1919 г. Затем вообще меньшевики, своей «земской кампанией» откровенно превращавшие революционное движение рабочего класса в хвост буржуазного либерального движения, не питали особой веры даже в способность русского рабочего класса к роли гегемона революции. Если

они не верили в революционную мощь русского рабочего класса, тем более они не могли питать никакой веры в способность матросов военных к восстанию.

Отсюда — отсутствие всякой подготовки к проведению восстания. Лозунг: «будь готов поддержать возможное восстание, если оно вспыхнет в Черноморском флоте», не был дан таким важным портовым городам, как Одесса. Движению матросов к вооруженному восстанию, возникшему без инициативы извне, со стороны меньшевистских организаций, в сфере влияния которых находились матросы Черноморского флота, предоставлено было в лучшем случае развиваться стихийно же.

Как не верившие в способность к восстанию матросов военного флота и не желавшие этого восстания, севастопольские меньшевики скрыли от других городов и в особенности от большевиков истинное состояние настроений матросов в Черноморском флоте. Поэтому известие о приходе восставшего броненосца в Одессу застало всех, и меньшевиков и в большей степени большевиков, врасплох. Что касается Одесского комитета, то ослабленный арестом всей организации на Дальнике, болезнью своих членов, арестом подпольной типографии, он находился на положении не только разгромленной жандармами организации, но и ослабленной переходом на сторону меньшевистской тактики по использованию броненосца со стороны Михаила, Тараса и Афанасия; вследствие всего этого Одесский комитет фактически во время потемкинских дней оказался захвачен примиренцами, шедшими на поводу у меньшевика Еремы (Шнеерсона).

Восстание — искусство, говорил К. Маркс, и главное правило этого искусства — отчаянно-смелое, бесповоротно решительное наступление.

Посылая тов. Васильева-Южина в Одессу для использования в интересах революции восставший броненосец, т. Ленин давал ему следующий наказ: «Нужно действовать решительно и смело. В крайнем случае не останавливайтесь перед бомбардировкой правительственных учреждений. Город нужно захватить в наши руки».

В Одессе вместе с приходом броненосца создался один из тех редких случаев, когда все зависело от сильной личности, к тому же знакомой с военным делом Если бы среди большевиков в Одессе на месте Михаила оказался такой товарищ, который действовал бы соответственно указаниям К. Маркса и т. Ленина, все могло бы принять совершенно другой оборот. Но такого товарища не оказалось в «Об'е-

диненной комиссии», руководившей восстанием на берегу, в Одессе. Судьба броненосца, таким образом, оказалась в руках Михаила, пошедшего по пути меньшевиков.

Подготовка к вооруженному восстанию предполагала две стороны: с одной стороны — психологическая подготовка, создание воли в широких массах рабочих к вооруженному восстанию; с другой — стояла чисто техническая и стратегическая сторона восстания: формирование боевых групп, обучение военному делу и умению владеть оружием и выбор момента и места восстания. Для первой роли большевистская организация была вполне готова. К проведению же вооруженного восстания в таких широких размерах, как использование восставшего броненосца, она была совершенно не готова. Бесквартирье, безденежье, аресты одних товарищей, болезнь и от'езд других, фактический переход на сторону меньшевиков третьих в момент прихода «Потемкина», как это случилось с Михаилом, — все это поставило Одесский комитет в совершенно невозможные условия.

Что касается меньшевиков и бундовцев, то они применили по отношению к броненосцу ту неумелую и нелепую тактику, которая негодилась для руководства вооруженным восстанием, управления действиями восставшего броненосца.

ТРАГИЗМ ВОССТАВШЕГО БРОНЕНОСЦА

12 мая 1905 г. броненосец «Потемкин» ушел в учебное плавание к острову Тендра на Черном море. Восстание уже носилось в воздухе. Нужен был только предлог к нему. 13 июня матросы миноноски № 267, ездившие за мясом в Одессу, привезли на броненосец известие, что в Одессе неспокойно, особенно на Пересыпи, где толпа забастовавших рабочих бросала камнями у завода Гена в казаков и остановила два поезда, заняв железнодорожную насыпь.

Попытка стихийного восстания имела место 14 июня в Одессе, когда толпа ремесленников Городского района с немногими студентами и большим числом подростков начала строить баррикады на Мещанской, Преображенской, Ришельевской и Успенской улицах. Были попытки разгромить ружейные магазины на Александровском проспекте. При столкновении с войсками и полицией, когда войска стреляли и казаки избивали прохожих нагайками, был убит околоточный надзиратель Толкачев. В 10 часов вечера около собора неизвестный анархист бросил в городового бомбу, при

взрыве которой были убиты как сам анархист, так и городовой Павловский.

Вечером того же дня на Одесский рейд прибыл восставший броненосец «Потемкин».

Как видно из статьи тов. Ачканова («Одесский сборник», 1905 г., стр. 53), рабочие Пересыпского района из солидарности с восставшими матросами на другой день, 15 июня, забастовали. Что касается Дальника с Вокзалом и Фонтаном, то рабочие заводов этого района не примкнули к забастовке в такой важный момент. Тов. Ачканов об'ясняет этот печальный факт арестом всей организации большевиков Дальника 2 июня, когда были арестованы решительно все активные силы района на конференции района, собравшейся для обсуждения резолюции III партийного с'езда. Как это видно из моих писем к тов. Ленину, конференция была созвана против моей воли. Я, опасаясь арестов, предлагал провести резолюцию о с'езде более медленным, но верным, путем, через отдельные кружки *.

Восставший броненосец «Потемкин», имея на борту тело убитого матроса Вакулинчука, пришел в Одессу вечером с 14 на 15 июня.

Перед меньшевистской организацией, к которой пришли на явку делегаты от матросов «Потемкина», тотчас во всей остроте встал вопрос, что делать с броненосцем. Если следовать словам К. Маркса и тем заданиям, которые были получены тов. Васильевым-Южиным от Ленина, то нужно было бы немедленно, не теряя ни минуты, не останавливаясь перед бомбардировкой правительственных учреждений и последующей высадкой десанта, как это требовали матросы, занять город.

На такое отчаянно-смелое, решительное наступление со всеми его последствиями неспособны были ни меньшевики, ни бундовцы.

Между тем общее положение в Одессе для восстания и захвата города было тем более благоприятно, что в июне 1905 г. в Одессе не было тяжелой артиллерии. Войска, до известной степени разложенные, отправлены были в лагери в окрестности Одессы. Оставшиеся в городе были очень малочисленны и тоже заражены революционными идеями, проникавшими в казармы.

Вторым выходом из создавшегося положения для образованной меньшевиками «Об'единенной комиссии» с. д. организаций было попытаться потратить время в бесплодных разговорах, вроде тех, которые приводятся в моем письме:

---

* См. приложение № 3.

зваться ли Бунду или Бундом или Всеобщим еврейским рабочим союзом, и на обсуждение предложения со стороны меньшевиков о подаче петиции городскому голове о легализации собраний и даже дойти до того, чтобы предлагать рабочим, собравшимся в порту 15 июня и ожидавшим развязки событий, не вооружаться, не готовиться к вооруженному восстанию для поддержки броненосца, а просто разойтись по домам и ждать решительных действий со стороны броненосца (Герасимов, «Красный броненосец», стр. 38). Такая тактика ясно была гибельна, она демобилизовала берег. Она не только не создала со стороны последнего никакой помощи броненосцу, — она осудила берег на печальную роль простого зрителя грозных событий.

ПИСЬМО ТОВ. МОХОВА

Та редакция моего письма за подписью «Мохов», которая приводится в двух сборниках Украинского истпарта (изд. 1925 г.) о работе одесской и харьковской организаций 1905 г., которая приписывает Бунду такие решительные действия, как предложение бомбардировать город перед высадкой десанта, абсолютно неверна. Мой почерк и в 1905 г. отличался крайней неразборчивостью. Если добавить к этому, что моим неразборчивым почерком было написано письмо по условиям времени еще химией, то вполне понятно, что товарищи, разбиравшие письмо, с одной стороны, дали две различные редакции и, с другой, — допустил грубую ошибку по отношению к Бунду, приписав ему такую революционную инициативу, на какую эта мелкобуржуазная организация никогда не была способна.

Положение Одесского комитета большевиков в момент прихода в Одессу «Потемкина» обрисовывается в моем письме за подписью «Мохов» так: «Товарищи! Вы знаете, что два броненосца одно время предлагали свои услуги социал-демократам. Социал-демократические организации не могли использовать в интересах революции этот небывалый в истории случай. Как это произошло? А вот как. Одесский комитет переживал последнее время тяжелые времена. Общественная секция оставила его без денег. У него провалилась техника. Провалились лучшие заводские организации по Дальнику. В самом комитете появились партии левая и примиренческая. Да будет последняя проклята! Представителем последней являлся товарищ, которого вы хвалили (маленький, черненький) (Михаил. — *А. Ш.*). Он оказался проклятием нашего города. Он мнит себя выше всех, никому не доверяет, везде сует нос и в результате только портит. Его

возненавидели все рабочие. Он, не имея полномочий, когда узнал о броненосце, побежал к меньшевикам и Бунду. Собрал собственной инициативой «Об'единенную комиссию» трех организаций. Послал на броненосец самого непопулярного и самого неспособного товарища из комитета лишь потому, что он — примиренец. Соединенная комиссия совершила непростительную ошибку, решив управлять действиями броненосца с берега. В первый день она потратила 6 часов дорогого времени на то, как назвать Бунд — Бундом или Всеобщим еврейским рабочим союзом. Матросы в первый день предлагали бомбардировать город и затем высадить десант. Представители организаций высказались против бомбардировки, находя это жестоким. Тогда матросы отказались, и вполне разумно, высадиться до прихода остальной экскадры. Затем 2—3 дня комиссия и представители мямлили. Из гуманных соображений они выпустили офицеров на берег *. Собрание (комитета) большевиков все это время примиренцем систематически срывалось: собрались лишь тогда, когда броненосец отошел, а другой сдался. Рабочие Одессы, как манны небесной ждали бомбардировки, а социал-демократы вместе с буржуями высказывались против бомбардировки аристократических приморских кварталов. Теперь настанет реакция, ибо, видно, организации слабы. О, теперь труднее будет прогнать этих интеллигентов-примиренцев, предавших рабочих. Мне нужно уехать. Ну ее к чорту, эту Одессу! Мохов. 24 июня 1905 г.».

Из этого письма можно себе представить, чем руководствовался Михаил, созывая «об'единенную комиссию» без санкции со стороны большевистского комитета и директив со стороны последнего. «Он мнит себя выше всех, никому не доверяет, везде сует нос».

В качестве человека, которому нет равного в комитете, он, очевидно, не счел нужным получить полномочия на представительство от комитета. Уверенный, что комитет все равно одобрит его образ действий, он не потрудился получить директивы комитета. Хуже всего то, что собрания большевистского комитета им срывались все время, пока броненосец был в Одессе. Еще хуже было то, что он шел на поводу у меньшевиков (у Еремы) и Бунда. Если бы он захотел действовать по-большевистски, он не создал бы из представителей организаций аппарата («об'единенной комиссии»), в лучшем случае пригодного для проведения всеобщей стачки, но мало пригодного для проведения вооруженного восстания, для руководства действиями броненосца. В данном случае нужна была диктатура, а не словогово-

* Офицеров с миноносца № 267.

рильня. Письмо говорит также о бомбардировке города. Последняя была существенно необходима. Без нее матросы отказывались высадить десант. Во всяком случае большевику для того, чтобы настаивать на бомбардировке или принять выжидательную тактику, необходимо было получить от комитета директивы *.

РОЛЬ «ОБ'ЕДИНЕННОЙ КОМИССИИ»

На деле вышло так, что «об'единенная комиссия» в порту и Михаил вместе с ней отклонили предложение матросов начать, как артиллерийскую подготовку перед высадкой десанта, так и бомбардировку города. Что подобная мера «об'единенной комиссии» была ошибочна и вредна для революции и выгодна для правительства, видно из «выписки из показаний командующего войсками генерала Коханова», который говорит, что он 15 июня с целью не дать распространиться беспорядкам из порта в город, он старался не давать броненосцу поводов для бомбардировки города. «Это — единственное решение, отвечающее обстановке, — говорит Коханов, — так как с началом бомбардирования города беспорядки неминуемо распространились бы по всему городу и порту» **.

Как докладывали этому генералу офицеры, отпущенные с миноносца № 267, еще 15 июня в 5 часов дня все на броненосце было готово для бомбардировки города.

Мои квартирные хозяева, узнав 15 июня о предполагаемой бомбардировке города, целый день метались в испуге. К вечеру они успокоились, узнав от бундовцев, что бомбардировка отменена. Паника в городе по случаю ожидавшейся бомбардировки была очень большая. Прокламация матросов, как известно, гласила: «Солдаты и казаки, складывайте свое оружие и давайте все завоюем свободу народу. Мирных же жителей Одессы просим выехать подальше, так как, в случае принятия против нас насильственных мер, превратим Одессу в груду камней». Поэтому буржуазия уезжала из города сотнями, тысячами. Буржуазные кварталы пустели. Зловещая тишина устанавливалась на пустынных улицах.

Между тем броненосец, отдавший свою судьбу в руки меньшевиков, с первых же часов по прибытии в Одессу начал переживать внутреннюю драму.

Несомненным толчком к восстанию могло быть известие,

---

* См. приложения №№ 3, 4.

** «Потемкинские дни 1905 г.», стр. 69, 90.

привезенное ночью с 13 на 14 июня, что в Одессе очень неспокойно, что рабочие там волнуются, что все в городе закрыто и что даже мясо с трудом достали.

При таких условиях момент для восстания стал вожакам матросов, как тт. Матюшенко, Вакулинчук, Кулик и другие, казаться наиболее удобным. Мясо, оказавшееся червивым, подлило лишь масла в огонь.

«Чего ждать окончания маневров? — наверно думали или говорили друг другу товарищи. — Каждый корабль эскадры представляет собой пороховую бочку. Достаточно искры, чтобы все вспыхнуло. Если сейчас восстанем, — рабочие и социал-демократы Одессы будут вполне на нашей стороне».

Но из 760 человек команды броненосца вряд ли одна треть, 200—250 человек, примыкала к социал-демократам и более или менее готова была довести дело восстания до конца. Затем шло колеблющееся большинство и враждебно относившееся к восстанию и не верившее в него меньшинство, среди которого находились и прямые изменники, как Ведермейер и д-р Галенко. Первый дал нарочно перелет снарядам, которые броненосец направил 16 июня к вечеру на правительственный штаб, а второй устраивал тайные собрания с кондукторами броненосца против его активного меньшинства.

Пока были живы надежды на восстание в самой Одессе, на присоединение всей Черноморской эскадры к восставшим, большинство команды шло за активным революционным меньшинством и готово было за цели революции отдать свою жизнь. Но как только выяснилось, что надежд на всеобщее восстание во всей эскадре питать уже больше нельзя, что время для взятия власти на берегу упущено, колеблющееся, пассивное большинство матросов стало прислушиваться к противникам восстания, к кондукторам:

«Берег молчит. На берегу ставят дальнобойные орудия против потемкинцев. У броненосца нет базы, связи с берегом, нет угля, нет пресной воды, продуктов. Что ждет при таких условиях его в недалеком будущем?»

Выставленное тело Вакулинчука, прикрытое военным флагом, и надпись на его груди оказали с первого дня свое революционизирующее влияние на рабочих Одессы *.

Таким образом матросы «Потемкина», приготовившись к бомбардировке города и выставив тело убитого товарища Вакулинчука с запиской, которая еще более революцион-

* «Господа одесситы, — гласила записка на груди Вакулинчука, — перед вами лежит тело зверски убитого матроса Григория Вакулинчука, убитого старшим офицером за то, что он заявил, что борщ не годится. Осеним себя крестным знаменем и скажем: «Мир праху его! Отомстим кровожадным вампирам! Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода. Один за всех, все за одного.»

зировала одесских рабочих, сделала очень много для вызова восстания в городе.

Бездействие, нерешительность, на которые обрекла его «Об'единенная комиссия» на берегу, это бездействие, которое разлагало и деморализовало не раз большие армии, явилось самым гибельным для того дела, ради которого восстал революционный броненосец «Потемкин».

ПОЖАР ОДЕССКОГО ПОРТА

Возникшие грабеж складов порта и пожар в порту, несомненно, были выгодны правительству, но невыгодны для революции. Если бы «Об'единенная комиссия» решила действовать иначе, если бы город был захвачен восставшими, вооруженные рабочие, могли бы охранить и уберечь склады порта от грабежа и пожара.

В порту, как известно, находилось большое количество босяцкого и полубосяцкого элемента. Грабить начали еще днем 15 июня. Грабили все, кому было не лень. Приезжали на извозчиках хорошо одетые «господа», представители известной части мелкой и может быть и средней буржуазии, и увозили награбленное.

Подстрекательство к грабежу со стороны провокаторов, несомненно, имело место. Меня уверяли, что оголтелые анархисты, которые начали тогда появляться в Одессе, призывали «голодных и раздетых» рабочих порта взять все, что им нужно, из складов порта.

Настал теплый вечер 15 июня, сменивший жаркий и душный день. Я попрежнему томился в темной комнате, ибо страдал сильным воспалением обоих глаз. Было тихо. С улицы не доносился обычный шум телег, пролеток. Улицы были пустынны. Не выходя из комнаты на свет, я не знал, что там делается. Тишина наблюдалась и во всей квартире. Хозяева говорили шопотом и боялись зажечь огонь.

— Пожар! Пожар! — закричала вдруг дочь хозяев. — Идите скорее, — обратилась она ко мне. — Смотрите, какое зарево!

Действительно, зарево, подымаясь над крышами домов со стороны порта, становилось все больше и ярче, захватывая почти все небо. Вскоре стали раздаваться со стороны пожарища гулкие выстрелы от взрывавшихся бочек со спиртом и бензином. Вслед за каждым взрывом вздымались к небу миллиарды искр, делая картину еще более мрачной и зловещей. Хозяйка и ее дочки заплакали.

— Что-то там делается! — говорили они.—Становится так

неспокойно, так жутко, так тревожно. Что-то нас ждет завтра! Не уходите от нас в свою комнату: нам страшно!

Они еще более пришли в ужас, когда около полуночи началась пачками пулеметная и ружейная стрельба.

— Расстреливают всех, кто остался в порту! — заявил прибежавший с улицы хозяйский сын. — Все выходы и входы в порт заняты солдатами.

Толпы рабочих ночью с 15 на 16 июня, запертые в порту, пытались было прорваться из западни, которую им приготовили. Но залпы шли за залпами и косили их, как косой.

Пожар окончился к утру. На другой день состоялись похороны Вакулинчука. К вечеру, к семи часам, раздались выстрелы с броненосца. У меня остались в памяти два выстрела, заставившие задрожать стекла. Услышав их, я пришел к выводу, что броненосец решился наконец на бомбардировку города. Но я ошибся. Бомбардировка прекратилась.

Снаряды, которые должны были быть направлены на городской театр, вследствие измены наводчика-сигнальщика Ведермейера дали перелет. Но они произвели свое действие. Солдаты из города, в свою очередь, сигнализировали «Потемкину»: «Продолжайте бомбардировку; утром присоединимся к вам». К сожалению, тот же изменник Ведермейер скрыл от команды броненосца эту сигнализацию, имевшую такое огромное значение для продолжения бомбардировки, которая так революционизирующе действовала на солдат и которой так боялись власти в городе. Кирилл в «11 днях на Потемкине» пишет, что если бы была связь броненосца с городом и если бы матросы знали о впечатлении, которое произвели выстрелы броненосца, в особенности на солдат, матросы «Потемкина» продолжали бы бомбардировку. Но так как связь, порванная с берегом, не позволила никому из города приехать на броненосец, настроение к бомбардировке у матросов упало.

ОДИН ПРОТИВ ВСЕЙ ЭСКАДРЫ

В то время как «Об'единенная комиссия» бездействовала, не предпринимая никаких шагов для того, чтобы использовать восставший броненосец, как военную могучую машину, против царского правительства, последнее не дремало. Подкрепления правительству стали приходить и с суши и с моря. Поздно вечером 16 июня прибыли в Одессу вызванные из разных мест войска, начавшие сменять войска одесского гарнизона. Также заняла позицию на Ланжероне прибывшая 15-я артиллерийская брагада под прикрытием двух рот.

Утром 17 июня, в 8½ часов, показалась у Большого Фонтана эскадра адмирала Вишневецкого, также спешившая на помощь генералу Коханову.

Матросы «Потемкина» доказали, на что они было способны, когда, наконец, они были выведены из вынужденного бездействия. Еще накануне из перехваченных телеграмм и через разведку на пароходе «Смелый» они узнали, что против «Потемкина» идут две эскадры, и приготовились к беспощадному бою еще с вечера. В своей решимости победить в бою или погибнуть с четью они постановили в случае неудачного исхода боя потопить судно.

Наконец, утром 17 июня на горизонте показались силуэты направлявшихся против «Потемкина» царских кораблей. Революционный броненосец приготовился итти один против эскадры.

В это время адмирал Вишневецкий послал «Потемкину» телеграмму.

«Золотые черноморцы, — гласила она, — мы очень удручены вашим поступком. Чего вы хотите, безумцы? Смиритесь, — повинную голову и меч не сечет...»

«Если хотите знать, что мы хотим, приезжайте на «Потемкин», — ответили адмиралу восставшие.

Но в эскадре Вишневецкого было неспокойно, и она, увидев, что «Потемкин» дал ход своим машинам, чтобы итти против нее, поспешно ушла в море.

«Потемкин», в свою очередь, боясь мин, вернулся обратно в Одессу. Бежавшая от одного «Потемкина» эскадра Вишневецкого к 12½ часам дня, подкрепленная пришедшей из Севастополя эскадрой адмирала Кригера, направилась к одесскому рейду и, выстроившись полукругом, закрыла выход из бухты. Кроме пяти броненосцев, против одного «Потемкина» пришло еще несколько миноносок.

«Потемкин», дав ход своим машинам, смело пошел один против всей эскадры. Пройдя версты две, «Потемкин» остановился, и в это время суда об'единенных эскадр стали окружать его. Но присутствие на палубе судов этих двух эскадр высыпавшей наверх команды красноречиво доказывало, что дисциплина уже нарушена. Как часто бывает во время гражданских войн, такое тесное соприкосновение с восставшими, какое произошло, когда «Потемкин» прошел смело через всю эскадру, тотчас отразилось революционизирующе на матросах двух эскадр. Увидев грозные орудия восставшего броненосца, наведенные на корабли двух эскадр, заметив строгую дисциплину, выражавшуюся и в том, что на палубе «Потемкина» не было, как на палубах судов двух эскадр, команды, услышав крик с верхней палубы «Потемкина»: «Да здравству-

ет свобода! Ура!», они пришли в восторг, и тотчас с палуб трех броненосцев — «Синопа», «Георгия» и «Двенадцати апостолов»,— как голос бури, поразивший царских адмиралов и офицерство, раздался могучий, грозный крик: «Ура! Ура! Ура! Да здравствует свобода!».

«Вслед за этим, — как доносил командующий войсками генерал Коханов, — начались непонятные эволюции судов эскадры. Произошло то, что адмиралы, увидев, что команда трех броненосцев всецело на стороне восставших, отдали приказ спешно перестраивать суда. В свою очередь, «Потемкин», повернув обратно по направлению к Одессе, снова прошел между броненосцами «Ростиславом» и «Синопом». Снова с палуб царских эскадр раздается громовое «ура!» восставшим. Вот заколебался «Георгий». На нем шла борьба. Она закончилась победой революционной партии. «Георгий» выходит из строя царских эскадр и присоединяется к «Потемкину». Встревоженный адмирал на «Ростиславе» телеграфирует «Георгию»: «Следуйте за эскадрой!».

«Не могу! Не могу! Не могу!» — ответил уходивший с «Потемкиным» «Георгий».

Но вот заколебался и «Синоп». Видно с «Потемкина», как он то выйдет из строя, то снова идет за эскадрой. На нем, видимо, происходила тоже борьба двух партий. С его палубы особенно громко раздавалось «ура», когда мимо него проходил «Потемкин». Наконец, колебания закончились. Победила партия подчинения начальству. Броненосец «Двенадцать апостолов» получает приказ навести на «Потемкин» пушки и мины и потопить его. Последний, в свою очередь, наводить орудия на «Двенадцать апостолов» и дает ему приказ остановиться. Матросы «Двенадцати апостолов» не только в точности используют этот приказ, но идут и дальше: они немедленно выбрасывают в море замки и другие части от пушек и минных аппаратов и тем превращают свой броненосец в неспособный к бою. При виде всего этого об'единенная эскадра царских адмиралов с позором бежит от одного «Потемкина». Последний возвращается в Одессу победителем. У него целая эскадра: два броненосца, миноносец и транспортное судно «Веха».

Упоенная победой, команда «Потемкина» уже мечтает о захвате всего юга России и об основании «Южной республики», но она совершает тут же большую, роковую ошибку. Она не арестовывает на «Георгии», как это было на «Потемкине», «службистов-кондукторов», получавших по 50 рублей жалованья, имевших власть над матросами, тянувших руку начальства, за что матросы их звали «шкурами». Еще большую ошибку совершает она, допустив назначение на

пост командира «Георгия Победоносца» службиста-боцмана Кузьменко, решившего втайне, очевидно, уже в первый день предать дело революции. Не дремлет и предатель д-р Галенко, воспользовавшийся доверчивостью матросов и подготовлявший измену на «Георгии Победоносце». В то же время, увидев сверху, что вся об'единенная эскадра снова с позором бежала от «Потемкина», к которому присоединился уже и «Георгий», генерал Коханов начал спешно укреплять Жевахову гору для борьбы с революционными броненосцами при помощи тяжелых орудий.

На «Потемкине», в момент восстания, арестованные вместе с офицерами кондуктора-службисты со слезами выпросили себе прощение у команды броненосца, дав торжественное обещание разделить вместе с нею ее судьбу.

Между тем матросы «Георгия», как и «Потемкина», питали надежды, что к ним присоединится вся Черноморская эскадра. «Нам нечего смотреть на берег, — говорил вождь восстания Матюшенко, когда надежды на восстание в Одессе не оправдались, — мы должны смотреть туда, в море». «Одесса не восстала. Надежды на присоединение всей эскадры тоже не оправдались. Сообщение с берегом прервано. На берегу не толпились, как на второй день по прибытии в Одессу «Потемкина», толпы приветствовавших броненосец рабочих. У восставших нет базы, угля, персной воды, провизии. Что же дальше?».

А на берегу устанавливают против революционных броненосцев дальнобойную артиллерию.

ИЗМЕНА БОЦМАНА КУЗЬМЕНКО

Так как определенного плана действий не было у восставших кораблей, так как его им не дала «Об'единенная комиссия» на берегу, передовая часть команды как на «Потемкине», так и на «Георгии» продолжала терять время в бездействии. Это тем более было ошибочно и гибельно, что надежды на присоединение всей эскадры уже не оправдались. В момент прихода «Потемкина» в Одессу, 14—15 июня, так и в момент присоединения «Георгия» к «Потемкину» нельзя было терять ни минуты, нельзя было держать в бездействии команды броненосцев. Если небывалое воодушевление охватило матросов «Потемкина» еще с вечера 16 июня, когда они лихорадочно готовились к бою с надвигающейся на них целой эскадрой, когда они, готовясь к смерти, по обычаю русского крестьянина надели чистое белье и светлую майскую одежду, то таким же образом, разочаро-

вание, начало охватывать матросов, поскольку их оставляли не только в бездействии, но и без перспектив на будущее.

Промедление, нерешительность, проявленные «Об'единенной комиссией» в первые два дня, сказались не только на «Потемкине», но и на «Георгии».

Революционная решимость бороться до конца дрогнула у матросов «Георгия». Изменник д-р Галенко делал свое предательское дело. Не дремали и другие предатели. Воспользовавшись тем, что «Потемкин» поставил между собой и «Георгием» транспорт с углем «Петр Регер», старший боцман Кузьменко изменнически, несмотря на угрозу с «Потемкина»: «Стрелять буду!», дав машинам полный ход, вошел в одесскую гавань и с намерением сдаться властям посадил на мель броненосец.

Неожиданная измена «Георгия» тотчас страшно поразила всю команду «Потемкина» и, как губительная болезнь, убила в ней волю продолжать восстание.

Оставаться у Одессы, которая так обманула надежды восставших, где социал-демократы преступно мямлили, где враг, против которого они боролись, усилился изменой броненосца «Георгия», казалось, дольше не было смысла.

На вопрос, что делать, меньшевики, бывшие на палубе броненосца, не пустившего вследствие какого-то недоразумения большевика тов. Тимофея, сторонника немедленной бомбардировки города, не могли дать ответа. Матросы — вожди восстания — остались разочарованными в благополучном исходе восстания.

Перед всеми встал вопрос: что теперь делать?

«В Румынию!» — дали лозунг службисты-кондуктора и прапорщик Алексеев. Упадочному настроению поддалась вся команда, утомленная днями восстания, питавшаяся сухарями. Особенно утомлены были машинисты непрерывной работой при невыносимой жаре в машинном отделении.

Упадочное настроение было так сильно у команды «Потемкина», что ему поддался сам вождь восстания — матрос Матюшенко. Он не противился дольше прапорщику Алексееву и кондукторам, управлявшим движением и механизмами броненосца, и временно согласился на предложение итти в Румынию.

Упадочное настроение особенно сильно сказалось на транспортном судне «Веха», которое под покровом ночи, украдкой скрылось от «Потемкина».

Томимый неизвестностью и беспокойством, я решил 17 июня выйти, наконец, из моего убежища. В моей болезни

наступил перелом *. Дневной свет не вызывал больше острой боли в глазах. Краснота спала. Глазной врач нашел, что я уже могу, без опасения потерять зрение, не снимая пока темных очков, оставить темную комнату и выходить на улицу.

Я немедленно направился к порту, к Ланжерону, чтобы посмотреть на знаменитый броненосец «Потемкин». Стоял яркий солнечный день. В ярком свете солнечных лучей видны были в море небольшими черными пятнами суда эскадры адмиралов Вишневецкого и Кригера, которые, как казалось, стояли широким полукругом, закрывая выход из одесской гавани находившемуся в ней «Потемкину».

Оглянувшись на берег, я заметил, что на нем у Ланжерона ставили тяжелую полевую артиллерию. Жерла пушек с берега были направлены на ту же черневшуюся в море точку, против которой вышла вся эта эскадра. Вдруг «Потемкин» смело пошел один против всей эскадры. Но сверху не было понятно, идет ли он в бой или сдается. Всем неморякам казалось, что он сдается.

— Гони посторонних,— вдруг раздался крик офицера.

— Нельзя стоять! Уходи отсюда! — стали, в свою очередь, кричать солдаты, занимавшие весь берег на Ланжероне. — Уходи, иначе стрелять будем!..

Отправившись разыскивать товарищей — членов комитета, я думал о тов. Вакулинчуке. Точно фамилию его тогда мало кто знал. Называли мне его по фамилии Омельчук. Предо мной вставало лицо с тем строгим, суровым выражением, которое часто ложится на лица умерших. Его закрывшиеся навек уста как бы говорили словами записки, приколотой на его груди: «Отомстим кровожадным вампирам! Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода!» Он восстал вместе с товарищами на «Потемкине». Он погиб, пожертвовав своей жизнью за дело восстания. Но почему же мы не восстали? Почему на всех углах стоят олицетворяющие власть царя и капитала городовые? Почему не восстали эти солдаты, стоящие патрулями на улицах? Почему мы миримся с властью царя? Почему не лежат и наши трупы рядом с трупом погибшего Вакулинчука?

ТОВАРИЩ ТИМОФЕЙ

С такими мыслями я шел пешком в дачную местность по Французскому бульвару на Фонтаны, где жили супруги Хво-

* Письмо «Чухны» — Книпович Лидии Михайловны («Дяденьки») от 23 июня 1905 г., № 181: «Наум болен глазами и не работает уж более месяца».

лес, хорошие знакомые тт. Левицких. У них я встретил тов. Сашу Аксельрода. Через него я разыскал тов. Лидию Михайловну Книпович и тов. Тимофея (Хрусталева). От тов. Книпович я узнал, что тов. Тимофей еще 15 июня, на другой день по приходе в Одессу «Потемкина», делал попытки собрать немедленно большевистский комитет с целью принятия решения о необходимости немедленной предварительной артиллерийской подготовки со стороны броненосца, которая дала бы возможность высадить десант для занятия города.

Как мне было известно и как это теперь подтвердил тов. Тимофей письмом от 25 февраля 1926 г., он пробовал пробраться на броненосец. «Кроме безуспешной попытки, — пишет тов. Тимофей (Хрусталев В. А.),—собрать комитет, я пытался попасть на «Потемкин», к борту которого под'ехал на лодке. Находившийся на вахте часовой заявил, что революционным комитетом броненосца отдано распоряжение никого больше на судно не принимать (ранее принимали). Мы (нас было двое) просили вызвать представителей одесских организаций, но часовой от вызова их отказался. Итак, вследствие указанного идиотского распоряжения я не попал на броненосец» *.

Л. М. Книпович, как видно из ее письма от 24 июня 1905 г. тов. Ленину и Надежде Константиновне, не была против бомбардировки города. «Матросы не согласились,— пишет она,— делить свои силы (вполне сознательных из всей команды около 300 человек) и согласились на бомбардировку. Для десанта предлагали ждать всю эскадру. Представители (революционных организаций на берегу. — *А. Ш.*) решили ждать прибытия всей эскадры и пропустили время, проиграли момент революции. Один рабочий — член комитета (тов. Тимофей)—требовал бомбардировки 15-го (июня— *А. Ш.*), но собрать комитет не было возможности. Томич (Михаил. — *А. Ш.*) заседал где-то со своей комиссией и не являлся ни на одну явку».

Эти слова тов. Кнопович говорят, что если бы не Михахаил (он же Томич), который систематически не являлся на комитетские явки и этим сознательно срывал собрания комитета в такой важный момент, большевистский комитет, по всей вероятности, высказался бы за бомбардировку правительственных учреждений города. Бомбардировка была возможна 15 июня и в особенности 17 июня, в момент присоединения к «Потемкину» «Георгия Победоносца».

---

* См. приложение № 5.

Что такое был Михаил, видно из протокола комитета *.

Хотя Одесский комитет растерялся в своем целом, хотя в его составе оказался трусливый Михаил, у которого, как говорит т. Л. (Книпович, в письме № 227. — *А. Ш.*), раньше не замечалось «примиренчества» и который, в конце-концов, как свидетельствуют вышеприведенные выписки из протоколов и писем, оказался и плохим организатором и лицом, проводившим на деле меньшевистские лозунги, — все-таки среди членов Одесского комитета находились такие товарищи, как т. Тимофей (В. А. Хрусталев), «Дяденька» (Л. М. Книпович) и Наум (А. С. Шаповалов), которые держались выдвинутой т. Тимофеем точки зрения, что броненосец нужно было использовать, решившись на такую крайнюю меру, как бомбардировка города, за которой сами собой должны были последовать высадка десанта и захват города. Такое важное решение можно было бы провести в жизнь лишь от имени Одесского комитета. Собрание последнего было, как известно, сорвано тем же Михаилом, который упорно не являлся, когда его приглашал явиться т. Тимофей.

— Вот вы все говорите, что нужно было бы провести решение о бомбардировке города, — обратился ко мне Михаил. — Но вы сами, положа руку на сердце, сознайтесь, вы лично решились бы пойти навстречу этому предложению матросов?

— Безусловно, — ответил за меня т. Тимофей, — и я и т. Наум это решение поддержали бы.

— Но ведь это ужасно! Это означало бы разрушение такого прекрасного города. А в случае неудачи? Какой ответ вы дали бы перед потомством? Затем какой предлог имелся бы в руках наших врагов в случае неудачи, чтобы вызвать против нас самые ужасные средневековые репрессии? Вы не забывайте про антисемитизм.

На первом и втором заседаниях Одесского комитета присутствовал т. Сергей Иванович Гусев, приехавший накануне прихода в Одессу «Потемкина», но не успевший во-время найти Одесский комитет.

ТОВ. «ДЯДЕНЬКА» (Л. М. КНИПОВИЧ)

Необыкновенно приятное и сильное впечатление производила на меня, т. Громову и других товарищей т. «Дяденька» (Лидия Михайловна Книпович), напоминавшая по своей преданности т. Курнатовского. Будучи уже старушкой с про-

---

* См. приложение, письмо № 227

бивавшейся сединой, она начинала страдать глухотой на одно ухо.

Чем-то необыкновенно искренним, честным и стойким веяло от всего ее существа. Она работала в будни, в ночь революции. Она походила на пароход, приходивший к пристани ночью, без музыки, без приветственных криков, без песен, без возгласов.

Все помнят пароходы праздничные, с веселой нарядной публикой на их палубах. Красив флаг, трепещущий в воздухе на высокой мачте. Все слышат веселую музыку.

Не то с пароходом ночью. Никто не знает о страшной буре, с которой он боролся в открытом море, об огромных волнах, которые с ревом налетали на борт судна, грозя его потопить, никто не помнит об огромной упорной борьбе со стихией. Только громкий крик его сирены, который в ночной тиши заставляет вздрогнуть, забиться сердце, который непреложно и властно зовет в манящую даль к борьбе со стихией, оставляет смутное воспоминание.

Лидия Михайловна работала в ночь революции. Как моряк на борту корабля всматривается на рассвете — не видно ли на горизонте желанной земли, так и она стояла на вахте и предвидела рассвет революции и зорко смотрела в туманную даль...

По лицу, по одежде эту интеллигентку, посвятившую свою жизнь рабочему классу, незнакомый с ней человек мог легко принять за работницу или домашнюю прислугу.

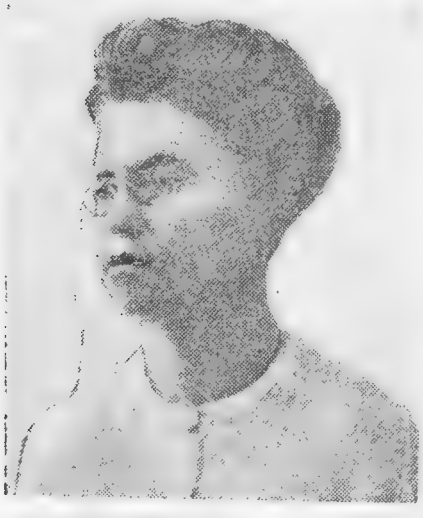
Однажды в Питере на одном из партийных собраний началась тревога.

— Полиция, жандармы ломятся в дверь! — заявила хозяйка.

В то время, как товарищи принялись уничтожать компрометирующие их документы, она, выхватив из кармана припасенный на такой случай головной женский платок, вмиг перевязала им голову и, схватив на руки реебнка хозяйки, начала его качать на руках, напевая песенку новгородских крестьянок:

«Баю, баюшки, баю!
Сидит Федор на краю.
У него много ребят,
Все по лавочкам сидят,
Кашу масляну едят...

Напевая таким образом, она стояла, прислонившись к двери, в той же комнате, где жандармы производили обыск. В то же время она не спускала с них глаз. Сходство с прислугой у нее оказалось действительно настолько большим, что жандармы были введены в заблуждение до того, что один из них закричал на нее:



Сверху слева: П. Н. Лепешинский, справа: Л. М. Книпович в середине слева: Л. Р. Шаповалова, справа: Ф. А. Сергеев (Артем); внизу слева. В. Литвинов, справа: А. С. Шаповалов.

— Что тебе здесь надо? Что ты под ногами путаешься? Убирайся себе на кухню!

— Ась? — ответила «Дяденька».— Глуховата я, батюшка; осьмой годок пошел с Покрова, как ничевошеньки я не слышу.

— Убирайся вон! — закричал жандарм, указывая ей на дверь. — Не мешать нам, старая кочерга!

Воспользовавшись тем, что жандармы на самом деле приняли ее за прислугу, ничем не напоминающую революционерку Книпович, которую они разыскивали, она, оставив ребенка на кухне, преспокойно вышла через черный ход и тем спаслась от ареста.

В последний раз я ее встретил в июне 1919 г. в Симферополе накануне эвакуации из этого города Красной армии. Она, этот старый преданный революционер, доживала в это время последние дни у своей приятельницы Анны Михайловны Вржосек, члена РСДРП(б) в 1905 г.*

— Как жаль, — говорила она, — что я стара и больна, что я не могу больше быть полезной революции. А то я эвакуировалась бы с Красной армией. Но я уверена, что скоро придут сюда большевики, что победят они белых. Мы увидимся еще при лучших условиях, когда на нашей улице будет праздник!..

Но она умерла, не дождавшись прихода победоносных красных полков. Она умерла, по-своему непримиримая. Она отказалась принять врача-белогвардейца.

— Не нужно мне, — говорила она, — вашего врача-белогвардейца. Я или умру, или дождусь наших красных врачей

В этих словах перед смертью сказалась непримиримость старой большевички. Она умирала в очень тяжелом положении, почти в нищете. Незадолго до смерти она нашла силы помочь мне выехать из Симферополя незаметно от деникинской охранки.

Когда она умирала, как мне говорили, лицо ее озарилось улыбкой. Может быть, ей казалось, что уже пришли с многочисленными красными знаменами победоносные красные полки, изгоняющие из Крыма белых. Уходя от жизни, может быть, она уже видела и то прекрасное будущее, которое открывается перед человечеством с победой коммунизма.

КОНЕЦ ВОССТАНИЯ

Выйдя утром 18 июня из дома, я вдруг натолкнулся в конце улицы на толпу народа, бежавшую в тревоге; на толпу насе-

* Вржосек в настоящее время учительница и живет в Детском селе.

дал отряд казаков, избивавших всех нагайками. Улица была наполнена стуком копыт, ржанием лошадей, женским криком, плачем, воплями, звяканьем торопливо запираемых дворниками железных ворот домов. Стремясь укрыться на каком-нибудь дворе за эти железные двери, женщины падали в испуге на мостовую и попадали под копыта наезжавших на них лошадей. Попасть за ворота удавалось не всем: дворники пропускали лишь своих квартирантов. Улица вмиг опустела.

Я едва успел вскочить в ворота дома, где жил, иначе я не избежал бы нагайки казака, наехавшего на самые ворота.

— Сволочи пархатые, — кричал казак, — жиды проклятые, будете забастовки да бунты устраивать, гляди, наигрались! Всех вас ждет та же участь.

Слыша эти крики, все стоявшие за воротами в испуге попятились назад. У всех явилась одна и та же мысль — что вот-вот он ворвется в ворота, которые ему может во всякую минуту открыть дворник, и тогда он начнет всех мять и топтать своей лошадью и бить нагайкой. Но еще больший страх изобразился на лицах, когда вслед за от'ехавшим от ворот казаком все увидели около двадцати телег, медленно проезжавших одна за другой по улице. На каждой телеге лежало по три-четыре трупа рабочих-грузчиков порта и заводских рабочих, убитых во время пожара в порту, во время стрельбы пачками по толпам, грабившим склады. Мне бросилось в глаза, что убитые все были русские. Все они были одеты в рабочие блузы. На многих заметна была запекшаяся кровь. У меня осталось в памяти лицо одного из убитых, рабочего лет 25. Красивое, обрамленное русыми кудрями, умное, энергичное, оно запечатлело на себе вопрос, недоумение и упрек тем, кто его убил. На лбу его виднелась темная маленькая дырочка с запекшейся кругом кровью, от пули, поразившей его наповал.

— Как много их! — сказал кто-то из стоявших у ворот.— У каждого из них мать, жена или невеста. То-то будет ждать и никогда не дождется....

— Вы думаете, все убитые здесь? — ответил кто-то. — Там в порту, говорят, целые горы трупов. Придется баржами вывозить в море.

— Но почему же их здесь везут? Как будто не дорога на кладбище.

— Для острастки это, чтобы другим неповадно было бунтовать, — ответил дворник. — По всем почти улицам возят их, убитых-то, — пояснял он.

Обоз с убитыми замыкал отряд казаков, такой же, как

и впереди. Казаки опять грозили нагайками, изрыгали ругательства, показывали нагайками на трупы убитых. Все говорило, что полиция устроила специальную демонстрацию для устрашения жителей города.

Кроме тов. Гусева, тов. Л. М. Книпович, тов. Тимофея и тов. К. Н. Громовой (Самойловой) во время прихода броненосца в Одессе находился тов. Ярославский, больной, только-что выпущенный после голодовки накануне прихода броненосца из тюрьмы и потому не имевший возможности принять активное участие в происходивших событиях.

Еще 17 июня я узнал, что на броненосце нет достаточного количества угольных свечей для электрических прожекторов. Наш товарищ, инженер Хволес, раздобыл где-то эти свечи. Я взялся доставить их. В тот момент, когда я, найдя лодку, собрался ехать на броненосец, получилось известие, что «Потемкин» вследствие измены «Георгия» совершенно неожиданно ушел в неизвестном направлении в море.

Тов. К. Н. Громова (Самойлова) рассказывала на другой день по уходе «Потемкина», как вели по Старо-портофранковской улице, где она жила, арестованных матросов, выданных как зачинщиков. Выдавала не вся масса, а кучка негодяев, прямых шпионов, оставшихся невыясненными во время восстания, и редкие преданные среди матросов старому порядку люди и прямые презренные трусы, которые из желания спасти свою жизнь, избежать расстрела, петли, каторги и тюрьмы выдавали теперь тех, которые в момент восстания были для них вождями, а теперь, после подавления его стали представляться им мечтателями и безумцами, звавшими ниспровергнуть то, что остается попрежнему таким непоколебимым, несокрушимым.

— Закрывай окна! — кричал неистовым голосом пристав, шедший впереди арестованных матросов, наводя на открытые окна револьвер. — Стрелять буду!

Окна при таких криках и угрозах моментально закрывались, любопытные, высунувшие было головы из окон, тотчас прятались обратно. Жизнь и движение тотчас замирали на улице, ибо шедший впереди арестованных отряд городовых разгонял прохожих.

— Жутко было смотреть, как вели их, — рассказывала т. Наташа (Громова),— и до смерти жалко. Я всю ночь не могла заснуть. Думала о них и даже плакала. На утро я узнала, что их затем прогнали сквозь строй казаков, по приказу офицеров самым жестоким образом избивавших их.

После ухода в море грозного броненосца пристава, околоточные, охранники, жандармские офицеры и вся буржуазия вздохнули свободнее. Распространившийся слух, что на

16 июня назначена бомбардировка города, нагнал на буржуазию такую панику, что за три дня из города выехало не менее 30 000 человек. Ужас перед революцией, страх перед грозным броненосцем, угроза матросов «Потемкина» превратить буржуазную часть города в груду камней * — все это гнало их из города, над которым встал грозный призрак восстания. Стремление уехать было настолько сильным, что нарядные барыни считали себя счастливыми, если им удавалось уехать не в первом классе, а в грязной, черной от каменного угля теплушке.

Под общим руководством т. Гусева, с от'ездом «Дяденьки», ставшей во главе одесской организации большевиков, я снова деятельно принялся за восстановление почти уничтоженных арестом 2 июня организаций Дальника, Вокзала и Фонтана. «Все это, — как свидетельствует мое письмо т. Ленину, — было чрезвычайно трудно. Военное положение нагнало на население страшную панику. Все лучшие централисты отказывались работать и собирались уезжать. Те, которые решились работать, не могли нигде собраться за неимением квартир. Приходилось встречаться, сталкиваться с отдельными лицами на улице». При таких трудностях лишь в конце июня удалось собрать районное собрание Дальника, Вокзала и Фонтана.

На этом собрании район вынес осуждение нерешительной и ошибочной тактике «об'единенной комиссии» во время пребывания в Одессе броненосца «Потемкина» (смотри мой доклад, письмо № 212, «Отчет ответственного организатора Вокзала, Фонтана и Дальника»).

На втором собрании района была принята резолюция, признающая III с'езд партийным, выражавшая солидарность с его решениями.

Снова заработала воссозданная организация. Начали выпускать листки, проводить массовки и готовиться к вооруженному восстанию. Тов. Гусев прочел два реферата, в которых выяснял организационные и тактические разногласия с меньшевиками.

После дня партийной работы тов. С. И. Гусев, обладавший хорошим голосом, на берегу моря, когда гас закат, или

---

* Привожу текст малоизвестной прокламации потемкинцев:

«От команды броненосца «Князь Потемкин Таврический». Просим немедленно всех казаков и армию положить оружие и соединиться всем под одну крышу на борьбу за свободу. Пришел последний час нашего страдания. Долой самодержавие! У нас уже свобода без начальства. Начальство истреблено. Если будет сопротивление против нас, просим мирных жителей выбраться из города. По сопротивлении город будет разрушен...».

на квартире у т. Хволес и один раз у моих хозяев пел вместе с т. Стефой русские и украинские песни. Стефа была полька, и очень красивая. Она обладала очень хорошим, сильным голосом. Я помню, что они пели «Перед воеводой молча он стоит» и «Костер».

Было приятно и грустно слушать их обоих. Как всегда, их песня звала вверх, на простор, порвать те цепи, в которые мы закованы.

— Почему вы остаетесь здесь у нас в Одессе? — говорил мне глазной врач Розенфельд, к которому я заходил долечивать мои глаза. — Вам надо ехать туда, в глубь России. Там, не здесь — на окраине, в Одессе, решится вопрос, быть ли в России самодержавию или республике.

Я сам давно собирался уехать. Меня потянуло в середину России, в гущу ее.

Простившись с товарищами, я уехал, наконец, из Одессы на север. Перед самым от'ездом брат арестованного Фельдмана советовался со мной, как лучше освободить Фельдмана из севастопольской тюрьмы. Последний, как упоминается в одном из моих писем т. Ленину (письмо Мохова от 21 августа, № 196), был освобожден при помощи наших сибирских знакомых супругов тт. Деминовых *. Перед от'ездом я познакомился с выдающимися рабочими: с Иваном Батумским и Иваном Авдеевым, с. тт. Правдиным и Шотманом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОССТАНИЯ «ПОТЕМКИНА»

Придя в Феодосию 22 июня, броненосец «Потемкин» оставался здесь около двух суток. Пребывание здесь было еще более неудачным, чем в Одессе. Военные власти не только прекратили доставку на броненосец продуктов, пресной воды и угля, но залпы солдат из засады, по распоряжению полковника 52-го Виленского полка Герцыка, убили и ранили шесть матросов. Трое из них и меньшевик Фельдман оказались арестованными. Матюшенко едва успел вернуться на броненосец. Залпы солдат, их братьев, переполнили чашу неверия матросов «Потемкина» в свои силы. Всем стало казаться, что они одиноки, что дело их проиграно окончательно, что царское самодержавие много сильнее, чем они раньше предполагали. Волна революционного настроения начала спадать, и воли отдельных лиц уже нехватало, чтобы сдержать упадочное настроение и вызвать снова желание борьбы. Броненосец снова ушел в Румынию.

В Феодосии нашелся мститель за убитых матросов. Бара-

* Супруги Деминовы живут в Тобольске.

банщик-еврей Мочетлобер стрелял в упор в полковника Герцыка и промахнулся. Арестованный он был замучен в застенке полковником Герцыком до сумасшествия (В. Гейман, «Сумасшедший генерал-губернатор», «Голос минувшего», № 2, 1923 г.).

Проблуждав 11 дней по волнам Черного моря, броненосец «Потемкин» сдался в Румынии. Тов. Васильев-Южин, приезжавший к нам от т. Ленина, тщетно пытался попасть на него, чтобы поднять падающий дух борьбы у матросов.

Но восстание «Потемкина» было лишь первой ласточкой. Восстание лейтенанта Шмидта в ноябре 1905 г., кронштадтское восстание в октябре 1905 г. и в 1906 г., в июле восстание броненосца «Память Азова», свеаборгское восстание, восстание во флоте в Сибири, восстание 1907 г. в Черноморском флоте на броненосцах «Три святителя», «Синоп», «Ростилав» следовали одно за другим.

Но это были уже последние восстания, вызванные революционным под'емом рабочего класса в 1905—1906 гг. Спадала волна рабочего революционного движения, закончились и восстания среди матросов и солдат. Новый под'ем рабочего революционного движения в 1912 г. отразился неизменно на матросах, в данном случае Балтийского флота. Как известно, в 1912 г. 23 июня был обнаружен одним шпионом заговор на броненосце «Цесаревич».

Известна роль матросов военного Балтийского флота и Кронштадта в Октябрьскую революцию. Во всех этих восстаниях выявилась намеченная т. Лениным еще в 90-х годах роль рабочего класса, как гегемона в великой русской революции в союзе с крестьянством.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. На фоне общего обостряющегося недовольства в России в 1905 г. грозовые тучи скопились в июне в Черноморском военном флоте. Матросы, представлявшие собой союз рабочего и крестьянина, создали «движущую силу» русской революции. Еще до принятия резолюции о подготовке к вооруженному восстанию на III с'езде матросы военного флота ставили уже вопрос о вооруженном восстании.

Большевики в Одессе были, кроме того, разгромлены жандармами. Власть в комитете была захвачена примиренцем, фактически переметнувшимся на сторону меньшевиков. Трое членов Одесского комитета большевиков, стоявшие на правильной точке зрения, были в этот момент или больны, как «Дяденька» и Наум, или оттеснены, как т. Тимофей, отрезаны ловким примиренцем и от броненосца и от возможности собрать комитет.

Черноморский флот и броненосец «Потемкин» организационно были связаны с меньшевиками. Последние вели работу не на доведение восстания до захвата власти, а на разжижение и распыление движения матросов. Поэтому, когда гроза разразилась в Одессе, где к тому же не было внутренних революционных сил, могущих поддержать восстание, они создали для руководства броненосцем не военно-революционный штаб, а говорильню в виде «Об'единенной комиссии» соц.-дем. организации. Последняя применила по отношению к броненосцу в корне ошибочную тактику, пригодную в лучшем случае к проведению всеобщей забастовки, но никак не для руководства восстанием броненосца. Матросы «Потемкина», когда шли в бой с целой эскадрой, когда перед ними были революционные перспективы, доказали в этот момент свою готовность бороться за революционные цели.

Никогда история не ставила так определенно требования на энергичное революционное руководство, как в этот момент. Если бы в Одесском комитете нашлись люди более энергичные и более знакомые с военным делом, если бы, наконец, т. Тимофею удалось созвать большевистский комитет и с авторитетом последнего попасть на броненосец вместо примиренца Афанасия, посланного туда примиренцем Михаилом, если бы броненосец под его влиянием начал действовать по указанию К. Маркса ит. Ленина, т. е. повел дело на захват города, — восстание могло окончиться более благоприятно, чем так, как произошло на самом деле.

ПРИЕЗД В ХАРЬКОВ

Западная Европа знала в средние века тип странствующего рыцаря и ремесленника. Россия со времени развития в ней революционного движения создала своеобразный тип странствующего революционера.

Вступив на революционный путь, я принужден был в 1898 г. под конвоем солдат совершить первое длинное путешествие в страну, известную по «Макару, который туда даже телят не гонял». Вернувшись через три года из Сибири, я не переставал переезжать из города в город и таким образом в конце лета 1905 г., когда уже начинала чувствоваться осень, приехал в Харьков.

Поселился я здесь сначала довольно неудачно, на Журавлевке, на квартире, где жили студенты. Хозяйка проявила ко мне большее, чем можно было допустить, любопытство, желая точно узнать, где я работаю и какие у меня источники существования. Не имея никакого, конечно, желания посвя-

щать ее в мои планы и намерения и желая избавить себя от возможных неприятностей, я на другой же день по приезде начал поиски другой, более удобной в моем положении комнаты. Это еще тем более было необходимо, что Журавлевка, расположенная недалеко от буржуазных кварталов, находилась на очень далеком расстоянии от железнодорожного и от заводского районов, где мне как революционеру пришлось бы, наверно, работать.

Буржуазные кварталы в Харькове расположены преимущественно над Журавлевкой, в нагорной, здоровой, удаленной от загнивающих летом и превращающихся в вонючее болото речек Лопани, Нетечи и Харькова.

Я всегда в новом городе старался для агитации познакомиться с преимуществами, которыми пользуется местная буржуазия, чтобы лучше оттенить бедственное положение, в котором всюду находятся рабочие. С этой целью я, встретив на моем пути деревянную лестницу с перилами, ведшую на возвышенность, к Технологическому институту, поднялся по ней в очень хорошо расположенный маленький парк. Пройдя последний, я через маленькую калитку вышел в нагорную, буржуазную часть города.

Еще накануне, по приезде в город, я обратил внимание, что жители города на улицах кого-то звали:

— Ванько, Ванько, Ванько!

На этот раз, увидев, что на этот зов под'ехали, подхлестывая своих клячонок, извозчики, я, наконец, понял, что эта кличка, так отзывающая крепостным правом, относится не к собачонкам, как у меня сначала явилась мысль, а к людям.

Мне бросилось также в глаза, что извозчики, из которых многие представляли собой людей с виду солидных и пожилых, нисколько не обижались и не тяготились, что их называют таким, нельзя сказать, чтобы почтительным, именем, данным им, несомненно, крепостниками-помещиками.

Пройдя Пушкинскую улицу, я очутился в конце-концов на Сумской ул., у входа в Университетский сад. Пройдя через этот парк, где завязывались все романы харьковской молодежи, я через узкую калитку вышел к базарной площади, где, как огромный муравейник, копошилась большая толпа рабочих, мещан, занимавшихся мелкой торговлей, крестьян и харьковских «ракло» (жуликов).

Под низким серым небом с медленно двигавшимися по нему темносерыми тучками, начинавшими моросить мелким осенним дождиком, эти плохо, грязно одетые люди показались мне страшно отсталыми и серыми.

Толпа вдруг зашевелилась. Из нее выскочил ракло, уле-

петывавший во всю мочь от догонявшего его крестьянина, тяжело шлепавшего по лужам в своих огромных украинских чоботах.

— Текай, текай, текай! — кричали ракло своему собрату.

— Держи, держи, держи! — взывал крестьянин, указывая на убегавшего от него ракло.

— Хватай его, хватай его! — подбодряли крестьянина из толпы.

Но в тот момент, когда крестьянин, нагнавший уже ракло, хотел схватить его, последний увернулся, а крестьянин, споткнувшись, растянулся со всего маху в луже.

Его падение в грязную лужу вызвало всеобщий хохот глазевшей на него толпы.

— Эх, ты, ра-р-а-з-з-я-в-а, — кричали ему, умирая от хохота ракло, — так тебе и надо! Дураков учат!

Эта сцена и вид толпы, отнесшейся довольно безучастно к крестьянину, у которого ракло выхватил все деньги и над которым она издевалась, когда он поднялся, вывалявшийся в грязи, произвели на меня тяжелое впечатление. Как-то невольно закрадывалось сомнение в возможности поднять эту толпу на борьбу с самодержавием и за социалистический строй. Между тем это чисто внешнее впечатление было очень ошибочно. Харьков на самом деле переживал канун октябрьских дней 1905 г., когда чисто стихийное движение масс подвинуло Харьков в этот момент ближе к возможности вооруженного восстания, чем другие города в России.

Пройдя через базар, я снова очутился в пролетарских кварталах, где начал искать комнату. После очень долгих поисков я, наконец, нашел себе на Большой Панасовке маленькую подвальную комнату, которая была настолько плоха, неудобна и нездорова для жилья, что хозяйка, лишь бы сдать ее, не стала спрашивать, где я работаю и какие у меня источники существования.

Поселившись в пролетарском квартале в этом больше чем пролетарском жилище, я вскоре почувствовал себя в нем, как в тюрьме. Сырые стены, затхлый, спертый воздух не давали мне возможности долго оставаться дома. Я отправился бродить по городу. Выйдя к вокзалу и почувствовав себя голодным, я вошел в чайную. Здесь можно было, потребовав за 5 коп. «пару чаю», пообедать фунтом ситного хлеба, огурцом или четвертью фунта колбасы, а главное — встретиться с рабочими. В вагоне железных дорог, в трактирах, в чайных — всюду, где бывают рабочие, я искал встречи с ними и прислушивался к речам рабочих и крестьян. Я жадно ловил признаки возмущения в низах народа, радовался, если замечал пробуждающуюся в них ненависть к капитализму и само-

державию, и огорчался, если наталкивался на разговоры, доказывающие, что рабочие относятся еще довольно безучастно к своей судьбе. На этот раз в чайной, окна которой выходили к вокзалу, я встретил всего человек пять служащих почты и телеграфа. Внимание их привлек поток пассажиров, показавшихся из главного выхода вокзала.

— Скорый-то на целый час с опозданием пришел, — заметил один из них.

— Смотрите, никак сам губернатор и жандармский полковник прибыли, — добавил второй.

— Эх! Вот бы бомбочку в них бросить, — вдруг совершенно неожиданно для меня произнес хвастливо третий маленький, но необыкновенно задорного вида почтово-телеграфный служащий.

Я вздрогнул от полной неожиданности, услышав эти слова. Меня поразила крайняя неосторожность говорившего.

«Кто они такие, члены партии эсеров или попросту провокаторы? — говорил я себе, уходя из чайной. — Если они эсеры, они забыли уже все конспиративные традиции их предшественников народовольцев и попросту выродились». После я убедился, что это были настоящие, неподдельные харьковские эсеры.

ХАРЬКОВСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ

Харьков со своими многочисленными средними и высшими учебными заведениями, со своей интеллигенцией, которой было много в городе, представлял собой даже осенью 1905 г. еще настоящую меньшевистскую крепость.

«Харьковские большевики, — говорит С. Крамер в своей статье сборника «1905 год в Харькове» (изд. «Пролетарий»), — сумели в 1905 г. вырвать до известной степени рабочие массы из-под влияния меньшевиков только идеологически, но не организационно».

Упорная работа харьковских марксистов все-таки делала свое дело. Рабочие втягивались в рабочее движение. После забастовки 1897 г. образовалось здесь «Общество взаимопомощи рабочих» с двумя кооперативами — «Об'единение» и «Труд». Выходила даже нелегальная газета «Труд», выпустившая всего четыре номера. Искровское направление имело большой успех в Харькове. Но после II с'езда нашей партии многочисленная харьковская марксистски настроенная интеллигенция перешла целиком на сторону меньшевиков. Меньшевики иногда отличались умением ставить технику работы, а так как рабочие медленно и с большим трудом разбирались в партийных разногласиях, они в Харькове настолько

держались меньшевиков, что поселившиеся здесь такие видные и образованные большевики-интеллигенты, как Борис Васильевич Авилов (Пал Палыч) и Григорий Васильевич Мерцалов, не могли до приезда т. Артема завербовать среди рабочих необходимое число своих последователей, а вследствие этого и образовать свою, отдельную от меньшевиков, большевистскую организацию. Кроме того, хотя Авилова и Мерцалова харьковские меньшевики и звали «твердокаменными» большевиками, весьма возможно, что оба они еще временно питали примиренческие иллюзии. Из статьи т. Мерцалова видно, что он лично не считал принципиально допустимым без разрешения ЦК, создавать отдельную от меньшевиков большевистскую группу, а т. Авилов даже работал в одной организации с меньшевиками. Весьма возможно, что горький опыт совместной работы с меньшевиками заставил его притти к мысли о необходимости создания отдельной большевистской группы в Харькове. Последняя была организована под названием группы «Вперед» (по имени большевистского органа «Вперед») весной 1905 г. из товарищей: Артема Сергеева, Доброхотова Михаила Петровича, Мерцалова Григория Васильевича, Двойерс, Доры Израилевны, Авилова Бориса Васильевича и т. Степана из Одессы. Все эти товарищи, кроме т. Степана, были интеллигенты.

Если Пал Палыч (Авилов) являлся в то время главным идеологом, непримиримым противником меньшевиков, ярым врагом их оппортунистической тактики, организатором вооруженного восстания в Харькове, то т. Артему принадлежит неоспоримая заслуга в том, что он умел, будучи превосходным агитатором, проводить большевистские лозунги в массы.

ТОВАРИЩ АРТЕМ

Тов. Артем (Федор Андреевич Сергеев), студент Высшего московского технического училища, носил в себе редкие свойства революционера-марксиста, сочетавшиеся с лучшими чертами народников. Агитатор в массах, он обладал подходящей для такой роли наружностью: он удивительно походил на рабочего. В то же время его простая, задушевная речь, без иностранных слов привлекала к себе рабочих. С такими превосходными качествами он проникает в самое сердце меньшевистской крепости — на Харьковский паровозостроительный завод, где начинает работать в качестве простого чернорабочего. Распропагандировав там нескольких молодых рабочих — Сашку Садевского, Сашку Рыжего, Кожемякина, Гринченко, Егорова и других, он поселился с ними в

маленькой комнате на Корсиковской ул., образовав таким образом род «коммуны» *.

Живя вместе с ними, на виду у них, он влиял на них своим примером, неистощимой энергией и революционной преданностью партии.

Условия жизни в коммуне, если ее можно так назвать, были очень тяжелы. Жизнь революционера, за которым, как за зверем, охотились охранники, жизнь, полная опасностей, тревог, неожиданностей, не могла быть регулярной. Ведя такую тяжелую жизнь, трудно было бы еще думать о такой роскоши, как проведение в рабочую среду культурных привычек. Принимали пищу в коммуне, когда пришлось, в разное время и часто, по рабочей привычке, стоя, не имея ни возможности, ни времени присесть, походя. Тарелок, салфеток и т. п. не было.

Возвращались поздно. Опасаясь ночного обыска, чтобы при малейшей тревоге успеть выскочить и спастись, спали, не раздеваясь, в той же грязной и засаленной рабочей блузе. Немудрено, что на одеяле, на которое, очевидно, ложились отдыхать днем, отложился блестящий толстый слой черного сала, которое можно было видеть на грязных блузах смазчиков и кочегаров. Артем, приходивший с комитетских собраний часто позднее всех членов коммуны, не найдя уже свободного места на кроватях, на которых спали по-двое, заваливался часто прямо на пол.

Заработок, одежда, обувь, белье, шапки — все считалось в коммуне общественной собственностью. Встав утром, Артем имел привычку надевать из одежи то, что ему оставляли товарищи по коммуне, т.-е. всегда что-нибудь похуже.

Только железное здоровье помогло т. Артему выносить эту тяжелую жизнь революционера, которую вели рабочие коммуны. Чтобы не выявить перед заводской администрацией своего интеллигентского происхождения, он так же, как и другие, в течение длинного рабочего дня вдыхал заводскую гарь, дым, запах прогорклого масла, исполнял тяжелую работу, испытывал изнурительную усталость, носил на руках грубые мозоли и подвергался, как все чернорабочие, являвшиеся своего рода париями на заводах среди квалифицированных рабочих, подчас грубому обращению со стороны мастеров.

Коммуна, в виду обнаруженной опасности ареста всех участников ее, скоро распалась. Конечно, она, в которой отрицались по необходимости все культурные привычки, до кото-

* Рабочих из кружка т. Артема некоторые товарищи звали «гарибальдийцы» или «десяток Артема».

рых рабочие того времени еще даже не доросли, не будет являться образцом для подражания теперь, но она является и будет являться примером революционного героизма, проявленного такими товарищами, как т. Артем и другие.

ХАРЬКОВСКИЙ ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (ХПЗ)

Революционное рабочее движение в Харькове давно перешагнуло ту черту, до которой оно при мне докатилось в Одессе. Оно приняло здесь более массовый характер.

На Харьковском паровозном заводе, где особенно были сильны меньшевики, до появления т. Артема начали приобретать влияние и эсеры благодаря талантливому агитатору-рабочему Забелину и интеллигенту Корытину. Последний, так же как и т. Артем, не только работал на заводе в качестве рабочего, но и жил в общежитии рабочих ХПЗ.

Несомненные агитаторские способности, умение задеть ту именно струнку в душе рабочего, которая заставила бы забиться его сердце, умение найти общий с рабочими язык, жизнь на виду у последних — все это выдвинуло т. Артема как, пожалуй, самого популярного социал-демократа-большевика из среды других товарищей, не столь блестящих по своим дарованиям, ведших кропотливую, незаметную для других работу, но без помощи которых революция не могла бы существовать.

По мере роста революционного рабочего движения, Харьковский паровозостроительный завод, называвшийся в 1905 году «автономной республикой», в конце-концов стал настоящей революционной крепостью, на которую долгое время не решалось посягать правительство.

Вывозы мастеров на тачке, митинги целым заводом на дворе его под открытым небом, выход из завода на улицу на демонстации с красными знаменами, участившиеся столкновения с казаками, вооружение рабочих, приготовление с этой целью на заводе пик из газовых трубок, создание из рабочих боевых дружин, хранение на заводе оружия, приготовление на нем даже бомб — все это ставило этот завод выше других заводов Харькова.

Именно работе т. Артема, главным образом среди рабочих этого завода и вообще среди харьковских рабочих, надо приписать несомненный успех наших большевистских лозунгов. Живя со своими товарищами в так называемой «коммуне» в самых ужасных условиях, т. Артем становился настолько опасным для правительства революционером, что на него особенно точили зубы агенты охранки. Поэтому он превос-

ходно усвоил конспиративную технику. То он под видом рабочего выступает против профессора Милюкова на реферате последнего, то он говорит с губернатором от лица рабочей делегации. Губернатор не только не узнает его, но до такой степени принимает его за настоящего, неподдельного рабочего, что делает попытку усовещевать его не слушать «агитатора Артема». То, надев больничный халат на Сабуровой даче, он проходит в качестве больного мимо жандармов, приехавших специально с целью захватить именно его; то он ускользает от жандармов, надев форму офицера. Но у т. Артема как у многих выдающихся агитаторов, можно было заметить свои, ему присущие недостатки. Так, видя, как загораются под влиянием его речей глаза его слушателей, как великолепно работает организация в его присутствии, он не придавал должного значения необходимости организационного закрепления достигнутых успехов.

НЕДОЧЕТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

По приезде в Харьков я, кроме Артема, Авилова, Мерцалова, встретил там еще товарищей: Иванова Сергея Петровича (клички «Интендант» и «Алексей»), Софью Николаевну Афанасьеву («Серафима»), Александра-слесаря, Мечникову, Постоловскую, «Димку» Бассалыгу, Матвея, Исаака Раскина и др. Харьковский комитет назначил меня ответственным организатором Заводского района, куда входили заводы ХПЗ, Гельферих-Саде и другие.

Все мои попытки создать здесь хотя бы такого рода организацию, какую мне удалось создать в Твери и Одессе в заводских районах, не привели ни к чему.

Ученики товарища Артема как бы унаследовали от последнего недооценку организационной стороны дела. Занятые все время агитацией, они не только ни разу не явились на явки района, но, насколько мне помнится, мне не удалось даже собрать их за целый месяц на районное собрание. Происходило это оттого, что, привыкнув решать все дела Заводского района между собой, по-семейному, на самом заводе, они прямо не понимали необходимости создания вне завода районной организации, охватывавшей все заводы района.

Столкнувшись с этим непониманием необходимости организационного закрепления идеологического влияния большевиков со стороны учеников т. Артема, в руках которых находилась заводская организация Харькова, я принужден был просить комитет перевести меня в Городской район.

Таким образом мне не удалось в Харькове за месяц работы в Заводском районе создать организацию района, не

только существующую на словах, но и работающую. Мне не удалось направить внимание членов района на необходимость постоянного, неуклонного превращения рабочих, пассивно слушающих ораторов, в рабочих, активно работающих над организационным закреплением все растущего влияния нашей партии.

Было бы ошибкой сказать, что последнее не делалось. Но надо признаться, что делалось все это как-то скорее стихийно, а не сознательно. Моей целью являлось создание организации района, которая работала бы независимо от того, в Харькове ли такой сильный оратор, как т. Артем, которая не превращалась бы в пустой звук при его отъезде и которая находила бы возможность нагружать всех членов организации рабочих той или иной партийной работой.

СТИХИЙНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ МАСС

Между тем революционное движение рабочих в Харькове в конце сентября и в начале октября стихийно разливалось, подобно русским рекам весной, не вмещаясь в берега. Митинги шли за митингами. Лужайки, площади (левады — по-украински) по воскресеньям с утра до вечера были усеяны красными знаменами над трибунами. Движение выливалось на улицы, площади, и никакие полицейские силы не могли больше его удержать в прежних рамках. Харьковское движение не являлось счастливым исключением. Даже в таком сравнительно отсталом городе, как Курск, происходило 17 июля 1905 г., судя по «Харьковскому листку» от 24 июля 1905 г., следующее:

Солтады на станции Курск пред'явили офицеру ряд требований. Офицеру показалось, что они требуют от него известных уступок в довольно грубой форме. Когда связанный «за дерзости» рядовой разразился на площади перед вокзалом площадной бранью, офицер шашкой отсек ему голову.

Возмущенные происшедшим курские рабочие бросились на офицера. Последний спасся в вагон. Выведя из вагона жену офицера с детьми и сказав последней: «барыня, не бойтесь!», рабочие с криком: «бей убийцу!» начали бросать в окно вагона камнями. После того, как офицер выстрелами из окна ранил нескольких рабочих, раздался крик: «сжечь его!»

Продвинув вагон с офицером на запасный путь, облив вагон керосином, толпа сожгла его вместе с офицером. Толпа, насчитывавшая до 20 000 чел., расправилась с помощником начальника станции, Сендеровским, и разыскивала скрывшегося жандармского офицера.

Подобный случай красноречиво говорит о вспышках на-

родного гнева, как о предвестниках революционной бури. Нечто подобное, но более грандиозное и проникнутое сознательностью, наблюдалось в Харькове.

Весь сентябрь продолжались забастовки на различных харьковских заводах. Хозяева не шли на уступки, и забастовки длились долго и упорно. Рабочие, участники забастовок, собирались на митинги в заводах Гельферих-Саде и ХПЗ.

Растерянность правительства перед все растущим осенью 1905 г. революционным рабочим движением Харькова сказалась в разногласии среди членов правительства по вопросу о методах подавления движения. Так, новый начальник жандармского управления в Харькове видел выход из создавшегося положения в аресте 50 рабочих ХПЗ и высылке их вместе с опасными интеллигентами из Харькова. Губернатор же, опасаясь, что аресты, высылки и применение военной силы подольют лишь масла в огонь и вызовут всеобщую забастовку, не соглашался с ним. Жандармы в своих донесениях в Петербург указывали, что дело зашло так далеко, что не только на заводах, но и в Харьковском технологическом институте на массовых митингах бросаются лозунги «к вооруженной революции, для замены государственной думы Учредительным собранием». (Дело № 102 Харьковского охранного отделения.)

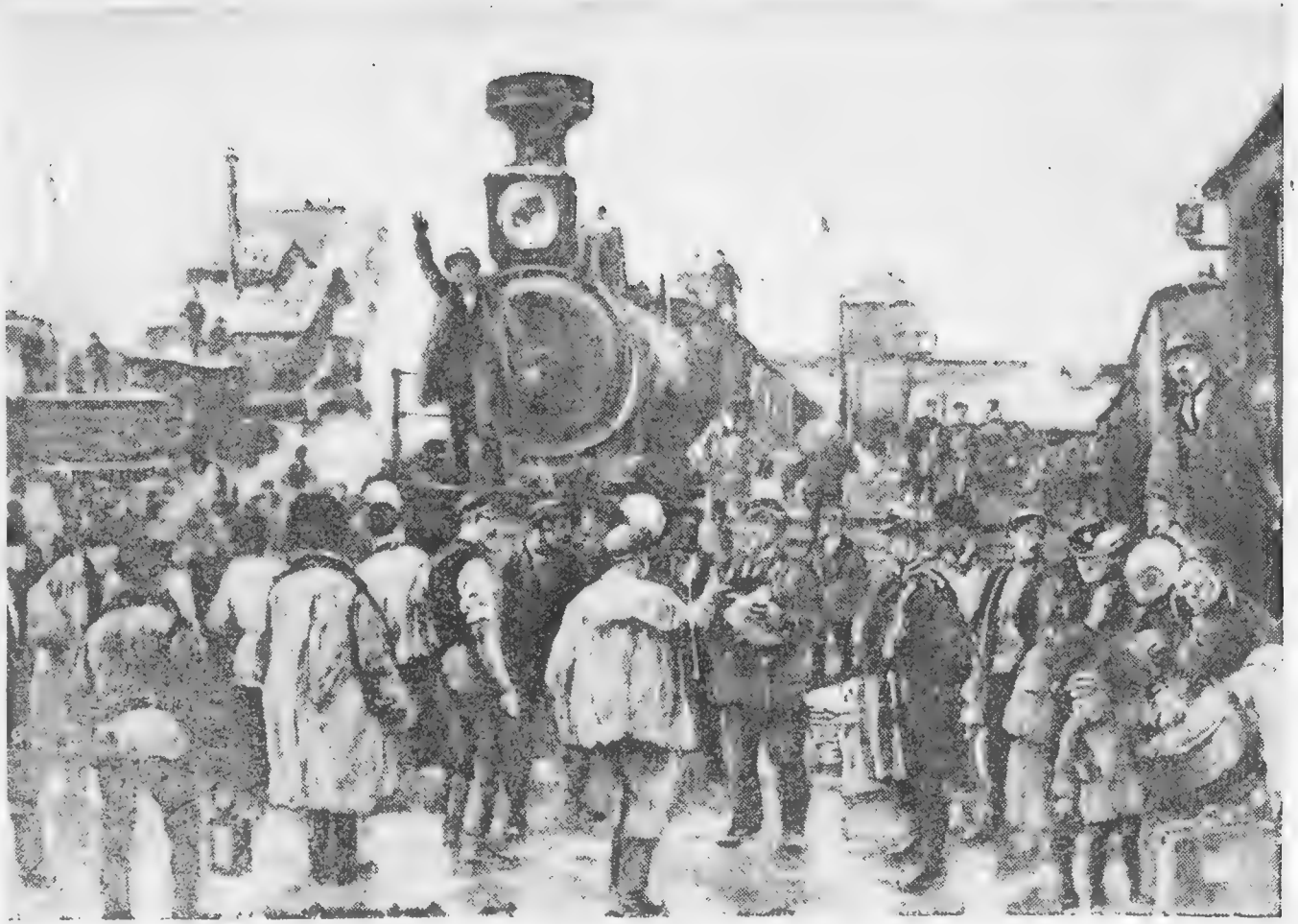
Между тем всеобщая забастовка, которой так боялся харьковский губернатор, неизбежно надвигалась на город.

В первых числах октября началась забастовка в Харьковских ж.-д. мастерских. Затем забастовали городская конка, заводы Мельгозе, Гельферих-Саде и ХПЗ.

9 октября вечером получилось известие о начавшейся всеобщей забастовке на Северных ж. д. Известие это было встречено с энтузиазмом. Днем 10 октября в Харькове забастовка стала всеобщей. Огромные массы рабочих, двигавшихся по Московской и Екатеринославской улицам в количестве не меньше 10 000—15 000 чел., собрались на Ващенковской леваде. В это самое время известная часть буржуазии весело проводила время в ресторанах таких гостиниц, о которых газетные об'явления гласили следующее: «Ежедневно играет музыка румынского оркестра Жана Гюлеско; устрицы из Крыма; провизия из столиц и из-за границы; лучшие заграничные бордосские и рейнские вина; старший повар из Петербурга».

ЗАБАСТОВЩИКИ

Я запоздал на этот митинг. В зале Народного дома на рабочем собрании я слышал своеобразный спор:



Железнодорожная забастовка в 1905 г. (С картины худ. Савицкого)

— Что вы хвастаете? — упрекал один рабочий делегат с забастовавшего завода другого. — Неделю, как бастуете... Эка невидаль! Вот мы больше месяца бастуем и не идем ни на какие уступки хозяевам. Вот тут надо уметь влиять на массы... Голодаем, да держимся. Вчера, например, получаем известие: «Зовет вас всех делегатов правление в город на переговоры». Ну, мы пошли. Затягивает, вижу, переговоры директор. И так норовит нас облапошить и этак. Да врешь, мы сами — народ дошлый, нас на сивом коне не об'едешь. Однако смотрю, уже полночь. Поздно. Надо нам, говорю, по домам, господин директор.

— Так не согласны на мои условия? — спрашивает директор.

— Нет, — отвечаем, — господин директор, как можно! Пока всех наших требований не удовлетворите, мы не согласны.

— Ну, так помните, — говорит, — каяться будете! — Хлопнул дверью и ушел.

Вот вышли и мы из конторы. Идем. Темень стоит. Грязь, и ни души не видно. Идем мы переулками. Вдруг видим, навстречу нам целая орава.

— Лупи их! — слышим. — Бей их, забастовщиков проклятых! Дуй под девятую микитку, сметье это!

Ну и зачали нас сандалить почем зря.

«Плохо, — говорю, — товарищи. Правление завода раклов подкупило, а то и настоящую черную сотню. Текать надо». Ну, и бросились мы наутек. Так бежали, что пятки у нас в темноте сверкали. Вот,—говорю я теперь на собрании,—какую муку мученическую терпим мы за общее дело. Целый день в правлении завода просидели. Без маковой росинки во рту. Душу вымотал директор разговорами да подходами. А потом эта самая черная сотня нас утюжила, мочалила... Досадно им, толстопузым, что мы твердо держимся. «Постоим, говорю, товарищи, еще недельку-другую. Пойдет правление на уступки»...

— Постоим! Постоим! — кричат. — Держись до конца! Не сдавайся!

ВАЩЕНКОВСКАЯ ЛЕВАДА

Ващенковская левада казалась вся красная от множества красных знамен, возвышавшихся над наскоро из досок, бочек и тому подобного материала сооруженными трибунами. Ораторы-большевики призывали к бойкоту Государственной думы, вооруженному восстанию и полному низвержению самодержавия. Толпа издали гудела, как огромный улей. Еще

не доходя до левады, на одной из прилегавших улиц я заметил несколько роскошных экипажей. Нарядно одетые дамы, сидя в колясках, издали рассматривали интересное, редкое для них зрелище.

Не доходя еще до митинга, я заметил большое движение в толпе. Из нее раздались крики:

— В город, товарищи! В город! Докажем нашу силу! — И толпа, зашевелившись, как одно целое, проникнутое одной мыслью, ринулась мне навстречу. Оказавшись впереди толпы, увлекаемый общим настроением, я направился вместе с другими в город. Оглянувшись, я увидел облако пыли, поднимавшейся над толпой от множества бегущих ног и золотившейся в последних отблесках гаснувшего заката.

— Солдаты! Солдаты! — вдруг крикнули передовые.

Тотчас в толпе раздались крики, рев, в котором выражались ненависть, жажда мщения, накопленная веками, жажда схватки, борьбы. Лицо бежавшего рядом со мной огромного кузнеца исказилось злобой. Он бросился к забору и начал выламывать огромный кол. Его примеру последовали многие, вооружаясь досками, палками, камнями. Могучий крик толпы, призыв к борьбе, раздавшийся в ее среде, был услышан, очевидно, солдатами. Их охватил ужас. Они быстро повернули лошадей и поскакали обратно. Между тем, пока мы с кузнецом выламывали колья из забора, революционная толпа проникла на Екатеринославскую ул. и Николаевскую площадь и сбила замки с оружейного магазина Тарнопольского. Оружие тотчас было разобрано. Солдаты между тем, доскакав до Университетской горки и получив подмогу, вернулись и открыли огонь вдоль всей Екатеринославской ул. Началась трескотня выстрелов. Толпа в панике разбегалась. Тем временем густели сумерки, спустилась ночь. В темноте толпа окончательно рассеялась. Вследствие столкновения с обеих сторон в этот вечер насчитывались тяжело и легко раненые. На Екатеринославской ул. лежали в виде остатков сооружавшейся впопыхах баррикады сброшенные с рельсов, перевернутые вагоны конки, из-за которых товарищи, получившие оружие, пробовали отстреливаться.

«НА БАРРИКАДЫ!»

На другой день, 11 октября, с утра левада перед ХПЗ представляла собой то же зрелище, что накануне наблюдалось на Ващенковской леваде. Большая лужайка перед заводом кишела народом. Она поражала еще большим количеством красных замен. Ораторы с утра кидали в толпу лозунг свержения самодержавия. Революционное настроение и возбуждение

толпы росли. После полудня разнесся слух, что в городе у Университетской горки начали строить баррикады.

— В город, товарищи! — услышал я крики. — На баррикады!

Толпа подхватила меня, и я был увлечен ее непрерывным движением.

— Наум! Наум! — услышал я знакомый голос.

Это была Танюша *, которую я встречал в Одессе и которая в Харькове называлась Лиза Большая.

Тов. Лиза Большая работала в Харькове пропагандисткой. Мы пошли вместе. Дорогою к нам присоединилась толпа работниц из пригородного канатного завода.

— Что это такое? Куда это все идут такой толпой? — обратились они к Лизе Большой с расспросами.

Лиза Большая, остановив меня, тотчас начала их агитировать.

Впереди между тем с Биржевой площади черносотенная демонстрация пыталась было отрезать путь толпе к баррикадам. Но она была быстро рассеяна нашими боевыми дружинами. Ее предводитель, купец Леонтьев, несший черносотенное знамя, был убит.

На Павловской площади подошедшие рабочие соединились со студентами, с утра начавшими постройку баррикад. Часть рабочих тотчас тоже начала сооружать их. Другая часть разграбила оружейные магазины «Спорт» на Николаевской площади и «Охота» на Московской ул.

Когда я вместе с Лизой Большой подошел к университету, я увидел в числе студентов и настоящих рабочих, которые валили телеграфные столбы, разбирали мостовую, рыли рвы, сооружали баррикады.

Как на Павловской площади, так и на Университетской ул. мостовая и тротуары были усеяны множеством каких-то бумаг, делами судебного и полицейского характера из архива губернского правления и т. п.

Мне бросилось в глаза, что большинство привалившихся с митинга рабочих не отдавало себе полного отчета в том, что сейчас происходит. Подойдя к баррикадам, они задавали рывшим окопы и насыпавшим земляные валы один и тот же вопрос:

— Что это такое? Для чего вы яму роете?

— Баррикаду строим, товарищи, сражаться будем.

Все говорило, что движение вырастало. На митингах ежедневно говорили о подготовке к вооруженному восстанию,

---

* См. «Пролетарскую революцию», 1905 г., № 6, «Переписка т. Ленина и т. Крупской с одесской организацией», стр. 15 и 21.

о необходимости, наконец, восстать, о баррикадах, на которых сражались рабочие парижских предместий во время Великой французской революции. Этот лозунг «вооруженного восстания», брошенный нашей партией в лице т. Ленина, повторяемый ежедневно на митингах, массовках, в кружках, встречавшийся в прокламациях, в газетных статьях подпольных изданий, являлся, что называется, психологической подготовкой.

Как в 90-е годы, когда после призыва партии к забастовкам последние вспыхивали, как это имело место в 1896 г. в Питере, стихийно, так и в 1905 г. после призыва партии к вооруженному восстанию началось восстание на броненосце «Потемкин», так же стихийно начали студенты 11 октября 1905 г. строить баррикады, и так же рабочие начали примыкать к ним. Главные баррикады превышали человеческий рост. Забаррикадированными оказались Соборная площадь, Университетская улица, собор и старое здание присутственных мест. На высокой колокольне собора развевался красный флаг.

Как только началась постройка баррикад, губернатор Старынкевич об'явил военное положение. Власть перешла в руки генерала Мау.

Незаметно было никого, кто бы приказывал на баррикадах. Никто никем не командовал. Не видно было распоряжающихся. Толпы рабочих, валивших из заводских районов, потолкавшись, преспокойно расходились по домам. Задерживался лишь тот, кто проявлял особенную активность, кому удавалось получить лопату, лом, топор или кирку, появлявшиеся неизвестно откуда. Нигде не было видно ни пеших, ни конных воинских частей, ни казаков, ни полиции. Последняя, напуганная движением, сильным отпором, который дали революционные боевые дружины черносотенцам, пытавшимся выступить на улицу, бесследно исчезла. Войска или сами разошлись по казармам или были уведены заблаговременно, как ненадежные, из опасения, что они окончательно разложатся.

Я шел всю дорогу с Лизой Большой. Она происходила из мелкобуржуазной семьи. Высланная в 1902 г. за участие в студенческом движении из Петербурга в Саратов, она вступила в искровскую организацию. Очутившись за границей, она еще до раскола на II с'езде нашей партии познакомилась в Париже с т. Лениным, а позднее с Н. К. Крупской и после раскола примкнула к большевикам. Посланная партией в Одессу, она работала там в подполье под кличкой «Танюша»

или «Таня». В Харькове она продолжала работать в организации под именем Лизы Большой.

— Наум, — сказала она мне, — знаете, я замерзла и проголодалась. Утром, когда я вышла на улицу, было так тепло. Я, не собираясь ночевать на улице, оделась сравнительно легко. Может, проводите меня домой? Я пообедаю и переоденусь потеплее. Здесь пока все равно делать нечего. Баррикады еще недостроены, и мы успеем сюда вернуться.

Вспомнив, что я забыл у т. Лизы Большой мой браунинг, который теперь мог понадобиться, и из тех же соображений, что баррикады еще недостроены, я пошел с ней вместе в Петровский пер., где она жила. Такое наивное отношение к стихийно выросшим баррикадам, выстроенным по брошюрке т. Северцева, проявили многие товарищи, которые, как и мы, успели сбегать домой пообедать и одеться потеплее на ночь, которая обещала быть холодной.

Через часа полтора-два мы собрались в обратный путь на баррикады. Сумерки уже давно надвинулись, когда мы шли по пустынным улицам. Попрежнему нигде не видно было ни полиции, ни казаков, ни солдат. Улицы казались пустыми, вымершими. Только ракло прятались в укромных уголках с целью использовать благоприятный момент для грабежа прохожих.

Было уже совсем темно, когда мы с Лизой подошли к баррикаде со стороны собора. Там, где еще недавно виднелась лишь ровная гладь мостовой из булыжника, теперь дорогу преграждали ров и вал из ящиков, засыпанных землей, из камней, кирпичей, наваленных кучей, из досок, из мебели, из дров — из всего, что попало под руку, что лежало по соседству под открытым небом или в помещении университета. На углу баррикады, превышавшей человеческий рост, я заметил развевавшееся красное знамя.

— Стой! Кто идет? — раздался громкий окрик, когда мы подошли к мостику из досок, соединявшему территорию защитников баррикад с внешним миром.

— Это мы! Это я с Наумом! — ответила Лиза. — Что, не узнаете нас, товарищ Алексей?

Это был т. Иванов, Сергей Петрович, «Интендант».

— Ах, чорт возьми! Это вы? — проговорил т. Алексей.— А я стрелять приготовился. Ну, идите. Пропущу вас и так. Хотя не имею права. Пропускать велено только по паролю. Идите. Кстати, т. Наум, вас разыскивали товарищи.

— Тов. Наум, как хорошо, что вы хоть, наконец, пришли! — восклицал тов. Сальников. — Баррикады построили, а никого из большевистского комитета на них нет. Идите

скорее: меньшевики подняли вопрос об образовании «Комитета борьбы». Как досадно, что тов. Пал Палыча нет.

— Как, Пал Палыча нет! — вскричала тов. Лиза. — Я немедленно пойду его разыщу и приведу сюда.

С этими словами она ушла разыскивать тов. Авилова.

Мы проходили по Университетской улице и около собора, где был сооружен двойной ряд баррикадных заграждений. Как комнаты университетских зданий, так и двор, образовавшийся в пространстве между десятью баррикадами, были заполнены разнообразной, кишевшей, как муравейник, толпой. Среди этой толпы вооруженных защитников баррикад насчитывалось сравнительно мало. Большинство присутствовавших принадлежало к интеллигенции. Вооружены были эти товарищи из рук вон плохо оружием, взятым из оружейных разбитых в этот же день и накануне магазинов Тарнопольского, «Спорт» и «Охота». Солдатских винтовок почти совсем не замечалось. Кое у кого можно было видеть изредка охотничьи винтовки. Большинство же борцов было вооружено дробовиками, охотничьими ружьями и даже монтекристо, годными лишь для охоты на дичь и для забавы, но не для боя с превосходно вооруженным врагом. Но почти все члены боевых дружин вооружились револьверами и в том числе браунингами и наганами.

— Наум, Наум, товарищ Наум! — услышал я крик товарищей, защищавших баррикады. — Посмотрите, чем мы вооружены. Вы возбудите непременно вопрос о вооружении. Мы будет держаться, но, признаться, с таким оружием будет нам трудновато...

— Придется, видимо, сражаться не оружием, которого у нас нет и которое большинство из нас еще не научилось держать в руках, а одним мужеством, которого у нас хоть отбавляй, и революционным духом, — заявил «Интендант», т. Алексей.

Раздавшийся внезапно выстрел рядом со мной заставил говорившего товарища и меня вздрогнуть, насторожиться. Толпа на баррикадах заволновалась.

— Что, началось? — раздались крики. — Войска подошли? Сейчас начнется бой?

Я поднялся на баррикаду. Ничего не было видно. Улицы, площади — все попрежнему было пустынно. Не видно было ни войска, ни казаков, ни полиции. Но в ту же минуту пронесся грохот от другого выстрела. Появились санитары, уносившие раненого.

Среди толпы, наполнявшей пространство между баррикадами, началась паника, но вскоре все успокоилось. Об'ясне-

ния я получил из слов говорившего со мной дружинника тов. Дубровина.

— Видите, товарищ Наум, как обстоит дело. Еще солдат и в помине нет, никто не открывал против нас враждебных действий, а мы уже и стреляем и тратим попусту заряды, которых у нас мало; и не только это — как вы видели сами, мы раним друг друга еще до появления врага. Все происходит потому, что мы и вооружены из рук вон плохо и не умеем стрелять, обращаться с огнестрельным оружием. Я повторяю: войск еще нет, а мы потратили уже порядочно зарядов, которые надо беречь, и имеем уже и раненых. На перевязочном пункте уже кипит работа. Хорошо, что много студентов-медиков среди публики.

Действительно, на перевязочном пункте работа, как только-что сказал тов. Дубровин, кипела. Студенты и курсистки приготовляли бинты и перевязывали нескольких товарищей, раненых вследствие неумелого обращения с оружием.

Когда открылось первое заседание «Комитета борьбы», я взял слово и обрисовал впечатление, полученное мною от обхода баррикад. Баррикады, видимо, построены удовлетворительно, даже хорошо, но вот беда: нет оружия. Меня смущает во всем этом одно обстоятельство, что во время революций в Западной Европе восставшему народу удавалось взять не только магазины с охотничьим оружием, но и арсеналы, и вооружиться более основательно, чем мы наблюдаем это теперь в 1905 г. в Харькове.

— Я говорю, — добавил я, — не по собственной инициативе, а по поручению товарищей-боевиков, защищающих баррикады.

Мне ответил меньшевик Рогачевский, превосходный оратор, игравший на баррикадах одну из первых ролей. Его речь, неожиданная в устах меньшевика, сводилась к следующему:

Он соглашался, что мы плохо вооружены, но он предлагал не особенно смущаться этим. В городе, по его словам, одновременно с образованием здесь, на баррикадах, «Комитета борьбы» образовался еще «Комитет общественной безопасности» из представителей радикальной буржуазии, или, вернее, интеллигенции, как профессор Гредескул, присяжный поверенный Шидловский, проф. Рейнграт. «Комитет общественной безопасности» ведет переговоры с губернатором Старынкевичем об образовании так называемой «народной милиции». Отряды этой вооруженной милиции уже ходят по городу, по окраинам, по рабочим кварталам по преимуществу. Цель «Комитета борьбы» — посредством этой милиции, входящей в постоянный контакт с рабочими, вызвать более

широкое движение, вызвать у рабочих стремление подражать нам. Поэтому, несмотря на то, что у защитников баррикад мало оружия и плохое оружие, он предлагал не особенно смущаться этим, а остаться, несмотря ни на что, на баррикадах. Заканчивая речь, он выразил уверенность, что народ, создавший эти баррикады без нашего участия, без наших указаний, без нашего вмешательства, также покроет баррикадами рабочие кварталы и сумеет достать оружие.

Слово затем взял тов. Б. В. Авилов.

Он заявил, что большевики, конечно, приветствуют решение остаться на баррикадах и защищать их. Большевики останутся на баррикадах и уйдут с них, конечно, только последними. Он, со своей стороны, находил, что на баррикадах нужно остаться, несмотря на необходимость вступить в бой с превосходно вооруженными силами генерала Мау, к которому перешла власть. По его мнению, настроение рабочих масс настолько было благоприятно для восстания, что оно, это настроение, передалось бы непременно войскам, которые всегда деморализуются при близком соприкосновении на баррикадах с рабочими, их братьями. В таком случае не исключена возможность победы над самодержавием и торжества революции.

С обычной своей сухостью, желчностью и ядовитостью, когда он говорил с меньшевиками, которых он презирал, тов. Авилов подчеркнул, что решение остаться на баррикадах не исключает возможности для восставших умереть, защищая баррикады. Он указывал, что защитники баррикад в революционных битвах не сдают последних, а побеждают или умирают на них.

После этого было принято решение предложить большинству присутствующих, как не владевшему оружием и потому не могущему быть использованным в роли защитников баррикад, среди которых нашлось много женщин, оставить баррикады. Затем 13 голосами против 9 меньшевики провели избрание в коменданты баррикад радикально настроенного студента, симпатизировавшего больше меньшевикам, бывшего артиллерийского офицера и таким образом знакомого с военным делом, Николая (Пальчевского). Избрание комендантом баррикад, проведенное затем общим собранием защитников баррикад, меньшевика Пальчевского явилось доказательством, что как среди «Комитета борьбы», так и среди боевиков большинство, приблизительно как 13 : 9, принадлежало меньшевикам. Данное голосование было очень показательным, ибо говорило о соотношении сил борющихся фракций среди революционеров-марксистов в Харькове. Нельзя забывать, что на баррикадах собрались лучшие силы, цвет

партийной и студенческой молодежи. Это же соотношение сил предопределяло дальнейший исход борьбы. Таким образом храм науки, университет, революция превратила в свою крепость, на которой в течение дня перебывало до 10 000 чел. К вечеру число защитников уменьшилось до 2 000 чел. К ночи их осталось несколько сот. Вооруженных насчитывалось приблизительно 700 чел.

Еще вечером студенты, стоявшие во главе отрядов народной милиции, приходили в «Комитет борьбы» встревоженные и рассказывали, что на Екатеринославской и Старо-Московской улицах они подверглись обстрелу со стороны правительственных войск и что в их среде насчитываются уже убитые и раненые.

Закончив свое дежурство после длительных заседаний в «Комитете борьбы», я завалился прямо на полу в одной из аудиторий университета. Утомленный за день интенсивной революционной работой, я тотчас заснул мертвым сном. Глубокой ночью я был разбужен, с одной стороны, ярким светом, а с другой — необычайным шествием по комнатам. Впереди шло несколько товарищей с факелами и кричали:

— Осторожней! Бомбы несем, динамит!

Вслед за ними на восьми-десяти больших подносах, проявляя величайшую осторожность и также крича: «Осторожней! Бомбы несем!» около трех десятков товарищей несли черные предметы, имевшие круглую форму.

«Очень хорошо, — думал я, снова укладываясь на пол и засыпая. — Значит, есть динамит; значит, есть чем защищаться».

На самом деле, как я полагаю, это была одна из военных хитростей, придуманная на этот раз комендантом Пальчевским или кем-либо другим. Только на основании ее могло явиться у военного начальства ни на чем не основанное представление, что у защитников баррикад так много динамита, что ими якобы даже были минированы подступы к баррикадам.

Рано утром, когда чуть брезжил рассвет, меня с большим трудом разбудили товарищи.

— Наум! Наум! Наум! — кричали мне, тряся меня за руки и ноги. — Вставайте же, чорт вас возьми! Ах, как он безобразно крепко спит!

— Идите на заседание «Комитета борьбы» * по срочному и важному вопросу.

---

* В «Комитет борьбы» вошли представители большевиков, меньшевиков, эсеров и студентов, инициаторов создания баррикад. Эсеры голосовали всегда с большевиками, студенты — с меньшевиками.

Заседание открыл тов. Львов-Рогачевский. Он имел вид человека, не сомкнувшего глаз за всю ночь, осунувшегося, встревоженного. Я удержал в памяти, несмотря на протекшие годы, как первую, так и эту вторую его речь. Он говорил, что положение дел за ночь изменилось до неузнаваемости. Баррикады, как доносила наша разведка, оказались с 4 часов утра обложены со всех сторон войсками. Если оставаться еще дольше на баррикадах, войска вскоре перейдут в наступление. Придется тогда дать бой. Но, оказывается, это невозможно. У нас нет совершенно оружия. Большинство борцов вооружено лишь охотничьими ружьями и монтекристо, с которыми нет возможности выступить против превосходных сил правительства. Единственным исходом остается сдаться на так называемых «почетных условиях», на которые соглашается военное начальство. Посредником между военным начальством и защитниками баррикад берется быть «Комитет общественной безопасности», заседающий в «Медицинском обществе», с которым разведка меньшевиков держала связь.

Против сдачи баррикад от лица большевиков резко и решительно выступил тов. Авилов. Он выразил удивление, что меньшевики так быстро изменили решению, принятому не позже чем вчера вечером. Он указывал, что и риск и опасность от вооруженного столкновения с войсками вчера вечером были не меньше, чем сегодня утром. Меньшевики, очевидно, надеялись, что за ночь баррикады покроют весь город, и тогда это стихийное движение позволит им победить, не прибегая к бою с войсками. Это — ошибка. Всякое стихийное движение большинства не обходится без активного воздействия меньшинства. Никогда революционный под'ем и настроение масс не были так благоприятны для восстания, как теперь. Это настроение не может не передаться солдатам. Не исключена возможность, что солдаты перейдут на нашу сторону. Поэтому нельзя оставлять баррикады, не дав боя. И вообще, поскольку мы вступили на баррикады, построенные народом, позорно оставлять их без боя. Защитники баррикад не свертывают поднятое на них красное знамя рабочего класса. Они или побеждают в бою или умирают героями. Тем более, что это не будет победой самодержавия. Это будет скорее Пиррова победа. Известие о баррикадном сражении в Харькове при таком высоко революционном настроении страны будет лишь сигналом к всеобщему восстанию. Поэтому тов. Авилов предлагал не сдавать без боя баррикад, а, наоборот, дать сражение и или победить или умереть.

Вопрос был поставлен на голосование. Большевики и эсе-

ры голосовали единогласно за продолжение борьбы, меньшевики и представители группы студентов — за сдачу.

— Но это не последнее слово, — возразил тов. Авилов. — Если «Комитет борьбы» голосовал за сдачу, это не значит, что защитники баррикад согласятся с таким решением вопроса. За ними последнее слово.

Но узнав, что «Комитет борьбы» высказался большинством голосов за сдачу баррикад на почетных условиях, меньшевистское студенческое большинство дружинников голосовало тоже за сдачу.

Еще до постановки вопроса на голосование я обошел баррикады, желая узнать настроение бойцов. Совсем недалеко от баррикад и совсем близко от наших часовых я увидел серую линию солдат. Не только видны были их лица, — слышна была их речь. Утро было очень зябкое. Холодная сырость заставляла дрожать защитников баррикад и солдат. Вдруг серая стена последних зашевелилась, раздалась. Через образовавшийся проход показался поп. Чтобы попасть в собор, ему необходимо было пройти через баррикады. Медленно приближался он к нашему часовому, тов. Дубровину. Взоры солдат впились в последнего. Все они с любопытством ждали, что он скажет и что он будет делать.

— Стой! — крикнул тот и тотчас взял ружье на прицел.— Назад! Куда прешь, жеребячья порода?

Веселый хохот раздался среди солдат при виде, как засеменил ногами перетрусивший поп, путаясь в длиннополой рясе.

— Здорово ты его, — поощряли Дубровина солдаты. — Жигани его еще долгогривого...

— Беги скорее, лампадное масло, спрячься под юбку у своей попадьи! У-лю лю! Жеребячья порода! Стрелять буду! — кричал тов. Дубровин.

— Ха-ха-ха! — раздавался здоровый хохот среди солдат, пока, наконец, смешная фигура перетрусившего попа не скрылась за стеной солдат.

Что-то начинало уже связывать невидимыми нитями серую солдатскую массу с революционными часовыми, со всем народом, собиравшимся за баррикадами. В сцене с попом, которая только-что разыглалась, проявилось своеобразное братание.

Самое опасное для старой власти во время гражданской войны — оставлять бездействующими войска поблизости от восставших. Такую ошибку совершило военное командова-

ние в октябре и ноябре в Харькове. Ее допустили адмиралы Вишневецкий и Кригер на одесском рейде, дав возможность приблизиться революционному броненосцу к кораблям их эскадры.

В то же время, когда происходила эта сцена с попом, с другой стороны с крыши здания университета наши товарищи разбрасывали кипами отпечатанные за ночь прокламации в солдатскую среду, видневшуюся внизу, прямо под стеной.

Дальше за рядами войск виднелись широкие массы народа, которые, чем дальше шло время, тем больше увеличивались. Эта стена народа, находившаяся совсем близко от солдат, своим откровенным сочувствием восставшим и прямой агитацией, несомненно, разлагающе действовала на солдат.

Меньшевиков, оказавшихся в большинстве на баррикадах, губил метод, пригодный для проведения выборных кампаний и в лучшем случае для проведени забастовок, а никак не для использования наивысшего под'ема революционного настроения и энтузиазма, которые возникают в массах стихийно, использовать которые должны быть готовы революционеры и которые нельзя искусственно создать в любой момент. Самое опасное во время революции для революционеров—пропустить этот момент. Это как раз делали меньшевики, пользуясь тем, что за ними в октябре 1905 г. было большинство, что в Харькове организационно массы шли еще за ними.

После сырой, холодной ночи утром засияло солнце. На заводах один за другим загудели гудки. Ветер доносил звуки набата. Толпы народа, как мы после узнали, валили к Павловской и Николаевской площадям, к местности, где забаррикадировались восставшие.

Время-от-времени на пространстве между двумя баррикадами выступали перед защитниками баррикад члены «Комимитета борьбы». Меньшевики обладали на баррикадах своими крупными силами, как интеллигенты Львов-Рогачевский, Поддубный и, наконец, некто Виктор из ж.-д. района. Тов. Артема не было на баррикадах. Он находился в это время далеко, в Петербурге, куда уехал на партийную конференцию по вопросу о бойкоте Государственной думы.

Часам к одиннадцати 12 октября 1905 г. в «Комитет борьбы» явился представитель «Комитета общественной безопасности», если не ошибаюсь — присяжный поверенный Шидловский, с цилиндром на голове. Этот Шидловский,

являвшийся на баррикадах с раннего утра несколько раз, пока переговоры о сдаче баррикад не были закончены, влиял в отрицательном смысле на меньшевистских интеллигентов. К часу дня «Комитет общественной безопасности» явился в полном составе на баррикады и убедил окончательно меньшевиков в необходимости сдаться военным властям на «почетных условиях».

Согласно только-что принятому большинством голосов защитников баррикад решению была избрана особая комиссия по переговорам о сдаче баррикад «на почетных условиях», на которые, по сообщению представителя «Комитета общественной безопасности», выразил полное согласие командующий войсками в Харькове генерал Мау.

В делегации со стороны защитников баррикад участвовали Николай, комендант, эсер (кажется), Сазонов и я. Полковник, посланный от командующего войсками генерала Мау, согласился на пропуск нас с баррикад «на почетных условиях» (без внешнего оружия), что давало полную возможность унести в карманах браунинги, маузеры и т. д., и с правом притти на митинг на Скобелевскую площадь. В виде гарантии, что по выходе из баррикад со стороны войск на нас не будет сделано нападение, нам был обещан пропуск до Скобелевской площади под охраной отряда драгун с комендантом города во главе. В числе главных условий было то, что никто из нас не арестовывается.

— Мне поручено получить от вас указания, где у вас заложены мины и фугасы, — сказал полковник.

— Что касается мин и фугасов,— важно ответил тов. Пальчевский,—то мы обещаем сами к моменту выхода с баррикад совершенно ликвидировать их. Поэтому нет надобности вам указывать местонахождение их.

Вскоре началась сдача баррикад. Защитники их, даже голосовавшие за сдачу их, уходя после проведенной на них ночи, кидали на них взгляд сожаления. Видно было, что они как бы уже сроднились с ними. Им уже жалко было расставаться с ними. Они как бы прощались с ними.

— Товарищ Наум, — обратился ко мне комендант, — в числе условий, на основании которых мы сдаем баррикады, есть требование, что в доказательство, что мы исполнили обещание и не унесли с собой винтовки, последние должны быть непременно сложены на середине двора на видном месте. Позаботьтесь о том, чтобы это условие было на деле выполнено. Не забывайте, что невыполнение его может послужить предлогом для командующего войсками нарушить, в свою очередь, условия нашего выхода на Скобелевскую площадь «на почетных условиях».

Оглядев наскоро территорию баррикад, я удостоверился, что наши охотничьи дробовики, монтекристо и редкие военные и охотничьи винтовки заботливо уже сложены в кучу на мостовой перед зданием университета, из которого вылезали до этого где-то прятавшиеся сторожа университета в полной форме. Они нарядились, очевидно, для встречи начальства. Они бросали на меня недружелюбные, враждебные взгляды.

— Наум! Наум! — услышал я. Это кричал тов. Димка (Бассалыго). — Бросайте все и выходите сами скорее. Все уже готово; вас только ждем.

Взобравшись на баррикады, я, как и все, бросил последний прощальный взгляд на них. Я испытывал двойное чувство. Мне было досадно, что мы уходили с баррикад без боя.

«Раз взвилось над построенными народом баррикадами красное знамя, — думал я, — оно не должно свертываться перед врагами... Лишь после боя и, быть может, долгого боя, над мертвыми уже их и защитниками победивший враг срывает его и топчет ногами. Или после победы революции оно взвивается высоко-высоко над всем городом. Всем видно это красное знамя, и чувство гордости наполняет сердца борцов...»

Не то теперь: мы оставляем баррикады без боя. Как жаль, что с нами на баррикадах не было тов. Артема. Его страстная, задушевная речь в соединении с едким сарказмом и сухими логическими доводами тов. Авилова, может быть, заставила бы сердца борцов воспылать жаждой последнего, смертного боя с многочисленным врагом.

Я испытывал досаду, что мне не удалось сложить своей головы в этом бою.

С другой стороны, мною овладевала чисто животная радость от сознания, что я жив, что я испытываю дуновение свежего ветерка, что я слышу звуки жизни, что все кончается так благополучно.

Внизу, куда я спустился, уже стояли товарищи, выстроившиеся в ряды по-военному. За двумя цепями пехоты, сейчас же за солдатами, совсем близко от них, с правой и с левой стороны, шумела и волновалась несметная толпа народа. Слышались крики:

— Да здравствуют защитники баррикад! Да здравствует революция! Привет защитникам баррикад!

Военное начальство, видимо, нервничало и торопилось нас скорее сплавить. Наконец раздались слова команды. Мы двинулись, окруженные со всех сторон отрядом драгун, с офи-

цером во главе, на Скобелевскую площадь. Передовые рабочие и студенты, бывшие в толпе, тотчас запели:

«Дружно, товарищи, в ногу.
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе».

Тотчас саперы, не исполнив данного нам обещания не занимать в течение получаса баррикад, по приказу военного начальника заняли их.

У самой Скобелевской плащади драгуны оставили нас, повернув обратно. С наскоро сооруженной высокой трибуны нас приветствовал рабочий паровозного завода, ныне здравствующий т. Егоров, произнесший короткую приветственную речь. За ним вошел на трибуну Львов-Рогачевский.

— У нас,—говорил он,—не было возможности дать бой, победить самодержавное правительство на баррикадах. У правительства не нашлось сил нас раздавить, взять в плен. Мы вышли с баррикад на почетных условиях, фактически победителями. Мы вышли с оружием в руках для борьбы, которая еще не закончена. Вы, вижу я, плачете от радости. У меня тоже слезы на глазах. Красное знамя свернулось сегодня в виду того, что восставший народ еще недостаточно силен. Завтра он уже окажется победителем, и тогда оно взовьется над всем городом.

Уже темнело, когда он оканчивал свою речь. Площадь редела. Народа на ней почти не было.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОХОРОНЫ

Хотя новым генерал-губернатором Сенницким было оставлено в силе на другой же день после сдачи баррикад, т.-е. 13 октября, военное положение, но рост революционного настроения по всей стране, и в частности в Харькове, был настолько значителен, что правительство еще не чувствовало себя настолько окрепшим, чтобы запретить назначенные на 14 октября революционные похороны. Генерал-губернатор принужден был ограничиться лишь запрещением при похоронном шествии красных знамен и революционных плакатов.

Когда этот вопрос обсуждался на одном из митингов, эсер Забелин выступил с предложением притти на похороны не с красными знаменами, поскольку последние запрещены генерал-губернатором, а со знаменами другого цвета, хотя бы белыми или желтыми. Несмотря на все возражения, Забелин настаивал на своем. Он отказался лишь тогда от

своего требования выйти на похороны с белым или зеленым знаменем, когда пришедший на этот митинг эсер интеллигент Сазонов убедил его во вздорности и нелепости его предложения. Революционный суд в виду того, что Забелин был рабочим и не знал истории революционного движения, ограничился по отношению к нему строгим выговором.

Несмотря на попытки охранки сорвать эти революционные похороны с самого начала, когда один провокатор пробовал вызвать панику, сделав выстрел из револьвера, похороны, собравшие не менее 60 000 участников, прошли в строгом порядке. Они интересны, между прочим, и тем, что только во время них рабочие во всей своей массе в первый раз научились петь революционные гимны. Обнаружилось, что не только рабочие, но даже и интеллигенты, сочувствовавшие революции, за редким исключением, не знали революционных гимнов. Мне в числе других организаторов похорон пришлось поэтому бегать вдоль отдельных больших отрядов, на которые была разделена масса пришедших на похороны, писать на спинах товарищей слова революционных гимнов, затем напевать мотив и, после того как передовая часть этого отряда усваивала и начинала уже петь данную революционную песню, бежать дальше. Таким образом толпа выучивала сначала «Вы жертвою пали в борьбе роковой», затем и другие революционные гимны, кроме, конечно, «Интернационала», который еще не был известен в то время широкому кругу революционеров.

Не прошло и получаса, как по улицам, где проходило похоронное шествие, раздались торжественные напевы революционных песен. «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу» пела толпа. Слова революционных гимнов, что скоро проснется рабочий народ, что он явится мстителем суровым, что рабочий класс идет на кровавый, решительный бой против царя, капиталистов, помещиков и всех эксплоататоров, впервые вставали в сознании многих.

После этого революционная песня надолго вытеснила все остальные песни в рабочих кварталах. Вечерами на окраинах она неслась почти-что из каждого домика. Она плыла и звенела в воздухе, когда я поздно вечером проходил с кружка по Ивановке, Москалевке, Панасовке и по другим окраинам города.

Вместо запрещенных генерал-губернатором красных знамен на похоронах появились многочисленные венки с революционными надписями на множестве красных лент. Похороны на кладбище закончились революционным митингом.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Нельзя пройти молчанием замечавшееся осенью 1905 г. под несомненным влиянием роста рабочего движения революционное настроение среди харьковского студенчества. Резолюция, принятая студентами в Харьковском университете 12 сентября, между прочим, говорит: «Мы будем осуществлять в стенах университета элементы политической свободы: свободу организаций, свободу собраний, свободу слова в революционной борьбе. Мы будем стремиться сделать его центром политического воспитания не только студенчества, но и широких народных масс, путем свободного доступа последних на наши собрания».

Вообще лучшая часть интеллигенции во время революции 1905 г. была на стороне последней. Вместе с ней пришло на помощь революции искусство. Достаточно взглянуть на революционную сатиру 1905 г., посмотреть рисунки художников Грабовского, Чехонина, Серова, Гржебина, Билибина, Кустодиева, Добужинского, Лансере, Животовского, Кардовского, Герардова и других, помещенные в многочисленных сатирических журналах того времени, чтобы создать себе представление, какую могучую помощь оказывало искусство российской революции 1905 г.

Подавляющее большинство сочувствовавшей революционному рабочему движению интеллигенции придерживалось все-таки меньшевистской ориентации. Еще летом у меньшевиков насчитывалось 25 пропагандистских кружков, 3 заводских группы, 300 организованных рабочих, 8—10 профессионалов и богатая техника. Поражает малое количество профессионалов — всего только 10 человек, которые на такое большое число подпольных кружков жили на счет организации. Это говорит, что не менее как две трети кружков у них обслуживалось безвозмездно. Такое большое число кружков, которое осенью, в момент сильного под'ема движения, несомненно, возросло, говорит об умении, проявленном меньшевиками, организационно укреплять свою работу в массах. Меньшевики в Харькове сумели сохранить свое влияние на своих передовых рабочих, когда последние вслед за массами двинулись в сторону большевистских лозунгов. Меньшевистские вожди умели так влиять на своих рабочих, что последним трудно было разобраться: большевистский ли это лозунг или меньшевистский. Меньшевики на словах были за вооруженное восстание и за создание боевых дружин. Эти последние у них были вооружены не только не хуже, чем большевистские дружины, но очень часто и лучше. Но большое количество в них буржуазных сынков,

помогавших меньшевикам удерживать влияние на умы своих рабочих, сыграло свою отрицательную роль во всех военно-революционных выступлениях боевых дружин.

Что касается большевиков, то последние, завоевывая для большевистских лозунгов даже рабочих-меньшевиков, становившихся идеологически по многим вопросам на большевистскую точку зрения.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МИЛИЦИЯ

Военное положение, введенное в Харькове одновременно с об'явлением эры свобод 17 октября, не могло остановить роста революционного рабочего движения. Как могучий поток весной, оно срывало все плотины, которые пыталось ставить правительство революционному движению. Последнее пошло вширь и вглубь...

Рабочие, наковавшие себе пик, сами охраняли паровозное депо, ж.-д. склады, целые составы нагруженных товарами и застрявших из-за забастовки в пути вагонов. Когда случилась кража из нескольких вагонов ценных грузов, рабочие, оцепив целый квартал, где предполагали найти воров, производили обыски, пока не отыскали и не арестовали воров. Когда было выяснено, кто именно были воры, рабочие сами их безжалостно расстреляли *.

Постепенно выдвинулся вопрос о создании своего, революционного суда. По мере того как увеличивалось число боевиков и боевых дружин, все большую роль стал играть завод Гельферих-Саде как центр боевых дружин. Однажды я узнал, что там дружинники арестовали и держат под арестом с десяток ракло, воров и т. п.

С тех пор, как начались всеобщая забастовка и демонстрации, во время баррикад и после них значительно участились случаи грабежа и нападения на улицах. Люмпен-пролетариат, в виде жуликов, ракло, босяков, компрометировал пролетариат. Однажды среди белого дня, пройдя театр, в двух шагах от центра города я услышал женский крик о помощи.

— Ай, ай, ай! — кричала молодая, хорошо одетая женщина, принадлежавшая, по всем данным, к богатому классу. — Что же это такое? Среди бела дня настоящий грабеж! Ой, помогите! Караул! Караул!

---

* Заподозренных в краже рабочих подвергли устрашению. Между прочим сыграл не малую роль паровой молот, которым рабочие грозили ворам размозжить головы, если они не сознаются. Существовало известное послание харьковских воров рабочим, текст которого, к сожалению, мне неизвестен.

Я оглянулся. Хромой нищий, обыкновенно до забастовки смирно стоявший на углу улицы и выпрашивавший «Христа-ради», хладнокровно и молча изо всей силы вырывал у нее из рук сумку. Женщина визжала, кричила «караул», но крепко держалась за сумку.

— Отдай! — крикнул, наконец, он.

— Не отдам! Ракло! Жулик! Ах, боже мой, да помог бы кто!

В это время совершенно неожиданно со стороны Театральной площади показались два наших дружинника — один рабочий, другой студент.

— Ты что делаешь? — крикнул один из них на нищего.

— Как что? — ответил он. — А тебе что за дело? Проваливай, пока цел... Отчего ее не пошарпать? Она богатая, а я — нищий.

— Нет, брат, мы тебе грабить не позволим.

— А вы кто такие? — крикнул нагло и в тоже время трусливо нищий. — По какому праву вмешиваетесь?

— Мы—революционная милиция, — ответил товарищ.— Право вмешиваться в такие дела дала нам революция. Мы действуем от имени социал-демократической партии, которая как раз и борется против богатых, против капиталистов. Но бороться против господства капиталистов с целью установить такой порядок, когда не будет гнета капиталистов, не будет хозяев над бедняками-рабочими, это значит революция. Нападать на отдельных богачей на улицах с целью личного обогащения — это грабеж. Отдай ей сумку!

— А вам я, с своей стороны, советую дать ему на хлеб, сколько вы можете, — обратились они к женщине, отдавая ей сумку, отнятую ими от нищего.

— Я вам очень благодарна,—ответила с улыбкой спасенная от нищего барыня.—Я не знала, что революционеры могут быть так благородны.

— Простите, ваше благородь, — говорил, обращаясь к товарищам, получивший от барыни три рубля нищий. — На самом деле пошарпать хотел я мало-мало барыню-то. Помешали вы мне, но больше, накажи меня бог, уж не буду.

Оглядываясь, он заковылял и скрылся за углом. Его слова и весь его ответ доказывали, что он ничего не понял, что говорили ему товарищи.

Меньшевики-дружинники в течение нескольких дней во время баррикад продолжали ходить по улицам. При этом

передовые из них громко, на всю улицу, кричали:

— Идет народная милиция!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СУД

Арестованные на заводе Гельферих-Саде ракло с испитыми лицами покорно и понуро сидели на скамейке на дворе завода, около трибуны, на которой стоял оратор. Они просидели на заводе под охраной рабочих дружинников на хлебе и воде около двух суток. По очереди их вызывали к трибуне, над которой, по обыкновению, развевалось красное знамя и на которой стояли и меньшевики и эсеры. Председателем суда был избран эсер Корытин. По очереди ракло подходили к трибуне. Большевиков на этот митинг пришло мало.

— Что делать с ним? — спрашивал Корытин. — Они, ракло, грабят, нападают на улицах, похищают грузы из вагонов. Это дает повод правительству и буржуазии обвинять во всех этих грехах нас, рабочих, и вводить военное положение.

— Отпустить на первый раз, — подтверждала толпа предложенный Корытиным приговор. — Если же он попадется второй раз, выжечь на его лбу каленым железом слово «вор», в третий раз — расстрелять.

Одного за другим выводили дружинники ракло за ворота завода и, дав дружеский совет: «смотри, больше не попадайся!», отпускали на все четыре стороны. Таким образом были отпущены все арестованные воры. Кроме воров революционный суд судил и одного разоблаченного провокатора, агента охранки. После того, как охранник во всем сознался, отдал свою карточку охранки и обещал не вредить больше народу, его отпустили.

— Извиняюсь, — вдруг заявил высокий черный, с черными усами мужчина, обращаясь к председателю революционного суда Корытину. — Я заявляю протест. Я — императорский прокурор. Вы не имели никакого права захватить прерогативы законной власти, представителем которой я являюсь. Предупреждаю вас, что вы подлежите ответственности по следующим статьям. — И он начал перечислять статьи закона, на основании которых революционеров, стоявших на трибуне, нужно было загнать туда, куда, как известно, Макар телят не гоняет.

— Мели, Емеля, твоя неделя! — закричали на него из толпы. — Уходи, пока цел. Здесь революционный суд. Теперь революция. Понял?..

Сконфуженному царскому прокурору ничего не оставалось больше, как уйти.

ОДНА ИЗ НЕУДАВШИХСЯ ПРОВОКАЦИЙ ПОЛИЦИИ

С переходом в Городской район я переехал из железнодорожного района, с Панасовки, на Скобелевскую площадь. Пропагандистка Городского района Лиза Большая обратилась ко мне с просьбой, чтобы я дал ей кружок рабочих. В назначенный день, когда я должен был познакомить ее с членами кружка, она зашла ко мне заранее, чтобы побеседовать, как лучше вести в кружке работу.

Мы проговорили о судьбах революции, о рабочих, о методах пропаганды не менее чем часа полтора. Самовар, стоявший на столе, давно перестал напевать свою песенку и потухал. Уже стемнело. Хозяйка закрыла ставни. Я зажег стоявшую на столе маленькую, издававшую запах керосина лампу.

— Пора уже итти нам к рабочим,— сказала Лиза, посмотрев на часы. Я встал с намерением взять с вешалки и подать пальто Лизе. Вдруг среди мертвой тишины вечера раздался повелительный стук в дверь моей комнаты и чей-то нетерпеливый и в то же время властный голос сказал:

— Отворите! Отворите! Скорее отворите!

Лиза вопросительно взглянула на меня.

— Вот так так! — произнесла она. — Наверно, обыск. У вас ничего компрометирующего нет?

Осмотрев быстро комнату и убедившись, что ничего компрометирующего нас в глазах жандармов у меня нет, я открыл, наконец, дверь, в которую продолжали стучать и за которой продолжал раздаваться тот же голос, требовавший открыть дверь.

На пороге показался пристав в сопровождении вахмистра драгунского кавалерийского полка. Из-за их плеч с испуганным выражением лица выглядывала хозяйка.

Пораженный неожиданностью, я вопросительно смотрел на того и на другого.

«Почему драгун, вахмистр? — думал я. — Наверное, начались облавы в городе и жандармов уже нехватает».

— Это тот самый? — спросил пристав хозяйку, указывая на меня.

— Да, господин пристав, — ответила она. — Это мой квартирант.

— Так это тот самый рабочий, — обратился он к вахмистру, — который полчаса всего назад бросил камень в раз'езд?

Вахмистр, прежде чем ответить, долго и внимательно смотрел то на меня, то на Лизу. Последняя его явно смутила.

В простом, но городском платье, без платка на голове, который она должна была надеть, чтобы замаскироваться под работницу, в пенснэ она совершенно не походила на работницу.

На его открытом лице явно происходила борьба. Ему, видимо, было приказано сказать: «Да, это действительно тот самый рабочий, который всего минут сорок назад бросил в мой раз'езд камень». Но потухающий самовар, мирная домашняя обстановка, присутствие в комнате Лизы, с внешней стороны не похожей на работницу,—все это заставило его заколебаться. Как каждый солдат, он мог вспомнить свою деревню, дом, жену, детей. Он молчал...

— Ну, что ж ты ничего не говоришь? — резко спросил его пристав. — Говори, это тот самый рабочий, что бросил камень?

— Нет, ваше благородие, это не тот, это не рабочий: тот был выше ростом и тот был настоящий рабочий.

— А ты не ошибаешься? — с досадой в голосе спросил его пристав.

— Нет, ваше благородие, я уверен: тот был совсем другой человек.

— В таком случае извиняемся за беспокойство, — произнес с видимым сожалением пристав. Повернувшись, зазвенев шпорами, они ушли.

Только тогда мы пришли в себя.

— Что это такое, что это за история с камнем? — задала вопрос Лиза.

— Вы слышали сами, что дело идет о камне, брошенном в патруль всего полчаса назад. Между тем мы с вами сидим уже не менее чем часа полтора, если не два. Из этого ясно, что камень был брошен не мной. Тут или недоразумение или провокация, но неудавшаяся. Вахмистр оказался более честным, чем это нужно было для полиции. Вы заметили, как он колебался и смотрел то на меня, то на вас. В общем я уверен, что это ваше присутствие спасло меня он немедленного расстрела или жестокого избиения и тюрьмы.

В то время как в Харькове происходили события на баррикадах, когда с 10 по 13 октября всеобщая забастовка превращалась в восстание, опережая организации, когда толпа, отражая нападение казаков и полиции, брала приступом оружейные магазины Таранопольского, «Спорт» и «Охота» на Московской улице,—в это время в Петербурге 13 октября заседал Петербургский совет рабочих депутатов сначала под председательством меньшевика Ивана Зборовского, а затем беспартийного Хрусталева-Носаря.

«ОБИТАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА»

Начинающееся влияние рабочих на крестьян в 1905 г. осенью сказалась между прочим в том, что свою борьбу против помещиков, которая выливалась в Харьковской губ. в разгроме помещичьих имений, в пускании красного петуха, крестьяне называли «забастовкой».

Однажды, придя к т. Мерцалову вместе с Пал Палычем (Борисом Васильевичем Авиловым), мы застали там вернувшегося по амнистии бывшего народника Данилова, описанного Таном (Богоразом) в одном из его рассказов о г. Нижне-Пропадинске (Нижне-Калымск, Якутской области). Он описан там в виде энтузиаста-мечтателя.

На вопрос Пал Палыча, что он собирается делать, он ответил:

— В народ пойду, вот что буду делать. Пойду по деревням пропаганду пущать...

Еще до наступления морозов, надев на себя котомку, взяв в руки палку, он отправился по селам и деревням. При встрече с крестьянами он пытался вести среди них пропаганду. Первые его попытки, как он жаловался, не блистали удачей.

— Ваша это земля? — спрашивал он крестьян, указывая на помещичьи поля.

— Яка ж наша, — отвечали крестьяне со вздохом. — Оце помещичья. Кругом туточки земля помещичья.

— Неправильно это, — отвечал обыкновенно Данилов. — Не помещичья это земля, а божья. Разве воздух, которым мы дышим, помещичий? Разве вода, которую мы пьем из реки или из озера, помещичьи? Нет! И воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем, — божьи, общие, мирские. Земля тоже не помещичья, а божья и, значит, мирская, общая. Неправильно, не по-божьи владеют помещики землею. По-божьи, по правилу будет, если вы, крестьяне, возьмете себе землю-то.

— Да мы и то скилько раз собирались здесь у нас в деревне енту самую забастовку, як в Харькове, об'явить. Да вот сомнение берет нас. Кажуть, жиды это да безбожники на забастовки подбивают крещеный народ. Вот и вы — старый человек и хороший с виду, а вот не знаю я, чи крест-то у вас на груди есть, чи нет?

— Слушаю я его, — говорил Данилов, — и вспомнил, что креста-то как раз и нет у меня. А крестьянин видит, что я мнусь, и говорит мне:

— Нема, видно, у тебя святого креста. Иди от нас, старый человек, подобру поздорóву. Не верим мы тебе. Уходи, пока не связали.

После этой неудачи заказал себе Данилов чугунный крест величиной не менее четверти аршина. Навесив его себе на голой открытой груди, без шапки, босиком, он стал ходить по древням в любую погоду — не только в осеннюю слякоть, но и в снег и мороз, как он себя приучил еще в Сибири.

Но эта попытка играть на суеверном чувстве русского крестьянина не увенчалась для Данилова успехом. Ни крест, который он носил в самый сильный мороз на голой груди, ни обнаженная в мороз голова, ни совершенно босые ноги, которыми он поражал в трескучий мороз грубое воображение суеверных баб, не спасли его от ареста.

— Кто вы такой? — спрашивали его сначала в полиции, затем в тюрьме.

— Я — обитатель земного шара, — отвечал Данилов.

— Как ваша фамилия, имя, отчество? Какой вы национальности?

— Обитатель земного шара,—неизменно отвечал он на все вопросы.

Зимой в 20-градусный мороз я в 1906 г. видел его лично гуляющим по тюремному двору с вышеупомянутым крестом на голой груди, с непокрытой головой, с голыми ногами, на которых штаны были засучены до самых колен.

Несмотря на оригинальничанье, он своим подходом к крестьянам как бы доказывал, до чего мог докатиться народнический социализм. Игра на грубых и суеверных чувствах, культивирование веры в бога, отсутствие в его речах научных предпосылок, отсутствие указаний на борьбу пролетариата против буржуазии, при ограничении пропаганды лишь вопросом о земле, — все это говорило, что социализм народника Данилова мог быть лишь мелкобуржуазным социализмом.

БОЕВИКИ

Комендант Николай Сазанов (Пальчевский) по мере того как большевистские лозунги все более охватывали массы, после баррикад все более шел на сближение с большевиками. Увлекшись делом формирования и организации боевых дружин, наталкиваясь ежедневно на половинчатость и нерешительность меньшевиков во всем, что касалось военного дела, Пальчевский порывает, наконец, с меньшевиками и примыкает всецело в это время к нашей партии. Базой боевых дружин становится после баррикад завод Гельферих-Саде. Николай становится главным руководителем по организации и обучению боевых дружин. Последнее происходило обыкновенно за городом. Большевики обращают теперь

исключительное внимание на обучение и организацию военного дела. За ними, чтобы не потерять влияния на рабочих, тянутся и меньшевики и эсеры.

Одной из задач боевиков являлось разоружение жандармов, полиции и казаков, когда последние попадались в единственном числе. Это разоружение производилось просто среди бела дня и часто на довольно людных улицах. Боевику приходилось в таких случаях проявлять исключительную смелость, находчивость и быстроту. Встретив где-нибудь вооруженного с ног до головы жандарма, околотка или городового, наш боевик, быстро оглядевшись, прямо и смело подходил к ничего не подозревавшему жандарму.

— Стой! — обыкновенно кричал он ему. — Руки вверх! — И немедленно наводил на него дуло револьвера.

Почти все жандармы, околотки и городовые оказывались трусами: поднимали немедленно руки вверх и позволяли себя разоружить. Лучшими боевиками как раз считались те из товарищей, которые умели таким образом приобрести оружие.

Интендантом боевых дружин был т. Алексей (Иванов). Оружие, патроны хранились на складе матери Лизы Большой, где была сложена старая мебель и другие вещи. Ключ хранился у Лизы Большой.

Однажды я встретил коменданта Николая на одной из пустынных улиц с одним из боевиков. Последний с лицом, изрытым оспой, с черной бородой, с сверкающими глазами, вооруженный длинным выкованным на заводе кинжалом, наводил ужас на жандармов, когда, встретив кого-нибудь на пустынной улице, зычным голосом вскрикивал:

— Руки вверх!

Теперь, прислонившись к стене нежилого дома, он говорил Пальчевскому:

— Назначьте меня, товарищ комендант, в десятские отряда. Разве я не проявил преданности революции и энергии? Вспомните, скольких жандармов, околотков, городовых я уже разоружил! Не позднее, как вчера, в вашем, можно сказать, присутствии я разоружил двух жандармов, отнял у них револьверы, патроны, шашки. Вам все мало. Разве это допустимо, что мною командует какой-то мальчишка?

— Не могу, — ответил комендант. — Я знаю, что вы отважны, что вы можете пойти на самое рискованное дело. Чтобы быть десятским, необходимо не только знать военное дело, — нужно быть хорошим членом партии, а вы не хотите вступить в партию.

— Стар уж я ваши брошюрки читать, но, видно, придется. Ничего не поделаешь. Но и без этого вы можете вполне

на меня рассчитывать. Когда начнется вооруженное восстание, вы увидите меня в передовых рядах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ САПОЖНИКОВ

Поскольку движение выходило на открытую арену и становилось массовым, получилась возможность организовывать профсоюзы. Так как с очередным возвращением в Харьков тов. Артема я перешел в Городской район, мне пришлось иметь дело не только с заводскими рабочими, входившими в Харькове в этот район, но и с рабочими мелкого производства — с ремесленниками.

Однажды, придя в Народный дом, я неожиданно для себя встретил там одного рабочего, сапожника по профессии, из Городского района Твери.

— Вы, — говорю ему, — как сюда попали?

— Да вот как. Подхожу это я в Твери однажды вечером к дому. Смотрю, сестренка стоит и что-то рукой старается мне показать: «Не ходи, дескать, домой». — Что, спрашиваю, Манюрка, случилось? — «Мамонька меня навстречу к тебе выслала. Не ходи, мол, Ваня, домой. Полиция тебя ждет. Весь дом перерыли. Арестуют тебя непременно». — Вот я и приехал сюда, в Харьков.

— Где работаете?

— Где? Известно, по нашей, по сапожной части. В подвале тут у одного сапожника, у хозяйчика. Я уже кружок создал. Хорошо, что вас встретил, а то чистая беда: никого знакомых. Я давно хочу связаться с организацией. Скучно так жить, вот я и начал вести работу среди сапожников. Уже создал центральный кружок, как вы учили. Можно выпустить листок. Материал у меня в голове давно собран. Я думаю, листок послужит искрой в пороховом погребе. Уж очень плохо этим сапожникам живется.

— Давайте, кроме партийного кружка, создадим еще и профессиональный союз сапожников.

— Можно и союз устроить. Начнем работать во-всю!..

На этом мы и порешили. Через неделю мы выпустили листок к сапожникам. Еще через неделю мы уже созывали учредительное собрание рабочих сапожного ремесла для учреждения профессионального союза. Пришло более ста человек в столовую рабочих ХПЗ, которая находилась на пустыре около завода.

— Уж очень нашим сапожникам понравился ваш листок. Правду говорят социал-демократы-большевики: нет хуже положения рабочих, как положение нас, сапожников. Работаем мы не в больших, светлых фабрично-заводских зда-

ниях, где много воздуха, а в душных, низких, сырых, тесных подвалах. Рабочий день безмерно длинен. Заработная плата низкая — едва хватает на хлеб да на квас. Спим мы, едим в тех же помещениях, где и работаем. Разве это жизнь? Оттого наши лица рано блекнут, принимают серожелтый оттенок. Появляются одутловатость, отеки. Оттого большинство из нас пьет горькую. Недаром говорят: «Пьян, как сапожник», — говорил мне товарищ, сапожник из Твери.

— Правильно вы все это написали в листке. Есть еще и другая жизнь. Мы решили теперь начать ее. «Довольно, — говорят наши сапожники, — мы терпели рабскую долю. Пора распрямить согнутую спину, организоваться в союз и смело начать борьбу».

Так говорили сапожники на этом собрании. Листок, союз, партия, казалось, для них явились действительно лучом света, осветившим их беспросветную жизнь и указавшим им выход из нее. Они рьяно принялись посещать собрания профсоюза, партийные кружки, принялись читать партийную литературу.

Надо признаться, что работа пошла так успешно благодаря исключительным организаторским способностям того тверского сапожника, о котором я говорил выше. Я позабыл его имя. Оно стерлось, затерялось в памяти, забылось, как забывается, к сожалению, многое. Но заслуга в том огромном коллективном труде, в тех общих усилиях, которые вызывали революцию 1905 г., которые теперь склонны некоторые товарищи приписывать лишь отдельным героям, личность которых была ярче и воля сильнее, принадлежит в большей степени этим безвестным теперь героям революции, как этот тверской сапожник.

На учредительное собрание, созывавшееся раза три-четыре, сапожников приходило все больше. Меня поражало, что среди потрепанных, придавленных судьбой фигур виднелись лоснящиеся от жира, краснощекие, резко отличавшиеся здоровым видом лица их хозяев.

— Позвольте теперича, товарищ председатель, узнать, — задавали они вопросы, — можно ли и нам, хозяевам сапожных мастерских, в союз этот членами вступить? Подмастерья эти, как работали, так и работали бы, а я, к примеру, с заказчиками имел бы дело. Так оно и шло бы по-хорошему. А то, вишь, апосля вашей прокламации житья нам, хозяевам, не стало. Раньше я только хозяин был для них. «Иван Иваныч», — обыкновенно говорят. Кланяются. А теперича на-днях слышу: «кровопиец», говорят. Как же это можно?..

— Нет, — отвечал я, — не имеете вы, хозяева, права вступить в союз ваших рабочих. Членами его могут быть только

рабочие-сапожники, но не хозяева мастерских, каким являетесь вы. Рабочие всех профессий, всех ремесел, крупных фабрик и мелких мастерских об'единяются во всех странах в союзы для борьбы с хозяевами. Вот и рабочие-сапожники пришли, наконец, к необходимости об'единиться в союз для борьбы с хозяевами. Посмотрите-ка, товарищи, — указывал я, — на себя и на ваших хозяев. Кому лучше живется? Одеты они в лисьи шубы и мерлушковые шапки. Лица у них красные, здоровые. Пузо у них распирает из-под шубы-то. А сукно-то на шубе новое, тонкое. А вы посмотрите на себя, какие вы с виду по сравнению с вашими хозяевами? Все вы оборваны, животы у вас подтянуты. Лица у вас серозеленые. Какое ваше житье? Оно, как говорит писатель Максим Горький, «как встал, так и за вытье». Единственный выход для вас — это об'единиться в союзы, как это сделали уже рабочие за границей, и бороться против хозяев и самодержавия.

— Нет, уж мы просим, поскольку теперича свобода эта пошла, поставить наше предложение на голосование, чтобы нам, значит, хозяевам, иметь право быть членами этого самого союза вместе с сапожниками, с нашими подмастерьями, — заявили хозяева свое требование.

Голосование подтвердило, что все рабочие-сапожники были против вступления хозяев в их союз.

— В таком случае, — заявили хозяева, — счастливо, значит, оставаться. Каждый, значит, тепереча пойдет своей дорогой. Не хотите из одной миски с нами щей хлебать! Как, значит, хотите. Борьба, так борьба! Прощевайте!

Борьба началась. Хозяевам пришлось пойти на уступки. Первые победы над хозяевами, усиленная работа, которую мы вели среди сапожников, активная, самоотверженная работа товарища сапожника из Твери привели к тому, что почти все рабочие-сапожники, вступившие в союз, целиком вошли и в нашу партию и организационно связали свою судьбу не с меньшевиками, а с большевиками.

ПОДГОТОВКА К ВООРУЖЕННОМУ ВОССТАНИЮ

До восстания на броненосце «Потемкин» 14—18 июня 1905 г. в Одессе и до баррикад 11—12 октября 1905 г. в Харькове социал-демократические организации в этих двух городах, и у большевиков и у меньшевиков, не были совершенно подготовлены к вооруженному восстанию.

С одной стороны, ничто не показывало, чтобы до такой степени задавленный русский рабочий был способен на вооруженное восстание. С другой стороны, трудно было себе представить, чтобы крестьянин в форме матроса мог так во-

одушевиться идеей освобождения рабочего класса, оказаться настолько хорошим союзником рабочему, чтобы найти в себе столько сил, чтобы совершить поступок, полный такого высокого героизма, как восстание на броненосце «Потемкин» и последовавшие затем одно за другим восстания в военном флоте.

Исход событий на харьковских баррикадах 11—12 октября 1905 г. определенно указывает, что вследствие неподготовленности к вооруженному восстанию был упущен самый благоприятный момент для восстания, когда на последнее шли рабочие массы. В самом деле, рост движения среди рабочих ставил Харьков в особо благоприятные условия в октябре 1905 г. для проведения в жизнь вооруженного восстания. Мало того, можно смело сказать, что Харьков в октябре опередил все другие города России по возможности, если бы организации были подготовлены к нему, проведения вооруженного восстания. Сложившиеся обстоятельства, если можно так выразиться, давали блестящие возможности по проведению его, и они были упущены. Был упущен наивысший под'ем революционного настроения. Но все, казалось, говорило за то, что, возможно, он опять еще наступит. Большевистский комитет поручил дело подготовки вооруженного восстания главным образом тов. Авилову Борису Васильевичу. Его помощником в этом деле был тов. Артем. Им предоставлена была возможность действовать через «Комитет борьбы» или Федеративный совет, совместно с меньшевиками и эсерами или совершенно отдельно от них.

Боевой штаб создался из товарищей: Николая Пальчевского (руководитель штаба), студента Димки (Бассалыго), организатора боевых дружин Паровозного завода, Алексея (Сергей Петрович Иванов, студент Ветеринарного института, исполнял обязанности интенданта боевых дружин), Жука, студента Технологического института, организатора боевых дружин городского района, и Остапенко Степана, организатора районных железнодорожных мастерских.

Обстоятельства очень благоприятствовали восстанию. Как видно из дела № 110 Харьковского охранного отделения, объявленное генерал-губернатором военное положение оказалось висящим в воздухе, митинги не прекращались на заводах. Вследствие агитации и пропаганды среди солдат войска были до известной степени разложены. Государственный аппарат оказался в значительной степени расшатанным. Шло разложение даже полиции. К этому надо прибавить, что в связи с всеобщей почтово-телеграфной и железнодорожной забастовкой с 15 ноября началась в городе всеоб-

щая забастовка и что войска, оставшиеся в городе, были настолько не надежны, что не только открыто заявляли, что не будут стрелять в рабочих, но сами готовились к вооруженным действиям против правительства.

БАНКЕТНОЕ ДЕЙСТВО

В то время, когда среди рабочих, крестьян, солдат в такой степени нарастало революционное настроение, меньшевики все-таки наперекор всему пытались втиснуть движение в те рамки, которые указали за границей П. Аксельрод и Мартов. На словах готовясь к вооруженному восстанию, на деле они пытались превратить русский рабочий класс в хвост либеральной буржуазии. В этом особенно ярко сказалась их изменнническая и оппортунистическая роль во время революции 1905 года.

Меньшевики, воспользовавшись формой Федеративного совета, пытались провести один из актов банкетной кампании для подталкивания буржуазии. 18 ноября вечером совершенно открыто было созвано торжественное совещание харьковской городской думы «совместно с революционными организациями». Со стороны меньшевиков выступал интеллигент Биск, один рабочий с паровозного завода, говоривший, что в распоряжении Федеративного совета имеются «рабочие корпорации», готовые всегда поддержать революционные действия городской думы Харькова, поскольку последняя будет переизбрана на основании всеобщего, равного и тайного голосования. Пожелания эти были высказаны по рецепту П. Б. Аксельрода очень робко, чтобы не испугать буржуазию.

Еще более жалкий характер носило выступление от почтово-телеграфных служащих Бацаева. Обладая прекрасным ораторским талантом, этот представитель почтово-телеграфных служащих дошел до того, что рисовал просительно, в слезливых тонах положение «белых рабов» и не гордо требовал, а униженно просил городскую думу обратить внимание на тяжелое положение почтово-телеграфных служащих и, с одной стороны, походатайствовать за них перед правительством, а с другой — ассигновать известную сумму денег на помощь стачечникам. В общем это его выступление носило не характер революционного выступления пролетария, пред'являющего буржуазии те или иные требования, а характер просьбы чиновника, просящего у начальства прибавки жалованья.

Хотя харьковская городская дума и ассигновала известную сумму денег в пользу забастовщиков почт и телегра-

фа, но получить эти деньги им все равно не удалось, ибо харьковский генерал-губернатор опротестовал это постановление.

ВОЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Революционная сознательность харьковских рабочих в конце 1905 года сказалась и на настроении солдат харьковского горнизона. Один из представителей солдатской массы определенно заявил на митинге на ХПЗ, что солдаты в рабочих стрелять не будут. Этот ревлюционный под'ем выявился между прочим в том, что солдаты Богодуховского полка вышли без офицеров, «самовольно», с музыкой, совершили прогулку по городу, освободили политических заключенных в полку и пытались даже присоединить к себе в городе другие воинские части. Оно проявилось и на настроении новобранцев, отказавшихся 16 ноября от присяги. Все это говорило за то, что надо было действовать не по-меньшевистски, а по-большевистски.

Что касается меньшевиков, то они проявляли себя, с одной стороны, очень неконспиративно, а с другой — с явным желанием, которое отчасти вылилось и у рабочего-меньшевика Бибика*, сорвать готовившуюся военную демонстрацию.

Большевики во главе с тов. Авиловым пытались довести это выступление солдат до логического конца, т.-е. до вооруженного восстания, к которому, собственно, и толкал характер выступления. Если большевики в лице тов. Авилова полагали использовать момент для вооруженного восстания, то самый левый из меньшевиков тов. Ангарский формулировал свой образ действия словами: «не форсировать событий». Последнее исключало тот метод, который предлагали К. Маркс и Ленин по отношению к восстанию, т.-е. «решительное и смелое наступление на правительство к захвату власти в городе».

Утром 23 ноября я был послан на Холодную Гору на явку железнодорожного района с поручением ж.-д. мастерским немедленно забастовать и выйти на улицу. В квартире на явке на кушетке лежал дежуривший рабочий-меньшевик, вышеупомянутый Бибик.

— Не нравится мне это предполагаемое выступление с войсками, — говорил он, выходя со мной с явки. — Устали

---

* Бибик — ныне писатель-беллетрист, написавший ряд романов из рабочей жизни.

уж рабочие от забастовок. Нет уже в их среде того энтузиазма, какой был еще недавно.

Мы вышли на улицу. Вдали, закрытые туманной дымкой, за Заиковкой, Москалевкой, Петинским районом виднелись очертания заводов. Я увидел толпу женщин так же, как и мы, внимательно смотревших в ту же сторону. Вдруг оттуда, издалека раздался звук заводского гудка. Тотчас в толпе женщин началось движение. Они стали громко кричать и кого-то ругать.

— Слышите, что делают эти проклятые паровозники? Опять забастовка. Что мы будем делать? И так изголодались, сидели столько времени на одном хлебе. Слышите, кума Агафьюшка, как ревет этот паровозный гудок? Чтобы их разорвало, этих паровозников! Хоть бы полиция их перearестовала. Хоть бы их на позиции отправили.

— Видели, — говорил мне Бибик, — как реагирует на забастовку эта бабья оппозиция? Если все бабы набросятся сегодня на своих мужей, как эти, забастовка, можно вперед сказать, будет сорвана. Вот вам одно из доказательств, с каким энтузиазмом рабочие идут на забастовки. Ох, не нравится мне это дело!..

Воронье карканье Бибика, что забастовка будет сорвана, не оправдалось. Несмотря на пассивное или прямо враждебное отношение к забастовке и демонстрации рабочих вместе с солдатами со стороны меньшевиков и оппозицию со стороны жен, которая замечалась в это время в некоторых рабочих семьях, рабочие в этот день проявили огромную революционную отвагу. Они вышли навстречу смертельной опасности, которая им, как и всем участникам этой демонстрации, несомненно, угрожала. Работы на заводах, как доносил властям начальник жандармского управления, были всюду прекращны, как только послышались тревожные гудки. Рабочие с восторгом и в полном порядке встречали восставших революционных солдат.

Как выяснилось, меньшевики своей болтовней и неконспиративностью успели и на этот раз испортить все дело восстания и военной демонстрации. Власти, предупрежденные шпионами, во-время приняли свои меры. Караулы в ротах были сменены и назначены из преданных правительству солдат, на которых нам никак нельзя было рассчитывать. Ночью накануне восстания в казармы пришли дежурить в полном вооружении сами офицеры и командиры рот. Ключи от цепей, которыми запирались на ночь винтовки, были отобраны от дежурных по ротам солдат. Постановленные у ворот казарм усиленные патрули получили приказ никого не впускать и не выпускать из казарм, кроме офицеров. Все эти меры привели

Группа политических заключенных Харьковской Холодногорской тюрьмы в 1906 г.

к тому, что военному начальству удалось удержать в казарме большую часть солдат, на которых революционеры могли рассчитывать. Заблаговременно принятыми мерами были также парализованы попытки унтер-офицеров Анисимова и Шполашвили открыть склады оружия и патронов и вооружить ими рабочих, что было бы особенно важно для успешного исхода вооруженного восстания.

Если у большевиков подготовка к выступлению была обставлена настолько конспиративно, что даже члены комитета не все были посвящены в подробности выступления, то у меньшевиков все подробности готовящейся военной демонстрации настолько не скрывались, что проведены были даже на общегородской меньшевистской конференции. Вследствие всего этого о готовящемся выступлении рабочих и солдат у меньшевиков знали все, кому это даже не было нужно. Как и в Одессе, они для использования выступления солдат создавали говорильню, а не военный центр, не штаб восстания, почему движение не могло превратиться в вооруженное восстание и почему оно вылилось лишь в военную демонстрацию. Генерал Нечаев, выступивший на этот раз против «бунтовщиков», доказал на собственном примере, насколько был разложен аппарат правительства в эти дни и насколько осуществимо было в умелых руках вооруженное восстание. Выставив свои пулеметы сначала на Харьковском мосту, узнав затем, что восставшие солдаты и рабочие пошли через Заиковку в обход, чтобы таким образом выйти на Екатеринославскую улицу, он перенес пулеметы на Павловскую площадь. При этом генерал Нечаев, со своей стороны, допустил огромную ошибку. Он дал возможность солдатам и пришедшим с ними многочисленным рабочим не только подойти вплотную к не затронутым еще пропагандой частям Охотского пехотного полка и пулеметной при нем роте, которые только что прибыли в Харьков, но и того больше, окружить эти не разложенные еще части с трех сторон. Это было как раз самое опасное для старого порядка. Нечто подобное произошло с эскадрой адмиралов Вишневецкого и Кригера, когда они подошли вплотную к восставшему броненосцу «Потемкин»; это имело место теперь и на Павловской площади 23 ноября. Приобревшие большой навык в агитации, рабочие не зевали и тотчас начали убеждать солдат генерала Нечаева не стрелять. Ничто так не разлагает солдат, присланных усмирять бунтовщиков, как вид восставших за справедливые революционные требования рабочих. Вид солдат, их братьев, находившихся в рядах забастовщиков-рабочих, действовал на солдат Охотского полка не менее убедительно, чем

самые зажигательные речи, которые произносили перед солдатами рабочие. Допустивший первую ошибку генерал Нечаев допустил и вторую — он начал переговоры с солдатами. Говорил растерявшийся генерал, начинало чувствоваться разложение среди его собственных солдат. В конце-концов после двух часов переговоров, взяв с революционных солдат честное слово, что они разойдутся по домам, в казармы, он отдал Охотскому полку приказ пропустить «взбунтовавшихся» солдат и рабочих. «Картина была подавляющая, — говорит по этому поводу в своем донесении жандарм, — и торжество революционеров неописуемое».

Я, расставшись с Бибиком и спустившись вниз по Екатеринославской улице, успел на ней присоединиться к революционному шествию и вместе с колонной рабочих и солдат очутился на Павловской площади. Но на этот раз мы были свидетелями, как смертоносные пулеметы во время революции перестают быть опорой старой власти; мы слышали, как громко, радостно кричала на улицах многочисленная толпа «ура», видя солдат, выступивших вместе с рабочими и с красным знаменем революции. Всю дорогу рос этот энтузиазм толпы при виде революционных солдат. У Харьковского моста, на Скобелевской площади, наконец, на Конной площади устраивались митинги. Солдаты подымали на своих плечах ораторов. После короткой речи последних толпа неизменно кричала: «Долой самодержавие! Ура! Да здравствует свобода!»

Я помню недоумение, которое отразилось на лице проезжавшего через Конную площадь уральского казака, увидевшего вдруг солдат, ставших на сторону народа. Он привык рассматривать солдат, как опору правительства, царя, помещиков и капиталистов, и вдруг перед его глазами дрогнула опора власти богатых.

ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В ХАРЬКОВЕ

Революция была в полном разгаре во второй половине ноября и начале декабря. Большевики продолжали усиленно готовиться к возможному еще вооруженному восстанию. Меньшевики, чтобы не потерять влияния на своих передовых рабочих, не только не отставали от большевиков в количестве боевых дружин. Пробуждение классового сознания в харьковском пролетариате сказалось, между прочим, в создании новых и укреплении старых профсоюзов. Старое «Общество взаимопомощи», охватывавшее рабочих крупного производства, преобразовывается в «Профессиональный союз рабочих механического производства». Кроме союза сапожников, который я организовал вместе с сапожником

из Твери, возникают, как грибы после дождя, профсоюзы мелкого производства: союзы портных, булочников, типографских рабочих, официантов или ресторанной прислуги, союз домашней прислуги, союз интеллигентных профессий. Среди новых союзов среднего производства надо отметить союз рабочих табачных фабрик.

К сожалению, я не помню ни одного профсоюза, кроме вышеупомянутого союза сапожников, который бы шел за большевиками. Профсоюзы крупного производства были целиком под влиянием меньшевиков. Надо сознаться, что инициатива по созданию и укреплению профсоюзов принадлежала в Харькове не нам, а меньшевикам. Кроме недооценки необходимости укреплять организационно свое влияние на рабочих, в особенности на крупных заводах, очень тяжело отразилось на организационной стороне дела слишком прямолинейно проводимая тов. Артемом при выходе из подполья на открытую арену ломка старого подпольного аппарата партии. Слова Артема, как прекрасного митингового оратора, мерявшего партийную работу и возможность участия в ней на свой аршин и говорившего: «для чего теперь кружки и маленькие собрания, когда на деле уже получилась возможность выступать не перед десятками и не перед сотнями, а перед тысячами и перед десятками тысяч рабочих?», отражались в уме многих организаторов кружков, районов, рабочих-централистов, и руководителей кружков пропагандистов в нежелательную сторону. Казалось, что теперь, когда на первый план выступили митинговые ораторы, газетные работники и литераторы, им, работникам мелкого и среднего масштаба, уже делать нечего и что их роль в партии тускнеет, сходит к нулю. Страстно жаждавшие выхода из подполья на широкую открытую арену, когда этот желанный день, наконец, наступил, к ужасу своему вдруг почувствовали, что они почти не нужны для революции: они не только не были вполне использованы на организационном укреплении нашего идейного влияния на рабочих, на создании и укреплении организаций нашей партии, но и по работе, по линии профсоюзов. Выходило так, что то несомненное влияние, которое имела простая и в то же время задушевно увлекательная речь т. Артема на рабочих крупных заводов, как ХПЗ и Гельферих-Саде, направленная против меньшевиков, использовалась вследствие отсутствия у нас сильных организаций на этих заводах этими же самыми меньшевиками в свою пользу. На крупных заводах, где работал тов. Артем, в смысле организационном у нас на деле было частенько почти пустое место. Поэтому, когда возникал вопрос о подготовке вооруженных выступлений,

большевики принуждены были выступать совместно с меньшевиками. Последние, шедшие на вооруженное восстание неохотно, относившиеся к нему с явным недоверием, вели себя так, как будто дело шло о простой стачке или демонстрации. Неконспиративность и болтливость их приводили к тому, что правительству становились известны все приготовления к восстанию заранее, и оно принимало свои меры. Все это имело место в ноябре и повторилось и в декабре, когда большевики, чтобы поддержать московское вооруженное восстание, вели серьезные приготовления к нему в Харькове.

Положение самодержавного правительства становилось в Харькове все более нестерпимым. Введенное с 14 октября военное положение существовало лишь в центре города, в буржуазных кварталах. Рабочие предместья города его уже почти не признавали. Митинги под открытым небом, митинги на дворах заводов, демонстрации, формирование боевых дружин, присутствие на митингах на ХПЗ и на Гельферих-Саде все большего числа солдат, революционная партийная работа в казармах, разлагавшая присылаемые в Харьков воинские части, — все это имело место, несмотря на суровые запрещения со стороны властей.

Между тем самодержавное правительство начинало уже в ноябре оправляться от паники, охватившей его в октябре, и переходить в наступление на революцию. В ноябре арестовывается председатель совета рабочих депутатов в Питере. В декабре, 3-го числа, арестовывается весь совет рабочих депутатов. Одновременно правительство начинает наступать на революцию и в Харькове. Запрещаются митинги под открытом небом и закрываются газеты «Харьковский листок» и «Мир». Одновременно усиленно разыскиваются «Федеративный совет» и «Комитет борьбы». В ночь на 10 декабря производятся массовые аресты. Арестовано было более 30 человек. Проявив таким образом попытку арестовать верхушку организации, военные власти задумывают захват боевых дружин. Хорошо зная, что готовится в ближайшие дни вооруженное восстание, военные власти при соблюдении всех предосторожностей поручают капитану генерального штаба разработать план захвата завода Гельферих-Саде, где, как было известно правительству, сосредоточены были боевые дружины и куда последние приводили даже арестованных, где была попытка установления революционного суда. Действуя в противоположность меньшевикам со всеми предосторожностями, не сообщая даже обычной диспозиции по войскам, проводя все подготовления к захвату боевых дружин в строгой тайне и в высшей мере конспи-

ративно, царское военное начальство стягивает к утру 12 декабря верные ему части в казармы Богодуховского полка, расположенные недалеко от этого завода. Хотя революционным центром оставался попрежнему ХПЗ, но военным властям выгоднее было напасть на завод Гельферих-Саде, служивший базой для боевых дружин. Так готовилось правительство подавить вооруженное востание. Как же готовились революционеры провести его?

Время было неспокойное, чреватое последствиями. Положение в стране оставалось революционным. Попытки в Харькове укрепить и расширить образовавшийся профсоюз железнодорожников наталкиваются на решительное сопротивление местной администрации и на запрещение центральной власти. Атмосфера сгущается и грозит вылиться ежеминутно в забастовку. Назревали также всероссийская железнодорожная забастовка и московское вооруженное восстание. Вообще атмосфера была в эти дни насыщена восстанием. В городе шла агитация за бойкот бумажных денег, к которому так же, как и к требованию получения вкладов обратно из сберегательных касс, призывал в это время манифест Питерского совета рабочих депутатов.

9 декабря, под влиянием слухов о событиях в Москве, начинается в Харькове железнодорожная забастовка. Большевики, находя, что откладывать дело восстания дальше нет возможности, настаивают в Федеративном совете на немедленном вооруженном восстании. Меньшевики по своему обыкновению выступают против восстания и добиваются того, что восстание опять откладывается до более точного выяснения настроения частей. Болтовня меньшевиков делает свое обычное разрушительное, вредное дело, а наличие провокатора в меньшевистском комитете приводит к тому, что военные власти, осведомленные о готовящемся вооруженном восстании, принимают заблаговременно все меры, чтобы раздавить его. Наконец, после долгих споров и колебаний со стороны меньшевиков, вооруженное восстание назначается на 12 декабря.

Что касается большевиков, то последние со своей стороны действовали опять в высшей степени конспиративно. Даже не все члены большевистского комитета были посвящены не только в детали, но и в то, что именно 12 декабря им предстоит принять участие в восстании. Даже т. Алексей, индендант боевых дружин, член боевого штаба, с большим трудом накануне вооруженного восстания был пропущен на ночное совещание в подвале Психиатрической больницы (на Сабуровой даче), где с делегатами от солдат местных полков: Старобельского, Лебединского, Богодухов-

ского, Тамбовского, Луцкого, вырабатывался план вооруженного восстания. Конспиративность большевиков являлась полной противоположностью обычной болтовне меньшевиков, шедших на восстание с неохотой, без веры в него, ибо, по их мнению, не было налицо так называемой «бестиражности» восстания, не было данных, которые сулили бы безусловный и полный успех его.

В план восстания входили захват вокзалов, вооружение рабочих оружием из арсенала, с которым имелись на этот раз прочные связи, захват университета. Базой восстания должен был служить завод Гельферих-Саде. На рассвете 12 декабря 1905 г. воинские части Харькова должны были восстать. Предполагалось, что рабочие дружины захватят арсенал и вооружатся оружием из арсенала. Все предвещало успех начинанию. Но болтливость меньшевиков и провокаторы среди революционных солдат опять провалили все. Ночью уже стало известно товарищам Авилову и Артему, что неконспиративность меньшевиков и провокация среди солдат опять погубили все дело восстания, что надежд на восстание войск не остается никаких. Прибежавшие к товарищам Авилову и Артему революционные солдаты принуждены были признаться, что они уже не могут восстать, ибо в казармы, где должно было начаться восстание, еще с вечера пришли вооруженные офицеры, отняли ключи от запертых на цепь винтовок и поставили у дверей казарм надежный караул.

Между тем восстание, если бы не провокация и не принятые военным начальством меры, если бы оно произошло, если бы был захвачен город при одновременном восстании, которое и произошло на узловых станциях, как ст. Люботин, где даже была устаковлена в это время под руководством известного студента Кирсы знаменитая Люботинская республика, имело, несомненно, все шансы на успех.

Душой вооруженного восстания, упорным сторонником его в Харькове был Б. В. Авилов. Он жил в это время одной мыслью, одной мечтой вызвать его во что бы то ни стало и довести до конца. Им было передано т. Мечниковой заготовленное им на случай благополучного исхода восстания воззвание к населению от имени временного правительства, которое должно было в свою очередь созвать учредительное собрание.

На случай благоприятного исхода восстания был намечен и начальник гарнизона — один из прапорщиков запаса. Был приготовлен и соответствующий военный костюм. Желанием восстать, стремлением низвергнуть, наконец, ненавистное самодержавие и готовностью пожертвовать своей

жизнью в битвах на баррикадах горели почти все без исключения члены большевистской организации и лучшие рабочие-меньшевики и эсеры. Рабочие большевики—Кожемякин, Гринченко, Саша и Мишка Садевский и многие другие, фамилии которых я позабыл, проявили примеры высшей преданности интересам революции по подготовке восстания и во время его. Вооруженное восстание становилось популярным даже среди рабочих-сапожников. Закрывая обычное собрание профсоюза сапожников, имевшее место в начале декабря, я спросил их, готовы ли они будут откликнуться на призыв, который будет дан гудками на заводах, явиться на тот сборный пункт, который будет указан, чтобы с оружием в руках пойти против правительства. Я получил ответ, что они явятся все туда, куда позовет их наша партия. Несомненно в подготовке вооруженного восстания проявлены были и промахи. Так выбор завода Гельферих-Саде, как центра базы восстания, был явно неудачен. В числе других членов комитета, не посвященных в подробности восстания, находился и я.

После перехода из подполья на открытую арену, со времени об'явления свобод 17 октября и слишком крутой ломки старого подпольного аппарата партии, как и многие подпольщики, я в это время чувствовал себя до известной степени на положении рыбы, выброшенной на берег. Я переживал довольно тяжелую душевную драму. Я страшно жаждал дней свободы. Когда, наконец, она хотя и в урезанном виде наступила, я вдруг почувствовал себя менее нужным революции, чем прежде. Все мне говорило, что активная роль революционера, которую я мог играть в подполье, отныне сменяется более пассивной ролью. Я стал тяготиться положением безработного подпольщика, которое все более рисовалось мне впереди, что я менее нужен для революции и что я в то же время продолжаю жить на средства партии, начало все более угнетать меня. Я пришел к решению, что мне снова необходимо уйти в рабочую среду, приняться работать на заводе у станка.

Товарищ Александр * начал уже работать на заводе и описывал мне радужными красками то удовлетворение, которое он получал от постоянного общения с рабочими в условиях революционного времени.

«Как древний Антей становился снова сильным и крепким, как только ноги его касались земли, его породившей,—думал я,—и я снова обрету прежнюю силу, крепость и ве-

---

* Фамилия забыта.

ру в себя, когда снова сольюсь с рабочей средой, из которой я вышел. Работу рядового члена партии, которую я теперь при изменившихся условиях буду вести,—думал я,—я свободно смогу совместить с работой у станка на заводе».

Укрепившись в этой мысли, я стал искать работу в Харькове. Не найдя ее в этом городе, где я, очевидно, примелькался полиции, я решил попытать счастья в Сумах, где на машиностроительном заводе Бельгийского общества служил инженером тов. Названов из петербургского кружка Ленина 90-х годов. Но уехать в Сумы я не мог из-за забастовки на железной дороге, начавшейся с 9 декабря. Я продолжал попрежнему вести партийную работу в Харькове в большевистском комитете и 12 декабря пришел на партийную явку, помещавшуюся в студенческой столовой.

— А, кстати пришли, тов. Наум, — сказал мне тов. Сальников. — Вот нужно на завод Гельферих-Саде бомбы отнести. Беретесь вы это сейчас же сделать?

— С удовольствием, — ответил я.

Поручение отнюдь не удивило меня. Партия готовилась к вооруженному восстанию. На складе, находившемся в ведении Лизы Большой, хранились прибывшие браунинги, пачки патронов всевозможных калибров и динамит. Боевые дружины вооружились, чем могли. Недостаток хорошего оружия, которое трудно было достать, можно было заменить бомбами. Рабочие вооружались просто пиками, приготовлявшимися из газовых труб. Поэтому я не усмотрел ничего особенного в том, что мне предложили перенести на себе бомбы. Меня лишь удивляло сравнительно большое их количество. Я был одет в зимнее пальто с воротником из поддельного барашка. Особенность пальто заключалась в очень больших карманах, приспособленных для переноски прокламаций, которые товарищи называли в шутку «поповскими», в виду их способности вмещать в себе очень большое количество нелегальной литературы. Бомбы, отлитые из чугуна на заводах нашими товарищами, имели круглую форму и были небольших размеров, величиной не больше хорошего мужского кулака, взрывались при помощи фитиля. Нагрузив ими оба свои кармана, завязав известное количество их еще в большой платок, отчего получился довольно больших размеров узел, превратившись сам таким образом в своего рода пороховой погреб, я спросил:

— Дайте инструкцию, как пользоваться этими бомбами.

— Метальщик этих снарядов, — ответили мне, — должен обязательно во время боя держать во рту зажженную папироску. Получив сигнал бросить бомбу, метальщик снаряда, соблюдая полное хладнокровие, быстрым движением под-

носит снаряд к дымящейся во рту папироске, зажигает фитиль и тотчас, не медля ни секунды, бросает бомбу во врага. Бомбы уже испытаны во время пробных метаний их на поле и взрываются не позднее как через шесть секунд после того, как зажжен фитиль. Поэтому после зажжения их необходимо немедленно бросить далеко от себя, иначе бомба взорвется в руке.

Нагруженный бомбами, неся их не менее чем 40 или 50 штук, я шел осторожно, чтобы не споткнуться на скользких тротуарах, и дойдя до Московской ул., я поднялся на площадку вагона ходившей тогда конки.

Стояла уже давно зима. Снежным покровом была покрыта земля. Снег продолжал падать. Кучер подхлестывал пару лошадей, черепашьим шагом тащивших вагон конки. Я смотрел, как падают снежинки, подобные множеству летящих белых мух, и старался придать себе невинный вид, чтобы никто, особенно вошедший в вагон конки жандарм, не мог догадаться об опасных круглых штучках, которые наполняли мои огромные карманы и которые я держал бережно в узле. Избегая толчков от входивших и выходивших пассажиров, я стоял на передней площадке, крепко прижавшись к стенке вагона, придавая себе таким образом большую устойчивость.

Выйдя на Конной площади, я поспешил к заводу Гельферих-Саде. Было часов 11 утра. На огромной пустынной площади не видно было никого, кроме одиноких пешеходов, пересекавших ее во всех направлениях. Я вошел в завод. Пройдя в ворота под складом сельскохозяйственных машин, я вышел на обширный двор и повернул направо, в помещение столовой для рабочих завода. Столовая, как и двор завода, была наполнена с одной стороны товарищами боевиками, а с другой — людьми, просто пришедшими сюда послушать, что будут говорить ораторы на обычных во время забастовок митингах. В общем вместе с дружинниками, которых было человек 200—300, народу на дворе завода собралось не менее 700—800 человек.

Войдя в столовую, найдя там тт. Авилова, Артема, коменданта Николая и интенданта Алексея, я сдал им принесенные мною бомбы.

— Ай да Наум! — слышал я удивленные возгласы.— Сколько он приволок на себе бомб! Как же это вы ухитрились донести их? Что вы их на ломовике привезли?

— А что, если бы они дорогой взорвались, — шутили другие, — что было бы с вами? Вы бы взорвались, как целый пороховой погреб. Что бы сказала тогда Лиза Большая?

Слушая эти разговоры и шутки товарищей, я вдруг вспомнил, что я забыл дома мой браунинг. Решив вернуться за ним, я повернулся было к двери и сделал уже один шаг по направлению к выходу, как вдруг путь мне преградил вбежавший и запыхавшийся дружинник.

— Солдаты и казаки, — заявил он, — выросли, как из-под земли, и уже окружают завод. Все выходы из завода уже заняты ими. Пути отступления для нас уже отрезаны.

Спокойно и внимательно выслушали это известие товарищи Артем, Авилов и комендант Николай. Только на бледножелтом худощавом лице Авилова, выражавшем по обыкновению железную настойчивость и решимость, что-то дрогнуло; он понял, что настает решительная минута... Поняли это и все мы. В ворота завода уже стучали. Воинное начальство потребовало сдачи завода.

Потому ли, что всем, особенно коменданту Николаю, понравилось, что я так хорошо исполнил ответственное поручение и не побоялся принести на себе такое большое количество бомб, я почувствовал, что я тотчас поднялся в глазах всех дружинников и в особенности в глазах самого коменданта Николая. Вероятно, вследствие этого он и тов. Авилов предложили мне войти в комиссию по переговорам с полковником осадивших завод войск, в которую вошли, насколько я помню, Николай, Димка и я.

По внешности повторялось то, что мы переживали на баррикадах. Только тогда мы стояли недалеко от сооруженных восставшим народом баррикад, а теперь через приотворенные ворота завода выглядывала высокая фигура полковника царских войск, подошедшего к воротам завода с небольшим отрядом хорошо вооруженных солдат, и виднелась далеко в конце площади серая линия солдат. Комендант Николай, как артиллерийский прапорщик запаса обладавший военной выправкой, при встрече с ним, по обычаю военных, как и полковник, взял под козырек.

— Предупреждаю, — начал полковник, — что я не имею никаких полномочий вступать с вами в переговоры. У меня в кармане приказ взять немедленно завод и арестовать всех вас, как мятежников. Если я вступил с вами в переговоры, то лишь по собственной инициативе, не имея даже на это никакого права, лишь из чувства человеколюбия. Мне хорошо известно, что в числе мятежников на заводе очень много женщин, даже детей и вообще посторонней публики, пришедшей просто на митинг. Так вот, не желая напрасного кровопролития и имея вышеупомянутый приказ в кармане, я предлагаю вам немедленно сдаться. Всякое сопротивление с вашей стороны обречено заранее на неуспех, ибо в

моем распоряжении превосходные силы, в том числе пулеметы и артиллерия. Предупреждаю также, что я в случае сопротивления с вашей стороны принужден буду начать бомбардировку завода. Вот мои условия. Даю вам десять минут на размышление. Если по истечении их не будет выкинут белый флаг, как знак того, что вы сдаетесь, я немедленно начинаю бомбардировку. Также советую не забывать, что наказание для вас будет совершенно иное, если вы сдадитесь немедленно. После открытия вами враждебных действий оно будет много строже...

— Я, со своей стороны, не уполномочен, — ответил комендант, — ответить вам сейчас же на ваши условия. Мы должны все это обсудить, прежде чем притти к какому-нибудь решению. Я, со своей стороны, просил бы вас удлинить нам срок — дать вместо 10 минут на обсуждение вопроса, по крайней мере, полчаса. Затем, поскольку вы ставите нам условия сдачи, может, вы согласитесь, чтобы мы сдались на тех же условиях, что и при сдаче баррикад, т.-е. на тех же «почетных» условиях.

— Ни в каком случае, — возразил полковник. — Не может быть и речи об этих «почетных условиях». Вот мои последние слова. Посмотрите на часы; если через десять минут вы не выкинете белого флага в знак безусловной сдачи, я немедленно по истечении этого срока начинаю бомбардировку завода.

Мы расстались. Полковник со своим отрядом пошел через площадь по направлению к видневшимся вдали войскам. Тотчас захлопнулись и были заперты за ним тяжелые заводские ворота. Мы отправились обратно к столовку, лучше, чем другие помещения завода, защищенную от выстрелов.

— Наум, — сказал мне после краткого совещания в столовке с тов. Авиловым комендант, — мы решили следующее. Вы принесли сюда бомбы. Они как раз теперь очень кстати. Придется вам взять на себя и начальствование над отрядом бомбистов. Сама революционная судьба готовила вам эту участь. Немедленно поднимитесь на верхний этаж и займите там у окон, выходящих на площадь, над входом в завод стратегические позиции. Вам придется быть на самом опасном и ответственном посту. Помните, метальщики должны бросать бомбы лишь по вашему сигналу, в тот лишь момент, когда солдаты пойдут в атаку на завод, но никак не раньше. Вы должны выждать время, должны сохранить хладнокровие и бросать разрывные снаряды лишь тогда, когда они будут попадать наверняка в цель. Идите, товарищ Наум, со своими бомбистами, занимайте места. Как только получите от нас известие, что мы решили при-

нять бой, что будет наверное, тотчас отдайте приказ выбить стекла в окнах, чтобы образовать бойницы, через которые вы будете бросать в солдат бомбы.

Все это было сказано очень быстро. В столовке между тем уже началось обсуждение вопроса, дать ли бой или сдаться, как предлагал полковник. Меньшевики опять высказались за немедленную сдачу. Большевики, наоборот, настаивали на принятии боя. Я был уверен, что большинство боевиков выскажется против сдачи. За истекшие два месяца число рабочих — членов боевых групп — значительно возросло. Хотя дружины меньшевиков состояли на 60—70% из интеллигентов, хотя процент последних был также высок и в большевистских дружинах, но постоянные военные упражнения, непрерывное ожидание вооруженного восстания укрепили боевой дух даже у интеллигентов-меньшевиков. Присутствие среди последних большей частью буржуазных сынков заставило военное начальство сделаться, как говорил полковник, «человеколюбивым».

Уходя из столовки, я оглянулся, ища глазами тов. Артема. Я хорошо сознавал, что значит командовать отрядом бомбистов на самом опасном передовом посту. Я понимал, что иду на смерть, и мне захотелось в последний раз пожать руку тов. Артему, которого я уважал, как инстинного революционера. Но его уже не было среди присутствующих. Он, очевидно, успел, по указанию штаба боевых дружин, находившегося в данный момент на заводе Гельферих-Саде, пробраться через какую-нибудь боковую калитку незаметно от солдат к рабочим паровозного завода, чтобы двинуться с последними к нам на помощь. Пожав руку вождю вооруженного восстания, тов. Авилову, я вышел из помещения столовки.

На дворе завода комендант Николай давал последние распоряжения перед боем. Он отдал приказ немедленно очистить двор, где оставил лишь членов боевых дружин. Пришедшим на митинг он указал на мастерские завода, где можно было спрятаться от пуль и снарядов на случай обстрела завода со стороны войск. Я со своей стороны, увидев переносную лестницу, отдал приказ, чтобы ее приставили к окну второго этажа здания. Это я сделал на тот случай, если бы единственная лестница, по которой я поднимался на второй верхний этаж, была разрушена первым снарядом. А нам нужно было держать связь с боевыми дружинами, оставшимися внизу. Помещение верхнего этажа, куда я поднялся, представляло собой склад земледельческих машин, которые изготовлял завод. Отодвинув молотилки, сеялки и тому подобные машины в сторону от

окна, оставив свободный проход к лестницам, бойцы заняли места в простенках окон. У каждого из них карманы были полны разрывных снарядов. У каждого из них дымилась во рту папироска. Каждый наготове уже держал по бомбе в руке. Чтобы лучше наблюдать, видеть, когда, наконец, солдаты пойдут в атаку против нас, я занял простенок окна на самой середине помещения, как раз над воротами, через которые, по нашим расчетам, должны были устремиться против нас солдаты. Это был самый лучший стратегический пункт, но в то же время, как потом оказалось, самый опасный.

Метальщики бомб были все товарищи, мне мало знакомые, которых я редко встречал. Некоторых я видел здесь в первый раз. В ближайшем около меня простенке стоял также с бомбой в руках, как мне показалось, мальчик лет 16, с очень тонкими чертами лица. Всмотревшись ближе, я заметил, что это была девушка, переодевшаяся, чтобы принимать участие в боевых действиях, в мужское платье. Это была интеллигентка, как она мне сказала, сестра Бориса.

— Товарищ Наум, — сказала она мне, — смотрите, против нас ставят артиллерию. — Взглянув через окно, я увидел в самом конце обширной Конной площади, саженях в 250—300 от завода, серую линию солдат. Ближе к нам артиллеристы верхом на лошадях быстро под'езжали, делали поворот, распрягали лошадей и устанавливали два орудия. Все приготовления делались с лихорадочной быстротой. Видно было, как они наводили жерла пушек на завод. На миг прибежал к нам комендант Николай. Он отдал последний приказ, как обращаться с бомбами.

— Только по команде Наума, — говорил он, — когда он крикнет или, если не будет от гула выстрелов ничего слышно, когда он вам махнет рукой, вы, товарищи, начнете бросать бомбы в самую гущу солдат, когда они появятся перед воротами. До того момента и без команды вы не должны этого делать.

Он спустился вниз. Тотчас поднялись по лестнице к нам дружинники-меньшевики. Они проходили мимо нас и странными, тревожными взглядами оглядывали помещение. Я тотчас узнал среди них студента-технолога Неверова, Золотарева и других.

Настоящий, неподдельный страх лежал на их лицах. Они искали спасения.

— Наум, — спросил меня один из них, — нет ли тут какого-нибудь выхода, чтобы спастись, выйти незаметно от солдат с завода?

— А что решили внизу, в столовке? — спросила стоявшая

рядом со мной девушка.

— Большевики, а с ними и большинство дружинников решили дать сражение войскам. Мы, меньшевики, считаем это безумием и решили сдаться до принятия боя.

— Наум, смотрите, наши арестовали казака! — кричал мне один из товарищей, подошедший к окну, выходившему на двор завода.— Наум, его освободили, выпустили, взяв слово не стрелять в рабочих.

— Наум, — раздался в этот момент крик товарища, посланного комендантом, — готовьтесь к бою! Решили дать сражение!

— Хорошо, товарищ,— ответил я,— мы готовы.

Вдруг мы увидели через окно, как группа меньшевиков выкинула в ворота завода белый флаг, как один за другим они начали выходить на белую от снега площадь. Отдельные группы меньшевиков между тем все еще продолжали подниматься к нам в склад завода над воротами. Они торопливо пробегали мимо нас, внимательно осматривая все углы, и задавали товарищам-бомбистам, то мне, то сестре Бориса вопросы:

— Товарищи, скажите, нет ли отсюда, с вашего чердака какого-нибудь выхода?

Сестра Бориса, которой, очевидно, надоело им отвечать и которой стало противно видеть этих беглецов от революции, вдруг крикнула:

— Уйдите отсюда, презренные трусы! Разве вы не понимаете, что здесь вам не место? Ведь сейчас начнется бомбардировка завода. Вы, бегающие здесь в испуге, будете пронзены пулями и осколками снарядов. Бегите скорее отсюда. Здесь остаются те, которые решили победить или умереть. Уходите, трусишки! Ваше место вон там, среди тех, которые сдаются, — и она указала рукой на меньшевиков, продолжавших выходить с завода и сдаваться царским офицерам.

Наконец, сдались последние меньшевики. Остальная масса публики, пришедшая на митинг и попрятавшаяся по углам завода, очевидно, ничего не знала о возможности сдаться вместе с меньшевиками и осталась в отдаленных углах завода.

Немедленно, как только я услышал, что решено дать бой, я крикнул бомбистам:

— Выбивай, товарищи, окна!

Тотчас послышался звон выбиваемых стекол. Молотами, ударами бревна мы в одну минуту образовали род бойниц, через которые можно было свободно бросать вниз бомбы.

Как только сдались последние меньшевики, полковник

еще раз предложил оставшимся на заводе немедленно сдаться. Получив отказ, он отдавал последние распоряжения к осаде завода.

Все приготовления к бою были сделаны с обеих сторон. В восставшем заводе метальщики бомб стояли в простенках окон наготове со снарядами в руках. Во рту каждого дымилась папироска. Все они были наготове, чтобы зажечь фитиль и бросать вниз через бойницы бомбы в гущу солдат, когда последние пойдут на приступ. На площади также было видно, как пристав отводил в сторону сдавшихся меньшевиков. Последние чернели темной кучкой на белой скатерти снега, своего рода пятном на совести революционера. Наконец, раздалась последняя команда. По площади перед строем забегали офицеры, фельдфебели, унтерофицеры, каждый занимал свое место. Наводчики двух орудий еще раз навели жерла пушек на нас и стали заряжать орудия.

— Наум, — сказала мне вдруг сестра Бориса, — ведь мы сейчас умрем. Я всю ночь не спала. Я начиняла эти бомбы. Смотрите, — и она показала мне свои руки, сплошь желтые от динамита, — я не успела отмыть их. Окончив набивку их, я тотчас прибежала сюда. Я с радостью умру на этом опасном посту.

Слушая ее, я сознавал, что и я пришел на верную гибель, что и меня ждет неизбежная смерть, и тотчас, как и в девяностые годы, радость ожидания смерти охватила меня. «Как прекрасна смерть! — говорил я себе.— Смерть за торжество революции!».

Приятно было встретить такую самоотверженность со стороны девушки-интеллигентки. Я слушал ее и в то же время внимательно следил за тем, что делается внизу. Офицер, командовавший артиллеристами, что-то сказал, махнул рукой. Тотчас грянул выстрел, что-то ухнуло, ударилось в стену как раз в тот простенок, где я стоял. Здание, как мне показалось, зашаталось. Силою удара снаряда, отдавшегося сквозь стену, меня отбросило от стены. Тотчас раздался второй выстрел, третий, четвертый. Отбрасываемые ударами снарядов в сторону метра на полтора, мы снова немедленно подскакивали к стене, чтобы через несколько секунд быть снова отброшенными от нее. С потолка сыпалась известка, воздух наполнился густой красной кирпичной пылью. Тряслась стена, шатался под нашими ногами пол. Ухали орудия. Одновременно слышался сухой треск пулеметов и винтовок, пули которых пронизывали насквозь деревянные остовы молотилок и других сельскохозяйствен-

ных машин и летели дальше на двор завода, пронизывая заборы, ящики, деревянные стены.

— Держитесь, товарищи, — крикнул я. — Держись крепче, не отбегай от простенков! Будьте готовы бросать снаряды!

Но мой голос заглох под гулом пушечных выстрелов. Никто из товарищей не слышал моего крика. Каждый из них, отброшенный ударом снаряда от простенка, снова подбегал и инстинктивно прижимался к нему, прячась от пуль, врывавшихся, как рой пчел, в бойницы и пронизывавших все, что встречалось на их пути.

Я с нетерпением ждал атаки и ждал смерти. У меня было какое-то особенное повышенное настроение. Никогда, кажется, в жизни я не был так счастлив, как в эти минуты. Я только-что женился, любил жену, я страстно любил жизнь, но в данные мгновения я, как жених невесту, ждал смерти. Я ждал ее, как наивысшего счастья. «Какая честь,— думал я, — какое счастье умереть здесь за рабочий класс, за революцию, за будущий социалистический строй!» Революция представлялась мне в эти мгновения в виде прекрасной женщины. Я уже видел, как я вместе с другими товарищами бросил через бойницу одну за другой бомбы в серые ряды солдат. Но мы не удержали их; они ворвались. Я бросаю последнюю бомбу и умираю в блаженстве, с сознанием, что исполнил свой долг' Я падаю, пронизанный пулями. Но успеваю перед смертью воскликнуть: «Да здравствует революция! Да здравствует социалистический строй! Долой самодержавие!»

Но что это? В промежуток, который военное командование оставляло, на миг приостанавливая стрельбу, очевидно ожидая, что мы выбросим белый флаг, я услышал сильные стоны и призывы о помощи уже задетых пулями и осколками снарядов раненых товарищей. Они корчились от боли, свалившись на пол. По моему знаку они выползли на животе к люку, ведшему вниз.

В эти минуты я вдруг почувствовал, что я рожден солдатом, что во мне загорается жажда битвы, потребность испытать опасность, что во мне нет никакой боязни смерти.

Но опять что же там? Я обратил невольно внимание на то, что серая стена солдат, как стояла в начале обстрела, так и стоит на противоположном конце площади, не делая шагу в сторону завода и продолжая нас расстреливать.

«Так вот оно что, — решил я. — Военное начальство, царские офицеры поняли теперь ошибку, которую они допускали до сих пор. Военное начальство боится бросить про-

Группа политических заключенных Харьковской Холодногорской тюрьмы в 1906 г.

тив нас солдат. Оно до сих пор не уверено, что при близком соприкосновении с нами они не обратят винтовок против него самого. Оно, очевидно, предпочитает разрушить бомбардировкой завод, похоронить нас под его развалинами, и только тогда, когда от боевых дружин останутся жалкие остатки, когда будут перебиты все, оно решится бросить против нас солдат».

Две пушки между тем продолжали бить в стены завода и преимущественно в центральный простенок, где продолжал стоять я.

Я не терял надежды, что полковник, командовавший войсками, бросит, наконец, против нас войска в атаку. Но военное начальство, очевидно, понявшее теперь свои прежние ошибки, продолжало держаться против нас новой тактики. Избегая тесного соприкосновения солдат с нами, полковник посылал против нас снаряд за снарядом, осыпая в то же время непрерывным роем пуль из винтовок и пулеметов.

Наше положение, как стоявших на самом опасном месте, на которое наши враги обратили все свои разрушительные силы, все ухудшалось. Дрожали стены от ударов снарядов, колебался потолок над нами, шатался пол под нашими ногами. Все говорило, что через несколько минут наружная стена, которая еще защищала нас от выстрелов, рухнет и погребет нас под своими развалинами.

Правительство действовало наверняка. Осажденные на заводе предоставлены были только своей судьбе. Подмога, за которой, очевидно, ушел перед началом боя тов. Артем, была рассеяна недалеко от Конной площади казаками. Впереди всех бежал на казаков с паровозного завода Сигаев *. Он один из первых был ранен залпами, которые дали казаки по рабочим ХПЗ, спешившим на помощь осажденным на заводе Гельферих-Саде.

Я насчитал уже не менее 20 пушечных ударов. Войска попрежнему стояли вдали серой стеною, пушки ухали, раздавался сухой треск пулеметной и ружейной стрельбы. Пули попрежнему жужжали, пролетая мимо нас. Вдруг, после того как я оказался отброшенным особенно далеко ударом снаряда от простенка, у которого я стоял, послышался треск, все закачалось, и значительная часть стены во всю вышину помещения рухнула вниз. В тот же момент приостановилась стрельба. В воцарившейся тишине из облака все застлавшей кругом пыли я услышал голоса:

— Товарищ Наум, держаться больше невозможно! Скоро рухнет вся стена!

---

* Сигаев позднее оказался провокатором.

— Подождите еще немного, товарищи, — ответил я, — я узнаю решение штаба боевых дружин. Если придется занять другие позиции, я сейчас же сообщу.

С этими словами я спрыгнул вниз через противоположное окно и, очутившись на дворе, пробрался в столовку.

Внизу в столовке между тем происходило следующее. Ночь, проведенная без сна, сказалась на тов. Авилове. Когда войска так неожиданно вдруг окружили завод, он понял, что последняя надежда на восстание потеряна. Потеряна также надежда на успешный исход начавшейся на заводе Гельферих-Саде борьбы против войска. Особенно это ясно стало, когда все задрожало и заколебалось в столовке от грома первого выстрела из орудий. Скоро воздух на дворе завода наполнился так же, как и в нашем чердаке, густой сухой красной кирпичной пылью. Каждый удар пушки отдавался в его сердце и как бы говорил: «Все потеряно. Скоро придется сдаться, последуют глумления, издевательства врага. Сдаться, как сдались меньшевики, — нет, это невозможно!»

Стоявшие около него товарищи вдруг заметили, как неестественно изменилось его лицо. Его взгляд, как показалось тов. Алексею *, стоявшему против него, устремлен туда, откуда не возвращаются. Его рука машинально, под влиянием сверлившей его мысли, вынимала из кармана револьвер, из которого уже когда-то застрелился его брат, взводила курок. Еще мгновение, и, как показалось тов. Алексею, он выстрелил бы себе в лоб.

— Что вы делаете, что с вами, Пал Палыч? — воскликнул тов. Алексей, схватил его за руку, отнимая револьвер,

— Пал Палыч, что с вами? — вскричала одна девица, бросившись ему на шею и обвив ее руками.

Только тогда очнулся т. Авилов. Гордый, презиравший людей за их мелочность, за цепляние какой угодно ценой за жизнь, за мещанство, за трудность, он не мог допустить, чтобы другие заметили его слабые стороны. На его лицо легло опять выражение прежней решимости итти наперекор судьбе и выражение скептицизма, насмешливости и презрения.

— Оставьте меня, — сказал он, отстраняя от себя девицу. — Что там? — обратился он к коменданту. — Что с Наумом? Что делает его отряд со своими бомбами?

— Нельзя пробраться к ним туда. Пули пронизывают все по пути.

Но вдруг отворилась дверь, и я появился на пороге. Я

---

* Сергей Петрович Иванов.

заметил вопрос, который виднелся на лицах всех присутствующих.

— Есть ли какая надежда или все пропало?— спрашивали без слов выражения лиц и глаз всех присутствующих и в особенности тов. Авилова.

— Там, наверху, куда вы меня послали, мы держались до последней возможности — говорил я как-то особенно возбужденно и в каком-то экстазе, чувствуя себя как бы виноватым, что нам не удалось продержаться дольше, несмотря ни на что. — Все время тряслась стена от пушечных ударов, что-то трещало и ломалось кругом нас. Пол колебался. После каждого удара нас отбрасывало на полтора-два метра в пространство, через которое летели пули, осколки снарядов. Гул от выстрелов и кирпичная пыль была кругом нас такая, что ничего не было слышно и видно.

— Что же дальше! Да говорите скорее, Наум! — Перебил меня т. Авилов.

— Дальше? — говорил я, почувствовав какую-то необычную для себя потребность высказаться, говорить в этот момент. — Мы продолжали держаться, несмотря на то, что среди нас были уже раненые. Мы все ожидали, что войска пойдут на нас, на приступ. Мы не покидали нашей позиции, надеясь, что нашими бомбами нам удастся отразить приступ, внести в их ряды панику. Остальное доделали бы вы своей атакой. Превосходные в числе, бесконечно лучше вооруженные войска обыкновенно деморализуются при непосредственной встрече с восставшими, когда солдаты, защитники старого порядка, встречаются лицом к лицу с восставшими рабочими.

— Скорее, Наум, — перебил меня комендант. — Вы не на митинге! Ну, что же эти войска?

— Они продолжают стоять, не двигаясь, на противоположном конце Конной площади,— ответил я.— Не видя нас, они не нарушают воинской дисциплины, они подчиняются офицерам, непрерывно стреляют в нас из винтовок, пулеметов и двух пушек. Последние сделали уже свое дело. Стена, пол, где я стоял, вдруг со страшным треском и гулом рухнули в облаке известковой и кирпичной пыли. Я не знаю, каким чудом мне удалось во-время отпрыгнуть. Я воспользовался моментом и пришел вам обо всем рассказать.

— Что же вы думаете обо всем? Какое ваше мнение? — задал мне вопрос тов. Авилов.

— Я думаю, — отвечал я, — что военное командование будет продолжать стрельбу и разрушать завод. Через четверть-полчаса остатки стены рухнут. Затем пули и снаряды доберутся и до нас. Остается или умереть, или сдаться.

Если прикажете, я вернусь наверх, и мы будем держаться, пока не будем погребены под кучами кирпича.

— Я ставлю вопрос на голосование, — обратился тов. Авилов к штабу боевых дружин. — Вы все слышали рассказ товарища Наума. Для нас остались два выхода. Один — последовать примеру меньшевиков и сдаться. Другой — держаться до конца и погибнуть, как следует борцам за революцию, под пулями и под кирпичами падающих стен, которые неизбежно рухнут на нас. Я предлагаю второй выход.

— Нет,— возразил комендант, а за ним и тов. Андрей.— Мы исполнили свой революционный долг до конца. Мы не сдались по первому требованию, как меньшевики. Мы попробовали вступить в бой. Перед потомством и перед лицом истории мы сделали все. Военное счастье могло бы повернуть еще в нашу пользу. Я протестую против принесения себя в жертву. Я высказываюсь за сдачу. Надо торопиться с решением вопроса. Слышите!..

За стеной снова послышалась трескотня от выстрелов ружейных и пулеметных и гул от выстрелов из пушек. Голос говорившего заглох от шума выстрелов. Поспешно поставили вопрос на голосование. Большинство штаба высказалось за сдачу.

— Наум, — услышал я приказ коменданта, кричавшего мне над ухом. — Выбрасывай белый флаг!

— Но мне нужно снять товарищей, оставшихся наверху, — возразил я.

— Это сделаю я сам. Вы должны выкинуть белый флаг. Торопитесь! Слышите, какая стрельба!

АРЕСТ

На дворе завода, куда мы вышли из столовки, виднелась картина разрушения. Огромные крепкие заводские ворота были насквозь изрешетены пулями и наполовину сломаны снарядами. Следы пуль виднелись всюду на стенах, на стеклах, пробитых насквозь, на оконных рамах, на заборах. Воздух был насыщен кирпичной и известковой пылью. Слой этой пыли лег уже на лежавший на заводском дворе снег, принявший вследствие этого красноватую окраску.

Я оглянулся кругом. Я находился еще в состоянии высшего воодушевления, родившегося во мне и укрепившегося во мне во время пребывания под пулями и снарядами на верху заводского здания. Я не испытывал ни малейшего страха под пулями, продолжавшими летать и жужжать по двору. Как истый солдат революции, я пошел бы, не рас-

суждая, в самое опасное место. Если бы комендант сказал мне, чтобы я вернулся наверх, я, не возражая, немедленно отправился бы туда. Теперь он мне отдал приказ выбросить белый флаг, я исполнял это поручение под пулями.

— Но откуда взять белую материю, нигде ничего не видно? — спросил я.

— Стойте, Наум! — вскрикнул тов. Димка. — Я вам помогу! Надо сорвать занавес с окна.

Быстро сорвав ее, он принес мне. Мы вместе с ним ее нацепили на длинную жердь. Димка отворил ворота и я выбросил вверх белый флаг. Тотчас по знаку, данному полковником, прекратилась стрельба, от линии солдат отделилась группа военных санитаров и побежала к воротам.

— Есть у вас раненые? Где они? — спрашивали они.

— Идите туда, на двор завода, — сказал я им.

Я находился в каком-то забытьи. В моих ушах попрежнему раздавались еще грохот выстрелов, жужжание пуль, треск ломающихся и рушащихся стен, пола, потолка. Я видел себя попрежнему стоящим в простенке у окна, с бомбой в руке, готовым бросить ее и или победить, или погибнуть. «Я жив, — думал я. — Мы сдаемся. Как жаль! Был упущен такой прекрасный момент умереть за революцию!».

— Наум! Наум! — услышал я голос тов. Гринченко. — Что же вы стоите и спите? Комендант Николай велел мне вас разыскать. Он, Пал Палыч, Андрей, Захар, Димка — все почти наши дружинники успели уйти через боковую калитку и через ограду. Скорее, пока не поздно!

Мы бросились к калитке, о которой говорил товарищ.

— Скорее! Скорее! — кричал т. Гринченко. — Опоздаем!...

Мы торопились, бежали, спотыкались, снова бежали. Наконец, мы достигли калитки, о которой говорил тов. Гринченко.

— Здесь! — услышал я тов. Гринченко, бежавшего впереди меня.

Но мы уже опоздали: мы упустили благоприятный момент. Калитка оказалась запертой. Мы пробовали перемахнуть через забор. Но всюду с этой стороны завода, где не было совсем войск во время бомбардировки, теперь стояли солдаты и казаки, направлявшие на нас дула своих ружей и кричавшие:

— Назад, забастовщики, стрелять будем!

— Эх, эх, Наум, Наум! — упрекал меня Гринченко. — Из-за вас и я теперь опоздал!

Между тем на заводском дворе на красноватом от кирпичной пыли снегу, усеянном ветками деревьев, обломками досок, оторванными во время бомбардировки осколками

снарядов и пулями, собралась толпа тех, которые, как случайные участники происшедшего, сидели, попрятавшись, по отдельным мастерским завода. Они образовали очередь, голова которой находилась в воротах. Среди них находилась и главная масса боевиков, которым так же, как и мне, не удалось убежать через заборы. Они сдавались. Впереди перед воротами завода стоял рядом с городвым невзрачного вида агент охранки, переодетый рабочим. Охранник, чрезвычайно походивший по внешнему виду на рабочего, и притом самого серого рабочего, очевидно, для того, чтобы лучше проникнуть на митинги и всюду, где бывают революционеры, сортировал выходящих. Троим, четверым, а иногда и пятерым и шестерым он давал возможность проходить налево, значит, на свободу, затем одного-двух он заставлял итти направо, на площадь, на которой вдали попрежнему виднелась линия солдат и на которой черным пятном выделялись попрежнему арестованные, сдавшиеся добровольно до бомбардировки меньшевики. Отпущенные охранником на свободу люди направлялись налево, вдоль забора завода, до конца площади. Они быстро шли, как бы боясь, чтобы их не вернули обратно и затем, повернув еще налево, исчезали за стеной из поля зрения.

«Счастливые! — думал я. — Хорошо, если бы охранник ошибся и меня тоже направил в ту же сторону».

— Наум, — шепнул мне Гринченко, — когда мы стали в очередь, — видели? Не всех арестовывают. Большинство освобождают. Может, и мы попадем в их число. Вот было бы хорошо!..

Только стоя в очереди сдававшихся в плен врагу, перед своего рода евангельским судилищем, где судьей был, по всей вероятности, переодетый жандарм, «отделявший овец от козлищ» и посылавший последних в тюрьму, я очнулся и пришел, наконец, в себя. Под'ем, воодушевление, энтузиазм проходили. Суровая действительность вырисовывалась передо мной во всей ее неприглядности.

«Прощай, воля, свобода, — думал я. — Что ждет нас? Может, немедленный расстрел? Так было после подавления восстания коммунаров в Париже. Но ведь он не арестовывает всех, — думал я, видя, как охранник продолжал на одного арестованного отпускать четырех-пятерых на свободу в левую сторону. — А что если на самом деле он ошибется».

В этот момент я стал жить надеждой, что он ошибется. Я стоял уже у разбитых ворот завода, у груды кирпича, которая лежала слева, образовавшись от обрушившейся вследствие недавней бомбардировки стены, прислонившись к которой я еще так недавно стоял с бомбой

в руках. Наконец, я стою перед самим охранником. Стоявшего передо мной рабочего он пропустил влево. Я тоже сам, не дожидаясь его жеста, шагнул в ту же сторону.

— Вы куда? — остановил он меня. — Вам не туда! Вам направо! Пожалуйте, направо!

— Зачем направо? — пробовал я возражать. — Мне налево! Я совершенно случайно попал на этот митинг.

— Нет, — возражал охранник. — Я знаю, что делаю. Вам нужно направо. Не задерживайте! Скорее! — И он, взяв меня за руку, передал городовому.

Отводимых направо, и меня в том числе, присоединили к группе сдавшихся до боя меньшевиков.

— Переписали вас? — спросил я одного из них. — Когда вас арестовывали, спрашивали ваши фамилии или нет?

— Нет, — ответил он.

— Тогда они совершили ошибку. Я предлагаю, если нас не расстреляют немедленно, отказываться в течение трех дней называть свои фамилии и непременно за все время ареста и следствия ни в коем случае не говорить, кто в какой группе вышел из завода. Это спутает карты у следствия и не даст возможности установить виновных *.

КАЗАРМА

Уже вечерело, короткий зимний день приходил к концу, когда нас под конвоем солдат погнали в казарму Богодуховского полка, находившуюся неподалеку от завода, в которой и были укрыты солдаты, окружившие завод.

— Вот вам и забастовка! — произнес не то насмешливо, не то с сожалением высокий унтер-офицер, пропускавший нас через ворота казармы.

— Что сейчас будет с нами, Наум? — спросил меня тов. Дубровин.

— Надо готовиться к тому, что нас сначала самым свирепым образом изобьют и затем расстреляют, — ответил я.

Но ни того, ни другого не произошло. Нас заперли в пустую казарму, дали даже соломенные матрацы. Как только нас заперли, приставив часовых, я немедленно провел в

* Тактика пассивного ожидания, примененная восставшими 12 декабря 1905 года в Харькове, является наглядным доказательством отсутствия военных талантов среди восставших революционеров. С такими солдатами революции, какими были мы, с тою решимостью умереть за дело революции, какая замечалась у нас, можно было бы применить тактику активного наступления. Смелая вылазка отряда, вооруженного бомбами, могла кончиться захватом двух пушек, оставшихся без прикрытия. В таком случае военное счастье могло бы повернуться в сторону революции.

казарме постановление: во-первых, на случай обысков на наших квартирах, чтобы дать возможность очистить их от нелегальщины и избежать новых арестов, не называть свои фамилии в течение трех суток; во-вторых, на допросах держаться единой тактики, рекомендуемой II с'ездом нашей партии, особенно не давать никаких указаний, которые помогли бы следствию выяснить, кто вышел в первой, а кто во второй группе. Последнее было особенно важно, ибо, поскольку первая группа выявила бы себя, тем самым она подводила бы вторую под каторжные работы и под расстрел. Меньшевики дали слово, что они не подведут большевиков, вышедших уже после принятия боя.

На другой день к нам в казарму явился военный врач Николаев, хорошо знакомый многим из арестованных студентов, членов меньшевистских боевых дружин. Он согласился взять от нас и передать в организацию целый ворох писем Его поведение, в данном случае, является еще одним лишним доказательством, до какой степени оказалась разложенной правительственная машина в период революции в конце 1905 года.

ТЮРЬМА

Через трое суток, поздно вечером, в сильный мороз под конвоем кавалерии и пехоты нас перевели в Харьковскую губернскую тюрьму, где нас пытались поместить в подвальную, сырую, так называемую «японскую» камеру, где царствовал полумрак. После энергичного протеста мы добились перевода в лучшие помещения. Часть из нас получила более чистые, светлые и сухие камеры во втором этаже; другую часть перевели в одиночный корпус. То обстоятельство, что среди нас находились сыновья харьковской буржуазии, отразилось на общих условиях нашего существования. В виду того, что в общих камерах не полагалось нар для спанья, которые после одного из бунтов арестантов были уничтожены, тюремное начальство разрешило так называемому «родительскому комитету», образовавшемуся из богатых родственников некоторых студентов, заказать для нас особые складные кровати. «Родительский комитет» также получил разрешение доставлять нам ежедневно горячую пищу. Вскоре мы начали получать и свидания с родственниками. Из рассказов последних мы узнали, что восстание в Москве было также подавлено. «Москва расстреляла свои патроны», — гласило извещение. Также мы узнали, что в первую же ночь после подавления восстания в Харькове на заводе Гельферих-Саде тов. Авилов собрал на Сабуровке (психиатрическая больница, превратившаяся в

своего рода штаб революции) штаб боевых дружин и предложил перейти немедленно к партизанской войне. Вообще тов. Авилов являлся апостолом вооруженного восстания в Харькове и главным его организатором. Слово у него не расходилось с делом. Он не только вел борьбу за восстание,— он сам принимал участие и в борьбе на баррикадах, и в военной демонстрации 23 июня, и в восстании на заводе Гельферих-Саде. Даже когда вопрос шел об экспроприациях, у него слово не расходилось с делом. Он готов был взять бомбу и сам лично бросить ее в казачий раз'езд. Казаки после одной подобной атаки перестали ездить по городу сомкнутым строем.

Тов. Лиза стала приходить ко мне на свидание в тюрьму. Разложение правительственного аппарата сказывалось и на порядках в тюрьме. Камеры в одиночном корпусе не запирались с 7 час. утра до 11 час. вечера. Письма мы получали и передавали через родственников на свиданиях. Надзиратели делали вид, что не замечают, как мы получаем письма от лиц, приходивших на свидание, и как передаем их им. родственникам, минуя прокурорский надзор. Кроме того, ежедневно нам доставляли письма в той пище, которую нам приносили от «родительского комитета». Обычная похожая на могильную тишина, которой отличались тюрьмы при царизме, была совершенно нарушена нами: громкие разговоры, смех, пение революционных песен раздавались в камерах тюрьмы с утра до вечера и слышались далеко за пределами ее.

— Тридцать лет служу я здесь, — говорил нам один старик-надзиратель, — и никогда здесь ничего подобного тому, что теперь происходит, и в помине не было. Разве это тюрьма? Это гостиница! Камеры не закрыты. Арестанты то и дело ходят друг к другу, никаких правил не соблюдают. Чистая беда! Наверно скоро настанет-таки светопреставление!

ПОДГОТОВКА К ПОБЕГУ

Весною неожиданно на прогулке мы увидели тов. Авилова. Встревоженные товарищи передавали друг другу неприятное известие:

— Знаете, товарищ Пал Палыч арестован!

Все мы отлично понимали, и он в том числе, что если охранка подозревает или раскрыла, что он является участником самых дерзких предприятий партизан, ему не избежать долгосрочной каторги, а может быть и расстрела. Он сам, собрав нас на тюремном дворе, где мы получили

право находиться на прогулке с утра до вечера, набросал план побега из тюрьмы.

Более всего улыбалось бежать со свидания, замешавшись в толпе родственников при их выходе из тюрьмы по окончании свиданий. Так как после одного или двух побегов, совершенных таким образом, тюремное начальство ввело строгую проверку лиц, приходящих на свидания, при входе и выходе из тюрьмы, этот способ побега мы решили оставить. Решено было, что он бежит при помощи веревочной лестницы через тюремную стену. Лизе Большой, приходившей ко мне на свидания, было поручено принести в тюрьму и передать мне четыре револьвера, небольшой стальной якорь и веревочную лестницу. План был рискованный. Можно было влететь еще при передаче на свидании этих вещей. Решено было приносить все это по частям. Сидевшие в тюрьме большевики должны были в комнате свиданий остановиться между надзирателями и мной и Лизой, чтобы не дать заметить, что она мне передает. Лиза обещала все это сделать. Но она просила на время отложить это предприятие, пока ей не удастся куда-нибудь спрятать чемодан с динамитом, хранившийся в ее комнате под кроватью.

Когда, наконец, чемодан с динамитом убрали из комнаты Лизы, тов. Авилов сам своим характером испортил все дело. Ни с того, ни с сего он, к нашему удивлению, поссорился с надзирателем нашего коридора. Этот надзиратель был не из худших, а пожалуй что и из лучших. Хотя временами он был грубоват, мы с ним превосходно ладили. Он оказался более снисходительным к нашим нарушениям тюремных правил и более чем другие склонен был смотреть на них сквозь пальцы. Даже после 11 час. вечера он выпускал нас по-двое, по-трое в коридор тюрьмы. Этой доверчивостью его к нам мы и решили было воспользоваться. Мы думали, что нам удастся его обезоружить, связать, отобрать от него ключи, выйти на тюремный двор с револьверами и веревочной лестницей, зацепить последнюю при помощи якоря, подняться по ней и бежать через тюремную стену. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы уговорить тов. Авилова помириться с этим надзирателем, тем более, что прямой интерес дела требовал этого, тем более, что и поссорился-то он с этим надзирателем из-за щетки. Авилов читал, когда надзиратель вошел и сказал:

— Ну-ка, ты брось книгу, подмети у себя камеру.

— Убирайся к чорту, грубый царский холоп, — ответил ему т. Авилов, выбрасывая за дверь половую щетку, которую ему протягивал надзиратель, — я тебе не кум и не сват, чтобы ты меня мог называть грубо... на ты.

— Ну, что вам стоит, Пал Палыч, — говорили мы, когда узнали о происшедшем от надзирателя, — взять щетку и подмести пол в вашей камере, как этого хочет этот надзиратель? Это же — мелочь, а от нее зависит ваш побег. Мы все умеем же избегать ненужных трений и ладить с ним.

Но все наши попытки помирить тов. Авилова с надзирателем кончились полной неудачей.

— Нет, — неизменно отвечал тов. Авилов, — я не могу позволить этому тюремщику оскорблять меня. Я, как вам известно, не являюсь сторонником христианской морали и не намерен подставлять правую щеку после удара в левую.

Для меня являлись совершенной новостью эти стороны крайнего индивидуализма в характере человека, являвшегося по сути дела тогда одним из выдающихся работников партии.

Вследствие этой ссоры произошло то, что в тот день, когда Лиза заявила мне, что она готова принести в тюрьму револьверы и веревки, тов. Авилов был неожиданно переведен из одиночного корпуса в другое помещение. Так как мы были разобщены друг от друга, план этот рухнул. Вскоре опасение, что охранке известно что-нибудь из деятельности тов. Авилова, не подтвердилось, так как тов. Авилов в один прекрасный день был освобожден из тюрьмы. Подготовка к побегу, револьверы и веревки — все это уже не было нужно.

Продолжая сидеть и томиться в тюрьме, я все более приглядывался к товарищам по заключению. Харьковские передовые рабочие, сидевшие в тюрьме, производили чрезвычайно хорошее впечатление. У них выросло сознание своего достоинства. Они уже научились отстаивать свою личность и держали себя без унижения перед начальством. Также чрезвычайно хорошее впечатление производили руководители боевых групп со ст. Люботин, как Зеленский и другие. Сам предводитель знаменитой Люботинской республики, которую полковник Эммануэль брал артиллерийским огнем, Кирста, не потерявший тогда еще своих хороших черт человека и революционера, пел вместе с тов. Зеленским грустным напевом песню про «долю». Поющий в этой песне спрашивает себя, где же его доля, которую он ищет всюду долго и упорно и не находит. «Может, она за горами, — говорили слова песни, — может она за лесом, может, она скрывается в хоромах панычей»...

С тяжелым выражением на лице слушали эту песню арестованные за экспроприацию студенты: Крутов, Новожилов, Коваленко, Ушацкий, Галкин, ждавшие каторги или расстрела.

Кроме этих студентов сидел в Харьковской тюрьме гимназист, убивший за избиение заключенных одного из приставов, прозванного за толщину «Бочка».

Несмотря на хорошие сравнительно с Тверью и В.-Волочком условия в Харьковской тюрьме, особенно в смысле пищи, доставлявшейся «родительским комитетом», я часто испытывал сильнейшую щемящую душу тоску, особенно весной и наступившим летом, вечерами, когда догорал и гас яркий южный закат, когда загорались в небе звезды и ветерок доносил вместе с наступившим вечером мелодичные звуки украинских песен. В ярко-красных красках заката, густыми сочными мазками ложившихся на небе, в сиянии мигающих звезд, в отзвуках людских голосов и в особенности в задушевном смехе молодых девушек доносились до меня вести о жизни на воле, казавшейся более заманчивой из-за железной решетки, чем это было на самом деле.

Еще тяжелее стало, когда начали выпускать по нашему делу под денежный залог товарищей. Меня долго не соглашались отпустить. Кажется, что мне помогла в этом отношении Софья Николаевна Афанасьева*. Она была пропагандисткой нашей партии. В 1905 г. она не являлась, как многие, новичком в революции. Она уже была в ссылке в Сибири, откуда бежала за границу, где познакомилась с Лениным. Трудно было себе представить более преданного революции и более симпатичного человека, чем она. Однажды, как свидетельствует Постоловская-Дроботова, исполнявшая вместе с Александрой Валерьяновной Мечниковой обязанности технического секретаря Харьковского комитета большевиков, С. Н. Афанасьева принесла принадлежавшие ей полученные ею от матери деньги, 5 000 руб. золотыми монетами, свое наследство, и сдала его в пользу партии.

Упадок духа стал заметен очень сильно у беспартийных рабочих, арестованных случайно на заводе. На последней неделе великого поста многие из них решили исполнить религиозный обряд — исповедываться и причащаться. Партийные рабочие позвали меня и с церковных хор показали мне их, стоящих в очереди у попа для исповеди.

— Что делать с ними, тов. Наум? — спросили они меня.

— Я думаю, что надо стараться, чтобы влияние попа не сказалось на них в том смысле, чтобы они не начали давать показания.

Предупреждение, сделанное им в этом смысле товарищам, возымело на них свое действие. Они просидели до конца

---

* С. Н. Афанасьева — в революционном движении с 1897-1898 г., арестована была несколько раз, привлекалась по процессу «Искры». По-

дела, не рассказав, в какой группе они вышли из завода после сдачи его властям.

Летом в тюрьму привели тов. Алексеича (Лозовский). Время-от-времени мы узнавали, что тов. Артем, тов. Авилов Б. В., интендант Алексей, комендант Пальчевский, рабочий Сашка Садевский и другие совершали чудеса храбрости революционного мужества в партизанской войне, переодеваясь, скрываясь, преодолевали тысячу непредвиденных трудностей, убегали из-под носа жандармов, их искавших.

Наконец, в июле 1906 г. одним из последних, под денежный залог в 300 руб., внесенный С. Н. Афанасьевой и переданный через «родительский комитет», я был выпущен из тюрьмы.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ТЮРЬМЫ

— Вас освободила харьковская судебная палата, — говорила мне С. Н. Афанасьева, — а охранка вас намеревается арестовать. Приезжайте ко мне в «Крутояровку» с товарищем Лизой. Там у моей матери вы отдохнете и укроетесь от полиции.

Дом помещиков Афанасьевых, выстроенный не меньше чем за сто лет до описываемых событий, очень старый фруктовый вишневый сад, пруд в саду, служебные постройки, сами обитатели дома, кроме С. Н. и ее матери, — все здесь говорило о дряхлости, затхлости, гниении и медленном умирании. Дом, одноэтажный, из дубовых бревен, простой архитектуры, от времени покосился, покривился и с внешнего вида смотрел плешивым, дряхлым стариком. В комнатах пахло сыростью, гнилью. Половицы гнулись и, казалось, жалобно скрипели. После томительных дней тюремного заключения мне было душно в нем, и меня тянуло всегда уйти из него в сад или на простор полей...

В саду загнивал и покрывался плесенью большой пруд с купальней на его берегу. Преданье гласило, что когда-то, еще при крепостном праве, из него били ключи. Вода была холодна и прозрачна. В пруду водилось много рыбы. Соседний помещик, с земли которого протекали в пруд ключи, поссорившись с владельцем пруда, на зло ему, чтобы досадить своему сопернику, взял да и перекопал эти ключи. С той поры запустенье все более проникало в усадьбу. Обширные пахотные земли мать Софии Николаевны, по на-

сле побега за границу примкнула к большевикам. Работала в России нелегально, была членом петербургского комитета большевиков, исполняла обязанности, замещая т. Землячку, секретаря бюро комитетов большинства.

стоянию последней, продала по дешевой цене соседним крестьянам, хотя одновременно со стороны купцов и кулаков было предложение продать их им по очень высокой цене.

«На что нам эти земли? — наверно думала Софья Николаевна.— Моя мать, сестры, наверно, скоро умрут. Что касается меня, я — революционерка-большевичка».

Помещичий род Афанасьевых вымирал. Особенно видно было это на сестре Софьи Николаевны, больной какой-то тяжелой нервной болезнью.

ОПЯТЬ ОДЕССА

Я уехал в Одессу. Здесь я лечился от сильного ревматизма на Хаджибеевском лимане. Мимо грязелечебницы проходила дорога. Вечером, когда возвращались с полевых работ крестьянские парни на телегах, доносилась песня:

«Вставай, подымайся, крестьянский народ!
Вставай на врага, брат голодный!»

Несмотря на это, чувствовалось, что революция пошла на ущерб. После неудач с «Потемкиным», страшного еврейского погрома в Одессе, длившегося, начиная с 18 октября, четыре дня и унесшего не менее 800 убитыми и 5 000 ранеными, воскресившего страшную Варфоломеевскую ночь, в городе усилились меньшевики и появились анархисты. Жена присяжного поверенного Г., собиравшая при «Дяденьке» средства для комитета среди буржуазной публики и достававшая нам квартиры для собраний, заявила мне, когда я разговаривал с ней на квартире ее мужа:

— Я, Наум, больше не большевичка. После потемкинских дней я не могла больше оставаться с этими авантюристами, хотевшими подвергнуть город бессмысленной бомбардировке. Подумайте, что было бы тогда!.. Какой погром тогда устроили бы черносотенцы! Нет, я работаю теперь с меньшевиками.

— Вы ошибаетесь, — ответил я. — Если бы тогда решились на бомбардировку с захватом города, с восстанием во всем Черноморском флоте, наверно, самодержавия не существовало бы и не были бы возможны погромы.

В порту, куда я направился побродить, лавочница-еврейка рассказывала, как она избавилась от погрома.

— Как начался этот погром, мы дрожали, как в лихорадке, и все ожидали, что и к нам придут громилы, что и нам не миновать расправы. Мы закрыли лавочку, заперлись, и как только кто-нибудь останавливался перед нашими дверьми, мы дрожали от страха. Первый день прошел благополучно. «Слава богу», — говорит мой бедный муж. «Подожди еще!» — отвечаю я ему. Наконец, настал длинный, без

конца следующий день 19 октября. Настала и ночь. Мы не спим... Ждем... Наконец, ночью слышим — идут. Остановились. Не меньше, как трое. «Отворяй,— слышим,— жидовка! Мы сейчас вас всех убьем, а лавку разграбим! Такой, слышь, приказ от начальства, чтобы, значит, жидов бить и товар их грабить». Вижу, муж мой страшно испугался, слова не может промолвить, затрясся весь. Я одна не растерялась. «Подожди,— говорю,— я, может, поправлю еще дело». Слышу я, что голос знакомый. Вспомнила я, кто это. «Васька,— говорю ему сквозь дверь,— как тебе не стыдно! Ведь ты у нас всегда, когда у тебя денег не было, брал в долг. Ты приходил, покупал, и мы никогда денег с тебя не спрашивали, если их у тебя не было. Как же ты теперь нам за добро хочешь отплатить? Ну, убьешь нас, ограбишь, пропьешь, а тогда к кому придешь в долг брать, когда у тебя денег не будет?» Слышу, говорят они друг с другом. Васька говорит другим: «Слышь, ребята, не стоит здесь грабить: наша эта жидовка. Пойдем в другое место или лучше всего в город, ребята. Там побогаче кого-нибудь ограбим». Так и ушли, оставили нас. Вот как избавились мы от погрома,— закончила она свой рассказ, и лицо ее озарилось радостной улыбкой. На нем отражалось сознание счастья и радости, что она жива. Так же радостно-счастливо улыбался ее муж, сидевший в углу лавочки.

Уезжая из Одессы, я увез с собой воспоминание о ярком солнечном свете утром, о горящих, как огромные брильянты, звездах на почти черном небе ночью, о море с его необозримым простором, с его волной, набегающей на берег.

Еще по выходе из Холодногорской харьковской тюрьмы товарищи Мерцалов и Грамматиков, Афанасьев и др. советовали мне на полгода или на год уехать за границу.

— Судебная палата вас освободила, а охранка вас завтра арестует, — говорили они. — Поезжайте в Бельгию. Вы — рабочий. Там развита металлообрабатывающая промышленность. Сами — вы рабочий-металлист. Рабочие-бельгийцы настолько сочувствуют нашей революции, что собирают даже деньги на нашу революцию. Кроме того, из Бельгии доставляют нам для революции оружие.

«Если охранка арестует, значит грозят мне каторжные работы, — думал я. — Пожалуй, будет благоразумнее уехать в те почти сказочные страны старой культуры, где происходили революции, где рабочий класс давно уже ведет борьбу за свое освобождение». Сидя на скалах у Ланжерона, на берегу Черного моря, прощаясь с красочными берегами этого моря, я чувствовал все усиливающееся во мне желание увидеть эти страны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 1.

Письмо № 12 рег. 47.

ПИСЬМО А. С. ШАПОВАЛОВА ТОВ. ЛЕНИНУ В 1905 Г.

Отчет ответственного организатора Вокзала, Фонтана и Дальника.

Отчет через Нацию № 2 о соц.-дем. работе я могу дать с последних чисел апреля и до 2 июня, затем с 1 июля и по настоящее время. Отчет этот не может быть полным и подробным, так как все записки были уничтожены во время ареста секретаря района: Дальник, Вокзал и Фонтан. Всей работой руководит районный центр. Первое время состав его был довольно неудовлетворителен. В нем было 6 рабочих централистов, 2 подорганизатора и организатор. Собирался он по 2 июня 6 раз. Затем на Дальнике и Вокзале были два центральных кружка. Дальницкий кружок руководил работой на 10 заводах: Гена, цементный, маслобойный, кожевенный, сахарный, Мюллер, пробочный, сцепщики, стрелочники и телеграфисты. Вообще охватывал ж.-д. мастерские и депо. На Фонтане у нас только завязались связи. Заводские центры, кроме Вокзала, были у Гена, в цементном, маслобойном, у сцепщиков и телеграфистов; называются эти центры группами, была еще смешанная группа, в которую входили заводы: Нотович, Кац, Келлер, каменщики и слесарная мастерская. На остальных заводах у нас были связи. Они были в общей сложности на 22 заводах. На сахарном заводе, на джутовой фабрике и на Фонтане организовались группы. Первое время особенно много усилий пришлось употребить на борьбу с неорганизованностью, которая проникала все сверху донизу. Пропаганда на летучках и в кружках велась без всякого плана. Пропагандисты работали без всякого плана и руководства. Каждый из них говорил, что бог на душу положит. Один говорил о развитии и возникновении крепостного права, другой — о первобытном коммунизме, третий — о национализме. От этого рабочие получали не знания, а какие-то обрезки знаний; им излагалось не стройное мировоззрение, а какая-то каша. Пропагандисты района видели корень зла в ответственном руководителе Михаиле Эммануилове и неоднократно требовали, чтобы я заявил от имени района в К-т, чтобы Михаила убрали. Не имея в руках фактов и не зная тов. Михаила, я не обратил внимания на их заявления, и их голос долго оставался «гласом вопиющего в пустыне». Агитация также велась без всякого руководства, не была централизована. Районные агитаторские группы долго не были организованы. Во время забастовки, когда была страшная нужда в агитаторах, ответст-

венного агитатора Михаила нельзя было найти. Распространение листков и литературы тоже не было организовано. Только за последнее время, незадолго до провала, была организована техническая группа. До этого централисты, которым приходится вести агитацию, заводить новые связи, организовывать летучки, массовки и кружки, сами ходили за литературой, носили ее к себе, хранили ее в своих квартирах и сами распространяли. Пропаганду поставить мало-мальски удовлетворительно так и не удалось, так как ответственным пропагандистом до последнего времени был тот же тов. Михаил. Дело с агитацией пока удалось несколько двинуть. Была организована агитаторская районная группа. Затем для распространения листков была устроена техническая группа. Кроме того, мне было поручено сделать все возможное для создания политических клубов. Эти последние не могли осуществиться за неимением квартир. В самом начале, т. е. в апреле и мае, пришлось посвятить все время на самооборону, ибо тогда можно было ожидать еврейского погрома. Самооборона была организована довольно плохо и могла иметь лишь агитационное значение. Затем с первых чисел мая началась забастовка, продолжавшаяся полтора месяца. Подробный отчет о ней можно иметь в бюллетенях, переданных в К-т. В это время главное внимание было обращено на агитацию, на использование стачки, на завязывание связей. На практические занятия в центральных кружках и в заводских группах и на пропаганду не было времени. Явочные квартиры района функционировали в это время каждый день. Оттуда рассылались агитаторы, туда сходились все сведения, и там писались бюллетени и составлялись листки. Листков в это время район выпустил 8—10. Во время стачки нам во всем Дальницком районе нигде, за исключением вокзала и Вальтуха, не пришлось столкнуться с меньшевиками. Их не было там видно; везде стачкой руководили мы. На Вокзале наши дела в это время тоже очень поправились. Работа шла. Центральный кружок собирался для правильных занятий 6 раз. 3 вокзальных группы собирались 3 раза. 3 кружка пропаганды собирались в общей сложности 12 раз. Массовок было 6, на первую явилось 9 человек, на вторую — 18 чел., на третью — 20 чел., на четвертую — 25 чел., на пятую — 30 чел., на шестую — 35 чел. На Дальнике наши ораторы говорили у заводов, в трактирах, и за городом в саду, на Балковской улице. 2 митинга были в 200 человек. Связи со сцепщиками, телеграфистами и жел.-дор. мы не могли использовать. У К-та не было на это ни сил, ни средств. Дискуссии не смогли устроить за неимением квартиры, а также из-за нежелания меньшевиков. Последние в борьбе с нами попрежнему прибегали к демагогическим приемам. В то время, когда велись переговоры о соединении на время стачки, с отколовшейся группой и Бундом, район высказался категорически против об'единения ввиду того, что в тех заводах, где происходили стачки, у меньшевиков не было никаких связей. Вообще во время стачки работа у нас хорошо налаживалась. Большим препятствием являлся недостаток денег и квартир. В середине мая комитет неожиданно для себя, вследствие того, что финансовая часть не была организована, оказался буквально без гроша денег. Это заставило многих централистов и групповиков уехать из Одессы или поступить на работу в другой (район) части города и фактически уйти из организации. Второй, самый страшный удар был нанесен во время моей болезни 2 июня. Тогда была арестована вся Дальницкая организация. Взяты были все ораторы, централисты, организаторы и пропагандисты. На сносной квартире было арестовано 4 000 листков. Через несколько дней провалилась у комитета техника*. Это еще более ухудшило по-

* Подпольная типография.

ложение дела. Я был болен. Комитет послал двух товарищей, но без централистов, они ничего не могли сделать. Вследствие того целый месяц и даже больше работа на Дальнике не велась. Арест всей Дальницкой организации 2 июня, военное положение, аресты и высылки, отсутствие денег, квартир, техники,—все это отразилось самым пагубным образом на работе. Организация, созданная с таким трудом, была уничтожена. Приходилось созидать новую, начинать неблагодарную кустарническую работу. Это было чрезвычайно трудно. Военное положение нагнало страшную панику. Все лучшие централисты отказывались работать и собирались уезжать. Те, которые собирались работать, не могли собираться за отсутствием квартир. Приходилось встречаться и сталкиваться с отдельными лицами на улице. Только к концу июня удалось собрать районное собрание. На Вокзале организовано 3 кружка, но они по тем же причинам, о которых я говорил выше, собираются не в полном составе или очень нерегулярно. На Дальнике восстановили связь с цементным заводом, у Гена, на маслобойном, у Мюллера, на пробочном, у Беллера, Вальтуха, телеграфистов, на кожевенном, сахарном, джутовой фабрике. Все листки ЦК, брошюры, местный листок,—все это распространено. Но технической группы нет и сейчас; ее создать трудно. Группы агитаторов, политический клуб можно будет создать только в будущем. Летучки устраиваются у Вальтуха, Беллера, Энгеля, Мюллера. Имеется пропагандистский кружок на цементном заводе. Скоро будет на маслобойном и кожевенном. Районное собрание собиралось 2 раза. Один раз обсуждалось положение дел. Собрание отнеслось с осуждением к нерешительной, ошибочной тактике Об'единенного комитета во время пребывания броненосца «Потемкина». Во втором собрании обсуждалась резолюция III с'езда.

Собрание вынесло резолюцию, признающую III с'езд партийным, выразившую солидарность с его решениями и надежду на присоединение отколовшейся части партии ввиду того, что с'ездом сделано все возможное для об'единения. Денежные взносы привлваются страшно трудно. Об'ясняется это тем, что рабочие во время стачки очень задолжали и обеднели. Что касается вооружения, то это здесь возможно только среди самых передовых и преданных товарищей. В общем хотя медленно, но работа опять налаживается. Во всем районе, как ни плохи дела, но они все-таки лучше, чем у меньшевиков. У них связей больше разве только у Вальтуха. Имеются связи на Вокзале, но меньше, чем у нас. На котельных заводах их связи замечаются. Можно с уверенностью сказать, что, если бы у нас были деньги, можно было бы их всюду вытеснить. У них нет, конечно, и не может быть сознательных рабочих. Имеются еще неразобравшиеся в партийных разногласиях молодые рабочие, сбиваемые с толку демагогическими приемами. Единственно, в чем перещеголяли нас меньшевики, это —частые выпуски листков. Последние выходят у них еженедельно. Наш комитет собирается создать местный орган, но отсутствие денег не дало возможности осуществить это. Меньшевики с 1 сентября выпускают местную газоту под названием «Пролетарское дело». В последнее время для передовых рабочих у нас были прочитаны два реферата: 1) об организационных несогласиях с меньшевиками, 2) о тактических разногласиях. Читал тов. С. И. Рефераты эти принесли большую пользу. Товарищ читал очень хорошо. Многое раз'яснилось, так что централисты чувствуют себя лучше вооруженными в борьбе и очень довольны рефератами. Желательно их почаще устраивать.

Мохов.

№ 2.

Письмо № 196 рег. 47.

ПИСЬМО А. С. ШАПОВАЛОВА ИЗ ОДЕССЫ 21 АВГУСТА 1905 Г.

Нас просили сообщить вам, что Фельдман, надзиратель тюрьмы и часовой — все трое благополучно перешли границу. Об этом можно напечатать. Сообщаю об этом я, так как секретаря сегодня не встретил. Положение дел следующее. Денег еще нет. Испытываем страшную нужду. Из-за отсутствия денег техника теперь не функционирует. Листки выходят очень редко и с большим опозданием. Печатаем их в других типографиях. Пропаганда и агитация до сих пор не налажены. Ввиду этого Михаила, ответственного пропагандиста, мы исключили из комитета. Связи у нас с рабочими есть. Я не хочу хвастать, но в нашем районе, на Дальнике, мы можем поспорить и количеством и качеством. Много надежд возлагалось на книгоиздательство. Мы писали, чтобы не имели вы за границей дела с «Буревестником». Это — жулик, прохвост, доносчик. Недавно арестовали, вероятно по доносу «Буревестника»,... принимавший видное участие в книгоиздательстве «Вперед». Вчера конфисковано полицией 2 000 издания «Вперед». Все это — подвохи «Буревестника», не иначе. Прекратите с ним всякие сношения.

Примирение с отколовшимися, вероятно, не состоится, ибо они не хотят признать III с'езд. Впрочем, может, их руководящий коллектив выскажется за об'единение, хотя на это надежды мало. В общем к осени дело должно улучшиться несомненно. Улучшение финансов, постановка техники, связи с обществом. Организация еще не вылилась в твердо определенные формы. Районные комитеты еще находятся в процессе образования и оставляют желать многого. Агитаторских групп, районных и центральных, после провалов в июне не существует. Распространение литературы не централизовано и не организовано. При полном отсутствии денег — полное отсутствие квартир, доходящее до того, что К-ту негде собираться. Нужно работать и работать; главное внимание надо обратить на финансовую часть и на связи с обществом. Тогда будут и деньги и квартиры. Затем необходимо рабочих-централистов устраивать на заводах. Это избавит организацию от массы людей, живущих на средства партии, затем вольет живую воду в рабочую среду, из которой полиция повымела более сознательных и энергичных. Те централисты, которые теперь и работают, все провалены, сидело по нескольку раз. С ними работать трудно, — замараешься.

Невозможно предпринять что-либо о вооружении. Письмо это из Одессы от меня будет последним. Захворал я. Надо уехать лечиться.

Мохов.

№ 3.

Письмо № 195 рег. 47. 28 июня 1905 г.

ПИСЬМО А. С. ШАПОВАЛОВА

До апреля месяца сего года Одесский комитет организован был следующим образом. Он состоял из пяти лиц. Из них один заведывал техникой, другой — общественной секцией, третий — интеллигентской секцией, четвертый — секретарствовал, пятый исполнял всю остальную работу. Он был организатором всего города, руководил пропагандой

и агитацией и литературной группой. Такая организация была совершенно нерациональна. Товарищи, заседавшие в нем, ставили главной целью поддерживать традиции комитета, т. е. политику большинства. Исполнив эту цель — удержать комитет в руках впередовцев, они не могли справиться с работой при такой организации, и работа была страшно запущена. Комитет проявил себя страшно слабо. Его члены именно, надо полагать, только заседали, а не работали. При таких условиях легко об'яснить себе временный успех изменников партии меньшевиков. При таких условиях, когда работа не ведется, рано или поздно должен настать кризис, и он настал. В марте приехал из Николаева тов. Афанасий. Он предложил свои услуги комитету. Ему дали организаторскую работу, но в комитет не взяли, так как он страшно невыдержанный, вообще малоспособный человек. Обиженный, он стал вести агитацию против комитета. Последний, вероятно испугавшись, кооптировал его в комитет. Тогда он агитацию не прекратил, а усилил. В результате периферия выразила недоверие большинству членов комитета. Члены комитета тоже вынесли друг другу недоверие. В этот момент приехал я. Мне предложили вступить в комитет. Войдя в его состав, я убедился, что он попрежнему мало работоспособен. Я начал работать на Дальнике. С первых же шагов мне бросилось в глаза полное отсутствие организации. Не было районного центра, не было заводских центров. Было всего несколько централистов, были связи по одному человеку далеко не на всех заводах Дальника. Не было технической группы, агитаторской. Приходилось начинать все с начала, связывать, собирать. Надо признаться, что особенно трудно быть ответственным организатором, когда подорганизаторы — интеллигенты, а ответственный организатор — рабочий. Трудно избежать всевозможных трений на основе самолюбия интеллигентского анархизма. Во время стачки мы расширили связи, образовали районный центр, два центральных кружка и несколько заводских центров. Но вскоре я захворал. Во время моей болезни подорганизаторы созвали всех централистов-агитаторов, организаторов и пропагандистов на общее собрание для обсуждения резолюции III с'езда. Когда спросили моего мнения, я опротестовал такое большое собрание, предлагал проводить резолюцию в кружках. Мне заявили, что мы теперь имеем право автономии. Собрание было созвано и на первый раз провалилось. Рушилась вся организация Дальника. Теперь опять ничего нет. Неорганизованность сказалась и в постановке материальных средств. Деньги собирали по-домашнему, отчета не было. В мае представитель общественной секции заявил, что денег нет и не предвидится на все летние месяцы. Когда от него потребовали отчета, он оскорбился и ушел из комитета. Комитет оказался в отчаянном положении. Вскоре провалилась техника. Комитет остался без денег и техники. Когда пришел броненосец, комитет растерялся. Товарищи Михаил, Афанасий и Тарас, узнавшие первые об этом, созвали об'единенную комиссию из представителей комитета, группы и Бунда. Комиссия потратила драгоценное время на обсуждение, как называться Бунду — Бундом или Всеобщим еврейским рабочим союзом.

Представители организаций держались ошибочного выжидательного образа действий, удерживали матросов от решительных действий, разделяя с ними наивные надежды на приход всей эскадры и переход ее на сторону революции. Можно было вперед предсказать, что надеяться на эскадру нелепо. Представители организаций высказались за дарование жизни и свободы офицерам судна, несмотря на то, что выпуская их, они обнаруживали тайну команды, — что миноносец № 267 не имеет ни одной мины.

Таким образом, благодаря неорганизованности, комитет оказался без копейки денег, без техники, при плохом составе, в котором не было решительных и дельных людей, не мог организовать предупредительных мер против босяков, не мог устроить похороны убитого матроса. Я был в это время болен, но мог маленькое участие, как выздоравливающий, принять, но, как мне пишут, никто не пришел, и я не знал, что Афанасий послан без решения комитета, что комитет во все время событий не собирался. Кроме меня, еще три члена комитета оказались отрезанными, оторванными. Впрочем, если бы мы и были в курсе дела, вероятно, мало изменили бы дело. Только не допустили бы дело до созыва комиссии. Затем послали бы еще одного товарища на броненосец.

Мохов

№ 4

Письмо № 184 рег. 47

ПИСЬМО Л. М. КНИПОВИЧ

24/VI. Одесса.

Дорогие товарищи!

Приехал Добрынин и думал ехать нагонять броненосец. Наш представитель, с'ехавший с броненосца по какому-то поручению и больше не попавший на него (2 м-ка там), до сих пор не отдал отчета, но, по-видимому дело было так. Была образована комиссия из всех с.-д. организаций по делу всеобщей стачки. Когда пришло на берег обращение матросов к с.-д. организациям с неожиданно появившегося «Потемкина», эта же комиссия стала вести дело с броненосцем, и Томич, бывший в этой комиссии от большевиков, стал действовать без помощи комитета. Эта комиссия послала на броненосец представителей от организаций, дав ему лозунг: половина команды делает десант, другая — остается у орудий. С броненосца дают оружие и рабочим (сколько у них есть). Затем рабочие и матросы под прикрытием орудий идут на арсеналы. На войско рассчитывали, что оно перейдет на сторону рабочих. Матросы не согласились делить свои силы (вполне сознательных из всей команды — около 300 человек) и согласились на бомбардировку, не согласившись на десант. Для десанта предлагали ждать всей эскадры, настроение команды которой, по их словам, было революционным. Представители решили ждать прибытия всей эскадры и пропустили время, проиграли момент революции. Один рабочий — член комитета — требовал бомбардировки 15-го, но собрать комитет не было возможности. Томич заседал где-то со своей комиссией и не являлся ни на одну явку. Все эти события создали такие (отношения. — *А. Ш.*) между членами комитета, что на собрании 24/VI вынесена следующая резолюция: «Исключая из обсуждения комитета вопрос о доверии к тому или иному члену комитета, Одесский комитет считает необходимым заменить весь его состав, ввиду обнаруживающегося, хотя и негласно, недовольства и недоверия к работоспособности комитета со стороны периферии, во-первых, ввиду невозможности поставить лучше работу со стороны самих членов комитета при создавшихся отношениях, внутри самого комитета и между членами комитета и периферией, во-вторых, и по конспиративным соображениям, в-третьих».

Томича комитет обвинял в узурпации власти в деле с броненосцем. Периферия не выносит его (Томича — *А. Ш.*) ни как руководителя пропаганды, ни как организатора. Томич поставил вопрос о доверии: приняли эту резолюцию. Пишите всюду, чтоб посылали работников.

Чухна

№ 5

Письмо № 181 рег. 47

ПИСЬМО Л. М. КНИПОВИЧ

23/VI. От Чучны из Одессы.

Дорогие товарищи, у нас теперь отчаянное положение: всем нужно уехать вплоть до централистов, а взять народу неоткуда. Пишите всюду, чтобы к нам ехал народ, иначе распадется вся организация. Все перепачкались за время беспорядков; ряд централистов и агитаторов уже отослали, да придется сменить и весь комитет. Один из комитета едет завтра к вам. Даже этот (по мнению Д-ки), больше чем средний работник был раньше в Ник., напустил туда меньшевиков, здесь кооптация его была опротестована Д-нам *, а затем он вошел в комитет благодаря вмешательству Щуки, играл некрасивую роль в столкновении комитета с периферией (в апреле) и теперь случайно попал на выдающуюся роль в последних событиях и роль эту провалил.

С ним к вам едет и Нищий, он хорошо работал, но я не понимаю, как сейчас можно уезжать из России. Кроме едущего (здесь) к вам едет Тарас, которому нужно уехать как можно скорее, Наум Шаповалов, Хрусталев из Питера. Томич — очень ценный (работник) теоретик и никуда не годный организатор. Дяденька, которому тоже нужно уехать, и педагог — казначей. Наум болен глазами и не работает уже около месяца; итак, людей нет и денег нет, и если центры не примут энергичных мер, организация здешняя распадется. Пиши всюду, сделай все, чтобы помочь (Ц). Сейчас получил часть транспорта, получили и еще надо уплатить за это, а сборов едва хватает на усиленную отсылку товарищей. Пусть приедет кто-либо от ЦК, необходимо созвать южную конференцию, а руководить этим созывом некому; очень скоро придется задать лататы к...** Д-ки. 8 месяцев, проведенных здесь, сделали его слишком популярным.

№ 6

Письмо № 197 рег. 47.

В ЦК РСДРП

За время моего отсутствия в Одесском комитете произошли значительные перемены в составе его. Как я узнал, изменение состава совершилось под давлением его периферии, на суд которой вынесен был вопрос о работоспособности и доверии к одному из членов коллегии. Факт, что периферия была недовольна составом коллегии, приписывая именно этому составу недостаточную работоспособность, был известен комитету. Я считаю такой шаг крайне ошибочным и вредным. Комитет создал прецедент для постоянного вмешательства периферии в вопрос о составе комитета. Я считаю этот (факт) шаг и бестактным со стороны коллегии, так как недоверие существовало (и существует в *** составе) ко всей коллегии. Коллегия в данном случае свела личные счеты. Я настаиваю, чтобы инцидент с товарищем Ос., вышедшим из состава комитета, был возможно скорее разрешен ЦК, так как в лице товарища мы потеряли очень активного работника, выдержанного и последовательного партийного деятеля, каких у нас здесь очень немного.

Член А. К... в... (Неразборчива подпись).

---

* Или «Д-ком». — *А. Ш.*

** Два слова неразборчивы. — *А. Ш.*

*** Пропуск.

№ 7.

Письмо № 205 рег. 47.

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ГОВ. С. И. ГУСЕВА.

От Нации. Личное для Ленина.

Дорогой Владимир Ильич! Наконец начинаю вновь свою переписку и предупреждаю: засыплю вас письмами. Не писал лишь потому, что приходилось много работать при крайне неблагоприятных условиях. Теперь дела улучшились, но все-таки в организации чувствуется еще сильная слабость, как результат долгой, хронической болезни. А картину мы здесь застали поистине отвратительную: постоянные раздоры и сплетни в комитете, кумовство, обывательщина, халатное отношение к работе, неконспиративность — прямо ужасающая — комитета и периферии, паразитизм, наполнение организации никуда не годными. Нам предстоит произвести чистку Авгиевых конюшен. О постановке работы можете судить по посылаемому вам отчету Мохова.

Нация

№ 8.

Письмо № 204 рег. 47

ПИСЬМО С. И. ГУСЕВА ИЗ ОДЕССЫ, 12 АВГУСТА

№ 1. Личное для Ленина. Ключ Харитона.

Дорогие друзья! Я уже вполне поправился и вновь работаю. Дела здесь весьма, весьма плохи. Главная беда — отсутствие денег. Надеюсь, что вскоре дело поправится. Отвечаю на ваши запросы. Куда уехал Гарас, не знаю: кажется, в Курск. Мохов — рабочий, хороший работник. Но теперь он болен, и ему необходимо месяца два серьезно полечиться. Порфирий не приезжал. Посланный вами на броненосец «Бакинец» сидит, по слухам, в Севастополе. Старая явка отменяется. Вот вам новая. . . . . .

Вот адреса для писем: . . . . . .

Адрес на редакцию отменяется. Пожалуйста, пришлите все адреса, по которым вы посылаете сюда «Пролетарий». Есть много проходимцев, «на дурницу» пользующихся газетой, мы же ни единого экземпляра не получаем. Следовало бы таким способом проверить адреса по всем комитетам. Я убежден, что 75% оказались бы лишними. Вот еще вам адреса: . . . . . .

Нация

№ 9

Письмо № 201 рег. 47

ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОЙ

Это надо написать химией

Одесса. Ключ Харитона.

10/VIII. Дорогой друг! Недавно послали вам письмо (за подп.) ключом Даши (Дяденьки), теперь узнали, что он уже уехал оттуда. Пожалуй, без него не разберете письма. Пришлите скорее явку, а еще лучше две. Вы просите присылать людей (явку), а из лег. газет мы узнаем, что явка ваша не действует. Думаем послать к вам Пятницу Спицу (хороший пропагандист, комитетчик, будет жить на свои деньги), одного берлинца (хорошего техника лег.). Приехал ли уже к вам

Порфирий из Екатер.? Можем послать одного очень славного паренька — агитатора. Вообще люди, пожалуй, найдутся, но нужна явка!! Куда уехали Тарас и Мохов? От Мохова получили два письма, очень они мрачны. Конечно, очень обидно, что подбор комитета был столь неудачный, и что не сделано того, что могло быть сделано. Но задним числом горевать нечего, постараемся употребить все усилия, чтобы новый состав был лучше. Правда, мы многого не можем, но, что можем, сделаем. В отчаяние приходить все же не след. Время теперь тяжелое, работа ответственная, работников мало, все измотались, меньшевики всюду ножку подсовывают... При таких условиях, конечно, очень тяжело работать. виднее вот дефекты работы, трудно мириться с недостатками товарищей, но падать духом все же не след. В общем и целом работа идет и растет с каждым днем, и усилия не пропадают даром... За письма Мохову большое спасибо. Просим и впредь писать так же обстоятельно, да кстати давать и адреса для ответов. А куда делся Михаил? Корреспонденции Л. получаем аккуратно (последняя № 3-й из Екат.), большое спасибо, а то ужасно по этой части плохо дело стоит.

Сообщают адрес одного сочувствующего, который берется делать для комитета сборы. Связи у него очень большие. Может быть полезен и в других отношениях. Одесса, десятая станция. средний фонтан, дача Гольдсмита, спросить мюнхенского студента Петра Розенфельда, сказать от Бобрикова.

Поправляйтесь скорее! Крепко жмем руку.

P. S. Тут ходят слухи об избиении политических в тюрьме. Правда ли это?

Письмо № 2107 рег. 47

ПРОТОКОЛ ОДЕССКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)

I заседание

При обсуждении вопроса о положении дел в районах тов. Н. (Наум. — *А. Ш.*) указывает на то, что различие точек зрения некоторых организаторов, работающих в разных районах, представляет крайнее неудобство. Специально тов. Михаил — примиренец, очень вредно влияющий на рабочих. Вообще он — негодный работник: как ответственный пропагандист он ничего не сделал. как организатор он растерял связи (напр., в каменоломнях), на каждом шагу его надували, смеялись над ним, а он смотрел на все. что творилось в районе, сквозь пальцы, и благодаря этому произошла история с Луизой; о броненосце он до сих пор еще не дал отчета, несмотря на многократные требования Как литератор он сделал также очень мало и давал такие удачные лозунги, как «долой капиталистов». Вся его деятельность собственно сводилась к заседательству в комитете. Как ответственный за комитетскую коллегию, я должен предложить тов. Мих. уйти из комитета. Я не могу ему доверить своих пропагандистов и рабочих. И когда он явится на Дальник, мне ничего не останется сделать, как уйти.

Тов. Л. (Книпович. — *А. Ш.*). В вопросе о примирении у тов. М. нет выдержанных взглядов, но точка зрения не партийна, он поступается принципами. Раньше у него не замечалось «примиренчества». Но теперь все решительно пропагандисты заявляют, что он им ничего не дал, потому что ни на один вопрос он ни разу, никогда не дал определенного ответа. Всюду у него обнаруживалась половинчатая точка врения. Для роли организатора он не имеет никаких соответственных способностей. Общее отношение периферии к тов. М. насмешливое, как к человеку, не понимающему своей непригодности. Сказать, что вся его деятельность сводится только к заседательству в комитете, я

не могу: он работал и работает, но его работа приносит только вред. Работать при таком отношении периферии совершенно невозможно.

Тов. Т. (Тимофей. — *А. Ш.*). В настоящее время тов. М., считается ответственным организатором Слободки. Что же он там делает? Раз или две в неделю он видается с тов. В. (Василий. — *А. Ш.*) и у него собирает сведения о том, что делается в районе. Неудивительно, что при таком отношении к делу создаются и распускаются про комитет в рабочей массе слухи, что там сидят люди, чужими руками загребающие жар. И действительно, разве это организатор? Это — газетный корреспондент, репортер, но не более. На Пересыпи он напустил в район «примиренцев», тормозивших работу комитета, был там до последней степени дискредитирован тов. М., и районное собрание имело такой состав, что его приходилось разогнать. Неоднократно уже тов. М. намекали и говорили, что ему пора выйти. Он этого упорно не хотел понять, но тогда остается поставить вопрос ребром. Если он сам не хочет выходить, то его нужно заставить немедленно выйти

Тов. М. (Михаил.—А. Ш.) обещал представить конспект своей речи, но не представил.

Тов. Н. настаивает на том, что тов. М. должен выйти из комитета в течение определенного срока.

Тов. Л. согласен с таким предложением, но считает ненужным устанавливать срок выхода.

Тов. Т. Мы должны считаться с мнением большинства периферии и комитета, которые, не раз уже высказывались отрицательно по отношению к тов. М. Прямо в интересах комитета назначить срок, и сам тов. М. вынуждает нас ставить вопрос более резко. Он обещал уже не раз уйти, но все не уходит. Тогда ничего не остается, как назначить ему определенный срок.

Тов. М. Тогда нужно будет поставить вопрос прямо. Сделайте постановление о моем выходе из комитета немедленно же, а не ставьте вопрос так, как его ставит тов. Л.

Голосуется предложение: предложить тов. М. немедленно выйти из комитета. За — тов. Н. и тов. Т., против — тов. Л.; тов. С. (С. И. Гусев.—А. Ш.) воздерживается, мотивируя свое воздержание тем, что ввиду недавнего пребывания в комитете, он совершенно не осведомлен и вынужден поэтому воздерживаться.

Тов. М. Я считаю обвинения товарищей более чем суб'ективными, ввиду того, что этот факт моего исключения из комитета имеет большое значение для моей политической чести...

Тов. Т. Для дела, а не для карьеры...

Тов. М. Прошу занести эти слова в протокол. Я нахожу, что тов. С. не имеет права воздерживаться в таком важном вопросе, когда решается участь одного из товарищей и когда он видит, как небрежно обращаются товарищи с политической честью других товарищей.

Тов. С.*. Но что же я могу сделать? Я не имею оснований не доверять ни тов. М., ни тов. Н., и тов. Т. Я. обязан верить всем, и поэтому вынужден воздерживаться.

Тов. М. Тогда обратитесь к периферии...

Тов. Н. и Т. О. Пожалуйста, пожалуйста...

Тов. М. Поройтесь в архиве.

Тов. С. Мне очень не хотелось бы брать на себя роль третейского судьи, рыться, опрашивать, допрашивать и т. д. Я думаю, что лучший способ разрешить этот конфликт, это — обращение не к периферии, а к ЦК, что указано также и в уставе.

---

* С. И. Гусев.

II заседание

Тов. М. Согласно уставу, вчерашнее решение товарищей не имеет формальной силы, так как для исключения требуется $^2/_3$ голосов. Я прошу представить мне протоколы настоящих заседаний, как способ защиты против обвинений, которые крайне субъективны. Эти обвинения налагают на мою политическую честь пятна, а посему прошу дать мне все необходимое для реабилитации.

Тов. Т. Хороший состав ЦК у нас обеспечивается выборным началом и возможностью всегда произвести выборы новые. Чем гарантируется хороший состав местных центров, если нет выборного начала: какие гарантии, что при отсутствии выборного начала в комитете не будут люди, к которым периферия относится с недоверием? Единственная гарантия — это то, что комитет будет чутко прислушиваться к мнению периферии. Поэтому ссылка на $^2/_3$, сделанная тов. М., совершенно несостоятельна. Не в $^2/_3$ голосов комитета тут дело, а во мнении периферии и в отношении ее и тов. М. Что касается пятна, которое наше решение налагает на тов. М., то он сам напрашивается на него. Ему же говорили еще вчера: уходите, уходите, просто, без скандала. Он не хотел, он требовал, чтобы на него наложили пятно, добивался.

Тов. Н. Да, формальной силы наше постановление, конечно, не имеет. Тов. М. может остаться, если желает, и обратиться, как он предполагает, к периферии со своей реабилитацией, а не к ЦК. Но если он начнет свою агитацию среди периферии, то мы вынуждены будем вести контрагитацию. К чему это поведет, какие вредные последствия из этого выйдут, — довольно ясно. Тов. М. может остаться, но я обращаюсь к нему с предложением: уходите лучше подобру-поздорову Если вы не хотите, чтобы на вас не было пятна (исключен из комитета), то просто уходите.

Тов. Л. Тов. М. вправе требовать, чтобы мы ему дали возможность оправдаться. Никто против этого не возражает. Коллегия пропагандистов не доверяет тов. М., и если он обратится к ней, то добьется этого ответа. Так, в последний раз в вопросах о профессиональных союзах тов. М. никто не поддерживал, кроме тов. О. (Осип.—А. Ш.), все были против его точки зрения.

Тов. М. Только двое были против, остальные — за.

Тов. Л. А мне передавали, что дело было именно так. Обсуждался вопрос о профессиональных союзах, точка зрения тов. М. — мы должны приняться за организацию профессиональных союзов.

Тов. М. Теперь. Сейчас.

Тов. Л. Да, конечно, теперь, сейчас, потому, что речь шла о России, о русской партии, а не об Англии, Китае и пр. Все товарищи были против такой точки зрения, указывали, что задача партии в настоящий момент — использовать эти союзы, пропитать их с.-д. взглядами. Для меня возникает вопрос, может ли продолжаться подобная канитель, чтобы вы, являясь представителем комитета, проводили меньшевистские лозунги. Вы доказывали, что между большевиками и меньшевиками в организационном вопросе нет принципиальной разницы. Обращение к периферии я считаю неудобным. Начнется агитация и контрагитация, которой до сих пор еще не было.

Тов. М. Была.

Тов. Л. Со стороны кого?

Тов. М. Со стороны комитета и двух членов периферии. Категорически заявляю, что свой реферат я заключил словами: ошибка меньшевиков в том, что при самодержавии они считают возможным развитие профессиональных союзов. Вообще же с.-д. должны взять на

себя организацию профессиональных союзов. Что касается организационного вопроса, то я сказал, что и меньшевики являются централистами, но теперь они централизм отрицают. Неверная передача моих слов об'ясняется тем, что некоторые товарищи (например, тов. Н.) предвзято отыскивают в моих рефератах оппортунистические тенденции, которых в них совершенно нет.

Тов. С. указывает, что дело, повидимому, все более и более запутывается; к вчерашним обвинениям тов. М. против тов. М. присоединились новые многочисленные обвинения. Со своей стороны, тов. М. также высказывает обвинения против тт. Н. и Т. Клубок все более запутывается, а обращение к периферии окончательно, до последней степени запутает дело, внесет раздоры, дрязги, сплетни, остановит работу, дезорганизует комитет. Второе уже заседание мы тратим на дело, никакого отношения не имеющее к нашей работе. Необходимо поскорей и решительно покончить с этим и ни в коем случае не допускать обращения тов. М. к периферии, а предложить ему обратиться в ЦК. При тех отношениях, какие теперь в комитете, работа немыслима.

Тов. М. протестует против предложения тов. С. Это — насилие над моей личностью, так как меня лишают возможности реабилитировать себя. Никаких дрязг я подымать не буду.

Тов. Л. предлагает закрыть лист ораторов. Предложение принято, причем последнее слово решено предоставить тов. М.

Тов. Т. Во всех ответах тов. М. пестрили словечки: суб'ективно, предвзято. Когда все тт. Д., Т., С., В., я и Н.* говорим и утверждаем о тов. М. одно и то же,— это по теории тов. М. называется суб'ективным.

Тов. С. вносит предложение: предложить тов. М., ввиду невозможности дальнейшей работы в комитете, выйти временно из комитета, не теряя звания члена комитета, обратиться в ЦК с предложением уладить этот конфликт. Не переносить этот конфликт дальше на периферию, как дезорганизующий работу, вносящий раздоры, дрязги и сплетни.

Тов. Л. делает заявление, что он присоединяется к резолюции, принятой накануне (предложение тов. М. немедленно выйти из комитета).

Тов. М. Я буду бороться. Я исключен из комитета по причине якобы презрительного отношения ко мне периферии...

Тт. Т и Н. По причине вашей негодности.

Тов. М. запрашивает, дает ли комитет ему работу, в частности, оставит ли за ним функцию ответственного пропагандиста.

Голосование дает три голоса против при одном воздержавшемся (тов. С.).

Решено единогласно предоставить тов. М. функцию пропагандиста.

Тов. М. просит выдать ему протоколы настоящих двух собраний.

Решено выдать.

Тов. М. Я обращу внимание ЦК на то, что еще раньше состоялось постановление комитета, что все его члены должны раз'ехаться при первой возможности. Я буду добиваться этого, во-первых, ввиду отношения к ним периферии, во-вторых, потому, что я не считаю их пригодными к роли политических руководителей.

Тов. Н. Решение раз'ехаться было постановлено по 3 причинам: 1) отношения внутри комитета; 2) отношение периферии к комитету и 3) конспиративные соображения.

---

* Д. — «Дяденька». Т. — «Тимофей». С. — С. И. Гусев. Н. — «Наум». М. — «Михаил».

(Заседание закрыто).

Вслед за этим собранием тов. М. внес в комитет предложение: уничтожить постановление и протоколы комитета об его исключении, не сообщать их ЦК с тем, что он выйдет из комитета, обратившись к периферийным организациям с предложением вотировать ему доверие; комитет на следующем своем собрании, обсудив предложение тов. М., постановил, что его решение об исключении тов. М., может быть отменено при условии, что тов. М. немедленно подаст в отставку. Все протоколы сообщаются ЦК. Что же касается обращения к периферии; то комитет признал его недопустимым при таких условиях, т. е. без сообщения периферии всего инцидента в целом. Тов. М. отказался принять эти условия и обратился к периферии. По этому поводу комитет сделал следующее постановление: предложить периферийным организациям в ответ на обращение тов. М. рекомендовать ему апеллировать в ЦК, т. е. избрать единственно законный и партийный способ решения происходящих внутри организации конфликтов

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

В ИЗГНАНЬИ

„Герой моей повести — правда"
Л. Толстой

ОТ'ЕЗД

Стояла золотая осень конца сентября 1906 года. Листья на деревьях желтели и, падая, устилали дорожки харьковского парка, где я, избегавший появляться на людных улицах, принужден был большей частью скрываться. Дни стояли теплые, солнечные, ясные. Когда же наступал вечер, темнело голубое небо, гасли сочные яркие краски багровой зари и загорались вечерние звезды, оставаться в парке становилось уже опасным: из-за деревьев вдруг показывались патрули полиции. Чтобы избежать ареста, небходимо было немедленно уходить. Передо мной в таких случаях каждый раз вставал вопрос: где я на эту ночь найду себе убежище? Разыскивать последнее становилось все труднее. Страх перед ночным налетом полиции все чаще охватывал сочувствовавшего большевикам обывателя.

— Не могу вас пустить. Дворник стал очень подозрительно относиться. Недавно он дошел до того, что даже грозил донести полиции. Ночуют, говорит, у вас без прописки, — говорили одни.

— С ума вы сошли по нынешним временам! — слышал я в другом месте ответ на мою просьбу.

Времена стояли действительно тревожные. Революция не складывала еще оружия, но волна ее, видимо, уже спадала. Надежды на присоединение крестьян к рабочему революционному движению, видимо, на этот раз не оправдывались. После подавления свеаборгского и кронштадтского вооруженных восстаний правительство подняло голову. Город был превращен в своего рода военный лагерь. Всюду проходили отряды солдат. Виднелись конные раз'езды драгун и казаков. На всех углах с винтовками в руках стояли городовые, грозившие скрывавшимся революционерам остриями своих штыков и боевыми патронами. Охранка, охотясь за ре-

волюционерами, в особенности за большевиками, как за зверем, работала во-всю. На место праздничных дней пережитых массовых революционных выступлений рабочего класса надвигались серые, скучные будни столыпинской реакции.

Однажды принятое решение уехать временно за границу все крепло во мне. Оставаться в Харькове, где я намозолил глаза полиции и жандармам, становилось все более рискованным. Я ждал лишь дня, когда, наконец, выяснится, через какую границу мне лучше переправиться, и нам с Лизой Большой удастся достать требуемую сумму денег, которой хватило бы для переезда до Брюсселя.

Наконец, выяснив, что нам лучше всего ехать через Финляндию, мы направились в Петербург. Прибыв в Москву, мы не могли удержаться от соблазна осмотреть город, всего около года назад восставший против самодержавия. Мы прошлись по улицам, где так недавно защитники баррикад стойко держались, обстреливаемые пушками адмирала Дубасова. Осмотрев знаменитую Третьяковскую картинную галлерею и другие музеи, побывав в московском кремле, мы продолжали наш путь дальше на север.

Когда мы, наконец, под'езжали к Питеру, в окна вагона железной дороги смотрела уже настоящая хмурая, мокрая осень с непогодой и туманами. Здесь я почувствовал, что серьезно болен. Утром я с трудом выходил из дома от боли в ногах. В Петербурге мы прожили около недели, скрываясь от полиции. Вечером на ночевке мы беседовали о встречах со старыми знакомыми и товарищами. Лиза рассказывала, как случай столкнул ее со старой приятельницей по искровскому кружку за границей, с т. «Наталкой». Я передавал свои впечатления о Дмитрии Федорове и Иване Дрожжине *. Первый выбился из рабочих и сделался на заводе помощником мастера. Второй был уже учителем. Оба они рады были меня встретить. Я рассказал также о посещении мной т. Куделли, продолжавшей работать в рядах нашей партии. Вместе с Лизой мы встретились на явке с нашей старой знакомой т. «Дяденькой».

Я направился к т. Кржижановскому. Узнав, что я еду в Бельгию, он меня познакомил с одним товарищем, только что прибывшим из Брюсселя. Дав мне письмо к бельгийскому социалисту Виктору Серви, сообщив мне все необходимые сведения о Бельгии, узнав, что я еду туда всего на несколько месяцев и самое большее — на полгода, он воскликнул:

---

* См. А. Шаповалов «В борьбе за социализм», ч. I и IV.

Вверху: группа бельгийских рабочих в рабочих костюмах.
Внизу: профессиональный союз рабочих металлистов г. Льежа.

— Сомневаюсь, чтобы в Бельгии, в этой стране ужасной эксплоатации рабочих и низкой заработной платы, вам удалось накопить необходимую сумму денег на обратный путь в течение такого короткого срока! Наверно, вы там застрянете на более продолжительный срок. Я это знаю на основании собственного опыта.

— Я говорил о вас с Владимиром Ильичем, — прервал наш разговор т. Кржижановский, торопившийся уйти. — Он не возражает против вашего от'езда за границу. Он расспрашивал меня про вас. К сожалению, с ним нельзя увидеться, ибо он уехал на время из Питера.

Совершенно неожиданно я встретил на улице моих знакомых по партийной работе в Одессе Лазуркиных, «Мишу» и «Соню». Они поженились и в это время учились: он — в университете, она — на высших женских курсах. По обыкновению, как и в Одессе в 1905 году, «Соня» стала расспрашивать меня о партийных делах.

Пять или шесть дней, прожитых нами в Питере пролетели, как один день. Побывав на улицах Питера и в рабочих кварталах, где прошли мои лучшие годы, посетив питерские музеи, вечером, накануне от'езда, я шел с Лизой по набережной Невы по направлению к Николаевскому мосту. Надвигалась лунная, осенняя, бодрящая ночь. Мы шли мимо университета, направляясь на Васильевский остров на ночевку у знакомых Лизы. Как и десять лет назад, во время питерской стачки, я присел на гранитную скамью у подножья двух египетских сфинксов. Прислушиваясь, как журчит речная струя в тиши ночи, я вспоминал прошлое и говорил себе: «Прощай Питер! Опять, наверно, надолго уезжаю я».

На другое утро мы с Лизой направились на Финляндский вокзал.

— Будьте осторожны, — предупреждали нас товарищи. — Охранка внимательно следит за всеми «подозрительными». Ей хорошо известно, что революционеры скрываются в Финляндию, переходят там через границу и даже доставляют оттуда оружие и динамит. Многих арестовывают тут же на вокзале. Будьте готовы ко всему...

С напряженными нервами проходили мы на другой день через строй жандармов и переодетых охранников, пытливо взглядывавших в лица проходивших пассажиров, в двери Финляндского вокзала. Я хорошо сознавал, что поскольку я привлекаюсь по 101 статье по обвинению в вооруженном восстании, меня, как и Лизу, работавшую в харьковской военной организации большевиков, жандармы могли бы лег-

ко арестовать. Особенно опасен казался момент, когда финский таможенный чиновник потребовал, чтобы мы открыли наши корзинки и заплатили пошлины. Лиза, испугавшись, что уплата пошлин еще более сократит наш и без того скудный бюджет, забыв опасность ареста, стала энергично доказывать, что вещи у нас старые и потому не подлежат оплате.

— Ну, карашо, — произнес убежденный ее доводами финн-чиновник. — Мой видит, вещи у вас тарые. Итите!..

— Проходите скорей с вашими вещами, — произнес, видимо, тоже убежденный искренностью тона Лизы жандарм.— Не задерживайте!

Оглянувшись, я увидел толпу эмигрантов в Америку, входившую в вокзал, ехавшую с этим же поездом. Перестав нами интересоваться, жандармы обратили на них все свое внимание. Пройдя вокзал, как своего рода «чистилище», мы вздохнули свободно лишь тогда, когда поезд тронулся. В вагоне, переполненном эмигрантами, мы благополучно доехали до Териок, где взяли билет до Выборга, как нас учили товарищи. Кондуктор-финн, об'яснявшийся по-русски, с переездом на финскую территорию стал говорить лишь по-фински.

— Випюри! — заявил он при приближении к Выборгу.

В ФИНЛЯНДИИ

Благополучный переезд до Выборга не означал, что главное нами уже сделано. Наоборот, наибольшие трудности ждали нас впереди. Нам предстояло еще не раз обманывать бдительность русских жандармов, стоявших на станциях железных дорог, и финских полицейских. Кроме того мы находились в полной неизвестности относительно способа перехода финской границы. Будем ли мы принуждены с какой-нибудь пустынной части финского берега переезжать на утлой ладье Ботнический залив до шведского берега, или нам придется его обогнуть посуху, следуя на север до реки Торнео, отделявшей тогдашнюю Россию от Швеции, или, наконец, нам посчастливится покинуть Финляндию на одном из пароходов, — ничего этого нам не было известно.

Организовать собственными силами переход границы или посадку на пароход, где требовался заграничный паспорт, которого мы не имели, нечего было и думать. Все это было возможно лишь при помощи партии и при содей-

ствии финских социалистов. Особенно трудно было достичь всего этого без знания финского языка. В этом мы убедились тотчас же по выходе из вокзала в Выборге, когда я обратился к первому встречному финну с просьбой указать, как найти улицу, на которую мы направлялись.

— Моя не понимает рюсски, — услышали мы в ответ.

Такой же ответ мы получили от целого ряда финнов. Выручил нас один из русских торговцев вразнос фруктами, к которым мы — не без основания — избегали обращаться с расспросами, подозревая в них агентов охранки. Этот последний, во внешнем виде которого ничего не было шпионского, услышав случайно, как я спрашивал у встречного мне финна нужную мне улицу, сам, по собственной инициативе, дал требуемые указания.

Было еще слишком рано, чтобы немедленно итти на партийную явку. Вдыхая свежий утренний воздух, мы пошли бродить по городу. На базарной площади мы заинтересовались множеством финских крестьян, приехавших с продуктами деревни. Внешний угрюмый вид жителей страны и их поразительная честность значительно отличали их от русских.

— Как и в Норвегии, — рассказывали нам товарищи, — здесь почти не знают замков. Кражи — редкое явление. Забытую на станции вещь стараются непременно вернуть владельцу.

Проходя мимо крепости, мы увидели караул русских солдат.

Мы повернули к берегу моря, к заливу, где стоял большой морской пароход. Пробродив здесь несколько часов, мы, наконец, направились на партийную явку.

На партийной явке молодой товарищ, с виду студент, направил нас к т. Шлихтеру Александру Григорьевичу, жившему в это время в одном из предместий Выборга, так называемом «Суа-на-Лахте». Тов. Шлихтер и его жена Евгения Самойловна отнеслись к нам вполне по-товарищески. В доме их царило самое широкое русское гостеприимство. Мы прожили у них несколько дней, пока т. Шлихтер не получил все необходимые для нас сведения, касавшиеся перехода границы. Попрощавшись самым сердечным образом, мы двинулись далее, в столицу Финляндии — Гельсингфорс.

Здесь мы направились к финну, профессору русской словесности Гельсингфорсского университета. На дверях его квартиры на ярко вычищенной медной дощечке было выгравировано: «Герр лектор Смирнов». Этот профессор, носив-

ший русскую фамилию, был членом финской социалистической партии и сочувствовал нам, большевикам. У него на квартире мы встретились с т. Лядовым. Угощая нас редким блюдом — яблоками, выросшими в самой Финляндии, он говорил на превосходном русском языке. От него мы узнали, что он следит за русской литературой, изучил русское революционное движение по русской революционной литературе, выходившей как в самой России, так и вне ее и тщательно собранной в библиотеке Гельсингфорсского университета. Под свежим впечатлением свеаборгского восстания он рассказывал, как ему и другим финским социалистам удалось спасти многих русских солдат и матросов от неизбежной смертной казни, спрятав их по деревням среди финских крестьян.

В Гельсингфорсе я разыскал т. Оскара Эндберга *. Он был женат на финке и был отцом большого семейства. От русского движения он, видимо, отстал. Он оправдывал себя тем, что в Финляндии уже якобы существует та «свобода», которой мы так тщетно добиваемся. Он водил меня к себе знакомить со своей женой и посмотреть на «его ребят», в механическую мастерскую, строившую моторы и принадлежавшую артели, членом которой он состоял. Мы долго гуляли с ним по улицам Гельсингфорса и по берегу Финского залива, у прибрежных гранитных скал. Смотря на морскую даль, на остров, где находилась крепость Свеаборг, мы говорили о русском революционном движении. Я рассказывал о пагубной роли меньшевиков. Мы перенеслись к прошлому, вспоминали Сибирь, Минусинский край, где мы жили вместе с т. Лениным.

Тень глубокой тоски и неудовлетворенности легла на его лицо при воспоминании о былом. Окруженный мещанскими условиями, господствовавшими в Финляндии, он жалел о более яркой жизни в России, которой он когда-то жил. Он оживился, когда мы заговорили о Владимире Ильиче.

— Кланяйтесь ему, — говорил он, — когда увидите его, и Надежде Константиновне!

Через герр лектора Смирнова мы познакомились с одним из членов финской социалистической партии, торговавшим спиртными напитками и одновременно состоявшим членом общества по борьбе с алкоголизмом; он занимался также переправой русских революционеров через границу. С ним было очень удобно встречаться в его винной лавке.

---

* См. А. Шаповалов. «По дороге к марксизму» и «В подполье».

С целью затруднить покупку спиртных напитков последние в Гельсингфорсе продавались лишь в то время, когда рабочий находится на фабрике, и отпускались покупателям лишь в большом количестве.

Через этого социалиста-виноторговца мы получили ночлег у финна-художника, принадлежавшего к буржуазной финской партии «активистов», подготовлявших террористические покушения на представителей русских властей в Финляндии * .

В Гельсингфорсе мы должны были прожить несколько дней, конечно, не прописываясь, как и в Выборге, в полицейских участках, хотя этого требовали полицейские правила в Финляндии.

Наконец, получилась телеграмма, что ожидаемый пароход пришел. Финн, социалист-виноторговец, об'яснил нам, что все готово для нашего от'езда. Билеты второго класса были уже куплены, и посадка на пароход при помощи финских социалистов обеспечена.

По железной дороге мы благополучно доехали до портового города Ганге.

НА ПАРОХОДЕ

У пристани стоял пароход финской компании, совершавший рейсы между незамерзающим портом Ганге и портами Англии. Посадка еще не начиналась. Следуя инструкции социалиста-виноторговца, мы немедленно направились на судно. Там мы спросили, как было условлено, одного из помощников капитана. Последний совершенно равнодушно и даже безучастно, как нам показалось, призвал горничную-финку, молодую девушку, и что-то сказал ей по-фински. Она привела нас в общую каюту второго класса и, указав маленькую каюту, где мы могли спать, оставила нас.

В каюте никого, кроме нас, еще не было. Воцарилась почти мертвая тишина, нарушавшаяся писком крыс, которых, очевидно, было много на пароходе, да шумом паровых котлов, доносившимся из кочегарки. Через круглое небольшое окно каюты видна была пристань, на которой также еще не видно было ни души. Прошло несколько томительных часов.

Наконец, показались признаки жизни. С берега стали один за другим появляться матросы, механики парохода и кочегары. Послышался шум и говор в машинном отделении.

---

* Убийство ген.-губернатора Бобрикова.

Появился на пристани финский полицейский. Около входа в нее стала собираться большая толпа эмигрантов, переселенцев в Америку. Началась посадка. К нам в каюту второго класса пришло несколько человек пассажиров. Они наполнили общую каюту финским и шведским говором. Финский полицейский с большим вниманием, казалось, просматривал на берегу документы бедняков, пассажиров третьего класса.

— А что, — сказала мне вполголоса Лиза, — если финская полиция придет сюда и потребует от нас заграничные паспорта, по которым только пропускают на пароход пассажиров третьего класса?

— Тогда все пропало, — ответил я угрюмо. — Пока пароход не отвалит от берега и не выйдет в открытое море, все возможно.

Поэтому мы были страшно рады, когда, наконец, раздался третий звонок и стали снимать сходни. Послышался шум машин. Раздались слова команды на финском языке, заскрипели цепи, зашумел пароходный винт, забурлила вода. Пароход качнулся и стал медленно отваливать от пристани.

Видно, как с берега слева от нас нам машут платками. Молотобоец, бивший молотом на самом крайнем мысу, который мы проходим, опустил молот, размахивает фуражкой и что-то кричит. Что он хотел нам сказать? Возможно, что в его возгласе выразилось его затаенное желание уехать вместе с нами. Весьма возможно, что он кричал: «Возьмите меня с собой! Мне тоже опостылел финский берег. Мне тоже хочется бросить все и уехать туда с вами, в Америку».

Берег между тем все удалялся.

— Идем, Саша, на палубу, — говорила мне Лиза, — простимся с Россией. Теперь уже мы в безопасности от русских жандармов и финских полицейских.

Мы вышли на верхнюю палубу. Наши лица обвеял холодный морской ветер. Я всматриваюсь в уходящий морской берег. Я стараюсь запечатлеть в памяти его очертания.

Не мы одни, все эмигранты прощаются с Россией. Мне бросились в глаза внизу, на палубе третьего класса, фигуры финна, еврея и белоруса. Лица их дышали решимостью и энергией, которую они намеревались применить на чужой стороне. Около них стояли три молодые девушки. Звонко смеясь, последние указывали на удалявшийся берег. Исполнялись их давнишние мечты об Америке. Они «отрясают прах от ног своих» и едут за лучшей долей, как своего рода аргонавты за «золотым руном», в этот сказочный «новый мир», о котором они слышали столько рассказов.

Кроме этих трех парочек на палубе третьего класса, переполненной эмигрантами, привлекает мое внимание молодая девушка-еврейка. Ее лицо сияет счастьем, — наконец-то, она покидает Россию, эту «ужасную страну», причинившую ей столько несчастий! Ее отец, мать и братья были зверски убиты во время погрома. Ее сестры, изнасилованные погромщиками, зверски зарезаны. Случай спас ее, и она бежит за океан из страны, где погибли все ее близкие.

Мы с Лизой всматриваемся в удаляющийся берег. Давно уже не видно домов, церквей. Едва заметен лишь лес, которым, как щетиной, покрыты финские берега. Наконец, и он ускользает из поля зрения. Далеко на горизонте маячит лишь узкая полоска земли, окутанная вечерней дымкой. Сгущаются сумерки. Земля совершенно исчезает в полумраке.

Пароход выходил в открытое море. Темносерая мгла ложилась на море, охватывая со всех сторон пароход. Ветер крепчал. Морская волна с шумом налетала, хлестала, била о стальные стенки судна и разлеталась, покрытая пеной, в брызгах.

— Идем, Саша, в каюту, — говорила мне Лиза. — Обедать зовут.

Столовая на пароходе представляла тот же финский ресторан, где обедающему предоставлена полная возможность класть себе в тарелку то или иное блюдо и наедаться, сколько желает.

Трое суток длился этот переезд по морю до Копенгагена. Все время в снастях выл ветер и бушевала буря. Огромные волны подхватывали пароход на свои гребни и подбрасывали его, как щепку.

Почти все пассажиры страдали от морской болезни. Угрюмые, скуластые шкиперы-финны между тем уверенно смотрели вперед на вахте и направляли пароход к острову Готланду, на котором процветал когда-то во времена Великого Новгорода богатый торговый город Висби, важный пункт транзитной торговли Западной Европы с Востоком через великий водный путь «из варяг в греки».

Мне по душе было ехать по бурному морю. В реве волн, в свисте ветра слышались отголоски революционной бури, которая, затихая, все еще проносилась над нашей страной...

Вечером, когда я ложился спать в каюте, мои мысли переносились в Бельгию, куда я ехал: «Удастся ли мне скоро найти работу?»

Утром, когда я выходил на верхнюю палубу, уверенность возвращалась ко мне. Я слышал, как с ревом налетали

волны и бились о борта судна. Я подставлял лицо влажному холодному ветру и с надеждой смотрел на свое личное будущее и на будущее русской революции...

Наконец, на четвертые сутки утром показался датский берег. Оглянувшись в противоположную сторону, я послал последнее «прости» России.

В ДАНИИ

Пароход медленно подходил к Копенгагену. Пассажиры высыпали на палубу. У пристани стоял русский военный крейсер. Офицеры его, махая фуражками, приветствовали судно, носившее русский флаг и пришедшее от русских берегов.

— Ура! Ура! Ура! — раздалось с палубы крейсера, когда мы пристали недалеко от него к пристани.

Но только немногие белоруссы ответили на его приветствия. Финны, поляки, евреи угрюмо, молча взглядывали на военное судно, олицетворявшее собою царскую власть. Со скрытой, подавленной ненавистью смотрел и я на царских офицеров, в порыве своего восторга начавших подбрасывать вверх фуражки.

Мы сошли на датский берег. «Кончено, — говорил я себе. — Еще финское судно напоминало нам Россию. Теперь уже все, что я ни встречу, будет не наше, не русское, чужое».

Как только мы сошли на берег, нас окружили извозчики. Я внимательно всматривался в их лица. Это были первые представители западно-европейского пролетариата. Мне так надоело на Руси встречать на лицах выражение рабской покорности, что страшно хотелось в свободной стране увидеть у рабочего гордое лицо человека.

Разочарованные внешним видом извозчиков, отказавшись от их услуг, сдав вещи на хранение, мы направились по улицам города. Нас поразило очень большое число краснощеких, пышущих здоровьем девушек, молодых женщин и мужчин, ехавших на велосипедах.

Выехав из Копенгагена по железной дороге, мы пересекли остров Зеландию до городка Коршер. Здесь мы пересели на маленький германский пароход, совершавший рейсы между датским городом Коршером и германским портовым городом Килем.

Присматриваясь к германским матросам, я принужден был еще раз пережить разочарование. Огрубелые лица, покорность суровым окрикам капитана, слишком напряженная работа—все это совершенно не напоминало мне представителей германской социал-демократической рабочей партии, как их создало мое воображение по рассказам товарищей и по прочитанным книгам.

Пароход плыл между тем мимо островов Фионии, Лангеланда, Лааланда. Надвигался вечер. Темнело. Было холодно. Наконец, мы вошли в Кильский залив. Военный порт, коммерческая гавань, многочисленные суда на рейде и у причалов, сам город Киль — все горело бесчисленными огнями фонарей и электрических лампочек.

Распростившись с пароходом, в Киле мы пересели на поезд, направлявшийся в Бельгию через Голландию.

В ГОЛЛАНДИИ

Наш бюджет не позволил нам взять билет на скорый поезд. Мы принуждены были ехать на товаро-пассажирском поезде, который останавливался на каждой станции.

На одной из остановок землекопы-голландцы сваливали балласт. Один белокурый, голубоглазый молодой рабочий, с могучим телосложением, всадив с силой свою широкую лопату в песок, стал закуривать. Затянувшись раза два, он стал оглядывать стоявший перед ним наш поезд и пассажиров, смотревших в окна. Вдруг он заметил в соседнем со мной окне очень миловидную девушку-голландку с румяными щеками, по виду крестьянку одной из ближайших деревень. Так как она не обратила никакого внимания на его подмигивания, он вдруг сделал жест самый оскорбительный и похабный. К моему удивлению не произошло никакого протеста ни со стороны самой девушки, у которой должно было бы заговорить чувство оскорбленной женщины, ни со стороны рабочих, товарищей землекопа. Первая ограничилась тем, что с выражением равнодушия и скуки отошла от окна и села на скамью. Со стороны рабочих раздался одобряющий их товарища взрыв самого веселого хохота.

Смотря на рабочих, продолжавших смеяться, и на девушку, глаза которой не метали молний и лицо которой не говорило об оскорбленном чувстве, я думал: «Не напрасно ли я еду в Западную Европу? Такое грубое, только животное отношение к женщине можно встретить и у нас в России».

„В Бельгии до самого последнего времени существовал закон, позволяющий богатому „покупать человека", который замещал его в военной службе" *.

Л. и д.-Брукер

БРЮССЕЛЬ

Поезд между тем проносил нас уже по Бельгии мимо лугов с необыкновенно яркой зеленой травой, на которых росли плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы и т. д., мимо превосходных дорог, усаженных высокими тенистыми деревьями, мимо каналов, городов, деревень, где не замечалось, как в России, деревянных построек и соломенных крыш, мимо заводов, фабрик. Страна была густо населена. Поезд останавливался часто. Все было иное в этой стране, чем в России. Я внимательно приглядывался к новой для меня жизни.

Наконец, поезд остановился у Северного вокзала в Брюсселе. Как полагается иностранцам, у которых в чужой стране нет своего угла, где бы они могли «преклонить голову», мы сдали вещи на хранение, вышли из вокзала и отправились вдоль по брюссельским улицам в поисках ночлега. Усталость от путешествия у Лизы была настолько велика, что она не в силах была разыскивать комнату. С помощью тех немногих слов, которые я успел уже выучить, я нашел в центре города дешевую, но поразительно чистую меблированную комнату. Раздевшись, Лиза повалилась, как сноп, на кровать.

Только на другой день, когда она пришла в себя и встала веселая, живая и бодрая, мы отправились осматривать город.

Меня поразил вид бельгийской толпы. Она была совершенно иная, чем в России. На лицах прохожих совсем не было заметно той растерянности, пугливости и прямого страха перед городовым, какой замечался в царской России. Все держались с сознанием собственного достоинства, вежливо давали дорогу друг другу, шли по улицам непринужденно, весело. Даже в умении держать себя на улице сказывались пережитые революции, политическая свобода и участие широких слоев населения в общественной жизни, которые наложили на человека свой облагораживающий отпечаток.

---

* Г. де-Ман и Луи де-Брукер. «Рабочее движение в Бельгии», стр. 157.

В рабочих блузах и фуражках редко кого можно было встретить. Все носили выходные костюмы и шляпы-котелки одного и того же покроя и формы, так что трудно было сразу отличить на улице среди прохожих буржуа от рабочего.

Первым долгом мы направились в знаменитый Народный дом в Брюсселе *.

Когда мы переступили порог ресторана Народного дома, послышалась русская речь, и к нам подошли две женщины. Одна из них была пожилая, другая молодая.

— Скажите, вы — русские? — обратилась к нам первая, на русском языке.

— Да, — ответила им Лиза.

— Говорила я тебе, — снова начала пожилая, — что они — русские. На самом деле, они настоящие русские.

— Как я рада с вами познакомиться! — обратилась она к нам.

— Да, вы не ошиблись, мы русские, но только не «истинно-русские», не черносотенцы, а русские большевики, — ответила Лиза.

— Тем более, — сказала на это младшая, — нам интересно познакомиться с большевиками. Позвольте представиться. Я — Кочеткова, зовут меня Зинаида Митрофановна. Я — член бельгийской рабочей партии. А это моя мама, Клавдия Тимофеевна Протопопова. Нам очень приятно с вами поближе познакомиться. Мы истомились по всему русскому. Мы вращаемся преимущественно среди бельгийских социалистов. Они производят какое-то странное впечатление. Они совершенно не походят на русских революционеров. Это какие-то узкие мещане, самодовольные, невежественные. Их социализм представляет собой не что иное, как своего

---

* Народный дом в Брюсселе, выстроенный по плану знаменитого архитектора Грота, — «настоящий дворец» (по словам Э. Вандервельде), основан в 1881 году. В настоящем своем виде он открыт в 1899 году. Постройка обошлась в миллион двести тысяч франков. Для получения этой суммы двенадцати членам бельгийской рабочей партии удалось получить из управления правительственной сберегательной кассы ссуду в 700 000 франков. Кроме центрального имелись еще четыре второстепенных народных дома. В Брюсселе — 2 крупных фабрики хлебопечения с 20 отделениями для продажи хлеба, центральный склад угля, молочная лавка. В центральном Народном доме помещались Международное социалистическое бюро, управление бельгийской рабочей партии, правление брюссельского социалистического кооператива и всех брюссельских профсоюзов. Кроме того, в нем помещались большой и малые залы собраний, библиотека и внизу большой кооперативный ресторан. Открытие народного дома в Брюсселе расценивалось как необычайное достижение рабочего класса в мировом масштабе.

рода кооперативный кретинизм. Они лишены боевого духа и идут на примирение с буржуазией.

Пораженный отзывом З. М. Кочетковой о бельгийских социалистах, я невольно довольно долгое время к ее словам относился с известной долей недоверия.

Между тем Зинаида Митрофановна представляла собой очень образованную русскую женщину. Окончив Новый университет, она вступила в ряды бельгийской рабочей партии и работала в институте Сольве* над анкетой, целью которой было выяснить положение бельгийского рабочего. Хотя она не была марксисткой и идейно сама была гораздо ближе к Вандервельде, чем к Марксу и Ленину, хотя ее собственные социалистические воззрения были самые неоформленные, она не сошлась с вождями бельгийской рабочей партии и предпочитала водить знакомство с низами партии: до такой степени ее радикализм русской интеллигентки не мирился с самым откровенным оппортунизмом вождей бельгийского социализма.

По четвергам у нее были журфиксы**, на которых я всегда встречал кого-либо из бельгийских рабочих. Рассказы их впервые раскрыли мне глаза на многое, что было скрыто от взора непосвященных во внутренние дела бельгийского социализма.

Среди рабочих наиболее часто встречался на журфиксах у Кочетковой выдающийся рабочий с шоколадной фабрики, носивший прозвище «Шоколя»***, данное ему хозяйкой квартиры.

Следуя указаниям Кочетковых, мы поселились в части города, в так называемом Икселе, где селились обыкновенно русские, на улице Ван-Аа. Почти в первый же день знакомства, когда я заявил, что иду к бельгийскому социалисту Виктору Серви, Кочеткова сказала:

— Сомневаюсь, чтобы из этого у вас что-нибудь вышло.

Как предсказывала З. М. Кочеткова, знакомство с Виктором Серви ровно ни к чему не привело. Он отнесся очень формально. Спросил, как поживает в России Лев Толстой, которым все бельгийские социалисты очень интересовались, и ограничился тем, что дал записку к секретарю брюссель-

---

* Сольве́ — крупный бельгийский капиталист, изобретатель фабричного производства соды, владевший химическими заводами в Бельгии и в России. В то же время он был одним из основателей Нового университета в Брюсселе и других научных и благотворительных учреждений.

** Журфиксы — определенные дни для приема гостей.

*** Сейчас секретарь профсоюза пищевиков в Брюсселе.

ских металлистов т. Баку. Последний, когда я явился к нему вместе с Лизой, превосходно говорившей по-французски, принял меня очень любезно, долго расспрашивал нас о русском революционном движении и вообще о России, но ограничился лишь тем, что посоветовал мне скорее научиться говорить по-французски и прочитать практическое руководство для токарей-металлистов, которое он вместе со мной купил в одном из книжных магазинов Брюсселя.

Время шло. Я изучал французский язык, живя в мансардной комнате, под крышей. Поиски работы оказывались бесплодными. Отчасти от нечего делать и по присущей нам любознательности мы вместе с Лизой частенько отправлялись в брюссельские музеи, где собраны богатства фламандской живописи и где мы проводили время иногда целыми днями.

Между тем наша касса все уменьшалась и уменьшалась. Положение становилось очень серьезным. В момент, когда у нас осталось не более двадцати франков, пришло неожиданное улучшение в нашем положении. В ответ на наше письмо меньшевику Золотареву, привлекавшемуся по одному со мной делу вооруженного восстания на заводе Гельферих-Саде в Харькове *, приехал и явился к нам в нашу мансардную комнату т. Б. С. Стомоняков, о котором мы справлялись в письме к Золотареву.

Стомоняков был тот самый товарищ, стоявший во главе льежских большевиков, о котором говорила нам Надежда Константиновна еще в Петербурге. Через его посредство К. Гюисманс, секретарь Международного социалистического бюро в Брюсселе, немедленно выдал мне взаимообразно из кассы бюро около 60 франков и устроил на работу в качестве болтореза у одного из хозяйчиков, своего личного знакомого.

Перед от'ездом в Льеж т. Стомоняков предложил мне взять на себя руководство, в виду его от'езда на подпольную работу в Россию, делом закупки и отправки оружия из Бельгии в Россию для русской революции. Прошло две или три недели, пока т. Стомоняков оформлял это дело с т. «Папашей» ** и пока я получил от него письмо, которым он меня извещал, что я могу приехать для вышеозначенной цели в Льеж.

Перед от'ездом я еще раз посетил знаменитый брюссельский музей старой и новой живописи. На меня произвела неизгладимое впечатление скульптура фламандца Констан-

---

* См. А. Шаповалов. «В подполье», ч. IV.

** Валлах — Литвинов.

тина Менье. В произведениях последнего читаешь, как в зеркале, о невыносимо тяжелом положении бельгийского рабочего. Я смотрел его шахтеров, не видящих глубоко под землей дневного света и постоянно рискующих погибнуть от ужасного «coup de grisou» — от взрыва гремучего газа. Я не мог оторвать взора от его «Пудлёра», рабочего на сварочных печах. Непреодолимая усталость от напряженной работы, граничащая с отупением, полуоткрытый рот с опущенной нижней губой, которую он не в силах от переутомления поднять, — все это раскрывает истинную картину чрезвычайно тяжелого положения рабочего класса в Бельгии.

Г. В. Плеханов, отдававший должное произведениям К. Менье, отмечал в то же врмя, что он воспроизвел в своей скульптуре лишь рабочего, угнетенного капиталом, но не нарисовал рабочего, борющегося за свое освобождение. К. Менье, действительно, не создал в своих работах типа борца. Две статуи другого скульптора О. Вангова, менее художественные, рисующие негра угнетенного, забитого, наверно, в Бельгийском Конго, до потери сознания палками, и негра, поднимающего нож, чтобы отомстить угнетателю еще в то время, когда не зажили рубцы на его теле от палочных ударов, как бы предостерегают буржуазию и как бы хотят сказать, что недалек день, когда и чернокожий негр восстанет против гнета.

— Значит, вы, — говорила нам Кочеткова, — уезжаете из города, где когда-то жил, как и вы, в изгнании сам ваш великий учитель К. Маркс *. Жаль! Значит, мы опять лишимся русского общества, и это в то время, когда у нас выработалась такая сильная потребность видеть около себя русских и слышать русскую речь.

ЛЬЕЖ

Приблизительно в 20-х числах ноября 1906 года по старому стилю мы прибыли в Льеж. На перроне вокзала «Гийомен» мы заметили т. Петра Ивановича Турпаева **, стоявшего, как было условлено, с газетой в руках. Подойдя к нему и назвав себя, мы тотчас же с ним познакомились.

---

* К. Маркс жил в Брюсселе в 1845 году на площади св. Гудулы, д. 21, на улице Альянс, д. 5 и на улице Пашека, д. 35.

** Петрос Турпаев — студент-армянин из Астрахани, левый меньшевик, оказывавший большевикам в Бельгии услуги по закупке оружия для революции. Сейчас беспартийный, работает в Москве в одном из трестов.

Отослав по его совету наши вещи с носильщиком на ручной тележке — «шаретке», что обошлось много дешевле, чем на извозчике, сами мы вместе с Турпаевым, по привычке, воспринятой им от экономных бельгийцев, направились по улицам Льежа пешком на улицу Де-Фори, в дом № 24, где жило много русской студенческой молодежи и в том числе тт. Турпаев и Стомоняков. Здесь у хозяйки, державшей «открытый» дом, нашлась и для нас свободная комната.

Кроме «открытых» домов, в Льеже громадное большинство домов принадлежало к разряду домов «закрытых».

Жизнь в свободной стране, участие в общественной жизни выработали у громадного большинства бельгийцев привычку свободное время проводить вне дома, в кафе*. Последние, таким образом, превратились в своего рода клубы, где происходили встречи со знакомыми, где многочисленные в Бельгии общества устраивали свои собрания, вечера, танцы. При необходимости вести суровую трудовую жизнь, т.-е. рано ложиться и рано вставать, при широкой возможности встречаться с друзьями вне жилища «закрытые» дома служили для бельгийца, таким образом, лишь местом, где он в кругу членов своей семьи ел, пил и спал. Та же трудовая жизнь в стране выработала суровые правила, запрещавшие в домах после 10 часов вечера громкие разговоры, пение, музыку и даже хождение по комнате в сапогах**. Вследствие этого каждый ведший трудовую жизнь бельгиец, принужденный вставать в 5 часов или в 6 часов утра, ложившийся спать в 10 часов вечера, селился в так называемых «закрытых» домах. В «открытых» домах, наоборот, разрешалось многое, что запрещалось в «закрытых». Поэтому их предпочитали те, кого эти порядки по той или иной причине стесняли.

Так как в России полное отсутствие свободы выработало привычку совершенно обратную — собираться не в общественных местах, а у себя на квартире, русские в Льеже, особенно русские революционеры, тоже предпочитали «открытые» дома, где они чувствовали себя много свободнее и где никто им не мешал встречаться со своими товарищами и знакомыми. Конечно, порядки «открытых» домов нравились богатым кутилам и содержанкам и просто проституткам, но хозяйка дома мадам Дюпон уверяла, что таковые у нее в дом не допускаются.

Тотчас по приезде в Льеж я должен был озаботиться поисками работы. Хотя Льеж был настоящим промышленным центром с множеством фабрик, заводов и мастерских, по-

---

* Кабачок.

** См. роман Степняка «Андрей Кожухов».

ступление на работу затруднялось отсутствием у меня так называемого «сертификата» *.

Вспомнив, что т. Старков ** занимает место директора завода «Электрическая сила» в г. Баку, где, впрочем, я никогда не был и не работал, я написал ему письмо и просил его прислать мне удостоверение, подтверждающее, что я работал на его заводе в качестве токаря-металлиста. Хотя такое удостоверение с точки зрения буржуазных законов являлось не чем иным, как подлогом, т. Старков не только не отказал в моей просьбе, но, питая презрение русского революционера-марксиста к законам буржуазного общества, всецело пошел мне навстречу, как к товарищу, которому нужно было помочь найти работу. Он немедленно прислал мне удостоверение на французском языке, говорившее, что я не только в течение ряда лет работал на вышеупомянутом заводе, но что администрация завода знает меня, как превосходного токаря-металлиста.

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ЗАВОД

Получив это письмо и почувствовав под ногами более твердую почву, я отправился вместе с т. Турпаевым искать работу. Тов. Турпаев, в числе других русских студентов, сочувствовавших русскому революционному движению, помогал, как знавший французский язык, разыскивать работу русским рабочим-революционерам, которых судьба забрасывала за границу.

Мы направились с ним в соседний с Льежем промышленный город Герсталь. В кармане у меня лежало рекомендательное письмо одного из видных бельгийских социалистов, секретаря профсоюза металлистов Льежской провинции т. А. Гаспара, к члену бельгийской социалистической партии Оливье, владевшему на компанейских началах вместе с некиим буржуа, по фамилии Бертраном, машиностроительной мастерской, где у них работало десятка полтора рабочих.

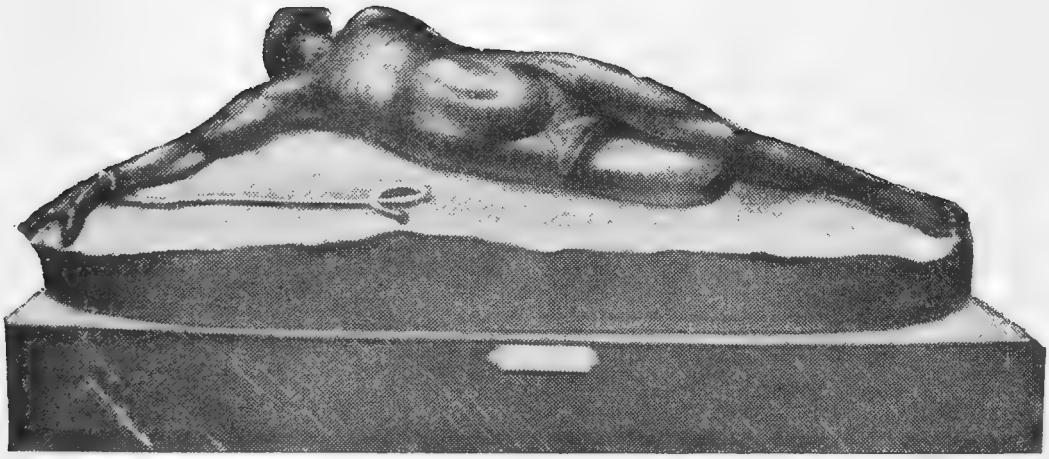
Этот Оливье в исключительных случаях предоставлял в своей мастерской работу тем из бельгийских социалистов, которых буржуазия выкидывала за активность. При мне у него работал некто Серре, валлонский социалист, член муниципалитета города Герсталя.

На воротах мастерской Оливье красовалась медная доска, на которой было вырезано: «Мастерская механических

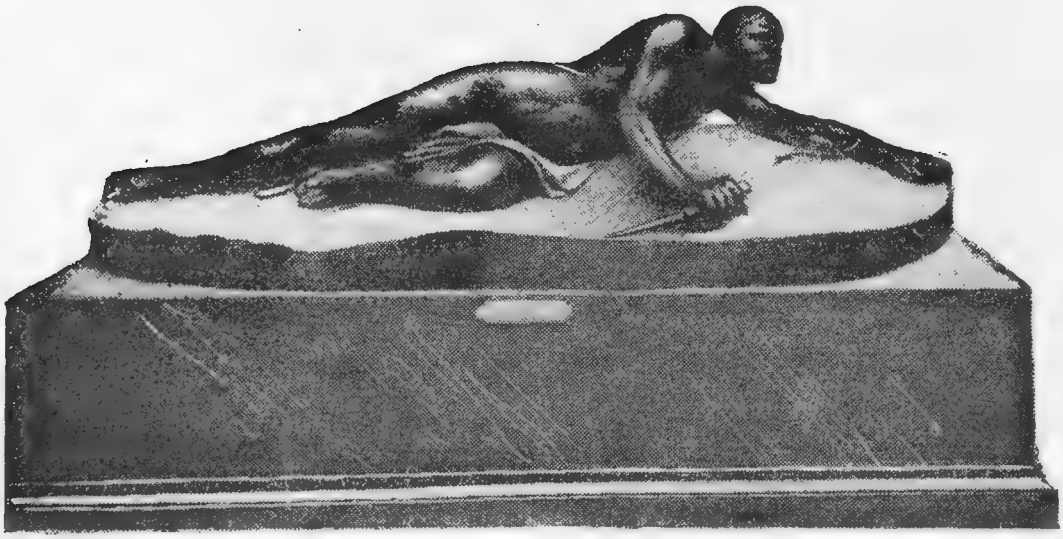
---

* Удостоверение с завода, где раньше работал рабочий, подтверждающее таким образом знание им ремесла.

** См. А. Шаповалов. «В борьбе за социализм», ч. I.



Вангов. Негр наказанный, в западно-европейских колониях палками до потери сознания.



Вангов. Негр, поднимающийся для мщения.

сооружений». За стеной раздавались сильные удары молота, резкий звон металла и слышался глухой шум вращавшихся трансмиссий. Мы позвонили...

— Что вам угодно? — спросил нас выскочивший на звонок лет 16-ти мальчик Антуан в синей блузе, с непокрытой головой и черными от заводской грязи руками. — Господина Оливье? Сейчас я ему скажу, а вас прошу обождать немного здесь у ворот.

Мне бросилось в глаза, что даже у этого заводского подростка, говорившего с нами предупредительно и вежливо, сквозило что-то, что ставило его в смысле сознания своего человеческого достоинства много выше нас, русских.

Вышедший вскоре к нам на улицу социалист-хозяйчик Оливье был с виду довольно суровый человек. Он носил на голове каскетку * парижского рабочего. Руки его, как у обыкновенного рабочего, были черны от грязи.

— Я взял бы вашего знакомого, — говорил он т. Турпаеву, указывая на меня, — если бы был уверен, что он знает свое ремесло. Но если ваш приятель не говорит по-французски, не говоря уже о валлонском языке, то как я могу питать к нему доверие? Где доказательства, что он хороший токарь?

— В таком случае я без труда сумею рассеять ваше недоверие. Вот удостоверение с завода, где он работал в России, в городе Баку, — убеждал его т. Турпаев.

Оливье взял мое удостоверение с известной, как мне показалось, долей недоверия. Но по мере того как он его читал, недоверие исчезало, и на его лице, наоборот, появлялась довольная улыбка.

— Вот это другое дело! — воскликнул он, окончив чтение. — Таких рабочих, как ваш приятель, нам нужно. Пусть он приходит на работу затра же, к семи часам. А теперь до свидания!

— До свидания, — сказал Турпаев. — Будьте спокойны: завтра он будет в вашей мастерской в условленное время.

Пораженный, что так скоро, завтра же, мне придется надеть лямку бельгийского рабочего, я возвращался, не расположенный к разговорам.

— Если хотите, — предложил мне т. Турпаев, — пойдемте обратно пешком. Прогуляемся.

Уже наступал вечер, темнело, когда мы вверх по течению реки Мёза ** возвращались в Льеж.

«Итак, исполнились мои заветные мечты, — говорил я

---

* Фуражка.
** Река Маас.

себе. — Я снова в настоящем пролетарском центре. Завтра с раннего утра я стану за станок...»

Турпаев шел молча. Я, погрузившись в думы, следовал за ним.

— Смотрите! — вдруг воскликнул он и указал на кровавое красное зарево, вспыхнувшее при наступившей темноте на горизонте.

— Что это такое? — спросил я удивленный.

— Это огни доменных печей, — ответил мне т. Турпаев. — Здесь кругом промышленные города. Мы только-что были с вами в Герстале. Налево по другой стороне Мёза расположены Жупиль, Брессу. Далее Угрей, Серен, где такие большие предприятия, как завод Кокериля. За Сереном — Гюи. Против Серена на этом берегу Мёза Склесен. Постройки одного города здесь сливаются с постройками другого города или деревни, следующих один за другим без перерыва. А в Шарлеруа, в другом бельгийском каменноугольном бассейне, Гено, там настоящая «черная страна», где вместо зеленых деревьев вздымаются к небу одни высокие фабричные трубы.

Огни между тем по мере того, как он говорил, то вспыхивали, то потухали.

— Шлак выливают, — сказал т. Турпаев, указывая на сверкавшие, стекавшие по склону холма, сначала жидкие, затем застывавшие и тускневшие струи шлака.

ИЗ ПРОШЛОГО БЕЛЬГИЙСКИХ РАБОЧИХ

Вернувшись домой, я долго слушал, как мне читала Лиза, переводя с французского, некоторые страницы книги Вандервельде и Дестре «Социализм в Бельгии», Луи Бертрана «Бельгия в 1886 году».

В 1886 году в Бельгии разразился промышленный кризис. Стачки, вспыхивая, переходя в восстания, проносились по всей стране с начала года*. В феврале в Боринаже, где царила ужасная нищета, митинги рабочих следовали за митингами. В начале марта бельгийский социалист Альфред де-Фюиссо выпустил к рабочим «Катехизис народа» (в количестве 200 000 экземляров), в котором говорилось, что рабочий в Бельгии доведен буржуазией до «рабского состоя-

* L. Bertrand. «La Belgique en 1886», p. p. 1, 72, 73, 106.

ния *. 17 марта, накануне годовщины Парижской коммуны, забастовали углекопы на шахте Жемепп около Льежа. Бургомистр Льежа Андримон на основании законов 1790 и 1836 годов запретил скопление рабочих на улицах. Несмотря на это запрещение, к вечеру рабочие пригородов Тилёра, «Святого Николая», Герсталя, Угрея и Серена пришли в Льеж на площадь св. Ламбера с красными знаменами. Отсюда они направились на площадь Делькур. Раздавались возгласы: «Да здравствует республика! Да здравствует Парижская коммуна!» Рабочие пели «Марсельезу», являвшуюся до появления «Интернационала» революционным гимном. Около 8 часов вечера власть перешла к генералу Лоццу, занявшему войсками «гражданской гвардии» набережную Пешер и преградившему путь демонстрации на улице Питтер. Перепуганные шахтовладельцы в страхе перед углекопами, захватившими на шахтах запасы динамита, спешно вооружались, как во время войны. Правительство спешно бросило войска в провинцию Льеж из Антверпена, Намюра и из лагерей Беволо. Кровь рабочих пролилась в Тилере, где войска охраняли шахты миллионера Браконье. 19 марта стачка рабочих охватила весь каменноугольный бассейн Льежа. Рабочие требовали повышения заработной платы и сокращения в законодательном порядке продолжительности рабочего дня. Всюду раздавался крик: «Да здравствует республика!» Толпы забастовавших рабочих заполнили улицы и площади, где стояли занявшие провинцию солдаты. Молчаливые, угрюмо-серьезные и мрачные, они, напирая массами, прорывали цепи солдат или, скрестив руки, кричали в лицо офицерам и солдатам: «Стреляйте, негодяи!»

В одном месте рабочие ответили офицеру, гнавшему их на работу и грозившему, что они умрут от голода:

— Умирать — так умирать! Мы предпочитаем умереть от пули, чем от голода **.

С особенным усердием войска охраняли завод Кокериля в Серене, где на набережной Мёза была поставлена артиллерия против рабочих.

---

* Бельгийский закон, предоставлявший фабриканту возможность удерживать у себя так называемую «рабочую книжку», строго предписывал жандармам арестовывать тех рабочих, которые осмеливались искать работу, не имея у себя на руках этой «рабочей книжки». Этими мерами рабочий в Бельгии прикреплялся к фабрике так же, как некогда был прикреплен к земле крепостной крестьянин. L. Bertrand — «L'ouvrier Belge, depuis un siécle», p. 337.

Вандервельде и Дестре в книге «Социализм в Бельгии» ссылаются на листовку де-Фюиссо как на имевшую среди бельгийских рабочих «невероятно огромный и непонятный для того времени успех».

** L. Bertrand. «La Belgique en 1886», p. 108.

Задавленное при помощи войск движение рабочих в Льежском каменноугольном бассейне через неделю, 26 марта, перекинулось в каменноугольный бассейн Шарлеруа.

День был весенний. Сияло солнце. Земля пробуждалась от зимнего оцепенения. Вместе с весной пришли к углекопам слухи о событиях в Льеже. В душе шахтера, привыкшего всегда рисковать своей жизнью в подземных коридорах шахт, зародилось смутное стремление к свободе. Первым забастовал рудник во Флерюсе. Затем стачка, как говорит Вандервельде, стала разрастаться с ужасной быстротой. Толпы забастовщиков направлялись к видневшимся на горизонте силуэтам высоких труб и построек шахты. Рабочие, которым стала невыносима их участь, довольные, что их силой заставляют сделать шаг, на который они не могли решиться добровольно, ждали с нетерпением прихода толп забастовщиков и присоединялись без разговоров к стачке. Последняя, подобно урагану, вслед за льежским восстанием пронеслась по «Черной стране», предвещая небывалую грозу *. Собрания, митинги, взрывы динамита, которым владели шахтеры, следовали один за другим. Два дня вся промышленная часть страны находилась в руках рабочих. Правительство, перебросившее все войска в Льеж, для подавления восстания в «Черной стране», не находило больше солдат.

В этот один из самых решительных моментов в истории бельгийского рабочего движения, когда на горизонте Бельгии загорелось красное зарево пожаров и революции, рабочие оказались предоставленными своим собственным силам, без всякого руководства со стороны бельгийских социалистов.

Бельгийская рабочая партия,—признается сам Вандервельде,—не принимала участия в этом восстании**. Вполне понятно, что лишенное руководства со стороны вождей партии, которых это небывалое движение застало врасплох, стачечное движение рабочих пошло по ошибочному пути. Бельгийская рабочая партия в этот ответственный исторический момент не пошла за К. Марксом. Вместо того, чтобы взять руководство этим необыкновенно сильным стихийным движением рабочих в свои руки, она предпочла оставаться в роли наблюдательницы событий.

---

* Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии», 1906 г., стр. 61, 62, 63. Изд. «Молот».

** «Рабочая партия не участвовала в этом восстании», — говорит Вандервельде в своей книге «Положение рабочего класса в Бельгии», стр. 41, 42, 43.

Рабочие, предоставленные самим себе, которые, как говорил позднее т. Ленин *, «в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское» ** в данном случае, несомненно, поддались влиянию агентов правительства и той части мелкой и средней буржуазии, которая испытывала конкуренцию крупных заводов, вводивших новейшие машины и усовершенствования в производстве. Толпы рабочих, находившихся сначала под влиянием прокламации социалиста-республиканца Альфреда де-Фюиссо ***, певшие «Марсельезу» ****, требовавшие увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня, всеобщего избирательского права, учреждения вместо монархии Бельгийской республики, кричавшие: «Долой Перебома! *****. На виселицу Перебома!», затем, под влиянием агентов буржуазии, бросились грабить и громить заводы и дома ненавистных капиталистов. Ярость толпы была направлена на стекольный завод фабриканта Боду, введшего усовершенствованную плавильную с особым бассейном печь. Завод и квартира Боду были разгромлены и сожжены. Вместе с вечерними сумерками над страной, лишенной зелени, черной от угольной пыли, встало кровавое зарево пожарища.

Власти были бессильны что-либо предпринять. Все воинские части находились в это время в Льежском угольном бассейне, где под командой генерала де-Лоцца солдаты залпами усмирили восстание льежских рабочих.

Только через два дня правительство перебросило войска из одной провинции, где движение было подавлено, в другую, где оно разгоралось. Если в Льежском каменноугольном бассейне правительство не остановилось перед пролитием крови рабочих, то в Гено, в «Черной стране», центром которой был Шарлеруа, генерал Вандер-Смитен подавил движение с невероятной жестокостью. Войска расправлялись с восставшим населением, как в завоеванной области. Число павших под выстрелами рабочих доходило до сотни ******. После кровавого подавления восстания буржуазный суд с неменьшею свирепостью выносил приговоры в каторжные работы арестованным зачинщикам: вечная катор-

---

* Н. Ленин. «Что делать?», стр. 141, 149.

** Тред-юнионизм означает рабочее движение, находящееся под влиянием буржуазии.

*** Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии», стр. 62, 63, 73, 82, 87, 111.

**** «Марсельеза» до появления «Интернационала» считалась среди рабочих наиболее революционным гимном.

***** Министр внутренних дел, католик.

****** Шарль Сеньобос. «Политическая история современной Европы», т. II, стр. 175.

га — одним, каторжные работы на 20, 15 и 10 лет — другим *.

Несмотря на отрицательное отношение в 1886 году вождей бельгийского социализма к стачечному движению рабочих, последнее пользовалось среди рабочих несомненной популярностью. Доказательством этого служит стачечное движение в Бельгии 1887, 1888 и 1889 годов. Через год имела место стачка остендских рыбаков. В 1888 году разразилась огромная стачка углекопов каменноугольных бассейнов Бельгии — Боринажа, Шарлеруа, Льежа.

Рабочие требовали всеобщего избирательного права, амнистии и отмены устарелых законов, как закон Дюмона. Движение грозило перекинуться во фламандские провинции. В Брюсселе, Генте, Антверпене, как и во всех промышленных центрах, происходили шумные демонстрации рабочих.

Через год, в 1889 году, опять вспыхнула большая стачка рабочих-каменоломщиков в Кена.

Почти во всех этих стачках жандармы и войска стреляли в рабочих **. Правительство действовало через провокаторов, устраивавших динамитные взрывы; социалисты, вожди рабочей партии, в самый разгар движения старались парализовать последнее, настаивая, как это делал Э. Анселе, отложить стачку ***.

Картина одна увлекательнее другой развертывались перед моими глазами, когда мы читали эти страницы. Я видел воодушевление, героизм рабочих, их готовность к революционной борьбе. Впечатление от этих славных дней в истории бельгийского рабочего движения омрачалось поведением вождей бельгийской рабочей партии, как Э. Анселе, Цезарь де-Пап, ван-Баверк, Л. Бертран, явно не понявших движения рабочих, предпочитавших или выжидать, как предлагал Цезарь де-Пап ****, или стараться всеми силами сорвать забастовки валлонских рабочих. Если бельгийские рабочие вызывали во мне восхищение, то вожди их оставляли по себе какое-то недоумение.

Между тем было уже поздно. Вспомнив, что на следующий день необходимо, чтобы не опоздать на работу, как можно раньше встать, я поставил будильник на 5 часов утра и, потушив лампу, лег спать.

«Какая разница! — думал я, засыпая. — Наша партия была всегда с рабочими, особенно во время таких массовых

---

* L. Bertrand. «La Belgique en 1886», Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии», стр. 71, 72, 73.

** Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии», изд. «Молот», 1906 г., стр. 85.

*** Там же, стр. 82, 83 и 87.

**** Там же, стр. 91 и 93.

выступлений рабочих, как вышеупомянутые стачки бельгийских рабочих. Здесь же наоборот. Вожди бельгийского социализма сознаются, что они предпочитали или наблюдать со стороны, как разовьются события, или даже высказывались против такого грандиозного движения бельгийского рабочего класса, каким оно было в 1886 году, высказываться против которого было бы не только странно, но даже...» У меня хотело сорваться слово «преступно». Я не решился тогда произнести это слово и заснул в недоумении.

У СТАНКА НА ЗАВОДЕ

Было еще темно, когда на другой день, в 6 часов утра, я вышел из дома, чтобы ехать на работу в город Герсталь, на улицу Трех Камней, 48. Для многих рабочих рабочий день начинается еще раньше*. Рабочие поезда начинают свое движение с 4 часов утра и раньше, подвозя из земледельческой Фландрии в промышленную Валлонию, к промышленным центрам из деревень, рабочих. Проводя в накуренном донельзя и набитом доотказа людьми вагоне два часа, такой рабочий, чтобы поспеть на завод или шахту к 7 часам, должен еще ехать часть пути на трамвае. Мне бросились в глаза, когда я подходил к трамваю, такие же, как и я, рабочие, спешившие на работу со свертком тартинок, завернутых в черную клеенку. Тартинки — белый хлеб с намазанным на него тонким слоем масла или варенья и т. п. — традиционный обед бельгийского рабочего. Кроме тартинок клеенка скрывала в себе также небольшой бидончик черного без сахара кофе.

Я обратил внимание, что в конце ноября, несмотря на температуру всего в один-два градуса выше нуля, лишь я один был одет в пальто. Рабочие-бельгийцы ехали на работу в одних пиджаках. Между тем погода испортилась. Дождевые капли бились о стекла трамвая, ручейками текли по стеклу окна и капали с пиджаков входивших рабочих. На улице было сыро, хмуро...

Не менее хмуро было и у меня на душе. Снова раскрывалась передо мной первая страница книги жизни рабочего — жизни, полной лишений и тяжелого труда.

Я вышел из трамвая. Раскрыв зонтик, под проливным дождем прошел я улицу Трех Камней.

---

* Поднявшись из шахты, эти несчастные тотчас же наполняют вагоны 3-го класса. Черные от угольной пыли, набившись в вагоны, они стараются сном в поезде возместить недостаток своего ночного отдыха. Многим из них приходится после 12 часов работы и 4 часов езды (2 утром и 2 вечером) совершить еще целое путешествие по полю». Э. Вандервельде «Положение рабочего класса в Бельгии», стр. 21.

Я довольно скверно чувствовал себя в эти минуты. Я вспомнил, что вообще я никогда не мог претендовать на звание первоклассного токаря-металлиста, каким меня рекомендовал в своем удостоверении т. Старков. Помимо того, что я представлял рабочего технически и культурно отсталой страны, я отдавал себе не менее ясный отчет, что я, кроме всего этого, совершенно отвык от работы на токарном станке, ибо не подходил к последнему в течение целых долгих десяти лет, со времени моего первого ареста в Питере в 1896 году, за время которых много воды утекло, и сильно, особенно за границей, подвинулась вперед техника.

Первым моим движением, когда я подошел к токарному станку, было бросить мастерскую Оливье и вернуться домой.

«Оскандалюсь я непременно, — думал я. — Ведь за десять лет я совершенно забыл токарное дело».

Мне стоило больших усилий заставить себя взяться за работу. Положение мое осложнилось еще тем, что я совершенно не был знаком с французским языком.

Мне было известно, что рабочие обыкновенно внимательно наблюдают новичка. По одному тому, как он берется за молоток, за напильник, как он подходит к токарному станку, они с одного взгляда безошибочно определяют, знает ли он ремесло, умеет ли он работать. Я чувствовал, что и здесь глаза всех устремлены с особым вниманием на меня. В данном случае любопытство их было обострено сознанием, что перед ними иностранец, и иностранец особый, русский революционер, которого они видели в первый раз. Чувствуя на себе их взгляды, я сознавал, что рабочие в заводе по отношению к новичкам во многом походили на школьников. Между прочим, подобно последним, они бывают безжалостны к тем, которых они считают самозванцами, втирающимися в их среду обученных рабочих, не зная ремесла, не умея работать.

Я вспомнил, как в Петербурге в девяностых годах прошлого столетия аристократия рабочих-металлистов, относясь свысока к подметальщикам завода — чернорабочим, считала для себя своего рода позором взять в руки метлу. Перед моими глазами мигом встала сцена, когда токарь, молодой малый Пушкин на «Варшавке» *, в момент, когда по мастерской проходил мастер, крикнул рабочему-новичку, не умевшему работать:

— Эй ты, смотри, «чорт» идет. Бери скорее метлу, подмети у себя стружки. Иначе он тебя облает...

Вся мастерская помирала от хохота, смотря на новичка, как тот, совершенно не сознавая, что он губит себя, схватил

* Главные мастерские Петербургско-Варшавской ж. д.

метлу. Токарь Сергей Пушкин, чтобы усилить впечатление и тем вернее опозорить его в глазах приближавшегося мастера.

— Не ленись, чортов кум! Какого ты лешего! Сильней налегай на метлу-то, елки зеленые! В рот тебе пирога с капустою... смотри, «чорт» идет.

Новичок только тогда понял, почему вся мастерская хохочет, глядя на него, когда подошедший к нему мастер-немец сказал:

— Ваш можете уйти! Мой не нужна чернорабочий. Мой нужна хороший мастеровой-токарь.

Только тогда новичок бросил далеко от себя метлу, погубившую его, — эту своего рода эмблему угнетенного положения чернорабочих, до которых в девяностые годы не хотел опуститься уважавший себя квалифицированный металлист.

«Правда, это было давно, когда русские металлисты были еще совершенно несознательны. Правда также и то, что я теперь в передовой культурной стране, где рабочие организованы и сознательны, — думал я. — Все это так. Но ведь им совершенно неизвестны причины, почему я в течение десяти лет не подходил к токарному станку». С такими мыслями я начал работать.

Когда я установил станок, когда последний с зажатой в патроне вещью, которую я должен был обтачивать, завертелся, когда я взялся за ручки самоточки, я справился со своим смущением, и понял, что я не забыл ремесла. Но я совершенно разучился работать с надлежащей быстротой.

Последнее обстоятельство стало особенно для меня ясно, когда к концу рабочего дня к моему станку подошел хозяин Оливье вместе с токарем Франсуа и в виду незнания мной французского языка написал на станине моего станка мелом две цифры: 14 и 60. Выяснив, что я в течение 10-часового рабочего дня вместо 60 штук вещей сделал с трудом всего лишь 14, я хотел попросту уйти из мастерской. Но хозяин, удержав меня, дал мне записку на французском языке, которую мне дома перевела Лиза и в которой говорилось, что он доволен моей работой качественно и просит постепенно увеличивать темп работы, чтобы довести производительность труда до 60 штук в день. С этого дня потянулась моя жизнь в Бельгии, жизнь рабочего, в которой каждый день похож на другой, как две капли воды.

С первых же дней я испытал над собой власть капитала. Я чувствовал ее утром еще в полумраке, под свежим дыханием ветерка, когда под холодным осенним дождем я торопился на работу, ночью, когда, просыпаясь, я невольно-

но думал, как бы не опоздать на работу; в воскресенье, когда мои мысли невольно переносились на фабрику, к станку, к неоконченной работе. Меня часто занимал вопрос: доволен ли мной мой хозяин, или нет, оставит он меня на фабрике или нет? Часто, когда я читал в воскресенье I том «Капитала» К. Маркса или в вагоне трамвая — Меринга «Историю германской социал-демократии», мысли мои уносились к фабрике. Иногда меня явно беспокоил недовольный взгляд хозяина, брошенный на меня. «Что он означает?» — невольно думал я и на заводе, и дома, и во время воскресной загородной прогулки, и даже на собрании. Необ'ятный мир, в котором мы живем, как-то суживался, становился маленьким, сходился клином под крышею завода, у станка. Под взглядом хозяина, как под взглядом ядовитой змеи, я мертвел... Но мне становилось стыдно за себя и мне страстно хотелось борьбы, воли, свободы и человеческого счастья...

В моем хозяине, когда он на фабрике, я не замечал ничего социалистического. Ежедневно он ругается с рабочими. Франсуа, как и все рабочие, явно ненавидит хозяина. Серре и Франсуа, как в совершенстве знавшие свое ремесло, были более независимы, чем другие; остальные рабочие заискивают перед хозяином, когда он приходит в мастерскую, когда подходит к станкам, спрашивает про работу. Но делая это, я должен оговориться, они никогда не доходили до хамства и халуйства, до явного унижения своего человеческого достоинства, что мне приходилось так часто наблюдать у нас в России. Часто в отсутствие хозяина рабочие что-то недовольно говорят про него. Но это недовольство не шло дальше разговоров.

Глеб Успенский писал о «власти земли» над крестьянином. Но вот я испытываю над собой власть капитала. Эта власть простирается по всей стране. Она забирается под крыши домов, гонит рабочих спозаранку на работу.

С первых же дней в мастерской Оливье я почувствовал своеобразное раздвоение. Я — революционер-марксист, ненавидевший капиталистический строй, поставивший своей целью непримиримую борьбу с последним до полного его уничтожения, сознавал, что капитал давит меня и подчиняет меня воле хозяина настолько, что я опускаю глаза под строгим взором хозяина, что я сильнее, чем нужно, сгибаюсь над токарным станком, когда он смотрит на меня.

Увы, я должен был сознаться, что во мне жило как бы два человека. Один, который в борьбе за лучшее будущее рабочих не побоялся побывать в Петропавловской крепости и в сибирской ссылке, и другой, который не освободился еще вполне от чувства зависимости и даже боязни хозяина. Тем

не менее, ловя себя на этих рабских чувствах, я еще сильнее ненавидел капитализм и моего хозяина Оливье.

Однажды утром Оливье в кочегарке попал под главный приводный ремень. Опасность была огромная. Он рисковал жизнью. Машина вмиг сорвала и истрепала его толстый пиджак и рубашку. Удивленно и сурово смотрели рабочие на синяки, царапины и капли крови на его спине и боках, когда он проходил по мастерской из кочегарки. Себя в этот миг я поймал на мысли, что мне досадно, что машина не разорвала его, как это часто случается с рабочими, что он во-время успел ухватиться за железную раму, что он вырвался из железных об'ятий машины и остался жив.

Чем дальше шло время, тем все более надоедала мне монотонная жизнь, которую я вел. Я страстно желал, чтобы рабочие мастерской бросились в борьбу, об'явили стачку. Мне хотелось кинуться в борьбу с головой. К сожалению, незнание языка заставляло меня заглушать мои порывы и говорившие во мне чувства и вообще мешало проявлять себя более активно.

Мне было досадно, что никто из рабочих не заикался о борьбе. Придя утром, они переодевались, снимали котелки, крахмальные воротнички, штиблеты. Одевшись в синие брюки и куртку, сунув ноги в теплых носках в сабо (выдолбленные из дерева башмаки), они работали, не выражая протеста против тяжелой доли, от утра до обеда, от обеда до вечера.

Я продолжал жить ненавистью к капиталистам и ждать когда, наконец, бельгийские рабочие возмутятся против гнета и восстанут, как это было в 1886 году.

БЕЛЬГИЙСКИЕ РАБОЧИЕ

Переехав с улицы де-Фори, из центра города, мы поселились на краю Льежа, в рабочем квартале. В двух шагах от нас начинался фабричный город Герсталь, населенный преимущественно рабочими и мелкими буржуа.

Обыкновенно еще в ночной тиши, в 5 часов утра, когда осенью и зимой редкие газовые фонари, казалось, бессильны были побороть охватывавший всю землю мрак, внезапно раздавался сухой, резкий, подобный ружейному выстрелу, стук деревянного башмака рабочего, выходившего на тротуар, стук, заставлявший просыпаться и вздрагивать.

Мы жили в двух мансардных комнатах, очень маленьких, где под самой крышей летом было нестерпимо жарко, а зимой очень холодно. Лизе, сделавшейся женой рабочего,

иногда в тяжелые минуты наша жизнь начинала казаться беспросветной, а наше жилище — своего рода гробом.

Невольно стук деревянного башмака какого-нибудь кочегара, спешившего растопить котел на фабрике, начинал ей казаться стуком молотка о крышку гроба...

За первым стуком раздавался второй, третий, четвертый.

Вскоре от идущих на работу рабочих вся улица наполнялась этими резкими звуками, похожими на стук пулемета. Каждый удар, как казалось Лизе, вбивал могильный гвоздь в ее жизнь. Она впервые не по книжке и не по рассказам, — на деле познакомилась с положением рабочего. Оно показалось ей страшно безнадежным и безотрадным. До сих пор она видела рабочих лишь в России и в своего рода красочной обстановке — на митингах, на демонстрациях, на баррикадах в 1905 году. Здесь, в Бельгии, она познакомилась и с будничной обстановкой их жизни.

Она стала худеть, бледнеть, чахнуть. Она обратилась к врачам. Один из них нашел у нее сильное малокровие, другой — катар желудка. Под влиянием болезни тяжелые, мрачные мысли часто временами приходили ей в голову.

Хотя положение бельгийских рабочих в материальном отношении было несравнимо лучше, чем рабочих в России, хотя они жили в свободной стране, — бросалась в глаза вышеупомянутая мной страшная власть капитала, державшая их в своих цепких руках.

Бельгийский рабочий, как и вообще западно-европейский рабочий, не только подражает своему господину — буржуазии — во внешности. В нем замечалось стремление по-обезьяньи перенимать привычки своих господ, в чем К. Каутский в свое время совершенно справедливо обвинял английских рабочих *.

Тяжелее всего было, что капитал порабощал рабочих не только физически, но и умственно. Он как бы говорил рабочему: «Я закабалил твое тело; я заставляю тебя работать на меня с утра до вечера, от самого почти рождения до смерти, я для этого приковал тебя невидимыми цепями к станку, к тискам; но всего этого для меня недостаточно: я приказываю тебе и мыслить и думать не так, как тебе этого хочется, а как мне угодно».

В Бельгии поражало какое-то равнодушие рабочих к судьбе своего класса. В то время как мы, русские рабочие, задыхаясь, как без воздуха, без политической свободы, шли

---

* К. Каутский. «Социальная революция», изд. ВЦИК, 1918 г., стр. 60—61.

в борьбе за нее в тюрьмы, на каторгу, на эшафот, бельгийские рабочие как будто не замечали, что в их стране в то время была самая большая политическая свобода в Западной Европе. Они совершенно почти ее не использовали, или очень мало, в борьбе за свое освобождение.

Бросалось также в глаза, что бельгийская буржуазия держала своих рабочих в умственном плену, редко сравнительно прибегая к помощи тюрем и смертной казни, как у нас в России, а лишь поощряя увлечение рабочих голубиным, петушиным и другими видами спорта, а также при помощи церкви, театра, подкупленной, развращенной прессы, кинематографа и даже социалистической партии, поскольку последняя не считала нужным принимать меры против умственного закабаления народа буржуазией.

Увлечение бельгийских рабочих голубиным спортом достигало колоссальных размеров. Вся Бельгия была покрыта обществами голубиного спорта. Развитие последнего приняло такие размеры, что в дело регулирования спорта, отправки поездов с почтовыми голубями для организации их полетов из довольно отдаленных местностей и большей частью из-за границы вмешалось само бельгийское правительство. Чиновники последнего, чаще всего по четвергам, в особых кафе принимали от членов обществ голубей и надевали на одну из лапок голубя особое снимающееся алюминиевое правительственное колечко. Другое колечко, с именем владельца голубя, находилось обыкновенно постоянно на другой лапке голубя. Собранных таким образом голубей в особых клетках, в вагонах железных дорог отвозили к границам Бельгии, но чаще всего во Францию или в Италию. Там тотчас по приезде их разом выпускали на свободу. Голуби тотчас улетали обратно в Бельгию. Прилетали они обратно в Льеж обыкновенно в воскресенье или в понедельник.

В окрестностях города, в пригородах в воскресенье можно было наблюдать шахтеров и других рабочих, как они, сидя, по привычке углекопов, на корточках у стен домов, держали на руках детей и в то же время не сводили глаз с неба.

— Что они с таким вниманием высматривают в небе?— спрашивал я.

— Просто они увлечены голубиным спортом и ждут возвращения из дальних полетов своих голубей. Поэтому они и не спускают глаз с неба, ожидая ежеминутно, что вот-вот появится их пижон*,— говорили мне.

---

* Пижон — голубь.

На улицах Льежа, на окраинах города в воскресенье я почти постоянно натыкался на того или иного бельгийца, который, рискуя свалить вас с ног, стремительно выбегал из дома без ботинок, в одних чулках, и, бережно держа что-то в руке, передавал это что-то, как своего рода святыню, другому бельгийцу, который так же в одних чулках бежал до третьего и т. д.

Святыней, которую с такой торопливостью рабочие передавали друг другу, оказывалось алюминиевое колечко, снятое с лапки голубя, только-что вернувшегося с полета. Это колечко нужно было во что бы то ни стало доставить как можно скорее в сборное кафе и опустить в особые часы, специально изобретенный аппарат которых записывал автоматически день, час и минуту, когда колечко было опущено в его отверстие. Обыкновенно хозяин голубя, прилетевшего раньше других, получал больший или меньший денежный приз.

Увлечение голубями охватывало самые широкие слои взрослых серьезных рабочих. Молодых голубков выкармливали, приучая их к себе, изо рта.

На улицах, в кафе, на заводе, когда утром в 8—9 часов останавливались машины, и в 4 часа пополудни, когда рабочие ели свои тартинки с черным кофе, они обыкновенно вели оживленную беседу. Когда не понимавший валлонского наречия иностранец спрашивал, о чем они говорят, он получал ответ:

— О голубях.

Если голубь погибал дорогой и не возвращался домой, горю его хозяина, казалось, не было конца. Создалась даже пословица, говорившая, что «хороший бельгиец любит своего голубя больше, чем свою жену».

При таком массовом и сильном увлечении спортом, на которое шахтер, металлист, прядильщик тратили все свое свободное время, рабочие не имели ни времени, ни желания читать книги, особенно по вопросам борьбы рабочего класса за свое освобождение.

Так невинный сам по себе спорт в руках буржуазии превратился в существенное орудие борьбы против социализма.

Голубиным спортом увлекались только летом. Зимой для борьбы с социалистами буржуазия применяла не менее простое средство: им являлся спорт певчих петухов.

Однажды на докладе самого видного в то время марксиста Бельгии де-Брукера я поразился чрезвычайно ничтожным количеством пришедших на собрание рабочих. Дело происходило в воскресенье, в свободный для рабочих день,

в одном из самых промышленных городов Бельгии, в Серене. Здесь вся почва изрыта рудниками, а на поверхности земли заводы дышат огнем и дымом. Несмотря на это, я насчитал не более шестидесяти участников собрания.

— Отчего так мало присутствующих? — спросил я т. Рожистера, одного из молодых активных бельгийских рабочих-социалистов*, выходя с собрания.

— А вот отчего! — сказал мне т. Рожистер. — Видите? Слышите?

Оглянувшись в сторону, куда указывала его рука, я увидел большую толпу, целый хвост людей, числом не менее как в 400 человек, стоявших в очереди у входа в кафе, в которое не могли войти все желающие. Большое кафе, набитое доотказа, вмещало в себе в свою очередь не менее нескольких сот рабочих. У каждого ожидавшего с нетерпением своей очереди попасть внутрь кафе находилась в руках маленькая корзиночка, из которой то-и-дело раздавался крик петухов: «Кукареку! Кукареку! Кукареку! Кукареку!».

— Что же это такое? — спросил я т. Рожистера.

— Да это конкурс певчих петухов. Вот рабочие и собрались.

— Обратите внимание, — заметил т. Рожистер, — что как нарочно собрали на петушиный конкурс рабочих как раз в тот момент, когда мы устраивали свое собрание.

«Да, — думал я, — приходится сознаться, что знаменитый «галльский петух», крик которого, по выражению Герцена **, разбудил когда-то всю Европу, в руках капиталистов превратился в превосходное средство усыпления и закабаления рабочих».

За осенью прошла зима и весна. Настало лето. Бросалось в глаза, что на собрания приходили все те же лица, что новые силы не приливали в организацию.

Когда однажды на заседании профсоюза металлистов Льежской провинции Бельгии один рабочий задал вопрос, почему организация влачит такое жалкое существование, отчего на собрания являются все те же товарищи, почему так слабо привлекаются новые члены, т. Рожистер наивно ответил ***:

— Этот вопрос у нас неизменно поднимается но-

---

* В настоящее время Режистер — секретарь союза металлистов Льежской провинции.

** Герцен. «Былое и думы».

*** Бельгийские социалисты де-Ман и де-Брукер в своей книге «Рабочее движение в Бельгии», стр. 88, приводят данные, что рабочие в Бельгии якобы «относились почти всегда к стремлениям социалистов с почти абсолютным равнодушием».

выми членами организации. Я хочу им ответить, что мешают успехам организации три причины: пижон, крапот* и велосипед.

Таким образом, из речей самих рабочих на собраниях их профессиональной социалистической организации вытекало, что в руках буржуазии, помимо таких увлечений, как голубиный спорт, велосипедные гонки, было еще одно могучее орудие влияния на массы: это — женщина.

Немудрено, что почти каждый раз накануне первого мая на вопрос, который я задавал работницам возвращавшимся со мной в одном и том же вагоне трамвая, будут ли они праздновать первое мая и придут ли они завтра на социалистическую демонстрацию. я получал всегда один и тот же ответ:

— Нет, не придем.

— Но почему же? — продолжал я допытываться.

— Потому что мы все — католички.

Женщины-работницы настолько долго находились под влиянием католических попов, что письмо бельгийского марксиста А. Гаспара** отмечает присутствие в профсоюзе всего около сотни работниц на 11 000 организованных рабочих-мужчин в начале 1913 года.

Наталкиваясь на отсталость бельгийских работниц, на умственное порабощение работницы в Бельгии попами, я вспоминал всегда произведения художника К. Менье.

Нигде исскуство не шло, мне кажется, в такой степени навстречу социалистам, как в Бельгии, в виде скульптуры К. Менье. Но, к сожалению, оно не было использовано для борьбы с буржуазией. Даже больше: я встречал среди рабочих-социалистов таких, которые как бы стыдились, что этот художник изобразил их в виде рабов буржуазии, какими они и были на самом деле.

— Это не мы! — возражали они. — Это не металлисты, это — углекопы и сварщики при печах.

На самом деле Бельгия всегда была страной низкой заработной платы, длинного рабочего дня и тяжелого положения рабочих. Так, по данным английского министерства труда, в 1910 году бельгийский рабочий зарабатывал вдвое меньше английского рабочего, всего 52% заработной платы последнего, при более продолжительном рабочем дне. При сравнении положения бельгийского рабочего в смысле питания в настоящее время и сто лет назад в общем современный бельгийский рабочий в Брюсселе может иметь в день

---

* Возлюбленная.

** См. приложение.

больше на 4,5 *кг* хлеба, на 0,2 *кг* мяса, но зато на 4 *кг* меньше картофеля и также на 33 яйца меньше, чем сто лет назад *.

Заработная плата в 1886 году в угольном бассейне Гено (Шарлеруа) в среднем не превышала в день 2 франков, в Льежском каменноугольном бассейне она не превышала 1 франка 50 сантимов. Женщина-работница зарабатывала всего 1 франк **.

Лично я за 10 часов труда в 1910 г. зарабатывал в Льеже 4 франка 50 сантимов.

До 1886 года зависимость бельгийского рабочего от хозяев усиливалась особым положением о «рабочей книжке», находившейся всегда на руках у хозяина, что затрудняло для рабочего поиски работы. Если рабочий начинал искать работу, не имея на руках этой книжки он дорогой мог быть арестован как бродяга и приговорен к наказанию — тюремному заключению. Закон о «рабочей книжке» лишал рабочего свободного передвижения в поисках работы и ставил рабочего под постоянный надзор полиции и жандармерии.

Немудрено, что рабочие Боринажа 14 февраля 1886 года в письме рабочим Гента и Франдрии говорили откровенно ***.

«Братья, мы — рабы! Мы лишены всех прав, которые наша работа и наши страдания должны бы нам обеспечить. Капиталисты отнимают наших сыновей, — чтобы защищать свои сокровища, наших дочерей,—чтобы удовлетворять свои похоти, нашу жизнь, — чтобы увеличивать их капиталы. Но если эти привилегированные пользуются почетом, богатством и радостями жизни, то они также одержимы пороками, в то время как на нашу долю остается добродетель ****. Да, порок их гложет, от самого верха до самого низа все им пропитано. Но это обеспечит нашу победу» *****.

БЕЛЬГИЙСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ

Рабочие любой страны, куда я ни приезжал, были для меня той средой, которую я любил. Рабочие-бельгийцы производили впечатление чрезвычайно добродушных людей,

---

* Справочник Профинтерна «Мировое профессиональное движение», т. I, стр. 136, 137, 138.

** L. Bertrand. «La Belgique en 1886», т. I, стр. 118.

*** L. Bertrandt. «L'ouvrier Belge depuis un siécle».

**** В ссылке на «добродетель» слышится отголосок влияния на бельгийских рабочих идей Великой французской революции, в данном случае — влияние якобинцев, пытавшихся во Франции под руководством Робеспьера создать республику добродетельных.

***** Де-Маниде-Брукер. «Рабочее движение в Бельгии», стр. 157. «В Бельгии до последнего времени (до 1910 года) существовал

хорошо относились к иностранцам, в особенности к нам, русским, которых в большинстве случаев они считали революционерами. Иногда они мне казались большими, очень наивными, легко поддающимися влиянию детьми, которых можно было по желанию воспитать в том или ином духе.

Вожди рабочих, с которыми мне удавалось знакомиться, реже производили такое хорошее впечатление: они в большинстве своем представляли оппортунистов.

С социалистами Бельгии у меня началось знакомство тотчас по приезде в Брюссель. Первым из них был Виктор Серви, к которому у меня имелось рекомендательное письмо. Он был знаменит тем, что до К. Гюисманса с 1900 г. по 1906 г. исполнял обязанности секретаря международного социалистического бюро. Как питавший явное заблуждение, что возможно мирным путем, через постепенное расширение и укрепление кооперативов, подавить экономически буржуазию, он совершенно не годился исполнять серьезные обязанности секретаря международного социалистического бюро. Международный социализм в это время еще не отказывался открыто от революционной борьбы с буржуазией. Вследствие этого на его место посадили более блестящего фразера, каким был Камилл Гюисманс.

Виктор Серви, как откровенный оппортунист, не мог, конечно, питать особых симпатий к русскому революционеру. Он, наверное, еще помнил, как Г. В. Плеханов на международном социалистическом конгрессе в 1900 году в Париже назвал бельгийских социалистов, когда со стороны последних начались возражения за его выступление против Мильерана, «булочниками». Названия этого, впрочем, они вполне заслуживали.

С третьим видным социалистом я познакомился в Льеже. Это был Альфонс Гаспар. По приезде в Льеж я немедленно вступил в члены бельгийской рабочей партии и в профсоюз металлистов, секретарем которого он был. Чем более я наблюдал его за работой среди льежских рабочих, тем более я принужден был становиться на точку зрения, что он представляет собой для того времени не худший тип бельгийского социалиста, а, пожалуй, даже один из лучших.

Вместе с группой молодых передовых бельгийских рабочих он в начале 1905 года заинтересовывается русской революцией. Он ищет знакомства с русскими товарищами, жившими в Бельгии, и через них, в конце концов, заинтересовывается теорией революционного марксизма.

закон, позволяющий богатому покупать человека для замены его самого на военной службе».

Мало-по-малу он вместе с другими бельгийскими молодыми рабочими совершает постепенный сдвиг от парламентско-кооперативных форм движения в сторону классовой стачечной борьбы рабочих. Став на этот путь, он вместе с Дельвинем, Рожистером, Держарденом и другими льежскими рабочими образовывает льежскую марксистскую группу. Эта последняя входит затем в общебельгийскую марксистскую группу, во главе с де-Брукером и де-Маном. Одновременно т. Гаспар ведет борьбу в профсоюзе металлистов, секретарем которого он состоял, на два фронта: с одной стороны — против старого бельгийского оппортунизма и с другой — против довольно сильной группы анархо-синдикалистов. Временная победа над первыми привела к тому, что бельгийские рабочие стали посылать делегацию за делегацией в Германию для ознакомления на месте с постановкой работы у сильной в то время во всем мире германской рабочей партии (германская социал-демократическая рабочая партия) и с работой гигантских — с бельгийской точки зрения — германских профсоюзов. Преобладание над анархо-синдикалистами сказалось в демонстративном выходе последних из профсоюза после безуспешной борьбы с марксистами. Часть отколовшихся при этом уехала в Париж, другая часть позднее образовала отдельный профсоюз металлистов.

Поездки в Германию бельгийских рабочих усилили в то время тягу среди хотя небольшой части передовых рабочих в сторону марксизма.

Насколько был силен сдвиг в сторону стачечной борьбы среди льежских рабочих в 1911—1912 годах, видно из прилагаемых при этой книжке писем ко мне т. Гаспара.

Значение успехов бельгийского марксизма на первых шагах его деятельности становится понятным, если вспомнить, что собственно представляла собой оппортунистическая бельгийская рабочая партия для бельгийского рабочего движения.

Очень тяжелое впечатление производила бельгийская социалистическая пресса, с центральным органом партии «Le Peuple» («Народ») во главе. Эта «почтенная» газета в погоне за подписчиками, особенно за подписчицами, ставила на первый план подражание во всем большой парижской буржуазной прессе. Огромное внимание уделялось необходимости печатать в газете те же бульварные, развращавшие низшие слои народа и прививавшие дурные вкусы романы, какие наполняли собой страницы буржуазной парижской прессы. По статьям этой газеты нельзя было понять, задается ли партия целью вести на страницах своего центрального

органа теоретическую борьбу с буржуазией, или нет. Например, статьи о восьмичасовом рабочем дне были написаны скорее с целью убедить буржуазию в том, что именно ей, более даже чем самим рабочим, выгодно ввести на своих фабриках ограничение рабочего дня до восьми часов, а совсем не с целью научить рабочих, что им необходимо во что бы то ни стало немедленно начать борьбу за восьмичасовой рабочий день.

Раз в год, 18 марта, газета «Le Peuple» в статье, посвященной памяти Парижской коммуны, говорила, что партия хранит республиканские традиции, но никакой борьбы с бельгийской монархией социалистическая газета по сути дела не вела. Словом, эта газета, еще лучшая из бельгийской социалистической прессы, была социалистической лишь по названию, но не по существу. В общем, бельгийская социалистическая пресса представляла самую безотрадную и, пожалуй, самую позорную, какую только можно себе представить, социалистическую прессу. Особенно тяжелое и странное впечатление производила газета «Echo du Peuple» («Эхо народа»), продававшаяся по 2 сантима за номер.

Вообще бельгийское рабочее движение шло по несколько иному пути, чем наше русское рабочее движение. Последнее выступило на историческую арену позднее. Присутствие в рядах нашей партии большого количества высокообразованной социалистической интеллигенции дало возможность улучшить опыт западно-европейского рабочего движения и тем самым избежать многих ошибок последнего.

Русские рабочие под руководством нашей партии оказались в состоянии выдержать борьбу с народниками и меньшевиками. Русское рабочее движение с самого своего начала, благодаря влиянию нашей передовой интеллигенции, носило характер антирелигиозный. Многие русские рабочие, прежде чем начать борьбу с самодержавием и буржуазией, прошли через период борьбы с религией.

Наоборот, во фламандской части Бельгии рабочие, предоставленные самим себе, проявляли себя даже сторонниками существующего порядка и религии. Например, в 1860 году в Генте ткачи, прядильщики и металлисты, образовывая федерацию рабочих, написали на своем знамени странный для рабочих лозунг: «Год эн вет», что, в переводе с фламандского, означает «бог и закон» *. Этим лозунгом они как бы да-

---

* Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии», изд. «Молот», 1906 г., стр. 9. В об'яснение этого лозунга Вандервельде пишет, что 90% рабочих, принимавших его, было неграмотно и, наверно, никогда до этого не слыхало слова «социализм». Далее он на стр. 9-10

вали обязательство, что в своей борьбе против капиталистов они не сойдут с пути, дозволенного законом, и не восстанут против умственного порабощения народа попами.

Как опасен был этот путь, — говорят за себя традиции, оставшиеся в Бельгии и дающие себя знать до сих пор. Они сказываются особенно наглядно на умственном порабощении бельгийской женщины, находящейся под влиянием католических попов.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БЕЛЬГИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

Что касается самой бельгийской рабочей партии, она с самого своего основания приняла характер настоящей оппортунистической, меньшевистской партии. Вожди ее, в лице Жана Вольдерса, на первом с'езде партии в апреле 1885 года, в кабачке «Лебедь», советовали подождать называть партию социалистической и предлагали, разбавив свое слишком красное вино водой, назваться просто «рабочей партией». Руководствовались они при этом боязнью слишком красным, революционным названием партии отпугнуть от последней массы. Как ошибочны были эти опасения, — видно из слов самого Вандервельде, который в своей книге «Положение рабочего класса в Бельгии», написанной два десятка лет спустя, жаловался, что, «к несчастью, все усилия и попытки пробудить интерес к книге и социалистически воспитать пролетариат в Бельгии наталкиваются на чрезмерную продолжительность рабочего дня и на неудовлетворительную организацию начального обучения. Бельгия, — говорит он, — единственная страна в Западной Европе, где не существует еще обязательного обучения и где насчитывается еще 10% неграмотных среди новобранцев» *. Выходит, что умеренность бельгийского социализма не помогла привлечь к социализму рабочие массы.

Если бы русские большевики по примеру бельгийских социалистов ждали, когда русские рабочие сделаются все грамотными, они никогда бы не совершили двух великих революций и не взяли бы власти.

Что касается бельгийских социалистов, то они до сих пор не решились назвать свою партию социалистической.

говорит, что вообще «теоретический социализм, порожденный жалостью, был отделен еще от практического социализма, порожденного страданиями».

* Э. Вандервельде, «Положение рабочего класса в Бельгии», стр. 40 и 110.

Оппортунистический, меньшевистский характер бельгийской рабочей партии становится ясен из указанного мною выше отношения вождей этой партии к великому рабочему стачечному движению в Бельгии в 80-х годах, когда еще задолго до Мартова они высказывались в Бельгии против своего рода «стачечного азарта». Не менее характерно в этом отношении письмо одного из самых видных вождей партии Цезаря де-Папа, где он, в виду предложения со стороны Жоржа де-Фюиссо назвать партию «республиканско-социалистической партией», на VI партийном с'езде в Лувене 6—7 апреля 1890 года высказал такие соображения, что можно предоставить отдельным группам партии называться, как они захотят, — коммунистами, республиканцами, социалистами и даже анархистами, лишь бы только во что бы то ни стало сохранить старое название партии — «бельгийская рабочая партия», как обобщающее и об'единяющее все тенденции в партии *.

По признанию Вандервельде, сама программа бельгийской рабочей партии есть нечто в роде компромисса, — синтез доктрин, ведших борьбу на с'ездах I Интернационала. Так, от немцев бельгийцы усвоили доктрину **, от англичан — кооперативы, от французов — идеалистические тенденции.

Допуская в своих недрах полную беспринципность, соединяя в одно целое людей таких противоположных тенденций, как либералов, коммунистов, социалистов и анархистов, бельгийская рабочая партия не могла бороться против буржуазного влияния на рабочий класс. Постепенно она определилась как чисто парламентская соглашательская партия, стержнем которой служили кооперативы.

«Общества взаимопомощи, — говорит Вандервельде, — профессиональные союзы, политические группы, деревенские собрания — все это является придатком к нашим крупным кооперативам. Кооперативная революция зашла так далеко, что нет никакой возможности помешать росту рабочей организации» ***.

«Рабочая партия, — говорит он в другом месте, — продолжает свое поступательное движение, непрерывно укреп-

---

* Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии, стр. 14 и 93.

** Де-Ман и де-Брукер в своей книге «Рабочее движение в Бельгии», стр. 88, говорят, что первая программа бельгийских социалистов 1877 года была просто буквально переведена с германской Готской программы.

*** Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии», стр. 12, 55, 56.

ляет свои позиции и на твердыне своей экономической организации готовится основать политическую власть пролетариата» *.

Бельгийская рабочая партия придавала настолько важное значение открытию новых кооперативов, что основание какой-нибудь маленькой кооперативной лавочки в католической Фландрии приравнивалось к открытию «новой социалистической крепости».

На открытии одного такого кооператива удалось присутствовать и мне. Выступал приехавший по этому торжественному случаю сам Вандервельде. Я никак не мог понять, как может скромная лавочка, торговавшая хлебом, без решительной борьбы с буржуазным влиянием хоть немного рассеять тьму предрассудков, во власти которых находилось местное население.

Когда мне надоело слушать Вандервельде и других на митинге у нового кооператива, я отправился бродить по местечку. Меня сопровождал один льежский социалист-портной.

— Уйдемте отсюда, — сказал он мне вдруг, когда мы дошли до окраины города.

— Почему? — спросил я, удивленный.

— Потому, — ответил он, — что нам здесь обозленные католики могут намять бока. Не стоит нарываться на скандал. Слышите, как на нас кричат: «Долой бездельников! Долой передельщиков!»

Оглянувшись в сторону, куда указывала рука товарища, я увидел мальчишек, уже поднимавших камни, чтобы, вероятно, по примеру древних евреев, побить камнями в нашем лице еретиков, вторгнувшихся в их среду. Так как взрослые поощряюще смотрели на мальчишек и не останавливали последних, я счел нужным присоединиться к мнению товарища. Мы повернули с окраины городка и пошли опять к его центру, где происходил митинг. «Долой бездельников! Долой передельщиков!» — слышалось нам вслед.

— Вы знаете, — сказал мне шедший со мной портной, — этим дело не кончится. В первое же воскресенье кюре ** произнесет в церкви после обедни проповедь на тему о «передельщиках». «Верные сыны и дщери святой римско-католической церкви, — скажет он, — по грехам нашим и попущением божьим появились в граде нашем безбожники и хулители церкви божьей — социалисты, бездельники-пе-

---

* Э. Вандервельде. «Положение рабочего класса в Бельгии», стр. 107.

** Католический священник.

р·дельщики. Бойтесь их, как огня. Они, сторонники раздела всех богатств, хотят пустить в общий передел все, что вы добыли упорным трудом. Наипаче не покупайте ничего в их богомерзкой лавчонке».

В общем, буржуазия не очень боялась появления новых кооперативов. Само бельгийское правительство, ссудившее через центральную сберегательную кассу бельгийской рабочей партии на постройку самого крупного кооператива-дворца в Брюсселе сумму в 700 000 франков, которая через два десятка лет еще не была погашена, принимало, таким образом, косвенное участие в создании социалистических кооперативов. Если бы последние в Бельгии на самом деле представляли собою действительную угрозу буржуазному обществу, католическое правительство никогда не решилось бы дать социалистам такую большую и долгосрочную ссуду.

Католики в деревнях боролись с социалистическими кооперативами, открывая свои отдельные, самостоятельные католические кооперативы. В городах ту же роль играла с успехом буржуазная фирма «Дельгез», покрывшая страну маленькими лавочками, продававшими товар лучшего качества и дешевле, чем социалистические кооперативы. Дела льежского кооператива «Попюлера», как нам признавался по секрету т. Гаспар, до того были плохи, что деньги под большие проценты, чтобы избежать продажи кооператива с молотка, принуждены были занимать чуть ли не у содержателя льежских домов терпимости. В общем, раздавить социалистические кооперативы буржуазии не удалось, да и не нужно было. Это было не в ее интересах. Кооперативы делали социалистов более покладистыми по отношению к буржуазии.

В соответствии с этим уклоном в сторону преувеличения надежд на развитие кооперативного движения и недооценки классовой революционной борьбы пролетариата бельгийская рабочая партия не задавалась целью воспитывать из молодых рабочих сторонников низвержения буржуазии революционным путем. Молодые рабочие в большинстве случаев готовились быть деятелями кооперации, изучали счетоводство в буржуазных школах и т. п.

Русские коммунисты начали учиться торговому делу лишь после свержения буржуазии. Бельгийские социалисты поступали как раз наоборот. В то время когда власть находится еще в руках капиталистов, они совершенно не считали нужным научить своих молодых товарищей чрезвычайно трудному искусству побеждать буржуазию революционным путем.

Поскольку бельгийские социалисты не готовились к решительной и бесповоротной борьбе с капиталистическим обществом, поскольку бельгийская рабочая партия в своем большинстве состояла из сторонников мирной кооперативной деятельности, они не были опасны для капиталистического общества *.

ЭМИЛЬ ВАНДЕРВЕЛЬДЕ

Как значительное большинство бельгийских социалистов, Эмиль Вандервельде, не бывший никогда марксистом, всегда был ближе по духу к нашим эсерам, чем к нам, большевикам. Вожди бельгийского социализма, за редкими исключениями, относились более дружественно к Рубановичу, представлявшему в Бельгии и Франции партию эсеров, чем к кому бы то ни было из членов нашей партии, живших в Бельгии.

Особые симпатии к эсерам проявили бельгийские социалисты, когда часть их, во главе с Э. Вандервельде, приезжала в РСФСР на известный процесс правых эсеров, имевший место в июне 1922 года.

По возвращении из Москвы бельгийские социалисты открыли настоящий поход против русских большевиков на страницах своего центрального органа партии «Le Peuple». Нелепость их обвинений, которые они бросали против нашей партии и против РСФСР, особенно бросается в глаза, когда они вздумали высмеять т. Бухарина за то, что последний носит блузу рабочего. Они забыли, что сам их вождь Эмиль Вандервельде первые годы после открытия брюссельского Народного дома всегда являлся в ресторане и в залах последнего одетым в блузу рабочего. «Все это было когда-то»... В настоящее время, когда бельгийские социалисты нашли себе дорогу к министерским креслам, можно подумать, что они к рабочей блузе относятся с таким же презрением, как и буржуа.

---

* Де-Ман и де-Брукер в своей книге «Рабочее движение в Бельгии» свидетельствуют, что вообще кооперативы в Бельгии воспринимают буржуазное содержание (стр. 208) и что самый влиятельный гентский кооператив «Vooruit», руководимый Анселе, дошел до такой степени опошления, что во время похорон короля Леопольда II отпустил для участия в проводах тела короля на кладбище своих служащих (стр. 63, 221, 222).

Что касается знаменитой гентской кооперативной фабрики, которой гордилась бельгийская рабочая партия, то она была превращена в «акционерное общество», пайщиком которого и членом правления являлся один из банкиров (стр. 63, 208).

Любопытно, что Э. Вандервельде, вернувшись из «далекого и опасного путешествия» в Москву в 1922 году, открыл поход против советской страны, обвиняя последнюю в различного рода ужасах; совсем иначе вел себя он по возвращении из своего знаменитого путешествия в 1908 г. в Бельгийское Конго, куда он ездил со специальной целью расследовать слухи о зверствах бельгийских колонизаторов по отношению к неграм. Чтобы яснее представить себе враждебное отношение Э. Вандервельде к советской стране, проявленное им теперь, нужно оглянуться на то бережное и заботливое его отношение к интересам бельгийской буржуазии, которое он проявил тогда.

В большой прессе Западной Европы появились 20 лет тому назад заметки о зверствах одной английской компании по добыче каучука в Чили по отношению к туземцам-индейцам. Крик поднялся, когда нельзя было больше молчать. Английские капиталисты так хозяйничали в этой стране, что от одного индейского племени Южной Америки насчитывавшего не меньше 80 000 человек, осталось всего 18 000—20 000 искалеченных и носивших на себе следы ужасных пыток. Но английские капиталисты, с целью отвлечь внимание от себя и от своих деяний, во-время вспомнили о хозяйничаньи католической буржуазии в Бельгийском Конго и начали, в свою очередь, газетную кампанию о насилиях бельгийцев над неграми в Африке. Картина получилась такая, что все зверства в Чили, якобы, бледнеют перед ужасами, творящимися по отношению к несчастным неграм в Бельгийском Конго. Стали передавать слухи о пытках, которым подвергают негров в Конго, об отрубленных руках за невыполненный урок по добыче каучука. Бельгийские рабочие открыто говорили о толстых пнях, предварительно расщепляемых особым клином с той целью, чтобы заставить просунуть в образовавшееся отверстие ногу или руку провинившегося негра. Клин затем выбивали, и толстый пень, как тисками, сжимал ногу или руку несчастного, оставляемого так на произвол судьбы. Шумиха по поводу зверств в Конго в руках английских капиталистов оказалась настолько удачной, что под влиянием ее стали забывать о подвигах англичан в Чили.

Католическая буржуазия Бельгии под влиянием посыпавшихся на нее разоблачений почувствовала себя не совсем в своей тарелке. Никаким опровержениям со стороны бельгийского правительства никто все равно не поверил бы. Многим в Бельгии было известно, что в Конго по отношению к неграм, чтобы заставить последних добывать каучук в большом количестве, допускаются самые ужасные пытки.

Даже теперь, сообщалось в «Правде» от 8 августа 1926 года в статье «Международная неделя», что бельгийское правительство держит негров в Конго на положении фактического рабства. Целых 6 000 негров отправлено было принудительным порядком * на постройку железной дороги в крайне нездоровую местность, где, по мнению самих бельгийских экспертов, негры должны непременно подвергнуться вырождению. Если такие вещи допускались недавно, то можно себе представить, что творилось три-четыре десятка лет назад.

Прижатая к стене при помощи своих почтенных английских собратий, бельгийская буржуазия стала искать себе выхода и помощи. Ее положение казалось безвыходным, особенно когда в это дело вмешались бельгийские социалисты. Помощь, в которой буржуазия так нуждалась, пришла, но со стороны, откуда ее никто не ожидал. В один прекрасный день на страницах «Le Peuple» появилось письмо самого Эмиля Вандервельде, в котором он извещал, что в виду появившихся слухов о зверствах в Бельгийском Конго он лично немедленно едет в эту отдаленную страну для выяснения действительного положения дел на месте.

— Слышали? Читали? — говорил мне с торжествующим видом старик И. И. Лазаревич **.— Вы вот все недовольны Эмилем Вандервельде, его критикуете. А этот его поступок разве не говорит о благородстве его характер и что его сердце бьется только для бедных и угнетенных?

— А как вы думаете? Действительно Вандервельде теперь пошлет в газету разоблачения или нет?

— Как вам не стыдно сомневаться! Вот увидите...

---

* Бельгийские социалисты де-Маниде-Брукер в своей книге «Рабочее движение в Бельгии» (стр. 203) дают указание, что в Бельгийском Конго существуют для туземцев-негров принудительные работы.

Сам Э. Вандервельде в своей интерпелляции о «преступлениях колонизаторов-капиталистов» приводит достаточно фактов ужасного положения негров в Бельгийском Конго. Конфискация земель, находившихся в коллективной собственности негритянских племен, рабское состояние, каторжные работы, на которые обречены негры принудительной работой «в воде по пояс, под наблюдением солдат», убивающих негров без пощады при сопротивлении с их стороны, наличие в Конго деспотов паразитов-европейцев, обирающих негров и требующих продуктов питания и женщин не только для себя, но и для своей свиты и также убивающих негров без сожаления при сопротивлении или нежелании исполнять их капризы, — все это, по словам Вандервельде, создало в стране «ужасное положение, и жестокости, творимые в Конго, вопиют о себе».

«Интерпелляция» Э. Вандервельде в палате депутатов. «Преступления колонизаторов-капиталистов» в 1906 г.

** Политический эмигрант 80-х годов, член партии Народной воли.

Несмотря на принципиальные расхождения, я считал в те времена Э. Вандервельде вполне порядочным человеком и, в данном случае, ожидал наравне с И. Лазаревичем, что разоблачения с его стороны не замедлят появиться на страницах «Le Peuple» и подтвердят брошенное против буржуазии страшное обвинение. Таким же ожиданием были полны все бельгийские, как и русские социалисты, жившие в Льеже, и вообще все честные люди.

Наконец, статья появилась. Но она принесла всем горькое разочарование. Вместо красноречивого описания зверств бельгийских плантаторов и невероятных мучений туземцев-негров, она содержала в себе настоящее повторение, в иной только обстановке и с другими лицами, знаменитого путешествия Екатерины II по «потемкинским деревням».

Бельгийские рабочие, питающиеся тартинками, большей частью всухомятку, читали на страницах «Le Peuple», как их вождь, поехавший разоблачать бельгийскую буржуазию, красноречиво описывал торжественные встречи, которые ему устраивали «коменданты военных поселений», при помощи которых бельгийская буржуазия «володела» и правила страной. Перед их глазами проходили описания роскошных обедов в двенадцать блюд, которыми плантаторы угощали вождя бельгийской рабочей партии. Конечно, на этих обедах присутствовали красивые женщины (belles femmes). После ряда таких фельетонов в октябре и ноябре 1908 г. в последнем из них появилось короткое заключение, говорившее, что слухи о зверствах и злоупотреблениях против туземцев оказались, по его расследованию, несомненно, преувеличенными, что если что и было, то против последнего начальство приняло свои меры.

Как эти фельетоны Вандервельде, так и его последнее утверждение — все это заставило меня призадуматься.

«Как это все могло произойти? — задавал я себе вопрос. — Действительно ли местные бельгийские власти сумели так околпачить доверчивого социалиста, не владевшего языками негритянских племен, что он попал в положение обманутого, или Вандервельде сознательно скрыл от бельгийских рабочих истинное положение в Конго и тем поправил положение скомпрометированной еще так недавно газетными статьями бельгийской буржуазии, тем самым явился вольным или невольным ее защитником и адвокатом?»

Бельгийская буржуазия и ее верный слуга — католический бельгийский король — не остались неблагодарными по отношению к Вандервельде. Услуга за услугу, и буржуазия

имела удовольствие видеть Эмиля Вандервельде на министерском кресле «его величества бельгийского короля».

Когда забастовочное движение льежских рабочих, которое довольно красноречиво описывает А. Гаспар в своих письмах ко мне, в конце концов в 1911 году приняло форму всеобщей стачки углекопов в Льеже, секретарь шахтеров Дежарден, растерявшись, вызвал Вандервельде. Приехавший Вандервельде свой авторитет направил на фактический срыв всеобщей стачки. В тот момент, когда углекопы вышли на улицу, у Вандервельде хватило бесстыдства появиться в сопровождении жандармов в рядах стачечников и уговаривать их успокоиться, разойтись по домам и прекратить всеобщую стачку. Вероятно, он действовал таким образом из боязни, что всеобщая стачка может истощить последние фонды кооперативов, и из желания избежать усиления революционного движения в стране.

Последнее было, как все говорило за это, неизбежно. Рабочие-шахтеры были обозлены применением против них оружия.

Жандармы стреляли в 1910 году в Льеже в рабочих так же, как, по приказу той же буржуазии, они стреляли в них в 1886 году, в 1887 году, в 1888 году и в 1889 году.

Таким образом, Вандервельде, как сторонник парламентского социализма и колониальной политики своей буржуазии, сознательно замалчивал перед всем светом о неслыханно тяжелом положении черных рабов буржуазии в колониях, продолжал оппортунистическую политику бельгийских социалистов и срывал борьбу бельгийских рабочих, когда она назревала и выливалась в стихийно возникшие стачки, как это имело место в Льеже в 1911 году и как это делали всегда бельгийские социалисты еще в 80-х годах прошлого столетия.

Что касается путешествий Эмиля Вандервельде в Россию, то приезд его на процесс эсеров в 1922 году являлся вторым по счету. Первый раз он приезжал в Россию в 1914 году. Ему со стороны нашей партии был устроен торжественный прием, вполне соответствовавший его званию председателя международного социалистического бюро. Находясь в Петербурге, он принужден был согласиться, что массы рабочих во всех районах города и по всей России идут за большевиками. В своих статьях в «Le Peuple» он поражался нашей газетой «Правдой», носившей характер действительно пролетарской газеты по необыкновенному количеству в то время писем и заметок, написанных самими рабочими от станка. Этой своей особенностью «Правда» резко отличалась от социалистических газет во всем мире,

издававшихся в это время. Он подтверждал, что сам лично в редакции «Правды» видел людей самого «пролетарского вида», приносивших в редакцию эти письма и заметки. Несмотря на сильное впечатление, произведенное на него успехом большевизма в России, ростом влияния его на рабочие массы, он все-таки остался сторонником старой бельгийской оппортунистической тактики — об'единения самых разнообразных течений в социализме и в конце-концов и на этот раз высказался в том смысле, что для раскола между враждующими фракциями в РСДРП, между большевиками и меньшевиками, нет оснований. Когда началась империалистическая война, он оказался солидарен с министрами царя и тщетно пытался своим письмом повлиять на русских большевиков, и втянуть их в империалистическую войну.

С такой же целью в 1917 году приезжал в Петроград бельгийский социалист де-Ман, лейтенант королевской бельгийской армии, до войны 1914 года примыкавший к марксистскому течению в Бельгии и написавший вместе с де-Брукером в 1910 году на немецком языке нашумевшую книгу «Рабочее движение в Бельгии», изданную в Германии. В ней он подверг жестокой критике бельгийское рабочее движение за его умеренность и оппортунистичность.

Сделавшись в 1914 году сторонником империалистической войны, в 1926 году де-Ман опустился до такой степени, что нашел для себя возможным выпустить книгу, направленную уже против марксизма *.

ЛУИ ДЕ-БРУКЕР

В числе видных вождей бельгийской рабочей партии состоит, безусловно, и де-Брукер. Происходя из бельгийской аристократической семьи, он принадлежал к числу тех немногих интеллигентов Западной Европы, которые не могли равнодушными глазами смотреть на страдания угнетенных рабочих. Он пытался создать сильное марксистское крыло в бельгийском социализме. Прежде чем вступить на этот путь, он работал на положении рабочего на заводах в Соединенных Штатах Северной Америки.

В это время, когда он только-что испытал на собственном опыте тяжелое положение рабочих, его внимание было привлечено к русской революции 1905—1906 годов. Размах последней, стойкость и несокрушимая энергия ее борцов

* De Man. «Zur Psychologie der Sozialismus», 1926.

оказали свое несомненное влияние на рабочие массы Западной Европы и на ее вождей, на Луи де-Брукера в том числе. Вернувшись в Бельгию, он делает шаги, позволявшие предполагать, что он решил посвятить свою жизнь рабочему классу. Он становится марксистом. На штуттгартском конгрессе 1907 года на него производит колоссальное впечатление личность т. Ленина, впервые выбранного на лондонском с'езде нашей партии представителем в международное социалистическое бюро, на место Г. В. Плеханова. Де-Брукер становится на крайнем левом крыле конгресса и поддерживает все предложения Ленина, касающиеся империалистической войны, роли профсоюзов и колониальной политики. Тов. Ленин вынес из поведения де-Брукера на конгрессе настолько хорошее впечатление, что во время своего приезда весной 1908 года в Льеж никак не хотел согласиться с моей оценкой де-Брукера, как «мягкотелого интеллигента, мямли и даже настоящей бабы».

— Не может быть, — возражал тов. Ленин. — Вы просто ошибаетесь. Он лучше, чем кто бы то ни было из европейских социалистов, держал себя на штуттгартском международном социалистическом конгрессе.

Я был очень смущен возражениями Владимира Ильича и, решив, что ошибся, на первое время изменил свою оценку де-Брукера. На самом деле, как показала его жизнь, он был мягким, нестойким и, очевидно, поддающимся чужому влиянию человеком. Он становится во главе образовавшейся под влиянием русской революции 1905—1906 годов марксистской группы в Бельгии. Указывая, что на французском языке вообще нет серьезной марксистской газеты, он пытается создать таковую, сначала под названием «Классовая борьба» («La lutte des classes»), затем делается попытка образования общего органа с французскими гедистами.

На докладах и в беседах с бельгийскими рабочими он всегда делился впечатлениями о своей жизни в «царстве доллара». При этом он невольно разоблачал Соединенные Штаты Северной Америки, приводя в своих рассказах факты, подобные тем, о которых затем читали в романах американского писателя Уптона Синклера. Особенно интересны были те места в речах де-Брукера, где он говорил о сильном буржуазном влиянии на умы американских рабочих и вообще низших классов в Соединенных Штатах. Богатство и его носитель — капиталист, — по словам де-Брукера, пользовались там среди народа каким-то мистическим уважением. Подражать капиталисту, походить на него хоть по внешности, обезьянничать его привычкам, — все это становилось своего рода законом даже для американского рабо-

чего. Из всего этого у де-Брукера вытекал тогда вполне верный вывод, что в борьбе с капиталом необходимо особо отточенное оружие, каким является революционный марксизм и каковым не может быть старое, допотопное, успевшее уже заржаветь оружие — бельгийский кооперативный парламентский социализм.

Так все шло, пока рабочее движение в Льеже под влиянием работы бельгийских марксистов не доказало на деле превосходства революционного марксизма и не вызвало к жизни ярких проявлений сильной борьбы льежских рабочих. Когда стачечное движение в 1910 году начало охватывать и углекопов, когда последние начали устраивать массовые забастовки, бельгийская буржуазия перепугалась. Как всегда во время массовых стачек углекопов, перед ней опять во весь свой рост стал грозный призрак 1886 г. Как и раньше, она прибегла к испытанному средству отмены в районе стачки распоряжением бургомистра города всех свобод и к помощи расстрелов. Отмена свобод застала вышедших на поверхность земли шахтеров с красными знаменами на площади св. Ламбера в Льеже. Жандармы предательски, без предупреждения стреляли в толпу. Оставив убитых и раненых на поле сражения, шахтеры разбежались. Стачка и на этот раз была сорвана. Рабочие очутились перед разбитым корытом. Что касается самого де-Брукера, он явно растерялся при развернувшихся событиях. Приехав в Льеж лишь тогда, когда все уже успокоилось, он признался, что логическим выходом из создавшегося положения, когда жандармы стреляли, оставалось взяться самим рабочим за оружие. Но это, по его мнению, было невозможно без согласия большинства рабочей партии. Вместо того, чтобы начать с этого момента борьбу с предательской ролью оппортунистического большинства рабочей партии, де-Брукер стал на ту точку зрения, что русский опыт во время революции 1905—1906 годов «троек, пятерок и десятков» совершенно не оправдал себя.

Опустившись до русских меньшевиков в оценке событий русской революции, он явно начал свертывать борьбу. Он и его сторонники постепенно докатились до правого социалиста Трокле *, доказывавшего при образовании марксистской группы в Льеже невозможность для пролетариата вооруженного восстания против буржуазии и говорившего: «А кто из вас осмелится утверждать, что в эпоху капитализма возможны вообще баррикадные сражения рабочих с

* Трокле — член центрального комитета бельгийской рабочей партии и в то же время член социалистической фракции бельгийского парламента.

войсками? Вы принуждены будете позднее сами от них отказаться».

Мало-по-малу, попав под влияние Вандервельде, де-Брукер * вместе с последним признал империалистическую войну, против которой, под влиянием т. Ленина, голосовал на штуттгартском конгрессе. В настоящее время он не стесняется причислять себя к самым ярым врагам СССР.

Только Селестен Дамблон, отличавшийся своей любовью к рабочему классу, перешел накануне своей смерти на точку зрения нашей партии. Рабочие любили его и только для него одного сложили песенку: «Vive Damblon et tous ses compagnons!».

РАБОЧИЙ-СОЦИАЛИСТ СЕРВЕЙ

Пришла весна 1907 года. После переменчивой погоды, которая обыкновенно в Льеже бывает в марте, настал теплый апрель. Я работал на новом заводе уже около месяца. Делясь своими впечатлениями с интеллигентами-студентами, жившими в одном со мной доме, по улице де-Фори, 24, я наталкивался на определенное недоверие. Особенно меньшевики продолжали идеализировать бельгийских социалистов и бельгийскую рабочую партию и переоценивать сознательность бельгийского рабочего. Они находились еще под влиянием той оценки бельгийского рабочего движения, которое было сделано задолго до нашей революции 1905 года. Не только т. Турпаев, но даже и Лиза, как я замечал, относились скептически к моим словам. Чтобы проверить свои впечатления и поближе познакомиться с бельгийскими социалистами, я пригласил к себе кузнеца Сервея, стоявшего во главе социалистической организации патронного завода, где я тоже работал. При помощи Лизы, знавшей прекрасно французский язык, я рассчитывал выяснить все особенности в постановке социалистической работы на заводах Льежа и, если понадобится, поучиться у такого опытного «милитана» **, с огромным стажем, каким его рекомендовал мне т. Гаспар. Тов. Сервей согласился притти ко мне в одно из воскресений.

Явившись ко мне, как было условлено, в назначенный

---

* Бельгийские марксисты де-Брукер и де-Ман, признавшие необходимость для социалистов участвовать в защите буржуазного отечества, пошли на фронт, первый — в качестве сержанта, а второй — лейтената королевской армии. Де-Ман, кроме того, получил лично от английского короля орден.

** Активный член социалистической партии.

час, он был по обычаю бельгийских рабочих одет по-воскресному (endimanché): в котелке, в крахмальном, ослепительной белизны воротничке, в ярко вычищенных ботинках, в пиджачном костюме. Последний, несмотря на сравнительно долгую носку, имел вид, как это вообще бросалось в глаза у большинства бельгийских рабочих, совершенно нового, без морщинки и пылинки на нем.

Сначала разговор не клеился. Сев за стол и закурив сигару, он, подняв голову, вдруг обратил внимание на большой портрет Карла Маркса, висевший у нас над столом. Он долго всматривался в него. Царило неловкое молчание. Я не решался заговорить, не желая обнаружить мое плохое знание языка и скверное произношение. Лиза присматривалась к гостю, подыскивая предлог, чтоб начать беседу.

Вдруг т. Сервей, переводя глаза с портрета на меня и Лизу, что-то сказал. Лиза взглянула на него с нескрываемым удивлением, как будто она была чем-то особенно поражена. Затем она, улыбаясь, что-то ему ответила.

— Что тебя удивило? — спросил я.

— Вообрази! — ответила Лиза. — Я не могу притти в себя от удивления. Он спросил, указывая на портрет Маркса: «Кто это? Ваш отец или ваш дедушка?».

— Странно! — удивлялся я. — Ты, наверно, ошиблась. Только вчера Гаспар меня уверял, что этот Сервей уже более двадцати лет в рядах партии. Переспроси его!

— Извините меня, — обратилась снова к нему Лиза. — Я очень боюсь, что я вас не поняла. Очень прошу вас повторить.

— О, ничего, — ответил ей т. Сервей. — Я давно уже привык к иностранцам. У нас на фабрике они часто появляются и обыкновенно сразу не понимают, что мы им говорим. Я об'ясняю это нашим валлонским произношением. Мы ведь — валлоны, и у нас свой жаргон. Я спросил вас, чей это портрет. Наверно, это ваш отец или дедушка?

Лиза многозначительно посмотрела на меня. Сомнений больше нет.

— В таком случае, придется мне об'яснить ему, кто такой был Карл Маркс, — сказала Лиза.

Лиза довольно долго говорила с т. Сервеем. Словом, она прочла ему о Карле Марксе и о революционном марксизме целую лекцию.

Он слушал, как мне казалось, лишь из вежливости и с выражением недоверия на лице. Дело шло, с одной стороны, о немце. Затем об'ясняли ему учение этого немца — русские.

— Немцы, — уверяли меня часто бельгийские рабочие, когда я начинал хвалить немецких социал-демократов, — это самый лживый народ, какой только существует на свете.

Поблагодарив за об'яснения, т. Сервей ушел, обещав притти через несколько дней вместе с своим братом.

Через две недели, когда он пришел с братом, более пожилым, чем он, повторилась та же история. Повидимому, в его памяти не осталось ровно ничего, что ему с таким старанием об'ясняла Лиза. Опять, как и прошлый раз, по поводу портрета Карла Маркса, он задал те же вопросы:

— Скажите, что это — ваш отец или дедушка?

Переглянувшись опять со мной, с грустью в голосе опять об'яснила Лиза все, что могла, о Карле Марксе. После всего происшедшего у нее оставалось слишком мало надежды, что ее слова оставят какой-либо след в голове т. Сервея. Он все время иронически переглядывался со своим братом. Недоверие к немцам и презрение к русским не внушали им доверия к словам русских товарищей об учении великого немца, наметившего пути освобождения рабочего класса и всего человечества.

Мы простились. Я больше не приглашал к себе Сервея.

Удивленный таким поражающим невежеством в социалистической теории, которое обнаружил т. Сервей, я с особенным любопытством стал присматриваться к его работе. На самом заводе, как и вообще на предприятиях Бельгии, не существовало никакой ячейки — ни социалистической, ни профессиональной. Не было никакого заводского комитета. Сервей являлся представителем социалистической и профессиональной организации, существовавшей и работавшей вне заводов. При этом не только авторитет Сервея среди рабочих был слаб, но больше — он не пользовался среди многих рабочих даже уважением.

— Что вы носитесь с социализмом и социалистами, как с писаной торбой? — говорил мне один рабочий-католик, по имени Жак *. — Одно дело — у вас, в России, а у нас — не то!.. Вот посмотрите, идет Сервей. Разве я, католик, позволю себе так унижаться перед мастером, как он? Смотрите!

Я стал незаметно наблюдать т. Сервея и тотчас вспомнил, что у рабочих выработались свои правила, как держать себя с мастером, с хозяином. Обыкновенно квалифицированный рабочий, знавший себе цену, не боявшийся очутиться без работы, держал себя гордо, не снимал каскетки, когда

---

* Жак—Яков

входил в контору к мастеру, и не оставлял у порога конторы сабо. Наоборот, снимали фуражку и входили в контору, как магометане в свое «святое святых», в мечеть, в одних чулках лишь те рабочие, которые не решались рисковать очутиться без работы.

Подойдя к конторе, т. Сервей помялся немного. Видя, что мы как будто не обращаем на него внимания, он, сняв сабо, вошел в контору к мастеру Криксу с непокрытой головой и в одних чулках. Не в гордой, смелой позе стоял он перед унтер-офицером капитала. Наоборот, как будто под тяжестью того гнета, который навис над рабочими, он сгорбился и с'ежился, говоря о чем-то с мастером.

— Что, видели? Убедились? — торжествующе говорил мне католик Жак. — Вот каковы ваши социалисты!

— Эй, Сервей, — крикнул он последнему, когда тот выходил от мастера. — Скажи, ты часом не отморозил у мастера пятки и волосы?

Тов. Сервей, чувствуя справедливую насмешку, прошел мимо, сделав вид, что ничего не слышал.

«Этот Жак, — думал я, направляясь в кузницу, чтобы поговорить по поводу происшедшего с т. Сервеем, — не имея никакого понятия о социалистической теории, обращает главное внимание лишь на поведение носителей этой теории. По его мнению, социалисты должны и в личном обращении с хозяевами и их приспешниками — мастерами — держать себя так же гордо, непримиримо и непреклонно, как и сама социалистическая теория».

— Они смеются над вами, — говорил я Сервею. — Они говорят, что вы боитесь мастера и потому не решаетесь войти в контору в фуражке и в сабо.

— Я вам об'ясню мое положение, — ответил Сервей. — Двадцать с лишним лет тому назад таким же и еще, может быть, более молодым человеком, чем этот католик Жак, я вступил в ряды нашей социалистической партии. Я был, да, я был, — повторил он, — вот таким непримиримым, как вы говорите, рабочим-социалистом. Я помню 1886 год. Тогда были стачки, захватившие наши города. Ненавидя капиталистов, я вел непрестанно пропаганду, организовывал стачки, митинги, предвыборные кампании, основывал вместе с товарищами кооперативы. За эти годы меня много раз выбрасывали с заводов, и я подолгу находился без работы. Я и моя жена всегда в таких случаях жили впроголодь, а то и прямо голодали. Вы же сами хорошо, как рабочий, знаете, что значит оставаться продолжительное время на положении безработного. Нет денег, чтобы заплатить за квартиру, купить хлеба, не говоря уже

о мясе. Его я не пробовал месяцами. В это самое время, когда я так страдал, рабочие, за лучшее будущее которых я боролся, большей частью проходили совершенно равнодушно мимо меня. Они не шли ко мне на помощь. Я был предоставлен самому себе. Затем вечно жить впроголодь, постоянно находиться на положении безработного тоже невозможно. Всему есть предел. Он наступил и для меня. Войдите в мое положение. Я — социалист-«милитан» *. Все на заводе, начиная с самого последнего мальчика и кончая конторой и директором, прекрасно это знают. Когда возникает какой-либо конфликт, за разрешением его рабочие идут ко мне сюда, в кузницу. Что же, любят меня мастер, директор и вся заводская администрация? Нет! Они только меня терпят, как неизбежное зло, и ищут только предлога, чтобы меня рассчитать. А вы представляете себе, что значит для меня быть теперь выкинутым? Это не одно и то же, когда прогонят за пьянство, грубость, испорченную работу и т. п., после чего опять можно скоро найти работу. Если меня выбросят, — это будет означать, что меня поместили в черный список, попав в который, я рискую пробыть без работы не менее года. Между тем, мне, несмотря ни на что, необходимо оставаться на посту социалиста-милитана во что бы то ни стало. Новые кадры, как вы сами хорошо видите, не приходят к нам на смену. Приходится, значит, ухитряться, оставаясь социалистом, ведя борьбу с хозяевами, в то же время уметь ладить с мастером и директором завода.

«Вот до чего доводит легализм во что бы то ни стало! — думал я по поводу рассказа т. Сервея. — Если бы такому рабочему, который попадает на этот черный лист, переменить имя, переехать в другой город, он без труда там нашел бы работу, мог бы под другой фамилией продолжать ту же работу борца за социализм, и тогда такая мера, как перевод на черный лист рабочего-социалиста, потеряла бы свою остроту. Теперь же, при «легализме во что бы то ни стало», рабочие-социалисты, вынужденные вести социалистическую борьбу и в то же самое время ладить с мастером или деректором завода, мало-по-малу теряют черты непримиримого пролетария в борьбе с капиталистами. Чтобы не очутиться на черном листе, не потерять заработка, они уже готовы итти на сделки с буржуазией. Они силою вещей толкаются, таким образом, на сотрудничество с буржуазией и превращаются из смелых социалистов в трусливых сторонников соглашения с буржуазией. Отсюда начинается

* Воинствующий социалист, боевик.

обоюдное разложение. Вандервельде отрицательно влияет на них своей оппортунистической тактикой. Рядовые члены партии — рабочие, поставленные в такие условия, — невольно своею умеренностью начинают заражать своих вождей».

РАБОЧИЙ-СОЦИАЛИСТ ДЕЛЬШЕФ

Я работал в инструментальной мастерской патронного завода. Около меня стояли за токарными станками еще шесть токарей.

— Семь токарей и семь дураков! — произнес один из них однажды после долгих споров на тему, что рабочие слишком терпеливы и слишком туги на под'ем для борьбы за освобождение своего класса.

Произнесший эти слова молчаливо проработал до вечера. Перед шабашем он заявил расчет.

— Я ухожу, — заявил он своим товарищам, — буду отживать неделю.

— Куда уходите?

— Куда-нибудь в другое место. Я сам не знаю, но здесь нет мочи оставаться...

Среди шести оставшихся находился старый токарь Дельшеф. Он, как кузнец Сервей, гордился более чем двадцатилетним партийным стажем. Он удивлялся поразительному уменью русских рабочих находить в жизни бельгийцев столько отрицательного.

— Мне трудно понять, — говорил он, — откуда это у вас, у русских. Сами вы пришли сюда из страны самого дикого деспотизма и произвола. Россия не нашла в себе еще сил стать действительно цивилизованной страной. Русский народ известен у нас как народ малокультурный, а подчас и полуголодный. Вы еще не сумели расправиться с вашим царизмом, и вот вы обрушиваетесь с такой беспощадной критикой на нас, бельгийцев, сумевших как-никак совершить победоносную революцию *, и на нашу бельгийскую рабочую партию, за которой идут массы. Теперь подумайте: мы, бельгийцы, и в смысле культурных достижений, науки, промышленности, техники, умения организовать массы рабочих, мы ведь ушли очень далеко вперед. Вы до

---

* Бельгийская революция произошла в августе и сентябре 1830 года под безусловным влиянием июльской революции в Париже. После оперы «Немая из Портичи», которая призывами к свободе возбудила слушателей, толпа с криком: «Станем действовать, как французы» начала восстание в Брюсселе. (Ш. Сеньобос. «Политическая история современной Европы», т. I, стр. 161.).

сих пор далеко где-то там плететесь за нами. Почему же вы нас критикуете?

— Там, в России, — отвечал я, — мы не вышли из борьбы победителями. Это верно, но, тем не менее, нам удалось сделать очень много. В короткий сравнительно срок мы сумели поднять самых отсталых и некультурных в Европе рабочих, возвысить их до борьбы против царизма и буржуазии. Царизм только потому остался существовать, что к нему на помощь пришла ваша буржуазия. Но борьба не кончена. Мы собираем силы. На нашей стороне то преимущество, что нам удалось найти самое острое оружие против капитализма. Революционный марксизм — вот это оружие. Знакомы вы с марксизмом?

— Нет, — отвечал т. Дельшеф.

—Про Карла Маркса вы что-нибудь слыхали? С его учением вы знакомы? «Коммунистический манифест» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, по крайней мере, вы читали?

— В первый раз я слышу про это учение и про этого человека и об этой брошюрке.

— Вот поэтому мы вас и критикуем, потому лишь, что мы любим мужественный бельгийский рабочий класс. Нам досадно, что вы против буржуазии, вооруженной до зубов, поднимаете старую заржавленную рапиру вместо того, чтобы направить против нее новейшую скорострельную пушку. Вы сами жалуетесь, что прирост членов партии и профсоюзов приостановился.

— Это так, но, кажется, что это не наша вина. Я, например, более двадцати лет в партии. За это время был на всех митингах, собраниях. Читаю «Le Peuple», веду пропаганду, но до сих пор все одни и те же лица. Новые, молодые не идут ни в партию, ни в профсоюзы.

Пораженный таким неожиданным открытием, что и второй старейший рядовой член бельгийской рабочей партии не только не знаком с учением Карла Маркса, но что он даже никогда не слыхал его имени и не брал в руки такой брошюрки, как «Коммунистический манифест» К. Маркса и Ф. Энгельса, которая должна была бы быть евангелием рабочих, я отправился к секретарю Гаспару.

Он смутился, когда я потребовал от него немедленно вышеупомянутую брошюрку. Это имело место еще до образования в Льеже марксистского кружка среди бельгийцев.

— Прошу меня извинить, — заявил он. — У нас в библиотеке нет такой книжки. Я должен поискать ее на складе старых изданий. Поэтому только через неделю я смогу удовлетворить ваше любопытство.

Через семь дней он вручил мне «Манифест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Брошюрка пожелтела от времени. Она была издана не менее десятка лет назад. Она пролежала все время где-то в подвале «Попюлера». Извлекши ее на дневной свет, я принес ее к т. Дельшефу.

— Читали вы ее? Видели ли вы когда-нибудь ее? Предлагали ли вам ваши вожди ее читать? — задал я ему вопросы.

— Даю вам слово, что в первый раз держу ее в руках, что никто никогда мне не предлагал ее прочесть.

— Прочтите эту брошюрку с наибольшим вниманием, — рекомендовал я ему. — В ней заключена величайшая мудрость, то, что в течение двадцати пяти лет скрывают от бельгийских рабочих ваши вожди.

Поколебленный моими словами, но не убежденный, старый рабочий-социалист Дельшеф все еще с явным недоверием к иностранцу-русскому взял у меня брошюрку, которая, как в могиле, могла бы истлеть в подвалах, куда сваливали старые книги.

Немудрено, что при таких условиях социалисты Бельгии и, как я успел позднее убедиться, других стран Западной Европы одержимы были общей для них болезнью. В отношении подхода к рабочим массам они страдали невероятной косностью, рутинностью, отсутствием духа искания.

Неудивительно, что следование обычаю, имевшему за собой давность, устаревшие приемы пропаганды и агитации, неуменье заинтересовать широкие массы рабочих и использовать большие возможности, которые предоставляла, например, бельгийским социалистам политическая свобода для втягивания рабочих масс в активную борьбу за свое освобождение, мещанство, раз'едавшее партийную среду, поражающее невежество в вопросах теории, — все это приводило к тому, что социалистические партии в Западной Европе еще задолго до войны начали гнить и терять влияние на рабочие массы.

ПЕРВОЕ МАЯ В ЛЬЕЖЕ

Меня тем более поразила необыкновенная красочность, с которой была обставлена одна случайная демонстрация во время моего короткого пребывания в Брюсселе. Мои мечты поэтому заносили меня очень далеко. Я уже видел улицы промышленного города Льежа затопленными живым потоком рабочих. Они кажутся красными от множества коле-

блемых ветерком красных знамен. Величавые звуки «Интернационала», исполняемого множеством оркестров, дружное и стройное пение его необ'ятными толпами людей, соединившихся в одном порыве, покрывают все и уносят ввысь. Рабочий класс протестует против гнета буржуазии. Силы пролетариата заметно возросли за год. Возбужденные лица рабочих, смелые, гордые призывы к борьбе, воодушевление масс — все говорит за то, что борьба рабочего класса еще не закончена, что она только начинается, что недалек час расплаты за все унижения, страдания, пролитые слезы, что скоро настанет последний и решительный бой.

Хотя видимая отсталость рабочего движения, которая бросалась в глаза с тех пор, как я вступил на бельгийскую почву, нашептывала сомнения, я все-таки питал надежды на предполагаемую грандиозность первомайской демонстрации.

Приближался день первого мая.

Еще задолго до этого дня я спрашивал т. Сервея:

— Ну, как — первое мая? Конечно, не будем работать?

— Наш завод всегда останавливается на этот день, — гордо ответил мне т. Сервей.

За неделю до первого мая он начал усиленную агитацию. Реглерам *, которые приходили к нему закаливать пуансоны и матрицы**, токарям, которым он правил и закаливал резцы, слесарям, которые приходили за зубилами, — всем он напоминал, что партия в лице профсоюзов призывает не работать первого мая и принять участие в обычной в этот день социалистической демонстрации. Дельшеф и я тоже, со своей стороны, агитировали среди токарей и реглеров. Рабочие-мужчины оказались распропагандированными. Необходимо было сломить отсталость и обычную пассивность в Бельгии работниц. За это дело взялись реглеры и слесаря.

Накануне маевки, как только явился на фабрику директор, послали к нему делегацию.

Делегаты, вернувшись из бюро, заявили, что вопрос улажен, что директор согласился остановить фабрику.

— Как же так? — говорил я т. Сервею. — Ведь выходит, что вы празднуете первое мая с милостивого разрешения буржуазии. Вы протестуете против насилия капитала над вами, предварительно вымолив у него позволение протестовать против него. Ведь таким образом праздник лишается всякого революционного характера. Ему придается своего

---

* Наладчики машин.

** Инструменты в виде стального пальца и кольца, которыми из медного кружочка выбиваются патронные гильзы.

рода мещанский характер. Наверное, рабочие в Германии не так празднуют первое мая.

Сервей, на которого падала главная заслуга, что фабрика в день первого мая не работает, возмущался. Воспользовавшись, что я ошибочно взял в пример немецких рабочих, он негодующе возражал:

— Что это вы все и всем недовольны и все на нас, бельгийцев, нападаете? Напрасно вы ссылаетесь на пример немцев. Как раз со своими богатыми кассами и мощными организациями они не решаются остановить первого мая заводы и выйти на демонстрацию на улицу. Спрячьтесь вы под лавку со своими германцами!

Чувствуя, что я попал впросак со своей обычной ссылкой на успехи германских социал-демократов, я принужден был замолчать.

Придя на утро на сборный пункт в центре города, на бульвар д'Авруа, недалеко от угла Театральной площади, я не мог отделаться от неудовлетворенного чувства, от неприятного осадка, оставшегося от воспоминания, что рабочие фабрики посылали делегацию к директору.

Я вспомнил, что день начался, как обычно. Утром рано мы были разбужены ударами о мостовую деревянных башмаков. Затем послышался шум начавшего свое движение трамвая. Вскоре загудели заводские гудки. Все говорило, что далеко не все рабочее население примет участие в великом празднике пролетариата. Когда я приехал на трамвае к сборному пункту, стал моросить мелкий, настоящий осенний дождик. Неприятное чувство стало рассеиваться при виде появлявшихся групп льежских рабочих-социалистов, прибывавших из предместий и окраин города с музыкой и развевающимися красными знаменами. В их стройных рядах, в их энергичных лицах чувствовались неиспользованные еще силы и мощь. Все участники маевки были одеты по-праздничному: в котелках, в крахмальных воротничках, в праздничных чистеньких, без морщин и пушинок, костюмах. У всех навешены были красные цветочки и ленточки. Продавцы последних крутились тут же, предлагая свой товар. Как только колонны прибывавших рабочих стали строиться по-военному, явилась полиция, охранявшая порядок и останавливавшая для прохода демонстрации трамваи, автомобили и экипажи.

Смотря, как собирались льежские рабочие, как они раскрывали зонты от дождя, я невольно погрузился в думы о наших демонстрациях в царской России, в которых не замечалось еще такой внешней яркости и блеска. Нам, конеч-

но, и в голову не приходило выйти на улицу, особенно с таким множеством знамен и оркестров. Не до того было. Мы на всю партию не обладали в России в то время хотя бы одним оркестром. Наши демонстрации были бедны и просты с внешней стороны, но они были богаты революционным воодушевлением.

Немудрено: казацкая шашка, пуля, нагайка, пика, арест, зверское избиение — вот что ждало каждого участника демонстрации в России. Поэтому наши демонстрации носили революционный пролетарский характер.

Не то было в Бельгии. Здесь буржуазия до 1848 г., игравшая передовую роль, издавна привыкла выходить на улицы, увлекая под свои белые, синие, зеленые и желтые знамена массы рабочих. Еще раньше, со времен средних веков, католическая церковь устраивала очень красиво и красочно свои церковные шествия. Она умела отравлять массы религиозным дурманом в красивой форме.

В демонстрациях бельгийских рабочих бросалось в глаза подражание буржуазии. Отсутствие творчества, спящая мысль рабочего, полное отсутствие революционного содержания — вот чем отличались демонстрации бельгийских рабочих.

— Идем! Идем! — услышал я слова Лизы. — Что ты стоишь, так задумавшись.

Очнувшись, я увидел, что голова колонны демонстрации уже тронулась в путь. Оркестры заиграли «Интернационал». Углекопы, лица которых отличались темными пятнами от въевшейся в полученные под землей царапины и ранки угольной пыли, подхватили напев. Красивые зовущие звуки пролетарского гимна увлекли меня. Воодушевление заблистало в глазах всех товарищей. Оглянувшись, я был поражен картиной огромного числа красивых красных знамен и сравнительно большим количеством пришедших рабочих. Но русским революционерам было неприятно, что бельгийские социалисты не могли обойтись без услуг полицейских, шедших впереди шествия.

— Смотрите! — воскликнул один из них. — Что это такое? Бочка с пивом!..

— «Союз пивоваренного производства», — прочитали мы на знамени.

— Но зачем же бочку выставлять на знамени? Это символ алкоголизма!

— Обратите внимание, — поражались другие, — молодые бельгийские рабочие поют «Интернационал» и пляшут

под его звуки совершенно так же, как это делают буржуазные сынки, когда поют свою «Брабансону» *.

— Чорт знает что такое! — возмущались третьи. — Совершенно нет революционного воодушевления. Просто прогулка какая-то. Такая красота с внешней стороны, без всякого внутреннего пролетарского содержания и революционного воодушевления!

Демонстрация, обойдя буржуазные и пролетарские кварталы, останавливалась на площади Верт против балкона «Попюлера». Отсюда социалист Трокле произносил свою первомайскую речь. Каждый русский революционер, говоривший по-французски, слушая его, начинал понимать, откуда эта упадочность, мещанская пошлость, которые только-что его, как и всех русских революционеров, поразили во время шествия по городу; становилось ясным, почему так много пролетариев работало в этот день, не пожелав примкнуть к празднованию 1 мая.

Речь Трокле блистала как всегда полным отсутствием революционного содержания. Он много распространялся о майских цветах, зеленых лужках, о весенней прогулке. Но он умалчивал о непримиримой классовой борьбе пролетариата, о великих грядущих битвах с буржуазией, к которым должен всегда готовиться рабочий класс для окончательного свержения господства капитала.

Речь кончалась. Рабочие массами заходили в кооперативный ресторан в «Попюлере». Они считали необходимым для поддержки его торговли выпить там по кружке пива, по рюмке можжевеловой водки, сыграть партию в карты, на которых вместо королей и валетов были нарисованы фигуры Вандервельде, Бакунина, Дамблона и даже Лассаля, и т. п.

— Как! Вы не хотите с нами выпить по рюмочке, не хотите ради первомайского праздника поддержать наш кооператив? — возмущался т. Сервей, заметив, что я заказывал лишь стакан кофе. — Ведь кофе очень мало дает доходу кооперативу.

— Я хожу Вандервельде, — слышалось в это время с соседних столов.

— А я тебя Дамблоном. Что, взял?

— Жак, Жак! — слышалось с другого стола. — Не будь дураком, ходи Бакуниным. Дуй его по губам Лассалем!

— Ну, и история! — говорили между собой русские рабочие. — То у них в библиотеках не найдешь ни одной дельной брошюры, а тут в карты сражаются, а на картах, на этих

* Патриотический бельгийский гимн (Brabançonne), составленный в 1864 году.

мещанских картах, изображены, как бы в насмешку над ними, портреты великих революционеров, боровшихся против мещанства. Какая пошлость!

— Зачем, — спросил один русский товарищ, — у вас на картах нарисованы портреты вождей социализма?

— А как же? — ответили бельгийские социалисты-кооператоры. — Мы так пропаганду ведем.

Немудрено, что после демонстрации без социалистического воодушевления и пропаганды посредством карт за кружками пива рабочие с 1 мая расходились к своим голубятням, по кафе, где оканчивали день, также играя в карты и в кегли и кружась в танцах.

Гаспар, все более склонявшийся в сторону марксизма, охотно соглашался, что с первомайскими социалистическими демонстрациями дело обстоит далеко не благополучно.

— Совсем иная была первая демонстрация 1 мая 1890 года, после постановления интернационального социалистического конгресса 1889 года, — говорил он. — Эта демонстрация произвела на нашу буржуазию* ошеломляющее впечатление. Тогда рабочие пришли на демонстрацию с самым сильным воодушевлением, какое только можно себе представить. Когда наши капиталисты увидели площадь

* После распада I Интернационала — распада, продолжавшегося целых 15 лет, в годовщину столетия величайшего события в истории человечества, в годовщину Великой французской революции, первый конгресс II интернационала (14 июля 1889 года), в Париже, где протекала эта революция, возобновив прерванную деятельность, постановил об'явить 1 мая днем «великих международных демонстраций, которые говорили бы о возобновившейся снова международной солидарности рабочих всего мира и предъявляли бы буржуазии требования восьмичасового рабочего дня».

Буржуазия прекрасно поняла, как приводит Г. В. Плеханов, что дело не ограничивается только 8-часовым рабочим днем. «Первое мая,— писали буржуазные газеты, — есть первый натиск социалистической партии, которая стремится разрушить основу современного общества, уничтожить частный капитал и порвать с системой наемного труда».

Демонстрации 1 мая 1890 года во всей Европе досмерти напугали буржуазию. Второй конгресс в 1891 году в Брюсселе подтвердил, как и международный социалистический конгресс в 1904 году в Амстердаме, необходимость прекращать работы в день 1 мая и устраивать демонстрации. Характерно, что немецкая делегация международного социалистического конгресса в Цюрихе еще в 1893 году сорвала это постановление, заявив, что она оставляет за собой право свободы действий сообразно ее пониманию условий в Германии. Конгресс в 1891 году пошел еще далее и принял оппортунистические решения — «не толкать никакой национальности на необдуманные шаги» и заменил первоначальный текст резолюции «о социальной революции» словами о «социальном преобразовании». Таким образом, тот опошляющий характер, какой приняли первомайские демонстрации в Бельгии, внесен был не рабочими, а оппортунистическими вождями II интернационала.

Верт запруженной до пределов возможного нашими углекопами, которые не в праздничном костюме, как теперь, а в своих рабочих блузах, в характерных кожаных шляпах, в которых углекопы представлены и у скульптора К. Менье, с лампами в руках, вместе с другими рабочими затопили все соседние улицы, когда эта толпа вынесла на улицу свое горе, слезы, негодование, проклятия и ненависть, — буржуазия перепугалась. Ей пригрезилось, что опять наступили времена 1886 года. «Если так пойдет дальше,—раздавались разговоры, — ничего невозможного нет, если на самом деле над Бельгией станет призрак социалистической революции». Как ни как, но такой первомайской демонстрации, подобной 1893 году, уже в Бельгии не наблюдалось. Произошло ли это само собой, предприняла ли что-нибудь в этом смысле буржуазия, перепугались ли наши вожди — я не знаю. Во всяком случае, дальнейшие наши демонстрации не внушили капиталистам уже такого ужаса и беспокойства. Как вы видели, наши буржуа преспокойно стоят у окон своих домов, когда проходит первомайское шествие, и очень иронически улыбаются.

— На это можно вам сказать, — заметила Лиза, — что ваша буржуазия политически очень умна. Этого нельзя сказать ни про бельгийских рабочих, ни про их вождей. Эти последние уверяют, что их рабочие не слушают. Но в 1890 году пришли же рабочие и сумели устроить такую демонстрацию, которая многих буржуа заставляет, наверно, вздрагивать во сне от ужаса и обливаться холодным потом в ожидании революции.

— Давайте, прогуляемся, — предложил Гаспар.

Мы вышли из «Попюлера», прошли улицу Леопольда, вышли на набережную реки Мёза. Повернув направо от моста Арж, сели на маленький пароход, за небольшие размеры называемый «пароход-муха», циркулировавший по Мёзу от Льежа до Серена, и поехали вверх по реке. Последняя была шлюзована. Мы проезжали через каналы шлюзов, поднимались вместе с водой, наполнявшей шлюз. Ворота отворялись, когда шлюз наполнялся водой, и мы плыли дальше, мимо домов и каменных набережных по обоим берегам. Наконец, показались города: Серен и Склесен и их заводы, дышавшие дымом и огнем. Лиза, погрузившись в задумчивость, казалось, смотрела, как уходили вдаль дома и терялись из вида мосты Льежа. Я наблюдал, как пароход разрезает носом журчащую водяную струю, и мы слушали, что говорил тов. Гаспар.

— Я начинаю склоняться все более к мысли, — продолжал он свою речь, — что причину недостатков нашего рабо-

чего движения надо искать в нас, кто руководит движением. Чтобы быть вполне искренним, приходится сознаться, что не только одна наша буржуазия, но и мы сами побаиваемся этой грядущей революции. Что мы будем с ней делать, если она вдруг, паче чаяния, разразится раньше, чем в соседних странах, только в одной Бельгии? Перед нами тотчас встанет призрак восстания рабочих наших каменноугольных бассейнов в 1886 году. Наша страна миниатюрных размеров. Мы окружены могущественными соседями. Кроме угля, которого у нас чрезвычайно много, мы живем привозным сырьем. Мы ведем социалистическую работу и в то же время оглядываемся на наших соседей. Вы говорите, что у нас плохие демонстрации. А в Германии? Там мощная социал-демократическая партия и гигантские профсоюзы. «Но почему, — спрашивают часто нас наши рабочие, — не осмеливаются там 1 мая даже остановить фабрик, как это предписывает резолюция международного социалистического конгресса?» О том, чтобы вывести рабочих на улицу, там и речи быть не может. Только ваша революция 1905—1906 годов заставила германских рабочих показаться на улицах. Но теперь опять по-старому. В Германии 1 мая ведь только вечером, по окончании работ, устраиваются собрания, на которых все равно присутствует полицейский. Вот тут-то и задумаешься. Как только наши рабочие начинают слишком революционизироваться, наши вожди оглядываются на Германию, Англию и Францию. Видя, что там не только не пахнет революцией, но что там партия даже не осмеливается призвать рабочих, как это наблюдается в Германии, к первомайской демонстрации, мы начинаем думать, как Жан Вольдерс: «Не пора ли еще раз разбавить наше слишком «красное вино» водой то английской, то немецкой, то французской?» Мы ведь все заимствуем от соседей. Что-то не пахнет революцией в этих трех странах. Даже великие традиции Великой французской революции забываются. Теперь вот вы, русские, выступили на историческую сцену. В 1830 году мы, бельгийцы, под влиянием французской революции говорили: «Будем поступать, как французы». Тогда бельгийцы вышли на улицу и победили на баррикадах войска нидерландской монархии. Теперь ваша революция произвела на нас глубокое впечатление. Гром вашей революции оказал колоссальное влияние на наших рабочих. «Будем, как русские», — говорили во многих местах рабочие, и у нас в том числе. Но, к сожалению, вам не удалось победить ваше правительство.

Он замолчал и задумался, как бы решая вопрос, по какому пути итти бельгийским рабочим.

Пароход остановился в Серене. Через несколько минут мы возвращались на нем же обратно в Льеж. Пароход бежал быстрее вниз по течению. Солнце давно опустилось за горизонт. Сгущались сумерки. Ярче сверкали заводские огни. Мы возвращались молча. Я думал о словах Гаспара.

«Постоянно оглядываясь на соседей: на Германию, Францию, на Англию, а теперь на Россию, угашая порывы своих рабочих, поливая их «горячие» головы холодной водой благоразумия, разбавляя свое слишком красное вино водичкой, исполняете ли вы исторические задачи рабочего класса? Не посмеялась ли уже над вами старуха-история? Может быть, против своей воли вы исполняете исторические задачи, но не своего класса, а буржуазии? Зайдя в тупик, сохраняя красные знамена, социалистическую фразеологию, на бумаге революционную программу, не обманываете ли вы доверие рабочего класса? Не превратились ли вы уже в громоотвод, отвращающий грозу от головы буржуазии?» Так я должен был бы сказать Гаспару.

Я должен признаться, что такой анализ бельгийской рабочей партии не был еще для меня возможен. Он лишь смутно намечался и чувствовался. Вполне отчетливо он обрисовался лишь во время империалистической войны благодаря гению Ленина.

Предательская роль многих западно-европейских социалистов еще не была вполне ясна. Но и тогда чувствовалось, что искусственное единство во время господства капитализма с такими предателями интересов рабочего класса, как Э. Бернштейн и Вандервельде, полное отсутствие внутрипартийной борьбы * с ними делали социалистические партии на Западе похожими на раскрашенные гробы. Снаружи, как на Шипке, все было спокойно, сохранялось партийное единство. Но только теперь вполне ясно, что это было спокойствие могилы. Социалистические партии разлагались. Как на кладбище под могильной плитой, здесь все гнило. Только очень внимательное ухо различало за блестящей внешностью единства партии шелест могильных червей. Живя в Бельгии, я уже чувствовал трупный запах, которым несло от бельгийских социалистов.

РАБОЧИЙ ФЕРНАНД РЕМИ

Всего три года назад он представлял собой одного из активнейших социалистов в Шарлеруа, в Черной стране. Он

*Де-Ман и де-Брукер в своей книге «Рабочее движение в Бельгии» (стр. 226) дают указания, что такой влиятельный вождь партии, как Э. Вандервельде, относился вполне отрицательно к критике в пар-

работал на заводе и вел непримиримую, как казалось, борьбу с хозяевами. Он принимал участие во всех забастовках. По воскресеньям он вместе с другими товарищами отправлялся на пропаганду с оркестром музыки и с красным знаменем по кабачкам, которые представляли собой многочисленные в Бельгии кафе, где по вечерам и в воскресенье собирались рабочие. Так как обычай требовал в каждом кафе непременно выпить по кружке пива, пропаганда оканчивалась тем, что почти все участники ее к вечеру возвращались по домам навеселе. Все обещало, что из Реми выработается один из лучших бельгийских социалистов. На беду его активность была замечена шпионами «Об'единения хозяев». После одной забастовки на заводе, в которой Реми принял самое видное участие, он был выброшен на мостовую. После этого в течение года, куда он ни приходил наниматься на работу, он всюду получал отказ. Он попал на черный лист.

Как почти все бельгийские социалисты-рабочие, он имел самое поверхностное представление о социалистических целях. Лишения, которые он выносил в течение года, уже пошатнули его непримиримость. Так как социалистическая партия в Бельгии завоевала себе легальное существование, никому и в голову не пришло снабдить Реми паспортом под другим именем. Переехав в другой город или начав работать под другой фамилией, он был бы спасен от неизбежного разложения. Так как никто не пришел к нему на помощь, через год ему надоело голодать, ходить в обтрепанном костюме, в изношенных ботинках среди расфранченных товарищей, которых не коснулась кара капитала, и он пошел на примирение с всесильным, как ему казалось, капиталистическим строем.

Окончательно он попал под буржуазное влияние в вечерней технической школе для рабочих. Так как он не был ознакомлен с теорией революционного марксизма, этим самым отточенным оружием против капитала, он оказался плохо вооруженным при столкновении с убежденнейшими сторонниками капитализма среди преподавателей школы, с которыми он столкнулся в последней. Яд, которым его отравляли сторонники капиталистического строя и враги социализма, преподносился ему в увлекательной форме, в виде стремления к знаниям. Разница была та, что когда он был социалистом, он не учился, ибо бельгийские социалисты-ра-

тии и не считал критику недостатков партии практической работой. Так же они свидетельствуют (стр. 187), что рабочее движение в Бельгии получило мелкобуржуазный характер, что оно пересоздает себя по образу капиталистического мира, что кооперативы Бельгии превратились в мелкие лавчонки, что политика партии пошла на выучку к буржуазным партиям.

бочие недостаточно занимались изучением истории и социалистической теории и вообще мало обращали на это внимания. Теперь, наоборот, под влиянием буржуазных учителей он учился и, как казалось, шел вперед от одного знания к другому.

Он с удивлением позднее слушал мои рассказы, что я в такой же школе, где он от социализма повернул в сторону буржуазии, пришел, наоборот, к необходимости сделаться социалистом. Вечерняя и воскресная школа в России долгое время была местом, где среди рабочих, которые приходили туда в поисках выхода из тяжелого положения, вербовались убежденные сторонники социализма *.

Так как социалисты в Бельгии не считали необходимым вести работу среди учеников вечерних и воскресных промышленных школ, буржуазия сумела превратить эти школы в своего рода насос, которым она выкачивала самую лучшую, ищущую, не мирившуюся со своим положением часть рабочих и превращала их в ожесточенных врагов социализма.

Подобным противником социализма через три года ученья в Льежской промышленной школе с курсом высшего учебного заведения сделался Фернанд Реми. Представляя собой по знаниям, полученным в школе, инженера, он был увлечен возможностью именно в России подняться по общественной лестнице над серой рабочей средой и все более приближался по своей психологии к господствующему классу.

Однажды после обеда пришел на завод Реми, одетый в новый с иголочки костюм. Его лицо сияло от счастья. Исполнилась его давнишняя мечта: он получил назначение. Он поднялся, как ему казалось, неизмеримо высоко над рабочей средой. Он уезжал в Россию. Простившись с директором, мастерами, служащими в бюро, он надменно прошел мимо рабочих, которых некогда считал своими братьями, и мимо меня в том числе, как будто не замечал никого. Мы уже были для него ничто и как бы не существовали для него.

— Смотрите, как изменился, не захотел ни с кем прощаться! — говорили про него рабочие. — Даже с вами, — обращались ко мне рабочие, — с русским, отправляясь в Россию, он не захотел проститься.

— Да, продался хозяевам, — говорили рабочие.

В голосе некоторых из них слышалась озлобленность против Реми, в голосе других — простая зависть.

Так закончил свою карьеру этот бывший социалист. Он перешел на службу к буржуазии.

* См. А. Шаповалов. «В борьбе за социализм», ч. I.

ЗАБАСТОВКА В ОДЕЯЛАХ

Рабочий день закончился. Толпой валили из ворот завода рабочие. Все спешили скорее домой. Бельгийская зима, похожая на нашу позднюю осень, близилась к концу. Накрапывал холодный дождик. Ежась от сырости и холода, я выходил вслед за другими из ворот завода. Вдруг со стороны Герсталя я увидел каких-то странных людей, двигавшихся в нашу сторону.

— Никак это забастовщики-углекопы? — услышал я.

— Да, это они, — говорили другие. — Давно бастуют, уже почти год. За это время успели обойти всю Бельгию.

— Как так — обойти Бельгию? — спросил я.

— А вы не знаете? — ответил мне т. Дельшеф. — Это замечательная по упорству с обеих сторон забастовка. Через месяц, чтобы сломить их настойчивость, компания выгнала их из квартир за невзнос квартирной платы. Тогда они, разместив по знакомым свою мебель, стали станом на лугу и стали жить в палатках. По распоряжению хозяев, полиция согнала их с лужайки. «Не ваше это место, — говорили полицейские. — Собственники этой земли велели прогнать вас». Тогда, отдав опять-таки знакомым лишние вещи и забрав одеяла и детей, эти мужественные шахтеры стали бродить по всей Бельгии. Придя в какой-либо город, они помещались на ночевке в социалистическом кооперативе и затем делали обход с особым плакатом — вон с тем, смотрите, — и он указал на странную процессию завернутых в одеяла нескольких сот людей, несших на себе детей. — С этим плакатом они обходят жителей с кружкой. Что насобирают. на то и живут. Конечно, много им не дают. Обратите внимание, — говорил он мне, — все владельцы механических мастерских, работающие большей частью на угольные шахты, никогда ни одного сена * не бросят этим стачечникам.

—Значит, и Оливье, у которого я работал, хотя он и социалист, не даст им помощи?

— Никакой! Он же — хозяин. Он работает как раз на угольную компанию. Он изготовляет вагонетки. Ни одного сена он не даст, — проси, не проси. Иначе прости-прощай все заказы с шахт на вагонетки.

— Да кто же увидит?

— О! У этих угольных королей здесь везде уши и глаза. И они необычайно мстительны.

Голова шествия в это время поравнялась с нами. Плакат нес один из мужчин. Простая надпись гласила: «Заба-

* Сен — мелкая бельгийская монета.

стовщики-шахтеры. Бастуем одиннадцать месяцев. Товарищи, поддержите нас в нашей борьбе». Шествие стало проходить мимо нас. Несшие кружки для сборов подходили к нам. Рабочие бросали монеты на помощь стачечникам.

— Как дела? — задавали забастовщикам из толпы вопросы. — Откуда идете?

— Из Герсталя в Льеж, в «Попюлер». Думаем продержаться еще с месяц. А там что будет. Сил наших уже не стало. Изголодались и измотались, — говорили стачечники.

— Держитесь еще. Авось хозяева пойдут на уступки.

Шахтеры держались, переходя из города в город, из деревни в деревню, до весны. Компания не пошла ни на какие уступки. К весне шахтеры сдались и пошли на работу на прежних условиях. Так сокрушала католическая бельгийская буржуазия все частичные попытки рабочих начать борьбу. Когда же возникала крупная забастовка, особенно всеобщая стачка, на помощь буржуазии всегда приходили оппортунистически настроенные вожди социалистов, помогавшие сорвать движение *.

КЕЙР-ГАРДИ

Но и бельгийские социалисты показались мне революционерами, когда в 1910 году в Льеже, в социалистическом «Попюлере» я присутствовал на митинге одного английского рабочего общества. Это общество боролось против капиталистов не во всеоружии науки, которой действительно стал революционный марксизм, а евангелием, той самой книгой, при помощи которой скоро две тысячи лет как христианские попы всех исповеданий держат в умственном плену человечество.

Вместе с членами этого общества, проездом из Брюсселя со всемирной выставки, принял участие в митинге и известный английский социалист Кейр-Гарди **.

---

* По книге де-Мана и де-Брукера «Рабочее движение в Бельгии», во время «всеобщей» забастовки 250 тысяч рабочих в Жолимоне жандармы в 1893 году убили одного рабочего, в Монсе — 7 рабочих, в Антверпене — 3 рабочих. В общем со времени знаменитого 1886 года едва ли проходил один год без того, чтобы вооруженная сила буржуазии не устраивала в Бельгии бойни пролетариату. Стр. 101 — 103.

** Кейр-Гарди — англичанин, рабочий-рудокоп, родился в 1865 г., член независимой рабочей партии, социалист. В 1901 году он внес неслыханное в истории английского парламента предложение о передаче всех средств производства, находящихся ныне в руках частных собственников, в собственность всего народа. Кейр-Гарди во время империалистической войны высказался «за войну вплоть до победы над Германией».

Интерес увидеть этого последнего и вообще таких редких гостей, как англичане, у бельгийских рабочих был так велик, что праздничный большой зал «Попюлера» оказался набитым доотказа рабочими. Все члены этого общества — англичане — заняли места на трибуне. Председательствовал тоже англичанин.

Выступавшие на митинге не произносили сразу целиком всей речи. Наоборот, сказав несколько фраз, они останавливались и ждали, пока не переведут их слова на французский язык. Когда, наконец, речь кого-нибудь из них оканчивалась, все присутствовавшие на трибуне англичане вставали и громко начинали петь псалмы пророка Давида. Так как ораторов насчитывалось около десятка и так как каждого из них переводили на французский язык, собрание затянулось. Все, бравшие слово, приводили цитаты из библии (ветхого завета и евангелия — нового завета), на основании которых они строили свои доказательства, что капиталисты владеют землями, фабриками, заводами, рудниками и вообще средствами производства не только противно здравому смыслу, но и против всех «божеских» законов.

Последним выступил т. Кейр-Гарди. Его лицо, насколько я запомнил, было обрамлено большой бородой, и он уже в то время был совершенно седой. Обрушиваясь с большой резкостью на капиталистов, он, на ряду с выводами политической экономии и статистики и других научных источников, ссылался также на евангелие и библию, как бы солидаризируясь с приехавшими с ним англичанами, членами рабочего религиозного социалистического общества. Закончил он речь словами: «Да здравствует Иисус Христос! Да здравствует Интернационал! Да здравствует социализм!»

Пораженные небывалым за все почти время существования «Попюлера» случаем пения в его стенах религиозных гимнов и даже гимна в честь английской королевы, который было затянули один раз англичане, бельгийские рабочие сидели с одурелым видом. Тем не менее, по примеру социалиста Трокле, они награждали гостей аплодисментами.

Когда после последней речи был пропет приезжими последний псалом библийского пророка и царя Давида, председатель встал и предложил собравшимся исполнить тот гимн, которым бельгийские рабочие имеют обыкновение оканчивать свои собрания.

Бельгийские рабочие-социалисты, которым, видимо, досмерти надоело слушать кисло-сладкие церковные напевы английских рабочих в своем социалистическом «Попюлере», казалось, только и ждали этого момента. Они как-то необычно в этот момент преобразились. Пропала их вялость.

В этот миг в них проснулась и ярко проявилась их искренняя ненависть к попам, к религии, к королю, к классу капиталистов. Как и следовало ожидать, они запели «Интернационал». Никогда, до и после этого, я не слыхал, чтобы они его пели с таким неподдельным воодушевлением, с таким искренним чувством и жаром. Зал гремел от стройного гимна. Англичане, очевидно, никогда ничего подобного не слыхали. Какими жалкими, отжимвшими казались мне только, что пропетые псалмы-гимны ханжей! Воодушевление, прекрасные чувства, отразившиеся на лицах бельгийских рабочих, светившиеся в их глазах под влиянием этого пения, были мне уже знакомы. Я их видел до этого только в России в момент обостренной борьбы, когда русские рабочие шли на смерть, на баррикады. Меня самого охватило было воодушевление.

Англичанин, председатель собрания, внимательно, как казалось, прислушивавшийся к словам «Интернационала», вдруг вскочил с места, замахал рукой:

— Довольно, довольно! — кричал он. — Остановитесь!

Бельгийцы дошли до места, где говорилось:

Никто не даст нам избавления:
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобождения
Своею собственной рукой...

Так как мысль, продолжавшаяся в этом отрывке, казалась, очевидно, еретической религиозному англичанину, он вздумал на основании права председателя остановить пение «Интернационала». Бельгийские рабочие, конечно, не послушали председателя и допели «Интернационал» до конца.

Англичанин, председатель, беспомощно разведя руками, сел на стул.

Я любовался бельгийскими рабочими. «Спасибо вам, — думал я. — Хотя бы своим пением «Интернационала» вы дали отпор бредовой идее — бороться с капиталом при помощи евангелия».

— Ну, и англичане! — слышал я разговоры расходившихся русских и бельгийских социалистов. — Вся борьба этого евангелического общества не стоит ломаного гроша, если оно протестует против пения «Интернационала».

«Наверное, рабочие в Англии находятся еще в большей степени, чем бельгийские рабочие, под влиянием буржуазной и поповской идеологии», думал я, уходя с собрания.

УМЕР КОРОЛЬ

В один зимний день 1909 года газеты принесли известие, гласившее, что Леопольд II, король бельгийцев *, окончил свои дни. Этот король в Бельгии царствовал, подобно всем конституционным монархам, но не управлял. Про него говорили, что он отличался скупостью. Художник Похитонов, живший и умерший в Бельгии, рассказывал мне, что, когда он был с визитом у этого короля, последний принял его в таком старом и узком военном мундире, к тому же засаленном, что этот русский художник был поражен до глубины души.

«Только Плюшкина из «Мертвых душ» Гоголя можно было себе представить в таком виде, но никак не короля», — такими словами окончил свой рассказ Похитонов.

Вероятно, в этом самом узком мундире он явился на конгресс в Берлин в 1885 году, где, смотря на его несчастную фигуру, другие, менее, чем он, ограниченные конституцией монархи, наделили его «независимым государством Конго» в Африке, где он и был неограниченным властителем до 1908 года, когда за очень приличное вознаграждение уступил его Бельгии.

Среди «демократических» бельгийцев король Леопольд не был популярен. Пользуясь его слабостью к женскому полу, его в собственной столице в витринах магазинов изображали в самых неприличных видах, в об'ятиях его любовниц.

Надо отдать справедливость: когда смерть подточила, как червь яблоко, его столь полезную для его подданных жизнь, бельгийская буржуазия, любившая при его жизни позволить себе роскошь посмеяться над его любовными похождениями, была глубоко опечалена. Еще бы! Этот доблестный монарх так помог ей обогатиться на беспримерной и жестокой эксплоатации негров в Конго.

«Интересно узнать, — думал я, подходя на заводе к точилу, — как относятся к смерти короля бельгийские рабочие?»

— Здравствуйте, — сказал я столяру, стоявшему по другую сторону точила.

— Здравствуйте, — произнес он. — Что нового?

— Да что, — ответил я, — говорят вот, что ваш король Леопольд умер.

---

* Де-Ман и де-Брукер в книге «Рабочее движение в Бельгии» (стр. 176) говорят, что король бельгийцев Леопольд II, помимо власти, данной ему конституцией, пользовался еще громадным влиянием, как глава крупных капиталистов.

— Неверно! — с уверенностью произнес столяр. — Неправда, что он умер!

— Да во всех газетах об этом напечатано. Ошибки не может быть.

— А я вам заявляю, что это неверно. Не умер король Леопольд!

«Что такое? — явилась у меня мысль. — Не является ли этот столяр ярым монархистом? Или, может, он не читал газет и думает, что русский его обманывает?»

Я побежал к своему станку, быстро вынул из ящика газету и так же скоро подошел к столяру. Последний попрежнему невозмутимо оттачивал железку для рубанка.

— Ну, как же неверно? — говорю я ему. — Вот газета. Смотрите: вот официальное сообщение. Говорится, что король бельгийцев Леопольд умер. И вы будете попрежнему утверждать, что ваш король не умер!

— Конечно. А то как же? — продолжал он стоять на своем. — Я как утверждал, так и теперь остаюсь при убеждении, что король не умирал.

— Тогда как же это? Может, он уже воскрес? Об'ясните мне, пожалуйста, я ничего не понимаю.

— Хорошо, я об'ясню. Дело очень просто: король бельгийцев Леопольд II не умер, а и з д о х!

ЧУДО

Бельгия — страна, поражающая попадающих туда иностранцев очень сильным влиянием на население католического духовенства *. Церкви, монастыри, распятия, где набожные люди ставят горящие свечи, встречаются по всей стране, особенно на перекрестках дорог, очень часто. Попы, монахи и монахини попадаются на каждом шагу на улицах и площадях всех бельгийских городов. Октав Мирбо рисует, как в Генте в гостинице к заболевшему иностранцу женская прислуга приводит вместо врача, которого заболевший иностранец потребовал, непременно католического попа. После закона во Франции, по которому закрывались все монастыри, монахи и монахини наводнили Бельгию и, как говорят, Испанию. В Бельгии они шмыгали, как черные привидения, по всей стране, неслышно ступая по улицам и площадям, захватывая исподволь под свое влияние все стороны жизни. Как и всюду, куда проникают католические поп и монах, они в Бельгии обратили

* См. Де-Ман и де-Брукер. «Рабочее движение в Бельгии», стр. 127.

большое внимание на воспитание в духе католической церкви молодого поколения. Где только можно, они стараются создавать школы для детей бедняков или своего рода приюты. Они отбирают известное число более способных детей, помогают им выйти в люди, научиться ремеслу. Они дают им возможность переходить в среднюю и затем высшую школу. Окружая детей и рабочую молодежь своим влиянием, они постепенно отравляют их ядом религии и стараются воспитать из них фанатиков католицизма. Как доказано это на деле, влияние католического попа на женщину в Бельгии очень сильно. Вообще, католическая церковь представляет собой одного из самых опасных для рабочего класса не добитых еще врагов.

Социалист Дамблон и другие часто предостерегали рабочих против католических попов.

— Они только с виду присмирели, — говорил он. — Не верьте им! В душе они мечтают о возрождении времен так называемой «святой инквизиции» с кострами, на которых в первую очередь они сожгли бы нас, социалистов.

Надо отдать справедливость бельгийским рабочим-социалистам. У них замечалась одна очень хорошая черта. Они ненавидели попов. Возглас «A bas le calotte!» *, можно было слышать в рабочих кварталах очень часто при появлении попов на улицах.

Особенно большинство земледельческого населения Фландрии, в отличие от промышленной Валлонии, испытывало на себе влияние католического попа. Кооператив в фламандской деревне, библиотека, общество взаимопомощи — все находилось под сильным влиянием попа. Получить кредит, деловой совет, книгу, — словом, все, что небоходимо для крестьянина, он мог только через попа.

Религиозность населения была еще так велика, что в Бельгии несколько раз в год отправляли специальные паломнические поезда во Францию, в город Лурд **.

Однажды я совершенно случайно узнал одну историю, которая отчасти проливает свет на способы, какими святые отцы католической церкви фабрикуют так называемые «чудеса».

В конце лета 1911 года я жил в течение трех недель в деревне Шерат, вниз по реке Мёза, вблизи Льежа. Впервые после пятилетней работы на льежских заводах я попал на отдых в бельгийскую деревню. Последняя была расположена на высоком горном берегу над рекой. Здесь же на даче

---

* Долой попов!

** Э. Золя. «Лурд».

жили целой компанией русские студенты, учившиеся в Льежском университете. Главная часть населения деревни состояла из кустарей-оружейников, изготовлявших за гроши купцам-скупщикам различные части револьверов и ружей. Недалеко от дома, где столовались у одного из кустарей русские студенты, нашли и мы себе комнату.

Все русские студенты в Шерате были в большинстве случаев мелкобуржуазного происхождения. Они отчасти сочувствовали революционному движению в России, как сочувствовали ему многие студенты из России в период 1905—1906 годов, но сами не готовились к нему и были очень далеки от него. К религии они все относились тем не менее отрицательно. Более близко мы были знакомы среди них со студентом Крючковичем.

Иногда всей компанией мы отправлялись гулять по окрестностям Шерата. Недалеко от деревни лежал в замаскированной местности один из фортов крепости Льежа. Еще издалека солдаты в бинокль замечали наше приближение. Обыкновенно нас останавливали, ибо дорога, по которой мы шли, вела мимо форта. «А, русские», — обыкновенно восклицали они и пропускали нас дальше. Постепенно мы доходили до холма, на котором высились развалины средневекового рыцарского замка. Мы спускались в рвы, когда-то наполнявшиеся водой, взбирались на полуобрушившиеся стены и башни. В одной из них мы нашли остатки глубокой подземной тюрьмы.

Бродя по руинам, где среди кирпичей от времени уже вырастали деревья, я старался представить былую жизнь и те осады этой старой крепости, о которых говорит надпись на одной из сохранившихся стен замка.

— Ну, как вам нравятся ваши хозяева? — спросил меня раз Крючкович, когда мы возвращались с подобной прогулки.

— Да ничего, — ответил я, — хозяин — столяр и, повидимому, скорее сочувствует социалистам. Во всяком случае, он не католик. Жена его, по всем данным, — сторонница церкви.

— Вы не ошиблись, — ответил мне Крючкович. — А знаете, какая любопытная история произошла еще сравнительно не так давно с этим столяром?

— Нет, совершенно не знаю.

***

— Видите, все это имело место три года с половиной тому назад. Хозяин-столяр только что женился на этой са-

мой красивой брюнетке, хозяйке дома, где вы живете. Она, как вы верно заметили, очень религиозна, как почти все бельгийки, ярая католичка. Заметив с первых же дней брака приверженность мужа к можжевеловой водке, которую, как вам тоже известно, любят бельгийцы, она, привыкшая по всяким пустякам обращаться за советом к кюре, побежала к нему и на этот раз.

— Мосье ле кюре*, — говорит она, — что мне делать? Я случайно открыла: мой муж, знаете, пьет. Какой ужас, мосье ле кюре!

— Перст божий, дочь моя! Плохой сын церкви муж твой. Его никогда не видно у службы божьей. Хуже того: хулитель он смиренных служителей церкви божьей. Собственными ушами слышал, как он, об'ятый бесовской гордостью и ослеплением, кричал: «A bas la calotte!» **. Безбожник он и социалист! Погубил он свою душу. Вот милосердный бог и наказывает его, желая вернуть в лоно церкви.

Поп при этом сделал постное лицо, поднял кверху руки, как бы призывая проклятье бога на всех безбожников и на ее мужа в том числе.

— Что же мне делать? — спросила приведенная в ужас и отчаяние Каролина (так звали жену столяра).

— Что делать? Ты не знаешь? Стыдись! Вернуть его надо к церкви божьей, дочь моя. Вот тебе и послушание для спасения души. Обрати его к святой нашей вере, и милосердный бог и пресвятая дева Мария тебя не оставят...

— Как же я его обращу, святой отец? Я — женщина малограмотная. Он меня не послушает.

— Как ты осмеливаешься так говорить! Странно! А как же апостолы целые племена язычников приводили к свету святой веры? А ты не можешь обратить к ней отпавшего от нее твоего мужа. Стыдись! Женщина многое может сделать, если захочет. Она может быть неистощимым источником добра, если слушает святую церковь, или, наоборот, греха, если она не следут ее заветам. Иди, дочь моя, и претвори зло в добро, как Христос претворил воду в вино.

— А как же, святой отец, с водкой? — спросила Каролина.

— А бутылку с водкой, как только он одну рюмку выпьет, просто прячь от него. Одну только рюмку позволяй ему пить, не больше.

Вернувшись домой, Каролина тотчас со всем рвением принялась обращать мужа снова в католичество. Разрешая

---

* Господин священник.

** Долой попов!

выпить ему только одну рюмку перед обедом, она, по совету кюре, обыкновенно прятала от него бутылку с можжевеловой водкой в шкаф.

Вот раз в воскресенье сидит столяр дома за столом с женой и фрикасе*, которое она приготовила, кушает.

«Эх, — думает он, — как выпить хочется! Всего одну рюмку позволила выпить чортова баба. Как бы ее теперь перехитрить и пропустить хотя бы еще один стакашек?»

Вдруг слышит столяр: закудахтали на дворе куры.

— Каролина, Каролина! — закричал он на жену. — А ведь это никак к нам на двор собака забежала. Курятник-то ты, смотри, забыла запереть. Переловит она и передушит твоих кур.

— Ах, боже мой! — вскрикнула Каролина и, бросив все, выбежала на двор.

Столяр вне себя от радости кинулся к шкапчику.

«Скорее, скорее, — говорил он себе, — пока не вернулась Каролина», и налил себе самую большую рюмку и как можно скорее выпил, и тотчас, почувствовав страшный ожог, потерял сознание и свалился на пол. Пришла Каролина и смотрит: ползает ее муж по полу, показывает на рот и ничего сказать не может. Оказалось, что он по ошибке выпил вместо водки азотной или серной кислоты.

Растерялась Каролина и вместо того, чтобы немедленно бежать за врачом, бросилась опять-таки к кюре.

— Говорил я тебе: перст божий! Наказал господь бог милосердный безбожника-социалиста, врага святой церкви. Но, может быть, и к лучшему. Скорее теперь он образумится, — каркал вороной католический поп.

Три года после этого был болен столяр. Каролина питала его клизмой. Она плакала при виде его тяжелого положения. Кюре продолжал грозить гневом божества. Часто она терялась. Время шло. С некоторого времени столяр смотрел с особой выразительностью, как она ест фрикасе и пьет черный кофе без сахара. Часто он просил ее знаками влить ему в рот ложечку кофе. Она исполняла его желание из жалости к нему, но ничего из этого не выходило. Пищевод оставался, очевидно, сросшимся после ужасного ожога.

Но однажды она заметила, что ее мужу становится как будто лучше, к нему вернулась способность речи.

— Дай, Каролина, хоть одну ложечку кофе, — сказал он в одно из воскресений, с жадностью смотря, как она

---

* Фрикасе — яичница на сале, любимое кушанье бельгийских рабочих.

уплетает за обе щеки тартинки с фрикасе и пьет кофе. Запах кофе и фрикасе соблазнительно щекотал его ноздри.

Каролина, по обыкновению, влила в его рот чайную ложку горячего кофе.

Она ожидала, что он опять выплюнет, как это было всегда, и скажет: «Не могу, не идет у меня пища». И вдруг. О чудо!

— Мать пресвятая дева! Да он выпил! — вскрикнула против воли она при виде того, как столяр на самом деле проглотил кофе.

Вне себя от радости побежала она к кюре и рассказала ему о происшедшем.

— Внял господь бог вседержитель твоим и моим молитвам и пощадил грешника. Вот что, дочь моя, — продолжал он, подумав. — Не говори об этом никому. Снаряжай мужа немедленно в Лурд. Твой муж получит исцеление у пресвятой богоматери. Ради такого случая я тоже еду с вами. Ведь ты говорила мне, что твой муж уже не раз во время болезни обнаруживал раскаяние. Вот вам пока от святого Жозефа, — и он протянул ей триста франков, сумму большую для рабочего.

Столяр, во время отсутствия жены успевший выпить целых полчашки кофе и попробовавший даже фрикасе, при виде денег не устоял от соблазна получить еще такую же сумму в Лурде при исцелении и согласился хранить полное молчание. Он стал вместе с женой собираться в священный для правоверных католиков город Лурд.

Дорогой в поезде и в Лурде, в гостинице, его показывали как тяжело больного приехавшим многочисленным паломникам. Врачи-католики запротоколировали его болезнь.

Потом началось «действо». Его исповедывали, окунали в источник, в котором, как описывает в романе «Лурд» Э. Золя, плавают на поверхности воды бинты от ран и гной от заразных больных. Затем на другой день после торжественной мессы * во время «причащения» больной, «не имевший возможности есть в течение трех лет», проглотил «святое причастие».

При виде столь несомненного «чуда» все присутствовавшие при исполнении этого обряда пали на колени. Звуки церковных напевов и органа наполнили своды базилики **.

Действо продолжалось и после мессы. Больному столяру принесли немного пищи, которую он в присутствии всех с'ел. Полученную им неожиданно способность есть и про-

---

* Месса — обедня.

** Базилика — храм.

глатывать через рот пищу удостоверили католические врачи.

О чуде, засвидетельствованном подписями врачей-католиков, было, как водится, оповещено всему католическому миру.

Столяр, получивший от попа еще триста или четыреста франков за молчание, вернулся с Каролиной здоровым человеком в Шерат, в свою столярную мастерскую, и зажил, как он выражался, припеваючи.

Ему нравились русские студенты, столовавшиеся у его родни, он познакомился кое с кем из них и рассказал в минуту откровенности, заметив отрицательное отношение их к религии, эту историю.

— Что же вы мало денег взяли с попа? — смеялись над столяром студенты. — Идите, потребуйте еще.

— Что же столяр? Решился еще потребовать денег или нет?

— Как же! Посылал Каролину несколько раз и в конце концов получил что-то пятьсот или шестьсот франков.

— Больше не просите, иначе прогневаете господа бога. Тебе, Каролина, советую напомнить это мужу, — напоминал поп.

Столяр сознавал это. Он оказался неглупым человеком и просил русских студентов не разглашать этой истории с его исцелением. Он отдавал себе полный отчет, как опасно ему в Бельгии ссориться с такой силой, какую представляла собой римско-католическая церковь. Он это понял особенно ясно, когда поп, встретив его раз, сказал:

— Смотри, прольет еще бог Саваоф фиал гнева своего на твою голову, как это говорится, в апокалипсисе, если ты пойдешь войной против церкви.

Поэтому, получив мзду, столяр решил молчать, не раздражать попов.

* * *

Крючкович кончил рассказ. Мы давно уже дошли до Шерата и, пройдя деревню, остановились над обрывом над Мёзом. Вниз спускалась узкая вьющаяся тропинка. Листья уже начали желтеть. Пахло осенью. На «прери»* дозрели яблоки, груши и сливы. На крутом склоне горного берега всюду чернела ежевика. Пахло скошенным сеном. Сильный запах полыни вдруг напомнил мне Россию. Внизу простиралась долина реки Мёза. Там с грохотом и хвостами черного дыма, тянувшимися от паровозов, проносились поезда. На

---

* Прери — бельгийский плодовый сад, среди редко рассаженных деревьев которого обыкновенно растет ярко-зеленая трава.

противоположном берегу виднелись вдали, влево, промышленные города со своими постройками, трубами заводов, вагонетками с грузом, бегущими, как по воздуху, по протянутым проволочным канатам. Мы стояли на вершине обрыва и смотрели туда вдаль, где за Льежем изрыгали дым и пламя доменные, мартеновские и бессемеровские печи металлургических заводов.

Мне припомнились слова одного рабочего, которого я встретил однажды в вагоне железной дороги. Когда он узнал по произношению, что я иностранец, и из расспросов выяснил, что я еду от города до города знакомиться с Бельгией, он сказал:

— О, Бельгия — особенная страна! У нас всюду есть что посмотреть. У нас во всем прогресс. Можно только восхищаться нашей такой маленькой, благоустроенной и прекрасной страной.

Теперь странным казалось, как могли в такой передовой стране иметь место происшествия вроде вышеизложенного.

В БОЛЬНИЦЕ

— Что вас так давно не было нигде видно? — спросил я одного русского рабочего-меньшевика.

— Болен был я. Пришлось в больницу лечь. Едва вырвался оттуда. Вы знаете, ведь в католичество меня обратили проклятые монахини.

— Какие монахини?

— Как какие? Да те самые, что в бельгийских больницах всюду ухаживают за больными, исполняют обязанности сиделок.

— Да как же так, вдруг да в католичество? — удивлялся я. — Что, вы стали верить опять в существование бога, разочаровались в социализме?

— Да нет, ничего подобного. Просто попал в такое положение. Принесли меня после операции в палату. Лежу. Ну, конечно, больной человек. Сначала очень сильная боль мучила меня после операции, затем стал я выздоравливать. Того хочется поесть, другого. Вот и заметил я, что «сестры»-монахини не одинаково относятся к больным: одним они приносят печенье, варенье, фрукты, другим — одну баландовсянку. Стал я присматриваться и установил, что всякие печенья и варенья дают тем больным, которые соглашаются исповедываться и причащаться у католического попа. Так случилось, что и ко мне стали монахини обращаться с предложением, не желаю ли я исповедываться у такого или иного святого отца. Терпел, терпел я все до этого случая,

ответил им: «Не желаю! Оставьте меня в покое!» Но однажды, когда сестра-монахиня опять с прежней настойчивостью и сладенькой улыбкой сказала мне: «Не желаете ли вы причаститься святых христовых тайн? Сегодня будет в больнице святой отец», я ответил: «Как же вы будете меня приобщать? Ведь не католик, я и не верю даже в бога». «Это ничего, — ответила сестра. — Вы приобщитесь только, а там на вас сама собой снизойдет благодать духа святого». Согласился я. Очень уж ослабел. Захотелось сладенького. На беду ко мне никто не приходил.

— Ну, и как же дальше? Что с вами было?

— Да что. Пришел какой-то ксендз, подошел ко мне с сестрой-монахиней, что-то прочитал надо мной, окропил «святой» водой, что-то дал в рот проглотить. Признаюсь, противно мне стало, и я незаметно, когда поп и монахиня отвернулись, выплюнул это самое «тело христово». Ушел поп, и стали меня монахини закармливать. Только больные бельгийцы, которые все это видели, говорили, что ксендз произвел надо мной обряд крещения в католическую веру. Чорт бы побрал эту черную католическую банду! Они пострашнее наших русских православных долгогривых попов, — закончил рабочий-меньшевик свой рассказ.

ТОКАРЬ ЛЕОНАРД

Стояло ясное летнее утро. Я приехал на трамвае к заводу раньше обыкновенного. Оставалось десять минут до свистка. Я медленно шел по улице св. Леонарда. Так приятно было оставаться вне фабричных стен, вдыхать свежий утренний воздух, наслаждаться ласкающим духновением ветерка и нежаркими еще лучами солнца. Признаюсь, у меня не было никакой охоты итти на работу. Поэтому мне хотелось продлить тот миг, который мне остался вне завода, на воле, на свободе. Я шел со стороны Герсталя от трамвайной остановки. Вдруг меня перегнал мой сосед по станку, токарь Леонард. Он нес подмышкой завернутые в черную клеенку тартинки. Когда он отошел довольно далеко, мимо меня торопливо прошел вдруг католический священник в ризе. Его сопровождал дьячок. Сам он нес, как величайшую святыню, заботливо держа обеими руками, чашу с «телом христовым», закрытую «пеленой». Поп, видимо, куда-то торопился, — очевидно, причащать кого-либо из верных церкви католиков.

«Что же удивительного! — думал я. — В этой стране, если вы заболеете, вам вместо доктора непременно пришлют

католического попа. Здесь даже и не-католика могут причастить», — вспоминал я историю в больнице с рабочим-меньшевиком.

Поп, который шел быстрее Леонарда, поравнялся, наконец, с последним. Леонард шел, не оглядываясь, и как будто не замечал, что делается кругом него. Но почему-то меня охватило желание наблюдать и за попом и за Леонардом. Казалось, что ничего не произойдет, но в то же время интересовало знать, как с внешней стороны отнесется бельгийский рабочий к попу. «Может, он ему поклонится, выразит ему знаки почтения и уважения, как это делают русские, особенно польские крестьяне, целующие руку у попа», — рассуждал я сам с собой.

Вдруг, когда поп поравнялся с Леонардом, последний совершенно неожиданно сделал сильное резкое движение всем своим туловищем влево и изо всей силы толкнул плечом попа в сторону мостовой. Поп качнулся. Был момент, когда казалось, что он не удержит чаши с «дарами», шлепнется и выльет на камни мостовой «кровь и тело христово». Но в самый опасный момент, когда жрец римской церкви уже падал, к нему подскочил дьячок. схватил его за руку и удержал от падения.

Крик возмущения раздался в тот же миг со стороны работниц, ждавших у ворот фабрики.

— Как вам не стыдно! — негодовали они. — Святого отца, да еще с причастием, хотели столкнуть! Как вы не страшитесь гнева господня!

— Молодец Леонард, — одобряли последнего рабочие-мужчины. — Как ловко он его двинул в бок! Едва удержался поп. Надо бы тебе его посильнее садануть, так, чтобы эта самая «кровь с телом христовым» на грязную мостовую вылилась.

— Что вы думаете? Если бы это случилось, поп его с грязью слизал бы. Было так у нас в Марше-о-Пон. Столкнули мы священника в грязь; так он стал на колени и стал с'едать «тело христово» вместе с грязью, — рассказывал один рабочий.

В этот момент загудел гудок. Рабочие один за другим стали проходить в калитку завода. Поп давно исчез за поворотом. Я последним вошел в завод.

АРХИЕПИСКОП

Стоял мягкий летний день. Ласкающие лучи послеобеденного солнца освещали длинную улицу рабочего квартала. Издали маленькие домики рабочих в два этажа, стоявшие

один за другим, сливались вместе и казались двумя длинными, терявшимися вдали казармами по обе стороны узкой улицы. Унылый вид этих домов из красного кирпича, фигуры рабочих с полуоткрытыми ртами, что придавало им глуповатый вид, ждавших около дверей своих домиков голубей, сознание того, что и моя жизнь на заводе вместе с этими бельгийскими рабочими тянется, как эти улицы, изо дня в день однообразная, как эти дома, без надежды на исход,— все это навеяло на меня тоску.

Я ежедневно, как заведенная машина, с раннего утра до позднего вечера работал на заводе. Я уже давно научился об'ясняться по-французски. Но чем более я жил в рабочей среде в Льеже, я все яснее и отчетливее сознавал, что для большинства бельгийских рабочих я был и остаюсь своего рода чужаком. Бельгийский рабочий не склонен был доверять мне и как иностранцу и как представителю такой отсталой и некультурной страны, как Россия.

Опять, как на заре моей сознательной жизни в девяностые годы, я почувствовал себя одиноким. Как тогда, так и теперь я видел себя ушедшим далеко вперед от массы.

Становилось душно в этой «маленькой, раз'еденной мелкобуржуазной моралью и пропитанной табачным дымом стране», как ее назвал, если не ошибаюсь, в свое время К. Маркс. Я испытывал настроение, которое приходит перед грозой, когда в томительной духоте страшно хочется, чтобы грянул, наконец, гром, чтобы, наконец, разразилась гроза и вместе с живительным дождем освежила землю.

Страстно желая, чтобы революционная буря скорее охватила бельгийских рабочих, и думая о том времени, когда, наконец, они восстанут против своих господ, я в тысячный раз задавал себе вопрос: «когда же?».

Погруженный в эти мысли, я незаметно дошел до центра города. Когда я проходил по Университетской улице, что-то толкнуло меня остановиться. Когда я смотрел на здание университета, на памятник какого-то ученого или основателя университета, в это время я услышал, как сзади меня открылась массивная дверь старого бельгийского дома. У меня мелькнуло желание оглянуться на стоявшего сзади меня человека, но в этот момент мое внимание было отвлечено внезапно раздавшимися будящими звуками «Интернационала».

Я вздрогнул, мгновенно преобразился, тотчас забыл все невеселые думы. Желание увидеть пролетарскую демонстрацию охватило меня всецело, и я не обращал никакого внимания на того, кто сзади меня кашлял и недовольно фыркал. Наконец, показались и красные знамена и длинные стройные колонны углекопов. Еще раз я почувствовал, что я ожил

и как бы переродился при виде массы рабочих, вышедших на улицу. Испытывая необыкновенные волнение, восторг и радость при виде бесконечных рядов рабочих, многочисленных красных знамен, упиваясь красивой революционной зовущей мелодией, я говорил себе: «Мгновение, остановись, ты прекрасно».

Но первая же колонна демонстрантов, поравнявшись со мной, вдруг остановилась. Смолкли оркестры, прекратилось пение «Интернационала». «Что это такое?» — явилась у меня мысль. И как бы в ответ на нее в толпе пронесся шопот: «Архиепископ Льежа! Архиепископ Льежа!».

Оглянувшись в ту сторону, куда направились взоры всех, я увидел сзади себя большого упитанного попа. Взглянув опять на колонну рабочих, я заметил чувство сильной ненависти, которое вдруг вспыхнуло в глазах участников демонстрации. Тотчас эта ненависть вылилась в громком крике: «Долой попов! Долой попов!». Не удовлетворившись этим возгласом, один старый углекоп, который, очевидно, провел бо́льшую часть своей жизни глубоко под землей, о чем свидетельствовали многочисленные в'евшиеся в кожу, как татуировка, темные пятна от угольной пыли, чтобы сильнее выразить свое презрение главе католической церкви, подражая лаю собаки, громовым голосом закричал: «Гав! Гав! Гав!». Толпа тотчас подхватила этот новый способ выражения ненависти и презрения к попам. Каждая проходившая колонна рабочих, крикнув: «Долой попов!», кричала, как он: «Гав! Гав! Гав!».

Вероятно, видя в нем пса, стерегущего интересы капитала, они лаяли на него, и, как бы не находя больше слов на человеческом языке, чтобы выразить свое возмущение против гнета, в котором находится бельгийский рабочий, они прибегали даже к языку собак.

Архиепископ, видавший виды, очевидно, все-таки совершенно не предполагал для себя подобной встречи. Он краснел, бледнел и, наконец, позеленел от злости. Необыкновенная демонстрация, подобной которой я ни до этого, ни после не встречал, была так своеобразна и так ярко, неподдельно, искренно выражала чувство ненависти рабочих к попам и религии, которое теперь вдруг, стихийно вылилось, что архиепископ Льежа растерялся. Он стоял, как прикованный к земле презрением пролетариата. Он пробовал иронически аплодировать, чтобы высмеять рабочих, но из этого ничего не вышло. Тогда он растерянно оглянулся, как бы ища поддержки среди верных церкви католиков. Но так случилось, что никого из последних не оказалось кругом него. На кого он ни взглядывал, ни в ком он не находил

сочувствия. Он сжежился, как бы ожидая удара. Он вдруг неожиданно очутился совершенно один среди массы людей, настроенных определенно враждебно к нему, как к представителю католической церкви. Невольно страх отразился на его лице. Может, ему уже грезилась надвигающаяся революция, главным оплотом против которой он был, которую он ненавидел и которой страшился больше всего...

Поток рабочих между тем продолжал литься. Колонна за колонной проходили рабочие перед ним. Их озлобленность и ненависть против строя, угнетающего их, как река, вышедшая из берегов, выливались в страшном для него и всех сторонников гнета и рабства крике: «Долой попов! Гав! Гав! Гав! Долой попов! Долой попов! Гав! Гав! Гав!». Красные знамена исчезали за поворотом улицы. Напев «Интернационала» продолжал еще доноситься. Когда прошла последняя колонна, я долго шел вместе с ней. Наконец, далеко за городом отстал.

Близился вечер. Вскоре в сгущавшихся сумерках опять вспыхнули огни стекольных, доменных, мартеновских, бессемеровских и коксо-бензольных печей. Такие огни, то вспыхивая, то потухая, горят во всей промышленной части страны. Они горели и днем, но были незаметны. Так большей частью незаметна ненависть рабочих к капиталистам. Скрытая, как бы засыпанная густым слоем пепла, она в один грозный для капиталистов день прорвется так же неожиданно, как прорвалась сегодня, и тогда засверкает ярким пламенем, каким светят эти огни. «Тогда это пламя, — думал я, — разгоревшись, сожжет навсегда ненавистный капиталистический строй»...

НАРОДОВОЛЕЦ И. И. ЛАЗАРЕВИЧ

Оба берега Мёза на бельгийской территории почти сплошь заняты городами и деревнями. Последние тянутся одни за другими почти без перерыва. На редких пустырях обыкновенно можно встретить кирпичные заводы. По ночам здесь горели темнокрасным светом штабеля кирпичей, обжигаемых в то время примитивно на поверхности земли. На противоположном берегу Мёза, в деревне Жупиль, жил старый народоволец Иван Иванович Лазаревич, уже знакомый немного нам, бежавший из России в 80-х годах, с женой Анастасией Павловной, урожденной Похитоновой, тоже народоволкой. Один брат ее был знаменитый художник-миниатюрист, другой — революционер-народник, погибший в одной из царских крепостей.

Деревня Жупиль совершенно не напоминала нашу русскую деревню, так резко отличающуюся от города. Здесь нельзя было встретить ни деревянных изб, ни соломенных крыш. Внешний вид построек и жителей ничем не отличал Жупиль от построек и жителей города. По сути дела эта деревня давно превратилась в город. Большинство жителей занималось работой на заводах и шахтах. Лишь меньшинство обрабатывало землю.

Бежав из России, Лазаревичи попали сначала в Париж. В странах Западной Европы политическим эмигрантам вообще жилось материально очень плохо; им предоставляли право убежища, но они в этих странах политической свободы обычно бедствовали. Многие из них принуждены вести жизнь чернорабочих, заниматься мытьем тарелок в ресторанах и окон в магазинах, развозкой и разноской молока и хлеба и жить в мансардных комнатах, в пятом, шестом, седьмом этажах.

Лазаревичам выпало на долю испытать особенно тяжелую и суровую жизнь в Париже. Их не оставила в покое и полиция. К ним по делу предполагавшегося покушения на царя во время ожидавшегося посещения им Парижа, при чем все было сфабриковано русской охранкой, пришли в одну ночь, в мае 1890 года, с обыском *.

Попав в конце-концов из ада, каким показался им после перенесенных лишений Париж, в патриархальную, с одной стороны, и с другой — высокопромышленную Бельгию, они почувствовали себя в последней, как они говорили, чуть не в раю. При поразительной, по сравне-

* Покушение на жизнь царя Александра III во время предполагавшегося приезда его в Париж было подготовлено при участии провокатора царской охранки, некоего Абрама Гекельмана, выдавшего в 1885 году подпольную типографию народовольцев в Дерпте. В парижском кружке русских бомбистов он был известен под фамилией Ландевена. Следствие установило, что он играл при этом одну из главных ролей и один из первых высказался за подготовку покушения на Александра III. Более того, впоследствии он под фамилией Аркадия Михайловича Гартинга возглавлял царскую охранку в Париже до 1909 года. По указанию начальника русской политической полиции за границей Рачковского, французская полиция, в мае 1890 года, произведя ряд обысков у 20 русских политических эмигрантов, обнаружила бомбы и лаборатории для их изготовления. В провокации, по всем данным, участвовала и французская полиция, выдавшая русской полиции все найденные при обыске письма и документы. Раскрытие этого покушения, сфабрикованного царскими провокаторами Ручковским и Гекельманом, оказалось выгодным для французской буржуазии. После услуг, оказанных в этом деле русской полиции французским министром иностранных дел Констаном, царь Александр III стал определенно склоняться в сторону заключения франко-русского союза, втянувшего впоследствии, в 1914 году, Россию в империалистическую войну. Меньшиков. «Охранка и революция», изд. 1925 г., стр. 89—93.

нию с Парижем, дешевизне жизни в Белгии им удалось недалеко от реки Мёза снять целый маленький домик, а самому Лазаревичу даже окончить Льежский университет инженером-электротехником. В виду нежелания подтягивать рабочих, как этого от него требовали хозяева, Лазаревич не удержался на административных постах и занимал скромное место инженера в технической конторе завода Бэра в Секлесене, на котором он оставался в течение нескольких десятков лет, до самой своей смерти. Зарабатывая не больше, чем квалифицированный рабочий, И. И. Лазаревич до самой смерти хранил привычки и обычаи русского народолюбивого интеллигента. Не чуждаясь знакомства с местной буржуазией, он в то же время любил водить дружбу с рабочими как бельгийскими, так и русскими. Бельгия ему очень понравилась за ее трудовой образ жизни, а бельгийские рабочие — за их необычайное мужество, поражавшее его, и способность переносить суровые условия жизни, в какие часто попадает рабочий.

Своих детей Лазаревичи воспитывали в антирелигиозном духе, что далеко не легко было в Бельгии. В этой стране сила и влияние католицизма простирались так далеко, что против воли отца-социалиста-атеиста его дети при помощи какой-либо ханжи оказывались совершенно неожиданно вдруг окрещенными. Ко времени «первого причащения» у многих социалистов-атеистов дети вдруг заявляли:

— Папа, я хочу получить «первое причастие».

И дети Лазаревича испытали на себе тяжелую руку католической церкви.

Лазаревич рассказывал, как его дети приходили иногда домой в слезах. На вопрос, в чем дело, они отвечали:

— Ребятишки на улице не хотят со мной играть. «Уходи прочь! — говорят. — Ты нечистая тварь. Ты — язычник, некрещеный. Тебе не место среди нас. Мы — католики».

Конечно, среди бельгийской буржуазии И. И. Лазаревич слыл за «чудака-нигилиста».

Один из бельгийских капиталистов, миллионер Bihet, владевший заводами на юге России, живший как раз в Жупили, водил знакомство с этим «чудаком-нигилистом» и время-от-времени приглашал его к себе чинить электростанцию в его доме. Вернувшись из России, куда он ездил посмотреть на свои заводы в 1905 году, заинтересованный, между прочим, мерами борьбы с ростом революционного настроения русских рабочих в 1905 году, он подверг русские обычаи и порядки самой жестокой критике.

— Возьмем железные дороги, — смеялся он. — Посмотришь на вокзалы, — дворцы по сравнению с нашими бель-

гийскими вокзалами, сравнить скорость их поездов, высоту и толщину рельсов — они во много раз уступают нашим бельгийским. Впрочем, я узнал, что русские вообще не любят быстро ездить. У них даже пословица существует: «Тише едешь — дальше будешь». Инженеры в России по своим знаниям по сравнению с бельгийским инженером, прямо ученые, предложишь, такому ученому построить проект какой-нибудь машины, смотришь, эта машина не работает. Учености много, а машину сконструировать не могут. Поручишь это дело нашему инженеру-бельгийцу,— он знает одну лишь формулу, бельгийскую, а все построенные им по этой формуле машины идут. А как работают в России! Курам на смех. Там превращают ночь в день, день в ночь... Направился я раз по делам моего завода к городскому голове. Встал утром, как полагается деловому человеку, в 7 часов. Оделся, умылся, напился кофе и к 9 часам звоню у под'езда. «Не опоздал ли?» — думаю. У нас в Бельгии придешь к 8 часам утра к бургомистру города, — оказывается, он уже по делам уехал. «Не может быть, не опоздал! В России позднее начинают работать в конторах, и вообще богатые люди встают позднее». Вот стою я у дверей, после того, как позвонил, минуту, вторую, третью,—никто не отворяет. «Что за оказия,— думаю. — Неужели он уже уехал? Невероятно». Позвонил еще раз и на этот раз посильнее. Слышу в коридоре «динь! динь! динь!» раздается. Стою. Нуль внимания. Дом весь, как мертвый. Никто не отворяет. Все-таки я жду. Простоял я, должно быть, минут двадцать. Надоело так-то стоять, рванул я со злости колокольчик сильнее. Слышу звон раздался на весь дом. Мертвого таким звоном можно, кажется, разбудить. Наконец, проснулись. Кто-то бежит по коридору. «Слава богу, — думаю, — наконец, дождался». Торопливо отворяют дверь. Вижу, появляются на пороге, и — кто же, в каком виде! Горничная с растрепанными волосами, босая, в одной ночной рубашке и с сердитым лицом. Высунулась и кричит:

— Кто там ломится в такую рань? У нас еще все собаки спят, а вы звоните, чуть звонок не оторвали.

— Извиняюсь,—говорю,—мне к барину по срочному делу.

— Да спит, говорю я вам, барин-то. Можно сказать, пришел из клуба в семь часов утра, а вы его в девять хотите поднять с постели. Когда он спать-то будет?

— Когда же, — спрашиваю, — барин встанет?

— Да приходите, — отвечает, — к двенадцати, не поздно будет. В аккурат барин кофей будут пить. Не опоздаете.

— Ну, уехал я по делам, — продолжал бельгийский фабрикант. — Приезжаю к двенадцати. «Уехамши, — слышу, —

барин с визитами. К обеду будут барин-то наш, к шести часам». Приезжаю к шести часам, слышу: «Опять нет дома барина. В гости, а потом в театр изволили отправиться. Приходите после театра». Прихожу, но опять незадача. «В клуб, — говорят мне, — изволили барин прямо из театра направиться. Ужинать, значит, там будут и в карты почитай до утра играть».

И так целый день у них, думаю, то барин изволит спать, то он завтракает, ездит с визитами, обедает, ужинает, в клубе время проводит, в картишки ночью играет, то в театр, на концерт едет, то спит, но когда же он работает?

Что касается рабочих в России, они там добились таких завоеваний и успехов, которые и не снились нашим бельгийским рабочим. Чтобы эти последние не последовали примеру русских рабочих, мы все эти уступки с нашей стороны возьмем обратно, сведем их на-нет. А то какой пример для наших рабочих! Поэтому в России на наших фабриках мы лишь временно идем рабочим на уступки. Когда революционное движение там уляжется и все придет в свою норму, мы тут и наложим нашу лапу...

РАБОЧИЕ-ЭМИГРАНТЫ

Все почти без исключения русские рабочие, в том числе бывшие солдаты и матросы, приезжали из России со значительной идеализацией западно-европейских рабочих партий. Многим из них представлялось, что в Западной Европе почти осуществлен социализм. Незнание языка и ремесла мешало им быстро находить работу. Принимали их обыкновенно на самые тяжелые и грязные работы в шахтах или в кожевенном производстве. Приехав с преувеличенным представлением о завоеваниях и победах рабочего класса в Западной Европе и столкнувшись с суровой действительностью, некоторые из них разочаровывались как в социализме, так и в западно-европейских рабочих и начинали постепенно разлагаться. Так как работу находить становилось трудно, безработные не переводились среди политических эмигрантов. В конце-концов они разделились на большинство, работавшее на заводах, фабриках и шахтах, и меньшинство, существовавшее при поддержке эмигрантской кассы.

Как мне говорили, наблюдались следующие случаи. Встречает, например, какой-нибудь рабочий своего товарища по революционной работе в России. Узнав, что он без работы и живет на средства эмигрантской кассы, но не имеет квартиры, он приглашает его и еще кого-нибудь из

безработных жить к себе. Обыкновенно поздно вечером, разбуженный стуком в дверь, он впускал в квартиру своих безработных товарищей. Засыпая, он слышал, как они делились впечатлениями от театра, билеты на который давала им эмигрантская касса, и от реферата, с которого они только что вернулись. Уходя рано, возвращаясь поздно, мало читая, он начинал тупеть от тяжелой работы. Если дело затягивалось, он начинал завидовать своим товарищам, которые имели возможность посещать все партийные собрания, рефераты и бывать в театре. В один какой-нибудь день, когда ему надоедало вести такую жизнь и содержать безработных товарищей, он говорил: «Довольно! Я тоже бросаю завод и перехожу на поддержку со стороны эмигрантской кассы. Мне тоже хочется встречаться с товарищами, посещать регулярно партийные собарния, бывать в театре».

Долгое пребывание на положении безработных вызывало неизбежное разложение, до которого дошли, например, бывший солдат Михаил Костечко и знаменитый Хрусталев-Носарь, председатель Петербургского совета рабочих депутатов в 1905 году. Надо признать, что такие случаи падений, до которого дошли эти два бывших революционера, были сравнительно редки. Громадное большинство политических эмигрантов мужественно выносило суровую трудовую жизнь. Значительная часть из них училась, занималась самообразованием и готовилась к будущей общественной и революционной деятельности в России. Эти хорошие стороны жизни политических эмигрантов из России особенно бросались в глаза при сравнении жизни эмигрантов другой эпохи и иной политической окраски, например, с жизнью эмигрантов из Германии после революции 1848 года, не говоря уже о жизни современной белогвардейской эмигрантщины, о разложении и моральном падении, которой время-от-времени сообщает наша пресса.

Среди довольно значительного числа русских рабочих, эмигрировавших в Бельгию, я помню видного участника вооруженного восстания на броненосце «Потемкин» в 1905 году Василия Кулика, затем Яблонского, машиниста, из Сибири, Гордиенко из Харькова, Филатова, Израиля Кольпа, Лейзера, Г. К. Мишанова и Вениамина (последние оба литейщики из Баку), Лившица, Станишевского, Александра Плеханова, члена совета рабочих депутатов, из Петербурга.

Василий Кулик, рассказывая о восстании на «Потемкине», уверял меня, что еще в ночь на 15 июня одесская группа меньшевиков, на явку к которым явились представители от восставших матросов, знала, что броненосец «Потемкин»

восстал и что он, как военная революционная единица, отдал свою судьбу в руки меньшевиков Одессы.

Станишевский, член партии ППС, проявлял в себе уже тогда черты, свойственные этой партии. На завод он поступил, пред'явив рекомендацию бельгийского католического попа. Хотя он хвалился, что он попросту надул попа, притворившись верным католиком, целовал ему руки, чтобы получить через него возможность найти работу, но уже тогда в нем как бы сказывалась та внутренняя связь между этой мелкобуржуазной партией и римско-католической церковью, замечаемая теперь, когда Польша получила независимость.

Александр Плеханов. меньшевик, член совета рабочих депутатов в Питере в 1905 году, был очень выдающийся рабочий. Как хромой, вследствие этого уродства, он чувствовал всегдашнюю потребность доказать здоровым людям, что он не уступит им ни в чем, и в том числе в быстроте ходьбы и работы. То же самое замечалось в нем, когда он ехал на велосипеде или работал на токарном станке. Перегоняя здоровых людей в быстроте езды и в скорости работы, он, к сожалению, не мог удержаться на той грани, перейдя которую, он превращался в простого загонщика. Эта страсть, в которой не было по сути дела ничего дурного, завела его все-таки очень далеко. Первое время по приезде в Западную Европу он постоянно являлся на собрания российских рабочих-эмигрантов. Но по мере того, как глохло в России революционное движение, у него все более порывалась связь с последним и с русскими товарищами. Можно только сожалеть о потере этого даровитого человека для русского революционного движения *.

Как с русскими интеллигентами, так и с русскими рабочими по приезде в Бельгию случались недоразумения, описанные Степняком в его романе «Андрей Кожухов».

На вопрос, как им нравится в Бельгии. получался всегда почти один и тот же ответ:

— Ну ее к чорту, эту Бельгию с ее хваленой свободой.

— Что так?

— Да как же, оказывается, что здесь не смей после 10 часов вечера в своей же комнате ни ходить в сапогах, ни петь, ни кричать **.

---

* Мои предположения об этом товарище оказались ошибочными. Вернувшись в СССР приблизительно после 1920 г., он в свое время вступил в ряды ВКП(б).

** В Льеже после 10 часов вечера по комнате, чтобы не мешать другим спать, разрешалось ходить лишь в туфлях или босиком. Исклю-

Только втянувшись в трудовой образ жизни Бельгии, начав интенсивно, как и все бельгийские рабочие, работать, они начинали ценить возможность заснуть, когда никто не мешает, в мягкой, широкой бельгийской кровати, чтобы утром быть в состоянии с новыми силами начать трудовой день.

АНАРХИСТЫ

К нам на фабрику поступил анархист Марешаль. Насколько я мог убедиться, его анархизм питался лишь глубокой неудовлетворенностью, которую испытывали многие, пробудившиеся к сознательной жизни рабочие от умеренности бельгийских социалистов. Вообще же бельгийские анархисты не пользовались влиянием на массы. Единственный из анархистов здесь еще в 80-е годы, по фамилии, кажется, Муано, выступал с бомбой в руках. На суде он об'яснил, что он так действовал, желая обратить внимание широких кругов бельгийского общества на бедственное положение рабочих. С той поры бельгийские анархисты давно перестали думать о борьбе при помощи динамита. Они удовлетворялись проповедью «неомальтузианства». На собраниях они так мастерски рисовали тяжелое положение рабочих, что мне всегда казалось, что вот-вот они призовут к восстанию, на баррикады. Каково же было всегда разочарование, когда я слышал, как после такой зажигательной речи они, как единственный выход из тяжелого положения рабочих, предлагали не иметь совсем детей или иметь их возможно меньше.

ВЕЧЕРИНКИ

Из России приходили известия одно другого хуже о надвигавшейся реакции. В декабре 1907 года переехал за границу Владимир Ильич. В августе 1908 года Владимир Ильич выступает против «эмпириокритицизма» А. Богданова, Луначарского и Базарова и ведет борьбу против ликвидаторства меньшевиков и против отзовизма, ультиматизма и примиренчества в рядах большевиков.

Деятельность заграничных групп нашей партии и до окончательного раскола с меньшевиками, вступившими на путь ликвидаторства, и после него заключалась преимуще-

---

чение из этого правила представляли упоминаемые мною выше так называемые «открытые дома», в которых на всю ночь разрешалось пение, музыка и т. п.

ственно в сборе денег на партию. Это достигалось путем устраивания платных рефератов и вечеринок. Однако плата за помещение отнимала почти весь сбор по устройству рефератов. Социал-демократические группы, как и эсеры, принуждены были изыскивать другие источники сборов. С легкой руки эсеров и меньшевиков и большевики начали устраивать так называемые «вечеринки». Первая часть программы, артистическая, когда бесплатно выступали в пользу революции те или иные артисты, после полуночи сменялась обыкновенно танцами и буфетом. Главный доход, получавшийся революционными организациями, шел, конечно, от буфета. Некоторые из гостей, как это бывало иногда, напивались по русскому обычаю.

Несомненно, эта теневая сторона вечеринок не бросалась тогда нам в глаза и скрашивалась общим весельем, танцами и хоровыми песнями. В разных концах обширного зала собирались группами эмигранты и пели грустные, хватающие за душу песни покинутой родины.

Скандалы и драки случались на наших вечеринках, главным образом, благодаря провокации некоторой части темных элементов русской колонии. Анархиствующие члены рабочего клуба в Париже, на улице Белой Королевы, под предводительством некоего эсера Федорова, приходили нарочно драками и скандалами срывать наши вечеринки. Для борьбы с Федоровым мобилизовывалась обыкновенно особая группа товарищей, которая быстро приводила в норму типов, пытавшихся устроить обычный скандал и ликвидировала эти попытки, не прибегая к помощи полиции, которая в противном случае неизбежно вмешивалась.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ГРУППА В ЛЬЕЖЕ

Русская колония в Льеже состояла преимущественно из студентов Льежского университета. Немудрено, что и в об'единенной группе РСДРП большинство принадлежало к меньшевикам. Во главе последних находился сын генерала, «блестящий», как в насмешку его называли, интеллигент Тетяев. Большевистскую фракцию к моменту моего приезда возглавлял Борис Спиридонович Стомоняков. Из большевиков, приезжавших и уезжавших из Льежа, я помню: Мишукова, Нагурского, Часовникова, Петра Фигатнера, Михаила Назарова, Татаринова *, Романова, Серебрякова, Петра Артамонова («Пьер»), Владимира Ашарина («Медалье»), Якова Вишняка, Гринченко, Израиля Кольпа, Лейзера, Азарх (она),

Довгалевского, Новицкого, Гудина **, Сальникова «Мотьку», Гуревича и двух братьев Беликовых, Мистертон (он и она).

Ко времени нашего приезда в Льеж там находились лишь 3—4 большевика, очень нуждавшиеся, принужденные отдавать почти все время вопросу о заработке. Только т. Стомоняков имел возможность посвящать много времени работе для русской революции, главным образом, закупке оружия. Эта работа в виду ее конспиративности, после от'езда тов. Стомонякова в конце 1906 г. на подпольную работу в Россию, равно как и переписка с Лениным до декабря 1907 года *** и пересылка выходивших в России большевистских легальных газет: «Новой жизни», «Волны», «Вперед», «Эхо» из Петрограда, «Борьбы» из Москвы и, наконец, «Пролетария», выходившего нелегально, была поручена, независимо от об'единенной социал-демократической организации, мне лично.

Что касается работы заграничных групп, то она повсюду (и в Льеже тоже) сводилась преимущественно к сбору средств на партию. С этой целью устраивались в снимаемых больших залах вечеринки. В Льеже в 1907 году весною пробовали даже организовать в одном ресторане с большим парком «весенний праздник» в надежде, что на него придет падкая до развлечения бельгийская студенческая публика.

Большое впечатление произвел в 1907 году реферат в «Попюлере» Григория Алексинского, находившегося в зените своей славы. Блистая остроумием, он на узкопартийном собрании очень удачно высмеял лидера льежских меньшевиков Тетяева.

Блестящий Тетяев пробовал было отразить впечатление, произведенное докладом Г. Алексинского и победами большевиков среди рабочих и также на лондонском с'езде.

— Большевикам, — заявил он, — собственно говоря, нечего гордиться своей победой. Если последняя и произошла, то потому лишь, что большевики опустились до меньшевиков.

Воспользовавшись последним неосторожным выражением Тетяева, Алексинский срезал последнего приблизительно следующим насмешливым замечанием:

— Как! — воскликнул он. — Вы ставите так низко свою партию, что говорите, что мы, большевики, опустились до

---

* Романов, Татаринов и Серебряков—члены Государственной думы.

** Гудин, по данным охранки, оказался провокатором.

*** С этого времени переписка с Лениным прекратилась в виду его переезда за границу.

меньшевиков. Если бы я был меньшевиком и находился на вашем месте, то выразился бы, что большевики поднялись до меньшевиков. Так как я ценю больше свою партию, чем вы свою, то я и скажу, что большевики победили потому, что они поднялись в революционной борьбе, а меньшевики потерпели поражение потому, что они на самом деле опустились в оппортунистическое болото. Нужно иметь больше уважения к своей партии, — закончил он при гомерическом смехе аудитории и дружных аплодисментах, в которых принимали участие и меньшевики.

Призывая так высоко ставить партию большевиков, Г. Алексинский, конечно, не ожидал, что он через несколько лет отречется от нее и дойдет в своем падении до того, что превратится в конце-концов в монархиста и, как говорят, румынского шпиона.

Вскоре после от'езда Алексинского в Россию с письмом от последнего приехал в Льеж бежавший за границу член Государственной думы т. Серебряков. Он передал мне просьбу Ленина и Надежды Константиновны устроить его на заводе в качестве рабочего. Так как один студент-меньшевик Рязанов предложил ему готовиться в университет, он отказался от прежней мысли работать на заводе и стал учиться. Ему пришлось проделать колоссальную работу ума. Может быть, от переутомления, но уже на последнем курсе университета он заболел психически.

Пример его и другого члена Государственной думы, большевика Романова, вызвал во мне вопрос, не начать ли мне лично тоже готовиться для поступления в одну из высших школ в Льеже. Даже материальные средства у меня на этот случай нашлись бы *.

После долгого раздумья я сознательно отказался от столь соблазнительной возможности. Поступая так, я никак не ожидал, что революция пойдет такими гигантскими шагами, что ей так скоро понадобятся большевики-инженеры.

Никто из товарищей, живших в это время за границей, не предполагал, что мы доживем до такого огромного счастья, как победоносная революция и решительная победа над буржуазией.

Наоборот, все предвещало после поражения революции 1905—1906 годов наступление длительного периода реакции. Дело революции начинало казаться для многих проигранным если не навсегда, то надолго. Не только ряды мень-

---

* В России находились знакомые, обещавшие поддерживать меня за границей материально при условии, если я начну готовиться в высшую школу.

шевиков, покатившихся в об'ятия столыпинского режима, но даже ряды большевиков дрогнули в это время. От большевиков начали откалываться интеллигентские группки «отзовистов», «ультиматистов», «впередовцев» и, наконец, «примиренцев».

Готовиться в среднюю и высшую школу некоторые рабочие-эмигранты решались не потому, что они ожидали скорого и нового революционного под'ема, а, наоборот, потому, что дело революции казалось им похороненным надолго, если не навсегда. Тот, кто поступал в университет из простых рабочих, тот, как казалось мне, откладывает дело революции в долгий ящик и навсегда отрывает себя от рабочей среды.

Зная подобные примеры, помня «карьеру английского рабочего» у Сиднея Вебба, я твердо решил остаться в рабочей среде.

«Лучше затеряться, — думал я, — в несметной толпе париев современного общества, жить их жизнью, испытывать никогда не прекращающуюся усталость от напряженной работы, носить мозоли на руках, разделять нужду и горе рабочих, безработицу и неуверенность в завтрашнем дне, унижение и грубость со стороны унтер-офицеров капитала и в то же время бороться за освобождение рабочего класса, поднимать рабочих до понимания целей социализма и до борьбы за эти цели. Но остаться в рядах рабочих, отказаться от возможности поступить в университет — значит сжечь за собой все корабли и обречь себя на гибель. Да, на гибель, ибо гордый, непримиримый рабочий, не допускающий компромиссов, идущий всегда впереди масс рабочих, неизбежно обречен на гибель в борьбе».

ДОСТАВКА ОРУЖИЯ

Это было время, когда до Западной Европы доносились еще отголоски громовых ударов русской революции, потрясавших казавшееся одряхлевшим тело буржуазного строя, когда скопившиеся над Россией грозовые тучи в зловещем блеске своих молний разражались небывалыми восстаниями 1905 и 1906 годов, вызывая ужас у буржуазии и прилив надежд и воодушевления в рабочем классе. Под несомненным влиянием русской революции рабочие Австро-Венгрии завоевали всеобщее избирательное право, германские рабочие, как признается Лили Браун, «впервые, невзирая на запреты, вышли на улицы» *. Хотя перепуганная западно-ев-

* Лили Браун. «Роман моей жизни», стр. 314.

ропейская буржуазия по свидетельству той же Л. Браун, в стремлении парализовать влияние русской революции, поспешно строила против нее «плотины», сведения о русской революции проникали в Западную Европу, несмотря на все рогатки. Даже буржуазные газеты принуждены были ежедневно помещать статьи под заголовком: «Русская революция». Симпатии рабочих к ней, несомненно, росли.

Среди бельгийских рабочих революционные бури в России пробуждали глубоко похороненные воспоминания о 1886 годе. Во всеобщих стачках, попытках к восстанию рабочих каменноугольных бассейнов Бельгии этого времени было что-то общее событиям, развертывавшимся в России. Влияние рабочих масс неизменно сказывалось на оппортунистических вождях. «Кто знает, — думали, наверно, они, — кто еще возьмет верх в России. Рабочее движение, размах революции, восстания достигли там такой высоты, так грандиозны, что все возможно». Поэтому некоторые вожди бельгийской рабочей партии оказывали живое содействие в таком деле, от которого в значительной мере зависел успех русской революции, как закупка в Бельгии оружия. К числу их надо отнести Луи-де-Брукера и секретаря Международного социалистического бюро К. Гюисманса. Когда т. «Папаша» * и т. Стомоняков обратились к ним за содействием, они рекомендовали им т. Альфонса Гаспара.

Город Льеж издавна служил международным рынком оружия. Кроме большой «Национальной фабрики», фабрики Пипера в Герстали и других фабрик оружия, в самом городе и во всех окрестных деревнях множество кустарей занято было изготовлением деталей револьверов, ружей всех систем. Кустари работали на скупщиков, фабрикантов, занимавшихся на своих фабриках сборкой частей оружия.

Альфонс Гаспар покупал для нас револьверы системы Браунинга, производившиеся на огромной «Национальной фабрике» в Герстале, пригороде Льежа. Револьвер системы Браунинга предпочитался русскими революционерами благодаря его хорошим качествам, возможности прятать в кармане.

Тов. Стомоняков, по происхождению болгарин, сын купца из города Рущука, представлял собою типичного русского интеллигента с хорошими чертами последнего. Окончив вместе с т. Антоновым-Овсеенко кадетский корпус в Воронеже, учился в Петербурге, в Горном институте. Принужденный покинуть Россию, он очутился в Льеже, где был студен-

---

* Тов. Литвинов.

том электротехнического отделения Льежского университета. В Льеже, выделяясь среди льежских большевиков, в 1906 году он играл среди них руководящую роль. Трудно было в это время, наблюдая его, представить себе человека более, чем он, преданного интересам революции. Даже многочисленные в Льеже студенты-меньшевики питали к нему глубокое уважение за эти его качества. Доказательством этого является Турпаев, который, оставаясь меньшевиком, тем не менее из личных симпатий к т. Стомонякову принимал самое близкое участие в закупках большевиками в Льеже оружия для русской революции.

Конечно, т. Стомоняков, не получая сам за свою работу для революции не только никакого вознаграждения, но даже тратя на закупку оружия свои личные деньги, никак не мог себе представить, чтобы мог найтись какой-либо человек, который стал бы получать за подобные услуги себе лично вознаграждение, хотя и маленькое.

Каково же было его негодование, когда он вдруг узнал, что на самом деле рекомендованный Международным социалистическим бюро льежский социалист А. Гаспар берет себе за услуги вознаграждение — комиссионные!

Установил он этот факт случайно, познакомившись с немецким купцом-оружейником, жившим в Льеже, который взялся доставать для нас браунинги с той же фабрики в Герстале, но по цене более дешевой.

Немедленно порвав с А. Гаспаром все сношения, он начал закупать оружие у вышеупомянутого немецкого купца. Что касается А. Гаспара, то на него т. Стомоняков подал формальную жалобу в Международное социалистическое бюро секретарю последнего К. Гюисмансу.

Ведя дело закупки оружия исключительно через купца Шредера, Стомоняков так рьяно выторговывал каждый сантим, что постоянно приводил в настоящее изумление немецкого купца.

— Я не понимаю, — говорил он т. Стомонякову, — почему вы так стараетесь для русской революции. Ничего еще не было бы удивительного, если бы вы были русский по происхождению. Но ведь вы-то не русский, вы — болгарин!

Уезжая в конце 1906 года в Россию на подпольную работу, т. Стомоняков передал мне руководство делом по закупке оружия в Бельгии. Ему в это время не по душе была буржуазная Западная Европа. Он недолюбливал и бельгийцев за мещанство, и его неудержимо, как многих русских революционеров, бежавших за границу, потянуло снова окунуться в русское революционное движение. Он уехал. Все понимали, что он направился на революционную подпольную

работу в очень тяжелое время, когда поднявшиеся в 1905 году очень высоко волны революционного моря уже спадали, когда понижалось в массах революционное воодушевление, когда правительство дошло до такой наглости, что решилось начать суд над советом рабочих депутатов. Отъезд в такое время еще более поднял его личность в глазах оставшихся в Бельгии товарищей.

Несмотря на начавшийся уже в России период реакции, потребность в вооружении революционных рабочих дружин для будущих боев не только не ослабевала, но даже усиливалась. «Папаша», на котором лежала обязанность главного руководства в Западной Европе делом закупки и отправки оружия в Россию, задумывал поставить дело это на более широкую ногу. Между тем, западно-европейская буржуазия, особенно под давлением царского правительства, косо смотрела на его конспиративную деятельность. После знаменитой тифлисской экспроприации, исполненной мужественным товарищем Камо, он, после, ареста в Париже, принужден был перебраться в Англию. Временами он приезжал в Бельгию и заглядывал к нам в Льеж. К Англии он, судя по его письмам, долго не мог привыкнуть. Там он задыхался от множества устарелых, никому не нужных условностей, английской чопорности и английского лицемерия. Даже пропитанная мещанством католическая Бельгия казалась ему в эти приезды раем по сравнению с владычицей морей — Англией. Однажды он, насколько я помню, после квирильской или кутаисской экспроприации, приехал вместе с тов. Камо *.

Они пришли к нам днем, когда я находился еще на заводе. Так как я лично для заработка принужден был ежедневно уходить рано утром на работу к токарному станку на заводе, где проводил весь день, фактически все дело закупки оружия лежало на Лизе и Петре Ивановиче Турпаеве.

Лиза исполняла все обязанности секретаря и кассира, вела всю переписку с «Папашей». На ней лежала, таким образом, вся подготовительная работа по закупке оружия. Тов. Турпаев держал непосредственную связь с вышеупомянутым купцом, немцем Шредером.

Вечером, когда часам к восьми я возвращался с работы, переодевался, умывался и садился ужинать, к нам приходил т. Турпаев. Мы подводили итоги сделанному и наме-

* Квирильская экспроприация имела место в 1906 году, а кутаисская и тифлисская экспроприации — в течение первой половины 1907 года. Тов. Камо заезжал в Льеж в сентябре 1907 года под фамилией Мирского.

чали план для следующих закупок оружия, поскольку на него приходило требование от «Папаши».

Для большего удобства и безопасности Лиза положила партийные деньги (до 3 000 бельгийских франков) в сберегательную кассу. Однажды вечером мы решили, чтобы она на другой же день вынула из сберегательной кассы довольно большую сумму денег, около тысячи франков, для передачи т. Турпаеву, который должен был их отнести купцу Шредеру. Вернувшись, как всегда, уже вечером домой, я застал ее обеспокоенной.

— Вообрази, — сказала она мне, — какие дурацкие законы в Бельгии *. Мне не выдали денег. «Почему, — спрашиваю, — не выдаете? Деньги ведь мои». — «А потому, говорят, — мадам, что вы, как замужняя женщина, по бельгийским законам, имеете право без разрешения мужа, если не сделана на этот счет особая оговорка в брачном контракте, получить из денег, положенных на ваше же имя и вами лично, лишь сто франков. На сумму большую, по закону, вы должны пред'явить разрешение от вашего мужа». Теперь ты должен написать мне на французском языке это разрешение, и только с ним в руках я получу завтра требуемую сумму.

— Как это ни странно, — заметил на это т. Турпаев, — в конституционной Бельгии, где существует парламент, широкая политическая свобода, женщина в большей материальной зависимости по закону, чем в бесправной России.

На этот счет т. Коллонтай приводит в своих произведениях достаточно данных о положении женщины в Западной Европе, особенно в католических странах, как Бельгия, Италия и Испания, где женщина находится в умственной кабале у попа и в экономической зависимости от отца, а когда она выходит замуж — от мужа.

Я подписал составленное и написанное Лизой разрешение на получение требуемой суммы денег. Только на другой после этого день Лиза могла передать их т. Турпаеву.

В день, когда «Папаша» приехал к нам вместе с т. Камо, со мной на заводе произошел несчастный случай, который на языке капиталистической фабричной администрации назывался «происшедшим по собственной неосторожности рабочего».

Все усиливая темп работы на токарном станке, чтобы довести производительность труда с 14 штук до 60, как мне писал мой хозяин, социалист Оливье, я к вечеру всегда очень уставал от усиленной работы. У чрезмерно утомлен-

* См. Вандервельде и Дестре. «Социализм в Бельгии», стр. 218 — 220.

ного рабочего мысль не всегда господствует над его движениями, которые он совершает уже машинально. То же случилось со мной. Останавливая станок, я не заметил, что ремень на передаче не вполне сошел с рабочего шкива на холостой. Мое внимание было также в это время отвлечено ссорой одного токаря с Оливье.

— Уходите вон из мастерской! — кричал хозяин.—Мне не нужны такие токаря, как вы, которые портят работу.

— Вы дурак! — кричал на него горбоносый токарь-валлонец. — Я имею право отжить у вас еще шесть дней. Я сам не останусь в вашей грязной лавочке. Заплатите мне в таком случае за неделю жалованье, если не хотите, чтобы я отживал у вас неделю, полагающуюся по закону.

В то время как взоры всех, и мои в том числе, обернулись в сторону споривших, ремень пришел в движение. Мой станок, тронувшись с места, заставил двухаршинный вороток, надетый на квадрат метчика, ввернутого в центре станка, описать в воздухе дугу. Сделав на быстром ходу полоборота, этот вороток своим концом вдруг с такой ужасной, как мне показалось, силой ударил меня в грудь, что я едва удержался на ногах. Удар был настолько сильным, что мне показалось, что затрещала грудная клетка. У меня потемнело в глазах. Меня тотчас охватила страшная слабость. Я ощущал сильнейшую боль в груди. Холодный пот выступил у меня на голове и на лице. Чтобы не упасть, я принужден был схватиться за маховик задней бабки станка.

Так как внимание всех было отвлечено спорившими, никто не заметил происшедшего. С большим трудом дотянув до вечера, я вернулся домой до такой степени ослабевшим, что при всем моем желании не мог быть в такой степени внимательным к тому, о чем говорил «Папаша», т. Камо и Лиза. Стараясь их слушать, я ловил себя, между тем, ежеминутно на том, что против воли и желания от охватившего меня сильного изнурения я засыпал и клевал носом.

Тов. Камо, никогда не работавший на бельгийских заводах, не был осведомлен, очевидно, что усталость — обычное состояние бельгийского рабочего, когда он возвращается вечером домой.

Поэтому, вероятно, он, видя, что я очень невнимателен к беседе, со свойственной ему резкостью сказал:

— Какой смысл старым калошам, старым революционерам доживать до такой степени инвалидности! Смотрите, — обратился он к «Папаше», — мы заняты обсуждением таких важных дел, касающихся революции, а он не в силах

побороть в себе сонливость. Это позор! Я никогда бы не довел себя до такого жалкого состояния.

— Что же мне, по-вашему, делать? — спросил я.

— Если бы я попал в такое положение, я, пожалуй, сказал бы себе, что не стоит влачить жалкое существование...

Тов. Камо уехал, не узнав истинной причины моей усталости *.

Доставка оружия продолжалась недолго после от'езда т. Камо из Льежа. Ее не прекращали, пока таилась надежда на новый революционный под'ем масс в России. Она закончилась вследствие провокации, повидимому, д-ра Житомирского, которая повлекла за собой гибель на Черном море груженого оружием судна и арест 11 сентября 1907 года в Берлине т. Камо.

Что касается Альфонса Гаспара, на которого т. Стомоняков подал жалобу в Международное социалистическое бюро по обвинению в получении комиссионных за участие в покупке оружия на «Национальной фабрике» в Герстале, дело его было передано на мое усмотрение, и он сделался предметом долгого изучения с моей стороны. Чем дольше шло время, тем больше я приходил к заключению, что польза, приносимая его участием в бельгийском марксистском движении, неизмеримо больше, чем предполагали, когда т. Стомоняков возбудил вопрос об его отстранении. Получение им вознаграждения за участие в доставке оружия с точки зрения нравов и обычаев бельгийской социалистической среды, где работники кооперации, секретари профсоюзов, редакторы газет получали определенное жалованье, не представляло ничего особенно предосудительного. Приняв все это во внимание, я не мог решиться при таких условиях довести это дело до конца и ограничился лишь тем, что, воспользовавшись приездом в Льеж одного из видных большевиков того времени, Григория Алексинского, когда еще и малейшего подозрения у меня не могло быть в его изменнической роли, передал все документы по делу А. Гаспара с моей об'яснительной запиской через Г. Алексинского т. Ленину. К сожалению, повидимому, Алексинский эти документы не передал по назначению.

---

* Более подробные сведения о тов. Камо дает брошюрка Софьи Васильевны Медведевой «Герой революции товарищ Камо».

1886 ГОД В БЕЛЬГИИ

В прошлом рабочего класса почти каждой страны можно найти дни, недели, месяцы его пробуждения, под'ема, проявления революционного энтузиазма, боевого крещения и кровавых жертв. Эпоха чартизма в Англии, восстание ткачей в Лионе в 1831 году и Парижская коммуна, революция 1905 года в России, восстание спартаковцев в Германии, английская забастовка горняков в 1926 г. и т. п. — все это события в жизни пролетариата чрезвычайной важности, на которых наша партия учит рабочий класс избегать ошибок, чтобы тем вернее победить буржуазию.

В жизни бельгийских рабочих можно тоже найти славные дни, когда терпению рабочего класса наступал конец и когда он поднимался, как море, грозя в своем справедливом гневе затопить старый мир. Такими днями, когда в Бельгии стихийно зарождалось огромное стачечное движение, превращавшееся в восстание, безусловно, надо считать 1886 год.

В этом году, говорит бельгийский социалист Луи Бертран *, мы «видели схватки пресыщенных с угнетенными, тех, которые управляют в своих интересах, с теми, которые требуют своей доли в социальных благах. У нас были беспорядки, наши дворцы пылали, наши заводы подвергались разрушению. Мы видели буржуазию обезумевшей, угнетенных доведенных до ярости, страну перевернутой вверх дном. Буржуазия перепугалась. Ее власть, сильно потрясенная в своих основах, была передана генералу, не знавшему пощады. Тогда бельгийские пули поражали бельгийцев же. И мы видели слезы. До наших ушей доносился зубовный скрежет, крики ненависти и гнева».

«1886 год отмечен преимущественно пробуждением нашего народа. Народные массы, слишком долго спавшие, погруженные в преступное безразличие, возвысили тогда свой голос. Повсюду страдающие организуются, требуют своих прав и занимаются своими интересами. Повсюду они требуют справедливости и работают над улучшением своей участи. Всюду в стране рабочие бросаются в стачки, ходят группами с красными знаменами. Раздаются крики: «Да здравствует республика!» и слышится пение «Марсельезы». Рабочие поднимаются, требуют справедливости, повышения заработной платы, ограничения законом рабочего дня, из'ятия рабочей книжки из рук хозяина и передачи ее самому рабочему» **.

* Louis Bertrand. «La Belgique en 1886», p. 1.
** Там же, стр. 106.

Таков был 1886 год в описании самих бельгийских социалистов. Но как воспоминания о бунте Емельяна Пугачева среди русских крестьян до революции 1905 года, так и эта эпоха 1886 года стараниями буржуазии, при молчаливом содействии верхушки бельгийского социализма, была во время моей жизни в Бельгии почти стерта из памяти рабочих. Как капиталисты, так и социалисты, погрязшие в болоте оппортунизма, проявили трогательную солидарность в замалчивании этих полных трагизма и героизма дней революционной борьбы бельгийских рабочих. К стыду своему, бельгийская рабочая партия в эти дни проявила преступное равнодушие к этой борьбе рабочих. В эти дни колоссальной борьбы она не только не руководила борьбой, — она оставалась в роли простой зрительницы. Поэтому бельгийские социалисты предпочитали проходить молча мимо этих дней, не будя воспоминаний о них, не организуя демонстраций на могилы расстрелянных.

Только русская революция, как сильная буря, ворочающая камни на дне моря, пробудила похороненные, как эти камни в глубине морской, в памяти рабочих воспоминания о страшном для буржуазии 1886 годе *.

Так, однажды, когда мы с И. И. Лазаревичем и его знакомыми бельгийскими и русскими рабочими осматривали в окрестностях Жупиля, в коммуне Сэйфе, развалины средневекового замка с сохранившимися страшными подземными тюрьмами ** в виде глубоких колодцев, куда заключенного опускали на веревке, и, случалось, забывали, один из рабочих, ужаснувшись при виде этой тюрьмы, произнес:

— Как это было ужасно! Хорошо, что это время безвозвратно прошло. Теперь в маленькой Бельгии всегда спокойно... Только у вас в России, — обратился он к нам, — где вспыхивают революции и восстания, бросают людей в тюрьмы, быть может, такие же ужасные, как и эта яма.

— Ошибаетесь, — возразил другой рабочий. — У нас не всегда было спокойно, как вы говорите. В нашей стране тоже были жаркие дни. Достаточно вспомнить 1886 год.

— Расскажите о 1886 годе, — обратились к нему присутствовавшие русские рабочие.

Он начал рассказывать о стачке, переливавшейся с завода на завод, с рудника на рудник, о толпах рабочих, пе-

---

* Де-Ман и де-Брукер в книжке «Рабочее движение в Бельгии» (стр. 100) говорят, что бельгийские рабочие должны гордиться тем, что они в своем прошлом первые на деле осуществили идею массовой стачки.

** Подобные тюрьмы, называемые «ублиет» («oubliette»), описаны в повести французского писателя Виктора Гюго «93-й год».

реходивших с фабрики на фабрику, с шахты на шахту и всюду снимавших еще работавших пролетариев. В его простом рассказе это движение увеличивалось, росло непрерывно, как снежный ком, превращавшийся в грозную для капиталистов лавину, захватывало всех.

К несчастью, рабочие, предоставленные самим себе, взяли неверное направление. Они обрушили свою ярость на заводы и квартиры особо ненавистных для них капиталистов.

«Этот рассказ, эти события еще раз подтверждают мнение Ленина, что сознание приходит в рабочую среду извне, что рабочие, предоставленные самим себе, не в силах разобраться в сложной, запутанной обстановке, которая их окружает», — думал я.

— Хотите, расскажу, кто спас завод и квартиру моего хозяина Бэра в Склесене? — сказал старик Лазаревич.

— Кто же это? Расскажите. Наверно, какой-нибудь офицер, подоспевший с отрядом войск, — сказал Ф. Реми.

— Ничего подобного. Простой бродяга. Это мне рассказывал старик-инженер. «В январе 1886 года, — говорил он, — это было. Стояла зима. Было на редкость холодно. Мёз покрывалась льдом. Однажды утром пришел к хозяину, мосье Бэру, этот бродяга в поношенном пиджачишке. Посинел от холода, трясется и просит разрешения обойти рабочих «с шапкой» — сбор сделать в свою пользу. Хозяин, узнав, что он по ремеслу литейщик, предложил ему начать у него на заводе работать. Проработал он до весны и всего за неделю до стачки ушел. «Тепло, — говорил он, — настало. На волю пора!..». Ну, вот, когда началось все это, екнуло сердце у многих инженеров. Слышим: толпы рабочих по улице мимо конторы проходят. Шум, возбуждение, крики. Вот однажды слышим: прямо к нашему заводу движется огромная толпа. «Ну, — говорят инженеры, — табак наше дело. Хозяина давно и след простыл. Ищи ветра в поле. За нас примутся». «Останавливай машины! — слышим, кричат забастовщики. — Бросай работу!». Ну, рабочие как-будто этого только и ждали. Остановили станки, потушили котлы и тотчас присоединились к ждавшей их на улице перед заводом толпе. Толпа зашумела еще больше. Кто-то из нее уже бросил первый камень в наше окно. Выглянули мы — и глазам своим не верим. Толпой командует как раз тот самый бродяга, который у нас работал. Вспомнил, он, очевидно, что к нему здесь отнеслись хорошо, заколебался, раздумье набежало на лицо. «Стой! — слышим, кричит. — Не трогай! Здесь хороший хозяин. Идем дальше, чорт бы побрал этих

капиталистов! Долой их!» «Долой! Долой!» — закричала толпа и понеслась по улице дальше. Мы были спасены».

— Революционная толпа всегда справедлива, — заметил один русский рабочий.

Рассказы о 1886 годе, знакомство с прошлым бельгийского рабочего движения все более убеждали меня, что не рабочие виноваты в том застое в партийной жизни, в том все увеличивающемся буржуазном влиянии, какое замечалось в стране. Рабочие промышленных районов сделали все, что могли, чтобы выступить на арену непримиримой борьбы с капиталом. Представители валлонских рабочих вели борьбу с умеренным крылом «Рабочей партии» на III партийном с'езде 1887 г. в Дампреми, наконец, валлонцы откололись и основали «республиканско-социалистическую» партию. В своей газете «Бельгийская республика» они подвергали жестокой критике умеренность газеты «Le peuple» вообще «Рабочей партии». Они упрекали правое крыло бельгийского социализма в том, что оно приносит в жертву «меркантильным заботам о кооперативах» революционный пыл бельгийских рабочих.

На помощь «рабочей партии» в этой борьбе пришли правительство и полиция. Первое издало приказ об аресте большинства вождей «республиканско-социалистической» партии в момент, когда об'явленная последней забастовка стала разрастаться и охватывать каменноугольные бассейны страны, когда сочувствие стачке росло и среди фламандских рабочих. Полиция насадила со своей стороны провокацию и устраивала динамитные взрывы, чтобы спровоцировать движение на эксцессы и дать повод войскам вмешаться.

Вандервельде говорит, что аресты вождей и рабочих и судебные процессы имели «благотворные последствия» *, в том смысле, что линия «Рабочей партии» взяла верх на конгрессе в Лувене в 1890 году. Кооператоры, «булочники», как их назвал в свое время Г. В. Плеханов, победили революционеров, которые, к сожалению, не были марксистами. Тщетно вождь их де-Фюиссо старался провести на конгрессе название партии «республиканско-социалистической»; большинство с'езда под влиянием письма д-ра де-Папа пошло за умеренным крылом партии. Последнее с этого времени взяло окончательно верх в бельгийском рабочем движении.

---

* Вандервельде и Дестре — «Социализм в Бельгии», стр. 91.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В БЕЛЬГИИ

— Мы не можем вас принять на нашу фабрику, — заявили мне на большой фабрике в Герстале («Национальная фабрика оружия и автомобилей»), — вам уже перевалило за сорок лет. Верно это?

— Да, верно!

— Ну, вот, вы слишком стары для нашей фабрики. Как на всех крупных фабриках и заводах, так и у нас установлено правило принимать новых рабочих не старше сорока лет от роду. Поняли?

— Понял! Значит для меня потеряна всякая надежда получить работу у вас? До свиданья...

— До свиданья... Поищите работу на мелких и средних предприятиях. Там вас примут на работу...

В поисках работы я переехал в Брюссель. В этом городе, где бельгийская буржуазия старается во всем подражать французской, я прожил не менее десяти дней. Я нигде не мог найти работы. К счастью, я нашел приют и ночлег у т. Слободского, друга Г. В. Плеханова. Помощь Бака, секретаря союза металлистов в Брюсселе, и Кочетковой не привели ни к чему. Получив вскоре письмо от Ивана Ивановича Лазаревича, что работу можно найти в Льеже, я снова направился туда.

Возвращение в этот город означало для меня победу надо мной той стихии в виде капитализма, которая со своими промышленными кризисами, с армией безработных, с гнетом и нищетой, заставляющей женщин превращаться в проституток, держит в своих лапах рабочего и заставляет его выносить жалкую участь раба капитала.

«Что, вернулся! — как бы насмешливо говорили мне мрачные, закопченные стены завода Жюля и Жозефа Девандра на Жупильской дороге, № 190, между Жупилем и Брессу, в местечке Тру-Лует-Брессу, где я нашел работу. — Попрыгал, поершился там, в Брюсселе, да опять сюда. Ну, мы теперь тебе покажем», — как бы говорили они.

«Один вид этих мрачных зданий, труб, извергающих клубы черного дыма, — думал я дождливыми ноябрьскими утрами, подходя к заводу, совершив длинный переезд из Льежа, где я жил, на набережной де-ла-Боври, — должен бы заставить рабочих, проводящих за этими закопченными, гнетущими стенами всю свою жизнь, задуматься о своем тяжелом положении».

Но, наоборот, веселый смех, который слышался из толпы подходивших к заводу рабочих, их скабрезные шутки

над женщинами, которыми они обычно обменивались, говорили о другом. Буржуазия заботливо следила, чтобы мрачное настроение не охватывало рабочего. Еще со школьной скамьи его приучали, что он должен хранить бодрое, веселое состояние духа. Среди рабочих ходила поговорка: «Не думай о болезни, о смерти и храни всегда бодрое настроение». Многочисленные кафе, фритюрни, танцовальные залы с надписями «бал» ждали рабочего по выходе из завода. Многие, не успев одуматься, попадали в ослепляющую и оглушающую обстановку народного бала, где, встретив свою девушку или какая подвернулась, немедленно начинали кружиться под звуки оркестра и забывались в танцах. «Веселиться!» — этот странный для пролетария, которому всегда грозит безработица и ужасы нищеты, лозунг был брошен буржуазией с успехом в рабочую среду.

— Как вы проводите время? — спрашивал я своего соседа на заводе, молодого токаря.

— Как я провожу время? — отвечал он. — Я веселюсь в кафе, где весь вечер играю в карты, в кегли и танцую.

— А она? — еще раз спросил я, указывая на проходившую мимо нас молодую работницу.

— Она? — ответил он. — Она крутит любовь, веселится с Генрихом, вон с тем, — указал он мне на одного рабочего.

Рабочие, приходившие в завод с тартинками, завернутыми в черную клеенку, которую они обыкновенно держали подмышкой, не склонны были обращать особое внимание на мрачные стороны заводской жизни или, поскольку они их замечали, досадливо от них отмахивались. Подражая во всем буржуазии в том худшем, в которое их ежедневно толкала суровая действительность, они учились находить свои хорошие стороны и старались от жизни, как бы сурова она ни была, взять как можно больше. Эта система воспитания отчасти походила на казарменную, где солдату постоянно говорят: «Не вешать голову! Смотри веселей, хотя бы у тебя на сердце кошки скребли».

Еще несколько лет, прожитые в Льеже на положении рабочего, переполнили чашу терпения как мою, так в особенности Лизы.

— Уедем из Бельгии, — все чаще начинала она мне говорить. — Даже «Колченогий» (токарь Плеханов) не вытерпел и уехал во Францию, а мы с тобой все живем в этой дыре.

— Удивительная страна, — продолжала она. — Здесь на ряду с самым высоким прогрессом в науке и промышленности мирно ухитряется уживаться самая отсталая, средне-

вековая католическая идеология. В одной части страны здесь расположены умственные центры, высоко-промышленные и торговые города, в другой — здесь неожиданно наталкиваешься на города «мертвые», как Брюгге. С одной стороны университеты, наука, прогресс, которыми так гордятся бельгийцы, и с другой — всесильная католическая церковь, умудряющаяся держать в своих тисках умы большинства населения, католическая церковь, которая жаждет возвращения времен инквизиции. Тоска здесь. Уедем в Париж. Там, когда сделается грустно, выйдешь на улицу, человеческая волна тотчас подхватит тебя, и ты идешь, идешь, пока не рассеется тоска... Здесь же, куда ни выйдешь, всюду навалены горы шлака, везде видны трубы каменноугольных шахт, наводящие тоску, напоминающие о тяжелом положении рабочих...

Слушая Лизу, я сам все более начинал приходить к мысли, что необходимо уехать из Бельгии, из этого, по выражению К. Маркса, рая капиталистов *.

Как пример несознательности и сохранившихся своеобразных патриархальных отношений между рабочими и хозяевами в Бельгии, которым, впрочем, наступал конец, т. Гаспар рассказывал о случаях, когда к нему приходили старые рабочие и задавали такой наивный вопрос: «Имеет ли право хозяин в Бельгии рассчитать рабочего после того, как он проработал у него лет 30—40 под ряд, не уходя с завода?». Оказывалось, что целые поколения рабочих в Бельгии вырастали и до самой глубокой старости жили, опутанные тонкой паутиной ложного представления о буржуазном обществе. Но каким-то трагизмом веяло от такого рабочего, который лишь в возрасте 60 лет, после того, как хозяин, к его удивлению, выбрасывал его, как изношенный башмак, на улицу, приходил к секретарю социалистической организации и задавал вышеприведенный вопрос. Как утопающий, он хватался за последнюю соломинку. Он надеялся еще, что социалистическая организация заставит хозяина снова принять его на работу. Только когда он терял последнюю надежду, он уходил от Гаспара с горьким раскаянием, что не посвятил своей молодости, своих лучших годов борьбе за освобождение рабочего класса.

Бельгийские марксисты пытались, как видно из приложенного ниже письма ко мне т. Гаспара, вызывать более или менее непримиримую классовую борьбу среди бельгийских рабочих. Они надеялись использовать германский опыт, а частично и русский. Свою организацию, по примеру русских

---

* К. Маркс. «Капитал», т. I, стр. 635.

товарищей, они начали строить на самых фабриках, основывая на самых предприятиях группы организованных рабочих, во главе которых стояли «секционеры», собиравшие взносы на самом заводе. Подражание русским выразилось между прочим в распространении воззваний к рабочим по русскому способу, отличавшемуся только тем, что их не разбрасывали, а прямо раздавали у ворот. Оживление работы сказалось на создании в Льежской провинции целых пяти социалистических школ. Организация, ютившаяся доселе преимущественно на мелких и средних предприятиях, впервые за все время существования бельгийской рабочей партии начала проникать на такие крупные заводы, как завод Кокериля и Угре-Машиней. Число организованных металлистов в Льежском округе из нескольких сот в 1906 году возросло до 11 тысяч в 1912 году *. Стачечное движение, охватывавшее все большее число заводов, сначала литейных, начало перекидываться и на другие предприятия и на шахты.

В числе вождей партии появился марксист де-Ман. Но когда «Рабочая партия», всегда срывавшая стачки бельгийских рабочих, стала и на этот раз на пути стачечному движению рабочих, де-Брукер и де-Ман, в свою очередь мало помалу опять перешли на точку зрения Вандервельде, Анселя, Бертрана, Трокле.

Насколько пагубна оказалась тактика бельгийского социализма, видно из того, что даже в 1923 году дать всеобщее избирательное право бельгийской женщине было более выгодным для католиков, чем для бельгийских социалистов, на своем конгрессе 1923 года опасавшихся, что распространение всеобщего избирательного права на женскую половину страны усилит католиков и, наоборот, ослабит социалистов. Женщина в Бельгии, находящаяся в руках католического духовенства, стала бы голосовать за католиков.

Чем дольше жил я в Бельгии, тем более я начинал чувствовать, что я превращаюсь в того рабочего, который изображен К. Менье. Усталость начала все сильнее охватывать и меня.

Ежедневно на работе я с известной долей ужаса смотрел на некоторых рабочих, превращавшихся в инвалидов. Сгорбленные фигуры, ввалившиеся щеки, потухающие глаза, рот без зубов, искривленные от ревматизма пальцы — все говорило, что тяжелым трудом зарабатывал свой хлеб человек. Таким был реглер Гийом. Он сам чувствует, что его держат лишь из милости.

* Организация металлистов в Льежской провинции Бельгии, судя по письму ее секретаря Рожистера, насчитывала в 1927 году 30 000 членов.

Однажды я увидел, как вели под руки т. Клобека, одного из лучших социалистов на патронном заводе. Он пришел на работу здоровый, веселый. Одно неосторожное движение — и машина, которую он регулировал, раздробила ему челюсть.

— Что будут он и Гийом делать, когда их прогонят, как инвалидов, с завода? — спросил я соседа.

— Да что? Придется ему, видно, взять шарманку *.

— Нет!.. Пора уезжать, — решил я, выходя из завода и слыша, как выгнанные из заводов старые рабочие выпрашивают милостыню с шарманкой, издающей заунывные звуки.— Права Лиза. Надо уезжать. «Хочь гирше, та инше...»

В ПАРИЖ!

Когда прекратилась доставка из Бельгии оружия для русской революции, жизнь в этой стране низкой заработной платы и сильной эксплоатации рабочих потеряла для меня смысл. Каждый день по своей безотрадности и безвыходности ничем не отличался от другого. Я стал задыхаться в Бельгии. В то время, когда я искал выхода из создавшегося положения, я получил письмо от т. Я. Кяншив.

Чрезвычайно симпатичный юноша, член нашей партии, он находил удовольствие в оказании помощи нуждающимся товарищам, на что тратил довольно большие суммы денег, получаемые от отца, банкира одного из губернских городов северо-запада России.

С нами он находился в дружеских отношениях, и до переезда его из Льежа в Париж он проводил у нас целые дни.

«Приезжайте, — писал он мне. — Я организую коммуну из безработных товарищей. Для вас место найдется. Поживете у нас в коммуне и работу тем временем подыщете. Только непременно привезите два фунта русского табаку и пачку бельгийских спичек. Русского табаку во Франции и с огнем не сыщешь, а спички понадобятся безработным. Это удовольствие для нас вам не составит труда сделать, ибо осмотр на границе, как я убедился, самый поверхностный».

Укладывая мои вещи в две корзинки, в одну из них Лиза спрятала табак. Эту корзину я должен был сдать в багаж. В другую она уложила большую пачку спичек **. Ее я должен был взять с собой.

---

* По воскресеньям особенно поражает в Бельгии заунывный звук маленькой шарманки, с которой нищие просят милостыню, обходя закон, запрещающий нищенство.

** Спички английского происхождения, ввозившиеся в Бельгию беспошлинно, продавались там по цене в десять раз низшей, чем во Франции, где существовала табачная и спичечная государственная монополия.

При виде последней, занявшей много места в моей маленькой корзинке, сознавая, что спички очень легко было открыть, я запротестовал. Присутствовавшие при упаковке русские студенты стали меня уверять, что мои опасения совершенно напрасны, так как, по их словам, на французской границе осмотр вещей самый поверхностный.

— Слышишь, — сказала мне на это Лиза, — вот и товарищи подтверждают, что бояться тебе таможенного осмотра нечего. Если ты не хочешь лишить товарищей в Париже удовольствия полакомиться русским табаком и предоставить им возможность пользоваться дешевыми спичками, ты возьмешь и то и другое.

— Конечно, товарищ, вам нечего опасаться, — подтвердил еще раз один из студентов. — Вы думаете, что все делается, как в России? Здесь Западная Европа!

— Европа-то Европа, — заметил я, — а тюрьмы-то, несмотря на свободу, огорожены стенами в пять-шесть раз повыше наших. Но так и быть: раз вы все, переезжавшие не раз границы, уверяете, что мои опасения навеяны воспоминаниями о русских порядках, я беру эти спички.

— Без всякого сомнения. Даже вам не придется из вагона выходить: таможенные чиновники у французов проходят сами по вагонам. На такие пустяки, как немного спичек, здесь никто не обращает внимания. В Западной Европе крохоборством не занимаются, — уверял меня другой студент.— Если у вас немного вещей и если вы скажете, что у вас ничего нет запрещенного к провозу, они пройдут мимо.

Под влиянием всех этих уверений я, приближаясь к французской границе, даже не запер корзину на случай, если ее придется выносить из вагона. Мне показалось даже странным, что сидевший со мной в купе немец проговорил с известным выражением страха: «Zollrevision» *. Я только тогда пришел в себя, когда услышал громкий крик кондуктора: «Tout le monde descend!» **.

Тотчас во мне зародилось смутное подозрение, что что-то неладно. «Не лучше ли выбросить эти спички?»

Но было уже поздно. Надо мной стоял кондуктор и с сердцем говорил:

— Скорее! Скорее! Что вы, спать здесь собрались? Я сказал, что все здесь выходят без исключений. Не задерживайте поезд!

«Как быть? — думал я, дотащив, наконец, мои корзинки до помещения французской пограничной таможни и подходя

---

* Таможенный осмотр.

** Все из вагонов!

к прилавку, за которым жандармы осматривали содержимое многочисленных чемоданов и корзин. — Сказать ему, что у меня спички или не сказать? Посмотрю, — решил я. — Если замечу, что у соседей он осматривает внимательно и серьезно, тогда скажу. Если — наоборот, тогда не для чего...»

Я пришел к такому решению еще и потому, что привык в лице жандармов всех национальностей видеть врагов, обмануть которых я считал делом вполне достойным революционера, особенно, если от этого выигрывала революция или отдельные товарищи, как было в этом случае.

«Обмануть, или не обманывать pandor'a*?» — думал я, отворяя свою корзину и внимательно наблюдая в то же время, как осматривает жандарм вещи у соседней со мной женщины. — «Обмануть!» — решил я при виде того, что осмотр вещей у последней был произведен самым поверхностным образом.

Жандарм, между тем, оставив мою соседку, подошел к моим вещам.

— Есть что-нибудь у вас из запрещенных к провозу через границу вещей для заявления? — спросил он.

— Нет, — ответил я, помня наказ товарищей, как отвечать при осмотре вещей.

— Откройте корзину, — заявил жандарм.

Как только я открыл ее, жандарм совершенно неожиданно для меня тотчас запустил руку в глубь корзины.

— Это что такое? — закричал он, вытаскивая пачку со спичками, которые Лиза заботливо завязала в одеяло.

При виде всего происшедшего я не мог вымолвить ни слова.

«Как будто он знал, проклятый жандарм! — не выходила у меня из головы мысль. — Так сразу, прежде чем я успел опомниться и сообразить что-нибудь, он сунул руку как раз в то место, где лежали спички. Тьфу ты! Чорт бы меня побрал, какое наиглупейшее положение».

Чувствуя, что на меня обращены взоры всех пассажиров, я испытывал желание провалиться сквозь землю. В глазах жандармов и всей публики я не заслуживал никакого снисхождения. Я заметил презрительные улыбки и смех. На меня указывали пальцами.

— Контрабандиста поймали, — услышал я на русском языке говоривших неподалеку от меня двух молодых женщин. — Сколько всяких мошенников и бездельников этих развелось! Подальше от него, Аннет!

«Этого еще недоставало, — приходила мне в голову

---

* Pandor — жандарм.

мысль. — Испытать из-за глупых спичек оскорбительное обращение, как к какому-нибудь вору или карманнику. Глупее положения трудно себе представить!»

— Платите штраф, — услышал от старшего. — Восемьдесят франков.

— Восемьдесят франков! — вскричал я. — Да это такая огромная сумма для меня, какую я никак не в состоянии выплатить. У меня в кармане всего-навсего шесть франков.

— Вы куда едете? — спросил меня старший.

— В Париж, — ответил я.

— И вы направляетесь туда с такой малой суммой денег? Если нет денег, придется вас арестовать и посадить в тюрьму.

— Это дело ваше. Я вам говорю, что у меня всего-навсего шесть франков.

— Арестуйте его! — отдал распоряжение старший.

— Забирайте ваши вещи и за нами! — скомандовал один из жандармов.

Меня повели в крошечную комнату при станции. За мной заперли дверь. Громко при этом щелкнул замок и уныло отдался в моей душе...

Я сел на корзину. День склонялся к вечеру. Я предался горьким размышлениям насчет превратности судьбы.

«Значит, правильно говорит русская пословица, что «от сумы да от тюрьмы не зарекайся». В свободной Западной Европе — и вдруг в тюрьму...»

Вдруг снова щелкнул дверной замок, отворилась дверь, и на пороге ее показался тот самый жандарм, который нашел в моей корзине спички. Он потребовал от меня бумаги и подверг меня настоящему допросу. Выяснив, что я — русский рабочий, политический эмигрант, вчера только получивший с бельгийского завода расчет и едущий в Париж, не имея в виду никакого заранее обеспеченного места, а просто наобум, «куда кривая вывезет», поняв также, что спички я взял отнюдь не с целью контрабанды, а исключительно под давлением нужды, он развел руками и, придя, вероятно, к не очень лестному выводу о моих умственных способностях, произнес: «Вот дурень! Что за глупость!»

Через несколько времени вслед за первым жандармом пришел второй. Он задал приблизительно те же вопросы и, очевидно, пришел к тому же выводу. То же самое проделали все до одного жандармы. Случай со мной при однообразной обстановке жизни на станции, видимо, доставлял им своего рода развлечение. Последним пришел ко мне старший вместе с первым жандармом. Проговорив, как и все: «Вот дурень! До чего бывает глуп человек», он спросил меня, между прочим:

— Что вы намерены делать, если, паче чаяния, нигде не найдете работы в Париже?

— Не знаю, — ответил я. — Обыкновенно я ищу работу до той поры, пока не найду ее.

— Вы говорите, у вас осталась жена в Льеже и что у вас шесть франков, — спросил жандарм.

— Да!

— Давайте нам их. Мы должны послать телеграмму в Льеж, чтобы вам прислали восемьдесят франков, которые требуются по закону.

— Да откуда же жена безработного рабочего найдет такую сумму денег? Да я и написать не смогу телеграмму. Я не владею настолько французским языком.

— Ничего, мы вам ее составим.

Меня привели к телеграфисту. Последний, как и все, рассматривал меня, как редкое явление, и как русского рабочего и как человека, попавшего в глупую историю. В его лице я заметил более человечности.

Взяв от меня деньги и адрес и составленную другим жандармом телеграмму, жандармы меня снова привели в мою «одиночку». Я опять уселся на корзине. За мной заперли дверь. Опять громко щелкнул замок. Затем все смолкло. Понемногу перестали чирикать за окном воробьи и ворковать голуби. Постепенно надвигались сумерки. В моей комнате темнело...

На дебаркадере зажигали фонари. Поезда, приходившие и уходившие дальше, говорили о жизни, продолжавшей итти своим чередом. Наконец, подали состав последнего шедшего на Париж пассажирского поезда. Я понял это по разговору, доносившемуся до меня из-за окна.

«Счастливчики, — явилась у меня мысль. — Они свободно едут, куда хотят, а меня из-за этих глупых спичек завтра запрячут куда-нибудь за решетку».

Вдруг я опять вздрогнул от раздавшегося щелканья замка и шума отворяемой двери. На пороге я увидел старшего.

«За мной, — явилась у меня мысль. — Значит, даже сегодня попаду в тюрьму. Эх, наша жизнь пролетарская!..»

К моему удивлению, старший смотрел несердито. Наоборот, он, жандармы и даже телеграфист, стоявшие за его спиной, чему-то улыбались.

— Вот ваши деньги, — говорил старший, протягивая мне мои шесть франков. — В Бельгии по воскресеньям телеграмм не принимают. Садитесь себе скорее и уезжайте в Париж. Но только в последний раз! Если попадетесь еще раз со

спичками или еще с чем, тогда или заплатите соответствующий штраф, или познакомитесь с тюрьмой.

— Благодарите судьбу, — произнес арестовавший меня жандарм, — что вы русский, а не немец. Хорошо, что вы оказались наш союзник. Иначе вы так дешево не отделались бы.

— О, нет! — подтвердили другие, стоявшие около жандармы.

Не помня себя от радости, что все оканчивалось для меня так благополучно, я торопливо влезал в вагон, втаскивая мои вещи.

— Какой все-таки смелый этот русский! — услышал я. — Едет в Париж и всего с шестью франками!

— Не то смелый, не то дурак! — возразил другой.

Паровоз в это время дал последний свисток. Скоро станция с ее огнями исчезла в темноте.

Вследствие истории со спичками и арестом на границе я прибыл в Париж не со скорым поездом, не в 6 часов вечера, а с простым пассажирским, много позднее, за полночь. Товарищи из коммуны, решив, что я не приеду, ушли, не дождавшись меня. Тщетно я оглядывался во все стороны на дебаркадере Северного вокзала; никого из знакомых не было. Я направился к выходу.

«Итак, я прибыл в мировую столицу, в город, где сто с лишним лет назад произошла Великая революция, потрясшая весь старый мир», — думал я. Тотчас перед моим умственным взором предстала эта революция во всем ее величии. Я увидел суровые, дышавшие непреклонной решимостью лица якобинцев.

— Разрушим гнилой, старый феодальный мир, — говорили эти предшественники большевиков, — и на его месте построим новый, прекрасный мир свободы, равенства и братства!

— Враг со всех сторон, — указывал Дантон, — и с севера, и с юга, и с востока, и с запада. Вся старая реакционная Европа ополчилась на нас. Купленный на английское золото царь посылает против нас Суворова с восьмиконечным крестом в одной руке и с казацкой нагайкой в другой. Измена зародилась внутри страны. Из восьмидесяти департаментов Франции против республики восстало шестьдесят. Но смелость! Смелость! Врага раздавим и на всех границах Франции водрузим знамя республики!

— Я не вижу никакой крови, — возражал Сен-Жюст на упреки, что партия Горы применяет террор. — Я вижу лишь багровую зарю, загоревшуюся на утреннем небе, — зарю великого, грядущего, нового дня!..

Я вспомнил «неподкупного» Робеспьера и дышавшего любовью к беднякам друга народа Марата, называвшего себя «оком восставшего народа».

Все эти деятели революции предстали передо мной, когда нога моя ступила на священную для всякого русского революционера почву города великих революций.

Я вышел на бульвар Сен-Мишель. Ночная жизнь, совсем иная, чем во время Великой революции, текла здесь своим чередом. Ничто уже не напоминало времена последней. По улицам шли совершенно другие люди, которые забыли об этой великой эпохе. Несмотря на позднее время, тротуары кишели прохожими. Проезжали фиакры с кучерами, одетыми в цилиндры, мчались автомобили. Громыхали по мостовой омнибусы с пассажирами не только внутри, но и на крыше, где они за перилами сидели на удобных скамьях. По улице в толпе шли одетые с иголочки и в белоснежных крахмальных воротничках, с упитанными лицами, так называемые noceur'ы *. Из глаз каждого из них, гордившихся принадлежностью к цивилизованным, культурным людям, по сути дела, как выразился еще в 60-х годах, кажется, Кавелин, смотрела большая свинья. Тротуары, горевшие яркими огнями ночные «бары» и рестораны были переполнены раскрашенными проститутками. Я шел медленно по направлению к Люксембургскому саду. Передо мной разворачивалась оборотная сторона жизни огромного города.

Волнения, пережитые на границе, арест, томительные часы ожиданий в жандармской комнате — все это очень утомило меня. Я вспоминал о бельгийской мягкой постели, в которой я в этот час охотно очутился бы. Я пробовал найти комнату в попадавшихся мне дорогой отелях. Все дешевые номера в них оказались занятыми парочками. С меня запросили в одном из отелей не менее 4—5 франков. «Если я возьму комнату, — размышлял я, — у меня останется на завтра всего один или два франка в этом огромном городе». В виду этого я решил провести ночь на ногах. Я дошел до Люксембургского сада, повернул обратно к Севастопольскому бульвару. Временами до меня доносилась русская речь. Мимо меня проходили студенты. Я не решался к ним подойти. Вдруг я увидел двух рабочих-евреев, тоже говоривших по-русски.

— Скажите, — обратился я к ним, — где здесь безработному и приезжему, у которого в кармане всего шесть франков, найти дешевый ночлег?

— Кто вы такой? Откуда? Зачем приехали в Париж?

---

* Noceur — кутила.

Я начал рассказывать.

— Пойдемте ко мне, — сказал один из них. — У меня отдельная комната. Я могу вам предложить ночевку. Только у меня нет кровати. Но в вашем положении и это хорошо. Все-таки лучше, чем на улице под дождем.

Я согласился на его предложение. Мы отправились в путь, и, наконец, мы вошли в его комнату. После пережитых волнений я был рад заснуть хотя бы на голом полу.

Прислушиваясь к затихавшему шуму огромного города, я думал о том, как завтра, преисполненный воодушевлением и восторгом, я буду ходить по улицам, где столько раз лилась кровь восставших рабочих, где строились баррикады, где произошло восстание Парижской коммуны, откуда раздался призыв к восстанию, к борьбе против гнета, донесшийся через сто с лишним лет и до рабочих России. С этими мыслями я заснул.

В пять часов утра заглохнувший только в три часа ночи гул города постепенно начал возобновляться. Тишину ночи нарушили шаги прохожих, спешивших на работу, шареток, развозивших молоко и хлеб. Число прохожих, спешивших к метрополитену, все увеличивалось. К шести-семи часам, когда возобновили свое прерванное на ночь движение трамваи, когда раздались крики уличных продавцов, снова послышался стук экипажей, рев автомобилей и тяжелое громыхание ломовых телег. Шум города, все расширяясь, усиливаясь, превратился, наконец, в прежний гул.

— Вы проснулись? — спросил меня хозяин комнаты. — Пора вставать. Уже восьмой час. В нашей типографии начинают работать в восемь часов. Я дома, следуя обычаю холостых парижских рабочих, не пью, не ем. Сейчас умывшись, по дороге в типографию в любом кафе напьюсь кофе без всяких хлопот и — на работу.

Умывшись, мы вышли от товарища, давшего мне приют на ночь, и попрощались.

— Заходите, расскажите, как устроились, — говорил он.

Но я его больше не встретил. Я направился на улицу Де-Лаббе-де-Лепе, где жил т. В.

Он очень обрадовался, увидев меня, был удивлен происшедшей со мной историей на границе. Из разговора с ним я выяснил, что коммуна, о которой он мне писал и которую он основывал, еще не была организована к моему приезду. Была снята только квартира недалеко от площади Данфер-Рошеро. Чтобы окончательно переселиться в нее, В ждал моего приезда.

Консьержка, вопреки ожиданию, ничего не возразила против сдачи квартиры десятку холостых мужчин. По фран-

цузскому обычаю, она все ожидала, что мы привезем мебель. Заметив, что последняя не привезена нами и что мы ухитряемся спать на полу и обходиться без стола и стульев, она пришли в ужас, встретив товарища В., считавшегося официальным хозяином квартиры, строго спросила:

— Господин В., где же ваша мебель? Вы знаете, что я не имела права пускать вас с товарищами, пока вы не привезете мебели.

Мебель по французским законам является гарантией за квартирную плату. Если наниматель квартиры не платит за нее, мебель остается хозяину дома.

— Теперь что скажет мне хозяин, когда узнает, что я напустила в квартиру целый десяток людей безработных, занимающихся неизвестно чем, и не потребовала от вас непременно ввезти мебель? Он меня со свету сживет. Ах, боже мой, — закричала она, — что я сделала! Какая я дура! Теперь уже другие квартиранты говорят: «Кого вы пустили? Может быть, они все апаши. Эти иностранцы, особенно русские, — подозрительные люди».

Тов. В., успокоив консьержку, что все его жильцы — люди вполне честные, принялся приобретать подержанную мебель. В короткое время были куплены стол, несколько стульев и одна кушетка.

Консьержка, успокоившаяся немного при виде ввезенной нами в квартиру мебели, стала приходить опять в новый ужас. Члены нашей коммуны по русской привычке, не вытерев предварительно внизу при входе ног, грязнили лестницу из дубового дерева, которую она заботливо, как этого требовал сложившийся во Франции обычай, ежедневно или несколько раз в неделю натирала воском, щеткой и тряпкой до блеска. Не только одни члены нашей коммуны смущали ее поминутным, как ей начало казаться, беганьем вверх и вниз по лестнице, после чего оставались каждый раз грязные следы от сапог, — ее выводило из себя, что к нам, прослышав про коммуну, приходил, по русскому обычаю, почти весь эмигрантский рабочий Париж.

— Священное имя бога! (Sacré nom de dieu). Миллион раз священное имя бога! Как эти варвары, эти грязные русские загадили мне опять лестницу! Мало того, что они сами целый день то-и-дело шмыгают взад и вперед по лестнице,— к ним еще приходит чуть не сотня оборванцев в течение дня.

Русские политические эмигранты, и в особенности российские рабочие, попали в Париже на положение так называемых «нежелательных иностранцев». На них вообще скоро стали смотреть очень косо.

Относясь к большинству русских с презрением и даже с брезгливостью, значительная часть французов обнаружила поразительное незнакомство и даже невежество в своих представлениях о России и русских.

Крайний индивидуализм и вытекавшая отсюда самовлюбленность, замечавшиеся среди французов и также бельгийцев, привели к тому, что многие французы жили во Франции, как на своего рода необитаемом острове, имея довольно скудные представления о таких странах, как Россия. В Бельгии рабочие самым наивным образом задавали мне вопрос:

— Скажите, Александр, правда ли, что в Петербурге и в Москве на улицах бродят зашедшие из соседних с городом лесов совершенно дикие медведи и волки?

Француз, игнорировавший чужие страны и считавший Францию самой прекрасной страной в мире и французский язык — самым звучным, самым лучшим языком на земле, черпал свои скудные сведения о России и о русских большей частью с театральных подмостков, где ставили, например, «Михаила Строгова», и из бульварных романов. Можно себе представить, что писали в этих последних, если даже такой писатель, как Александр Дюма (отец) в своем «Путешествии по России» повествует, как он отдыхал в России после охоты под тенью «величавой клюквы», или как он приходил в восторг от особой породы собак, называемой «собака». Поэтому француз долгое время имел представление лишь о трех типах русских: «les boyards (бояре), «les mouziks» (мужики) и «les nihilistes» (нигилисты). О мужике имели самое смутное представление, как о непомерно смирном, забитом, набожном, богобоязненном, не перестающем пить «водку» и опекаемом и облагодетельствованном барином-боярином крестьянине. Правда, романы Тургенева и Толстого переводились на французский язык, но их читал лишь ограниченный круг читателей.

Тип боярина, князя, барина-кутилы — этого достойного представителя русской знати, проматывавшего деньги, собранные с несчастных крестьян, проигрывавшего в карты целые состояния и осыпавшего золотом и брильянтами парижских дам полусвета, — и подражавшего русским боярам на этом славном поприще русского купца, украшавшего себя княжескими титулами, был хорошо известен. Всех, кто не был ни боярином, ни мужиком, ни купцом-фабрикантом из России, причисляли к «нигилистам». Представление о последних было самое фантастическое. О «нигилисте» сочиняли самые невероятные басни. Русскому читателю никак не удавалось узнать в каком-нибудь из героев романа или изобра-

жаемых на сцене во Франции героев что-нибудь более или менее похожее на русского революционера.

В 1900-х годах в Париже появился еще совершенно новый тип из России. Волна эмиграции выбросила в Париж и в Бельгию много выходцев из России, бежавших от еврейских погромов и военной службы. Политические эмигранты тонули в этой массе беглецов, не имевших ничего общего с революционным движением России. Вся эта масса переселенцев селилась около площади Бастилии и скоро среди русских политических эмигрантов, группировавшихся, главным образом, в Латинском квартале, получила прозвище «бастильцы». Эти последние вообще пользовались очень плохой славой среди эмигрантской колонии. Во-первых, они сбивали заработную плату. Приезжая в Париж, они подвергались самой бесстыдной эксплоатации со стороны своих же соотечественников в портновских, шапочных и других мастерских около площади Бастилии. Если рабочий-француз на французской фабрике зарабатывал не менее 10 франков в день, «бастилец»-хозяйчик платил выходцу из России всего 2 или, самое большее, 3 франка в день.

Приехав из России с самыми преувеличенными представлениями о хорошем якобы положении по сравнению с Россией рабочих во Франции и попадая в ужасную эксплоатацию на площади Бастилии в Париже или в шахтах в Бельгии, все «бастильцы» начинали мечтать о переезде за океан и смотрели на свое пребывание во Франции и в Бельгии, как на временное, как на своего рода этап по пути в Америку. О стране долларов, о высокой заработной плате в этой части света существовали среди «бастильцев» самые фантастические представления, подкрепляемые, впрочем, письмами из Америки их соотечественников, наполненными бесстыдной ложью. Чтобы попасть в Нью-Йорк, чтобы накопить необходимую сумму денег, требуемую для в'езда в Соединенные Штаты Америки, бастильцы пускались во все тяжкие, ниспровергая самые священные основы мелкобуржуазной морали во Франции и Бельгии. Более ловкие из них немедленно использовали возможность получить кредит на сшитый на заказ костюм и в магазинах — на часы, мебель и т. п. Некоторым счастливчикам удалось действительно после операции по заказу одновременно трех-четырех костюмов в разных портновских мастерских и операций с золотыми часами, которые заключались в том, что лишние костюмы, золотые часы и швейная машина перепродавались, уехать в Америку с суммой денег, доходившей до 400—600 франков. Но то, что сходило с рук отдельным счастливчикам, не удавалось всей массе переселенцев из Рос-

сии. Хозяева портновских мастерских и магазинов, узнав, что «русские», которым они отпустили в долг новые костюмы, золотые часы, швейные машины, мебель, уехали в Америку, им не заплатив, забили тревогу и перестали немедленно большинству русских рабочих без поручительства со стороны двух французов отпускать в кредит вышеназванные вещи. Про выходцев из России пошла среди мелкой буржуазии самая худая слава. К фантастическим рассказам о невероятных кутежах русских бояр, о динамитных покушениях русских нигилистов прибавились не менее фантастические рассказы о нечестности и невероятной нечистоплотности русских рабочих, которых судьба забросила в Париж. К категориям, как боярин, мужик, нигилист, прибавилась еще новая — «sale russe» *. Если к этому прибавить упорную склонность русских эмигрантов-рабочих вести социалистическую пропаганду на фабриках, то можно себе представить тот ужас, который испытывали французские мещане и буржуа от этих «нежелательных иностранцев», какими явились российские рабочие, волею исторических судеб попавшие в Париж.

Особенно косо смотрели на русских рабочих и испытывали ужас перед ними французские консьержки, соединявшие обыкновенно с обязанностями сторожихи дома обязанности полицейского шпиона и получавшие особые инструкции от комиссариата полиции. Консьержка наблюдала за каждым входящим и выходящим из дома. Вся корреспонденция жильцов дома проходила через ее руки. Кроме того, консьержка знала, что делается в семьях каждого из квартирантов. Так как каждый, входящий в дом после 11 часов вечера, должен был, проходя мимо ее двери, громко сказать свою фамилию, она, отворявшая входную дверь, не вставая с постели, при помощи особого рычага и толстого шнура, хорошо знала, кто когда возвращается домой.

Наша консьержка вскоре стала питать общие всем консьержкам в Париже чувства к русским. Однажды она насчитала, что к нам прошло в течение часа не менее десяти наших соотечественников. Когда она встретила во второй раз бежавшую к нам с порцией вареной фасоли и жареной картошки, которыми мы питались, девушку-интеллигентку, она вне себя от злости, замахнувшись на нее палкой, которую держала в руке, вскрикнула:

— Что вы шляетесь поминутно по лестнице и пачкаете ее, грязные русские!

---

* Sale russe — грязный русский.

Русская девушка, превосходно говорившая по-французски, не растерялась.

Вырвав палку, она сломала ее о свое колено.

— Это что такое? — воскликнула она. — Так-то вы относитесь к иностранцам!

— Что тут удивительного? — ответила консьержка. — Говорят, вы там у себя в России привыкли к палке...

Девушке, приходившей к нам на кружок, удалось убедить консьержку, что она не имела права на нее замахиваться палкой. Та извинилась перед ней, но окончательно она усмирилась лишь после того, как т. Я. В., прибежавший на шум, обещал ей платить за лестницу добавочных три франка в месяц. Тогда только она оставила нас в покое.

Наша коммуна носила характер своего рода ордена нищенствующих. Состояла она почти целиком из безработных. Спали мы на полу, ели, что пришлось. Один член коммуны, поляк, возился с изобретением одного инженера-поляка, влачившего в свою очередь жизнь впроголодь и почти ничего не плативщего нашему товарищу-слесарю.

— Вот окончим машину, пане Станислав,— говорил он,— сразу получим большую сумму денег и разбогатеем...

Так как машина не ладилась, конца-края не виделось этой полуголодной жизни, которую вел Станислав.

Другой член коммуны, разыскиваемый жандармами в России за вооруженное восстание и экспроприацию, по вечерам долго рассказывал, как он отсиживался с группой товарищей-кавказцев в неприступных горах Кавказа. Четвертый, о котором я упоминал выше, представлял собой члена Совета рабочих депутатов в Петербурге, русского токаря-металлиста, — меньшевик Плеханов. Обыкновенно легко находивший работу и предпочитавший жить около фабрики, в настоящее время он был без работы и пришел по этому поводу жить в коммуну т. В.

— В плохое время вы приехали, — говорил он мне, — теперь мертвый сезон и особенно сильная безработица.

Каждый день возвращаясь усталый после бесплодных поисков работы, я приходил к выводу, что он был прав. Много времени у меня прошло бесплодно и потому, что я в Париже искал заводы с высокими фабричными трубами. Наконец через две недели я убедился, что в Париже очень много мелких и средних мастерских, не имеющих фабричных труб, скрываются незаметно, не выделяясь среди других построек, как это бросается в глаза в России, где производство с самого своего возникновения носило крупный, американского масштаба характер.

Проблуждав попусту около месяца по окраинам Парижа и по окрестным городам, давно, впрочем, слившимся с Парижем и носящим поэтому характер его предместий, я направился в бюро профессионального союза рабочих-металлистов, помещавшееся в 11-м арондисмане *, по улице Фонтен-о-Руа, № 66, занимавшее убогое и грязное помещение во втором этаже, в глубине двора. Здесь в разговоре с кассиром союза, т. Простом, на почве плохого знания французского языка у меня произошло небольшое недоразумение.

— Вот моя книжка члена профессионального союза рабочих-металлистов Бельгии, — говорил я. — Кроме того, я — русский революционер. Я принужден был бежать из России. Сейчас я без работы. У меня нет знакомых на фабриках и заводах Парижа, которые помогли бы мне найти работу. Поэтому я вас прошу, товарищи, помочь мне найти ее здесь.

Меня поразили сразу холодность и даже скрытая неприязнь к иностранцу, сквозившие в словах секретаря союза и его кассира. Затем я превратно понял слово «дебош» в фразе: «On debouche partout», означавшей, что рассчитывают рабочих. Я понял наоборот, что всюду происходит «дебош» в русском смысле, что всюду начались столкновения с хозяевами.

— Вот туда-то меня и пошлите, — настаивал я. — Самое подходящее место для меня, где происходит теперь «дебош».

Французы отрицательно мотали головами и ни за что не хотели меня направить туда, где «дебош». Я злился и никак не мог понять, почему они не хотят меня направить на заводы, где уже началась борьба рабочих, в которой я так жаждал принять участие. Секретарь и кассир, по мере того как я спорил, переглядывались между собой и посматривали на меня с видом, говорившим: «А уж не з'ихав ли вин часом с глузду?» **.

Я, наконец, понял, что мне говорили, когда тов. Пост сказал:

— On n'embauche pas maintenant; on debauche partout ***.

Вообще же секретари профсоюзов того времени во Франции, насколько я успел приглядеться, относились довольно-таки отрицательно к иностранным рабочим, в особенности к немцам, подозревая среди последних военных шпионов. Они окончательно отказались помочь мне найти работу в этот момент жестокого промышленного кризиса,

---

* Округ (часть) города Парижа.

** Уже не сошел ли он с ума.

*** Не принимают теперь на работу; всюду увольняют.

ссылаясь на общий застой в делах и на множество безработных.

Однажды осенним днем, возвращаясь с бесплодных поисков работы, я шел через Булонский лес по Сюренской дороге. Усталый и покрытый потом, я присел на скамейку, стоявшую под высокими деревьями на берегу большого пруда. Сухой осенний солнечный день склонялся к вечеру. Дорожки, лужайки, большой, хорошо содержащийся пруд со множеством плававшей в нем рыбы — все кругом в этом прекрасном парке было усыпано опавшими желтыми листьями и говорило о высокой культуре. Листья красивым, желтым колыхавшимся ковром усыпали и воду пруда у берегов, где во множестве плавали прирученные всевозможных пород утки, не улетавшие отсюда на зиму. Среди них выделялись своею величиной и белизной лебеди с красивыми длинными шеями. Мимо меня через Дофиновские ворота укреплений Парижа длинной вереницей ехали экипажи и автомобили, наполненные достойными представителями мировой буржуазии, прокучивавшей прибавочную стоимость рабочих здесь, в Париже. В каждом экипаже и автомобиле бросались в глаза молодые, красивые, с выхоленными телами, нарядно одетые в шелка и бархаты, в изящные шляпки, в шелковые чулки, с очень оголенными плечами и грудью женщины, нежно прижимавшиеся к ехавшим с ними мужчинам. Весь праздный, богатый, утопающий в роскоши, ликующий Париж, пользуясь прекрасной, почти летней погодой, выехал на прогулку. Все показывали свое богатство, роскошь, свои наряды, своих жен и любовниц. Все обменивались счастливыми, влюбленными взглядами. Из экипажей и автомобилей, медленно проезжавших мимо, слышался звучный, беспечный смех сытых, довольных собой, не знающих нужды людей.

То же довольство, ту же пышность я видел, когда возвращался домой по ярко освещенным парижским бульварам и авеню, мимо роскошных магазинов, мимо ресторанов, кабаре, баров, которые, как и многочисленные экипажи, были наполнены богатыми, с виду счастливыми и веселыми людьми.

«Строй, в котором мы живем, — казалось, говорили их лица, — царство буржуазии — есть лучший строй. Надо устроиться в нем как можно лучше и взять от него и от жизни как можно больше».

Пройдя авеню де-Шам-Элизе (Елисейские Поля), площадь Согласия, я пошел по набережной Тюльери, мимо Тюльерийского парка. По Сене буксиры тянули караваны барж, шел пассажирский пароход. По воде реки плыло

множество пробок, которые сами собой говорили о большом количестве виноградного вина, выпиваемого в Париже. На каждой из баржей можно было заметить род маленькой квартиры, из которой выглядывали женщины и дети.

«Значит, есть целый слой людей, рождающихся, проводящих всю свою жизнь, постепенно передвигаясь с кладью на барже, и умирающих в конце-концов на них», — приходила мне в голову мысль.

Пройдя через два моста и остров, который образует Сена, мимо дворца Правосудия справа и мимо собора Парижской богоматери, огромный силуэт которого, как мрачное видение средневекового прошлого, вставал передо мной, миновав бульвар Сен. Мишель, улицы Гей-Люссака и Клода Бернара и выйдя на авеню де-Гобелен, я в русской библиотеке, где была партийная явка, встретил т. М., к которому, как к большевику и секретарю заграничной группы РСДРП, у меня было письмо от Лизы.

В это время в газетных столбцах под заглавием: «Русская революция» уже улавливались злорадные пессимистические нотки, что революция в России идет на ущерб. Многие революционеры и даже большевики начали колебаться. Началось бегство из рядов партии.

— Скажите, товарищ Наум, — спросил меня т. М., — вы все еще большевик? И товарищ Лиза, от которой вы мне привезли письмо, она — как? — тоже большевичка?

— Что за вопрос! — ответил я, удивленный его насмешливым и, пожалуй, презрительным тоном по отношению к большевикам. — Да, я большевик и Лиза — тоже. Мы надеемся остаться ими до конца.

— Что за допотопные существа вы! Вас в музей древностей, я полагаю, надо выставить. Ведь большевиков здесь, в Париже, днем с огнем надо искать, — презрительно смеялся т. М.

— Не потому ли, что, побывав здесь, в буржуазной Европе, они возвращаются в Россию, где еще продолжается революция, чтобы там исполнить свой революционный долг до конца, а не остаются разлагаться здесь?

— Нет, не совсем верно это. Просто, редеют ваши ряды. Многие просто-напросто уходят от вас. Всякий, у кого голова на плечах, понимает, что нелепо оставаться в рядах этих авантюристов, экспроприаторов и налетчиков.

— Как вам не стыдно, — возразил я, — так говорить о представителях партии, действующей революционными методами! Впрочем, вы тоже имеете честь причислять себя к тем, которые уже переметнулись к меньшевикам.

— Я уверен, что недалек тот час, — ответил он мне, —

когда это самое сделаете вы. Невозможно же оставаться всю жизнь неподвижными мумиями, в которые с успехом превращаетесь все вы, твердокаменные большевики.

— Даже теперь, когда я согласен с вами, что революция, видимо, пошла на убыль, я, безработный рабочий, очутившийся в городе, где теперь буржуазия, торжествуя, глумится над теми, кто создал ее богатства, — я предпочитаю оставаться в рядах угнетенных и гибнущих. Я хочу остаться непримиримым до конца большевиком.

Уйдя от т. М., который, несмотря на свою нестойкость, оставался чрезвычайно симпатичным человеком, не жившим никогда, как казалось, личной жизнью и отдававшим последнюю общественным интересам, я уже при свете фонарей вернулся в нашу коммуну.

— Ну, что? Как? Нашли работу? — задавал обычный вопрос т. В.

— Нет, говорят, что теперь наблюдается массовый расчет рабочих в Париже, что рассчитано не менее тридцати-сорока тысяч рабочих.

— Плюньте, бросьте теперь искать работу, походите за это время по музеям, познакомьтесь с Парижем.

Пользуясь оказавшимся в моем распоряжении свободным временем, я обошел несколько раз огромный музей Лувр, где собраны колоссальные художественные богатства, и Люксембургский музей. Я долго любовался Венерой Милосской, картинами Рафаэля, Леонардо да-Винчи и многими другими — французской, итальянской, немецкой, фламандской и испанской школ.

Я не раз приходил на кладбище Пер-ла-Шез. Почти у самой стены кладбища стоит монумент из камня, сделанный очень искусно художником Полем Моро-Вотьером, изображающий «Стену коммунаров». Все камни стены изрешечены пулями. Из каждого камня, как бы моля об отмщении, выглядывает лицо расстрелянного буржуазией коммунара. Женщина с ребенком в руках; мужчина, раскрывающий рубашку и подставляющий бесстрашно свою грудь под пули; другие, стоящие со сложенными на груди руками и молчаливо, бесстрастно ожидающие неизбежного рокового момента. Один приподнял руку и как будто кричит: «Стреляйте! Дело, за которое мы боремся, вы не убьете». Лица мужчин и женщин, старых и молодых, — все свидетельствуют о страшной борьбе, когда-то разыгравшейся здесь. Впереди них, впереди этих лиц, погибших за дело пролетариата, стоит женщина. Она изображает собой революцию, временно сложившую оружие. Винтовка лежит у нее под ногами. Она прикрыта складками ткани, охватывающей ее те-

ло и с головы и с одного закрытого плеча, спускающейся до земли. Эта женщина, прислонясь спиной к стене, печально простерла руки над погибшими. Сурово и скорбно смотрит ее лицо и вся ее фигура.

Я долго стоял перед монументом (образцом пролетарского искусства), всматриваясь в каждую его деталь.

Пройдя через все кладбище, я очутился, наконец, у «Стены коммунаров». Я стал перед стеной, на которой висели красные венки, приносимые сюда ежегодно летом во время устраиваемой парижскими рабочими демонстрации. Было пустынно на кладбище. Оглянувшись кругом, убедившись, что никого нет вблизи, я, опустившись вдруг на колени, поцеловал землю, на которой когда-то погибали коммунары. Тотчас раздался смех: из-за могильных памятников вышли шпики или просто зеваки. Оскалив зубы, с усмешкой они смотрели на меня, как на небывалое зрелище.

— Почему вы стали на колени и поцеловали здесь землю? Этого у нас никто не делает, — спросил меня один из них.

Я прошел мимо них, ничего не ответив и предоставив им думать обо мне, что угодно.

«Я отдался порыву, который показался им, вероятно, только смешным, — думал я, уходя с кладбища. — Но я — русский революционер. Земля, на которой пролита кровь коммунаров, кажется мне священной. Дело, за которое погибли эти люди, не погибло. Мы, русские рабочие, в один прекрасный день восстанем против господства капитала так же, как и они».

НА ЗАВОДЕ В ПАРИЖЕ

В конце-концов, при помощи Шляпникова я нашел работу в той же маленькой мастерской, где он сам долгое время работал. Подобные мастерские, разбросанные во множестве по Парижу, хозяева которых называются «фасонье» *, представляют собой на самом деле отделения какого-нибудь крупного завода, от которого они исполняют заказы и от которого вполне зависят. Выполняя часто самые точные, мелкие работы, некоторые из них платили рабочим часто не меньше, чем крупные заводы.

Сравнительно высокая заработная плата в части этих мастерских, отсутствие многих стеснительных правил, присущих большим заводам, привлекали к себе известную часть

* Парижский кустарь, применяющий интенсивную обработку металла фасонными резцами.

высококвалифицированных рабочих, знавших себе цену, особенно рабочих, затронутых анархо-синдикалистской агитацией.

Вообще мелкое производство везде, очевидно, способствовало различного рода мелкобуржуазным теориям. Так, мелкобуржуазный бунд находил себе сторонников среди мелких ремесленников северо-запада России. Таким же образом и анархо-синдикализм во Франции, в Париже, гнездился преимущественно в мелком производстве. Возможно, что и на психологии значительного числа русских рабочих в Париже сказалось пребывание в подобных парижских мастерских, ибо у многих из них замечался там сдвиг в сторону анархо-синдикализма.

Лично я, проведший жизнь на больших заводах, первый раз попал в мастерскую «фасонье». Как почти всегда, накануне поступления на новую фабрику я плохо провел ночь. Писк крыс и мышей, доносившийся из-под пола старого отеля, особый, напоминающий трупный, запах мышей и крыс, издыхавших и гнивших в подпольях, не давал мне возможности заснуть. Мне лезли в голову мысли о поколениях людей, проведших жизнь в стенах этих отелей, в одном из которых на пятом этаже проводил свои грустные дни перед отправкой в больницу т. Курнатовский.

Рабочий день на новом месте начался для меня неудачно. Я пришел в мастерскую с привычками рабочего большого завода. Известно, что чем крупнее производство, тем меньше, при более широком разделении труда, требует оно профессиональных качеств от рабочего. Наоборот, в мелких мастерских рабочий должен знать многое, что уже не требуется от него на крупной фабрике или заводе. Токарю-металлисту здесь надо быть в то же время кузнецом, ремонтным слесарем, шорником и машинистом. Здесь необходимо в совершенстве уметь ковать, закаливать и затачивать резцы, налаживать и ремонтировать токарный станок, перешивать ремни на станке, — словом, проявить своего рода универсальные знания.

В мастерской, куда я попал, насчитывался всего один токарь, один слесарь и несколько мальчиков-учеников. Я должен был налаживать газовый мотор, поскольку мальчик-ученик с ним не справлялся. Контрометр, принявший меня вообще неохотно, придрался ко мне, заметив мое незнакомство с газовым мотором. Последний заупрямился, и прошло не менее часа, пока мы заставили его вертеться. Торопясь затем скорее начать пробную работу, я слишком поспешно пустил свой станок в ход, не осмотрев заранее приводного ремня.

— Nom de dieu! * — вскрикнул контрометр, увидев, что мой ремень вместо ровной ленты тотчас превратился в спиральную пружину, и тотчас побежал к хозяину.

— Не беспокойтесь, — сказал мне последний, подойдя ко мне и видя, что я, остановив станок, стараюсь привести приводной ремень в надлежащий вид.

— Не трудитесь, — повторил он с ехидной, полной пренебрежения ко мне улыбкой, заметив, что я его не понял. — Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Можете уходить совсем.

Говоря эти слова, он мне протянул два франка за два часа, проведенные в мастерской, как требовалось платить мне по условию.

— Почему? — спросил я, не отдавая еще себе полного отчета в происшедшем. — Ведь вам нужен же токарь?

— Очень даже нужен, но вы мне не подходите.

— Как не подхожу? — не сразу понял я, в чем дело.

— Очень медленно работаете. Видно, что вы приехали из-за границы. Вы еще не научились работать по-парижски. Вот через годик, когда научитесь работать быстро, интенсивно, как это требуется в Париже, тогда милости просим. Теперь же до свиданья!

Под насмешливым, ехидным взглядом контрометра я складывал инструмент в пакет с сознанием, что первый блин вышел у меня совершенно комом.

Неудача в маленькой мастерской одного из многочисленных «фасонье» привела меня к необходимости снова разыскивать работу. Наконец, при помощи т. Колпа Израиля и Александра Фурмана-Шаца я нашел ее и 10 октября 1911 года начал работать в заводе «Сосьете Грамм» в 19-м аррондисмане Парижа, по улице Гот-Пуль, 20 (rue d'Hautpoul, 20).

К этому времени я переехал из гостиницы на постоянную квартиру по улице Бобийо, 102. Здесь город оканчивался. Он упирался в круговую железную дорогу, за которой, сейчас же за последними бульварами, кольцом кругом Парижа шли глубокие рвы, валы и стены укреплений Парижа. За этими укреплениями, потерявшими давно всякое значение, сейчас же начинаются предместья Парижа. Квартал, где мы поселились, оказался знаменит тем, что в нем жили своего рода парии Парижа — тряпичники. На обширных пустырях против фортификаций тянулись за заборами склады использованных консервных коробок и вообще

---

* «Священное имя бог!» — обычное французское ругательство.

старого железа, кучи битого стекла, старых тряпок и бумаги. Поздно ночью и рано утром тряпичники, вооруженные мешками, с крючками в руках разбредались, подобно муравьям в лесу, по улицам Парижа, копались в отбросах, которые к ночи консьержки выставляли в особых железных ящиках перед дверью дома и содержимое которых рано утром рабочими с мусоросжигательных станций высыпалось в особые телеги или грузовые автомобили и увозилось к мусоросжигательным печам или на свалку.

Как ремесло тряпичников, так и они сами, и квартал, ими населенный, не пользовались уважением. Даже продукты питания, как мясо, масло, молоко, здесь продавались худшего качества, чем в других, более счастливых частях города, где жила буржуазия.

— Отчего, — спрашивали наши товарищи, обращаясь к консьержке дома, — мясо в нашем доме мясник продает такое скверное?

— Отчего? — отвечала последняя. — Да очень просто. Тряпичник и это с'ест. Для него и это хорошо.

— Почему хлеб, молоко, масло — почти все здесь худшего качества, чем в других кварталах города?

— Тряпичник и это стрескает, — был ответ.

Найдя, наконец, работу в Париже, я, взяв отпуск на трое суток, вернулся за Лизой в Льеж.

Когда уезжаешь из страны, где долго жил, вдруг начинаешь чувствовать множество нитей, незаметно связывающих тебя с ней. Это самое испытали мы на себе, прощаясь с Бельгией и приближаясь к французской границе. Наблюдая, как своеобразные кирпичные бельгийские постройки еще на бельгийской территории стали сменяться домами французского типа, мы начали вспоминать бельгийские города, деревни, стойкость бельгийских рабочих в труде, их упорство, бельгийскую поразительную честность, гостеприимство и очень хорошее отношение бельгийских рабочих к нам, русским революционерам.

Лиза указала, что бельгийцы как бы носят в себе черты двух соседних им народов: германские тяжеловесность и обстоятельность уживаются у них с французской живостью и легкомыслием. Затем она перешла к народовольцам Лазаревичам.

Она говорила о затаенной грусти, которую она прочла в их глазах, о глубокой тоске, отражавшейся на их лицах, о скрытой горечи, слышавшейся в словах И. И. Лазаревича, когда он прощался с нами.

— Желаю от души, — говорил он, — чтобы Париж, этот город великих революций и город света, куда вы так

стремитесь, встретил вас более гостеприимно, чем нас, когда мы там были вместе с Настасией Павловной.

Говоря так, Лазаревич как бы видел в нас представителей более счастливого революционного поколения, которому удалось совершить уже многое, что казалось совершенно неосуществимым для партии «Народная воля». Его поражало также, что мы бесстрашно направлялись в город, где он когда-то потерпел крушение.

— Он и она, — говорила Лиза, — видимо, страшно тоскуют по России и в то же время отдают себе полный отчет, что им никогда не удастся снова увидеть ее бесконечные равнины, леса, реки, озера и предмет их культа — русского мужика, которого они, как народники, чуть не боготворят.

За разговором время, между тем, летело. Прошла ночь. Паровоз с необычной для нас русских быстротой неуклонно мчал наш поезд уже по французской территории.

— Вот и Париж показался! — радостно воскликнула Лиза при виде вырисовывавшихся в туманной дымке силуэтов башен, соборов и грандиозных сооружений огромного города.

Скоро постройки последнего замелькали перед глазами, и паровоз, врезавшись, как стальное чудовище, в самую гущу огромных домов Парижа, как бы бессильный прорвать их, остановился, тяжело запыхтев.

Было уже около двух часов пополудни, когда мы вышли на дебаркадер Северного вокзала. От носильщиков, извозчиков, от всех французов, с которыми мы заговаривали, несло в этот послеобеденный час выпитым виноградным вином.

— Точь-в-точь, как у Салтыкова-Щедрина в рассказе «За рубежом», — смеялась Лиза, вспомнив, что и последнему, приехавшему в то же время, показалось, что все в Париже под хмельком и даже качаются.

На заводе, носившем имя бельгийского столяра Грамма, изобревшего в Париже первую динамомашину, я получил возможность в течение восьми месяцев, проведенных там, наблюдать парижского рабочего. Мне бросились в глаза его высокие индивидуальные черты как человека и как рабочего, научившегося, работая неторопливо, в то же время давать изумлявшую по своей высоте производительность труда. Меня поразило в то же время сильное буржуазное влияние, под которым находился парижский рабочий.

Высококвалифицированные рабочие-металлисты не любили больших заводов. Здесь или требовали суровой внутренней дисциплины, или вводили хронометраж, как у Рено,

или, наконец, как на заводе Грамма, сравнительно меньше платили. «Sale boîte» *, — говорили они про него и, не задерживаясь дольше двух-трех недель, уходили на другое место.

Парижский рабочий, терявший благодаря ошибкам социалистической партии веру в силу своих коллективных действий, предпочитал разрешать свои конфликты с хозяином или мастерами индивидуально. Все столкоповения их чаще всего разрешались тем, что они гордо уходили на другой завод или в другую мастерскую. Завод, нуждавшийся вследствие этого в рабочих, всегда принужден был набирать новых из них. Последние через несколько времени опять разбредались при первой возможности найти лучшую оплату своего труда или просто уйти на те же условия, но только не выносить придирок мастера. Привычка переходить с завода на завод, замечавшаяся у парижских рабочих, походила на склонность известной части горожан переезжать с квартиры на квартиру. Происхождение этой привычки можно, пожалуй, проследить в обычае французских рабочих ремесленного производства странствовать, который отмечает и французская писательница Жорж Занд в своем романе «Земляк Вильпре». Таким образом, завод Грамма походил на своего рода «проходной двор».

К моему счастью, мне на этом заводе дали точить больших размеров, около сажени в диаметре, чугунный канатный шкив, на который не было еще установлено расценки. Станок был старый, времен самого Грамма, но благодаря приспособлениям, на этом старом станке мне удалось исполнить эту работу с особой точностью.

Столкнувшись с высокой производительностью труда в Париже, я, как и у Оливье в Герстале, в Бельгии, принужден был постоянно напрягать свое внимание, присматриваться, учиться, чтобы не отставать от других рабочих. Если работа ладилась, т.-е. получалась хорошего качества, и я не отставал в быстроте от других, я тогда увлекался работой на токарном станке.

Когда же она не ладилась (это происходило, когда я начинал торопиться, терять равновесие, хладнокровие), я утомлялся еще более, чем обыкновенно, приходил домой с чувством неудовлетворенности. Тогда еще яснее и острее я начинал понимать на деле, что причины моего, как и всех рабочих, тяжелого положения лежат, главным образом, не во мне самом, а в обстоятельствах, лежащих вне меня, в самом строе, который нас окружает. С особой ясностью

---

* Sale boîte — грязный ящик.

это положение рабочего в буржуазном обществе охарактеризовал старик-подметальщик завода. Он был чернорабочий, зарабатывал в два раза меньше, чем хороший квалифицированный рабочий-металлист. Он представлял собой поэтому тоже пария среди париев. Поэтому, если хорошо квалифицированному рабочему возможно было собственными силами решать свою судьбу и добиваться максимума тех благ, которые были доступны при капитализме для рабочего, не прибегая к помощи коллектива, в виде партии и профсоюзов, то для последнего (чернорабочего) потеряна была всякая возможность подобным образом — только личными усилиями — добиться улучшения своего положения.

Поэтому его мысль, искавшая выхода, нащупывала, правда неясно, исход для себя лишь в коллективной борьбе рабочих с капиталистами.

Часто, когда мой станок, медленно вращавший огромный патрон со шкивом, «шел самоходом», он, опершись на метлу, беседовал со мной.

— Вы спрашиваете, кто я по своим убеждениям? — ответил он мне. — Я по сути дела — рабочая замученная скотина. Я также — пушечное мясо. Поэтому только в социалистическом строе я вижу для себя и для всего рабочего класса спасение. Но одно меня смущает. Я до сих пор не могу разобраться, кто прав — Жорес, Гед или Эрве. Мы, французы, совершили столько революций — и до сих пор не пришло еще нам, рабочим, избавление. Невольно зарождается в душе сомнение, придет ли оно вообще и возможен ли и сам социалистический строй...

Итак, по мнению этого подметальщика, рабочий во Франции еще за три года до империалистической войны представлял собой «рабочий скот», лучше, чем в России, питавшийся, лучше одевавшийся и живший в лучших квартирах. Он также был не что иное, как «пушечное мясо», которое в любой момент могла бросить на бойню буржуазия.

Ответ старика-рабочего наводил также на мысль о замечавшемся во Франции разочаровании в революциях. У рабочих заметны были нотки скептицизма, усталости, неверия в вождей. Что касается самой буржуазии, когда-то игравшей в стране революционную роль, она охотно вычеркнула бы из своего прошлого революционную эпоху. Она разочаровывалась все более в созданном ею самой представительном начале, в парламентаризме.

Так называемая свободная печать, всеобщее избирательное право при росте влияния капитала превращались в простую куплю и продажу общественного мнения. Последнее создавалось при помощи двух-трех газет. Разочарован-

ная буржуазия, отказываясь окончательно от свободомыслящих традиций Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и других, бросалась в мертвые об'ятия религии.

Рабочие на почве возникавшего среди них неверия в свои массовые классовые выступления под давлением буржуазного влияния мало-помалу замыкались, как и буржуазия, в узкую скорлупу личной жизни *.

На этой почве всевозможных разочарований создавалось настроение, которое называли индивидуализмом и жеманфутизмом. Поскольку при этом социализм носил односторонне-соглашательский характер, часть рабочих, все более недовольная социалистами, стала поддаваться другому одностороннему учению — анархо-синдикализму.

Буржуазные и мелкобуржуазные настроения, поскольку против них не вели борьбу социалисты, неизменно передавались рабочим. Хорошо зарабатывающий, живший в хорошей квартире, особенно с нашей русской точки зрения, одевавшийся по воскресеньям, как буржуа, квалифицированный парижский рабочий, считавший себя «свободным», «цивилизованным» и живущим только для себя лично, на самом деле так же, как и бельгийский рабочий, находился всецело в умственном плену у буржуазии, и жизнь его посвящена была по сути дела лишь вопросу накопления богатств для капиталистов. Для того, чтобы быть в состоянии заплатить за квартиру, за купленную мебель, за стол, за одежду, за обувь, он должен был работать на заводе с такой интенсивностью, которая выматывала все его силы.

Французская буржуазия с 1848 года применяла очень тонкие приемы борьбы с социализмом. Например, аннулировав обходными путями закон о необходимости предупреждать рабочего при его увольнении за неделю, используя обычай квартирной платы по термам, т.-е. за три месяца вперед, она лишила рабочего возможности, которая имелась у рабочих соседних стран, селиться у завода и отняла у него и те немногие часы, которые у него остаются по окончании рабочего дня, заставив его, как и фламандского рабочего в Бельгии, тратить в день на переезд до места работы не менее двух часов туда и обратно. Этим она удлиняла рабочий день, включая сюда перерыв на обед, до 14 часов. Утомленный чрезвычайно интенсивным трудом в

---

* Среди французских рабочих перед войной становились модным под влиянием анархо-синдикалистов относиться отрицательно к политике. Так как всякая классовая борьба есть борьба политическая, руководство политической борьбой при отрицательном отношении к ней рабочих переходило в руки либеральной и скорее радикально-буржуазной интеллигенции.

течение десятичасового рабочего дня, парижский рабочий уставал еще более, принужденный проводить несколько часов в душной атмосфере метрополитена под землей и в накуренных донельзя вагонах «для курящих» железной дороги и затем трамвая. Вынужденный при поступлении на завод подписать условие, на основании которого он отказывался от существовавшего права по закону отживать на заводе еще неделю при увольнении и которое давало право хозяевам, не считаясь ни с обычаями, и ни с какими моральными и бытовыми условиями, увольнять произвольно рабочих, он не мог рисковать переездом на квартиру к самому заводу, ибо за три месяца до окончания срока терма он мог переменить несколько мест.

Так как многие заводы, как, например, завод Грамма, применяли также воскресный труд, у парижского рабочего при таких условиях не оставалось ни по вечерам, ни по праздничным дням времени читать и учиться. Поэтому парижский рабочий часто поражал меня своим невежеством, особенно, когда дело касалось социалистической теории. Вполне сознательных рабочих, каких я привык встречать среди наших русских рабочих, прошедших школу борьбы, среди парижских рабочих я совершенно не встречал. Мне приходилось сталкиваться с рабочими, называвшими себя «социалистами», представления которых о социализме носили самый туманный характер. Что касается рабочего-марксиста, которого я разыскивал, переходя с завода на завод, как своего рода Диоген, искавший с фонарем среди множества окружавших его людей человека, такового я в течение пяти лет не встретил среди парижских рабочих. Я знал, что в Северной Франции существуют гедисты, значит, марксисты. Но в Париже среди рабочих, сталкиваясь с ними ежедневно, я, к сожалению, марксиста не нашел.

Таков печальный сам по себе факт, проливающий свет на многое, что происходило за кулисами французского рабочего движения. Немудрено, что парижский рабочий, завоевавший благодаря своим революциям одинаковые права по закону с капиталистом вне фабрики, мирился со многим, особенно на мелких предприятиях и мастерских, чего уже не терпел рабочий в России на крупной фабрике.

Низкие потолки мастерских, часто удивительно походивших на узкие, грязные, без воздуха ящики, как их и называли парижские рабочие, недостаточное количество воздуха, полное отсутствие вентиляции и предохранительных от несчастных случаев ограждений на машинах, сверх-

урочные и праздничные работы, необходимость подписывать при поступлении на завод условие, которым уничтожался закон, обязывающий хозяина предоставлять рабочему при увольнении право отживать на заводе недельный срок, — на все это я наталкивался на всех заводах и мастерских, которые мне пришлось переменить за пять лет жизни в Париже.

Так как чрезвычайно тяжелые условия квартирной платы по термам ставили в чрезвычайную зависимость от домовладельцев не только одних рабочих, но и значительную часть мелкой буржуазии и лиц так называемых «свободных профессий», т.-е. интеллигенцию, то домовладельцы возбудили к себе особо острую ненависть среди широких кругов населения.

Была даже организована особая лига борьбы с коршунами, как звали во Франции за жадность владельцев домов *. В борьбе с последними в ходу было даже такое рискованное средство, как переезд с квартиры «à la cloche» **, который выражался в том, что бедный квартиронаниматель, который за невзнос квартирной платы мог по французскому закону лишиться своей мебели, при помощи своих знакомых или членов лиги спускал через окно, часто с седьмого этажа, на веревках и под покровом ночи на улицу свою мебель. Поскольку удавалось обмануть «ведьму», консьержку, поскольку удавалось переместить таким образом мебель за пределы дома, «коршун-домовладелец» уже не имел по тому же закону на нее никакого права.

Конечно, если бы подобная ненависть, какая замечалась к капиталистам-владельцам домов, загорелась в сердцах рабочих по отношению ко всему классу капиталистов, последнему бы не сдобровать.

Но буржуазия зорко следила, чтобы не допустить до ее возникновения, и принимала свои меры. Благодаря последним, несмотря на то, что общие условия жизни парижского рабочего, как квартира и питание, были неизмеримо лучше, чем у русских рабочих, парижский рабочий походил, как мне часто казалось, на своего рода автомат в руках капиталиста.

Особенно это сходство бросалось в глаза утром, когда рабочий приходил на работу. При встречах, когда рабочие здоровались, поражало, что они обладали в эти моменты как бы чрезвычайно малым запасом слов и мыслей.

---

* Vautours.

** Переезд при помощи колокольни.

— Ça va? Ça va-t-il *? — задавал вопрос соседу какой-нибудь рабочий. Иногда говорили:

— Salut **.

Merci, ça va bien ***! — отвечал обыкновенно рабочий.

Сказав эти фразы, которые они привыкли произносить ежедневно, оба рабочие замолкали, как бы не находя больше слов или не в силах подыскать в своей жизни то общее, что могло бы одушевить их разговор. Они оживлялись, когда разговор заходил о выпивке или о женщинах (poules, курицы). Когда тема исчерпывалась, оба стояли молча, наблюдая, как острие резца режет на станке сталь.

— Uingt deux ****! — раздавался сигнал со стороны кого-либо из рабочих на арго парижан, предупреждавший, что показался мастер.

Характерно, что арго, который многие считают языком воров и проституток, все более завоевывал право гражданства среди парижских рабочих.

Разговор на этом кончался. Рабочие разбегались по своим местам и простаивали у станков от утра до обеда, и от обеда до вечера.

К женщинам у многих рабочих замечалось полупрезрительное отношение, как к «курицам».

РАБОЧИЙ РЕСТОРАН «БИСТРО»

Условия квартирной платы по термам приводили как к необходимости тратить много времени на переезд от квартиры до завода, так и к необходимости обедать у «бистро», т.-е. в рабочем ресторане. Так как главной доходной статьей «бистро», т.-е. владельца ресторана, являлось виноградное вино и вообще алкогольные напитки, он внимательно следил, чтобы столовники непременно потребляли за обедом самое малое четверть литра или поллитра виноградного вина.

Попытки рабочих, преимущественно иностранцев, избавиться от обязательства пить ежедневно в ресторане виноградное вино и заменить его молоком, оканчивались лишь тем, что такого столовника сначала подозревали в одной из

---

* Как идет? Идет ли?

** Привет!

*** Спасибо, идет хорошо.

**** Двадцать два! В России рабочие при приближении мастера предупреждали товарищей криком: «Чорт идет». В Льеже бельгийцы на валлонском наречии в таких случаях кричали: «Босс!»

венерических болезней, затем начинали в его молоко самым бессовестным образом подливать воды, и, наконец, в один прекрасный день он находил свое место за столом занятым. Вследствие такого нажима у рабочих развилась привычка потреблять довольно большое количество виноградного вина в течение дня. Многие рабочие-французы выпивали в день не менее двух, а то и трех литров вина и к концу обеда и вечером находились в состоянии легкого опьянения. У женщин-работниц к 30 годам от той же причины начинал краснеть кончик носа. Значительная часть рабочих, кроме виноградного вина, выпивали утром, в обед и вечером после работы у того же «бистро» по рюмке-другой всякого рода алкогольных напитков зеленого, красного, желтого и других цветов, во множестве в различных бутылках занимавших полки огромных буфетов «бистро». Наиболее вредным из них считался «абсент». Приходя на обед к «бистро», тот или иной рабочий, прежде чем заказать то или иное кушанье, требовал виноградное вино. «Эдмистье!» * — кричал обыкновенно один. «Шопин!» ** — заказывал другой. «Литр!» — слышалось с третьего стола.

Питались парижские рабочие-металлисты сравнительно с русскими рабочими хорошо. На обед из нескольких, от 6 до 12 и более, блюд вместе с вином тратилось от одного до трех франков. Собственно в 12 часов дня парижские рабочие «завтракали». Обедом называлось принятие пищи уже по окончании работы, в 6—7 часов вечера. Завтрак, без супа, после мясного блюда несколько порций разных овощей и других блюд, заканчивался острым французским сыром, чаще всего «камамбером», и сладким. Многие требовали еще маленькую чашечку кофе-мокко с рюмкой коньяку. Для возбуждения аппетита заказывали перед завтраком кусочек селедки или сардинку.

Вновь прибывших из России рабочих коробила привычка французских рабочих подставлять собакам «бистро», бегавшим около столов, долизывать те самые тарелки с остатками пищи, на которых они только-что ели.

— Чорт знает, что такое! — ворчали русские. — Как им не противно! Ведь из той же посуды ему самому на другой же день придется здесь обедать. У нас, в России, самый последний мужик не позволит так поганить посуду.

— В кипятке ведь моем мы посуду, — отвечал «бистро», — не беспокойтесь!

В свою очередь «бистро» частенько жаловался мне на наших соотечественников.

---

* Эдмистье — ¼ литра.

** Шопин — ½ литра.

— Вы знаете, мы принуждены будем отказать вашему товарищу от обеда: он у нас разгонит всех столовников, — говорил он.

— В чем дело?— спрашивал я. — Что такое он сделал?

— Да как же! Он не умеет есть за общим столом. Например, стоит на столе солонка. Каждый француз возьмет соль лишь кончиком столового ножа, который, конечно, никто в рот не сует. А ваш товарищ не только берет соль вилкой, после того как совал ее в рот, а еще хуже: он прямо грязными пальцами лезет в солонку. Вы уж научите своего соотечественника, как нужно во Франции кушать за общим столом. А то производит впечатление, что вы, говоря постоянно о социалистической революции, в то же время удивляете нас, французов, такими некультурными привычками, которые еще можно встретить лишь у негров или других подобных дикарей, а никак не среди европейцев, к которым вы себя причисляете.

Вечером я не заходил ужинать в ресторан. Я возвращался усталый, изнемогший от работы в переполненных вагонах «метро» домой, к площади Ренжис.

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ

Славное прошлое французского рабочего, пережитые революции, восстание Коммуны в 1871 году, политическая свобода, участие в общественной жизни, — все это неизбежно самым благотворным образом отразилось на парижском рабочем. Высокие качества французского рабочего признавал в свое время и К. Каутский.

«Еще сегодня, — писал он в 1905 году в № 108 «Искры», — влияют во Франции события Великой французской революции. Если пролетариат этой страны, несмотря на сравнительную слабость своих социалистических организаций, проявляет больше могущества, чем немецкий с его тремя миллионами избирателей, то этим он обязан никак не министериалистской тактике своих вождей, и лишь в незначительной части демократическим формам буржуазной республики, а более всего своим революционным инстинктам, унаследованным от времени господства якобинцев».

Эти превосходные качества французского рабочего сказывались в особенности в уменье отстаивать свое человеческое достоинство на заводе. Большинство парижских рабочих не только не допускало оскорбительного обращения со стороны заводской администрации, на какое ежедневно на-

талкивался русский рабочий в России, но и просто невежливого или пренебрежительного отношения со стороны мастеров.

Французская буржуазия использовала это хорошее их качество, как это ни странно, в свою пользу. Парижский фабрикант вообще менял рабочих на своей фабрике гораздо чаще, чем перчатки на своих руках. Когда мастеру нужно было избавиться от какого-нибудь рабочего, он провоцировал его каким-нибудь пренебрежительным замечанием насчет его работы. Подойдя к верстаку станка такого рабочего, он брал в руки и начинал рассматривать безукоризненно сделанную работу. Затем с презрительной гримасой бросал ее на верстак.

— Что бросаете работу? — недовольно замечал какой-нибудь токарь. — Можете ее бережно положить на место, где она лежала.

— Да разве это работа? Гм! Это не работа. Все испорчено...

— Как! Вы находите, что это не работа, что она испорчена? — вскипал рабочий. — В таком случае, я знаю, что́ вам нужно. Вас давно не называли прохвостом. Так я это вам говорю: вы — негодяй! Пишите расчет. Я ухожу из вашей грязной лавочки, из вашего вонючего ящика.

Только рабочие-иностранцы, пока они не свыкались с французскими обычаями и языком, мирились со многим, чего не мог простить хозяину или мастеру парижский рабочий. Только те рабочие-французы (например, вышеупомянутый чернорабочий, подметальщик полов), которым старость, болезнь, незнание ремесла мешали так скоро, как другим, находить работу, мирились с грубостью мастеров. Но по выражению их лиц можно было заметить, как завидовали они уходящим. Они испытывали страшно сильное желание бросить завод, последовать их примеру. Но, казалось, какая-то невидимая цепь приковывала их в это время к месту и не пускала.

Я с своей стороны, наблюдая эти конфликты, всегда питал надежду, что они примут форму забастовки всех рабочих. Но, к моему удивлению, рабочие не предпринимали никаких шагов в эту сторону. Их станки продолжали вертеться. Сами они оставались около своих машин. Только глаза их внимательно следили за развертыванием конфликта. Видно было, что они симпатизировали уходящему. Когда он, наконец, обходил всех, прощаясь, они жали ему руку, давали совет, где скорее можно найти работу. Им нравилось, что уходящий товарищ сказал мастеру в глаза: «Вы мерзавец!». Некоторые даже спрашивали: «Почему

не набили ему морду?» Этим они ограничились. Их поведение об'яснялось, с одной стороны, сознанием, что товарищ долго не проходит без работы в Париже, а с другой — тем, что они под влиянием буржуазии и социалистов, внушавших им соглашательские методы борьбы, все реже прибегали к забастовкам.

Я помню забастовку на автомобильном заводе Клеман-Байяр (Clément-Bayard) в пригороде Парижа Левалуа-Перре. Инициатором забастовки явилось активное меньшинство — кузовая мастерская (carrosserie). На общем собрании рабочих слесаря, токаря, фрезеровщики — словом, рабочие-механики собственно автомобильных мастерских завода — большинством голосов высказались против стачки. Так как кузовщики решили вполне правильно, что многие голосовавшие против стачки находились под давлением заводской администрации, то решено было забастовку начать.

Кузовщики были более обездолены, чем механики. Они получали заработную плату низшую, чем первые. С виду они казались более серыми. Механики носили котелки, крахмальные воротнички. Кузовщики одевались в костюм более деревенский. Они носили широкие шаровары из плюша, мягкую шляпу с широкими полями и подпоясывались широким красным кушаком. Но они были более революционно настроены. Когда через неделю механики под влиянием администрации, ходившей по домам рабочих, начали работать, они, подождав обеденного перерыва, встретили механиков, выстроившись у входа в завод. Кузовщиков насчитывалось на заводе всего 300 человек против 2 000 механиков. Невзирая на неравенство в силах, смелые кузовщики, засучив рукава, начали избивать подавляющее большинство.

— А, изменники рабочему делу! — кричали кузовщики, нанося увесистые удары тому или иному токарю-металлисту или слесарю. — Так вы работать начали? Так вы оказались способны забастовку срывать? Так вот вам!

Удары посыпались на квалифицированных рабочих. Последние, сознавая себя неправыми, видя моральное превосходство на стороне кузовщиков, кричавших: «Merde! Dégueulas! Vache! Nous vous casserons maintenant les gueules! Nous aurous vos peaux!» *, не защищались. Они старались как можно скорее, без синяков, переломанных ребер исчезнуть с поля сражения. В какие-нибудь четверть часа механики, оставив в качестве военных трофеев в грязи перед воротами завода не менее тридцати котелков, бежали. После этого забастовка возобновилась еще на две недели. На все по-

* Ругательства парижских рабочих. Некоторые из них на «арго».

пытки мастеров повлиять на возобновление работ механики отвечали отказом.

— Начать работать! — восклицали они. — О, нет! Мне моя жизнь дороже. У меня и сейчас болят бока. Кузовщики, наверно, нас камнями или кусками железа лупили...

В виду отказа рабочих начать работу ассоциация хозяев прислала на помощь своему собрату, заводу Клеман-Байяр, целые группы штрейкбрехеров. Кузовщики пробовали применить свою меру воздействия и к штрейкбрехерам. Как и в первый раз, они выстроились у ворот и засучили рукава. Но как только загудел гудок на обед, ворота открылись, и забастовщики сами были атакованы жандармами, бросившимися на них из завода и из боковых улиц. Кузовщики бежали и частью были арестованы. Забастовка оказалась сломленной. Рабочие возобновили работы на прежних условиях.

Другая забастовка, поразившая всех, имела место на заводе Рено в пригороде Парижа Бийянкуре. На этом заводе в течение ряда лет подбирался наилучший в качественном отношении состав квалифицированных рабочих * и выкидывались неспокойные элементы. Завод давал высокую заработную плату, требовал наивысшей производительности труда. Забастовщики ставили условием прежде всего отмену «хронометража», помогавшего предприятию выкачивать последние силы из рабочего и возмущавшего рабочих мелочным контролем каждого их шага на заводе. После борьбы, продолжавшейся около двух месяцев, рабочие возобновили работы на прежних условиях.

СОЦИАЛИСТЫ

Во время всех этих забастовочных движений французские социалисты не только не были инициаторами забастовок, наоборот, они занимали скорее враждебную выжидательную позицию, в лучшем случае играли чисто-пассивную роль.

Социалисты в Париже с первых дней моей жизни в этом городе произвели на меня очень неблагоприятное впечатление. Вскоре после моего приезда, осенью 1911 года, имели место похороны т. Поля Лафарга. Следуя за гробом этого ученика и зятя Карла Маркса вместе с т. Курнатовским **, еще нашедшим в себе силы проводить до могилы одного из самых видных основателей нашей партии во

* Elite.

** См. М. Моршанская. «В. К. Курнатовский»; А. Шаповалов. «В борьбе за социализм», ч. III.

Франции, я поразился малым количеством рабочих, пришедших проводить вождя, всего одним оркестром и одним всего красным знаменем. После красочно обставляемых демонстраций в Бельгии, эта похоронная процессия показалась мне прямо убогой.

— Отчего это так? — спрашивал я т. Курнатовского. — Ведь Поль Лафарг являлся виднейшим марксистом. Неужели после целых десятков лет работы его идеи так мало проникли в рабочие массы? Неужели он им остается неизвестен?

— Эх! — ответил т. Курнатовский. — Издавна так повелось, что французские социалисты отличаются поразительной неумелостью организовать что бы то ни было. На рабочем движении отразился также очень тяжело разгром восстания Парижской коммуны в 1871 году. С той поры как будто не может оправиться от этого поражения французский рабочий класс.

Слушая т. Курнатовского, я шел вслед за похоронной процессией, в которой более половины общего числа участников падало на русских эмигрантов. Из слов т. Курнатовского я узнал, что кровавая расправа буржуазии над рабочими, когда было расстреляно 35 000 рабочих, привела к тому, что на территории Франции не осталось и следов многочисленных социалистических и профессиональных организаций рабочего класса. Упадок духа, причиненный этим поражением, был так велик, что на первом после падения Парижской коммуны конгрессе профессиональных и кооперативных организаций рабочих, через 8 лет, рабочие, находившиеся под влиянием мелкобуржуазной идеологии, высказались даже против социализма. С той поры мелкобуржуазная идеология крепко засела во французском рабочем движении. Она проникает во вновь (лишь через 8 лет) образовавшуюся французскую социалистическую партию и вызывает в последней раскол в 1882 году. Здесь от гедистов, об'единившихся с «коммунистическим союзом» и бланкистами (радикальная с мелкобуржуазным уклоном рабочая партия), отделились так называемые «поссибилисты» (рабочая социал-революционная партия). Гедисты (рабочая марксистская партия) господствовали и усиливались на севере Франции. Поссибилисты, делившиеся на бруссистов (вождь их — Поль Брусс) и аллеманистов (вождь — Жан Аллеман), в лице последних опирались на профсоюзы парижских рабочих и, выдвигая всеобщую стачку, как средство борьбы, переоценивали значение последней, как способа борьбы, исключающего необходимость восстания. За бруссистами шли только мелкобуржуазные элементы Парижа. В свою очередь и ал-

леманисты потеряли влияние на парижских рабочих после образования в конце 90-х годов об'единения профсоюзов в лице Confédération générale du travail. В виду того, что социалисты в конце 90-х годов допустили в своей партии открытую проповедь «сотрудничества классов», они стали терять влияние на парижских рабочих. Сторонниками сотрудничества классов выдвинулись, во-первых, Мильеран, вступивший в 1899 году в буржуазное министерство Вальдека-Руссо, и, во-вторых, необычайно талантливый оратор Жан Жорес, прославившийся своим энергичным вмешательством в дело Дрейфуса. Хотя парижский с'езд французской социалистической партии различных фракций в 1900 году осудил Мильерана и следующий лионский с'езд об'единил партию, марксистское течение не только не могло в партии победить оппортунистов, но даже, наоборот, центральный орган партии «Humanité», основанный Жаном Жоресом в 1904 году, остается под его руководством. Марксисты в лице Жюля Геда, оставаясь только на словах марксистской партией, все более превращаются в чисто-парламентскую партию. Пользуясь всем этим, все более приобретает влияние на рабочих синдикалистская агитация.

— Во всем этом сказывается прокрадывающееся в среду рабочих буржуазное влияние, — говорил т. Курнатовский *, прощаясь со мной у кладбища Пер-ла-Шез. — Я начинаю серьезно побаиваться его. Твои рассказы о бельгийских рабочих, стихийно создававших в 1886 году грандиознейшие стачки, выливавшиеся в восстания, о бельгийских социалистах, глушивших это движение, мои наблюдения в Англии и Австралии и теперь во Франции — все это наполняет мое сердце какой-то тревогой. Несомненно, буржуазное влияние на рабочих, проводимое Мильеранами, Жоресами, может замедлить ход социалистической революции, которая все-таки, хотя, может, и с опозданием, придет неизбежно. Хорошо, что хоть мы в России дали хороший пример. В то время, как Аллеман во Франции ограничивался словами о всеобщей стачке, о которой боялись и мечтать германские социал-демократы, мы после бельгийцев, давших пример всеобщей забастовки в 1886 году, провели в свою очередь ее в жизнь и доказали, что она неизбежно должна вести к восстанию. Скоро и мой труп засыплют могильной землей, как сегодня сделают это с тем, что осталось от Поля Лафарга, и я не увижу радостных дней победы рабочего класса.

---

* Курнатовский умер от тяжелой болезни 19 сентября 1912 года в парижской больнице La Riboisiére. Похоронен он на кладбище Pantin под Парижем.

«Буржуазное влияние, — думал я на митинге на кладбище, который был организован в то время, когда прах т. Лафарга сжигали в печи крематория, — я достаточно наблюдал в Бельгии, где оно держится, усиливается благодаря попустительству социалистов, более всего боящихся революционных выступлений своих рабочих и втайне возлагающих все надежды на возможность установления социалистического строя мирным, не революционным путем. То же самое, что и в Бельгии, наблюдается, очевидно, во Франции, где сторонников революционного метода называют «сектантами», «мечтателями» и где стараются рабочих увлечь фразами о возможности достижения «непосредственных результатов», к которым приведет политика «сотрудничества классов».

Накоплявшуюся в рабочем классе ненависть буржуазия во Франции умела очень ловко разряжать, прибегая к очень простому средству, очень искусно направляя ее преимущественно на рабочих-иностранцев и на соседние страны. Время-от-времени в буржуазной печати возбуждался вопрос о вреде, причиняемом французским рабочим конкуренцией иностранных рабочих, сбивающих заработную плату и ухудшающих положение французских рабочих. Хотя буржуазия была сама наиболее всего заинтересована в притоке иностранных рабочих во Францию, ее представителями в парламенте почти каждый год вносился проект налога на предприятия, пользующиеся трудом иностранных рабочих. Как только рабочие успокаивались, вся шумиха, поднятая по поводу иностранных рабочих, утихала. Вообще французский рабочий воспитывался в заблуждении, что Франция — самая идеальная страна, что порядок в ней и условия жизни — наилучшие, что сами французы представляют собой высшую, самую культурную, цивилизованную расу, что окружающие народы стоят бесконечно ниже их. Отводя ненависть от своей головы, буржуазия ловко направляла ее на голову какого-нибудь соседнего народа, например, немцев, приучая рабочих и крестьян дико ненавидеть их. Воспитанный в самомнении и самодовольстве, французский рабочий не обладал уже духом искания, какой необходим, чтобы выпутаться из той паутины лжи и обмана, в которую его запутывает буржуазия и который ему несомненно был свойственен в революционные эпохи.

Во время империалистической войны буржуазное влияние достигло своей наивысшей точки. Тогда капиталист представлялся мне сидящим где-то высоко и диктующим свою волю. «Ты думаешь, что это черное, — как бы он говорил

тогда рабочему, — но я приказываю тебе думать иначе и считать это белым».

Я лично был свидетелем, как рабочий при содействии социалистов поверил буржуазии, что сделало возможным империалистическую войну.

В стремлении удержать свое влияние на рабочих буржуазия воспитывала их на бульварной, лубочной литературе и кинематографе, отвлекая их от суровой действительности в область абстракции. Одновременно развивалась преступность. Увеличение последней позволяло ей через префекта полиции Лепина требовать усиления применения смертной казни в стране.

Она подсовывала рабочим свои самые реакционные газеты, привлекавшие рабочих своими радикальными названиями: «Свобода», «Непримиримый», «Гражданская война» и т. п.

Как боялась буржуазия во Франции рабочей революции и какие она принимала меры, можно судить даже по романам Марселя Прево *. Когда же рабочий выходил на улицу, хотя бы во время ежегодной демонстрации к «стене коммунаров», буржуазия выставляла против него такие превосходные силы всех родов оружия, что становилось смешно за ее трусость. Когда же рабочий, несмотря ни на что, выходил на улицу с красным знаменем без ее разрешения, она выпускала летучие отряды ** полиции под командой префекта полиции Лепина. «Очистить улицы!» — давал он приказ. Тотчас огромные городовики, приученные к таким уличным битвам, начинали избиение участников демонстраций. Рабочие не оставались в долгу и с своей стороны били полицейских кусками железа, гайками, кастетами. Когда ряды полицейских начинали подаваться, в дело вмешивались огромные кавалеристы республиканской гвардии, начинавшие топтать своими конями демонстрантов. В общем, полиция выходила всегда победительницей. После побоища уносили тяжело и легко раненых с обеих сторон. Полиция этим не ограничивалась. Обыкновенно ярость ее обрушивалась на арестованных на демонстрации. Последних, особенно русских, «крошили в табачный порошок» ***.

Арестованных обыкновенно привозили на допрос в полицию в особом экипаже, представлявшем собой подвижную тюрьму. По обеим сторонам узкого коридора находился ряд ящиков, запиравшихся на замок. Они были настолько узки,

---

* Марсель Прево. «Осень женщины», стр. 190—191.
** Brigades mobiles.
*** «Passage à tadac».

что многих из арестованных полицейские впихивали в них, употребляя большее или меньшее усилие. Так как закон запрещал бить арестованных в арестном помещении и в тюрьме, полиция пользовалась тем, что закон умалчивает о расстоянии в несколько шагов, отделявшем тюрьму от экипажа, привезшего арестованных. На пространстве, которое образовывалось между этим экипажем и входом в полицию, по обеим сторонам прохода выстраивались здоровенные полицейские. Арестованных выводили одного за другим по очереди. Тут и начиналась расправа. Оставшиеся сидеть или, вернее, стоять и ждать своей очереди в своих клетушках вдруг вслед за стуком отворившейся двери слышали страшные крики, проклятия, ругань, сопровождавшиеся глухими ударами. Дело в том, что полицейский сторож, доведя арестованного до выхода из узкого коридора экипажа, вдруг неожиданно давал ему сильный удар ногой в то место, на котором сидят; неожиданно для себя арестованный падал с полутораршинной высоты. Этого и нужно было ждавшим у экипажа полицейским, осыпавшим его, пока он лежал на земле, пока подымался и пробегал расстояние сажени в две, отделявшее его от дверей полицейского управления, ударами кулаков, ног и чего пришлось...

— Ça y est (готово!) — кричал старший, когда заканчивалась эта операция с одним арестованным.

Очередь наступала за вторым, третьим, четвертым и т. д. Но это было не все. Когда полуискалеченный арестованный вне себя от негодования подходил к столу, где сидел полицейский комиссар, ему кто-нибудь из полицейских незаметно, пользуясь его замешательством или возбуждением, подставлял «ножку». При общем хохоте полицейских он падал.

— Что он? Пьян, наверно, — говорил комиссар полиции, — что спотыкается и не стоит на ногах?

После этого начинался допрос, превращавшийся в одно глумление над арестованным. При допросе не били. Если арестованный жаловался, что его только-что перед входом в это помещение жестоким образом избили, комиссар полиции требовал свидетельских показаний по этому случаю. Комедия допроса превращалась опять в трагедию, когда арестованный выходил из полиции, где его опять ждало прежнее избиение, пока он пробегал расстояние от полиции до дверец экипажа. Так как допрос повторялся обыкновенно несколько раз, полиция имела возможность избивать арестованного, сколько находила нужным.

Когда русские товарищи пробовали жаловаться на эти избиения французским социалистам, последние со смущен-

ным видом заявляли, что они совершенно бессильны что-нибудь сделать в данном случае.

— Бросьте это дело, товарищи, — обыкновенно говорили они. — Ничего нельзя предпринять. Никаких ходов вы не найдете. Даже больше: та же республиканская полиция, так жестоко избивавшая арестованных рабочих-французов и ваших русских товарищей, эта самая полиция очень снисходительна к выступлениям католиков, к выступлениям роялистов, так называемых «камло дю руа» (королевских молодцов). Если происходят схватки на улицах у наших рабочих с роялистами, когда последние выходят на улицу, полиция неизменно всегда берет сторону роялистов против социалистов и республиканцев. Это возмутительно, позорно, но ничего пока мы не можем поделать.

Между тем, как все это происходило, я продолжал работать на заводе «Общества Грамма». Утром я вставал в 5—5½ часов. Напившись чаю, который я кипятил сам на газовой плите, применявшейся в Париже, я в 6 часов 15 минут обыкновенно выходил из дома. Не менее 15 минут требовалось мне, чтобы дойти до станции метрополитена «Корвизар» или «Италия». Затем не менее 20 минут проводил я в подземной железной дороге, пока не доезжал до станции «Ботцарис», от которой в 10 минутах находился завод.

Глухой грохот поездов метрополитена, несущихся со страшной быстротой по подземным коридорам, слышался всегда, когда я проходил по улицам над отдушинами подземелий метро. Вместе с шумом поездов, который заставлял настораживаться, когда вы выходили на перрон подземной станции вас обдавал еще тяжелый, очень спертый воздух. По утрам в понедельник, когда поезда в это время дня особенно переполнены рабочими, спешащими на работу по удешевленному тарифу, трудно было дышать. Сдавленный со всех сторон набившимися в вагон рабочими, обдаваемый винным перегаром, которым несло от каждого француза, я едва достаивал до остановки. Когда поезд «метро» выскакивал, наконец, из-под земли и несся на высоте 3—4 этажей над улицами, площадями, вздох облегчения вырывался у меня. Приятно было видеть дома, улицы с движущимися на них людьми, пароход-буксир, тащивший по Сене караван барж, сверкавших в дневном свете, озаренных солнечными лучами. Я наслаждался сверху жизнью и суетой огромного города, свежим воздухом, солнцем, светом, пока поезд не погружался снова, как в открытую пасть чудовища, в подземелье, по которому «метро» развозил рабов буржуазии по парижским заводам и мастерским.

ПЕРВОЕ МАЯ В ПАРИЖЕ

Прошла зима, т.-е. скорее дождливая, холодная осень. Она как-то незаметно перешла в лето. Как не было здесь настоящей зимы, так и нашей русской весны с таянием снегов, с бегущими ручейками, с утренними заморозками, с перелетом птиц, с подснежниками здесь не было. Недалеко от завода на месте прежних каменоломен раскинулся искусственно насаженный большой, очень живописный парк «Buttes-Chaumont» с дорожками, ручьями, холмами, обрывистыми скалами и большим прудом с множеством разведенной рыбы. Всюду росли большие ветвистые деревья. Все цвело и зеленело. Пообедав в ресторане, я бежал сюда, садился на одну из скамей, которых здесь было много, и, отдыхая, любовался лужайками, цветами, деревьями, покрытыми густой, сочной зеленью, множеством уток, гусей и лебедями, важно плававшими по светлой поверхности пруда. Здесь особенно сильно я испытывал тоску по России...

Месяца за два до 1 мая ко мне подошел помощник главного мастера:

— Мы довольны вами, — говорил он. — Работа, исполненная вами, всегда отличается точностью. Мы решили поэтому дать вам другой станок и лучшую работу, на двадцать су в час.

Приближалось, между тем, 1 мая. Никаких приготовлений, даже таких, какие я видел в Бельгии, здесь не замечалось. Еще за неделю Израиль Кольпа и Фурман подходили к моему станку и советовались со мной, как быть, что́ делать 1 мая. Выяснилось, что, как всегда, завод будет работать в этот день.

— Давайте, товарищи, докажем французам, что мы не боимся остаться без работы. Будем праздновать этот день. Что касается меня, я твердо решил, что бы там ни было, не приходить на работу в этот день.

— Хорошо, — ответили товарищи. — Мы тоже постараемся.

Я с удовольствием выслушал их решение, но в нотках их голоса я уловил нечто, что звучало чем-то чуждым русским революционерам, что мне не понравилось.

День накануне 1 мая приходил к концу. Кое-кто из рабочих украдкой, чтобы не заметили мастера, торопливо сбрасывал с себя верхние, надеваемые для работы, синие брюки. Некоторые готовили маленькие ведерки с водой, чтобы опять украдкой за минуту, за две до свистка начать торопливо мыть руки.

— Что завтра, — спросил я соседа, токаря Рода, — будет завод работать?

— А почему нет? Какой завтра праздник? Ах, да, — вдруг вспомнил он, — завтра 1 мая, а вы — русский. Русские почти все революционеры и нигилисты. Здесь Франция, милый мой, а не Россия! Здесь 1 мая работают. Я ведь тоже социалист, но социалист-патриот. Я буду работать. И вам советую приходить на работу. Бросьте вы свою эту пропаганду. Ведь никакого толка из нее не получается, только себе один вред...

— Недавно я слышал разговор про вас, — продолжал он. — Вечером было. Все ушли уж. А я запоздал, одевался. Машины стали. Тихо было в заводе. Каждое слово слышно. Вот слышу на галлерее голоса. Прислушался. Старший мастер говорит помощнику про вас: «Удивительно, как этот русский токарь не может успокоиться: все ведет социалистическую пропаганду». — «Ничего, — ответил помощник, — обмелется и этот, как другие два русские. Те уж замолчали. Пусть брешет — все равно, без толку: никто его, все равно, не слушает». Тут я нечаянно уронил ключ. Он загремел. Они услышали и замолчали. Я решил вам на всякий случай это рассказать. Будьте осторожны с этой пропагандой.

— Спасибо за предупреждение, — ответил я. — Мне вот что хотелось вам сказать. Вы меня уговариваете, чтобы я, русский революционер, не лез во французские дела. Но ведь это дело — празднование Первого мая — не мы, русские социалисты, выдумали. Постановление праздновать этот день принято у вас в Париже в 1889 г. на международном социалистическом конгрессе. Это значит, что это дело скорее ваше чем наше. Вы должны бы радоваться, что мы, русские, являемся такими ярыми сторонниками решений, принятых по вашей инициативе.

— Легко вам говорить! Видали? Никакой подготовки не было сделано. Завтра все придут. Придется и нам поэтому стать к станку. Да что говорить! Вы вот все указываете на германских социал-демократов. Вы говорите: «Вот немцы, это социалисты! Они создали такую могущественную организацию. У них собственные партийные дома, большие залы для собраний». Но почему же они не празднуют 1 мая? Они не решаются в этот день оставить свои фабрики. «Пусть другие бросают работу в этот день, а мы, немцы, свою промышленность не будем разрушать». Знаем мы, где раки зимуют! Не верю я вашим хваленым германским социал-демократам. Скорее вы, русские, совершите революцию, чем они. До свидания!

Выйдя из завода, мы расстались.

На повороте к улице Крыма, ведшей мимо парка Бют-Шомон к станции метро «Ботцарис», стояли и ждали меня тт. Кольпа и Фурман. Усталый, в подавленном настроении, я медленно поднимался к ним в гору по улице Гот-Пуль.

— Ну, как же завтра? — спросили они меня. — Как вы решили: придете на работу или будете праздновать 1 мая? Мы узнали: завод будет работать, рабочие все придут.

— Это позор, — ответил я. — Большинство рабочих совсем не дорожит заводом, старается как можно скорее его бросить, называет его «грязной дырой», жалуются, что здесь мало платят. Где же хваленые социалисты?

— Они поджали хвост, — ответил Кольпа.

— А синдикалисты и анархисты?

— Они на словах только революционны. Ян заявил мне, что будет работать. Он добился положения. Он — мастер инструментальной мастерской. Мы тоже, наверное, выйдем на работу. Один в поле не воин. Мы решили вас предупредить.

— Пусть будет им стыдно, этим французам. Я один не приду на работу. Буду завтра праздновать 1 мая. Вам, товарищи, тоже советую не приходить завтра на работу.

Мы расстались. Оба как будто обещали не выходить на работу. Слабая надежда, как искра, горела во мне, что, авось, они не придут завтра. Меня смущало, что они колебались.

Вернувшись домой, поужинав, я рано лег спать. Я с нетерпением ждал, чтобы скорее наступил следующий день. Мне страстно хотелось увидеть, как пройдет 1 мая в городе революций.

Ночью мне снились опять, как и в прежние годы, улицы, наполненные рабочими. Куда ни кинешь взор, — всюду множество народа. Над ними, как лес, колыхаются красные знамена. Вот я вижу: смело и быстро один, другой рабочий взбираются на строящиеся дома. Они водружают красное знамя выше крыши дома, на самой вершине мачты. Гордо рдеет оно над городом. А вдали встает призрак грядущей грозной для капиталистов и нам, рабочим, так желанной великой революции.

Как заведенная машина, я встаю в 5 часов утра. Сегодня 1 мая. Я бегу к окну. Я жажду увидеть нечто особенное, что говорило бы о пролетарском празднике. Я открываю жалюзи, смотрю... Но улицы носят попрежнему тот же вид. Так же, как всегда, через мостик над товарной станцией круговой железной дороги выходили на работу тряпичники, по мостовой стучали ручные шаретки с хлебом, молоком, прогромыхало несколько ломовиков со своими массивными

лошадьми, запряженными в огромные телеги — tombero, — по круговой парижской железной дороге забегали поезда.

«Все как будто попрежнему, — думал я. — Ничто не напоминает 1 мая».

Чтобы не беспокоить Лизу, я отправился в крошечную кухню. На вспыхнувшем от зажженной спички зеленовато-синеватом пламени газовой печки быстро вскипела вода в чайнике. Я заварил чаю. Обычно утром, вероятно, от переутомления, мне есть не хотелось. Как всегда, я налил крепкого чая, взял в руки книгу и начал читать. Не успел я, как мне показалось, погрузиться в чтение, как что-то подтолкнуло меня поспешно взглянуть на часы. Стрелка показывала 6 часов 10 минут. Обычно в это время я торопливо допивал остатки чая. внимательно осматривал кухню, чтобы удостовериться, заперт ли газ, и, быстро одевшись, спускался по лестнице. Подойдя к двери консьержки, если выходная дверь еще оставалась запертой, я говорил ей: «Cordon, s'il vous plait!» (Веревку, пожалуйста!).

Обыкновенно каждое утро во мне происходила борьба. Так приятно казалось остаться в маленькой кухне. Ко мне постепенно возвращалась вчерашняя усталость. Овладевало желание броситься в кровать, заснуть, выспаться, потом снова приняться за чтение.

Отбросив всякую слабость и желание пойти на работу, я остался дома, сознавая в то же время, что первомайский праздник не удастся в Париже.

В 11 часов утра, зарегистрировавшись, насколько я помню, на Госпитальном бульваре, в отделении профсоюзов. я направился в помещение союза металлистов. Секретарь Рокет и кассир Прост взглянули на меня несколько удивленно, как на редкое явление. Оказалось, что подавляющее большинство металлистов работало 1 мая, за исключением лишь отдельных единиц.

Ни секретарь, ни кассир профсоюза, увидев, что я на деле осуществил постановление интернационального конгресса, не выразили, как мне бросилось в глаза, никакого ни удовольствия, ни поощрения. Лицо кассира Проста, как мне показалось, даже сморщилось. «Опять, — казалось, говорило оно, — этот русский будет безработным (chômeur). Придется ему платить из кассы безработных».

Оба они молча указали мне огромную книгу, где я, как не работавший 1 мая, должен был доказать это своей подписью в рабочее время.

В городе Париже и в окрестностях его, как в обыкновенные рабочие дни, заводы, фабрики, мастерские железных дорог работали. Метрополитен, трамвай, такси не прерывали

движения. Не работали лишь строители домов и землекопы. Принимали участие в праздновании 1 мая те категории рабочих, которые в России являлись наиболее отсталым элементом. В Париже они, наоборот, представляли собой наиболее революционно настроенных рабочих и лучше других организованных. Среди праздновавших 1 мая большой процент падал на российских рабочих.

На другой день, вскоре как я пришел на работу, к моему станку подошел токарный мастер.

— Вы вчера не работали, — сказал он. — Что, вы, наверно, праздновали 1 мая?

— Да! — ответил я. — Я праздновал 1 мая!

— Та-ак! — ответил мастер и ушел от меня.

Вскоре подошел ко мне помощник старшего мастера.

— Здравствуйте! — сказал он. — Ну, скажите, к чему вся эта история с 1 мая? Мы начали вас выдвигать, дали вам хорошую работу на двадцать су в час, а вы что сделали? Вы один изо всего завода не работали в день Первого мая. «Кто не работает сегодня из токарей?» — вчера спрашивал меня директор завода. «Русский», — отвечаю. «Чей это станок пустует сегодня?» — спрашивал его помощник. «Русского», — пришлось ответить, и т. д. Ваш станок, стоявший вчера без движения, когда все работали, мозолил всем глаза. Вы не пришли на работу вчера, вероятно, потому, что вы совершенно не знаете Парижа. В Париже никогда не удаются такие начинания, как маевка. Я сам ведь социалист. С прискорбием я пришел к выводу, что в Париже надо сидеть себе спокойно и не заниматься такими вещами, как участие в маевке. Вот теперь директор распорядился на несколько месяцев вас снять с хорошего станка и перевести на прежний, плохой. Не советую вам я по-дружески в следующий раз праздновать 1 мая. Ведь здесь Париж, Франция, а не Россия. На сколько времени у вас работы начато?

— Пожалуй, на месяц.

— Ну, заканчивайте заказ, а затем посмотрим...

Он ушел. Подошли затем И. Кольпа и т. Фурман.

— Молодец вы, Александр. Мы в последнюю минуту передумали и пришли на работу. Ян усиленно советовал не следовать вашему примеру. А вы на самом деле один на весь завод не работали. По всему заводу шел разговор: «Молодец этот русский, — говорили французы. — Не такая скотина, как мы, которые работаем».

Дотянув всего до 25 мая 1912 года, я принужден был уйти с завода, не найдя предварительно нового места.

ПО ЗАВОДАМ ПАРИЖА

Я пробыл четыре месяца без работы. По совету меньшевика, слесаря Грузского, я направился опять в пригород Парижа Бийянкур, где на берегу Сены расположился знаменитый во Франции автомобильный завод Рено.

В Париже в это время мне были известны два автомобильных завода, ненавидимые рабочими, которые называли их «каторжными работами»*: это вышеупомянутый завод Рено и завод Делайэ на улице Удри, в центре треугольника, образуемого авеню де-Гобелен и бульварами Сен-Марсель и Опиталь.

Завод Делайэ вел своеобразный учет рабочих-металлистов, обозначая различными цветами качественную их оценку, как квалифицированных рабочих, и их партийность и активность, поскольку они оказывались сторонниками крайних левых партий. Такой же учет, по всем данным, вел и завод Рено.

Заводы эти выплачивали по высшим ставкам, но требовали наивысшей производительности труда от рабочих. На этих заводах происходил своеобразный подбор рабочих. Удерживался только так называемый «элит» рабочего класса, т.-е. лучшие, наиболее обученные и хладнокровные рабочие. Обыкновенно так складывалось, что при своих высоких профессиональных качествах, в которых они обгоняли среднюю массу рабочих, они далеко отставали от последней в смысле сознательности и участия в борьбе рабочего класса.

Давая максимум производительности труда, хорошо зарабатывая, легко находя новую работу, не испытывая на себе той грубости мастеров, той тяжести капитала, которые давят обыкновенного, среднего рабочего, получая от жизни максимум благ, доступных для рабочего, они не имели стимулов, толкающих рабочего в движение, заставляющих его задуматься о своем положении. В лучшем случае это были рабочие, поддерживающие социал-демократов. В худшем — это те рабочие, о которых Ленин писал, что они были подкуплены буржуазией.

Особенностью завода Делайэ было то, что он еще в 1912 году сократил до минимума простой станков. Еще за два-три дня до окончания рабочим партии работы мастер присылал ему чертежи новой работы, приспособления к ней и сырой материал. Как только оканчивалась старая работа, рабочий без перерыва тотчас же начинал новую. Для достижения всех этих результатов требовалась высокая организа-

---

* Travaux forçaS.

ция производства на заводе. Какое значение она имела для предприятия, видно из того, что когда во время империалистической войны умер контрометр, применивший ее, завод в честь умершего не работал в день его похорон.

Разумеется, эти заводы заботливо охраняли себя от неблагонадежного элемента. Много раз, когда я бывал безработным, что случалось впрочем довольно часто, я делал попытки проникнуть на эти заводы, но безуспешно.

Мне бросилось в глаза, что в течение 5½ лет, прожитых мною в Париже, на металлообрабатывающих заводах не знали борьбы за повышение расценков. Наоборот, на автомобильных и позднее на аэропланных заводах, где изготовлялись авиационные моторы, все время непрерывно наблюдалось систематическое понижение расценков. Последние снижались по нескольку раз в течение года. Что меня еще более удивляло, что одновременно с этим росла денежная заработная плата. Так, на заводе Клеман-Байяр с 8 франков в день заработная плата выросла сначала до 9 франков, затем до 10 франков, наконец, до 11 франков и во время войны дошла во многих местах до 20 франков и выше (к 1917 году).

Так как темп движения рабочих оставался прежним, и рабочие, производя много больше, не бегали, сломя голову, по заводу, не покрывались при этом пóтом, я долго не мог понять причины этого явления.

В конце-концов, мне удалось выяснить, что непрекращающееся понижение расценков при одновременном росте заработной платы оказывалось возможным при постоянных улучшениях не самого токарного станка, а при изобретении только все новых, лучших для той или иной работы на нем часто пустячных приспособлений.

Что касается работоспособности французских рабочих, то о ней упоминает и Салтыков-Щедрин в рассказе «За рубежом». Его поразило, как «гарсон» (коридорный в гостинице) легко, свободно и быстро один убирал комнаты большого отеля.

Жены некоторых наших товарищей, приглашавшие француженок, как «femme de ménage»* для уборки квартиры, всегда поражались, как они, одетые, как всегда, с изяществом и в корсете, ту работу, на которую, по их расчетам, нужно было затратить не менее чем 5 часов, успевали окончить в 2—3 часа.

Разница в психологии русского рабочего-марксиста, попавшего в Париж, и психологии хорошего рабочего-фран-

---

* Femme de ménage — приходящая на дом прислуга.

цуза заключалась в том, что ум первого был постоянно занят вопросами общих проблем рабочего класса, в то время как второй, постоянно думая, как бы больше заработать и получить больше жизненных благ лично для себя, был занят разрешением вопроса об улучшении деталей производства.

Для первого работа его ума, его пытливость, стремление схватить в положении рабочих самое существенное и главное не только не давали ему никаких личных выгод и преимуществ, а, наоборот, навлекали на него одни преследования и гонения. Увлечение общими вопросами не давало также ему возможности усовершенствоваться в своей профессии. Видя себя гонимым, зарабатывая меньше, чем хорошие рабочие, он еще более озлоблялся. Связывая свою судьбу с судьбой самых угнетенных слоев рабочих, он еще с большей энергией бросается на борьбу с капиталом.

Обойдя заводы Пюто (Puteaux), Сюреня (Suresnes), побывав в Сен-Дени (Saint-Denis), Курбевуа (Courbevoia), Булони (Boulogne), однажды я приехал на трамвае на знакомую уже мне и многим рабочим улицу Пуэн-дю-Жур (улица Рассвета) в Бийянкуре (Billancours). Везде я встретил отказ. Я не питал никакой надежды на успех и здесь, на заводе автомобилей Рено (Renault). Лишь по инерции я пришел сюда. Здесь всегда стояла толпа безработных, человек до ста. Из этих ста могли получить работу лишь один или двое. Поэтому все толпились у входа в бюро завода. Когда вдруг открылась дверь заводской конторы, очередь, которую образовали безработные, нарушилась благодаря высокому и здоровенному фламандцу. Испугавшись, что он останется без работы, он, работая локтями, пробрался к самому входу. При этом произошла свалка, замешательство и драка между фламандцем и не менее здоровенным нормандцем. Так как внимание всех было отвлечено дерущимися, я незаметно для себя очутился у дверей. Выскочивший на шум конторщик, пустив меня и еще троих, запер за нами дверь. По примеру других, я снял шапку и стоял перед конторщиком, ожидая своей очереди. Снаружи продолжали слышаться крики и раздаваемые друг другу глухие удары и оплеухи.

— Ты скотина! — кричал нормандец. — Я тебе набью морду. Я сдеру с тебя шкуру.

— God verdoem! — огрызался по-фламандски его противник, нанося, в свою очередь, основательные удары.

Конторщик, прекратив запись, подскочил к телефону и стал звать по случаю драки полицию. Быстро явившиеся ажаны (городовики) прекратили шум и драку, арестовав дерущихся.

Конторщик, возобновив запись в книгу желавших получить работу, записав и меня, вдруг, к моему удивлению, сказал:

— Завтра, к семи утра, на пробу в мастерскую Пфеффера.

Пфеффер, немец по происхождению, считался у рабочих самой «злой сторожевой собакой хозяина» из всей своры мастеров завода.

После долгих исканий работы, найдя последнюю, я давал себе слово не начинать пропаганды тотчас по вступлении на завод. Особенно нужно мне было воздержаться от нее на заводе Рено. Но удержаться от нее было выше моих сил. На второй уже день многие рабочие, окружившие мой станок, знали, что я — социал-демократ * и революционер. Так как французские рабочие не привыкли к конспирации и так как на заводе были «языки», все было, несомненно, передано мастеру. Это обстоятельство, вероятно, сыграло немалую роль в моем увольнении.

Хотя я сдал пробу и проработал неделю, Пфеффер, придравшись, что я заработал на медных втулках не двадцать су в час, а всего четырнадцать су, заявил, что меня завод рассчитывает. До последней минуты я еще надеялся, что мне удастся удержаться на заводе. Но еще накануне расчета ко мне подошел подосланный Пфеффером рабочий и сказал:

— Вас не оставят здесь!

Очевидно, Пфеффер хотел, чтобы я сам ушел.

— Вы можете уходить, — услышал я от Пфеффера на другой день.

— Но почему? Работа моя исполнена точно по чертежу и калибрам.

— Мы не можем оставить рабочего, который не сумел выработать двадцать су. Мы делаем снисхождение молодым, из которых, можно надеяться, выработаются хорошие рабочие. А вам уже за тридцать, у вас должен быть опыт. Очевидно, вы недавно только начали учиться токарному ремеслу. А если вы и знаете дело, но медленно работаете, значит, вы больны. Нам больных рабочих не нужно. До свидания! Мне некогда с вами разговаривать.

Огорченный неудачей, я возвращался домой. Я вышел к воротам Сен-Клу. Пройдя валы и рвы парижских укреплений, я подошел к круговой железной дороге, пассажирские и товарные поезда которой бегали внутри кольца укреплений кругом Парижа. Я сел в один из них. Ежедневно от парка Монтсури я в таком поезде утром ездил на работу до станции Сен-Клу. (Подобная железная дорога, но еще бо-

---

* Большевики называли себя перед войной социал-демократами.

лее удобная, по которой в праздники, когда бывает много пассажиров, каждые две минуты ходят поезда, пересекающие город в разных направлениях, имеется в Берлине.) Быстро выскакивают пассажиры, когда поезд останавливается на станции, новые пассажиры так же быстро садятся в многочисленные двери вагонов, и поезд снова несется дальше, бегая кругом Парижа.

Подавленный неудачей, происшедшей на заводе после такой долгой безработицы, я машинально считал станции, мелькавшие передо мной. Но вот показались деревья парка Монсури. Они рассажены так, что на миг кажется, что дорога идет в просеке среди бесконечно большого леса. Я всегда вспоминал при этом Россию, ее леса, пространства, когда приближался к этому месту, когда стоял на дебаркадере или когда смотрел сверху с мостика над железнодорожной линией. Мысли мои тогда уносились далеко туда, на Север...

Но на этот раз мне было не до того. В подавленном настроении я не заметил, что поезд, достигнув дебаркадера, еще продолжал двигаться, — мне показалось, что он остановился. Я толкнул дверь, открывавшуюся наружу, и, спустившись на ступеньки вагона, шагнул, как мне показалось, на плиты дебаркадера. Тотчас все закружилось в моих глазах, я перевернулся несколько раз в воздухе и упал на каменные плиты. Из вагонов послышался смех, укоризненные крики. Ко мне на помощь спешно подбежал кондуктор. Он удивленно взглянул, заметив, что я встаю без переломанных ног и не жалуюсь на переломанные ребра и руки.

— Ну, и счастливо вы отделались! — заметил он мне. — Вас, я видел, подбрасывало, как мячик. Вы кувыркались в воздухе, как акробат. Да, под счастливой звездой вы родились! Так-таки у вас ничего не поломано? — спросил он недоверчиво. — Может, сгоряча не чувствуете? Ну, до свидания. В следующий раз будьте осторожней!

Он побежал к поезду, который, свистнув, снова несся дальше. Я, ощупав ноги, руки и чувствуя только боль от ударов головой о столбы навеса, вспомнил, что точно так же я кувыркался, выскочив из поезда на всем ходу в Екатеринославе в 1904 году. Вспомнив затем слова кондуктора, что я рожден под счастливой звездой, поняв мгновенно, от какой большой беды я избавился, так счастливо отделавшись при падении из поезда, я быстро утешился. Испытывая сильную радсть, что я могу итти на собственных ногах, что я не лежу в больнице с переломанными ногами и руками, что легко могло случиться при таком падении, что иду по улице Ринжис мимо пустырей, мимо строившихся домов, к углу улиц Ринжис и Бобийо, где я жил. Я радовался, что

я жив, что вижу голубое небо, слышу крики ломовиков «гий» на лошадей, тащивших большие телеги томберо, приспособленные для быстрой разгрузки. Я поднялся по лестнице мимо удивленной консьержки, увидевшей меня в неурочный час, днем, вернувшимся с работы.

Я решил, не огорчаясь неудачей, снова немедленно начать поиски работы.

Не всем русским рабочим, особенно только-что приехавшим в Париж, удавалось сравнительно еще скоро и легко, как мне, находить работу. Незнание языка, ремесла, незнакомство с местными условиями приводили к тому, что многие русские рабочие более чем по полгода находились без работы.

Один потемкинский матрос, бывший судовой повар, дошел до того, что питался испорченной рыбой, которую ему удавалось добыть на базаре и которую он жарил на минеральном машинном масле. Особенно долго оставались без работы те из русских рабочих, которые не принадлежали к числу политических эмигрантов. Некоторым из них приходилось ночевать даже в пустых баржах на Сене и в тому подобных местах.

Кое-кто из них с выражением ужаса на лице рассказывал, как им удалось совершенно случайно избежать ловушки, расставленной для них вербовщиками в своеобразное войско, созданное французской буржуазией для завоевания новых колоний и для усмирения восстаний туземцев, в так называемый «иностранный легион».

Безработные, завербованные в состоянии опьянения, затем самые страшные преступники, которым иначе грозила бы смертная казнь и которым поэтому совершенно нечего было терять, авантюристы, всевозможные искатели приключений составляли кадры этого войска.

В колониях Азии и Африки, где продолжалась так называемая «pénétration pacifique» *, т.-е. постоянная война с туземцами, которых постоянно покоряли и также постоянно усмиряли, все время французское правительство вело войну. Самые страшные убийцы, попав в это войско, получали там право убежища, но принуждены были в течение 5 лет вести непрерывную войну в раскаленных пустынях и оазисах Африки. Можно себе представить, как это войско относилось к покоренным туземцам.

* * *

Лишь через месяц, в конце сентября, я нашел работу в городе Левалуа-Перре на автомобильном заводе «Клеман-Байяр».

---

* Pénétration pacifique — мирное проникновение.

На этом заводе я встретил поляка Дмовского.

— Вы — русский? — обратился к нему, указывая на меня, токарный мастер. — Помогите вашему соотечественнику ориентироваться здесь.

— Прежде всего, я не русский, — ответил гордо Дмовский. — Я — поляк. Но новому товарищу помогу.

Дмовский представлял собой маленького, белокурого, очень способного, с очень развитым самолюбием рабочего. Не решившись сразу приехать из Варшавы в Париж, где, как он слышал, на заводах очень высокая производительность труда, он сначала не менее года проработал на одной автомобильной фабрике на севере Италии и лишь после этого решился приехать в Париж. Здесь на этом заводе мастер открыто протежировал ему и намечал его в свои помощники.

Дмовский был членом партии ППС *. Как он, так и все рабочие-поляки, которых я встречал в Сибири и за границей, будучи выше в культурном отношении, уступали нам, русским рабочим, в знании теории революционного марксизма.

Я ему понравился. Он, видимо, в первый раз встретился с русским рабочим.

Знакомство со мной, видимо, не принесло пользы Дмовскому в смысле карьеры. Он проводил все время со мною. Между прочим, меня скоро и здесь все узнали как социалиста. Увлекшись разговорами у станка Дмовского, я позабывал свой станок, пущенный «самоходом». Три раза случилось, что, придя к нему, я находил его сломавшимся. Два раза мастер не обратил на это внимания, на третий рассердился и сказал:

— Если в третий раз сломаете станок или испортите работу, придется, видимо, нам расстаться.

Вскоре мне на самом деле пришлось бросить этот завод.

Переходя таким образом с места на место, я успел переменить семь заводов. Обыкновенно я или сам уходил, или меня выбрасывали как социалиста, придравшись к какому-нибудь пустяку, к недостаткам в работе, которые всегда при желании можно было найти у каждого рабочего.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

События шли, между тем, к своему логическому завершению. Как во время Наполеона I грандиозная военная ма-

---

* Уже не менее шести или восьми лет он состоит членом коммунистической партии Польши.

шина, созданная из его армий, требовала применения ее к войне, как необходимого следствия из общей системы, пока блестящие победы под Аустерлицем в 1805 году, под Иеной в 1806 году, под Фридляндом в 1807 году, под Ейлау в 1807 году, под Екмулем в 1809 году, под Ваграмом в 1809 году не закончились поражением в России в 1812 году и полным разгромом под Ватерлоо в 1815 году, так и в это время столкновения в Марокко, события в Сербии, военные парады и прогулки по улицам Парижа, заведенные Мильераном, введение трехлетней военной службы во Франции, — все говорило, что что-то затевается. Во всей Европе гигантские военные заводы, влиятельные милитаристские круги, обладавшие колоссальными денежными средствами, обрабатывали в интересах войны общественное мнение. Они с необыкновенной ловкостью раздували недоверие французского рабочего к немецкому рабочему. Мне бросилось в глаза, что рабочие, даже очень, с французской точки зрения, сознательные, проникались, как ядом, этим недоверием к германским социал-демократам и рабочим.

— Мы не верим им, — говорили мне знакомые рабочие-французы. — Трудно нам на них положиться. Если начнется война, они ее, наверное, примут.

— Пустое! Ведь такой мощной организации рабочих, какую создали германские социал-демократы, еще мир не видел, — возражал я.

— Ну, так что же? Одно дело — склонность к коллективным началам и другое — стадность. Но странное дело, как будто грандиозная рабочая организация в Германии это не мощная армия, спаянная сознательной дисциплиной, а как будто это колосс на глиняных ногах. Это люди, привыкшие к казарменному режиму. Еще неизвестно, кто дороже германскому социал-демократическому рабочему: Карл Маркс или кайзер Вильгельм.

— Из чего вы все это заключаете?

— Наши дезертиры, не желавшие служить в казарме, и бежавшие в Германию, насмотрелись там чудес.

— Что, например?

— А вот. Придешь, говорили они, к кому-нибудь из социал-демократов и вообще из рабочих на квартиру и видишь: на стенах висят портреты Карла Маркса, Бебеля, Фридриха Энгельса, Либкнехта. Это хорошо, — кто против этого станет спорить? А вот нехорошо, что тут же можно открыть, на той же стене или где-нибудь на другой стене, непременно портреты — кого? как вы думаете?

— Кого же?

— Отто Бисмарка и Мольтке и кайзера Гийома. Ну,

какие же это революционеры и какое можно питать доверие к их миллионам голосов, если они находятся под обаянием тех, кто вел победоносную войну против Франции? Можем мы надеяться, что они не пойдут против нас? Очень трудно на это надеяться. Это социал-демократы и в то же время какие-то кайзеристы.

— Не ошибаетесь ли вы? — отвечал я. — Если германские социал-демократы не заслуживают доверия, то кто же может его заслуживать? Если на германских социал-демократов нельзя положиться, то на кого же? Ведь это же немцы, члены германской социалистической партии, создали самую революционную теорию, какая когда-либо существовала. Ведь в лице Карла Маркса и Фридриха Энгельса германская социал-демократия уже победила буржуазию в теории, доказав, что социализм не есть утопия, что установить его возможно. Раз возможно его установить, значит, возможно и победить буржуазию.

— Все это так. Одно дело — вы, русские социалисты. Вы — революционеры. Мы питаем к вам доверие, хотя вам еще до сих пор не удалось сделать то, что французам удалось сто с лишним лет назад. Другое дело — германские социал-демократы. Ведь существуют признаки, по которым можно судить о человеке. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. По портретам в вашей квартире или комнате тоже можно судить, к кому обращаются ваши мысли, кто владеет ими. Если у вас портреты артистов, музыкантов, людей науки, значит, вы любите театр, музыку или науку. Если у вас иконы, это доказывает, что вы сторонник религии. По всему можно судить, что́ вас волнует и чем вы живете. Но если вы клянетесь Карлом Марксом и не можете расстаться с портретом Бисмарка, Мольтке и императора Вильгельма, то вы недалеко ушли от буржуазии, ставящей в каждом городе Германии памятники Бисмарку и Вильгельму. Можно ли на вас положиться? Трудно. Вот и все, что я хотел сказать о германских социал-демократах.

Что я ни говорил в защиту германской социал-демократии, на которую мы, русские социал-демократы, возлагали самые большие надежды, мой знакомый француз оставался на своем. Он соглашался, что германская социал-демократия ведет за собой массы, что она стремится к социалистическому строю. Но выходило как-то, что одновременно она, в лице ее многих членов, не освободилась из-под влияния кайзера, которое настолько велико, что эти рабочие социал-демократы даже помещают на стенах своих комнат его портреты.

С декабря 1912 года по июль 1913 года в Париже жил

наш товарищ Пятницкий. На его лице, когда он разговаривал с товарищами, всегда играла радостно-приветливая улыбка. Узнав, что он часто и подолгу бывал в Германии и хорошо знает германских рабочих, и в особенности германских социал-демократов, я обратился к нему за раз'яснениями моих недоумений по отношению к немецким социалистам и рабочим. Товарищ Пятницкий опроверг все эти слухи, как своего рода «злостное измышление» врагов рабочего класса.

ТРОКАДЕРО

В газете Жана Жореса, органе французской социалистической партии, «Humanité», было напечатано, что в Париже в зале Трокадеро хор германских рабочих социал-демократов из города Дюссельдорфа исполнит германские народные песни. При этом указывалось, что префект города Парижа разрешил выступление германских социалистов, взяв с них слово, что они обязуются не петь революционных песен и не выйдут из согласованной с полицией программы.

В указанный день в огромном зале Трокадеро собралась почти вся русская эмигрантская колония. Пришло много французских социалистов и вообще французских рабочих — социалистов и синдикалистов, анархистов.

В указанный час, точно минута в минуту, на обширной трибуне Трокадеро появился большой, человек в двести, хор германских рабочих.

Взоры всех присутствующих впились в лица и в фигуры появившихся на сцене. Многие, я в том числе, видели лишь впервые в лице их новую общественную силу — представителей революционной партии, которой, как мы, русские марксисты, были уверены, самой историей предназначена завидная участь первой нанести сокрушительный удар существующему лживому капиталистическому обществу, смести с лица земли кайзеризм, полицейщину, милитаризм, религию и самую основу всего этого — капитализм.

Но внешний вид их на меня и, наверно, на многих произвел немного странное впечатление. Они не были похожи на пролетариев, страдающих и гибнущих в условиях капиталистического общества. Одеты они были все в сюртучные пары и блестящие накрахмаленные тугие белоснежные воротнички и манжеты. Вид у большинства был здоровый, цветущий. К довершению всего все они одели белые парадные перчатки. Производило впечатление, что живется им в Германии очень недурно.

— Красные-то щеки они нагуляли, — проговорил один из русских товарищей. — Старик Либкнехт, кажется, этого

желал, но посмотрим, красные ли они по своим поступкам и являются ли они революционерами. Больно вид у них мещанистый, и они удивительно похожи на лакеев из ресторана.

— Типун вам на язык! — проговорил т. Грузский, меньшевик, боготворивший германских социал-демократов. — Вот попросим их спеть «Интернационал», увидите, как они споют.

— Да ведь запрещено же полицией,— возразил кто-то.— Не станут они петь «Интернационал».

— Ну, тогда весь социализм их гроша ломаного не стоит, — крикнул один большевик.

Наконец, гости из Германии запели. Красивые стройные звуки раздались под сводами огромного зала, овладели его пространство и слушателями. Все, затаив дыхание, слушали; хор германских рабочих производили впечатление чего-то необыкновенно стройного, мощного и как бы указывал на мощь и стойкость германского коллектива. Долго исполняли они немецкие народные песни.

— Что-то они не поют «Интернационала», — сказал один наш товарищ, обращаясь к Грузскому. — Нехорошо это. Плохое впечатление произведет.

— Да ведь они дали слово, — возразил один меньшевик. — Неужели слово такой партии, как германская социал-демократия, не должно быть свято? Какое уважение можно ожидать к ней от префекта полиции Лепина, если представители ее не исполнят данного ими слова?

— Да кому слово-то они дали? Главной полицейской собаке во Франции, одному из буржуазных псов, префекту полиции Лепину. Разве может итти речь, чтобы держать это слово? Наоборот, если парижские рабочие-французы попросят их изменить слову, данному одному из их злейших врагов, устраивавших над ними знаменитый «пассаж а таба», и попросят их спеть хотя бы всего один раз «Интернационал», они не должны отказывать. Они должны преследовать не ту цель, чтобы быть во что бы то ни стало лояльными по отношению к французской полиции и считаться с тем, что подумает о них Лепин, префект полиции, а дать доказательства парижским рабочим, что германские социал-демократы — революционеры и не побоятся за неисполнение обещания, данного полиции, быть высланными из Франции или арестованными.

— Тише! Вы мешаете слушать, — раздались голоса.

— Напишите им записку, — обратился один товарищ к рабочим-французам, — попросите их на самом деле спеть «Интернационал».

Записку от имени группы собравшихся написал один из русских, знавший по-немецки.

— Не будут они петь «Интернационал». Они никогда не решатся нарушить запрещение, исходящее от полиции.

— Ну, я все-таки думаю, что они, наконец, к концу своего концерта, споют «Интернационал», — защищал германских социал-демократов меньшевик Грузский.

— Нет, не верю я этому. Видно, что вы не знаете немцев: им легче дать себе отрубить руку, чем пойти против полиции, особенно в чужой стране. Затем у них замечается как гипертрофия порядка, так и гипертрофия дисциплины. Как склонность к порядку принимает у них уродливые формы, так и склонность подчиняться до конца дисциплине носит такой же характер. Раз они постановили не петь, они ни за что не станут петь «Интернационал». Вот увидите! — возражали скептики.

Германские социал-демократы продолжали, между тем, на сцене петь. Собравшаяся публика им живо аплодировала. Программа стала приходить к концу. Наконец, они кончили, замолчали. Парижские рабочие напряженно ждали, что они вот-вот запоют «Интернационал». С неменьшим нетерпением ждали и мы, русские.

Один француз не вытерпел и крикнул: «Спойте напоследок «Интернационал», пожалуйста!». Немцы не обратили на это внимания. Один русский студент повторил эту просьбу по-немецки. Немцы молча складывали свои музыкальные инструменты. Публика ждала «Интернационала», как выражения акта международной солидарности, как проявления естественного революционного чувства у рабочих, ждала обычного в подобных случаях вмешательства полиции, скандала, всего этого, после того как раздались со стороны парижских рабочих просьбы спеть «Интернационал» Но немецкие социал-демократы молча, как будто безучастные ко всему, что происходит кругом, стали расходиться. Первым повернулся к выходу их руководитель, за ним двинулась вся их масса.

С разочарованием, недоумением и даже презрением смотрели на них французские рабочие и русские революционеры. С тяжелым чувством выходил и я.

— Эх, Карлы Ванычи! — с презрением произнес, вздохнув, один питерский рабочий.

— Настоящие Карлы Ванычи! — засмеялся другой.

— Они не похожи на революционеров, — говорили уходившие, спускаясь по лестнице.

— Они разочаровали нас... — говорил выходивший французский рабочий. — Поют-то они хорошо; но как-то они будут действовать?

— Да, не того ожидали мы от германских социал-демократов. Они похожи на людей, тугих на революционное действие, слишком осторожных для решительных поступков. Они производят впечатление людей, впитавших в себя в течение десятилетий, следовавших за исключительными законами, привычку действовать лишь с разрешения полиции,— слышал я, как говорили выходившие из огромного зала русские товарищи.

Я тоже вышел на площадь Трокадеро. Солнце уже зашло. Вместе с гаснущим закатом гасла у многих вера в революционную мощь германской социал-демократии, и, как наступившая ночная тьма, заползало недоверие к ней.

* * *

Время-от-времени в Париже в больших залах и на пустыре Сен-Жерве-де-Пре под Парижем устраивались митинги. На одном из них — против опасностей, которую представляла собой начавшаяся балканская война, — участвовала парижская секция большевиков. Выступали Вандервельде, Жорес и от германских социал-демократов Шейдеман. Густав Эрве в это время, кажется, еще сидел в тюрьме за свои антимилитаристские выступления. Выпущенный из тюрьмы, он еще до войны начал терять свою непримиримость к буржуазии. Анархо-синдикалисты на одном публичном выступлении Эрве выступили с обструкцией, окончившейся стрельбой из револьверов. Ряды противников войны таким образом редели, и самым непримиримым из социалистов во Франции по отношению к войне казался Жан Жорес. Его мощный голос был бы услышан массами, если бы он на самом деле выступил против войны.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Как в Льеже, где я все время находился в заграничной организации нашей партии, так и в Париже, тотчас по приезде туда, я направился на собрание группы большевиков, называвшейся «Парижской секцией заграничной организации РСДРП(б)». Большевики в Париже собирались в верхнем отделении кафе по авеню д'Орлеан, № 11. Поднявшись по узкой винтовой лестнице во второй этаж, в маленькую, очень просто меблированную комнату, я увидел Владимира Ильича с Надеждой Константиновной. Мне бросилось в глаза, что вокруг него можно было насчитать всего человек двенадцать-шестнадцать, не более.

Так как зал сдавался при условии, чтобы каждый пришедший заказал в буфете у хозяина кафе кофе или какой-нибудь другой напиток, что возмещало плату за помещение, то каждый из являвшихся на собрание парижской секции большевиков требовал себе кофе, лимонад, пиво или еще что-нибудь, сейчас же уплачивая за напиток.

Из товарищей, членов секции большевиков, я помню Илью Моисеева (Зефира, Джапаридзе), Котова, Плаксину, Чернова-Гречнева, Семашко, Владимирского (Камского), Исаака Раскина, полуинтеллигента, работавшего со мной в городском районе в Харькове, Морозова Михаила Владимировича, Морозову Аполлинарию Владиславовну, Кузнецова-Сапожкова Николая Васильевича, Гоппер Серафиму Ильиничну («Наташу» по Екатеринославу), братьев Беленьких Абрама и Гришу, Инесу Арманд, Антонова-Бритмана, Эллека Оскара Генриховича (Веррия), Семена Шварца (в Париже до 1910 г.), Захара Бреслава, Размирович, Трояновского.

В этой маленькой, крошечной группе, как в капле воды, отражались все вопросы партийной жизни того времени. Тов. Ленин никогда в это время не произносил длинных речей. Он высказывался сжато, содержательно и всегда строго-логично. В малом количестве слов у него всегда находилось чрезвычайно много ценных мыслей. При этом он говорил просто. Не то замечалось у некоторых интеллигентов и полуинтеллигентов, выдававших себя всегда за рабочих. Так, т. Ч. всегда произносил речи «длиною в двадцать верст», как острили некоторые товарищи. Эти речи большей частью были пусты и бессодержательны. Автор их уносился потоком своего многословия так далеко, что часто никак нельзя было понять, о чем он собственно говорил и что́ хотел сказать. Другой товарищ, Исаак Роскин, всегда подражал в своих речах Жану Жоресу. Выступая постоянно левее т. Ленина, он упрекал последнего в «излишней умеренности». Кроме этих двух товарищей остальные на выступлениях парижской группы большевиков говорили просто, кратко, стараясь, как и т. Ленин, вкладывать в короткую речь больше содержания.

Владимир Ильич очень снисходительно относился и к первому и ко второму товарищу. Он все-таки одергивал первого, когда тот уносился в слишком далекие дебри, и второго, когда последний загибал слишком влево. Надежда Константиновна почти никогда не выступала, или выступала сравнительно редко.

1911 год был годом самым тяжелым, потому что в это время от нашей партии очень многие уходили, и, с другой стороны, он представлялся годом переломным, ибо уже

в 1912 году началось оживление в революционном движении в России после происшедшего 17 апреля массового расстрела рабочих на реке Лене.

Упадок духа в массах особым образом отражался и на известной части неустойчивых товарищей, на которых на всем протяжении революции заметно сказывалось настроение масс рабочих. Если у последних замечался под'ем, они были революционно и по-большевистски настроены. Когда замечался упадок настроения в массах, — и они в свою очередь впадали во власть уныния.

Но накануне оживления, начавшегося в 1912 году в рабочем движении, и под'ема настроений в рабочей среде, позволившего поставить в Питере большевистскую газету «Звезда», заметился исреди эмигрантов сдвиг влево; число членов парижской секции начало возрастать. Ряд товарищей, в том числе Александр Шляпников, направился на подпольную работу в Россию.

Упадок рабочего движения в 1911 году, закрытие полицией профессиональных союзов, ущемление полицейскими мерами рабочей печати, возвращение к старым порядкам на заводах и фабриках наряду с разочарованием русской интеллигенции в русском революционном движении, начавшимся еще со времени выхода сборника «Вехи» в 1909 году, с ростом империалистских тенденций у либеральной буржуазии, — все это сказывалось в настроениях русской колонии в Париже и других городах Западной Европы.

На первом же публичном реферате т. Ленина, устроенном с целью сбора денег, на котором я присутствовал, собравшаяся публика, состоявшая преимущественно из евреев-ремесленников, малоустойчивых по своему социальному положению, затем из студентов, среди которых в то время очень мало насчитывалось сочувствовавших нашей партии, бешено аплодировала нападкам Г. Алексинского на Ленина. Алексинский спекулировал своим мнимым радикализмом. Так, не сходясь с т. Лениным в оценке тогдашнего момента, он обвинял т. Ленина в умеренности и оппортунизме; вместо подготовки сил к новой грядущей волне революции, Алексинский призывал рабочих, солдат и матросов к немедленному вооруженному восстанию.

— Как дятел какой-то, — стараясь высмеять Ленина, говорил Алексинский, — Ленин говорит одно и то же. Все старается стучать своим носом все по одному месту.

Ему удалось вызвать на этот раз такое враждебное настроение против Ленина, что мы, боясь как бы оно не вылилось против Ленина в попытке столкнуть его с трибуны,

когда он снова выступил возражать Алексинскому, принуждены были поставить внизу у трибуны т. Полонского, который вследствие занятия физической работой выглядел настоящим богатырем. Такой защитник с массивными кулаками грузчика, враждебно взглядывавшего на каждого, кто, может, и питал какие-либо агрессивные планы против Ленина, отбивал у противников большевиков всякую попытку сорвать речь Ленина.

Вообще 1910 год, начало 1911 года и 1912 год были самыми тяжелыми для большевиков. Бывшие большевики, большей частью, интеллигенты, отошедшие в группировки впередовцев, отзовистов, ультиматистов, плехановцев, относились очень отрицательно к т. Ленину.

— Ничего не понимает ваш т. Ленин в философских вопросах. Так наврал в своей книжке по философскому вопросу, что просто стыдно за него, — говорил про т. Ленина Я. В., передавая мнение о Владимире Ильиче широких кругов социал-демократической российской интеллигенции.

Подобное же отношение к Ленину я встретил со стороны одного видного московского партийного работника т. И. в день похорон П. Лафарга, на кладбище Пер-ла-Шез.

— Тоже вылез со своим деревянным языком, — говорил он с видимым презрением к Владимиру Ильичу, выступавшему с речью на французском языке, в которой — после К. Каутского и Колонтай — говорил, что русская революция вызовет пробуждение Запада и Востока. — Ишь, с суконным рылом да в калашный ряд! Просили его выступать со скрипучей речью и нижегородским произношением!

Причины, выставленные моим знакомым т. С., заставившие его уйти от Владимира Ильича к М. Любимову, были просто смешны.

— С одной стороны, — говорил он мне, когда я его встретил в Берлине, — я разочаровался в русской интеллигенции, превращающейся быстрыми шагами из народолюбивой в буржуазную, с другой — я не понимаю Владимира Ильича. На втором с'езде партии он был абсолютно против популярного органа «Южный рабочий» и настоял на полной ликвидации его, а теперь он вот создает для рабочих такую популярную газету, как «Рабочая газета».

Эти слова образованного интеллигента говорят о неумении применять метод К. Маркса в сложной обстановке жизни и меняющейся ситуации и о наклонности рассматривать явления общественной жизни абстрактно, вне конкретной действительности.

Самую правую позицию, приближавшуюся к меньшевистской, занимал даже в 1912 году бывший большевик т. Л.

Когда в 1912 году в России снова началось стачечное движение, он с уверенностью приписал его меньшевикам.

— Я уверен, что это, во всяком случае, меньшевики своей умелой тактикой вызывают и руководят движением, но не большевики.

— А я полагаю наоборот.

— Оставьте! История сколько раз уже посмеялась над вами, большевиками. Кому у вас работать там? Ведь у вас и людей нет.

Особенно поразил меня разговор с Л. и Марком Любимовым на квартире у Н., вышедшей замуж за Л. В это время приехала из России ее сестра. Горя желанием узнать, что делается в России, я побежал к Н. на квартиру. Дело было вечером.

Разговор зашел о большевиках и меньшевиках и в связи с этим о т. Ленине.

— Вот это человек, которого я глубоко уважаю, — сказал я. — Я ставлю его выше вас всех, взятых вместе.

— Ну, кто такое т. Ленин?—возразил Любимов.—Литератор и демагог!

— Конечно, обыкновенный публицист,—вторил т. Л.,— и ничего больше. Публицист и демагог!

— А я думаю, — ответил я, подняв ногу и указывая на подошву, — я убежден, что вы все, русские интеллигенты, ополчившиеся против него, не стоите его подошвы. Не вам с ним бороться!..

— Резонер вы, как я вижу, — возражали мне Любимов и Л.

— Ну, полно, Сидорыч, кипятиться. Ишь, защищает как своего Ильича, — говорили они.

Все это я привожу для доказательства известной неустойчивости, замечавшейся в период реакции, после революции 1905—1906 гг. у значительной части членов партии, и тяжелого положения, которое переживали большевики в 1911 г. во Франции, когда за большевиками и Лениным шла в Париже лишь небольшая группа преданных товарищей числом не более 15—25 человек, и для доказательства того, как трудно иногда бывает разобраться в чрезвычайно трудной обстановке, какая создалась, например, в период реакции после революции 1905—1906 гг.

Таким образом, небольшое число товарищей, приходивших на собрания парижской секции заграничной организации РСДРП(б), на которых всегда присутствовал т. Ленин, недружелюбное отношение демократической по существу, состоявшей из рабочих мелкого ремесленного производства Парижа, аудитории к т. Ленину в это время, — все это го-

ворит, что даже в тот момент, когда в России влияние на рабочие массы большевистской газеты «Звезда» уже росло, за границей, в Париже, в конце 1911 года т. Ленин был почти одинок.

Владимир Ильич жил в Париже на маленькой уличке (Мари-Роз, № 4), соединявшей улицу Сарет с улицей Вуа-Верт. Это квартал города совсем недалеко от Орлеанских ворот укреплений Парижа. Населен он был ремесленниками, служащими, мелкими торговцами и отчасти рабочими. Я бывал у Владимира Ильича несколько раз в Париже. Поскольку я уже был знаком с жизнью бельгийских и французских рабочих, я был поражен той простотой и скромностью и, с точки зрения французского рабочего, прямо бедностью, которая замечалась в Париже у т. Ленина. Мебель, например, стоявшая в квартире Владимира Ильича, была настолько плоха и невзрачна, с французской точки зрения, что консьержка дома ни за что не хотела пустить Владимира Ильича в дом.

Тов. Ленин, как иностранец и русский, к которым домовладелец, лавочник и вообще буржуазия не питали доверия, принужден был внести хозяину дома залог, равный стоимости хорошей мебели и представить особое поручительство от французских граждан (французских социалистов). Только после этого консьержка пустила Владимира Ильича на квартиру. Вообще, можно с уверенностью сказать, что каждый средний рабочий в Париже одевался и вообще жил много лучше, чем т. Ленин.

Это в особенности бросалось в глаза, если вспомнить, как жили его политические враги из лагеря меньшевиков, проводившие время в кафе на бульваре Сен-Мишель, где толпился всякий сброд, где можно было встретить и проституток и где один из вождей меньшевиков (Мартов) писал даже, за особым столиком, политические статьи для меньшевистских газет.

Правда, выбор кафе местом для литературной работы— дело вкуса. В этих кафе проводили время и работали над своими статьями буржуазные литераторы. Здесь толпились и художники. Но можно себе представить, как завыла бы буржуазная печать, не нападавшая за этот образ жизни на меньшевиков, если бы Владимир Ильич позволил себе хоть тень подобного, если бы он стал являться и писать свои статьи в одном из этих кабаков *.

В обращении, в особенности с нами, рабочими, Владимир Ильич был прост и доступен. Никакой надменности, ни-

* Большевики устраивали свои собрания тоже в различных кафе Парижа, снимая для этого отдельную и строго изолированную от случайной публики комнату.

чего такого, что являлось бы своего рода стеной между нами, рабочими, и им, не замечалось.

Я не злоупотреблял возможностью бывать у т. Ленина, но если это нужно было, если нужно было получить совет, рассеять сомнения, я легко и просто шел к Владимиру Ильичу. Елизавета Васильевна, мать Надежды Константиновны, устраивала обыкновенно чаепитие, во время которого и протекала беседа.

Усиление работы в России привело к созыву конференции заграничных большевистских групп в конце декабря 1911 года и образованию комитета заграничных организаций РСДРП(б), сокращенно КЗО.

Под'ем революционного рабочего движения, вызванный ленским расстрелом 17 апреля 1912 года, был настолько велик, что для руководства им, чтобы быть ближе к границе, Владимир Ильич в июле этого года переехал в Галицию, в Поронин.

Вскоре после от'езда Владимира Ильича туда же переехал и весь большевистский центр. В Париже остался из него один Каменев. Последний на прощанье с т. Лениным в ресторане в парке Монсури, недалеко от квартиры Ленина, устроил проводы.

Тов. Ленин, насколько я помню, два раза приезжал в Париж из Галиции.

Первый раз т. Ленин приезжал в октябре-ноябре 1913 года по поводу давления, проводимого германскими социал-демократами через Международное социалистическое бюро на большевиков, которых они пытались во что бы то ни стало примирить с меньшевиками, особенно в думской фракции (шестерка и семерка). Последним было выгодно такое об'единение, ибо рабочие в Питере и вообще в России, все более разбираясь в предательской роли меньшевиков, массами уходили от них к большевикам.

Открыв собрание в одном из кафе Парижа, т. Ленин в своем докладе указал, что именно К. Каутский является сторонником примирения большевиков с меньшевиками во что бы то ни стало.

Так как К. Каутский в это время достиг максимума своего влияния и считался и среди большевиков, не говоря уже про меньшевиков, своего рода папой в социалистической церкви, то большинство высказывавшихся, в особенности один интеллигент из Иваново-Вознесенска, С. Н., предлагало, что надо согласиться с К. Каутским. Авторитет последнего был так высок, что мог поспорить с авторитетом Ленина в среде большевиков.

Можно себе представить всеобщее изумление, когда Владимир Ильич, развив в своем заключительном слове то положение, что интересы партии и революции требуют не примирения с меньшевиками, а самой упорной борьбы с их разлагающим влиянием на рабочие массы, призвал к борьбе и против К. Каутского. Особенно поражен был таким выводом С. Н., на которого особенно напал т. Ленин. Он прямо обомлел, и первое мгновение речь т. Ленина многим казалась, очевидно, прямо кощунственной.

По окончании заседания Владимир Ильич долго толковал со мной о французских и бельгийских рабочих и об организации партийной почты, при чем для этой цели использовались адреса моих знакомых, бельгийских социалистов, через посредство бельгийского социалиста Гаспара.

Второй приезд был связан с прибытием за границу в мае 1914 года лидера большевистской фракции в государственной думе Малиновского, подавшего в отставку под давлением председателя государственной думы Родзянко*. Последний заявил, что ему известно, что Малиновский является провокатором, агентом охранки. Дело это приняло характер большого, получившего огласку скандала. На этот раз Малиновскому все-таки удалось обмануть партийную комиссию, разбиравшую его дело, и самого т. Ленина. С необыкновенной ловкостью Малиновский сумел представить обвинение против него как меньшевистскую интригу. После реабилитации Малиновского и приезда последнего вместе с т. Лениным в Париж было устроено торжественное публичное заседание. Речь Малиновского, оказавшегося хорошим актером, говорившего об условиях работы в государственной думе, дышала такой искренностью, что у меня тогда не могло явиться и тени сомнения в его преданности интересам партии.

Кроме Малиновского в Париже пришлось столкнуться еще с двумя провокаторами в среде большевиков: с доктором Житомирским и с Черномазовым. Хотя первого подозревали в провокации, но так как прямых улик против него в то время не было установлено, он продолжал оставаться членом парижской секции большевиков до 1917 года. И он и Черномазов были разоблачены в своей позорной деятельности лишь благодаря архивам парижской охранки. Их фамилии были в числе прочих провокаторов опубликованы эсером Агафоновым весной 1917 года. Как мне лично передавала умершая т. Самойлова (Громова) Конкордия Николаевна, она первая в редакции «Правды» заподозрела Чер-

---

* Спиридович. «История большевизма в России», т. I, стр. 259—260.

номазова, судя по его статьям, в провокации. Выдвинув это обвинение, она за отсутствием прямых улик принуждена была взять его обратно. Как она не раз говорила, она даже поссорилась при этом с М. С. Ольминским, возражавшим против нее по этому поводу.

* * *

Зиновьев и Каменев стали выдвигаться в Париже около Ленина в период наступившей реакции. Про Каменева мне рассказывала Надежда Константиновна, что Владимир Ильич считал его просто мягкотелым интеллигентом. Ленин по сообщению Надежды Константиновны несколько переменил о нем мнение, когда Каменев принес ему свою рукопись «Две партии». Что касается Зиновьева, меня никогда не влекло с ним познакомиться в период совместной жизни в Париже. Каменев производил впечатление поддающегося чужому влиянию человека.

РУССКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Столовка «Гласьерка»

Политические эмигранты Парижа, жившие преимущественно на окраине Латинского квартала, куда загоняли их все растущие цены на квартиры, делились на две категории: на работавших на заводах и на перебивавшихся случайными заработками. Многие интеллигенты, как я уже указывал на примере народовольца Лазаревича, попадали в очень тяжелое положение в Париже. Им, как, например, т. Владимирскому (Камскому), приходилось заниматься столь тяжелым и плохо оплачиваемым делом, как развозка и разноска молока по квартирам. В большом ходу наблюдалось мытье стекол в магазинах. Лишь та часть интеллигентов, которая имела литературное имя, могла более или менее сносно существовать. Большинство бедствовало. Тяжелое положение эмигранта описано в рассказе «Париж» т. Богданова-Каржанцева.

Обедали в столовке эсеров на улице Гласьер, на которую фирма чаеторговцев Высоцких выдавала комитету столовки субсидии не менее 12 тысяч франков в год. Подавальщицами работали в столовой все бывшие каторжанки, бежавшие из царских тюрем. Судомоем работал интеллигент-большевик В. Н. Мещеряков. Обед в этой столовой был очень дешев, но приготовлен был большею частью чрезвы-

чайно невкусно. Столовка содержалась грязно, особенно с французской точки зрения. В ней можно было видеть тараканов, разгуливавших по стенам и попадавших частенько в щи и суп. Здесь чем-то воняло, мясо было какое-то осклизлое, противное на вкус. Везде была грязь. Подавали обед чрезвычайно медленно. Так как большинство эмигрантов, жившее в лучшем случае на счет эмигрантской кассы, приходили сюда голодные, то все, что подавалось, с'едалось с аппетитом. Особенно довольны были товарищи, что хлеба можно было брать сколько угодно.

В столовке сходились представители всех партий: меньшевики, большевики, эсеры, бундовцы, анархисты. Здесь происходили самые ярые споры и разрешались все мировые вопросы. Каждый день здесь можно было встретить конторщика «Гришу» Беленького. Он был очень хороший товарищ. Но иногда нельзя было смотреть на него без улыбки. У него в столовке всегда был такой вид, что ему даже совершенно некогда поесть. Он почти никогда не имел возможности присесть. Стоя около стола с крошками хлеба и застывшими каплями жира от супа на бороде, он, размахивая одной рукой, другой цепко держал кого-нибудь из собеседников за пуговицу. Собеседник с выражением отчаяния все время смотрел на дверь с явным намерением удрать. Гриша так увлекался беседой, что совершенно не замечал ничего и, размахивая свободной рукой, как крылом, другой удерживал несчастного товарища так крепко, что все попытки последнего вырваться оставались тщетными. Будучи очень преданным товарищем, он все время посвящал партийной работе. Так как он вращался в течение 6 лет в русской колонии, он почти не научился говорить по-французски.

Электротехническая школа имени Рашель

По инициативе т. Стомонякова и других эмигрантов-инженеров, чтобы дать возможность политическим эмигрантам научиться ремеслу и затем получить заработок, была создана электротехническая школа с вышеупомянутым названием. Жившие в Париже русские инженеры преподавали там теорию бесплатно. Для практики, для обучения слушателей технике производства был нанят один электромонтер-француз. Средства на содержание школы давал какой-то капиталист. Тов. Л. одно время до войны был заведующим этой школой. Многие товарищи, преимущественно интеллигенты, окончив эту школу, получили возможность начать работать на французских заводах в качестве электромонтеров.

Библиотека «Гоблен»

Вторым местом, где можно было чаще всего встретить того или иного товарища, являлась библиотека на авеню Гоблен, где собрано было много книг по общественно-экономическим вопросам, подпольные периодические издания, научные книги и беллетристическая литература. Главным собирателем библиотеки и ее заведующим являлся т. Имбер, известный под кличкой «Мирон».

В помещении библиотеки часто устраивали собрания социалистические российские организации: большевики, меньшевики, бундовцы, эсеры.

Библиотека помещалась в старом домишке, доживавшем последние дни. Комнаты библиотеки поражали грязью. В углах комнат всегда висела паутина. Все дышало дряхлостью *.

Рабочий клуб

В еще более ветхом домишке, безусловно, помнившем времена Людовика XVI, где в комнатах всегда пахло какой-то гнилью, где на стенах висели клочьями разорванные обои, где гнулись и скрипели под ногами прогнившие полы, из-под которых раздавался писк крыс и мышей, где потолки, казалось, всегда готовы рушиться и придавить собравшихся, ютился беспартийный рабочий клуб на улице Белой королевы.

Здесь же, в одной из комнат клуба, помещалась русская рабочая биржа. В одной из комнат этого дома, пропитанной от времени и грязи всевозможными микробами, постоянно можно было встретить т. Антонова-Овсеенко. Просиживая ежедневно по нескольку часов в этой комнате, устраивая безработных, приезжавших из России, зарабатывая всего 60 франков в месяц, что составляло гроши, он, в конце-концов, получил туберкулез. Вообще, он представлял собой одного из самых симпатичных и преданных рабочему классу людей. По убеждениям он был самым левым из всех известных мне в это время меньшевиков.

Одним из деятельных членов этого беспартийного клуба являлся большевик т. Чернов-Гречнев. Он организовал, между прочим, из членов клуба хор.

Среди значительной части беспартийных членов рабочего клуба, называвших себя анархистами разных толков, на-

---

* Кроме того существовала в Париже богатая книгами библиотека имени Тургенева.

считывалось достаточно личностей с каким-то темным, неизвестным прошлым. Я слышал много толков об участии некоторых из них в уголовных преступлениях. Кое-кого из числа их подозревали в экспроприациях в своих личных целях, совершенных в России, до приезда во Францию. Присматриваясь ко многим, называвшим себя анархистами, я задавался вопросом, где кончается анархизм и где начинается уголовный или подозреваемый в уголовном преступлении, — до такой степени многие из них не были похожи на политических эмигрантов, до такой степени у них было мало общего с рабочими, принимавшими участие в революционной борьбе.

Секция рабочих-металлистов

Здесь же в этом клубе в начале войны 1914 года хранилось имущество еще одной общественной русской организации. Это была так называемая «Парижская секция российских рабочих по металлу» — отделение французского профессионального союза рабочих-металлистов города Парижа и департамента Сены (Union corporative des ouvriers mècaniciens de le Seine).

Кроме русской секции при французском профессиональном союзе существовала также немецкая секция. Русская секция была основана т. Александром Шляпниковым, Спектором, Лебедевым и др.* с целью, в виду незнания приезжающими русскими рабочими французского языка, привлечения их к борьбе французских рабочих, для приискания работы и вообще для использования в профессиональном движении французских рабочих. Членов насчитывала она до 80—100 человек. На деле приходило на собрания не более 10—15 человек. Собирались в одной из комнат большого здания биржи труда, одним фасадом выходившего на площадь Республики. Здание биржи труда принадлежало городу Парижу. Последнее обстоятельство позволяло правительству в момент обострения стачечного движения закрывать здание биржи и лишать таким образом стачечников возможности собираться.

Во избежание подобной зависимости от правительства профессиональные союзы с огромным трудом перед самой только войной сумели выстроить небольших размеров железобетонное здание с залой для собраний на улице Гранж-о-Белль.

---

* Спектор — меньшевик, Лебедев — синдикалист

Общее впечатление, что в Западной Европе известная часть российских рабочих, политических эмигрантов после российской революции 1905 и 1906 годов, разочаровывалась в местных социалистических партиях и вождях социалистических партий и подпадала под влияние анархо-синдикалистов, наблюдалось в особенности в Париже. Значительная часть членов секции российских металлистов не избегла уклона в сторону синдикализма. Главное ядро сторонников анархо-синдикализма ютилось всегда в рабочем клубе на улице Белой королевы. Большинство их работало на мелких предприятиях.

Некоторое увлечение в сторону анархизма у части русских рабочих может быть об'яснено лишь той неудовлетворенностью и тем неблагоприятным впечатлением, которые получали русские рабочие от французских и вообще западно-европейских социалистов. Вынеся отрицательное впечатление от пошлого оппортунизма парламентских социалистов-соглашателей, в сторону которых постепенно скатывался и гедизм, ограничивавшийся только парламентской деятельностью, рабочие искали более революционных теорий и наталкивались на анархизм. Отсутствие партии действительно революционого марксизма во Франции питало анархизм с его бесформенными теориями.

Французский социализм в Париже своей умеренностью, своим миролюбием по отношению к буржуазии все более отталкивал от себя и молодых рабочих-французов в Париже. Лучшая часть их, более активная и непримиримая, вследствие этого переходила на сторону анархо-синдикализма. Стачечное движение, почти всегда оканчивавшееся поражением рабочих, в Париже руководилось последними. Социалисты как-то добровольно отстранялись от работы в профсоюзах и от руководства ими.

НАЧАЛО ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Осенью 1913 года, уйдя из инструментальной мастерской Яра в Париже, где мало платили, я перешел на автомобильный завод Дорьё в Курбевуа, пригороде Парижа, за Сеной.

Здесь я встретил русского сверловщика-синдикалиста, носившего подложную фамилию Лебедева. Как многие выходцы из России, недовольный умеренностью французских социалистов, он полагал, что в лице анархо-синдикализма он обрел новую революционную теорию.

Отношение токарного мастера, любившего вспоминать свои похождения вместе с русскими матросами в Шанхае,

совершенно ко мне изменилось, когда я стал противиться сбавке расценков и когда он узнал, что я — социалист. Прежняя приветливость, общительность перешли сначала в сдержанность и холодность, а затем в открыто враждебное отношение. Меня это не удивило. С этим отношением ко мне мастеров я сталкивался на каждом заводе. Каждый мастер, в конце-концов, показывал мне свое лицо унтер-офицера капитала, сторожевой собаки хозяина. Но на этом заводе я особенно остро почувствовал угнетенное положение рабочего.

Кроме 11½ часов, которые уходили на рабочий день вместе с обеденным перерывом, я тратил не менее двух часов в сутки на переезд до завода. Ежедневно я вставал в 4½ часа утра. Напившись чаю, пересекал весь Париж под землей. Сойдя с подземной электрической железной дороги у Шамперовских ворот * Парижа, я на трамвае следовал по бульвару Бино, пересекал два рукава Сены, остров Жатт и добирался, в конце-концов, до бульвара Сен-Дени, где находился завод. Недавно я нашел письмо, написанное мной в это время:

«Я себя скверно чувствую. Я как-то обессилел. Я с проклятьем утром иду на работу. Я с трудом выношу все придирки, выговоры, замечания. От них я устаю еще больше, чем от самой работы. Вернувшись домой усталый морально и физически, я заваливаюсь спать. Я мечтаю только о том, как бы мне вернуться в Россию. Мне хочется увидеть русскую землю, подышать ее воздухом».

Таким образом, та усталость, не выдуманная, которая так поразила меня, изображенная на лицах рабочих К. Менье в Брюсселе, охватывала меня все более. Я постепенно превращался в то вьючное животное, о котором мне говорил старик, рабочий-француз, в начале моей жизни в Париже на заводе Грамма. Отдохнуть не удавалось и в воскресенье, так как часто приходилось в эти дни работать. Если же я пользовался воскресным отдыхом, день пролетал, как миг. Незаметно проходило утро, страшно быстро проносился день, и уже вечер с его сумерками и затем ночью говорил, что необходимо лечь спать, чтобы на утро быть в состоянии работать на капиталистов.

При таких условиях я уже не мог использовать жизнь в Париже. Я не имел возможности вечером бывать в театрах, концертах, на лекциях так часто, как это мне хотелось. При страшной эксплоатации, замечавшейся в Париже, все эти культурные развлечения для меня, как и для большинства

* Porte de Champerrere.

рабочих, становились уже мало доступными или совсем недоступными.

Я посещал только все парижские «салоны», т. е. выставки произведений искусства. Переходя из зала в зал, от одной картины к другой, от одного произведения скульптуры к другому, я все более приходил к выводу, что чем дальше шло время, тем больше буржуазное искусство принимало часто уродливые формы уклона в абстракцию. Было что-то общее в искусстве негритянских племен с искусством буржуазии перед войной. Если в первом случае уродливость форм изображений человека об'ясняется недоразвитостью этого искусства, то во втором случае уклон в уродливость от действительной красоты, разлитой в природе, об'ясняется лишь стремлением буржуазии вне реальной действительности искать себе спасение и удовлетворение. Капитализм переживал себя, становился сам уродливостью. Человеческая любовь, отношения людей в буржуазном обществе, искусство — все при господстве буржуазии принимало самые уродливые, отвратительные формы.

Раньше я задыхался в Бельгии, теперь я стал задыхаться в центре буржуазной культуры, в Париже. Мысль о необходимости переехать в Россию все более овладевала мною.

Задержка была лишь за подложным паспортом и необходимой на дорогу суммой денег. Пока я ожидал одно и копил другое, приблизился день 1 мая 1914 года. Лебедева уже не было на этом заводе. Здесь произошла та же история, которая повторялась со мной ежегодно 1 мая. Завод Дорьё работал в этот день полным ходом, за исключением двух-трех человек. Хозяин Дорьё, обходивший завод, при виде моего станка, стоявшего без движения, пришел, как мне передавали рабочие, в бешенство и обрушился на мастера за то, что последний набирает «социалистов, анархистов и русских нигилистов», осмеливающихся не приходить на работу в день 1 мая.

Случилось так, что я заболел второго мая. Когда я явился на завод через две недели, я нашел свой станок уже занятым и получил ответ, что в моих услугах завод больше не нуждается. Так как я только-что получил из России от Лизы письмо, в котором она меня извещала, что она едет в Париж на месяц или два, я отнесся равнодушно к истории с увольнением. В моем кармане лежала накопленная на от'езд сумма денег. «Вот и хорошо, — являлась у меня мысль. — Значит вместе и едем обратно в Россию».

Из России, между тем, начиная с 1912 года, приходили вести очень хорошие. Замечался под'ем стачечного и революционного рабочего движения. Русские большевики умели

применить к рабочему движению в России международный опыт. Усвоить этот опыт русским рабочим и, в особенности, применить его к русской действительности, внедрить его в рабочее революционное движение явилось возможным в значительной степени лишь благодаря присутствию в рядах нашей партии большого числа революционной интеллигенции, становившейся на точку зрения революционного марксизма. Это последняя, особенно в лице т. Ленина, явилась проводником социалистического сознания в рабочую среду.

Не то замечалось во Франции и вообще в странах Западной Европы. Способы агитации и пропаганды, методы воздействия на рабочих были здесь те же, как и тридцать лет назад. Особенно вожди из бывших рабочих отличались здесь этой рутинностью. Они в то же время быстро проникались каким-то самомнением. У них не замечалось по отношению к рабочим массам духа искания, творчества. В способах ведения агитации и пропаганды, в постановке их газет не только ничего не было самостоятельного пролетарского, — во всем можно было заметить одно подражание буржуазии.

Там, где, как отчасти в Бельгии, социалисты начинали отбрасывать старую рутинность и начинали применять марксистский метод, рабочие тотчас шли им навстречу, отбрасывали старую покорность и начинали стачечную борьбу с капиталистами.

Всюду замечалось усиление недовольства рабочих. Вообще вся Западная Европа перед империалистической войной была похожа на огромный пороховой погреб. В Петрограде русские рабочие накануне войны уже строили баррикады на улицах города. Если бы европейские социал-демократы решились взять в свои руки зажженный факел и бросили его в этот пороховой погреб, революционный взрыв был бы неизбежен. Все это прекрасно понимала мировая буржуазия. Для нее единственным выходом оставалась война. Последняя, как казалось, надвигалась с роковой неизбежностью.

Все-таки, хотя на политическом горизонте в связи с убийством в Сараеве наследника престола австро-венгерской монархии собирались уже грозовые тучи, многие, и я в том числе, были очень далеки от сознания, что военная гроза разразится так скоро.

Занятый болезнью жены, от которой я не имел возможности отойти, я невнимательно следил за газетами. Я торопился свезти Лизу в деревню. Что касается войны, я, несмотря на закрадывавшееся все более ко мне скептическое

отношение к германской социал-демократии, все-таки не считал ее до такой степени разложенной, чтобы допускать и мысль о возможности принятия ею империалистической войны. Я уехал из Парижа, как мне кажется, 5—6 июля 1914 года.

Когда мы очутились вместо шумного, нервирующего Парижа, воздух которого пропитан пылью, запахом бензола и бензина от множества проезжающих автомобилей, в тихом сонном Бом-ле-Даме, расположенном между холмов на берегу реки Ду, жена стала быстро поправляться. Я успел, живя во Франции очень экономно, накопить 600 франков, которых, как я думал, хватит и на отдых в деревне и на дорогу в Россию, куда я решил непременно по возвращении из деревни уехать.

Но 26 июля я неожиданно для себя прочитал в газетах об ультиматуме, пред'явленном Австро-Венгрией Сербии 25 июля. Вслед за этим события пошли к неизбежной развязке. Австро-Венгрия призвала к общей мобилизации 30 июля. В России она началась 31 июля. Германия об'явила общую мобилизацию и войну России 2 августа.

Колоссальная военная машина мировой буржуазии, таким образом, пришла в движение. Ее гигантский маховик завертелся сначала медленно, затем быстрее, увлекая все за собой. Единственной силой, которая могла бы остановить ее в этот важный момент, являлась мировая и в особенности германская социал-демократия.

— Война! Война! — с ужасом говорили в каждой семье жены, сестры, матери, испугавшись за судьбу своих мужей, братьев, сыновей.

— Война! Начало мобилизации — заявила мне хозяйка пансиона, где я жил. — Советую вам сегодня же уехать в Париж.

— Но почему вы мне это советуете? — спросил я. — Разве не все равно, останусь ли я здесь, или уеду в Париж?

— Что вы, мосье Шаповалов! Большая разница! Всем известно, что германцы во время войны 1870 года пошли на Эльзас-Лотарингию. На этот раз они, наверно, последуют тому же своему примеру. Через несколько дней они будут здесь.

— Я уже был на вокзале, — ответил я. — Уже нельзя и во всяком случае, очень трудно уехать. Непрерывно движутся поезда из Парижа и вообще из центра Франции с войсками.

— Но ведь будет война, и затем немцы непременно придут. Ведь они вас, как нашего союзника, как русского, живого с'едят. Они говорят, сосиски делают из человеческого

мяса. Заготовляют впрок. Бегите, как можно скорее уезжайте отсюда.

Но так как последовать ее совету и уехать немедленно не было никакой возможности, я остался временно в Бомле-Даме выжидать событий.

Надежда, что социал-демократы исполнят свой долг и выступят против войны, не покидала меня.

Если в Германии еще в 1912 году из каждых трех избирателей один был социал-демократом, это доказывало, что идеи социализма проникли в Германии в самые широкие и глубокие слои населения.

При таких условиях, если бы германские социал-демократы не изменили пролетариату и нашли в себе силы и мужество об'явить войну империалистической войне, их выступление имело бы колоссальное значение для прекращения этой войны.

В начале войны, как она ни поразила всех, жива была у всех пролетариев надежда, что социалисты Германии исполнят свой долг и выскажутся со всей резкостью против войны. Это убеждение жило даже и среди американской буржуазии. Так, Уптон Синклер в своем романе «Джимми Хиггинс» * приводит данные, что в первые минуты после об'явления войны буржуазные газеты поместили сфабрикованные ими ложные телеграммы, — надеясь, что они хоть частично подтвердятся, — которые гласили, что в Германии за попытки помешать мобилизации расстреляно свыше ста главнейших германских социал-демократов.

Если такое убеждение проникало в буржуазные круги, то можно себе представить, какая вера жила в рабочей среде, что германские социал-демократы иначе и поступить не могут, что они помешают войне, что одна треть (активнейшая) населения Германии, голосующая за них, откажется, в свою очередь, поддерживать войну. Такое же убеждение крепко сидело и во мне.

«Ну, наверно, теперь даже до сражения не дойдет, — уверял я себя. — Нельзя забывать, что теперь не 1870 год. В настоящее время в Германии мощная социал-демократия». Но газеты, как на зло, сообщали факты один ужаснее другого.

Известие, что германские социал-демократы все-таки голосуют за военные кредиты, поразило меня и всех, как поражает едущих по безбрежному океану известие о пожаре на корабле. «Как могло произойти, — спрашивал я себя, — что казавшееся таким грозным здание социалистического

---

* Уптон Синклер, «Джимми Хиггинс». Ленгиз, 1924 г., стр. 22.

Интернационала в один миг разлетелось, как карточный домик?».

Произошло на самом деле нечто ужасное: социалисты Франции и Германии (кроме К. Либкнехта) признали войну, об'единились со своей буржуазией и тем обрекли рабочий класс на положение «пушечного мяса».

Невольно я вспомнил поведение социалистов в 1886 году в Бельгии и старика рабочего-социалиста, с завода Грамма, говорившего мне, что рабочий представляет собой в руках буржуазии лишь «пушечное мясо». Мне припомнилась его боязнь, что вожди, как имело место много раз во Франции, опять изменят рабочему классу.

«Но как это все-таки могло случиться?» — такой вопрос задавали себе многие, кому дорого было будущее рабочего класса, кому раньше и в голову не могло притти, что могучая германская социал-демократия со своими миллионами избирателей окажется игрушкой, орудием в руках класса капиталистов. Это известие являлось равносильным разгрому в момент битвы главной колонны борцов за социализм, на которую возлагались самые большие надежды.

Германские социал-демократы, голосовав за военные кредиты, приняли также «ура императору, родине, народу» *.

Как всегда в таких случаях, началась паника. Она не миновала, к сожалению, большевиков в Париже.

До империалистической войны парижская секция заграничных организаций большевиков по мере того, как наша партия начинала в России завоевывать влияние в массах, в свою очередь, здесь, в Париже, увеличивалась, росла численно.

Деятельность КЗО не ограничивалась Францией и Европой, — она перенеслась и в другие части света. В Америке, Австралии, в некоторых частях Азии и в Южной Африке, куда судьба закидывала беглецов из царской России, образовывались группы большевиков. Это означало, что не было почти уголка на земле, куда бы большевики еще перед войной не занесли семян революционного марксизма. «Почти нет в мире более или менее большого города, где живут теперь эмигранты из России, где не образовались бы большевистские группы», — говорил т. Антонов-Бритман. Никто тогда не видел в этом своеобразного предзнаменования, что не пройдет десяти лет, как идеи большевизма по-

---

* Шейдеман Ф. «Крушение Германской империи», Гиз, 1923 г., стр. 42.

лучат распространение и найдут своих последователей во всех странах мира.

Из наиболее выделявшихся по своей активности среди членов группы я помню следующих товарищей: М. Ф. Владимирского, Семашко (переехал до войны военным врачом в Сербию), Н. В. Кузнецова-Сапожкова, Антонова-Бритмана, Л. Сталь, С. Гопнер, Горина, Воробьева, Илью Моисеева, Зефир, Морозовых (он и она), Абрама Сковно (Абрам «Цекист»), А. Беленького, Гр. Беленького, Людвинскую (Таня), Степана Назарова, Плюснину, Исаака Раскина (Жорес), Белоцерковского, Голубя (Семен), Ханявко, В. С. Чернова-Гречнева, Поповых (он и она), Верия (Оскар Генрихович Эллек), Житомирского и Черномазова (оба провокаторы), Розу и Дору Лусак, Лидию и Александра Шаповаловых, Шпагина, Джапаридзе, Богушко, Куцешвили, Якова Давидова (Епишеров), Котова Григория, Королькова Алексея (ушел во время войны к Бурцеву), Деготь Владимира и его жену Лизу, Мещерякова Владимира, Селедского Виктора, Полонского, Аникеева, Потапова, Волкова, Диманштейна, Товстуху, Чудовского (Максима). Из стоявших близко к группе большевиков надо указать на т. С.* Перед империалистической войной он работал активно, выступал на митингах и писал в большевистские газеты корреспонденции из Парижа, и Экка (художник Мухин). Арманд, Шляпников и Каменев уехали в это время в Россию на подпольную работу.

Оторванность от Ленина в момент, когда вдруг неожиданно разразилась империалистическая война, эмигрантская изолированность от рабочих масс, варение в собственном соку, — все это могло быть той причиной, которая привела к панике, охватившей товарищей, входивших в состав КЗО **.

Нельзя забывать, что, кроме, старых революционеров, бежавших от преследований царского правительства, в большевистскую группу в Париже влилась часть студентов и товарищей, уклонившихся в России от военной службы и уже за границей сделавшихся большевиками.

Когда вслед за известием об об'явлении войны и предательском убийстве из-за угла Жана Жореса пришло со-

---

* Тов. С., оставаясь хорошим товарищем и безусловно революционером, не мог избежать тех колебаний, которые замечались в годы реакции среди большевиков. Этим же недостатком можно об'яснить его вступление в числе прочих большевиков волонтером во французскую армию в начале империалистической войны.

** В комитет заграничных организаций входили, насколько я помню, семь товарищей: К., Л., С., Н. В. Сапожков-Кузнецов, Антонов-Бритман, Котов и Илья Моисеев.

общение, что как германские, так и французские социалисты приняли империалистическую войну и вотировали военные бюджеты, КЗО растерялся и, в свою очередь, под влиянием художника Экка (Мухина), влиявшего на Антонова-Бритмана и Кузнецова-Сапожкова, совершил огромную политическую ошибку, признав необходимым для большевиков принять участие в этой войне. Политическое кредо, оправдывавшее необходимость принятия участия в этой войне для большевиков, было написано вышеупомянутым Экком (Мухиным). Эта ошибочная позиция КЗО сбила с толку многих товарищей, работавших на фабрике и в конторах, и у них нехватило сил сопротивляться невероятному давлению со стороны фабрично-заводской администрации и женской половины населения.

Когда со стороны французских социалистов раздался клич: «На фронт!» и до обширной русской колонии дошли слухи, сначала глухие, а затем принимавшие все более определенный характер, что парижские большевики, члены КЗО, тт. Антонов-Бритман и Кузнецов-Сапожков, пользовавшийся известностью и влиянием в русской колонии, т. Иголкин и другие признали войну, члены русской колонии и даже рядовые большевики стали записываться волонтерами во французскую армию.

К счастью, из общего числа членов большевистской группы записаться успели далеко не все, а лишь меньшинство. С самого начала на ряду с течением за войну наметилось, как это видно из прилагаемых писем т. Ленину Антонова-Бритмана и моего, и течение, которое выступило против принятия большевиками участия в этой войне.

Надо отдать справедливость, что, к глубокому сожалению, на стороне сторонников империалистической войны находился цвет испытанных революционеров-большевиков. Некоторые из них, как, например, Н. В. Кузнецов-Сапожков *, работавший в московской окружной организации, брат которого был расстрелян, который сам едва успел избежать расстрела и спасся каким-то чудом, Антонов-Бритман, принимавший участие в кронштадском восстании, Котов, Моисеев, Д. и К., как и тов. Иголкин, — все они производили впечатление товарищей, готовых по первому тре-

* Записались волонтерами во французскую армию члены КЗО: Антонов-Бритман, Н. В. Сапожков-Кузнецов, Илья Моисеев. Котов не сделал этого лишь по болезни. Тов. К. тотчас по об'явлении войны, ввиду последовавшего разрешения медицинской практики врачам-иностранцам, занял место врача в Лормоне (Lormont), рабочем предместьи города Бордо. После письма т. Ленина против волонтерства во французской армии он, не колеблясь больше, стал твердо на ленинскую позицию против империалистической войны.

бованию итти на самое опасное дело, на которое могла их послать партия. Вот эта их революционная готовность откликаться на первый призыв, полезная в обыкновенное время, в данном случае сослужила для них плохую службу, вылившись в излишнюю торопливость.

Узнав, что германская социал-демократия и французские социалисты приняли империалистическую войну, они, недолго думая, решили подражать им, при этом они и другие русские волонтеры упрекали не пошедших на войну в трусости на том же основании, как упрекали бы уклоняющихся по той или по другой причине от той или другой партийной мобилизации.

Упрек в трусости вряд ли был в данном случае справедлив. Он основывался на том, что лишь несколько человек, не принявших войны большевиков, представляло собой якобы бывших военных дезертиров. Это не было доказано. Среди товарищей, не принявших войны, насчитывались, например, такие, как т. Шпагин, бывший член государственной думы, бежавший от каторги, Людвинская (Таня), Голубь (Семен), Эллек (Оскар Генрихович), Ханявка (столяр), Белоцерковский, А. С. Шаповалов и другие испытанные рабочие-революционеры. В чем их заслуга? В том. что при Ленине, живя с ним в одном городе или переписываясь, спрашивая его мнение или получая от него указания, при таких условиях сравнительно легко было быть ленинцем. Но положение изменилось в начале империалистической войны, когда весь мир с ума, можно сказать, сошел и когда Ленин был арестован в Галиции, а большевики потеряли всякую связь с ним и были отрезаны от него. Вот в этот тяжелый момент эта группа большевиков-рабочих доказала на деле, что и отрезанные от Ленина они сумели остаться ленинцами, сумели мыслить и поступать в наитруднейший момент по-ленински.

Нельзя забывать, что тт. Бритман и Кузнецов и другие уверены были, что Владимир Ильич непременно будет на их стороне, и они пугали товарищей, не хотевших записаться добровольцами во французскую армию, что вот, мол Владимир Ильич узнает и задаст вам. Во всем этом они, как это теперь ни покажется странным, питали полнейшую уверенность. Но вышло, как известно, наоборот. Владимир Ильич прислал в Париж письмо, в котором писал про принявших войну: «Они с ума сошли! Они перестали быть социалистами». Только после получения этого письма Владимира Ильича начали освобождаться от националистического дурмана многие принявшие империалистическую войну товарищи и припоминать штуттгартскую (1907 года) и базель-

ские (ноября 1912 года) резолюции социалистического Интернационала против войны.

«Если война разразится, социалисты должны вмешаться для скорейшего прекращения ее и использовать вызванный войной кризис, чтобы поднять народ и тем самым ускорить падение господства капитала».

Между тем, все большие города Европы, столицы стран, вступивших в войну, явились в это время свидетелями самого наглого обмана трудовых масс со стороны социалистических партий и буржуазных правительств. Это было тем более чудовищным, что одной из главных целей социалистических партий можно считать стремление, чтобы люди, наконец, перестали жить по-звериному и создали между собой человеческие отношения. Доказательством звериного образа жизни является та слепая ненависть, которую воспитывают господствующие классы в массах на почве национального шовинизма.

Она, эта ненависть, была особенно заметна среди маленьких народов во время войны на Балканском полуострове. Пленные болгары были буквально растерзываемы греками, и болгары, в свою очередь, не оставаясь в долгу, замучивали пленных греков самым зверским способом.

На подобной ненависти в течение целых десятилетий воспитывались трудящиеся массы всей Европы. Француз ненавидел немца. Немец питал подобные же чувства к французу. Угнетенные вместо того, чтобы ненавидеть свою буржуазию, ненавидели сильно и глубоко друг друга. Буржуазия через эту ненависть достигала своей цели: «разделять угнетенных и властвовать над ними». Она очень умело применяла эту ненависть, эту заповедь, полученную еще от древнего Рима. Буржуазия понимала, что человек не может не ненавидеть, поскольку он угнетен. Она использовала ее как своеобразный клапан, предохраняющий ее от страшного взрыва.

Постоянные притеснения, обиды, невыплаканные слезы, незаслуженные оскорбления, сыплющиеся на рабочих в капиталистическом обществе, — все это накоплялось в скрытом состоянии в недрах рабочего класса, среди его особенно угнетенных слоев, среди тех, которые не научились еще искусству распознавать в лице буржуазии своего заклятого врага, не научились кричать о своих обидах и перенесенных оскорблениях.

В данном случае милитаризм, война сослужили огромную службу буржуазии. Война явилась в руках буржуазии тем оружием, посредством которого она отвела опасность, грозившую в первую очередь ей, и сумела направить нена-

висть угнетенных масс против них самих. Революционный марксизм учил рабочих, что его врагами являются только капиталисты всех стран, что рабочие всех стран суть братья между собой и что у пролетария нет отечества.

Вожди социалистических партий и профсоюзов, на обязанности которых лежало внедрять в рабочие массы эти истины, эти выводы революционного марксизма, в тот момент, когда маховое колесо милитаристической машины приведено было в движение, оказались, за исключением русских большевиков и небольшой части социалистов, на стороне врагов рабочего класса. Они приняли участие в том колоссальном обмане, жертвою которого сделались угнетенные массы. То, что было белым, они в угоду капиталу стали называть черным. Они призвали рабочих и крестьян защищать буржуазное отечество и бросили рабочих и крестьян одной страны против рабочих и крестьян другой страны. Рабочие и крестьяне Франции при участии социалистов и анархо-синдикалистов вдруг увидели в рабочих и крестьянах Германии не своих братьев, которым нужно только протянуть руку помощи, — наоборот, диких варваров, самых заклятых своих врагов, которых нужно только истреблять. То же самое происходило и в Германии, где при помощи тяжеловесного аппарата ГСДРП вождям последней удалось в один миг убедить германских рабочих и крестьян, что они должны защищать германское отечество против «варваров и дикарей — русских» и «сифилитиков — французов».

Капиталист господствовал над умами угнетенных слоев населения в момент об'явления войны. Как в Берлине, так и в Париже трудящиеся, опутанные вождями-изменниками считали, что им необходимо постоять за «священные права родины», которой стала грозить опасность.

В Париже на заводах, на улицах, в домах, в мастерских, в конторах к рабочим и служащим-иностранцам приставали хозяева, мастера, лавочницы, консьержки, женщины на улицах со словами:

— Когда же, когда же вы, наконец, пойдете на войну? Когда вы запишетесь волонтером?

Так как толпа в виде протеста против немцев по ошибке разгромила рассеянные по всему Парижу мелочные лавки швейцарской фирмы «Магги», среди русской колонии, главным образом, среди еврейской части ее, при помощи сионистов и отчасти и бундовцев распространен был слух, что если еврейская часть колонии не даст волонтеров, не избежать и в Париже еврейского погрома. В виду того,

что все заводы в Париже остановились и началась безработица, и так как опять-таки слух гласил, что война будет непродолжительна, многие просто для того, чтобы не умереть с голода, начали записываться во французскую армию волонтерами.

«Дорогой папа, — писал отцу записавшийся молодой еврей, — я не могу пожаловаться своей жизнью. Мы все, ангажировавшиеся в волонтеры, направлены в город Орлеан, где работаем в швальнях портными. Таким образом, в то время как другие трусишки, побоявшиеся записаться, ходят без работы и начинают в виду закрытия всех мастерских и фабрик голодать, мы имеем хорошую военную одежду, простой, сытный стол и квартиру. Я вспомнил о тебе, папа, как любящий тебя сын. Все говорят в казарме, и наш капрал и господин офицер это подтвердили, что война продлится самое большее два-три месяца. Почему тебе, папаша, не последовать моему примеру? Зачем тебе голодать? Не лучше ли тебе записаться, как и я, в волонтеры? Ты с успехом прошьешь в швальне эти два-три месяца синие капоты и красные солдатские брюки. По крайней мере ты не будешь голодать, но, наоборот, ты будешь и сыт, и одет, и в тепле. Последнее особенно важно для твоей болезни — астмы. Ведь ты, папа, по комнате с трудом можешь пройти. Здесь же ты будешь, как говорили мужики в России, приезжавшие на базар, «как у Христа за пазухой». Тебе будет тепло, сытно; ты не будешь простужаться, и я буду всегда с тобой. Ангажируйся, папа, в волонтеры!».

Так как Франция нуждалась в солдатах, записываться не препятствовали и больным, которые даже с трудом ходят, и старым. Большую помощь французскому правительству оказали женщины вообще, и не только француженки, постоянно останавливавшие на улицах молодых мужчин вопросом: «Когда же, наконец, вы пойдете против немцев?», но и русские, и даже жены некоторых товарищей.

Вследствие такой женской агитации, например, как мне говорил т. Шац, пошел в волонтеры т. Израиль Кольпа.

— Моя жена, — говорил т. Шац, — мне тоже все время не давала покоя и все время говорила, что я — трус, и ссылалась на пример тт. Бритмана, Иголкина, Кузнецова. «Вот это люди! — говорила она. — Это товарищи!»

В то время, когда происходили такие сцены в Париже, я продолжал сидеть в Бом-ле-Даме. Мимо станции, когда бы я ни приходил туда на перрон, непременно проносились с грохотом и шумом поезда с войсками. Из каждого поезда, из каждого вагона неслись возгласы бодрые, полные уверен-

ности в победу: «В Берлин! В Берлин! В Берлин! Смерть кайзеру! Смерть Вильгельму!».

Но скоро, может быть, потому, что наступление на Альт-Кирку, где немцы были побиты, оказалось ложной тревогой для отвлечения сил, так как главный удар немцы перенесли на Бельгию, поезда с теми же войсками потянулись уже обратно. Но какая перемена на лицах! Уже погасло на них оживление. Солдаты возвращались от эльзасской границы грустные. Не слышалось больше криков. Ехали молча. Очевидно, первые столкновения уже показали, что борьба будет нелегка и продолжительна...

Прочитав в газетах известия о принятии КЗО участия в войне, о записи в волонтеры таких товарищей, которых я ценил, как Н. В. Кузнецов, Бритман, Иголкин и другие, я пережил очень тяжелые минуты недоумения перед поступком немецких и французских социалистов и перед решением наших парижских большевиков. Но чем более я думал, размышляя, тем более я приходил к выводу, что в данном случае мы имеем дело с колоссальной ошибкой со стороны русских товарищей и КЗО и с изменой со стороны вождей фрацузских, немецких и других социалистов.

В середине сентября вернувшись в Париж, я приютился на некоторое время у т. Попова на улице Boussingault. Здесь же жил т. Диманштейн с женой. Вскоре я нашел себе квартиру на авеню Рей, № 13.

ПАРИЖ ВО ВРЕМЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Париж страшно изменился к нашему возвращению из Бом-ле-Дама. Он походил на дом, покинутый день и ночь веселившимся в нем владельцем. Не видно больше вечерами ярких огней в окнах, не раздается больше музыки, не заметно мелькающих в вихре танцев пар, не выглядывают из раскрытых окон красивые женские лица, не слышно звучного, радостного женского смеха. Мертво кругом. Закрыты двери и окна. Париж неузнаваем.

Во время страшной паники, охватившей всех при наступлении на Париж армии фон-Клюка, из него бежали все, кто в нем пировал. Итальянский и другие бульвары опустели. Исчезли те женщины, которые задавали тон в Париже. Уехали вместе с правительством и капиталистами проститутки высшего и среднего калибра. Даже уличные проститутки, наводнявшие бульвары, перебрались в Бордо. Немногие оставшиеся передвинулись к вокзалам, напол-

ненным солдатами. Движение на улицах сократилось больше чем наполовину. Увезли автобусы, переделанные в грузовики для военных нужд. Запрещены был танцы, продажа алкоголя сокращена. Абсент совершенно не появлялся в продаже. Не только особняки капиталистов вообще, но и многие большие дома стояли пустыми. Обитатели их в панике, их охватившей, уехали также на юг. Рестораны, ночные кабаре, бары стали влачить жалкое существование или закрываться. Погасли уличные фонари. Ночью город не только перестал освещаться, но в момент прилета «таубов» (немецких аэропланов) и цеппелинов, что извещалось особой тревогой, было строго запрещено оставлять окна освещенными. Как только раздавалась такая тревога, жители тотчас завешивали свои окна толстыми занавесями, платками, одеялами. Всю ночь белые лучи прожекторов прощупывали небо во всех направлениях. Стало тревожно, порой немного жутко. Первое время большинство жителей при появлении таубов или цеппелинов прятались в погреба. Затем привыкли. Какая-то тоска легла вместе с тем на улицы, площади, бульвары, где раньше кипела в особенности ночная жизнь. За эти два месяца Париж также как-то быстро запаршивел, стал много грязнее.

Как только выяснилось, что после поражения германцев на Марне опасность немедленного занятия Парижа немцами миновала, в Париж вернулись спекулянты, и началось исчезновение с рынка товаров. Богатые люди скупали массами сахар-рафинад, ибо производство последнего из-за недостатка угля было приостановлено на все время войны. Но доставать и сахарный песок, заменивший рафинад, становилось трудным делом. Рабочие по обыкновению не предвидели, что он исчезнет с рынка. В то время, пока буржуазия запасалась этим продуктом, делая из отдельных комнат своих квартир целые склады сахара, рабочие ничего не предпринимали. Когда они хватились, сахар, как и хлеб, стали выдаваться в ограниченном количестве.

Чем дальше затягивалась война, тем все более усиливалась спекуляция. Ловкие, не брезговавшие средствами люди наживались на военных поставках. Один знакомый «бастилец» нажился на такой простой вещи, как скупка обрезков при шитье обмундировки на армию. Появились «нуво риши» *, заводившие автомобили, любовниц и жившие роскошно и чванно.

---

* Нувориш — вновь разбогатевший.

Еще до войны среди части французов, воспитанных на полицейских вульгарных романах, замечалась страсть, выражавшаяся в добровольном розыске всякого рода преступлений. Специальная литература, наталкивавшая на развитие преступности, плодила, в свою очередь, добровольных сыщиков. С наступлением войны все эти добровольцы по сыскной части бросились разыскивать немецких разведчиков. Шпиономания возросла до чрезвычайных размеров. Этому способствовали надписи в вагонах железных дорог, метро, трамвая и всюду в общественных местах, гласившие: «Не пускайтесь в разговоры! Будьте осторожны! Уши врага вас слушают».

По части шпиономании особенно отличались консьержки. Получив, очевидно, соответствующие инструкции от полиции, они перестарались.

Шпиономания явилась своего рода нервной болезнью военного времени. В первые месяцы войны она свирепствовала подобно эпидемии. Заподозрив в ком-нибудь из прохожих немца, толпа наминала ему бока. Избиения продолжались дня три, не больше, затем болезнь приняла явно эпидемический характер.

Реакционная печать, как, например, «L'Action Francaise», газета французских монархистов, особенно старалась по части раздувания в населении шпиономании. Редакция этой газеты не раз привлекалась за клевету пострадавшими лицами. Среди последних оказалось много эльзасцев, из числа сторонников Франции. Немецкие фамилии, не вполне свободное от немецкого акцента произношение, чистый немецкий тип — все давало пищу для больного воображения.

— Как он похож на боша*! — с выражением подозрительности и ужаса на лице говорит консьержка сначала шопотом какой-нибудь одной из обитательниц дома.

— А в каком этаже живет он? — спрашивает последняя.

— На самом верху, на восьмом этаже.

— А вы не подумали, мадам, может, он оттуда сигнализирует бошам?

— Ах, какая я дура! Мне совершенно не пришло в голову подумать об этом. Наверное, он с этой целью еще до войны у меня снял квартиру на самом верху. Ведь эти боши — такие хитрые, коварные...

Предположение, брошенное досужей сплетницей, превращалось в уверенность в умах обитательниц целого квар-

---

* Бош — презрительная кличка немцев.

тала. Обуянные патриотическим рвением патриоты и патриотки засыпали комиссариаты полиции доносами. Полиция производила обыски, аресты. При этом пострадало много невинных. Из иностранцев, на которых падали всевозможные обвинения, мишенью нападок сделались русские.

Депутаты-националисты, националистическая печать обвиняли русских в том, что, не неся воинской повинности у себя на родине, они здесь всеми способами уклоняются от нее. Ободренные успехом компании добровольцев, которая из 30 000 проживавших в Париже русских дала 9 000 добровольцев в первые же дни августа 1914 года, т.-е. около 32% записавшихся во французскую армию, националистические круги французского общества при помощи правительства прилагали все усилия, чтобы использовать и оставшихся русских подданных, как превосходную военную силу.

Жертвою особой мнительности в числе прочих одно время сделался наш товарищ-большевик Оскар Эллек, носивший тогда фамилию Верия. Долго живший до переезда в Париж в Германии, женатый на немке, знавший превосходно немецкий язык, сам похожий немного на немца, он сделался в глазах обитателей дома, где жил, об'ектом самых нелепых подозрений. Жену его, как немку, отправили в концентрационный лагерь. Однажды после обычной тревоги, вызванной налетом цеппелина, сопровождавшейся завешиванием окон, тушением огня, бегством с верхних этажей, часто в одном нижнем белье, в подвалы, на другой день Эллека вызывают в комиссариат полиции.

— Ваша фамилия? — спросили его.

— Оскар Верия.

— Какой вы национальности?

— Я русский, уроженец Эстонии.

— Вы врете! Вы не русский! Вы бош! Нам известно, что вчера вы в десять часов вечера, когда прилетал цеппелин, сигнализировали ему из окна комнаты.

— Как вы считаете меня не только бошем, что уже лишено всякого основания, но даже немецким шпионом? Но ведь это же верх всякой нелепости!

— Нам это хорошо известно, и мы вас сейчас же отправим в тюрьму. Соседи ваши видели, как вы, сидя в вашей комнате, на самом верху, сигнализировали бошам.

— Это ложь! — с негодованием заявил Эллек. — Я вспомнил. Вы говорите, что это все имело место вчера, в момент прилета цеппелина, в десять часов вечера. Да меня в это время и дома не было.

— А вот мы спросим консьержку.

К счастью, консьержка хорошо помнила, что Эллек в 9 часов вечера, за целый час до прилета цеппелина, действительно вышел из дома и вернулся уже много позднее. Только эта случайность спасла т. Эллека. Но Эллека все-таки не оставили в покое и часто призывали в комиссариат полиции подвергали распросу, почему он так долго до приезда в Париж жил в Германии, почему он женился на немке, почему он так похож на немца и, зная немецкий язык, не научился хорошо владеть французским языком.

В одно воскресенье в центре Парижа один из городовых, к которому я обратился с распросами, вместо ответа вдруг, внимательно взглянув на меня, спросил:

— Какой вы национальности?

— Я — русский, — ответил я.

— Вы — такой же русский, как я — бош, — ответил он. — Вас выдает ваше произношение. Русское произношение мне известно. Я долго жил с русскими. Я вам скажу, кто вы. Вы бош! Вы — самой чистейшей воды германец.

— Вы с ума сошли, — ответил я, не растерявшись. — Что касается вашего знакомства с русским произношением, то я позволю себе усомниться. По-моему, вы его так же знаете, как я китайский язык.

— Полно, полно, — заявил городовой, — у вас и вид совсем, как у немца. Почему у вас на голове сбриты волосы? Русские, насколько мне известно, носят длинные волосы. Покажите ваше «перми де сежур» *.

— Сию минуту.

Я сунул руку в карман и с ужасом заметил, что я его оставил в рабочем пиджаке. В эту минуту на мне был одет воскресный костюм. Улыбка торжества засияла на устах городового, когда я, порывшись в кармане, принужден был сказать, что у меня его при себе нет, что я забыл его дома.

— Ну, вот, я говорил, что вы — бош. Теперь ясно. Идемте в комиссариат: там разберут, кто вы.

— Идемте, — ответил я.

И под подозрительными взорами толпы, начавшей уже собираться и пронизывать меня взглядами, которые мне не обещали ничего хорошего, мы зашагали в полицию. Когда мы уже почти дошли до полиции, я нашел в кармане письмо с моим адресом.

— Вот, — радостно сказал я, — смотрите! Это мой адрес. Вот на нем написана моя фамилия, имя, отчество.

---

* Перми де сежур —паспорт, выдававшийся во время войны иностранцам.

Всякий, знающий русских, сейчас же поймет, что я — чистокровный русский.

— Ну, ладно, — ответил полицейский, посмотрев письмо, — я вижу, что вы на самом деле русский. Вы можете себе итти, куда хотите, но советую не забывать дома «перми де сежур». Без него каждый полицейский может вас арестовать.

ПО ЗАВОДАМ ВО ВРЕМЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Голод — не тетка! И во время войны надо было искать работу. Узнав, что на заводе Рено после почти двухмесячного перерыва начался набор рабочих, я направился туда. Меня тотчас приняли и велели приходить на следующий день на «пробу». Как только я сдал «пробу», один из конторщиков сказал мне:

— Я знаю вас. Вы уже поступали к нам еще до войны, но вскоре ушли. Я, как только вы пришли записываться, тотчас вспомнил про вас. Я должен вас осведомить, что завод вас берет, но если вы задумаете устраивать какую-нибудь историю, двери этого завода навсегда закроются для вас.

Из этих слов я понял, что я нахожусь в черном списке и что меня, которого избегали до сих пор принимать, теперь, в виду того, что рабочие очень нужны, решили взять, но с предупреждением. Вместе со мной нашел работу на этом заводе еще и т. Мазанов, меньшевик.

Мы с ним ежедневно ездили по круговой железной дороге * на работу в Бийянкур, на завод Рено. По выходе из ворот Сен-Клу, пройдя валы и ров, мы натыкались на военные приготовления, сделанные с величайшей поспешностью около двух месяцев назад, когда ждали наступления немцев на Париж. Перед воротами был вырыт новый широкий ров, стояли проволочные заграждения, лежали срубленные дубовые деревья с заостренными ветвями навстречу наступающей коннице.

Эти военные сооружения вызывали разговоры преимущественно у русских о некоторых случаях неспособности и растерянности французского правительства, проявлявшихся в особенности в начале войны. Казалось, что в это время повторились сцены из романа Э. Золя «Разгром» («Débâcle»). Например, я от моих знакомых французов слышал рассказы о чиновниках, получавших приказы во

* La ceinture.

что бы то ни стало разыскать «десять сантимов» утерянных казенных денег. Чиновники точно исполнили приказания, но тратили на переписку по нескольку франков.

Случалось, железнодорожные служащие направляли нужный дозарезу военный материал из Венсена в Париж таким странным, бюрократическим способом, что он шел через город Дижон. Это было все равно, если бы со станции Сортировочной, что около самой Москвы, направили такой груз в Москву через Рязань, по Московско-Казанской ж. д.

Бездарность правительства сказалась в вопросе снабжения Парижа молоком. Спохватились, что по ошибке натравили толпу совершенно напрасно на швейцарскую фирму «Магги», снабжавшую весь Париж до войны молоком. Так как толпа, принявшая многочисленные лавочки этой фирмы за немецкие, разгромила их так основательно, что население осталось совершенно без молока, то, чтобы поправить беду, закупили несколько тысяч молочных коров и согнали их на подножный корм в Булонский лес. На другой же день совершенно забыли об их существовании. Когда коровы, оставаясь недоенными, стали заболевать, не находилось людей, умевших ходить за коровами и главное — доить их. Дошло дело до того, что через газеты стали приглашать всех, кому угодно, доить этих коров при бесплатном пользовании молоком.

Известного рода растерянность можно было заметить и на заводе Рено. Хозяева, администрация завода принявший французское подданство немец-мастер Пфеффер во время страшной паники, вызванной наступлением немцев на Париж, бежали в Бордо. Здесь компания завода Рено спешно строила новый автомобильный завод на тот случай, если германским армиям паче чаяния удастся снова прорваться к Парижу. Парижский завод Рено, только что пущенный в ход, работал вяло. Большинство токарей точило из крепкой стали особые стрелки, бросаемые летчиками в колонны врагов во время полетов с аэроплана. Работали поденно, получая по 20 су в час*. Производительность труда понизилась сама собой не менее чем на 50 процентов. Директор отдал приказ подготовить переход к поштучной плате, и поэтому делали все возможное, чтобы поднять производительность труда до уровня довоенного, какой имел место всего два месяца назад. Рабочие-французы огорчали директора и мастеров тем, что, предпочитая слыть за плохих

---

* 10 франков за 10-часовой рабочий день.

патриотов, упорно не шли навстречу директору завода. Те из отдельных рабочих, сопротивление которых удавалось сломить контрометрам (contremaîtres), мастерам завода, тотчас испытывали на себе всю тяжесть ненависти рабочих мастерской.

Однажды утром, подойдя к воротам завода, я, как всегда, остановился перед ними, как перед дверью ада. Оставалось еще около пяти минут до свистка. Я решил остаться на вольном воздухе. Я начал разглядывать поток рабочих, вливавшийся в это время в завод, лубочные военные плакаты, изображавшие небывалые победы французского оружия над армиями кайзера, храбрость французских «пуалю» (солдат) и поразительную, небывалую трусость германских солдат. Слушая уличных певцов, слова песен которых говорили, что пушки гремят на фронте только потому, что необходимо защищать французскую свободу и республику от посягательств «германских варваров», я обратил внимание, что один из рабочих-французов после короткой ссоры сильно ударил по лицу другого. Побитый бросился бежать к мастерской, где он работал. В этот же момент засвистал свисток. Толпа рабочих ринулась в завод.

— За что это били этого токаря? — спросил я у одного из французов.

— Поучить решили, чтобы другим жизнь не портил. Он взял на себя роль загонщика. Он старается нарочно работать быстрее других. Все должны по нему равняться. Мы принуждены из-за него работать теперь все быстрее и быстрее. Вот мы его и поучили...

— Мало ему набили морду, — прибавил другой. — Вот ужо в мастерской мы еще прибавим. Пусть помнит!..

День начался, как всегда. Под строгими взглядами контрометров рабочие через три-пять минут после свистка пустили в ход свои станки. Последние завертелись, одни медленно, другие быстро, смотря по величине диаметра изделия и крепости металла. Стальные стружки стали виться из-под резцов и падать на пол. Увлекшись работой, я уже стал забывать про случай с загонщиком утром. На лицах рабочих отражалась ненавистная мне покорность своему тяжелому положению.

Позднее, часов около десяти, я заметил некоторое возбуждение среди рабочих. Несколько человек собралось около побитого токаря.

— Эй, ты! — говорил ему один француз. — Ты ненароком не занимаешься ли тем, что целуешь зад у директора? Что, выдвинуться захотел? Почему ты гонишь работу во-

всю, как будто ты работаешь сдельно? Негодяй ты! Прохвост! Почему ты стал загонщиком?

— Что вам надо? — отвечал тот. — Оставьте меня в покое. Это не ваше дело. Я работаю для блага моей дорогой родины, для Франции.

— Эй! Что ты с ним миндальничаешь? — кричали другие токаря. — Casse lui la gueule! Дай ему в морду! Бей этого негодяя!

— Так ты не послушаешь моего совета? — спрашивал говоривший. — Не перестанешь подхлестывать, перегонять всех?

— Нет! Уходите от меня! Иначе я пойду пожалуюсь контрометру...

— Так вот же тебе!

И токарь, упрекавший его в нетоварищеских поступках, изо всей мочи нанес ему страшный удар в лицо. За первым ударом последовал второй, третий. Избиваемый бросился на избивавшего. К нему на помощь подскочил брат. На помощь избивавшему пришли другие токаря. Слышались голоса: «Так его! Еще! Бей его, мерзавца! Лупи! Жарь! Еще! Еще!..»

Увидев расправу, на помощь избиваемому бежали из конторы мастера. Но их остановил молодой здоровяк-токарь в белом до пят балахоне.

— Стой! — крикнул он. — Не лезьте, куда вас не спрашивают. Il est dégueulass (он — мерзавец-предатель!), — кричал он, указывая на избиваемого. — Он заслужил все это!

Только появление директора в таком же балахоне до пят, как у многих рабочих, приостановило расправу. Избитого, у которого текла ручьями кровь из носа и под глазами чернели синяки, за руку, как героя, повел через всю огромную мастерскую в бюро мастеров сам директор. Принимавших участие в избиении, замеченных мастерами рабочих он отдал приказ сейчас же уволить.

Последние немедленно начали складывать свои белые длинные блузы и укладывать в них инструмент.

— Как, товарищи! — обратились они к оставшимся. — Вы позволите нас так выбросить?

В ответ послышалось молчание. Все токаря, чувствуя себя виноватыми перед товарищами, опускали глаза, но продолжали работать. Директор, маленький человек в котелке, торжествовал победу.

Придя после обеда на работу, рабочие прочли вывешенное об'явление, что со следующего дня завод переходит на сдельную работу. Ничего не было в этом особенного. Можно было удивляться, как до сих пор администрация завода не догадалась возобновить ее, но введение ее вызы-

вало все-таки недовольство рабочих. Забегали по мастерской рабочие. Раздался крик:

— Бросай работу! Стачка!

— Эй, русские! — обратился один рабочий ко мне и к тт. Мазанову и Мокееву. — Вы всегда нас упрекали, что мы не бастуем. Вот у нас забастовка. Как вы?

— Бросаем работу! — крикнул мне т. Мазанов.

Он, как и я, еще выжидал, наблюдал, насколько будет и на этот раз серьезно движение. Я оглянулся. Останавливали станки и сбрасывали блузы лишь немногие из рабочих. Большинство, как и утром, оставалось глухо к призыву забастовать.

— Да, нам нельзя не поддержать этого движения меньшинства, — сказал я т. Мазанову, скидывая свою блузу и складывая в нее свой инструмент.

Мастер, наблюдавший, что происходит в заводе, вдруг подскочил ко мне.

— Как? — воскликнул он. — И вы, русские, уходите? Вы поддаетесь этим негодяям? А отдаете вы себе отчет, что вы делаете? Ведь теперь война. Вы, русские, — наши союзники. Хорош будет пример для французских рабочих, когда они узнают, что вы в момент войны с врагами Франции, бошами, уходите с завода с этими сумасшедшими.

— Мы не только русские, — ответил я, — мы —социалисты-марксисты.

— Ну, как хотите. Я тоже социалист. Однако знаю, что и Жюль Гед, и Вайян, и Ренодель — они за войну. Теперь ничего нельзя поделать.

Вместе с одной сотней забастовавших на несколько сот оставшихся рабочих мы с т. Мазановым вышли в заводскую контору. Тот конторщик, который принимал меня, пробовал нас урезонить:

— Ведь вы русские, — говорил он. — Опомнитесь, оглянитесь, что вы делаете. Ведь вы — наши союзники. Вернитесь, пока не поздно. Я прошу вас: будьте благоразумны...

— Нет,— заявили мы,— мы уходим.

— В таком случае ворота завода никогда больше перед вами не откроются. Помните и это.

— Уйдем с нами,— говорил я русскому токарю Мокееву с Урала, работавшему у Рено еще до войны.

— Нет,—ответил он.—Я боюсь остаться долго без работы. У меня семья. Да и забастовка то частичная, мизерная, а последствия будут самые черные...

Мы получили расчет. Выходя из завода, проходя мимо заводской конторы, мы поразились, заметив человек двести рабочих, нанимавшихся на этот завод. На наш призыв пот-

ледовать нашему примеру они ответили глухим молчанием. Два месяца безработицы и боязнь очутиться на фронте под огнем немецких орудий и пулеметов заставляли их соглашаться на все условия, которые им диктовал капиталист. Чем дольше продолжалась война, тем ярче, тем больше окружающая нас жизнь давала доказательства, как война принижает человека, вносит озверение и огрубение.

Голос друзей народа, социалистов, в это время замолк не потому, что он заглох в тюрьмах, в Сибири и на виселицах, как это было с народовольческой революцией и в конце 70-х годов в России, или что он был затоплен в потоках крови, как это было после подавления восстания Парижской коммуны в Париже, а потому, что социалисты просто изменили рабочему классу. Громко раздавался лишь голос тех, кто сеял в массах человеконенавистнические чувства. Авторитет человека науки, писателя, художника терял прежнее значение по сравнению с возросшим авторитетом хироманта и попа. Когда умер в Париже великий русский ученый Мечников за его гробом шла лишь небольшая кучка студентов и почитателей. Когда же умирал «Туз» * — военный летчик, — за его гробом шли тысячи народа. Война принижала таким образом, человечество на целую голову.

Примеры огрубения, граничившего с озверением, я наблюдал почти ежедневно в рабочем ресторане. Рабочие привыкли с таким же равнодушием смотреть во время обеда на странствующих певцов, музыкантов, как и на людей, ломавших при помощи крепких зубов и рук толстые подковы. Некоторые на потеху обедающих предлагали кому-либо из присутствующих связать себя стальной цепью по голому телу с такой силой, что цепь впивалась в мускулы рук, как казалось, до самой кости. Затем движением плеч и рук они постепенно освобождались, вылезая из цепи. Видя, что рабочие не протестуют против подобных мучений, которым подвергали себя эти несчастные лишь для того, чтобы обойти затем с шапкой обедающих, я вспоминал английский бокс и бой быков в Испании.

Поступая на завод, я давал себе слово не начинать пропаганды, пока не осмотрюсь на новом месте. Но почти в первый же обеденный перерыв я не выдерживал и начинал возражать рабочим-французам, старавшимся мне доказать, что именно германцы намеревались послать свою армию против русской революции 1905 года. Ссылаясь на произведение М. Горького «Прекрасная Франция», я об'яснил, что наша революция 1905 года была задавлена исключительно при помо-

* «Тузами» звали в Париже отличившихся военных летчиков.

щи французской буржуазии. Одновременно я пользовался случаем, чтобы доказать, что именно немецкие рабочие пришли к нам на помощь в 1905 году, прислав что-то около 40 000 марок. Чтобы слушатели относились с доверием к этим актам, я ссылался на газету «Humanité» — центральный орган французской социалистической партии, которая могла существовать, особенно в первое время, лишь благодаря денежной поддержке германских социал-демократов.

Нельзя забывать, что во Франции во время империалистической войны приводить доказательства в пользу того, что германский народ нельзя считать «варварским» и что немецкие рабочие оказывались способны на такие проявления международной солидарности рабочих, как присылка денег для русской революции, было так же опасно, как в Испании во времена инквизиции выступать в защиту еретиков. Почти всех российских рабочих-большевиков французские рабочие подвергали избиению за подобную пропаганду. Хотя я был очень смел и, познакомившись с рабочими, вел среди них агитацию за все наши большевистские лозунги, меня никто из парижских рабочих за агитацию в пользу превращения империалистической войны в гражданскую даже пальцем не тронул. Но это не значит, что моя агитация сходила мне всегда с рук. Парижские рабочие не понимали правил конспирации. То, что я говорил сегодня, делалось завтра-послезавтра через кого-нибудь известным мастеру и директору.

Мастер начинал меня выживать, или, как говорят рабочие, «с'едать», сыпались придирки к якобы дурно-исполненной работе. Давали плохую работу, от которой сам сбежишь, переводили на плохой станок. У мастера в руках много средств для того, чтобы сделать жизнь рабочего-социалиста, проявлявшего себя активно, невыносимой. Я ненавидел этих сторожевых псов капитала больше, чем самих директоров и хозяев. И они не питали ко мне симпатий. Мастер на заводе Рено сразу же, с первых дней, учуял, очевидно, во мне своего врага, и в свою очередь, возненавидел меня.

Я, пропагандист партии, борющейся за освобождение самых угнетенных слоев рабочих и человечества, представлял собой в Париже, во время империалистической войны, песчинку, затеряную среди моря национализма, шовинизма и человеконенавистничества. Но я исполнял свой долг революционера-марксиста. В то время, когда все молчало, я раскрывал глаза французским рабочим, вызывая к себе бешеную ненависть мастеров и директоров. Нужно было соблюдать осторожность. Война влила в рабочую среду много постороннего элемента. Буржуазные оболтусы без образо-

вания, которым не удалось примазаться в тылу на положении инженеров, искали, как величайшего для себя счастья, устроиться на время, пока длится война, рабочими на заводах. Все, что угодно, лишь бы не итти на фронт, в траншеи, где царили смерть и ужас. Чем крупнее был завод, тем более он вмещал подобной сволочи. Мне показывали на заводе Рено подметальщиков. Они были одеты в такие же блузы и каскетки, как и все рабочие. По внешнему виду нельзя было ничего заметить.

— Кто это, по-вашему? — спрашивали меня рабочие-французы.

— Не знаю,— отвечал я.— Одно заметно, что он плохо держит метлу в руках.

— Это — кюре (поп, настоятель церкви),— говорили мне.

Мне передавали, что некоторые маленькие хозяйчики зарабатывали не столько на казенных заказах, сколько на обучении токарному делу буржуазных оболтусов. Сделаться токарем-металлистом, на которого до войны смотрели эти люди с презрением, теперь, во время войны, стало для них заветной мечтой.

Французская буржуазия усиленно и, надо отдать справедливость, очень умело восстанавливала, как этого требовали условия империалистической войны, военную промышленность при самом активном участии французского социалиста Тома. Последний проявил большие организаторские способности. Новые заводы росли, как грибы после дождя. Чувствовался недостаток в рабочих-металлистах. «Комите до форж» *, распределяя заказы, поднял на ноги всю мелкую металлообрабатывающую промышленность. Везде обтачивали снаряды, изготовляли части пулеметов и других военных машин.

На нашем заводе появились уже бежавшие из Бельгии бывшие хозяйчики. Они работали токарями. Они относились особенно враждебно к агитации против войны. Их нужно было особенно остерегаться.

Завод Балло, на котором я работал, получив большие военные заказы, не останавливался день и ночь. Воздух в мастерских совершенно не проветривался. Запах прогорклого машинного масла, углекислый газ, который надышали рабочие, проведшие только-что за станками ночь, оставались для дневной смены. Электрических вентиляторов, особых форточек не было. Я физически чувствовал себя настолько плохо, что отказался работать в ночной смене. Меня начинало тошнить, как только я входил в мастерскую утром.

* Организация французских капиталистов тяжелой индустрии.

Во рту делалось горько. Пропадала всякая энергия работать, являлось желание немедленно бросить завод и уйти. Я оглядывался на рабочих, стараясь прочесть на их лицах, в выражении их глаз признаки возмущения своим положением. Не встретив и следов последнего, я всегда удивлялся долготерпению рабочих, уже пускавших станки в ход.

Меня возмущала и поражала тупая покорность и даже довольство своим положением одного русского токаря Ш-ц, бывшего революционера. Потому ли, что он познакомился с красивой француженкой, за которой усиленно ухаживал и собирался жениться, он имел вид очень довольного человека, проявлял шумную веселость по малейшему поводу; соглашался со мной, что надо и то и другое предпринять, чтобы сдвинуть французских рабочих с той мертвой точки, на которую их поставили их вожди, но на деле ничего не хотел предпринять. Мало того: когда приближалось 1 мая, когда я, верный постановлению международного социалистического конгресса, остался 1 мая 1915 г. дома для празднования этого дня, выяснилось, что я опять остался в одиночестве: я один из всего завода не пришел на работу, он не последовал моему примеру и вышел в этот день на работу.

Когда я вернулся на работу после 1 мая, мне дали опять понять, что от меня желали бы избавиться. Бросив завод Балло 17 июня, я начал на другой день, 18 июня, работать на заводе Сампсона в Бийянкуре.

Почти от самых ворот Сен-Клу за версту от завода начинал слышаться невероятный гул шести, восьми и десяти пропеллеров испытываемых изготовленных новых авиомоторов. Когда я вошел в завод, мне показалось, что я вошел в ад: до такой степени там все наполнял собой невероятный, ужасный рев машин. Испытательная станция находилась в самом центре завода. Чтобы услышать друг друга, нужно было кричать на ухо. Эксплоатация здесь была самая адская. Помимо работы утомляло и нервировало это дьявольски сильное жужжание моторов.

На заводе я встретил много бельгийцев. Некоторые из них успели побывать в Англии. Все они, с одной стороны, находили, что к ним относятся недостаточно гостеприимно, а с другой — многие из них ужасались той эксплоатации рабочих, на которую они, по их мнению, натолкнулись в Париже.

— Ни в Англии, ни у нас, в Бельгии, не работают с такой высокой производительностью труда, какую мы встретили здесь, в Париже,— говорили многие из них.

Бельгийцы были убеждены, что они являются лучшими рабочими в мире. Начиная работать в Париже рядом с то-

карем-французом, часто довольно невзрачным с виду, бельгиец заранее предвкушал удовольствие, что он исполнит работу качественно лучше и количественно далеко перегонит француза. Поэтому, работая, он посвистывал, напевал и самоуверенно смотрел на своего соседа. Но через час он к своему удивлению замечал, что француз, работавший, как ему казалось, с прохладцей, не только не отставал от него, но, работая по другой системе, начинал даже перегонять его. Он замечал, что в то время как он, гордый бельгиец, успел сделать всего три штуки работы, француз успел исполнить четыре. Бельгиец начинал торопиться, усиливать быстроту своих движений, но не только не догонял, а все более отставал от француза.

У «СТЕНЫ КОММУНАРОВ»

Приближался день 28 мая, день падения Парижской Коммуны, когда ежегодно в последнее воскресенье мая парижский пролетариат устраивал демонстрацию к «Стене коммунаров». Основанный большевистской группой «Клуб интернационалистов» по инициативе парижской секции большевиков решил послать делегацию для обычного возложения в этот день венка на кладбище Пер-ла Шез у «Стены коммунаров».

Обыкновенно ежегодно честь несения венка из красных роз от нашей большевистской группы присваивал себе т. Абрам Б. Не выпуская из рук венка, не уступая его никогда другим товарищам, несмотря на их просьбы, он доносил его до конца кладбища, до самой «Стены коммунаров». Но одно дело было нести венок до войны, когда демонстрация разрешалась полицией, и совсем иначе складывались обстоятельства во время войны, когда социалисты превратились в социал-шовинистов, социал-оборонцев, сторонников «бургфриден» (Burgfriden) в Германии и «юнион сакре (union sacrée) во Франции, когда летучие отряды парижской полиции могли налететь на нас, арестовать, избить и отправить в концентрационный лагерь, как нежелательных и опасных иностранцев.

Поэтому предложено было на собрании выдвинуть добровольцев на это дело. Так как мне страшно хотелось хоть раз получить высокую честь несения красного венка на могилу коммунаров, я немедленно предложил свои услуги. Кроме меня откликнулись еще т. Шпагин, т. Роза, жена т. Антонова-Овсеенко.

Тов. Шпагин был очень способный рабочий, большевик, член государственной думы. Попав в первый раз в своей

жизни на берег Атлантического океана, он так поразился красотою моря, что, взяв кисть и краски, нарисовал очень недурно вид моря. До этого он изредка лишь пробовал брать кисть и срисовывать виды с открыток. Когда мы показывали его попытки рисовать морской вид, парижские художники утверждали, что из тов. Шпагина выработался бы несомненно художник.

На заводе среди слесарей-французов он выделялся своею способностью. Он часто давал такие советы, касающиеся работы, французам-слесарям, что последние, глядя на него, проникались уважением вообще ко всем русским рабочим.

Однажды слесарный мастер, подойдя к нему, жаловался, что из-за того, что долбежный станок на заводе «Лерликид», в Булони, под Парижем, где я работал вместе с т. Шпагиным, слишком мал, чтобы продолбить место для шпонки, придется большую шестерню отправить на другой завод.

— Это значит на две недели, — заявил с горечью мастер.—А работа срочная.

— Прибавите мне жалованья, если я вам к вечеру прорублю эту шпонку здесь в тисках ручным способом?

— Как ручным способом? — переспросил удивленный мастер.

— Да так: зажму шестерню в тиски и прорублю клецмейстером.

Мастер вспомнил, что действительно в старину в Париже, когда еще не существовало долбежных машин, старые слесаря умели прорубать с большим искусством эти шпонки.

— А вы сможете? — переспросил его мастер. — Если можете, берите. Прибавка вам будет, когда будет закончена хорошо работа.

Почти все слесаря, мастера завода и сам директор приходили смотреть на т. Шпагина, прорубавшего ручным способом почти с такой же точностью, как машина, шпонку.

Получив венок из красных цветов в магазине, где мы его заказали, мы благополучно доехали по метро под землей до самого кладбища. Ни около, ни на самом кладбище мы не заметили никакой полиции. На одной из дорожек кладбища мы встретили одного из гуляющих. На беду я, несший впереди венок, заблудился. Товарищи тоже не знали дороги. Я спросил прохожего. Он тотчас широко раскрыл глаза, услышав мое иностранное произношение. Тогда он особенно внимательно взглянул на нас, на красный венок, на т. Розу, одетую по сему торжественному случаю во все крас-

ное: на ней была красная шляпка, красная кофточка, красная юбка. Шпиономания, видимо, охватила его.

— Идите вон туда, — указал он. — Там «Mure fédérés» *, — сказал он и побежал к выходу.

Мы благополучно добрались до «Стены коммунаров». Роза, выхватив из моих рук красный венок, преклонив колени перед «Стеной», где погребены были мученики Коммуны, повесила его на один из гвоздей, которых было много вбито в стену.

Постояв немного, довольные, что нам удалось благополучно донести венок до цели, мы собрались уходить. Потихоньку шли мы по дорожкам кладбища, так богатого роскошными памятниками. Особенно наше внимание привлек «памятник мертвым». Шпагин рассказывал о кладбище для собак недалеко от Парижа, где богатые барыни в память издохших мосек тоже ставят дорогие мраморные памятники. Он возмущался наглостью капиталистов, не знающих, на что только тратить прибавочную стоимость рабочего.

— Не следует ли нам разойтись еще на кладбище? — предложил я. — Меня смущает тот молодой малый. Хотя он и походил на рабочего, но теперь во время войны принадлежность к рабочему классу не всегда гарантирует, что на вас этот же рабочий не донесет.

— Что за ерунда? — захохотала Роза. — У вас, т. Шаповалов, мания преследования. Не забудьте, что здесь все-таки не Россия, а Франция. Если мы благополучно донесли венок до кладбища, если нам никто не помешал донести его до самой «Стены», то чего нам опасаться? Мы просто гуляем на кладбище. Вот и все! Ха-ха-ха!

Мы направились к выходу, перешли через улицу. Я предлагал пойти еще посмотреть памятник коммунарам скульптора Поля Моро-Вотьера. В то время как мы обсуждали этот вопрос, итти или не итти туда, вдруг, откуда ни возьмись, показался летучий отряд полиции на велосипедах.

— Хальт (Стой)! — раздался крик старшего.

Тотчас, пока мы отдавали себе отчет, что такое собственно происходит, полицейские, сделав оборот, быстро окружили нас и, соскочив с велосипедов, стали в угрожающей позе кругом нас. На улице тотчас стала собираться толпа.

— Кто вы такие? — спросил нас старший, подходя к нам. — Покажите, пожалуйста, ваши бумаги. Где у вас «перми де сежур»?

Осмотрев бумаги и записав адреса, он спросил:

---

* «Стена коммунаров».

— Вы сегодня возлагали красный венок на «Стену коммунаров»?

— Да,—ответили мы.

— Вы русские социалисты?

— Да.

— Вы свободны.

— Благополучно отделались! — говорила т. Роза. — Я ждала, что нас арестуют. Полиция, очевидно, не хотела создавать дела о возложении венка на могилу коммунаров во время империалистической войны. Только французская полиция вряд ли оставит нас в покое, с чем вас всех и поздравляю, товарищи!

Разброд и шатание среди социалистов во время империалистической войны сказались особенно на сотрудниках оборонческой газеты «Призыв», выходившей при участии Г. В. Плеханова, Г. Алексинского, Любимова и других. Если «Наше слово» в борьбе с социал-шовинизмом склоняло колени перед последним, как характеризовал эту газету т. Ленин, то «Призыв» отличался особо злобными нападками на «пораженцев-большевиков» и в особенности на т. Ленина. Когда Владимир Ильич обратился с письмом к французским рабочим (письмо т. Сафарову), бывший большевик Марк Любимов в своей статье в «Призыве» старался представить т. Ленина, как человека, одержимого такой же манией величия, как и сумасшедший герой Гоголя Поприщин, об'явивший себя, как известно, королем Испании. Письмо т. Ленина показалось поступком «дерзким и смешным» не только сторонникам «Призыва», но и многим интернационалистам, не говоря уже о меньшевиках.

— Эка, куда хватил! — говорили последние.—Ему ли с его суконным рылом к французским рабочим соваться? Действительно, стал похож на сумасшедшего Поприщина.

ПАРИЖСКАЯ СЕКЦИЯ РСДРП(б) И КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

После борьбы, разыгравшейся в самом начале войны, против принятия участия в империалистической войне, с получением письма от т. Ленина, из Швейцарии, где он резко осуждал большевиков сторонников волонтерства во французской армии, окончательно восторжествовала ленинская точка зрения на империалистическую войну *.

* До приезда из Греции т. Ленина в 1914 году находившийся в Женеве, видимо, совершенно растерявшийся Г. Зиновьев не дал КЗО, несмотря на запрос, никаких директив по отношению к начавшейся империалистической войне.

Письмо самого т. Ленина, где он резко высказывается против волонтерства во французскую армию, конференция заграничных организаций нашей партии, тезисы против войны, напечатанные в № 33 «Социал-демократа», циммервальдская и кинтальская конференции, — все это неизменно влияло на возвращение к ленинской позиции против империалистической войны большинства тех, которых увлек пример германской социал-демократии и французских социалистов.

Указание т. Ленина, что нужно немедленно вести агитацию за прекращение империалистической войны, за превращение ее в войну гражданскую против своей буржуазии, о желательности поражения царских армий в этой войне, необходимость разоблачения социал-патриотов и организационного размежевания с ними,—все эти вопросы ставились и обсуждались не только в парижской секции большевиков, но и в образовавшемся в Париже «Клубе интернационалистов» и в парижской секции российских рабочих-металлистов при профсоюзе «Union corporative des ouvriers mecaniciens de la Seine».

Необходимость борьбы с социал-шовинистами, за раскол II Интернационала и создание III Интернационала поставила вопрос о перенесении партийной работы за пределы русской колонии во Франции, в среду французских рабочих.

Наша партия, как партия интернациональная, была все время до войны в контакте с международным социалистическим бюро II Интернационала, со всеми социалистическими партиями и в особенности с французской социалистической партией. Представительствовала от нашей партии в ФСП, как превосходно знавшая французский язык, т. Инеса Арманд. Еще до войны отдельные лица как со стороны большевиков, так и со стороны меньшевиков и эсеров входили в тот или иной аррондисман французской социалистической партии. Редкие интеллигенты-большевики, входившие в ФСП, оправдывали свое пребывание в рядах ее исключительно желанием познакомиться с французскими социалистами и с постановкой работы в ФСП.

О проведении большевистских взглядов во французскую рабочую среду до империалистической войны никто всерьез не думал. Во-первых, этому мешали незнакомство с французским рабочим и незнание французского языка. Затем каждый русский-большевик работу среди французов до войны считал бы неправильным разбрасыванием сил. Всякому желавшему работать в массах, предлагали немедленно ехать в Россию, где после поражения революции

1905—1906 годов работы был непочатый край. Также во время реакции, в момент, когда в России все было разгромлено, считалось даже абсурдным сеять семена большевизма во Франции, в то время, когда дело большевизма в самой России в глазах многих, ушедших от Ленина в этот период, представлялось похороненным почти навсегда.

Французские рабочие, гордые тем, что их предкам удалось совершить Великую революцию, могли русскому интеллигенту предложить сначала сбросить царизм в России и затем уже притти к ним на помощь в борьбе против французской буржуазии. При таких условиях только русские рабочие в своей повседневной жизни с французскими рабочими знакомили последних со всей, так отличавшейся от западно-европейских рабочих партий, большевистской партией и тем подготовляли почву для позднейшей большевистской агитации. Но эта работа большинством руководящих товарищей в счет почему-то не принималась.

Поэтому лишь во время империалистической войны получилась более твердая база для распространения идей большевизма в странах Западной Европы. Под влиянием Ленина отдельные товарищи начали вести работу среди французских рабочих. Необходимо указать на попытку т. Сафарова в приморском городе Сент-Этьене, где он работал на заводе рабочим, создать среди французских рабочих кружок. Сафаров был выслан за это из Франции. Эта попытка работы среди французских рабочих вызвала известное письмо т. Ленина (Н. Ленин, собр. соч., т. XIII, стр. 510) к Сафарову, которое являлось по сути дела первым прямым обращением т. Ленина к французским рабочим. Тов. Ленин пытался разоблачить в глазах передовых французских рабочих ошибочную и трусливую тактику представителей в Циммервальде от французских рабочих Бурдерона и Мергейма, боявшихся сделать шаг, который привел бы к расколу в социалистической партии и в рабочих синдикатах и к созданию III Интернационала. Тов. Ленин высказывается за раскол во II Интернационале, говорит против «болота», против примирителей — Мартова и Троцкого в России, Каутского в Германии, Лонге во Франции — и против анархистов, патриотов и шовинистов. Тов. Ленин призывал к созданию во Франции нелегальных организаций среди рабочих.

Приходится сознаться, что этот призыв т. Ленина не встретил того отклика, какого ожидал т. Ленин. Русские большевики и их вождь т. Ленин были еще почти неизвестны среди французских рабочих и солдат. Поэтому они не могли пользоваться в глазах французских рабочих тем ав-

торитетом, какой необходим, чтобы пойти на необычную для француза подпольную работу. Только после Февральской революции, когда был сброшен царизм, французские рабочие стали более чутко прислушиваться ко всему, что делается в России и исходит от русских.

Среди неудавшихся попыток создать нелегальную организацию надо отметить работу т. Сомоно, французской учительницы, среди работниц-француженок. Сомоно была арестована. С последней пытались вести работу т. Людмила Сталь и, по ее словам, т. Гопнер. Деятельную работу по печатанию нелегально письма т. Ленина и его статей из «Социал-демократа» на французском языке провели тт. Людвинская и Г. Беленький. К сожалению, все эти попытки начать нелегальную работу во Франции в этот момент успеха не имели. Они не повели к созданию среди французских рабочих подпольной организации.

В «Клуб интернационалистов» в Париже входили, кроме членов секции большевиков, Антонов-Овсеенко, Мануильский («Безработный»), «Лева» (Владимиров), Лозовский, Яков Вишняк и другие. Туда же входил и Троцкий.

Они работали в газете «Голос», и когда последняя была закрыта, — в газете «Наше слово». Троцкий явился центральной фигурой, около которой группировались все несогласные с т. Лениным. В парижском «Клубе интернационалистов» против большевистского лозунга о желательности поражения царских армий Троцкий выдвинул свой лозунг: «Ни победы, ни поражения». Он также вел борьбу против стремления большевиков «организационно размежеваться с социал-патриотами». Он находил, что, критикуя последних, нужно оставаться с ними в одной и той же организации. Его отношения к большевикам очень характерно сказались в его письме в конце 1915 года в правление парижского «Клуба интернационалистов», где он писал о том, что он не разделяет поведения ленинской делегации на циммервальдской конференции.

Как сторонник «перманентной революции», Троцкий возражал против возможности в России в 1915 году самостоятельной демократической революции. Так как большевики отстаивали возможность и осуществимость ее, считая крестьянина, как союзника в этой революции рабочего класса, Троцкий возражал именно против надежд на русского крестьянина. Поскольку даже культурный рабочий в Западной Европе мирился временно с войной, он не допускал возможности, чтобы «невежественный русский мужик» мог выступить хотя бы в союзе с русским рабочим против войны.

Возлагая все свои надежды на западно-европейский пролетариат, который, возмутившись против буржуазии, втянувшей его в войну, наконец, начнет великую революцию на Западе, он утверждал, что революция в России во время войны возможна лишь как революция, перенесенная с Запада. Что касается «русского мужика»,—заявил он мне на мою речь в Парижском клубе, — я в русского мужика не верю.

Между Троцким и нами, рабочими, быстро встала какая-то отчужденность. Простой и скромный т. Ленин становился нам еще ближе, роднее.

Из большевиков энергично выступали против Троцкого умерший уже т. Залевский, Таня Людвинская, Г. Беленький и другие.

Тов. Покровский в личной беседе поразил меня тем, что после Февральской революции он допускал возможность в России даже коммунистической революции и взятия власти рабочим классом.

Если попытки вести работу среди французских рабочих не были в общем успешны, то совсем другое получилось, когда началась работа среди русских солдат, присланных из России на французский фронт.

Сначала работу среди них «за продолжение войны до победного конца» вели оборонцы из «Призыва». Конечно, эта работа успеха не имела. Иное дело, когда к этим солдатам пришли большевики. Агитацию стали вести среди русских солдат, находившихся во французских лазаретах. Французская полиция и французская публика вдруг увидели на улицах Парижа необыкновенное зрелище. Время-от-времени то там, то здесь стали попадаться навстречу рослые фигуры людей в фуражках русской армии, но одетых в больничные халаты. Это были русские солдаты, только-что перемахнувшие через высокие стены парижского госпиталя, вследствие запрета французских военных властей выходить за ворота госпиталей, и спешившие насладиться свободой или направлявшиеся на большевистский кружок. С особой энергией и успехом работали среди русских солдат тт. Антонов-Овсеенко и Лева Владимиров.

Ошибочный политический шаг, каким было признание империалистической войны частью парижских большевиков и волонтерства во французской армии, переживался, конечно, участниками этого шага очень болезненно. Как доказывает прилагаемое письмо т. Антонова-Бритмана, они были уверены, что т. Ленин будет на их стороне. Письмо т. Ленина, где он говорит о парижских большевиках, принявших войну, что они «с ума сошли и перестали быть социалистами», произвело на них ошеломляющее впечатление;

почва заколебалась у них под ногами, как во время землетрясения. Многие из них заметались, как заблудившиеся в лесу... Лучшие из них немедленно отмежевались от волонтерства и, не колеблясь, стали всецело на ленинскую точку зрения. Часть продолжала колебаться. Часть волонтеров оставалась до конца непримиримыми. Конечно, никакой серьезной работы среди французских солдат они не могли вести.

Особенно тяжело пережил уклон в волонтерство т. Николай Васильевич Кузнецов-Сапожков. Став ярым сторонником войны с Германией и очутившись на одной платформе с «Призывом» Г. Алексинского, он оказался в одних рядах с тем, кого он не уважал, с которым он боролся. Еще накануне войны он, возмущенный ложью и неискренностью Григория Алексинского, травившего члена комитета заграничных организаций большевиков т. Антонова-Бритмана, нанес жестокую пощечину Григорию Алексинскому.

— Ленинский приказчик! — прошипел на него Алексинский, подымаясь с пола, на который его свалил удар т. Кузнецова.— Ленинский подголосок! — продолжал он шипеть. — Все равно, заведет вас Ленин в тупик. Неправилен его путь.

— Уверяю вас, что по вашему-то пути я никогда не пойду! — заявил т. Кузнецов-Сапожков.

И, между прочим, имено признанием войны он вступил на один путь вместе с Алексинскими.

Поняв свою ошибку, т. Сапожков-Кузнецов несколько раз, когда он приезжал в отпуск с фронта, признавался, что он вполне сознает свою ошибку, что он сожалеет, что поддался влиянию Антонова-Бритмана и других и что он безоговорочно признает всю правильность ленинской позиции против империалистической войны, за пораженчество царских армий и за превращение империалистической войны в гражданскую.

Были только непонятными его колебания, что он долго не соглашался бежать с фронта и эмигрировать за пределы Франции. Наконец, он согласился. В тот уже момент, когда он решился бежать за границу, он был найден убитым после одной из смелых разведок, на которые его посылало, как очень хорошего, смелого солдата, французское военное командование. Тов. Антонов-Бритман погиб на фронте в первые дни империалистической войны от осколка германского снаряда. Можно только пожалеть о гибели этих двух крупных работников. Особенно потеря тов. Кузнецова-Сапожкова очень существенна. Из него выработался бы круп-

ный военный работник, помощь которого пригодилась бы во время гражданской войны.

В одно из воскресений я шел по Итальянскому бульвару Парижа.

— Камрад Шаповалов! — услышал я знакомый голос.

Оглянувшись, я увидел высокую, сухую фигуру бельгийского социалиста Гаспара.

— Как я рад, что вас увидел! Вы, надеюсь, с нами, т.-е. за войну, против германских варваров.

— Что вы, товарищ Гаспар! За кого вы меня принимаете! Я, наоборот, как ученик т. Ленина, действительно сторонник войны, но войны гражданской — против русского правительства и русской буржуазии.

— Вот как, но ведь вас обвинят в измене отечеству. У нас, в Бельгии, все марксисты, во главе с де-Брукером и де-Маном, приняли войну. Де-Брукер и де-Ман пошли даже на фронт. Значит, мы идем опять разными путями.

Гаспар задумался.

— А знаете, то, что вы предполагаете, ведь возможно,—вдруг сказал он.—Вы обратили внимание на множество бельгийских жандармов, находящихся в Париже?

— Да, мне бросилось в глаза присутствие их здесь. Только я не обратил на это должного внимания.

— А знаете, что произошло у нас, на бельгийском фронте?

— Нет, не знаю.

— Наше военное начальство вздумало использовать наших жандармов как охранителей порядка в наших траншеях. Но наши солдаты, среди которых оказалось много углекопов, вспомнили, что жандармы их расстреливали, и, в свою очередь, начали наводить винтовки против жандармов. Старая ненависть против жандарма проснулась. Они так усердно их истребляли, что военное начальство, чтобы спасти оставшихся, в спешном порядке перебросило их сюда, в Париж. А ведь если бы социалисты держались нашей пораженческой тактики, наши солдаты, начав с жандармов, могли бы кончить и офицерами. Дистанция-то оставалась совсем небольшого размера. Но наши социалисты, как вы знаете, держатся противоположной тактики. Вместо того, чтобы раздувать этот начавшийся пожар, мы стали его заливать холодной водой благоразумия. А я, признаться, не могу разобрать, кто прав — вы ли, называющие себя большевиками, являющиеся сторонниками пораженчества, или мы, бельгийские социалисты, которые хотят продолжать эту войну до победного конца. До свидания!

Мы расстались. После этого я больше не встречал Гаспара *.

СЕКЦИЯ РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ-МЕТАЛЛИСТОВ

Секция российских рабочих-металлистов в Париже продолжала существовать и работать, несмотря на империалистическую войну. Ее секретарь, по фамилии, кажется, Мухин, заявил, что он разочаровался в Европе, допустившей империалистическую войну (он представлял собой синдикалиста), и в конце 1914 года собрался в от'езд в Америку.

Выбранный на место его, я начал вести работу в этой профессиональной организации в духе нашей партии. Так, в этой организации мы проводили в течение трех лет войны в жизнь постановление международного социалистического конгресса о праздновании 1 мая. В 1915, 1916 и 1917 годах мы развешивали во всех русских столовках Парижа, всюду, где собирались русские рабочие, об'явления, приглашавшие их бастовать в день 1 мая и не забывать, что постановления интернациональных конгрессов не отменены, несмотря на войну, и что русские рабочие в России не свернули свое красное знамя, как это сделали социалисты в Германии и Франции, и попрежнему ведут свою упорную борьбу с самодержавием и с капиталистами. Следовать примеру русских рабочих, продолжающих непримиримую борьбу в России, мы приглашали русских рабочих в Париже. Каждый год накануне 1 мая секция профсоюзов отсылала написанную мной резолюцию, принятую ею, по поводу необходимости празднования 1 мая, секретарю французского союза рабочих-металлистов.

После лондонской конференции социалистов союзнических стран, где выступал т. Литвинов (февраль 1915 года), циммервальдской конференции (сентябрь 1915 года) и после кинтальской конференции секция профсоюза российских рабочих-металлистов в Париже посылала мотивированые заявления, где подчеркивалось, что российские рабочие, идущие за своим профсоюзом в Париже, поддерживают крайнее левое крыло этих конференций, что русские рабочие высказываются резко против поддержки империалистической войны, что они, наоборот, стоят за поражение войск своей страны в этой войне, что считают нужным следовать призыву о необходимости превращения им-

* А. Гаспар по окончании империалистической войны перешел на службу буржуазии, сделавшись коммерческим директором торговой табачной фирмы.

периалистической войны в гражданскую — против своего правительства и против своей буржуазии.

Разумеется, эти резолюции мы не отсылали по почте. Каждый раз, когда я приносил их секретарю Просту, этот француз говорил мне:

— Смотрите, товарищ Шаповалов, вы играете с огнем: вы кончите тем, что полиция вас, и именно вас, как секретаря русской секции, арестует.

Мергейм, представлявший левое течение во французских профсоюзах, каждый раз ограничивался по получении от секции подобной революции извещением, что он получил ее.

Характерно, что рабочий-меньшевик т. Мазанов подписывал наши самые ультра-большевистские резолюции, которые затем переводила на французский язык Лиза. Но против них горячо восставали члены профсоюза — большевики, принявшие «оборончество».

Так как во время войны около половины членов секции (Спектор, Нанос, Файнгольд и другие), превратившись в ярых социал-патриотов, согласились быть на французских заводах, где они работали мастерами или помощниками мастеров, что противоречило уставу профсоюза, запрещавшему принимать в число членов тех лиц, которые занимаются прямой или косвенной эксплоатацией рабочих, мы принуждены были возбудить вопрос об «унтер-офицерах капитала».

Так как на собрании секции часть меньшевиков поддерживала нашу точку зрения, а большевик-оборонец отстаивал свое оборончество, защищал в то же время возможность для большевика исполнять на французских заводах обязанности «унтер-офицера капитала», т. Мазанов, вскочив, заявил мне:

— Тов. Шаповалов, что же это такое? Я — меньшевик и иду с вами, потому что считаю, что позиция т. Ленина правильна. А вот ваш же большевик что делает?

Тотчас собрание секции российских рабочих-металлистов при французском профсоюзе постановило исключить т. Ч. из числа членов профсоюза. Парижская группа большевиков, узнав о выступлениях т. Ч. в пользу оборончества на собрании профессиональной организации, постановила исключить его из партии.

Таким образом, как партийная организация нашей партии, так и профсоюз российских рабочих-металлистов в Париже во время империалистической войны осудили как последнюю, так и линию поведения в этой войне, взятую социал-шовинистами. Затем как секция заграничной организации нашей партии, так и секция российских рабочих по металлу при «Union corporative des ouviers mecaniciens de

la Seine» стояли на пораженческой позиции, высказываясь за поражение царских армий в империалистической войне и за превращение империалистической войны в войну гражданскую. Члены секции, работавшие на заводах, все время, непрерывая, вели устную агитацию среди французских рабочих.

Лично я, как секретарь секции, выступил 1 мая 1916 г. на собрании профсоюза строительных рабочих, праздновавших и во время войны 1 мая. Короткая моя речь на французском языке вызвала настоящий ужас на лице секретаря этого союза. Когда я говорил против войны, что необходимо империалистическую войну превратить в гражданскую — против своей буржуазии и своего правительства, и когда я давал слово русского рабочего, что рабочие в России во время войны постараются сделать все, что в их силах, чтобы довести дело своей борьбы против буржуазии и царизма до конца, чтобы вызвать и в России такую же славную и великую революцию, какая была уже во Франции и которая откроет новое счастливое будущее для рабочего класса и всего человечества, мне казалось, что он сейчас же умрет от страха, что на собрание ворвутся полицейские. У большинства собравшихся, наоборот, на лицах было изображено двоякое чувство. Перед ними только-что говорили ораторы-французы. Слушатели слышали обычные общие фразы. Каждый из них, как военнообязанный, которого временно не трогали, всегда находился под страхом, что его за его речь, если она носила действительно революционный характер, могли послать и на фронт и в концентрационный лагерь, или в Африку, или в каторжную тюрьму. Поэтому речи их были по необходимости осторожны и умеренны. Но вдруг на трибуну взошел совершенно неизвестный ни секретарю, ни присутствовавшим на собрании иностранец-русский и сказал то, что, может быть, просилось на ум у каждого, но что было в их представлении неясно и неоформлено. Но человек, говоривший от имени русских рабочих, призывавший к восстанию, говорил на таком скверном французском языке, с таким ужасным иностранным акцентом, что, с другой стороны, у присутствовавших явилось страшное подозрение, не немец ли он, подосланный хитрым Гийомом, пришедший на их первомайское собрание.

Поэтому, когда я кончил речь, по обыкновению недовольный тем, что я говорил, часть собрания аплодировала, а один молодой рабочий крикнул:

— Вот что нужно было сегодня сказать: «Да здравствуют русские рабочие!»

Комитет профсоюза, окружив меня, предложил мне пойти с ним в кафе и показать мои бумаги.

— Извиняемся, — говорили они, — мы совершенно не знаем вас, но мы ответственны за собрание. Ваша речь носила настолько резко революционный характер, что мы хотим на всякий случай точно знать, кто вы такой и кто вас знает среди организованных товарищей.

В кафе по французскому обычаю все присутствовавшие заказали «консомасьон», т. е. по стакану виноградного вина, пива или по рюмке водки. Показав мою книжку профсоюза, «перми де-сежур», сказав, что меня знают секретарь союза металлистов Прост и Мергейм, я сообщил и свой адрес. Все это было заботливо записано присутствовавшими.

Признаться, я ожидал, что приглашение в кафе явится лишь предлогом арестовать меня без шума, не на собрании. Надо отдать справедливость, что, выяснив мою личность, устроители извинились передо мною за беспокойство.

Один из рабочих долго еще провожал меня. Мы от улицы Гранж-о-Белль дошли до площади Республики. Я усиленно развивал свою большевистскую точку зрения на войну.

Всюду здесь на углах стояли громадного роста полицейские как символ власти буржуазии. По площади проходил отряд солдат-негров. Кончики их штыков, белки глаз, черные щеки — все блестело на солнце. Чернокожие солдаты французской армии, одетые в такие же синие мундиры и капоты, как и французы, шли весело, легко. Но они представляли, поскольку они были совершенно несознательны, страшную угрозу для французского рабочего Я тотчас вспомнил рассказ одного товарища, в качестве шофера бывшего в тыловых частях французской армии при отступлении германской армии фон-Клюка после разгрома ее на Марне. Взятых в плен германских гвардейцев сажают в вагоны с надписями: «Сорок человек или восемь лошадей». Поезд отправляется на юг, в Париж и далее. Германцы с ужасом видят, что их конвоируют чернокожие части.

— Чтобы не было побегов! Чтобы все было спокойно, — отдал приказ черному капралу французский офицер.

На одной узловой станции, на вопрос капитана, все ли благополучно в поезде с пленными, черный капрал ответил:

— Все спокойно, мой капитан!..

Когда стали открывать вагоны, взорам присутствовавших представилась картина лежащих без голов на полу вагонов германских солдат. Чернокожие воины в качестве военного трофея, по обычаю своей родины, отрезали воен-

нопленным германцам головы. Все было спокойно. У каждого чернокожего солдата висела сумка с набитыми в ней головами германских солдат. Угнетаемый негр по-своему отомстил угнетателю-европейцу.

— Видели? — спросил меня мой спутник, прервав мои мысли, когда отряд негров-солдат прошел мимо нас. — Большую часть их отправляют на передовые позиции, на фронт, на самые опасные места. Но около Парижа есть целая дивизия черных войск, которых откармливают, держат в тылу на всякий случай, если паче чаяния мы вздумаем возмутиться. Как тут восстать и вообще вести работу на поражение французской армии и превращение империалистической войны в гражданскую? У нас, во Франции, особые условия. У нас это совершенно невозможно.

Rien à fere! — заявил он. «Ничего нельзя поделать!» — гласили его слова. Этими словами все французы, и социалисты и синдикалисты, выражали мнимую невозможность революционной работы во время империалистической войны против вооруженной до зубов французской буржуазии.

— Вы все-таки, надо признаться, смелые люди, вы, русские, — говорил мне, прощаясь со мной на площади Республики, мой спутник. — В чужой стране в момент империалистической войны, когда массы ослеплены ненавистью к немцам, когда они в каждом иностранце подозревают врага и шпиона, в такое время явиться на собрание, хотя бы и 1 мая, и произнести речь с такими революционными лозунгами, — для этого надо обладать мужеством.

— Все-таки я не советую вам, — продолжал он, — и далее так выступать. Это для вас чисто случайно кончилось все-таки так благополучно, и потому главным образом, что собрание было очень немногочисленно и на нем присутствовали все свои люди.

Из товарищей членов секции профсоюза металлистов, наиболее активно проводивших среди французских рабочих большевистские лозунги против войны, надо считать: тт. Верия Оскара (Эллек), Луцца, Мазанова. Фамилии других я, к сожалению, уже позабыл.

БОЛЕЗНЬ

— Идите на завод фирмы Крезо, — сказал мне француз т. Портри, когда я встретил его на улице и он узнал, что я все еще не нашел работы. — Эта фирма открывает оптическую мастерскую, и там набирают как раз и русских рабочих.

Пушечная фирма Крезо закупала, по всем данным, оптические приборы «гониометры» (угломер) для наводки орудий в Германии, где оптические изделия и аппарат «магнетто» Боша из Штутгарта считались лучшими в мире. Когда началась война, положение изменилось, и эти предметы, так необходимые для войны, пришлось производить в самой Франции. Так как русские уже изготовляли этот прибор на заводе в Риге, то фирма, ставившая это новое производство, пригласила русского инженера и начала частично набирать и русских рабочих.

Как я уже говорил, французские рабочие, жившие в бесконечно лучших условиях, чем русские рабочие, обладая очень высокими потребностями, которые и не снились русскому рабочему, тем не менее мирились на фабрике со многим, против чего под руководством нашей партии уже давно русский рабочий вел борьбу. Поэтому происходило то, что русский рабочий, живший в отвратительных жилищных условиях, пред'являл такие требования, до которых не доросли в то время французские рабочие, как электрической вентиляции, предохранительных ограждений на машинах, кипяченой воды и т. п. на заводах.

Французский рабочий, живший в великолепных с русской точки зрения жилищных условиях, вследствие своей недостаточной организованности мирился, помимо прочего, с полным отсутствием, особенно во время войны, вентиляции на фабриках.

Оптическая мастерская на заводе, на улице Конвенсьон (улица Конвента), помещалась на пятом этаже. Так как здание внутри было устроено в виде расположенных одна над другой галлерей, воздух в верхней галлерее, под самой крышей, особенно, если принять во внимание, что работа шла на заводе день и ночь двумя сменами и что помещение завода никогда не вентилировалось, был до того спертый, что, как только я пришел сюда, меня начало тошнить, и первым моим движением было бросить завод и уйти. Но куда? Горький опыт подсказал, что уйти некуда. Я вспомнил, каким отвратительным воздухом дышал я на всех заводах, особенно у Болло и Сампсона.

В данном случае пришлось согласиться с рабочими-французами, говорившими: «Всюду одно и то же, и ничего нельзя поделать». Я решил остаться, тем более, что этот завод меня привлекал тем, что в его стенах я встречал ежедневно российских рабочих. Здесь работал т. О. Г. Верия (Эллек), исполнявший в 1906 году в Питере, по поручению ПК, самые опасные экспроприации. Его не любил, как большевика, токарь-меньшевик Нестеров, бывший кубан-

ский казак. Убежденный по-своему в правоте меньшевиков, он не стеснялся в выражениях, когда спорил у станка с Эллеком.

— Дурацкая твоя большевистская голова! — обыкновенно кричал он, подкрепляя свои доводы еще более крепкими выражениями.

Кроме этого казака и эстонца, на этом заводе работал Лебедев, еврей, анархо-синдикалист, и брат «Волонтера» (Павловича) Вельтман. Здесь я встретил моего знакомого Ш-ца, которого позднее рабочие-французы начали звать «Дегеляс» (мерзавец-изменник).

Даже кузнец, родом швейцарец, проживавший ряд лет в Одессе, напоминал Россию своими ругательствами на русском диалекте, к которым он прибегал в особо важных случаях — и когда ему было весело и когда он слишком сердился или у него не ладилась работа. Так, когда он был в особо хорошем настроении, чтобы напомнить нам о нашей далекой родине, он запускал самые трехэтажные русские ругательства. При этом нас удивляло то, что лицо его расплывалось в улыбку и выражало такое удовольствие, что будто он нам передает самое приятное, что можно сообщить русскому, живущему за границей. И он совершенно не понимал, почему мы, русские, так сердились за его ругательства на русском языке.

Были на этом заводе еще русские, фамилии которых я уже позабыл. Все они по-своему вели агитацию среди французов, кроме Нестерова и Вельтмана, бывших оборонцами.

Однажды они хвастали, что рабочие-французы предложили им по-русски проучить трех токарей, работавших внизу, превратившихся, по выражению рабочих-французов, в «скотов». Так как станки этих «скотов» стояли как раз под галлереями, на их головы русскими рабочими одновременно были вылиты с высоты пятого этажа три ведра самой грязной, какую только можно себе представить, воды, в которой только-что перед этим человек двадцать вымыло свои черные от заводской грязи и сала руки. Так как нельзя было установить, с какого этажа были опорожнены на головы «скотов» ведра, дело было замято. Администрация с этой поры начала шаги по переводу оптической мастерской в другое помещение.

Хотя токаря, успевшие «оскотиниться», были посрамлены, а остальные рабочие внизу находили, что урок «скотам» пошел на пользу, я лично больше не советовал прибегать к такому воздействию, особенно когда сам живешь в чужой стране.

Вдыхая отравленный воздух оптической мастерской,

проводя целые дни на работе, я все чаще начал хворать. Сначала у меня заболели глаза.

Захворать серьезно и надолго, на целую зиму, на чужбине, как случилось со мной, — это означало обречь себя на жалкое существование, на жизнь, полную неожиданностей. Откуда взять денег заплатить за квартиру, за газ, за электричество? На какие средства получить обед и усиленное питание, которое часто нужно больному?

Когда случается поранение рабочих, к числу которых относится и царапина в глазу от попавшей стружки или кусочка наждачного камня, по французским законам полагалась уплата страховым обществом половинного жалованья.

Я не обращал особого внимания на неловкость в глазу, приписывая ее попавшему в глаз малюсенькому осколку наждака от точила. Так как он мне мешал работать, я обращался к товарищам с просьбой вынуть из глаза соринку. В виду того, что кусочки наждака и в особенности маленькие, металлические стружки попадали в глаза токарям не только почти ежедневно, но и по нескольку раз в день, токаря избегали обращаться к глазному врачу и сами приловчились при содействии кого-либо из товарищей вынимать их из глаз с помощью кусочка бумаги.

Так как никто ничего в моем глазу не находил, я успокаивался. Но неловкость в глазу вместе с какой-то краснотой все увеличивалась. Наконец, сам мастер Фоке, бывший старый токарь, считавшийся большим специалистом по вытаскиванию из глаз стружек металла, заявил мне, что мне нужно писать «декларасьон», т.-е. акт о несчастном случае. Я побежал в больницу к профессору-окулисту. К моему ужасу, после долгого ожидания в приемной больницы, осмотрев, наконец, меня, он заявил, что у меня совсем не поранение глаза от попавшей стружки или кусочка наждака, как думал я и все рабочие, а просто болезнь, лечение которой требует прежде всего, чтобы я бросил всякую работу и самым серьезным образом начал отдыхать.

— Подпишите декларацию, господин профессор, пожалуйста, — обратился я к нему.

— Не могу, — ответил он. — У вас не поранение, а болезнь.

— Но вы сами только-что мне сказали, что я должен отдыхать и бросить работу. На какие средства я смогу отдыхать, если вы, отказав в подписи декларации, тем самым лишите меня единственного ресурса, на который я только и могу рассчитывать? Ведь я не рантье, а простой рабочий.

— Это меня совершенно не касается. Подписав вашу

бумажку, я совершу беззаконие. И как профессор и как гражданин Франции, я не могу себе этого позволить.

Лицо его было холодно и безучастно. Такое же холодное и безразличное выражение заметил я и у всех представителей медицинского персонала, присутствовавших при этом.

Огорошенный и придавленный, я вышел на улицу. Холодный ноябрьский ветер выл вдоль набережной Сены. Недалеко высилась громада собора Парижской богоматери. Накрапывал холодный дождь. У меня было тяжело на душе.

«Торопитесь с лечением вашего глаза, — вспомнил я слова профессора. — Каждый пропущенный день может теперь привести к полной потере зрения».

«Хорошо ему говорить: «Лечитесь, бросьте работу, отдохните», а как это осуществить, если нет денег даже на неделю жизни?..»

Я пошел наугад по улицам, разыскивая вывески глазных врачей. Я решил найти такого окулиста, который согласился бы подписать мою декларацию, так как только в таком случае, получая половину моего дневного заработка на каждый день, я мог рассчитывать прожить это время.

Болезнь явно прогрессировала. Мне было уже больно смотреть на свет. Глаз, как я убедился в зеркале, вделанном в стену на улице, был уже совершенно красным.

— Александр Сидорович, — услышал я вдруг оклик на русском языке, — никак это вы! Что вы здесь делаете?

Передо мною стоял Иван Лазаревич, сын старика-народовольца Лазаревича из Жупиля.

Не окончив индустриальной школы, он с 17 лет, еще при мне, принужден был работать на заводах, как заводской ученик. Живя общей с рабочими жизнью, он не удержался от их привычки по окоончании работы заходить в кафе выпить, как они говорили, «с устатку» стаканчик можжевеловой водки. Постепенно он превратился в алкоголика.

Наследовав от отца простоту, искренность, любовь к угнетенным, ненависть к богатым, атеизм, он воспринял от него также отрицательное отношение к марксизму, как к революционной теории. Если прибавить к этому скептическое отношение к бельгийскому социализму, полученное им от русских рабочих-большевиков, бывавших у его отца в Жупиле, то станет понятным, почему он примкнул к анархистам, а не к марксистам. Стать в ряды последних в то время означало проявить особую пытливость ума, заставить себя читать, учиться, пробудить в себе стремление не отстать от уровня общечеловеческих знаний. Все это было необходимо не только для того, чтобы понять самую революцион-

ную теорию марксизма, но и для того, чтобы научиться применять ее, внедрять в жизнь. Последнее очень трудно, ибо жизнь многообразна и текуча.

Бесформенные, неопределенные, туманные построения анархизма, не требовавшие от него ни изучения, ни суровой партийной дисциплины, казались проще ему и понятней. Борьба против самого страшного зла, обрушившегося на человечество, против войны, выливалась в головах подобных анархистов в простой отказ от военной службы. Последнее требование анархизма он воплотил в жизнь целиком. Как бельгийский гражданин, обязанный отбывать воинскую повинность и итти на войну, он не только не пошел в казарму, — он бежал от последней из Бельгии в Париж. Здесь он работал на заводах, жил в самых ужасных трущобах, проедая и пропивая все, что он зарабатывал.

Передо мною он стоял в одном пиджаке, засаленном и грязном и в таких же брюках. Нос его, несмотря на его молодость, как я успел рассмотреть своим здоровым глазом, принял уже красноватый оттенок. Я не мог понять, отчего его трясло — от холода или от постоянного пьянства.

Бежав от военной службы в эпоху империалистической войны, сделав высшее, что требовал от него анархизм, он, видимо чувствовал себя героем и торопился похвастать передо мною своею удалью. Но, с другой стороны, ему, видимо, было совестно своего вида. Он сознавал, что я его понимаю и вижу насквозь.

Он был очень добрый от природы, отзывчивый и шел навстречу чужому горю. Узнав, что мне необходимо сейчас же, немедленно, с одной стороны, найти глазного врача, который согласился бы подписать мне декларацию, и, с другой стороны, не теряя ни минуты, начинать лечиться, он предложил мне помочь в поисках глазного врача. Переходя из квартала в квартал, мы поднимались во второй, третий этажи, но везде врачи отказывались подписать декларацию. Наконец, уже к вечеру мы нашли окулистку-итальянку.

— Но ведь у него болезнь, а не поранение. Я не могу подписать декларацию, — заявила она, как и другие врачи.

— Но, мадам, — заявил Иван Лазаревич, говоривший в совершенстве по-французски, — мой товарищ — иностранец. У него никого знакомых. У него нет денег. Он беден, как церковная мышь. У него, мадам, в кармане торичеллиева пустота.

Последние две фразы употреблял его отец. Он прибег к ним, чтобы лучше убедить итальянку. Упоминание ли имени ученого итальянца, свойство ли женщины живее откли-

каться на чужое человеческое несчастье, но она, подумав немного, согласилась подписать.

— Хорошо, — сказала она, — я подпишу. Я вижу ваше отчаянное положение, но только, если от страховой компании последует протест, вы оба подтвердите, что я нашла в вашем глазу маленькую стружку.

Разумеется, мы оба согласились.

Мы вышли от врача-итальянки довольные, что нам удалось достигнуть своего. На улице дул попрежнему холодный, пронизывающий ветер. Спускались сумерки. Был канун католического праздника всех святых, когда на два дня замирала вся жизнь в городе. Мы шли по бульварам мимо деревьев, совершенно голых от листьев. Иван, похожий скорее на апаша или на нищего, подпрыгивая с ноги на ногу и попрежнему дрожа и от отравления алкоголем и от холода, рассказывал мне, как ему удалось бежать из Бельгии.

— Бросьте пить, Иван, — говорил я ему, — учитесь, читайте. Вы найдете смысл в жизни. Изучение теории революционного марксизма откроет вам ненмого завесу на будущее. Вы увидите не бесформенные и туманные анархические построения, а более определенную, научно-выясненную возможность осуществления социалистического общества, что нельзя уже опровергнуть, как утопию, что доказано наукой, которой давно уже стал революционный марксизм.

— Вряд ли я перестану пить, — признался мне Иван, — как вряд ли когда я стану марксистом. А вы идите домой. Ведь вы больны. Я к вам непременно приду.

Было уже темно, когда я вернулся домой. Два дня дул ветер и лил дождь. Два дня были закрыты все диспансеры и лечебницы по случаю большого католического праздника. Два дня у меня ныл глаз и ломило голову.

По окончании праздников я пришел в еврейский диспансер имени Задок-Кана, около площади Бастилии, где меня осмотрел хороший врач, в котором никак по внешнему виду нельзя было признать еврея, до такой степени он походил на француза. Осмотрев мой глаз, он сказал, что нет почти надежды спасти его.

— Если бы вы пришли ко мне два дня назад, дело было бы совсем другое. Теперь же воспалительный процесс зашел слишком далеко, и нужны самые энергичные средства.

Он оказался отзывчивым человеком и тоже согласился написать, что одной из причин болезни явилась маленькая металлическая стружка, попавшая в глаз при работе на токарном станке.

Энергичные меры, примененные им сначала к одному глазу, затем к другому, который заболел у меня вскоре после того, как я вылечил первый глаз, вызвали у меня другие осложнения в состоянии здоровья. Я свалился от сильнейшей болезни печени (от желтухи) и принужден был прекратить работу. Врач уверял меня, что отравление организма у меня замечалось настолько сильное, что лишь чудо, как он выражался, спасло меня от смерти.

Спасенный от этой последней болезни врачем-евреем, лечившим меня молоком в течение двух месяцев, я стал становиться на ноги. Как только мне становилось лучше, я продолжал созывать собрания секции металлистов и продолжал руководить ею в прежнем направлении. Доктор мне между тем сказал:

— У вас организм настолько подорван, что без вреда для него вы не можете снова начать работать на заводе. Советую вам поехать на месяц в деревню.

Мой знакомый, т. Д. Н. Суров, узнавший, что мне по совету врача необходимо направиться в деревню, предложил поехать в город Аркашон на берегу Атлантического океана, где он в это лето жил и где он мне нашел комнатку на очень сходных условиях в дачном доме, где отдыхала жена одного эсера, Муратова, с шестилетним сыном.

Дом-вилла «Нинет» находился за городом, на широкой просеке, в великолепном сосновом лесу, который оканчивался пляжем и морем. Я снимал маленькую комнатку в доме. Остальные две комнаты снимала Муратова с сыном. Я питался яичницей, которую приготовлял сам на керосинке. Ежедневно крестьянская девушка из соседней деревни приносила нам молоко. Почти каждый день я отправлялся в город за две версты за продуктами. Первое время пересекал расстояние, отделявшее нас от города, по сыпучим пескам без особого труда.

Я надеялся, что я вернусь в Париж на завод окрепшим. Но произошло то, чего я не ожидал. За неделю до от'езда я вдруг почувствовал, что мне становится очень трудно пересекать это пространство. Затем я также стал испытывать сильную боль в ноге.

«Итак мне отчаянно не везет, — думал я. — Море, сосновый бор, морской воздух — ничто мне не пошло на пользу».

На обратном пути в Париж, несмотря на сильную боль в ноге, я не мог удержаться, чтобы не осмотреть город Бордо, старый собор, глубокую реку Гарону со стоящими в ней огромными морскими пароходами. На Бордо сказалась общая по сравнению с Парижем отсталость французской

провинции. Здесь в 1916 году не было еще такого культурного приобретения, как канализация.

Тов. Владимирский, сильно нуждавшийся и бедствовавший до войны, в виду предоставленного врачам-иностранцам на время войны права практики, воспользовался этим и немедленно уехал на юг Франции, в Лормон (рабочий поселок). Пациентами вследствие этого были у т. Владимирского исключительно рабочие. В разговоре о последних он отмечал замеченные им сильно развитой индивидуализм, стремление к мещанским условиям жизни и равнодушное отношение к судьбам рабочего класса среди его пациентов, французских рабочих.

— В общем, все славные ребята приходят ко мне, и если бы во Франции работала не оппортунистическая партия, как французская социалистическая, а подобная нашей большевистской, то из них можно было бы выработать превосходных революционеров-марксистов.

Он и его жена меня звали на экскурсию к строившемуся в окрестностях Бордо огромному пороховому заводу. Как ни соблазнительно было посмотреть пленных германских солдат, работавших на постройках, я испытывал такую сильную боль в ногах, что принужден был отказаться от этой прогулки.

На другой же день я уехал в Париж. Когда я поднимался по лестнице из подземного прохода Орлеанского вокзала в Париже, я вдруг увидел Лизу, ожидавшую меня на перроне. Она заметила, как я с трудом, держась за перила лестницы, взбирался наверх.

— Этого еще недоставало, — сказал она. — Ты был болен, но ты все-таки держался на ногах до отъезда в этот Аркашон. Теперь ты опять настоящий калека. Ты так болен, что жалко на тебя смотреть!...

Так как деньги были совершенно на исходе, то, несмотря на сильные боли в ногах, я принужден был пойти на завод, переехавший за время моей болезни на другой конец Парижа, в новое помещение на бульвар Даву, № 125 а/135. По круговой железной дороге я доехал до станции Аврон; отсюда в расстоянии десяти минут находился завод. Превозмогая боль в ноге, бодрясь, боясь, чтобы администратор завода не заметил, что я почти не могу стоять на ногах, я пришел в контору завода выяснить, возьмут ли меня снова на работу.

— Долго-таки вы болели, мосье Шаповалов, — сказал мне администратор-эльзасец. — Поправились теперь?

— Да, поправился, — солгал я.

Мне ничего более не оставалось: если бы я признался, что я болен, я знал, что в таком случае меня не примут.

Я начал работать. Первое время я старался скрыть от всех мою болезнь. Я мужественно простаивал 5 часов у станка до обеда и 5 часов после обеда. Но вскоре рабочие заметили, что, просидев в обеденное время полтора часа в рабочем ресторане, я лишь с необычайным трудом мог подняться со стула. Настал, наконец, день, когда я стал приходить на работу с палкой. Малейший камешек, попадавшийся на дороге, заставлял меня морщиться от боли. Наконец, я нарушил заводскую дисциплину, запрещающую рабочему садиться во время исполнения им работы. Не находя больше сил стоять на ногах, я поставил перед своим станком полено и стал работать уже сидя.

Стояла дождливая осень 1916 года. Еще не было 6 часов утра, когда я выходил из дома. Чтобы спуститься с пятого этажа дома, пройти расстояние от него до станции «Монсури», круговой парижской железной дороги, на что здоровому человеку потребовалось бы не более 5 минут, для меня уже необходимо было не менее 20 минут. В дождь, в ветер, держа в одной руке зонтик и другой опираясь на палку, с трудом передвигался я по тротуару.

Почти каждое утро меня перегонял т. «Лева» Владимиров, спешивший на работу, тоже в какое-то бюро. Он сурово взглядывал в мою сторону, смотря, как я ковыляю. Ему, очевидно, неприятно было смотреть на меня в том положении, которое ждет каждого революционера-рабочего, которого болезнь и суровые условия жизни в конце-концов сваливают и превращают в жалкое подобие человека, калеку, каким сделался я.

Мне так трудно было пройти расстояние в сто саженей, я принужден был при этом делать такие нечеловеческие усилия, что, преодолев его, я приходил на дебаркадер железной дороги уже покрытый потом. Меня продувало затем на дебаркадере холодным ветром глубокой осени и я еще более простужался. Наконец, шумя и пыхтя, громко свистя, подходил поезд. С паровоза выглядывал машинист и кочегар, одетые, как и бельгийские железнодорожники-машинисты в синие блузы и синие брюки, с красными платками на шее. Едва я успел влезть в вагон, как поезд немедленно, дав свисток, летел дальше. Пассажиры все были рабочие, спешившие на работу. На каждой станции они входили и выходили. Обыкновенно я, сидя в вагоне, с настоящим ужасом каждое утро думал о приближающейся улице Аврон, где мне надо же, наконец, выходить из поезда. Для того, чтобы встать с места, на котором я сидел, мне нужно

было потратить такие усилия, испытать при этом такую ужасную, нудную боль, потратить столько энергии, вызвать столько восклицаний, сожаления и сочувствия у находившихся в купе пассажиров, что мне не только не хотелось выходить, медленно, осторожно ступая, цепляясь за стенки вагона, на перрон, но во мне рождалась нелепая для здорового человека мысль: видя, как одна за одной мелькают железнодорожные станции, я начинал мечтать о том, как хорошо было бы не трогаться с места, не шевелясь, мчаться в вагоне все время кругом Парижа. До такой степени каждое движение, необходимое для того, чтобы встать и выйти из вагона, причиняло мне боль и страдание.

Несмотря на все это, я мужественно ездил ежедневно на работу. У меня, очевидно, сохранялся еще необходимый для этого остаток сил. Наконец, он истощился. Однажды вечером я с такими усилиями добрался от железнодорожной станции «Монсури» до моего дома, с таким трудом поднялся по лестнице на пятый этаж, что вошел в свою квартиру покрытый потом и совершенно обессиленный. Наутро мне так трудно было подняться с постели, что обычное у рабочего желание остаться утром дома, особенно глубокой осенью, когда дующий ветер срывает последние листья с деревьев в соседнем парке, мимо которого я должен был проходить, когда льет холодный дождь, преодолело страх очутиться на положении безработного. Возможность остаться в теплой маленькой кухне, где шумел и свистел нагревавшийся на газовом пламени чайник с водой, показалась таким огромным счастьем по сравнению с теми страданиями, которые мне причиняли переезд и работа в продолжение длинного рабочего дня на заводе, что она пересилила ужас перед голодной смертью, которая ожидает рабочего, переставшего работать. Наконец, я принужден был признать, что у меня нет сил, чтобы продолжать ежедневно работу на заводе.

Мое полжение осложнялось тем, что мою болезнь нельзя никак было подвести под поранение, под несчастный случай, когда платит страховое общество половинное жалование. Завод прекратил мне платить последнее ровно с того дня, когда я перестал работать.

При таком положении газовая и электрическая компании со дня на день могли прекратить подачу мне газа и электрической энергии. Тогда в холодной кухне не горел бы больше синеватым пламенем газ на газовой плите, чайник не шипел бы и не напевал бы своей песни, а дворник в юбке — консьержка — заявил бы страшное для попавшего в мое положение рабочего «конже», т.-е. прогнал бы меня

с квартиры. Я сознавал, что для меня наступали тяжелые дни.

«Вот она, гибель! — думал я. — Она опять подкараулила меня, как тигр свою жертву». Как в 1902 году в Киеве, так и в 1916 году горизонт сузился передо мной. Я почувствовал себя опять в безвыходном тупике. Отчаяние, как холодная, отвратительная ядовитая змея, стало заползать ко мне в душу...

Но «не было бы счастья, — говорит пословица, — да несчастье помогло». Французское правительство под давлением солдат на фронте принуждено было провести закон, на основании которого на все время войны бедные наниматели квартир, с платой за последнюю не больше 500 франков в год, освобождались от уплаты квартирной платы.

Воспользовавшись этим законом, я не платил за квартиру все время войны. Я был уже вне опасности. Консьержка не могла меня прогнать из дома. Меня спасли также симпатичные французские рабочие, проявившие по отношению ко мне товарищескую солидарность. Они помнили, что еще накануне того дня, когда я окончательно свалился с ног, я еще продолжал вести среди них агитацию. Они не забыли, что я, в противовес Ш-цу, отказался подчиниться сбавке расценков и довел дело почти до забастовки. Поскольку они презирали Ш-ца, называя его «скотом» и «мерзавцем» (vache или deguelass), постольку они меня, видимо любили.

Агитация за забастовку вызвала даже приезд на завод капитана французской армии, произнесшего напыщенно-слащавую речь о долге перед родиной и заявившего, что он на первый раз оставляет дело без последствий, но что повторение чего-либо подобного заставит его поступить по законам военного времени.

Попытки забастовывать более не делалось. Рабочие попадали в тяжелую зависимость от администрации завода, Не приходившие на работу присуждались военным начальством обыкновенно к потере права ночевать по окончании дня работы у себя дома. Они должны были отправляться спать в особо устроенную на этот случай ночную тюрьму. Смотря по поступку, провинившийся рабочий приговаривался на несколько дней и на несколько недель к отсидке. Вследствие этого положение рабочих-французов на фабриках Парижа во время войны стало походить на своего рода каторжные работы. Интенсивный труд, требовавший очень высокой производительности труда, неблагоприятные условия работы на фабриках, отсутствие вентиляции, при постоянной возможности по требованию фабриканта по-

пасть в ночную, самую обычную тюрьму ставили французских рабочих в очень тяжелые условия.

В то же время верхушке квалифицированных рабочих капиталисты, платившие им высокую заработную плату, дали возможность даже завести свои собственные маленькие механические мастерские. Как доказавшим свою преданность родине и проявившим покорность властям, им предоставили возможность в кредит получить от крупных заводов установку в виде моторов и двух-трех машин. Многие члены профсоюза тоже получили от буржуазии эту подачку и превратились в хозяйчиков. Затем очень большой процент металлистов при сильно возросшем применении женского труда пристроился в качестве целого кадра токарей-инструкторов. Все эти рабочие, поделавшиеся или мелкими хозяйчиками, или «унтер-офицерами капитала», или, наконец, инструкторами, оказались солидарными с капиталистами по вопросу о продолжении войны «до победного конца».

Но широкая рабочая масса, на которую падали все тягости войны, те из рабочих, которые не могли выбиться из рабочей среды, — все они начали тяготиться войной. Сознание, что они являются жертвой страшного обмана, начало проникать в их головы. Все чаще, работая на заводе, я стал слышать слова: «Это лишь в интересах капиталистов солдаты дерутся и умирают на фронте».

ЗИМА 1916 ГОДА В ПАРИЖЕ

Зима в 1916 году надвигалась суровая и тяжелая еще от того, что только вследствие плохого состояния транспорта в Париже стала замечаться недохватка угля. В то время как около каменноугольных копей, в морских портах, в Руане, например, последнего накопились целые горы, в Париже он стал цениться на вес золота. Недостаток его был так велик, что стали приостанавливать или сокращать свою деятельность некоторые заводы. Огромные парижские дома с центральным отоплением перестали отапливаться. Дети в школах сидели среди холодных стен и без огня. В домах было сокращено пользование газом. В театрах, в кинематографах, в залах ожидания на вокзалах, в здании суда стояла такая же температура, как и на улице.

Особенно тяжело пришлось рабочему населению. Тонкие стенки домов, отсутствие двойных рам в окнах, хороших печей — все это вообще делает эти дома мало удобными и в нормальное время для жилья. Обычно каждую зиму ра-

бочее население Парижа мерзнет в холодные дни в этих домах.

Частое отсутствие или сильная недостача угля только обостряли положение. Около лавок с углем стали собираться очереди, которые не имели места со времен Парижской коммуны. Женщины с мешками в руках отправлялись на кучи старого шлака около железных дорог и заводов, чтобы, ковыряясь там, найти несколько кусочков угля. Угольный голод вызывал недовольство и озлобление среди бедных слоев населения. Стихийно создалась даже демонстрация. Толпы рабочих и работниц прошли по главным улицам города с криком: «Угля! Угля! Угля!». Социалисты и анархо-синдикалисты, заключившие с буржуазией «священный союз», не только не пожелали использовать благоприятное для борьбы с буржуазией настроение в массах, недовольство последних против войны и правительства, но, наоборот, постарались успокоить население.

Мое здоровье в эту зиму оказалось в таком скверном состоянии, что о работе на заводе и вообще о какой-либо работе нечего было и думать. Опять, как в 1902 году в Киеве, мне казалось, что я дошел до последней черты. Большую часть времени я проводил дома, в своей квартире на авеню Рей, 13. Я оставался совершенно равнодушным к тревоге во время прилетов германских цеппелинов и таубов. Ограничиваясь лишь завешиванием окна в этот момент одеялом, как требовали полицейские правила, я не бежал, да и физически не мог в это время бежать в одном белье, как это делали многие, спасаться от возможного взрыва германских бомб в погреб. Лежа на кушетке, я испытывал щемящую тоску. Меня неудержимо стало тянуть в Россию: я почувствовал, что горячо люблю свою родину; но несмотря на это, я продолжал желать ей поражение на войне. Но время шло нудно, тоскливо... Когда же я решался в хорошую погоду спуститься с пятого этажа и добраться до парка Монсури, что представлялось для меня в это время делом настолько же трудным, как и переход для здорового человека через Сен-Готард, обыкновенно я, дотащившись до первой скамейки на берегу пруда, просиживал здесь целыми часами.

— Пойдем, — говорила Лиза, — кругом пруда.

— Нет, — отвечал обыкновенно я. — У меня нехватит сил.

Лиза уходила одна. Я оставался сидеть, пригвожденный к скамейке.

Между тем прошла зима. Меня все чаще стало тянуть на волю, в парк. Передо мной там проходило множество

искалеченных на войне людей, безногих, безруких, с обезобразившими лица глубокими шрамами от полученных ранений. Перед моими глазами вставали ужасные сцены войны и солдаты, описанные в романе Барбюса, которые боятся проливных дождей, затоплявших все кругом в траншеях, больше, чем германского ураганного огня. В ожидании неминуемой смерти эти солдаты рассуждают, что такое человек. «Человек — это машина, — определяет один из них, — которая склонна забывать прошлое».

«Это верно, — думал я. — Если бы рабочие вспомнили обиды, притеснения, несправедливость, которые они перенесли, они немедленно возмутились бы против поработителей, и война была бы невозможна». Припоминая, что моя собственная жизнь, как налитая доверху чаша, переполнена страданиями, я испытывал прилив ненависти к поработителям, к тем, кто вызвал эту войну, к капиталистам. Лицо ужасной смерти, пожирающей свою обильную жатву, вставало передо мной. «Скоро, наверно, и я засыплюсь могильной землей», — вспомнил я слова т. Курнатовского, сказанные им незадолго до смерти. В могиле заглохнут все страсти и та ненависть, которая кипит во мне. Но умереть на чужбине — это ужасно.

Вдруг под влиянием этих мыслей мне страшно, непреодолимо захотелось еще раз побывать в России, в революционной стране. Мною овладело острое желание еще раз, хоть раз взглянуть на города, где я принимал участие в борьбе, и увидеть дорогие, милые лица старых товарищей.

«Ты избежал виселицы, пули, каторжной тюрьмы, медленной смерти в одиночном заключении, — говорил я себе. — Враг не глумился над тобой. Ты оставался жив. Но суровая жизнь рабочего, проводящего дни в тяжелой работе на фабрике, все равно, как нечто неизбежное, роковое в положении рабочего, доканала тебя. В пылу ли борьбы с врагом, работая в подполье, здесь ли на заводах, — гибель ждет тебя, рабочего, как нечто неизбежное. Она поражает тебя неожиданно, как пуля, посланная из-за угла предательской рукой».

Я стал жить одной мечтой, одной мыслью — увидеть еще раз край, где разыгрались битвы рабочих с царизмом и капитализмом, где и теперь не сложено оружие, не свернуто красное знамя.

Увидеть Россию, хоть глазком посмотреть на необозримые равнины нашей страны, подышать ее воздухом, дымом ее костров и умереть — вот чем я стал жить, чего желал больше всего.

Медленно проходила зима. Единственной почти радо-

стью жизни были приходы товарищей с завода, где рабочие-французы, помня, что я жестоко болен, устраивали в мою пользу сборы и присылали мне через русских товарищей, там работавших, каждые две недели франков 60 или даже 80. Никто из них, этих рабочих, еще не был большевиком, но они, очевидно, смутно во мне, пораженце-большевике, видели и сознавали своего товарища.

Преодолевая ужасную боль, я приезжал все-таки в определенные дни проводить собрания секции российских рабочих-металлистов и вообще не прерывал работу в ней. Так продолжал я жить изо дня в день без всякой надежды на лучшее будущее...

Вдруг из России потянуло чем-то новым.

— Там что-то происходит! — говорил каждый из нас.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Еще начиная с 10 марта 1917 года, из туманных, неопределенных намеков, появившихся в газетах, можно было на самом деле сделать уже заключение, что в России началось что-то более серьезное, чем обыкновенные беспорядки, о которых писали газеты.

Страшное для буржуазии слово «революция» еще не появлялось в сообщениях о событиях в России. Всем бросалось в глаза, что письма из России и газеты, начиная с января, не получаются.

Даже интеллигенция во Франции, не говоря о рабочих и крестьянах, имела самые превратные представления о России. Многие французы продолжали жить старой идиллией о «батюшке-царе», политическом и религиозном главе несметного множества невежественных, но до бесконечности преданных царю пейзанов. Царь в представлении многих рисовался чем-то вроде Людовика Святого или Гаруна-аль Рашида*, творящего на «святой Руси суд и правду». Темным пятном являлась на этом безмятежном фоне кучка нигилистов-революционеров, бросавших бомбы, и социалистов, пытавшихся провести революцию в 1905 — 1906 годах.

Цензура, не пропускавшая во время войны никаких сведений о России и о положении дел в ней, способствовала сохранению подобных воззрений на нашу страну. О возможности в ней революции никто серьезно во Франции не

---

* Гарун-аль-Рашид, багдадский калиф (1786—1809 гг.), находился в сношениях с Карлом Великим и проявлен в «Сказках тысяча и одной ночи».

думал. Победоносная революция оставалась привилегией лишь французов. Если буржуазия во Франции не любила вспоминать свою революцию, которую она расценивала как своего рода шалость, допущенную в ранней молодости, то тем более революция в России для капиталистов Западной Европы была совершенно нежелательна.

Западно-европейская буржуазия, так умело проведшая борьбу против социалистической опасности в странах Западной Европы, настолько презирала русских крестьян и рабочих, и вообще русских, что готовила из России международного жандарма, готового всегда раздавить революцию на Западе, как это уже раз сделал царь Николай I в Австро-Венгрии, и совсем не ожидала, что первый серьезный удар против нее может получиться именно со стороны России. Причиной всего этого, как видно из всего вышеизложенного, являлось полное незнакомство с Россией и порой самое фантастическое представление о ней, особенно о русских рабочих и крестьянах.

Наконец, как гром с ясного неба, 4/17 марта 1917 года в дневном издании «Information» появилось известие, переполошившее всех в Париже: «Революция в Петрограде». Вечерние газеты поместили уже целые столбцы с телеграммами из России. Впечатление от них было ошеломляющее. На улицах, бульварах, площадях Парижа царило возбуждение, мало уступавшее возбуждению, вызванному победой французов на Марне. Газеты так раскупались, что к 8 часам вечера нельзя было купить ни одной газеты.

Известия о событиях в России были приняты неблагоприятно. Французы упрекали русских, что те не во-время вздумали устраивать революцию, и настойчиво выражали желание, чтобы последняя в России, поскольку она уже разразилась, приняла самый умеренный характер. Профессор по истории Великой французской революции Олар счел своим долгом поместить в газете «Petit Parisien» статью, где доказывал, что, по его мнению, требовать от русских, чтобы их революция осталась умеренной, вряд ли возможно. Умеренных и победоносных в то же время,— как он писал,— революций вообще не бывает в природе». Олар, как историк революции, должен был сказать в своей статье, что всякая революция, оканчивающаяся победой, непременно будет носить характер революции неумеренной.

Что касается нас, русских большевиков, то известие о революции в Петрограде привело нас в настоящий восторг. Немедленно я стал готовиться к от'езду в Россию.

Влияние русской революции сказалось уже на митинге 1 мая в доме профсоюзов по улице Гранж о-Белль. На ми-

тинге выступил «примиренец»-интернационалист т. Лозовский, все левевший под влиянием русской революции. Солдаты, пришедшие на побывку из-под самого огня, из окопов, рисовали ужасы этой войны. Говоря по поводу криков буржуазной печати о так называемых «зверствах германской армии», они приводили примеры зверств и со стороны французов.

Один солдат рассказал об отряде «неттуаеров», вооруженных одними ножами, задачей которых являлось уничтожение спящих германских солдат. Он описывал мрачные картины, как глубокой ночью, когда некормленые германские военнопленные, рывшие от утренней зари до поздней ночи под огнем германских пушек и пулеметов траншеи, наконец, засыпали в отдаленной траншее, французское военное начальство отдавало приказ «неттуаерам» итти на дело. Ползком, с ножами в зубах ползут «неттуаеры» в траншеи, где спят мертвым сном утомленные и голодные немецкие военнопленные. Ножи пускаются в ход. Никто из заснувших германцев не проснулся больше. Перерезав их, как кур, «неттуаеры» возвращались в свои траншеи. Таков был рассказ французского солдата, вернувшегося на побывку с фронта.

Картины одна другой мрачнее говорили как бы слушателям на митинге, что ночь, темная ночь вместе с этой войной спустилась на землю. Но когда отчаяние и мрак охватили все человечество, на востоке загоралась яркая заря надежды. Из России донеслись опять, как это было в 1905 году, отголоски новой грозной революционной бури.

— Выйдем и мы на улицу! — раздались вдруг голоса. — Будем, как русские, исполним постановление интернациональных конгрессов, устроим первомайскую демонстрацию!..

— На улицу! На демонстрацию! — раздались голоса.

Появилось красное знамя. Кучка человек в четыреста, из которых половина были русские, двинулась к улице Ланкри. Когда они показались на углу бульвара де-Мажента, уже совсем недалеко от площади Республики, их встретили летучие отряды парижской полиции. Жестоко избив и арестовав часть участников демонстрации, после того как последних загнали в одно из кафе, полицейские долго издевались над одной из русских, по наружности очень походившей на немку. Вообще русских, как всегда, избивали сильнее, а на этот раз им парижская полиция мстила за русскую революцию.

— Не ездите! Не возвращайтесь в таком тяжелом состоянии в Россию. Куда вы едете? — останавливали меня

даже некоторые товарищи.— Вы больны. Разве можно такому, как он, больному ехать в страну, где происходит революция, грандиозный переворот?

Но я не мог слушать этих голосов. Известие о революции в России было подобно яркому лучу света, озарившему мою жизнь, которая протекала, как я уже думал, мрачной, темной, беспросветной ночью. На место отчаяния, охватившего меня, во мне снова засветилась надежда. Мне стало душно в Западной Европе, откуда старый мир смотрел с тревогой на возрождающуюся к новой жизни молодую, полную внутренних сил страну. Меня непреодолимо тянуло туда, где началась великая революционная буря.

Лишь 2 июня мне удалось выехать из Парижа в Цюрих. Отсюда с предпоследним из поездов через Германию, в так называемом «пломбированном вагоне», мы с Лизой выехали в Швецию. Затем через всю Швецию и Финляндию мы проехали в Россию и прибыли 24 июня по старому стилю в Петроград.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Письма бельгийского социалиста Альфонса Гаспара из Льежа А. С. Шаповалову.

Бельгийская рабочая партия.

Центральный союз рабочих-металлистов Бельгии. Правление союза в «Народном доме» в Брюсселе.

Льеж, 29/I 1912 г.

Дорогой гражданин Шаповалов!

У меня еще 9,75 франка, если я хорошо записал все посланные мною письма.

Адреса хороши: Рожистер живет все в том же доме, но № изменился: теперь он № 13. Наших друзей Антуана Дюмулена и Пьера Сикэ я уже не встречаю так регулярно, как прежде. Если хотите, я могу вам доставить еще другие адреса*.

При случае я вам более подробно расскажу о том грозном движении, которое разыгралось в Льежском районе после вашего от'езда. Вы знаете тот порядок, который был нами введен для секционеров на заводах в Льеже (городе); мы сделали его обязательным для всей федерации и не принимали никаких взносов от наших членов, кроме как через секционера, на которого возложили ответственность за пропаганду на том заводе, где он работает... Это встретило много возражений; большинство, привыкшее к старым формам организации, не соглашалось. Путем убеждения на собраниях, число которых достигло фантастической цифры (более 200 в течение трех месяцев), нам удалось доказать преимущества этой системы.

Теперь мы имеем успех, и в то время как вначале нам было трудно найти одного секционера, теперь у нас их сколько угодно и сколько нужно. В настоящее время их имеется 450 человек, которые собирают взносы с 8 500 членов.

---

* Начало письма посвящено организации почты через адреса бельгийских рабочих-социалистов.

Мы избежали конфликтов, хотя хозяева на нас нападали, а мы, как вы сами понимаете, отвечали. У нас было даже столкновение с владельцем Сенье де-Кокиль, который уволил 26 секционеров без всякого предупреждения (с этой же почтой вы получите два номера «Le Peuple», откуда вы будете иметь представление о размерах борьбы).

За это время мы роздали у ворот завода более 50 000 манифестов и 60 000 номеров газеты «Le Peuple». Состоялись грандиозные митинги в 3, 4 и 5 тысяч человек, где выступали наши товарищи: де Брукер, Дельвина, Бонда и я.

В настоящий момент происходит стачка 650 рабочих в «Espérance Londoz de Seraing» в знак протеста против увольнения многих секционеров, и я только-что узнал, что на «Национальной фабрике» уволены 12 товарищей, среди которых также много секционеров.

Как вы видите, мы боремся теперь против хозяев, за право организации в рудниках.

Рабочие организуются и полны духа борьбы, который не может не радовать нас.

Что касается остального, то я с удовольствием сообщаю вам, что созданные нами социалистические школы идут прекрасно. Их имеется пять в Льежском округе с 200 учениками, которые аккуратно посещают их по воскресеньям (тов. Раппопорт из Парижа заканчивает свои шесть лекций о классовой борьбе, а т. де-Брукер начинает свой курс о профессиональном движении рабочих). Мы принуждены открыть для секционеров-металлистов специальные школы, которые, наверное, начнут функционировать в будущем месяце. Наша «Классовая борьба» пострадала от той нечеловеческой работы, которая легла на некоторых товарищей, но мы недавно приняли ряд резолюций, которые обеспечат ее правильный выход. В ней будет 8 страниц, и она будет печататься в Брюсселе.

Журнал, о котором мы с т. де-Брукером хотели столковаться, к несчастью, не получил санкции в ЦК партии, который, повидимому, уже поглощен предвыборной борьбой. Мы назначили цену за «Классовую борьбу» для заграницы 1 франк 50 сантимов.

Простите мои каракули, которые происходят от нервности и спешки, появляющейся у меня накануне подымающегося прилива с его волнами, бьющими капиталистов прямо в лицо, и его подводными камнями, всегда возможными в битвах с нашим классовым врагом.

Передайте мой привет и уважение гражданке Ульяновой и вашей жене и примите, дорогой товарищ Шаповалов, мой братский привет. *Гаспар.*

Бельгийская рабочая партия.

Центральный союз рабочих-металлистов Бельгии. Правление союза в «Народном доме» в Брюсселе.

Париж.

Дорогой Шаповалов!

Я получил инструкцию и буду с ней считаться *.

Мне почти неловко, что я так долго вам не писал о вещах, которые вам были бы очень интересны. Но что вы хотите? «Когда делаешь все, что можно, то делаешь все, что должно», — говорит пословица. Так и со мной было. Я только-что вернулся со с'езда партии, отчет о котором вы видели и про который можно сказать без хвастовства, что «непримиримые» держались там хорошо. Теперь я запрусь на два дня, чтобы приготовить отчет о 1-м полугодии 1912 года. Прежде чем приняться за него, я хотел написать вам пару слов.

Какой под'ем, какая жизнь в нашей профсоюзной организации! Вы подумайте только, Шаповалов: в нашем районе 10 000 человек организованных, и все двигаются, действуют, все хотят улучшения заработной платы и условий труда, и все они нетерпеливы, и теперь мы их успокаиваем. С 1 января я был на 164 собраниях одной только нашей организации металлистов, включая сюда профсоюзные митинги во время наших сборищ и у ворот заводов. Я не считаю здесь избирательных собраний и моего участия на заседаниях партии и профсоюзов вне центрального союза металлистов.

Я весь поглощен и нахожусь в таком нервном состоянии, что на собраниях я из-за пустяков раздражаюсь и не могу сдержать себя.

За 1-й триместр этого года мы получили 95 400 взносов; по моим расчетам, во 2-й триместр мы получим 105 000, что составляет в среднем 23 000 франков в месяц. В секцию Серена назначен постоянный секретарь, но этого слишком мало, и если мы хотим, чтобы наше движение продолжало развиваться и удержалось на том хорошем пути, который мы проложили, то нужно назначить еще двоих. Я боюсь, однако, что нас не поймут.

Теперь вот вам наша ближайшая программа: школа для активных работников; школа для 650 членов секции, которые у нас имеются; всеобщая забастовка для того, чтобы

---

* Инструкция, о которой упоминается здесь, касалась организации связи нашего партийного центра с Россией через адреса бельгийских рабочих

добиться S. U. *; расширение нашего маленького журнала «Классовая борьба», изменения в котором вам известны и ведение которого поручено нескольким друзьям в Брюсселе.

Простите за беспорядочность и малую содержательность этого письма и передайте мой привет вашей жене и примите, дорогой т. Шаповалов, мой братский социалистический привет.

1/VII 1912 года *Гаспар.*

Бельгийская рабочая партия.

Центральный союз рабочих-металлистов Бельгии. Правление союза в «Народном доме» в Брюсселе.

Париж **.

Дорогой Шаповалов!

Я получил ваше письмо от 16/XII 1912 и приму его во внимание. Но я уже давно ничего не получал. Я кажусь вам, вероятно, очень плохим товарищем, так как не пишу вам и не сообщаю никаких известий о нас.

Поверьте мне, однако, что это не так и что я совершенно поглощен нашим профессиональным рабочим движением. Я страдаю даже от того, что не могу больше посвящать себя подготовке всеобщей забастовки, которая в настоящее время переживает кризис, вызванный неопределенностью политического положения в данный момент. Когда говоришь с активными работниками, то чувствуешь, что многие из них сомневаются в том, что она разразится, и надеются еще, что пересмотр конституции произойдет без всеобщей стачки. Заметьте, что это вполне возможно. Но, допуская даже возможность, что пересмотр пройдет на голосовании, что заставит учредительное собрание согласиться на S. U. в его чистом виде, все-таки всеобщая забастовка является единственным способом для получения хотя бы малоудовлетворительного результата. Вот почему теперь, более чем когда-либо, надо сделать величайшие усилия.

Настроение масс в нашей провинции превосходное. Мысль о том, что должна произойти всеобщая забастовка, пустила глубокие корни в народной душе. В этом можно было бы сомневаться, обратившись в финансовый комитет и узнав, что число сберегателей не очень велико. Но я думаю, что на одного товарища, который делает официальные сбе-

* Suffrage universal (всеобщее избирательное право).

** Слово «Париж» написано в заголовке письма по привычке бельгийцев помечать тот город в заголовке письма, в котором живет адресат.

режения, внося их в забастовочный комитет, есть десять, которые делают сбережения у себя дома.

У меня определенное впечатление, что если забастовка вспыхнет, то это будет очень крупным событием в нашей стране.

С другой стороны, агитация за всеобщую забастовку послужила на пользу нашему профессиональному рабочему движению.

Вот взносы, собранные металлистами в Льежской провинции: 1-й триместр — 94 605, 2-й триместр — 106 685, 3-й триместр — 113 298, ноябрь и октябрь — 81 749. Следовательно, непрекращающееся увеличение. Эта активность членов профсоюзов грозит на каждом шагу вызвать конфликты, и, честное слово, нам приходится умерять нетерпеливое желание наших друзей участвовать в таких выступлениях, которые еще недостаточно подготовлены.

Несмотря на это, конечно, забастовки вспыхивают. Так, товарищи, работающие у Лоше в Гужеле, бастуют уже 6 месяцев и 3 дня (начало 17 июня). Все они твердо стоят на своем, и владелец должен будет скоро уступить. Забастовка оружейников в Льеже, которая продолжалась 12 недель, — полный успех: повышение жалованья на 15%.

Были и другие забастовки не менее интересные.

Вот уже два месяца как в нашей центральной организации появились женщины. Их около сотни, и я думаю, что их станет больше. В профсоюзе металлистов произошел ряд инцидентов, они ушли из помещения «Попюлера», многие товарищи вошли в центральный союз. Теперь руководство движением этой организации перейдет к анархистам.

Почти все товарищи-металлисты, которые работали на патронном заводе, вступили в наш центральный союз и, повидимому, к нам перейдут и другие.

Все это очень хорошо. Но я страдаю от оборотной стороны медали. У нас 11 000 членов в провинции и всего — д в а постоянных секретаря. Я собираю в месяц около 25 000 франков. Бюро работает очень систематично, и собраний, на которых приходится присутствовать, стало, несомненно, чересчур много.

Благоразумие требует, чтобы на 2 000 членов был секретарь, и, поверьте мне, он не будет сидеть без дела.

Вы можете себе представить, что движение страдает от такого положения дела, и наш поступательный ход был бы еще быстрее, если бы мы обратили внимание на те секции, которые не двигаются вперед, или на те, где количество вступающих членов только уравновешивает количество выбывающих.

Будем надеяться, что такое положение дел вскоре изменится к великой выгоде организации. Но для этого надо преодолеть еще много препятствий — препятствий, которые вам хорошо знакомы, так как вы сталкивались в наших рудниках с рабочим населением, слишком мало образованным и неспособным во многих случаях к широкому кругозору и крупному размаху.

Как раз на просвещение масс мы должны обратить свое внимание. Мы должны посвятить себя ему, хотя бы нам пришлось пожертвовать лучшей частью самих себя. У нас не будет ни отдыха, ни покоя, пока эта великая задача не будет выполнена.

Надеюсь, что вы, т. Шаповалов, и ваша жена здоровы. Примите, дорогой товарищ, мой братский привет.

Гаспар *.

Письмо А. С. Шаповалова т. Ленину по поводу уклона в волонтерство некоторых большевиков в начале империалистической войны

11/IX 1914 г., Париж, Avenu Rei, 13·

Дорогие товарищи!

Мы чрезвычайно были рады, что вам удалось бежать из австрийского плена. Я писал вам одно письмо накануне войны из Бом-ле-Дама, когда вы еще были в Галиции. Сомневаюсь, чтобы оно дошло до вас. События так быстро надвинулись и все перевернули. Война и все, что за ней последовало, застали нас в Бом-ле-Даме, недалеко от Бельфора и, следовательно, от военных действий. Мы очень хорошо сделали, что не поддались охватившей всех панике, остались в Бом-ле-Даме и пережили там охвативший всех угар. Это было в высшей степени необходимо для здоровья Л. Р. Она за полтора месяца, что мы провели там, почти совсем поправилась.

В своем письме к вам я говорил, между прочим, что считаю присутствие Антонова в КЗО вредным и опасным. Его поведение подтвердило это. Когда началась война, началось увлечение волонтерством. Правда, под шумок говорят, что девять десятых ушло, так как нечего было есть, но известная часть пошла искренно, твердо веря, что делает святое дело. Много колеблющихся увлек Антонов, предлагая стать

* По полученным мною сведениям Альфонс Гаспар, сделавшись в 1914 г. по примеру Вандервельде, де-Мана и де-Брукера социал-патриотом, по окончании империалистической войны перешел на службу к буржуазии уже открыто. Этот бывший секретарь социалистического профсоюза в настоящее время занимает в Бельгии пост коммерческого директора табачной торговой компании.

на точку зрения разума французской социалистической партии. В нашей большевистской секции все интеллигенты были за волонтерство, а рабочие — против. Застрельщиками считали, кроме Антонова, еще Кузнецова и Иголкина *. Когда прошла резолюция, враждебная волонтерству, Камский ушел из секции, находя неприемлемой эту резолюцию. Как видите, все начальство, все «генералы от инфантерии» оказались шовинистами. Людмила только в последнее время стала высказываться против. По моему мнению, КЗО нужно распустить. Нельзя оставлять там товарищей, которые оказались так нетверды при первом серьезном испытании. Я был очень рад, что оказался солидарен с вами.

У меня собраны почти все передовые статьи из «Humanité» за время войны до 18 сентября. Если хотите, я их вам пришлю.

Как здоровье Н. К.?

А. Шаповалов

Резолюция, враждебная волонтерству, принятая рабочими, была очень не по вкусу нашим многогранным интеллигентам. Когда мы вернулись в Париж, мы слышали, очень нелестные отзывы о принявших ее. Я вполне понимаю, что партийное начальство, оскорбленное ею, не послало до сих пор ее. Вообще это начальство теперь надо хорошенько почистить. Надо выгнать всех болтунов, как Антонов **.

* Факты, сообщенные мною в письме к т. Ленину о т. Иголкине, подтверждаются данными из книги В. Лебедева „Из рядов французской армии“ (изд. 1916 г., стр. 73): „За унтер-офицеров у нас шли Иголкин, пожилой энергичный человек, поступивший в военные автомобилисты, и крикун“.

** Вышеприведенное мое письмо написано мною в сентябре 1914 года на основании сведений, полученных мной от секретаря Парижской секции РСДРП(б) т. Людвинской («Таня»).

Правильность сообщенных в нем фактов, касающихся поведения некоторых товарищей, принявших волонтерство во французской армии, я подтверждаю и теперь; также и тот факт, что против волонтерства высказались лишь рабочие-большевики и за волонтерство — преимущественно интеллигенты. Если есть в этом утверждении ошибки, они проистекают от неизжитой, к сожалению, до сих пор слабости многих интеллигентов-партийцев, занимавшихся хоть короткое время физическим трудом, во что бы то ни стало называть себя рабочими.

К сожалению, у меня не было под руками письма т. Ленина, где он особенно резко высказался против волонтерства. Можно только процитировать другие слова т. Ленина: «Попытки представить волонтерство как осуществление социалистических задач (см. декларацию группы русских волонтеров в Париже, социал-демократов и социал-революционеров, а также польских социал-демократов, Ледера и других) встретили защиту только Плеханова. Большинство Парижской секции нашей партии осудило эти попытки». (Н Ленин. Собр. соч., т. XIII, стр. 14. Изд. 1924 г.).

ОГЛАВЛЕИЕ

Часть I

ПО ДОРОГЕ К МАРКСИЗМУ

Стр.

Детство 7
Ученичество на заводе 17
На большом заводе 30
Сети религии 37
„Волосатый дьявол“ 48
Вечерняя школа 57
Разрыв с религией 61
Поиски социалистов 64
Народовольцы 75
Лахтинская типография 98
Встреча с марксистами 107
Вступление в „Союз борьбы“ 110
Стачка ткачей 119
Арест 136

Часть II

В ЦАРСКИХ ТЮРЬМАХ

Трубецкой бастион Петропавловской крепости 143
Допрос 152
„Дошкурим“ 156
Библия 160
В тюремном карцере 168
Показания на допросах 175
Предварилка 185
Пересыльные тюрьмы 193

Часть III

В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ

Дорога в Сибирь 213
Минусинск 226
Из Минусинска в Тесинское 236
Село Тесинское 243
Знакомство с Владимиром Ильичем 297
Приезд Владимира Ильича в Тесь 304
Поездка в село Ермаковское 314
Обыск у Ленина в селе Шушенском 324
Последний год в Сибири 325

Стр.

Часть IV

В ПОДПОЛЬЕ

От Минусинска до Красноярска 339
От Тайги до Петербурга 343
Приезд в Петербург и поездка в Выборг 345
От'езд на юг 350
Арест тов. Курнатовского 352
Батум 355
Батум. На заводе, у станка 359
Письмо в „Искру" А. С. Шаповалова 371
На пароходе 376
Воронеж, Ярославль, Кинешма, Иваново-Вознесенск, Бобров, Киев. 379
Тверь 407
Вышний-Волочок 409
Возвращение в Тверь 414
Поездка на пропаганду по деревням 420
Демонстрация против войны 428
Арест 432
Тверская тюрьма 433
Вышневолоцкая тюрьма 437
На свободе 440
От'езд на юг 442
Наплыв меньшевиков 446
„Запасные" 454
Обыск 458
Сдача комитета меньшевикам 459
Одесса 462
Перед приходом „Потемкина" 464
Революционное настроение матросов в Севастополе 475
Поль меньшевиков 476
Трагизм восставшего броненосца 481
Письмо тов. Мохова 483
Роль „Об'единенной комиссии" 485
Пожар Одесского порта 487
Один против всей эскадры 488
Измена боцмана Кузьменко 491
Товарищ Тимофей 493
Тов. „Дяденька" (Л. М. Книпович) 495
Конец восстания 497
Последствия восстания „Потемкина" 501
Приезд в Харьков 503
Харьковские большевики 506
Товарищ Артем 507
Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ) 509
Недочеты в организации 510
Стихийное революционное движение масс 511
Забастовщики 512
Ващенковская левада 513
„На баррикады" 514
Революционные похороны 527
Интеллигенция 529
Революционная милиция 530
Революционный суд 532
Одна из неудавшихся провокаций полиции 533

Стр.

„Обитатель земного шара“ 535
Боевики 536
Профессиональный союз сапожников 538
Подготовка к вооруженному восстанию 540
Банкетное действо 542
Военная демонстрация 543
Вооруженное восстание в Харькове 546
Арест 564
Казарма 567
Тюрьма 568
Подготовка к побегу 569
Освобождение из тюрьмы 573
Опять Одесса 574
Приложение 576

Часть V

В ИЗГНАНИИ

Отъезд 591
В Финляндии 594
На пароходе 597
В Дании 600
В Голландии 601
Брюссель 602
Льеж 606
Поступление на завод 608
Из прошлого бельгийских рабочих 610
У станка на заводе 615
Бельгийские рабочие 619
Бельгийские социалисты 625
Несколько слов о бельгийской рабочей партии 629
Эмиль Вандервельде 633
Луи де-Брукер 638
Рабочий социалист Сервей 641
Рабочий-социалист Дельшеф 646
Первое мая в Льеже 648
Рабочий Фернанд Реми 656
Забастовка в одеялах 659
Кейр-Гарди 660
Умер король 663
Чудо 664
В больнице 671
Токарь Леонард 672
Архиепископ 673
Народовольцы И. И. Лазаревич 676
Рабочие-эмигранты 680
Анархисты 683
Вечеринки 683
Большевистская группа в Льеже 684
Доставка оружия 687
1886 год в Бельгии 694
Последние дни в Бельгии 698
В Париж! 702
На заводе в Париже 719
Рабочий ресторан „бистро“ 729

Стр.

Французские рабочие 734
Социалисты 731
Первое мая в Париже 741
По заводам Парижа 746
Перед войной 752
Трокадеро 755
Владимир Ильич 758
Русские общественные учреждения 766
Столовка „Гласьерка“ 766
Электротехническая школа им. Рошель 767
Библиотека „Гоблен“ 768
Рабочий клуб 768
Секция рабочих металлистов 769
Начало империалистической войны 770
Париж во время империалистической войны 783
По заводам во время империалистической войны 788
У стены коммунаров 797
Парижская секция РСДРП(б) и клуб интернационалистов . . . 800
Секция российских рабочих металлистов 807
Болезнь 811
Зима 1916 года в Париже 823
Февральская революция 826
Приложение 830

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.

Ответственный редактор А. А. Копяткевич Технич. редактор И. И. Ионов. Сдано в производство 21/V-33 г. Подписано к печати 13/X-33 г. Формат бумаги 62×94 см. 1/16 доля листа. Печатных листов 52 ½. В печатном листе 42.000 знаков. Тираж 12.000 экз. Зак. из-ва № 69. Главлит В—60086. Зак. тип. № 914. 13-я типо-цинкография Мособлполиграфа, Петровка, 17.

Цена 9р.
Переплет 2р.